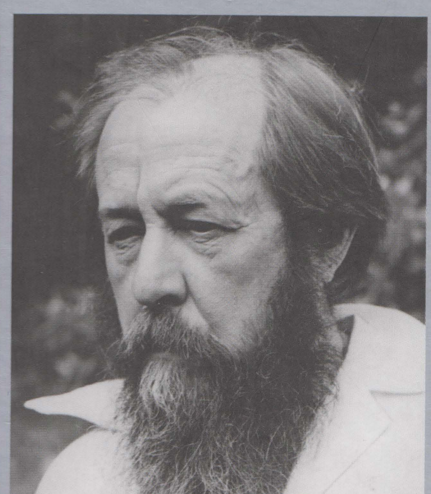
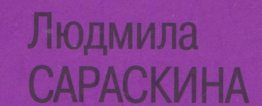
ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ





Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

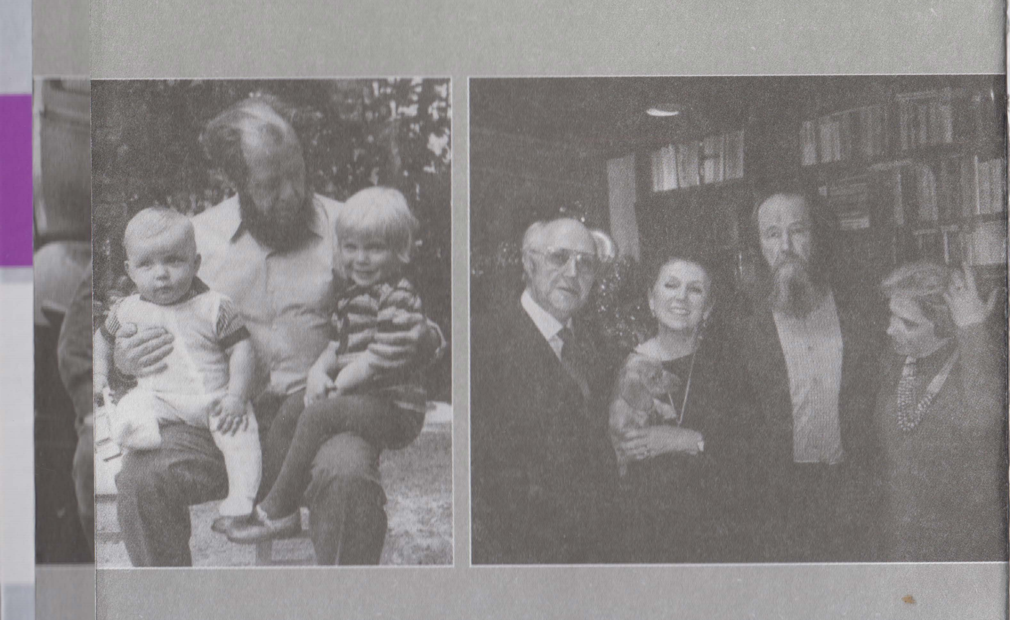
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

БИОГРАФИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...





БИОГРАФИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...



БИОГРАФИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...



Людмила
САРАСКИНА

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2008

УДК 82-94(092)(47)
ББК 83.3(2Рос=Рус)
С 20

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«КУЛЬТУРА РОССИИ»*

СЕРИЯ ОСНОВАНА В 2005 ГОДУ

Автор проекта
ВАЛЕНТИН ЮРКИН

Серийное оформление
КОНСТАНТИНА ФАДИНА

Директор типографии
КИРИЛЛ МОЛЧАНОВ

ISBN 978-5-235-03102-9

Я хотел быть памятью. Памятью народа, который постигла большая беда.

А. И. Солженицын

Пролог
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

Узел XIII солженицынского «Красного Колеса» кратким конспектом охватывает семнадцать дней ноября 1918 года и открывает четвёртое (предпоследнее) действие эпопеи о русской революции. Оно называется «Наши против своих» — выразительнейшая формула Смуты.

Торжества в Москве с участием Ленина, демонстрации в честь годовщины Октябрьского переворота, капитуляция Германии, окончание мировой войны и начало войны Гражданской, Колчак в Сибири, Деникин в Екатеринодаре — вот лишь немногие пункты повествования о ноябрьских неделях. Это уже совсем близко к исходной дате нашей книги — 11 декабря 1918 года.

Сейчас кажется почти невероятным, что всего за полтора месяца до неё в маленькой типографии Сергиева Посада вышел последний из десяти выпусков «Апокалипсиса нашего времени», периодического издания Василия Розанова. Целый год, с ноября 1917-го по октябрь 1918-го, один из самых отважных русских философов свидетельствовал о величайшей смуте, которая охватила страну. В предисловии «К читателю» Розанов выразил главное ощущение очевидца тех событий — выстраданное, вылившееся из сердца: «Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском (всём, — и в том числе русском) человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства; и в эти пустоты проваливается всё: троны, классы, сословия, труд, богатства. Все потрясены. Все гибнут, всё гибнет. Но всё это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания».

Больной, погибающий Розанов воочию видел, как сбывается пророчество Достоевского о стране, захваченной бесами. «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес. Представление окончилось», —

писал он осенью 1918-го. «Рассыпанное царство», одна из «крохоток» Розанова, обречённо перечисляла необратимые утраты: «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. Даже “Новое время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей... Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом — буквально ничего».

Философ доискивался до причин падения страны, до корней её религиозного и нравственного краха: «Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает». Он поражался, как провально заблуждались все они, именитые участники религиозных и философских собраний, воспевая народ-богоносец. «Переход в социализм и, значит, в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно “в баню сходили и окатились новой водой”. Это совершенно точно, это действительность, а не дикий кошмар».

О том же писали другие писатели и публицисты, вовсе не единомышленные Розанову. Максим Горький, публиковавший с апреля 1917 года статьи о революции и культуре («Несвоевременные мысли») на страницах газеты «Новая жизнь» (большевики закроют её в июне 1918-го), оторопело наблюдал странные аномалии народной власти. «На днях, — писал он в мае, — какие-то окаянные мудрецы осудили семнадцатилетнего юношу на семнадцать лет общественных работ за то, что этот юноша откровенно и честно заявил: “Я не признаю Советской власти!”» Горький был уверен, что людей, которые не признают власти комиссаров, найдётся в России десятки миллионов и что их всех «невозможно истребить». Он недоумевал, почему в Москве арестовали книгоиздателя Сытина, полвека трудившегося на ниве народного просвещения. Почему заслуженного человека, который в любом европейском государстве удостоился бы самых высоких почестей как просветитель народа, «самая свободная страна в мире» наградила тюремной камерой, предварительно разорив превосходно налаженное производство.

Но власть действовала без оглядки и не скрывала своих намерений. В ноябре 1918-го революционный агитпроп со страниц газет разъяснил сущность красного террора. «Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советов. Первый вопрос, какой вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого он происхождения,

воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого». «Буревестнику революции» власть в лице её вождя В. И. Ленина настойчиво советовала «не тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов».

Но Горький не послушался. Известно, что он по просьбе Зинаиды Гиппиус («все ему писали, все к нему приставали») послал немного денег одному из таких «сгнивших» — умирающему Розанову. Глубокой осенью 1918 года со страниц «Апокалипсиса» автор обратился с мольбой — *«К читателю, если он друг»*. «Устал. Не могу. 2—3 горсти муки, 2—3 горсти крупы, *пять* круто испечённых яиц может часто спасти *день мой*... Сохрани, читатель, своего писателя». Не спасли, не сохранили. Розанов открыто нищенствовал, собирал окурки на вокзале. «И уже не стыдится бедный человек, и уже не стыдится горький человек...» Стыд отступал, побеждаемый неотвязными телесными ощущениями — голодом, холодом, темнотой.

В 1918-м, вспоминала та же Гиппиус в «Петербургском дневнике», время остановилось: «Мы стали мёртвыми костями, на которые идет снег... Ничто, прежде ужасное, не удивляло: *теперь* казалось естественным. У всех, кажется, все умерли. Все, кажется, подбирают окурки... Удивляло, что кто-то не арестован, кто-то жив. Мысли и ощущения тогда сплетались вместе. Такое было странное, непередаваемое время. Оно как будто не двигалось: однообразие, неразличимость дней, — от этого скука потрясающая. Кто не видал революции — тот не знает настоящей скуки. Тягучее удушье».

Вот ещё одно впечатление дневника от 21 мая 1918 года: «Умер Плеханов. Его съела родина... Он умирал в Финляндии, куда к нему не пустили даже близких друзей — он просил их приехать, чтобы проститься. После октября, когда “революционные” банды вломились к нему в Царском, стаскивали его с постели, 15 раз подряд, разные, его обыскивали (буквально), издевались и ругались над ним с последней грубостью, после всего этого внешнего и внутреннего ужаса — он уже не подымал головы с подушки. У него тогда же пошла кровь горлом, из Царского его увезли в больницу, потом в Финляндию. Его убила Россия, его убили те, кому он, по мере своего разумения, служил сорок лет. Нельзя русскому революционеру быть 1) честным 2) культурным 3) держаться науки и любить её. Нельзя ему быть — европейцем. Задушат. При царе ещё туда-сюда, но теперь, при Ленине, — конец».

Спустя полвека в «Архипелаге ГУЛАГ», впитавшем отчаяние ледяных лет революции и жгучие свидетельства её многих отважных летописцев, речь пойдёт не только о единицах, но и о миллионных человеческих ПОТОКАХ. Автор рискнёт открыть главную предпосылку создания и существования лагерной системы: *Россия в таком состоянии и составе населения ни в какой социализм не годилась.* «Очистить землю российскую от всяких вредных насекомых» (именно так Ленин формулировал общую единую цель власти) — значило беспредельно расширить область применения карательных мер.

И в этом смысле 1918 год тоже отменно показателен: в повременном перечне «великих чисток» он задаёт тон. Это не просто дата календаря XX века в промежутке между 1917-м и 1919-м. Это огромное историческое понятие, синоним и пароль Мировой Смуты, время краха четырёх евроазиатских империй, участвовавших в Первой мировой войне — Российской, Германской, Австро-Венгерской, Османской. Тех, кто питал надежды на очистительный огонь революции, её святую правду, в поисках которой металась мыслящая Россия, этот год лишил последних иллюзий.

«Кровавая заря нового века» (Вяч. Иванов), сменившая угрюмые сумерки старого мира, заглушила «музыку революции», которую перестал слышать даже заворожённый стихией Александр Блок. В 1918-м рассеялся туман соблазна и упоения бунтом, исчезло обаяние мирового пожара, выветрился свежий запах грозы. Вылезла наружу и стала очевидной омерзительная изнанка революции — её жестокость, безнравственность, разнузданность; её грязь, тьма и страх. Революция пожинала свои плоды и уже пожирала своих детей: та неискоренимая духовная порча, которая разъедает любую революционную партию, сеет внутри неё рознь и вражду, взялась за дело.

Мятеж левых эсеров 6 июля, покушение на Ленина 30 августа, антисоветские восстания в городах, независимые республики, которые рождались и жили считаные дни... 5 сентября московские и петроградские газеты вышли с жирными заголовками: «Немедленно произвести аресты... Немедленно применить массовый расстрел безоговорочно... Ни малейшего промедления при применении массового террора...». В декрете Совнаркома, кроме расстрельных мер, шла речь об изоляции классовых врагов путём размещения их в *концентрационных лагерях.* Еще раньше, 23 июля 1918 года, в недрах карательной системы родилась «Временная инст-

рукция о лишении свободы»: *лишённые свободы и трудоспособные обязательно привлекаются к физическому труду.* Спустя полвека Солженицын зафиксирует: «От этой вот Инструкции 23 июля (через девять месяцев после Октябрьской революции) и пошли лагеря, и родился Архипелаг. Кто упрекнёт, что роды были преждевременны?»

Многим современникам 1918 год казался временем торжества сил тьмы, тотального наступления хамства и зверства. «Сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило острое умопомешательство. Все орали друг на друга за малейшее противоречие: “Я тебя арестую, сукин сын!”». Это писал в «Окаянных днях» Бунин, которому довелось воочию увидеть буквальность ветхозаветных истин. Знакомое библейское: «вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь тучных, но сами от того не станут тучнее» — с арифметической дотошностью иллюстрировало тот печальный и заведомо ожидаемый результат, что от грабежа награбленного бедных не становится меньше; что равенство, добытое ценой насилия, будет равенством в нищете, а не в достатке; что осквернение и истребление старого мира не добавит ни счастья, ни свободы, ни равенства, ни братства. «В один месяц всё обработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды — ничего!»

Бунин предъявляет «красным завоевателям» огромный, неоплатный счёт. Они, уверен писатель, не собирались искоренить зло, они дерзнули его просто переименовать. «Почему комиссар, почему трибунал, а не просто суд? — спрашивает Бунин. — Все потому, что под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по колено в крови». Ему чудится коварный замысел завоевателей («адский секрет») — убить в людях восприимчивость, научить (или заставить) человека перешагивать через черту, где кончается отмеренная ему чувствительность к злу и насилию. С едким сарказмом описывает он «красную аристократию»: матросов с огромными браунингами на поясе, карманных воров, бритоголовых щёголей во френчах, галифе, франтовских сапогах, непременно при шпорах, с золотыми зубами и тёмными кокаинистическими глазами... Возможность сотрудничества с «ними» кажется писателю кощунственной, мысль о примирении — святотатственной как кровосмешение. Этическая несовместимость с завоевателями («быть такими же, как они, мы не можем») навсегда разлучит Бунина с его Отечеством.

Однако страшная, «несказанная» (но Бунин ведь скажет о ней!) правда о человеке заключалась даже не в том, что люди, лишённые нравственных тормозов, творят зло, но в том, что люди морально твёрдые отравлены *ответным* чувством, готовы ответить злом на зло. Грех мстительного помысла описан Буниным так, что не остаётся никаких иллюзий насчёт природы конфликта. «Какая у всех свирепая жажда их (то есть красных. — *Л. С.*) погибели! Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга».

Гневный, яростный, горький, иногда бешеный дневник Бунина... Он понимал цену таких записей. В 1918-м поминутно слышалось отовсюду — ещё не настало время разбираться в русской революции беспристрастно. «Но настоящей беспристрастности всё равно никогда не будет. А главное: наша “пристрастность” будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна “страсть” только “революционного народа”? А мы-то что ж, не люди, что ли?»

Несомненно, для истории и историков невероятно дороги все без исключения «пристрастные» свидетельства. Но, быть может, самые ценные — те, которые рождались спонтанно, у сторонников революции, а не у их оппонентов. Неожиданно для самого себя, став хроникёром революции и критиком её «издержек», пролетарский писатель Горький заговорил на языке жалости и милосердия, который всегда презирал. «Убитые — да не смущают — история перекрашивается в новые цвета только кровью», — писал он Е. П. Пешковой в день расстрела мирной демонстрации в Петербурге, в то самое Кровавое воскресенье 9 января 1905 года.

Что же изменилось, когда воспетая им революция победила окончательно и бесповоротно? Чтó заставило его вдруг вспомнить о цене крови и пламенно опровергать (столь же пламенно, сколь прежде защищал) «принцип топора»? К ужасу и негодованию Горького Россия 1917—1918 годов стала добычей фанатиков, *страной для эксперимента*: «Я знаю, что большевики производят жесточайший научный опыт над живым телом России. Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта, русский народ для них — та лошадь, которой учёные-бактериологи прививают тиф для того, чтобы она выработала в своей крови противогриппозную сыворотку. Вот именно такой жестокий и заранее обречённый на неудачу опыт производят комиссары над русским народом, не думая о том, что измученная, полуголодная лошадка может издохнуть».

Знаток и певец народной жизни с отвращением видит, как «свободный» народ, который отрёкся от старого мира и сотряс его прах с ног, соединяется в толпу для разбоя и грабежа и озверевшая толпа устраивает жестокие самосуды, грабит винные погреба; люди напиваются, бьют друг друга бутылками по головам, режут руки осколками стекла и, точно свиньи, валяются в грязи и в крови.

Что же в таком случае нового даёт революция? Как изменяет она звериный русский быт? Много ли света вносит она во тьму народной жизни? В чём выражается творчество масс, пришедших к власти?

Анализ Горького безутешно правдив:

«Во время винных погромов людей пристреливают, как бешеных волков, постепенно приучая к спокойному истреблению ближнего».

«“Перебить, перевешать, расстрелять” — вот язык революции, которым в совершенстве овладевает народ».

«Не надо закрывать глаза на то, что теперь, когда “народ” завоевал право физического насилия над человеком, — он стал мучителем не менее зверским и жестоким, чем его бывшие мучители».

«В чьих бы руках ни была власть, — за мною остается моё человеческое право отнестись к ней критически. И я особенно подозрительно, особенно недоверчиво отношусь к русскому человеку у власти, — недавний раб, он становится самым разнузданным деспотом, как только приобретает возможность быть владыкой ближнего своего».

Шестнадцать месяцев существования газеты «Новая жизнь», в которой Горький был ответственным редактором и главным публицистом, дают ему поучительный опыт. Он ощущает, каково это ремесло — быть хроникёром революции, ежедневно писать о насилии, крови, обмане, заблуждениях и надеждах. И писать не частным образом, не в стол и не впрок (как писало тогда немало людей), а открыто: вступая в публичную схватку с теми, кто сильнее и наглее, от кого зависит жизнь и свобода.

Шестнадцать месяцев «Несвоевременных мыслей» — это «Дневник писателя» эпохи хаоса, разоблачительная хроника совращения народа, время, когда Горький-публицист был, кажется, наиболее художником и наиболее гражданином. Он создал ПРЕЦЕДЕНТ открытой, публичной борьбы с «завоевателями» и оставил неопровержимое вещественное свидетельство, Свободное Слово — несмотря на то, что позже малодушно отрёкся от него: «Известно, что Октября я не понял...»

Будущему историку (о котором так заботился Бунин) 1918 год оставил бесценные сокровища: неопровержимые улики, правдивые (то есть пристрастные) показания важнейших свидетелей, документальные хроники отважных летописцев. Этот год породил и обширную мифологическую беллетристику: отпечатки пальцев на горле жертвы и следы крови в каменном карцере стёрты влажной губкой, вместо опасных свидетелей обвинения — статисты-наёмники, в роли летописцев — фигуры, мобилизованные и призванные писать историю согласно инструкциям. Следуя правилам игры, автор-летописец долго и путано водит героев по бескрайним дорогам Отечества, подвергает их (в оговорённых дозах) душевным испытаниям и житейским невзгодам. Когда же они мировоззренчески дозревают — собирает в нужное время в нужном месте, например, в Большом театре, где все вместе, счастливые и взволнованные присутствием вождей революции, они слушают доклад об электрификации. Красный (прежде он был белый) герой говорит красавице-жене: «Ты понимаешь — какой смысл приобретают все наши усилия, пролитая кровь, все безвестные и молчаливые муки... Мир будет нами перестраиваться для добра... Все в этом зале готовы отдать за это жизнь...» Докладчик, стоя у карты страны с кием-указкой в руке, восклицает: «Жребий брошен! Мы за баррикадами боремся за наше и мировое право — раз и навсегда покончить с эксплуатацией человека человеком».

...Теперь, оглядываясь на долгую жизнь А. И. Солженицына, кажется, что ни в каком ином году, ни в каком ином историческом измерении, кроме как в кромешном 1918-м, автор «Красного Колеса» и не мог родиться: он генетически связан с этим мгновением Русской Смуты. Восемнадцатый год — это точная рифма к человеческой и творческой судьбе Солженицына, диагноз его неисцелимой боли о России, эпиграф к его писательскому выбору.

Именно Солженицыну суждено было — спустя полвека после Розанова, Горького, Гиппиус, Бунина и многих других, чья запретная правда так долго не могла вернуться в Россию, — быть услышанным и прочитанным во всём мире. То есть достучаться до человечества, о чём почти безнадёжно мечтал автор «Окаянных дней».

За несколько месяцев до рождения Солженицына, в мае 1918 года, А. А. Блок отвечал на вопрос анкеты, — что́ следует сейчас делать русскому гражданину. Блок отвечал как поэт и мыслитель: «Художнику надлежит знать, что той России, которая была, — нет и никогда уже не будет. Европы,

которая была, нет и не будет. То и другое явится, может быть, в удесятерённом ужасе, так как жить станет нестерпимо. Но того рода ужаса, который был, уже не будет. Мир вступил в новую эру. *Та* цивилизация, *та* государственность, *та* религия — умерли... *утратили бытие*».

Без преувеличения можно сказать, что всё творчество Солженицына обжигающе пристрастно нацелено на осмысление разницы *той* и *этой* цивилизации, *той* и *этой* государственности, *той* и *этой* религии. Той России, которая, по словам Блока, *утратила бытие*, и той, которая, по словам Розанова, осталась внутри *железного занавеса*.

Если считать, что XIX столетие закончилось Первой мировой войной, так же как XVIII столетие — Великой французской революцией, Солженицын родился в начале не календарного, а настоящего XX века и прожил, освоив всё его историческое пространство и весь его смысловой горизонт. По мнению многих выдающихся современников, он сам стал главным действующим лицом этой эпохи русской истории.

Нынешнему столетию предстоит заново открыть тайный смысл уроков минувшего века, а значит — разглядеть и понять знаки судьбы Солженицына.

Тяжкий труд познания только начинается.

Часть первая

КООРДИНАТЫ СУДЬБЫ

Глава первая

КОНТУРЫ И КОРНИ. РОД СОЛЖЕНИЦЫНЫХ

Если бы Солженицыну пришлось описывать жизнь Пушкина (а зерно такого нечаянного замысла ярко присутствует в полемически-дуэльной статье 1984 года «...Колеблет твой треножник»), он бы не сомневался в подходах и принципах. Чтó движет жизнеописателем — уважение к имени, освящённом славою (по Пушкину, это первый признак просвещённого ума), или стремление отделаться от пиетета перед гением и пуститься в развенчание его «культа»? С каким ведущим чувством следует говорить о поэте — взрастив в своём сердце любовь или принеся её в жертву политкорректности, выверенному балансу плюсов и минусов? Как дóлжно показывать предмет — в его человеческой пропорциональности или в карикатуре, пародии, анекдоте (так легче препарировать)? Куда устремлён поиск — к светлой сердцевине личности или к её теневым, изнаночным, порченым краям? Зачем биограф пускается в путь — ради отыскания истины или для самоутверждения (и тогда нужны сильнодействующие средства, острые специи)?

Выбор Солженицына был бы, несомненно, в пользу первого ответа из каждой пары.

Таков выбор и нашей книги.

Там нет истины, где нет любви — этой христианской максимой решается вечный спор между «биографами-апологетами» и «биографами-судьями». Боязнь жизнеописателя впасть в «апологетику» (если только такие опасения не имеют специальных причин и служебных целей) понятна и уважительна: роль клакера, мобилизованного прославлять и превозносить кого-либо, и в самом деле несимпатична и малопочтенна.

Но апологетика без кавычек, в прямом, изначальном смысле греческого термина απολογία, — это заступничество, взятое по совести обязательство оправдать свой предмет в

глазах истории, защитить его перед несправедливым судом общества, очистить от клеветнических нападок и ложных обвинений.

В этом и только в этом смысле статья Солженицына о Пушкине апологетична. Высокое и чистое суждение о поэте противопоставлено — в «нашем нынешнем одичании» — суждению низкому, мусорному, с грязнотцой, сальностью и хамством; слово прямое, откровенное — слову с ужимкой, подмигиванием и ехидной гримасой; критика честная — критике язвительной, глумливой и кривляющейся. Такой критике, которая демонстративно не хочет (или всё же не может?) видеть высшие уровни гения, которая упорно не замечает отсвет божественной гармонии, владеющей поэтом.

Солженицын разгадывает старый приём вивисекции, нехитрую уловку: рассечь поэта на гения и человека, гения выпустить из храма через купол, а в опустевшем храме — да хоть и нагадить. Он видит эту страсть критика-нигилиста работать на снижение, чувствует его нервную дрожь — развалить именно то, что в литературе высоко и чисто: «Распущенная и больная своей распущенностью, до ломки граней достойности, с удушающими порциями кривляний, она силится представить всеиронию, игру и вольность самодостаточным Новым Словом, — часто скрывая за ними бесплодие, вспышки несущественности, переигрывание пустоты».

Солженицын-критик исповедует иную веру: сантиметр за сантиметром исследуя личность поэта, подвергая её самому дотошному и пытливому анализу — не упускать объём, масштаб, исключительность: «Как во всяком человеке, всё едино, органично и в гении: его жизненное поведение, светлые и тёмные стороны, краски и тени личности, его мысли и взгляды, его художественные достижения и провалы, — и притом во всякую минуту пребывание самим собою. Гениальность — не влитая отдельная жидкость. Судить по разъятым частям — обречь себя не понять сути. Но, конечно, понять явление целостно — несравнимо трудней».

Наша книга стремится следовать именно этим путём, полагая, что он соразмерен и соответствен предмету.

Американец Майкл Скеммел, автор англоязычной биографии Солженицына (1984), признался в недавнем интервью российской телекомпании: «Для биографа самое интересное — сравнить разные версии жизни писателя и в конце концов стать для него кем-то вроде судьи. И это писателю Солженицыну — как и любому другому — очень неприятно. Солженицын хочет оставаться единоличным, гордым владельцем своего мира. Он действительно великий писатель, а

для многих ещё и святой, и даже бог. А кто может спорить с богом, навязывать ему свои советы и оценки — неужели какой-то биограф?»

Здесь много путаницы. У Бога не бывает биографии. И не Бог поставил биографа быть судьёй над человеком, о котором он пишет. «А ты кто, который судишь другого?» (Иак. 4: 12).

Биограф — не судья и не прокурор, а историк и летописец, свидетель и собиратель, изыскатель и следопыт. Он не хозяин жизни своего героя, не наследник его мира, а лишь усердный, смиренный работник.

Известно, что мифы завладевают образами тех людей, чьё значение перерастает обычные размеры. Масштаб беспрецедентной для XX века писательской и человеческой известности Солженицына адекватен объёму мифологии, связанной с его именем и различной по своим целям.

Наша книга, в отличие от мифологических экспериментов или судебно-процессуальных опытов, имеет историко-документальные цели, а значит, ей не подходят ни розовые очки, ни кривые зеркала, ни судейская мантия.

Но встаёт вопрос — как, через какую оптику смотреть, и главное — чтó хотеть увидеть?

Снова обратимся к опыту Солженицына. Самое высокое достижение Пушкина он видит в непревзойдённой способности поэта (увы — исчезающей из нашей литературы) «всё сказать, всё показываемое видеть, *осветляя* его. Всем событиям, лицам и чувствам, и особенно боли, скорби, сообщая и свет внутренний, и свет осеняющий, — и читатель возвышается до ощущения того, чтó глубже и выше этих событий, этих лиц, этих чувств... Горе и горечь осветляются высшим пониманием, печаль смягчена примирением».

Осветлять предмет высшим пониманием, а не пятнать его низменными искажениями — вот он, искомый принцип работы биографа.

И ещё одно замечание Солженицына в адрес критика-пушкиниста: «Уж литературоведу надо бы уметь видеть писателя в тех контурах, к которым он рос и тянулся, а не только в тех, которые, по нескладности жизни, он успел занять».

Замечание, от которого невозможно отмахнуться при обращении к биографии самого Солженицына. Контуры, «к которым он рос и тянулся», — это историческая реальность эпохи и запечатлённый в ней человек, чью жизнь надо восстановить в полном объёме. Писатель сознаёт двойственность своего статуса художника и историка и нащупывает пути — как, оставаясь художником, не нарушить историчес-

кой правды. «Я даже думаю, — пишет он, — что в условиях, когда так похоронено наше прошлое и затоптано, у художника больше возможностей, чем у историка, восстановить истину».

Восстановить истину для Солженицына значит прежде всего отыскать след человека в истории, найти свои корни, собрать воедино отцов и дедов. История семьи писателя на фоне Первой мировой войны стала сюжетной канвой «Августа Четырнадцатого»; «Август» же, и вся эпопея «Красное Колесо», — оказались надёжными источниками биографии автора.

Солженицыны (Лаженицыны) — предки по линии отца; Щербаки (Томчаки) — предки по линии матери. Обе линии разработаны знаменитым потомком со всей возможной тщательностью, ограниченной только опустошительными войнами и революциями, а также скудостью сведений, которые остаются после людей, не вписанных в исторические хроники, дворянские родословные книги, списки офицерского департамента, индексы университетских выпусков.

Ибо и великорусские Солженицыны, вышедшие из Воронежского края и осевшие на Ставрополье, и малороссы Щербаки, прикочевавшие с Таврии на Кубань, — были простыми мужиками, а никак не помещиками и даже не казаками. И значит, рассказ о них надо начинать издалека.

«Совершенно случайно мужицкий род Солженицыных зафиксирован даже документами 1698 года, когда предок мой Филипп пострадал от гнева Петра I». Это довелось узнать А. И. Солженицыну в 1969 году из воронежской газеты «Коммуна». И в самом деле: тот предок приходился Солженицыну, скорее всего, прапрапрапрадедом; и потомок Филиппа Ефим (прадед писателя), рассказывал семейное предание, как напустился на мужиков царь Пётр за то, что поселились они без спросу в Бобровой слободе.

А благодатная та земля, жирный чернозём, заповедные, сказочные места ещё в XVII веке не были заселены. Смельчаки брали здесь в откуп земли, занимались добычей пушного зверя и рыбной ловлей, собирали мёд диких пчёл. Откупные владения назывались ухожьями или, по-татарски, юртами. На правом возвышенном берегу реки Битюг (притока Дона), на южной окраине Окско-Донской равнины, там, где к юго-востоку от Воронежа позже вырос город Бобров, в исторических документах 1677 и 1685 годов упоминается Бобровский откупной юрт, название которого связывалось с развитым здесь бобровым промыслом. *Ватаги бобровых гонов* были заведены благодаря изобилию бобров,

меха которых в древнюю пору составляли одну из главнейших отраслей внутренней и внешней торговли.

Известно, что в январе 1677 года воронежец Никита Полозов с группой крестьян подавал челобитную, в которой просил разрешить ему выехать на реку Битюг, в Бобровый юрт, для рыбной ловли. В 1684 году угодья по Битюгу попали на десять лет во владения Троицкого монастыря города Козлова. К этому времени долина реки разделялась на 12 юртов, которые монастырь сдавал откупщикам. Бобровый (или Бобровский) юрт числился девятым, если следовать вниз по течению реки. 23 августа 1685 года здесь побывал Иван Жолобов — по царскому указу ему надлежало обследовать долину реки Битюг. Он и обнаружил избу юрта — первое временное строение на месте будущего Боброва. Место это располагалось очень удобно: вблизи леса, реки и дороги, а на переполянье можно было делать запашки. Жолобов упоминает в отчёте избу и называет первого жителя будущего города: «И в том Бобровском юрту изба, а в ней жители вотчинники Тимофей Коровайцов со товарищи».

На запад от Боброва всего километров сорок до Дона. Это была южная граница государства, «польская украина», то есть полевая, степная окраина. Никто не решался строиться здесь; ногайские и крымские кочевники нападали на охотников, убивали их или уводили в плен, отнимали снаряжение, добычу и деньги, угоняли лошадей, разоряли рыболовецкие станы. Однако историки считают, что население, хоть и редкое, существовало здесь как минимум с XIV столетия и первыми были *бродники* — прямые предшественники казачества. В лесных местах проживало и более древнее русское население — *бортники*, собиратели пчелиного мёда и других продуктов пчеловодства. А дальше к югу до самого Крыма расстилалась бескрайняя степь.

Уже в 1686 году на Битюге стали селиться люди, которым не хватило места на менее опасных землях, в пределах Белгородской черты. Некоторые имели бумаги («крепи») на землю, иные занимали участки на свой страх и риск. По царскому указу 1686 года, вдоль реки Битюг в районе Бобровского юрта появилась линия жителей, свезённых из Воронежа, Ельца и Коротояка «для охранения границы». В 1697-м на месте Бобровского юрта, сдававшегося во временную аренду наезжающим промысловым людям для рыбной и звериной ловли, возникла слобода Бобровская: по переписи 1698 года в ней — 18 дворов и 14 хозяев.

Но, как писал историк С. М. Соловьёв, «тяжёл был Дон расколами; тяжёл и козацкими притязаниями, которых ни-

как не могли допустить в Москве». В государстве начиналась усиленная работа, усердная служба. Меж тем воеводы доносили с мест: городские, слободские и всяких чинов жилецкие люди, их свойственники и родственники, их крепостные мужики и вольные крестьяне не хотят служить государевой службы и податей платить, не хотят быть у строения морских судов, у стругового дела, у лесной работы, в кормщиках, на плотах, хотят жить своей волей и чуть что бегут на Дон. В 1699 году из одного только Воронежского края бежало 330 дворов. Вслед была послана грамота: беглых не принимать, а старых уходцев сыскать и доставить на прежние места жительства на своих козацких подводах, потому что приняты были беглые на Дону без «нашего царского указа». А с Дону, как известно, выдачи нет.

Москва не желала мириться с самоуправством и торопилась принять меры. 16 августа 1698 года на имя воеводы Старого Оскола Ивана Ивановича Тевяшова пришла грамота из Москвы — незамедлительно ехать в Воронежский уезд, на реки Битюг и Осередь, с проверкой («розыском») самовольников-поселенцев. Почему?

С 1 марта 1697 года Битюцкое и Серецкое ухожья взял в аренду полковник из города Острогожска Пётр Алексеевич Буларт; арендная плата составляла 202 рубля в год. Полковник получил разрешение поселить на Битюге «беспашенных черкас» (украинцев). Однако выяснилось, что ещё во время монастырского владения на Битюге основались *разных городов сходцы* и возникли самочинные поселения. Буларт хотел согнать с мест русских поселенцев или хотя бы получать с них деньги за аренду. Арендатор жаловался царю, что новые жители «оброчныя угодья разоряют и бортные ухожья секут и в оброчных реках рыбу ловят и всем владеют». В ответ на челобитные Буларта, а потом и его вдовы пришёл приказ воеводе Тевяшову отправляться на Битюг и Осередь.

Между тем в приказе значилось: «Которые ухожья были на оброке за ним Петром Булартом и в тех урочищах поселения руских людей и черкас, которые в тех оброчных ухожьях поселились насильством и оброчными ухожьи владеют, досмотреть и тамошних жителей допросить и про владенья оброчных ухожьев розыскать». Перед Тевяшовым ставились задачи: узнать, какие поселения существуют на Битюге и Осереди; взыскать с жителей этих поселений деньги за пользование ухожьями в 1698 году; взять с жителей обязательство, что они в дальнейшем будут вносить плату регулярно. На выполнение задания воеводе отводилось около двух месяцев.

Поручение было выполнено, документы отправлены в Москву. В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) хранятся и «поручные записи» жителей, и отчёт воеводы, в котором значатся 17 новых населённых пунктов. «Поручные записи» составлялись по единому образцу: «Се яз Савелей Мещереков да яз Федот Леденев да яз Фрол Зайцев». Назывались имена тех, кто обязывался в декабре каждого года доставлять деньги в Москву. Жители соглашались платить в двойном размере, если плата почему-либо будет ими задержана.

Среди «поручных записей» обнаруживается искомая — взятая 5 октября 1698 года от имени жителей Бобровской слободы: «Се яз Нефед Кондратьев сын Скороваров, Карп Остахов сын Путинцов, Варломей Нестеров сын Струков, Евсей Алексеев сын Нойденов, Григорей Титов сын Холянин, Микифор Долматов, Улас Мещеринов, Петр Скомарахов, Степан Пчелинцов, Фетис Куркин, *Филип Соложаницын*, Осип Попов, Михайла Лихочев, Еремей Слепченков, Иван Попов, Карней Болдырев, Павел Турищев, Крисан Уласов». Свидетелем или «послухом» достоверности поручной записи жителей Бобровской слободы был Григорий Зверев.

Вот он, Филип Соложаницын, один из восемнадцати русских православных мужиков, основателей Бобровской слободы, пришедших сюда из разных мест в 1697 году, «в розных месяцах и числах».

Что же могло случиться с Бобровской слободой через год, после того как её в числе новых населённых пунктов переписали, то есть узаконили? Только одно: нежелание её жителей или невозможность (неурожай? иная беда?) платить свою долю арендной платы. Но «поручные записи» были сданы в розыск, и, значит, всякое уклонение расценивалось властями как бунт. Донимаемый на каждом шагу новыми расходами, Пётр I хотел ежедневно знать свои наличные средства, рассеянные по многочисленным приказам. Для этого 30 января 1699 года восстановлен был Счётный приказ, или *Ближняя канцелярия*. «Это, — пишет В. О. Ключевский, — орган государственного контроля: сюда все приказы обязаны были доставлять еженедельные и ежегодные ведомости о своих доходах и расходах, об управляемых людях и зданиях».

Жителям Бобровской слободы не повезло — они оказались среди первых же нарушителей нового приказа. А ведь самочинно занятым землям, кроме промышленного, придавалось отныне ещё и политическое значение. Государь дорожил выгодным положением Воронежского края у судо-

ходного в те поры Дона, а также обилием прекрасного корабельного леса; здесь строился флот для походов на Азов. Царь готовился к войне со Швецией и остро нуждался в деньгах. Правительство разыскивало и возвращало в места прежнего жительства бежавших на Дон от непомерных тягот, связанных с войнами, крестьян, работников с публичных работ, дезертиров и иных, разного звания, беглых людей. В государстве наводился порядок — 20 декабря 1699 года было приказано вести летосчисление не от Сотворения мира, как прежде, а от Рождества Христова, и новый год считать не с 1 сентября, а с 1 января, как в европейских странах. Новое столетие начиналось фейерверками и пушечной пальбой на Красной площади, украшениями «от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых», самодельными ракетами, кострами и смоляными бочками, которые зажигали первые семь дней новогоднего праздника.

Пётр I решил превратить земли по реке Битюг в дворцовое владение и переселить туда принадлежавших ему лично крепостных крестьян. Царский указ был жесток. Самочинные поселения надлежало разрушить, жителей — русских и черкас — выселить, их дома — сжечь. Исполнители не разбирались, кто селился самовольно, а кто на основании каких-либо документов, может быть, даже царских — прежние «крепи» на землю уже не имели никакого веса. Выселяли всех. С людьми расправились летом 1699 года, и тогда же были сожжены все постройки Бобровской слободы, жители которой «поселились насильством». Уже в донесении от 16 декабря отмечалось, что слободские жители «с тех угодий сосланы, и дворовое строение позжено». Тут же указывалось, что на всём Битюге сожжено 1515 дворов.

Куда же делись восемнадцать мужиков Бобровой слободы и их семьи после расправы? Надо знать, что донесения в ту пору не всегда отличались точностью, и потому вряд ли все семьи сразу ушли в другие места. Некоторые из них вернулись на свои пепелища и после ухода карателей снова построили хаты. А по бумагам, поданным в инстанции, считалось, что долина Битюга очищена.

Указ о дворцовых крестьянах долго не выполнялся — не сразу люди стронулись с мест. Только в 1701 году на Битюг поступили новые переселенцы с Русского Севера. Люди пришли в зиму, не успев построить тёплого жилья. Началась эпидемия; крестьяне умирали целыми семьями. Многие из них ушли на прежние места жительства. Но мало-помалу Бобровая слобода заселялась, люди обживались. В 1705 году в Бобровске была построена церковь и слобода стала селом.

В 1707-м «для осадного времени от неприятельских людей, построен Государев двор, вместо города, с бойницы и три башни, а на том дворе построена Приказная изба».

Есть основания полагать, что Филип Соложаницын, чей двор спалили, как и дворы прочих основателей Бобровой слободы, всё же уцелел во время этих бурных событий. Во всяком случае, он не исчез тогда из Битюцкого края. «А прапрадеда моего, — пишет Солженицын, — за бунт сослали из Воронежской губернии на землю Кавказского войска».

За какой бунт? Каких бунтарей ссылали в начале XVIII века на земли Северного Кавказа? И кем этот прапрадед приходился первому из известных Солженицыных, Филиппу?

В 1708 году дворцовая Битюцкая волость подверглась страшному разорению со стороны булавинских мятежников. Предводитель бунта, Кондратий Булавин, объявил себя защитником народных прав; рассылаемые им «прелестные грамоты» звали казачью бедноту в Москву — «губить бояр, мундирных солдат, немцев, прибыльщиков и рандарей (арендаторов)». На борьбу поднялись крепостные и государственные крестьяне, посадская и служилая беднота. Атаманы Булавина захватили ряд городов, в том числе Бобров, Борисоглебск, Камышин, Царицын.

«Марта 30 1708, воровские казаки булавинцы, приехав на Битюг в село Бобровское, на Государев двор, Государеву казну пограбили, грамоты, указы, книги и всякие письма подрали и пожгли, и воеводу Федора Тинькова били смертным боем и покинули замертво; да теж воры с конюшенного двора Государевых присланных из Скопина жеребцов и кобылиц пограбили-ж; и после того во все лето в Битюцкие и Икорецкие села был приход воровских казаков и калмыков: и те казаки и калмыки в трех селах церкви Божии разорили, а в селе Шестакове сожгли, да в четырех селах и на гумнах хлеб пожгли и крестьянские пожитки во всех селах пограбили, и лошадей отогнали».

Так сказано в архивной губернской справке; но к этой записи есть немало дополнений. Во-первых, группа повстанцев, возглавляемых Лукьяном Хохлачом, когда подошла к Боброву, была встречена сельской беднотой сочувственно, почему булавинцам и не составило особого труда войти в слободу. Во-вторых, взяв в приказной избе бумаги, они порвали их и пожгли, чтобы не оставить никаких следов от записанных там долгов, числящихся на бедняках. В-третьих, повстанцы выпустили на свободу колодников, за счёт которых пополнили свой отряд. В-четвёртых, они агитировали бобровских крестьян, чтоб те на великого госуда-

ря хлеба не сеяли, а пахали б на себя, и это крестьянам весьма понравилось. Многие жители Боброва пошли за бунтовщиками. В-пятых, смертным боем били местного воеводу булавинцы, но убить его похвалялся и бобровец Роман Желтопятый.

Итак, во время булавинского восстания бобровцы, и без того имевшие славу смутьянов, опять провинились. 28 апреля 1708 года булавинцы, с Лучкой Хохлачом во главе, были разбиты высланными против них отрядами генерала Бахметева, острогожского полковника Тевяшова «с старшиной и кумпанейцами», то есть с украинским компанейским полком, и подполковника Рикмана. После ещё нескольких кровопролитных сражений повстанцы были окончательно разбиты, а Булавин погиб от рук предателей — богатых казаков. Историки не располагают сведениями, как отразилось на бобровских крестьянах их участие в восстании (не зря они рвали и жгли бумаги из приказной избы). Вероятно, одни из них ушли с остатками булавинского войска, другие должны были ответить за разорение Боброва.

В 1711-м, решив усилить военное значение слободы, Пётр переселил сюда часть жителей города Азова, отданного Турции (третий поход на Азов потерпел неудачу), и Бобровская слобода стала уездным и административным центром Битюцкой дворцовой волости. В 1779-м Бобров официально получил ранг города и стал центром уезда: на гербе, присвоенном городу в 1781 году, изображён самый ценный пушной зверь Воронежского края — бобр. Правда, все бобры в этих краях были перебиты ещё во времена существования Бобровского ухожья. Так что ни к бобровым гонам, ни к дворцовым крестьянам мужики Солженицыны уже не имели никакого отношения. Неизвестно, что стало с предком писателя в шестом (или седьмом?) колене, Филиппом Солженицыным, или Филипом Соложаницыным, как он, скорее всего со слуха, записан в «поручных записях». Фамилия эта произошла от *соложенья*, то есть ращения зерна на *солод*, или от слова *соложавый*, то есть, по Далю, *сладковатый*. А вот сына (или внука?) того Филиппа, прапрадеда А. И. Солженицына, за участие в булавинском бунте выслали из Воронежской губернии.

Изгнанные из своих мест смутьяны, бывшие жители сожжённой Бобровской слободы, волею судеб и государя Петра Алексеевича прибились к землям Кубанского казачьего войска. В первое десятилетие XVIII века именно туда переселяли участников восстания — казаков с Дона и Украины, а также сочувствующих им крестьян. Вновь прибывшие обя-

заны были явиться в главное войско и словесно обратиться к казачьему кругу за разрешением построить городок, жилище, зимовник, хутор, опахать это место, обозначить его какими-либо метками. Войско выдавало основателям нового городка или хутора заимочную грамоту, где предписывалось развести рубежи и не принимать пришлых людей под страхом смертной казни.

Так, скорее всего, и случилось с мятежными жителями Боброва (всё же, видимо, не слишком сильно виноватых, раз их отпустили восвояси). Государство было заинтересовано в отправке неспокойного элемента на Кавказ, чтобы усилить стихийное освоение края. «Несколько их было, тех мужиков, — пишет Солженицын, — однако тут кандалов не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость, а распустили по дикой закумской степи, при казачьей Старой линии, и так они жили тут, никто никому, не жались по безземелью, на полоски степь не делили, где пахали-сеяли, а где гоняли на тачанках, стригли овец. Окоренились».

Сёла в Предкавказье росли быстро. Чтобы ввести освоение края в организованное русло, правительство в 1780-х годах разрешило переселиться на пустующие земли ещё четырём тысячам крестьян из центральных губерний России. За несколько лет были заложены сёла Высоцкое, Петровское, Михайловское, Донская Балка, Сабля, Александровское. Уже в начале XIX века был открыт почтовый тракт Георгиевск-Привольное, через Саблю и Ставрополь. Путь от Ставрополя до Москвы занимал пятнадцать дней, от Ставрополя до Тифлиса ещё десять. «Нигде не встретишь такие необозримые пространства, как будто нарочно засеянные различными породами шалфея, богородской травой, солодовым корнем, диким лавендулом... От Ставрополя едешь будто сидя в ароматической ванне», — замечал путешественник тех лет.

Так вот и стали бывшие смутьяны-бобровцы первопоселенцами, освоителями богатейших целинных земель Ставрополья, превращая их в хлебородные нивы.

Так и попали потомки тех мужиков в «Красное Колесо».

Деда своего по отцу, Семёна Ефимовича Солженицына (1854—1919), писатель помнить не мог, но знал о нём много. «Были Солженицыны обыкновенные ставропольские крестьяне: в Ставрополье до революции несколько пар быков и лошадей, десяток коров да двести овец никак не считались богатством. Большая семья, и работали все своими руками».

Хутор Солженицына-деда находился в девяти верстах от села Саблинского, основанного в 1782 году на казённой земле при реке Сабля, ещё до открытия Кавказской губернии.

Впрочем, датой основания указывают и 1781, и 1785 годы. В числе первых поселенцев были отставные чины Кавказского корпуса, что, быть может, повлияло на название села. В 1832-м село переименовали в станицу, жители которой были причислены к Хопёрскому полку Терского казачьего войска, но в 1874-м, по Высочайшему повелению, саблинских казаков снова обратили в гражданское ведомство. В том же году саблинцы построили небольшую деревянную церковь (прежде был только молитвенный дом) в честь святых Козьмы и Дамиана. В селе имелись три мануфактурные, четыре мелочные лавки, две маслобойни, два овчинодельных завода, две водяные и одна ветряная мельницы. Дети обучались в одноклассном училище Министерства народного просвещения и церковно-приходском училище; на общественные средства село содержало фельдшера.

У деда Семёна не было батраков, с хозяйством управлялся сам и его большое семейство. С женой своей Пелагеей Панкратьевной, урождённой Сусловой, родил он пятерых детей — Константина, Евдокию, Василия, Анастасию, Исаакия. Жили в большом сельском доме, построенном удобно и просторно. Овдовев после сорока, Семён Ефимович в том же 1874 году привёл в дом вторую жену. Девица двадцати лет Марфа Ивановна Мартынова, крестьянка соседнего с Саблей села Круглолесского (через оба села по балке протекает пересыхающая летом речка Мокрый Карамык), стала мачехой пятерым детям Семёна. Постепенно, но властно и требовательно, она прибрала к рукам всё хозяйство, имея в виду пользу своих детей, рождённых в браке с Семёном: сына Ильи (1902—1975) и дочери Марии (умерла молодой, при первых родах). В 1914 году деду Семёну было под шестьдесят, и, как сказано в «Августе Четырнадцатого», своей жене, «этакой бабе молодой, проворной, уставу твёрдого положить не мог и не многое сам решал».

Конечно, куда больше других детей Семёна Ефимовича, нас интересует его младший сын от первой жены Исаакий Семёнович, отец героя этой книги. Откроем свидетельство, которое, с учётом позднейших наветов и кривотолков, измышлений и вольных фантазий, имеет смысл привести полностью, от первой до последней буквы*.

---

* Свидетельство сохранилось стараниями старшей сестры матери А. И. Солженицына Марии Захаровны Щербак (в первом замужестве Карпушиной, во втором — Гориной), проживавшей сперва в Кисловодске, затем переехавшей в Георгиевск. Свидетельство, в числе других документов, было передано племяннику в 1956 году, когда после фронта, лагеря и ссылки он приехал навестить родные места.

«Свидетельство.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Ставропольской Духовной Консисторией, на основании т. IX зак. о сост. изд. 1899 г. ст. 873 и Уст. Дух. Конс. ст. 270, выдано настоящее свидетельство, за надлежащим подписом и приложением печати, вследствiе прошения крестьянина Исаакия Семенова Салжаницына в том, что в метрической книге села Саблинского, Ставропольской губернии, Космодамиановской церкви за 1891 год в первой части о родившихся мужескаго пола ст. под № 44, буквально записано: тысяча восемьсот девяносто перваго года, родился двадцать девятого, крещенъ тридцатаго числа, мая месяца Исаакий у него родители: села Саблинскаго крестьянинъ Семен Евфимов Солженицын и законная жена его Пелагия Панкратова, оба православнаго исповедания. Восприемники были: города Ейска мещанин Стефан Александров Середа, кр-ка Пелагия Мартинова Солженицина. Крещение совершал священник Максим Перевозовский с псаломщиком Николаем Бойко.

В свидетельстве подчисток и исправлений не имеется.

Гербовый сбор оплачен.

Сентября 7 дня 1911 года.

Член Консистории Протоерей Карп Руденко.

Секретарь (подпись неразборчива)

Столоначальник (подпись неразборчива)».

Через шесть лет на обороте данного прошения появилась ещё одна запись, с иной печатью: «Означенный в сем Исакий Семенович Салжаницын августа 23 дня вступил в первый законный брак с гражданкой г. Пятигорска Терской области, девицей Таисией Захаровной Щербак, православного исповедания.

Протоиерей 1-й Гренадерской Артиллерийской бригады (подпись бригадного священника неразборчива, в «Красном Колесе» он будет выведен под именем отца Северьяна. — *Л. С.*). 24 авг. 1917. № 60. Д. Армия».

Как видим, с написанием фамилии «Солженицын» писари не церемонились ни в конце XVII века, ни в начале XX, но идентичность «Салжаницыных», «Соложаницыных», «Солженициных» и «Солженицыных» (а также «Салжаникиных», которые встречаются в Воронежской области и на Кубани) не подлежит сомнению.

Можно задаться вопросом: почему православные отец и мать назвали своего младшего сына непривычным и неблагозвучным для русского уха именем Исаакий? Ответ не заставит далеко ходить: назвали по православному обычаю.

Крещённый 30 мая (старого стиля) младенец мужского пола получал имя по святцам на день крещения — в честь преподобного Исаакия, исповедника Далматского, жившего во второй половине IV столетия, в царствование императора Валента, недалеко от Константинополя. Скончался византийский подвижник, борец с арианской ересью, 30 мая 383 года. Позднее эта дата войдёт в историю и как день рождения Петра I. В честь Исаакия Далматского построен Исаакиевский собор — так византийский святой стал небесным покровителем Петербурга. В «Красном Колесе» этот момент также обыгран: «Не любя своего имени, Саня отшучивался, что Пётр Великий ему тёзка: тоже на Исаакия родился, отчего и собор, только императору облагозвучили имя, а степному мальчику нет».

Можно задать и другой вопрос — зачем понадобилось двадцатилетнему крестьянину Исаакию Семёнову Солженицыну подавать в 1911 году прошение в консисторию о выдаче копии метрической записи? Ответ и в этом случае не затруднителен: документ нужен был для предоставления в университет, по месту учёбы.

Здесь, однако, остановимся: рассказ об Исаакие Семёновиче Солженицыне (Сане Лаженицыне, герое «Красного Колеса») ещё впереди.

Глава вторая

ДЕД ЗАХАР. «И СНОВА СТАВ НИЧЕМ...»

Был и ещё один дед, со стороны матери, Захар Фёдорович Щербак (1858—1932?), единственный мужчина в семье, которого помнит А. И. Солженицын, никогда не видевший ни своего отца, ни своего деда по отцу. «Картинный этот хохол, с резкими чертами, мохнатыми бровями, крупным носом разляпистым, в маскарадном городском костюме с цепочкою часов на самом видном месте» — так, под именем Захара Томчака, но с фотографической точностью, откровенным любованием и трогательной нежностью выведен дед Захар в «Красном Колесе».

Цепочка часов и городской костюм для тех, кто близко и подробно знал его характер и нрав, и в самом деле казались маскарадом. «Дед начал жизнь с чебанскою герлыгой / В Тавриде выжженной, средь тысячных отар», — пишет Солженицын в поэме «Дороженька». Простой чабан из Таврии, как с незапамятных времён называли Крым его жители, сызмальства пас чужих овец и телят, имел за плечами пол-

тора класса церковно-приходской школы (читал Библию да жития святых, порядочно считал, а писал неважно), а в 1874 году подростком подался с одной пастушьей палкой на Куму. Там, в низовьях Мокрого Карамыка, начал с нуля; батрачил на хозяина, пас овец, получал гроши и работал, как все пришлые батраки-тavричане, за еду. Только лет через десять дал ему хозяин в уплату десять мериносовых овец, тёлку и поросят, и стал Захар подниматься на дешёвых арендных землях Прикумья.

С той скотинки пошло и завертелось его богатство, нажитое, как говорил Захар Фёдорович, трудами и боками. На Мокром Карамыке, близ Святого Креста (ныне Будённовск), поставил он саманную хату, где начиналась его семейная жизнь с женой Евдокией и где родились их дети; потом эту хатку сменил первый настоящий дом с большим фруктовым садом. В конце века (около 1894 года) вместе с напарником купил он в Петербурге, у братьев-графов Михаила и Александра Николаевичей Граббе, шесть тысяч десятин земли. Захару из них принадлежала треть. Две тысячи десятин кубанского чернозёма и двадцать тысяч голов овец — состояние и впрямь немалое. На окраине станицы Новокубанской, при новоприобретённых землях, раскинулось обширное поместье.

В 1905 году Захар Фёдорович приступил к строительству большого кирпичного особняка в два высоченных этажа (был приглашён архитектор из Австрии, вместе и планировали). Хозяин не мог нарадоваться задуманному проекту: жалюзи на окнах снаружи и ставни внутри — не страшна степная жара; четыре линии водопровода, своя дизельная электростанция. Смолоду он знал лишь низкие мазанки и всегда сгибался чуть не в пояс, ступая на порог. Теперь полюбил Захар Фёдорович высокие потолки, где можно было распрямиться во весь свой богатырский рост (такие он впервые увидел в Ростове, в зданиях банка и биржи).

Со временем вокруг дома был разбит парк, как в старинных усадьбах; гималайские ели завозили из великокняжеского крымского сада, вдоль аллей — сиреневой, каштановой, ореховой — расставили фонари, завели оранжереи с олеандрами и пальмами, выкопали пруд с купальней и сменяемой водопроводной водой (секрет того водопровода не раскрыт до сих пор, так что стоит вековой бассейн и доныне сухой), соорудили беседки, засеяли газоны на английский манер. «Так составлялось то, что есть парк, отличающий старинные усадьбы, и чего не бывает в экономиях:

самостоятельность пейзажа, отъединённость от окружающей местности, непохожесть на неё».

За парком разбили сад, сотни две фруктовых деревьев, привезённых с Мокрого Карамыка, за садом — виноградник. Со стороны железной дороги насадили бальзамические и пирамидальные тополя, образовав аллею шириной на две встречные тройки. Иные скорые поезда, по заказу Захара Фёдоровича, останавливались на станции Кубанская, от которой до дому было рукой подать — он исправно платил за эту услугу управлению Владикавказской железной дороги. К 1908 году все постройки были закончены, и к 1914-му усадьба стояла вся целиком, с тенистым парком, бассейном и благоухающим садом. Вся целиком, с оконными витражами, каминами, мебелью, отделкой, посудой и утварью, со всеми службами и огородами, она вошла в «Красное Колесо».

Захар Щербак гордился, что его богатство нажито энергией и трудолюбием, умением ладить с людьми. Своей открытостью, юмором, патриархальным достоинством, степным напором он ошеломлял и очаровывал. Он был из тех самородков, чья природная хозяйская сметка и талант творили чудеса. Потом его назовут «крестьянским Столыпиным» — ведь благодаря таким, как он, тогда, на сломе веков, Россия смогла рвануть за ушедшей далеко вперёд Европой, одолевая один экономический рубеж за другим.

Десятки людей работали и кормились вокруг хозяйства Щербака, а он понимал широту своей службы и ничего не жалел для дела, не скопидомничал и не трусился над богатством. Так жить, чтоб и людям давать жить — это стало его девизом, принципом существования его *экономии*, как назывались имения на Кубани. «Он был не слуга деньгам, а господин им. Деньги у него не задерживались, всегда были в землях, в скоте и в постройках». Все в округе знали его как щедрого и доброго хозяина, а с рабочими он обращался так, что после революции они добровольно кормили обнищавшего и гонимого старика до самой его смерти.

В пятьдесят своих лет он выдавал стране зерна и шерсти больше, чем позже многие советские совхозы, и не меньше тех директоров работал. «Весь смысл его дела был в степи, у машин, у овечьих отар и на деловом дворе — та́м досмотреть, та́м управить. Весь успех его дела был в том, как степные просторы разделялись полосками посадок на прямоугольные отсеки, защищённые от ветров; как по семипольной системе чередовались пшеница-гарновка, кукуруза-конский зуб, подсолнух, люцерн, эспарцет, и что ни год, всходили всё гуще и наливистей; как порода коров сменялась на не-

мецкую трёхвёдерную; как резали разом по сорок кабанов и закладывали в коптильню (ветчины и колбасы выделывал немец-колонист...); и, главное, как настригали горы овечьей шерсти и паковали в тюки». Когда же стоял Захар при отправке зерна, шерсти или мяса из своего имения и глаз мог обнять весь объём сделанного, это и был его праздник, его счастье. Этим — незазорно было и похвастаться: «Та я ж Россию кормлю».

Дисковые сеялки, сноповязалки, картофельные пропашники, плуги, молотилки и прочую технику Захар Фёдорович покупал только в Ростове — там появлялись все новинки, можно было посмотреть, пощупать, вникнуть, приобрести и применить, опережая всех хозяев округи. Многое перенимал от немцев-колонистов, и это всегда приносило барыш. Очень уважал немцев: всей России, полагал он, надо учиться у Германии, как хозяйство ставить.

Но образцовое хозяйство Захара, которое обслуживалось полсотней народу (рабочие, конторщики, приказчики, кладовщики, конюхи, машинисты, садовники, шофёры, казаки для охраны, домовая и дворовая обслуга), не казалось надежным хозяйке дома, Евдокии Григорьевне Щербак (1866—1931). Дочь простого станичного кузнеца с понятной фамилией Коваль, она всегда помнила саманную хатёнку, где началась её жизнь с Захаром. За много лет так и не смогла привыкнуть к своему новому положению — сидеть за столом барыней в кружевной шали и отдавать команды. «Она рада была заметить упущенное и сама поднести, а в иные дни, отстранив поварих, сготовить в ведёрной кастрюле малороссийский борщ. Уж дети, стыдясь прислуги, останавливали её, а перед гостями заставляли убрать постоянную вязку на спицах и клубок шерсти от ног». В немыслимые по крестьянскому воображению достаток и благоденствие поверить ей было трудно, и ещё задолго до революции каким-то жутким предостережением посетила семью страшная неделя — когда они с Захаром потеряли сразу шестерых своих детей, «усю середыну потомства»; скарлатина пощадила лишь старших, Романа и Марию, и самую маленькую, Таисию.

Дед и бабушка говорили на «рідній мові» — позже А. И. красочно воспроизведёт живые звуки и колоритные обороты их сочной речи. Вот Захар вернулся из Екатеринодара, от военного чина, добывал белые билеты для сына и нужных работников. Евдокия крестится на икону: «Услышала Богородыця мои молытвы». — «Та ні, — морщится Захар, — Богородыця тут з краю. То я трохи підмазав, щоб не рипіло». «Украинского — много влилось в меня от деда Щербака, он

чисто по-русски и не говорил, да сама речь какая тёплая! и бабка по матери наполовину украинка; и украинские песни известны и внятны мне с детства». Таких признаний у Солженицына немало: «Я люблю их землю, их быт, их речь, их песни... Украинское и русское соединяются у меня и в крови, и в сердце, и в мыслях»*.

...Была в жизни деда Захара душевная рана, которая болела тем сильнее, чем ярче расцветала его экономия: единственный оставшийся сын, любимец матери. «Окончил Роман всего четырёхклассное училище: тридцать лет назад на Мокром Карамыке только на ноги становились, и в голову не могло прийти, что сыну хорошо бы в гимназию. Потом начинал коммерческое училище, не кончил». Имея некоторые способности, Роман не торопился участвовать в отцовском хозяйстве — гордость не позволяла быть подручным у резкого, напористого, удачливого отца, не терпящего возражений и не очень нуждающегося в советчиках. Он ждал своего часа, а пока (то есть вплоть до революции и экспроприации) — мог тратить женино приданое. Деньги — к деньгам, и Роман Щербак был удостоен («у этого деньги из рук не вырвутся») стать мужем единственной наследницы крупного хозяйства. Отец Ирины (Ори), Иван Степанович Ефимов, сын николаевского солдата, начинавший батраком, сумел сколотить немалое состояние; наследный капитал Ирина отдала мужу без дележа и условий в пожизненное пользование. «Вся сегодняшняя независимость, невылазное богатство, досужность, свободные вояжи по столицам и заграницам — всё досталось Роману от Ориного отца».

Роман Захарович (как об этом расскажет «Красное Колесо»**) в полной мере успел вкусить богатой жизни, не прикасаясь к делам экономии. «Каждый год на два месяца в Москву и в Петербург, на два месяца за границу. В Москве

* Какими преувеличенными казались слова А. И. Солженицына на украинскую тему и само «бремя» украинского вопроса и в 80-е, и в 90-е! Еще в 1982-м он писал: «Я поклялся, что ни я, ни мои сыновья никогда не пойдут на русско-украинскую войну». И гораздо позже: «Сам я почти наполовину украинец, вырос в звуках украинской речи, люблю её культуру, сердечно желаю всяких успехов Украине — но в её реальных этнических границах, без захвата русских областей. И — не в виде “великой державы”, на что украинские националисты поставили ставку: они возглашают и проявляют культ силы, настойчиво выдувают из России образ “врага”, то и дело раздаются воинственные выклики, и в украинской армии ведётся пропаганда о неизбежности войны с Россией» (1994).

** «В “Красном Колесе” — точный портрет Романа, все его претензии, весь его характер, всё точно» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2001 год).

катать на рысаках, в “Элите” на Петровских линиях брать отделение “люкс”, перебивая у иностранцев, а в Большом театре, когда уже все сидят, проходить в смокинге в первый ряд партера... В путешествиях себя особенно любил Роман. Так одеваться, чтобы даже знакомые у Нарзанной галереи тебя принимали за англичанина. А Европу поражать русской решительностью и своеобразием. В Лувре, в пурпурной круглой комнате, где Венера Милосская, но ни одного стула, чтобы никто не сидел, повелительно протянуть служителю десятифранковую бумажку: “ля шэз!” А переходя в следующий зал, показать: “Теперь — туда ля шэз, туда!”». И, конечно, белоснежный «роллс-ройс» — таких машин, по слухам, во всей России перед войной было всего девять; и Роман Захарович, выученный вождению англичанином, «сам правил автомобилем, да даже всё в нём понимал, и чинить мог, но не любил пачкаться в гаражной яме и держал шофёра».

По закону Роман считался *единственным кормильцем* и в этом качестве не подлежал воинской службе. Но — едва началась война — поползли слухи об отмене льгот, если на деле такой призывник кормильцем не является. Мысль о войне отравляла ему жизнь со всеми её немалыми удовольствиями, и он содрогался от мысли, что никчёмная бумажка, повестка воинского начальника может бросить его в грязный окоп под власть фельдфебеля.

В отличие от неведомого будущего родственника Исаакия Солженицына Роман Щербак и в страшном сне не мог представить себя добровольцем той войны. Нет, нет и нет! Дикую Россию с её чумазым бытом, с царём, над которым смеются, с безнадёжным правительством, с православием, от которого ничего не осталось, с бессмысленными постами (в них могла пройти половина жизни и непонятно, зачем с таким капиталом увечить себя) — эту Россию он не жалел. И яростно вскидывался на жену, когда та позволяла себе какие-то глухие намёки, называл её дремучей монархисткой, туполобой патриоткой: «Последняя потаскуха пожалеет толкать мужа на войну, а она...»

Но рассматривать карту военных действий, полулёжа на кушетке вкалывать и передвигать флажки воюющих государств было интересно и увлекательно; это интеллигентное занятие вполне соответствовало английскому стилю поведения, который Ромаша вырабатывал и культивировал. И только убедившись в своей надёжной защищённости от претензий военного времени, он готов был чувствовать себя патриотом и со вкусом выговаривал: «наступаем *мы*, наступают *наши*». Это — было незазорно и джентльмену.

Роман Захарович видел себя человеком критических, передовых взглядов (остальные, да и почти все в семье, были дикарями-печенегами), светлой, предприимчивой головой, каких мало в России; воображал, как он, с его непреклонностью и прямотой, будет избран представителем Кубани то ли от кадетов, то ли от социалистов... А ещё мечтал об Америке, самой лучшей, деловой, разумной стране; Америка значилась первым пунктом его большого послевоенного путешествия (если, конечно, не придётся, по капризному желанию жены, двинуться сперва на Восток — паломниками в Иерусалим, в Палестину, в Индию...).

Это он, Ромаша, настоял, чтобы, как у образованных людей, в ореховой столовой отцовского дома были вывешены портреты Льва Толстого — на одном граф косит, на другом пашет (рисовал выписанный из Ростова художник-итальянец). За отвержение исповеди и причастия, которых Ромаша особенно не терпел, был графу от него особый почёт. Ещё сильно уважал Горького — за дерзость, жёлчность, бесстрашие, за то, что наотмашь бил всякое начальство хлёстким словом, а оно, начальство, только возбуждалось от этой ругани, как от всего острого и пряного, и аплодировало «буревестнику».

Роман был готов думать и о революции, но мешал обычай социалистов грабить и отбирать законно нажитое имущество. «Единственное личное воспоминание о социализме было у Романа — от Девятьсот шестого, кость в горле, обиднейшая потеря за всю жизнь. Да если бы потеря! — с потерей можно примириться как с убытками от грозы, от засухи, от колебания цен. Потерять — не унизительно, кто не теряет! Но своими руками добровольно протянуть кровные деньги этим наглецам, этим рожам мерзавским, ни ума, ни трудолюбия не хватило б у них двадцатую долю того заработать!»

И с содроганием вспоминал Роман, как прислали отцу и другим экономистам анонимные письма с писарскими завитушками, в которых некие анархисты-коммунисты требовали пожертвовать на революционную работу по сорок тысяч с каждого имения, а иначе «наступит немедленная смерть». И всё же не мог Роман своими руками отдать всю сумму (а отец и вообще не поехал на встречу, сердце бы разорвалось) и выторговал у негодяев две с половиной тысячи. На большее решимости не хватило, хотя были и люди, и оружие. Но все вокруг только и говорили, что святой долг перед ограбленным народом отстёгивать на революцию. Захар Фёдорович очень хвалил сына за те вырванные у анархистов ассигнации...

Но чаще отец и сын жестоко ссорились, зацепляясь за любую мелочь, неделями не разговаривали, и чувствовал Захар Фёдорович от этого боль и смятение. И дело было не в белом билете, выхлопотанном для сына, — эта война и вправду была «бісова дурість». Переживание Захара почти не имело названия: «Не деньги, не имение гибло — Роман не вертопрах, нарушался главный стержень дела, душа его. Чтоб наследовать и верно вести хозяйство — душа должна продолжать душу».

А Ромаша, после повестки, боялся только одного — что по автомобильной повинности отнимут «роллс-ройс» ценой в 18 тысяч, отнимут, как отнимали коней у станичных мужиков для отправки на фронт (отняли-таки, в 1915-м, и попал белый красавец, по авторитетным свидетельствам, к великому князю Николаю Николаевичу, командующему Кавказским фронтом. Скромную отцовскую «русско-балтийскую карету» отнимет уже другая власть).

И недоумевала сестрёнка Тася (младше брата на 17 лет) — как не стыдно мужчине уклоняться от армии, когда этого требует простая порядочность. И густо стыдилась Ирина, с её яркой религиозностью и безошибочным пониманием долга, что муж, здоровый 36-летний мужчина, так откровенно манкирует обязанностями военного времени, которые для неё были не пустым звуком. И вместо героя, беззаветного и благородного храбреца, она видела рядом с собой скучного лысоватого типа, который сиднем сидел в отцовской экономии и обмирал всякий раз, когда читал в газетах об очередном призыве ратников.

...Но упорное «воздержание» Романа Захаровича от «царской» войны, которого молча стыдились не только жена, но и вся семья, оказалось, в конце концов, вполне бессмысленным. Не того — увы! — надо было опасаться и Захару Щербаку, сердитому на бездельника-сына (как на него оставлять хозяйство?), ворчавшему в иную минуту, «що не дав Господь іншого наслідныка». Мир одной из самых богатых экономий на Кубани, врасплох застигнутый войной, а потом революцией и раскулачиванием, был разрушен и раздавлен. Всё пошло прахом. У Захара Фёдоровича отняли не только кровно нажитое и с любовным тщанием устроенное состояние, но и осмысленное дело всей жизни.

Первым пепельное дыхание революции ощутил на себе как раз Ромаша — в глазах новой власти неучастие бывшего владельца «роллс-ройса» в империалистической войне отнюдь не явилось смягчающим обстоятельством. В марте 1918-го на проходившем в Пятигорске II съезде народов Те-

рска была провозглашена советская власть. Как бывший богач, Роман Захарович был схвачен и брошен в Пятигорскую тюрьму, где, скорее всего, был бы без возни и промедления расстрелян (в городе знали, что местные чекисты упражняются в стрельбе на каждом десятом арестанте). Но самоотверженная Ирина Ивановна, понимавшая, что такое долг, выкупила мужа у тюремщиков за золото и бриллианты. Сохранился документ — «Выпись из Актовой книги Ессентукского нотариуса» от 15 января 1918 года, согласно которой (за два месяца до прихода новой власти) «жена пятигорского мещанина Ирина Ивановна Щербак» оставляет, по неоспоримому духовному завещанию, принадлежащую лично ей усадьбу в станице Кисловодской и сто тысяч рублей в фонд для русских сирот. Однако «Приюту для бездомных детей имени Ирины Ивановны Щербак» (дарительница завещала, чтобы после её смерти так назывался сиротский дом) никогда не суждено было открыться. Усадьбы, миллионные состояния, дарственные завещания и гербовые бумаги очень скоро утратили силу.

«Наши метались из города в город, / С юга на север, с места на место. / Ставни и дверь заложив на запоры / И ощитивши их знаменьем крестным, / Ждали — ночами не спали — ареста. / Дядя уже побывал под расстрелом, / Тётя ходила его спасать; / Сильная духом, слабая телом, / Яркая речью, она умела / Мальчику рассказать». От тёти Иры многое узнает племянник, многое потом и увидит — как жила его несчастная родня из «бывших», как подтверждалась истина, что от сумы да от тюрьмы...

От былого богатства только и осталась у дяди Романа профессия шофёра, которой он, став водителем автобуса, кормился всю жизнь. Но проживать оседло, на одном месте, они с женой не могли — скрывались, переезжали из города в город — Новочеркасск, Таганрог, Краснодар, Нальчик, нигде не задерживаясь более чем на полгода, меняли адреса и соседей, чтобы нигде к ним не присмотрелись и не сообщили куда следует. Только в 1937-м Роман и Ирина осели в Георгиевске, куда, покинув Кисловодск, перебралась сестра Маруся с мужем Фёдором Ивановичем Гориным* и где было у

* «Это был очень интересный человек. Он женился на тёте Марусе, будучи вдовцом с тремя детьми, которые все пошли в гору — и сели потом в 37-м. Он был простой гвардеец — по росту и по службе, рассказывал, как император Николай II раздавал серебряные рубли гвардейцам. Он был твёрдых старых убеждений, простого происхождения, но совершенно ненавидел большевиков» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2001 год).

них две мазанки с общим двором и маленьким садом. В тех мазанках и приютились. Там же и умер Роман Захарович 3 января 1944 года от старости, голода и нужды и был похоронен на городском кладбище в братской могиле.

Ирина Ивановна после смерти мужа осталась одна, без детей и без средств к существованию. Она отказалась перебираться в Рязань, когда, вернувшись из ссылки, там поселился Солженицын; не хотела покидать Георгиевск, где у неё была крохотная комната-сараюшка без воды и отопления.

И — удивительное дело! В августе 1971 года навестили старую полуслепую тётушку гости, «почитатели» таланта её племянника. Трое крепких мужчин побывали у Ирины Ивановны не один раз, разговаривали неторопливо, на чистом русском языке, расспрашивали о семье, молодых годах, особенно восхищались её собственной биографией, попросили на пару часов почитать записки, которые она вела, и были таковы. Сами не вернулись и тетрадки унесли — просто украли. Вскоре в немецком журнале «Штерн» появилась склейка из воспоминаний тёти Иры, которая должна была лечь чёрной тенью на репутацию опального писателя. «Заметим, — писал Солженицын, — что город Георгиевск, в отличие от соседнего Пятигорска, глухо закрыт для иностранцев все 55 лет советской власти».

Этой публикации власти придавали столь важное значение, что о ней в режиме «совершенно секретно» докладывал председатель Комитета госбезопасности Ю. В. Андропов генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу, а составлял пересказ журнального материала начальник управления КГБ при Совете министров СССР Ф. Д. Бобков.

На страницах «Сборника секретных документов Политбюро о писателе Солженицыне» («Кремлёвский самосуд», 1994) разворачивается детективная картина, как под пером журналистов «Штерна» и их московских кураторов 82-летняя тётя Ира становится источником компромата на племянника. Корреспондент «Штерна» красноречиво описал жизнь несчастной старухи, а «Литературная газета» в январе 1972-го это описание перепечатала. «Старая, сгорбленная и почти ослепшая, но всё ещё энергичная женщина с живым умом ютится в пристройке старого крестьянского дома. Её комната 2x3 метра. Глиняный пол, покосившиеся, крашенные известью стены. Она сидит на железной кровати, над которой висит икона под стеклом и деревянный крест. Под кроватью спит её собака Дружок — дряхлая лохматая дворняга. Четверть комнаты занимает кирпичная печь, на которой стоит горшок, две металлические тарелки и мешочек

муки. “Вот видите, как я теперь живу, — говорит Ирина. — Это после 53 лет жизни при комиссарах. От государства я получаю в месяц 10 рублей да от Сани 15 рублей. Я ведь единственная осталась в живых из всех его родственников”».

Она с грустью говорила посетителям, что унаследовала от своего отца миллионное состояние, которое получил в приданое муж. Что, путешествуя за границей перед Первой мировой войной, они посетили в Штутгарте завод Даймлера и купили сигарообразную спортивную автомашину, на которой Роман собирался принять участие в автогонках Москва—Санкт-Петербург. Что дом Щербаков был обставлен как дворец, но что она не любила семью мужа, вступив в брак по воле отца.

По нормативам советской идеологии эти подробности минувшего звучали как обвинительный приговор. Этого и добивалась «Литературная газета», перепечатывая публикацию «Штерна» и помещая фотографию (украденную у Ирины Ивановны) с надписью: «В автомашине сидят Роман и Ирина Щербак и мать Солженицына Таисия». Корреспондент газеты, направленный в Саблю, обнаружил там ещё и больницу, которая разместилась в старом сельском доме другого деда, Семёна Солженицына.

Статья в «Штерне» использовала экспроприированные записки тёти Иры. «Эти записи она сделала для своего племянника, так как не могла рассказать ему обо всём во время его коротких посещений», — докладывал Бобков. Но если записи действительно предназначались для племянника, зачем же вредная тётка напихала в них столько оскорбительных замечаний? И про покойную мать, и про любимого деда, и про семью (которую Ирина Ивановна, согласно «Штерну», называет «хамской»), и про самого племянника, который «живёт, как буржуй»?

Впрочем записок тех ни племянник, ни кто-либо другой за пределами секретного ведомства так никогда и не увидел.

Ирина Ивановна могла уехать из страны вслед за высылкой Солженицына в 1974-м, вместе с его женой и детьми — её усиленно звали; возможность её отъезда была оговорена на правительственном уровне, так что препятствий в тот момент не было. Но она отказалась, боясь дальней дороги и будучи не в силах расстаться с кошками, к которым, в своём одиночестве, была привязана как к детям. И оставалась в своей мазанке под битой черепичной крышей, похожей то ли на большую собачью будку, то ли на вместительный курятник, на улице Бойко, 109, в окружении добротных кирпичных домов. И затем слабела, слепла, глохла...

Ей, по просьбе Солженицына, помогала деньгами и посылками из Москвы Е. Ц. Чуковская; их переписка сохранилась. Елена Цезаревна специально приезжала в Георгиевск, пыталась купить там комнату, но никто не продал.

В 1979-м Ирина Ивановна всё-таки попросила, чтобы племянник забрал её к себе, в Америку. Ей выслали анкеты и вызов — последовал отказ. Тогда писатель отправил в «Вашингтон пост» заметку «Империя и старуха». Это был «крохотный, но разительный пример, как имперские мужи отыгрываются на старой женщине, держат в конуре без водопровода, без уборной, без электричества, без ухода и без пенсии, и не дают мне купить ей в СССР квартиру — и не отпускают её ко мне, и даже пресекают нашу переписку с ней. Правительство великой державы не брезгует мстить 90-летней старухе за то, что её племянник не воспитался в духе марксизма». Никакой реакции.

В декабре 1979-го Солженицын отправил телеграмму в Москву, лично члену Политбюро ЦК К. У. Черненко: «Советское посольство в Вашингтоне сообщило о категорическом отказе моей единственной родственнице Ирине Ивановне Щербак в визе выехать ко мне в Соединённые Штаты. Неужели мало всего оглашенного уже позора, чтобы ещё добавить произвол над девяностолетней, слепой, глухой, скрюченной, бездомной старухой? Дайте, пожалуйста, указание, отпустите старуху, не вынуждайте меня оглашать».

Ответом было — молчание. Как оказалось, согласованное. Министр внутренних дел Щёлоков направил секретную записку в ЦК КПСС: «В связи с поручением докладываем, что телеграмма А. Солженицына рассмотрена совместно с КГБ СССР. Признано целесообразным в выезде в США советской гражданке Щербак И. И., являющейся дальней родственницей автора телеграммы, отказать. Признано также целесообразным ответа Солженицыну в связи с его обращением не давать».

Не отпустили ее и после звонка писателя в советское посольство.

Аукались бедной тёте Ире её миллионное наследство, былое богатство свёкра Захара Фёдоровича и громкая слава племянника Сани. Умирала она в Москве — туда её перевезли В. М. Борисов с друзьями, приехав за ней в Георгиевск в те дни, когда ожидалось разрешение на эмиграцию от Черненко. Вместо разрешения — получили отказ, и она зависла в столице. Так она и оказалась у Вадима Борисова, где провела остаток дней. Умерла с 3 на 4 августа 1980 года тихо,

без мучений. Весть о её смерти и похоронах пришла в Вермонт спустя три недели. «Как облегчён А. И., — писала его жена, — что она умерла не в своей одинокой конуре, а на тёплых руках, окружённая заботой, и похоронена по-христиански, в центре России, на берегу Клязьмы...»

А сам Захар Фёдорович покинул усадьбу (её экспроприировали в начале двадцатых, когда власть на Кубани перешла к красным) и доживал отпущенные годы у родных. Сначала — у дочери Маруси в Кисловодске, позже — в Гулькевичах, недалеко от Армавира, на хуторе племянника Миши, Михаила Лукьяновича: там у деда и бабки Щербаков была своя комнатка.

«...Где-то на хуторе, близ Армавира / Старый затравленный дед мой жил. / Первовесеньем, межою знакомою / Медленно с посохом вдоль *экономии* / Шёл, где когда-то хозяином был. / Щурился в небо — солнце на лето. / Сев на завалинке, вынув газету, / Долго смоктал заграничный столбец: / В прошлом году не случилось, но в этом / Будет Советам / Конец».

Так мечтал и фантазировал дед Щербак. А у Советов были насчет него свои планы: дознаться, наконец, где прячет упрямый дед своё золото, зарытое, небось, где-то в саду или в парке бывшего поместья. Комиссары не могли взять в толк, на какие шиши живут дед с бабкой двенадцать лет после разорения. «А побираюсь я. Шо люди добрые дадут, / Хто в мэнэ запрежь зароблялы гроши... / Дають. Хто хлиба, хто сальца».

В канун «бісовой войны» он нет-нет, а подумывал, что в старости отойдёт от дел, передаст хозяйство в руки наследника (мечтал о внуке), значит, нужно продержаться ещё лет хотя бы 15—20, чтоб вырастить хлопчика и дать толк, и тогда, на покое, можно будет как следует взяться за Библию, вникнуть в жития святых, пойти молиться в Киево-Печерский монастырь, а то и в Палестину. Теперь он отошёл от дел, и был внук, и была Библия, не осталось только наследства, и не было покоя. «И он, подавленный, неторопливый, / С какой-то вещей скорбью говорил. / Раскрыла Библию на повести об Иове / Его рука в узлах набухших жил. /...Сходились судьбы их, однако не совсем: / Начавши с ничего и снова став ничем, / Всё потеряв — детей, стада, именья — / Молил смиренья дед, но не было смиренья!»

Захара Фёдоровича схватили в Рождественский сочельник, с 1929 на 1930 год, когда он приехал из Гулькевичей в Ростов повидать Тасю и её сына-школьника. «Лампада кроткая светилась пред иконой. / В малютке-комнате, неровно

освещённой, / Огромный дед сидел — в поддёвке, в сапогах, / С багрово-сизым носом, бритый наголо, / Меж нашей мелкой мебелью затиснут. / Ему под семьдесят в ту пору подошло, / Но он смотрел сурово и светло / Из-под бровей навислых».

Сцена допроса матери и деда двумя чекистами будет подробно описана внуком в автобиографической поэме «Дороженька» — как пришедшие грозили взломать пол и распороть диван, как требовали у матери отдать бриллианты или золотые слитки, а она робко оправдывалась, что прошло двенадцать лет, что всё ушло в голодный год на масло, на муку... Как отняли у неё обручальное кольцо — память о муже и как отвечал дед насильникам в будёновках: «Ось, в роте є два зуба золотых — возмыть, / А золота я николы не ймав / И не ховав». И как пустился дед в рассуждения о равенстве, объясняя чекистам: «А шоб уси равны булы — / Того нэ будэ николы. / Нэ будэ нас, так будуть инши, / Ще мабуть, гирши люды, злиши...»

История «крестьянского Столыпина» заканчивалась на глазах его одиннадцатилетнего внука и заканчивалась трагически — хоть и не нашли у деда золото: «Отпущен был домой / Развалиной оглохшей, с перешибленной спиной. / Два года жил ещё. Похоронил жену. / — “Пиду к *остроголовым* подыхать / Нэ прожинут!” Огонь глаза тускнеющие облил. / “Воны мэнэ ограбылы, убылы, так нехай / На гроши на мои хочь гроб мни зроблять”. Надел поверх рубахи деревянный крест, / В дверь ГПУ вошёл — и навсегда исчез».

...К дому же, который построил Захар, судьба оказалась благосклоннее. Он пережил своего хозяина на восемь десятилетий, хотя тоже не раз стоял перед угрозой исчезновения. Здание и парковая зона были национализированы, переходили из рук в руки, одна контора сменяла другую, особняк ветшал, парк приходил в запустение. После войны здесь располагалась станция сои и клещевины, её сменил научно-исследовательский институт тракторостроения, последние два десятилетия здание использовал племзавод «Ленинский путь». В 1981 году, когда имя единственного наследника усадьбы ещё опасно было произносить вслух, дом попал в список памятников архитектуры федерального значения под названием «Дом помещика Щербака». По закону никто не имел права ни сломать его, ни перестроить, но сам вид здания красноречиво свидетельствовал о его печальной участи. Дом был заброшен, не отапливался. Оконные стёкла с витражами, старинные камины с изразцами и уникальными миниатюрами, даже батареи отопления были варварски раз-

биты. Деревянные террасы и веранды прогнили, крыша протекала, двери рассохлись.

В Новокубанске поползли слухи, что дом отдадут под казино или разберут на старинный кирпич («Кирпича-железняка звенящего сами в печах самодельных выжгли миллион штук», — гордился Захар). Многолетняя и изнурительная борьба, к которой временами подключался и сам писатель, может завершиться передачей родового гнезда Захара Щербака Свято-Покровскому храму в Новокубанске. «Я не мог бы представить лучшего использования дома и лучшей памяти Захару Фёдоровичу, в своё время известному широкодушием и щедростью... Мой дедушка, погибший в застенках НКВД, был глубоко верующий человек — нельзя придумать лучшего использования его здания, чем для храма Божьего», — писал Солженицын землякам в 1999-м.

А в 1964 году, когда писатель заезжал сюда по дороге на юг, он заглянул в дом деда инкогнито, как простой прохожий. Он помнил особняк только по рассказам матери, а впереди была работа всей жизни — «Красное Колесо». Много позже местные газеты напишут, будто жители посёлка сразу заметили странного гостя: легенда о несметных сокровищах, зарытых где-то здесь «расстрелянным помещиком Щербаком», ожила вновь. Охотников добыть клад за эти годы было немало — все окрестности изрыли! «За ним даже слежку устроили, — писали журналисты со слов старожилов. — Боялись пропустить момент, когда приезжий обнаружит-таки схрон и достанет золото. Но чужак вёл себя странно: кружил возле панской усадьбы, а то заходил в парк и подолгу стоял в тени деревьев, прислушивался к чему-то. Или на лавочке у пруда садился — что-то записывал в блокноте и опять смотрел, слушал...»

А. И. в эти россказни не верил: «Никто на меня тогда внимания не обратил; я пробыл там целый день, но никто меня в лицо не знал тогда и не засёк». Но даже если и видели его тогда новокубанцы, то догадаться, кто был тот визитёр и что он делал в старинном поместье, смогли только тридцать лет спустя. В 1994-м он снова оказался здесь. Теперь уже все знали, что приехал внук, единственный законный наследник, всемирно известный писатель. Но и в этот раз он ничего не увидел — не пустили, дескать, дом заперт, а ключ потерян.

А просто была там такая мерзость запустения, что постыдились открывать и показывать. И остался для наследника дедов дом таким, каким он был в августе 1914-го, в пору своего расцвета и своей славы.

Глава третья

САНЯ ЛАЖЕНИЦЫН: ГЕРОЙ И ПРОТОТИП

Судьба Солженицына не скупилась посылать ему знаки — они всю жизнь чувствительно напоминали о Замысле и Промысле. Несомненный знак можно видеть и в том, что оба деда, многодетные крестьяне, ценившие смекалку и труд, но не слишком доверявшие книжной образованности, сделали исключение для своих младших детей: Семён Солженицын для Исаакия, Захар Щербак для Таисии — родителей писателя. Высоко оценивая поступок своего деда в отношении младшего сына, А. И. пишет: «Всё та же дремучая легенда, что в России учиться могли только дети богачей, а в России учились многие тысячи "медногрошёвых" и многие — на казённое пособие».

Исаакий и Таисия были первыми интеллигентами среди крестьян Солженицыных и Щербаков. «Я в семье — первый, кто учился», — говорит в «Августе Четырнадцатого» Саня Лаженицын. Старшие дети Семёна Ефимовича, братья и сёстры Исаакия, кроме земли, домашнего скота и овец, ничего не видели и не знали, навсегда приняв крестьянский жребий, участь станичных простолюдинов. Да и Исаакий был отпущен учиться в пятигорскую гимназию на год позже, чем надо, и после неё отец целый год держал сына при себе, в степной работе, не понимая, зачем нужен ему ещё какой-то университет.

О гимназических годах Исаакия Солженицына написали уже местные краеведы: «Подросшего младшего сына отец Семён Ефимович отдал в Пятигорскую гимназию, учреждённую в 1905 году. Мальчик жил на частной квартире, продукты ему еженедельно привозили из Сабли на бричке. Товарищи называли его по-горски: Исса. Он посещал обязательные для учеников службы в гимназической церкви и Спасском соборе, участвовал в ежегодных крестных ходах к монастырю на склонах Бештау, поднимался в открытом со всех сторон трамвайчике к Провалу. В старших классах украдкой от гимназического начальства ходил в открывшиеся в те годы "биоскопы" (кинематографы): "Морское дно", "Колизей", "Лира", смотрел скачки, а может быть, и сам джигитовал, словом, взрослел в атмосфере тогдашней пятигорской жизни с её кавказским колоритом. На гимназической площадке, устроенной директором гимназии, для всего города проводились спортивные "сокольские игры". После выпуска — а он был первым в гимназии — состоялась и традиционная пирушка с товарищами-горцами из Кабарды и

Карачая, армянами, сыновьями казаков из окрестных станиц и “тавричан” (богатых землевладельцев). Конечно, танцевали лезгинку. Местный фотограф Раев сделал на большом картоне снимок выпускников с учителями».

В тот «лишний» год не раз пытался сын перебороть отцовскую волю и вырваться из степи, порой отчаивался — бесполезно. «Но как быки сдвигают тяжесть не урывом, а налогом, так Исаакий брал с отцом: терпеливым настоянием, никогда сразу» («Красное Колесо»). В 1911 году (тогда-то и была им взята в консистории копия с метрического свидетельства) он таки поступил в Харьковский университет, на историко-филологический факультет, где сразу подавленно ощутил свою серость и дремучесть. Проучившись всего год, учёбу, однако, не бросил и даже дерзнул продолжать образование в Москве, переведясь на второй курс столичного университета, где отставание могло ведь быть заметно ещё сильнее, чем в Харькове. И учился вплоть до войны, до августа 1914 года.

...Много раз в течение своей жизни сокрушался А. И. Солженицын, что в молодости, пока были живы все, кто знал отца, ему как-то недосуг было порасспросить их с пристрастием. Но таково уж свойство юности — человек занят своим собственным ростом, самоустоянием. Кое-что знал от матери, но в её рассказы углублялся не слишком да и слушал вполслуха, просто принимая к сведению.

«Растёт ребёнок, потом мужает — и кажется ему стержнем жизни его собственное существование, а родители как бы приложением. Многие ли жадно расспрашивают родителей о подробностях и извивах их жизни? Это всё — уже прошлое, а главное время существования наступает ведь только теперь. Не много искал Глеб узнать о рано умершем отце, никогда им и не виданном». Так объясняет невнимание к семейному прошлому автобиографическая повесть Солженицына «Люби революцию»: Глеб Нержин наследует от Сани Солженицына сюжет судьбы — о безвременно погибшем отце.

Спохватится писатель много позже, когда фигура отца, студента и офицера, явственно определится как центральная для «Красного Колеса», но когда уже не будет в живых матери, да и родня отца сильно поредеет. В течение одного года не станет старика Семёна Ефимовича, его среднего сына Василия (уже имевшего троих детей), дочери Анастасии (ей не было и тридцати) и самого Исаакия. Два оставшихся брата, Константин Семёнович и мачехин сын Илья Семёнович, записанный по документам как Салжаницын, продол-

жали крестьянствовать в Сабле до самого прихода коллективизаторов.

Но сгинет в 1929-м в ГУЛАГе старший брат Исаакия Константин Семёнович Солженицын: по сведениям, собранным родственниками, он похоронен на Урале (Верхнекамский округ, Чердынский район, деревня Гашково), попадут под раскулачивание его уже взрослые дети. Сошлют и семью Ильи Семёновича, всю целиком, — из Саблинского попадут они на Север, в Архангельскую губернию. Оттуда, после ссылки, возвращаться на юг поостерегутся и уедут на Енисей, в Красноярский край, и уже только в оттепельные времена окажутся в Запорожье.

Из сохранившихся документальных свидетельств, из рассказов матери, осевших в памяти, из затёртых студенческих фотографий, из архивных разведок (будут найдены в Военно-историческом архиве в Лефортове сведения о воевавшем на германском фронте Исаакие Солженицыне и его офицерская записная книжка), из расспросов уцелевших родных (муж покойной Анастасии Семёновны Михеев ещё в 1956 году помнил брата своей первой жены) автор «Красного Колеса» по крупицам составит портрет героя, Сани Лаженицына, в котором любовно и романтически запечатлеет отца.

«Я, конечно, во многом его реконструировал, но художественная реконструкция исходила из общего ареала характера, в соответствии с поступками», — скажет автор много лет спустя. Солженицын знал от родных, что юношей отец прошёл через увлечение толстовством и был степенным, серьёзным гимназистом, серьёзным настолько, что никогда не танцевал на ученических балах. «Саня говорил, что объятия вальса создают желания, ещё не подготовленные истинным развитием чувства, и граф Толстой полагает в этом дурное».

«Тема толстовства известна от мамы, от дяди Ильи, от тёти Иры Щербак — о том, что отец был настроен как толстовец... Он после гимназии действительно ездил к Толстому, так что этот визит (Сани Лаженицына. — *Л. С.*) у меня не придуман. Но поскольку я отца своего никогда не видел, то и о чём он говорил с Толстым — не знаю. Я весь разговор пытаюсь воссоздать, своему отцу вкладываю своё мнение».

...Лев Толстой появляется как исторический персонаж романа «Август Четырнадцатого» в яснополянском парке, на утренней прогулке. В первые дни августа 1909 года к великому человеку приходит гимназист Саня Лаженицын и видит писателя, седоволосого и седобородого, в длинной рубахе с пояском, идущим по липовой аллее. С колотящимся

сердцем и спёкшимся горлом, едва сумев прорваться сквозь нахлынувшую немоту, гимназист задаёт вопрос, ради которого столько ехал, потом долго шёл, продирался сквозь заросли парка, не осмеливаясь войти в усадьбу с парадного входа:

«Какая жизненная цель человека на земле?»

И слышит ответ: «Служить добру. И создавать Царство Божие на земле».

Но ЧЕМ служить? Любовью? Непременно — любовью?

«Конечно, только любовью», — отвечает Толстой.

И тогда степной мальчик, осмелев, горячится — не преувеличивает ли писатель силу любви, заложенную в человеке? Может быть, предусмотреть какую-нибудь промежуточную ступень и сначала хотя бы пробудить людей ко всеобщему благожелательству? «Потому что, как я наблюдаю, вот на нашем юге, — всеобщего взаимного доброжелательства *нет,* Лев Николаич, *нет!*» А ведь если любовь не так сильна в людях, то и учение может оказаться очень-очень преждевременным...

Но Толстой, будто обидевшись за свою истину, настаивает: «Только любовью! Только. Никто не придумает ничего верней».

Но как понять добро? — не унимается гимназист: «Вы пишете, что разумное и нравственное всегда совпадают... А зло — не от злой натуры, не от природы такие люди, а только от незнания...» Но он уже успел своими глазами повидать, что зло — не от незнания, зло — и не хочет истины знать. И клыками её рвёт. Большинство злых людей как раз лучше всех и понимают. А — делают.

С глубоким вздохом Толстой отвечает юноше: «Значит — плохо, недоступно, неумело объясняют. Терпеливо надо объяснять. И — поймут. Все рождены — с разумом».

Саня долго смотрит вслед кумиру, обожаемому старику, и сокрушается, что так и не понял, как же служить Царству Божию на земле.

Через год после той встречи Толстого не станет.

Ещё через год гимназист уже будет студентом.

...В каникулы между университетскими курсами Исаакий, которого родители и вся родня называли Саней, приезжал домой, попадая в Саблю как раз в страду, и от сельских работ нисколько не отлынивал, трудился истово, как заправский крестьянин, а не городской белоручка. И тогда ещё обиднее понимал отец, что, отпустив парня учиться, совершил ошибку непоправимую и, в общем, потерял сына; оставить учёбу, однако, не потребовал ни разу.

А Саня любил родную станицу и отцовский хутор в девяти верстах от неё. Каждую станцию Северо-Кавказской железной дороги знал в лицо и мог наизусть их перечислять с полустанками от Прохладной до Ростова и обратно. В Нагутской жила замужняя сестра Евдокия (по мужу Карпушина), в Курсавке — другая сестра, Анастасия Михеева.

Но год харьковский и два московских, с тех пор как узнал он настоящую, лесную Россию, ту, что начинается к северу от Воронежа, ту, которую он увидел на станции Козлова Засека, близ Ясной Поляны, сильно пошатнули его привязанность к родному дому. К тому же теперь это был всецело мачехин дом; старшие братья и сестры отделились, чужеватым казался и отец.

Но что бесповоротно отделяло Исаакия от хутора, от крестьянского детства и делало невозможным возврат в семью и в село, так это студенческая фуражка, учение. Во всей станице студентов было всего двое, над ними подсмеивались, их разговоры казались здесь дикими и странными. Даже получать откуда-то письма здесь считалось нескромным, почти неприличным, а телеграмма, приди она сюда каким-нибудь случаем, разорвалась бы как бомба. «Одно было приятно Исаакию: станичная молва почему-то отделила его от другого студента и назвала с издёвкою же — *народником*... Народников давно уже в России не было, но Исаакий, хоть никогда б не осмелился так представиться вслух, а понимал себя, пожалуй, именно народником: тем, кто ученье своё получил для народа и идёт к народу с книгою, словом и любовью».

Но чем дальше, тем меньше его жизнь на хуторе и его жизнь в университете находили точки пересечения.

Саня не только жил, чувствовал, думал, он и верил уже иначе, чем все вокруг. Детская безотчётная вера, посты и праздники, стояние у всенощной уходили прочь. Сабля, как и вся округа, как и весь Северный Кавказ, кишела сектами — молоканами, духоборами, штундистами, свидетелями Иеговы. В секте состояла мачеха Марфа Ивановна. Нетвёрд насчёт церкви был уже и отец, и вообще споры о разных верах были здесь излюбленным занятием в досуг. Захаживал в секты и Саня, в самые разные, особенно к духоборам, вслушивался в толки и споры.

Сумятица умов, однако, была не только в Сабле, но уже и везде: в городах образованные люди не понимали ни себя, ни своей веры, ни друг друга. Сане было только десять, когда всю образованную Россию взбудоражило сообщение — оно не могло не обсуждаться среди учителей пятигорской гимназии — об отлучении Толстого от Церкви, об отпаде-

нии писателя от становой народной веры. В газетах цитировалось определение Святейшего синода про то, что Толстой отрёкся от вскормившей его Церкви Православной и посвятил данный ему от Бога талант на распространение учений, противных Церкви, и на истребление в сердцах людей веры отеческой, которою спасались предки и которою доселе крепка была Святая Русь. Толстой не признавал таких оценок — газеты взахлёб писали и об этом. «Постановление Синода произвольно, — утверждал писатель, — потому что обвиняет меня одного в неверии во все пункты, написанные в постановлении, тогда как не только многие, но *почти все образованные люди разделяют* такое неверие и беспрестанно выражают его и в разговорах, и в чтении, и в брошюрах, и в книгах».

Выходило так, что не просто один, пусть и крупный писатель утратил веру или верил не так, как надо, а вместе с Толстым вся Россия ушла в раскол: *Россия благочестивая* отторглась от *России мыслящей*. Но даже и внутри древнего благочестия виделись признаки духовного неблагополучия. Оказывается, можно было числиться в Церкви, утратив веру, можно было даже молиться и поститься, но не видеть в этом никакого смысла. Обман казался тем страшнее, что исходил не только от людей, пропивших веру в ночных заведениях, но и от добропорядочных, образованных русских граждан, зачастую имевших и авторитет, и власть, и даже сан. Вера в Бога и в бессмертие души не вписывалась отныне в понятия «прогресс», религиозное просвещение не справлялось с веяниями времени.

Как и многие сверстники-студенты, Исаакий запутался в изобилии истин, измучился от убедительности каждой из них: «Пока было мало книг в руках, Исаакий твёрдо и хорошо себя чувствовал, с седьмого класса он считал себя толстовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским — как будто правильно, очень верно! Плеханова дали — опять-таки верно, да гладко, да кругло как! Кропоткин — тоже к сердцу, верно. А распахнул “Вехи” — и задрожал: всё напротив читанному прежде, но — верно! пронзительно верно! И стал брать его от книг — страх, не прежняя почтительная радость: что никак он не научится автору противостоять, что увлекает и подчиняет его каждая прочитанная книга».

Но всё же в толстовстве, которое надолго отодвинуло в нём все разноверия, он сумел разобраться самостоятельно и преодолеть его какое-то время спустя после смерти основателя учения. Толстовская максима, которой хотелось довериться и подчиниться всецело, требовала одной лишь прав-

ды. Но Саню она почему-то сразу же привела к неправде: став вегетарианцем, он не мог объяснить родным, что делает это по совести («позор и смех поднялся бы и по семье и среди станичных»). «Пришлось начинать со лжи, что не есть мясного — это медицинское открытие одного немца, обеспечивает долгую жизнь. (А на самом деле, накидавшись снопами, тело до дрожи требовало мяса, и ещё самого себя надо было обманывать, что довольно картошки и фасоли.)».

Не смог сказать правды он и в начале августа 1914-го, когда вдруг сорвался дней за двадцать с летних каникул, сочинив, что едет в Москву прежде сентября на университетскую практику. Простодушный отец поверил — и отпустил. Матери же (будь она жива, сердцем бы почуяла неладное) Исаакий почти и не помнил.

А война, которую 19 июля 1914 года Германия объявила России, шла уже три недели. Петербург встретил объявление войны грандиозными демонстрациями, волной немецких погромов. Толпа разгромила посольство Германии на Исаакиевской площади, немецкие магазины, кафе, редакцию немецкой газеты «Petersburger Zeitung» на Невском проспекте. «Бойкот всему немецкому!» — призывали демонстранты. В губернских городах развевались национальные флаги, устраивались шествия и манифестации с царскими портретами во главе. Общественные и сословные учреждения, торгово-промышленные организации и частные лица жертвовали деньги на оказание помощи семьям призванных «запасных» и ополченцев. На антинемецкой волне было принято решение о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград.

В Сабле же война почти не чувствовалась — её не обсуждали и споров о ней не вели (что толку спорить о снежном буране или пыльной буре?), а немцев-колонистов, как на всём Северном Кавказе, здесь уважали. Призвали на службу «запасных», отогнали в уезд коней, и теперь окончательно стала Саблинская станицей не казацкой, а кацапской. Газет здесь не читали, да они сюда и не попадали. В церкви огласили царский манифест, потом вывесили его на церковной площади — так узнал о войне Исаакий Солженицын. Из семьи на фронт не взяли никого: он сам как студент имел право на отсрочку до весны 1916 года, до окончания курса; Константин вышел из возраста (уже его сын служил действительную), у Василия была покалечена рука — не хватало пальцев, Илья только что закончил первый класс пятигорской гимназии.

...Вглядываясь в тот роковой для России август, Солженицын видел своего отца крепким, загорелым двадцатитрёх-

летним юношей, с голубыми глазами и пшеничными волнистыми волосами, с коротко подстриженными русыми усами и еле зачинающейся бородкой. Не одно только воображение — сама логика вещей рисовали пыльную дорогу по степи, тридцать пять верст от Саблинской до Минеральных Вод, к железнодорожному вокзалу, откуда уходили поезда на Москву. Этот путь своими глазами увидит двенадцатилетний Саня Солженицын летом 1930 года, когда в каникулы мать привезёт его на родину отца.

А тогда, в 1914-м, ведь должен же был кто-то спросить у Сани Лаженицына: куда и зачем он едет за три недели до начала учёбы? Так на перроне оказывается Варя, знакомая гимназических лет, теперь петербургская курсистка (толчок к сюжету дала всамделишная Варя, жительница подмосковного Бутова, которая, несмотря на преклонный возраст, сопоставила фамилии и позвонила писателю, едва появился в печати «Один день Ивана Денисовича». Оказалось, она и в самом деле знала Исаакия Солженицына во времена его учёбы в пятигорской гимназии, дружила с ним, помнила его).

...И вот Варя, по праву совместных гуляний на городском бульваре Пятигорска и недолгого обмена умными письмами, спрашивает: «Куда? Зачем?»

И смущённый Саня, как мог, смягчает ответ: «Н-не сидится... на хуторе...» Но не только не смягчил, а даже ужаснул барышню нелепостью предположения:

— Да вы... не... ужели... до-бро-вольно?..

То реальное (а не придуманное) обстоятельство, что отец, студент-филолог Московского университета, недавний толстовец, имевший все основания уйти от военного призыва и сидеть в библиотеках вплоть до весны 1916-го (вот потом можно было и в военное училище пойти*), глубоко волновало Солженицына-сына и требовало непростых объяснений. Но и тут не нужна была реконструкция, ибо загадка имела точную разгадку — она называлась «патриотизм».

Та самая пятигорская Варя, взбудораженная на минераловодском перроне нелепой новостью, никак не может понять, что случилось и со страной, и с Саней. Всего месяц

---

* В «Октябре Шестнадцатого» друг Сани Лаженицына Константин Гулай, уже поняв, в какую мясорубку они попали, скажет в сердцах: «Сами мы с тобой дураки. Какой леший нас добровольно тянул на войну в первые же дни? Прекрасно бы мы сейчас уже кончили Московский университет, теперь бы и в училище! Вот это и обидней всего: сами полезли. Что уклониться было нельзя, повременить нельзя — глупости это всё. Сами себе придумали...»

назад никакой мыслящий человек в России не сомневался, что русский царь — презренная личность, достойная лишь насмешки. Что же изменилось? Зачем Саня (она готова была любить его и томительно звала хоть сейчас поехать вместе) лезет в гибельный водоворот? Чего он ждёт от этой войны — после десятилетий гражданского поиска, демократических идеалов, народолюбия, толстовства, наконец, которое уж точно не могло бы одобрить участия в европейской бойне, да ещё добровольного? Где же его принципы, последовательность? Его пацифизм? Так поддаться тёмному патриотическому чувству, которое ещё месяц назад значило только одно — *черносотенец!*

Ничего не смог выставить в ответ Саня, кроме невнятного: «Россию... жалко...»

И томность в барышне-курсистке тает в момент, и взрывается она, будто ужаленная: «Россию? Кого Россию? Дурака императора? Лабазников-черносотенцев? Попов долгорясых?»

Добровольного ухода на войну не могли бы — он это твёрдо знал — понять и в станице. Не одобрил бы этого и Толстой — так что в его решении была несомненная измена учителю. Но демократические и непротивленческие аргументы не оставляли России ни единого шанса, и через тёмную бездну, над которой повисла страна, не было ни одного моста. «И беззащитно почувствовал Саня, что *эту* войну ему не отвергнуть, не только придётся идти на неё, но подло было бы её пропустить — и даже надо поспешить добровольно». В решающий момент истории учение Толстого о служении добру любовью не срабатывало, но срабатывала сама любовь — к стране, которую жалко.

Как герой Солженицына (в 1914-м), так и сам Солженицын (в 1983-м), писавший «Красное Колесо» целых полвека, продолжает спор с Толстым по поводу центральной категории христианской веры. «Что любовь всё спасёт, — это христианская точка зрения, и абсолютно правильная. И Толстой говорит в соответствии с нею. Но возражение моё состоит в том, что в наш Двадцатый век мы провалились в такие глубины бытия, в такие бездны, что дать это условие: “любовь всё спасёт” — это значит: вот сразу прыгай аж туда, сразу поднимись на весь уровень. Мне кажется, что это практически невозможно. Я думаю, что надо дать промежуточные ступеньки, по которым можно как-то дойти до высоты. Сегодняшнему человечеству сказать: “любите друг друга” — ничего не выйдет, не полюбят. Не спасут любовью. Надо обратиться с какими-то промежуточными, более уме-

ренными призывами. Один из таких призывов Саня Лаженицын высказывает: хотя бы не действовать против справедливости. Вот как ты понимаешь справедливость, хотя бы её не нарушай. Не то что — люби каждого, но хотя бы не делай другому того, чего не хочешь, чтоб сделали тебе. Не делай такого, что нарушает твою совесть. Это уже будет ступенька на пути к любви. А сразу мы прыгнуть не можем. Мы слишком упали».

Быть может, это самый будоражащий вывод Солженицына из истории XX века. Ощущение *безмерности* ужасов минувшего столетия парадоксально требует *промежуточной* христианской проповеди. Но почему же заупрямился великий старец, кумир русской интеллигенции, тогда, в 1909-м, и на аргумент ставропольского гимназиста ответил так, как ответил? Может быть, потому, что ссылки на жестокий век, который тогда только начинался, его заведомо не убеждали? И тогда нельзя отделаться от вопроса: отменяет ли плачевный итог XX века универсальность и абсолютность Нагорной проповеди? Или заповедь любви относительна и работает только при терпимом уровне зла? Но ведь на протяжении двадцати веков христианства уже были периоды сгущения зла — свирепствовала инквизиция, лютовала эпоха Ивана Грозного, применялись казни с копчением и четвертованием при Петре I. И Христос пришёл не к праведникам, а к грешникам, в мир больной и падший, и казнили Его при безумном Тиберии.

«Жизнь наша до такой степени удалилась от учения Христа, — писал Толстой в 1884 году, — что самое удаление это становится теперь главной помехой понимания его». Он, из своего времени, несомненно подписался бы под словами Солженицына 1993 года: «Затмилась духовная ось мировой жизни». Но изменил бы Толстой свою точку зрения, доживи он до 1917 года, когда убивали миллионами, *сами друг друга*? — вот вопрос, мучивший Солженицына. Оспорил бы Толстой тезис о постепенности, о *промежуточных* ступеньках, об *умеренных* призывах потому, что «мы слишком упали»? Стоял бы между дерущимися насмерть сторонами и твердил бы: «Любите друг друга»? Ведь Христос Толстого понимал своё учение не как далёкий идеал человечества, исполнение которого невозможно, не как фантазии, которыми он пленял простодушных жителей Галилеи. Христос Толстого понимал своё учение как дело, которое спасёт человечество, и он не мечтал на кресте, а страдал и умер за своё учение: «И так же умирали и умрут ещё много людей. Нельзя говорить про такое учение, что оно — мечта».

...Мысли и споры о Толстом сопровождали Саню Лаженицына всю войну. Но сначала, в августе 1914-го, он ещё прощался с Москвой, да не один, а прихватив с собой Костю, друга-ростовчанина, университетского сокурсника, к которому заехал по пути из дому, и подал идею, а тот с ходу согласился*. И теперь они вместе оформлялись в Сергиевское училище тяжёлой артиллерии**, и кружили по городу — живому, весёлому, нарядному, ничуть не рыдающему и не траурному.

И снова ему посылается встреча, и снова вспыхивает разговор о Толстом — на этот раз в пивнушке, где сидят обычно многими часами и открывают душу до донышка (извечный русский трактир «Столичный город»!). Здесь, за неспешной трапезой с другом Костей и знакомцем по Румянцевской библиотеке Пал Иванычем Варсонофьевым (через него просвечивает образ философа и правоведа, раскаявшегося кадета и защитника нравственных святынь Павла Ивановича Новгородцева), по прозвищу Звездочёт (сами ему они это имя и сочинили), и додумывает Саня главный пункт несогласия с Толстым.

Если государство — это перевёрнутая телега, то не пора ли её на колеса поставить? А не бросать, как рекомендует Толстой. А иначе получается: спасай каждый сам себя: «Толстовское решение — не ответственно. И даже, боюсь, по-моему... нечестно... Вот это нежелание тянуть общую телегу — меня самое первое в Толстом огорчило. Нетерпеливый подход». И как-то неожиданно, будто отвечая на его невысказанные мысли, библиотечный старик утвердил вывод в обход всякого толстовства: «Когда трубит труба — мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы — для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну».

---

* «Константин Гулай — придуманное имя. Его я рисую со своего друга Виткевича, отношения с ним даю, какие у нас были» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2001 год).

** Где на самом деле учился И. С. Солженицын с августа 1914-го по осень 1915 года и где получил офицерское звание подпоручика, выяснить не удалось: не осталось ни документов, ни упоминаний. Это, по военному времени, могли быть специальные курсы, могли быть и годичные военные училища. Сергиевское военное училище, одно из трех училищ Михайловской артиллерийской академии в С.-Петербурге, выбрано как примерный тип военного учебного заведения. К тому же в Ленинградском артиллерийском училище (с временной дислокацией в Костроме) обучался в течение шести месяцев 1943 года и сам писатель. (Из пояснений А. И. Солженицына, 2006 год).

...Война Сани Лаженицына проходила в белорусских лесах — меж панской Голубовщиной и крестьянским Дряговцем, где стояла 3-я батарея 1-го дивизиона 1-й Гренадёрской бригады. Эти места стали для него дороги, как родина, «и привык он к каждому кустику, бугорку и тропочке нисколько не меньше, чем вокруг своей Сабли».

То же самое напишет Солженицын о своём чувстве к ильменьским болотам, первой своей передовой: только изведав на себе, как привязывается человек к территории своего внезапного мужества, своего возможного подвига или завтрашней могилы, он перенесёт те чувства на отца. Подробности же военных будней — как подпоручик Исаакий Солженицын да несколько батарейцев на позиции разбрасывали руками загоревшиеся зарядные ящики и как получили за это по Георгиевскому кресту (а армейская дума утвердила подпоручику также офицерского Георгия) — всё это было взято писателем из фондов Центрального военно-исторического архива в Москве.

«Я, — рассказывает Солженицын, — понял всё о Гренадёрской бригаде, где она стояла, кто там был командир, когда и какие именно командиры сменялись, в “Красном Колесе” даны точно все истинные фамилии и все истинные даты. Потом, когда я узнал, где находится этот Дряговец, где — Голубовщина, место стояния бригады близ фольварка Узмошье, я всё обошёл своими ногами, везде был, эти места прошёл во время войны, но не знал, что здесь и отец воевал, и только потом связал одно с другим. Побывал на месте событий в 1966-м. Военная профессия отца соответствует действительности, я взял из приказа, использовал боевую и административную документацию, списки личного и конного состава, полевые книжки офицеров, каждую кроху».

Но помимо загоревшихся снарядов и иной военной рутины, которая попадает в отчётность и оседает в архивах, были ещё моменты жизни, никакими отчётами не учтённые. Что мучило подпоручика Лаженицына в минуты отдыха или фронтового затишья? Ключевая фигура здесь — бригадный батюшка (автор «Красного Колеса» только и знал, что такой батюшка реально существовал). О чём может говорить с армейским священником батарейный подпоручик? Конечно, о жизни и смерти, о вере и неверии. Не «что делать?» или «кто виноват?», а «како веруеши али вовсе не веруеши?». Ибо только это, вместе с неизбежным «зачем?» — о цели и смысле, — и есть вековечные (а не «проклятые»!) русские вопросы.

Здесь — центральный пункт зрелой религиозной философии Солженицына, ядро его богословских переживаний, в диалоге и с Толстым, и с исторической церковью. Тот факт, что он отдаёт свои духовные вопрошания 25-летнему артиллеристу, недоучившемуся студенту (который, правда, много читал и даже стихи пописывал), и ему же поручает ответы, требует комментария — о возрастной и интеллектуальной компетентности героя (и его прототипа). По силам ли карамазовские вопросы робкому южному парубку, вытягивают ли громаду разговора «два существа в беспредельности», когда беспредельность — это война, ночь, землянка?

Но ведь и сочинившему «Великого инквизитора» Ивану Карамазову тоже всего двадцать четыре, и он всего только вчерашний универсант. Алёша Карамазов даже гимназического курса не кончил; бросил учёбу за год до завершения. А исключённый из университета Шатов — и вообще «никто»: ходит в лавку к купцу, счета ведёт. Русские мальчики, если поймали минутку, толкуют не иначе как о мировых вопросах: есть ли Бог, есть ли бессмертие? «И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас, в наше время».

Так и подпоручик Лаженицын в летучем разговоре с соседом по землянке, приятелем и таким же взводным командиром, как он сам, дерзает иметь мнение о вине «национальности», распявшей Христа. «Думаешь — *мы* бы не распяли? Если б Он не из Назарета, а из Суздаля пришёл, к нам первым, — мы б, русские, Его не распяли?.. Да *любой* народ отверг бы и предал Его! — понимаешь? Любой! — И даже дрогнул. — Это — в замысле. Невместимо это никому: пришёл — и прямо говорит, что он — от Бога, что он — сын Божий и принёс нам Божью волю! Кто это перенесёт? Как не побить? Как не распять? И за меньшее побивали. Нестерпимо человечеству принять откровение прямо от Бога. Надо ему долго-долго ползти и тыкаться, чтобы — из своего опыта будто».

Говорил взводный так, будто речь шла о сегодняшнем событии.

И вот забредший на ночлег гость, отец Северьян, по дороге в штаб бригады из второй батареи, где безуспешно пытался причастить умирающего бойца, старообрядца из мужиков. Саня понимает, почему так удручён и подавлен священник. Служба в век маловерия, с исповедью и отпущением грехов, когда нужно навязываться, искать неунизительные для обряда и приемлемые для человека слова, и если тот оттолкнёт руку, опять приступать, и все слова заново

выговаривать... Тяжко отпускать душу, которая в тебе не нуждается, тяжко слышать в ответ: чем же вы меня напутствуете, когда у вас у самого благодати нет? А священник не имеет права ни отступиться, ни подступиться...

Не возмущённо, а просто-таки убито говорит отец Северьян. «Мусульманам — мы присылаем муллу. А старообрядцам своим, корневым, русским — никого, обойдутся. Для поповцев — один есть, на весь Западный фронт. Тело их — мы требуем через воинского начальника. Россию защищать — тут они нашего лона. А душа — не нашего».

И, оказывается, попадает батюшка (тоже ведь ещё молодой человек, лет тридцати пяти) в самую точку боли своего ночного собеседника. Когда-то успел и он измучиться страшной церковной историей. О том, как приказывала царица Софья сжигать староверов, отвергающих причастие. И затем сжигать тех, кто покорился причастию. О том, как несогласным отрывали нижнюю челюсть, чтобы засунуть в глотку *истинное* причастие. И люди, не дожидаясь кощунственного насилия над собой, боясь своей слабости, сжигались сами. «И свои же церковные книги мы толкали в тот же огонь — кем же и мниться им могли, как не слугами антихристовыми? И — как через это всё теперь продраться? Кому объяснить?»

Горит душа подпоручика за правду, за несчастную русскую историю. Со старших классов гимназии горит, когда эта история тяжёлым комом входила в ум и в душу. Алексей Михайлович, царь Тишайший, задабривал подарками магометанского султана, чтобы тот ускорил изничтожение одних православных другими, и это был мор на лучшую часть народа. Неужели православие порушилось бы от перемены подробностей обряда? Ведь равнодушным, корыстным было всё равно, что́ проклинать — двуперстие или трёхперстие. А тем, в ком колотилась правда, кто не соглашался, выход был один — быть уничтоженным или бежать в леса.

Так и Василий Розанов в начале века писал, что «допросы» к православию возникают только у людей едкого, нервного ума, *потревоженного духа*. И получалось, что «правильное», официальное христианство держится... холодностью, равнодушием. «Страшное дело: “стойте, не шевелитесь, — *не горячитесь, главное — не горячитесь*: иначе всё рассыплется”, — вот лозунг времён, лозунг *религии, Церкви!..* От этого выходит, что “впадали в ересь” все “горячо веровавшие”: поразительная черта в христианстве!»

За что же — мучительно недоумевал Саня Лаженицын, — лучшие русские силы были загнаны в подполье, в ссылку, в

огонь? А доносчикам выплачивались барыши с продажи лавок и вотчин? Зачем Церковь теребила государство и требовала ужесточений, едва только само государство смягчало гонения староверов? И снова, будто речь шла о делах его дивизиона, об исходе завтрашней операции, лез подпоручик в самое пекло спора: «Как же мы могли истоптать лучшую часть своего племени? Как мы могли разваливать их часовенки, а сами спокойно молиться и быть в ладу с Господом? Урезать им языки и уши! И не признать своей вины до сих пор?»

И не от нераскаянной ли этой вины, не от того ли, что стоит Церковь на неправоте, и все нынешние беды России?

Как-то слишком уверенной, слишком заученной казалась ему ответная реплика собеседника: Христова Церковь не может быть грешна. Бывают ошибки иерархии. «Церковь сохранялась, сохраняется непоколебимо и неизменно там, где неизменно хранятся таинства и духовная святость — никогда не искажается и никогда не требует исправления. Она... не признаёт над собой ничьей власти, кроме собственной, ничьего суда, кроме суда веры (ибо разум её не постигает)», — писал и Алексей Хомяков.

Но уже не раз слышал Саня такую мысль и никогда не принимал её: «Вот этого выражения никак не могу понять: Церковь — никогда ни в чём не виновата! Католики и протестанты режут друг друга, мы — старообрядцев, — а Церковь ни в чём не грешна? А мы все в совокупности, живые и умершие за три столетия, — разве не русская Церковь? Я и говорю: все мы. Почему не раскаяться, что все мы совершили преступление?»

Усталый, удручённый батюшка начинает всматриваться в любопытного офицерика. Кто же он сам-то, из каких «сект», и сам ли дошёл до всего? Кто наставил? Толстой? Но подпоручик уверяет, что уже давно не толстовец. Да и был ли им по-настоящему? Ведь Толстой отвергает обряд начисто — иконы, свечи, ладан, водосвятие, просфоры, церковное пение, а Саня любит это всё с самого детства. Но всего отчётливее чувствовал он своё несогласие с Толстым, когда крестился, когда рука сама тянулась ко лбу и груди, когда чувствовал, что креститься — ещё до рождения было в нём. А Толстой велел не считать изображение креста священным, не поклоняться ему, не ставить на могилах, не носить на шее. Но без креста — Саня и христианства не чувствовал.

Это-то и подняло занемогшего было отца Северьяна, обнадёжило, что не совсем истаяла вера: «А вам не приходило

в голову, что Толстой — и вовсе не христианин?.. Да читайте его книги. Хоть "Войну и мир". Уж такую быль богомольного народа поднимать, как Восемьсот Двенадцатый — и кто и где у него молится в тяжёлый час? Одна княжна Марья! Можно ли поверить, что эти четыре тома написал христианин? Для масонских поисков места много нашлось, а для православия? — нет. Так никуда он из православия не *вышел*, в поздней жизни, — никогда он в православии *не был*. Пушкин — был, а Толстой — не был. Не приучен он был с детства — в церкви стоять. Он — прямой плод вольтерьянского нашего дворянства. А честно перенять веру у мужиков — не хватило простоты и смирения».

Вполне мог бы ответить священнику студент-филолог, что точно так же, и точно за тó же упрекали Достоевского. А уж он ли не православен? Но Константин Леонтьев про Достоевского говорил, будто тот хочет *учить* монахов, а не сам *учиться* у них, что Пушкинская речь — всего-навсего «космополитическая выходка». Что герои его читают только Евангелие, без стёкол святоотеческого учения; а ведь из Святого Писания можно извлечь и скопчество, и молоканство, и хлыстовство, и другие лжеучения, которые все сами себя выводят прямо из Евангелия. Вот и Соня Мармеладова молебнов не служит, духовников и монахов для совета не ищет, к чудотворным иконам и мощам не прикладывается. Да и в «Бесах» христианство Достоевского какое-то неопределённо-евангельское, и в «Карамазовых» монахи говорят не то и не так. И опять нет ни одной церковной службы, ни одного молебна...

Но подпоручик Лаженицын удивлён иначе. Разве Толстой не прав в том, что люди от Евангелия отшатнулись бесконечно? Заповеди твердят и не слышат. «А от него услышали все. Уберите, мол, всё, что тут нагромоздили без Христа! Верно. Как же мы: насильничаем — а говорим, что мы христиане? Сказано: не клянись, а мы присягаем? Мы, по сути, сдались, что заповеди Христа к жизни не приложимы. А Толстой говорит: нет, приложимы! Так разве это не чистое толкование христианства?»

«Как же должно упасть понимание веры, чтобы Толстой мог показаться ведущим христианином?» — возмущается отец Северьян. Но ведь не мог же не знать священник, что упало не понимание веры, а сама вера. Русская интеллигенция, провозглашая Толстого творцом нового христианства, выражала общую тоску неудовлетворённости официальным православием. Поиск *правильной* веры в православной стране (уже много веков имеющей такую веру!) становился яв-

лением повседневным, на чём сходились и шатнувшийся к сектам народ, и беспокойная интеллигенция. Но получалось так, что неверующий, который помалкивает, предпочтительнее для официальной церкви, чем тот, кто ищет веру во всеуслышание. Богоискательство вызывало раздражение — зачем искать, когда всё давно найдено?

Но в отце Северьяне, будто и знает он все подходящие к случаю «правильные» ответы, тоже нет равнодушия и тоже болит своё. Ему обидно, что толстовская критика Церкви пришлась как раз по либеральному общественному настроению, которому наплевать и на учение Толстого, и на его душевные поиски. Этому настроению нужен политический задор — дух захватывает у всякого либерала, как великий писатель костерит государство и церковь. А кто из философов отвечал Толстому — того публика не читает...

И тут Саня мог бы сказать своё слово. Этот вопрос — почему не читают, — ставился в университетских аудиториях и в вольных философских собраниях. «Все противники Церкви — и Ницше, и Спенсер, и Дарвин — разобраны по ниточке в духовной литературе и опровергнуты. Почему не читают её?» — говорил на заседаниях в Петербурге отец Иоанн Янышев. И на это ему тут же ответили: «Очевидно, у духовных писателей нет той силы дарования, которая заставляла бы их читать...»

Саня, однако, ошеломлён натиском собеседника. Такой критики Толстого он ещё не слышал. Отец Северьян прямо обвиняет Толстого, что тот идёт в обход евангелистов и выбрасывает из Святого Писания две трети — всё «неясное»! Что оставляет одну только этику, ученические правила поведения. На это и интеллигенция согласна. Но дело не в сути учения, а в чрезмерной гордыни Толстого, в неспособности и нежелании усмирить себя, раба Божьего.

Мог бы, наверное, Саня защитить учителя и в этом пункте. Вспомнить хотя бы Лескова, который называл Толстого «христианином-практиком». «Христианство, — писал он ещё в 1883-м, — есть учение *жизненное*, а не отвлечённое, и испорчено оно тем, что его делали отвлечённостью. “Все религии хороши, пока их не испортили жрецы”. У нас византизм, а не христианство, и Толстой против этого бьется с достоинством, желая указать в Евангелии не столько “путь к небу”, сколько *“смысл жизни”*... Старое христианство просто, видимо, отжило и для “смысла жизни” уже ничего сделать не может. На церковность не для чего злиться, но хлопотать надо не о ней. Её время прошло и никогда более не возвратится, между тем как цели христианства *вечны*».

Но случилось иначе. Разговор ночных собеседников вдруг вышел из тупика философского состязания и обратился на самих спорящих.

И выяснилось следующее. Великим постом, на Страстной, когда только прислали в бригаду отца Северьяна, побывал Саня у него на исповеди. И пожаловался, как тяжело ему воевать, а ведь пошёл добровольно. И, значит, все грехи здешние и все убийства надо брать на себя. Приди он к батюшке снова, он снова должен был бы просить того же самого, и ждать отпущения пришлось бы всякий раз. Теряло смысл. «Если точно такое же бремя завтрашнего дня снять нельзя — так *не прощайте!* Отпустите меня с моей необлегчённой тяжестью. Это будет честней. Пока война продолжается — как же снять её? Её не снять. Оттого, что я *не вижу* своих убитых, дело не меняется... И чем я оправдаюсь? Выход только — если меня убьют. Другого не вижу».

Такая исповедь, запомнил батюшка, была среди офицеров единственной.

И выяснилось другое: что отец Северьян — тоже доброволец. Сам попросился на фронт, ибо считал, что во время войны естественнее быть здесь. Что у себя в Рязани служение его было окружено презрением всего культурного круга, из которого вышел он сам. Что, споря с Толстым, он готов был доказывать, будто война — не худший вид зла, и приводил странные аргументы: «Война не только рознит, она находит и общее дружеское единство, и к жертвам зовёт — и идут же на жертвы! Идя на войну, ведь вы и сами рискуете быть убитым». И выходило так, что они с подпоручиком — странные исключения из правила, белые вороны в своих стаях...

Потревоженный дух человека ищет смысла в мировой истории, в историческом христианстве, в судьбах веры и истины. Зачем каждое исповедание настаивает на своей исключительности и единственной правоте? От этого только быстрее, сокрушительнее падает вера, уже и повсеместно. «Как же можно предположить, чтобы Господь оставил на участь неправоверия все дальние раскинутые племена, чтобы за всю историю Земли в одном только месте был просвещён один малый народ, потом надоумлены соседи его — и никогда никто больше? Так и оставлены жёлтый и чёрный континенты и все острова — погибать? Были и у них свои пророки — и что ж они — не от единого Бога? И те народы обречены на вечную тьму лишь потому, что не перенимают превосходную нашу веру? Христианин — разве может так понимать?»

Эта мысль — не ответ ли Ивану Шатову, несчастному обманутому богоискателю, которого убедили, будто всякий народ до тех пор только и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов?

Однако страстный, горький монолог подпоручика Лаженицына обращён к представителю церкви, незыблемо стоящей на точке своей исключительности и абсолютности. Кажется, для человека, верующего в Крест Христов и Его кровь, такие слова неподъёмны, как камни-валуны на дне морском: «Утекло человечество из христианства как вода между пальцев. Было время жертвами, смертями, несравнимой своей верой христиане — да, владели духом человечества. Но — раздорами, войнами, самодовольством упустили... В исключительности и нетерпимости — все движенья мировой истории. И чем могло бы христианство их превзойти — только отказом от исключительности, только возрастанием до многоприемлющего смысла. Допустить, что не вся мировая истина захвачена нами одними».

Как отозваться на всё это честному священнику? Не лицемеру и не фарисею?

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский, в миру князь Дмитрий Алексеевич Шаховской, в своей книге «Белая Церковь» цитирует слова другого священника, отца Александра Шафрановского, который на протяжении всей Первой мировой войны самоотверженно помогал русским военнопленным, объезжая немецкие лагеря. «Отец Александр рассказал мне, что до революции у него не было *ни одного случая* отказа русского военнопленного от молитвы, исповеди, причастия (посещение служб было свободным). Но когда слухи о русской революции докатились до военнопленных — 90% русских людей перестали посещать церковные службы. Только 10% (во всех лагерях!) остались верными Церкви и только 10% от этих десяти (то есть 1% общего числа паствы отца Александра) были жизненно преданными, ревностными сынами Церкви. Отец Александр считал, что этот процент *соответствен уровню всей России*».

«Если вы верите во Христа, — говорит отец Северьян, — то не будете подсчитывать число современных последователей Его. Хоть б и двое нас осталось в целом мире христиан...»

Это была несокрушимая евангельская правда. «Не бойся, малое стадо...»

Но почему-то той ночью, в землянке, под разрывами артиллерийских снарядов, на руинах жизни, она утешала мало:

«О, отец Северьян! Много цитат произносится бодро. А дела-то совсем худо». Это «худо» на себе ощутил священник в марте семнадцатого. «Бывало, иные солдаты приходили сами в его крохотную пристройку к главному дому Узмошья — посоветоваться о семейном, побеседовать о душевном, — но от дня революции ни единый человек ни притянулся, ни от одной из девяти батарей».

Глава четвёртая

МАМА ТАИСИЯ ЗАХАРОВНА. НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ

Таисия Захаровна Солженицына, урождённая Щербак, родилась 9 (21) октября 1894 года в Пятигорске. В тот год её отец как раз приобретал землю на Кубани и курсировал между Карамыком, Петербургом и Новокубанской. Казалось, судьба уготовила младшей дочери богатого землевладельца безоблачное детство и счастливые обеспеченные годы: по закону она имела право на четверть наследства, в равных долях делившегося между женой, сыном и двумя дочерьми. Захар Фёдорович мечтал выдать Тасю за такого же степного хозяина, каким был сам, и дождаться внука. Других наследников не предвиделось — бездетным оказались оба замужества старшей дочери Маруси (овдовев после смерти первого мужа, состоятельного кубанского хуторянина Карпушина, она вышла за вдовца с тремя детьми Ф. И. Горина). Восьмилетнее супружество Романа и Ирины тоже оставалось бесплодным. И очень боялся Захар скаженной Москвы, где училась дочь — «що вона там знайде собі штудента, а він після піде на каторгу». «Дурак я був, шо ии учив. На усих басурманських языках балакае, а в Бога развирылась».

Но — дед Захар никогда не был дураком. Могучий запорожский нюх и тут его не подвёл, и он каким-то седьмым чувством угадал, «що цю шибко разумну дівчину треба вычити».

Зачем? Вряд ли он тогда это отчётливо понимал.

«В степи учился сам, детей не вадил к книгам, / Лишь дочь послал одну — лоск перенять у бар», — говорится в «Дороженьке».

Но, может быть, не только лоск?

Не попади Таисия в Москву, не будь она в свои двадцать лет развитой образованной девушкой, никогда бы ей не встретить и не полюбить Исаакия Солженицына, не стать

его женой. Останься Таисия в «первобытном» состоянии, погружённой в «хохлацкий» быт, ей была бы уготована совсем иная участь. Рядом с экономией Щербаков располагались три подряд имения братьев Николенко (в «Красном Колесе» это братья Мордоренки), с богатейшими участками, первоклассными конюшнями и чистокровными лошадьми. Так и выдали бы её за соседа-дикаря, долдона со стадом овец и мельницами, и стояла бы она на фото как каменная баба позади мужниного стула: «От этих женихов *экономических* дёгтем воняет, с ними разговаривать от смеха разорвёт... У *экономистов* та женщина красавица, какая на двух стульях помещается».

...Любовно и бережно восстанавливал Солженицын первоначальное детство, отрочество и юность своей матери. Таисия Щербак (Ксения Томчак), героиня ярчайших глав «Красного Колеса», окружена нежным восхищением автора — он любуется и незаурядными способностями девочки к учению, и её светлым нравом, и танцевальной грациозностью, и всей её неброской красотой степной смуглянки («печенежки»). Но — обнаруживает также, на примере матери, как образование и культурный лоск неминуемо отрывают человека из простонародья от веры и церковности.

Ирина Щербак, войдя в дом свёкра в 1905 году, застала Таисию застенчивым одиннадцатилетним ребёнком и занималась её воспитанием до тринадцати, до отъезда в ростовскую гимназию. Тогда девочка не знала большего упоения, чем подражать невестке в постах, молитвах, в преданности русской старине. Оря же и уговорила Захара Фёдоровича забрать дочь из пятигорского пансиона, чтобы определить в ростовскую гимназию.

Прислушавшись к совету умнейшего Ильи Исааковича Архангородского, ростовского знакомца и знатока в области мельниц, пустив в ход всё своё неотразимое обаяние, осенью 1909 года Захар определил дочь в лучшую ростовскую частную гимназию Александры Фёдоровны Андреевой (в «Красном Колесе» это гимназия Аглаиды Федосеевны Харитоновой возле Старого собора). И даже уговорил начальницу, недавно овдовевшую даму с тремя детьми, взять Таисию к себе на постой, поместив в комнату старшей дочери Жени, уехавшей в Москву на курсы (позже Евгения, в замужестве Федоровская, станет лучшей подругой Таси, а её дом — самым близким Сане). «Ещё прежде, чем он привёз эту пугливую девочку в домашнем клетчатом платьице с пояском-кушачком, не смевшую перед величественной дамой в пенсне ни повернуться, ни сесть, — к другому подъезду... подвезли

фарфоровый бочонок осетровой икры, от Филиппова торт в квадратный аршин и ещё коробки». Платить людям вперёд и по совести вовсе не было ни взяткой, ни подкупом, а, как понимал Захар Фёдорович, создавало между людьми дружбу и добро.

А для начальницы было даже и заманчиво — взять девочку из тёмной семьи, которая и утром, и вечером подолгу молитвенно стоит на коленях, при этом чистоплотную, послушную, восприимчивую к навыкам и урокам, и переделать на девушку передового толка. Ибо гимназия Андреевой была как раз из тех *передовых*, где более всего дорожили либеральным духом: начальница и её покойный муж, инспектор казённых гимназий, считали главной своей задачей — воспитание *гражданина*, то есть, по представлениям времени, лица, враждебного властям.

В гимназии преподавала историю жена революционера-подпольщика, и всё направление курса было связано с революционным уклоном. С таким же уклоном велась и русская литература. Закон Божий, которого нельзя было миновать даже и учебному заведению леволиберального направления, давался мягко, без фанатизма, а многих детей и вообще освобождали от этих уроков по причинам иного вероисповедания. Но зато примерно наказывались любая некорректность в одежде, всякие уклонения от правил и распорядка, а также самые малые отступления от нравственных устоев — а именно ими (и ещё высокой платой за обучение) и славилась гимназия Андреевой.

Способности и прилежание Таисии превзошли все ожидания. Процесс занятий увлекал девочку пуще любой награды, так что училась она выше всяких похвал — не было отметок ниже пяти с минусом ни по какому предмету, особенно же давались ей иностранные языки, которых до гимназии она не знала ни одного. Здесь же было два обязательных, а Таисия под конец уже свободно читала на трёх. «И так любила она свою гимназию, не мысля дня пропустить занятий, такая робкая сохранялась долго, что отказалась от Ориного приглашения поехать с ними в большое заграничное путешествие».

Взятые из семейного архива писателя «Сведения об успехах, поведении и пропущенных уроках ученицы 6-го класса Ростовской на Дону женской гимназии, сод. А. Ф. Андреевой, Щербак Таисии за 1910/11 уч. год» наглядно подтверждают, что «мама-отличница» — не художественная, а реалистическая деталь «Красного Колеса». Закон Божий, русский язык, алгебра, геометрия, физика, немецкий, французский,

история, рукоделие, рисование, а также внимание, прилежание, поведение девочки оценивались только пятёрками, и она переводилась из класса в класс с неизменной наградой первой степени.

В гимназии же приохотилась Таисия к изысканному чтению — Бодлер, Брюсов, Стендаль, Бальзак, Гамсун (в «Красном Колесе» Ирина укоряет золовку за пристрастие к французским и английским книгам, а та отвечает, что Тургеневы и Достоевские давно читаны-перечитаны). Барышня-гимназистка, как и все девушки из городской среды, вела читательский дневник — девичий альбом (от него сохранилось несколько листков), куда помещала стихи, афоризмы, глубокие мысли. «Когда б любовь не выдавала / Нам счастье с горем пополам, / Кто бросил бы рукой усталой / И жизнь, и смерть к её ногам?» — записывала она волнительные строки малоизвестного поэта-переводчика Ф. Е. Котса. Здесь же грустный, «упадочный» Метерлинк: «Былые дни ушли куда-то, / Былые дни не повернуть, / Былые дни не ждут возврата, / Былые дни умрут, умрут...» И, конечно, вряд ли она могла предположить, что меланхоличная строфа Мэри Кольридж, внесённая в альбом, будет иметь к её собственной жизни хоть какое-то отношение: «Подобно бабочкам, оставившим кокóны, / Исчезли счастье, радость и любовь, / И только слышатся воспоминаний стоны, / Не забывай того, чего не будет вновь».

Но как разительно была непохожа её жизнь в Ростове на домашний уклад! Другое чтение, другие разговоры, другие привычки. С каждым полугодием, с каждым месяцем четырёх своих гимназических лет она всё больше отвыкала от прежнего быта, который уже казался ей диким и тёмным. Бывая дома на каникулах, она приходила в ужас от некультурности родителей и молча страдала. А когда однажды привезла с собой Соню Архангородскую, одноклассницу, дочь Ильи Исааковича, то уже и глазами подружки замечала первобытность семейства и горела со стыда. «Ничего не осталось и от её прежних старательных утренних и вечерних молитв: помаливалась она теперь дома бегло, в церковь ездила со всею семьёй, когда нельзя уж не поехать, — а стояла рассеянно, крестилась неловко». Она стеснялась и своей фамилии («несёт не то тачанкой, не то овечьей шкурой»), и родительского достатка, и домашнего невежества. А с другой стороны, принимала богатство без стыда — ведь оно пришло честными путями, энергией и сметкой её незаурядного отца, который, будь он с образованием, не потерялся бы и среди предприимчивых москвичей. В общем, не была доче-

рью неблагодарной, понимая, какую независимость дают ей отцовские деньги.

Весной 1913-го Таисия с золотой медалью окончила гимназию. Она была уверена, что навсегда рассталась со степной дикостью — ведь прочитано столько книг, посмотрено столько спектаклей, и чувство красоты ей определённо даётся. Она была первой танцовщицей ростовской гимназии. Её идеалом была Айседора Дункан, её мечтой — в танце воскресить Элладу, парить как птица, в греческой тунике склоняясь над погребальной урной. И, конечно, девушка всерьёз подумывала о балетных классах и танцевальной студии.

Но — лишь перспектива иметь в экономии своего агронома заставила Захара Фёдоровича отпустить дочь из дому осенью 1913-го, и она схватилась, уехала в Москву, только бы жить в столице и обретаться в культурном мире. На сельскохозяйственные женские курсы княгини С. К. Голицыной попасть было трудно, принимали почти одних медалисток — и медалистка Таисия поступила. Курсы, созданные в 1908-м, давали высшее сельскохозяйственное образование, ученицы пользовались лабораториями и кабинетами Петровской сельскохозяйственной академии, летом проходили практику на опытных полях и в имениях частных лиц.

Впереди было пять лет свободной московской жизни, а потом — хоть и навсегда утонуть в кубанской степи. После первого же года, как раз летом 1914-го, свалилась на неё и придавила непреклонная воля отца — оставить курсы, бо трэба замуж! О школе босоножек невозможно было и заикнуться. На обратном пути из дома в Москву (отец, с уговорами Иры, отпустил дочь только до Рождества) заезжала в Ростов, просила свою заступницу Андрееву, которая относилась к ней как к родной дочери, написать отцу письмо, разъяснить ему, умолить...

И уступил Захар Фёдорович (больше всех просила Ируша, Божья дытына, как ласково называл сноху Захар). Таисия весело доучивалась, как-то незаметно примирившись с агрономической участью, полюбила возиться с растениями, вникать в их рост и развитие, отлично успевала по всем предметам. С увлечением слушала лекции директора курсов, всеми любимого профессора Д. Н. Прянишникова — блестящего учёного, проводившего опыты по культивированию растений в различных условиях, с применением разнообразных агрономических приёмов и минеральных удобрений.

Весной 1917-го Таисия была уже на четвёртом курсе, впереди был всего год. Она понимала, что оставалась ей *по-*

следняя вольная весна, пока она ещё курсистка, а не экономический агроном под надзором отца, с правами на каникулы, вечеринки, встречи, о которых никому не обязана давать отчёт. К тому же вдруг неожиданно, но так радостно накатил Февраль, пришла революция, студенты ликовали, занятий почти ни у кого не было, все носились по городу в ожидании чудесных перемен. И было так много поводов для танцев, улыбок, счастья. Только совестно было Таисии перед квартирными хозяйками — две сестры, старые девушки из обедневших дворянок, как-то не разделяли её восторгов. В апреле она снова ездила в Петровско-Разумовское, на участок Голицынских курсов при академии, и усердно работала в поле, навёрстывая упущенные революционные недели.

Но — шёл уже третий год войны. Третий год Исаакий Солженицын жил одной войной. Долго привыкал быть военным, имел ордена, стал специалистом по противоштурмовым орудиям, обучал сей премудрости других офицеров, но петроградские события лишали его усилия всякого смысла*. Что-то надломилось и в войне, и в нём самом: как можно было воевать дальше, читая все эти манифесты и воззвания? Он чувствовал себя настолько выключенным из войны, что мог думать только об отпуске, первом за всё время. «И — не Сане было эту войну жалеть. Он сам себе удивлялся теперь, что мог два года с таким старанием и интересом служить. Что мог — добровольно на эту войну пойти. Он пошёл — потому что тогда Россия нуждалась в защите. А теперь она нуждалась: как благополучно армиям расцепиться да всем разойтись по прежним занятиям. А Сане, значит, опять в Москву и кончать университет? Мог ли он ещё вместиться на студенческую скамью? Да, пожалуй, ещё мог. Всякая мысль о Москве приходилась ему особенно сладка — и хотелось именно туда скорей».

...Реконструируя образ отца, подпоручика Исаакия Солженицына, действительно получившего двухнедельный отпуск в апреле 1917 года и поехавшего не к родным в Саблю, а в Москву, где были университет, однокашники и друзья,

---

* См. недавнее замечание А. И. Солженицына: «Да вот и мой отец — покинул Московский университет не доучась, добровольно пошёл воевать. Тогда казалось — жребий влечёт единственно так: нечестно не идти на фронт. Кто из тех молодых русских добровольцев, да и кто из оставшихся у кафедр профессоров? — понимал, что не всё будущее страны решается на передовых позициях войны. Куда идет эпоха — вообще никто не понимал в России, да и в Европе» («Двести лет вместе». Ч. I).

Солженицын пытался понять чувства молодого человека, жаждущего жизни, любви, счастья. Сын видел отца степенным, серьёзным, и в свои двадцать шесть лет совершенно одиноким; такой не мог пойти за скорой любовью к случайной крестьянке только потому, что поблизости от батареи стоит её хата. Да и не умел он ухаживать с наскока, должен был присмотреться, душевно сблизиться. Умереть он не боялся, имел даже предчувствие (много позже сын узнает об этом от матери), что век его не долог, но боялся не успеть полюбить по-настоящему. Если суждено ему умереть в эту войну, то хоть оставить кого-то близкого — любимую женщину, их ребёнка, может быть, сына... Провести две недели в весенней Москве казалось Сане Лаженицыну высшей точкой всей жизни, настоящей и будущей.

Но приехал он с фронта мрачный, насмотревшись по дороге, как падает и гибнет русская армия. Остановился у бывшего однокашника.

...Точную историю знакомства родителей Солженицын знал от матери (ни о каком «школьном романе», якобы имевшем место ещё в Пятигорске, она никогда не рассказывала — излюбленная версия местных краеведов не имеет под собой никаких оснований). Вечеринка молодёжи; подруга Таисии, курсистка, знакома со студентами, которые приятельствуют с однокашником офицера-отпускника; разумеется, они могли не совпасть в одном месте и в одно время, но ведь совпали, увидели друг друга и потом целый вечер только друг на друга и смотрели.

Первую встречу отца и матери Солженицын рисует красками такого бурного счастья, такой переполняющей радости, такого ликующего восторга, что для выдумки (то есть художественного вымысла) здесь будто и не остаётся места. Только мать и могла, спустя годы, передать сыну это блаженное сияние бытия, этот аромат торжествующей Судьбы — в те редкостные моменты, когда она совершается на глазах. Когда вдруг отступают призраки — и ты, какая есть, простоватая круглолицая хохлушка с высокими скулами (но очень начитанная!), румяная степнячка из глухого угла (но какая танцовщица!), можешь быть самой собой, без тени притворства и актёрства. Тебя видят в ореоле зарождающейся любви, и кажется, что вы не познакомились, а *узнали, опознали* друг друга. Что последняя вольная весна не обманула, не посмеялась над твоей жаждой счастья. И теперь слова твоего любимого Кнута Гамсуна, что *любовь — это золотое свечение крови*, — стали понятны почти на ощупь.

Таисия видит молодого офицера с обильными русыми

волосами над чистым лбом, задумчивое лицо, чуть печальные глаза, Георгиевский крест на груди, пшеничные усы, губы совсем не жесткие, слышит глуховатый голос, неторопливую речь. Ей не нравится только одно — имя Исаакий, грубое, некрасивое. Да ещё непонятная фамилия. Но она самокритична: ну, а что такое Щербак? Не интеллигентно, не благозвучно, в общем, тоже не подарок. Исаакий чувствует: ярче, пленительнее этой девушки он не встречал никого и никогда. С первой встречи они неразлучны все вечера, любят одни и те же московские улицы, театры, балетные спектакли, кинематограф. Так и в «Дороженьке»: «Она взросла неприобретливого склада, / И мне отца нашла не деньгами богата — / Был Чехов им дороже Цареграда, / Внушительней Империи — премьера МХАТа».

На шестой день знакомства Исаакий сделал ей предложение («Я теперь жить без вас не могу! выходите за меня замуж!»), она радостно согласилась, и теперь — ещё целую неделю — они чувствовали себя заговорщиками. Что скажет Захар Фёдорович, узнав о дочкином самоуправстве? Вдруг проклянёт? Ведь раскричится, распалится, придётся уговаривать на два голоса, вместе с Ирой, но не впервой, умолим, на колени встанем, сдвинем.

Но свадьба всё равно откладывалась. Таисия должна была закончить четвёртый курс, на каникулы поехать в Кубанскую (и непременно отвезти отцу лучшую фотографию Сани!), добиться согласия. И только потом к жениху, на фронт, прямо в бригаду. В Иверской часовне перед алтарём молились они Матери Божьей, чтобы соединила их прочно и навсегда, чтобы оградила от бед и пощадила в это неподходящее для счастья время. И чтоб дала им сына, ради которого они будут жить.

«Папа очень хотел сына и верил, что будет сын», — всегда знал Солженицын.

Дальнейшее происходило уже за пределами «Красного Колеса». Автор расстался со своими героями, женихом и невестой, в апреле семнадцатого. А в июле, закончив учёбу и летнюю практику в Петровско-Разумовском, Таисия была дома. По революционному времени, Захар Фёдорович стал, надо полагать, уступчивее, сговорчивее. Всё же будущий зять был свой, от земли, от степи, почти сосед, и находился, как и положено в войну, на фронте, целых три года, добровольцем. Как высоко должна была ценить такого родственника Ирина, мечтавшая о рыцарских подвигах и самоотверженных мужских поступках — ведь Роман так и просидел в имении всю войну.

Таисия ехала в Белоруссию, в Узмошье, где всё ещё стояла 1-я Гренадерская артиллерийская бригада, с лёгким сердцем — ведь они венчаются с согласия родителей и война вот-вот кончится. Саня, быть может, будет доучиваться в университете; во всяком случае, его четвёртый и её пятый курс совпадут в Москве (ведь уже случилась незадача — целый год, 1913-й, они вместе были в Златоглавой и не встретились!).

23 августа 1917 года, перед походным алтарём, в присутствии нескольких офицеров, их венчал бригадный священник. «Означенный... Исаакий Семёнович Салжаницын... вступил в первый законный брак с гражданкой г. Пятигорска Терской области, девицей Таисией Захаровной Щербак, православного исповедания...»

Но — находиться в бригаде она могла всего несколько дней. Снова нужно было расставаться — до конца войны, который растянулся на семь месяцев. Молодожёны наверняка переписывались, но письма, оставайся они в домашнем хранении, очень скоро стали бы смертельной уликой.

Батарея, где служил Исаакий, так и стояла на передовой, хотя фронт уже почти разбежался. Окопы пустовали, никто даже условно не говорил о продолжении войны. Большевистское правительство пыталось договориться о мире, но сразу возникли разногласия. Ленин настаивал на затягивании переговоров, но в случае ультиматума готов был немедленно капитулировать. Троцкий хотел довести переговоры до разрыва, даже с опасностью нового наступления Германии, чтобы капитулировать пришлось — если вообще придётся — уже перед очевидным применением силы. Бухарин требовал войны для расширения арены революции.

Всё произошло как раз по худшему сценарию: немцы выступили и, не встречая никакого сопротивления, быстро продвигались вглубь России. За считаные часы они заняли без боя столько пространства, сколько им не удавалось завоевать за все годы войны. Советское правительство экстренно объявило перемирие и 3 марта 1918 года подписало, «не читая», Брестский мир: Россия теряла огромные территории и была обязана выплатить громадную контрибуцию. Зато, убеждал Троцкий, она сохраняла «симпатии мирового пролетариата или значительной части его».

Только после Брестского мира, то есть в конце февраля или в начале марта 1918-го, вернулся с войны Исаакий Солженицын. Можно представить, как радостно встретили его в доме Захара Фёдоровича — именно там дожидалась мужа

Таисия. Курсы были оставлены до лучших времён; что же касается экономии и особняка — руки революции до них пока не дотянулись.

Что могло ожидать царского подпоручика, добровольца германской войны, награждённого офицерским Георгием и Анной с мечами?

Этот вопрос долгие годы мучил и его сына.

«Когда я взялся описывать отца в те годы — студента, изрядно левых настроений, как все тогда, но на войну пошедшего добровольно, но с георгиевским крестом за растаскивание горящих снарядных ящиков, но потом председателя батарейного солдатского комитета, но досидевшего на фронте до февраля 1918, когда уже Ленин с Троцким предали и тот фронт, и тех последних солдат, и четверть России, — как силился я угадать, понять: с каким же настроением возвратился мой отец на Северный Кавказ? В начинавшейся борьбе — где были его симпатии? и поднял ли бы он оружие, и против кого именно? И как бы дальше-дальше-дальше протягивалась бы его судьба? как это мне теперь угадать? Я знаю, как неопытно, как искажённо бывает наше понимание вещей, и я сам потом отдал молодые симпатии чудовищному ленинизму — а по сегодняшнему своему чувству (Солженицын пишет это в 1978-м. — *Л. С.*), конечно, горд был бы я, если б отец мой воевал против захватчиков, — в Белом ли движении, или ещё лучше — в крестьянском, которое четыре года трясло их коминтерновскую империю по всем раздолам, никак не давая поджечь мировую революцию через Будапешт, Варшаву и Берлин. И в той борьбе если б и убили отца — это был бы подвиг его и зов ко мне».

За те три-четыре месяца, которые прожил Исаакий Солженицын после фронта, он, видимо, не успел сделать выбор — не только по своей трёхлетней фронтовой измотанности, не только потому, что хотел соединиться с любимой женой и пожить с ней в супружестве. Не совсем ясно было, кто, с кем, за кого и против кого воюет в Сабле и вокруг.

Ещё в декабре 1917-го на Дону стали формироваться войска Добровольческой армии во главе с генералом Корниловым. Сюда стекались монархически настроенные офицеры, с которыми Корнилов, Деникин и Алексеев собирали полки. 1 января (ст. ст.) 1918 года Народный съезд в Ставрополе вынес решение: всю власть в губернии передать Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Была образована Ставропольская республика, которой управлял Совнар-

ком. В конце января 1818 года Добровольческой армии удалось захватить Ростов. Но в феврале офицерские полки Корнилова и казачьи войска донского атамана Краснова были разбиты красными частями.

Белые переживали не лучшие времена. 29 января донской атаман Каледин, чтобы не оставлять с позором своей столицы Новочеркасска, выстрелил себе в сердце. 31 марта погиб командующий Добровольческой армией генерал Корнилов: снаряд пробил стену комнаты генерала и разорвался внутри, когда тот сидел за столом. Потерю Корнилова многие из его окружения восприняли как конец всему. Горечь потери смешивалась с мертвящим ощущением безнадёжности борьбы. Вполне реальной представлялась неизбежность плена, жестокая месть большевиков и мучительная, под пытками, гибель. Многие части были охвачены слухами об окружении армии. В «Очерках русской смуты» А. И. Деникин скажет правду об этих месяцах — после гибели Корнилова армию охватила самоубийственная паника; многие офицеры сговаривались, где и как лучше «распылиться», переодевшись и воспользовавшись припасёнными ещё в Ростове подложными документами.

Малодушные искали собственные пути спасения, страшась слухов о якобы существующих планах штаба армии договориться с большевиками. Пример подали кубанские казаки, начавшие разбегаться по своим станицам, а за ними, украв у местных жителей крестьянскую одежду и выбросив оружие, «распылились» некоторые из добровольцев, пытаясь укрыться в населённых пунктах; эти исчезали бесследно. В обозных войсках, где паника была особенно сильной, раненые срывали с себя кокарды и погоны. И было очевидно: надежды на массовое присоединение к Добровольческой армии станичников не оправдывались. Казаки, теснимые в станицах новой властью, хлебным налогом, вроде бы и шли к белым, но вскоре возвращались обратно. После того как в конце апреля в Ростов вступила передовая германская дивизия, положение в крае ещё больше запуталось, хотя вглубь Дона и Кубани немцы не пошли.

Несомненно, проживи Исаакий Семёнович хотя бы ещё год, даже полгода, ему пришлось бы сделать выбор. Уже в апреле—мае 1918-го ВЦИК и Совнарком приняли ряд декретов, которые коренным образом реорганизовывали Красную армию. 22 апреля ВЦИК утвердил декрет об обязательном обучении воинскому искусству, под который подпадали трудящиеся от 18 до 40 лет, без отрыва от работы в течение восьми недель, без вознаграждения за время занятий. Про-

шедшие курс военнообязанные в любое время могли быть призваны в армию. Троцкий разработал программу привлечения в Красную армию бывших царских офицеров и военных специалистов. Завершающим этапом строительства новых вооружённых сил стала новая система управления войсками на принципах централизации и дисциплины. 19 августа после обсуждения предложенного проекта Совнарком принял декрет «Об объединении всех Вооружённых Сил республики».

Уже в сентябре 1918-го 27-летний царский офицер — если бы только он не растворился в степях, а жил на своем месте, под своим именем, — мог бы стать объектом повышенного интереса со стороны руководящих органов Красной армии. Но, вернувшись с войны без единой царапины, Исаакий Семёнович Солженицын трагически погиб от несчастного случая на охоте — хотя какая, казалось бы, охота в такое время? Но даже и в самые мрачные эпохи, в моменты общественных напряжений людей окружает привычный быт.

Молодые гостили в Сабле у родных. Накануне рокового дня Таисии приснилось, будто на мужа упал большой крест и придавил его; проснувшись, тщетно она умоляла мужа не ходить на охоту...

«Что мне непонятно в характере отца, — рассказывает А. И., — это охота. Охоту я ненавижу, отрицаю, я исключил её из образа Сани Лаженицына. Как он мог...»

История ранения и гибели отца — точка непреходящей боли автора «Красного Колеса».

Летний день 6 или 7 июня 1918 года, окрестности села Саблинского. Охотник подстрелил зайца и вновь зарядил дробью ружьё. Чтобы не класть его наземь, прислонил к телеге и начал потрошить тушку. Тем временем лошадь дёрнулась, дёрнуло и ружьё; курок был слабоват и сам соскочил, выстрел попал в охотника. «Ружьё в пролетке лежало, да на ходу и выстрелило. Пуля попала в живот. Неделю проболел и помер. Вскоре мой отец, второй сын деда Семёна, Василий, тоже приказал долго жить», — рассказывала в 1990-м двоюродная сестра Солженицына Ксения Васильевна, знавшая историю гибели своего дяди с детства. «Мне было тогда пять лет, — вспоминала в 1991-м другая двоюродная сестра Солженицына, Людмила Александровна Михеева-Глубышева (крестница Исаакия и его племянница, дочь сестры Анастасии). — Но я хорошо помню тот день, когда к нам в Саблю приехал мой крёстный. Был он очень красивый и статный офицер. Помню, у него висела на боку сабля, а на

высоких лакированных сапогах были блестящие шпоры. Он ходил по залу, а я за ним бегала. Ещё помню, что он подарил мне огромную красивую куклу. На охоте с братом Константином (по воспоминаниям других родственников, на охоте с Исаакием был его шестнадцатилетний сводный брат Илья, выведенный в «Красном Колесе» под именем Евстрат. — *Л. С.*) в линейке случайно выстрелило ружьё, и он погиб».

Брат и повёз раненого на хутор. Дальше — от хутора до Сабли — ехала с мужем уже Таисия. Но — разгар лета, зной, пыль, и сельский фельдшер вряд ли мог помочь, если бы и был на месте. До Ставрополя — 121 верста. Повезли в больницу Георгиевска, и это тоже было вёрст сорок, по тряской, жаркой, трудной дороге, на простой телеге, через косогоры и балки, и ещё два моста через Куму и Сухой Карамык (дорога даже и при небольшой грязи непролазна).

Семь дней после нелепого ранения Исаакий умирал в городской больнице Георгиевска и умер по неумению врача справиться с медленным заражением крови (сепсисом) от вогнанного в тело вместе с дробью пыжа. Все дни Таисия была с ним, под конец вызвала телеграммой Романа и Ирину. Умирая, Исаакий Семёнович сказал жене (она была на третьем месяце беременности): «Позаботься о сыне. Я знаю — у меня будет сын».

Сын Исаакия и Таисии, родившийся спустя полгода, узнал печальную историю от матери (а позже и от других родных) — в семье долго хранилась фотография выноса тела из церкви, и лет в двенадцать они вдвоём с матерью навестили могилу, холмик с простым крестом. Годами позже закатали то кладбище трактором под стадион.

Стараниями Марии Захаровны был, кроме метрического свидетельства Исаакия Семёновича, сбережён ещё один драгоценный документ. «Когда после всех лагерей я приехал в Георгиевск в 1956 — сохранившиеся родственники, ближние и дальние, снова рассказывали мне о том несчастном ранении, да вот и свидетельства дали в руки», — писал Солженицын в мемуарных очерках «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов».

Это была выписка из метрической книги: «Часть третья о умерших за 1918 год, выданная причтом Вознесенского Собора г. Георгиевска Владикавказской Епархии, Терской области, № 927 1919 года октября 19 дня».

Запрошенная в октябре 1919 года выпись из метрической книги за 1918-й свидетельствовала в записи по счёту умерших 92-й, что гражданин Ставропольской губернии, села

Сабли Исаак Симеонов Салжаницын, 27 лет от роду, умер от раны июня 15 дня и был погребён на следующий день, июня 16-го. Погребение совершал священник Николай Маевский с псаломщиком Илларионом Кутовым на городском кладбище: «Настоящая выпись с подлинной верна, что подписью и приложением печати Вознесенского Собора свидетельствуется: Священник Протоиерей Н. Ольгин, Псаломщик Диакон Е. Смоляр».

История несчастного ранения отца и смерти от дурного лечения в заштатном Георгиевске всегда была, признавался Солженицын, нисколько ему «не горда, скорее смутительна». Советская пропаганда, травившая Солженицына в 1960-е и 1970-е, тоже «смущалась» этой загадочной смертью. В потоке всевозможной клеветы она пыталась очернить сына, опорочив отца, которому приписывала трусливое самоубийство «из страха перед красными» — будто он, не дождавшись желанного первенца и почти не пожив с любимой женой, застрелился («Суждение пресмыкающихся», — кратко комментировал Солженицын).

В Записке КГБ СССР в ЦК КПСС от 12 декабря 1973 года, подписанной Андроповым, докладывалось о наличии у госбезопасности материалов, свидетельствующих о враждебности писателя Солженицына советскому строю. Перечислялись и улики «враждебности»: «Солженицын происходит из семьи крупных землевладельцев и скотопромышленников. Дед его, Солженицын С. Е., имел более 2 тысяч гектаров земли, около 20 тыс. голов овец». Одному деду приписали имущество другого.

«После Великой Октябрьской социалистической революции дед скрылся и судьба его неизвестна». Никуда он не скрывался, оставался в Сабле и умер своей смертью дома, на глазах Марфы Ивановны и сына Ильи в начале 1919 года; похоронен в Сабле, на сельском кладбище, наискосок от Пелагеи Панкратовны, первой своей супруги, и вблизи часовенки. На могиле — каменный резной пьедестал надгробия, на котором — каменное подножие креста, а крест сшибли ещё в раскулачивание.

«Отец, офицер царской армии, покончил жизнь самоубийством». Выстрелил себе в живот из охотничьего ружья, не закончив потрошить зайца?

Эта история интриговала иных биографов, которым во что бы то ни стало надлежало найти в семейном прошлом писателя хоть какое-нибудь тёмное пятно.

«Мы не можем узнать, — писал чешский журналист Т. Ржезач в заказной книге «Спираль измены Солженицы-

на» (1978)*, — что делал отец Солженицына, где и с кем воевал после Великой Октябрьской революции. *Достоверно лишь одно: через три месяца после рождения сына Александра Исая Семёновича не стало.* Согласно семейной версии, произошёл несчастный случай на охоте. Однако друзья семьи утверждают, что он покончил жизнь самоубийством. Застрелился? Почему?.. Опять-таки никто не знает. Наконец Таисия Захаровна однажды скажет Кириллу Симоняну, что её муж был казнён красными! И вновь появляется масса домыслов, неясностей, замалчиваемых фактов, которые, окутав покровом таинственности, будут всю жизнь покрывать и самого Александра Исаевича» (курсив мой. — *Л. С.*).

Что же это за «достоверность» биографического повествования, если не приведены ни дата смерти персонажа, ни документальное подтверждение её?

Автору «Спирали» — для служебных целей — понадобилось удлинить жизнь Исаакия Семёновича Солженицына на целых девять месяцев и похоронить его через три месяца после рождения сына, то есть в марте 1919-го.

В чём же цель и смысл подтасовки?

Версия о расправе красных над «лютым белогвардейцем» звучала куда убедительнее для весны 1919-го, чем для весны 1918-го. Весной 1918-го на Кубани Гражданская война ещё не бушевала. Первый съезд Советов состоялся во второй половине января 1918 года в Гулькевичах, потом переехал в Армавир. 1 марта Екатеринодар был уже в руках красных.

«До конца мая на Северном Кавказе было сравнительное затишье, — писал и «красный граф» А. Н. Толстой в трилогии «Хождение по мукам» (книга вторая, «Восемнадцатый год»). — Обе стороны готовились к решительной борьбе. Добровольцы — к тому, чтобы захватить главные узлы железных дорог, отрезать Кавказ и с помощью белого казачества очистить область от красных. ЦИК Кубано-Черноморской республики — к борьбе на три фронта: с немцами, с белым казачеством и со вновь ожившими “бандами Деникина”».

---

* Характер заказа прояснится уже через 15 лет. «Комитетом государственной безопасности проводятся мероприятия по дальнейшей дискредитации СОЛЖЕНИЦЫНА перед мировой и советской общественностью. В этих целях, в частности, подготовлена рукопись публицистического характера (прилагается), автором которой является чехословацкий журналист Т. РЖЕЗАЧ... Ему была предоставлена возможность посетить СССР для сбора дополнительных материалов о личности СОЛЖЕНИЦЫНА и его враждебной деятельности до выдворения из страны... Комитетом государственной безопасности приняты меры к публикации указанной рукописи за рубежом... Зам председателя Комитета государственной безопасности ЦВИГУН».

Ситуация изменилась как раз летом 1918-го: уже в середине августа вся западная часть Кубанской области и север Черноморской губернии были в руках белой армии. В июле (14-го) 1918 года белогвардейцы ценой больших потерь овладели станицей Тихорецкой. Гражданская война на Северо-Кавказской железной дороге началась 21 июля 1918 года, когда Добровольческая армия под командованием полковника Шкуро овладела Ставрополем. В начале августа Добровольческая армия при поддержке бронепоездов отразила наступление красных на Ставрополь и вскоре начала наступление на армию Сорокина, которая занимала район Армавира с узловой станцией. К осени 1918 года ветка Ставрополь—Армавир оказалась целиком в руках добровольцев, задачей которых стала оборона от наступавшей с запада Таманской армии красных.

Как видим, весной 1918-го советская власть на Кубани еще не развернулась в полную силу: сидели на своём хуторе в Сабле Солженицыны, жили в своём имении близ станции Кубанской Щербаки, отпустили за взятку из пятигорской тюрьмы дядю Ромашу. Однако после выстрела Фанни Каплан в Ленина 30 августа 1918 года красный террор быстро докатился до Кубани и достиг пика после печально известного секретного приказа председателя РВС Троцкого от 3 февраля 1919 года, за которым 5 февраля последовал приказ № 171 РВС Южного фронта «О расказачивании». Тогда же директива Донбюро ВКП(б) прямо предписывала: а) физическое истребление по крайней мере 100 тысяч мужчин, способных носить оружие, то есть от 18 до 50 лет; б) уничтожение так называемых «верхов» станицы (атаманов, судей, учителей, священников), хотя бы и не принимающих участия в контрреволюционных действиях; в) выселение значительной части коренных казачьих семей; г) переселение крестьян из малоземельных северных губерний на место ликвидированных станиц.

Население Дона и Кубани стонало от насилий и надругательств. Не было хутора или станицы, которые не считали бы свои жертвы красного террора десятками и сотнями. Расстреливались и безграмотные старики и старухи, которые едва волочили ноги, и едва отрастившие усы подростки... В феврале 1919 года газета «Известия Наркомвоена», выходившая под надзором Троцкого, писала: «У казачества нет заслуг перед русским народом и государством. У казачества есть заслуги лишь перед тёмными силами русизма... По своей боевой подготовке казачество не отличалось способностями к полезным боевым действиям. Особенно рельефно

бросается в глаза дикий вид казака, его отсталость от приличной внешности культурного человека западной полосы. При исследовании психологической стороны этой массы приходится заметить сходство между психологией казачества и психологией некоторых представителей зоологического мира».

Но села Саблинского репрессии тогда коснулись в меньшей степени — оно уже лет сорок как не было казачьим. Солженицыны тоже были не казаками, а зажиточными хуторскими крестьянами (потому их и не расказачили, а всего только раскулачили в коллективизацию). Но история о расправе красных над бывшим царским офицером Исаакием Семёновичем Солженицыным, которую сочинил заказной биограф, хорошо вписывалась в кровавый контекст Гражданской войны. Впрочем, журналист Ржезач «раскопал» страшную тайну ещё и про деда и дядей Солженицына — Саня, дескать, услышал её от самой Таисии Захаровны. Будто дед был сельский кулак-мироед, прославившийся своей жестокостью далеко за пределами собственного поместья. Будто дядя (безымянный) был бандит-грабитель: «В то время, когда советская экономика поднималась из руин, оставленных гражданской войной, и когда Саня учил азбуку и таблицу умножения, дядюшка выходил на большую дорогу, чтобы грабить одиноких путников и повозки. Никто никогда не узнает, как он кончил. Очевидно, конец у него был такой же, как у всех бандитов». Выдумка до того нелепая, что автор признаётся: «Это лишь неподтверждённое предположение». И надо всё же отдать должное заказчикам «биографии»: выдумкой «про дядю-бандита» они для пропагандистских целей не воспользовались, побрезговали...

Что касается отца Солженицына, то ложь нанятого автора была заведомой: обстоятельства кончины, удостоверенные церковными записями, снимали всякие подозрения и в казни, и в самоубийстве. «Как понимаете, — пишет Солженицын в «Зёрнышке», — ваши ревтрибуналы, расстреливая у ям, не посылали за священником, дьяконом и псаломщиком». Не звали их, как известно, и к самоубийцам. Да и рано всё же было весной 1918 года для смертельного страха перед красными: И. С. Солженицын умер за три недели до подавления мятежа левых эсеров, за четыре недели до расстрела царской семьи, за пять недель до принятия «Временной инструкции о лишении свободы» (23 июля 1918 года), от которой и «пошли лагеря, и родился Архипелаг», за два с половиной месяца до начала массового красного террора.

Лихая версия, однако, не сдаётся и время от времени выныривает снова — теперь, что называется, «без задней мысли». В краеведческой брошюре «Малознакомый Кисловодск» (2005) — снова она же, как ни в чём не бывало: «В 1918 году отец Александра был уже дома, когда на Северном Кавказе начались "Троицкие мятежи" (на праздник Троицы) против проводимого большевиками "расказачивания". Затем вспыхнул бичераховский мятеж, и пожар гражданской войны охватил весь край. Вскоре Таисии Захаровне сообщили, что её муж офицер умирает в георгиевском госпитале, смертельно раненный будто бы случайным выстрелом из охотничьего ружья. Какая могла быть охота в то кипящее время? Офицеры прятались в лесах, за ними охотились, их убивали! Однако версия о случайном выстреле так и закрепилась в биографии писателя».

Здесь всё перемешано и перетасовано — хоть и с благими намерениями, но «во избежание» хронологии и географии. Троицу, как известно, празднуют в июне (в 1918 году Троица падала на 10 июня старого стиля или 23-е нового, когда уже произошло ранение на охоте). Расказачивание началось в 1919-м и касалось, понятное дело, казаков, а не крестьян, а бичераховский мятеж, названный по имени братьев-офицеров Георгия и Лазаря Фёдоровичей Бичераховых, имел место в конце июля 1918 года в восточной, а не в западной части Северного Кавказа. Именно тогда Г. Ф. Бичерахов возглавил контрреволюционное восстание терского казачества против советской власти и стал во главе «Временного народного правительства Терского края». К концу августа восстание было ликвидировано, а братья Бичераховы бежали в Дагестан.

...Таисия Захаровна, похоронив мужа, осталась вдовой в 24 года. Она так и не закончила женские курсы княгини С. К. Голицыной — в связи с тревожной обстановкой Захар Фёдорович просто не пустил дочь в Москву доучиваться на пятом курсе. Всё рухнуло, и всё было в прошлом — столичные годы, мечты о балете, возможность стать квалифицированным агрономом в своей экономии, фронтовое венчание и любимый муж. Будущим был только ещё не рождённый ребёнок — сын, как не усомнился, умирая, его отец. Тот самый первенец, которого наперёд нежно любили молодые родители. Долгожданный наследник, который, по замыслу Захара Щербака, должен был взять на свои плечи всё обширное хозяйство и всё нажитое трудом состояние. Только не было уже ни отца, ни дедова наследства, ни той страны, в которой оно могло бы сгодиться и приумножиться.

«Я родился — на Степана, но мама хотела сделать меня Саней по только что умершему отцу».

Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря (28 ноября ст. ст.) в день памяти преподобного мученика Стефана Нового, в Кисловодске, городе божественного воздуха и доброго, яркого солнца, в дачном особняке Ирины Ивановны Щербак. На всю жизнь он запомнит это нарядное здание в стиле модерн, украшенное деревянной резьбой, с застеклённой верандой, высокими потолками, садом и ступеньками, которые вели к дому с Шереметьевской улицы. После революции дом, отнятый у прежних хозяев, был разделён на убогие квартирки-скворечни. «Литературная газета», разоблачая писателя вслед за немецким «Штерном», поместила рядом с фотографией автомобиля и фото этого дома — в 1972-м здесь уже располагался один из корпусов санатория. В тираже газеты, пошедшем на Северный Кавказ, под снимком дома И. И. Щербак стояла надпись: «Дом Солженицыных в Сабле», а в экземплярах для Запада и остальных районов СССР — «Дом Щербаков в Кисловодске».

«После моей высылки, — вспоминает писатель, — это здание снесли, очевидно, чтоб не было дома, где я родился. Одно время Шереметьевская улица называлась улицей Троцкого, потом Бухарина, сейчас Семашко. Совсем недалеко, квартала полтора от дачи тёти Иры, находился дом М. З. Гориной, а между этими двумя улицами была церковь Пантелеймона-целителя, где меня крестили. В 1956-м я ещё застал эту церковь, а потом её снёс Хрущёв». Та красавица-церковь Святого Пантелеймона в Ребровой балке была построена в начале столетия на средства Ф. И. Шаляпина — и её не пожалели.

Восприемниками мальчика — крёстными родителями — были Роман Захарович Щербак, брат матери, и Мария Захаровна Горина, её сестра. Вскоре после родов мать с младенцем уехала в имение Захара Фёдоровича, где семья прожила весь 1919 год. Когда на Кубань вернулась советская власть, обитатели Новокубанской сами покинули имение. Взяв самое ценное, то, что помогало продержаться в голодное время, они переехали в Кисловодск, в дом Маруси Гориной на улице Льва Толстого, 4 (позже — Бородинский переулок, 3). Старинный двухэтажный особняк с затейливой мансардой, высокой замысловатой металлической крышей-башенкой, резным крыльцом, рельефным балконом был очень красив. «Вот, смотря с фасада, на первом этаже левое окно — та комната, где я провёл первые годы, из того окна — и первые воспоминания. Мне очень хотелось, чтобы дом сохра-

нился и его не постигла бы участь дома тёти Иры», — писал Солженицын в 1992-м. Жители Кисловодска мечтают открыть в этом доме (ныне он заброшен и окна заколочены досками) литературный музей А. Солженицына.

В 1921-м Таисия Захаровна, оставив сына на попечение родных, уехала устраиваться на работу в Ростов, город своей счастливой юности. Поселилась у Федоровских, поступила на годичные курсы машинописи и стенографии. И вскоре старый знакомый Захара Щербака Илья Исакович Архангородский взял Тасю, гимназическую подружку дочери, на работу в Мельстрой, проектный институт, где был главным инженером.

Это было скудное, тревожное, безутешное время. Время, яростно стиравшее следы самого себя.

...Солженицын не раз обращался в советские учреждения с просьбой выдать ему копию свидетельства о рождении. Вместо неё — получал справку о том, что актовой записи о его рождении по городу Кисловодску не сохранилось. По-видимому, так оно и было: в секретной записке КГБ «В отношении Солженицына А. И.» от 5 июля 1967 года указывалось: «Проводилась проверка по месту рождения Солженицына и местам его жительства... Просматривались учётные, архивные и другие официальные документы... Архивные материалы за 1918 год в гор. Кисловодске не сохранились, поэтому получить сведения о родителях по месту рождения Солженицына не представилось возможным. В материалах архивного следственного и оперативного дела на Солженицына в архивах Министерства обороны СССР данных о родителях Солженицына не содержится».

Часть вторая

ПОДПОЛЬЕ КАК ПОЧВА

Глава первая

РУССКИЙ ЖРЕБИЙ: НЕИЗБЕЖНОСТЬ ТЕНИ

Есть глубокая, но безрадостная закономерность железного века русской литературы — в том, что повествование о самой кровавой революции XX столетия, эпопея «Красное Колесо», было создано автором, который четверть века работал в обстановке советского подполья.

«То не диво, когда подпольщиками бывают революционеры. Диво — когда писатели». Так открываются мемуарные очерки Солженицына «Бодался телёнок с дубом», и первый из них назван «Писатель-подпольщик».

Это определение даёт ещё один важный ракурс. Напомним совет Солженицына критику-пушкинисту: «Надо уметь видеть писателя в тех контурах, к которым он рос и тянулся, а не только в тех, которые, по нескладности жизни, он успел занять». Так вот: подполье — и есть те контуры, которые писатель, по нескладности жизни, успел занять, а не контуры, к которым он рос и тянулся. Однако этот удел — пребывать в подполье, прятаться в тени — «родной наш, русский, русско-советский», констатирует Солженицын.

Дмитрий Панин, прототип Сологдина из «Круга первого», считал капитальной, коренной ошибкой автора романа как раз выход из тени. «Я вставал на дыбы, когда Солженицын хотел из подполья выйти наружу. Я ему приводил целый ряд доводов... Когда ты в подземелье, в подполье, то представляешь собой замаскированную батарею. Ты стреляешь тогда, когда хочешь, когда считаешь это удобным, чтоб нанести наибольший вред врагу, и вместе с тем чтобы твоя батарея была не замечена врагом. Вот твоё главное преимущество. Кроме того, если ты находишься в таком благоприятном положении, то являешься свободным творцом; никто на тебя не давит, самоцензура никакая не действует. Ты творишь действительно в условиях полной свободы. Бояться тебе нечего, меры все приняты. Ты хорошо спрятал свое до-

стояние; всё разумно, всё предусмотрено. И ты спокойно думаешь, работаешь, пишешь на всю железку. Это огромное твоё преимущество».

Но литература — не партизанщина, не диверсия в стане противника. Она создаётся укромно, но живёт при ярком свете, открыто, состязательно. А в русской традиции писательское поприще и вообще одно из самых опасных. Здесь выигрывает тот, кто рискует сказать миру *новое* слово, *своё* слово. И это не мания величия, а составная часть профессии. Жажда славы и стремление быть услышанным — две стороны одной медали. А значит, обжив подполье, рано или поздно нужно выныривать на поверхность. Потому, наверное, предшественники по судьбе, писатели-подпольщики и само подполье так волновали Солженицына.

Подполье — предмет жгучего интереса русской культуры XIX века.

Уязвлённый и оскорблённый отцовской скупостью рыцарь Альбер, персонаж пушкинской «маленькой трагедии», восклицает: «Решено — пойду искать управы / У герцога: пускай отца заставит / Меня держать как сына, не как мышь, / Рождённую в подполье». Ему, через толщу времени и пространства, отвечает герой-парадоксалист «Записок из подполья» Достоевского: «Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость».

Золотой век русской литературы открыл и вывел на свет трагического героя, человека с разорванным сознанием и беспощадным самоанализом. Классические типы «русских гамлетов» и «русских фаустов» болезненно сознают своё несовершенство и мучительно переживают его как ущербность. Самые радикальные из них, страдая и казнясь, именуют мир своих терзаний «подпольем», а себя — «подпольными». Они ненавидят, но пестуют этот мир, порождённый моральной зыбкостью, шатаниями ума, текучестью добра и зла.

Парадоксальным образом мироощущение «подпольного героя» оказалось связано со стихией революции — и это тоже одно из открытий русской литературы XIX века. Сдавленный гнев, разрушительный бунтарский огонь, иррациональное своеволие владеют «подпольным человеком», «вертят» им. Русская литературная классика разгадала обаятельный соблазн революционного духа как духа тьмы. Она провидчески увидела образ революции с её жаждой мести, ужасом и деспотизмом. Психологическая механика революции была расшифрована как стремление угнетённого стать

угнетателем, безвольного раба — своевольным деспотом. «Подпольная мышь» прорывается наружу, до головокружительных вершин свободы, не обузданная никакими нормами морали и права. Революционное подполье, усвоив новую роль, царит и правит, всё смеет и всё может. Но обаятельная сила бунта, маниакальное увлечение его беспредельным имморализмом оборачиваются для бунтовщиков бессилием и обречённостью. Революционная энергия, по дьявольской лукавой логике, вырождается в инерцию саморазрушения — таков её истинный энергетический потенциал. С проникновенной и трезвой правдой это обнажил анализ Достоевского, который знал о революции больше, чем радикальнейшие из радикалов.

Его выводы подтвердила литература Серебряного века, встретившая эпоху «кровавой зари» лицом к лицу. Она увидела, что историческая жизнь России, которая заключена между революционным террором, политической реакцией, полицейским сыском и всепоглощающей провокацией, находится во власти оборотней. Создавая единую подпольную сеть, они подталкивают Россию к окончательной катастрофе. Общество, обожжённое беспрецедентной охотой на царя, пережившее драму убийства Столыпина, теряет жизнеспособность. Бомба, тикающая в утробе России, может взорваться от любого неосторожного движения, от любого случайного прикосновения. Чьи руки не дрогнут, чьё сердце не истомится? Кто дерзнёт завести часовой механизм и дёрнет взрыватель? Кто не будет мучиться ужасом? Кто посмеет?

«Будут, будут кровавые, полные ужаса дни; и потом — всё провалится; о, кружитесь, о, вейтесь, последние дни!»

Свою нелёгкую участь писателя-подпольщика Солженицын вписывает в общий русский удел. Нырять в подполье, прятаться и таиться, писать украдкой и скрывать от посторонних глаз заветные тетрадки, сочинять заведомую крамолу анонимно, хранить в столе или в тайниках-схронах, распространять в списках, в «самиздате» или «тамиздате», — всё это и в самом деле выпадало на долю Радищева, Чаадаева, Пушкина, Достоевского и многих других русских литераторов. Но всё же случай Солженицына по меркам исторических и современных подпольных опытов — совершенно особый, исключительный, беспрецедентный.

«Теперь известно, — пишет Солженицын, — что Радищев в последнюю часть своей жизни что-то важное писал и глубоко, и предусмотрительно таил: так глубоко, что мы и нынче не найдём и не узнаем».

Однако аналогия — писатель-подпольщик Солженицын и Радищев, основоположник русской литературной крамолы, — не слишком убедительна. Каждый пункт судьбы автора «Путешествия из Петербурга в Москву» вопиюще разнится с историей жизни Солженицына. Сын богатейшего саратовского помещика, воспитанник Пажеского корпуса и Лейпцигского университета (одним из его однокашников был Гёте), Радищев, служа в Коммерц-коллегии, пользовался покровительством её президента — влиятельнейшего вельможи-либерала графа А. Р. Воронцова (родного брата Е. Р. Дашковой). К моменту публикации «Путешествия» Радищев не был политическим отщепенцем, а напротив, только что вступил в должность управляющего Петербургской таможней. Законным порядком он провёл своё сочинение через цензуру Управы благочиния, благо цензор Н. И. Рылеев доверился невинному географическому названию и, почти не заглядывая в рукопись, подмахнул разрешение в печать. («Радищев, рабства враг, цензуры избежал», — запечатлел Пушкин необычный для истории цензуры факт.)

Как известно, издатель, которому была передана рукопись, увидел в ней много дерзкого и печатать побоялся. Тогда сочинитель приобрёл в долг у типографа И. Шнора печатный станок (представим себе что-нибудь подобное в любом, на выбор, году советского времени!) и организовал у себя на дому типографию — нет, не подпольную, а легальную. Ведь по указу 1783 года заводить «вольные» типографии разрешено было всем желающим, и этот закон оставался в силе даже в разгар Французской революции.

Надо перелистать немало советских учебников истории и литературы, чтобы обнаружить хоть какую-нибудь ссылку на это историческое обстоятельство. Итак, наборные и печатные работы производились слугами и подчинёнными Радищева; в мае 1790 года был изготовлен тираж в 650 экземпляров, несколько книг (изданных анонимно) розданы друзьям, одна послана Державину — в знак уважения к поэту, 25 отправлено книготорговцу Зотову в Гостиный двор для свободной продажи и вскоре распродано.

С точки зрения политических нравов своего времени Радищев тяжело пострадал за своё вольнодумство. Грозная критика Екатерины, увидевшей в «Путешествии» «рассеивание французской заразы», а в авторе — «бунтовщика хуже Пугачёва». Арест, каземат Петропавловской крепости, двухнедельное следствие, порученное мастеру сыскных дел Шешковскому. Отречение от книги, наполненной, как теперь признавал автор, «гнусными, дерзкими и развратными

выражениями». Суд, где читались вслух особо опасные фрагменты, — как главное вещественное доказательство обвинения. Вердикт об уничтожении крамольного сочинения; смертный приговор автору через отсечение головы, вынесенный Палатой уголовного суда, утверждённый Сенатом и Государственным советом. Тягостное ожидание казни, заменённой в конце концов десятилетней ссылкой в Сибирь.

Два века спустя Солженицын скажет: «Целая национальная литература погибла на Архипелаге». С позиции этой невосполнимой утраты путь Радищева в Илимский острог, длившийся год и четыре месяца, выглядел всё же весьма причудливым путешествием. Несмотря на более чем прохладные отношения с императрицей, граф Воронцов добивается, чтобы вслед за Радищевым, увезённым из Петербурга в оковах, был отправлен специальный курьер с приказом расковать арестанта и снабдить его всем необходимым. «Если бы не несносная сердцу моему печаль разлучения моего от детей моих не была толико отяготительна, то верьте, что опричь сего мне кажется, что я нахожусь в обыкновенном каком-либо путешествии», — писал Радищев своему покровителю Воронцову из Нижнего Новгорода.

Ко всем губернаторам, через территории которых должен был следовать Радищев, Воронцов обратился с личной просьбой — оказывать проезжающему всякое содействие. Просьба действовала безотказно, хороший приём был обеспечен везде, а у губернатора Тобольска Радищев прожил гостем семь месяцев. Можно ли представить, что подобные чудеса происходят с политическим зэком советского времени, отправленным на этап? Что он принят в доме секретаря обкома партии как гость?

В Тобольск к Радищеву приехала свояченица, вскоре ставшая его женой, привезла двух младших детей ссыльного от первого брака и пробыла с ним все годы ссылки. Даже академической «Истории русской литературы» невозможно было скрыть мягкость и «пощадливость», проявленные властями к бунтовщику: «В Илимске Радищев жил неплохо. Воронцов посылал ему деньги, книги, инструменты для занятий естественными науками, лечебные средства. Для Радищева был выстроен дом, и он занялся сельским хозяйством. Воронцов позаботился и о старших сыновьях Радищева, оставшихся в Европейской России, о его брате, пострадавшем по службе после приговора автору “Путешествия”, о его семье вообще».

Подневольное население ГУЛАГа могло только безмерно удивляться невиданному либерализму правосудной системы

времён Екатерины: «злодеем» гласно занимались высшие инстанции государства, а не «особая тройка»; тюремного срока преступник не получил, каторжных работ не испытал, с голоду не пух, что такое «хлебная пайка», не изведал, а жил вместе с семьёй в собственном доме и мирно выращивал сельхозкультуры.

«Санаторий», — сказал бы бывалый зэк.

Но зэку-писателю ссыльные обстоятельства предшественника по судьбе и собрата по перу тоже показались бы удивительными.

Из десяти лет Радищев провёл в Сибири всего пять, до января 1797 года. Он сам воспитывал и учил своих детей, охотился, лечил крестьян, обучил медицине своего слугу, который остался навсегда в Илимске, где потом служил лекарем. По поручению Воронцова Радищев изучал природу Сибири, местные народные промыслы, быт и экономику края; излагал в письмах графу соображения об административном управлении Сибирью, об организации экспедиции по Северному морскому пути, о китайском торге. В Илимске был создан и обширный философский трактат «О человеке, его смертности и бессмертии». «Я наслаждаюсь здесь спокойной жизнью, — писал Радищев своему покровителю. — Я не могу достаточно нахвалиться обращением со мной со стороны местных властей, особенно генерал-губернатора».

Разумеется, ему не нужно было прятать бумаги, зашифровывать имена, заучивать наизусть абзацы текста — в надежде, что только память, верная подруга узника, надёжно сохранит написанное. То и дело случались оказии для отсылки почты влиятельному графу. Едва умерла Екатерина II, Павел вернул Радищева из ссылки и разрешил поселиться в наследственном калужском имении безвыездно — но вскоре поднадзорный смог съездить к родителям в Саратовскую губернию и прожить там целый год. Переворот 11 марта 1801 года и восшествие на престол Александра I вернули к государственным делам графа А. Р. Воронцова, и немедленно его протеже Радищев не только получил полную амнистию с возвращением дворянства и чинов (секунд-майора, асессора), но и был принят на службу в Комиссию по составлению законов.

Но что же писал, таил и прятал в эти годы Радищев, прятал столь глубоко, что и до сих пор не найдено? Увы, версия, будто после возвращения из ссылки он тайно дописывал «Путешествие из Петербурга в Москву», — это романтический миф оттепельных 1960-х в их благородном стремлении опереться на героических предшественников русского лите-

ратурного подполья. Печальные обстоятельства последних лет жизни Радищева, которому поручено было изложить мысли о составлении законов, выразительно переданы Пушкиным: «Бедный Радищев, увлечённый предметом, некогда близким к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте [“О законоположении”], представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям. Граф Завадовский удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: “Ах, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?” В этих словах Радищев увидел угрозу. Огорчённый и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, об лейпцигском студенте [Ф. В. Ушакове], подавшем ему некогда первую мысль о самоубийстве, и... отравился. Конец, им давно предвиденный и который он сам себе напророчил!»

Закалённый испытаниями зэк ГУЛАГа, уже и освободившись, мог неоднократно слышать «дружеские напоминания» о Сибири — но вряд ли это могло испугать его до смерти. Литературной тайнописи советского времени, как и всей литературе, попавшей, по слову Солженицына, «не в сверкающий поднебесный мир, а под потолок-укосину», вообще нелегко найти историческую параллель, даже из родного набора.

Вот, к примеру, М. М. Щербатов, князь-Рюрикович в тридцать седьмом колене, энциклопедически образованный современник Радищева, обладатель колоссальной библиотеки на нескольких европейских языках, почётный член Академии наук, автор многотомной «Истории российской от древнейших времён», официальный российский историограф. Тайный советник, действительный камергер, сенатор, герольдмейстер, он по поручению Екатерины II был допущен к бумагам Петра Великого и даже к тайным документам о царевиче Алексее, об отношениях Петра с Екатериной I. Щербатов заведует секретным делопроизводством по военному ведомству, является очевидцем многих событий екатерининского времени и прекрасно знает двор. Но ни один человек не догадывается, что помимо официальных трудов по Древней Руси, которые выходят том за томом, этот блестящий вельможа и государственный деятель пишет потаённую историю России, пишет не для публикации, но исключительно для потомства и уже заранее определил, каким из его рукописей надлежит «скрыться в фамилии».

И действительно: только «фамилия», то есть наследники будут знать после кончины князя, что́ именно нужно пря-

тать от возможного набега властей*. Тайные бумаги переживут и детей его, и внуков, и московский пожар 1812 года, и будут обнаружены в подвале, в семейном архиве князей Шаховских, прямых потомков Щербатова. Спустя 70 лет после создания (1785—1788) увидит свет опаснейшее сочинение князя Щербатова «О повреждении нравов в России» — с такими сюжетами о Екатерине Великой и её фаворитах, что автору, в случае провала конспирации, пришлось бы худо.

Неизвестно, знал ли о дедовых бумагах родной внук Щербатова, сын его дочери Натальи Михайловны, философ П. Я. Чаадаев: он не дожил до публикации в 1858 году секретных мемуаров деда. Но зато познал на себе всю горечь тогдашних цензурных запретов — прижизненно всего два раза появились в русской печати, без упоминания имени, его произведения; и уже второй раз стал последним. Знаменитое «Философическое письмо» Чаадаева, опубликованное в журнале «Телескоп» в 1836 году, вызвало чрезвычайные санкции императора Николая I, надолго ставшие притчею во языцех.

Однако русский XX век научил, что санкции санкциям рознь. Резолюция Николая I на докладе министра просвещения Уварова о «предосудительной статье», о нарушении обязательства «пещись о духе и направлении периодических изданий», о «непростительном легкомыслии» цензора заслуживает не только точного цитирования, но и справедливого комментария. «Прочитав статью, нахожу, — начертал Николай, — что содержание оной — смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишённого: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу».

На основании царской резолюции и был составлен ключевой документ «философической» драмы XIX столетия — проект отношения шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа к московскому военному генерал-губернатору светлейшему князю Д. В. Голицыну: именно ему надлежало отныне заботиться о дальнейшей судьбе москвича Чаадаева, который, *по нездоровью*, «дышит нелепой ненавистью к отечеству»: «Жители древней нашей столицы, всегда отличающиеся чистым, здравым смыслом и будучи преисполнены

---

* После кончины М. М. Щербатова в 1790 году последовало предписание Екатерины II московскому главнокомандующему А. А. Прозоровскому «постараться купить библиотеку и собрание рукописей покойного». Значительная часть книжных и рукописных богатств была приобретена для Эрмитажной библиотеки.

чувством достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок и... не только не обратили своего негодования против г. Чеодаева, но, напротив, изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей».

Шеф жандармов, находясь в Петербурге, отлично знал московские настроения, о чём уведомлял московского генерал-губернатора. «Здесь, — писал граф, — получены сведения, что чувства сострадания о несчастном положении г. Чеодаева единодушно разделяются всею московскою публикою». Самое интересное, что это была сущая правда, — под «всей московскою публикою» подразумевались вовсе не «охранители и мракобесы», толпой стоявшие у трона, но люди несомненных культурных достоинств — Н. М. Языков, Д. В. Давыдов, князь П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, В. А. Жуковский, В. Ф. Одоевский, семья Карамзиных.

Философическое письмо Чаадаева было воспринято лучшими из его современников как отрицание той России, которую, по слову Вяземского, с подлинника списал Карамзин. Нечего и говорить о Пушкине — он, друг Чаадаева, решительно оспорил центральный тезис — об исторической ничтожности русских. «Мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода... Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось» — таков был «отрицательный патриотизм» Чаадаева.

«Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал» — таков был патриотический пушкинский пафос.

Слово против слова...

Справедливость требует сказать, что император Николай и граф Бенкендорф были далеко не самыми резкими критиками скандальной чаадаевской публикации — и далеко не такими страшными мучителями философа, какими они могли бы быть в силу своего положения. Бенкендорф, ссылаясь на резолюцию императора, рекомендовал Голицыну принять надлежащие меры «в оказании г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий». «Его Величество повелевает, дабы Вы поручили лечение его искусному медику, вменив сему последнему в обязанность непременно каждое утро посещать г. Чеодаева и чтоб сделано было распоряжение, да-

бы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были употреблены все средства к восстановлению его здоровья».

Самое удивительное во всей чаадаевской истории, о которой вот уже полтора века принято писать только в хлёстких терминах Вольной русской типографии («царизм яростно обрушил на Чаадаева всю свою ненависть»), что Бенкендорф в послании к Голицыну не лгал и не лицемерил. «Всевозможные попечения» об опальном философе, чьё выступление было воспринято российским обществом (именно обществом, а только потом властью) как дерзкое оскорбление России, оказались именно такими, какими планировались — не менее, но и не более.

Да и как бы власть могла не реагировать на происшедшее, если даже студенты Московского университета заявили графу С. Г. Строганову, попечителю учебного округа, что готовы с оружием в руках вступиться за оскорблённую Россию? К тому же Чаадаев сам признавал, что, сочиняя «сии сумасбродные, скверные письма», «был болен» и что хотя согласился отдать одно из них в журнал, был всё же твёрдо уверен в крепости цензурных устоев. В конце концов, к моменту публикации чаадаевский манифест свободно распространялся в публике — и в московской, и в петербургской — вот уже лет шесть и никаких репрессий не вызывал. Чаадаев же — по сравнению с сосланным в Усть-Сысольск под надзор полиции издателем Надеждиным и отставленным от службы цензором Болдыревым — пострадал много меньше.

Конечно, Чаадаев был потрясён наказанием и поначалу оскорблялся ежедневными посещениями официального доктора, который для формы прописал больному какой-то рецепт, так и оставшийся без употребления. Очень скоро, однако, этот доктор был сменён по просьбе Чаадаева другим, его давнишним приятелем, человеком безукоризненного поведения и абсолютной порядочности. Затем Чаадаеву вернули все его бумаги, отобранные при обыске. Наконец, были сняты и «медицинские попечения», продлившиеся менее года, и он официально был признан здоровым. Печататься ему всё же не дозволялось — чтобы раскаявшегося вольнодумца не «завлекло к изложению ложных понятий».

Видя в Чаадаеве предшественника по «тайнописи», Солженицын рассказывает: «Рукопись свою отдельными листиками он раскладывал в разных книгах своей большой библиотеки. Для лубянского обыска это, конечно, не упрятка: ведь как бы много ни было книг, всегда же можно и опера-

тивников пригнать порядочно, так чтобы каждую книгу взять за концы корешка и потрепать с терпением (не прячьте в книгах, друзья!). Но царские жандармы прохлопали: умер Чаадаев, а библиотека сохранилась до революций, и несоединённые, не известные никому листы томились в ней». Можно добавить, что Чаадаев был ещё искуснее. Он не просто прятал листки — он их вклеивал между страницами книг, так что тряска книг при жандармском (и лубянском) обыске вряд ли дала бы нужный результат.

Но вот что действительно трудно сравнить, так это последствия психиатрической санкции. Философа не упекли в жёлтый дом, не держали под замком, не терзали насильственным лечением, которое превращает человека в развалину. Современники иронизировали по поводу безнаказанности Чаадаева: «Медвежья шутка Николая, объявившего его сумасшедшим, не имела и не могла иметь никаких для него последствий. После, как и прежде, русское общество равно его уважало, а сам он равно говорил правду после, как и прежде» (Н. Сазонов). Известно, что сам Чаадаев надел на себя официальную маску безумца — «по высочайшему повелению и по собственной милости» и «говаривал не без удовольствия: "Моё блестящее безумие"».

«Правительство всё ещё единственный европеец в России. И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания» — этих строк Пушкина из черновиков неотправленного письму к Чаадаеву 1836 года адресат никогда, разумеется, не видел и не читал. Но спустя месяца четыре Чаадаев написал брату фактически то же самое: «Говорят, что правительство, поступив таким образом, думало поступить снисходительно; этому очень верю, ибо нет в том сомнения, что оно могло поступить несравненно хуже».

Спрятавшись — один за статус официального историка, другой за роль «блестящего безумца», — князь Щербатов и его внук Чаадаев уцелели и умерли своей смертью. Но вот Д. И. Шаховской (1861—1939), праправнук Щербатова и внучатый племянник Чаадаева, занимавшийся уже в советское время историей двух своих знаменитых предков, погиб. Подготовленные им два Собрания сочинений Чаадаева безвозвратно исчезли вместе с ним в ГУЛАГе.

О правительстве, без всякого снисхождения сгноившем в лагере Шаховского, которому было уже под восемьдесят, наверное, Пушкин ни за что не сказал бы, что оно европеец. Советские же историки, с их лицемерным возмущением царской цензурой, державшей под замком чаадаевское на-

следие, не решались назвать обстоятельства гибели главного собирателя этого наследия вплоть до середины 1980-х годов.

История интеллектуальной цензуры в России парадоксальна, лукава и полна жестокого фарисейства. Судьбы опальные и судьбы подпольные зависели от политической целесообразности, идейной конъюнктуры, поворотов фортуны, снисходительности или свирепости власти. Самые громкие обвинения по адресу гонителей Пушкина, «Свободы, Гения и Славы палачей», произносились (дух времени!) в год столетнего юбилея поэта. Тогда, в 1937-м (Солженицын перешёл на второй курс университета), были вырваны из жизни тысячи новых жертв: ни в какие конфликты с властью они, как правило, не входили, против мнений света не восставали, о жажде мести не помышляли, но свой свинец в грудь тем не менее получили исправно.

Русским подпольным писателям приходилось тяжело во все эпохи, но советское время вне всяких сравнений. Даже легендарный замок Иф, где 18 лет (знакомый сталинский срок!) томился будущий граф Монте-Кристо Эдмон Дантес, кажется Глебу Нержину, автобиографическому герою Солженицына, местом до смешного патриархальным, хотя Дюма и старался «создать ощущение жути»: «Разберите, почему Дантес смог убежать? Потому что у них годами не бывало в камерах шмонов, тогда как их полагается производить каждонедельно, и вот результат: подкоп не был обнаружен. Затем у них не меняли приставленных вертухаев — их же следует, как мы знаем из опыта Лубянки, менять каждые два часа, дабы один надзиратель искал упущения у другого. А в замке Иф по суткам в камеру не входят и не заглядывают. Даже глазков в камерах не было — так Иф был не тюрьма, а просто морской курорт! В камере считалось возможным оставить металлическую кастрюлю — и Дантес долбал ею пол. Наконец, умершего доверчиво зашивали в мешок, не прожегши его тело в морге калёным железом и не проколов на вахте штыком. Дюма следовало сгущать не мрачность, а методичность».

«Кто испытал больше страданий — Достоевский или вы?» — спросили у Солженицына в 1976-м в Мадриде. Писатель отвечал сдержанно: «Советский ГУЛАГ несравнимо страшней царской каторги. Но мера внутренних страданий человека не всегда соответствует внешне пережитому». Однако внешние тюремные приметы, которые так способствовали безмерности внутренних страданий, тем не менее обожгли его память и воображение. И потому «Архипелаг ГУЛАГ» стал не только опытом художественного исследова-

ния русского Мёртвого дома нового образца. Солженицын смотрит на каторжные норы золотого века глазами зэка-узника железного столетия и, верный своему летописному занятию, составляет опись потерь и приобретений государства Российского по части застенков.

«Пошла лютая жизнь, и уже не назовут заключённого, как при Достоевском и Чехове, “несчастненьким”, а пожалуй, только — “падло”. В 1938 магаданские школьники бросали камнями в проводимую колонну заключённых женщин».

«Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа».

«Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни у Достоевского — поражаешься: как покойно им было отбывать срок! ведь за десять лет у них не бывало ни единого этапа».

«Наши революционеры никогда не знавали, что такое настоящее *хорошее* следствие с пятьюдесятью двумя приёмами».

«Каторжные работы в дореволюционной России десятилетиями ограничивались Урочным Положением 1869 года, изданным для вольных. При назначении на работу учитывались: физические силы рабочего и степень навыка (да разве в это можно теперь поверить?!)... Что до омской каторги Достоевского, то там вообще бездельничали, как легко установит всякий читатель. Работа у них шла в охотку, впритруску, и начальство даже одевало их в *белые* полотняные куртки и панталоны! — ну, куда ж дальше? У нас в лагере так и говорят: “Хоть белые воротнички пришивай” — когда уж совсем легко, совсем делать нечего. А у них — и куртки белые! После работы каторжники “Мёртвого дома” подолгу *гуляли* по двору острога — стало быть, не примаривались. Впрочем, “Записки из Мёртвого дома” цензура не хотела пропустить, опасаясь, что *лёгкость* изображённой Достоевским жизни не будет удерживать от преступлений. И Достоевский добавил для цензуры новые страницы с указанием, что “*всё-таки* жизнь на каторге тяжка!”... Опасность умереть от истощения никогда не нависала над каторжанами Достоевского. Чего уж там, если в остроге у них (“в зоне”) ходили гуси (!!) — и арестанты не сворачивали им голов. Хлеб на столах стоял у них вольный, на Рождество же отпускали им по *фунту* говядины, а масла для каши — вволю».

Если бы доктор Чехов, после того как он побывал на Сахалине и добросовестно исследовал арестантское меню, качество выпечки и варки, смог бы заглянуть в миску работяги из какого-нибудь особлага, «так тут же бы над ней и скончался». «Плохо, — рассуждает арестант ГУЛАГа, завя-

тый книгочей, — если тебя подводит автор книги, начинает подробно смаковать еду — прочь такую книгу! Гоголя — прочь! Чехова — тоже прочь! — слишком много еды! "Есть ему не хотелось, но он всё-таки съел (сукин сын!) порцию телятины и выпил пива". Читать духовное! Достоевского — вот кого надо читать арестантам. Но позвольте, это у него: "дети голодали, уже несколько дней они ничего не видели, кроме хлеба и *колбасы*"?»

Каторга Достоевского, пристрастно фиксирует Солженицын, не знала вечного лагерного непостоянства, этой «судороги перемен». Люди отбывали в одном остроге весь срок. Им неведомы были внезапные тасовки «контингентов», переброски «в интересах производства», комиссовки, инвентаризации имущества, внезапные ночные обыски «с раздеванием и переклочиванием всего скудного барахла, ещё отдельные доскональные обыски к 1 мая и 7 ноября». И далее: «Достоевский ложился в госпиталь безо всяких помех. И санчасть у них была общая с конвоем... При Достоевском можно было из строя выйти за милостынею. В строю разговаривали и пели».

Сравнение можно и даже необходимо продолжить. Государственный преступник, осуждённый военным судом на смертную казнь расстрелянием с заменой на четыре года каторги, Достоевский, по приговору о лишении гражданских прав, был лишён и права писать. Мысль об этом сводила его с ума: «Если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках». Но в Омском остроге появилась на свет легендарная «Моя тетрадка каторжная», самоделка, сшитая разными нитками из 28 листов простой писчей бумаги, хранимая фельдшером военного госпиталя, куда время от времени удавалось пристроить арестанта и где тот мог снова побыть писателем. Тетрадка с «выражениями, записанными на месте», помогла автору «Бедных людей» выдержать 1460 дней заключения от звонка до звонка — вечная благодарность русской литературы лекарям старого острога! «Доктор Ф. П. Гааз у нас бы не приработался» — таков исторический комментарий Солженицына к вопросу о лагерной медицине своего времени.

Но сравнение двух каторжных миров требует ещё одного акцента. Несмотря на жестокость наказания, которому подвергся литератор Достоевский за публичное чтение письма литератора Белинского литератору Гоголю, полученное в копии от литератора Плещеева (приговор не содержал иного состава преступления), это наказание не имело цели *вечного* преследования преступника. Государство не мстило ему

и, помиловав, вернуло право писать и печататься. Переступив порог каторжного острога, Достоевский, сосланный рядовым в Семипалатинск, мог не скрывать того факта, что занимается литературной работой; мог не опасаться, что его бумаги отнимут, нагрянув с обыском в казарму или на частную квартиру. И уж конечно Достоевскому не пришлось заучивать свои тексты наизусть из боязни их записать. Счастливым образом запаздывал и технический прогресс, храня русскую литературу: на писателя золотого или Серебряного века власть могла напустить соглядатая, но не дотягивалась поставить тайную прослушку в его кабинете.

«Не о том печься, чтобы мир тебя узнал, а наоборот, нырять в подполье, чтобы, не дай Бог, не узнал, — этот писательский удел родной наш, русский, русско-советский!» — восклицает Солженицын.

Сравнения из истории русского литературного подполья не смягчают, однако, общей картины. Напротив — подчёркивают жестокость общества по отношению к писателю-нелегалу.

Но даже и в своей исторической системе координат опыт Солженицына не имеет прецедентов и аналогов.

Глава вторая
ОТЧИЙ ДОМ: ТАЙНЫ СКРЫТНОГО ВРЕМЕНИ

«Я родился прямо в гражданскую войну, а первые детские впечатления — ранние годы советской власти».

Время Солженицына будто позаботилось о том, чтобы тайны окружали самое раннее его детство. Русская смута, под сенью которой родился писатель, век преследований и гонений, в который ему пришлось жить, сделали уязвимыми самые простые, но неизбежные вопросы о родителях, о прошлом семьи и ближайших родственников. Отчий дом Солженицына со многими его обитателями с первых лет стал зоной повышенного риска, территорией особой опасности.

Здесь надо подчеркнуть: зоной риска, но не источником стыда и позора. «Солженицын не может похвастать своими родственниками, — пишет биограф-ненавистник Ржезач. — Солженицын вдруг обнаруживает, что он не может, как другие дети и молодые люди, гордиться своими родными». «Обычаи семьи Солженицыных требуют держать язык за зу-

бами», — добавляет он, замазывая, однако, причины: время не давало никакого шанса гордиться отцом-офицером или дедом-землевладельцем.

«Как видно из материалов, Солженицын в своих автобиографических данных по существу ничего не сообщает о своих родителях, не указывая даже их фамилий, имени и отчества», — недовольно отмечала секретная справка «В отношении Солженицына А. И.», направленная КГБ СССР в Отдел культуры ЦК КПСС в июле 1967 года.

Привычка не говорить лишнего создавалась годами, десятилетиями.

В глазах новой власти, проводившей *широкую социальную профилактику* в столице и на местах, даже учёба крестьянского сына в университете вызывала подозрения и требовала объяснений. Персонаж комедии Солженицына «Пир Победителей», уполномоченный контрразведки СМЕРШ Гриднев укажет на «отягчающие обстоятельства» капитану Нержину, которого пытается поймать на сомнительных родителях и дедах.

«Гриднев: А — кто вы есть, товарищ капитан?

Нержин: Я вам сказал: комбат.

Гриднев: Да нет, по *соц-происхожденью!*

Нержин: Я не ослышался?

Гриднев: Я думаю, что нет.

Нержин: Спросили вы...

Гриднев: Кто ваш отец, кто дед? / А вы взглянули как-то косо.

Нержин: Да. Если добрых десять лет / Не слышал этого вопроса / И думал не услышать впредь, / Так как же мне на вас смотреть?

Гриднев: А раньше, значит, слышали?

Нержин: Да кто ж его не слышал? / На каждом повороте. / Но ведь теперь уж он из моды вышел. / Мы — просто русские, мы просто — патриоты <...>

Гриднев: А в офицерское училище вступая, вы в анкете / Не замечали этого вопроса?

Нержин: Заметил, да. Но думал — старый отпечаток.

Гриднев: В ОсобОтделах не бывает опечаток. <...> / Что ж вы ответили? <...> В анкете?

Нержин: А-а... Сын служащей.

Гриднев: Как это понимать?

Нержин: А так, что в учрежденьи служит моя мать.

Гриднев: Ответ неполный. По нему не видно вашего лица. / А кто *её* отец? А — *ваш* отец? И наконец — / отец отца? <...> Вот так из маленьких вопросов / И вам готова западня, /

И всё понятно для меня. / Вы — внук, да только не крестьянина. / На денежки какие / Отец учиться мог? / На трудовые / Шиши? Кормилица соха? / Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!»

Но отцов университет был малой неприятностью. Истинной ловушкой мог стать прославленный Гренадерский корпус, где служил Солженицын-отец, а также предположения, что не умри он раньше времени, то ушёл бы к белым. В контексте двадцатых и тридцатых, времени детства и взросления Солженицына-сына, загадка о судьбе отца казалась простой: «Может быть, к лучшему умер отец / В год восемнадцатый смертью случайной: / С фронта вернувшийся офицер, / Кончил был он в *Чрезвычайной*».

Царские ордена подпоручика Солженицына могли стать грозной уликой, свидетельством обвинения его вдовы и сына. Чтобы избежать ареста при обысках, возможных в любую минуту, пришлось закопать в землю эти знаки отцовой фронтовой доблести; где-то в земле (мать щадила сына и брала на себя весь объём тайны) им суждено было остаться навеки...

Даже фотографий военного времени, где подпоручик-артиллерист мог быть запечатлён в гренадёрском мундире, Саня никогда не видел — мать сохраняла только студенческие снимки мужа, но и про них были бдительные расспросы — что за форма такая? А виси такой портрет у мальчика над кроватью или над письменным столом, так и провисел бы только до первого постороннего гостя. «Разгромлена была бы эта квартира и быть может арестована мать. Царский, не царский, — слово "офицер" было леденящим сгустком ненависти, его нельзя было вслух произнести среди людей, это была уже — контрреволюция. Незадолго перед тем офицеров уничтожали десятками тысяч подряд, не разбираясь, топили баржами».

Так напишет Солженицын в ответ на заказной вымысел, будто мальчиком он открыто поклонялся отцу, царскому офицеру. «Я мальчиком — умел хранить тайны!... И знал о закопанных папиных орденах!» — признается он много лет спустя; и это было главное, буквальное (находящееся под землёй) подполье его детской жизни.

«Архипелаг ГУЛАГ» даст этой тайне исчерпывающее объяснение. «Все 20-е годы продолжалось выматывание ещё уцелевших бывших офицеров: и белых (но не заслуживших расстрела в Гражданскую войну), и бело-красных, повоевавших там и здесь, и царско-красных, но которые не всё время служили в Красной армии или имели перерывы, не удостоверенные бумагами. Выматывали — потому что сроки им

давали не сразу, а проходили они — тоже пасьянс! — бесконечные проверки, их ограничивали в работе, в жительстве, задерживали, отпускали, снова задерживали, — лишь постепенно они уходили в лагеря, чтобы больше оттуда не вернуться. Однако отправкой на Архипелаг офицеров решение проблемы не заканчивалось, а только начиналось: ведь оставались матери офицеров, жёны и дети».

Но опасность угрожала маленькой семье Солженицыных не только потому, что Таисия Захаровна была вдовой царского офицера. Большие подозрения вызывали у властей её собственные обстоятельства. Мать-одиночка, она познала мытарства обездоленного существования, а также «неправильного» социального происхождения. Зажиточные родители были разорены революцией и оставили ей в наследство клеймо классовой неблагонадёжности: хозяйство Захара Фёдоровича, которое должно было стать неиссякаемым источником благополучия, стало причиной несчастий.

Оставив на попечение родных в Кисловодске маленького Саню (ему тогда не было и трёх), Таисия Захаровна подалась в Ростов. При её общей образованности, знании иностранных языков и отменном владении русским профессия стенографистки и машинистки безотказно кормила все дальнейшие годы. С тех пор она уже не возвращалась в Кисловодск на постоянное житьё, ибо работу — сдельно, по договорам, сверхурочно — можно было отыскать только в Ростове.

Ребёнок рос, опекаемый семейством Щербаков — дедом, бабушкой, тётями и дядями. Дядя по отцу Константин Семёнович Солженицын до своей высылки немного помогал материально. В конце 1924-го мальчика взяли на несколько месяцев в Новочеркасск тётя Ира и дядя Ромаша, зиму 1925-го Саня прожил при матери в Ростове — за ним присматривала дальняя родственница. Два лета (1925-го и 1926-го) провёл в Гулькевичах, на хуторе двоюродного дяди Михаила Лукьяновича, вместе с дедом и бабкой. Зимой 1925/26 года Таисия Захаровна окончательно забрала сына в Ростов.

«Книг ещё в сумке я в школу не нашивал, / Буквы нетвёрдо писала рука, — / Мне повторяли преданья домашние, / Я уже слышал шуршание страшное — / Чёрные крылья ЧК. / В играх и в радостях детского мира / Слышал я шорох зловещих крыл. / ... Где-то на хуторе, близ Армавира / Старый затравленный дед мой жил».

Такими запомнились Солженицыну-внуку детские годы и его несчастный дед, чья трагическая история предстанет в

поэме «Дороженька». Страшное шуршание чёрных крыл не обминуло деда; самим ходом вещей он был обречён на клеймо «кулак» — так уже к 1930 году звали всех крепких крестьян. Дед Щербак стал ещё одной детской тайной Солженицына, опасным пунктом его социальной анкеты. «В шесть лет я твёрдо знал, что и дедушка и вся семья преследуются, переезжают с места на место, еженощно ждут обыска и ареста... Чекисты на моих глазах уводили дедушку (Щербака) на смерть из нашей перекошенной щелястой хибарки в 9 квадратных метров».

В «Дороженьке» одиннадцатилетний мальчик пытается утешить деда: «Ты — не жалей. / Наследства б я из принципа не взял». Мальчик, проучась несколько классов в советской школе, уже никак не хотел быть богатым (стыдно!), но горестная участь — стать наследницей раздавленного в прах отца — не обошла дочь: за бывшее имение родителей она заплатила сполна. Смутное время жестоко мстило Таисии за былой достаток родительского дома и привольную молодость — пансионерки, гимназистки, курсистки. Вместо счастливой любви и долгого супружества ей досталось раннее вдовство — и она никогда более не вышла замуж, опасаясь возможной суровости отчима для своего единственного сына.

А сын благодарно запомнит Германа Германовича Коске, учёного немца, художника, близкого друга матери. «Беспомощный, несовременный / Чудак — учитель рисованья, / Из тех, кто в коммунизм военный / Искал разгадок мирозданья. / Семьи не знавший, вечно холост, / Успехи лёгкие отринув, / Всю жизнь отдавший, чтоб на холст / Нанесть одну — одну картину! — / Мучительно не находя / Достойных красок сочетанья, / Он сердцем всё не стыл, хотя / Лишь неудачи и страданья / В его скитаниях сплелись. / За сорок лет, в очках и лыс, / То захолустных пошлых театров / Излишне чуткий декоратор, / То разрисовщик по фарфору, / А то и вовсе не у дел, / Он странно нравиться умел / Проникновенным разговором, / Больным чутьём, вниманьем добрым, / Уменьем видеть красоту / И смело бросить яркий образ / В души смятенной темноту».

Проведя полдетства в дружественной ростовской семье инженера В. И. Фёдоровского, его жены Евгении и её матери Александры Федоровны Андреевой — начальницы ростовской гимназии, где до революции училась Таисия Захаровна, — Саня встречал здесь и Германа Германовича, учителя живописи детей Федоровских, Миши и Ляли. В разгар вечера у Федоровских, где собиралось самое изысканное

общество — артисты, врачи, местные литераторы, университетские профессора — он грустно склонялся над роялем, чтобы спеть ироничного «Магараджу» или модный тогда романс Б. Прозоровского:

В мою скучную жизнь вы вплелись так туманно,
Неожиданно радостна ваша тайная власть,
Ураганом весенним, но совсем нежеланным
Налетела, как вихрь, эта тайная страсть.
Вам девятнадцать лет, у вас своя дорога,
Вы можете смеяться и шутить,
А я старик седой, я пережил так много,
И больно, больно так в последний раз любить...

Трудно было не испытывать к нему симпатии и уж вовсе не нужно было опасаться суровости такого отчима. «Это был наш хороший знакомый. Когда мы с мамой летом уезжали, он жил в нашей квартире. Мама считала, что не должна выходить замуж. Но это неправильно, это была ошибка, я нисколько бы не боялся отчима. Я помню Германа Германовича очень хорошо... такой умный, учёный художник, приятный человек», — вспоминает Солженицын.

Принося себя в жертву сыну, мать дала обет безбрачия. Но первой жертвой стал Герман Коске — как природного немца его схватят в первые дни войны, хотя ему было тогда под 60, и он уже 40 лет жил в Ростове.

Устроиться комфортно в новой жизни Таисии Захаровне не слишком помогли ни французский, ни немецкий, ни английский, которые она хорошо знала, ни даже стенография с машинописью. Как гражданке *из бывших,* ей не удавалось получить постоянное место с хорошей зарплатой; а там, куда брали, первой подвергали *чистке* — административному увольнению. В 1929-м, после почти семи лет работы, её все же *вычистили* из Мельстроя, и даже Архангородский не смог отстоять Тасю: директор, латыш-партиец Звэйнек, выполнял разнарядку. Таисия Захаровна получила справку и отправилась на биржу труда. Началась чехарда контор, сменявших друг друга: Севкавгипросельхоз, крайисполком и так далее много лет подряд. Вместо балета и театра, книг и музыки появилась в её жизни беспросветная сверхурочная работа днём и вечные хлопоты по хозяйству ночью; тяжёлые материальные лишения, надорванное здоровье, ранние морщины и туберкулёз.

Будто в отместку за свою солнечную голубую комнату в доме отца, где так сладко было нежиться в каникулы, 12 лет она не могла получить в Ростове жильё от государства, за большую плату снимая каморки у частников. Когда же дол-

гожданная квартира была ей с сыном выделена, она оказалась частью перестроенной конюшни в восемь квадратных метров, с низким потолком и оконцами под навесом. Там всегда было холодно, дуло, печку топили углём, да и тот доставался с трудом. Конечно, квартира была без воды и канализации, вёдра приходилось таскать с улицы, стирать бельё в холодной передней и выносить ополоски по морозу. Новая жизнь не прощала *барышне из экономии* пруд с цементным ложем и купальню со сменной водопроводной водой, горничную, спешащую с нагретыми на солнце полотенцами, изящный туалетный столик из гнутого дерева, пушистые ковры, по которым так хорошо было пробежаться босой, огромные овальные зеркала, где она отражалась вся, от гребёнок до ног.

Дядя Ромаша и тётя Ира тоже — на долгие годы — оказались в числе подозрительных и гонимых. Они хотели эмигрировать, пытались даже уехать из Новороссийска, когда это ещё было возможно, но вынуждены были вернуться из-за болезни Ириной матери. Бездетная тётя Ира много занималась развитием племянника. «Тётя мне в ёмкое сердце вковала / Игоря-князя, Петра и Суворова <...> / Тётя водила тогда меня в церковь / И толковала Евангелие», и то, что она могла рассказать мальчику о дореволюционном быте Щербаков, по тем временам звучало убийственным обвинением для всех членов семьи.

Ещё ребёнком слышал Саня Солженицын от местных стариков неполитическое объяснение великих сотрясений, постигших Россию: люди забыли Бога. Много лет спустя — на примере самого близкого ему человека, матери, — он попытается понять, как это получилось: тёмные родители воспитали девочку в искренней вере, а городское образование как-то естественно эту веру размыло.

Но хотя новое время было нетерпимо к «религиозной дикости», родным Солженицына достало нравственных сил воспитать мальчика в духе не мудрствующей православной веры — так, как верят простые люди. Простонародная набожность деда с бабушкой сопровождала раннее детство мальчика, проведённое во многих церковных службах. Необычайную свежесть и чистоту этих изначальных впечатлений, как признавался Солженицын, не могли потом стереть никакие житейские испытания, никакие умственные теории.

И был явлен маленькому мальчику грозный знак, с которого и началась его сознательная жизнь. Много раз будет описано Солженицыным это первое детское воспоминание.

Зима 1921/22 года, Кисловодск, храм Пантелеймона-целителя, где был крещён Саня: «Я в церкви. Много народа, свечи. Я с матерью. А потом что-то произошло. Служба вдруг обрывается. Я хочу увидеть, в чём же дело. Мать меня поднимает на вытянутые руки, и я возвышаюсь над толпой. И вижу, как проходят серединой церкви отметные остроконечные шапки кавалерии Будённого, одного из отборных отрядов революционной армии, но такие шишаки носили и чекисты».

Прервав литургию, с топотом и грохотом пройдя в алтарь, чекисты занялись грабежом — тогда это называлось изъятием церковных ценностей в пользу голодающих.

Мрачная картина подавления и уничтожения православной церкви в России стала лейтмотивом детства Солженицына. Он видел, как рушат церковные купола, как беснуются воинствующие безбожники вокруг пасхальной службы, вырывая у верующих свечи и куличи, как сбрасывают колокола наземь и долбят храмы на кирпичи.

Мать долго не хотела определять мальчика в школу, ждала, что как-нибудь обойдётся, устроится. Но не устраивалось: частных пансионов не появлялось, гимназий не открывали. И, когда уже нельзя было больше тянуть, отдала сына сразу во второй класс — и то не с сентября, а со второй четверти. С 9 ноября 1927 года в ростовской школе № 15 началась его школьная пора. И вскоре уже он сам испытал участь гонимого — за то, что продолжал ходить с матерью в последнюю не закрытую ещё городскую церковь, и за то, что носил на шее крестик.

Позже от него настойчиво требовали вступить в пионерскую организацию. В школе ничего не знали о семье Солженицына, но точным классовым чутьём подозревали в однокласснике чуждый элемент, и как-то горластый комсорг лично взялся прорабатывать мальчика. Весной 1931-го Саня всё же был рекрутирован в пионеры. Теперь за ним приглядывали особенно зорко, и двое шпионов из класса выследили-таки новоиспечённого пионера идущим с матерью в церковь — отслужить панихиду по умершей бабушке Евдокии Григорьевне. Было устроено судилище с проработками и оргвыводами, и был случай, когда силой сорвали с пионера крестильный крест...

Вспоминает Н. А. Решетовская: «В детстве он (Солженицын. — *Л. С.*) получил в какой-то мере религиозное воспитание. Но школа всё зачеркивала. Я помню, как в третьем классе нас (Решетовская училась в ростовской средней школе № 2. — *Л. С.*) попросили поднять руки, у кого были рож-

дественские ёлки, и какой стыд было тянуть руку. Родители просто щадили детей, чтобы они не раздваивались. Школа главенствовала».

Детская набожность и искренняя вера вытеснялись из жизни; их не терпели красная пионерия и звонкая комсомолия. А Саня тоже был создан из вполне человеческого, то есть податливого материала. И вот уже вместе с ребятами он гонял мяч «в ограде закрытой, недоразрушенной церкви Казанской Божьей Матери, на площадке у бокового притвора, ударяя мячом то в решётчатое оконце, то в надгробные камни». Все храмы в четвертьмиллионном городе были закрыты, не осталось ни одного священника, и казалось, что режим ликвидировал не только церкви, но и Бога. Охлаждение и отход от веры были неминуемы — детская привязанность к церкви, так же как слова молитв и имена святых, уходили на дно души, в глубокое сердечное подполье, и жили до поры до времени только там.

...Для обычного человека его детство, школьные годы, первые друзья и недруги, первые впечатления и переживания — это, как правило, территория приватного, область личной жизни. Не то — у человека публичного, известного: именно детство, его тёмные углы и кривые закоулки навлекают энтузиастов, дознавателей и подглядывателей. Толпами являются очевидцы детских конфузов, свидетели шалостей и хулиганств, мемуаристы «из нашего двора» — так называемые «враги детства».

«Представьте себе, — иронизирует писатель Соломон Волков, — того же Пушкина, дожившего до 85 лет, точнее, то количество женщин с разрушенными биографиями и незаслуженно обиженных друзей, которое бы он оставил. Могу себе вообразить, что́ бы говорили об Александре Сергеевиче в кулуарах его юбилея сверстники-лицеисты! Солженицына не убили на дуэли до сорока, он дожил до преклонного возраста — и слава Богу, и наше счастье. Он прошёл длинную жизнь, на которой совершенно неизбежно остаются недовольные и критики».

Пристально, с судейским пылом разбирая эпизоды детства Солженицына, спецкатегория «недовольных и критиков» создала несколько базовых мифов, которые, по Фрейду (или по Марксу-Ленину), призваны были сорвать маску и открыть миру истинное лицо нобелевского лауреата.

Мифы эти называются: Шрам, Морж, Антисемит, Лицемер.

О, эта всемирно известная вмятина на лбу Солженицына! Этот Шрам, который не замазать никаким гримом, не

запудрить никакой пудрой. Сколько сломано перьев, сколько исписано страниц, сколько «догадок» и сколько «разгадок»! Женщина, знавшая Солженицына ещё студентом, Наталья Алексеевна Решетовская, первая его жена (речь о ней впереди), уже после развода с мужем открывала читателю, совместно с заказчиками своей книги*, страшную тайну: «Все, кто видел портреты Солженицына, обращали внимание на шрам, пересекающий правую сторону лица. Многие считали: это памятный след — то ли войны, то ли тюрьмы. Солженицын не подтверждал этого, но и не разуверял. А я, помня этот шрам с нашей первой встречи, не расспрашивала мужа о нём. Было как-то неловко».

«Итак, отчего ж этот шрам? О, это леденящая загадка. Оказывается, — комментирует обладатель шрама признание бывшей жены, — Наташа Решетовская, с этим тёмным человеком состоявши в браке, с перерывом на другое замужество, 25 лет, а проживя вместе 15, никогда (по деликатности, по нерешительности?) не осмелилась спросить у мужа: от чего этот шрам? (Разумеется, узнала в первых же студенческих переболтках. Сама ли пишет, пером ли водят, задумались бы: что́ пишут? Какое ж это замужество, если у мужа стыдно спросить о шраме на лбу?)».

Только в 1973-м вылезла наружу «тайна шрама». О ней Решетовской якобы поведал, сорок лет спустя после случившегося, школьный друг Сани Кирилл Симонян, — дескать, это была у Сани нервная реакция на замечание учителя, упал в обморок, ударился о парту и рассёк себе лоб: «Если Санин ответ не тянул на пятёрку, мальчик менялся в лице, становился белым, как мел, и мог упасть в обморок. Такая болезненная реакция Сани на малейший раздражитель удерживала и нас, его друзей, от какой бы то ни было критики в его адрес».

«Вот и прекрасный старт для безмерного честолюбия насквозь всю жизнь. Вот что может дать один только детский шрам!» — горько иронизирует Солженицын.

---

* О характере заказа свидетельствует Секретная записка правления агентства печати «Новости» в ЦК КПСС от 17 апреля 1974 года: «Агентство печати Новости вносит предложение об издании через зарубежные издательства на коммерческой основе рукописи Н. Решетовской “В споре со временем”... Рукопись воспоминаний Н. Решетовской подготовлена к печати издательством АПН совместно с КГБ при СМ СССР. Представляется, что выход на Западе воспоминаний Н. Решетовской может послужить определённой контрмерой, направленной против антисоветской шумихи вокруг Солженицына. Председатель Правления Агентства печати Новости И. Удальцов. Резолюция: Согласиться. М. Суслов».

Но «критики и недовольные» между собой не договорились и версии не согласовали. И вот уже Ржезач, тоже ссылаясь на Кирилла Симоняна, но усугубляя тайну, рисует шрам Сане как клеймо, полученное в драке: будто это школьник Шурик Каган, схватив одноклассника за воротник, резко оттолкнул, тот ударился об угол парты, упал и рассёк себе лоб (в версии Симоняна — Шурик ударил, Саня упал и рассёк лоб о дверную ручку).

Ржезач так упорно сражается с героем своей книги, что даже шутливую школьную кличку «Морж» объясняет в духе своей книги: «Одутловатый, не слишком расторопный, нервный, стоило рассердиться, и у него появляется тик лицевых мышц, за что товарищи прозвали его Моржом».

Но тут имеет смысл предоставить слово Решетовской — ей по-женски обидно было бы видеть в таком нехорошем и некрасивом мальчике своего будущего мужа. Она прекрасно знает: «Морж» — это потому, что Саня до поздней осени ходил без пальто и всю зиму нараспашку. И она не без удовольствия вспоминает (тогда же, в 1975-м, в заказной книге), каким впервые увидела повзрослевшего Саню: «Перепрыгивая через две ступеньки (нерасторопный? — *Л. С.)*, на нас нёсся высокий, худощавый, густо-светловолосый юноша... Говорил он очень быстро. Да и весь он был какой-то быстрый, стремительный. Лицо очень подвижное» (и никакого, заметим, нервного тика. — *Л. С.*).

Впрочем, Ржезач заранее предупредил читателя, что составляет не биографию писателя, а «протокол патолого-анатомического исследования»...

Но за что же всё-таки мог толкнуть Саню Солженицына Шурик Каган? Тут на сцену грозно вступает постыдный миф о детском антисемитизме Солженицына. Интересно, как русский мальчик может в перепалке обозвать сверстника-еврея? Известно как, ведь русским мальчикам другие ругательства будто бы и неведомы. Именно так, «жидом пархатым», согласно протоколу «патологоанатома» Ржезача, взявшего в свидетели Симоняна, обругал одноклассника Саня.

Но вот уже Л. А. Самутин, зэк-воркутинец, бывший участник РОА (то есть власовец), корреспондент Солженицына конца шестидесятых, решив описать «опыт разочарования» автором «Архипелага» (почему-то именно в 1977-м, на фоне кампании по дискредитации), слово в слово повторяет версию Ржезача о шраме: «Мальчишка-еврей Каган как-то толкнул Солженицына за то, что тот назвал этого Кагана “жидом пархатым”. Солженицын упал, разбил себе лоб и

получил этот свой великолепный шрам, известный теперь всему миру и так удачливо украшающий его чело»*.

Но если пацаны орут, дерутся и обзываются, то, наверное, всё же стоя лицом к лицу. И если, наскакивая, толкаются, то ударами — руками, локтями, кулаками, коленками — спереди, так что падающий разбивает скорее затылок, чем лоб... А то ведь, по Ржезачу, получается, что хороший еврейский мальчик наносит русскому хулигану удар сзади — подлым, коварным способом...

И вот советский агитпроп, жаждавший найти еврейские корни Солженицына (в семидесятые вызывали знакомых писателя куда надо и опрашивали, «смущаясь» диковинным отчеством, не еврей ли он), исподволь оглашавший его «подлинную» фамилию «Солженицер» (факт еврейства должен был «многое объяснить» в антисоветском поведении писателя), вслед за Ржезачем картинно возмущался «пещерным антисемитизмом» Солженицына**.

«Неукоснительно отказывая мне в чём-либо человеческом, а только змеиное прилепляя»— так определит Солженицын характер клеветы, опутавшей десятилетия спустя его детство.

А случай тот запомнился писателю отчётливо. Он произошёл 9 сентября 1930 года в классе 5«а», в самом начале учебного года, когда Кирилл Симонян только-только перевёлся из другой школы, учился в 5«б» и ничего толком знать не мог. «Со многими мальчишками, вооружённые деревянными мечами, мы захватывающе играли в разбойников по заброшенным подземным складским помещениям, каких

---

* «Мой муж, — писала в 1990 году вдова умершего в 1987-м Самутина, Т. П. Самутина, — написал эту книгу по заданию КГБ, но будучи уже морально сломленным человеком. После того как в 1973 году у нас на даче была взята рукопись книги А. Солженицына “Архипелаг ГУЛАГ”, сотрудники Комитета не оставляли Леонида Александровича в покое. Зная, что мой муж пишет воспоминания, они проводили в отношении него долговременную хитроумную политику с целью заставить его написать такие воспоминания, которые были бы нужны им. Он соглашался на изменения в тексте книги только потому, что боялся за судьбу детей и мою».

** Одноклассник и школьный приятель А. И. Солженицына Иосиф Резников (Ёська, как его звали дети) сообщал писателю в сентябре 1990 года: «После смерти Кирилла я у Нади Симонян познакомился с книгой Н. Решетовской “В споре со временем”. Возмутившись, встретился с ней, чтобы “выяснить отношения” в связи с публикацией выдуманного (она была вынуждена признаться мне в этом) инцидента, указывающего, что ты был антисемитом ещё в школе. Кстати, и Кока Виткевич в ответ на мою информацию рассказал, что к нему специально приезжал за подробностями об этом “жареном факте” некто Цезарь Солодарь и, естественно, уехал ни с чем».

немало в ростовских дворах, и среди тех мальчишек действительно был Шурка Каган. И он предлагал: украсть на Дону лодку и бежать в Америку. А 9 сентября он принёс в школу финский нож без футляра — и мы с ним, именно мы вдвоём, стали с этой финкой неосторожно играть, отнимая друг у друга, — и при этом он, не нарочно, уколол меня её остриём в основание пальца (так понимаю, что попал в нерв). Я испытал сильнейшую боль, совсем не известную мне по характеру: вдруг стало звенеть в голове и темнеть в глазах, и мир куда-то отливать (та самая "страшная бледность", в которой меня уличили). Потом-то я узнал: надо было лечь, голову вниз, но тогда — я побрёл, чтоб умыть лицо холодной водой, — и очнулся, уже лёжа лицом в большой луже крови, не понимая, где я, что случилось. А случилось, то, что я как палка рухнул — и с размаху попал лбом об острое ребро каменного дверного уступа. Разве о парту так расшибёшься? — не только кровь лила, но оказалась вмята навсегда лобовая кость. Перепуганный тот же Каган и другие, не сказавшись учителям, повели меня под руки под кран, обмывать рану сырой водой, потом — за квартал в амбулаторию, и там наложили мне без дезинфекции грубые швы, — а через день началось нагноение, температура выше сорока, и проболел я 40 дней».

И были тому случаю реальные свидетели: ребята, водившие Саню в амбулаторию, врачи, зашивавшие рану, мама, которая потом Саню выхаживала... А ещё через 55 лет, посетив свою школу, А. И. растроганно будет ходить по коридорам, и, как напишет местный журналист, писатель отыщет «даже ту самую дверь, о косяк которой когда-то стукнулся лбом и получил шрам на всю жизнь».

А что же с антисемитским выкриком?

Зимой 1932-го, когда Саня учился в 6-м классе, случилась перепалка между русским мальчиком Валькой Никольским и еврейским мальчиком Митькой Штительманом (среди сорока учеников их класса русских и евреев было примерно поровну). «Они и дрались и взаимно ругались, крикнул и тот о "кацапской харе", а я сидел поодаль, но не выказал осуждения, мол, "говорить каждый имеет право", — и вот *это* было признано моим антисемитизмом и разносили меня на собрании, особенно элоквентный такой мальчик, сын видного адвоката, Миша Люксембург (впоследствии большой специалист по французской компартии). А Шурик Каган во всей той следующей истории был совсем ни при чём».

Тот памятный эпизод исключения из пионеров Солженицын опишет в «Круге первом» — как мальчишки-однокласс-

ники, Адам Ройтман (фамилия вымышленная), Митька Штительман и Мишка Люксембург (фамилии подлинные), изобличали соученика своего Олега Рождественского (фамилия вымышленная) в антисемитизме, в посещении церкви, в чуждом классовом происхождении. «Хотя мальчики были сыновьями юристов, зубных врачей, а то и мелких торговцев, — все себя остервенело-убеждённо считали пролетариями. А этот избегал всяких речей о политике, как-то немо подпевал хоровому “Интернационалу”, явно нехотя вступил в пионеры. Мальчики-энтузиасты давно подозревали в нём контрреволюционера. Следили за ним, ловили. Происхождения доказать не могли. Но однажды Олег попался, сказал: “Каждый человек имеет право говорить всё, что он думает”. “Как — всё? — подскочил к нему Штительман. — Вот Никола меня ‘жидовской мордой’ назвал — так и это тоже можно?”»

Было создано целое дело. Нашлись друзья-доносчики, видевшие, как виновник входил с матерью в церковь и как он приходил в школу с крестиком на шее. «Начались собрания, заседания учкома, группкома, пионерские сборы, линейки — и всюду выступали двенадцатилетние робеспьеры и клеймили перед ученической массой пособника антисемитов и проводника религиозного опиума, который две недели уже не ел от страха, скрывал дома, что исключён из пионеров и скоро будет исключён из школы».

Так сильно зацепила несправедливость шестиклассника Саню, что не мог он забыть ту обиду и тот страх и через 25 лет, когда писал роман, и через 45 лет, когда писал мемуары. Однако благодарно не забыл и то, как Александр Соломонович Бершадский с ним беседовал «и своею властью завуча и своим пониманием пригасил дело, сколько мог».

Вот именно: *своим пониманием* пригасил, а не раздул.

Потому и исключение из пионеров, случившееся на собрании в порядке оргвывода, было недолгим и несерьёзным — летом 1932 года Саня снова был в пионерском лагере в Геленджике, а потом и в 1933-м, и в 1934-м.

А при чём же здесь Шурик Каган?

Уже в сентябре 1932-го Саню Солженицына — увы, далеко не образцового пионера! — опять исключали из школы за систематический срыв сдвоенных уроков математики, с которых он (и двое других, Шурка Каган и Мотька Ген) убегал играть в футбол. Провинился Саня и похищением классного журнала, где был записан как нарушитель с десяток раз (и дерзко закинул кондуит за старый шкаф). «Мы с Каганом и Геном, убитые, ничего не говоря дома, дня три приходили под школу сидеть на камешках, пока девчёночья “обще-

ственность" не составила петицию, что "класс берёт нас на поруки", — и Бершадский дал себя уговорить».

Снова помог мудрый завуч-историк Александр Соломонович — помог, а не воспрепятствовал. Так что не было никаких оснований у писателя Солженицына для отвратительной мести своему завучу 35 лет спустя: вслед за Ржезачем легенду о том, что Бершадский ожил на страницах «Архипелага» под паронимической фамилией Бершадер в образе гнусного, развратного мерзавца, принудившего к сожительству русскую красавицу-зэчку, распространял и Л. А. Самутин. Не ревновал пионер Саня Солженицын завуча к молоденькой учительнице химии Наталье Михайловне Корсаевской (у Самутина — Корсаковской), которая стала женой Александра Соломоновича и потом покончила с собой: воспалённая фантазия «разочарованного мемуариста» приписывает мальчишке-пятикласснику поистине демонические страсти. Был завуч Бершадский, умный и благородный человек, с которым Солженицын радостно встретился в Ростове после ссылки, в 1956-м, и был Бершадер — реальный зэк в лагере на Калужской. Не один еврей под фамилией другого, а два, полярно разные, как вообще бывают разными люди одной национальности и схожих фамилий.

И последний миф — о Лицемере. О «духовном шраме» на моральном облике мальчика Солженицына. В обличительной статье-брошюре Кирилла Симоняна «Ремарка» (тоже затеянной АПН, но слепленной уж очень топорно и потому изданной только по-датски), которую цитирует Ржезач, написано: «Это был интриган... Он (Саня. — *Л. С.*) умел поссорить товарищей по учёбе и остаться в стороне, извлекая из спора пользу для себя. Это был Лицемер с большой буквы, очень находчивый. И я им очень восхищался».

Далее. Ребята, увлечённые трилогией Дюма, именуют себя мушкетёрами. «О том, кто кем будет, категоричным тоном объявил Симонян-Страус. "Я буду благородным Атосом, а ты, Морж, — сказал он Солженицыну, — поскольку ты интриган и лицемер, будешь Арамисом. Ну, а ты, Кока, — Портосом". Об этом мне (Ржезачу. — *Л. С.*) поведал Николай Виткевич (Кока)».

Если всё было именно так, как поведал Виткевич (в передаче Ржезача), значит, Симонян ещё в школьные годы имел наклонность из-под носа друзей ухватывать для себя куски получше: ведь назначать себя на роль благородного Атоса было бы как раз таки верхом неблагородства.

Но любопытно заглянуть в воспоминания Решетовской и 1975, и 1990 годов. Оказывается: «убийственный» мушкетёр-

ский пункт был «не замечен» Ржезачем, ибо мемуаристка неизменно держалась своей версии, то есть того, что слышала своими ушами не только от Сани, но и от неразлучной троицы. «Ребята много рассказывали о своей школе, называли сами себя мушкетёрами. Атосом был Саня, Портосом — Кока, а Кирилл был Арамисом. В их разговорах постоянно фигурировали герои из самых различных произведений, античные боги, исторические личности. Все трое казались мне всезнайками».

Так кто́ же из трёх закадычных друзей на самом деле был Арамисом и кем — за хитрость и лицемерие, находчивость и интриганство — восхищался Кирилл Симонян? Получается, что самим собой: медвежья услуга Ржезача своему информатору, а Виткевича — своему другу. Хотя прилеплять плоскую кличку «Лицемер» блестящему и неуловимому Арамису, мушкетёру, мечтавшему стать аббатом, единственному, кому Дюма оставляет жизнь, значит, ничего не понять в «Трёх мушкетёрах», где «один за всех и все за одного», где трое плюс один составляют единое и неделимое целое. Искажение Ржезача, выжавшего из книги Решетовской максимум негатива, но споткнувшегося на «невинных» деталях, вполне бессмысленно. Но всех «разочарованных» (как прежних, так и новых) магнитом тянет к жёлтой сплетне «Солженицын=Арамис=Лицемер»*.

Только в последнюю очередь обратимся к памяти «заинтересованного» лица, Солженицына. «“Три мушкетёра” — была наша школьная игра, красование. “Мы, как те трое” — и в школе между нами не было разделения на “Атоса—Портоса—Арамиса” (а в университете эта игра уже не продолжалась). Со стороны Кирилла иногда были попытки распределить имена, но тут же встречали смех и весёлое несогласие. Потом, без всякого участия и тем более согласия двоих, Кирилл объявил о существовавшем разделении: он, Кирилл, — Атос, Кока — Портос, Саня — Арамис». И Саня, в ответ на попытку присвоить ему «Арамиса», как-то ответил: «Уж если кто из нас троих Арамис — так это ты». Кирилл не возражал...

---

* Последним по времени присоединился (увы, добровольно, а не вынужденно, как предшественники) к «разоблачительной» версии Симоняна-Ржезача Г. Я. Бакланов в книге «Кумир» (2004). Разочаровавшись в Солженицыне после выхода двухтомника «Двести лет вместе» (2001—2002), он наносит и свой запоздалый удар по «Арамису», совершенно игнорируя такого ценного свидетеля, как Н. А. Решетовская, и негодуя, что в иных публикациях, где упоминается эта история, слово «лицемер» либо заменено на «хитрый», либо просто отсутствует.

И — уцелели в архиве писателя дурашливые школьные (1935—1936) послания *Страуса*, Кирилла Симоняна. Они начинаются то как «Любезный Атос», то как «Любезный Аббат», то — церемонно — «Кавалеру де Эрбле, мушкетёру Его Величества, по прозвищу Арамис, от графа де ля Фер, по прозвищу Атос». «Мушкетёры» то и дело меняются ролями и прозвищами. В тех случаях, когда Кирилл — Атос, он сетует, что друг Арамис слишком много занимается, мало веселится. «Мой Арамис, вы совсем сделались монахом. Неужели вы не покидаете стены своей кельи, где пропадает ваша энергия?» В тех письмах — ни тени соперничества, ни капли подозрительности, ни звука об интригах. За порогом детства их общение и вовсе теряет игровой задор. «Мой милый Морж», «Мой дорогой Моржик» — неизменно обращался *Страус* к другу. В толстенной военной связке писем (1941—1944) — стандартные треугольники с адресом полевой почты, убористые карандашные листочки в случайных конвертах, с новостями, стихами, приветами от подруг, скорбью о потерях, с послевоенными планами...

Но у Солженицына (с кем бы из мушкетёров он ни рифмовался в школьные годы) к своему детству был совсем другой счёт.

«“В бой за всемирный Октябрь!” — в восторге / Мы у костров пионерских кричали... — / В землю зарыт офицерский Георгий / Папин, и Анна с мечами. / Жарко-костровый, бледно-лампадный, / Рос я запутанный, трудный, двуправдный». Так писал Солженицын в поэме «Дороженька» о раздвоенном, расколотом мире своего детства и отрочества, когда подпольная правда всё же значила в его жизни много больше, чем самые громкие пионерские лозунги.

И почти все школьные годы он считал себя противоположным строю и государству и, учась скрывать свои убеждения, внутренне сопротивлялся советскому воспитанию. Эта вынужденная двойственность духовной жизни, мучительно-агрессивное соревнование пионерских лозунгов с семейными драмами составила главную, а не мнимую (из-за шрама, клички или мушкетёрской роли) тайну трудного — «запутанного и двуправдного» — подростка Солженицына.

И была ещё тайна «тупика». Сане было шесть лет, когда они с матерью поселились в дощатом низеньком домике, заняв одну из нескольких каморок с отдельным входом. Был при домике маленький сад с качелями и скамейкой, где мальчик мог играть на воздухе, а хозяин, старик Обрезанов, выпиливал из фанеры фигурки птиц и животных, так что прохожие думали, будто здесь музей. Стоял домик в конце

безлюдного тупика, в крутом и грязном каменном провале. Это было первое их с мамой ростовское жилье («Плитняк потресканный, булыжник, люки стоков: / В дожди и в таянье со всех холмов окружных / Сюда стекались мутные потоки»), одна сторона которого была образована огромной стеной. По адресу «Никольский (Халтуринский) переулок, 52» они прожили с 1924-го по 1934-й, из этой самой гнилой и сырой хибары в девять квадратных метров в 1930-м забрали деда.

Каждый день (и много раз на дню) в течение всех этих лет, по дороге в школу и обратно, он шёл либо бежал вдоль глухой стены, мимо длинной вереницы женщин, которые стояли тут часами. И все знали, что это задняя стена двора ОГПУ, и печальные жёны заключённых, «под тихий говор, жалобы и плач», обречённо ждали своей очереди с узелками тюремных передач. «Громада кирпича, полнеба застенив, / Мальчишкам тупика загородила свет. / С шести и до пятнадцати в её сырой тени / Я прожил девять детских лет».

Но не только Никольский переулок — весь Ростов догадывался, что под главной улицей города, красавицей Большой Садовой (в те времена уже переименованной во Фридриха Энгельса), где километровым каре протянулись во всю длину квартала четыре жёлто-коричневых четырёхэтажных корпуса ОГПУ (дом 33), в бывших складских подвалах старинного торгового центра, таились пыточные застенки местной Лубянки.

Молчаливо и недвижно стояли часовые на входах у дубовых дверей. Пешеходы старались быстрее проскользнуть и мимо них, и мимо обитых чёрной жестью ворот (крепкие мужчины бдительно следили, чтобы никто не топтался поблизости), и мимо окон, которых по фасадам было не менее полутораста, всегда закрытых и мёртвых, — никто и никогда не приближался к ним изнутри. Но весь город немым шёпотом передавал слух об ужасном случае, взорвавшем бесстрастность фасадов и неподвижность окон. «Лишь раз, когда толпа привычная текла, — / Одно из верхних брызнуло со звоном, — / И головой вперёд, сквозь этот звон стекла / Безвестный человек швырнул себя с разгону. / С лицом, кровавым от удара, / Ныряя в смерть дугой отлогой, / Он промелькнул над тротуаром / И размозжился о дорогу. / Автобус завизжал, давя на тормоза. / Уставились толпы застылые глаза! / Толпу молчащую — локтями парни в кэпи, / Останки увернули, унесли бегом, — / Брандспойтом дворник смыл пятно крови нелепой / И след засыпал беленьким песком».

Пройдёт всего лет десять, никак не больше, и бывший житель сырого ростовского тупика арестант Солженицын, оказавшись изнутри ещё более мрачного здания, испытает этот жестокий соблазн, самоубийственную *манию окна*. Но это будет не ростовская, а уже московская тюрьма, та самая Лубянка, в тайны которой он легкомысленно мечтал проникнуть в детстве: «Играло солнце в тающих морозных узорах просторного окна, через которое меня иногда очень подмывало выпрыгнуть, — чтоб хоть смертью своей сверкнуть по Москве, размозжиться с пятого этажа о мостовую, как в моём детстве мой неизвестный предшественник выпрыгнул в Ростове-на-Дону».

Поистине всё в родном городе — главные улицы и гнилые тупики, подземные склады и зелёные бульвары, парадные фасады и глухие стены, закрытые окна и безымянные самоубийцы — было нашпиговано тайнами. И едва ли не каждый житель опасался, что «скелет в шкафу» рано или поздно вывалится с грохотом и скрежетом, только тронь дверцу. У каждого были своё подполье, своя особая территория риска, своя зона опасности, которые цепко держали человека на игле страха и зависимости. Со своей страшной, убийственной тайной жил и самый близкий тогда друг Кирилл Симонян. Его отец, богатый купец, спасаясь от ГПУ, вынужден был оставить семью и пешком перейти персидскую границу. Жена, сын и дочь, стиснув зубы, всю жизнь скрывали, что Симонян-старший жив и находится в Иране. Разумеется, они не писали ему и от него не получали писем, не поддерживали никаких отношений.

«В то враждебное время я жил в Ростове-на-Дону как на чужбине», — напишет Солженицын лет сорок спустя, и это станет поучительной поправкой к понятию «патриотизм»: и в том смысле, что «время — тоже родина», и в отношении к родине «малой», и к упоминанию родины «большой». Ведь слово «Россия» (как и слово «офицер»), употреблённое без ругательных эпитетов «старая», «царская», «проклятая», вплоть до Великой Отечественной войны считалось махровой контрреволюцией. «До 1934 сам термин “патриот” считался в России преступным. Всё русское постоянно подвергалось презрению в выступлениях, в прессе. Эта официальная ненависть к России кажется и теперь чем-то невероятным. Однако она существовала. Поворот произошёл в 1934, неожиданно, по тактическим соображениям» («Архипелаг ГУЛАГ»).

«Сколько я знал и помнил, самое страшное — это соцпроисхождение. Десять и пятнадцать лет советской власти его *одного* было достаточно для уничтожения любого чело-

века и целых масс. (И по сегодня из ленинских и других томов не изъяты прямые распоряжения подобного рода.) И *этого* троим из нас надо было бояться более всего: мне из-за моего богатого деда, тебе (Симоняну. — *Л. С.*) — из-за богатого отца (да ещё живого и за границей, а ну, как это звучало тогда?), Наташе (Решетовской. — *Л. С.*) — из-за отца, казачьего офицера, ушедшего с белыми». В секретных досье 1970-х это обстоятельство тоже было взято на заметку. «Жена Солженицына — Решетовская Наталья Алексеевна, 1919 года рождения, урож. гор. Новочеркасска, русская, беспартийная, с которой он зарегистрировал брак в 1940 году... В анкетах она указывает, что её отец Решетовский Алексей Николаевич, 1888 года рождения, до революции занимался литературной деятельностью, умер в 1919 году. Её мать — Решетовская Мария Константиновна, 1890 года рождения, по профессии учительница. По оперативным данным, отец Решетовской — казачий сотник из Новочеркасска, погиб во время гражданской войны при обстоятельствах, которые Решетовские скрывают». Оперативный источник — не кто иной, как Ржезач, написавший, что отец Решетовской был казачьим есаулом. «Мама говорила, — возмущалась лжецом Ржезачем Решетовская, — что отец мой был всего лишь прапорщиком. Но отец-есаул — это уже почти криминал».

Детство и юность проходили под знаком опасности, что рано или поздно власть нападёт именно на *этот* след. Но, оглядываясь назад, Солженицын признается, что прожил двадцатые и тридцатые годы в духе, присущем всей *телячьей* молодёжи его времени, — конечно, скромной и целомудренной («без вина, без девушек сухая юность наша»), сосредоточенной на велосипедных походах, шахматных страстях, футболе, танцах, художественной самодеятельности, выпускных и вступительных экзаменах. При всём своём остром внимании к политическим процессам эпохи, при интуитивном ощущении барабанной трескучей лжи он сокрушался позднее, что не смог сопоставить сталинские процессы с универсальной политической тенденцией. «Я детство провёл в очередях — за хлебом, за молоком, за крупой (мяса мы тогда не ведали), но я не мог связать, что отсутствие хлеба значит разорение деревни и почему оно. Ведь для нас была другая формула: “временные трудности”. В нашем большом городе каждую ночь сажали, сажали, сажали, — но ночью я не ходил по улицам. А днём семьи арестованных не вывешивали чёрных флагов, и сокурсники мои ничего не говорили об уведённых отцах».

В глубоком подполье находилась вся страна, и подпольщиком — вольно или невольно — становился каждый её гражданин. Проблема заключалась только в том, когда именно, в каком провальном мгновении жизни человеку выпадет это осознать, через какую непредвиденную щель бытия он ощутит на лице ледяное дыхание изнаночного незримого мира, которому не было названия на человеческом языке.

«Изредка нам проступали зримо / Знаменья страхов *потусторонних,* — / Мы проходили вчуже, мимо, / Скрывши лицо в ладонях. / Слабым, хотелось нам просто / Забыть их, / Лад своей жизни оберегая, / Дом свой, уют свой, вещи — / Поступь / Событий / Зловещих / Минула, не задевая...»

В поэме «Дороженька», сочинённой в неволе, будет задан роковой, но риторический вопрос: «Не слышать, имея уши, / Не видеть, глаза имея, — / Коровьего равнодушья / Чтó в тебе, Русь, страшнее?»

«Мальчиками с Луны» назовёт он своих сверстников и, конечно, себя — за неспособность увидеть мир в его истинном свете, за самовлюблённость и самодовольное «мы нам нравимся». В начале войны молодого учителя Солженицына спросит сосед, старый инженер, уже испытавший железную хватку ГПУ, — чем ему запомнился 1937 год? Ответ выглядел жалко: да, кого-то, кажется, посадили — двух-трёх профессоров, их заменили доценты, потом нескольких старшекурсников, но нас, наших близких — не тронули... Потом ведь чёрные воронки ходили ночью, а они, ровесники Октября, были активистами дневного времени и упругим маршем шагали со знамёнами по праздничным улицам и площадям.

Вспоминая годы «бесчувственной» молодости, Солженицын не раз поразится всеобщей — и своей, своей! — слепоте. Ведь уже так много было пережито, уже так близко касался его самого обжигающий лёд скрытного мира. Была глубокая обида разорённого, уничтоженного деда. Было бессилие раскулаченного дяди Романа, скитальца, тщетно мечтавшего об эмиграции. Были школьные страхи и терзания, когда Саня лет с девяти каждый день ожидал травли и притеснений. И ещё мальчишкой он запомнил пешие этапы заключённых — по улицам Ростова-на-Дону их гнали без стеснения, и знаменитая впоследствии команда-угроза конвоя «открыть огонь без предупреждения» в то колюще-режущее время звучала так: «Шаг в сторону — конвой стреляй, руби!»

Прозрение могло наступить ещё очень не скоро. Но уже были лодочные походы, незапланированные впечатления, крамольные мысли...

Глава третья

ПИСАТЕЛЬСТВО КАК ПРИЗВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Процесс вхождения Солженицына в литературную профессию имел несколько периодов, естественно связанных с ключевыми вехами его жизни. Парадокс, однако, состоял в том, что начальная, открытая фаза этого процесса, вела, по всей вероятности (и по позднему признанию писателя), в тупик, в советское никуда, но зато крамольная, подпольная стадия обеспечила мощный прорыв в историю русской и мировой литературы. Впрочем, и вполне традиционный, легальный путь в официальную литературу имел в случае Солженицына ряд необычностей и необъяснимостей. Поразительно точная детская интуиция, первая детская догадка о призвании и предназначении — главная из них.

То, что он станет (во что бы то ни стало должен стать!) писателем, Солженицын понял так рано, как рано вообще дети могут задумываться о своём будущем. Ни отважная профессия пожарника (мечта каждого мальчика-дошкольника), ни звёздная участь лётчиков-испытателей (чего стоила судьба одного только Валерия Чкалова, ставшего легендой тридцатых) — не занимали его фантазий. В 1934-м было учреждено звание Героя Советского Союза, тут же присвоенное семи отважным пилотам, которые спасли из ледового плена полярников с затонувшего парохода «Челюскин». Но и тогда Саня Солженицын не изменил своей мечте: он точно знал, что будет писателем — хотя объяснить свой выбор и своё решение не мог ни тогда, ни позже.

Маленький провинциальный школьник отроду не видел ни одного живого писателя, но непонятным образом почему-то решил, что непременно станет им. «В девять лет я твёрдо решил, что буду писателем, — хотя что я мог писать? Но вот я чувствовал, что должен что-то такое написать. Откуда в нас появляется такое — это загадка, загадка». В те годы Саня не задумывался о таких сложных понятиях, как «судьба» писателя, его «биография» или «творческий путь». Никакой мастер слова, живший когда-либо давно, или прославленный современный сочинитель, не будоражил его воображение. Лишь само существование литературы, физическое бытие библиотек и книг для чтения, журналов, где печатаются стихи и рассказы, вызывало желание быть причастным к их созданию.

Читать его тянуло жадно с самого раннего детства. Казалось, он читал всегда — время, когда он не умел читать или когда его только учили чтению, не запомнилось вовсе. В ни-

щих комнатках, где Саня жил вдвоём с мамой, не было, разумеется, никакой библиотеки — но всегда водились книги. Одни появлялись от случая к случаю, другие задерживались, оставались надолго и перечитывались по много раз. Чтение было хаотичным, случайным. Осталась в памяти череда детских книжек, разрозненные томики русской поэзии вызывали досаду — есть Лермонтов, но нет Пушкина, немного Гоголя (он так никогда и не стал близким), том пословиц Даля. Как-то Таисия Захаровна смогла подписать сына на Полное собрание сочинений Джека Лондона (приложение ко «Всемирному следопыту»): всего было 48 книжечек, и Саня перечитывал каждую раз по десять, воспитывая на них свой характер. «А в общем я задыхался, не понимая того, что у меня мало книг, и неоткуда было их взять...»

Но ведь ещё брала для себя книги у друзей Федоровских усердная читательница-мать, и сын подчитывал вслед за ней, и она разумно тех книг не отнимала и никакого контроля не устанавливала. Так однажды попался Пильняк, потом похождения Остапа Бендера, и мелькали какие-то приключения, какие-то путешествия... Была ещё тётя Ира, со своим полным Некрасовым, полным Ибсеном, полным Диккенсом, со своим Евангелием, в конце концов, с патриотическими альбомами про героев 1812 года и с русской классикой в разных видах.

В раннем детстве Таисия Захаровна пыталась учить сына французскому языку и музыке. Беккеровский рояль красного дерева, за которым девушкой она занималась сама, переехал из парадной залы отцовского особняка сначала в Кисловодск, к Марусе, а оттуда в Ростов.

«Парадная зала окрашена была золотисто-розово, маслом, но под вид обоев. А потолок был не просто гладкого цвета, но плавали белые пухлые облачка, а меж них летали херувимчики, только не церковные, а хитроватые, и поглядывали вниз на гостей. С потолка спускалась электрическая люстра на двадцать ламп, и из каждого оконного простенка тоже торчала кривая с тремя лампами. В одном углу залы, уступая дочке и невестке, мол, так у всех порядочных людей, поставили красную рояль, да две пальмы по бокам». Так в «Красном Колесе» описано первое, законное местопребывание красного рояля — в великолепной *размашистой* зале, с матовым зеркалом в позолоченной резной раме чуть не во всю стену, с заморскими цветами и розовыми печными изразцами.

Но в Ростове, в домике на Никольском, места ни для пальм, ни для рояля совершенно не было. Кабинетный *J. Becker* с резным пюпитром был отдан на хранение друзь-

ям, сёстрам Остроумовым, и младшая, Вера Михайловна, с удовольствием учила музыке «мальчика в сереньких штанишках»*. Музыка, однако, у мальчика не пошла никак, а от французского, на котором они с мамой в детстве вполне сносно щебетали, осталось всего несколько слов. Немецкий же преподавали в школе, и Саня ещё дополнительно был определён к учительнице: развить разговорный язык и навыки чтения. Он действительно поладил с немецким, с удовольствием учил стихи, «целыми летними месяцами читал то сборник немецкого фольклора, "Нибелунгов", то Шиллера, заглядывал и в Гёте».

Домашние книги, изученные вдоль и поперёк, создали прочную базу читательских привязанностей, так что в ту пору, когда протоптались дорожки в городские библиотеки, Саня был вполне искушён в своих симпатиях и пристрастиях. У него развивался не только вкус, но и чуткое ухо — к литературным новостям, книжным историям. Так, он не пропустил мимо сознания упорный городской слух, который пополз в 1928-м, после выхода «Тихого Дона», — будто роман написан не тем автором, который значится на обложке, будто автор официальный нашёл готовую рукопись (или дневник) убитого казачьего офицера и пустил её в дело: «У нас, в Ростове-на-Дону, говорили [об этом] настолько уверенно, что и я, 12-летним мальчиком, отчётливо запомнил эти разговоры взрослых».

Помнил Саня и то, как вдруг разом смолкли все слухи, — много позже он узнает, что письмо пяти писателей (Серафимовича, Авербаха, Киршона, Фадеева, Ставского) в «Правду» (29 марта 1929 года) объявляло «врагами пролетарской диктатуры» всех разносчиков сомнений и грозило им «судебной ответственностью». Сам «Тихий Дон» будет прочитан впервые в военном училище в Костроме и на всю жизнь останется для него великой книгой, неповторимым и неоспоримым свидетелем страшного времени. Солженицына, как и всякого русского читателя, будет волновать судьба заветного сундучка выдающегося донца Фёдора Крюкова, а вместе с ней и литературная тайна ярчайшего художествен-

* У рояля оказалась длинная и, в общем, счастливая судьба. Он долго странствовал и менял хозяев: Таисия Захаровна продала его Остроумовым, чтобы заплатить взнос в строящемся доме и получить там квартиру с удобствами. В 1956 году Солженицын ещё застал мамин рояль в Ростове, у Остроумовых. Позже они передали инструмент родственнику в Ленинград. В 1994-м, когда писатель вернулся в Россию, он дал знать обладателю рояля о своём желании выкупить семейную реликвию. Это удалось осуществить только в 2001 году.

ного документа XX века: загадки черновиков, парадоксы исправлений, неоднородность текста и вся в целом история, которая много десятилетий удерживала в руках свою тайну. «С самого появления своего в 1928 году “Тихий Дон” протянул цепь загадок, не объяснённых и по сей день», — скажет он в предисловии (1974) к книге историка литературы Ирины Медведевой, вознамерившейся эту тайну приоткрыть.

«Я очень сожалею, — писал Солженицын М. А. Шолохову одиннадцатью годами раньше, в телеграмме, посланной после их двух кремлёвских встреч, — что вся обстановка встречи 17 декабря, совершенно для меня необычная, и то обстоятельство, что как раз перед этим я был представлен Никите Сергеевичу, — помешали мне выразить Вам тогда моё неизменное чувство, как высоко я ценю автора бессмертного “Тихого Дона”».

Своё неизменно высокое чувство к автору «Тихого Дона» — кто бы он ни был — Солженицын хранит всю жизнь.

...Итак, запойный книгочей третьеклассник Саня Солженицын полагал, что непременно должен писать сам. И он без спросу ворвался в мир сочинителей в... 1929 году.

Архив писателя хранит немало сюрпризов. Один из них — маленький (10х15) отрывной блокнот в клетку. На титульном листе детским, круглым почерком обозначены автор — А. Солженицын, — и заглавие — «Синяя стрела, или В. В.». Повесть о сыщиках и разбойниках, с местом действия в Варшаве, с главным героем, который мстит за... 1612 год, начиналась весьма бурно: синяя стрела с чёрным наконечником была воткнута в грудь жертвы, члена парламента по внутренним делам Польши, и содержала шокирующую надпись: «Месть». Далее следовали новые убийства, полиция изнемогала от своих неудач и мистификаций, к которым прибегал неуловимый В. В. Отряды ПНР (Поимки Наглого Разбойника) не давали результатов, в орбиту стремительного действия втягивались всё новые лица, со своими историями и приключениями, и всё вместе сильно напоминало «Дубровского», да и персонажи носили рифмующиеся фамилии — Красовский, Черновский...

В том же 1929 году десятилетний Саня начал работу над другим крупным проектом — «серией “Пираты”». В рамках серии возник цикл рассказов «Морской разбой», третий рассказ которого был записан на чём-то вроде бланков кассовой книжки. На каждом листке тонкой розовой, теперь слегка выцветшей, бумаги (поставщиком таких книжечек была, видимо, Таисия Захаровна) стояло в столбик: «На счет... Акционерное о-во Мельстрой... Талон расходного ордера

№... Мес... 192... г. Сумма в червонных руб... Из коих реальных червонцев...(курс)... Совзнаков... Кому... За что... Выдал кассир...» Оборотная сторона расходных ордеров сияла чистотой и совершенством — здесь и выстроилось драматическое повествование о борьбе отважных героев Макдональдов с морскими разбойниками. Если бы не грубые реалии вроде Мельстроя и совзнаков, если бы не предательская датировка «192...», догадаться, где и когда творил автор, было бы совершенно невозможно.

Но уже следующая вещь из пиратского цикла явно стремилась укорениться в реальном времени. «Страна Пирамид. Фантастический рассказ» имела точную датировку (21 июля 1929 года) и «выходила» в виде выпусков с продолжением, так что «Талон расходного ордера №...» теперь заполнялся автором в соответствии с номером выпуска. Автору явно хотелось, чтобы история о том, как попадают в Каир американец Генри Ллойд, исследователь быта австралийских племён, его спутники и отважные русские моряки, захватила читателей. Поэтому невероятные приключения героев, носивших звучные фамилии Северцев, Южин, Огнев, Соснов, Колибрин, в храме Изиды и у гробниц фараонов обрывались всякий раз на самом интересном месте, уступая розовые листки занимательной смеси, тоже сочинённой мальчиком, — шахматному турниру «Ростов—Ейск», викторинам, словесным играм. Предлагался, например, отрывок с комментарием: «В этом рассказе много неправильностей, найдите их». И, конечно, завлекательные анонсы: пиратская серия явно стремилась вырваться на большие журнальные просторы.

Тогда же стартовал журнал «XX век» — обычная школьная тетрадка в линейку. Ответственный редактор с созвучной эпохе фамилией Я. М. Полярнов (вот они, челюскинцы!) открывал первый номер шутливым обращением: «Наш журнал решил издавать лентяй-редактор от нечего делать. В “XX веке” будет 3 отделения: 1) научно-фантастическое, 2) объявления и происшествия, 3) обдумай и реши. Подписчики имеют право присылать в журнал рассказы, шарады, ребусы, загадки, вопросы и т. п. Будут напечатаны». Благодаря «Стране Пирамид» тираж журнала рос от номера к номеру невиданными темпами. Уже в номерах 2—6 имелось 12 тысяч подписчиков, а после того как полоса набора стала давать три столбца (с тремя разными текстами, соответственно), тираж скакнул к 42 тысячам, потом к 55 тысячам и далее прибавлял тысяч по двадцать ежемесячно, так что уже к номеру 16 «XX век» имел 150 тысяч подписчиков. Но старался и издатель, тов. Полярнов, обещая разнообразные приложе-

ния, устраивая конкурс вопросов, помещая анонсы нового ежемесячника «Всемирный калейдоскоп» (видимо, скопированного со «Всемирного следопыта», с обязательным стихотворным разделом) и даже учредив нечто с загадочным названием ПРЕПОДЖУДВ. Читателям предлагалось разгадать, что сие значит, но куда там — они, конечно, не сумели. Ласково журя подписчиков, редактор великодушно расшифровал (в номере 13) аббревиатуру сам: ПРЕмия ПОДписчикам ЖУрнала Двадцатый Век.

Совершенно очевидно, что успех журнального проекта «XX век» держался на прозе одного автора, который, в свою очередь, нуждался в популярном и авторитетном издании. К четвёртому классу школьник Саня Солженицын (сам себе автор, редактор и издатель, поставщик ребусов, шарад, викторин и шахматных задач) уже имел внятное представление о журнальной кухне, об азах издательской жизни, о взаимодействии главных составляющих литературного процесса — автора и читателя.

Преемником «XX века» стал — два года спустя — периодический журнал «Литературная газета». Январскими каникулами 1932 года Саня, уже шестиклассник (его почерк понемногу терял округлость и стремился к угловатости, но ещё не обрёл окончательную бисерную игольчатость), объявил от лица анонимного издателя о выходе первого номера. Журнал открывался комедией «Званый обед, или Наследство», рассчитанной на два номера. Пьеса (прозаик выступал в новом для себя жанре) действительно была расписана по всем правилам сценического действия. Впервые были оформлены выходные данные: «Напечатано по количеству подписчиков 000.000.001 штук. Ростов-Дон». Семь нулей перед единицей красноречиво свидетельствовали о немалых амбициях издателя, предвидящего миллионный тираж. Третий номер открывался научно-фантастическим рассказом «Лучи», действие которого было отнесено в отдалённое будущее — аж в 1939 год. Но что-то с этими «Лучами» не заладилось, и вскоре редакция «со скорбью» сообщала об их приостановке, как о том просил автор: «“Лучи” откладываются. Начинаю новый роман “Михаил Снегов”. Наверное, на его окончание также терпения не хватит. Посылаю стихотворение”». Но редакция была так привязана к своему постоянному (и пока единственному) автору, что охотно прощала ему все капризы и даже готова была, за неимением новых вещей, перепечатывать из «XX века» старых «Пиратов».

Трения между автором и издателем, которые, судя по всему, имели место, тщательно таились от читателя, прорвав-

шись однажды глухой репликой: «Редакция обращается с просьбой к А. Солженицыну не браться за новые сюжеты, а разработать и докончить, по возможности, все старые». Наверное, автор всё же сделал правильный вывод, потому что в ноябрьском номере 1933 года редакция объявила: «Ниже мы помещаем перечень всех произведений, заметок и набросков А. Солженицына, о которых он ещё помнит, были им написаны, частью сохранились, частью утеряны, частью помещены в журнале “Ракета”, членом об-ва которого А. Солженицын состоял, частью помещены в нашем журнале».

Перечень состоял из 23 пунктов: несколько вещей из серии «Пираты»; неоконченные рассказы «14 шкатулок», «Лучи», «Из-за воздуха»; наброски «В дебрях Африки», «Искатели жемчуга» и «Капитан»; поэма «История ракеты от предка Еты»; стихотворения «В вагоне», «Кот Мурлай» и «Красное знамя»; пьеса «Званый обед»; план пятиактной пьесы «Ненужная месть»; повесть «Николаевские»; наброски «Лагерных рассказов» (про *пионерский* лагерь, надо полагать. — *Л. С.*); «Заметки о футболе». Один рассказ в набросках писался совместно с другом детства Мишей Федоровским, кроме того, в перечень включался роман «Михаил Снегов», над которым автор продолжал работать. Журнал сообщал, что А. Солженицын не уверен в полноте списка и вспоминает вдогонку свои детские стишки «Реклама укротителя».

Отношения журнала и автора, после анонса о намерении печатать сочинения из перечня (было собрано 14 и ожидалось ещё три), улучшились качественно, и редакция выступила с оригинальной творческой инициативой: «При перепечатке черновиков редакция будет придерживаться подлинника до мелочей, вплоть до неправильных оборотов для того, чтобы сохранить вполне *стиль* этих произведений и предохранить его от усовершенствования» (курсив редакции. — *Л. С.*).

Автор принял редакционный почин благосклонно, полагая, что это и есть единственно возможный принцип сотрудничества и что в этом журнале «усовершенствований» он может не опасаться. А выработка принципов была насущно необходима ввиду объявленного весной 1934 года (Саня заканчивал восьмой класс) «Полного собрания сочинений Александра Солженицына». Вышли (в одном экземпляре, в школьной тетрадке, уже сильно угловатым почерком, с цветными шрифтами в заголовках) два тома прозы. Том первый включал роман «Михаил Снегов» — о несчастной любви молодого талантливого актёра, о несбыточности тихого семейного счастья, об измене жены с более удачливым соперником. Уже была освоена техника диалогов, внутренних

монологов и бурных любовных объяснений. Наличествовали романтические пейзажи и портретные зарисовки, усложнилась психология героев, изощрились сюжетные повороты (имела место даже попытка самоубийства, впрочем, неудавшаяся: герой осознал, что надо жить и любить). Том второй (ещё одна тетрадка 1934 года) развивал любовную тему в исповедальной повести «Роковая ошибка» про то, «как ужасно быть несчастным». Здесь же был новый «Рассказ в темноте». Следующие тома отдавались под стихотворения.

К шестнадцати годам Саня Солженицын был, по школьным понятиям, опытным, продвинутым литератором, работавшим в разных жанрах и имевшим основательный творческий багаж, который прошёл апробацию в рукописных журналах (детском самиздате). За пять лет три периодических издания, уже известные «XX век» и «Литературная газета», а также не дошедшая до нас «Ракета» — это ли не успех?

Но вот вопрос: неужели его изощрённая литературная игра в писателя и издателя, маленькие блокноты и кассовые расходные книжки, тонкие тетрадки в линейку и в клетку — на обложке то Сталин с партийным лозунгом, то Пушкин с полным текстом «Эха», «Бесов», «Памятника», «Аквилона» (приближался столетний юбилей поэта) — никогда не имели сторонних читателей? Не мифических подписчиков, а всамделишних, с именем, фамилией и домашним (ростовским) адресом?

Конечно, имели.

Литературная троица: Саня, Кирилл и Лидочка Ежерец азартно читали друг другу свои стихи и повести, встречаясь то в школе, то в чудесном двухъярусном городском саду. Летними вечерами на открытой эстраде играл симфонический оркестр, и они ощущали себя причастными к общему счастью — доступным бесплатным концертам. Зимой и в ненастье к услугам друзей была просторная квартира Лиды (чей папа, Александр Михайлович Ежерец, был большим человеком в медицинском мире Ростова) с балконом на Большую Садовую. Вместе с Лидой они горели неутолимой страстью к литературе, и мечта Кирилла о писательстве была тогда даже жарче и неистовее, чем у Сани.

...В те времена их дружба не была омрачена ни предательством, ни чёрным наговором, ни завистью. Саня дорожил мягкой, нежной, по-девичьи отзывчивой душой Кирилла, жившего с больной матерью и сестрой Ниной в одной комнате. Таисия Захаровна, как родного, любила Кирочку, и, как родного, любила Саню мама Кирилла. Как-то Кирилл устроил в своей маленькой квартирке на Шаумяна спирити-

ческий сеанс, объяснив друзьям, что надо непременно открыть форточку, сидеть молча с зажжённым светом и сильно верить в магические показания буквенного круга. «Положили лёгкие пальцы на опрокинутое блюдце, Кока был поначалу наиболее недоверчив, чтобы другие не двинули, — но поведение блюдца превзошло фантазию любого из нас: некоторые вызванные иностранцы не могли справиться с русской азбукой (нам в голову не пришло заготовить и латинскую), иные русские выбирали буквы неграмотно (и потом мы догадывались, что они были в жизни неграмотны), Суворов гонял блюдечко с кавалерийской быстротой, Зиновьев — жалко ползал и оправдывался, "мы были с Лениным друзья", а кто-то на вопрос, будет ли война, уверенно ответил нам "1940", а "кто победит?" — и стрелка блюдца три раза подряд уверенно разогналась на "С" и один раз на "Р": СССР! Но и не удайся эти сеансы, именно с тобою мы никогда не смеялись над мистикой...»

«А когда умерла твоя мама, — вспоминал Солженицын, — то после похорон её на другой день, в твой страшный день, чтоб не быть тебе дома, не быть одному... мы пошли с тобой с утра и до заката в степь, за Темерник... И так мы бродили, бродили без дорог весь полный день, говорили обо всём, вполне слитные душами, и чувствовали усопшую — и право же, ты к вечеру немного поживел, вернулся на землю».

Примечательно, что добрая память детства, дружеская ласковость к Кирочке, Кириллу, Кирилле (так, с женским окончанием, иногда называли Симоняна друзья, но не в насмешку, а с нежностью, из-за его девичьих ужимок), не изменили Солженицыну-мемуаристу даже тогда, когда его достигла предательская «жёлтоклеймённая зловонная брошюра» прежнего друга. «Я — прощаю тебя, — писал тогда Солженицын, — жгло тебя многое в неудачной, расстроенной, обречённо-безбрачной жизни».

А Кирилл в школьные годы и в самом деле был умнее и развитее многих сверстников, искушённее и в стихах, и в музыке. Именно он был любимцем Анастасии Сергеевны Грюнау, учительницы литературы. Любимая и незабвенная Нанка подростком приехала с родителями в Ростов из Москвы, в 1930-м окончила литфак Ростовского пединститута, вела словесность с пятого по седьмой класс, считалась светочем знаний, умела увлечь и ответно вдохновлялась благодарными глазами учеников.

Спустя 60 с лишним лет Солженицын запечатлеет в «Настеньке» ту учительницу и её юные мечты — наилучшим образом объяснять детям русскую литературу, как можно боль-

ше стихов учить наизусть и читать в классе пьесы по ролям. Расскажет и про мытарства профессии — когда любимых писателей после применения к ним классового подхода нельзя было узнать; когда новая литература рождалась от чехарды политических лозунгов, а её нужно было хвалить; когда учебники, не поспевая за сменой идейных ориентиров и *поворотами линий*, печатались только на полугодие и мгновенно устаревали. «Прежняя незыблемая цельность русской литературы оказалась будто надтреснутой — после всего, что Настенька за эти годы прочла, узнала, научилась видеть. Уже боязно было ей говорить об авторе, о книге, не дав нигде никакого классового обоснования. Листала Когана и находила, “с какими идеями это произведение кооперируется”».

Вспомнит писатель и про культпоходы в местный драмтеатр, куда школьников водили на дневные дешёвые спектакли. «Собирались дети, со своими педагогами, со всего города. Очарование темнеющих в зале огней, раздвижки занавеса, переходящие фигуры актёров под лучами прожекторов, их рельефный в гриме вид, звучные голоса, — как это захватывает сердце ребёнка, и тоже — яркий путь в литературу».

И как было забыть ярчайшую постановку драмы Шиллера «Коварство и любовь»! Потом пьесу целиком читали по ролям на уроке, вместе с Нанкой, и он сам, семиклассник, «худенький отличник с распадающимися неулёжными волосами», подражая артисту, местному трагику, «не своим, запредельным в трагичности голосом», произносил монолог благородного Фердинанда фон Вальтера (именно эту роль играет в театре актёр Михаил Снегов, герой одноимённого Саниного романа, завораживая своим сценическим талантом будущую жену).

Многие пьесы (из разрешённых в школе) были разыграны в классе под руководством Анастасии Сергеевны; и Сане всегда доставались роли первых любовников. «Какая школьная пьеса (Чехов, Ростан, Лавренёв) обошлась без нашего с тобой (К. Симоняном. — *Л. С.*) участия? И ещё даже в дальние драмкружки мы записывались, куда-нибудь в читальню Карла Маркса, ставить катаевскую “Квадратуру круга”. И на уроках литературы — какое чтение пьес обходилось без наших ролей? И в областной драмтеатр и даже в роскошный клуб ВСАСОТР (кажется: Всесоюзная Ассоциация Советских и Торговых Работников) — когда мы пропускали пойти, если билеты были со скидкой?»

Интерес к театру был столь силён, что в какой-то момент Саня твёрдо решил связать с ним свою судьбу. Забегая вперёд, скажем, что после школы он решил поступать сразу в

два места: в университет и в театральную студию Ю. А. Завадского (золотой аттестат — в университет, а аттестат с отличием за семь классов — в студию). Деликатная Таисия Захаровна, которая никогда не давила на сына, была в абсолютном ужасе и всё повторяла, что артист должен быть или великим, или никаким, но он никого не хотел слушать.

А возникла театральная студия в Москве на волне студийного движения двадцатых годов, и в течение трех лет, с 1924-го по 1927-й, отрабатывала творческие принципы. Завадский полагал, что новое слово в искусстве должен сказать молодой театр, который возьмёт от МХАТа его мудрость и глубину, от Вахтангова — зоркость, страстность и экспериментальный жар, отвергающий мнимую театральность во имя театральности подлинной. Педагогическую работу в студии, кроме Завадского, вели мхатовцы и вахтанговцы, и Завадский, пропагандируя систему Станиславского, требовал от артистов виртуозного перевоплощения. Костяк студии образовали Н. Мордвинов, В. Марецкая, Р. Плятт, О. Абдулов, И. Вульф, и когда она в 1936 году (вроде бы по какой-то провинности) была направлена из столицы в Ростов, то образовала основу труппы Ростовского драматического театра имени Горького. Саня успел посмотреть несколько спектаклей со столичными знаменитостями; особенно запомнились «Дни нашей жизни» Л. Андреева, шекспировское «Укрощение строптивой» с Мордвиновым и Марецкой, и он рискнул.

Тут и решилась его театральная судьба: хотя вступительный экзамен удалось выдержать целиком (басня Крылова «Кот и повар», монолог Чацкого «А судьи кто?», этюд — изобразить перетаскивание тяжёлого бака с краской и не испачкаться), но вот голос подвёл. Завадский заподозрил что-то неладное и, подозвав к окну, предложил абитуриенту ещё один этюд: «Вон, далеко-далеко идёт ваш друг. А ну-ка, позовите его изо всей силы». Тот крикнул: «Кири-илл!!» И голос сорвал. До этого с Саней ничего подобного не случалось, и сколько бы он ни кричал в классе, во дворе — голос никогда даже не садился. Завадский попросил принести справку от врача — и врач подтвердил диагноз: катар горла. Если юноша станет артистом, то будет время от времени терять голос. После выхода в свет «Одного дня Ивана Денисовича» Ю. А. Завадский, по-видимому, вспомнил давний эпизод и опознал в писателе своего несостоявшегося студийца.

Даже эта невинная деталь биографии Солженицына станет ещё одним лыком в одну и ту же строку. Позже «недовольные» Симонян и Самутин усмотрят в признанных самим Завадским актёрских способностях 18-летнего Сани

вескую улику: хитрый и коварный Морж, который читал со сцены стихи и даже получал премии на конкурсах молодёжи, не мог не использовать в корыстных целях несомненный свой драматический талант, пользуясь им в жизни.

Но тогда, в юности, театральные увлечения Сани были вне подозрений и шли рука об руку с литературными приключениями. Друзья даже пытались издавать в школе сатирический журнал «Кривое зеркало». «Нас было трое — я, Кирилл и Резников, три ехидны. Старший ехидна Ёська Резников — ехидна *der erste*, Кирилл был ехидна *der zweite*, а я — ехидна *der dritte*. Третья ехидна». Басни, эпиграммы (на учителей, одноклассников и друг на друга), стихотворные шутки, пародии сыпались из «третьей ехидны» как из рога изобилия. Они успели выпустить четыре номера, но за самодеятельность крепко досталось классному руководителю (то есть Нанке): рукописный журнал создавался помимо уроков, вне программы, в нарушение инструкций и без ведома вышестоящих инстанций. У Нанки та «подписка» и осталась.

Были и другие литературные предприятия. Вместе с Кириллом и Лидой они накатали «Роман трёх сумасшедших» (рукопись так и осталась у Лиды). В сюжете фигурировали Индия и прочая экзотика; сочинители применили авантюрную технологию — писали по очереди, по одной главе, каждый придумывал, что хотел, без общего плана и замысла. Так Саня вырвался из тягот одиночного литературного плавания на простор коллективного творчества. «К юности уже много было написано у каждого из нас, тетрадки, тетрадки...»

...В начале тридцатых читательские интересы Сани Солженицына резко устремились к политике, которая тогда имела вид гремевших на всю страну судебных процессов.

Лет с двенадцати, сделав уроки, он не бежал на улицу, а садился за газеты; знал по фамилиям советских послов в каждой стране и иностранных — в СССР. Романам Жюля Верна и Майн Рида (а также собственным литературным упражнениям) школьник всё больше предпочитал стенографические отчёты в «Известиях», и, расстелив газетные простыни прямо на полу (только так и можно было охватить глазом всю газету в тесном пространстве избушки на курьих ножках), он жадно поглощал текст. Ещё раньше дед Захар брал Саню на почту — потом садился на завалинке и «смоктал газету», угадывая, будет ли просвет в этой беспросветной жизни... Они вместе читали о забастовке английских шахтёров (в 1926-м много шумели об этом), а с 1928-го и дальше он читал газеты уже один.

Воображение Сани Солженицына, испытанное семейны-

ми тайнами, не только не обманывалось громовыми речами государственного обвинителя Крыленко, но всякий раз было оскорблено грубой подстроенностью судейских фарсов, где поточным методом фабриковали «врагов народа» и «инженеров-вредителей». Отвратительную ложь подросток чувствовал сразу, ибо — на примере семьи Федоровских — видел жизнь и быт таких «врагов»: «Я хорошо помню инженеров двадцатых годов: этот открыто светящийся интеллект, этот свободный и необидный юмор, эта лёгкость и широта мысли, непринуждённость переключения из одной инженерной области в другую и вообще от техники — к обществу, к искусству. Затем — эту воспитанность, тонкость вкусов; хорошую речь, плавно согласованную и без сорных словечек; у одного — немножко музицирование; у другого — немножко живопись; и всегда у всех — духовная печать на лице... Вечерами донимали их дипломанты, проектанты, аспиранты, они к своей семье выходили только в одиннадцать вечера».

Память детства сохранила семейный уклад и образ жизни профессора Федоровского, доктора технических наук, известного в Ростове специалиста по теплотехнике. Теперь этих людей, кто был призван создавать («Путь вредительства чужд *внутренней конструкции* инженерства», — скажет на процессе лидер «Промпартии» Рамзин), обвиняли в подготовке кризиса экономики и развала промышленности.

Газеты поносили техническую интеллигенцию за участие в подпольной контрреволюционной вредительски-шпионской организации, работавшей по заданию французской разведки. Писали, что члены «Промпартии» тесно связаны с бежавшими от революции крупнейшими капиталистами царской России (Торгпромом), от которых получали средства на шпионскую деятельность. Что верхушка инженеров-предателей готовилась к свержению советской власти и восстановлению капитализма с помощью интервенции и белогвардейцев. Что, пробравшись в Госплан, в ВСНХ и в другие хозорганы, члены «Промпартии» намеревались создать в стране экономический кризис — занижали планы, ускоряли диспропорцию в развитии промышленности и сельского хозяйства, надеялись провести «омертвение капиталов» и подорвать стратегические отрасли. Что «Промпартия», совместно с другими предателями, готовила почву для интервенции, обещав отдать часть Украины, включая Киев и Одессу, а также Баку. На суде под председательством Вышинского обвиняемые полностью признали свою вину. Сталин говорил, что само поведение вредителей должно было развенчать и действительно развенчало идею вредительства.

А вредительство есть одна из самых опасных форм сопротивления развивающемуся социализму. Партия Ленина-Сталина показательно громила троцкистских бандитов, последнюю ставку международной реакции.

А ещё раньше было громкое «Шахтинское дело», когда был раскрыт заговор на Северном Кавказе. Специальное присутствие Верховного суда СССР в Москве летом 1928 года осудило 49 человек за преступную связь с «Парижским центром», который якобы руководил диверсионной работой. Газеты утверждали, что участники заговора, перейдя от тактики сабо́тажа к тактике прямого вредительства, портили машины и механизмы, готовили затопление шахт, создавали завалы, разрушали рудники, неправильно эксплуатировали угольные разрезы.

Позже газеты уверяли, что под гениальным водительством Сталина ВКП(б) разгромила троцкистско-зиновьевских предателей и шпионов и развернула наступление социализма по всему фронту, а ОГПУ сорвало планы изменников-меньшевиков. В марте 1931 года перед судом предстала шайка диверсантов-вредителей, именовавшая себя «Союзным бюро меньшевиков», которое, как утверждалось, было агентурой иностранных разведок. Суд показал, что вредительством и провокациями меньшевики-интервенционисты подрывали материальное положение народа, стремились организовать голод в рабочих районах, чтобы вызвать общее недовольство советской властью и облегчить её свержение.

Поверить этому было — невозможно, противоестественно. «Мне было тогда 12 лет, — напишет Солженицын в «Архипелаге», — уже третий год я внимательно вычитывал всю политику из больших “Известий”. От строки до строки я прочёл и стенограммы этих двух процессов. Уже в “Промпартии” отчётливо ощущалась детскому сердцу избыточность, ложь, подстройка, но там была хоть грандиозность декорации — всеобщая интервенция! паралич всей промышленности! распределение министерских портфелей! В процессе же меньшевиков всё те же были вывешены декорации, но поблекшие, и актёры артикулировали вяло, и был спектакль скучен до зевоты, унылое бездарное повторение».

Тайна тех судилищ заставит школьника Солженицына напряжённо думать — гораздо дальше конкретных обстоятельств одного или двух политических спектаклей и нескольких одиозных подсудимых. «В те годы красный цвет дробился радугой, / И, жаром переливчатых полос его обваренный, / Я недоумевал речам Смирнова, Радека, / Стонал перед загадочным молчанием Бухарина. / Я понимал, я чув-

ствовал, что что-то здесь не то, / Что правды ни следа / В судебных строках нет, — / И я метался: что? / Когда? / Сломило Революции хребет? / Делил их камер немоту — и наконец / В затылок свой я принял их свинец» («Дороженька»).

Ощущая лживость развёрнутой кампании, Саня без всякой подсказки догадался (ему было почти шестнадцать, готовился первый том «Полного собрания» с «Михаилом Снеговым»), что в убийстве Кирова (1 декабря 1934 года) виновен, видимо, лично Сталин, и никто другой. Но понять, почему участники процессов согласно валят на себя все грехи и признаются во всех клеветах, почему ругают себя последними словами, почему никто из подсудимых не протестует против обвинений, он всё же не мог. И потому имел сумасшедшую мечту — проникнуть в главную тюрьму страны, откопать следы (заговор?), но так или иначе найти ключ к разгадке: «Я хотел понять, что это такое — Лубянка, как это интересно — там побывать... на Большой Лубянке... все люди знали о её существовании. Бутырка в те годы звучала меньше, а про Лефортово и не слышали».

Газетная вакханалия навсегда приглушила радость встреч в доме Федоровских. Обыск у Владимира Ивановича продолжался сутки, — перевёрнутая мебель, распотрошённые комоды и шкафы, выброшенные на пол груды книг, наваленные в кучу бельё, посуда, одежда. Федоровский оказался на краю гибели — у него искали и нашли крамолу, групповую фотографию с недавнего съезда энергетиков, где он стоял вместе со своим другом, опальным Рамзиным. В те же дни А. Ф. Андрееву разбил паралич. Не прошло и недели, как упал на катке и ударился затылком об лёд 14-летний Миша, милый товарищ детства, первый литературный конфидент и соавтор Сани. Мальчик сгорел в три дня — горькая и невосполнимая потеря, страшный удар для семьи. Федоровского все-таки не посадили, и в 1934-м он с семьёй уехал из Ростова в Новочеркасск, где получил работу в политехническом институте (Саня навещал их в 1936-м и позже, в Москве, в 1939-м, во время зимней сессии МИФЛИ). В Новочеркасске теперь училась Ирина (дома её звали Ляля); канули в прошлое лучшие ростовские годы, когда все вокруг были в неё влюблены и верный рыцарь Саня таскал записки Лялиному жениху, партийцу-зануде, укравшему её молодость.

Романтический туман рассеивался, отчётливее проступали контуры времени. Мальчику, рождённому под сенью Гражданской войны, яснее виделось центральное событие эпохи, и он испытал настоящий ожог от революционной темы, которой был опалён и испепелён мир взрослых. Что́ бы

и ктó бы из родственников ни рассказывал о революции, Саня всё понимал — и это *всё* было только страшным и только зловещим. Всё детство революция воспринималась им как катастрофа, пережитая и семьёй, и страной. Так он осознал, о *чём* нужно писать — когда-нибудь. Революция стала прологом к его рождению как человека, она должна была стать импульсом к его рождению как писателя.

Судьба распорядилась, чтобы заблаговременно был получен и выдающийся художественный знак — *как* нужно писать. К десяти годам мальчик был уже так искушён в чтении, что смог не только одолеть колоссальный для третьеклассника объём «Войны и мира», но и увидеть в эпопее Льва Толстого вдохновляющий образец грандиозного всеохватного исторического письма. Книга потрясла его — он смотрел на неё даже не как читатель, а как делатель литературы. Парадокс: в то самое время, когда создавалась «пиратская» серия и готовилась самодельная периодика, автор и издатель запоем читал не Стивенсона, а Льва Толстого.

Позже он вспоминал: «Первый толчок к тому, чтобы написать крупное произведение, я получил десяти лет от роду: я прочёл “Войну и мир” Толстого и сразу почувствовал какое-то особенное тяготение к большому охвату». Тогда же были прочитаны изданные в СССР по недосмотру цензуры (синенькие книжечки мирно продавались в газетных киосках) воспоминания члена Государственной думы В. В. Шульгина, отнюдь не большевистского толка. Саня был захвачен этой страстной, увлекательной книжкой. Оставалось соединиться двум громадным впечатлениям: пример «Войны и мира» подсказал, каким может быть крупномасштабное сочинение о русской революции.

А пока что, в июне 1936 года, семнадцати с половиной лет, Саня с похвальной грамотой от Наркомпроса (овальные портреты Ленина и Сталина, подписи директора школы и нескольких учителей) и золотым аттестатом (датирован 26 июня 1936 года) окончил среднюю школу № 15 Андреевского района города Ростова-на-Дону. Семнадцать отметок «отлично» по семнадцати учебным предметам и отличное поведение давали выпускнику право (Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 3 октября 1935 года) поступить в высшую школу без вступительных экзаменов.

Теперь на стене школьного здания (в бывшем Соборном переулке, у Главпочтамта) висит мемориальная доска, а внутри открыт маленький музей знаменитого ученика, куда учителя словесности и классные руководители периодически приводят на экскурсии окрестных школьников.

Глава четвёртая

РГУ. СОЮЗ МАТЕМАТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ

Личный листок по учёту кадров, который 26 марта 1938 года заполнил студент второго курса Ростовского государственного университета Солженицын Александр Исаевич, включал, помимо фотографии и обязательных анкетных данных, несколько неординарных вопросов. Тогдашний «пятый пункт» фиксировал вовсе не национальность (она оставалась под цифрой 4: *русский*), а социальное происхождение и содержал подпункты, чреватые опасными последствиями. Отдел кадров остро интересовали бывшее сословное звание родителей (Саня написал: *крестьяне*), их основное занятие *до* Октябрьской революции (Саня, умолчав об отце-офицере, указал: *студенты*), а также основное занятие *после* революции (Саня ответил уклончиво, но придраться было бы трудно: *отца не было, мать — стенографистка*).

Анкета выходила почти чистой — если не считать того обстоятельства (зацепки для особистов), что отца Сани звали *Исаакий*, отчество в школьном аттестате было *Исаакович*, а в паспорте, как потом и в анкете, стояло не *Исаакиевич* (как было бы правильно), а *Исаевич;* но ведь не будешь на каждом шагу объяснять, какую досадную ошибку допустила паспортистка, выдав 16-летнему юноше его первый паспорт. А тогда, в декабре 1934-го (прошло только два года, как заработала новая паспортная система), они с мамой думали-гадали, как быть, требовать ли в милиции исправлений, нет ли, но решили не будить лихо, пока оно тихо.

Вообще выпускникам-абитуриентам в 1936-м капитально повезло: накануне ввели общие правила приёма в вузы и стали брать не только рабоче-крестьянских детей, но и детей служащих, кем и считалась Таисия Захаровна. В тот год, закончившийся принятием сталинской конституции (5 декабря), неожиданно разрешили казачеству носить форму, и Саня, повернув голову из окна класса — школа находилась в малом квартале от главной улицы, — видел, как шёл парад, как ехали казаки в верхах, с лампасами, под музыку. Тогда же приезжал в Ростов Будённый — молодёжь пригнали на привокзальную площадь, и маршал торжественно провозгласил возврат казачества.

19 июля 1936 года Саня написал заявление: «Прошу принять меня в число студентов Ростовского государственного университета и зачислить на физико-математический факультет». Впечатляющий аттестат, четыре похвальные грамоты, метрическое свидетельство, автобиография (тогда ещё

совсем скромная), необходимые медицинские справки прилагались — и резолюция о зачислении без экзаменов была принята незамедлительно.

Мечтал он, однако, не о физмате. Будь в РГУ литературный факультет, он пошёл бы туда и, несомненно, поступил бы. Но литфак имелся только в местном пединституте, что казалось (и считалось) много ниже по уровню. Уезжать из Ростова, хоть в Новочеркасск, где работал Федоровский, хоть в Москву, он не решался из-за матери — её одиночества и слабого здоровья. Да и учиться далеко от дома было не по карману. Вместе с тем престижное физико-математическое отделение Ростовского государственного университета имени В. М. Молотова — это был даже не компромисс, ведь и в математике у Сани проявились отменные способности. Потому, отвечая в листке по учёту на пункты 17 (об учёной степени) и 18 (о научных трудах и изобретениях), он написал не без вызова: *пока никакой* и *ещё нет*, давая понять отделу кадров, что положительный ответ не за горами.

Другие два «мушкетёра» и Лидочка Ежерец тоже остались в Ростове — Кока и Кирилл поступили на химфак университета (через год Кира переведётся в Ростовский медицинский институт), Лида — на литфак местного пединститута. А Сане университет сразу подарил хорошего товарища. Спустя семьдесят лет (в 2006-м) однокашник по физмату ростовчанин Эмилий Александрович Мазин, Миля, вспоминал: «С Саней мы познакомились в университете в первый же день. Физмат РГУ находился в то время на ул. Горького, 100. В этом здании мы проучились пять лет. В аудитории мы с Саней всегда сидели рядом. К экзаменам готовились вместе. Для этого облюбовали себе удобное место — библиотеку “Тяжпрома”, что находилась на углу Малой Садовой улицы и Ворошиловского проспекта. Экзамены сдавали, как правило, досрочно. Дружба у нас была крепкая, мужская. По этому поводу Саня часто шутил: “Бок о бок тёрлись пять лет, каждый день по многу часов, а ведь ни разу даже мелко не поссорились”».

Среди преподавателей ростовского физмата было немало достойных математиков: Вельмин, Богословский, Горячев, Гремяченский, Мокрищев, Черняев. «Саня учился на математика не столько по призванию, сколько потому, что на физмате были исключительно образованные и очень интересные преподаватели», — вспоминал Мазин. А Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовской (1876—1952), учёный с мировым именем, и вообще считался личностью легендарной: его, почётного члена Сорбонны и Нью-Йоркской ака-

демии наук, лишили званий из-за неправильного происхождения. Сын потомственного дворянина, инженера путей сообщения Д. П. Мордухай-Болтовского, получил математическое образование в С.-Петербургском университете, преподавал в Варшаве и в 1906-м защитил диссертацию («О приведении абелевых интегралов к низшим трансцендентным»), став сперва магистром, а затем профессором Варшавского университета. В связи с приближением немцев к Варшаве в начале 1915 года Императорский Варшавский университет в спешном порядке эвакуировался в Москву, а оттуда — в Ростов-на-Дону. Все математики во главе с Мордухай-Болтовским переехали в Ростов, основав крупнейший в стране факультет чистой и прикладной математики. В мае 1928-го в РГУ торжественно отмечали 30-летний юбилей научной и педагогической деятельности учёного.

В «Круге первом» арестант Нержин вспомнит своего университетского профессора Дмитрия Дмитриевича Горяинова-Шаховского (под этой фамилией был выведен Д. Д. Мордухай-Болтовской). «Маленький старик, уже неопрятный от глубокой старости (в 1936-м Болтовскому исполнилось всего шестьдесят. — *Л. С.*), то перемажет мелом свою чёрную вельветовую куртку, то тряпку от доски положит в карман вместо носового платка. Живой анекдот, собранный из многочисленных “профессорских” анекдотов, душа варшавского университета, переехавшего в девятьсот пятнадцатом в коммерческий Ростов, как на кладбище. Полвека научной работы, поднос поздравительных телеграмм — из Милуоки, Кейптауна, Йокогамы». Этот колоритный персонаж, вернее его прототип, всегдашний гость семейства Федоровских, оставил памятный след и в «Дороженьке»: «К столу хозяйка подводила / Старинного любимца дома, / Механика и астронома, / Горяинова-Шаховского. / Седой полнеющий старик, / Учёный с титлом мирового, / Владелец шапочек и мантий, / Известный автор многих книг, / Не утерял ещё таланта, / Прикрывши грудь волной салфетки, / Следить за вкусами соседки <...>. / И оживлённо средь мужчин / Поговорить о Лиге Наций, / О том, куда идёт страна, / И о записках Шульгина».

Памятны были и знаменитые лекции профессора, от которых в отчаяние приходили даже стенографистки: «По слабости ног усевшись у самой доски, к ней лицом, к аудитории спиной, он правой рукой писал, левой следом стирал — и всё время что-то непрерывно бормотал сам с собой. Понять его идеи во время лекции было совершенно исключено. Но когда Нержину с товарищем удавалось вдвоём,

деля работу, записать, а за вечер разобрать — душу осеняло нечто, как мерцание звёздного неба».

«Нержин с товарищем» — это были Саня и Миля, тоже не раз вспоминавшие, как в четыре руки записывали те лекции: Саня — то, что профессор говорит, Миля — то, что профессор пишет на доске.

В начале 1930 года на фоне политических процессов о «вредителях» бушевала всероссийская кампания по пересмотру научных кадров. Предполагалось осуществить «строгий научный и общественно-политический отбор», а также произвести «замену антисоветских научных работников, использующих университетскую кафедру для антисоветской пропаганды». В мае дошла очередь и до Дмитрия Дмитриевича, которому, по его анкете, «замена» грозила в первую очередь.

Был слух, что какая-то крепкая рука на самом верху хранит профессора. Но лишь немногие знали, что ещё в 1889 году тверской помещик (деревня Верхняя Троица Корчевского района Тверской губернии) Д. П. Мордухай-Болтовской взял в услужение четырнадцатилетнего мальчика Мишу из бедной крестьянской семьи и привёз его в Петербург, к своему сыну Мите. Мальчик вырос в господском доме, поступил на завод, стал революционером, и уже революция вывела его на самую вершину власти: в 1919 году Михаил Иванович Калинин стал председателем ВЦИКа, навсегда сохранив нежную привязанность к барчонку. «И ничто не могло б его спасти, если б не личное знакомство с Калининым — говорили, будто бы отец Калинина был крепостным у отца профессора. Так или иначе, но съездил Горяинов в Москву и привёз указание: этого не трогать. И не стали трогать» («В круге первом»).

Так или иначе, но Комиссия «по пересмотру и замене» пощадила учёного. В Протоколе заседания от 24 мая 1930 года было записано: «Отмечая как отрицательное явление то обстоятельство, что профессор Мордухай-Болтовской до сих пор придерживается философско-мистических взглядов, что он в своей преподавательской деятельности ориентируется не на массы, а на отдельные группы студентов, также и то, что он является противником реформы высшей школы, считать всё же необходимым оставить профессора Мордухай-Болтовского в занимаемой должности как крупного учёного-математика». В 1934-м ему была присвоена степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации, а кафедра математического анализа РГУ награждена переходящим Красным знаменем. Ему сходили с рук даже исследова-

ния по естествознанию с математическим доказательством бытия Бога, критика Маркса, публичные заявления о том, что Ньютон не материалист (как считал Маркс), а идеалист, ибо, «как всякий крупный учёный, Ньютон верил в Бога».

Но в 1937-м ни Саня, ни его сокурсники даже и вообразить не могли, что исследователь дифференциальных уравнений и трансцендентных чисел, знаток четырёхмерного пространства Лобачевского, блистательный переводчик «Начал» Евклида и математических работ Ньютона, был ещё и дерзким политическим публицистом, автором статей о «текущем революционном моменте», рисовавших апокалипсические картины дотла разрушенной России. Надо думать, что до Комиссии по «пересмотру и замене» крамольные статьи (1917—1918), напечатанные в газете Войска Донского «Приазовский край», с моральной поддержкой Белому движению и генералу Каледину, не дошли вовсе, иначе автору, даже и с такой мощной поддержкой, какая была у Болтовского, сильно не поздоровилось бы. А он писал, что революция в корне меняет взгляд интеллигенции на народ, и вместо ожидаемых вестников революции на арене истории, при зловещем зареве горящих усадеб, при адском хохоте палачей появляется страшный призрак обезьяны-человека, питекантропа. Основное стремление его — разрушение. Он втаптывает в грязь книги, разбивает сапогом вместе с фигурами амуров головы ненавистных ему интеллигентов. Болтовской анализировал путь, по которому прошла революция, через генезис целей и средств. «Сначала желанным завоеванием революции была победа над Германией, спасение родины, а вместе с тем и спасение своей национальности... затем... победа городского пролетариата над буржуазией, а потом завоевание неинтеллигенцией — интеллигенции и даже уничтожение последней».

При другом раскладе математик с белогвардейским прошлым был бы для Сани и его потаённого замысла драгоценным союзником и учителем. Но кто же открывал в 1937-м *такое* своё подполье? Кто бы рискнул обсуждать со студентом в обстановке победившего социализма тему русского апокалипсиса? Проще самому было пойти куда следует и сознаться в идеологической диверсии, шпионаже и вредительстве.

...Саня сразу и легко стал одним из самых сильных студентов в своём потоке, по всем предметам получал только пятёрки, и хотя жизненного призвания к математике не чувствовал, но и тогда, и всегда благословлял судьбу, что попал на физмат. Позже сокурсники будут отмечать особые отно-

шения студента Солженицына со временем — он так плотно использовал каждую минуту, выжимая из неё максимум возможного, что успевал невероятно много.

Эмилий Мазин вспоминает (1990): «У него было обострённое чувство времени как особой человеческой ценности. Он никогда ни при каких обстоятельствах не тратил время попусту, на лёгкие разговоры, совещания и застолья. Занимался Саня много, учился не за страх, а за совесть. Первые два курса оценки “хорошо” просто не существовало, её ввели только на третий год нашей учёбы, а до того были лишь “отлично” и “удовлетворительно”. Но стипендию платили всегда. Повышенная — 150 рублей, простая — 110. Конечно, не хватало. Частенько ходили разгружать вагоны — извечное занятие студентов. На старших курсах сами давали уроки математики, занимались репетиторством (А. И. вспоминает, что именно Миля Мазин, более предприимчивый в деле репетиторства, помогал ему находить учеников или делился своими. — *Л. С.*). И ко всему Саня подходил очень организованно — заниматься так заниматься, учить других так учить. Помню его как активного участника драмкружка. В памяти всплывает спектакль по известному чеховскому водевилю. Играл Саня директора банка хорошо, убедительно. Мы аплодировали, поздравляли. Вообще к искусству был неравнодушен. В отличие от многих из нас, исправно посещал филармонию, любил слушать симфоническую музыку. Недурно владел немецким и английским языками, которые изучал ещё в школе. Был редактором факультетской стенгазеты, делал её очень целеустремлённо».

И точно: стенгазета физмата, выходившая еженедельно, очень живая, остроумная, пользовалась немалым успехом и даже была премирована на общегородском конкурсе. По понедельникам у стенда со свежим номером толпились студенты и преподаватели, и за год они так привыкали к весёлому листу ватмана, что когда в июньском номере 1937 года редактор попрощался с читателями на время каникул, его вызвали в партком и в приказном порядке велели продолжать выпуск; так он и вёл газету до последнего курса.

«Был восемнадцатилетний Саня юнцом восторженным, весь светился правдоискательством, сочинял огромные поэмы в подражание “Мцыри”, — вспоминал в 1964 году ещё один Санин знакомец, студент истфака пединститута Борис Изюмский, впоследствии известный донской писатель. — Для меня встреча с Солженицыным имела ещё и особое, личное значение. До войны, студентами, бегали мы с ним в литкружок при Доме медработников. Сдружила нас любовь

к литературе. Оба сочиняли стихи, нещадно критиковали друг друга, но это ни разу не осложнило нашей дружбы».

Поэма в духе «Мцыри» действительно существовала, и не одна. Может быть, Саня читал у медработников приключенческую «Ласточку» («Лирондель»), а может быть, «Эвариста Галуа». Трагическая история гениального французского математика и революционера, который в ночь перед смертельной дуэлью-ловушкой, подстроенной врагами, набросал в тетради теорию алгебраического решения уравнений, была изложена четырёхстопным амфибрахием и потребовала 248 смежно-рифмованных строк. Воин свободы, двадцатилетний Эварист Галуа, жестоко страдал из-за упущенного времени, бесценного, невозвратного. Момент, когда герой, выйдя из тюрьмы, беспечно гуляет, забыв математику и научный долг, кажется, доставляет автору невыносимые страдания. Может быть, из судьбы Галуа он извлёк серьёзный урок, как следует обращаться со временем...

Тайна времени и вечности волновала его в те годы чрезвычайно. Что значит — время уплыло, время прошло? Куда оно уходит? Во что превращается? Где его пристанище? «*Что там*, где смерть своим дыханьем / Коснется сердца моего? / Там... за последним расставаньем?.. / *Что там*, где нету ничего?» Тема этих стихов («Чтó там?», ноябрь 1937-го) перекликалась с «Размышлениями» (1938), где поэт мучается вопросами: зачем жить и на что надеяться? Что значит слава, когда безвестность — удел большинства, когда мечты и стремления превращаются в ничто, когда человек обречён на забвение? В поэме «Девятнадцать» (1937) к поэту в день рождения приходит Двойник, неотступный, неумолимый наблюдатель. За бутылкой сладкого кагора (за которой следуют экзотические малага и аи) он жестоко пеняет своему визави: дескать, эгоист, себялюбец, трус, смелый только в стихах, а в жизни — неопасный мечтатель, который сохнет на физмате, смирился с потерей сцены и тонет без божества, без вдохновенья. Увидев слёзы поэта, узнав, что тот начал писать нечто важное, Двойник смягчается, советует слиться с твореньем и жить им одним, сбросив физматовское иго, воплощая свой дерзкий план.

Математика воспринималась как верный кусок хлеба, а литература — как мечта и призвание. К началу университета у Сани и Кирилла скопилось немало тетрадок со стихами, и, став первокурсниками, они отважились послать избранное столичным светилам, которые чаще всего оставляли такие письма и просьбы без ответа. И все же Л. И. Тимофеев, известный стиховед и сотрудник Института красной профес-

суры, прислал из Москвы скептический отзыв — несколько фраз о низком уровне стихов. Это был тяжкий удар, но они не сдавались, продолжали писать и, где возможно, показывали написанное. Приносили стихи местным поэтам Кацу и Жаку, весьма авторитетным в Ростове (в 1944-м фронтовик Солженицын недобрым словом вспомнит то время, когда такие слабые стихотворцы, как Кац и Жак, были для него высшими литературными судьями — сохранились листки, где Кац, в порядке редактуры, просто вычеркнул три из семи строф Саниного стихотворения «Волга»).

Была ещё краевая газета «Молот» — тамошний заведующий литотделом Яков Борисович Левин, живой, отзывчивый, тонкий человек, всячески поощрял молодых поэтов. По инициативе Киры они записались и в литературный кружок при Доме медработника, руководимый каким-то грубым тупицей из того же «Молота» — тот жёстко гнул партийную линию. К медработникам (в кружке, впрочем, не было ни единого медика) они ходили в 1937-м, и всё равно им казалось, «что музы порхают в той крохотной синей комнатке».

Много лет спустя Солженицын назовёт свои первые литературные опыты «обычным юным вздором». Но в 1938 году некий литконсультант со смешной фамилией Котомка в ответном письме из Гослитиздата, куда Саня послал стихотворение в 14 строф «Дыхание войны» (четырёхстопный амфибрахий, размышления над свежей газетой об испанской войне), вовсе не отговаривал юношу писать, а лишь советовал больше читать, точно выражать свои мысли, овладевать техникой ясной и чёткой речи. И это было всё же обнадёживающим знаком.

Литературные бастионы штурмовались с разных сторон. В год окончания школы был куплен тяжёлый дорожный велосипед «Украина», на котором он смог совершить все свои довоенные путешествия. Гороно, вместо полагавшейся лучшему выпускнику Солженицыну общегородской премии, выписало через культмаг деньги; накануне удалось узнать и сообщить друзьям о «дне Х», и тройка мушкетёров ночь напролёт простояла под магазином, чтобы утром быть первыми в очереди.

Во время велосипедных походов как-то естественно возникла и укрепилась профессиональная потребность наблюдать и записывать. Так был составлен отчёт о велопоходе по Военно-Грузинской дороге (поездом из Ростова до Беслана и Орджоникидзе, потом на велосипедах в Мцхету, Тбилиси, Гори, Боржом, Ахалцых, Абастуман, Батум, Абхазию, Сочи, из Сочи поездом до Ростова) летом 1937 года. В группе, которую возглавлял старшекурсник Саша Брень, было ещё ше-

стеро, включая Саню, Коку и двух девочек (одна из них, бывшая одноклассница Сани, студентка биофака Люля Остер, будет арестована в начале войны как немка); считалось, что студенты едут на родину Сталина, и под этот маршрут спортивное общество «Наука» выделило скромные средства.

«По Кавказу на “Украине”» — первый опыт молодого Солженицына из цикла «Мои путешествия». Записки разместились в простом отрывном блокноте в линейку (ныне изрядно пожелтевшем*), вскоре по прибытии из похода, когда свежие впечатления захлёстывали очеркиста, и ему казалось, что он пишет ярко, звонко, увлекательно. Но и в самом деле язык уже вполне повиновался ему. Описания получались выпуклыми, объёмными; под пером оживали горные ущелья и перевалы, спуски и подъёмы, поломки и починки, привалы и ночлеги, купание в ледяном нарзанном озере и валяние в зелёной пахучей траве. Молодой очеркист научился передавать запах зноя и цвет солнечных бликов, вкус воды в горных источниках и свойства еды в *сасади́лах* (местных столовых), тоскливую протяжность грузинских песен и драматургию футбольного матча между тбилисской командой и спортсменами Басконии на стадионе «Динамо» (грузины проиграли со счётом 1:3, а газеты наутро кричали, что команда выиграла второй тайм со счётом 1:0). Саня, заядлый болельщик, не упустил рассказать, как артистично и авантюрно (совершенно в духе Остапа Бендера) он добывал билеты на ту баснословную игру...

«Когда я был маленьким, — писал 19-летний Солженицын четыре месяца спустя, — я был таким же футбольным болельщиком, как и теперь, даже, пожалуй, больше, потому что тогда, приходя после матча домой, я немедленно садился и писал подробный отчёт о матче. Так и лежит у меня до сих пор стопка тетрадочек с регистрацией каждого мяча, забитого в ростовские ворота или ростовскими форвардами. Потом я бросил эти футбольные мемуары» (включённые тем не менее в перечень его сочинений, которыми интересовался самодельный журнал «XX век»).

Хотя бы ради этой детали, затерявшейся в скудном серобуром блокноте, стоило неотступно следовать за семёркой

---

* Наркомпросовские блокноты Ленинградской фабрики «Светоч» имени Бубнова имели типографскую обложку с «ведомственной» цитатой из Сталина: «Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в армии — наша страна будет непобедима». Американский биограф Солженицына Майкл Скеммел, видевший блокноты (их у Солженицына два), не преминул изобразить дело так, будто слова вождя взяты автором записок в качестве девиза или эпиграфа.

энтузиастов. Перечитав веломемуары через сорок лет в Вермонте, писатель придирчиво и несправедливо назовёт их «ничтожными юношескими набросками», а то путешествие — «временем душевной пустоты». Но — каков же был сочинительский напор, какова вера в нетленность слова: ничто, даже скромный футбол в каком-нибудь Ейске, не пропадёт для вечности, если останется отчёт, сохранятся записки...

Слово — из *ничто* сотворит *нечто*, к тому же ведь были в тех записках и проникновенные строки о могиле Грибоедова на старинном тбилисском кладбище, и о том, как важно, уйдя с погоста и окунаясь в болото текущего, нащупать твёрдую кочку, выпрыгнуть на твёрдую землю, которая зовётся бессмертием. «Высокое место», — согласился писатель.

Но нашлась и ещё одна примечательная страничка в блокноте. Мучительный для всякого сочинителя вопрос — для кого он пишет? — был поставлен и, в общем, решён в ноябре—декабре 1937-го, когда поздними ростовскими вечерами, отложив учебники, Саня доставал свои записки и на душе становилось легко и свободно. Определённо сто́ит писать для себя, не думая о критике, не потакая чужим вкусам, не гадая о судьбе написанного. И он вспоминал поучительную историю — как в школьном детстве, наскучив сочинением наивных приключенческих романов, решил взяться за большую серьёзную вещь: достал лист, вывел заголовок, под ним написал: книга первая, часть первая, глава первая. Содержания ещё не было никакого, потому начал торжественно: «Широко раскинулась пустыня Кара-Кум». Поставил точку, задумался и просидел весь вечер, воображая бесконечные пески, чахлую растительность, а за ней моря, океаны, планету Земля и межпланетные пространства. Романа, однако, ни в тот вечер, ни позже писать так и не начал. С тех пор грозный «призрак Кара-Кум» — символ пустых намерений — заставлял Саню Солженицына идти до конца, навстречу призванию и предназначению.

В путешествии по Украине (15 июля — 27 августа 1938 года) роль литературного отчёта, эпистолярного дневника играли письма любимой девушке Наташе Решетовской; Саня, организатор и командир похода, писал ей из всех крупных городов, где останавливались путешественники. Донбасс оглушил и придавил студентов — вместо весёлых деревень и ласковых украинских мазанок они увидели чёрные посёлки возле рудников, пропитанные мельчайшей угольной пылью, отравленные дымом заводских труб. Потом были тихая патриархальная Полтава — и письмо с описанием городского быта (где, при отсутствии трамваев и авто-

бусов, безраздельно господствовали извозчики); с детальным перечнем памятников (особенно понравился задумчивый Гоголь на бульваре); с отчётом о спектакле гастролирующего вахтанговского театра (рецензия, как и положено, касалась содержания пьесы, декораций, игры актёров).

Итогом шестидневного пребывания в Киеве стало обширное письмо-отчёт — о красоте улиц, о садах и парках, трамвайных маршрутах и книгарнях, о художественных музеях и выставках. Во время экскурсии по Киево-Печерской лавре Саня увидел могилу Столыпина и потом попал на спектакль — в тот самый театр, где Пётр Аркадьевич был убит, о чём юноша не имел ещё никакого понятия (перечитывая полвека спустя те письма, писатель негодовал по поводу своей «бездумной молодости»).

Одесса показалась городом, недоступным логическому пониманию — с путаницей улиц и маршрутов, со странными памятниками, персонажи которых ничем не напоминали своих прототипов. Разглядывая (и с видимым смаком описывая) городские кварталы с ампирными зданиями, Саня добросовестно вспоминал исторические и литературные сюжеты (упоминались и Пушкин, и броненосец «Потёмкин», и «рыцарь монархии» В. В. Шульгин). А дальше были Херсон, Севастополь, Бахчисарай и Ялта, конечный пункт, где условлено было встретиться с Наташей. Путешествие — яркое, авантюрное (ночевали, где придётся, ели, что попало, отставали от графика, навёрстывали график, внезапно болели, экстренно выздоравливали) — перевыполнило программу культурного образования, столь необходимого начинающему литератору.

Но культурный кодекс включал ещё и обязательное знание языков. Летом 1936 года Саня поступил на годичные курсы английского языка, открывшиеся при Ростовском гороно (куда его увлёк вездесущий Кирилл), окончил их летом 1937-го, получив звание переводчика и диплом, очень пригодившийся позже*. Параллельно с английским много и серьёзно занимался латынью, завёл словарик, заучивал слова и выражения, записался (конечно, вместе с Кириллом) в кружок к Ивану Васильевичу Котлярову, бывшему чиновнику Министерства иностранных дел царской России (последнее обстоятельство латинист пытался скрывать, хотя сам рассказывал умопомрачительные дипломатические истории).

---

* Диплом (аттестат № 14, выданный 20 декабря 1937 года) сохранился; среди проработанных дисциплин значатся английский язык, техника переводов, история литературы, конституция СССР. Английскими техническими переводами А. И. Солженицыну поручали заниматься в шарашках Загорска и Марфина.

Те, кто знал латынь, были для кружковца Солженицына людьми отмеченными, посвящёнными в тайны прекрасного древнего знания, и это чувство осталось у него на всю жизнь: «Я люблю мужскую собранность латыни, / Фраз чекан и грозный звон глаголов. / Я люблю, когда из-под забрала / Мне латынью посвящённый просверкнёт».

Но Ростовский университет, как и все высшие учебные заведения СССР, требовал от своих питомцев не только знаний по профильным и общим предметам. Обязательное условие университетской успешности вынуждало всякого студента быть комсомольцем, и желательно не рядовым, а активным, заметным на факультете. Как школа принудила Саню вступить в пионеры, так и вуз побудил его стать комсомольцем. Он вступил в ВЛКСМ в начале десятого класса, чтобы идти в университет с этим бесспорным преимуществом. К тому же у них был дружный класс, в комсомол двинулись всем скопом. «Я не устоял, не удержался на ногах в этом потоке», — признавался Солженицын более чем полвека спустя.

Вряд ли, однако, этот шаг был только конъюнктурным, только карьерным. Ему было восемнадцать, и речь шла уже об убеждениях, а не о корыстном расчёте. Его юность — десятилетие перед войной — совпала со временем, когда общий поток нового учения нёсся по стране, как ветер и ураган, захватывая в плен умы и сердца, сметая прочь сомнения и колебания. Храмы закрылись, церковь была объявлена пережитком прошлого, и всякий школьник успел усвоить, что религия — опиум, а учение Маркса всесильно, ибо истинно. Искренняя простонародная вера, какая была у деда и бабушки Щербаков, и то светлое чувство, какое с молоком матери впитал он сам, не подразумевали богословских дискуссий, не требовали логических доказательств бытия Бога по Канту или опровержений по Фейербаху. Эта вера не знала интеллектуальной рефлексии — но было бы странно, если бы она не появилась у студента-математика, «естественника», как говорили в XIX веке, чей ум жаждал глобального мировоззрения и всеразрешающих объяснений. Стихотворение «У всенощной (Из воспоминаний детства)», написанное в мае 1938-го под рубрикой «сугубо интимное», было наполнено как раз этой жаждой. Юноша, с детства знающий устав церковной службы, любящий «акафисты, гимны, каноны, хваления», познавший блаженство молитв, не утратил ощущение великой тайны, которая заключена в ликах святых, в терновом венце Распятого Бога. Он видит Христа страда́ющего как вершителя добра против ненавистного зла.

Неважно, рассуждает автор, был ли Христос посланником небес, или всего лишь простым иудеем, действительно ли умер, действительно ли воскрес. Важны идея добра, идеал любви, к которому призывал Иисус, и то время, когда его правда воссияет. Но настанет ли оно? Поэт с глубокой тоской смотрит на тёмный, тяжёлый деревянный крест, на гвозди, вонзившиеся в тело, и, вопреки новой истине, видит в огне разноцветных лампад ласково-строгую улыбку Христа...

Но молодёжь Страны Советов искренне уверовала в новых богов — в Маркса и Ленина, в мировую революцию, в коммунизм. Она была захвачена, оморочена тотальной пропагандой передовых идей. С этими идеями — в виде отрывков из Фейербаха и Карла Маркса — Саня столкнулся уже в пятом классе школы на обязательных и чуть ли не ежедневных уроках обществоведения (в «Настеньке» бдительная обществоведка-завуч разъясняет детям пятых, шестых и седьмых классов фрагменты «Капитала»). Школьное образование с его культом прогресса достигало своей цели в кратчайшие сроки — комсомольцы, которых пафосно называли Октябревичами и Октябревнами, были мобилизованы идти в наступление по всему фронту.

Поколение ровесников революции росло и взрослело на комсомольских инструктажах — о врагах Октября и угрозе контрреволюции, о заразе старого мира, о бдительности и беспощадности к вредителям, о пользе доносительства. И была такая повелительная сила в магнитном поле новой идеологии, которая отныне считалась господствующей, что не поверить в неё молодым головам или противостоять ей не было почти никакой возможности. И если до семнадцати лет Солженицын считал себя «совершенно противоположным этому строю, этому государству», не принимал советского воспитания и, как мог, сопротивлялся ему, скрывая свои убеждения и свою веру, — позже многое изменилось. «Я действительно повернулся, внутренне, и стал, только с этого времени, марксистом, ленинистом, во всё это поверил. И с этим я прожил до тюрьмы: университет и войну». С этим он путешествовал на велосипеде по Кавказу и Украине, и «бог» в его записках и стихах подчинялся советским правилам орфографии.

И вот ещё одно признание. «Было время в моей юности, в 30-е годы, когда был такой силы поток идейной обработки, что я, учась в институте, читая Маркса, Энгельса, Ленина, как мне казалось, открывал великие истины, и даже была такая у нас благодарность, что вот, благодаря Марксу, какое облегчение — всю предыдущую мировую философию, все 20—25 столетий мысли, не надо читать, сразу все истины —

вот они уже достигнуты! О, это страшный яд! Когда говорят вам, что истина найдена, она — вот она, лежит такая доступная, зачем мучиться и проходить этих 100 философов и узнавать историю мысли? Да, в этом смысле я прошёл через искушение, и в таком виде я пошёл на войну 41-года».

Все студенческие годы Солженицын искренне считал себя марксистом, увлечённым и даже фанатичным приверженцем революционной теории. Все воспоминания семьи, весь мир его детства, все потаённые тревоги души — были как бы забыты, вытеснены кипучей злобой нового дня. Но только потому, что сердце его уже познало веру, требовательный ум смог принять как новую религию — Марксово учение, его идеальную, романтическую сторону. «Я стал сочувствовать этому молодому миру. Мир будет такой, какой мы его сотворим... Меня понесло течением».

Марксизм обещал справедливость — и как же было её не ждать, не жаждать, если, кроме нищеты, он, обитатель убогих хижин, в детстве ничего не видел? «Я одевался очень нище, ничего нового себе никогда не покупал. Достала мне мама как-то шубу, обыкновенную, толстую и дешёвую, мне в ней было всегда очень жарко, мама заставляла её носить, а я распахивал, совсем не боялся холода...» Пара ботинок или костюм служили годами, брюки с чернильной кляксой (сел по неосторожности на заляпанный стул) Саня проносил все студенческие годы; затасканный вытертый портфель, с которым ушёл на фронт, был куплен в пятом классе — как и та толстая шуба, а потом её, единственную свою тёплую одежду, уже не по росту короткую, взял в обоз, на войну. Впервые в жизни Саня прокатился (не сам, с товарищами!) на легковой машине в девятнадцать лет, в Батуме, когда невозможно было втиснуться в автобус до Зелёного Мыса, где располагался знаменитый Ботанический сад. Но в юности он совсем не ощущал бедности своей одежды и своего быта, не придавал им значения — Миля тоже мазал чёрной ваксой белые парусиновые туфли, чтобы в холода они могли сойти за зимние.

Функциональная сторона марксизма, которая давала ловкачам огромную фору в деле практического жизнеустройства и превращала их в циников и приспособленцев, молодому Солженицыну была, кажется, вообще неизвестна. Он видел в новом учении не *средство* (продвижения, преуспеяния), а *цель* — высшую, конечную, всепобеждающую. Главную и заветную книгу марксизма он мечтал прочесть все пять лет студенчества, не раз брал «Капитал» в университетской библиотеке, штудировал, пытался конспектировать, что-то выписывал, держал то семестр, то целый учебный год — но ни-

когда не оставалось времени одолеть её и овладеть основополагающим знанием. Перед каникулами нужно было сдавать книгу — вместе с другими курсовыми учебниками. И даже на занятиях по политэкономии читать «Капитал» как первоисточник не выходило: отговаривал преподаватель («Утонете!»), советуя нажимать на учебники и конспекты лекций. Те свои переживания Солженицын отдаст персонажу рассказа «Случай на станции Кочетовка», лейтенанту Васе Зотову, и уже Вася, мученик марксистской веры, так и не одолевший библии марксизма из-за экзаменов, общественных нагрузок, собраний, захватит библиотечный экземпляр первого тома «Капитала» — синий толстый том на шершавой рыжей бумаге тридцатых годов, будет возить его в вещмешке и корпеть над ним вечерами, свободными от службы, всевобуча и заданий райкома партии. «Вася так понимал, что когда он освоит весь этот хотя бы первый том и будет стройным целым держать его в памяти — он станет непобедимым, неуязвимым, неотразимым в любой идейной схватке».

Марксизм был необходим студенту-математику Солженицыну для понимания общей идеи и мировой цели, для ориентации в потоке жизни. Но он был позарез необходим и Солженицыну, который твёрдо решил писать историю русской революции. Марксизм давал ему ощущение верного курса в том главном деле, которому он посвятит жизнь, — остальное его не трогало и не касалось. «Для понимания революции мне давно ничего не нужно, кроме марксизма; всё прочее, что липло, я отрубал и отворачивался» — таким он был в студенческой юности и таким честно себя запомнил. Да и куда было деться от передового учения, если даже главная читальня города, областная библиотека Ростова, где он читал серьёзные книги, где искал нужные материалы и где начал свои наброски, носила имя Карла Маркса?

Итак, в девять лет он понял, что хочет быть писателем; в десять — что будет писать большую, в духе «Войны и мира», художественную историю о русской революции; в восемнадцать — как ему казалось — был найден идейный ключ к пониманию революции, то есть та точка отсчёта, без которой задуманный труд был бы невозможен, ибо требовал не бесстрастия летописца, а горячего авторского чувства, личных оценок. История русской революции немыслима без философии истории, а та невозможна без политических координат. Марксизм гарантировал надёжность системы координат, служил указующим перстом, уверенно объяснял неофиту — что́ считать за правду. Без ответа на этот вопрос бессмысленно было даже приближаться к замыслу.

Тот факт, что Солженицын принялся за дело своей жизни как за систематическую работу над главной книгой именно в восемнадцать лет, глубоко закономерен. Впервые он чувствовал себя *как бы* духовно цельным, исчезли (или очень глубоко затаились) «запутанность и двуправдность», мир *как бы* выровнялся, пришло радостное понимание правил мироустройства — и правильности выбранного пути: «Всю Историю — от нас до братьев Гракхов, / Высветил прожектор Марксова ума. / Маркс! — как меч, рубящий путаницу партий! / Не блуждать у Лейбница, у Юма, у Декарта, / Только-только вылупясь из жёлтеньких скорлуп, / Держим в клювах Истину и мечем взоры вглубь! / Есть закон движения! Другого Абсолюта / Нет! И как там было — сердобольно, круто, / Нравилось, не нравилось, — минует постепенно. / Всё пройдёт <...>. Всё должно быть сметено и сбито, / Что само не станет на колени. / *Dura lex, sed lex.* Во всём закон».

Такой была историософия начинающего литератора, увлечённо собирающего материалы по русской революции. Философия однодума, который уверовал в идею до судорог и не знает больше колебаний и сомнений. Такой же непреклонной могла быть и сама история, если бы она вышла из-под пера юноши с «Истиной в клюве».

...Осенний день 1936 года запомнился Солженицыну навсегда. Уже были отменены воскресенья, от пятидневки перешли к шестидневке, и каждое число, делившееся на шесть, оказывалось всеобщим выходным днем. 18 ноября подходило под общее правило, и занятий в университете не было; стояла солнечная, тёплая осень. Студент-первокурсник шёл по Пушкинскому бульвару в каком-то смутном волнении, и в одном месте, под уже оголёнными ветками деревьев, его вдруг будто осенило. Надо писать роман о революции, начиная не с октябрьского переворота (до сих пор он думал, что именно это корень революционной истории), а с событий 1914-го, с Первой мировой войны. Но как писать эту войну? Огромную, протяжённую — как её описывать? Здесь, на бульваре, и явилось решение: надо взять всего-навсего одну узловую битву (пример толстовской эпопеи помог ощутить композицию Узлов), показать через эту битву всю войну, но выбрать главное сражение Первой мировой — так, чтобы ход его и результат вели к причинам революции.

Саня засел за книги, выписывал, конспектировал, и вскоре открылась ему Самсоновская катастрофа — в ней был ключ, разгадка. Сюжет требовал подробных занятий, детальных разработок, изучения военных карт и реляций с фронта, и он окунулся в это с головой («Сколько нами див-

ных вечеров проведено / В мудрой тишине библиотек! / Сколько раз не хожено в кино! / Сколько жертвовано вечеринок!»). Уже в 1937-м он собрал в ростовских библиотеках* всё, что было доступно по сражениям в Восточной Пруссии, и смог написать первые главы романа: приезд полковника Воротынцева из Ставки в штаб Самсонова, переезд штаба в Найденбург, обед там. Впоследствии изменятся фактура повествования и язык, но конструкция десятка военных глав останется почти без изменения и войдёт в окончательную редакцию «Красного Колеса». Но, конечно, автор и представить себе тогда не мог, что ему самому придётся пройти дорогами Второй мировой точно по тем же местам, повторив весь путь армии Самсонова. В 1937-м были написаны главы о семье Щербаков (Томчаков), и уже тогда поставлен вопрос о деятельности Столыпина и его гибели.

Первые наброски были сделаны в ученической тетрадке (она уцелеет, пережив войну): Сане было чем оправдаться перед взыскательным Двойником из поэмы «Девятнадцать». Общий рисунок становления Солженицына-писателя отличал ещё один знак: с самого начала, с 1936 года, никаких колебаний в выборе замысла главного труда у него не было — сколько бы времени ни съедала математика. «С тех пор я никогда с ним не расставался, понимал его как главный замысел моей жизни; отвлекаясь на другие книги лишь по особенностям своей биографии и густоте современных впечатлений, — я шёл, и готовился, и материалы собирал только к этому замыслу».

«Меня уже ничто не могло свернуть с этой темы, я уже всё равно только ею и занимался» — эти слова, сказанные Солженицыным много лет спустя, но отнесённые к 1936 году, имели отнюдь не риторический смысл. На самом деле заставить его свернуть как с темы, так и с пути могло в те годы слишком многое.

Осенью 1937 года их, студентов-комсомольцев РГУ, только-только начавших второй университетский курс, райком комсомола пытался вербовать в авиационные училища. Жалко было бросать университет, они отбивались — и кое-как отбились. Спустя год, осенью 1938-го, тот же комсомольский райком, уже почти не спрашивая согласия, на-

---

* «Ещё в тридцать седьмом году я, студентом-первокурсником, вижу в каталоге: Степун, “Записки прапорщика-артиллериста”. Я их заказываю. Начальница отдела на выдаче говорит: “Вот я смотрю предисловие: эта книга написана матёрым белогвардейцем, врагом советской власти. Взять на себя ответственность выдать вам такую книгу, молодой человек, я не могу».

стойчиво предлагал заполнить анкеты — «дескать, довольно с вас физматов, химфаков, Родине нужней, чтоб вы шли в училища НКВД». Удалось (не всем, кое-кто из однокурсников завербовался) отбиться и от этих загадочных училищ. Солженицын потом спрашивал себя — что́ мешало ему согласиться? На лекциях по истмату им твердили, что борьба против внутреннего врага — почётная обязанность гражданина СССР и что НКВД — передовой отряд этого важнейшего фронта. К тому же погоны сулили большие житейские преимущества — пайки и зарплату, какая не снилась школьному учителю, выпускнику университета. «Думаю, что если б очень крепко нажали, — сломили б нас и всех», — признавался Солженицын в «Архипелаге».

Кажется, устоять от соблазна ему было легче, чем другим: не только потому, что «сопротивлялась какая-то вовсе не головная, а грудная область». Может быть, тогда его удержала работа, давая ему крепость и силы, направляя и ведя по жизни? Но как было не ужаснуться потом, в свете гулаговского опыта, этой гипотетической возможности!

«И вот я хочу вообразить: если б к войне я был бы уже с кубарями в голубых петлицах — что́ б из меня вышло?»

Солженицын имел мужество сказать — не вообще, а самому себе: линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. «И кто уничтожит кусок своего сердца?» То есть злого его участка? А потому — терзала, изматывала совесть, ставя беспощадный приговор. «Я приписывал себе бескорыстную самоотверженность. А между тем был — вполне подготовленный палач. И попади я в училище НКВД при Ежове — может быть, у Берии я вырос бы как раз на месте?.. <...> Перед ямой, в которую мы уже собрались толкать наших обидчиков, мы останавливаемся, оторопев: да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они. А кликнул бы Малюта Скуратов *нас* — пожалуй, и мы б не сплошали!..»

Но всё же: та самая *грудная область* не дала ему даже в момент жестокого самобичевания выговорить вместо *мы* — *я,* вместо *нас* — *меня*... Холодный ум — допускал, а сердце — противилось, отвергало адский выбор. В палачи не попадают по слепому случаю, по тупому обороту колеса; всегда бывает первопричина, точка отсчёта...

Тогда же, в 1937—1938 годах, поколению Солженицына пришлось испытать ещё одно сильнейшее искушение. «Любимая война нашей юности», «первая революционная любовь нашей молодости» — так назовёт он гражданскую войну в Испании. «С Испанией сроднено было сердце ещё с университетских лет, когда мы рвались попасть на её гражданскую

войну — с республиканской стороны, конечно, — и без заучки впитывали все эти Уэски, Теруэли и Гвадалахары роднее собственного русского, по юному безумию забыв пролитое рядом тут, в самом нашем Ростове или Новочеркасске». Дóма, в Ростове и по всей России, сажали, пытали, расстреливали, а русские университетские юноши были влюблены в чужую войну и чужую борьбу, бредили интербригадами, писали «испанские» стихи, заучивали названия иноземных городов и видели во сне Мадрид и Барселону, где никогда не бывали. Гневные, взвинченные статьи Эренбурга хватали за душу, и если бы тех юношей позвали и разрешили воевать, они тут же бросились бы на помощь братской Испании.

Романтика, которая так увлекала молодые души, заставляя пренебречь собственной страной ради обманчивой мечты, всё же коснулась Солженицына в меньшей степени — в пункте «Испания» поколенческое *мы* не отождествлялось с личным *я*. Если лейтенант Вася Зотов («Случай на станции Кочетовка») и впрямь одержим молодым безумием, учит испанский язык, требует от военкома послать его в Испанию простым стрелком, потому что революционная совесть не позволяет ему оставаться в стороне, то студент Солженицын ведёт себя трезвее и осмотрительнее. Он разделяет общее увлечение Испанией, даже болеет за романтических басков в футбольном матче с грубо-самодовольной командой Грузии, но не рвётся ехать в Испанию. Может быть, чуял двусмысленность схватки, ставшей полигоном для Сталина, Гитлера и Муссолини, а может, сознавал ответственность перед *своей* войной и *своей* революционной любовью.

Трудно сказать, насколько приблизил бы математика Солженицына к его заветной цели Московский институт философии, литературы и истории, о существовании которого он узнал от своего приятеля Мили Мазина и его жены почти случайно. МИФЛИ казался землёй обетованной, средоточием всех мыслимых литературных талантов. Были отправлены в Москву (безответно) письма и запросы, а 16 июля 1939 года они с Кокой Виткевичем взяли билеты и ещё через день поездом выехали из Ростова экспромтом, готовясь ночевать на газонах парка в Сокольниках или даже в отделениях милиции.

Москва, как ни странно, встретила их приветливо: в день приезда, 20 июля, они были приняты без экзаменов в экстернат МИФЛИ, с ближайшей перспективой перевода на заочное отделение, получили места в общежитии — и уже на следующий день началась установочная сессия. Кока поступил на философское отделение, Саня — на факультет искус-

ствоведения; он был чрезвычайно горд, что все четыре года сможет, согласно программе, учить обожаемую латынь и читать в подлиннике Горация.

Прекрасное победное лето 1939-го увенчалось большим, тщательно спланированным путешествием по Волге. 25 июля, сразу после сессии, друзья выехали поездом из Москвы в Казань, купили лодку (за 225 рублей, долго выбирали, прицenивались, пробовали на прочность), назвали её «Волгарь-Скиталец», запаслись провизией и 29-го отплыли из Казани, проходя за сутки километров по тридцать. С 4 по 8 августа стояли в Ульяновске в ожидании почты и денег из Ростова, осмотрели город от Свияги до Волги, включая и главную достопримечательность — домик Ульяновых (Саня собирался писать о музее в свою стенгазету); наконец, получив деньги, отплыли 9-го и 18-го были в Куйбышеве. 22-го, продав лодку с минимальными потерями (за 200 рублей), взяли билеты на пароход до Сталинграда, откуда 27 августа поездом вернулись в Ростов.

Лодочный поход 1939 года, помимо волнующих приключений, острых впечатлений и наблюдений, а также многочисленных проб пера в описаниях увиденного, был чрезвычайно богат ценным опытом общения с природой. На волжских просторах они смогли почувствовать себя не праздными туристами, а покорителями дикой стихии. Юноши были одни посреди реки, мокли и мёрзли, часто не имея укрытия от ливней — и текучая, изменчивая красота Волги, как и её могучая, грозная сила, оставалась с ними днём и ночью. Они ели горную малину на отвесных склонах Жигулей, собирали хворост в прибрежных рощах, жгли костры и готовили простую еду; видели на пристанях и на базарах волжан — настоящий народ, а не курортников и дачников. Целый месяц зависели от сиюминутного каприза погоды и, живя одной с ней жизнью, становились суеверными, как первобытные люди. В конце похода путешественники имели полное право рассказывать о красоте Волги — они не поймали эту красоту на лету, а были пронизаны и пропитаны ею.

Саня — на всех крупных стоянках — привычно писал подробнейшие отчёты Наташе Решетовской. Но, как оказалось, далеко не обо всём. Грузчики на пристани, ворочающие мешки и бочки, как сто и двести лет назад (а где же прогресс — ведь давно обогнали Англию по лебёдкам и кранам?). Пьяные, рваные, нищие жители приволжских посёлков (а ведь нет уже ни царя, ни помещиков, «ни в церквях колен не гнёт никто»). Дебаркадер, и тут же чайная райпо, где никогда нет чая, а только водка. И сосед за столиком,

лохматый грузчик дядя Миша, объясняет «мальчикам с луны» — за что именно советская власть в тридцатом году отправила его, воевавшего за землю и волю против Колчака, с малыми детьми в тундру, бросив их туда голыми и босыми. За что? А за то, что не ленился и тёр мозоли, был сочтён кулаком, ликвидирован как класс, и дети его уснули вечным сном под карельскими берёзами.

Ещё видели друзья на правом берегу Волги сланцевые каменоломни: облепив гору, как муравьи, люди в серых лохмотьях с кирками и лопатами вручную разбивали скалы и катили тачки наверх по тропинкам. И был беспокойный ночлег в Красной Глинке, когда их, мирных туристов, разбудила облава с фонарями, выстрелами и яростным лаем собак. Неизвестных беглецов ловили всю ночь, туристы же поспешили на рассвете уйти, уплыть из проклятого места от греха подальше — чтоб не рвать сердце, не думать, забыть. А чуть позже, едва поднялось солнце, встретился им арестантский катер с кандальными пассажирами. «Только нескольких и рассмотрели мы. / Кто они?.. За что их?.. Не расскажут... Тихие, стояли у кормы. / Что-то было в лицах их заросших, / В складках, не черствеющих у глаз, / От чего пахнуло всем хорошим, / С детских лет несбывшимся повеяло на нас». Тогда-то и повис камнем тяжёлый вопрос, на который у юношей не было ответа: «А что, сейчас бы к Самому / Молодой, второй явись бы Ленин, — / Он бы — не попал в тюрьму?..» («Дороженька», десять лет спустя).

Одно проклятое впечатление увязывалось с другим, прежним. Что нужно было думать про старика-рабочего в очках, обмотанных ниточкой, с въевшейся в морщины железной пылью? Он вышел на сцену зала ростовских Ленмастерских в 1937-м во время многочасового производственного собрания — и грохнул: «Зря — баррикады — строили — встарь? / Зря, значит, — мы — умирали? / К трону — бредёт по рабочей — крови / ЦАРЬ! / СТАЛИН!!!» И тут же ужас сковал огромный, оцепеневший зал, повисла такая тишина, что слышно было, как у стенографистки (Таисия Захаровна вечером рассказала сыну о том собрании) упал карандаш, и мгновенно мятежному старику заткнули рот, уволокли за сцену, «ещё донёсся хрип из-за кулис»...

Но пока все эти страшные вещи происходили как-то сбоку, задевали слабо. И ни в чём не мог убедить Саню Кирилл Симонян: «Ты не захвачен был этой заразой мировой революции, и марксизм если и прилип к тебе — то не крепкою чешуёй и не надолго. О 37-м годе и пытках его — ты один из нас чётко знал, и мне втолковывал, а я плохо воспринимал».

Глава пятая

ПЛЮС МИФЛИ. ПРОЗРЕНИЯ И МИРАЖИ

Было бы крайне обидно, если бы мир, внутри которого жил студент-математик, активист, путешественник, художественный чтец и участник драматических спектаклей, сочинитель рассказов, стихов и поэм, мечтавший о крупных формах и настоящем писательстве, был бы лишён лирической, романтической ноты. Было бы совсем плохо, если бы, кроме досрочно сданных экзаменов, пятёрок, похвальных грамот, положительных характеристик и похвал друзей, в жизни Сани больше ничего не происходило. Но нет, к счастью: его юные годы были наполнены дарами молодости, которая не мыслит себя без страстных увлечений и любовных переживаний.

«В школе я влюблялся много...» — утверждал Солженицын. Следы тех влюблённостей остались в тетрадках со стихами, писавшимися и в шестнадцать, и в восемнадцать, и в двадцать лет. По ним легко прочитывается (или угадывается), как далеко зашёл (или, напротив, застрял) тот или иной сюжет: сила поэтического чувства соответствует градусу влюблённости, и Солженицын-поэт, из уважения к исторической правде, ни разу, кажется, не позволил себе преувеличить (или преуменьшить) объём и содержание любовного эпизода.

Память писателя хранит образы своих школьных возлюбленных — то есть девушек, в которых был влюблён *сам*. Свои шансы на ответное чувство в те годы он оценивал весьма низко. Он очень хорошо знал, что такое сомнение: одноимённое стихотворение 1938 года начиналось вопросами: «Кто я? Не знаю... Откуда? Не ведаю... / Плох ли? Хорош? Ограничен? Умен?» В повести «Люби революцию», написанной, когда ему было уже под тридцать, Солженицын нарисует своего автобиографического героя Глеба Нержина худым, бледным, всегда плохо одетым юношей: «Глеб отроду был воспитан понимать женщин как предмет поклонения. Ему как-то не открылось и никто не внушил, отца не было, что существует и красота мужская, что и самому надо быть тоже пригожим... Он не умел нравиться, ухаживать, а влюбясь — только писал в дневнике (*те* Санины дневники погибли в войну. — *Л. С.*) и строил хрупко-калейдоскопические картины любви».

Он напряжённо соображал, как это — *ухаживать?* Подавать в театральной раздевалке шубку и галоши? Как это брать и вести под руку, когда не знаешь, как правильно? Едва касаться острия локтя? Поддерживать всю руку до запяс-

тья? Подхватывать своей ладонью опущенный вниз маленький кулачок? Продевать свои настойчивые пальцы меж послушных пальчиков спутницы? (Глеб Нержин специально ходил на Большую Садовую — присмотреться, как это делают опытные, уверенные в себе мужчины).

В «Круге первом» описано, как и в семнадцать, и в девятнадцать лет налетали на героя горячие шквалы затмений, отнимая разум, и как он пересиливал себя. «Он беспомощно не умел разрешать тех затмений: не знал тех слов, которые приближают, того тона, которому уступают. Ещё его связывала от прошлых веков вколоченная забота о женской чести. И никакая женщина, опытней и мудрей, не положила ему мягкой руки на плечо. Нет, одна и звала его, а он тогда не понял! Только на тюремном полу перебрал и осознал, — и этот упущенный случай, целые годы упущенные, целый мир — жгли его тут напрокол».

Тот «упущенный случай» Саниной молодости носил звучное имя: Виктория Пурель, однокурсница. Маем 1938-го датировано посвящённое ей изысканное стихотворение «Ты помнишь?..», с прихотливым ритмом (дань Бальмонту) — о впечатлениях только что прошедшего апреля. Был яркий, огненный день, шумела вечеринка, звенела гитара, лились мелодии, танцевали пары, поэт и девушка шли к колодцу за водой, восторг юности прорывался из серебристой переливчатой строки в реальность переживания. «В 1938 году я потерял очень тёплую девушку, которая меня любила по-настоящему»*. Значит, не так всё было безнадёжно, если он мог позволить себе роскошь выбирать, а не броситься со всех ног на зов беззаветной девичьей любви...

И он выбрал, в том самом 1938 году. Позже Солженицын объяснит свой шаг... манией рояля, роковой ролью фортепианной музыки, которую любил с детства и преклонялся перед недостижимой красотой музыкально одарённых людей. А Наташа Решетовская была настоящей пианисткой, тоже сверстницей, младше Сани всего на два месяца. После восьмого класса она поступила в музыкальную школу по классу рояля к Е. Ф. Гировскому, известному ростовскому

---

* В 1992 году сыновья писателя Ермолай и Степан навестили Викторию Константиновну Пурель (в замужестве Красных) в Таганроге, где она много лет жила и учительствовала, возила в ростовскую школу № 15, при которой в начале 1990-х был создан музей Солженицына, своих учеников. Братья преподнесли ей книгу («Бодался телёнок с дубом») с тёплым автографом отца, а потом вместе с внуками хозяйки гуляли по городу. Местные журналисты, взволнованные приездом молодых Солженицыных, решили, что дело тут в чеховских местах Таганрога...

педагогу, играла с талантливой Гаянэ Чеботари, ставшей позже композитором, собиралась полностью посвятить себя музыке, но полюбила и точные науки. В 1936 году, окончив школу, поступила на химфак РГУ и сразу подружилась с друзьями-сокурсниками — Кокой Виткевичем и Кириллом Симоняном, двумя из трёх «мушкетёров». И хотя химфак и физмат находились в разных зданиях (университет был разбросан по всему городу), Саня и Наташа были обречены на знакомство.

Оно и произошло в первые дни сентября 1936 года: математики слушали на химфаке лекции по химии. Сцена, в которой Наташа, Кока и Кирилл оживлённо беседуют на перемене, а на них, перепрыгивая через две ступеньки, вниз по лестнице несётся высокий, худощавый, густо-светловолосый юноша, и ребята, подняв головы, восклицают: «Морж!» — а Наташа грызёт большое яблоко, которое закрывает ей пол-лица, — будет описана много раз в мемуарах Решетовской уже после её драматического разрыва с мужем.

Но тогда события развивались бравурно и мажорно, стремительно набирая обороты. Девушка была настолько впечатлена новыми знакомыми, так много рассказывала о них дома (маме, Марии Константиновне, и двум незамужним тётям, Неониле (Нине) и Марии Николаевнам, сёстрам пропавшего без вести отца), что решено было позвать юношей в гости.

7 ноября Саня, вместе с Кокой, Кириллом и ещё тремя студентками, впервые был у Наташи, впервые слышал её игру (звучал обворожительный этюд Шопена, 14-й). Ещё через десять дней, 17 ноября, вечеринка повторилась у Люли Остер; Наташа была в белом шёлковом платье, и Саня (через двадцать лет, в письме 1956 года) назовёт эту встречу моментом своего «окончательного и бесповоротного влюбления».

«На другой день был выходной — я ходил по Пушкинскому бульвару и сходил с ума от любви». Было то самое 18 ноября 1936 года, когда под оголёнными деревьями его осенило, как надо писать роман о революции. Творческое наитие и любовный мираж сошлись в одной точке, сплелись в один узел (Узел!), и Саня уверовал, что эта девушка и есть его судьба.

Но ничего этого Наташа тогда не знала. «В тот год я больше дружила с Кокой. В зимние каникулы он научил меня игре в шахматы, а летом — кататься на велосипеде». Из велосипедного похода на Кавказ не Саня, а Кока писал ей письма, Саня же молчал, доверяясь дневнику и тетрадке со стихами (в его очерке о путешествии по Военно-Грузинской дороге

нет и намёка на влюблённость). Но на следующий год в РГУ открылась школа танцев: не сговариваясь, из всей компании в танцкласс записались только двое — Наташа и Саня, став постоянной танцевальной парой. «На университетские вечера мы тоже стали приходить вдвоём с Саней и танцевали только друг с другом. Саня заходил за мной и обычно ещё слушал мою игру на рояле. Помимо вещей, которые я разучивала, я часто играла ему, помню, “Серенаду” Брага. Мне было хорошо так. И не хотелось никаких перемен».

Но Сане — легче было разобраться в монодромных множествах, чем понять, что на уме у этой сероглазой феи. Стихи поздней осени 1937 года — правдивые свидетели его смятения. Его бросает то в жар, то в холод. Поэт воображает, будто по аллее парка с ним рядом идёт Матильда де ля Моль; будто, как раб, он бросается на колени и шепчет любовные клятвы Манон Леско; будто прекрасная Джульетта дарит ему сладкие, как сон, ласки — когда, опьянев от страсти, он взбирается к ней на балкон. Мечты, однако, оставались мечтами, Саня сгорал от сердечного жара и писал строку за строкой о своей одинокой израненной душе. Едва между ними теплело — вылетал пламенный акростих: НАТАША РЕШЕТОВСКАЯ, семнадцать строк о нежности, ангельском взоре и душевном трепете. Дул северный ветер, и открывалась неприглядная правда: их страсть, их любовь — мираж...

«Восторженно поклоняясь избраннице, он (Глеб Нержин. — *Л. С.*) не замечал, что инициатива и пыл их свиданий исходят от него одного, а она всегда остаётся в полном и невозмутимом равновесии». В один прекрасный день, 2 июля 1938 года, это равновесие Саня дерзнул взорвать, заговорив о любви и о том, что в будущем он видит её рядом. «Было ли то, что я чувствовала к Сане, любовью?» — спрашивала себя сорок лет спустя Решетовская. Ответ она знала давно. «В то время жизнь моя была столь многообразна, что Саня, казалось мне, не мог заменить мне всего, хотя и значил для меня очень много. Мир для меня не заключался в нём одном».

Они сидели на скамейке в тенистом уголке театрального парка, ответное «да» не выговаривалось, она молчала, потом заплакала... Саня всё понял. По следам свидания были написаны строки — как бы от лица девушки — о глупом мальчишке, который безжалостно вторгся со своей любовью в её безмятежное существование, в мечты, где сердечный друг видится совсем иначе. В «Д*», стихотворении, посвящённом *Джемме* (привет Тургеневу!) и написанном, как пояснял поэт, «в минуты прозренья о Наташе», он называл их чувства

мнимыми и ложными: «Мы с тобой, дорогая, играем в любовь / Так, как дети играют в войну». Он задумывался, любит ли сам: «Разве это любовь? Разве страсть такова? / Если сам сомневаюсь я в ней? / Моё чувство — обман и пустые слова — / Плод серебряных лунных ночей. / О тебе я молчу — ты не любишь меня. / Да меня и не стоит любить...»

«Потом, — рассказывала Решетовская, — было 5 июля, концерт певицы Тамары Церетели в Первомайском саду. Саня, сдержанный, подчёркнуто вежливый, молчаливый». *Такой* Саня её пугал — неужели восторженное поклонение кончилось? «Только бы осталось то, что было! Ведь я без этого не могу...» И 10 июля она не без усилий составила записку в восемь слов, что... *тоже* любит его.

Всё — осталось, хотя и не совсем так, как было, и ощущалось это *всё* ими по-разному. «Постепенно в наши отношения вошло много нежности и ласки. Всё трудней было расставаться после свиданий, всё тягостней — не давать воли своим желаниям», — вспоминала она. «Тянулись два года тягучих встреч — истомительных стояний в чужих парадных. Глеб шатаясь уходил с этих свиданий, так и не узнав свободного движения встречного чувства», — писал он о своём автобиографическом герое.

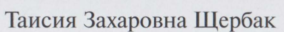
При летних расставаниях на несколько его страстных писем Наташа могла ответить — и то не сразу — одной сдержанной открыткой. Так обстояло дело даже летом 1938-го, после первых бурных объяснений. Уехав с Кокой в велосипедное путешествие по Украине и Крыму, Саня писал каждую свободную минуту, отовсюду, называя её бесценной девочкой, сероглазкой, коханкой, огоньком, слал бесконечные поцелуи (а Кока догадывался, кому пишет друг, ревновал и злился). «Отличительной чертой твоих писем, — обличал влюблённый юноша нерадивую корреспондентку в августе 38-го, — что ты всегда торопишься их кончить. В каждом письме приводится соответствующее оправдание: то пароход отойдёт сию минуту, то такая голодная, что в глазах темнеет. Ещё ни одного письма не получил от тебя без оправдания». Так случилось и в зимние каникулы 1939-го, когда Наташа уехала в Кисловодск, гостила у тёти (сестры матери, Е. К. Владимировой), проводила время с кузинами Танюшей и Надюшей и писала Сане для проформы. «Очень возмутила меня, — негодует он, — такая концовка: “Пиши больше и чаще”. Я пишу и так больше и не менее часто. Эту фразу ты должна принять на свой счёт и не присылать письмо величиной с булавочную головку». Он грозил выслать ей в конверте пустой лист с одной фразой: «Зачем женщины



Сане 6 лет.
25 марта 1925 г.







Таисия Захаровна Щербак

Исаакий Семёнович Солженицын

Дед писателя Семён Ефимович Солженицын

Сидят: дед писателя Захар Фёдорович Щербак, его дочь Таисия Захаровна и жена Евдокия Григорьевна; стоят (слева направо): Роман Захарович Щербак, его жена Ирина Ивановна, Мария Захаровна Щербак и её муж Карпушин

Дом в Кисловодске, где родился А. И. Солженицын. *Разрушен в 1970-х годах*

Свидѣтельство.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Ставропольской Духовной Консисторiей, на основанiи т. IX зак. о сост. изд. 1899 г. ст. 873 и Уст. Дух. Конс. ст. 270, выдано настоящее свидѣтельство, за надлежащимъ подписомъ и приложенiемъ печати, вслѣдствiе прошенія крестьянина Исаакія Семенова Солженицына

въ томъ, что въ метрической книгѣ села Саблинского, Ставропольской губерніи, Космодамиановской церкви за 1891 годъ въ первой части о родившихся мужеского пола ст. подъ № 44, буквально записано: тысяча восемьсотъ девяносто первого года, родился двадцать девятого, крещенъ тридцатого числа, мая мѣсяца Исаакій. У него родители: села Саблинского крестьянинъ Семенъ Ефимовъ Солженицынъ и законная жена его Пелагія Панкратова, оба православного вѣроисповѣданія. Воспріемниками были: города Ейска мѣщанинъ Стефанъ …сандровъ Серед… и крестьянка Пелагія Мартынова Солженицына. Крещеніе совершалъ священникъ Максимъ Перевозовскій съ псаломщикомъ Николаемъ Бойко.

№ 2921/1

Въ свидѣтельствѣ подчистокъ и поправленій не имѣется.

Гербовый сборъ оплаченъ.

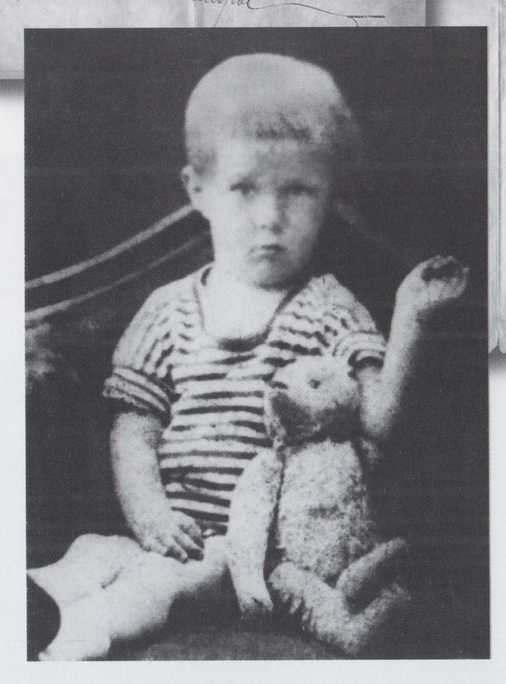
Сентября 7 дня 1911 года.

Членъ Консисторіи Протоіерей Карпъ Руденко

Секретарь [signature]

Столоначальникъ [signature]

Свидетельство о рождении
И. С. Солженицына;
на обороте – запись
священника о вступлении
И. С. Солженицына в брак
с девицей Т. З. Щербак



Сане Солженицыну
два с половиной года

Дом в Халтуринском переулке в Ростове, где Солженицын с матерью прожили с 1925 по 1934 год. *Фото 2007 г.*

Школа, где учился А. И. Солженицын. *Фото 1956 г.*

В верхнем ряду второй слева — Кока Виткевич, третий слева — Солженицын; в центре сидит учительница литературы Анастасия Сергеевна Грюнау, по правую руку от неё — Кирилл Симонян и Лида Ежерец. *1934 г.*

Самая ранняя из сохранившихся рукописей — «Синяя стрела»

Синяя стрела
или
В.о.В.
А. Солженицын.
≈1929
2006: Не стоит никакого внимания литературно.
Можно сохранить в неважном архиве.



В седьмом классе. *1933 г.*

Одноклассники — Кирилл Симонян, Лида Ежерец и Саня Солженицын

Первый выпуск ростовской школы № 15. Солженицын — во втором ряду четвёртый справа. *1936 г.*

Александр Солженицын и Наталья Решетовская после свадьбы. *Апрель 1940 г.*

Таисия Захаровна Солженицына. *1940 г.*



Вика Пурель, однокурсница Солженицына. *Май 1938 г.*



Университет окончен.
Наталья Решетовская,
Николай Виткевич,
Кирилл Симонян,
Лидия Ежерец,
Александр Солженицын.
31 мая 1941 г.



Конюх в обозе.
Мартыновка, март 1942 г.





Курсант Ленинградского артиллерийского училища. *Кострома, июль 1942 г.*

Комбат А. Солженицын и командир артиллерийского разведдивизиона Е. Пшеченко. *Февраль 1943 г.*

Николай Виткевич и Александр Солженицын. *Село Тюрино под Новосилем, май 1943 г.*

Офицеры разведдивизиона. Сидит первый слева — капитан Солженицын. *Осень 1944 г.*



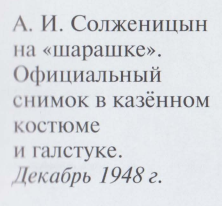
Старший лейтенант Солженицын в блиндаже. *Шипарня, февраль 1944 г.*

Поездка Н. А. Решетовской на фронт к мужу. *Май 1944 г.*

Дом у Калужской заставы в Москве. Левое крыло, на строительстве которого работал Солженицын. *Фото 1990-х гг.*

Марфинская «шарашка», где заключённый Солженицын работал с 1947 по 1950 год. *Фото 1960-х гг.*





А. И. Солженицын на «шарашке». Официальный снимок в казённом костюме и галстуке. *Декабрь 1948 г.*

Глинобитная хата на краю Кок-Терека, улица Пионерская, где ссыльный Солженицын жил с сентября 1953-го по июнь 1956 года

Учитель Солженицын ведёт учеников в степь на занятия по геодезии. *Кок-Терек, 1955 г.*



В Кок-Тереке. *Зима 1955 г.*



Людмила Александровна Дунаева, врач-радиолог, лечившая Солженицына. *Ташкент, 1955 г.*

Елена Александровна и Николай Иванович Зубовы. *Кок-Терек, 1956 г.*



Конец ссылки,
Солженицын раздаёт
свою «мебель» —
фанерные ящики,
служившие кроватью

лгут, что они в разлуке будут скучать и писать письма?» Саня сочинял пылкие стихотворные объяснения — про её непобедимую холодность, про то, что любовь — это умение отдать, а не капризная жажда непрерывного восхищения. Он горько сетовал, что с ней не обретает силы, а теряет, что при ней он смиренный пленник, тогда как чувствует в себе исполинские силы, скованные её ледяным сердцем, что её опрометчивое «да» с самого начала было пустым и лживым. Он призывал её разорвать липкие путы, и сам как будто был готов бежать прочь от мнимой любви.

К весне 1939-го их отношения зашли в тупик, и первой взбунтовалась Наташа. Длить роман ей казалось незачем — нужно соединиться или расстаться; она предпочитала расставание. Саня ответил письмом, полным страстного огня и бурной нежности. Он горячо раскаивался и на коленях молил о прощении. Он вручил ей заготовленное впрок письмо, где пытался объяснить причины участившихся ссор: они остановились на полпути, спотыкаясь то о вспышки её добродетели, то о приступы его сомнений. А надо идти до конца, жить вместе, быть мужем и женой. Препятствие он видел только в нехватке времени. Женитьба не должна помешать учёбе, его — в МИФЛИ, её — в консерватории (Наташа, параллельно с химфаком, училась в музыкальном училище). Домашнее хозяйство с тысячами обременительных мелочей не должно затянуть их в болото быта, которое засосало даже самых сильных людей, не дав им расправить крылья.

Они сговорились, что поженятся через год, в конце четвёртого курса. Но градус отношений так и не изменился. Такие же пухлые письма писал он ей летом 1939-го из лодочного похода, где мёрз, мок, плыл, ветер рвал из рук листки бумаги, неделями негде было опустить конверт, и уныло отходил от окошек «до востребования» в очередном пункте маршрута, когда писем от неё не было. Молчание говорило само за себя.

Как только стало известно, что Саня и Кока поедут по Волге в лодке, она заявила: «И я с вами». Саня ответил отказом — в том смысле, что путешествие мужское, лодка небольшая, условия самые спартанские, девушке-пассажирке там делать нечего. Она настаивала, потом вспылила, обиделась и в отместку отправилась на юг с меланхоличным однокурсником Аркадием Репманом (как немец он будет интернирован в начале войны). Молодые люди были в Кисловодске, потом поплыли на пароходе в Батум, где провели вместе неделю (а всего путешествовали целый месяц, кажется, без видимых последствий). Саня нервничал: этого

Аркадия он знал и сильно недолюбливал, не доверял ему. «Я не берусь найти ни одного своего знакомого мальчишки, который, будучи на моём месте, не запретил бы тебе этого эксцентричного путешествия или, не будучи в силах этого сделать, не устроил бы грандиозного скандала», — писал он невесте. Он признавался, что солгал и друзьям, и маме, сказав, будто она отдыхает с подругой (а все прекрасно знали, что это не так). Когда её письма приходили, он и радовался, и злился: всё в них непонятно, всё путано, ничего толком она о себе не сообщает, обо всём надо догадываться. Саня так и не уяснил до конца, как прошло *то* её лето...

Про осень 1939-го Решетовская тоже вспоминала не без укора. Жених, студент двух вузов, старался не терять ни минуты. Даже на трамвайной остановке перебирал самодельные картонки, на одной стороне которых были записаны имена римских деятелей, события древней истории, на другой — связанные с ними даты. То же самое бывало и перед началом концертов, фильмов, спектаклей — Наташа должна была опрашивать Саню, в какие годы царствовал Марк Аврелий, когда был принят эдикт Каракалы. «Если не предполагалось ни кино, ни концерта, то наши свидания назначались на десять часов вечера — время закрытия читальни. Саня охотнее жертвовал ради возлюбленной сном, чем занятиями!» Но зимой, когда он уехал на сессию, двенадцать дней от неё не было ни строчки...

Они зарегистрировались в загсе на Большой Садовой 27 апреля 1940 года — тогда это было просто: никаких заявлений, испытательных месяцев; зашли и расписались без свидетелей. День выбрал Саня — он любил числа, кратные девяти. После загса подарил жене фотокарточку, с надписью, необычной для новобрачного и известной ныне по публикациям Решетовской (в браке она не сменила фамилию): «Будешь ли ты при всех обстоятельствах любить человека, с которым однажды соединила жизнь?» По прошествии десятилетий и ответ, и обстоятельства виделись супругам по-разному...

Почему-то они ничего не хотели объявлять родителям — Саня не попросил руки Наташи у её матери и ничего не сказал своей; молодожёны поставили обеих родительниц перед свершившимся фактом. Вечером 1 мая, через четыре дня после женитьбы, он признался, что *хочет* жениться на Наташе. Таисия Захаровна никогда не высказывала сыну своего мнения о невестке, а его, молодого и самонадеянного, это мнение, в общем, и не интересовало: достаточно, что Наташа нравилась ему и его лучшим друзьям. «Здесь

больная черта моей биографии, — говорил Солженицын в 2001 году. — Я с мамой был дружен, всегда охотно помогал ей, по всем очередям бросался, ничего не требовал для себя, ни подарков, ни игрушек. Но, начиная со старших классов, стал отдаляться от мамы, стал самостоятельно строить свою жизнь. Совершенно несчастной была моя привязанность к Наташе Решетовской, мама её явно недолюбливала, но из деликатности мне ничего не говорила, не пыталась влиять на меня, не лезла в душу, а я пользовался этим — живу, как хочу».

Между тем Решетовская вспоминала (1999), что накануне регистрации Саня привел её домой (Ворошиловский проспект, 32, кв. 5), хотя, знакомя с мамой, скрыл истинную причину визита. Это было Санино третье по счёту ростовское жильё. Оставив сырую хибару в Никольском переулке и съёмную комнату на Малом проспекте, 15-а (где был прожит последний школьный год), они с мамой въехали в полученную от жилищного кооператива квартиру. Но вместо обещанного благоустроенного жилья в новом доме, за которое был уплачен взнос на деньги от проданного рояля, им достался кусок перестроенной конюшни.

Его и увидела Наташа: «Из маленькой прихожей, где стояли вёдра с водой и всевозможная бытовая утварь, несколько ступенек вело в небольшую комнату на первом этаже с единственным окном во двор. Через окно виднелась колонка; приносить воду было Саниной обязанностью. Комната была тесно заставлена мебелью. Посередине — обеденный стол (из гостиной дедова дома. — *Л. С.*). У самой двери наискось расположился старинный туалетный столик (Тасин столик из гнутого дерева, персонаж «Красного Колеса», счастливо уцелел, претерпел реставрацию и ждёт отправки из Троице-Лыкова в Новокубанскую, в особняк З. Ф. Щербака. — *Л. С.*) с висевшей на уголке трогательной шляпкой. Вдоль правой стены, вплотную к окну стоял Санин письменный стол (бывший материн, тоже из имения. — *Л. С.*), рядом кровать Таисии Захаровны. Напротив входной двери возвышалась большая печь, топившаяся дровами и углем».

Поселиться вместе молодым было негде, и первые дни они жили врозь. Но вскоре Наташа уехала на производственную практику в Московский НИИ красителей. Познакомилась с дядей, братом матери, кинодраматургом В. К. Туркиным и его первой семьёй, подружилась с юной кузиной Вероникой. А Саня, по обыкновению, слал вслед горькие строки: «Ты убиваешь меня своим молчанием. Ты обещала часто-часто писать. Видно, обещания забываются. Ты уже

две недели в Москве, а я не знаю ни одного твоего шага, где бываешь, что делаешь. Какая ты разная — вместе со мной и в разлуке. Вот и снова ты меня обманула. Эх, Наташа, Наташа...»

Но 18 июня Саня сам приехал в Москву на летнюю сессию; конечно, они помирились. Дядя Валентин Константинович советовал провести каникулы в Тарусе, в дачном посёлке московской литературной богемы; и в конце июля им удалось снять отдельную хату у самого леса. Всего через семь лет после женитьбы, пережив войну, арест и пятилетнюю разлуку с женой, Солженицын вспоминал свой медовый месяц как время ссор и обид — «из-за несладицы, из-за вспышек, из-за неприходимости одного характера к другому».

Кажется, семейное счастье так и не захватило его целиком, и даже в первые тарусские рассветы он мог выскользнуть из комнаты, чтобы окунуться в толстый том истории Петра I, в конспекты, в собственные воспалённые мысли. Эту вину задним числом он за собой признавал — во всяком случае, понимал чувства жены, когда отгораживался от неё мрачностью, хмурой одержимостью. «Только ты ведь обманешь: кольцо / Моих рук на заре разомкнёшь — / Почуждевший, холодный уйдёшь / Карла Маркса читать на крыльцо. <...> / Я проснусь и увижу, что рядом / Нет тебя, что опять уволок / Тебя жребий твой, выбор жестокий. / Я неделю всего как жена, / А опять просыпаюсь одна / И полдня провожу одинокой».

Теперь очевидно — испытание браком никак не могло повлиять на однажды выбранный путь, на *жестокий жребий*. Ни жена, жаждавшая *нормальной жизни*, то есть уютного быта, гостей, развлечений, внимания к себе и непрерывного поклонения; ни сам уклад студенческой семьи (о рождении ребёнка ввиду предстоящих госэкзаменов не было и речи) — не могли помешать главному делу. Но всё же из Тарусы они написали мамам и друзьям, что поженились, и получили поздравления. «От друзей, — вспоминала Решетовская (1975) — не очень искренние, по ряду причин...» Причины угадывались легко: расстроены были и Кока, и Кирилл: Наташа, которая по-разному нравилась обоим, досталась третьему.

Мамы молодожёнов, получив известие, познакомились. Таисия Захаровна как мать жениха пришла к маме невесты; в неспешном разговоре выяснилось, что юность обеих женщин прошла в одних и тех же местах. Обе учились в Москве почти в одно и то же время; Мария Константиновна, закончив в 1913-м Высшие женские педагогические курсы,

работала воспитательницей в семье богатых коневодов Николенко, соседей Захара Фёдоровича. Обе рано потеряли мужей, у каждой было по одному ребёнку, росшему без отца. Договорились облегчать молодым быт и вдвоём заботиться об обоих. После медового месяца родные встречали супругов на ростовском вокзале, и дома у Наташи их ждал торжественный обед — запоздалая, но всё-таки свадьба.

Наступили будни — в съёмной комнатке (университет помогал студенческим парам с оплатой) Чеховского переулка, у сварливой старухи, но зато рядом с родительницами и читальнями, в «тяжке» и «думке». «Мы оба были до предела заняты, — вспоминала Решетовская. — После раннего завтрака бежали в университет или, если не было занятий, Саня уходил в читальню, а я оставалась дома делать расчёты по курсовой работе. Встречались у моих родных, и ровно в три часа обедали. Обед не должен был запаздывать ни на минуту! Иначе Саня вынимал карточки и предлагал его экзаменовать. После обеда он снова уходил в читальню, я же играла на рояле или бежала в музыкальное училище. Оттуда возвращалась за сумками с ужином и завтраком, приготовленными мамой, и шла на Чеховский. Если время приближалось к десяти вечера, заходила за Саней в читальню».

По воскресеньям они обедали у Таисии Захаровны, она изо всех сил старалась вкусно накормить детей: «Думаю, что предубеждение против меня, которое невольно было у Таисии Захаровны, прошло. Мне же она казалась очень симпатичной. У неё была такая же быстрая речь, как у сына, только прерываемая покашливаниями, от туберкулёза, такая же живая мимика». Решетовская вспоминала (1999), что первую свою сталинскую стипендию Саня отдал маме на путёвку в санаторий и из Крыма она вернулась поздоровевшей.

Опасения, будто женитьба помешает учебным планам, растаяли. Молодые получили чистый выигрыш во времени — и, кажется, жену это обстоятельство отчасти даже раздражало. «Не надо назначать свидания, часто водить свою возлюбленную на концерты, в кино, в театры, гулять с ней по ночным улицам и бульварам. Правда, я иногда скулила, что поуменьшилось развлечений в нашей жизни, что понятие “гости” или “в гости” почти перестало существовать. Муж порой казался мне машиной, заведённой на вечные времена. Даже становилось страшновато...»

Конечно, в замужестве ей захотелось простого женского счастья. Но, женившись, Саня не обманул её ожиданий, ибо заранее всё сказал и про себя, и про то, что бежит как раз от *простого* будущего, от *обычного* счастья, что предвидит

трудные годы. Он действительно был честолюбив — но ведь не на пустом же месте и не за чужой же счёт. Честолюбие (а кто ж из настоящих писателей не был честолюбив, избегал успеха, чурался славы?) крепилось упорным трудом, напряжением воли и дерзкой мечтой — качествами совсем не механического свойства, так что сравнение с вечным двигателем хромало. Он сознавал, что только непрестанная работа вырвет его из провинциальной серости и откроет путь в мир большой литературы.

Саня строил долгосрочные планы. После РГУ год придётся поработать в сельской школе (заодно изучит деревню), затем переберётся в Москву, закончит МИФЛИ и полностью отдастся творчеству. Наташа верила в это с трудом: «Саня давал мне читать свои произведения и очень удивлялся, что я возвращала их без оценки. Но я ведь была избалована прекрасной литературой! Разве мог он тогда до неё дотянуться?»

Не мог, конечно. Стихотворная строка то и дело сбивалась с ритма; рифмовались глагольные формы («ломаю — вздымаю»); случались конфузы, вроде «нам — там», встречались клише («ясный — прекрасный», «чудесный — прелестный — известный», «очей — ночей — ручей — ничей»); стих то нёсся безостановочно вскачь — казалось, ему не будет конца, то вяло топтался на месте; архаичные формы («младой — златой») соседствовали с бытовой речью; чувства были подлинными, а поэтические формы шаблонными, пафос — собственным, а поэтика — заёмной.

Но поэт был неукротим: бился об интонации и слова, испытывал жанры, искал темы и мог броситься, например, в стихотворное обличение А. Франса, чей роман «Боги жаждут» он обвинил в клевете на Великую французскую революцию. И тут уже рождались рифмы свежие, небывалые — «яро — монтаньяров», «Эварист — финансист», «примера — Робеспьера».

А искусная стихотворная пародия, написанная в 1938-м по следам книг Северянина! Это была школа словесности — двадцатилетний поэт изучал тонкости лиры Бальмонта путём пародийного перепева, осваивал технику *новостиха,* составляя собственные иронические конструкции, все эти *звукозвоны*, *сердцестоки*, *розогрёзы*, *прозопозы*... Эстетов, сочиняющих «для звонкости», называл «гастрономами»: «Лексиконами гигантскими / Подавили вы язык, / Ананасами шампанскими / Создавали стихошик».

Поэтика *стихошика* была ему явно не по вкусу. Тетрадка студента пятого курса с ростовским адресом на обложке и с подборкой из пяти стихотворений (в основном, про Волгу)

была показана кому-то в Москве, во время зимней сессии. Кто-то (быть может, Борис Лавренёв?) отметил неудачные строки, но дважды на полях поставил «хорошо» и в конце написал: «Стихи у автора слабей прозы, но и в них есть искорка. Автор, несомненно, человек способный. 16/XII 40 г. (подпись неразборчива)». Саня не мог не радоваться – и слову «искорка», и слову «несомненно», и тому, что проза оценивалась экспертом выше стихов (значит, была показана и проза!). Стихотворение «Пролетарский поэт», первое в подборке, выступало как манифест: поэт видится автору не легкомысленным рифмоплётом и, конечно, не «гастрономом», а совестью эпохи; его оружие — мысль, он не должен облекать в красивые слова пустую сущность. «Стань слово в стихе как деталь в самолёте! / Одна не подходит — крушенье в полёте» (здесь рецензент поставил «хорошо»).

В глазах московского рецензента студент из Ростова был новичком. Саня себя таковым не считал — к началу сороковых он пребывал в литературном занятии уже лет двенадцать, тетрадок со стихами набиралось до десятка, а самих стихотворений — с полсотни, и он клялся (стихи «После дискуссии», 1938) *ни за что никогда не расстаться с пером.* Рассказ «Николаевские» (про царские ассигнации, мешок которых пытается закопать в саду ограбленный большевиками лавочник, не подозревая, что бывшие деньги уже ничего не сто́ят) был начат в 1929-м; за одиннадцать лет автор сделал четыре редакции, переписывая и шлифуя большие куски текста, и редакции те сохранял, как это принято у профессиональных писателей. Серьёзнее стала относиться к его сочинениям и жена. «Рассказы “Речные стрелочники”, “Николаевские” и “Заграничная командировка” позже мне понравились настолько, что я даже переписала их в отдельную тетрадь».

В канун войны Солженицын чувствовал себя заложником и данником — но не быта, не семьи, и даже не любви, а своего тревожного времени: «вся планета в ознобе!», «свист и дым по стране от конца до конца». Рождённый под разбойный шум русского лихолетья, он, обернувшись назад, увидел свои двадцать два — двадцать три года *внутри* гибельного омута русской реки: «А коряги в ней — мы, убеждённости дьяволы — / Духоборы, самосжигатели, / Бунтари, проповедники, отлучатели, / Просветители, вешатели, большевики!»

Ему казалось, что жертвенное беспокойство, которым он одержим, не напрасно, что предстоят тяжёлые испытания. Он пугал жену, говоря об их поколении, родившемся не для счастья, твердил о грядущих боях и ненастьях, о своей готовности погибнуть за Боль Времён. «Мы — умрём!! По на-

шим трупам / Революция взойдёт!!! / Из Октябрьской мятели / Поколение пришло. / Чтоб потом цвели и пели, / Надо, чтоб оно — легло...»

Фаталистическое ощущение, что они, ровесники Октября, принесут себя в жертву мировой революции — погибнут в боях за всемирный Октябрь, роднило Солженицына со многими его сверстниками. Поэт Павел Коган, из трагического поколения павших на войне (он, как и Солженицын, родился в 1918-м, учился в МИФЛИ, сначала на очном, а с 1939-го — на заочном отделении, посещал поэтический семинар Ильи Сельвинского, считался самым способным поэтом в институте, не успел напечатать до войны ни одной строчки, погиб в 1942-м), задолго до неё писал о жестоком времени своей молодости: «Авантюристы, мы искали подвиг, / Мечтатели, мы бредили боями, / А век велел — на выгребные ямы! / А век командовал: “В шеренгу по два!”». Он давал присягу своей эпохе, чем бы она ни обернулась: «Я слушаю далекий грохот, / Подпочвенный, неясный гуд, / Там поднимается эпоха, / И я патроны берегу. / Я крепко берегу их к бою. / Так дай мне мужество в боях. / Ведь если бой, то я с тобою, / Эпоха громкая моя». За год до войны, в наивном патриотическом стихотворении, опубликованном посмертно, Павел Коган выразил общую мечту своего поколения, участи которого будут завидовать «мальчики иных веков»: «Но мы ещё дойдём до Ганга, / Но мы ещё умрём в боях. / Чтоб от Японии до Англии / Сияла Родина моя». И самое последнее стихотворение, написанное за несколько месяцев до гибели, было исполнено поразительного трагизма: «Нам лечь, где лечь, / И нам не встать, где лечь... / И, задохнувшись “Интернационалом”, / Упасть лицом на высохшие травы / И уж не встать, и не попасть в анналы, / И даже близким славы не сыскать».

Другой сверстник Солженицына, поэт Николай Майоров (родился в 1919-м, учился на истфаке МГУ, с 1939-го посещал поэтический семинар П. Антокольского, погиб в 1942-м), был полон тех же предчувствий — «без жалости нас время истребит». В программном стихотворении «Мы», манифесте обречённого поколения, есть поразительные строки, кажется, прямо связанные с судьбой героя этой книги, кому суждено было уцелеть и оставить след: «Мы были высоки, русоволосы. / Вы в книгах прочитаете как миф / О людях, что ушли не долюбив, / Не докурив последней папиросы. / Когда б не бой, не вечные исканья, / Крутых путей к последней высоте, / Мы б сохранились в бронзовых ваяньях, / В столбцах газет, в набросках на холсте».

Солженицын в юности был одним из них, романтиков революции, и несомненно, слышал далёкий грохот и подпочвенный гул эпохи столь же сильно и отчётливо. Предчувствие катастрофы было абсолютным.

Но *какой* катастрофы? Вектор опасности, вычисленный, казалось, с математической точностью («Я верю до судорог. Мне несвойственны / Колебанья, сомненья, мне жизнь ясна»), и вся система координат, в которой развивалось его самосознание, — и были главным препятствием к намеченной большой цели. Усилия ума, напряжения чувств, «вечные исканья крутых путей», пожиравшие молодость, могли оказаться пустым звуком для решения той грандиозной задачи, которую он поставил себе — сначала в девять лет, потом в восемнадцать. Ведь именно то, на что он полагался как на крепчайший фундамент будущей работы, могло, как ржавчина, разъесть её изнутри.

Перспектива уцелеть на войне и вернуться домой с боевыми наградами, но с *довоенными* мыслями, чувствами и целями, могла означать для Солженицына только одно: как исторический писатель он должен был стать трубадуром Красного Октября и написать что-то вроде «Хождения по мукам»: искренне, безжалостно и — вполне солидарно с общим пониманием темы: красные начинают, побеждают и завершают историю. В позднем рассказе Солженицына «Абрикосовое варенье» (1995) автор исторической трилогии показан как отвратительный циник и виртуозный мерзавец: «складно плёл требуемую пропаганду» и заявлял, что богатство литературных тем познаваемо только с помощью марксистского понимания истории, которое для него «живая вода». Альтернативная биография писателя Солженицына могла бы стать ещё одним поучительным примером драмы большого таланта, загубленного собственным малодушием и ложной идеологией.

Характерно, что в 1938-м Саня отправил Б. Лавренёву, писателю в ту пору известному и заслуженному, признательное письмо (а тот почти сразу и очень тепло ответил). Вряд ли выбор литературного наставника был случаен — творчество Лавренёва отличалось как раз тем, что́ искал в литературе молодой Солженицын: героическую романтику революции, размышления о её высокой судьбе. Повесть «Сорок первый» (1926) к концу тридцатых стала классикой советской литературы: романтический сюжет опирался на выверенную идейную позицию. Любовь, вспыхнувшая в разгар Гражданской войны между красноармейцем Марюткой и пленным белогвардейцем Говорухой-Отроком, которого она конвоирует, отступает перед революционным долгом. В дра-

ме «Разлом» (1928), об офицерском заговоре на крейсере «Заря», прототипе «Авроры», тема классового врага получила завершение: на сторону революционных матросов переходит присягавший царскому флоту капитан корабля, а его дочь, раскрывая тайные замыслы белого офицерства, выдаёт матросам своего мужа-заговорщика.

Солженицын неизменно отказывается от публикации всех своих ранних вещей — считая их не заслуживающими внимания. «Я делал литературные опыты и перед войной, писал уже, настойчиво старался в студенческие годы. Но это не была серьёзная работа, потому что у меня не хватало жизненного опыта». Может быть, став в тюрьме и в лагере мировоззренчески другим человеком, автор «Архипелага» утратил внутреннюю связь с сочинениями юноши, который был созвучен звонкой революционной эпохе. Лавренёв, обещавший содействие начинающему литератору в конце тридцатых и в начале сороковых, умер в год написания «Одного дня Ивана Денисовича», не дожив трёх лет до легендарной новомирской публикации. Трудно представить себе, как бы он воспринял этот факт. Но повесть о своей молодости (Солженицын начал писать её в 1948-м на шарашке в Марфине, продолжал в 1958-м в Рязани, опубликовал как неоконченную в 1999-м) навсегда сохранила юношескую привязанность к Лавренёву, мастеру романтического повествования. «Мальчишка! Люби революцию! Во всём мире одна она достойна любви!» — этот призыв из лавренёвской «Марины» (1923) стал эпиграфом к юности Солженицына и заголовком для его автобиографической повести «Люби революцию».

...Четвёртый курс физмата был заполнен математикой и искусством. Саня досрочно сдавал университетские экзамены за семестр, готовил контрольные работы для МИФЛИ — разбор картин Рембрандта, Сурикова, Кипренского, затем мчался на сессию в Москву и считал время уже не по минутам, а по секундам. Трое друзей (вслед за Саней и Кокой в МИФЛИ поступил Кирилл) вместе провели в столице новогоднюю неделю и целый летний месяц — с 20 июня по 20 июля. К институтскому зданию в Сокольниках относились молитвенно, общежитие считали родным домом: в июне 1940-го они отпраздновали здесь Санину сталинскую стипендию (500 рублей вместо 110 в течение целого учебного года). Встречались в столовой и перед сном, в остальное время зубрили учебники, писали конспекты. Кока учился на философском, Кирилл — на отделении всемирной литературы. Сане в мае 1940-го удалось перейти на русское отделение литфака, и как русист он сдавал латынь, фольклор,

античность, древнерусскую литературу, церковно-славянский язык, но не тяготился обилием предметов, а радовался своей причастности к миру высокого гуманитарного знания.

Девушки и юноши, которых он встречал в коридорах МИФЛИ, у доски расписания, в читальнях или в буфете, казались ему самыми умными и талантливыми из всех сверстников большой страны. «Нержин изнывал от жажды познакомиться с ними и открыться, что он такой же талантливый. Но в ответ встречал только презрительные взгляды: в их привычной толпе он был непривычный, сразу отличаемый заочник, низшая раса, студент второго сорта». Этот заочник, однако, схватывал любые тексты на курьерских скоростях, приходил смотреть, как сдают экзамены очники, и пробовал сдавать с ними — на тех же условиях. Получал «отлично»; ему было интересно сравнивать себя с «небожителями» и одерживать над ними психологическую победу (Э. В. Гофман, преподавательница фольклора, поставив заочнику Солженицыну «отлично» по критериям очников, интересовалась, пишет ли он. Саня ответил утвердительно, и она признала, что *это* чувствуется).

Новый, 1941 год он встретил за латынью. В Рождество, 7 января, смотрел в филиале МХАТа «Дни Турбиных», 9-го — «Вишнёвый сад». Сессия была сдана на пятёрки, и будущее рисовалось великолепным — можно было окончить МИФЛИ заочно, иметь два диплома о высшем образовании и всецело отдаться литературе. Можно было, окончив университет, перевестись в МИФЛИ на очное отделение, обзавестись знакомствами, стать столичным литератором. Да и в Ростове Саня был на прекрасном счету: отличник, староста группы, редактор стенгазеты, поэт (весной 1941-го на смотре художественной самодеятельности вузов и техникумов Ростовской области читал со сцены свои вещи — «Гимн труду», «Ульяновск» — и был премирован). А главное, местная знаменитость, сталинский стипендиат. Каждый (в тот год в РГУ их оказалось восемь) окружался славой, о них писал «Молот», а однажды в университет пришла ростовская кинохроника снимать сюжет: студент Солженицын совмещает два высших учебных заведения. Для пущего эффекта съёмка проходила в физическом кабинете — Саня показывал опыт с аппаратом Тесла, измеряющим величину магнитного потока (на плёнке были заметны разбегающиеся искорки). Затем сняли эпизод, как студент отсылает контрольные работы в заочный вуз: вложив в конверт исписанные листки, он крупно и разборчиво выводит адрес МИФЛИ.

А в приватных разговорах, и даже в письмах, Саня опасно иронизировал, что всем на свете — лодочным походом, учёбой в МИФЛИ, почётной стипендией — обязан «пахану». Этот крамольный термин появился в его обиходе ещё летом 1939-го, после Волги.

В июне 1941-го была взята первая высота. «Рассмотрев материалы об успеваемости за 5 лет обучения и результаты государственных экзаменов, Государственная Экзаменационная Комиссия присуждает т. Солженицыну Александру Исаевичу диплом с отличием. 16 июня 1941 года». Документ № 494022 свидетельствовал: «Предъявитель сего тов. Солженицын Александр Исаевич в 1936 г. поступил и в 1941 г. окончил полный курс Ростовского н/Д Государственного университета им. В. М. Молотова по специальности математика и решением Государственной Экзаменационной Комиссии от 25 июня 1941 г. ему присвоена квалификация научного работника II разряда в области математики и преподавателя». Выписка из зачётной ведомости, которая прилагалась к диплому, содержала 30 пятёрок по учебным дисциплинам, несколько зачётов и пять пятёрок по госэкзаменам. Курсовая работа («Аксиома Цермело») тоже была сдана успешно.

В характеристике говорилось: «Тов. Солженицын Александр Исаевич — студент-математик 5 курса физмата РГУ (математическая специальность) является отличником учёбы и сталинским стипендиатом. На протяжении всех лет пребывания в университете тов. Солженицын получал только отличные оценки, совмещая занятия в университете с заочным обучением на литературном факультете. К сожалению, это последнее совместительство не дало возможности тов. Солженицыну получить оригинальные результаты в своей курсовой работе. Тов. Солженицын ведёт большую общественную работу — редактор стенной газеты и староста курса. Деканат физмата рекомендует тов. Солженицына на должность ассистента вуза или аспиранта. Ректор РГУ Белозёров, секретарь парткома Ракитин».

Казалось, прочные тылы отстроены, будущее обеспечено. Получена профессия и верный заработок — если не в вузе, куда он был рекомендован, то в любой школе, на выбор. «Словно звёздным дождём мне дороги усыпало, / Словно горы верстались мне по плечу, / Словно есть это счастье, и мне оно выпало: / Всё могу, чего захочу!» («Дороженька»).

Какая книга о русской революции могла родиться на фоне этого праздника жизни?

Сдав досрочно последний госэкзамен, Саня уехал в Москву, на летнюю сессию за второй курс МИФЛИ.

Часть третья

ВОЙНА И НА ВОЙНЕ

Глава первая

БРЕМЯ СОЛДАТА: НА ПУТИ К АРТИЛЛЕРИИ

Тот факт, что Саня Солженицын приехал в Москву сдавать летнюю сессию за второй курс МИФЛИ (раннее воскресное утро, поезд Ростов—Москва, Казанский вокзал, метро до Сокольников, трамвай до института, потом на Стромынку, в общежитие) именно 22 июня 1941 года, кажется сценой из кинофильма с лихо закрученным сценарием. Но никакому драматургу не угнаться за письменами, которые пишет Судьба: в комнате, где устраивался студент и где, кроме него, было ещё пятеро, работало радио, шёл выпуск новостей, «бесцветный и безоблачный», и вдруг диктор объявил речь Молотова. Все шестеро вскочили и замерли, как вкопанные. День, который обещал стать началом жизни, целиком отданной литературе, был взорван, как и мир, в одночасье расколовшийся под натиском вражеских дивизий. «Единогласно это ощущалось — как удар огромного тарана истории. Нечто великое. Это — эпоха».

Наконец грянуло то, к чему они, юноши 1917—1918 годов рождения, всегда готовились: появлялся шанс исправить невезение тех, кто родился после Октября. «А всегда было это ощущение: предстоящего великого боя, который разрешится только Мировой Революцией, но прежде их поколению надо лечь, всем полечь, готовиться всем погибнуть, и в этом сознании были и счастье, и гордость. *Всему* поколению — лечь не жалко, если по костям его человечество взойдёт к свету и блаженству».

Так думал в первые часы войны Глеб Нержин, герой повести «Люби революцию». Он отчаянно жалел, что не родился раньше, чтобы «это неповторимое семилетие противоречивых надежд, цветения и увядания, космических пыланий и умирающего скепсиса пропустить через свою грудь». Он знал, что живёт в лучшей из стран, которая уже миновала все кризисы истории и строит своё будущее на началах разума и справедливости.

«Эх, если б я задержался в Ростове на пару дней! Я не поехал бы в Москву», — писал Саня домой в первые часы войны (и отмечал точное время: 22 июня, 17. 45). Ожидая объявления о всеобщей мобилизации и срочного вызова из военкомата, он объяснял маме и жене, насколько важно немедленно ослабить молниеносность войны и перехватить немецкую инициативу. «Не робейте — Гитлер на этом деле должен накрыться» (22 июня, 14.30).

О летней сессии в МИФЛИ (античная и западноевропейская литературы, старославянский язык, история СССР и латынь) теперь не могло быть и речи — многие студенты-очники в первые же дни записались добровольцами. Саня ещё успел набрать учебников в читальнях, но трезво понимал, что вряд ли их когда-либо удастся прочесть. Он наведался в Сокольнический военкомат: а вдруг иногороднему студенту-заочнику можно мобилизоваться в Москве? «Оказалось — никак нельзя. Значит: скорей домой! — для того, чтоб оттуда скорей же в армию! Московские тротуары горели у него под ногами».

Резко ограничив свободу желаний и возможностей, война явилась Солженицыну неотвязным сюжетом — трёхдневной дорогой из Москвы в Ростов, среди мобилизованных, военными маршами днём, патрулями и светомаскировкой по ночам, а также тем, как он осаждал свой военкомат, требуя немедленной отправки на передовую.

Но — *таких* призывников не брали. Пока. «К концу пятого курса, весной, на призывном военкоматском осмотре хирург остановился на ненормальности, которой Глеб и значения не придавал, хотя ещё в школьные годы мешала в футболе; задержался, покачал, покачал головой: “Это может быстро переродиться в опасную опухоль”, — и вписал в карточку: “в мирное время — не годен, в военное — нестроевая служба”». Аномалия в паху, грозившая последствиями*, была записана в призывное свидетельство — так что в военкомате с ним не стали и разговаривать**.

---

* Они настигли Солженицына в конце 1952 года, когда в тюремной больнице ему было удалено «увеличенное, плотное, болезненное левое яичко», и гистология подтвердила злокачественную опухоль, развившуюся вследствие крипторхизма (задержания яичка у новорождённого). В 1954-м в онкологическом диспансере Ташкента выявилось грозное развитие болезни: *seminoma* (состояние после операции) с метастазами в лимфоузлы брюшной полости.

** «В том, что Саня был ограниченно годен к военной службе, виной была его нервная система», — пишет Н. А. Решетовская, указывая, таким образом, и на другую причину отсрочки: любая сильная боль могла вызвать у него болевой шок и глубокий обморок, как это и случилось в школе, когда он очнулся в луже крови с рассечённым лбом.

Всех однокурсников-выпускников, в том числе и Виткевича, уже забрали на разные офицерские курсы при академиях РККА, а Саня все летние месяцы ощущал, как постыдно быть провожальщиком друзей, хотя все вокруг знали, как он бился за право присоединиться к тем счастливчикам, кто уже достиг главных рубежей Революционной войны. Мгновенная военная катастрофа отозвалась в нём страшной горечью, и он «всё ещё верил, но уже начинал и не верить, что созданная Лениным с такими жертвами впервые в истории социалистическая система выдержит удар бронированных германских армий».

В те дни, когда, вместо тяжёлых сапог и военной гимнастёрки, он носил белую сорочку с отложным воротничком, имея вид неприкаянный и виноватый, его зацепил бдительный страж порядка. Саня попался ему на глаза во время многочасовой осады булочной и — оказался в полушаге от беды. Уже была получена повестка к следователю, составлен протокол, сшито дело об «организации хлебной очереди» — милиция торопилась выполнить план по указу «о сеятелях паники и распространителях слухов» (Саня как будто одобрял указ, но кто его слушал?), назначено слушание, за которым неминуемо должен был последовать приговор. Дело, всю опасность которого (десять лет лагерей, вряд ли меньше) новичок-подследственный не успел и осознать, погасил своим щедрым заступничеством Александр Михайлович Ежерец, надевший в первые дни войны мундир подполковника медицинской службы. «Огромное колесо прокатилось, едва не размочив его в мокрое место» — так позже был осознан Саней тот дикий случай.

Меж тем близился учебный год, и, хотя на фронте сталкивались огромные армии, падали и гибли города, военкомат продолжал твердить юноше одно и то же: «Ждите; когда вы будете нужны — родина вас позовёт». Наташа, по распределению облоно, уже уехала учительницей химии в школу районного городка Морозовска (200 километров от Ростова), там нужен был и математик.

«Опостылели мне безопасность и тыл, / Книги душу свою потеряли», — мрачно сочинял он уже в Морозовске; они с Наташей (а с ними и тётя Нина Решетовская) снимали жильё у одинокой старой казачки, комната двух педагогов была завалена книгами, но Сане они не приносили никакой радости. Мозг сверлила мысль — когда же будет остановлено наступление. «И он садился за стол и писал новые и новые безумные письма — то Ворошилову, то маршалу Воронову, как будто где-то кому-то было время до этого

мальчишеского бреда, а то и в ГУНарт, понятия не имея, что это ведомство управляло одним лишь артиллерийским снабжением». Никаких ответов никогда не было.

Учитель Солженицын составлял планы на полгода вперёд, старательно вёл уроки, увлекал детей астрономической экзотикой, в начале октября выезжал с ними в колхоз на неделю — ломать подсолнух, но мыслями был далёк и от небесных светил, и от сбора урожая. Зачем жить, если будет уничтожено самое светлое в истории человечества? Как жить, видя крушение огромного государства? Уже пали Днепропетровск и Киев, сдана Полтава, дотла спалён Чернигов, обложен Ленинград. Закипало чувство: он не покорится, он отыщет на земле такое место, где соберутся воедино осколки разбитого вдребезги красного материка, чтобы «словом и оружием помочь восстановлению ленинского огня, очищенного от смрада тридцатых годов». Так размышляет Глеб Нержин, так чувствует и Вася Зотов. «Уцелеть для себя — не имело смысла. Уцелеть для жены, для будущего ребёнка — и то было не непременно. Но если бы немцы дошли до Байкала, а Зотов чудом бы ещё был жив, — он знал, что ушёл бы пешком через Кяхту в Китай, или Индию, или за океан — но для того только ушёл бы, чтобы там влиться в какие-то окрепшие части и вернуться с оружием в СССР и в Европу».

«Смрад тридцатых» сбивал дыхание идейному юноше Солженицыну. Как трудно было вместить в своё сознание жестокую откровенность соседа в Морозовске, старого инженера Броневицкого, рассказавшего о рудниках Джезказгана, где медная пыль разъедает лёгкие в два месяца, а вода с солями меди ещё раньше пожирает желудок. Как можно было забыть звучавшую проклятием арестантскую брань на полустанке летом 1940-го, когда пассажирский поезд (молодожёны возвращались в Ростов из Тарусы) случайно остановился одновременно с товарняком. И Саня снова вспоминал запретные впечатления лодочного похода, тайну тупика в Никольском переулке, обыск у Федоровских, чекистов, уводивших деда.

Но сколько бы ни леденило дыхание незримого мира, мысль о какой-то реальной личной угрозе не приходила в голову — так что если бы этот мир действительно существовал, неизвестно, как было жить, дышать, смотреть на солнце. На короткое время страшная правда наваливалась на юношу, оставляя на душе тайные шрамы, но пока не переубеждала. Пока он загораживался логикой революции, согласно которой грядущее переустройство мира не обходится без жертв. Он беспомощно пропадал на задворках ненавист-

ного тыла, а сокурсники ходили уже в лейтенантах, участвовали в войне, задуманной Историей, и готовы были погибнуть. И если это суждено ему, то лучше всего быть убитым где-нибудь на окраине Ростова, в боях за улицы родного города, где всё ещё держится долгая золотая осень, или в театральном парке, изрытом окопами — пушки на полянах, пулемёты, мешки с песком... «Умереть *там* была бы почти сладость, и какое гордое сознание исполненного! А Глеб — был лишён того...»

Долгожданный вызов судьбы был получен 16 октября, через четыре месяца после начала войны, и оказался повесткой на обёрточной бумаге с расплывшимися чернилами. К пяти часам утра 18-го Солженицыну надлежало явиться в райвоенкомат с военным билетом, паспортом, кружкой, ложкой и сменой белья. Номера «Красной звезды» на столе чернели гневными заголовками статей Эренбурга и заражали страстью войны. «Глеб пришёл в своё лучшее состояние, когда мог — всё». «Жизнь моя только с этого дня и началась», — напишет Саня через много лет.

Но прежде чем учитель с затрёпанным портфелем и маленькой заплечной сумкой, в полинялой кепке и в городской шубе школьных времен (рваные карманы, облезлый мех воротника, клочья ваты из продранной подкладки, истёртые до белизны петли), а главное, с книгой Энгельса «Революция и контрреволюция в Германии», влился в общий поток войны, он простился с близкими. Так случилось, что каждое из этих прощаний оставило в его судьбе необратимый след.

Ещё в конце июня перед отправкой на срочные курсы при Военно-химической академии пришёл Кока, с которым столько было переговорено, а теперь всё обрывалось, и дружба всецело зависела от непостижимого хода войны. «Как же мы дальше? Никогда ничего не сможем обсудить?» На вопрос Сани друг авторитетно возразил: кто же будет против, если два бойца в письмах захотят обсудить общефилософские вопросы? Военная цензура следит за тем, чтобы не назывался номер части, не указывались населённые пункты, дороги, вооружения, но до споров школьных товарищей ей нет никакого дела. Через два года эта несчастная мысль, брошенная мимоходом, даст свои роковые всходы.

Ростов опустел без друзей, Саня жил у мамы, жадно рвался слушать выпуски новостей, чувствовал себя одиноко и потерянно. Кирилл писал ему из Шахт, где проходил хирургическую практику, что поражён тем энтузиазмом, с которым шахтинцы идут на войну. «Эта война будет Отечественной! Мальчишки лезут в товарные вагоны и их ссаживают по до-

роге и под их громкий рёв препровождают обратно. В таких условиях можно ли оставаться пассивным? В конце концов, мы — ленинцы. На защиту Отечества!.. Место каждого честного марксиста определено». Вскоре Кирилл был уже в Ростове, работал на медпункте почтамта, и перед отъездом в Морозовск Саня зашел проститься с ним. «Я горел: как могу не успеть защитить ленинизм, и он рухнет» («Когда гитлеровские войска вошли в Ростов, — пишет Солженицын, — они открыли собор и три-четыре церкви. И толпы буквально бросились в церковь. Немцы были врагами, в стране шла война, но открытие церквей создало у населения как бы пасхальное настроение. Это был жестокий провал коммунизма»).

18 августа Таисия Захаровна проводила сына до ступенек вокзала, вовсе не на войну, а всего только на работу, недалеко. «Внутрь нельзя было войти, у кого нет проездного билета. Там, на угловых ступеньках, они и попрощались — и в этот миг пронизало Глеба, что он — в последний-последний раз видит исхудавшее, рано постаревшее лицо своей матери — до того привычное, что даже его не опишешь». Таисия Захаровна всё целовала и целовала сына, не в силах оторваться от него, ей казалось, что видит его в последний раз. Через три года матери не станет, и окажется, что то прощание на ступеньках — действительно было навсегда. Тогда только и начнёт щемить сердце — как давно, оказывается, он отдалился от матери, какое малое место занимала она в его делах — не сравнить с друзьями, с кем он читал «стариков», острил, теоретизировал, строил планы. Сокрушённой душой он поймёт, что мать, слабая одинокая женщина, ценой бесконечных лишений принесла в жертву себя и своё здоровье — как будто и в самом деле полагала, что жизнь сына много важнее её собственной.

На рассвете 18 октября, едва брезжило и «белый серп ущербной луны ещё полным ходом светил с востока», Солженицын простился с женой. Но странным было то прощание — она не пошла с мужем к военкомату, не постояла на сборном пункте, где человек семьдесят баб разного возраста провожали своих мужиков на фронт, а потом выли, цепляясь за борта отъезжающих грузовиков (об этом он писал жене из птицесовхоза у станицы Обливской в тот же день, 18 октября 1941 года, в 13.30). Она и до порога не встала проводить, храня тепло постели и утреннюю негу. Пройдёт семь лет, и на шарашке в Марфине Солженицын остро вспомнит эти проводы. «Я — собран, — сказал Глеб. — Не вставай провожать: и темно, и холодно. И правда, Надя, как согрелась, осталась лежать».

Потом пройдёт ещё лет двадцать, он будет писать об иной войне, и другой герой будет идти на фронт, но память опять высветит тот предрассветный час. «Тоже было ещё темно, проснулись они по будильнику. И Георгий сказал Алине: “да ты не вставай, зачем тебе?”, зачем ей терять постельное тепло (а сам-то хотел, чтобы проводила). Но Алина легко согласилась и осталась лежать, натягивая одеяло, — то ли ещё заспать горькие часы, то ли понежиться. А он поглотал в кухне холодного и уже в шинели, в полной амуниции, подошёл ещё раз поцеловать её в постели. Так он и ушёл на войну и сам не находил в этом худого, хотя в те дни по всей России бабы бежали за телегами, за поездами, визжали и голосили. И только вот сейчас, когда Калиса отчаянно обнимала его за шею, утыкалась в лацканы колкого шинельного сукна, вышла с ним во двор и ещё на улицу пошла бы, если б это было прилично, — только сейчас он обиделся на Алину за те проводы».

Первые шаги Солженицына по дорогам войны обнаружили, что представление о мобилизации он имеет не просто смутное, но в корне превратное. Ему легче было увидеть счастливое предзнаменование в карте звёздного неба («Орион запрокинулся к Западу, а стрела трёх звёзд его пояса неслась на Сириус, как раз в стороне военкомата»), чем представить себе, как происходит отправка на фронт и как призывник попадает в артиллерию. В сутолоке и суете сборов никому не было дела до университетского диплома (Саня предусмотрительно взял его с собой), до его математической специальности, — вообще до него лично. Впервые он оказался в общем людском потоке, и его жизнь управлялась непонятно как и неизвестно кем, а сам он не только не был творцом собственной судьбы, как доселе уверенно полагал, но не мог повлиять даже на самый её краешек. Единственный из всей толпы, он искал немедленного решения своей участи, пытался пробиться в разные кабинеты (немедленно был изгнан из всех), пробовал сделать «заявление» о своём артиллерийском призвании — и был оборван матерной руганью, ужасно страдая, что драгоценные минуты уходят и время непоправимо упускается.

Впервые в жизни Саня чувствовал полное бессилие и подавленность перед лицом обстоятельств, диких и первобытных. Он даже не очень понимал, как надо относиться к разговорам всех этих мужиков, столь непохожих на мужчин привычного ему городского круга, — к их мрачным подозрениям, угрюмому нигилизму, жестоким насмешкам над собой и своим ближайшим будущим, от которого никто не

ждал ничего хорошего, а только одно плохое и очень плохое: погонят пешком за Урал, отнимут продукты, отберут сапоги и взамен швырнут ботинки с обмотками, без винтовок отвезут на передовую, в огонь. Учитель математики теперь и заговорить боялся с соседями — обсмеют и раздавят мечту об артиллерии, как ящерицу.

Но ладно бы — об артиллерии. Вдрызг разбивалось и самое главное — будто, сдав экзамены в два высших учебных заведения, начитавшись книжек в библиотеке имени Карла Маркса, изучив военные карты, поднаторев в иностранных языках, наслушавшись музыки, он созрел для основного дела жизни. Саня полагал, что судьба семьи — отца, деда, матери, его собственный опыт, образование, наконец, дают ему неоспоримое право писать летопись красной революции, то есть историю своей страны и своего народа. Но в толпе на сборном пункте, и на грузовиках, когда везли из военкомата, и в недостроенном железнодорожном клубе, куда выгрузили на ночь, и на грязном полу меж сонных тел, мешков и сумок — в сером этом простонародье (печенеги? берендеи?) — он не узнавал «своих».

Сокрушённо сознаётся в этом Солженицын спустя семь лет — устами Глеба Нержина: «Не только смотреть ему не хотелось на своих соседей — костеняще не хотелось ему ни думать, ни жить. Где была та молодая краснофлаговая страна, по которой он носился доселе? Если бы эти люди не говорили по-русски, Нержин не поверил бы, что они его земляки. Почему ни одна страница родной литературы не дохнула на него этим неколебимым, упрямо-мрачным, но ещё какую-то тайну знающим взглядом тысяч — ещё какую-то тайну, иначе нельзя было бы жить! Наблюдатели, баричи! Они *спускались* до народа, их не швыряли на каменный пол. Как же он смел думать писать историю этого народа!»

Жизнь нужно было открывать заново. Солженицын подавленно замечал, что не понимает настроений людей, среди которых находится, не владеет принятым здесь языком общения, не умеет ни спросить, ни ответить, не догадывается, чем набиты тяжеленные мешки мужиков (уж, конечно, не основоположниками марксизма, «сладчайшими стариками»). Даже концерт художественной самодеятельности подействовал не так, как всегда: воротило от бодрых маршей, от «Весёлых ребят» и — впервые в жизни — слёзы навернулись от песни под гармонь (это после фортепианных-то сонат, поражался он!). Только на минутку, хлопая певице за её щемящее «позарастали стёжки-дорожки», он ощутил себя «вместе со всеми».

На рассвете (было около пяти утра) он написал жене, что всеми силами будет проситься в артиллерию. Однако днём, на построении и сортировке, когда очередь дошла до призывника Солженицына, тот обнаружил себя среди пожилых и хворых мужиков — кто с язвой, кто с сухой рукой — фактически в инвалидной команде. «Артиллерия на миг задела Нержина своим сверкающим хвостом и унеслась, отшвырнув его в какую-то ещё горшую тупую неразбериху. Нержин вышел из строя назад, чтобы подойти к начальству и объяснить весь трагизм своего положения, — но какие-то мордатые, отдельно стоящие чины гаркнули на него и завернули».

Однако истинные обстоятельства призыва были ещё более тяжёлыми. «В эти дни сдана была Одесса, германские войска штурмовали Перекоп, наседали на Харьков, углубились по Таганрогско-Ростовской дороге, дрались за Горбачёво на Орловско-Тульской, Москва ещё не очнулась от дикой паники три дня назад (19 октября 1941 года указом Сталина в Москве было объявлено осадное положение: столица находилась в состоянии предсдачи противнику. — *Л. С.*), и что-то ещё не виделось нигде стальное сталинское руководство, а из штаба Северо-Кавказского военного округа, где одни бумаги сжигались, а другие кипами грузились на автомашины, дали шифрованные телеграммы по военкоматам области: в трёхдневный срок угнать тракторы, гужтранспорт и всех мужчин от восемнадцати до пятидесяти лет».

Тысячи призванных в эти дни мужиков, не зная секретных распоряжений, поняли, что пахнет жареным, и приняли действительность с мрачной покорностью, заботясь лишь о насущном и неизбежном, без истерических судорог и нетерпеливого зуда — менять судьбу и спасать Революцию. А учитель в потёртой шубе, который рвался отстоять ленинизм, чувствовал себя выкинутым из жизни. Потомок крестьян с Дона и Кубани, он был разбалован городской жизнью: однажды подсоблял дяде Феде Горину, когда тот строил сарай, а школьниками на сельхозработах они только маялись, а не работали. Он не имел ни малейшего представления, как подойти к лошади: и с этим вот знаком отличия судьба, будто в насмешку, распорядилась определить его, вместо артиллерии, в гужтранспортный батальон. И теперь надо было гнать прочь вольные мысли о боевых расчётах, где бы пригодился его блестящий математический дар, и научиться отличать одну лошадиную морду от другой.

Среди конского ржания, телег и хомутов, в спешном овладении азами гужевой науки, терпели крах главные жизненные установки. Только те люди значительны, полагал от-

личник-универсант, кто носит в своей голове груз мировой культуры: энциклопедисты, знатоки древностей, ценители красоты. Остальные — неудачники. Но переломилось время, и стройная концепция рухнула: неудачником оказался он сам. «Началась война, и Нержин сперва попал ездовым в обоз и, давясь от обиды, неуклюжий, гонялся за лошадьми по выгону, чтоб их обратать или вспрыгнуть им на спину. Он не умел ездить верхом, не умел ладить упряжи, не умел брать сена на вилы, и даже гвоздь под его молотком непременно изгибался, как бы от хохота над неумелым мастером. И чем горше доставалось Нержину, тем гуще ржал над ним вокруг небритый, матерщинный, безжалостный, очень неприятный Народ».

Только и было успехов у рядового обозника, получившего, как и все, приказ разбирать лошадей, пригнанных из ближних колхозов в степь, — мохноногая смирная кобылка, оторвавшаяся от стада и не оказавшая сопротивления. С неё и началась Санина военная служба.

Катастрофически не пригождался Энгельс, хранимый в портфеле и неразлучно с ездоком трясшийся на телеге. Всё ещё очень тянуло читать — «в плане дальнейшей проработки основоположников марксизма, с целью уяснить глубину их философии истории», и теперь только эта книга связывала обозника с университетским прошлым. Порой хотелось слиться с простолюдинами, смеяться грубым шуткам, лишь бы не выглядеть в их глазах неуком и неумёхой. Но читать не выходило; «революция и контрреволюция» касались Германии и для неофита попахивали трибуналом; а здесь — первый же сослуживец-обозник оказался участником Гражданской войны, комиссаром хлебозаготовок. Энгельс отдыхал; у Сани перехватывало дыхание от живого героя. «Музыкой отдалось в душе Нержина это слово — “революционер”. Он жадно впился в лицо Дашкина и при красных вспышках цигарки увидел его чудесно преображённым — не измождённым, а молодым, не расслабленным, а полным воли. О судьба! Неслучайной удачей было, что он, вот, попал в одну телегу с революционером. Вот именно таких людей надо искать, надо расспрашивать их, пока они живы, — это бесконечно ценнее для истории, чем безличные жёлто-холодные мумии документов».

Но какое жгучее разочарование подсунула ему — знать, не случайно — та же судьба. Революционер оказался мужиком дурным и хвастливым — гордился, что первым в своём уезде помещика убил («человека убить — что пальцы обо... мочить»); злым и нервным («все нервы за революцию от-

дал»), подозрительным и жестоким. Совсем не вдохновляли рассказы героя в бытность его секретарём сельсовета: под Пасху устраивал переодевание комсомолок в чертей, свист и гиканье вокруг заутрени, выбивание у старух свячёных куличей и крашеных яиц. Или в бытность его комиссаром: стрелял из револьвера над головами деревенских баб, а потом четыре версты драпал, спасаясь от расправы. Совсем не хотелось верить человеку, который шипел в спину сослуживцам: «гад», «контра собачья», «кулак сибирский» — или наставлял соседа-недотёпу: «Знаешь, сколько тут антисоветчиков?» И было до слёз обидно, когда герой-напарник — всего через неделю пути — заговорил о побеге из армии, дескать, вся Россия на колёсах, кой дурак их будет искать, и война всё спишет. «Зачем он не с теми прекрасными людьми, которые сейчас умирают на фронте?» — страдал учитель, но с твёрдостью, испугавшей бывшего комиссара, дезертировать отказался («Докладать пойдёшь?» — спросил революционер. «Никогда этим не занимался», — ответил учитель).

Пусть не земная ось, но умственный стержень, на котором держались основные понятия о мире, как-то скособочился и покривился. Представления универсанта о краснофлаговой стране, усвоенные за годы студенчества, требовали срочных поправок. Он не мог понять, почему радуются обозники, двигаясь не к фронту, а вглубь тыла. Ему тяжело было видеть мрачную радость, с какой станичники смотрели вслед отступающему красному войску: юг России дышал «контрой», и Саня вспоминал своё августовское прощание с Кириллом, который уверенно говорил, будто народное недовольство — как туча, а горцы Северного Кавказа рвутся в восстание.

Учитель не узнавал, да никогда и не знал местность, по которой ехал обоз; не мог вспомнить ни одного города здесь, ни одной реки — ни Чира, ни Бузулука. Ему чужда была мужичья забота о лошадях — больше, чем о себе; было непонятно, почему так часто надо поить животных и обязательно всякий раз их разнуздывать, и вообще — что это за ненормальная скотина, которая хочет пить в холод и слякоть. Саня удивлялся, как это другие умели в табуне сразу заметить своих коней, и смотрел на них как на слюнявомордый символ крушения артиллерийских надежд. Он был беспомощен перед этой стихией жизни с её простыми, как в седой древности, заботами. После занятий латынью и английским, увлечения театром и художественным словом — он очутился на самом дне, в положении бесправном и угнетённом, ничего не умея, никуда не пригождаясь, чуждый и обозникам, и лошадям.

Первым делом, кажется, Саня научился перематывать портянки. Потом — приглядывать за конями, забывая любоваться поэтической красотой заката. Потом — обруганный и презираемый напарником, впервые сам отвёл лошадей на водопой и поразился, как долго и много они пьют, припадая к речке, и уже не с раздражением, а с умилением думал о тяжёлой доле и каторжном труде этих добрых, верных, неприхотливых существ, с грустными немигающими глазами. Потом среди ночи, в храпящей избе, получил из рук обозника, приветливого сибиряка, масляный сухарик-бурсак и кусочек сальца. «И вдруг, размягчённо-благодарному, ему вспомнилась фраза из забытой давно, с пионерских времён, молитвы: "хлеб наш насущный даждь нам днесь" — и в темноте слёзы навернулись ему на глаза. Хотя лет двенадцать он не произносил этой молитвы, но сейчас легко её вспомнил — и вдруг, перебрав её умом взрослого человека, удивился, какая она была бескорыстная: ни одно из бесчисленных желаний, повседневно разрывающих человеческую грудь, не упоминалось в ней — в ней не просилось ни о долголетии, ни о здоровье, ни об избавлении от несчастий, ни о богатстве, ни о замужестве, ни о детях, ни о родителях, — всё это покрывалось великими словами: "да будет воля Твоя!" и только одного просил маленький человек у Большого Бога — чтобы было ему что поесть сегодня».

Решение обучиться всему, что необходимо на этом участке судьбы и войны (ноябрь—декабрь 1941-го, хутор Дурновский, хлев при молочно-товарной ферме, обозный взвод), стало спасительным для Солженицына. Осмысленным было и смирение перед тяжёлой, грязной работой, которая валилась на него и по общей гужевой участи (возить лошадям колхозную солому с поля, махать вилами целый день на морозе и ветру), и по бесчисленным нарядам на уборку конюшни от навоза. Но смиряться пришлось и с кочевой жизнью, ночлегами в случайных местах без бани и стирки, со вшами и нестерпимым зудом во всём теле, с ощущением постыдного нахлебничества (кормили постояльцев хозяева избы), даже со снами, в которых являлся всё тот же неистребимый навоз. И пока не помогало обознику его умственное прошлое, как ни старался он во время конюшенной страды прокручивать в памяти хронологию Средних веков или шёпотом повторять тройные имена знаменитых римлян: «Посторонние мысли проваливались сквозь память как сухой, без соломы, навоз между рожнами вил».

Единственной наградой за все лишения и унижения, за грязь и вши, за то, что Энгельс так и не продвинулся ни на

абзац (Саня робел даже доставать книгу из портфеля, не то что читать при чахлом вечернем освещении на глазах хозяев и напарников), оказались всё же лошади — одни они не корили чистильщика навоза за то, что он ничего не умеет. Но, во-первых, он выучился ездить верхом без сёдел и уже не валился на полном скаку; во-вторых, ходил не раз за ночь на конюшню проверять кормушки — не потому, что боялся сержанта, а из жалости к гнедым зверям, и значит, имел право потрепать их гривы, погладить морды. Приветливый сибиряк-обозник, умелый во всяком деле и похожий на Платона Каратаева (не придуманного, стало быть, Толстым, как настойчиво твердила марксистская критика), посвятил бойца во все хитрости быстрой упряжи, показал, как распрягать и запрягать коней на морозе, как правильно их поить и кормить. И, глядя, как некто в драной шубе с верёвкой вместо ремня стоймя правит в телеге, уже могли ошибиться бабы с соседнего хутора, приняв обозника за местного, своего. Настало время, когда он уже не просил показать, где в табуне его кобылки, Искра и Мелодия, и не ждал, пока разберут всех коней, чтобы взять своих, — а опознавал их мгновенно, по едва мелькнувшим мордам.

Когда Солженицын в буквальном смысле слова крепко почувствовал себя в седле (хотя сёдел никаких не было), он смог вернуться к привычкам и потребностям образованного человека, и навык ездить верхом вдруг пригодился не только для гужевых целей. Конечно, можно было и дальше покорно тянуть тыловую лямку — без оружия, обмундирования и солдатского пайка. Можно было тупо смириться с судьбой, определившей способного математика и городского человека к тяжёлому и непривычному крестьянскому труду. Можно было и дальше отказывать себе в чтении. Но даже неравная борьба с навозом не могла вытравить в человеке книжном и грамотном жажды получать сведения о событиях на фронте — в то время как его подразделение и вся округа жили в глухом безвестье, без радио и газет, питаясь только дикими слухами. «Ещё со школьных лет воспитанный не отделять свою судьбу от судьбы всей страны, пристрастившись к чтению газет от пионерского листика “Ленинских внучат” до огромных — не хватало детских рук держать развёрнутый лист — “Известий”, Нержин теперь мучался от отсутствия газет так, что окружающим было смешно: все привыкли жить, как оно пойдёт, можно узнать и позже. И хотя Нержин чутьём, выросшим не в год, легко угадывал во вздорных слухах, где искажение и вымысел, а где зерно были, извращённое в слух, — он задыхался без газет».

Верхом на серой кобылке, любимой своей Мелодии, Солженицын мчался в сельсовет к шести утра, чтобы успеть к началу утреннего радиовещания, и, если везло, в снятой телефонной трубке, после позывных и гимна, можно было расслышать (по закону электромагнитной индукции) отдалённый голос диктора. Тогда Саня выбегал из сельсовета с полным текстом последней сводки и вёз её своим. Или среди дня, тайком от сержанта, вырывался за пару вёрст на почту и там проглатывал ворох новостей из сталинградских областных газет недельной давности. И снова зажигались в нём пламенные заголовки статей Эренбурга, перепечатанные из «Красной звезды», и вновь всеми своими помыслами он был на фронте, забывая о вшах и навозе. А в записной нагрудной книжке были вписаны строки стихов, сочинённых на остановках, по пути в Дурновку: «Если Ленина дело падёт в эти дни, / Для чего мне останется жить?..»

Постепенно из затюканного недотёпы, сражавшегося с навозом, образовался взводный политинформатор, умевший самостоятельно раздобыть и грамотно разъяснить сводки с фронта, подробно ответить на вопросы, доказательно опровергнуть вздорные слухи. В 1963 году бывший сослуживец-обозник А. Гриднев писал Солженицыну: «Вы рано утром отправлялись слушать по телефону радио, а затем очень хорошо рассказывали нам положение на фронтах. Я помню, как вы на своём “Атласе мира” отмечали освобождение населённых пунктов нашими войсками». Сначала он делал это от случая к случаю, по личной инициативе, потом — регулярно, уже имея официальное задание от прибывшего во взвод «настоящего» офицера, одессита Давида Исаевича Бранта, сразу выказавшего симпатию и покровительство грамотному, образованному солдату. Были признаны *служебными* отлучки в сельсовет и на почту за газетами; младший лейтенант Брант (на гражданке эксперт по драгоценным камням) частенько зазывал солдата к себе в гости, на квартиру.

Жизнь налаживалась, обозники потихоньку приноровлялись к безопасной службе в тыловой глуши (многие даже становились на постой к молодым безмужним казачкам), да и обозный отряд понемногу превращался в регулярную воинскую часть, в 74-й отдельный гужтранспортный батальон, постепенно пополняясь обмундированием, инвентарём, красноармейским пайком. Но устава внутренней службы обозники никогда не видели, вскидывать руку в приветствии и ходить в ногу не умели, держать шеренгу по четыре даже не пытались; что такое гауптвахта — знали только в теории.

Конечно, положение рядового Солженицына существенно улучшилось, однако сама служба имела к войне отношение пока весьма отдалённое. Обозники вынуждены были по ночам подворовывать у колхоза сено для лошадей, а днём в том же колхозе зарабатывать на хлеб себе (паёк был неполный и нерегулярный) — в декабре ломали вручную подсолнух в степи, в январе возили зерно за 25 верст на элеватор в счёт колхозных хлебопоставок. Опять же продолжали нахлебничать у казаков, а однажды на молочную ферму прибыл чекист и поставил перед взводом боевую задачу — обойти избы с обысками и изъять всё хранимое оружие. Мол, казакам веры нет, так как их исконная враждебность к советской власти пока что не искоренена («и первый раз, при революционных словах, трубы революции не взыграли в груди Нержина: было низко и мерзко идти обыскивать собственных хозяев-кормильцев»). Но пойти пришлось, хоть было стыдно и гадко — стучать в тёмные окна, будить спящих людей, жалкими словами объяснять распоряжение властей и уходить, как правило, ни с чем.

За пять месяцев гужевых мытарств Солженицын послал не одно письмо домой — матери и жене, писал из станицы Обливской, где был сформирован обоз, и из Дурновки (Сталинградская область, Ново-Анненский район). От них письма доходили плохо, почта работала лихорадочно. И всё же родные знали, чтó с ним, где он, а Наташа даже смогла сообщить Коке (с которым наладилась переписка) о Саниных мытарствах: «Все его попытки выкарабкаться в артиллерию ничем не увенчались...» Меж тем Ростов переходил из рук в руки, в дни оккупации там оставались обе мамы; Таисия Захаровна, потеряв с войной работу, бедствовала, продавала последнее. Учителей в морозовской школе сократили, занятия отменили в связи с близостью фронта. Наташа с тётей Ниной сидели на чемоданах, без работы, временно заняли квартиру директора школы, уехавшего в эвакуацию. «Враг должен быть остановлен повсюду», — писала «Правда» 27 ноября, а 29-го Ростов был отбит и стал первым советским городом, отвоёванным у фашистов.

Рассказы фронтовиков, прибывавших на подкрепление в обоз из госпиталей после серьёзных ранений, сами их раны и опалённый сражениями вид жгли сердце Солженицына обидой — трудно было смириться, что он так и провоюет всю войну в тыловой дыре. «Осенью он метался, что не может спасти Революцию от гибели. Теперь, зимой, он боялся, что не успеет на фронт к сокрушительному наступлению наших армий, которое, очевидно, разразится весной. Перед

глазами его стоял заголовок одной из январских “Правд”: “Расколошматить немца за зиму так, чтоб весной он не мог подняться!” Нержин знал, что не простит себе всю жизнь, если не успеет принять участия в этой войне».

В Дурновке, когда ломали подсолнух, Сане стукнуло двадцать три; через две недели, «за навозом», он случайно вспомнил (и написал жене), что сегодня, 25 декабря — Александров день, его именины. Свой первый военный Новый год он встретил в казарме возле конюшни: при керосиновой лампе сочинял стихотворную фантазию, будто, получив отпуск на сутки, идёт по осаждённому Ростову и не узнаёт родного города. «Мостовые вырыты, баррикады сложены; / Где дома обуглены — тупо бродит взгляд. / Сам небрит и грязен я, и висят на поясе — / Позабыл оставить их — несколько гранат». В стихах он видел себя бывалым, обстрелянным бойцом, знавшим, почём фунт лиха, окопный холод и артиллерийский огонь, — солдат клялся хранить верность оружию, не пропустить врага в город, вернуть назад всё отнятое. Тут же, без передыха, написал ещё и «Новогоднее письмо друзьям» — о юности, разбитой войной, о том, что товарищей разметало по степи, как горячую пыль, и не с кем пригубить вина, да и самого вина нет ни рюмки, ни глотка. Рядом, в тёмной и низкой избе, ворочались, храпели, искали вшей служивые.

Никаких гранат, никакого артогня *ездовой* (так правильно называлась Санина должность), разумеется, ещё не видел и пороху не нюхал. Но теперь у него появился законный ход, обусловленный армейским порядком — писать рапорты и передавать их по инстанции через командира взвода. Расположение и добрая воля Бранта стали первой ступенькой на пути в артиллерию: младший лейтенант аккуратно передавал просьбы в штаб роты, а там их прочитывал политрук Петров — он приехал во взвод 21 января 1942-го, в ленинскую годовщину, проводить беседу. В конце занятий Солженицын решился спросить о судьбе своих посланий. Политрук мало что мог — на такие бумаги не обращали внимания, и дальше батальонного штаба они не попадали. Петров искренне сочувствовал математику, попавшему в обоз, предлагал пойти писарем на склад, сводить балансы, но такой переход казался Сане до обидного ничтожным. И всё же Петров вместе с Брантом помогли ему.

Февральской ночью, внезапно, были объявлены тревога и общий сбор. Брант вёл себя так шумно, будто взвод попал в окружение и в ближайшие часы ему предстоит принять неравный бой с врагом, намного превосходящим силы обоза.

На самом деле взвод, в составе роты и батальона, отправлялся, месяца на три, на реку Хопёр, строить мост для обеспечения коммуникации на время паводка. Солженицыну приказано было оставаться на месте, ходить за больными лошадьми и получать на почте письма для всего взвода. «Будете помнить Давида Исаевича Бранта», — несколько раз повторил на прощание младший лейтенант. С грустью простился Солженицын со своими лошадками: вернуться в Дурновку ему действительно более никогда не пришлось.

В то же февральское утро немногие оставшиеся обозники переехали за семь километров на хутор Мартыновку, где располагались штаб роты и хозяйственный взвод, и всех бойцов, не занятых на хозяйственных работах, отправили в лес, валить деревья для строительства моста. Работа Сане нравилась, и не покидало предчувствие, будто что-то стронулось в его жизни и теперь он выйдет на правильную, *свою* дорогу. Да и обозный опыт виделся уже иначе — четыре месяца не были потеряны впустую, а обернулись глубоким и подробным изучением колхозной и станичной жизни. Он учился выходить из любого положения без потерь, извлекать пользу из любой своей неудачи.

В Мартыновке — предчувствие-таки не обмануло — Солженицын пробыл чуть больше месяца. «В мартовский солнечно-морозный день Нержин между двумя пилками отдыхал на свежеспиленном голомени, щурился на вымороженное бледно-голубое небо и думал о фронте. И увидел, как по дороге из хутора колобком катил Порядин. И почему-то сразу понял, что это — за ним, и не надо начинать другого дерева». Была среда 18 марта 1942 года, счастливое число, кратное девяти. Тут же, в глубине леса, он простился со своим Платоном Каратаевым, светлым и сердечным человеком.

В штаб роты Солженицына вызывал комиссар, то есть политрук Петров, обещавший помочь с переходом в артиллерию. Выяснялось, однако, что пока речь шла не об артиллерии — требовался грамотный младший чин для командировки в Сталинград, в штаб округа. Удача была в том, что в нужный момент Солженицын оказался в нужном месте, то есть в Мартыновке, а не на мосту, откуда его никто не стал бы специально вызывать, и значит, Брант был прав, оставив его здесь: везение действительно началось. Комиссар не сомневался, что из Сталинграда рядовой Солженицын уедет с петлицами артиллерийского курсанта и что теперь всё зависит только от него самого. В воображаемом золотом списке покровителей появились два имени — Брант и Петров. В станице Ново-Анненской, при станции Филоново, где был

расквартирован штаб 74-го Отдельного гужтранспортного батальона, Петров пожелал солдату удачи и выдал на дорогу табак-самосад, лучшее проходное свидетельство на всех железных дорогах.

Третьим в золотом списке суждено было стать лейтенанту Титаренко, начальнику батальонного штаба, — от него и зависел успех командировки в Сталинград. Но как только лейтенант увидел искомого бойца — в тесной облезлой меховой шапке, чёрном ватном бушлате необъятных размеров, перепоясанном верёвкой (выдали во взводе взамен старой шубы) и с облезлым портфелем (всё тем же) — он расхохотался и велел переобмундироваться: такому чучелу в штабе округа делать нечего.

Не прошло и получаса, как обозник волшебно преобразился: оставил на складе ботинки с обмотками и клочковатый бушлат, надел кирзовые сапоги при байковых портянках, брюки защитного цвета, настоящую, пусть и ношеную, третьего срока гимнастёрку, бушлат по фигуре и в пару к брюкам широкий брезентовый пояс, шлем-будёновку и солдатскую шинель. А по пути на склад ещё и знакомого встретил — ростовчанина, начальника санитарной службы батальона, военврача в чине капитана, и тот мигом предложил земляку должность батальонного санинструктора. После конюшни и навоза это выглядело ослепительным подарком судьбы.

Впервые в жизни Саня чувствовал себя настоящим военным — не беда, что шинель оказалась коротка и одна её пола была смята, будто изжёвана (долго будет помнить Солженицын ту первую свою солдатскую шинель до колен. Точно такая же будет у младшего сержанта Дыгина из рассказа «Случай на станции Кочетовка»: «Солдатская шинель его, охваченная узким брезентовым пояском, имела одну полу перекошенную или непоправимо изжёванную как бы машиной»). Лейтенант признал шинель годной к прохождению службы, а обладателя её — к командировке: нужно было передать в интендантское управление штаба округа, помимо официального пакета, ещё и личное письмо лейтенанта Титаренко начальнику отдела кадров капитану Горохову и убедиться, что оно не затерялось среди бумаг, а тут же вскрыто и прочитано. Следовало во что бы то ни стало пробиться к капитану Горохову, отдать письмо лично в руки, а не под расписку на проходной, и сказать кодовые слова: *лейтенант Титаренко пропадает в лошадином обозе.*

Такое задание и в самом деле было капитальной удачей. Лейтенант Титаренко, как и рядовой Солженицын, оказал-

ся жертвой военных порядков, только жертвой обстрелянной и понюхавшей пороху: из мотопехоты, куда он попал в первые дни войны, угодил в окружение, благополучно выбрался, получил ранение, побывал в госпитале и ограниченно годным был причислен к обозу. Так же точно писал рапорты, посылал их прямо и окольно, но так же не получал никаких ответов. Теперь сам лейтенант советовал рядовому не упустить случая и поговорить с капитаном Гороховым сразу про них двоих.

Уже не предчувствие, а реальный, ощутимый толчок, от которого могло сдвинуться колесо судьбы, выглядел так: командировочное удостоверение, продуктовый аттестат, вещевой мешок, а в нём сухой паёк на три дня (буханка хлеба и пара сушёных рыбок), восемь дней командировки и 300 километров до Сталинграда. С этим богатством и при портфеле солдат отправился на станцию, окунувшись в жестокий мир железных дорог первого года войны. Здесь не существовало билетов, расписаний, правил, но были теплушки и телячьи вагоны, платформы с пушками и составы с ранеными, эшелоны с ленинградскими доходягами, которых только к весне 1942-го стали вывозить из блокадного города (когда Саня видел этих бедняг, ему становилось стыдно за своё обозное благополучие, которое он считал тяжёлым испытанием).

На станции Воропоново под Сталинградом получилось так, что эшелон, в котором ехал Солженицын, поворачивал на Морозовск, и он решил, после трёх дней пути, на одни сутки заехать на побывку к жене: Наташа не трогалась с места в ожидании вызова из Ростова. 23 марта 1942 года целый, невредимый и улыбающийся красноармеец в шинели и в шлеме-будёновке предстал перед женой спустя пять месяцев и пять дней после разлуки. «Санюша выглядит свежим, бодрым, но очень истощённым. Он измучился и во сне всё время говорил о поездах. Спрашивал у меня: “Где патруль?”» — записала Наташа в свой дневник на следующий день.

Рано утром 24 марта командировка продолжилась, и пришлось пережить ещё немало приключений по дороге в Сталинград — ездить в *полувагонах* — железных открытых ящиках, ледяных ловушках на морозе и ветре; за три стакана табака (проездной билет от политрука Петрова!) ночевать у машиниста паровоза, куда посторонним нельзя было и заглядывать, и всё же день за днём продвигаться к цели. Однажды без спросу (табак давно закончился) он влез в товарняк, где были сложены сотни ватных одеял, вырыл себе тёплое логово и заснул медвежьим сном. Проснулся от голода и глухой тишины, обнаружил вагон с одеялами в снеж-

ной степи, без признака станции, без паровоза, и осознал, что пропала целая ночь и что он в капкане, на нетопленом полустанке, без продовольственного ларька. До Сталинграда оставалась двадцать одна верста — и неизвестно сколько дней ожидания хоть какого-нибудь транспорта. Солдат метался по путям, между грузовиком у маленького военного аэродрома (мотор не заводился, и на грузовик брать постороннего не хотели) и поездом на Сталинград, внезапно, вопреки всем ожиданиям, подошедшим к разъезду. Пришлось бежать по снежной целине, отлетали пуговицы, оторвалась — впервые за семь лет — ручка портфеля, уже начинал разгоняться поезд, и бегущий что есть мочи увидел перед собой открытую платформу с людьми и заднюю лесенку. Забросил наверх портфель, взметнул ноги, навалился грудью на нижнюю ступеньку, спиной почувствовал, что кто-то сзади вытягивает его наверх, очнулся, обнаружил себя целым и рядом — седого старика с древнерусской бородой. «Крепко ж за тебя молятся, несмышлёныш. Счастлив твой Бог», — сказал безымянный дед, спасший жизнь лихому солдату и ставший четвёртым в его золотом списке. И это был ещё не конец пути, удалось проехать всего один прогон, а дальше надо было снова искать поезд на Сталинград.

В Сталинграде всё отменно удалось — пробиться к капитану Горохову, отдать письмо лейтенанта Титаренко и замолвить словечко за себя (кончил физмат... пропадаю в обозе... прошусь в артиллерию). Горохов, высокий светловолосый капитан, выписал солдату личный пропуск в штаб артиллерии, к майору Чубукову: тот внимательно выслушал, поверил на слово — и (пятый в списке!) выдал направление в АКУКС (Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава).

Сталинград не приманил остаться ни одного лишнего дня — ждала железная дорога с обратными поездами. Лейтенант Титаренко остался доволен исходом дела — вскоре капитан Горохов забрал его к себе в мотопехоту. Рядовому Солженицыну нужно было ещё продраться через своего командира батальона, получить открепление, чтобы дать законный ход диковинной бумаге Чубукова. С комбатом, однако, сначала не повезло: раскричался (почему не по форме? не по команде? почему минуете? что из себя возомнили?), рапорт порвал в клочья, пригрозил гауптвахтой. Но опять выручил Титаренко — новый рапорт через полчаса, перед самым обедом, сам подал среди других бумаг, листать не дал и только углы отворачивал для подписи. И подпись комбата — косую, размашистую — получил.

Красноармеец Солженицын получал новое командировочное предписание в город Семёнов Горьковской области, на курсы усовершенствования командиров батарей, и сухой паёк на три дня. Маршрут был ясен — через Москву и Нижний Новгород, и он уже представлял мелкие и крупные станции, продовольственные ларьки, теплушки, платформы, паровозы. Но опять сказочно повезло: брат школьной соученицы и студенческий приятель в кондукторской форме Алтыкис, которого Саня увидел на подножке пассажирского поезда Москва—Баку (переезжал авиационный завод), впустил в вагон, и часть пути прошла в прекрасном купейном благополучии. А другой ростовский приятель по университету, Толя Строков (учился на курс младше, вместе готовились путешествовать по Кавказу), встреченный в театре Нижнего Новгорода, куда солдат Солженицын пришёл погреться до полуночи, увёл земляка досыпать до рассвета в студенческое общежитие. Оставалось одолеть последний железнодорожный пролёт Горький—Семёнов.

Спустя три недели после отъезда из Дурновки, ранним и ещё холодным утром 8 апреля 1942 года, Солженицын сошёл с паровозной сплотки на малолюдной станции Семёнов. Он был у цели, в получасе ходьбы от артиллерии и курсов командиров батарей. Но — ледяным предостережением дохнул на него дикий случай на станции: дюжие охранники непонятным образом задержали его прямо на перроне, завели в ТОГПУ (транспортный отдел ГПУ), обозвали «гадиной» («положи портфель! три шага назад!»), велели без промедления признаться, что он беглый зэк из Унжлага (красноармеец искренне не догадывался, о чём идёт речь, и понятия не имел, что к городу Семёнову примыкает ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь, названный по здешней реке Унже), сверлили глазами его портфель и потребовали предъявить документы. Но бумаги оказались подлинными, и после нескольких вопросов его нехотя отпустили, велев больше не попадаться.

Первая открытка из АКУКСа (матери) была послана на следующий день, 9 апреля 1942 года. Допросом в ТОГПУ закончилась Санина солдатская жизнь, и её итог был, несомненно, в пользу солдата. «Я попал в офицеры не прямо студентом, за интегралами зачуханным, но перед тем прошёл полгода угнетённой солдатской службы и как будто довольно через шкуру был пронят, что значит с подведённым животом всегда быть готовым к повиновению людям, тебя, может быть, и не достойным», — писал Солженицын четверть века спустя; но всё же он продержался эти полгода, не

скис и не сдался. Он научился видеть себя со стороны, глазами необразованного мужика с Дона, и сделал необходимые выводы. Он разглядел за серой массой обозников живые характеры, запомнил и цепким писательским взглядом ухватил и ничтожного революционера из-под Воронежа, и добрейшего сослуживца-сибиряка, и колоритного одессита, первого своего благодетеля на пути в артиллерию.

Солженицын-солдат выдержал экзамен на тяжёлый однообразный труд и — на свою человеческую состоятельность, доказав товарищам по лошадиному взводу, что высшее образование даже и на фоне конюшни имеет не смешную, а практическую, полезную сторону. Ни навоз, ни обозная наука не отняли у молодого учителя способности писать романтические письма и сочинять лирические стихотворения, и он ещё из Дурновки списался с МИФЛИ (которое в войну влилось в МГУ) и получил оттуда программы учебных курсов. Он не смирился с безопасной службой в глубоком тылу, хотя всегда мог бы оправдать её серьёзным диагнозом своего призывного свидетельства и правилами военного времени о мобилизации ограниченно годных. Саня — имея память об отце-артиллеристе, обострённое гражданское чувство и здоровое мужское честолюбие, — рвался на фронт.

А впереди была вся война, и оставался серьёзный шанс глазами военного человека понять страну и народ, чью историю — по юношеской самоуверенности — он намеревался писать и после всех злоключений в обозе не передумал.

Глава вторая

АЗБУКА ОФИЦЕРСТВА И АЗЫ ЗВУКОМЕТРИИ

Начальник штаба 74-го Отдельного гужевого транспортного батальона лейтенант Титаренко был прав, когда усомнился в бумаге майора Чубукова, со штампом Управления артиллерии штаба округа, которую Солженицын вёз из Сталинграда в станицу Ново-Анненскую, в штаб батальона. «Как же это может быть: рядового — и сразу на курсы усовершенствования командиров батарей? Они же все — старшие лейтенанты да капитаны, с какой ты будешь стороны при них? Это — мудро что-то. Они тебя не примут».

Те несколько апрельских дней, что Солженицын пробыл в Семёнове, подтвердили сомнения: курсы АКУКС, где ускоренно давали знания по математике артиллерийским офицерам, не могли дать рядовому, хоть и с высшим математи-

ческим образованием, офицерского звания. Но майор Чубуков знал, что делал, подписывая направление: из АКУКСа солдата уже не вернули в обоз.

Полковник Кожевников, начальник курсов, дал ездовому Солженицыну направление в 3-е Ленинградское артиллерийское училище, которое с начала войны было эвакуировано в Кострому. 14 апреля 1942 года, промыкавшись несколько дней на железной дороге, Саня вошёл на территорию военного городка, где располагалось училище. В трёхэтажном кирпичном здании был штаб и управление 3-го ЛАУ, рядом деревянная казарма. «Я пошёл, — вспоминает Солженицын, — к начальнику училища полковнику Слепакову, в своей жёванной с одного боку короткой шинели и с школьным портфелем в руках. Он расхохотался и сказал: "Учитель! А по какой вы специальности? По высшей математической? Так мы вас определим в звукобатарею"». Уже 2 мая, в Ростове, Таисия Захаровна читала письмо сына-курсанта из Костромы.

До войны обучение в артиллерийском училище длилось три года. Теперь здесь учили краткосрочно — кого полгода, кого восемь-девять месяцев, и называлось это *курсами при училище*, хотя всё равно при выпуске курсантам (за редким исключением) присваивалось лейтенантское звание, заветные две звёздочки. Солженицын появился в училище с трёхмесячным опозданием и пробыл в Костроме чуть более полугода. Но при его математической подготовке все дисциплины, связанные с расчётами, давались легко; так же легко удалось овладеть материальной и инструментальной частью, навыками звуковой разведки. На полевых учениях отрабатывали боевую стрельбу, курс рассыпáли по местности, «огневики» стреляли, «звуковики» засекали звуки, по которым должны были определить пункты нахождения огневой точки и давать правильные ориентиры «огневикам». Приёмники батареи звуковой разведки передавали сигналы на центральную станцию батареи, где были принимающие приборы. «Я руководил корректировкой стрельбы огневой батареи при помощи моей БЗР. Здорово! Из прежних выпусков ни одному курсанту не вываливало такое счастье», — писал Солженицын 26 июля 1942 года в дневнике, который недолго (июль—октябрь) вёл в училище, но с первых же записей «снова почувствовал себя писателем».

Многих курсантов направили сюда после средней школы, так что Саня с его университетским дипломом выделялся и возрастом, и серьёзностью, и подготовкой. «Превосходство новичка мы почувствовали быстро, — вспоминал (1996) бывший курсант В. М. Катаев. — За пару недель Солжени-

цын наверстал упущенное, и уже мы стали обращаться к нему за консультациями». Другой сокурсник, Н. М. Веретевский, рассказывал (1998), что Саня легче и глубже других постигал артиллерийскую науку. «Не случайно преподаватель звукометрии инженер-капитан Смирнов неоднократно поручал Солженицыну проводить с курсантами занятия. Я хорошо помню, как Солженицын в аудитории разъяснял висевшую на стене сложную электрическую схему регистрирующей станции, находящейся на вооружении в звуковой разведке. По поручению того же Смирнова он руководил нами при выполнении инженерных работ на учебных артиллерийских стрельбах в районе деревни Домнино, родины Ивана Сусанина».

Всем, кто знал Солженицына-курсанта, запомнились его пунктуальность, собранность, сосредоточенность, а также то, как в свободные часы он рвался в библиотеку училища, как, совершенствуя свой немецкий, успевал между двумя строевыми командами заглянуть в карманный словарик. Он был уверен — *время войны нельзя терять для самообразования*. Потому, наверное, его сильно тяготила «мундирная» дисциплина. «То обстоятельство, — писал Саня домой, — что для книг у меня специальный портфель, политрук назвал “студенческой распущенностью” и велел, чтоб его не было. Раза 3—4 в день мóю и чищу сапоги. Чуть пятнышко — наряд. Особое внимание обращается на заправку постелей, на то, как уложено одеяло и подушка, где пряжка пояса, как одета пилотка (Саня её сильно сдвигал назад. — *Л. С.*), как вычищена и помыта кружка (а времени помыть её не дают) — тысячи обязательных мелочей надо выполнить за несчастный часик “свободного” времени, который удаётся выкроить в день. Газет читать совершенно некогда, радио всё время в лагере включено, но ни одних последних известий не услышишь — всё это время занят в другом месте».

Так или иначе, за ним было признано право на самоподготовку — распоряжением командира дивизиона артиллерийской инструментальной разведки майора Савельева от 18 июня курсант получил освобождение от нарядов и работ на полтора месяца. Появились драгоценные часы, когда он мог читать и писать. В Костроме существенно изменились его взгляды на дальнейшую учёбу. От артиллерийской академии, которая в обозе казалась пределом мечтаний (и куда способного курсанта готов был направить майор Савельев), Солженицын категорически отказался: уйти в академию, находившуюся теперь в Средней Азии, значило бы никогда не попасть на фронт, но навсегда остаться военным. А курсант,

впитывая необходимый минимум военных наук и готовясь к серьёзной боевой работе, снова бредил языками, латынью, чтением «стариков»; ждал вестей *от* МИФЛИ или *о* МИФЛИ и считал, что своим литературным трудом (речь шла в первую очередь о «Русских в авангарде», то есть о главах романа об Октябре) принесёт Революции бóльшую пользу, чем если бы он стал кадровым военным.

Лето 1942 года, несмотря на успехи в звукометрии и самообразовании, было для Солженицына трудной порой: не давали покоя судьба родных в Ростове и сам Ростов. Наташа вернулась домой в начале апреля, когда город был уже прифронтовой полосой, и получила место лаборанта на химфаке университета (работали по десять часов ежедневно по оборонным заказам, изготовляли запалы). Трамваи не ходили, вузовскую молодёжь чуть не каждый день посылали на трассу рыть противотанковые рвы. Таисия Захаровна сильно кашляла, страшно исхудала, изматывая себя беганьем по хлебным очередям. Решетовские старались опекать её, и Наташа писала на фронт: «Самыми близкими людьми сейчас здесь у меня являются наши мамы, чего прежде никогда не было». Саня успокаивался и благодарил...

С середины июня Ростов систематически подвергался бомбардировкам. 20-го бомбы были сброшены возле телеграфа, почтамта, на углу Большой Садовой и Будённовского, где располагалась академическая библиотека РГУ: она осталась без единого стекла. В тот день многих недосчитались, осколком ранило Д. Д. Мордухай-Болтовского. В начале июля бомбёжки участились, 7-го бомба угодила в здание физмата, и оно горело сутки; от лаборатории, где работала Наташа (она едва успела спуститься в убежище), не осталось ничего. Сгорел дом на Чеховской улице, где Саня с женой снимали комнату в 1940-м, их квартирная хозяйка погибла. Университет спешно эвакуировался в Киргизию. Ростовчане просыпались по ночам от грохота советских зениток, от завывания немецких самолётов. Ежедневные сводки действовали как электрошок. Лавина немцев катилась на юг России; в июльские дни горожане получили на руки эвакуационные листы — это означало, что Ростов будет сдан врагу.

Наташа, её мама и обе тёти, а также Таисия Захаровна (успевшая перед отъездом перевезти Санин письменный стол и другую мебель к своей приятельнице М. Д. Куликовой) уезжали из обречённого города ночью 17 июля, в грозу, под вой немецких самолётов и разрывы бомб. Едва миновали железнодорожный мост, как он был взорван. В Минеральных Водах расстались: Таисия Захаровна поехала

дальше, в Георгиевск, к сестре Марусе (после долгих колебаний она решила эвакуироваться к ней, и Решетовские не возражали), а Наташа с тётями и мамой двинулась в Кисловодск к её сестре, Е. К. Владимировой.

Потерю Ростова, прорыв немцев на Кавказе и разгром Красной армии на юге страны Солженицын воспринимал невероятно болезненно — как смертельную опасность или потерю дорогого человека. Он не мог представить себе немцев на улицах Ростова, в домах и квартирах горожан. «Что Ростов сдан — это не умещается в моей голове, — писал он жене 29 июля, на следующий день после падения города. — И в такие-то дни нам вдруг сообщают, что, может быть, задержат здесь ещё на полтора-два месяца. Не выдержу!» В эти самые дни в Кострому был переведён Толя Строков, тот самый, что в апреле так счастливо встретился Сане в Горьком и приютил его на ночь. Строков, земляк (из Батайска) и родная душа, понимал, чтó такое Ростов; и они вместе с Саней за атласом Кавказа переживали каждый захваченный метр российского юга.

Обстановка на фронте была исключительно серьёзной. 28 июля (в день сдачи Ростова) всем воинским частям объявили сталинский приказ № 227, вошедший в историю под названием «Ни шагу назад!». «Бои идут в районе Воронежа, на Дону, у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами... Часть войск Южного фронта, идя за паникёрами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьёзного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамена позором». В приказе говорилось, что народ теряет веру в Красную армию, которая отдаёт людей под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток. «Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону... Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение... Паникёры и трусы должны истребляться на месте... Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины».

...Был момент в начале августа, когда перспектива окончить курсы казалась призрачной — каждый день курсантов могли снять с занятий и послать на передовую. И каждый день Солженицын жадно ждал, что наступит перелом в хо-

де войны. «Ростов! Вопить! Кричать! Мир обрушился! Там — дом... Люди, окружающие меня, представляют наши территориальные потери отвлечённо. Они их не видели!» (дневник от 9 августа 1942-го). Он невыразимо страдал от неизвестности — что стало с мамой после падения Ростова; от неё не было писем с момента эвакуации. Только в середине августа он получил из Георгиевска её июльское письмо — она сообщала, что живёт у Маруси и наконец-то обрела покой и отдых. «Такое письмо сейчас — это нож в сердце, лучше бы не получать его. Ведь Минеральные Воды!..» — восклицал он в дневнике, уже зная, что железнодорожная связь с Минводами прервана, и значит, отрезаны и Георгиевск, и Кисловодск. Это значило также, что мать остаётся под немцами (брезжила слабая надежда — в рабство немцы её, больную, не возьмут и, старую, не тронут) и что Наташе с её мамой надо бежать из Кисловодска — но как? куда? с чем?

То, что жена, тёща с сестрой и племянницами благополучно выбрались из Кисловодска (а тёти Решетовские там остались), пешком топали несколько дней по шоссе Пятигорск—Нальчик, оттуда поездом в Баку, потом месяц ехали в Казахстан, Солженицын узнал, соответственно, в конце августа и в конце сентября. А пока не знал — маялся и метался, ощущая «чёрную пустоту и никчёмность». Страх, что он потеряет Наташу или что она останется у немцев, отравлял жизнь и мутил сознание. Тяжёлым камнем давила мысль о матери. «Где сейчас мама? Как должна она бесконечно тосковать обо мне... Может быть, она переехала в Ростов?» — написал он 9 октября, не подозревая, что 10-го она-таки двинется из Георгиевска в Ростов. «Мама моя осталась в Георгиевске, — пишет он неделю спустя, — иначе разве она могла бы молчать два с половиной месяца? Я, собственно, и не мог ожидать, чтобы она тронулась с места — тяжело это для неё, да и надеялась, наверное, что наши скоро вернутся. Бедная моя мамочка, долго ли она переживёт разлуку со мной? Её-то вряд ли куда-нибудь увезут по здоровью и по возрасту. Но что она сейчас думает обо мне? Долгими осенними ночами в хибарке с земляным полом, низким потолком без коптилки будет ворочаться с боку на бок, в дождливые грязные сумерки сидеть у крохотного оконца и всё думать: жив ли я? или уже убили? Хоть бы уж поехала в Ростов, если такой переезд вообще возможен». Поразительно, но именно так и поступила Таисия Захаровна. Для Сани же изматывающая неизвестность продлится целых десять месяцев.

Порой только чтение давало силы пережить душевный мрак; и он по-студенчески жадно набрасывался и на газеты,

и на книжную добычу; изучал труды Тимирязева о дарвинизме, книги по истории дипломатии, погружался в «Тихий Дон» («Шолохов — действительно хороший, очень милый русский писатель, этак на уровне Лескова»), читал Горького, Корнейчука, речи Ленина 1918 года, заглядывал в Лессинга («Minna von Barnhelm» по-немецки), попалось даже «Введение в современное учение о материи и движении» А. А. Максимова, философские очерки современной теоретической физики, вышедшие в 1941-м. «Почитаешь, почитаешь — разомнешь мозги, как разминает отёкшие ноги долго сидевший человек, и немного позабудешь свою жалкую жизнь в Костроме».

Ещё весной разыскала его Лида Ежерец. Саня как-то сам предложил писать ему «как в дневник». Теперь она рассказывала про свою эвакуацию, как полтора месяца добиралась баржами и теплушками до Чимкента, как попала под воздушный налёт, как жила в нетопленом вагоне, как металась в поисках жилья и работы, как давало себя знать больное сердце, как всё же начала писать, и уже были рассказы, стихи. Девушка отважилась на признания до того откровенные, что Саня, получая в Костроме её листки, порой не верил своим глазам: она писала о своей безнадёжной и неразделённой любви к Кириллу, о том, что хочет иметь близкого человека, мужа-друга, хочет ребёнка — своего или чужого, осиротевшего. «Насколько моя переписка с тобой содержательней, чем наш с Кириллом обмен письмами, хотя мы с ним знаем друг друга до донышка». Саня отвечал тепло и сердечно, стараясь смягчить остроту её переживаний. А Лида, узнав подробности эвакуации Саниных родных, испытала странную досаду. «Почему они не вместе? Разве в такое время можно разделяться?..» Вскоре она писала Наташе: «Счастлива за всех вас, что вы спаслись, но не могу без ужаса думать о бедной Таисии Захаровне...»

Ближе к августу прояснилась и судьба друзей, разбросанных войной. Оказалось, что Кирилл жив, не мобилизован, ушёл пешком из горящего Ростова, где-то южнее Батайска сел на буфер и доехал до Каспия, потом добрался до Ташкента, куда эвакуировалась его сестра Надя, в июле снова был в Ростове, работал в санчасти и как-то вместе с Наташей спускался в бомбоубежище. Миля Мазин учительствовал в Ростовской области, как ограниченно годный не был ещё мобилизован и теперь находился в эвакуации с женой и годовалой дочкой. Кока был на фронте, писал открытки телеграфного типа, летом 1942-го их переписка временно сошла на нет.

В конце июня курсант Солженицын прослышал, что его могут оставить в училище преподавателем звукометрии или командиром взвода. Несомненно, это выглядело заманчиво: любимая артиллерия, тем более артразведка, счастливым образом сочеталась с преподавательским занятием (а он ещё в Морозовске понял, как любит преподавать). И опять же: останься он в Костроме обучать курсантов наинужнейшей армейской специальности, никто никогда не упрекнул бы его — государству во время войны и впрямь виднее, где нужен тот или иной офицер. Но Солженицын, уже год добиваясь отправки на фронт, никогда не простил бы себе малодушного решения и презирал себя за то, что мысленно (только мысленно!) допускал «мещанский» вариант, обеспечивавший ему и его жене (немедленно бы вызванной сюда) квартиру в Костроме, хорошее снабжение, покой и уют. Главная установка оставалась неизменной — нельзя стать большим русским писателем, не побывав на фронте. «Есть опасность, равносильная смерти, — записал он в дневник 27 июля, — прожить войну и не видеть её. Что будет тогда из моих “Русских в авангарде”? Кто поверит хоть единому их слову?» Толя Строков тем временем отбывал-таки в академию, на инженерную специальность, а Саня снова убеждал себя, что *писатель* Солженицын должен ехать на фронт.

Разгорались бои за Сталинград, сводки ухудшались день ото дня; надежды на второй фронт почти не осталось (Солженицын по радио слушал выступления Черчилля и Гарримана), и нужно было рассчитывать только на свои силы. В сентябре, незадолго до выпуска, он наотрез отказался остаться в училище: перспектива застрять в Костроме и не попасть на передовую виделась как творческая смерть; участь тылового преподавателя на фоне Сталинградской битвы казалась мелочной и бездарной. «Торговать собой не могу. Заниматься дёрганьем и школьничеством, вместо того, чтобы идти в бой с пожилыми русскими, вместо того, чтобы увидеть Русь и Европу, — не могу!» (дневник, 5 сентября).

8 сентября курсант Солженицын написал решительное, отчаянное письмо майору Савельеву: «Мой родной город Ростов захвачен немцами; дом, в котором я жил, сгорел; университет, в котором я провёл лучшие годы, разрушен; мать моя осталась в руках у немцев; жена неизвестно где... Отпустите меня на фронт, где будут по-настоящему полезны мои знания и моя ненависть». Ещё через три недели, в конце сентября, он признался дневнику: «Пока на территории Сталинграда наши войска продолжают сопротивление, — до тех пор основные ударные силы гитлеровской армии скова-

ны и не могут двигаться на Саратов, на Москву. Знаю, что на фронте придётся очень тяжело, что оттуда не раз захочется вырваться в безопасность тыла, ибо я не так уж храбр и очень беспокоюсь за свою будущую жизнь, — и, несмотря на это, одно желание: на фронт!»

В течение всего октября курсанты пребывали в подвешенном состоянии — сроки выпуска из училища то и дело менялись. Даже в конце месяца, когда их аттестации были отосланы в Москву на утверждение, возник слух, что выпуск задержат до Нового года. Сознавать это было мучительно, и Солженицын прямо-таки негодовал, считая потерянными для настоящего дела и сентябрь, и октябрь. В течение целого года на фронте происходили колоссальные события, а он был полностью оторван от них. Он ощущал себя в Костроме надоевшим родственником — и оказался в двусмысленном положении, когда пришлось, замещая командира взвода лейтенанта Богданова, проводить занятия с курсантами: это снова создало опасный прецедент.

Его уши были теперь у репродуктора, его глаза — над географическим атласом. Заканчивалось второе лето противостояния Гитлеру, который толкал глыбу войны руками всей Европы, но так и не сломил русскую стойкость. Не сломит и ещё два лета, уверенно размышлял Солженицын. «Даже сейчас, когда выяснилось перед всем миром новое предательство англичан, даже сейчас Гитлеру стоит задуматься: неизвестно, выдержит ли эти два лета Германия. Больше того, чтобы пережить два лета, надо пережить *три зимы*. А это даст *шесть зим* для Германии и Европы, шесть *военных* зим. Неизвестно, не взорвётся ли за это время Германия... В общем, трудно, очень долго и трудно будем идти к победе, — писал он жене в конце октября. — Но кажется мне, что придём».

Он верил в победу как в непреложность, и эта вера, опережая время, устремлялась туда, где чудом могли сохраниться его довоенные сочинения. «Напиши мне, — просил он жену на исходе костромского октября, — чтó осталось из моих тетрадей и прочих писаний в Ростове, чтó ты или моя мама забирала в Кисловодск или Георгиевск. Когда вы отправлялись из Кисловодска — было, ясно, не до этого. И ещё один смешной вопрос: где моя зачётная книжка МИФЛИ?» Ему, знавшему тяжёлые подробности эвакуации жены и тёщи и, напротив, ничего не знавшему о положении мамы, было страшно (и неловко) спрашивать о своих стихах и рассказах. Но никуда нельзя было деться от себя, от своей писательской страсти. И он мог только дневнику признаться, как,

несмотря ни на что, тоскует по своим наброскам, конспектам, книгам, словарям. «Почему-то сверлит голову маленький изящный коричневый словарик по латыни, купленный перед самой войной. Прямо расцеловал бы его, если бы он был сейчас у меня...»

«Там. Уровень юношей. Воспитание жестокостью. Полевые учения, скудость костромских деревень» — по такому плану предполагал Солженицын позднее, в продолжение повести «Люби революцию», писать о костромском периоде своей армейской биографии. Осуществился этот план, однако, лишь отчасти и лишь тогда, когда впечатления военной молодости были серьёзно переосмыслены.

«А потом ещё полгода потерзали в училище, — напишет Солженицын в «Архипелаге». — <...> Но хотя бы сохранил я студенческое вольнолюбие? Так у нас его отроду не было. У нас было строелюбие, маршелюбие. Хорошо помню, что именно с офицерского училища я испытал радость опрощения: быть военным человеком и не задумываться. Радость погружения в то, *как все* живут, как принято в нашей военной среде. Радость забыть какие-то душевные тонкости, взращённые с детства. Постоянно в училище мы были голодны, высматривали, где бы тяпнуть лишний кусок, ревниво друг за другом следили — кто словчил*. Больше всего боялись не доучиться до кубиков (слали недоучившихся под Сталинград). А учили нас — как молодых зверей: чтоб обозлить больше, чтоб нам потом отыграться на ком-то хотелось. Мы не высыпались — так после отбоя могли заставить в одиночку (под команду сержанта) строевой ходить — это в наказание. Или ночью поднимали весь взвод и строили вокруг одного нечищеного сапога: вот! он, подлец, будет сейчас чистить и пока не до блеска — будете все стоять. И в страстном ожидании кубарей отрабатывали тигриную офицерскую походку и металлический голос команд».

---

* В рассказе «Всё равно» годы учёбы вспоминает командир роты лейтенант Позущан: «По училищу знаю: воруют. И интенданты, и на кухне, и до старшин. Мы, курсанты, всегда были как собаки голодные и обворованные». В дневнике 1942 года (запись 5 сентября) Солженицын писал об обстановке в училище, «где никого не интересуют даже сводки с фронта, где лейтенанты завидуют курсантской еде и ходят шакалить в курсантскую столовую, а курсанты завидуют лейтенантской жизни, где командиры батарей требуют от командиров взводов чистоты классов, чистоты имущества — и это основное, где политруки и комиссары день и ночь спят, в промежутках едят и больше ничего не делают, где командиры взводов только и думают, как подставить друг другу ножку при сдаче караула, дежурства, да напиться в субботу, потанцевать и сходить в кино».

Вряд ли всё же 3-е ЛАУ содержало в своей программе какие-то особо жёсткие пункты, отличающие военную подготовку именно этих курсантов в дурную, бесчеловечную сторону. И вряд ли без муштры, назиданий и наказаний обходилось когда-нибудь какое-нибудь военное учебное заведение. Так что «воспитание жестокостью», о котором в порыве раскаяния (мол, тоже поддался этому воспитанию) собирался писать Солженицын в повести «Люби революцию», не могло помешать вполне тёплым, товарищеским отношениям, которые сложились у него там. Земляк Толя Строков, с которым переживали за русский юг; симпатичный ленинградец Кирш, скрипач и консерваторец, получивший, как и Саня, разрешение на самоподготовку от майора Савельева; способнейший Ваня Останин, отчисленный за соцпроисхождение («В Сталинградские дни 42-го года, — писал А. И. в повести «Адлиг Швенкиттен», — из их училища каждого третьего курсанта выдернули недоученного на фронт. Отбирал отдел кадров, на деле Останина стояла царапинка о принадлежности к семье упорного единоличника. И теперь этот 22-летний, по сути, офицер носил погоны старшего сержанта»). Наконец, Виктор Овсянников, мягкий, простодушный, с окающим говорком курсант из-под Владимира. Уже на фронте Солженицын полюбил его, как брата, и позже запечатлел в «Архипелаге»: «Был у меня командир взвода лейтенант Овсянников. Не было мне на фронте человека ближе. Полвойны мы ели с ним из одного котелка, и под обстрелами едали между двумя разрывами, чтобы суп не остывал. Это был парень крестьянский, с душой такой чистой и взглядом таким непредвзятым, что ни училище наше, ни офицерство его нисколько не испортили. Он и меня смягчал во многом. Всё своё офицерство он поворачивал только на одно: как бы своим солдатам (а среди них много пожилых) сохранить жизнь и силы». Учились с ними, а потом вместе воевали и Фёдор Ботнев, и Владимир Снегирёв (впоследствии посол в Камеруне и Нигерии).

Да и об офицерах училища курсанты вспоминали добрым словом. «Командирами взводов, — рассказывал Н. М. Веретевский (1998) — у нас в дивизионе были лейтенанты Богданов, Чистяков, командиром батальона — капитан Могилевский. Все они были ленинградцами, красавцами и гитаристами. Когда они пели, мы все очень любили слушать, и Солженицын тоже. Одну песню я помню особенно хорошо: “На Кавказе есть гора, самая большая, а под ней течёт Кура, мутная такая...”»

А Богданов, бывший комвзвода, много лет спустя тепло рассказывал ветеранам 3-го ЛАУ, как однажды вечером к нему в казарму прибыл новый курсант, высокий, худой, в куцей солдатской шинели и в обмотках, Александр Солженицын...

Но, наконец, с училищем все счёты были покончены. 2 ноября 1942 года курсантам зачитали приказ о выпуске, и в тот же день лейтенант Солженицын писал жене уже с вокзала: «Частично уже обмундировался, частично дообмундируюсь завтра... Безумно рад, что меня не оставляют в Костроме».

Прекрасным сюрпризом железнодорожного маршрута из Костромы в Саранск, куда отправлялись выпускники-артиллеристы, стала пересадка в Москве. Полдня 4 ноября Солженицын бродил по городу, спускался в метро, поражаясь мирному виду столицы (о воздушных налётах прошлого лета напоминали лишь аэростаты воздушного заграждения на бульваре). На Моховой, в Московском университете, куда теперь влился МИФЛИ, напротив, ощущался особый дух военного времени, и новоиспечённому лейтенанту хотелось, прогуливаясь по аудиториям, отдавать приветствия профессорам на офицерский манер. Его вспомнили, сердечно приняли и даже пустили в библиотеку заочного отделения. Как пьяный, набрасывался он на полки с книгами: в них обреталась надежда на послевоенное литературное будущее.

В Саранск прибыли 6-го. Здесь начал формироваться 794-й Отдельный армейский разведывательный артиллерийский дивизион — ОАРАД и готовилась вся инструментальная разведка Красной армии. С первых дней начались регулярные занятия, самоусовершенствование командиров. Но всё же это был пока резерв — и всё ещё тыл. «Резерв — это значит: ты пока не нужен, голубчик. Резерв — это значит: тебя призовут к действию, может быть, завтра, а может быть, через год».

Но это не значило для Солженицына, что надо распускаться и бездельничать. Он давно понял, чем должна быть заполнена жизнь в моменты любых пауз. Сюжетов для задуманных «Военных рассказов» набралось немало, но по вечерам шалило электричество, было очень холодно во всех помещениях и просто — пока «не шло». Оставалась учёба. Он немедленно записался в городскую («республиканскую мордовскую») библиотеку, обследовал библиотечку полковую и стал читать в соответствии с планом: полный набор программ по западной, античной, русской литературам всех веков был прислан из университета. По каждой прочитанной книге вёл записи в специальном блокноте из звукометриче-

ской ленты. К тому же теперь с ним были великолепный учебник латыни, карманные немецкие словарики, английские адаптированные книжки.

Первые дни молодого лейтенанта занимала форма («побрякушки»). «Через плечи — ремни. Полевая сумка, кобура. Пуговицы на гимнастёрке "золотые". Чёрные петлицы гимнастёрки окантованы золотым шитьём. В петлицах меднеют скрещённые пушки — артиллерийская эмблема, краснеют кубики». Лёгкая пилотка довершала летнюю форму. Но ведь холод, мороз, лёгонькие бумажные брючки, замерзающие уши, деревенеющие руки...

Его библиотечные пылания были замечены — не прошло и недели, как замполит батареи, аспирант-историк Киевского университета, назначил лейтенанта Солженицына агитатором среднего комсостава и предложил взять тему для доклада. Долго думать не понадобилось: жгла судьба родного города-страдальца. «Битва за Ростов в ноябре 1941 г.» — так назвал Солженицын свой доклад (материалы к которому видел в журнале «Военная мысль», со страшными подробностями о сражениях) и немедленно начал готовиться в городской библиотеке. По старой студенческой привычке — выгадал время для газет и журналов, для нечитаного Драйзера (успел с наслаждением проглотить «Гения» в два приёма), набрал книг по истории русской литературы; читал Бальзака, Сервантеса, Мольера, Мериме, Эренбурга, статьи Луначарского о русской литературе.

Свою жизнь в Саранске в ноябре 1942-го Солженицын называл малозаботной и сетовал, что она течёт слишком ровно для армии и войны, что резервное существование баюкает и развращает. Он старался заниматься после отбоя и просиживал до второго часа ночи, закрывшись в ленинской комнате; запретил себе ходить в кино и на концерты в клуб полка — зато начал сочинять свой первый военный рассказ («Лейтенант») — о ноябрьских событиях в Ростове.

В эти дни он вдруг остро осознал, что переписка с женой имеет странные изъяны. Теперь, когда у обоих были стабильные адреса и ничто, казалось, не могло мешать обмену письмами, всё как-то застопорилось. Почта? Цензура? Но ведь приходили письма отовсюду всем вокруг. Наташина довоенная привычка изматывать его молчанием в разлуке? Но ведь идёт война — не до старых привычек! Он был убеждён — если бы она писала больше, письма, даже и блуждающие где-то, приходили бы чаще. Уже с сентября Наташа жила со своей мамой в Талды-Кургане, устроилась преподавать химию в техникуме пищевой промышленности, заме-

щая воюющих преподавателей. Два месяца Саня получал от неё одни открытки — «как от знакомых: два-три слова... Хоть бы одно подробное среди них!». Он знал, что ей пишет и Кока — интересно, как часто она радует письмами приятеля? «Тщетно четверть года ожидаю твоего подробного письма», — писал он в ноябре. «Как обедняешь ты мою жизнь своим молчанием!» — в декабре. Потом слал телеграмму, что не получает её писем, и снова горькое письмо: «Твоё молчание чудовищно, оно крадёт у меня всю радость жизни». Не дожидаясь ответа, писал дважды, а то и трижды в неделю, мелкими, с булавочную головку, буковками, стараясь уместить в двух положенных листках военного треугольника как можно больше текста (тратил на каждое письмо часа по два). Без конца отпрашивался и бегал на почту — у окошек «до востребования» его уже знали, кричали издалека: «Нету, нету!» — или острили: «Ей некогда писать». Ругался с полковым почтальоном, забывшим как-то раз отдать долгожданное заказное письмо. Стал высылать деньги из своей лейтенантской зарплаты, оставляя себе минимум на еду и конверты, продавал лишние вещи и ждал, ждал, пока придёт хотя бы подтверждение, что деньги получены; но подтверждений не было, и он подавал жалобы и запросы. Снабжал жену книгами и учебниками (покупал на базаре); чистой бумагой (пригождалась звукометрическая лента); перьями и словарями (отсылал свои); тёплыми вещами из офицерского обмундирования. Потом приходила почта, и ему вываливалось сразу то 14, то восемь писем из Талды-Кургана, и он писал снова и снова. Как-то он шутя предсказал, что после его сто двадцатого письма жене война кончится. Осенью 1942-го их набралось уже под сотню, не считая телеграмм и бандеролей...

В 20-х числах ноября началось долгожданное наступление под Сталинградом, и можно было надеяться, что вскоре фронт переместится поближе к Ростовской области. 29 ноября, в годовщину первого освобождения Ростова, он сделал, наконец, доклад на офицерском семинаре. Дебют удался, его слушали с напряжённым вниманием даже самые сонливые полковые офицеры. Да и материал был собран впечатляющий: театр боевых действий и стратегическое значение Ростова, оперативная обстановка и оценка сил противника, танковая доктрина немцев и её крушение, качество обороны и удары наших частей, трудности битвы и её итоги; фрагменты военных карт и схемы расположения сил. Докладчик был горд, что первая фронтовая наступательная операция в Отечественной войне, где Красная армия победила с меньшими силами отборные танковые части врага,

была связана с его родным городом. Ростов стал первым крупным населённым пунктом, который немцы отдали за два с лишним года. Германии был нанесён ощутимый моральный удар — и докладчик с воодушевлением цитировал оценки ростовской операции международной печатью и жалкие оправдания Геббельса.

С этого дня ораторские способности лейтенанта Солженицына усиленно эксплуатировали — и он даже тяготился эффектом своих публичных речей. Политруки полка «сложили ручки и валят всё на меня — доклад, беседа, выступление». Зато лейтенант мог отпроситься из военного городка на целый день в городскую библиотеку. Так, готовясь 5 декабря к докладу о конституции, он буквально проглотил новеллы Мериме, а также Эренбурга, третью часть «Падения Парижа».

Резервное благодушие тем же вечером и окончилось — пока докладчик сидел в читальне, произошло назначение командиров-резервистов в новые части. Дивизион АИР (артиллерийская инструментальная разведка) состоял из одной большой батареи звуковой, одной топографической и одной световой. Лейтенант Солженицын получил должность заместителя командира звуковой батареи и, хотя не имел ни на йоту военного тщеславия и был готов к любому повороту событий, должности (которая была больше, чем командование взводом) искренне обрадовался. Трое суток его не оставляли в покое, тормошили днём, будили по ночам, тянули во все стороны — шло усиленное формирование батареи, и заветные книжки, набранные по библиотекам, скучали на тумбочке в командирском общежитии.

«Комбат у меня парень крепкий, 1910 года рождения, в армии служит 8 лет. Образования особенного не имеет, зато жизненный опыт у него большой. Думаю, что мы с ним сработаемся». Так писал Солженицын о своём комбате С. М. Степанове 8 декабря, а 13-го сам принимал пополнение. Солдаты были всё более пожилые, многодетные, некоторые воевали ещё на фронтах германской войны, кто-то был ранен в Гражданскую. Многие годились ему в отцы, так что, уча их звукометрии, нужно было у них учиться жизни. Для писателя, который ещё не видел войны, не видел человека в бою и ещё ничего не написал, это было серьёзное приобретение. Колхозники, бухгалтеры, слесари, пекари — каждый из них был драгоценным человеческим типом, ярким характером и... просился в блокнот (позже, считал лейтенант, наблюдения можно было бы собрать в «Записки одного дивизиона»). Он внимательно (и как военный, и как писатель) всматривался в ближние и дальние горизонты,

следил за происходящим, замечая новые повороты внутренней политики, и выказывал недюжинное здравомыслие. «При нынешней обстановке создался изумительный союз Советского государства и церкви. Союз в равной степени выгоден обеим сторонам. Нам — потому что это даёт козыри в руки наших сторонников в Америке, в частности Уилки и Рузвельту (и, второстепенно — потому что безоговорочно стягивает под красные знамёна всех верующих). Им — потому что это ставит их на легальное, не преследуемое положение в нашей стране и укрепляет их авторитет среди верующих, ибо они половину — патриотов — иначе всё равно потеряли бы».

Политическая мысль, звеневшая в нём, обретала нешуточный размах.

В должности замкомбата Солженицын пробыл всего две недели: большую звуковую батарею приказано было разбить на две части, и ему предложили стать командиром одной из двух разделившихся батарей. По своей всегдашней привычке выполнять программу-максимум, он немедленно согласился, хотя понимал, что придётся проститься с читальнями, иностранными языками, учебниками по литературе. Но воевать — так воевать! Судьба многих десятков людей теперь зависела от него, не давая ни минуты покоя, не оставляя ни часа свободного времени.

Комбат Солженицын быстро вошёл во все сложные хлопоты новой должности и быстро изменился сам — стал решительнее, энергичнее, самостоятельнее. Лишь урывками, по вечерам и ночам (когда не было учебных тревог) мог читать или делать ежедневные заметки, и его всё больше привлекали колоритные дивизионные фигуры. Не как комбат, а скорее как писатель он пытался понять лейтенанта своей батареи Юрия Криштоповича из Узбекистана (с сербскими, польскими и русскими кровями), безукоризненного техника и замкнутого непроницаемого человека. Зато легко сошёлся с лейтенантом Доброхотовым-Майковым, помощником начальника штаба дивизиона, живым, энергичным человеком, коренным москвичом старинной дворянской фамилии, художником — с ним можно было говорить не только о состоянии фронтов, но и о литературе (одним из первых Доброхотов-Майков прочтёт позже «Лейтенанта»).

За три месяца «слаживание» дивизиона был закончено (план повести «Люби революцию» содержал пункты: «Запасной артиллерийский разведывательный полк. В дивизион прибывают новобранцы. Слаживание дивизиона. Доброхотов-Майков, Пашкин. Лейтенанты Овсянников, Ботнев»).

Капитана Александра Сергеевича Доброхотова-Майкова убьют зимой 1945-го. «Стройный, невысокий светлоусый офицер отменной выправки» под собственным именем будет выведен в пьесе «Пир Победителей»; лейтенанты Виктор Овсянников и Фёдор Ботнев попадут в рассказ «Желябугские Выселки».

Завершилось и становление Солженицына-офицера. Миновало полтора года от начала войны, и он, настойчиво стремясь познать её как мужчина и как писатель, до неузнаваемости преобразился. Унылый провожальщик друзей, школьный учитель, по медицинским показаниям не взятый на фронт в первые месяцы войны, неумёха-обозник инвалидной команды превратился в лихого комбата артразведки, который во всеоружии военной науки готов был встретить главные сражения своей эпохи. Он не пропустил решающих часов Истории — и с этой точки зрения армейский путь представителя славного поколения ровесников революции выглядел безупречно.

Но пройдёт всего лет семь — и взгляд Солженицына (уже бесправного, угнетённого зэка) на своё военное прошлое кардинально изменится. Он посмотрит на результат преображения солдата в офицера с такой стороны, с какой никогда не смотрит даже и самый строгий военный трибунал. Он предъявит себе такие обвинения, которых никогда и никому не предъявляют ни судебные инстанции, ни общественные организации. Бывший комбат подвергнет своё поведение на войне — и даже сам офицерский статус — радикальному суду совести и суровому нравственному порицанию. Он не забудет и не упустит ни один неловкий эпизод своего командирства; откопает каждую мелочь, которая входила в противоречие с правилами деликатности, душевной тонкости; и дойдет в раскаянии до последней черты, не прощая себе даже малого промаха и не пользуясь удобной поговоркой — *á la guerre comme á la guerre*. Писатель не унизится до самозащиты, к которой приучала революционно-демократическая критика, — хорошего человека заела дурная среда. Приговор своему времени он начнёт не с обстоятельств, а с себя.

Но именно эта способность — по-гамлетовски *повернуть глаза зрачками в душу*, по-достоевски *искать не в селе, а в себе* — сделает его крупнейшим писателем современности и даст силы выстоять на всех путях. Не подробности саморазоблачений (легкодоступный компромат, таскание чужими руками каштанов из огня), а сам *факт покаянных признаний* станет важнейшей вехой биографии Солженицына: ведь по-

каяться — значит, что-то изменить в себе. Признания эти, помещённые не в приватном письме или случайном интервью, а в составе главных произведений, которых не минует ни один читатель, — суть биографические документы высшего разряда.

И вот память писателя — через горнило зэческого опыта — возвращается в «Архипелаге ГУЛАГ» к осени 1942 года, когда навинчены были кубики и на погоны приколоты лейтенантские звёздочки. «И через какой-нибудь месяц, формируя батарею в тылу (то есть в Саранске. — *Л. С.*), я уже заставил своего нерадивого солдатика Бербенёва шагать после отбоя под команду непокорного мне сержанта Метлина... (Я это — забыл, я искренне всё это забыл годами! Сейчас над листом бумаги вспоминаю...) И какой-то старый полковник из случившейся ревизии вызвал меня и стыдил. А я (это после университета!) оправдывался: нас в училище так учили. То есть, значит, какие могут быть общечеловеческие взгляды, раз ты в армии?..»

Но значит, случился же в конце 1942 года в воюющей армии старый полковник, который устыдил ретивого комбата, и значит, не столь уж бессмысленным было покаяние, после того как сорвали с того комбата офицерские звёзды...

Самосознание офицера Солженицына Солженицын-зэк подробно опишет в поэме «Дороженька». Он не смягчит ни одного пункта военной страсти, которая так сильна в каждом мужчине, не спрямит ни одного шага на пути, который превращает нескладного студента в быстрого ловкого зверя с гибким пружинистым телом. Он высветит эту холодную решимость во взгляде, эту непогрешимую уверенность в своём праве «узлы судеб разрубать мгновенно, / жизнь людей — костяшками метать». «Студентик хиленький! Куда! Стал выше, твёрже, / Движений, голоса спокойное единство. / Пусть говорят — ужасен фронт, а всё же / Мужчин перерождает он, как женщин материнство» — таким увидит комбата звуковой разведки капитана Нержина его знакомая по довоенному Ростову Галина в пьесе «Пир Победителей» в конце января 1945 года.

«Я тогда был сам в себя влюблённым — / В чёткость слов и в лёгкость на ходу» — это говорит о себе Сергей Нержин, герой «Дороженьки», капитан. А вот портрет героя романа «В круге первом»: «Потом Нержин выбился в артиллерийские офицеры. Он снова помолодел, половчел, ходил обтянутый ремнями и изящно помахивал сорванным прутиком, другой ноши у него не бывало. Он лихо подъезжал на подножке грузовика, задорно матерился на переправах, в пол-

ночь и в дождь был готов в поход и вёл за собой послушный, преданный, исполнительный и потому весьма приятный Народ». И ещё из «Архипелага»: «Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье. Я метал подчинённым бесспорные приказы, убеждённый, что лучше тех приказов и быть не может. Даже на фронте, где всех нас, кажется, равняла смерть, моя власть возвышала меня. Сидя, выслушивал я их, стоящих по "смирно". Обрывал, указывал. Отцов и дедов называл на "ты" (они меня на "вы", конечно)».

Перед Солженицыным-зэком проносились глаза и лица тягловой силы — тех вечных молчальников и истинных работников, которые с надеждой смотрели на своего комбата, чьё беззаботное слово было для них равносильно приказу. «Мне казалось, я любил солдат... / И они меня любили, мне казалось» — с такой уверенностью Солженицын-офицер, ничуть не покривя душой и не солгав ни малость, мог бы спокойно прожить жизнь и завещать это уверенное, приятное ощущение внукам. Мог бы — при одном непременном условии: если б «как у всех счастливых, у меня бы тоже / совесть — курослепой оставалась».

Но несчастный затравленный зэк, упавший на самое дно социального мира, такой уверенности уже не имел — от былой самовлюблённости, самоуверенности и гордыни не осталось и следа. Он ужасался, что посылал солдат сращивать разорванные провода под пулями и снарядами; что заставлял солдат копать ему, комбату, особые землянки на каждом новом месте, что ел своё офицерское печенье с маслом, не раздумывая, почему командиру оно положено, а солдату нет. Стыдился, что имел денщика (на двоих с Овсянниковым), который обихаживал их и готовил офицерскую еду отдельно от солдатской («Сбегай! Принеси! Захарыч! Эй! / Вынь! Положь! Почисть! Неси назад!»)*. Казнился, что устроил в своей батарее гауптвахту (ямку в лесу) и сажал туда солдат за

* Н. А. Решетовская в своих мемуарах неизменно пересказывает письмо Солженицына (9 апреля 1943 года) как доказательство его фронтовой «испорченности»: «Меня страшно избаловали; ведь я же комбат, страшно крупный начальник: не успею я доесть из котелка, как несколько рук протягиваются его помыть, а с другой стороны несут уже готовый чай, а ещё кто-то просит разрешения просушить мне портянки». Решетовская пишет о «видимом удовольствии», с которым муж-командир сообщает ей о своей избалованности. Однако в этом письме есть видимые следы и самокритики, и самоиронии: Солженицын не воспринимает своё привилегированное положение всерьёз и как должное: «Ведь это ужас, если подумать. Я дошёл до того, что даже не успеваю наклониться за упавшей на пол вещью. То-то буду барином, когда вернусь к тебе!»

потерю лошади, за пропажу валенок, за дурное обращение с карабином. Отрицал само право одного человека повелевать другим — «Кто даёт? Кто смеет брать его?!»

«Вот что с человеком делают погоны, — написал он в «Архипелаге». — И куда те внушения бабушки перед иконкой! И — куда те пионерские грёзы о будущем святом Равенстве!» *Вот что человек допускает, чтобы с ним сделали погоны*, — этот нравственный смысл содержат все в совокупности произведения Солженицына о войне. «...Вы проходите передо мной — и со стыдом и болью / Думаю о вас, мои солдаты! / Есть за что вам нынче помянуть с любовью / Вашего комбата? / А ведь я в солдатской вашей коже / Голодно и драно тоже походил, — / Но потом — училище — походка! — плечи! — ожил! / Всё забыл? / И теперь? казнюсь, казнюсь, пока меня / Не охватит первое круженье головы. / В лапах горя все мы мечемся покаянно, / А в довольстве все черствы».

Если бы Солженицын мог знать, что думают о нём бойцы 2-й батареи звукоразведки, может быть, он не казнил бы себя столь тяжело. Полвека спустя после войны (1993) сержант-вычислитель А. Кончиц писал о комбате БЗР-2: «Как и все офицеры на фронте, Александр Исаевич получал вместо махорки папиросы, которые большей частью уходили по солдатскому кругу батареи. Такая же участь постигала и печенье, отдаваемое им на кухню солдатам к чаю — пусть и по 2—3 штуки, уж сколько бог послал, точнее армейский тыл. Мелочь? Но как много она говорит о человеке. Внимательный, сердечный к солдатам и мужественный в опасности человек — таким я запомнил его в то далёкое фронтовое время».

...Тогда, в самый канун 1943 года, комбат ностальгически вспоминал своё старое новогоднее стихотворение («Этот вечер в году чудодейскую власть / Надо мной почему-то имеет...») и думал о том, как бы ему найти тихий уголок, где можно было бы немного посочинять — или новые стихи, или продолжение «Лейтенанта», или письмо жене. Читальня, однако, закрылась раньше времени, на почте, в тесной сутолоке, было шумно и темно, и комбат, изменяя своим правилам, отправился в клуб полка на концерт. Света не было; на сцене, при двух свечах, кто-то очень нескладно пел знакомую арию, посреди зала мерцала ёлка с игрушками. «Мне захотелось тряхнуть стариной. Я прошёл на сцену, договорился с конферансье и со старшим политруком и через пять минут уже читал со сцены “Новогоднее письмо друзьям”. Когда читал — было тихо, красиво...» Впрочем, хлопали не громко: «Я понял, что поэзия моя не дошла».

Первые дни нового года принесли оглушительную, сотрясающую радость. Наконец-то! «О-го-го-го! Ты слышишь мой голос через пустыни Средней Азии? — писал он жене. — Немцы *бегут!* Немцы наконец-то *бегут!* Сразу бросить Моздок, Нальчик, Котляревскую, Прохладную! Каких-нибудь 50 км нам осталось до Георгиевска! Там ли мама? Что она сейчас переживает, когда немцы день и ночь едут по железной, по шоссейной, по просёлочным дорогам, прямо мимо их хаты — и куда? На север! Это русской-то зимой на север! Но на севере морозы крепче — так мстит за себя география. Но на севере бои жарче — так мстит за себя история. Фигляр думал обскакать историю на арийском жеребце или объехать на “Мессершмитте-109”. Если бы в 33-м году он мог видеть “Известия” за 1 января 1943 года!»

Каждый день, каждый час ждал он сообщений об освобождении Георгиевска. Предвкушал, как радостно будет маме и тёте Марусе обнять русских бойцов, если это случится 7-го, в Рождество, которое всегда так много значило для них. Долгожданная сводка пришла 12 января. Саня без промедления послал в Георгиевск срочную телеграмму, несколько открыток в Кисловодск; появлялась близкая возможность (если бы только мать откликнулась!) выслать ей деньги, посылки.

Ещё через несколько дней, 18-го, была прорвана блокада Ленинграда. Комбат провёл в батарею радио, прослушивал все выпуски новостей (с 6 до 23), в промежутках прочитывал все газеты и, вооружённый двумя атласами — мира и СССР, — пытался осмыслить наступательную стратегию, которая отныне казалась ему «грандиозным космическим замыслом». Он ликовал, что уже совсем скоро его военная судьба совпадёт с направлением главного удара — вот-вот их дивизион должен выдвинуться из резерва. «Хорошо ехать на фронт во время такого потрясающего наступления».

Прорвалась и почтовая блокада. В начале января Саня получил подробное письмо от Виткевича — Кока размышлял об иллюзорности второго фронта, об отношениях с союзниками после войны и о том, что стал заправским воякой. Лида сообщала, что её отец, руководивший полевым подвижным госпиталем на тысячу коек, стал главврачом закрытого правительственного санатория в подмосковной Барвихе и выписал из чимкентской эвакуации всю семью. Девушка пьянела от Москвы, от перспектив университетской аспирантуры; она первая из их блистательной пятёрки («непобедимой армады») вышла к столичным рубежам, и её московский адрес становился для всех надёжным опорным

пунктом связи. Кирилл, переживший за два военных года оккупацию и эвакуацию, спасавший по госпиталям и больницам сотни раненых, писал Сане: «Мы, т. е. ты, Лида, Кока, я не должны погибнуть в этой войне. Этот год был для меня больше, чем вся остальная жизнь. Я видел и общался с *тысячами* людей, но таких, как вы, я не встречал — их нет, понимаешь, нет. У нас огромные задачи в литературе».

Мысль потерять кого-то из друзей, погибнуть самому и не создать литературный шедевр будет мучить Кирилла всю войну. «Ты не представляешь, — напишет он Сане в 1943-м, — как страшно думать о том, что с тобой что-нибудь случится. Это будет громадное несчастье для родины и такое же для нас. Мы трое: ты, Лидка и я должны построить книги-памятники пятерым, по меньшей мере... Гибель одного из нас — горе для оставшихся. В настоящее время тебе опаснее всех...» Ещё он напишет другу (в 1944-м) про свои литературные терзания: «Ты не понимаешь, почему я стремлюсь быть напечатанным. Видишь ли, между нами та громадная разница, что ты знаешь цену своему таланту, независимо от других. Я же до сих пор сомневаюсь в том, что у меня вообще есть какие-либо литературные способности, сомневаюсь мучительно...»

Пройдёт время, и когда Кириллу станет ясно, что *не он* построил книги-памятники, что мучительные сомнения насчёт собственного таланта имеют, увы, веские основания, он отомстит писателю Солженицыну так, как только это может сделать самый близкий, доверенный человек. Он обвинит друга в хитром, иезуитском расчёте: будто специально в течение полутора военных лет Саня тщательно планировал и готовил свой арест — лишь бы уцелеть и не погибнуть на войне.

...Но тогда, в самом начале 1943-го, все пятеро были живы, свободны, исполнены надежд, и война, если верить Саниному предвидению, входила в свою вторую треть.

Глава третья

НА ФРОНТЕ И В БОЯХ. КРЕЩЕНИЕ ОГНЁМ

Февраль 1943 года оказался для Солженицына переломным: его дивизион отправлялся из резерва на фронт в те самые дни, когда шла решающая битва за Ростов. Освобождение Ростова отреза́ло пути отхода северокавказской группировки немцев к Донбассу, возвращало стране промышленные и хлебные районы, так что фашисты удержи-

вали город изо всех сил. Преодолевая сопротивление и отражая контратаки, к середине января Красная армия вышла на рубеж Северский Донец—Дон—Весёлый—Целина, где разгорелись ожесточённые и затяжные бои. Войска 28-й армии 7 февраля вошли в Батайск и Азов. 8 февраля несколько стрелковых бригад ворвались в Ростов с юга. Отважно дрались на подступах к городу войска 248-й стрелковой дивизии.

«О если бы Ростов! — восклицал Солженицын в письме, ожидая, что вот-вот в сводках в числе освобождённых будет назван и его город. — Но скорей всего прежде осуществится окружение всей ростовско-донбасской группировки в результате удара от Краматорской к Азовскому морю».

Не впервые удавалось лейтенанту предвидеть события на фронтах. Действительно, упорные бои в городе шли несколько дней. К этому времени 5-я ударная и 2-я гвардейская армии освободили Шахты и Новочеркасск и охватили Ростов с северо-запада, а 44-я армия двигалась вдоль Азовского моря. Засевшие в городе гитлеровцы оказались почти в полном окружении — был открыт лишь путь на Таганрог. Однако в ночь на 8 февраля казаки корпуса генерала Кириченко и войска 44-й армии, форсировав по льду Дон и Мёртвый Донец, перерезали и этот путь. Войска 28-й армии форсировали Дон южнее Ростова. В ночь на 9 февраля 11-я гвардейская казачья кавалерийская Донская дивизия преодолела Мёртвый Донец и стремительной атакой ворвалась в пригород Ростова, станицу Нижне-Гниловскую, и удержала её до прихода стрелковых частей.

12 февраля были освобождены Шахты («Сегодняшнее взятие Шахт и Красноармейского — это же чёрт знает какие колоссальные победы!» — писал Солженицын ещё из Саранска), 13 февраля взяли Новочеркасск. 126-я и 87-я стрелковые дивизии 51-й армии трое суток вели бои в районе станиц Аксайской и Александровской, а утром 14 февраля вошли в Ростов. В тот же день частями 28-й и 51-й армий город был полностью освобождён. Боевые операции наземных войск прикрывала авиация 8-й воздушной армии. В результате ростовской наступательной операции Красная армия продвинулась на 300—450 километров, вернув бóльшую часть Ростовской области.

Это было уже второе за полтора года освобождение Ростова. Солженицын узнавал новости в дороге — 13 февраля дивизион двинулся, наконец, на северо-запад. Состав шёл медленно, с большими остановками. Только через неделю были в Ярославле, и Саня набросился на газеты. «Правда» рисовала удручающую картину разбитого и разграбленного

Ростова. Из почти трёхсот промышленных предприятий остались целыми только шесть, разрушены вокзал, речной порт, железнодорожный мост через Дон. Красавец-город был изуродован до неузнаваемости: Большая Садовая превращена в руины, драматический театр — в пепелище. Не уцелело, кажется, ни одно из зданий шести ростовских вузов. На месте научной библиотеки РГУ стоял остов с перекошенными железными балками, здание физмата превратилось в развалины. В главном корпусе университета была пробита крыша и разрушен пятый этаж, окна заложены кирпичом или забиты досками. В здание химфака попал снаряд. Отопительная и канализационная системы не работали; хозяйственное и научно-учебное оборудование почти полностью исчезло.

«Уничтожены *все* библиотеки города (то есть все мои любимые дома) с книгами, — сообщал Солженицын жене. — Кажется, из больших зданий остался Госбанк, да дом-Гигант. А что с нашими домами-малышками?» Узнать о размерах собственного несчастья ему предстояло позже. Сейчас — недостижимо — он мечтал проехать на машине через Ростов, зайти в свой дворик, в дом, если тот цел, ринуться к письменному столу, к этажерке, дотронуться до толстых общих тетрадей.

И всё же комбат давно не ощущал такого прилива душевных сил, какого-то даже физического обновления, свежести и чистоты. Радовали вести с фронта, крепла уверенность, что перелома военных действий в пользу немцев больше не будет и что его дивизион совсем скоро займётся своим прямым делом. Чем ближе были передовые позиции, тем спокойнее и увереннее он себя чувствовал. Возвращалось желание писать, и стихи сами просились на перо. Житель знойных степей («Моему шальному сердцу / Дорог юг», — казалось, отстучали колёса где-то между Ярославлем и Бологим) ехал на север, «на озёрный лёд, в рыбье лето, в гниль болот». Потом был Осташков (28 февраля), где дивизион выгрузился и перебрасывался уже на своих колёсах.

4 марта прибыли к месту расположения, в район Редьи и Ловати, в нескольких километрах от переднего края обороны немцев. Под Старой Руссой, в болотистой местности Ильмень-озера, среди ржавых туманов и рыхлого снега, дивизион пробыл до конца марта, чуть меньше месяца. Хотя вода, талая и болотная, стояла под ногами, заливала по колено и по грудь, выталкивала из окопов, а земля была настолько мокрая, что не давала выкопать простой блиндаж, Солженицын успел полюбить грустные эти речушки, протекающие среди разрушенных и сожжённых сёл. «Тишина и

одиночество», — успокаивал он жену, когда уже обжился и мог писать, раскладывая на лесной полянке походный стол и стул или устраиваясь в комнате одного из разрушенных домов. «Конечно, домашность относительная, — как бы мимоходом уточнял он, — вдруг налетят немцы, начинают дико палить зенитки. Немцы смоются. Рёв танков, пальба зениток отвлекают не больше, чем звон трамваев и гудки автомобильных сирен в Ростове».

Здесь, в редкие часы досуга, в промежутках между огневыми налётами немецкой артиллерии и вылазками на передовую из своего «глубокого тыла» (в 7 километров), был дописан начатый в Саранске «Лейтенант», сразу же основательно переработан, переписан набело в нескольких экземплярах (помогал батарейный боец) и разослан по трём адресам: Наташе, Лиде, Кириллу. «Сам я рассказом своим мало удовлетворён, — писал тогда же автор, — хотя отдельными словами и местами горжусь». Любопытными были и изгибы сюжета: ростовский студент-медик, записавшийся в ополчение драматическим ноябрём 1941 года, невзначай попадает на свадьбу любимой девушки, которая накануне его отвергла. Жених, брутальный и самодовольный лейтенант, носит в полевой сумке «Правила стрельбы», которые так и не смог усвоить за три года артиллерийского училища, и в момент боя оказывается «двоечником», ибо командует так топорно, что тяжёлый снаряд падает не в гущу немецких автоматчиков, а на правый фланг ополченцев. В финальной сцене, когда Ростов отбит у немцев, студент (теперь уже мобилизованный боец) гневно обличает засевшего в квартире жены соперника за разгильдяйство и трусость.

Это было первое и большое сочинение из серии «Военных рассказов», которыми автор предполагал отметить войну. Персонажи не имели ничего общего с автором и его знакомыми (разве что в героине угадывалась не то Ляля Федоровская, «королева детства», не то Наташа Решетовская); но как много всё же здесь было реальных впечатлений, узнаваемых подробностей, и всё так причудливо перемешалось... «Удача ли? Срыв ли? Ведь это — единственный рассказ за два года».

К своему довоенному нетерпению («раньше я с ужасом считал: мне уже двадцать два, а меня не печатают») Солженицын относился теперь критически: «Разве сейчас до этого? Сейчас мне двадцать пятый год. Можно вздохнуть: поздно, никто не начинал в такие годы! Я вздыхаю: разрушен Ростов, не удержали Харькова». Первые недели вблизи передовой дали точный ответ на вопрос, о чём писать фронтовику. «О событиях дня? О них не успеешь написать; горячее

остывает, мокрое высыхает, умный план, сталкиваясь с десятками других таких же, превращается в непонятную анархию войны. Пока события идут — ни на минуту не оторвёшься, чтоб написать о них, сразу после их окончания спешишь поесть, просушиться и поспать в предвидении событий новых. А когда выдастся свободное время — уже не хочется возвращаться к деталям старых переживаний...»

Однако страсть к писанию подхлестнуло обстоятельство и вовсе непредвиденное. Один из бойцов батареи (М. Л. Липский, до войны инженер) оказался весьма тонким, филологически чутким ценителем литературы. «Он в пух и прах разбил моего "Лейтенанта", и уже сейчас, до прихода Лидкиной и Кирилловой рецензии я имею руководящие указания для работы над третьей редакцией... Мои военные стихи изгрыз и источил. Это просто замечательно, что я имею рядом с собой такого ценного критика». А через месяц придёт рецензия и от Лиды, где она вовсю расхвалит «Лейтенанта», а Саня заметит: «Я уже давно считаю этот рассказ худшим, чем оценила его сейчас она». Подробный, пристрастный разбор пришлёт и Кирилл — с планом переработки сюжета, композиции, характеристик.

Вскоре (уже на новом месте) «жадность на писания» обернулась небольшой повестью, в виде переписки двух женщин во время войны («задача колоссальная, форма новая для меня, необычная, поэтому трудная, но согласен над этой повестью работать и работать без конца»). Вот когда остро пригодилось комбату-артиллеристу его обозное прошлое! В Дурновке, на местной почте, куда в ноябре 1941-го он бегал читать газеты, обитает одна из героинь «Женской повести». Через несколько лет, уже в неволе, автор вспомнит: «В маленькой нетопленной почте добрая душа — милая эвакуированная киевлянка, выкладывала перед Нержиным, и то не всегда, сразу пачку пришедших с опозданием областных сталинградских газет». Но ещё раньше эта добрая душа будет рассказывать в письмах сестре (а та на фронте, воюет) о своих злоключениях и о самой Дурновке, где нашлось ей временное пристанище; перед глазами почтальонши пройдут будни батальона, его люди и лошади, и однажды смешной боец в подпоясанной шубе покажет ей листок со стихами: «Новогоднее письмо друзьям». Впрочем, с этой повестью, куда автор хотел вместить как можно больше военных впечатлений, было действительно ещё много работы.

В конце марта стало ясно, что дивизион среди болот не останется. В последний час перед ледоходом на Ловати свою батарею выручил Овсянников, грамотно, «без облома», ор-

ганизовавший переправу. Вскоре они действительно погрузились на поезд и двинулись на юг. Дней десять простояли в Осташкове, откуда смогли выехать только 15 апреля, и после двухнедельных перемещений прибыли на Центральный фронт. По дороге произошла короткая остановка в Москве. 16 апреля со станции Ховрино Солженицын удачно вызвонил Лиду Ежерец, и уже через 20 минут они втроём — Лида примчалась с отцом на его машине — полтора часа гуляли вдоль эшелона. Задушевное, пусть и сумбурное, общение с друзьями, когда можно говорить всё, что вздумается, и так, как вздумается, без опасения, что тебя поймут не так, как надо, освежило душу. Лида успела коротко похвалить «Лейтенанта», передать трубочку стихов Кирилла и рассказать то, о чём нельзя было писать открыто: Киру не берут на фронт из-за отца, когда-то сбежавшего в Персию. Фронтовик Саня сочувствовал другу. «Кирилл — редкий по своим душевным и умственным качествам человек. Можно ли презирать человека только за то, что он в пальто, а не в шинели? Я видел так много тупиц в шинелях, так мало талантливых людей в пиджаке! И ведь Кирилл не прячется за освобождение».

«Такая встреча, такие почти невозможные по обстоятельствам полчаса, — писала Лида вдогонку (время свидания показалось ей втрое короче). — С тех пор во мне какая-то внутренняя теплота и подъём. Даже если б мы совсем ничего не успели сказать, если бы только посмотрели друг на друга, да постояли десять минут рядом, было бы то же самое. Ведь почти за два года это первая встреча с другом».

С конца апреля дивизион как резерв Брянского фронта развернулся под Новосилем. Это был дивный тургеневский край, Орловская земля, и Солженицын испытывал к здешним местам и названиям острое, признательное чувство, вчитывался в военную карту, запоминая каждую деревню и рощу, каждый овраг, перелесок, ручей. Многажды воспетая земля срединной России была разорена и опустошена. «Из болот, от Ильменя, / Мы пришли к Орлу, на солнечную Неручь. / Ни зерна ржаного. Ни плода. Ни огородины. / Край тургеневский, заброшенный и дикий... / Вот когда я понял слово *Родина* — / Над крестьянским хлебцем, спеченным из вики, — / Горьким, серым, твёрдым, как булыга, / В мелких чёрных блёстках, как угля кристаллах... / Сморщенная бабушка невсхожею ковригой / Нас, солдат голодных, угощала».

Здесь, среди полного запустения, началось долгое стояние в обороне.

В самом начале мая тургеневский край аукнулся цингой: опухли, зудели и ныли десна, казалось, зубы вот-вот вы-

толкнутся и выскочат, больно было жевать даже мягкий хлеб. Не спасал и командирский паёк: сгущёнка, сливочное масло, сало, рыбные консервы, галеты — богатая еда, такой никогда не бывало вдоволь в его довоенной жизни. («О, справедливость! Раньше, когда я изматывался в упорном труде, проявляя чудеса зубрёжной стойкости, я иногда завтракал краюхой чёрного хлеба с квасом, обедал плохоньким борщом...») Но в борще были овощи, витамины, а теперь, превозмогая боль, он жевал дикий лук, растущий по оврагам, пил сок сырой картошки.

На советской стороне фронта окрестные жители были задвинуты вглубь тыла километров на двадцать от передовой, и третий год здесь не было «ни живой души, ни посева, все поля заросли дикими травами, как в половецкие века». После талой воды и озёрных болот приходило отчётливо: вот за *этот* край не жалко и умереть.

Свою землянку комбат Солженицын оборудовал как «кабинет», с походным складным столом и стулом, открытым входом, куда при малейшем порыве ветра залетали ворохи прошлогодних листьев. «У меня в батарее, — вспоминал он (2001), — был сержант, который очень ловко делал блокноты из широкой звукометрической ленты. Он изготовил пять одинаковых блокнотов, в виде блока, и я их по очереди исписал. Я использовал бледный твёрдый карандаш, чтобы он не стирался, и писал мелко, почти процарапывая бумагу. Я записывал всё, что слышал, и каких только историй я не наслышался... Первые записи появились в 1943-м, как только приехали на Центральный фронт». В перерывах между учениями, дневными и ночными, лейтенант старался создать иллюзию творческого уединения: читал, писал, вглядывался в степь — на пятнадцать километров были видны перекаты непаханой земли, перерытой воронками и траншеями. Затишья не было ни днём ни ночью — над головой беспрестанно гудели самолёты, гремели орудия, в стереотрубу можно было наблюдать, как немцы, застигнутые врасплох артиллерией, выпрыгивали из хат соседней деревни в одном белье.

Стояние в обороне рождало будоражащие мысли о контрнаступлении, о необходимости перехватить инициативу и сорвать Гитлеру его планы. Было очевидно, что фашисты невероятно ослабели по сравнению с прошлым годом; хотелось верить, что проклятая война может окончиться уже к концу этого лета, если немедленно будет открыт второй фронт хотя бы на юге Европы.

Пока же под Новосилем суждено было проявиться совсем другой инициативе. Солженицын и Виткевич, обещав-

шие при расставании писать друг другу, не опасаясь военной цензуры, наконец встретились: июнь 1941-го сомкнулся с маем 1943-го. Год тлела их переписка, потом вообще оборвалась (Саня намекнул другу, что хотел бы получать не открытки-отписки, а что-нибудь посущественнее, и Кока замолк), так что замысел «всё обсуждать по почте» до времени притаился и замер. Солженицын узнавал о Виткевиче от друзей, которым тот время от времени давал о себе знать, и пытался вычислить, где, в каких местах воюет Кока. Списаться, сблизить позиции и увидеться было бы, считал Саня, сверхудачей для их дружбы.

Вскоре действительно оказалось, что с первых чисел мая они находятся бок о бок, и Солженицын (инициатива встречи принадлежала ему) напал на след друга. «Я знал номер его полка. Как только мы прибыли под первое мая 1943 на место, мой боец пришёл откуда-то и рассказывает, что встретил недалеко сапёров из этого полка. Искать Коку я отправился пешком, — это было рядом. Прошёл через Новосиль, ещё несколько километров и пришёл в деревню Чернышино, нашёл штаб полка и спрашиваю: "Старший лейтенант Виткевич есть у вас?" Они говорят: "Он уволился, но подождите, он ещё не ушёл". Оказывается, его перевели в 41-ю стрелковую дивизию, рядом. И действительно, я его застал в последнюю минуту. Я забрал его, и поскольку он переходил из части в часть, он мог украсть дня три». Трое суток Виткевич пробыл в землянке друга, и в свободные часы, за чаем и папиросами, купанием в мелкой речушке и фотографированием, всё было выговорено и выспорено.

Итак, 12—15 мая 1943 года замысел обсуждать насущные вопросы философии и политики обрёл четкий план. Во-первых, они договорились о встречах — пусть редких, но регулярных. Во-вторых, решили возобновить переписку. Кока повторил ту идею, что цензура не станет читать их письма, если в них не будет военного содержания, и Саня согласился. В-третьих, они придумали отменный способ не потеряться на фронте. «Система нахождения друг друга была настолько остроумной, — вспоминает Солженицын (2001), — что мой лубянский следователь в 1945-м подскакивал на стуле — я ему открыл, секретничать не было смысла. Вся Земля покрыта координатами Гаусса-Крюгера. Какие бы карты вы ни достали, любой страны, всегда они расчерчены координатами Гаусса-Крюгера и никакими другими. И счёт километров идёт двузначными цифрами от 01 до 99. Потом снова начинается 01. В пределах ста километров всегда вылезают две цифры X и две цифры Y. Мы придумали так: пи-

шем друг другу, что адрес (я писал адрес Трифона Александровича, а он писал адрес Трифона Николаевича) — Трифона такой-то, и даём пятизначный индекс полевой почты. А в этом индексе первые две цифры — X; вторые две цифры — Y. А пятая цифра — кусок этого километрового расстояния, потому что километр на километр не так легко найти, а полкилометра на полкилометра — просто. И мы указываем 1, 2, 3 или 4 — какой из этих 4-х квадратов. Таким образом, каждый из нас знал, где находится другой, с точностью до квадрата полкилометра на полкилометра. Так мы давали друг другу знать о себе и встречались на фронте до ареста раз девять».

Три майских дня оставили у обоих ощущение, что и на войне, при умном ведении дел, возможно полноценное общение даже и на расстоянии двух воинских частей, если, конечно, эти части входят в состав одного крупного соединения. Для обоих офицеров первая фронтовая встреча стала ярчайшим событием, прологом судьбы.

Той же весной, поэтапно, пришли известия о матери — Солженицын тревожно ждал их с июля 42-го, когда пал Ростов, и надеялся, что она по-прежнему живёт у сестры в Георгиевске* или уже вернулась домой. В течение января (когда был отбит Георгиевск), а потом и февраля (когда был взят Ростов), он посылал телеграммы и открытки по всем возможным адресам, но ответов не получал — может быть, потому, что уехал из Саранска. Писала по всем адресам и Наташа — она и получила в начале марта письмо от тётей Решетовских из Кисловодска (там они пережили оккупацию) и от Марии Захаровны из Георгиевска. «Мама твоя, — сообщала мужу Наташа, — 10 октября переехала из Георгиевска в Ростов — как она добиралась, неизвестно, она могла не доехать, а если и доехала, то обрекла себя на гораздо бóльшие мучения, чем те, которые ей пришлось пережить

---

* В 1990 году племянник Солженицына (приёмный сын его двоюродного брата А. Михеева), Ю. П. Гай, бывший лётчик-испытатель, вспоминал, как в войну, живя в Георгиевске с матерью и дедом, встречал Т. З. Солженицыну. «Как-то летом 1942 года к нам пришла Мария Захаровна. С ней была скромно одетая женщина среднего роста, её сестра Таисия, которая эвакуировалась из Ростова-на-Дону, где шли тяжёлые бои. Немцы, оккупировав Георгиевск, узнали, что она в совершенстве знает немецкий язык, и предложили ей работать в комендатуре, но Таисия Захаровна категорически отказалась». Жили сёстры в мазанке под черепицей: небольшая комната и маленькая прихожая, печка, две кровати, этажерка с книгами и несколько стульев. Сёстры нуждались, приходилось продавать вещи на толкучке, и какое-то время Таисия Захаровна давала мальчику уроки немецкого языка. «По воскресеньям сёстры приходили к нам, обедали все вместе, разговор сводился в основном к событиям на фронте...»

в Георгиевске. Всё это я знаю от твоей тёти». В ответном письме (9 апреля) Солженицын рассказал, что и сам уже получил пересланную из Саранска весточку от Нины Николаевны Решетовской. «Она пишет много тяжёлых вещей о своей жизни под немцами и о злоключениях моей мамы. Однако ничего позже октября она о ней не знает. Из Георгиевска — ничего, из Ростова — ничего». При встрече в Ховрине Саня рассказал мамину историю Лиде, и спустя несколько дней она писала: «Не выходит из головы то, что ты узнал о маме, её переходы из Георгиевска в Кисловодск, из Кисловодска в Георгиевск. Но мне кажется, что раз уже есть о ней какие-то известия, раз уцелела она в летние месяцы борьбы, значит, надо надеяться и на будущее».

Теперь, когда была надежда на то, что мать жива, он рассчитывал поступить осмотрительно со своим офицерским аттестатом, дававшим льготы родным в освобождённых городах и в эвакуации. «Аттестат смогу выписать, — обещает он жене в том же апрельском письме, — правда, только после выяснения того, чтó с мамой». Однако почти сразу получил письмо жены с тяжёлыми упрёками — что мало ей помогает, что они с мамой задолжали тёте Жене 1300 рублей, голодают, болеют, пальто погрызли крысы и положение их отчаянное. («К стыду своему, — скажет Н. А. Решетовская в 1999-м, — должна сознаться, что зря упрекнула Саню... Я очень быстро раскаялась в том, что послала мужу “скверное письмо”».) Солженицын ответил всего несколькими строчками. «Твоё письмо глубоко обидело меня и, пожалуй, удивило. Ты не знала, что я *только* и думал, как переслать тебе деньги, но *не мог* этого сделать. Одновременно с этим посылаю 1800 р., ибо наконец ты ясно написала: 1) деньги все получены, 2) вы никуда не тронетесь. Больше писать не хочется».

Между тем «скверное» письмо жены возымело роковые последствия. Саня, уже не дожидаясь ясных сведений о маме и не желая больше слышать упрёков, выписал аттестат на имя жены и через две недели, к трёхлетию их супружества (27 апреля 1943 года), снова отослал ей крупную (2 тысячи рублей) сумму. (Много лет спустя, просматривая свои письма, Солженицын сделает на полях «юбилейного» послания горькую помету: «Поберёг бы для мамы! Ведь она вот-вот объявится, а аттестат уже выписан на Наташу. Отсюда и потёк мамин голод, начатый под немцами».) «Сожалею, — писала Решетовская (1999), — что кто-то ввёл моего мужа в досадное заблуждение о возможности выписать сразу два аттестата... Получив аттестат, я не сразу поняла, что он выписан мне одной. Теперь, спустя много лет, понимаю, что в отно-

шении аттестата я должна была Саню сдержать, подумать о Таисии Захаровне. Ей, намучавшейся в немецкой оккупации, аттестат, возможно, понадобился бы больше, чем мне».

В мае картина прояснилась ещё немного. Е. Федоровская, жившая в ташкентской эвакуации и имевшая с Ростовом живые связи, сообщила Наташе новый адрес Таисии Захаровны, который вскоре узнал и Саня. «Итак, мама жива! Но какая же нерадостная это жизнь, если Ростова-то почти нет и опять он в прошлогоднем положении!» Саня недоумевал: никто из знакомых матери, у кого бы она могла найти пристанище, не проживал на Темерницкой улице, 102. «Это значит, что её приютили из жалости в каком-нибудь сохранившемся подвале, в котором на каждого человека приходится по 1 квадратному метру». И это также значило, полагал он, что ни его дома, ни дома, где до войны жили Решетовские, больше нет; и не осталось ничего материального из довоенного бытия: ни письменного стола, ни рукописей — стихов, велосипедных записок, дневников, блокнота с главами «Русских в авангарде», многочисленных конспектов. Был ли смысл после войны возвращаться в Ростов? Не лучше ли сразу целиться на Москву? Ведь там, в Москве, и для него, и для жены есть то, что нужно: у него МГУ и Союз писателей, у неё — консерватория. Ненадолго возник план — вообще не держаться за Ростов, а соединить в Казахстане с женой и тёщей замученную, запуганную маму.

Вскоре, однако, план этот рассыпался сам собой: Солженицын узнал (написала ростовская приятельница матери, Мария Денисовна Куликова), что́ же на самом деле происходило с Таисией Захаровной в течение десяти месяцев. «Оказывается, нашу квартиру на Ворошиловском разрушило бомбой в мамино отсутствие. Два зимних месяца (после того, как в октябре 42-го она выбралась из Георгиевска в Ростов. — *Л. С.*) мама жила у вас, у Александры Ивановны (А. И. Зубова, знакомая Решетовских, постоянно проживала в их квартире. — *Л. С.*), а потом почему-то переехала на Темерницкую, 102, кв. 7 — 4-й этаж, холод, лестница, одышка, вода, дрова да прибавь ещё голод (*чем* жили?) и старый туберкулёз. В результате мама так ослабла и так заболела, что уже не только работать или ухаживать за собой не может, но даже *лежать!*»

Было свидетельство и от самой Александры Ивановны (тёти Шуры). 18 марта 1943-го она писала тётям Решетовским в Кисловодск: «Час тому назад была у меня Таисия Захаровна. Она выглядит и чувствует себя ужасно. Не знаю, вытянет ли она? Ждёт вестей от сестры и от вас. О Сане ни-

чего не знает, жаждет узнать, где Мария Константиновна, чтоб узнать, где Саня. Конечно, ей не следовало уезжать от сестры, там бы она питалась. Теперь она опять хочет ехать к ней». Через два месяца тётя Шура писала в Кисловодск снова: «Таисия Захаровна приехала в Ростов, кажется, в конце октября, два месяца жила со мной, работала. Всё время её мучил кашель, чувствовала себя ужасно. Температура в нашей квартире не превышала 7°. Таисия Захаровна не могла выносить такого холода и, как только она получила топливо, перешла в свою квартиру на Темерницкой. Она уезжала уже такая слабая и больная, что я уже боюсь, что она не доехала или свалилась по приезде к сестре. Нельзя было ей уезжать от сестры. Недоедание, почти полное отсутствие жиров, тяжёлые бытовые условия и 4-й этаж привели её в такое состояние, что, я боюсь, она уже не выкрутится».

Почему мама уехала в октябре 42-го от сестры Маруси? Почему оставила квартиру Решетовских (где было достаточно места для двух женщин) и ушла в комнату на верхний этаж? Причина обоих уходов, скорее всего, была одна и та же: во-первых, деликатность и боязнь кого-то стеснить; во-вторых, страх остаться совсем без жилья. Бросить на зиму ростовскую квартиру на произвол судьбы в первом случае (потом окажется, что сгорела одна стена, а вещи разворовали соседи). Ничего не получить от властей после освобождения Ростова во втором случае, тем более что вот-вот могли вернуться из Кисловодска сёстры Решетовские и Наташа с мамой из эвакуации (сёстры Н. Н. и М. Н. Решетовские вернулись из Кисловодска в Ростов только в декабре 1943-го, застав тётю Шуру совершенно больной и опухшей от голода, а квартиру запущенной, закопчённой, с выбитыми стёклами).

Мария Денисовна сообщала также, что Таисия Захаровна не имела от сына никаких известий, не знала, жив ли он, и только в самый последний день получила от невестки телеграмму с номером Саниной части: «Она была счастлива, бедненькая». 20 апреля в отчаянном положении Таисия Захаровна выехала в Георгиевск.

Солженицын боялся за мать со стороны бомб, снарядов, немцев, а про туберкулёз — забыл думать. «Меня сейчас щемит-щемит: всегда ли я был, как нужно, нежен, ласков, заботлив с мамой? Иногда я был непростительно равнодушен к ней, иногда груб. А ведь она не выходила второй раз замуж — из-за меня. Просидела много ночей за сверхурочными работами на машинке — из-за меня. Ломило спину, на съездах за стенографией трепались нервы, терялось здоровье

в мороз в сарае за колкой угля, в метаниях на базар, из горячей комнаты в холодную переднюю и назад. Плеврит, туберкулёз — и через силу вставала — 38, 39, трясло, ломало — имея бюллетень, шла на работу, чтобы только вечером попасть на съезд и заработать что-нибудь ещё для сына. Она соткала мне беззаботное счастливое детство, которое сейчас приятно вспомнить, она создала все материальные условия для моего духовного развития, а за последним не угналась, много плакала и страдала оттого, что я ничем не делился с ней. Даже женился — и то не сказал... Почему так идиотски устроен человек, что ценит людей больше тогда, когда теряет их, чем когда имеет?»

Необходимо было срочно спасать маму — выслать деньги на лечение и питание, успокоить её, наладить регулярную помощь. 12 мая Таисия Захаровна уже писала сыну из Георгиевска, что ей лучше и что она встаёт с постели, а до этого была так слаба, что не могла ни читать, ни писать. Вскоре в нескольких письмах Таисия Захаровна подробно описала историю своих скитаний, гибели квартиры, пропажи вещей. «Я надеюсь, что мамка в Георгиевске выправится и встанет на ноги» — с таким оптимистическим настроением Солженицын готовился встретить большие военные события лета 1943-го.

Фронтовая жизнь оставляла ему в тот момент не слишком много времени на личные дела. В начале июня КП комбата Солженицына находился менее чем в трёх километрах от переднего края. Написать письмо или сделать беглый набросок в блокноте удавалось при свете электрического фонарика ближе к ночи, когда замолкала артиллерия. Но гудели тяжёлые бомбардировщики с грузом бомб для немцев, и можно было устроиться в блиндаже, завешивая дверь плащ-палаткой, закрывая окна куском железа. Когда комбат садился писать, рука сама тянулась к железной коробочке с папиросами — курить приучила война. С самого её начала он вёл блокноты — и в гужевом батальоне, и в училище, но истинная эра блокнотов началась здесь, на Центральном фронте, с первых же дней. Ведь фронтовые письма — матери, жене, друзьям, какими бы подробными они ни были, не могли вместить всех событий, что происходили с ним здесь, в двухмесячном стоянии под Новосилем, в ежевечернем ожидании, что ЭТО — прорыв, наступление по всей линии фронта — начнётся уже завтра.

И оставалась пока трезвая оглядка на цензуру. В том же мае произошёл случай, который никак не мог бы (пока не мог!) стать сюжетом письма или рассказа: в стеблях некоше-

ной травы запутались рассеянные по полю вражеские листовки на русском языке. Солженицын впервые читал о какой-то армии РОА, о смоленском Русском комитете, впервые видел снимок генерала Власова (лицо казалось сыто-удачливым), читал изложение его биографии. Странные русские, во вражеской униформе, с немецкими серебряными орлами, нагло предлагали — сдаваться без боя: «Так это казалось мертворожденно! Так это немецким духом пахло!»

Власов и его армия надолго стали темой тайных раздумий и недоумений. Много раз вымокшие и высохшие листовки, затерявшиеся в травах прифронтовой полосы, не убеждали ни в чём. «Держа в руках эту листовку, трудно было вдруг поверить, что вот — выдающийся человек, или вот он, верно отслуживши всю жизнь на советской службе, давно и глубоко болеет за Россию. А следующие листовки, сообщавшие о создании РОА — Русской Освободительной Армии, не только были написаны дурным русским языком, но и с чужим духом, явно немецким, и даже незаинтересованно в предмете, зато с грубой хвастливостью по поводу сытой каши у них и весёлого настроения у солдат. Не верилось в эту армию, а если она действительно была — уж какое там весёлое настроение?..»

Но в сам факт — что есть *русские несоветские*, которые и в самом деле сражаются против *русских советских* круче всяких эсэсовцев, — пришлось поверить. И больше всего хотелось понять: кто эти неведомые враги? Откуда? Давно ли на чужбине и как оказались вместе с немцами против своих? И кто им свои? И кому они — свои? «...Вашей жизни, ваших мыслей след / Я искал в берлинских передачах / И страницы власовских газет / Перелистывая наудачу — / Подымал на поле боя и искал чего-то, / Что за фронтом и за далью скрылось от меня. / И — бросал. Бездарная работа, / Шиворот-навыворот советская стряпня».

Со страниц грубых пропагандистских листков веяло тоской; душа досадовала, и ничто не могло утолить жажды разгадать эту тайну.

Постепенно приходило понимание их безнадёжной судьбы: им не оставили выбора, они не могли драться иначе, они не ведали страха, не ждали пощады и были руководимы крайним отчаянием. В советском плену их расстреливали, едва только слышали первое разборчивое русское слово от пленника с *той* стороны. Взятые в плен, они бросались под танки, чтобы умереть солдатской смертью, а не быть удавленными в камере, — в Восточной Пруссии Солженицын увидит, в нескольких шагах от себя, как был раздавлен гусе-

ницей танка пленник-самоубийца. Комбат корил себя и стыдился, что не остановил особиста («*ничего не сказал и не сделал, прошёл мимо*»), который, сидя на лошади, погонял кнутом и стегал по голой спине, как скотину, пешего власовца. А тот звал на помощь «господина капитана», полагая, что всякий честный офицер обязан прекратить истязание пленного (видимо, не знал, что в Красной армии «мешать» особисту не положено).

Исподволь война открывала горькие истины. С главной и решающей битвой Истории дело обстояло вовсе не так романтично, как думалось и мечталось. Студенту Солженицыну мерещились кристальной чистоты ленинская социальная постройка, сияющий красный материк. Перед внутренним зрением комбата Солженицына мало-помалу обнажались леденяще-стальные остовы здания, где до справедливости и милосердия было как до Луны. Солдаты всех времён и народов попадали в плен. Испокон века из плена бежали, пленных обменивали, на худой конец пленники томились в неволе до конца войны. Но, во-первых, они находились под защитой международных договоров; во-вторых, пребывание в плену считалось не позором, а бедой. И только на этой войне для русского военного человека плен был хуже чумы, потому что за отступление расстреливали, а из немецкого плена советский военнопленный почти неминуемо попадал в свой застенок. На пленного власовца законы вообще не распространялись, так что в советском плену, как и в немецком, хуже всего приходилось русским.

«Эта война вообще нам открыла, что хуже всего на земле быть русским»...

Месяц за месяцем война входила в гражданское сознание Солженицына потенциалом правды, а значит — крамолы. Он напряжённо размышлял о судьбе обречённой русской армии, нелепо обряженной в немецкую форму и поверившей свастике: «Что ослепило вас, что знак паучий / Вы могли принять за русскую звезду? / И — когда нас, русских, жизнь научит / Не бедой выклинивать беду?» Он читал тупые власовские листовки и внутренне презирал одноцветное зрение их агитпропа. Смутная история власовцев бередила сердце как частный случай несчастной русской судьбы, а война, будто нарочно, старалась показать пытливому комбату безрадостную общую картину.

«Потаённые я открывал в себе глубины, / О которых не догадывался раньше» — эти слова Солженицын мог сказать себе не только летом 44-го, когда, страшно рискуя, давал пленным власовцам крамольный совет: «Ну, куда, куда вы,

остолопы? / И зачем же — из Европы?! / Да мундиры сбросили хотя бы! / Рас-сыпайсь по деревням! Лепись по бабам!..» Ещё в апреле 1943-го Указом Президиума Верховного Совета были восстановлены каторга и смертная казнь через повешение — и война, будто беспощадный наставник, посылает комбату особое испытание (осенью 1943-го): лично присутствовать «на настоящей казни», куда пригласит его старший по званию, как приглашают на показательное зрелище, по части политпросвета и боевой закалки. И комбат, находясь среди толпы зрителей, военных и штатских, видит казнимого — не немца, а своего, русского, полусонного, в рваных портках, слышит приговор дивизионного трибунала, наблюдает за исполнением приговора. И стеснённым сердцем сочувствует повешенному, промолчавшему до смерти: «Почему не крикнешь??! / Почему — молчишь?..»

Фронтовые дороги заводили Солженицына в такие дебри человеческих судеб, откуда трудно было выйти нравственно незамутнённым. Удачливый командир батареи встретит летом 44-го отряд штрафников («Гимнастёрки — наши. Наши и обмотки. / Только плечи без погонов... И без звёзд пилотки»), где воюют даже подростки, и почувствует себя среди них любопытным барином. Одному, пятнадцатилетнему, за опоздание на работу дали полкатушки, пять лет — и заменили месяцем штрафной роты. Другому, рабочему-токарю, сидевшему ещё при царе за листовки месяца два, советская власть влепила десятку — не месяцев, а лет: деталь с завода поменял на хлеб для голодной семьи. «Этот сел за страшный грех недоносительства — / Не донёс на мать свою родную, / Что на кухне клеветала на правительство; / Тот сверло занёс на проходную; / Третий карточки подделал с голодухи, / Пятый выловлен десницею бухгалтерских проверок; / Кто-то сел за то, что слышал где-то слухи / И не опроверг». И бесконечные рассказы про окружение, про плен и арест.

Как следовало реагировать на все эти истории советскому офицеру и командиру? Пригрозить новыми карами и заставить замолчать? Крикнуть, что этого не может быть? Уйти без промедления, чтобы не надрывать себе душу? А зачем вы, ваше благородие, вообще подходили к отребью, к шпане? И как быть — если это правда? «Не уйти. Не крикнуть. Взгляда не отвесть. / Говорят так просто... Будто так и есть...» От штрафника, живущего последний день перед боем, в котором он «смоет кровью» вину перед советской властью, услышит комбат странное предостережение. «Любопытство к смертникам у вас не *наше*. / Не советское, нейдёт к погонам и звездам. / Берегитесь, как бы *этой* чаши / Не

испить и вам! / Не лишиться б гордого покоя, / Не узнать бы, что оно такое — / В шаг квадратный, весь из камня *бокс*».

... Но до квадратного каменного бокса оставалось топать и топать. Комбату предстояло честно отработать фронтовые будни, пройти с боями от земли Тургенева и Лескова до самой Германии — и только безупречная военная работа давала ему моральное право на обретение той меры нравственной свободы, которая была утрачена обществом задолго до немецкого вторжения. Под Новосилем, на Неручи накапливался и был подготовлен большой прорыв, и комбат Солженицын радовался, что фронт, наконец, пришёл в движение, что грядут События с большой буквы, когда история не пишется, а делается.

В начале лета ему довелось воочию увидеть огненный смерч, когда задрожала земля, заметался воздух. 11 июня за один час было подавлено 17 батарей противника, из них пять по координатам, которые дала БЗР-2. Комбат был по-настоящему счастлив, испытывая радость победы и торжество отмщения — за мать, за Ростов, за свой разбомблённый дом и разрушенный физмат, за сожжённые книги и конспекты. И когда батарею посетил бог советской звукометрии генерал Опарин (тогда ещё полковник), лейтенант Солженицын чувствовал, будто встретился с университетским профессором, с которым можно говорить на одном языке.

А потом наступили грозные воскресенья июля. Много, много позже, по разным поводам, будет вспоминать Солженицын эти воскресенья. «4 июля. На рассвете вся земля затряслась левее нас на Курской Дуге... 11 июля. На рассвете тысячи свистов разрезали воздух над нами — это начиналось наше наступление на Орёл». «Четвёртый день, как мы вдвинулись в прорыв на Неручи... Я четвёртые сутки обожжён и взбаламучен, не улегается. Всё, всё радостно. Наше общее большое движение, и рядом с Курской дугой, — великанские шаги». 12 июля начался прорыв 63-й армии, 13-го они вошли в прорыв двухлетней обороны немцев и увидели, что такое «овраги смерти».

Четверо суток продвигалась пехота под прикрытием артиллерии, и в ночь на 16 июля звукобатарея Солженицына вошла в посёлок Желябугские Выселки. «Ещё и не бывав здесь — сколько раз мы уже тут были, сколько целей пристреливали из-за Неручи... И в каждой деревеньке заранее знали расположенье домов».

Таких пьяных, лохматых, шагающих через смерть дней в его жизни ещё не было. Сутки вмещали недельные события, при этом казалось, что протёк месяц. Смерть воспринима-

лась вполне отрешённо: если не убьют, а только ранят — значит, останется жив, убьют — значит, не узнает, что погиб. 24 июля весь день сплошной бомбёжки комбат был на волосок от смерти: несколько бомбардировщиков пикировали на одну из машин его звукобатареи, бомба упала рядом, и осколок от неё влетел в ящик из-под гаубичных гильз, который служил чемоданом, пробил портфель с бумагами и тетрадями, с военными рассказами, и — вылетел, не оставив на владельце и царапины. Но кончился день, некогда было думать о смерти и жалеть искромсанные тетрадки; наступление лавинно катилось к Орлу, от выжженной, изрытой чёрными воронками земли к благословенным местам, где колосились поля, спели вишни и яблоки, созревали овощи. Тысячи людей были освобождены из оккупации, с десятками из них комбат, неразлучный с блокнотом и карандашом, сумел поговорить по свежим следам пережитого.

На рубежах орловского прорыва лейтенант Солженицын по-прежнему мечтал о мировой революции. В короткий передых, едва отстрелялась очередная «катюша», он крутил махорочную цигарку и размышлял вслух: «Вот рванём ещё, рванём — и какая ж пружина отдаст в Европе, сжатая, а? После такой войны не может не быть революции, а?.. это прямо из Ленина. И война так называемая отечественная — да превратится в войну революционную?» Фронтовой друг Витя Овсянников слушал мирно, спорить не спорил, но помалкивал*. Но в чём не обманывала комбата интуиция — так это в ощущении необратимости победы. Насколько он разбирался в истории, настолько — к началу августа 1943-го — мог сказать об исходе войны: *мы победили*. В эти дни, среди мин, снарядов, забытых немцами замедленных фугасов, он чувствовал себя настоящим, то есть обстрелянным солдатом, а значит, и выросшим как писатель.

В Орёл батарея вошла 5 августа. Солженицын был горд, что разделил радость города в эти острые, сверхчеловеческие дни: мысль, что здесь сию минуту делается история, пьянила, как шампанское. А в Москве, писала Лида, при известии о взятии Орла весь город вышел на мостовую, на крыши, на

---

* Спустя 52 года после событий июля 1943-го, в дни 50-летия Победы, Солженицын побывал в местах боёв. «Так посчастливилось нам с Витей Овсянниковым, теперь подполковником в отставке, снова пройти и проехать по путям тогдашнего наступления: от Неручи, от Новосиля, от нашей высоты 259,0 — и до Орла». Не забыл писатель и свои тогдашние мечты: «А какой же я дурак был, Витя. Помнишь — про мировую революцию?.. Ты-то деревню знал. С основы» («Желябугские Выселки»).

окна, в темноте, в зарницах салютов: люди впервые кричали, хлопали в ладоши, пели, предчувствуя будущий праздник. После Орла, заминированных дорог и сожжённых деревень, где своими глазами комбат видел обугленные трупы крестьян, он мог сказать себе: «О! Дорваться бы мне только до Германии!»

А 15 августа комбат Солженицын получил свою первую боевую награду.

Говорят архивные «Наградные листы»: «Командир БЗР-2 лейтенант Солженицын получил в январе 1943 года необученных бойцов. К 17 марта 1943 г. батарея была обучена звуковой разведке и готова к выполнению боевой задачи. За период май—июнь БЗР-2 под умелым руководством л-та Солженицына выявила основную группировку артиллерии противника на участке Малиновец — Сетуха — Бол. Малиновец (орловское направление). 11.6.43 г. в период операции три вражеские батареи, засечённые БЗР-2, 44-я ПАБР (пушечно-артиллерийская бригада) подавила. В период наступления наших войск 12.7.43 г. вся группировка артиллерии противника, которая была выявлена БЗР-2, подавлена 44-й ПАБР, что дало возможность успешно и быстро прорвать сильно укреплённую линию обороны немецко-фашистских войск. За успешную и быструю подготовку личного состава, за умелое руководство по выявлению группировки артиллерии противника на участке Малиновец — Сетуха — Бол. Малиновец командира БЗР-2 представляю к награде — ордену Отечественной войны II степени.

Командир 794 ОАРАД капитан Пшеченко. 26 июля 1943 г.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны II степени. Командир 44 ОПТАБР РГК гвардии полковник Айрапетов.

Наградить орденом Отечественной войны II степени. Командующий артиллерией 63-армии генерал-майор артиллерии Семёнов.

Приказом командующего артиллерией 63 А № 05/21 от 10.8.43 награждён орденом Отечественной войны II степени. Нач. отд. кадров Ук арт 63 А капитан Анохин». Под подписями — печати.

...Пройдёт лет тридцать, и в глухое время гонений на *писателя* Солженицына кто только не будет злобствовать по поводу Солженицына-*офицера* (клевета протянется ещё на тридцать лет). «Беспушечный офицер», «фронтовик, не нюхавший пороху», «разведчик, прятавшийся за пехоту», «всего два года на передовой» (как будто двух лет недостаточно, чтобы военного человека настигла предназначенная ему

пуля). Солженицын, в угоду злопыхателям, должен был бы стать не офицером артразведки, а солдатом штрафбата, а ещё бы лучше подорваться на мине или смертельно раниться осколком снаряда!

С возмущением и гадливостью писали много лет спустя о многоязыкой лжи однополчане комбата. В их глазах он всегда оставался исключительно грамотным, компетентным командиром-разведчиком. «Не знаю, — вспоминал сержант-вычислитель А. Кончиц (1993), — случая нареканий на БЗР-2 за неточную, нечёткую разведку, в чём, конечно, главная заслуга была командира батареи. Ни артналёты, ни бомбёжки не останавливали напряжённой работы по определению координат вражеских батарей, которые сразу же передавались артиллеристам для подавления их огнём. В такие минуты командир постоянно находился на ЦРП, лично вникая во все сложные моменты».

«Есть за что вам нынче помянуть с любовью / Вашего комбата?..»

И судьба — всем смертям назло — хранила Солженицына. Перед офицерским строем отличившемуся лейтенанту прикололи на правую сторону груди орден Отечественной войны II степени. «Он прост и изумительно красив — один из самых красивых наших орденов... Эх, никогда не думал, что буду орденоносцем!..»

С августа 1943-го артдивизион покатил на запад. Они гнали свои машины вслед за пехотой, продвигаясь наугад по минированным шоссейным дорогам, в объезд взорванных мостов, сворачивая на полевые просёлки, перекрёстки, обочины, которые тоже были заминированы. Комбат Солженицын доподлинно испытал, как это — сверлить глазами землю, буравя каждую кочку и буерак, проехать по опасной колее, а потом услышать взрыв, оглянуться и увидеть столб дыма позади себя и взорванную машину, которая шла *второй след в след точно по этой же колее...* «Говори после этого, что мне не везёт!»

В конце августа они шли в наступление через брянские леса, откуда, навстречу своим, выходили партизаны — мужчины, мальчики, старики, в кубанках и немецких пилотках, подпоясанные пулемётными лентами, и немедленно приступали к разминированию лесной чащи. В сентябре враг отступал уже так быстро и так поспешно, что не успевал жечь все деревни, взрывать все мосты, минировать все дороги; в иные дни часть, в которой воевал Солженицын, не успевала за наступающими дивизиями и двигалась уже как бы в тылу. И если наступало затишье, комбат жадно набрасывал-

ся на книги (брал на день-два в библиотеках освобождённых городов) и на свои блокноты — они могли стать зародышами, концентратами будущих произведений. Уже были: «Блокнот первый: Дневник военного времени. Часть I. По тылам войны (октябрь 41 — июнь 43). Блокнот второй: Военный дневник. Часть II. От Неручи до Сожа. Летнее наступление 43 года».

15 сентября приказом командующего армией ему было присвоено звание старшего лейтенанта.

Огромный по времени и расстоянию марш-бросок от Центральной России до Белоруссии, от Орла до Гомеля, от Неручи до Сожа оставил сложные, смешанные, незабываемые впечатления. Странно врезались в память и запали в душу места, где они продвигались, укреплялись, стояли, отбивались, потом снимались и двигались дальше. Турск, Чечерск, Мадоры, Святое, Жлобин, Рогачёв, Ола, Вишеньки, Шипарня, Беседь, Свержень, Заболотье, Рудня-Шляги. Бедная, сиротская земля, обезглавленные церкви, унылые избы, сгнившие мосты, хлипкие насыпи. «Топь. Да лес. Пшеница не возмётся. / Нет бахчей. Сады не родят буйно. / По песку к холодному болотцу / Только рожь да *бульба*». Или две соседние деревеньки Юрковичи-Шерстин, где случился бой *по расширению плацдарма* и где земля («Кто поймёт твой ужас и твою тоску?») вся была изрыта, искромсана, и рыжая мокрая глина открытого окопа не могла дать солдату никакой защиты от смертельного огня.

К этим клочкам омертвелой земли прикипело сердце. Здесь комбату довелось испытать то спасительное самозабвение военного человека («вся душа — одно дупло»; «я отерп, не помнил я ни прежних лет, ни дома»), то неразличение страшного и смешного, без которых невозможно вынести тяжесть похода и напряжение боя, обыденность простой солдатской смерти, лишения каждого дня жизни и саму её хрупкую ненадёжность. «Что-то я оставил там такое, / Что уж больше не вернётся нипочём... / Вечно быть готовым в путь далёкий, / Заставлять служить и самому служить, — / Снова мне таким бездумно лёгким / Никогда не быть. / Отступаем — мрачен, наступаем — весел, / Воевал, да спирт тянул из фляги».

Осенью 1943-го, пройдя сотни и сотни километров похода, обстрелянный, тёртый и бывалый старлей Солженицын чувствовал, что — вслужился, усвоил тонкости армейских порядков и смысловые оттенки приказов, познал «доблесть воина» — быстро и беспрекословно выполнять дельные поручения и молча уклоняться от бестолковщины: «Козы-

ряю — слушаю — не слышу. / Всё равно я сделаю по-своему, / А они по-своему опишут». Он впитывал в себя войну, и мысль о писательстве от этого только крепла; он доставал свои блокноты всегда, когда стояли в обороне, без движения, в одном и том же месте. Порой он даже подумывал об армии как о возможном пути после войны — но этот путь не был целью, а мыслился лишь во имя литературы и её неизбежных баталий, ведь в его блокнотах и в памяти было накоплено так много смутного, колючего, обжигающего.

Он честно воевал, бил и гнал фашиста с родной земли. Но как было объяснить себе и впустить в свою будущую литературу всё то, что видел своими глазами и слышал своими ушами? И то, что ещё предстояло увидеть? В городе Стародубе Брянской области, где он был в августе 1943-го по горячим следам отступившего противника, люди рассказывали о мадьярском гарнизоне, который долгое время «охранял население от партизан». Когда пришёл приказ о переброске гарнизона, десятки женщин с рыданиями пришли на вокзал провожать оккупантов. Дальше с плакальщицами разбирался трибунал. «Но чья ж тут вина? Чья? Этих женщин? Или — нас, всех нас, соотечественники и современники? Каковы ж были *мы*, если от нас наши женщины потянулись к оккупантам?»

Стояние на Соже, длившееся почти два месяца, снова дало некоторую отсрочку. И он снова ощутил, насколько привык к войне. Если снаряд жужжал и падал дальше, чем за 100 метров, он оставался в хате, писал письма, читал газеты, не обращая внимания на дребезг стёкол, то и дело вылетавших из окон. Как-то, в начале октября, он даже получил от Лиды драгоценную и долгожданную бандероль — несколько нечитаных книг Карла Маркса. Оказывается, ещё в 1870 году, анализируя Франко-прусскую войну, Маркс предсказывал войну русско-германскую, которая вызовет социальную революцию в России. И как было не поразиться колоссальной, почти жуткой способности человеческого ума проникать в толщу исторических событий.

Здесь, в обороне, Солженицын снова стал писать. По впечатлениям частично морозовским (вспомнились рассказы соседа Броневицкого), частично — из наблюдений за освобождёнными маленькими городами (комбат старался заезжать в каждый такой город, даже если тот был в стороне от основного маршрута) — был написан рассказ «В городе М.». Автор был доволен — не столько самим рассказом, сколько тем, что остаётся верным своему призванию и той цели, которой решил посвятить каждую минуту бытия. Он ощущал себя на

фронте как на правильной дороге, где, впитав в себя войну, можно подготовиться к послевоенному неизвестному.

Накануне своего 25-летия, 10 декабря, Солженицын подводил итог прожитой четверти века. То, что уже было приобретено, казалось убийственно малым по сравнению с целью жизни. Было потеряно время на математику, которая (так он сейчас считал) не приближала, а удаляла от цели, и не случилось никого рядом, кто бы помог вовремя исправить ошибку молодости. Простой расчёт: пять лет физмата минус полтора законченных курса МИФЛИ — это три с половиной потерянных года. После всех лишений молодости, горений за книгами, обжигающих споров в поисках истины — вывод был очевиден: придётся догонять и навёрстывать. Тем более что из зеркала на него смотрело лицо совсем взрослого человека — за два армейских года набежали морщины на лоб, к губам и глазам.

Именно потому комбат был убеждён (и поддерживал в себе это убеждение), что не погибнет на этой войне. «У меня до сих пор какое-то дурацкое отсутствие страха перед снарядами — как бы близко он ни свистел и ни рвался — я всё уверен, что меня он не тронет». Смерть была бы исторической глупостью, считал он — ведь следовало жить, чтобы исправить проклятую ошибку. Он страдал, что в свой итог не может вписать ни одного грамма *овеществлённого* литературного капитала — но зато получил нечто неуловимое, что направляет его перо, даёт спокойную, зрелую веру в себя. Это казалось странным, необъяснимым, дерзким. Он спрашивал себя — был ли в двадцать пять лет писатель, не напечатавший ни строчки и не написавший от руки больше двух общих тетрадей? И сам же отвечал: не было.

Декабрьским вечером, в разгар войны, он давал слово — колоссальной, чудовищной работой вернуть упущенное.

Глава четвёртая

СТРАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЖАР ЭПИСТОЛЯРНЫЙ...

«Я встретил его на безлюдной улице деревни Чернышино после мягкого летнего дождя. Липла глина к сапогам, и брюки были мокрыми до колен от высокой травы, жемчужно блестевшей среди обгорелых труб. Мы увидели друг друга издали, сразу узнали, потом не узнали, потом пошли навстречу, потом побежали, не то крикнули что-то, не то нет, и с силой обнялись молча».

Так начинался «Шестой курс», военная повесть, оставшаяся лишь в набросках плана и нескольких убористых страничках текста. Первый пункт включал встречу старых школьных друзей на фронте — они называли друг друга: Ксандр и Дарий. Неутомимый воин-летописец Ксандр (Солженицын) — как только его фронтовые свидания с Дарием (Виткевичем) обрели забавную регулярность — стал писать историю: как это всё затевалось.

...Если бы дерзкий замысел Коки обсуждать политические вопросы в подцензурных фронтовых письмах натолкнулся на осторожность товарища, вряд ли из их затеи что-нибудь вышло в дальнейшем. Если бы, простившись в июне 1941-го, друзьям не привелось увидеться на фронте, вряд ли их переписка *всухую*, без личных свиданий, тащила бы через всю войну груз обсуждаемых тем. Если бы после встречи на орловских рубежах война развела их окончательно, вряд ли они смогли бы осуществить то, что неотразимой уликой ляжет позднее на стол лубянского следователя.

Но — Солженицын охотно откликнулся на предложение друга и как подарок судьбы воспринял тот невероятный факт, что на трёхтысячевёрстном фронте Кока со своей частью оказался рядом, под Орлом на Неручи. С тех пор, будто нарочно, военная судьба держала их рядом: химик Виткевич был командиром химической роты, находился то в семи, то в десяти, то в четырнадцати километрах от звукобатареи Солженицына и имел в своём распоряжении лошадей. Для организации встреч это было огромным преимуществом — хотя у комбата были машины, но «бензин не рос на лугах». «И с тех пор, как праздник, привелось нам — / То заскачет он ко мне наверхове, / То заеду я к нему на “опельблитце”, — / Мысли-кони застоялые играют в голове, / И спиртной туман слегка клубится».

Вторая встреча, 24 июня 1943-го, когда Виткевич приехал к Солженицыну в часть верхом на лошади и они не расставались в течение суток, была ещё более тёплой и сердечной, чем первая. Друзья гуляли по степи, любуясь, как неподалёку шарахает фрицев «катюша», играли в шахматы, смеялись по малейшему поводу, фотографировались, а потом в землянке до рассвета спорили о европейских перспективах. Им казалось, что сжатые формулировки, ёмкие выводы, рождавшиеся в ночных разговорах, — знак их марксистской зрелости и славный итог многолетнего знакомства. Расставались с трудом — и с ощущением, что судьба крепко-накрепко связала их обоих, навсегда. Накануне наступления, 11 июля, Виткевич снова навестил друга, и снова была бессонная ночь

в клубах дыма, и радость, что они дышат одним воздухом. В этом грандиозном прорыве они двигались по армейским меркам бок о бок, и Солженицын то и дело порывался навестить друга на велосипеде, собранном из трофейного лома. Едва выбравшись из-под огня, тут же возобновлял розыск — и находил Коку в нескольких километрах от переднего края или возвращался к переписке (когда ожидаемая сентябрьская встреча сорвалась из-за форсирования Десны). С трудом нашёл друга в конце ноября — всю ночь читал ему вслух свои рассказы и, едва простившись, снова начинал искать. И снова радость горячила головы. «Книга, стол, и мы друг против друга, — / Никого на свете больше нет. / Пусть в патроне сплющенном коптит фитиль, / В двух верстах — трясенье на краю переднем, / Ближе — сходимся — яснеем — и / Запись отточённая о выводе последнем».

«Последними выводами» повеяло на шестом свидании. Двухмесячное стояние на Соже закончилось, в начале декабря 43-го дивизион тронулся с места в сторону Рогачёва и остановился в снежном лесу. 13 декабря Виткевич, оказавшись и на этот раз всего в семи километрах, сам нашёл Саню. Кроме мушкетёрского хохота и чтения вслух, было в их свидании нечто такое, что позволило друзьям назвать его «Совещанием Двух о послевоенном сотрудничестве и о войне после войны» (быть может, в подражание только что прошедшей Тегеранской конференции, «Совещания Трёх»).

Что же таилось за двусмысленной формулой «война после войны»? В чём был смысл будущей «совместной практической деятельности на поприще партийно-государственном», ради которой Солженицын готов был лет через пять—восемь даже вступать в партию? «Груди наши горели страстью политической», — объяснял он много лет спустя. Однако странное дело: учитель, красноармеец, курсант, лейтенант, бредивший революцией, почему-то не подтвердил своё членство в комсомоле ни в Морозовске, ни в Дурновке, ни в Костроме, ни в Саранске. Мировая революция оставалась сферой идеала, а комсомол и партия обретались в перманентно лгущей действительности. Саня тяжело страдал в начале войны, видя, что созданный Лениным социализм трещит под ударом германских бронированных армий. Но «трескучая балаганная предвоенная похвальба» была ему подозрительна ещё в конце тридцатых и мерзкой виделась в начале сороковых. В его дивизионе было 32 офицера, из них 30 — коммунисты. Беспартийных только двое: фотограф Краев, на которого все давно махнули рукой, и комбат Солженицын — на него наседали всю войну. («За рукав — парторг: “Ну, как там ваш

народ? / Заявленья о *приёме* подаёт? / Твоего — не видно. / Покажи пример. / Стыдно! — / Офицер!”») Комсомол и партия в сознании комбата располагались не рядом с Марксом, Энгельсом и Лениным, а рядом с НКВД и СМЕРШем, и офицер-фронтовик смотрел на всякого смершевца, явившегося в дивизион, как на потенциальную опасность. «Вслужившись», он уже знал, как грамотно отболтаться, когда брали за горло, и мог найти сразу несколько причин, почему именно сейчас он не может подать заявление в партию.

...Итак, после шестой встречи с Кокой, где составилась общая идейная платформа, друзья ежедневно перебрасывались записками через посыльных; ЦС Солженицына расположилась в лесу, среди высоких сосен и молодых ёлочек, усыпанных снегом; стояла тихая, безветренная, с приятным морозцем зима, обещавшая славный Новый год. Но сжигавшая заговорщиков *страсть политическая* накалилась до степени оргвыводов и даже оргдействий. Уже давно они не стеснялись в письмах. И странное дело: два командира (а Виткевич уже был кандидат в члены партии) *общими вопросами* называли... критику и ругань Верховного главнокомандующего!

«Мы переписывались с ним во время войны между двумя участками фронта и не могли, при военной цензуре, удержаться от почти открытого выражения в письмах своих политических негодований и ругательств, которыми поносили Мудрейшего из Мудрейших, прозрачно закодированного нами из Отца в Пахана». Друзьям казалось, что, избегая имён «Ленин» и «Сталин» (вместо них — «Вовка» и «Пахан») и не касаясь военных тем, они пребывали в полной безопасности. Порой всё же это ощущение бывало поколеблено. «Вдруг — ударом, вдруг — уколом / Отдаётся в голову: пишу — / Что? Безумцы! Что? В капкан / Сами лезем головой горячной: / *Вовка, путь, обсудим, экономика, Пахан...* / Попадётся цензор не чурбан, — / Как это прозрачно! / И движенье первое — порвать!» Однако успокаивал факт: письма благополучно доходили, ни одно из них не было изъято — цензурные девочки наверняка ничего не понимали в их хитроумных цидулях.

Споры о «Вовке» и «Пахане» — это и были споры о том, что́ казалось идеалом и что́ виделось как реальность. Оба были опытными спорщиками и с полуслова понимали друг друга. Виткевич, например, писал: «Долго думал я и вижу, что Пахан / Злою волею своей не столько уж ухудшил: / Жребий был потянут, путь был дан / И другого — мягче, лучше — / Кажется, что не было. Какой садовник / Вырастил бы яблоню из кости тёрна? / Так что кто тут основной виновник, — / Встретимся — обсудим. Спорно». Военный

треугольник с крамолой доставлялся Солженицыну, и он, додумывая тяжкую мысль, писал в ответ: «Но тогда, снимая обвиненье с Пахана, / Не возводим ли его на Вовку? (сиречь Ленина). / Коротко: а не была ль *Она* / Если и *не не* нужна, / То по меньшей мере преждевременна?..»

Она — это, конечно, Революция. Не мировая, которая то ли ещё будет, то ли нет, а русская, решившая ход истории. И как же было не думать о Ней, если на Её алтарь он готов был положить свою жизнь? «Сколько жив — живу иных событий ради, / У меня в ушах иного поколения набат! / — Почему я не был в Петрограде / Двадцать восемь лет тому назад?»

И что же оставалось делать Солженицыну как историку революции, если на мысленном возвратном пути к Ней было нагромождено столько цензурных запретов, столько неостывших тайн, столько колючей проволоки? Если будущее писательство — не откажись он холодным рассудком от задуманного плана — заведомо обрекало его на крамолу и подполье? Куда ж надо было плыть двадцатипятилетнему фронтовику, если между его предполагаемым писательством и неминуемым подпольем расстилалась не широкая торная дорога, но едва маячили узкие врата, почти что щель? И выходило так, что «цельность» студента-комсомольца, «открытость» офицера, сменившие «трудность» и «двуправдность» подростка, опять двоились; опять он был не в ладу со своей верой, со своими идеалами, опять выпадал из политической реальности, обсуждая во фронтовых письмах роковые последствия революции и прозрачно указывая на главного феодала страны.

Декабрьские дебаты оставили у друзей не только радостное чувство идейной общности, но и странную тревогу. Точнее всего её можно было бы назвать тоской по несбывшемуся — они грустно острили, что будут запасаться книгами «стариков», *пока их ещё печатают и издают в СССР*, будто и в самом деле опасались за судьбу чистого марксизма в победившей стране. В том же декабре Солженицын, анализируя ситуацию на фронтах, впервые за десятилетие изменил свою точку зрения на мировую революцию и послевоенную перспективу: теперь, считал он, долгой революционной войны в Европе не будет, война закончится вместе с капитуляцией Германии. Однако ухудшение политического климата, которое могло наступить после войны в стране, одолевшей фашизм, грозило быть настолько серьёзным, что следовало готовиться не столько к долгому студенчеству, сколько к тяжёлой борьбе в полном одиночестве (Кока был не в счёт, так как собирался заниматься историей, а не литературой). Отказаться от главной цели — узнать подлинную историю

Октября — об этом не могло быть и речи; даже если придётся писать и не увидеть напечатанной ни одной строчки, он готов был идти до конца.

За два дня до Нового года Солженицын встретился с Виткевичем в седьмой раз; просидев ночь напролёт, они расстались, обязавшись написать проекты отдельных частей резолюции, которые затем надлежало обсудить и составить единый документ. Встретить вместе праздник не удалось — когда лунной ночью в трофейных санях Солженицын приехал к другу, того на месте не оказалось: Кока уехал на склады за минами и колючей проволокой. Не усмотрев в этом никакой символики, комбат оставил приглашение пожаловать к нему в часть и встретил новогоднюю ночь со своей артиллерией, которая «поздравила» немцев двенадцатью залпами. На следующий день, 1 января, Виткевич прикатил — тоже на санях и на своих лошадях. Они засели в землянке и работали сутки; в ночь на 3 января 1944 года в ходе восьмой фронтовой встречи «Резолюция № 1» была составлена.

Через год, месяц и неделю бумага будет отобрана при аресте и станет беспощадной уликой следствия. «Каждый из нас, — напишет Солженицын в «Архипелаге», — носил по экземпляру неразлучно при себе в полевой сумке, чтобы сохранилась при всех обстоятельствах, если один выживет, — “Резолюцию № 1”». Ещё через двадцать с лишним лет Документ вернется к Солженицыну в Вермонт*, и в 1992-м он ещё раз вспомнит о нём. «Под новый год, 1944 год, мы с моим другом, однодельцем будущим, то есть сразу однодельцем уже, встретились, и друг говорит: что мы с тобой всё вычёркиваем из списка, о чём надо поговорить? Не вычёркивать надо, а записывать. Правильно, записывать надо. И мы решили записать. И вот мы сформулировали нашу с ним вдвоём “Резолюцию № 1”». Они работали вместе над каждой фразой, а потом каждый записывал для себя согласованный текст. Позже Солженицын перепишет Резолюцию (частично помогал доверенный боец) в маленький блокнотик, чтобы всегда иметь при себе.

Итак, анализируя внешнюю политику СССР военного периода, авторы приходили к выводу, что наметившийся исход войны «не будет означать поражения мировой или европейской пролетарской революции, а лишь отсрочку её, *вме-*

---

* По просьбе М. С. Горбачёва в 1989 году в Вермонт приехал редактор «Нового мира» С. П. Залыгин и привёз уцелевшую часть следственного дела А. И. Солженицына: несколько писем, несколько фотографий и блокнот с «политическими мыслями», в котором была записана и «Резолюция № 1».

сто грозившего поражения». Такой исход, полагали авторы, искренне верившие в социализм, ускорит соревнование двух систем, от которого зависит успех революции. Однако решение экономических задач будет осуществляться после войны за счёт «максимальной плановой эксплуатации природных богатств и населения страны». Иными словами, «продолжится наступление социализма» — государство, сосредоточив в своих руках все средства производства, всю прибавочную стоимость, всю землю, банки, весь процент прибыли, оставит населению скудный прожиточный минимум и постарается пресечь любые попытки людей воспользоваться даже и малым избытком средств. Монопольный характер послевоенного СССР неминуемо скажется не только на экономике страны, но и на истории, литературе. Сфера идеологии станет прикладной. «В официальной истории причины, оценка и ход войны будут описаны на основании выступлений руководителей государства и несекретных приказов НКО».

Ещё более плачевным виделось будущее литературы, обречённой на антихудожественность и фальшь, на искажение реальности, поскольку её обяжут развить *культ руководителей*. А значит, она исполнится *псевдопатриотической риторикой* и *политической самоуспокоенностью*. Критическая мысль, оставаясь легальной, должна будет демонстрировать свою чрезмерную лояльность и потому окажется бессильной не только *вскрыть*, но даже и *указать* на имеющиеся противоречия.

Завершалась резолюция блоком задач, в число которых входила и такая: «Определение момента перехода к действию и нанесение решительного удара по послевоенной реакционной идеологической надстройке». Было ещё и краткое заключение: «Выполнение этих задач невозможно без *организации*. Следует выяснить, с кем из активных строителей социализма, как и когда найти общий язык». (За последние три строчки Солженицын добавочно получит 11-й пункт 58-й статьи («организация»), особые лагеря и вечную ссылку.) «“Резолюция” эта была — энергичная сжатая критика всей системы обмана и угнетения в нашей стране... Даже безо всякой следовательской натяжки это был документ, зарождающий новую партию».

...Восьмая встреча, увенчавшаяся Документом, стала кульминацией фронтового общения — и миной замедленного действия. Поразительно, но авторы, казалось, не понимали, что, вторгшись в сферу государственного и партийного строительства, они уже посягнули на святая святых — на прерогативы партии и её вождя. «Наше впадение в тюрьму носило характер мальчишеский, хотя мы были уже фронтовые

офицеры»*. Неосторожность, наивность — да, конечно. Но ещё были азарт, счастье взаимопонимания, пьянящая одержимость идеей, страсть приобщения к большой политике. «Мы-то с ним совсем были распоясаны...» Так что и намерение (вредный умысел), и рецидивы (крамольная переписка длилась много месяцев), и содержание писем (антисоветчина) давали по тому времени полновесный материал для осуждения обоих; «от момента, как они стали ложиться на стол оперативников цензуры, наша с Виткевичем судьба была решена, и нам только давали довоёвывать, допринести пользу».

Довоёвывание заняло больше года. После восьмой встречи Саня и Кока потеряли друг друга, будто судьба уже утратила к ним интерес, разведя их на 70 километров. От того, что в полевой сумке Сани лежала «Резолюция № 1», в его жизни ничего не изменилось — разве что отчётливее виделось будущее: доучиваться, вести математику в школе и начинать борьбу в духе Документа. Непонятным образом военная цензура прохлопала его письмо жене, где сообщалось о «Резолюции». Там, мол, даётся анализ современной обстановки, объясняется, почему разошлись внутреннее содержание и внешняя трактовка политических событий, какие задачи должны быть поставлены в этой связи: «Это первый марксистский документ, написанный нами, а не конспект учебника с критическими замечаниями на полях».

Теперь, когда существовала «Резолюция», судьба Октября жгла ещё сильнее и звала к активным действиям. Но на каком поприще? Если Федин прочтёт военные рассказы и поставит на них крест, если автор сам поймёт, что не способен создать нечто великое — с мечтой, которой отдана вся юность, будет покончено. Он бросит писать, но не оставит свою цель: перейдёт на истфак и уже как историк положит жизнь на алтарь ленинизма. Если же литературный талант будет у него обнаружен (Фединым, Лавренёвым или кем-либо другим), то он, писатель Солженицын, будет создавать романы об истории революции; этим же самым станет заниматься и Кока-историк: «работы одного будут открывать глаза другому». Потому уже сейчас следует думать о послевоенных проблемах — «и за зелёными столами дипломатов, и в землянках фронтовиков».

---

* См.: «Когда я потом в тюрьмах рассказывал о своём деле, то нашей наивностью вызывал только смех и удивление. Говорили мне, что других таких телят и найти нельзя. И я тоже в этом уверился. Вдруг, читая исследование о деле Александра Ульянова, узнал, что они попались на том же самом — на неосторожной переписке, и только это спасло жизнь Александру III 1 марта 1887 года» («Архипелаг ГУЛАГ»).

Нужно было заново осмыслить и своё прошлое, и своё будущее. В начале 1944-го Солженицын залпом написал лирический этюд «Фруктовый сад» — письмо офицера, обожжённого войной, жене (ею оказывалась героиня «Женской повести», та самая киевлянка, застрявшая на почте в Дурновке). В ходе войны герой проходит через переломную точку, пункт невозврата к прежней жизни. Он начинает понимать: нет такого чувства, которое не притупилось бы на войне. «Нам *не к чему* больше возвращаться. У нас нет *прежнего* иначе, как в памяти. У нас есть *будущее*, которого мы не представляем и к которому мы не знаем, как и когда придём». Эти строки Саня процитирует в письме жене и с «грустной трезвостью» пригласит её к серьёзному разговору о будущем. Вскоре он предупредит Наташу, что после войны ей придётся делить с ним не столько успехи и литературную славу, сколько «жестокую и великолепную борьбу за ленинизм». «Я пишу чересчур объективно, чтобы надеяться, что меня напечатают».

Тёплая и недолгая белорусская зима, а с ней и хилая неспешная весна 1944-го (как первый этап «довоёвывания») были полны событий и на фронте, и в личной судьбе комбата. Стояние в обороне в лесу под Рогачёвом, которое окончилось тяжёлыми боями и взятием взорванного, почти пустого города. Форсированный марш от Рогачёва под Жлобин («через лёд, болота, чащи, голову сломя»), томительное ожидание половодья на Днепре. «Временами — оголтелый бой, / Сонный мир — такой же полосой, — / Кто б тебя, война, иначе вынесть мог?» И снова марш-бросок на прежнее место — через Днепр — к Рогачёву; и там — стояние в покинутых деревнях, ночлеги в нежилых домах, в запустенье брошенных садов и заросших бурьяном дворов.

Одним из итогов этой операции было сближение с Виткевичем — они опять оказались в составе одной (48-й) армии, в 11 километрах друг от друга. Они увиделись (в девятый раз!) 19 марта 1944-го; и если бы на следующий день Коку не перевели в какую-то совсем далёкую часть, друзья снова встречались бы регулярно. Саня впервые открыл Коке план своего будущего «пятикнижия» — созвездия из пяти романов, с условным называнием «ЛЮР», «Люби революцию» (это название позже будет отдано автобиографической повести, а замысел «ЛЮРа» как «пятикнижия» превратится в Узлы «Красного Колеса»).

Вскоре было получено известие от Лиды: она-таки отнесла Санины военные рассказы — но не Федину (уехавшему в Ленинград), а Лавренёву, прибывшему в Москву. Тот сразу

вспомнил фамилию юноши из Ростова, письмо 1938 года и рассказы 1941-го («Заграничная командировка», «Речные стрелочники», «Николаевские»). «Рассказы А. И. Солженицына “В городе М.” и “Лейтенант”, — напишет рецензент полгода спустя (и Лида перескажет Сане содержание отзыва), — значительно отличаются от первых литературных опытов автора, которые мне пришлось читать незадолго до войны. Несомненно, что Солженицын прошёл за это время большой путь, созрел, и сейчас можно уже говорить не о зачатках умения литературно оформлять свои мысли и наблюдения, а о литературных произведениях. Из двух этих рассказов “Лейтенант”, конечно, лучше. Он собраннее, строже по работе над языком, в нём есть и развитие темы, и человеческие характеры. На мой взгляд, он заслуживает быть напечатанным, но редакция “Знамени” почему-то воздержалась от напечатания, не дав вразумительного ответа».

«Он говорит, — писала Лида о Лавренёве, — что относил рассказы в “Знамя” по собственной инициативе, но их не приняли из-за “мест, неудобных к печатанию”». «“В городе М.”, — продолжал Лавренёв, — значительно слабее. Этот рассказ сбивается на очерк, вяловат и расхлябан. Во всяком случае, автору следует продолжать работу над литературой, а не бросать её. Зрелость в литературе не всегда приходит мгновенно. Способность Солженицына к литературному труду не вызывает у меня сомнений, и мне думается, что в спокойной обстановке, после войны, отдавшись целиком делу, которое он, очевидно, любит, автор сможет достигнуть успехов».

Сдержанный отзыв скорее озадачил, чем обрадовал: «Да послужит он большим стимулом к работе, стимулом к беспощадной требовательности и уничтожающей самокритике».

Но подошло время отпуска — давно обещанного, первого за войну. В конце марта Солженицын выехал из части (сумасшедше тяжело добирался до Жлобина, потом до Гомеля, затем поездом до Москвы) с обязательством вернуться в часть через две недели, как того требовали обстоятельства*.

---

* «Наш дивизион был в то время отдельным, имел свою печать и штамп. Командир дивизиона, подполковник Пшеченко (в “Пире Победителей” он — Бербенчук), сперва отпустил в отпуск себя, в Харьковскую область. Вернувшись, решил взять жену в дивизион и послал за ней одного офицера. Чтобы тот мог оформлять нужные документы, ему были выданы пустые бланки с печатями, а офицер злоупотребил, оформил себе отчисление от дивизиона, причислился к тыловым войскам и остался в тылу. Как Пшеченко покрыл подлог, не знаю. Как же теперь быть с отпусками? Кому можно верить? Решили, что поверить можно мне, что я точно вернусь день в день. И потребовали: день в день» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2001 год).

Он знал, что Кирилл и Лида — в подмосковной Барвихе. «Я пришёл пешком из Одинцова к недоступному замку Барвихи — и вахта приняла меня, а там выбежали вы с Лидкой и повели зачуханного старшего лейтенанта ни много ни мало в тот трёхкомнатный номер, который передо мною занимал мой командующий фронтом маршал Рокоссовский. За обедом, с непривычки, я еле сдерживался, чтобы каждое второе слово не вставлять матерное, как мы привыкли на фронте. А потом с тобой (Кириллом. — *Л. С.*) — 24 часа непрерывных разговоров, и взаимного согласия во всём. И уже тупой Усач давно-давно ни для кого из нас не был лицом уважаемым. И кипение общих послевоенных литературных планов. Это тоже был день — из вершин нашей дружбы».

Больше суток они провели вместе и вместе же вернулись в Москву. Встреча с друзьями стала единственной удачей отпуска. До Ростова он добирался вместо суток двое с половиной, жены не застал (как окажется, по дороге из Талды-Кургана разболелась тёща, и они застряли), потерянно бродил по пустому и обезображенному городу. «Я понял, что до боли люблю и буду любить его: это — первая любовь. Будем жить и бороться в других городах, в него не вернёмся, но каждый перекрёсток и каждый камень его всегда будет свят для нас». Остановился в Наташиной квартире; всё, что тёти Решетовские и Шура Зубова могли рассказать ему о матери, он уже знал. «Во всех квартирах тяжёлая грусть, люди безнадёжно огорчены и озлоблены». Он хотел поехать, если б было в запасе хоть дня два, в Георгиевск. В том, что мама жива, он не сомневался: денежные переводы, отправляемые из части, исправно доставлялись к месту, о чём свидетельствовал дивизионный начфин. Оставался тяжёлый осадок: чтó подумает мама, если узнает о его отпуске: был рядом и не заехал? «Но я уже не успевал к ней попасть и боялся, что подведу своих в части», — вспоминал Солженицын в 2001 году.

После пустых ростовских дней (он успел только собрать в одно место уцелевшие рукописи, книги, фотографии) необходимо было возвращаться в часть. Солженицын решил ехать не через Москву, а по освобождённой Украине. В поезде Ростов—Харьков, в купе общего вагона, произошло знакомство, которое подвело незримую пока черту фронтового бытия составителей «Резолюции № 1». Сосед по купе, старший лейтенант Леонид Власов, показался до того симпатичным, до того близким, что, пролежав на верхних полках друг против друга сутки и проговорив обо всём на свете, Солженицын совершенно уверовал, что обрёл единомышленника, как раз в духе того поиска «активных строителей социализма»,

который значился в «организационном» пункте Документа. Прибыв в часть (успел день в день!), он немедленно написал Виткевичу огромное, безрассудно откровенное письмо (получился толстенный конверт, тогда как все писали тоненькие письма-секретки) — о счастливой встрече, «пополняющей ряды», о том, что их ростовская пятёрка сможет преобразиться в семёрку, ибо у Власова тоже есть доверенный друг.

Пройдёт почти год, прежде чем Солженицын (уже арестант) поймёт, что именно то письмо было выхвачено из общего потока и засечено, что именно с того момента они с Кокой попали под колпак слежки. Но весной 1944-го ему и в голову не приходило связывать участившиеся наезды СМЕРШа в батарею, вызовы солдат для бесед по одному — с чем-то, имеющим отношение к его переписке с Кокой, с которым, как выяснилось, встретиться до конца войны уже не представлялось реальным. На фронт Солженицын вернулся как раз с облегчением — в тылу, где люди были мрачно озабочены, он не нашёл такого морально чистого воздуха, какой был здесь. К тому же одно за другим последовали события, остудившие жар политических переживаний.

В середине апреля с большим опозданием вернулся денежный перевод с пометой о смерти матери. Никто из родных не написал ему об этом вовремя — так что поначалу Саня даже не знал, когда это случилось: в марте или раньше. Если б ему удалось заехать в Георгиевск во время отпуска, он мог бы попасть уже только на её могилу. Это были чёрные дни, и, страдая, он обвинял не войну и не оккупацию, не мамину болезнь, а только себя. «Мама умерла. Я был для неё плохим, бездушным сыном. Почему всегда живое так грубо, так нагло, так тупо пляшет по мёртвому? По дорогому мёртвому? В двадцать четыре года она потеряла человека, который её любил, и двадцать шесть лет растила человека, который не принёс ей радости. Зачем она жила?.. Со мной осталось — всё хорошее, что она для меня сделала, и всё плохое, что сделал для неё я».

Только 24 апреля тётя Маруся сообщила племяннику подробности (три предыдущих письма не дошли). «Дядя Роман умер 2 января 1944, а твоя мамочка, а моя дорогая сестричка 18 января. Для меня это был такой удар, что я слегла в постель и думала, что вслед за ними и я скоро отправлюсь туда же... В продолжение 2-х недель — 2 гроба... Мама приехала к нам, на себя совсем не была похожа, настоящий скелет, все думали, что она тогда же умрёт. Но потом она немного отошла, но уже поправки не было, у неё был туберкулёз во 2-й и 3-ей стадии, куда ж ей поправиться. Вещей

она привезла очень и очень мало, самое необходимое и то продавала на мёд, сметану, масло, смалец и т. д. У нас тёлочка первым телком отелилась, даёт мало молока, а мы всё-таки делились со всеми своими больными, мы каждый день ей давали $^1/_2$ литра молока, а если б она покупала, так на одно молоко 500 руб. и больше надо. Ей тех денег и на одно молоко не хватило бы... Мама твоя хотя была очень слабая, а всё-таки ходила потихоньку. 16-го, в воскресенье, она написала всем письма, тебе, Наташе, в Ростов Н. Н. (Нине Николаевне Решетовской. — *Л. С.*) и Куликовой, 17-го слегла в постель, а 18-го тихонько скончалась. Я была с ней, и она говорила до самой последней минутки, тебя всё вспоминала и очень хотела с тобой повидаться, разговаривала со мной, а потом закрыла глаза, заснула и больше не проснулась». Январский денежный перевод и ещё два пошли на оплату долга по двум похоронам.

В начале мая о Санином горе узнали друзья. Кирилл, любивший Таисию Захаровну и знавший о её болезни, пытался утешить друга, призывая его быть психологом и понять природу маминого заболевания. Написала и Лида: «Последние ужасные для неё военные годы твоя мама жила с психологией больного человека. Ты бы не мог её спасти. А она не отвечала за свои поступки. Помни маму такую, какая она была в Ростове, какая она на самом деле. И не мучай себя теми мыслями, которые у тебя, я чувствую, есть. Пусть будет горе без самоупрёков».

Лида хорошо знала своего друга. Смерть матери страшно подавила его — и давила потом долгие годы, всегда. На его горе пыталась разжиться клевета — выдумавшая, будто, прибыв на короткий срок из воинской части по вызову умирающей матери, он провёл ночь у возлюбленной, так и не попрощавшись с мамой. «Но не было такого вызова... — напишет А. И. через тридцать пять лет. — Тяжко виновен я перед матерью, но не в том, что не приехал, а в том, что свой офицерский аттестат (он мог быть выписан лишь на одно лицо, не на два) я выписал не на мать, а на излелеянную молодую жену Наташу Решетовскую (маме только переводы) — и тем доставил военкоматское покровительство жене в казахстанской эвакуации, а не больной в Георгиевске матери. И потому мама числилась не матерью офицера, а просто гражданской женщиной. И две тёти не имели, на чём отвезти покойницу, и неоплатна была копка могилы в каменноморозной земле, и опустили её в свежую могилу её брата, умершего двумя неделями раньше, да кажется туда ж — и несколько умерших в госпитале красноармейцев».

Последние месяцы 1943 года Таисия Захаровна много и горько жаловалась на голод, безденежье, болезнь и писала, что медленно умирает. Присылаемых сыном денег не хватало, продовольственного и промтоварного пайка от Военторга (какой бы она получала по аттестату) ей не полагалось. Быть может, упреки подогревались родственниками, которые бедствовали сами и должны были делиться последним — с ней, матерью офицера и командира. «Я знаю, что если она умрёт, это оставит неизгладимую печать на моей совести», — писал Солженицын в конце декабря 43-го. Но ничего не мог изменить: аттестат можно было переписать на маму только во время выписки нового, после 1 мая 1944-го — между Саней и Наташей этот вопрос был твёрдо решён. Ситуацию, сложившуюся весной 43-го, когда под давлением жены (а на ту давил тысячный долг семье тёти Жени) аттестат был выписан на неё, а не на маму (которая к тому времени ещё не нашлась), пока исправить было невозможно. Никто из них к тому же ещё не знал, в чём разница между деньгами по аттестату и теми же деньгами по переводу, никто не мог предвидеть, в какой смертельной ловушке окажется Таисия Захаровна. Сын сокрушался: ведь мама ещё в 1941-м заклинала послушать её материнское слово и не идти в артиллерию. «Теперь она пишет: “Почему ты высылаешь мне только 400 р.?” А если б я послушал её совета и остался в обозе — сколько б я высылал ей с 10 р. ежемесячной “зарплаты”?»

Узнав о бедственном положении Таисии Захаровны, ей начали помогать Решетовские, отщипывая по 200 рублей от Саниных переводов. Но и Саня, и его жена понимали, что эти деньги, учитывая дороговизну в освобождённых городах, — капля в море. Упрёки мамы, при бессилии что-либо изменить, угнетали, казались обидными. Наташа, в ответ на тяжёлые письма свекрови, вообще перестала писать (писала Мария Константиновна) — и спустя десятилетия винилась: «То, что я не переборола себя тогда, не поняла психологии тяжело больного человека, не сумела восстановить с Таисией Захаровной былой теплоты наших отношений, лежит и всегда будет лежать на моей совести. Хотя материально я и делала для неё всё, что могла».

Но ничто материальное в начале зимы 1944 года бедной Таисии Захаровне помочь уже не могло. Она не помнила обид и написала за день до смерти и сыну, и невестке. И всё ещё шла война...

В мае, по разрешению комдива Пшеченко, при сопровождении сержанта Ильи Соломина, специально посланного

в Ростов — к Солженицыну в часть приехала жена и пробыла с ним три недели, вплоть до начала наступления на фронте*. Намерение пробыть вместе до конца войны (Наташа могла бы работать дешифровщиком в батарее) не осуществилось. Началась жизнь на колёсах, и комбат даже радовался, что жена уехала до больших передряг. Развёртывания и свёртывания, перетасовки и передвижки, хозяйственные переучёты, манёвры между Рогачёвом и Бобруйском продолжались вплоть до наступления 23 июня. А 22-го он узнал, что стал капитаном: приказ был подписан маршалом Рокоссовским ещё 7 мая.

Это было то время, про которое Солженицын-зэк напишет: «Я тогда был сам в себя влюблённым — / В чёткость слов и в лёгкость на ходу. / В тот июнь я приколол к погону / Белую четвёртую звезду». Теперь его капитанское звание точно соответствовало должности командира батареи; больше года он находился на передовой и имел огромный запас впечатлений, которые обещали стать захватывающими сюжетами, а впереди ждали дороги Европы, которыми он надеялся идти до самой победы.

Лето 1944-го стало стремительным и триумфальным, будто 41-й год наизнанку. 23 июня 48-я армия двинулась в наступление по шоссе Бобруйск—Минск. Комбат едва успевал короткими словами фиксировать впечатления — и самого похода, и грандиозного сражения под Бобруйском, где попала в окружение огромная группировка противника. «...По шоссе катилась, ехала и шла / Наша победившая лавина. / Хруст *крестов железных* под ногами, / Треск противогазов под колёсами, / Туши восьмитонок под мостами, / Целенькие пушки под откосами, / Битюги, потерянно бродящие стадами, / “Фердинандов” обожжённых розовый металл, / Из штабных автобусов сверкание зеркал, / Фотоаппараты, рации и лампы, / Пламя по асфальту от разбитых ампул, / Ящиками порох, бочками бензин, / Шпроты вод норвежских и бенедиктин, / А навстречу, без охраны, бесконечной вереницей / Тысячами шли усталые враги... / <...> Их не трогали. Из них шофёров выкликали / И сажали за трофейные рули».

---

* Ср.: «Он вызывал её к себе даже на фронт, на заднепровский плацдарм, — с поддельным красноармейским билетом. Она добиралась через проверки заградотрядов. На плацдарме, недавно смертном, а тут, в тихой обороне, поросшем беззаботными травами, они урывали короткие денёчки своего разворованного счастья. Но армии проснулись, пошли в наступление, и Наде пришлось ехать домой — опять в той же неуклюжей гимнастёрке, с тем же поддельным красноармейским билетом. Полуторка увозила её по лесной просеке, и она из кузова ещё долго-долго махала мужу» («В круге первом»).

В эти самые дни, идя по шоссе среди поваленных немецких машин, капитан Солженицын как раз и встретил группу из десятка солдат РОА, шедших в плен, и велел убираться подобру-поздорову, «по деревням, по бабам». Именно в эти дни он открывал в себе «потаённые глубины, о которых не догадывался раньше». Ему суждено было *пока не догадаться* ещё об одной координате судьбы — столь же географической, сколь и творческой. 3 июля наступающие войска были в Барановичах — в тех местах, где в Первую мировую стоял в обороне Исаакий Солженицын, подпоручик Ростовского Гренадёрского полка прославленного Гренадёрского корпуса, участника Бородинского сражения и взятия Парижа. Летом 1944-го сын того подпоручика шёл мимо Барановичей, переполненный впечатлениями победного похода на Запад, не подозревая, как уже были и как ещё будут связаны с ним эти места на перекрестье двух мировых войн.

В середине июля комбата догнал орден за взятие Рогачёва, райцентра Гомельской области; за него было пролито столько пота и крови, что даже была у 794-го артдивизиона надежда получить имя «Рогачёвский». «В боях с немецко-фашистскими захватчиками перед прорывом и во время прорыва глубокоэшелонированной обороны немцев в р-не северней Рогачёва тов. Солженицын благодаря своей хорошей организации и руководству сумел обеспечить разведкой левый фланг наших наступающих частей. 24. 06. 44 две батареи противника вели фланговый огонь по переправе через реку Друть и нашей наступающей пехоте. Тов. Солженицын, несмотря на сплошной шум, сумел обнаружить эти две батареи и скорректировать по ним огонь наших трёх батарей, которые (батареи противника) были подавлены, тем самым обеспечил беспрепятственную переправу наших войск и продвижение их вперёд. Тов. Солженицын достоин правительственной награды — ордена Красная Звезда. Майор Пшеченко, полковник Травкин, подполковник Кравец».

20 июля 48-я армия перешла границу. Война вышла за пределы Отечества и катилась на Запад с впечатляющим ускорением: на Соже, сравнивал комбат, бились два месяца, а Буг перемахнули всего за неделю. Давно не получая почты (особенно страдала переписка с Виткевичем), он писал, что готов терпеть и дальше такое неудобство, ибо одни только сволочи могут ныне заниматься личной жизнью, а честные люди — живут сводками с войны.

В августе, пока шли по польской территории (в боях за одну из деревень сражались с войсками РОА), у Солженицына появилось предчувствие, что наступление приведёт его

к местам самсоновской катастрофы. Предчувствие сменилось уверенностью, когда начались (и длились весь сентябрь) бои за реку Нарев. Глаза ежедневно видели груды металла и горы мёртвых тел, трупный запах вместе с дорожной пылью (типичный запах войны!) проникал во все щели и пропитал траву (пришлось обрить голову, ибо пыль и жара перепутали и выседили волосы). После изматывающих боёв, непрерывных операций и телефонного дёрганья комбат с отвращением смотрел на законную добычу, которая ждала победителей в брошенных домах, на полках и складах магазинов — сгущёнку, какао, шпроты, бенедиктин, шампанское, сигареты, — учась сдержанности, избегая жадности. Армия, приближаясь к границам врага, впервые за годы войны должна была решать проблемы не только боевые, но и этические: на что́ имеет право солдат, ступивший на землю захватчика? Как должен вести себя здесь, например, тот сержант, у которого фашисты сожгли дом, повесили отца, убили мать, угнали сестру? Рядовые БЗР-2 спрашивали своего комбата — всё ли дозволено на территории Германии? Где границы мести и что такое «счёт врагу»? Как и чем разрешено *отоварить* Победу?

Даже и в таком щепетильном деле комбат подчинялся страсти писателя — радость трофейной охоты он мог ощутить, когда попадались какие-то особенные блокноты или писчая бумага, где не расплывались чернила и не спотыкалось перо. Пишущая машинка «Континенталь» (он так и не успеет отправить её домой), надёжный союзник послевоенного литературного труда, казалась ему сказочным приобретением, законным и символичным военным трофеем. Своим бойцам комбат мягко советовал — *стесняться перед Европой*, вести себя достойно, без алчной наглости (в «Дороженьке» капитан Нержин наставляет рядового Илью Турича: «Пронеси сознанье гордости и чести / Перед европейцами... / Помни, что в Европе растревоженной, / Где не так уж часто русские гостят, / Каждый наш поступок, в тысячах размноженный, / Как легенда станет»).

Летнее наступление, непрерывно длившееся без малого три месяца (первый раз они остановились лишь в середине сентября, но оборона не получилась тихой, ибо по укреплённому пятачку долбили день и ночь), окончательно сформировало у Солженицына стойкую *психологию фронтовика* — не планировать даже ночлег, быть готовым к любому повороту событий и жить текущей минутой. К тому же война трясла ежеминутно и могла стереть все планы в один миг; так, в конце сентября, под огневыми налётами на их ЦС из-

решетило осколками 19-летнего солдата Ваню Андриашина: раздробило правую руку и оторвало правую ногу, он истёк кровью и умер, не доехав до медсанбата.

Летом 1944-го, воюя на территории Польши, а вскоре — в Восточной Пруссии и видя, что стратегически Победа уже состоялась, Солженицын понимал, как ещё далеко до того момента, когда разорвётся последний снаряд и последний немец положит винтовку на землю. Значит, надо перестать ждать конца войны и находить интерес в настоящей минуте. Месячное сидение на плацдарме за Наревом убедило, что надо готовиться к огненной зиме.

Но война опять обманула, на этот раз приятно: с начала ноября огневая лихорадка сменилась долгожданной тишиной, и Солженицын-фронтовик уступил место Солженицыну-писателю. Он изголодался по работе — жадно и с наслаждением писал «Шестой курс», который под пером разрастался в маленький роман, пытался достичь уровня классической выразительности и радовался, что уже видит свои плохие места — ещё не может их поправить, но ведь раньше не видел вовсе. Работал ночи напролёт, впервые сочиняя вещь, которая опиралась на собственный опыт — правда, очень не хватало нужного чтения, такого как «Былое и думы», чтобы проверить новую манеру письма. Тут-то его и настиг (в письме Лиды) отзыв Лавренёва, после которого «как оборвало, не написал ни строки».

Впервые за много месяцев ночи были тихими и спокойными. Весь ноябрь и декабрь стояла бесснежная зима с плюсовой температурой и слабым солнышком; на фоне этой тишины неожиданно замаячила возможность встречи с Виткевичем (теперь их разделяло 450 километров в оба конца): Кока по-прежнему оставался единственным человеком, с кем можно было шагать в ногу. Солженицын испросил разрешение (комбриг Травкин его дал, надо было дождаться возвращения из отпуска капитана Степанова), готовился; в повестке дня из 14 пунктов центральным был «государство и революция»; им они мучились оба. Но — десятое свидание сорвалось.

Чем ближе казалась победа, тем напряжённее думал Солженицын о послевоенном времени. Последний год и особенно встреча с женой на фронте навсегда отделили его от прежней жизни, не оставляя никаких иллюзий, никаких надежд на семейную безмятежность. «Моя активность, — писал он жене, — не даёт мне возможность смотреть спокойно, пассивно на общественные беспорядки, общественную несправедливость, экономическую неустроенность, хождение наглых, но никем не опровергнутых мнений, непра-

вильное освещение современной истории... Всё это с неудержимой силой толкает меня к бурному вмешательству в политическую жизнь». Литература виделась самой действенной формой борьбы — но если она не оправдает себя, он займётся публицистикой, ораторством, партийной работой.

Он чувствовал, что его планы всё больше устремляются к борьбе, что он всё меньше живёт *лично для себя*, что его цели не обещают никаких благ, никакого личного успеха. На осторожные расспросы жены — где и как они будут жить после победы — он, едва сдерживая раздражение, отвечал, что не хочет и не может рассуждать в разрезе личного счастья. Волнующим чтением той поры стала стенограмма XIV съезда ВКП(б) — она попалась случайно, но убеждала в мысли, что по сравнению с одной удавшейся книгой о Ленине или о процессах тридцатых годов счастливая семейная жизнь будет иметь для него десятистепенное значение. Он чуял вызов времени и готовился к жизни *подвижника* (от слова «подвиг», писал он жене, объясняя ей свой символ веры). Шансы остаться вместе сохранялись постольку, поскольку она приняла бы эту веру как свою, поскольку смогла бы полюбить его дело больше его самого, поскольку впилась бы в его труд так, чтобы их интересы переплетались не в тихом эгоистическом счастье, а в одной общей работе.

Он отдавал себе отчёт, насколько трудна поставленная цель для мозга, тела и жизни одного человека и насколько сам он мал перед великанской задачей, и всё же готов был рассчитывать только на себя (быть может, ещё и на Виткевича). Он — заглядывая в мирное время из блиндажа последней военной зимы, — видел себя писателем, которого не будут печатать, думал о нищете и невзгодах, которые обрушатся на него и на его близких. Ни для кого и ни для чего он не имел права жертвовать поприщем, которое в январе 1945-го твёрдо называл «борьбой». Прислушиваясь к себе, Солженицын убеждался, что не дрогнет, ибо сойти с пути — значит потерпеть крушение, как терпит крушение поезд, на сантиметр сошедший с рельсов.

В ночь на 11 декабря 1944-го (ему исполнялось двадцать шесть) и в канун нового года Солженицын подводил итоги прожитого и, уже совершенно угадав свою судьбу, заблуждался только в одном-единственном пункте — бороться предстояло несомненно, но совсем *не за то*.

...Новый, 1945 год комбат Солженицын встретил в своём маленьком хозяйстве: с вечера дали электричество от движка на ЦС и в батарейный клуб, слушали музыку по радио, устроили общий ужин, концерт художественной самодея-

тельности, коллективное пение и пляски. В полночь отсалютовали фрицам, и потом комбат выходил любоваться лунной ночью — много курил и пребывал в прекрасном, лёгком настроении; впервые за пять лет его любимый праздник проходил весело и красиво; казалось, будто груз войны свалился с плеч и вот-вот начнут сбываться великие планы.

В середине января сидение на Наревском плацдарме закончилось. В ночь на 14-е из штаба дивизиона пришло предписание, которое надлежало прочесть вслух личному составу батареи в 4.50 утра: «Солдаты, сержанты, офицеры и генералы! Сегодня в пять часов утра мы начинаем своё великое последнее наступление. Германия — перед нами! Ещё удар — и враг падёт, и бессмертная Победа увенчает наши дивизии!..» Дней пять шли с боями по территории Польши, а от прусской границы, которую миновали 20 января, «будто сдёрнули какой-то чудо-занавес: немецкие части отваливались по сторонам — а нам открывалась цельная, изобильная страна, так и плывущая в наши руки. Столпленные каменные дома с крутыми высокими крышами; спаньё на мягком, а то и под пуховиками; в погребах — продуктовые запасы с диковинами закусок и сластей; ещё ж и даровая выпивка, кто найдёт». Войска двигались по Пруссии, будто по незнакомой планете — в каком-то хмельном угаре; привыкнув к нищете среднерусских и белорусских деревень, поражались, видя повсюду крепкие шоссейные дороги, добротные дома. «Не как в Польше, не как дома: / Крыши кроют — не соломой... / А сараи как хоромы!» Теперь всё это богатство было обречено огню, который оставляли врагу на вечную память...

Как перст судьбы воспринял Солженицын тот факт, что наступление пошло точно по следам самсоновской армии, и с беспокойной надеждой ждал встречи. Сбывалось одно из тех необъяснимых предчувствий, которые так часто оправдывались у него. Шальной мысли 1938 года — побывать в Найденбурге — суждено было исполниться 21 января 1945 года. «Я предчувствовал, *Ostpreussen*, / Что скрестятся наши судьбы!» Он уже давно знал этот край, семь лет был болен Четырнадцатым годом — бездарной гибелью русских корпусов генерала Самсонова. «Затая в себе до крика / Стыд и боль того похода, / В храмном сумраке читален, / Не делясь, юнец, ни с кем, / Я склонялся над листами / Пожелтевших карт и схем. / И кружочки, точки, стрелки / Оживали предо мной / То болотной перестрелкой, / То сумятицей ночной. / Жажда. Голод. Август. Зной». Теперь какая-то сила связывала его с тем августом: капитан стоял посреди горящего города (он так же горел, когда в 1914-м туда въезжал Самсо-

нов) и уже не по книгам, картам и схемам, а с натуры, как живописец, записывал свои впечатления в военный блокнот.

«С потягом тяжёлой гари возник перед ними и Найденбург. Ещё издали виднелся в зелёном шпиле крупный белый циферблат с кружевными стрелками, теперь расступались розовые, серые, синеватые дома, все надписи камнем по камню. До боевых действий здесь было очень благоустроено, сейчас же, хотя не виделся нигде прямой пожар, но много было следов пожаренных: пустые обугленные проёмы окон, кой-где рухнувшие крыши, очернённые стены, брызги лопнувших стёкол на мостовую, вонючие сизые дымы от недотушенного в разных местах, и общий зной неостывших камней, черепицы, железа, добавленный к зною дня». Таким спустя четверть века предстанет Найденбург времён Первой мировой, когда там побывал Самсонов. И получалось, что в 1945-м, как своих старых знакомых, встретил комбат древние часы на башне городской ратуши, с тем же ровным ходом и кружевными стрелками.

Полмесяца наступления по Восточной Пруссии ошеломили, переполнили душу обжигающими впечатлениями. «Всё смешалось, всё двоится, / Перекрёстки, стрелки, лица, / Встречи, взрывы, мины, раны, / Страхи, радость, зло, добро, — / Прусских ночек свет багряный, / Прусских полдней серебро». Добро, в вещно-материальном смысле слова, навалено было горами повсюду; и трудно было привыкнуть, что в каждом сельском доме — добротная дубовая мебель, шторы, пианино, камин, радио, библиотека; и трудно было пройти мимо, не взяв ничего из кровно завоёванного, потому брали, азартно охотились на брошенное добро (солдату — пять килограммов, офицеру — десять, генералу — пуд), и было в этой охоте много отчаянного, шального зла...

И опять случались странные встречи, оставлявшие на душе горький осадок чужой правды, несовместимый с общим победным настроением. Как-то раз, в нескольких шагах от комбата Солженицына провели по обочине пленных власовцев, а по шоссе грохотала «тридцатьчетвёрка». «Вдруг один из пленных вывернулся, прыгнул и ласточкой шлёпнулся под танк. Танк увильнул, но всё же раздавил его краем гусеницы. Раздавленный ещё извивался, красная пена шла на губы». И на тех же самых дорогах *Ostpreussen* были замечены русские пленные, не власовцы, свои, честно воевавшие за родину, но — пленённые фашистами и теперь освобождённые нашими войсками. Поначалу трудно было понять, почему они бредут домой понуро и безрадостно. «К пиру не прошены, к празднику не званы, / В мире одни никому не

нужны, — / Словно склонясь под топорное лезвие, / Движутся к далям жестокой страны». И попадались книги — опальные, запретные, вожделенные, которые раздирали душу: «холодно-жестокий Савинков», «князь Кропоткин, снова нелегальный», «талмудист опальный Карл Радек», «пламенно пророческий Шульгин»; упрятанные в заветный ящик из-под гаубичных гильз, они добавляли к «опрометчивой» жизни комбата привкус опасной тайны.

Ему оставалось воевать совсем немного. Стремительный бросок по Восточной Пруссии едва не привёл к окружению и разгрому звукобатареи. «За две недели движения братва уже насытилась прусским изобилием, никто особенно не трофейничал, да не до этого и было... По беспечности оголтелого наступления вся наша 68-я пушечная артбригада в ночь с 26 на 27 января была брошена в вакуум; без каких-либо сведений о реальной обстановке, без пехотного прикрытия и как раз под направление прорывного удара окружённых в Пруссии немцев». Из мешка, в котором оставался огневой дивизион комбрига Травкина с двенадцатью тяжёлыми орудиями, капитан Солженицын вывел почти что целой свою батарею и ещё раз возвращался туда за покалеченным «газиком». В том бою он впервые сам попал под власовские пули*.

Десятилетия спустя военную доблесть комбата попытается забрызгать грязью заказная клевета — будто Солженицын бросил батарею и бежал в тыл (где его и арестовала контрразведка). И снова вступятся за него бывшие бойцы БЗР-2, участники операции. «Наша батарея заняла участок в пустующем имении немецкого генерала Дитриха под вечер 26 февраля. Батарее поставили задачу развернуться на артразведку в сторону окружённых немцев. Однако быстро сгущавшаяся темень и поднявшаяся сильнейшая метель-пурга не позволили привязать топографически и установить микрофоны артзвукоразведки. Был только выставлен пост предупреждения и пуска ЦРП. Связь батареи была только по телефону

---

* См.: «В одну из ночей в конце января их (власовцев. — *Л. С.*) часть пошла на прорыв на запад через наше расположение без артподготовки, молча. Сплошного фронта не было, они быстро углубились, взяли в клещи мою высунутую вперёд звукобатарею, так что я едва успел вытянуть её по последней оставшейся дороге. Но потом я вернулся за подбитой машиной и перед рассветом видел, как, накопясь в маскхалатах на снегу, они внезапно поднялись, бросились с “ура” на огневые позиции 152-миллиметрового дивизиона у Адлиг Швенкиттен и забросали двенадцать тяжёлых пушек гранатами, не дав сделать ни выстрела. Под их трассирующими пулями наша последняя кучка бежала три километра снежною целиной до моста через речушку Пасарге. Там их остановили» («Архипелаг ГУЛАГ»).

со штабом дивизиона и постом предупреждения. Так продолжалось до 22—24 часов, потом связь с ПП оборвалась (трое бойцов там и погибли). И вскоре приказ из дивизиона: материальные средства разведки погрузить на автомашины (в батарее имелись две) и отправить в расположение штаба. Эту задачу комбат приказал выполнить старшему сержанту Соломину. Остальным было приказано занять оборону и быть готовыми к отражению атаки противника. Её ждали, по имевшимся в штабе данным, с применением танков. Ситуация сложная, отчаянная, ведь на вооружении в батарее не было ни одного противотанкового ружья. Всё вооружение: у бойцов — карабины, у двух лейтенантов Ботнева и Овсянникова — пистолеты, и у комбата — ППШ. И даже в этой весьма критической ситуации комбат не запаниковал, не растерялся. Приказал обнаруженные в имении бутылки наполнить бензином, и из имевшихся гранат сделать связки. Были распределены места у окон здания среди бойцов батареи. Вскоре из дивизиона поступил приказ оставить Дитрихсдорф и прибыть в расположение штаба. Приказ и был выполнен, так как на смену нам прибыл заслон танков с пехотой на броне» (А. Кончиц, 1993).

А вот свидетельство бывшего сержанта Соломина (2003), спасшего секретную технику звукобатареи в 1945-м: «Солженицын связывался со штабом, просил разрешения отступить. Ответили: стоять насмерть. Тогда он принял решение: пока есть возможность — вывести батарейную аппаратуру (это поручил мне), а самому оставаться с людьми. Дал мне несколько человек, мы всё оборудование погрузили в грузовик. Прорывались среди глубоких, по пояс, снегов; помню, как лопатами разгребали проходы, толкали машину. Солженицын остался с личным составом. Мы расстались, когда они занимали круговую оборону. Но потом пришёл приказ из штаба дивизиона — выходить из окружения. Солженицын ни одного человека не потерял, всех вывел. Так что, чего там про него писали, — глупости. Батарею Солженицын не бросал, в тяжёлой обстановке действовал абсолютно правильно, спас и технику, и людей». Встретившись с Соломиным у штаба корпуса, Солженицын обнял его: «Илюша, я тебе по гроб жизни благодарен!»

За операцию у деревни Адлиг Швенкиттен командование бригады 1 февраля подало в штаб артиллерии армии наградной список — за спасение батареи и техники капитан Солженицын был представлен к ордену Красного Знамени. Однако к моменту, когда был подготовлен наградной лист, уже два дня как в недрах другой канцелярии лежала бумага,

перечёркивавшая всё то, что составляло довоенный и фронтовой путь капитана, включая и этот орден.

«Гор. Москва, 30 января 1945 года.

Я, ст. оперуполномоченный 4 отдела 2 Управления НКГБ СССР капитан госбезопасности Либин, рассмотрев поступившие в НКГБ СССР материалы о преступной деятельности Солженицына Александра Исаевича <...>, находящегося в настоящее время в Красной Армии, в звании капитана, нашёл: Имеющимися в НКГБ СССР материалами установлено, что Солженицын создал антисоветскую молодёжную группу и в настоящее время проводит работу по сколачиванию антисоветской организации. В переписке со своими единомышленниками Солженицын критикует политику партии с троцкистско-бухаринских позиций, постоянно повторяет троцкистскую клевету в отношении руководителей партии и тов. Сталина. Так, в одном из писем к своему единомышленнику Виткевичу Солженицын 30 мая 1944 года писал: "Тщательно и глубоко сопоставив цитаты, продумав и покурив, выяснил, что (Сталин) понятия не имеет о лозунгах по крестьянскому вопросу и (нецензурно) мозги и себе и другим. В октябре 1917 года мы опирались на *всё* крестьянство, а он утверждает, что на беднейшее..."»

В справке были приведены ещё пять цитат из писем Солженицына Виткевичу и Решетовской (август — декабрь 1944-го). О том, что Сталин грубо ошибается в теории. О том, что «учение» о *трёх* сторонах, *пяти* особенностях, *шести* условиях диктатуры пролетариата никогда рядом не лежало с ленинизмом, а выражает примитивную манеру вождя считать на пальцах. О том, что после войны нужно стараться попасть в Ленинград, пролетарский, интеллигентный, умный город, по традиции чуждый Сталину, а не в Москву, город торгашей. О том, что надо стараться *избегать боёв, беречь силы, не растрачивать резервы,* необходимые для активной борьбы после войны (уже через месяц после того письма Солженицын выведет свою батарею из окружения и *не избежит* огневой работы, какую послала война, а лубянские тыловики будут картинно возмущаться, что, будучи на фронте, капитан советует единомышленнику не бросаться под пули...)

«На основании изложенного, руководствуясь ст. 146 и 158 УПК РСФСР, — постановил: Солженицына Александра Исаевича подвергнуть обыску и аресту с этапированием в Москву для ведения следствия». Постановление, кроме Либина, было подписано его начальником, подполковником Свердловым, в левом верхнем углу поставил размашистый росчерк «Утверждаю» заместитель наркома госбезопасности

2-го ранга Кобулов. Днём позже, 31 января, санкцию на арест, которую должен был подписать Генеральный прокурор СССР Горшенин (его фамилия была напечатана на документе), подписал за него заместитель Генерального прокурора СССР, Главный военный прокурор генерал-майор юстиции Вавилов*.

При таких обстоятельствах и персонах аргументы командарма генерала Гусева, пытавшегося отстоять своего капитана, были бессильны. За комбатом следили с весны 1944 года, но, дорожа его военной специальностью (в каждой армии командиров разведывательных звукобатерей было всего двое: их готовили только в Костроме, формировали только в Саранске), не трогали до конца войны, а теперь конец был уже близок...

Солженицын запомнил этот день, 30 января 1945 года. Он ничего не знал об уже затянутой удавке, не думал ни о суме, ни о тюрьме. Батарея, которую он спас, находилась в безопасности, но душа, стеснённая чем-то неведомо тяжёлым, чуяла беду. Комбат маялся и не находил себе места. Постановление об аресте было передано для исполнения в Главное управление контрразведки «СМЕРШ» Наркомата обороны СССР, откуда последовало телеграфное распоряжение от 2 февраля 1945 года № 4146 за подписью генерал-лейтенанта Бабича о немедленном аресте комбата БЗР-2 68-й артбригады капитана Солженицына (полевая почта № 07900 «Ф») и доставлении его в Москву.

Приказ двигался к дивизионному СМЕРШу около недели и 9 февраля достиг цели.

«У меня был, наверно, самый лёгкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейским февралём он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас, — и лишил только привычного дивизиона да картины трёх последних месяцев войны. Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, — и вдруг...»

---

* Б. З. Кобулов, впоследствии заместитель министра внутренних дел СССР и ближайший соратник Л. П. Берии, в конце 1953 года был расстрелян вместе со своим шефом. А. П. Вавилов на основании постановления Совета министров, подписанного Н. С. Хрущёвым, был в 1955 году лишён воинского звания «генерал-лейтенант юстиции» и разжалован в рядовые. Полковник А. Я. Свердлов (сын Я. М. Свердлова) осенью 1951 года был арестован по обвинению в преступной связи с особо опасными преступниками и вредительской деятельности (еврейский заговор) в чекистских органах. После смерти Сталина дело рассыпалось.

Глава пятая

ЭТАП: ПО ТУ СТОРОНУ ПОГРАНИЧНОГО СТОЛБА

Одна из самых волнующих загадок судьбы Солженицына — это пресловутое «если бы». Что было бы с ним как с писателем, если бы по особой прихоти судьбы арест 9 февраля 1945 года, за три месяца до конца войны, и всё с ним связанное миновали его и он не попал бы в ГУЛАГ? Цензура ли оказалась не столь расторопной, пропали бы с концами крамольные письма или вообще авторы «Резолюции № 1» вовремя спохватились и стали бы не в пример осторожнее?

Такой вопрос — после всего пережитого — не раз задавал себе и сам Солженицын. «До ареста я тут многого не понимал. Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе. Изнывал лишь от того, что трудно, мол, свежие темы находить для рассказов. Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили». Это написано в 1967-м — спустя 22 года после ареста, автором уже знаменитого «Ивана Денисовича», в разгар работы над «Архипелагом» — и, несомненно, хранит печать ожесточённой борьбы тех лет: Солженицын конца шестидесятых слишком суров к Солженицыну середины сороковых.

В канун ареста комбат уже не был ни юнцом, ни графоманом: он знал, зачем ему нужна литература и зачем он нужен ей. Написать правдивую историю Октября — ради этого фронтовик-орденоносец готов был пожертвовать и своим послевоенным благополучием, и семейным ладом, и литературной славой. «У борцов не бывает “славы”. “Слава” бывает у балерин, скаковых лошадей, “модных поэтов” и прочих кукол», — писал он жене в конце ноября 1944-го, повторяя, что не ждёт от будущего тихих радостей, уютного быта и устойчивого счастья. «С каждым месяцем мои литературные планы и намерения захватываются, завихриваются, впитываются, уносятся Политикой. С каждым месяцем я всё меньше и меньше живу *лично для себя*».

Уже тогда литература для него рифмовалась с правдой. Но чтó считать за правду? *Какая* история Октября отвечала критерию правдивости? В 1945-м Солженицын не видел в официальной литературе никого, кто бы мог создать художественную историю революции: не надеялся на Лавренёва, которому посылал свои вещи; не полагался на Федина, ещё одного потенциального рецензента, ничего не ждал от Эрен-

бурга, чьими статьями зачитывался в 1941-м. На фронте глубоко поверил честности «Василия Тёркина», но Твардовский был поэтом, а не летописцем. В перерывах между боями Солженицын сочинял рассказы — они были настояны на личных впечатлениях. Война же давала начинающему писателю уникальный материал и глубоко меняла его взгляд на мир, на людей, на правду. «Потаённые глубины», которые открывала в нём война, бросали новый свет на солдат и офицеров батареи. «Памятные, горестные курсы / Фронтовых необратимых изменений» вместе с комбатом проходили самые близкие боевые товарищи. Овсянников в начале войны безоговорочно верил газетам, а они писали, будто у врага — «Разруха тыла, а у нас — неисчислимые резервы, / Что фашисты — безыдейные наёмники и кнехты, / Что добьёт их, голеньких, мороз наш первый, / Что моторы станут их, что им не хватит нефти». Но, повоевав, лейтенант был ошеломлён ложью официальной пропаганды и увидел, что на фронте всё совсем не так, как в «Красной звезде»: «Узнав противника, что есть он умный немец, / А не эренбурговский придурковатый фриц, / Добродушный володимерский туземец / Стал не жаловать передовиц».

Солженицын имел доверительные отношения с грамотным, толковым сержантом Ильей Соломиным — у того тоже давно не было никаких политических иллюзий (а Соломин вспоминал, как страдал капитан, что советское оружие, в том числе и секретная техника звукобатареи, отстаёт от немецкой, и, вопреки официальной установке, считал плен не предательством, а несчастьем). Комбат хорошо узнал колоритного политрука майора Пашкина — ярого спорщика, колкого, острого человека: общение с ним только убеждало Солженицына в необходимости идейных поисков. «Рассказы Пашкина, — писал он в канун 1945-го, — лишний раз убеждают меня в правильности и нужности того общего направления, которое я придал своей жизни за последний год. Мы с ним иногда говорим о вещах, которых я никому, кроме близких, не доверял. Широчайшего ума человек!» Может быть, наличие в дивизионе политически близких товарищей как-то снижало чувство риска в переписке с Виткевичем.

Победную весну 1945 года капитан Солженицын, минуй его арест и тюрьма, мог бы встретить не на Лубянке, а в Померании, куда из Восточной Пруссии, пройдя Эльбинг и Кёнигсберг, в течение трёх месяцев двигался 794-й ОАРАД. На гимнастёрке комбата был бы, помимо первых двух, ещё и орден Красного Знамени за операцию при Адлиг Швенкиттен. Была бы и медаль «За участие в героическом штурме

и взятии Кёнигсберга»: БЗР-2, которую после ареста Солженицына принял под своё командование лейтенант Овсянников, участвовала в операции (10 апреля). Комбат Солженицын, воспитавший лучшую по дисциплине и боевой подготовке батарею дивизиона, получил награду только после реабилитации, в 1958-м. Непременно была бы и награда «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (медаль найдёт командира в 1957-м).

Капитан Солженицын постарался бы демобилизоваться как можно раньше и, быть может, уже в мае 1945-го поехал бы домой — конечно же через Москву: сошёл бы на Белорусском вокзале, куда прибывали тогда украшенные цветами эшелоны с освободителями Европы. Он привёз бы (если бы только не успел переслать раньше) несколько связок запрещённых книг, пишущую машинку «Континенталь» и блоки чистой бумаги для письма — главные военные трофеи. Он бы обязательно поехал в Георгиевск — проститься с матерью; она покоилась в одной могиле с Ромашей на старом городском кладбище (куда Солженицын сможет попасть только после ссылки в 1956-м; тогда же поставит крест из металлических труб с табличкой: «Таисия Солженицына и Роман Щербак»). Он собрал бы все свои уцелевшие рукописи и блокноты, нашёл бы драгоценную зачётку МИФЛИ. Скорее всего, той же осенью поехал бы в Москву, на университетский литфак, вобравший в себя МИФЛИ, откуда в военные годы был отчислен с *правом восстановления* (Лида Ежерец, побывав на факультете, писала Сане, что в деканате помнят «лучших студентов заочного отделения Солженицына и Симоняна»).

Последние военные месяцы ростовская пятёрка (переписка между ними порой прерывалась, но никогда не замирала совсем, каждый писал четверым, сообщая сведения об остальных) мечтала о столицах. Учёба, работа, литература виделись только в Москве или (лучше всего) в Ленинграде (снова и снова с отвращением вспоминал Солженицын, как его судьбу в Ростове вершили бездарные местные стихоплёты). Кто-то (не Саня ли?) подал идею, и все с восторгом поддержали мысль о коммуне — большом доме, где они поселятся вместе, со своими семьями, даже и с детьми, которые когда-нибудь, не так скоро, но появятся; все будут учиться, работать, читать друг другу свои сочинения и никогда не расстанутся, потому что таких, как они, больше нет.

Солженицын полагал, что, учась в МГУ, сможет устроиться учителем математики в какую-нибудь московскую школу, и за два месяца до ареста просил жену прислать ему

на фронт учебники планиметрии и стереометрии: «Надо же быть готовым с места в карьер к преподавательской работе». А дальше — можно было пробовать свои силы в литературе. Конечно, предстояло познакомиться с Лавренёвым и ещё с кем-нибудь из влиятельных литераторов. Но что именно фронтовик Солженицын мог предъявить корифеям Союза писателей сразу после войны? Чтó было у него готового и законченного — с чем можно было бы решиться выйти на люди? Рассказы, которыми он не был доволен и без конца переделывал (перед арестом работал над *пятой* редакцией «Лейтенанта»)? Довоенные стихи о первой любви? Велосипедные записки? Весьма сомнительно, если вспомнить о драгоценном литературном багаже — военных блокнотах.

Они содержали колоссальный материал. «Мои военные дневники — это вся моя военная память. Я пять блокнотов мельчайшим почерком, твёрдым карандашом исписал, все встречи, все эпизоды, — в общем, это для меня был просто клад, чтобы писать о той войне, о Второй Мировой». «Дневники военного времени» он вёл непрерывно; когда заканчивал один, тут же начинал следующий и собирался отправить исписанные книжечки в тыл, чтобы не подвергать превратностям войны. «Эти дневники были — моя претензия стать писателем. Я не верил в силу нашей удивительной памяти и все годы войны старался записывать всё, что видел (это б ещё полбеды), и всё, что слышал от людей. Я безоглядчиво приводил там полные рассказы своих однополчан — о коллективизации, о голоде на Украине, и 37-м годе, и по скрупулёзности и никогда не обжигавшись с НКВД, прозрачно обозначал, кто мне это всё рассказывал».

Можно представить, как стали бы воплощаться писательские притязания Солженицына, рискни он использовать военные блокноты. Вряд ли его литературные «крёстные», при их официальном положении и стопроцентной советскости, одобрили бы интерес начинающего прозаика к теме голода на Украине или к «художествам» предвоенного НКВД. Литературный дебют Солженицына, осуществись он по блокнотному варианту, даже на стадии рукописи привёл бы автора в конце сороковых туда же, куда он попал в феврале 1945-го.

Если бы обладатель военных блокнотов, осмотревшись (в Москве, Ленинграде или Ростове), понял бы, что сюжеты его сочинений небезопасны и не могут быть реализованы без тяжёлых последствий, то оказался бы перед жёстким выбором, который стоял перед всеми собратьями по перу. Ему пришлось бы таиться, работать впрок, в стол — или строить литературную судьбу, следуя правилам легального советско-

го писательства: сочинять «проходные» вещи». В первом случае подозрения (и даже преследования) продолжали бы оставаться актуальными многие годы — именно о таком варианте своей судьбы Солженицын писал жене в 1944-м и 1945-м. Легальное писательство, выбери Солженицын под давлением необоримых обстоятельств этот путь, ещё более, чем любой другой выбор, отдалило бы его от цели — или эта цель (написать художественную историю Октября) была бы сознательно подменена.

Война вошла в гражданское сознание начинающего писателя прежде всего потенциалом правды, а значит — крамолы. Глеб Нержин так сформулирует своё представление о норме жизни: «Чтоб на Руси что думаешь — сказать бы можно вслух». Что ожидало такого персонажа, а также его прототипа, в послевоенной действительности? В реальности, где первые плоды победы пожинали не герои, выстоявшие под огнём, а стукачи-тыловики и оперативники «невидимого фронта»? Как долго он мог бы приноравливать свою совесть к сознанию, что в революции есть где-то роковой проклятый перелом? И думать: «Но где? Но в чём? Когтями землю я царапаю, как зверь, / Я рылом под землёй ищу его на ощупь...»? Да и как — с такими-то мыслями — идти в легальное писательство?

«В советских условиях, если б меня не арестовали в конце войны, — да, большие духовные опасности были передо мной, потому что, если б я стал писателем в русле официальной советской литературы, я, конечно, не был бы собой, и Бога потерял бы. Трудно представить, кем я был бы всё-таки, при всех моих замыслах». Так что, повернись колесо судьбы иначе, русский читатель мог бы узнать совсем другого Солженицына — успешного, скорее всего партийного писателя, с дачей в Переделкине и секретарской должностью в Союзе писателей. В лучшем случае, уже в хрущёвские времена, он, как и многие шестидесятники, стал бы публично бороться за чистоту ленинизма и проповедовать социализм с человеческим лицом (Саня и Кока боролись за это тайно и получили свой срок в сороковые). Памятуя о своём былом интересе к истории Октября, *такой* Солженицын в начале шестидесятых мог бы писать пьесы о Ленине и его соратниках и в духе решений оттепельных партсъездов разоблачать культ личности. Наверное, ещё лет через двадцать, в эпоху политических перемен середины восьмидесятых, он дозрел бы до разочарования в марксизме-ленинизме. «В то время, — писал А. И. в 1987-м про 1945-й, — я был очень убеждён, захвачен марксизмом. Я ещё не понимал, что нашими

победами мы, в общем, роем сами себе тоже могилу. Что мы укрепляем сталинскую тиранию ещё на следующие тридцать лет — это в нашей голове не помещалось».

Само собой разумеется, *этот* Солженицын ни «Ивана Денисовича», ни «Архипелаг ГУЛАГ», ни «Красное Колесо» не написал бы никогда. Вряд ли под пером благополучного легального писателя могли бы появиться откровения из военных блокнотов. «Кто здесь был — потом рычи, / Кулаком о гроб стучи — / Разрисуют ловкачи, / Нет кому держать за хвост их — / Журналисты, окна "РОСТА", / Жданов с платным аппаратом, / Полевой, Сурков, Горбатов, / Старший фокусник Илья... / Мог таким бы стать и я...» — замечал Солженицын-зэк, отлично понимая, в какую сторону могла бы после войны устремиться его писательская судьба. «Победим — отлакируют...»

«Если бы я не попал в тюрьму, — писал Солженицын через сорок лет после победы, — я тоже стал бы каким-то писателем в Советском Союзе, но я не оценил бы ни истинных задач своих, ни истинной обстановки в стране, и я не получил бы той закалки, тех особенных способностей к твёрдому стоянию и к конспирации, которые именно лагерная и тюремная жизнь вырабатывает. Так что меня писателем, тем, которым вы меня видите, именно сделали тюрьма и лагерь».

Имея в виду призвание Солженицына-писателя, которое с девяти лет жило в его сознании, формировало характер и жизненный выбор, трудно сокрушаться, что спасительное «если бы» весной 45-го обошло стороной Солженицына-офицера и что он встал на самую первую ступеньку своей уникальной судьбы. Арест 9 февраля 1945 года не дал повернуться этой судьбе в сторону легального литературного преуспеяния.

Рано или поздно, но неизбежно капитану Солженицыну предстояло оказаться — в своей же долгополой шинели, но уже без знаков отличия. То обстоятельство, что его, по особой бдительности военной цензуры, в феврале 1945-го взяли за крамолу в письмах школьному другу, а в июле осудили на восемь лет лагерей и вечную ссылку за «антисоветскую агитацию с попыткой создания антисоветской организации», было, конечно, трагической *буквой судьбы*. Но само испытание «незримым миром» — стало *духом* судьбы. ГУЛАГ, при всей жестокости выбора, должен был достаться Солженицыну — как предназначение. С сумой да с тюрьмой не бранись; от сумы да от тюрьмы не отрекайся, как раз угодишь...

...И вот тусклым днём 9 февраля 1945 года (была сырая, слякотная пятница, «муть облак, морозга») комбриг Захар

Георгиевич Травкин звонком через дежурного телефониста на центральную станцию вызвал капитана Солженицына. «Когда меня позвали к командиру бригады на его командный пункт, мне и в голову не приходило, что это арест». Дивизион двигался по Восточной Пруссии, и к моменту звонка часа два находился под городом Вормдитом, готовясь к окончательной ликвидации группировки немцев, попавших в котёл.

Комбат бросился на КП, до которого было километра полтора. «Две комнаты — у домика... / Бегом насквозь прихожую. / За дверь. Направо — Сам». Суровый комбриг предложил сдать пистолет («я отдал, не подозревая никакого лукавства») и сказал, что придётся... *поехать.* Вдруг к безоружному комбату «из напряжённой неподвижной в углу офицерской свиты выбежали двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекли комнату и, четырьмя руками одновременно хватаясь за звёздочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали: “Вы — арестованы!!” И обожжённый и проколотый от головы к пяткам, я не нашёлся ничего умней, как: “Я? За что?!..”» Через минуту он уже знал *за что,* хотя обычно на такой вопрос не дают ответа.

Арест Солженицына был лёгким не только потому, что не оторвал его от домашней жизни. Последнее *вольное* впечатление арестовываемого было впечатлением от поступка, оценить который в полном объёме он сумел много позже. Если бы полковник Травкин, у которого забирали боевого офицера, молча подчинился власти, более могущественной, чем он сам, это было бы в порядке вещей: и комбат, наверное, никогда бы не сказал о нём ничего дурного — кроме того, быть может, что «слаб человек». Если бы комбриг, отдавая комбата (только что спасшего батарею и представленного к награде) СМЕРШу, показательно напустился на разоблачённого врага народа (кем и являлся каждый человек с первых мгновений ареста), автор «Архипелага» мог бы списать данный случай на общую систему страха, трусости и бесчестья. Но арестованный столкнулся с чем-то таким, что не имело внятных объяснений изнутри системы. «Чумная черта», которая отделила «зачумленного» комбата от бригадного полковника, на минуту стёрлась — и соткались немыслимые, волшебные мгновения.

Спустя два десятилетия эти мгновения осветят драматические страницы «Архипелага» высоким благодарным чувством. «Я его мало знал, он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво освети-

лось — стыдом ли за своё подневольное участие в грязном деле? порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения?» Полковник, держа в руках бумагу с печатью, вместо того чтобы на глазах испуганной свиты публично отречься от зачумленного капитана, веско спросил: «У вас есть друг на Первом Украинском фронте?» Эти слова (смершевцы тут же истошно закричали: «Нельзя!.. Вы не имеете права!») только по форме были вопросом, а по сути — спасительной подсказкой арестанту. «С меня уже было довольно: я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом, и понял, по каким линиям ждать мне опасности».

Но мгновение истины не было исчерпано запретным сигналом. Комбриг, «продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, поднялся из-за стола (он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни!), через чумную черту протянул мне руку (вольному, он никогда мне её не протягивал!) и, в рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отеплённостью всегда сурового лица сказал бесстрашно, раздельно: “Желаю вам — счастья — капитан!”» (Солженицын писал в «Архипелаге»: «И вот удивительно: человеком всё-таки *можно* быть! — Травкин не пострадал. Недавно мы с ним радушно встретились и познакомились впервые. Он — генерал в отставке и ревизор в союзе охотников».)

Напутствием комбрига и закончилась для Солженицына Вторая мировая война — перед тем как с фронта он попал в тюремную камеру. «Арест был смягчён тем, что взяли меня с фронта, из боя; что было мне 26 лет; что кроме меня никакие мои сделанные работы при этом не гибли (их не было просто); что затевалось со мной что-то интересное, даже увлекательное; и совсем уже смутным (но прозорливым) предчувствием — что именно через этот арест я сумею както повлиять на судьбу моей страны». С первой минуты ареста он знал, *за что* подвергнут сокрушительной процедуре. Позже он точно назовёт причину ареста — *образ мыслей*. «Среди многомиллионного потока тех лет я не считаю себя невинной жертвой, по тем меркам. Я действительно к моменту ареста пришёл к весьма уничтожающему мнению о Сталине... Так что по сравнению с другими я никогда не чувствовал себя невинно захваченным... В моё время, в 1945/46, нас, таких, кто сел за образ мыслей, было сравнительно мало». «Дополнительным материалом “обвинения” послужили найденные у меня в полевой сумке наброски рассказов и рассуждений».

...И пока майор-смершевец с подсобником натренированными руками срывали с гимнастёрки арестованного по-

гоны, а с пилотки звёздочку, стаскивали ремень, выворачивали карманы, потрошили полевую сумку (в которой больше года лежала переписанная набело «Резолюция № 1»), кто-то третий звонил в звукобатарею, приказывая собрать и доставить личные вещи уже беспогонного комбата. Не поленись контрразведка самостоятельно провести обыск и изъятие в том углу центральной станции (обыкновенного сарая), где были в кучу свалены вещи комбата (батарея ещё не успела расположиться на ночлег), а также в грузовике, стоявшем рядом с ЦС, её улов был бы много богаче. Смершевцы непременно обнаружили бы деревянный ящик из-под немецких гаубичных гильз, хранивший запрещённую литературу и тоже запрещённый портативный трофейный приёмник «Нора» (в письмах комбат шифрованно называл его «новым взглядом»). Им обязательно достались бы и те трофеи, которые ждали, но так и не дождались отправки в тыл — и пишущая машинка «Континенталь», и заготовленные впрок блоки писчей бумаги; всё это вместе взятое наверняка было бы сопоставлено с добычей из полевой сумки и дало бы следствию доказательства грандиозного преступного умысла.

Но чемодан с личными вещами по команде из КП собирал ничего не подозревающий ординарец Захаров, и благодаря догадливому сержанту Соломину ничего из тех трофеев контрразведка не получила: «Не знаю, что меня толкнуло, но почему-то я сразу понял: это СМЕРШ и дело политическое. Побежал к батарейной грузовой машине — знал, что там, в кузове, лежит чёрный снарядный ящик, в котором Солженицын держал свои записи и книги. Ящик схватил, отнёс в лес, и содержимое стал быстро перекладывать в свой вещмешок. Вещмешок был со мной всё время, после войны я всё, что тогда спрятал, отдал Наташе Решетовской».

Однако и того, что уже было в руках СМЕРШа, вполне хватало: доказательная база обвинения была создана руками обвиняемого. Смершевцы, бегло оглядев рубрики вынутого из планшетки «политического» блокнота («этюды философские», «этюды исторические», «крестьянский вопрос», «смена лозунгов»), немало поглумились над лопухом-вражиной, возомнившим о себе невесть что.

Но Солженицын не скроет, что «чумная черта», расколовшая жизнь на «до» и «после», в тот момент ещё не успела пронзить душу. Много лет спустя автор «Архипелага» расскажет, как он, арестованный, ощущал себя всё ещё белой костью: «И когда на КП комбрига смершевцы сорвали с меня эти проклятые погоны, и ремень сняли, и толкали идти садиться в их автомобиль, то и в своей перепрокинутой

судьбе я ещё тем был очень уязвлён, как же это я в таком разжалованном виде буду проходить комнату телефонистов — ведь рядовые не должны были видеть меня таким!»

Тем временем арестант, без погон, ремня и оружия, был затолкнут в смершевскую «эмку» и привезён на ЦС, за вещами. Сержант Соломин сам отдал чемодан комбата по назначению и простился с ним у машины одними глазами. Тут же, на ЦС, чемодан, пополнившись дневниками и прочими бумагами из полевой сумки, стал главной уликой. «От самого ареста, когда дневники эти были брошены оперативниками в мой чемодан, осургучены, и мне же дано право вести тот чемодан в Москву, — раскалённые клещи сжимали мне сердце».

Был уже совсем вечер, когда четверо в «эмке» двинулись в сторону армейской контрразведки. Конвоиры, отважные труженики тыла, рисковали заблудиться в незнакомых местах, в двух шагах от немецких мин и засад. После того как они нарвались на миномётный обстрел (вот был бы номер, если бы им пришлось принять бой!), с подчёркнутой любезностью вручили карту «товарищу капитану» и просили объяснять водителю, как ехать. «Себя и их я сам привёз в эту тюрьму».

«Контрразведчик 48-й армии, арестовавший меня, позарился на мой портсигар — да не портсигар даже, а какую-то немецкую служебную коробочку, но заманчивого алого цвета. И из-за этого дерьма он провёл целый служебный манёвр: сперва не внёс её в протокол (“это можете оставить себе”), потом велел меня снова обыскать, заведомо зная, что ничего больше в карманах нет, “ах, вот что? отобрать!” — и чтоб я не протестовал: в “карцер его!”».

Карцер был обыкновенной кладовкой-подвалом в домике местного пастора, где разместился армейский СМЕРШ; имел длину человеческого роста, а ширину — троим лежать тесно. Когда свежеарестованного комбата, уже за полночь, втолкнули в каморку, где горела керосиновая коптилка, он был четвёртым: трое спавших нехотя подвинулись, давая ему протиснуться боком. Первыми сокамерниками Солженицына были, как он вскоре узнал, офицеры-танкисты, «три честных, три немудрящих солдатских сердца»; выпив после боя, они вломились в деревенскую баню, где мылись две девушки; на беду, одна из них оказалась «походно-полевой женой» начальника контрразведки армии. «Так на истолчённой соломке пола стало нас восемь сапог и четыре шинели. Они спали, я пылал. Чем самоуверенней я был капитаном полдня назад, тем больней было защемиться на дне этой ка-

морки. Раз-другой ребята просыпались от затёклости бока, и мы разом переворачивались».

Сердце вчерашнего капитана щемило от унижений — он взорвался от негодования, когда какой-то старшина посмел приказывать им, офицерам, выведенным поутру из кладовки-карцера, взять руки назад. Душа не смирялась с очевидностью; комбат не мог свыкнуться со своим новым положением — ибо продолжал ощущать себя офицером (то есть существом более высокого порядка) даже тогда, когда утром 10 февраля начался пеший этап из армейской контрразведки во фронтовую («В СМЕРШ Фронта пеших, помнится, / Из Остероде в Бродницы / Нас гнал конвой казахов и татар»). Всех арестантов (их уже стояло семеро) построили в три с половиной пары — шестеро рядовых советских военнопленных и пожилой гражданский немец. «Меня поставили в четвёртую пару, и сержант татарин, начальник конвоя, кивнул мне взять мой опечатанный, в стороне стоявший чемодан. В этом чемодане были мои офицерские вещи и всё письменное, взятое при мне, — для моего осуждения». Реакция беспогонного капитана была почти что автоматической. «То есть как — чемодан? Он, сержант, хотел, чтобы я, офицер, взял и нёс чемодан? то есть громоздкую вещь, запрещённую новым внутренним уставом? а рядом с порожними руками шли бы шесть рядовых? И — представитель побеждённой нации? Так сложно я всего не выразил сержанту, но сказал: “Я — офицер. Пусть несёт немец”».

Не то было бы удивительно, если бы смершевец приструнил зарвавшегося арестанта. Удивительным оказалось противоположное: то, что сержант с «советским сердцем» («выучка его и моя совпадали») и в самом деле подозвал гражданского немца и приказал тому нести злосчастный чемодан. «Немец вскоре устал. Он перекладывал чемодан из руки в руку, брался за сердце, делал знаки конвою, что нести не может. И тогда сосед его в паре, военнопленный, Бог знает что отведавший только что в немецком плену (а может быть, и милосердие тоже) — по своей воле взял чемодан и понёс. И несли потом другие военнопленные, тоже безо всякого приказания конвоя. И снова немец. Но не я».

Никто из пешего этапа не сказал ни слова осуждения капитану, который в тот момент слишком специально понимал, в чём честь и в чём бесчестье офицера. Никто из трёх пар идущих впереди даже не обернулся к нему, седьмому, просто потому, что оборачиваться и разговаривать было запрещено.

Но *никто никогда ничего* не узнал бы про тот чемодан и про того пожилого немца, которого вынудили тащить чужой

груз — если бы владелец крамольной ноши *сам не покаялся* (через три года в поэме «Дороженька» и 23 года спустя в «Архипелаге») в своём проступке. А также в том, что многие часы и дни после ареста имел время передумать свою прошлую жизнь и осознать настоящую, но сразу — не смог. «Уже перелобаненный дубиною — не осознавал». Того немца Солженицын встретит в камере Бутырской тюрьмы летом 1946 года. «И старый немец — тот дородный немец, теперь исхудалый и больной, которого в Восточной Пруссии я когда-то (двести лет назад?) заставлял нести мой чемодан. О, как тесен мир!.. Надо ж было нам увидеться! Старик улыбается мне. Он тоже узнал и даже как будто рад встрече. Он простил мне. Срок ему десять лет, но жить осталось меньше гораздо...»

На совести каждого человека есть такие проступки, в которых трудно сознаться даже на исповеди. В своих прегрешениях Солженицын каялся не тайно, а публично, не щадя ни своей человеческой репутации, ни своего общественного статуса. Но и по сей день критика, обнаруживая в «Архипелаге» *чемоданные* эпизоды, описанные от первого лица, злорадно размахивает ими как скандальной сенсацией, добытой в ходе собственных многотрудных изысканий; воровская риторика и прямой подлог превращают чистосердечное публичное признание в неисчерпаемый источник обвинений. Не потому ли доброхоты Солженицына не раз предостерегали — зачем ковыряться в том, что было и быльём поросло? Зачем снижать образ творца «Ивана Денисовича»? В конце концов, немец — фашист, хоть и гражданский: поделом ему и мука.

Однако не будь в «Архипелаге» правды о самом себе, о заблуждениях ума и язвах сердца, разве имел бы автор право назвать свою книгу «опытом художественного исследования»? Разве получил бы он моральную санкцию обитателей страны ГУЛАГ — если бы его книга была бы лишь этнографией и страноведением, сборником зэческих историй или антологией лагерного фольклора? Только подлинность пережитого, вглядывание в мутные и смутные моменты своей жизни дали книге тот нравственный ресурс, ту презумпцию доверия, без которых «опыт исследования» был бы лишён всякого смысла.

В «Архипелаге» Солженицын беспощаден прежде всего к самому себе. Он вспоминает о своей «пешей Владимирке» из Остероде в Бродницы без единой скидки на растерянность и потрясение ареста. «Как-то встретился нам долгий порожний обоз. Ездовые с интересом оглядывались, иные вскакивали на телегах во весь рост, пялились. И вскоре я

понял, что оживление их и озлобленность относились ко мне — я резко отличался от остальных: шинель моя была нова, долга, облегающе сшита по фигуре, ещё не спороты были петлицы, в проступившем солнце горели дешёвым золотом несрезанные пуговицы. Отлично видно было, что я — офицер, свеженький, только что схваченный... Решили они дружно, что я — с *той* стороны. "Попался, сволочь власовская?!.. Расстрелять его, гада!!.. Я представлялся им неким международным ловкачом, которого, однако, вот поймали... Я улыбался, гордясь, что арестован не за воровство, не за измену или дезертирство, а за то, что силой догадки проник в злодейские тайны Сталина. Я улыбался, что хочу и, может быть, ещё смогу чуть подправить российскую нашу жизнь. А чемодан мой тем временем — несли... И я даже не чувствовал за то укора! И если б сосед мой... упрекнул бы меня сейчас яснейшим русским языком за то, что я унизил честь арестанта, обратясь за помощью к конвою, что я возношу себя над другими, что я надменен, — я *не понял* бы его! Я просто не понял бы — *о чём* он говорит? Ведь я же — офицер!»

Свой «чемоданный» проступок, следствие превратно понимаемой офицерской чести и вовсе не понимаемой чести арестантской, Солженицын гротескно преувеличит, доведя до крайних, едва ли не абсурдных пределов; он проверит свой «офицерский комплекс» в точках максимального напряжения, в момент последнего выбора. «Если бы семерым из нас было бы умереть на дороге, а восьмого конвой мог бы спасти — что́ мешало мне тогда воскликнуть: "Сержант! Спасите — меня. Ведь я — офицер!.."»

Но — мало было и этого. Поставить себя в ситуацию исполнителя злодейств, воплощённых в офицерской должности, примерить к себе худшие из самых дурных возможностей службы — и признаться, с пугающей откровенностью: да, это могло бы случиться и со мной. «Вот что такое офицер, даже когда погоны его не голубые! А если ещё голубые? Если внушено ему, что ещё и среди офицеров он — соль? Что доверено ему больше других и знает он больше других, и за всё это он должен подследственному загонять голову между ногами и в таком виде пихать в трубу? Отчего бы и не пихать?..»

Так судить себя за мерзости воображаемые и так казнить себя за преступления, никогда не совершённые, — дано не каждому. Не каждому хватит мужества предъявить *себе* счёт за то, что делали *другие*. Но только тот, кому *такое дано*, имеет право написать в откровеннейшей из книг страницу бесподобной отваги. «Пусть захлопнет здесь книгу тот читатель, кто ждёт, что она будет политическим обвинением. Ес-

ли б это было так просто! — что где-то есть чёрные люди, злокозненно творящие чёрные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца?.. В течение жизни одного сердца линия эта перемещается на нём, то теснимая радостным злом, то освобождая пространство рассветающему добру. Один и тот же человек бывает в разные свои возрасты, в разных жизненных положениях — совсем разным человеком. То к дьяволу близко. То и к святому. А имя — не меняется, и ему мы приписываем всё. Завещал нам Сократ: познай самого себя!.. От добра до худа один шаток, говорит пословица. Значит, и от худа до добра».

Эти слова написал в «Архипелаге» автор «Ивана Денисовича», уже вознесённый на литературный пьедестал, и его обвинили в излишнем пафосе, в показной риторике. Но то же самое никому не известный зэк писал двадцатью годами раньше: «Отшагав дороженькой кандальной, / Равно я не видел ни злодеев чёрных, / Ни сердец хрустальных. / Между армиями, партиями, сектами проводят / Ту черту, что доброе от злого отличает дело, / А она — она по сердцу каждому проходит, / Линия раздела. / Выхожу я каяться площадно / На мороз презрения людского: / Други! К радости ль стремиться? — радость беспощадна. / К торжеству ль? — да нет его не злого».

...Тот проклятый чемодан дотащили-таки невольные носильщики к вечеру 12 февраля до Бродниц, где располагалась фронтовая контрразведка, и сдали на руки владельцу. Три дня и три ночи (12—14 февраля) стали начальными курсами тюремного образования. Однокамерники, военные и гражданские, каждый со своей историей и со своей бедой, в темноте охотно объясняли, как обманывают, угрожают и выбивают показания следователи; здесь крепло убеждение, что однажды арестованного никогда не выпускают назад, а потому *десятка* практически неотвратима. За три дня и три ночи свежий зэк Солженицын вполне освоился: «бока мои уже лежали на гнилой соломе у параши, глаза мои уже видели избитых и бессонных, уши слышали истину, рот отведал баланды». Утром 15-го подготовительные курсы на чин арестанта были прерваны открывшейся дорогой на восток, в Отечество, куда бывший капитан Солженицын возвращался не по своей воле, не как воин-победитель, а под конвоем, без погон и орденов, с чемоданом улик против себя.

Четверо суток езды — сначала машинами, потом на открытой платформе помятого, побитого, порожнего товарно-

го состава, потом пассажирским вагоном обычного поезда Минск—Москва — создавали иллюзию, будто он путешествует как вольный среди вольных. Стучали и грохотали вагоны, в снежной пыли проплывали фольварки, скрывались хутора, мелькали сёла и высокие костёлы — и, пока за окнами была заграница, ему казалось, что история повторяется, что жандармы везут его в дичайшую из азиатских столиц, как некогда на царский пристрастный допрос везли несчастного поэта. «Я еду — как Кюхельбекер... / И так же, как он, я прав...» — напишет Солженицын в «Дороженьке»; ровно за сто лет перед этим, осенью 1845-го, слепнущий Кюхля сделал в своём «Дневнике» предсмертную запись: «Горька судьба поэтов всех племён; / Тяжеле всех судьба казнит Россию».

Арестант и три его конвоира на публике держались по уговору, делая вид, будто они едут по своим делам, вольготно и беззаботно. Но арестант прекрасно знал, что́ скрывается за дружеской миной охраны, их совместными трапезами и даже водкой за обедом. «Ведут себя парни разно, / Но выстрелят все втроём». Позже он будет мучительно переживать свою немоту по дороге в ад, свою непостижимую лояльность к сторожам, свою покорность судьбе. «Почему ж я молчу? почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту? Я молчал в польском городе Бродницы — но, может быть, там не понимают по-русски? Я ни слова не крикнул на улицах Белостока — но, может быть, поляков всё это не касается? Я ни звука не проронил на станции Волковыск — но она была малолюдна. Я как ни в чём не бывало гулял с этими разбойниками по минскому перрону — но вокзал ещё разорён. А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро Белорусского-радиального, он залит электричеством... Не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю. И ещё я в Охотном ряду смолчу. Не крикну около “Метрополя”. Не взмахну руками на Голгофской Лубянской площади...»

Тайна, которая мучила подростка Солженицына, когда он читал газетные отчёты о судебных процессах и всякий раз бывал сотрясён глухим молчанием оклеветанных подсудимых, начинала раскрываться на гибельной дороге к Лубянке. Теперь узник сам чувствовал обречённость любого крика и тягостную грусть молчания перед толпой, теперь он понимал, как странно бывает заворожена жертва петлёй палача. Ему ещё достало душевной дерзости под видом ухаживания просить попутчицу написать несколько строк жене (испуганная девушка, не дослушав, молча отодвинулась от

подозрительного ухажёра), но вот уже выбросить чемодан с уликами на шпалы или на насыпь, когда они ехали на открытой платформе без бортов (нет блокнотов — нет улик) он так и не решился.

И за эту свою нерешительность, как и за своё молчание по дороге к тюремной камере, Солженицын-арестант готов был сурово осуждать себя: ведь сколько народу встретилось ему на одном только эскалаторе метро «Белорусская». «Они, кажется, все смотрят на меня! они бесконечной лентой оттуда, из глубины незнания — тянутся, тянутся под сияющий купол ко мне хоть за словечком истины — так что ж я молчу??!..» Позже, много позже, он сам ответит на этот тяжёлый вопрос: у каждого всегда имеется «дюжина гладеньких причин» своей правоты. Одни ещё надеются, что всё обойдётся, и боятся спугнуть фортуну. Другие пока не дозрели до идеи кричать в толпу — и не знают, что же именно надо кричать. Третьи ничего не смогут выразить в нескольких бессвязных вскриках. «А я — я молчу ещё по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне всё равно мало — *мало!* Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек — а как же с двумястами миллионами?.. Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам...»

И ещё одно тяжкое чувство терзало этапника Солженицына, чем ближе подходил этап к границам Отечества, к пограничному столбу со знаменитым гербом — «Бьющий по душам молот / И режущий горло серп». Конвоиры в своих тяжёлых чемоданах везли военные трофеи, а он в своём, проклятом, — неотвратимую *десятку* и новый этап куда-нибудь в Магадан. Европа жила предвкушением победы («Сыт Лондон. Пирует Вена. / Наряден и весел Стокгольм»), а Русь-матушка встречала своего сына и тысячи других сыновей — злобным окриком вертухаев, грязным вымерзлым бараком, лаем сторожевых собак и голодной лагерной пайкой.

Он думал, как трагически бездарно распорядились судьбой России те, кто как будто желал ей добра и бешено рвался её освободить — от царской власти, от бедной повседневности, от чеховской беспросветной тоски. «Не вынес насилия грубого / Надворный советник Герцен, / Белинские, Добролюбовы / Стяжали единоверцев, / Стращал детей Салтычихами / Любой семинарский гусь, — / Дремля переулками тихими, / Такой ли была ты, Русь?.. / Спасибо, отцы просвещения! / Вы нам облегчили судьбу! / Вы *сеяли* с нетерпением — / Взгляните же на колосьбу!» Мощное нравственное усилие восстановило в его разорванном сознании связь времён —

те, прежние «отцы просвещения», травили во имя прогресса «ретроградных» Гоголя и Достоевского; *эти*, новой формации, «травят теперь всех нас сплошь». Он обращался к тем русским юношам, кто своими песнями, то нежными, то бранными, подбил, подпоил страну на революционный блуд, и к самому себе, со своей любовью к революциям: «Писака! Макая, не много ли, / Смотри, на перо берёшь?!» Несомненно, это был радикальный поворот сознания.

На краю России, у безмолвных пограничных столбов, неистовый марксист-ленинец взывал к Господу, прося прощения за оторопь и опустошённость, за непростительное незнание хотя бы того факта, что звонкий московский адрес «Шоссе Энтузиастов» — это начало всероссийского лагерного этапа, *Владимирка каторжан*... Он просил Господа оставить ему гордость и мужество, послать друзей и помочь стать человеком, если ещё не поздно. На западных рубежах Родины, которая распахнула для него свои застенки, он понял, что не имеет права считать *жизнью* двадцать шесть прожитых лет и что сегодня, у края платформы, перед поездом, который домчит его прямо до тюремной норы, он должен родиться заново. Чтобы знать, помнить и понимать свою страну, а не бездумно, как турист, *гостить* в ней. Чтобы узнавать родной пейзаж не по белым берёзам и церковным колоколам, а по другой наивернейшей примете — обтянутым колючей проволокой столбам, лагерным вышкам и охранным будкам, по вечному русскому Мёртвому дому.

Оставив родной дивизион — прекрасный мир чистых и смелых людей, высветленный вспышками орудий, — разжалованный комбат одиноко стоял на сверкающем многолюдном Белорусском вокзале и мысленно прощался с чужой и теперь враждебной Москвой. Но — путь от Белорусского вокзала до Лубянки, хоть иди пешком, хоть катайся на метро, очень короток: всех мыслей не передумаешь, всех вопросов не решишь. С перрона арестант повёл своих конвойных (все трое совсем не знали Москвы) в боковой вестибюль вокзала — тут перед войной открылась станция метро «Белорусская». Проехали две остановки («Тверской» тогда ещё не было) и вышли на станции метро «Площадь Свердлова». Отсюда до Лубянской площади было минут десять, если идти не спеша (а конвоиры волокли свой, трофейный багаж): Охотный Ряд, налево Большой театр, направо мимо стен Китай-города гостиница «Метрополь», памятник Ивану Федорову... С грустью успел арестант бросить взгляд на первопечатника: «Во мглистом туманце согнулся / Принесший России *печать*. / Что, старче? Для Краткого Курса / Уж стоило ль хлопотать?..»

Дом Конца Дорог встал перед арестантом всей своей громадой, заслонив небо и землю; кругом кипела жизнь, народ валил густой толпой, но не знал и знать не хотел новую жертву — беспогонного капитана, который шёл сам, торопился на расправу. «Красный флажок, освещённый из глубины крыши прожектором, трепетал в прорезе колончатой башенки над зданием Старой Большой Лубянки. Он был — как гаршинский красный цветок, вобравший в себя зло мира. Две бесчувственные каменные наяды, полулёжа, с презрением смотрели вниз на маленьких семенящих граждан». И вот уже невидимый страж железных тыловых ворот проверил спецпропуска, отворил калитку в чёрную пропасть, и — всё было кончено. «Лубянка! Взяла ты полмира! / Ещё одного — прими!.. / ... Над шеей гремит секира / И лязгает дверь за плечьми».

19 февраля 1945 года, вечером в понедельник, на одиннадцатый день после ареста, спецконвой из трёх смершевцев (офицер и два солдата) доставил арестанта в центральную тюрьму НКГБ. «Я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были (а я её путал с министерством иностранных дел)».

Как бы ни сложилась жизнь человека после заключения, но арест и тюрьма навсегда останутся «несмываемым пятном» на его биографии, одной из тех роковых отметин, из которых складывается судьба, творится легенда. «Сидел» — значит, страдал; отбывал срок — значит, прошёл через ад; тот же, кто прошёл через ад и остался живым, никогда уже не сможет быть прежним, каким был до ареста, камеры и барака. Он непременно изменится — суть только в том, как именно, в какую сторону. Что потеряет и что приобретёт человек за годы испытаний — и захочет ли в конце концов нарушить тягостное молчание, чтобы выкрикнуть свою правду: хоть совсем тихо, шёпотом, хоть изо всех сил и на весь мир, — вот в чём вопрос.

...Дома, пока шёл февраль, никто ничего дурного не подозревал. Письмо Сани от 5. 2. 45, последнее перед арестом, придёт в Ростов в начале марта. И только в середине марта вернётся обратно посланная ему в середине января открытка жены. Почтовую помету: «Адресат выбыл из части» можно было трактовать как угодно.

Часть четвёртая

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

Глава первая

МЕЖ БОКСОМ И БАРАКОМ: СЛЕДСТВИЕ И ПРИГОВОР

К тому моменту, когда Солженицын вошёл в зону Большой Лубянки, главной политической тюрьмы Советского Союза, его общий арестантский стаж равнялся десяти суткам. Он уже не был *ошарашенным* новичком — всё же пробыл ночь в карцере и три дня в камере фронтовой контрразведки, где успел *образоваться*, то есть поразиться массовости *тюремного движения* и узнать, что сотни и тысячи защитников Отечества, выросших при советской власти, прошедших школу коммунистического воспитания, вдруг составили армию преступников и врагов. Но жизнь заключённого состоит из таких подробностей повседневности, что невозможно *образоваться заочно* (это не МИФЛИ); тюремная наука требует личного присутствия, так сказать, стационара. А потому мысль о товарищах по несчастью в первый вечер новоселья скорее всего отступила перед процедурой *приёмки арестанта*.

Роман «В круге первом» (начатый через десять лет после ареста, в 1955-м) шаг за шагом воспроизведёт дорогу арестанта на Голгофу, от наружных ворот до тайных недр заведения — крестным лубянским путём последует герой романа, Иннокентий Володин, государственный советник второго ранга. Солженицын прошёл именно этими внутренними двориками, видел именно эти залитые светом коридоры и гипнотические двери, именно здесь, в «приёмной арестованных», конвоиры сдали его под расписку дежурным чинам — процесс *приёмки и оформления* стартовал. Солженицын был взят не на московской улице и не в персональном авто, как Володин, и уже был обыскан и первично, и вторично. На его шинели уже не было погон, так что нечего было вырывать с мясом; правда, оставались ещё петлицы и пуговицы, полагалось также обшарить карманы, оприходовать улики, потомить в боксе.

Явление *бокса* будет названо в «Архипелаге» пятнадцатым по счёту приёмом в перечне из 31 пункта — всеми этими простейшими психофизическими способами следователи, пробуя разные комбинации, сламывали волю и личность арестанта задолго до следственного кабинета, не оставляя следов на теле. «Тюрьма начинается с *бокса*, то есть ящика или шкафа. Человека, только что схваченного с воли, ещё в лёте его внутреннего движения, готового выяснять, спорить, бороться, — на первом же тюремном шаге захлопывают в коробку, иногда с лампочкой и где он может сидеть, иногда тёмную и такую, что он может только стоять, ещё и придавленный дверью. И держат его здесь несколько часов, полсуток, сутки. Часы полной неизвестности! — может, он замурован здесь на всю жизнь? Он никогда ничего подобного в жизни не встречал, он не может догадаться!»

Раздевание догола, ощупывание, стрижка волос на голове и в местах их скопления на лице и теле, снова одевание (в свою одежду без пуговиц и застёжек), опять раздевание и опись особых примет, измерение роста, помывка, прожарка, фотографирование, отпечатки пальцев... Весь этот ***приёмный конвейер*** изматывает и подавляет, хотя, с точки зрения тюрьмы, процедуры подчиняются внятной логике и давно заведённому порядку: предварительный обыск, установление личности, приём под расписку, основной обыск, первая санобработка, запись примет и медосмотр. Бессонная ночь с 19 на 20 февраля тянулась бесконечно, во многих боксах и многих коридорах, на пустых лестницах и лестничных площадках, при мёртвой тишине, приучавшей арестанта быть покорным исполнителем тюремного режима.

Наступил вторник, 20 февраля, первый день, который предстояло прожить от подъёма до отбоя, по здешним правилам и распорядкам: в шесть утра подъём, в восемь завтрак — кусок чёрного сырого хлеба (при норме 450 граммов в день), два кусочка пилёного сахара, кружка кипятку. Потом гремела дверь, и, спросив фамилию, надзиратель вызывал: «На допрос, руки назад». Начинался процесс, от которого зависела вся будущность человека и даже его жизнь, — следствие.

Как подготовил арестанта к решающему моменту приёмный конвейер? Сжатый одиночный бокс. Яркий, ослепительный свет лампочки, от которой не спрятаться и не укрыться. Бессонница. Арестанту, чей следственный марафон начался во вторник, предстояло продержаться без сна или почти без сна как минимум до конца субботы — в ночи на воскресенье и понедельник следователи старались отдыхать от своих ночных трудов.

Что мог знать новичок, только что пришедший *с воли*, о целях, задачах, а главное — о методах следствия? Романтику революции, верившему в её гуманность и справедливость, вряд ли могли прийти на помощь литературные примеры. Спустя десятилетия он устыдится, как бездумно играл в школьных спектаклях по Чехову — ведь ответы на чеховские вопросы к тому времени были уже получены. «Если бы чеховским интеллигентам, всё гадавшим, чтó будет через двадцать — тридцать — сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие... ни одна бы чеховская пьеса не дошла бы до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом. Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее? То, что ещё вязалось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже казалось варварством, что при Бироне могло быть применено к 10—20 человекам, что совершенно невозможно стало с Екатерины, — то в расцвете великого Двадцатого века в обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже летали самолёты, появилось звуковое кино и радио, — было совершено не одним злодеем, не в одном потаённом месте, но десятками тысяч специально обученных людей-зверей над беззащитными миллионами жертв».

Разумеется, ни к чему подобному Солженицын не был готов. Ни школа, ни университет, ни военное училище, ни два фронтовых года не подготовили его разум и чувства к такому понятию, как арест и следствие; никто не объяснил ему смысла статей Уголовного кодекса, да и самого кодекса он в глаза никогда не видел, ни в книжных магазинах, ни в научных библиотеках. *Первичный* подследственный не проходит теоретического курса тюремных наук, и ему не знакомы «лубянские следственные методы». Он не догадывается, что *там* — в интересах следствия — хороши все способы выбивания показаний. Он не имеет представления, в какие психологические джунгли может втащить новичка-арестанта опытный следователь. Загнанная жертва только собственным опытом может постичь, как её мозг, потрясённый арестом, мутный от бессонницы и голода, ищет лазейку в надежде перехитрить мучителя. И как хочется обвиняемому быть умнее следователя, чтобы выстроить свою историю связно и правдоподобно, но скрыть самое главное. И как легко попадается жертва в расставленные силки...

С грустью и горечью будет вспоминать Солженицын уроки, полученные на Лубянке. «Через много лет вы поймёте,

что это была совсем не разумная идея и что гораздо правильней играть неправдоподобного круглейшего дурака: не помню ни дня своей жизни, хоть убейте. Но вы не спали трое суток. Вы еле находите силы следить за собственной мыслью и за невозмутимостью своего лица. И времени вам на размышление — ни минуты... И вы даёте показание... Вы интеллигентны. И вы перемудрили». Ему придёт на ум состязание Раскольникова с Порфирием Петровичем — и проницательное замечание следователя: «С вами, интеллигентами, и версии своей мне строить не надо, — вы сами её построите и мне готовую принесёте». Интеллигентный человек, подтвердит Солженицын, не может отвечать на вопросы следователя как чеховский «злоумышленник». Но в том-то и заключался приём Порфирия. «Человек развитой и бывалый, непременно и по возможности старается сознаться во всех внешних и неустранимых фактах; только причины им другие подыскивает, черту такую свою, особенную и неожиданную ввернёт, которая совершенно им другое значение придаст и в другом свете их выставит... На таких-то пустейших вещах всего легче и сбиваются хитрые-то люди. Чем хитрей человек, тем он меньше подозревает, что его на простом собьют».

Однако на Лубянке успевали «сбить» подследственного ещё и одиночеством. К эффекту ярко-голого бокса и бессонницы добавлялся фактор «одинокой стеснённой воли». «От мгновения ареста и весь первый ударный период следствия арестант должен быть в идеале одинок: в камере, в коридоре, на лестницах, в кабинетах — нигде он не должен столкнуться с подобным себе, ни в чьей улыбке, ни в чьём взгляде не почерпнуть сочувствия, совета, поддержки... В короткую пору, пока арестант потрясён, измучен и невменяем, получить от него как можно больше непоправимых показаний, запутать как можно больше ни в чём не виноватых лиц».

Позже Солженицын размышлял — как было не ошибиться в этом поединке? Можно ли было пересилить следовательский капкан? Как обратить тело и душу в камень? Русская история на эти вопросы ответа не знала. Никто не мучил Раскольникова (и Достоевского в Петропавловской крепости) ярким светом, бессонницей и сжатым боксом. Никто не применял к старым русским революционерам «хорошего следствия» со всеми его приёмами. Солженицын, прошедший Лубянку образца 1945-го, цитировал С. П. Мельгунова: «То была царская тюрьма, блаженной памяти тюрьма, о которой политическим заключённым теперь остаётся вспоминать почти с радостным чувством».

«Брат мой! — восклицал Солженицын в «Архипелаге». — Не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подписал лишнее...»

Следователя звали И. И. Езепов (Эзоп? Азеф?), и был он в капитанском чине — так сказать, «ровня» подследственному. Но того привели из бокса, после «приёмки» и бессонной ночи, а капитан госбезопасности, в погонах, окантованных небесным цветом, обитал в просторном кабинете с огромным окном; пятиметровые потолки позволяли разместить на «алтарной» стене четырёхметровый вертикальный портрет вождя в полный рост. Скорее для проформы, чем от гнева капитан то и дело становился под портретом и театрально клялся: «Мы жизнь за него готовы отдать! Мы — под танки за него готовы лечь!» Отчасти, наверное, Солженицыну повезло. Капитан Езепов не был следователем-изобретателем, художником или естествоиспытателем, а был винтиком большой машины, работал согласно инструкции, ничего «специального» не выдумывал и страдал ленью; он «шил дело» спокойно и использовал лишь подручный материал.

Другое дело, что и этого материала было ой как много: «Следствию не осталось труда: фотокопии всех писем за годы лежали на гебистских столах, готовенькие, слишком ясные». Кроме писем, добытых военной цензурой, фигурировала «Резолюция № 1». «Следователю моему не нужно было поэтому ничего изобретать для меня, а только старался он накинуть удавку на всех, кому ещё когда-нибудь писал я или кто когда-нибудь писал мне, и нет ли у нашей молодёжной группы какого-нибудь старшего направителя».

Начиная с 20 февраля его вызывали днём и вечером, переходившим в ночь, и, возвращаясь в свой бокс к пяти утра, заснуть он не успевал. На своём первом допросе, согласно протоколу (попавшему в «Дело о реабилитации» и опубликованному в новейшие уже времена), он всё отрицал и антисоветской деятельности за собой не признавал. Но всё повторялось по кругу: в присутствии четырёхметрового Сталина арестант что-то бормотал об очищенном ленинизме и оправдательно трактовал выражения из своих писем друзьям. «Помутнённым мозгом я должен был сплести теперь что-то очень правдоподобное о наших встречах с друзьями (встречи упоминались в письмах), чтоб они приходились в цвет с письмами, чтобы были на самой грани политики — и всё-таки не уголовный кодекс. И ещё чтоб эти объяснения как одно дыхание вышли из моего горла и убедили матёрого следователя в моей простоте, прибеднённости, открытости до конца».

Он выбрал ту самую, классическую для развитого человека, тактику поведения: *сознаться во всех внешних и неустранимых фактах, но подыскать им благопристойные причины.*

Очень скоро Езепов сумел воспользоваться стремлением подследственного к ясности. 26 февраля Солженицыну был задан вопрос: с какой целью он хранил фотографию Троцкого (её он, в числе многих других, вырезал из немецкой трофейной книги по истории). Солженицын отвечал: «Мне казалось, что Троцкий идёт по пути ленинизма». Это была крамола: ибо если подследственный сближает Троцкого с Лениным, значит, он противопоставляет Ленина Сталину, считавшего Троцкого врагом партии, то есть ведёт антисоветскую деятельность. В принципе следствие могло ставить точку.

Арестант чувствовал, что сопротивление бесполезно: следователь, имея в руках столько *внешних и неустранимых фактов*, держит его в своих руках. Первое признательное показание Солженицына датировалось 3 марта; протокол фиксировал предъявление ему крамолы из писем и «Резолюции» (в частности, утверждение, будто государство «приняло в основу буржуазные, а ещё чаще феодальные способы правления»). Положение было безвыходным: тактика отрицания теряла смысл.

Странно и двусмысленно выглядели на столе следователя многие письма. Допустим, Солженицын писал: «После войны поедем в Москву и начнём активную работу». Симонян отвечал: «Нет, Морж, мы лучше замкнёмся в тесном кругу и будем вырабатывать внутри». И следователь давил: что это значит? как объяснить? Почему никто из корреспондентов никогда не возражал, не смягчал и не останавливал? Если *такое* пишется в письмах, *что же* происходит при встречах? Езепов требовал связного объяснения, но не давал обвиняемому самому записать ответы на вопросы, а излагал их «по-своему», протокольным языком Лубянки, считая, что всё изложено «почти» так, как рассказано.

«Ах, как меня жал следователь 29 лет назад, неопытного, — вспоминал А. И. в 1974-м, в «Телёнке», — зная, что в каждом человеке есть невыжатый объём». Езепов давил, придираясь к фразе из письма Виткевичу о «семи единомышленниках». Что это значит? В чём они единомышленники? Подследственный, в духе «открытости и правдоподобия», «признавался»: у них всех было недовольство. «*В чём* же оно? *От чего* оно произошло?» «“Оно появилось от введения платы за обучение в ВУЗах в 1940 году и невысокого размера студенческих стипендий”. И — всё. И я скрыл все

наши огненные политические беседы, свёл их к мещанскому брюзжанию, к животу».

И всё же свои ответы на допросах Солженицын вспоминал со стеснённым сердцем: «Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первые недели». Оглядываясь на следствие, он не считал своё поведение наилучшим из возможного. Повидав и послушав в лагерях закалённых зэков, он понял, задним числом, что можно было быть и жёстче, и твёрже, и находчивее. «Самое правильное было — послать следователя на... . Что захватили — то ваше, а что необъяснимо — то пусть вам леший объясняет». Он догадывался, каким надо было быть, чтобы осилить западню. «Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную тёплую жизнь. Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена, немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречён на гибель — сейчас или несколько позже, но позже будет даже тяжелей, лучше раньше. Имущества у меня больше нет. Близкие умерли для меня — и я для них умер. Тело моё с сегодняшнего дня — бесполезное, чужое тело. Только дух мой и моя совесть остаются мне дороги и важны. И перед таким арестантом — дрогнет следствие!»

Но в свои двадцать шесть ничего такого сказать себе он не мог, ибо не был готов ни к аресту, ни к следствию; ничего не знал об уголовном и процессуальном кодексах или о своих гражданских правах. Как большинство арестантов ГУЛАГа, он «по своему разумению торил глухую неизведанную беспомощную тропу». И всё же его поведение на следствии, которым он «не имел основания гордиться», не только не было бессмысленным, но имело внятную стратегическую линию.

Стратегия, то есть стремление свести риск к минимуму, содержала два пункта. Во-первых, опасность, грозившая всем участникам переписки, сильнее всего могла ударить по нему самому, а также по Решетовской и Симоняну: следствие, ощути оно недостаток улик, могло взяться за их соцпроисхождение. «И вот я рассудил — пусть неверно, но совсем не глупо (думаю и сегодня): я поведу их по ложному пути, попытаюсь объяснить правдоподобно». Таким образом, опасные места во всех письмах, кроме переписки с Виткевичем (с уликами неопровержимыми), были представлены как мелкое бытовое раздражение: «Я не оставил следствию ничего существенного, за что б уцепиться».

Но был ещё осургученный чемодан с рассказами однополчан в военных дневниках («заклятый груз в заклятом чемодане»). «И вот эти все рассказы, такие естественные на

передовой, перед ликом смерти, теперь достигли подножия четырёхметрового кабинетного Сталина — и дышали сырою тюрьмою для чистых, мужественных, мятежных моих однополчан. Эти дневники больше всего и давили на меня на следствии». Нужно было так поработать, чтобы Езепова не потянуло к блокнотам. «И чтобы только следователь не взялся попотеть над ними и не вырвал бы оттуда жилу свободного фронтового племени — я, сколько надо было, раскаивался и, сколько надо было, прозревал от своих политических заблуждений. Я изнемогал от этого хождения по лезвию...»

Через 96 часов от начала следствия Солженицына перевели из бокса в камеру. «После четырёх суток моего поединка со следователем, дождавшись, чтоб я в своём ослепительном электричеством боксе лёг по отбою, надзиратель стал отпирать мою дверь...» Его вызвали с вещами, он оделся, взял в охапку казённый матрас и вслед за надзирателем пошёл по мёртвому коридору четвёртого этажа Лубянки, мимо камер с номерками; № 67 предназначался для него.

«Первая камера — первая любовь». Так будет названа в «Архипелаге» глава, посвящённая застенку на четверых, куда он вошёл, улыбаясь от счастья при виде испуганных (ждали, что позовут на допрос), небритых, мятых и бледных, но таких милых человеческих лиц, которые улыбались ему в ответ. Ещё не умученный и не измождённый, он был спрошен: «С какого курорта?» Для них он был человек «с воли», то есть арестованный недавно и знавший такие новости, какие тюремное начальство не сообщает своим подопечным. Сокамерники действительно не знали ни о наступлении Красной армии под Варшавой, ни об окружении немецкой группировки в Восточной Пруссии, ни о Ялтинской конференции. Он готов был рассказывать всю ночь, предвкушая праздник общения, и радость быть с людьми затмила все часы следствия.

После испытания боксом и одиночеством камера с крохотным окошком и синей бумажной шторкой (светомаскировка), с чайником, книгами и шахматами на столе, пружинными кроватями, добротными матрасами и чистым бельём, зеркальным паркетным полом и прогулочным пространством в четыре шага от окна до двери и впрямь показалась не тюрьмой, а курортом. Правда, курортом весьма специфическим — с наружным дверным глазком, надзирателями, тюремными правилами на дверях, ограничениями во всём, что необходимо человеку как природному существу. Распорядок дня, от побудки и утренней оправки (была ещё

одна, вечерняя), хлеба, сахара и чая, утренней поверки, вызовов на допрос, до обеда и ужина, включая прогулки и чтение, — навеки войдёт в его кровь и плоть.

Он запомнит все мельчайшие подробности своего «камерного» бытия, все его надежды и разочарования, удачи и просчёты, страхи и восторги. По крохам и мгновениям будет копить впечатления неволи — события, люди, встречи, разговоры, рассказы, слухи, ощущения, настроения и даже сны. Вряд ли, однако, сиделец шестьдесят седьмой мог тогда предположить, что, впитывая быт и атмосферу следственной тюрьмы, он собирает *литературный* материал. Пока что он просто отдавался происходящему. «Итак, наши возможности: сходить на прогулку! читать книги! рассказывать друг другу о прошлом! слушать и учиться! спорить и воспитываться! И в награду ещё будет обед из двух блюд! Невероятно!»

Слушать и учиться, спорить и воспитываться — станет смыслом четырёхмесячного заточения. В шестьдесят седьмой, а с середины марта в «красавице пятьдесят третьей» («Это — не камера! Это — дворцовый покой, отведённый под спальню знатным путешественникам! Страховое общество “Россия” в этом крыле без оглядки на стоимость постройки вознесло высоту этажа в пять метров»), куда арестанты были переведены всем составом, открылось настоящее высшее образование, в истинно народном университете. Фронтовик Солженицын собирался после войны доучиваться в Москве — и вот он в Москве, в самом её центре. Ему жгуче интересен весь мир, и люди вокруг, и книги из богатейшей здешней библиотеки (можно менять прочитанное раз в десять дней), и расположение тюрьмы, и свежий воздух во время прогулок, когда запрещено разговаривать, и заветные полчаса под настоящим небом. В эти «лучшие светлые тюремные месяцы» он чувствовал, как входит в него дуновение весны, как расширяется сознание, укрепляется дух, просветляется ум. «Это ничего, что я в тюрьме. Меня, видимо, не расстреляют. Зато я стану тут умней. Я многое пойму здесь, Небо! Я ещё исправлю свои ошибки — не перед *ними* — перед тобою, Небо! Я здесь их понял — и я исправлю!»

Солнечным морозным мартовским утром арестант сидел на очередном допросе: Езепов задавал вопросы и с грубыми искажениями записывал ответы. Подследственный неотрывно смотрел на середину кабинета, где грудой были навалены чьи-то рукописи. «И братская жалость разнимала меня к труду того безвестного человека, которого арестовали минувшей ночью, а плоды обыска вытряхнули к утру на пар-

кетный пол пыточного кабинета к ногам четырёхметрового Сталина. Я сидел и гадал: чью незаурядную жизнь в эту ночь привезли на истязание, на растерзание и на сожжение потом?»

Но понимание — это не волшебное преображение, оно приходит к человеку через тяжкий труд, к нему карабкаются, обдирая локти и колени, надрывая душу, царапая сердце. В мартовские недели запальчиво спорил Солженицын с сокамерником Юрием Евтуховичем. Александр утверждал, что Октябрьская революция была великолепна и справедлива, ужасным стало лишь её искажение в 1929-м. Он настаивал, что долгое время Советскую страну возглавляли самоотверженные люди высоких намерений. Превозносил Горького за широкий ум, верность взглядов и художественное мастерство. И потрясённо слышал ответ Юрия: прежде чем затевать революцию, надо было вывести в стране клопов. Те же, кто её затеял и продолжил, такие же бандиты, как Сталин. А Горький — дутая ничтожная личность, придумавшая и себя, и своих скучнейших героев.

Таковы были первые уроки альтернативного обществоведения, но клеймить собеседника не имело сейчас никакого смысла. Это прежде, на воле, Саня отрубал «всё, что липло» и отворачивался от всего, что вылезало за рамку идеального марксизма. Отвернуться или отгородиться «от всего прочего» здесь было бы даже и невозможно: контингент распределяли по камерам, не спрашивая об отношении к революции и к творчеству Горького.

Марксист-идеалист, которого на воле не пронимала никакая агитация, оказался в тюрьме замечательно беззащитен; под напором «всего прочего», что липло и донимало, молодой подвижный ум открывался иным точкам зрения, иным убеждениям. Он сходился с товарищами по беде и учился сопереживать их немарксистским страданиям, проникать в область *другого*, идеологически чуждого дыхания. Так случилось и с эстонцем Арнольдом Сузи, влюблённым в свободу и независимость своей маленькой страны: «С ним я учусь новому для меня свойству: терпеливо и последовательно воспринимать то, что никогда не стояло в моём плане и, как будто, никакого отношения не имеет к ясно прочерченной линии моей жизни».

В этой тюремной камере впервые проявилось ещё одно свойство, которое Солженицын вскоре с радостью и тревогой стал ощущать как природное и неотъемлемое. Таинственная способность мгновенно чувствовать и распознавать по лицу, голосу, интонациям, выражению глаз человека фальшивого, засланного, подсаженного («наседку»), весьма

полезная и на воле, в заточении оборачивалась драгоценным средством выживания. Устройство (Солженицын назовёт его реле-узнавателем) работало всегда настолько точно, что с первых минут знакомства определяло не только предателя, но и такого друга, кому можно открыться и довериться. («Так прошёл я восемь лет заключения, три года ссылки, ещё шесть лет подпольного писательства, ничуть не менее опасных, — и все семнадцать лет опрометчиво открывался десяткам людей — и не оступился ни разу!»)

Нет сомнения, что обретённые свойства укрепили Солженицына в те первые недели, когда его дух был в упадке, а ум в затмении. Подследственный постепенно обретал точку опоры, и это не могло не сказаться на ходе следствия. Помощь являлась нежданно и негаданно — так, в тяжёлый момент, когда он метался между «правдоподобными» показаниями и езеповскими протоколами, пришло письмо от Лёни Власова, который значился одним из семи членов «молодёжной организации». «Он, — вспоминает Солженицын (2001), — написал мне на воинскую часть, оттуда письмо доставили на Лубянку. Следователь торжествует: “Вот ваши единомышленники”. Но письмо сыграло в мою пользу». Оказалось: Лёня весьма кстати одумался и спешил заявить, что он и его приятель Косовский, заочные члены организации, на самом деле ценят и любят Сталина, дорогого светлого вождя. «Семёрка», к досаде Езепова, скукожилась до пятёрки.

Тактика изъяснений давала результаты: на столе у следователя было столько вещественных улик и столько документальных комментариев к ним, что на всё прочее (и на всех прочих) просто не оставалось времени. Не дошло дело даже до блокнотов — иначе следователю пришлось бы с лупой читать бледные карандашные записи и устанавливать личности фигурантов. А Езепов был жизнелюб и умел устраиваться с удобством даже на своей пыточной должности (Солженицын иронически рассказывает в «Архипелаге» о приёме использования телефона: следователь предупреждал жену о предстоящем ночном допросе и тут же отправлялся на ночь к любовнице). «Так беспорочную систему смягчали только пороки исполнителей».

Езепов халтурил даже и с теми вещдоками, которые лежали перед ним. Была, к примеру, назначена графологическая экспертиза «Резолюции». Хотя документ частично был переписан рядовым БЗР-2 Кончицем, эксперты подтвердили идентичность почерка на всех страницах. Имелись подозрения, что за молодёжью стоит кто-то старший, но таковорого не нашли. Дело принимало простой оборот — группа

только формировалась и, кроме намерений, вменить им было нечего. Для тюрьмы, которая кишела «шпионами и диверсантами», это был лёгкий случай.

Характерно, что Виткевич, ничего не знавший о судьбе друга, был арестован, когда лубянское следствие уже продвинулось и определилось в своих основных выводах. Коку взяли 22 апреля 1945 года под Берлином, и контрразведка части, где он служил, обнаружила тот же набор улик, что и у Сани (письма и «Резолюцию»). Следователь Балдасов, едва пролистав изъятое, сказал откровенно: «Здесь на десять лет вполне». Вскоре арестованному предъявили протоколы с показаниями подельника. Что это были за бумаги? Признания Солженицына, писанные его рукой (десятилетия спустя Виткевич будет утверждать, что узнал почерк друга на предъявленных бумагах)? Исключено, поскольку Езепов всё писал сам (Солженицын написал лишь объяснение, непосильное следователю для изложения, как они с Кокой разыскивали друг друга, используя координатную систему Гаусса—Крюгера и пятизначный индекс полевой почты). Оригиналы протоколов, написанные рукой Езепова? Тоже исключено, поскольку и в апреле, и в мае, и в июне, и в июле они ещё нужны были на Лубянке — для завершения следствия, обвинительного заключения и приговора. Это могли быть только копии. Действительно: 1 февраля 1974 года, за две недели до высылки Солженицына из СССР, когда развернулась против него газетная кампания, Виткевич (которому, как и Симоняну, было *предложено дать показания* против Солженицына) вспомнит о *фотокопиях* допросов Солженицына, датированных 26 февраля и 5 апреля 1945 года. А допросы, повторим, протокольно оформлял сам Езепов.

Признательные показания Солженицына ничего не добавляли к тем уликам, которые, по оценке следователя Балдасова, тянули на десятку. Именно поэтому для осуждения Виткевича не понадобились ни этап из Германии на Лубянку, ни очные ставки с подельником. Виткевича судили ускоренно, военным трибуналом, и он получил свои десять лет по статье 58—10, из них просидел девять лет (полсрока на шарашке) и досрочно освободился. Когда спустя полгода после высылки Солженицына из страны, летом 1974-го, Виткевич встретился с Решетовской, на её прямой вопрос, посадили бы его вне зависимости от Саниных показаний, Виткевич, не задумываясь, ответил: «Да». И сам откровенничал с брянским журналистом — что Сталина они с Саней иначе как «бараном» не именовали. И «это было не самой крепкой его характеристикой».

Но почему Виткевич (считавший, что друг его оговорил, причислив к членам молодёжной антисоветской группы) не получил 58-11? Потому что следствие обвинило в этом *одного* Солженицына и не усмотрело вины за создание организации больше *ни у кого* из её виртуальных членов, включая Коку. И одному Солженицыну полагалась вечная ссылка — чтобы не повадно было возвращаться к старому и вновь употреблять свои «организаторские» способности. Вместе с тем факт *обиды* Виткевича свидетельствует, насколько абсурдна версия о *самодоносе* и *самосаде*, которую пустит в ход Симонян (и которая позже будет азартно подхвачена заказными сочинителями). Ведь если тайной целью друзей был самосад, то чего же тогда было обижаться? По этой логике они успешно помогли друг другу — вместе донесли на себя и вместе сели. Если бы Саня так боялся погибнуть на войне и хотел спрятаться от пуль в тюрьме, то зачем он, имея ограничения по призыву, три месяца обивал пороги военкомата в Ростове? Зачем, попав в инвалидную команду, добивался перевода в артиллерию? Зачем просился на фронт из артиллерийского училища и слал отчаянные письма майору Савельеву, опасаясь, что оставят преподавать в тыловой Костроме? Зачем отказался от предложения идти в артиллерийскую академию, когда его направлял туда начальник училища? А там — три года обучения, как раз хватило бы до конца войны. И это далеко не все «зачем».

«Когда Кирилл Симонян поведал мне свою “великую мысль”, — вспоминала Решетовская (1994), категорически отвергая версию самосада, — я сказала ему: “Приди ко мне, прочти Санины письма — ты убедишься, насколько он был патриотом в это время”». Он мечтал дойти до Берлина и писал в стихах: «Будет под Берлином / Горевать тевтон, / Что по нашим спинам / Наплясался он». Саня готовился к тяготам послевоенной жизни, к учёбе и преподавательской работе, к идейной борьбе и лишениям, но не к тюрьме и одиночному боксу. Он видел себя на фронте активистом «войны после войны», а не лагерным волком.

...Шла весна 45-го, Солженицын всё ещё сидел в своей «дворцовой» пятьдесят третьей, но никого из единомышленников не вели на очную ставку. Он не знал даже, арестован ли Виткевич — логичнее всего было бы ожидать очной ставки именно с ним. Не был вырван с фронта ни один из боевых товарищей — тех, кто оставил тайный след в его военных блокнотах. Позже А. И. узнает, что никто из фигурантов дела не был вызван в органы ни по месту жительства, ни по месту пребывания — ни Решетовская в Ростове, ни Ежерец

в Москве, ни Симонян в медсанбате. Поведение подследственного дало тот несомненный результат, с которым можно было жить, не терзаясь, так что десятилетия спустя он имел право заявить своим бывшим друзьям: «Никого из вас не только не арестовали, но даже *ни разу не допросили*. По нашему делу никто невинный арестован не был, чему не порадуешься в миллионах дел ГУЛАГа. А ведь годы были лютые (через три года Решетовская прошла через процедуру засекречивания). И когда я потом об этом результате узнал, что́ была за радость: перехитрил я капитана Езепова!»

А следователь действительно не счёл нужным тратить время на фронтовые блокноты. Скорее всего, именно он распорядился их уничтожить — оставляя в сохранности улики, но не давая им хода, он рисковал бы сам. Солженицын мог только догадываться, что блокноты исчезли — они не фигурировали в деле, ему не задали ни одного «блокнотного» вопроса, никого из анонимных персонажей не вычислили и не привлекли. Значит — эти улики просто не были приобщены к делу. Он не мог знать, когда именно блокноты были зашвырнуты в тюремную печь — но по логике вещей это произошло в конце следствия, когда зачищались концы. «О, эта сажа! Она всё падала и падала в тот первый послевоенный май. Её так много было нашу каждую прогулку, что мы придумали между собой, будто Лубянка жжёт свои архивы за тридевять лет. Мой погибший дневник был только минутной струйкой той сажи». «Оттого, что их сожгли, — рассказывал Солженицын (1992), — я, конечно, очень пострадал как писатель, но зато спаслось сразу человек пять, потому что я, дурак, записывал рассказы их — не фамилии, но по рассказам можно понять... Можно всех рассчитать, можно ещё пять человек посадить шутя из нашего дивизиона».

В самом конце апреля с окон тюремных камер сняли светомаскировку. Только по этому признаку сидельцы Лубянки и могли догадаться, что война подходит к концу. Три месяца назад Солженицына вырвали с фронта, из сырой слякоти, грязи и мокрого снега — тогда под Вормдитом ещё свистели пули и рвались снаряды. Теперь же звенела весна, и победа вот-вот должна была грянуть военными парадами и артиллерийскими залпами, но узник мог приветствовать её только изнутри толстых тюремных стен.

Вряд ли чувства капитана Солженицына в те майские дни были совсем лишены горечи и обиды — ведь о победе он мог теперь только догадываться. Пасхальное воскресенье 1945 года пришлось на 6 мая, Святая неделя перекрестилась с майскими праздниками — и тюрьма замерла, будто затаилась в от-

сутствие следователей и допросов. Тюремщики, как и весь *вольный* народ, праздновали; «второго мая Москва лупила тридцать залпов, это значило — европейская столица. Их две осталось невзятых — Прага и Берлин, гадать приходилось из двух. Девятого мая принесли обед вместе с ужином, как на Лубянке делалось только на 1-е мая и 7-е ноября. По этому мы только и догадались о конце войны. Вечером отхлопали ещё один салют в тридцать залпов. Невзятых столиц больше не оставалось. И в тот же вечер ударили ещё салют — кажется, в сорок залпов — это уже был конец концов».

Бывшие фронтовики смотрели из окон Лубянки и окон других московских тюрем на победный салют и праздничные фейерверки с чувствами более сложными, чем просто радость или просто тоска, гордость, печаль, торжество, грусть или горесть. Им ведь вообще не полагалось что-либо знать о внешнем мире. «Не для нас была та Победа. Не для нас — та весна», — скупо скажет Солженицын о себе и своих товарищах-сокамерниках, кто в тот победный май молча наблюдал, как вспыхивало огнями вечернее московское небо. «Та тюремная томительная весна под марши Победы стала расплатной весной моего поколения».

Следствие, возобновившееся в середине мая, после всех праздников, подходило к концу. Никто из подследственных почти не думал о приговорах и сроках — все мысли были только об амнистии в честь великой Победы. «Весной 1945 года каждого новичка, приходящего в камеру, прежде всего спрашивали: что он слышал об амнистии?» Не может быть, рассуждали арестанты, чтобы после такой войны и такой огромной победы стольких людей оставили в тюрьмах и лагерях. Но великая победная весна и великая всеобщая амнистия драматически разминулись — тюремные камеры и лагерные бараки не дождались милости ни в дни Победы, ни в дни ожидания Парада Победы — ведь к чему только не приурочивало воображение арестанта «нисшествие ангела освобождения!».

В конце мая Солженицын прошёл через обязательные процессуальные процедуры. Первая — допрос у прокурора, означавший, что следствие подошло к последним рубежам. На протокольном языке Езепова показания подследственного выглядели грубо и брутально.

«1945 года мая 28 дня Военный прокурор ГВП КА подполковник юстиции КОТОВ и помощник начальника 3 отделения XI отдела 2 Управления НКГБ СССР капитан государственной безопасности ЕЗЕПОВ допросили в качестве обвиняемого СОЛЖЕНИЦЫНА Александра Исаевича.

Вопрос: Всё ли Вы рассказали следствию о преступлениях своих и известных Вам лиц?

Ответ: О преступлениях своих и известных мне лиц я рассказал следствию всё правильно, и свои показания подтверждаю и сейчас.

Вопрос: В предъявленном Вам обвинении виновным себя признаёте?

Ответ: Да, в предъявленном мне обвинении виновным я себя признаю.

Вопрос: В чём именно?

Ответ: В том, что начиная с 1940 года при встречах и в переписке с другом детства, ВИТКЕВИЧЕМ Николаем Дмитриевичем, мы клеветали на вождя партии, отрицая его заслуги в области теории. В отдельных вопросах были убеждены, что Сталин не имеет ленинской глубины. Клеветали на ряд мероприятий внутренней политики Советского правительства, утверждая, что мы якобы не были полностью готовы к войне 1941 года. В этих же беседах мы клеветнически утверждали, что в Советском Союзе отсутствует свобода слова и печати и что её не будет и по окончании войны. В связи с этим мы пришли к выводам о необходимости в будущем создания антисоветской организации и эти свои выводы мы записали в так называемой Резолюции № 1. Мы действительно записались в так называемые революционеры. Мы считали, что создание антисоветской организации непосильно нам двоим и предполагали, что у нас могут найтись единомышленники в столичных литературных и студенческих кругах. Вот на все эти темы я вёл разговоры с друзьями детства, ещё кроме Виткевича — Симоняном К. С., Решетовской Н. А. и Власовым Л. В.

Вопрос: Что практически Вами сделано по вопросу создания антисоветской организации?

Ответ: Конкретных предложений о вступлении в антисоветскую организацию я никому не делал...

Вопрос: Хотите ли Вы дополнить свои показания?

Ответ: Дополнить свои показания мне нечем.

Вопрос: Какие заявления и ходатайства имеете к прокурору?

Ответ: Заявлений и ходатайств к прокурору я не имею...»

Последние два вопроса и ответы к ним были сильно отредактированы. Прокурор, подполковник Котов, как описал его в «Архипелаге» Солженицын, был ленивым субъектом, не злым и не добрым, а лишь вялым и безразличным. Зевал, просматривая дело, зевал, спрашивая, имеет ли подследственный что-нибудь добавить к своим показаниям. «Его вялость, и миролюбие, и усталость от этих бесконечных глу-

пых *дел* как-то передалась и мне. И я не поднял с ним вопросов истины. Я попросил только исправления одной нелепости: мы обвинялись по делу двое, но следовали нас порознь (меня в Москве, друга моего — на фронте), таким образом, я шёл по делу *один*, обвинялся же по 11-му пункту, то есть как *группа*. Я рассудительно попросил его снять этот добавок 11-го пункта». Котов, вздыхая и разводя руками, обронил: один человек — человек, а два — люди. Прокурорский надзор был исчерпан.

Вторая процедура называлась просмотром дела: согласно статье 206 УПК подследственный должен был подписать документ об итогах следствия. Тем же вечером 28 мая он узнал невероятную новость — оказывается, эти четыре месяца можно было жаловаться на неправильное ведение следствия. Он держал в руках толстую папку, видел фотокопии своих писем и чудовищный комментарий к ним, читал свои осторожные показания, дико перевранные Езеповым, и попытался, пусть не очень решительно, выразить несогласие. Но разговор с Езеповым был коротким: не нравится — начнём всё начала. «Закатаем тебя в такое место, где полицаев содержим». Протокол по итогам пришлось подписать вместе с пунктом 11-м («Мне “организация” дала после восьми лет вечную ссылку, и, не произойди государственных изменений, я б через одиннадцать лет не освободился, а и по сегодня б там сидел», — напишет Солженицын в 1978-м).

Поскольку ничего пыточного во время следствия Езепов не применял («кроме бессонницы, лжи и запугивания — методов совершенно законных»), он не потребовал и подписки о неразглашении. «О любом сокамернике, — напишет Солженицын, — я могу вспомнить интересней и больше, чем о капитане госбезопасности Езепове, против которого я немало высидел в кабинете вдвоём». Что-то всё же было в этом следователе, который даже на всякий случай не взял у обвиняемого подписку о молчании: неколебимо был уверен лубянский чин, что сила и власть его непреходящи.

Отныне подследственный обретал новый статус. Вечером 28 мая его перевели в нижний бокс Лубянки, там были получены вещи (собранные сокамерниками) — и в ночь на 29-е его перевезли в Бутырки, ожидать приговор. Тем временем капитан Езепов готовил обвинительное заключение.

«В НКГБ СССР через Военную Цензуру поступили материалы о том, что командир батареи звукоразведки Второго Белорусского Фронта — капитан СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич в своей переписке призывает знакомых к антисоветской работе... С 1940 года занимался антисоветской

агитацией и предпринимал практические шаги к созданию антисоветской организации...

...Виновным себя признал. Изобличается вещественными доказательствами (письма антисоветского содержания, т. н. Резолюция № 1). Считая следствие по делу законченным, а добытые данные достаточными для предания обвиняемого суду, руководствуясь ст. 208 УПК РСФСР и приказом НКВД СССР № 001613 от 21. XI. 1944 года — следственное дело № 7629 по обвинению СОЛЖЕНИЦЫНА Александра Исаевича направить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР, предложив меру наказания 8 лет ИТЛ».

6 июня вместе с капитаном Езеповым обвинительное заключение подписали его прямые начальники — полковник Иткин и полковник Рублёв, а двумя днями позже (8 июня) оно было утверждено начальником 2-го Управления НКГБ комиссаром государственной безопасности 2-го ранга Фёдоровым.

Итак, обвинительное заключение исчерпывающе свидетельствовало: во-первых, компромат на Солженицына поступал в Москву из военной цензуры, обнаружившей в письмах двух офицеров политический криминал. Не было доносов сослуживцев, комбата не разрабатывала в течение года дивизионная контрразведка (как об этом будут писать впоследствии сочинители версий). Во-вторых, в качестве вещдоков к делу были приобщены только письма и блокнот с «Резолюцией № 1». В-третьих, следствие не сочло нужным отправлять дело в суд (быть может, опасаясь, что обвиняемый откажется от показаний?) и направило следственное дело № 7629 в ОСО. В-четвёртых, следствие фактически предопределило меру наказания. Готовя документ, Езепов упомянул, что обвиняемый — фронтовик, дважды награждённый боевыми орденами: Отечественной войны и Красного Знамени. В контексте и в момент великой Победы это могло произвести впечатление даже на ОСО.

Оставалось ждать, что скажет оно, это ОСО. «Как шутят в лагере: на *нет* и суда нет, а есть Особое Совещание».

...Только теперь, находясь в Бутырках, Солженицын получил право сообщить о себе родным, и он написал открытку В. Н. Туркиной, Наташиной тёте, проживавшей в Москве, на Бронной улице. Последнее письмо с фронта, за четыре дня до ареста, в котором он рассуждал, что после войны его ждёт жизнь, полная лишений, подтверждалось. Потом было четырёхмесячное молчание, и на запросы жены в дивизион (она писала и Сане, и Пашкину, и Соломину) приходили загадочные ответы: «Адресат выбыл, адрес неизвестен». Ната-

ша посылала телеграммы Лиде, умоляя включиться в розыски, и Лида немедленно начала действовать, отправляла запросы в дивизион и утешала подругу, что сама давно не имеет писем ни от отца, ни от Кирилла. В апреле отозвался Кирилл и тоже пытался успокоить Наташу: «Наша армия не так нежно воспитана, чтобы скрывать от семьи истину о погибших». В апреле, наконец, пришло письмо Соломина, адресованное М. К. Решетовской: «Я знаю только, что он жив и здоров, что ничего плохого с ним не случится».

Прошло 9 мая, пролетел май, подозрительно долго не получала писем не только Наташа, но и мать Коки, Антонина Васильевна, — ответов на её запросы в часть сына тоже не было. «Почему... оба?» — как-то обронила Кокина бабушка. Догадка оглушила, во втором письме Соломина Наташе почудился некий намёк... В июне, в разгар кандидатских экзаменов (она поступала в аспирантуру), из Москвы, от тёти Вероники, пришла срочная телеграмма: «Саня жив здоров подробности сообщу». Через два дня тётя зашифровала и подробности: «Саня Москве несвободна приезжай или закажи вызов через переговорную». По телефону лаконично сообщила: «Я отнесла ему сегодня передачу».

Всё прояснилось.

Каждое утро и каждый вечер в июне 1945-го бутырские арестанты слышали, как где-то недалеко духовые оркестры разучивают марши. «Мы стояли у распахнутых, но непротягиваемых окон тюрьмы за мутно-зелёными намордниками из стеклоарматуры и слушали. Маршировали то воинские части? Или трудящиеся с удовольствием отдавали шагистике нерабочее время? — мы не знали, но слух уже пробрался и к нам, что готовятся к большому параду Победы, назначенному на Красной площади на июньское воскресенье — четвёртую годовщину начала войны».

Но 24 июня, в день парада, звуки победных маршей уже не долетали до Бутырок. В то воскресенье на одних тюремных нарах вперемешку сидели и бывшие фронтовики, и бывшие пленные, и бывшие власовцы, докуривали друг за другом папиросы и попарно выносили из камеры жестяную шестивёдерную парашу. Под куполами кирпично-красного Бутырского замка тюремное образование Солженицына продолжилось. Теперь арест казался ему ничтожно-смешным, и не стоило вздыхать по сорванным капитанским погонам. Его будоражила трагедия многих тысяч советских солдат, попавших из плена на нары, — горькая история о том, как родина отвернулась от несчастных своих сыновей. «Там, где были мои ровесники, там только случайно не был я.

Я понял, что долг мой — подставить плечо к уголку их общей тяжести — и нести до последних, пока не задавит». В камере таяли многие предрассудки и предубеждения — ослепление *воли*, и он заново учился понимать мир, беря в душу невмещаемый объём правды.

Бутырками начался, Бутырками и закончился июнь; а в начале июля в вестибюле бани заключённые с ликованием обнаружили мылом написанное пророчество: «Ура!!! 7 июля амнистия!». «Всё, что билось, пульсировало, переливалось в теле, — останавливалось от удара радости, что вот откроется дверь...»

Но пророчество оказалось поистине мыльным. Великая сталинская амнистия, «какой ещё не видел мир», освобождала квартирных и карманных воров, насильников и растлителей, злостных хулиганов и растратчиков, спекулянтов и сводников, а также всех поголовно дезертиров военного времени. Но к бывшим фронтовикам и пленникам, осуждённым по политической пятьдесят восьмой, великая амнистия 1945 года никакого отношения не имела, как ни надеялся на неё неисправимый народ-мечтатель.

Позже Солженицын узнает, что ОСО НКВД СССР (закрытая «тройка»), назначившее ему срок заочно и без суда, то есть без слушания сторон, без свидетелей обвинения, свидетелей защиты и без самой защиты, заседало в самый день амнистии, 7 июля. В постановлении значилось: «За совершение преступлений, предусмотренных ст. Ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР Особое совещание при НКВД СССР заочно осудило Солженицына Александра Исаевича к 8 (восьми) годам исправительно-трудовых лагерей». (Согласно справке ЦК КПСС 1967 года «Солженицын допускал антисоветские выпады и клеветнические измышления в адрес Сталина. На следствии он сначала отрицал предъявленные ему обвинения, а затем признал себя виновным в проведении антисоветской агитации и попытке создать антисоветскую группу».) Только через двадцать дней, 27 июля, был он вызван из камеры с вещами, сокамерники шумно провожали его, пророча по его «лёгкому» делу свободу и дом. И были изобильная полуторачасовая баня, тридцать секунд перехода через внутренний бутырский двор, по изумрудному садику, с непереносимо зелёными листьями и щебетанием птиц, бутырский *вокзал*, место приёмки и отправки арестантов, три часа ожидания в просторном боксе.

В соседнем боксе сидел безымянный майор НКВД — он объявлял приговоры и собирал подписи приговорённых, что со своей судьбой они ознакомлены. Вызванный в бокс

Солженицын был больше поражён рутинной будничностью происходящего и терпеливой скукой на лице майора, чем содержанием отпечатанного на бумажке текста. Ему хотелось ощутить значительность минуты, осознать весь трагизм своего положения. Но тщетно — не было ни волнения, ни возмущения. Слова: «Восемь лет! За что?» — прозвучали не трагично, а фальшиво и бессмысленно. Вся процедура не отняла и пяти минут (до какого *гуманитарного* абсурда дойдут десятилетия спустя «критики» и «разоблачители», ставившие Солженицыну на вид его «смехотворно малый срок»: нет чтобы получить расстрел на месте или, ладно уж, четвертак... И чтоб лагерь посвирепее, и работа потяжелее, чтобы там в аккурат *загнулся*... Тогда бы мы ему поверили и простили...)

А восьмилетний срок включал четыре месяца со дня ареста и время ожидания приговора; всё наказание заканчивалось 9 февраля 1953 года — ему будет тогда всего тридцать четыре. Он легко и весело вернулся в бокс: там уже смеялись над утренними мечтами о скорой воле. Потом их строили по двое и снова вели через дивный солнечный садик — опять в баню. «Мы оплёскивались, лили, лили на себя горячую чистую воду и так резвились, как если б это школьники пришли в баню после последнего экзамена. Этот очищающий, облегчающий смех был, я думаю, даже не болезненным, а живой защитой и спасением организма». Все приговорённые должны были покинуть Бутырки — их ждала пересыльная тюрьма на Красной Пресне. Но та была переполнена и не справлялась с многотысячными послевоенными потоками. А все просторные помещения бывшей Бутырской церкви, где давно уже не молились, были приспособлены под камеры, вмещавшие до двух тысяч арестантов одновременно, и служили резервом тюрьмы, её внутренней пересылкой. «Перемолотое мясо, полуфабрикат для ГУЛАГа, арестантов держали здесь те неизбежные дни, когда на Красной Пресне не освобождалось для них немного места».

Тем же июльским днём после приговора ОСО Солженицына завели на второй этаж церкви и впустили в большую квадратную камеру человек на двести. Здесь, среди копошащейся массы людей, которые должны были ежечасно бороться не только за место на нарах, под нарами или на полу, но и за миску, ложку и кружку, отнимавшихся после каждой еды, начальное тюремное образование завершалось. «Пасынки Бутырок» проходили жестокий обряд привыкания — к тому, что приговор обжалованию не подлежит, что срок надо прожить день за днём, что отсутствие личной по-

суды, постоянного места и знакомого соседа (на пересылках они менялись ежедневно) — это ещё не лишения, а настоящие лишения у зэка всегда впереди.

Но здесь действовали и другие университеты. В Бутырках дотюремные убеждения Солженицына, в правильность которых он незыблемо верил, стали давать первые серьёзные трещины. «Я в то время был очень прилежен в том миропонимании, которое не способно ни признать новый факт, ни оценить новое мнение прежде, чем найдёт для него ярлык из готового запаса». Общаясь с сокамерниками, он то и дело замолкал, не находя нужных ярлыков: люди, моложе его годами, не только тяготились своей посадкой, но гордились ею. Они рассуждали о счастье верить в Бога и утверждали, что для новейшей науки в Библии нет никаких противоречий. Всё чаще приходила на ум простая мысль: не здесь ли, в тюремных камерах, обретается истина? Тесна и узка камера, но не теснее ли воля? Московские студенты, которых он встретил в Бутырской церкви, писали стихи и сочиняли песни — про скорый этап и сибирские дальние лагеря. Летом 1945-го ничего подобного у Солженицына ещё не было, и прочесть в ответ ему было нечего.

После ареста, четырёх месяцев следствия, тюремных боксов и камер, майской сажи на лубянском дворе, в которую должны были превратиться военные дневники (они так никогда и не всплыли в ходе реабилитаций), Солженицыну могло казаться, что судьба отобрала всё, что составляло на тот момент его писательский портфель: «Наше поколение вернётся, сдав оружие и звеня орденами, рассказывая гордо боевые случаи, — а младшие братья только скривятся: эх вы, недотёпы!..»

Глава вторая

ТЮРЕМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЛАГЕРНАЯ ПРАКТИКА

Время действия пьесы «Пленники», начатой в 1952-м в Экибастузе (сочинялась малыми кусочками, вослед сжигалась и хранилась в памяти), законченной и записанной в 1953-м, в ссылке, — 9 июля 1945 года, два месяца спустя после победы, два дня спустя после объявления амнистии. Во фронтовой контрразведке в польском городе Бродницы (Солженицын был там пятью месяцами раньше) встречаются, не по своей воле, многие персонажи будущих произведений автора: с их реальными, *твёрдыми* прототипа-

ми он соприкасался в тюрьмах и лагерях. Среди зэков — военнопленные, бывшие офицеры и рядовые Красной армии, молодые бойцы РОА, пожилые военные русской императорской армии, а также югославы, итальянцы, поляки, немцы, путями неисповедимыми попавшие сюда. Вовсю работает «сталинская мельница», перемалывая контингенты: днём и ночью идут допросы, пишутся протоколы (автор в точности воспроизводит форму и стиль бериевской документации). «Какую цель вы имели, сдаваясь в плен? Почему не застрелились?» Любой ответ на бумаге выглядит одинаково: «Я сдался в плен, имея цель изменить социалистической родине». Рядом объявляются приговоры ОСО, остервенело торопится трибунал, и каждый получает свою десятку. Таков стандарт для русского военнопленного, виновного лишь в том, что остался жив. «Англичане, французы, сербы, норвежцы — тоже военнопленные... Жалованье им за годы плена идёт, награды за выслугу лет, повышенья в чинах, письма, посылки из дома, из Красного Креста... Один Иван во всём мире никому не нужен, один Иван никому не свой».

А Иван, попав в мясорубку, ужасался логике долгожданной амнистии: в своих пленниках она видит «лютое отребье, надышавшееся отравленным воздухом капиталистической Европы» и ласкова лишь к «социально-близким» — ворам и убийцам. Амнистия освобождает дезертиров — потому что они всего только трусы и шкуры. По этой логике, тот, кто не побоялся идти на передовую, не побоится после войны повернуть оружие против родины.

...Это было высшее законченное тюремное образование, *политическая* или скорее *духовная* академия. Её учителя и ученики прозревали необъятный Божий план насчёт большевистской России: в момент торжества победы они видели предвестия краха тех, кто обещал на земле рай, а построил ГУЛАГ. «О, вы ещё не знаете, как внезапно приходит к державе слабость, как в расцвете мощи она постигает внезапно!» Они смогли понять, откуда черпает силу старый кадровый военный перед повешением: «Перестаньте быть палачом, потеряйте *всё* — и засверкают у вас глаза!»

Но летом 1945-го, после следствия и приговора, Солженицын едва освоил тюремный ликбез. С начала августа из Бутырок его перевели на Красную Пресню, в битком набитую пересыльную тюрьму — столицу ГУЛАГа, центр общесоюзной зоны. «Обливались мы по́том от каждого движения, после еды просто лило. В камере, немного больше средней жилой комнаты, помещалось сто человек, сжаты были, ступить на пол ногой уже нельзя. А два маленьких окошка бы-

ли загорожены намордниками из железных листов». Лёжа на грязном полу с поджатыми ногами или по-пластунски подползая к нижним нарам, Солженицын постигал кодекс чести зэка категории 58-10: не искать защиты у блатарей, когда урки-малолетки выхватывают из рук вещи и продукты, иначе признáешь над собой власть пахана; не улучшать своё положение за счёт товарища по несчастью, иначе — чем ты лучше урки?

Но как вязался этот кодекс с инстинктом выживания? Настоящую лагерную науку Солженицын услышал от соседа по нарам, спецнарядника с жестоким и решительным выражением лица. «С усмешкой, как смотрят на двухнедельных щенят, смотрел он на наше первое барахтанье». Старожил объяснял несмышлёнышам, чтó их ждёт в лагере, и поучал: никому не верить, кроме себя; оглядываться, не подбирается ли кто укусить; усвоить, что ничего не делается даром, а главное — избегать *общих* работ. «Там вы положите последние силы. И всегда будете голодные. И всегда мокрые. И без ботинок. И обвешены. И обмерены. И в самых плохих бараках. И лечить вас не будут. *Живут* же в лагере только те, кто *не* на общих. Старайтесь любой ценой — не попасть на общие! С первого дня. Любой ценой!»

Признав уроки сурового лагерника резонными, Солженицын позже спросит себя, бывшего зэка (как спрашивал себя — офицера и командира): а где же мера цены, где её край? И каждый свой шаг будет поверять по самому строгому счёту, и будет клеймить себя за все ошибки, просчёты, желания, намерения. Он расскажет, как летом 1945-го рвался добровольно из душных камер краснопресненской пересылки на работы к пристани Москвы-реки, где разгружался лес — за право целый день дышать воздухом, беспрепятственно пользоваться уборной, получить вечером лишних сто граммов хлеба. Но не простит себе, а выставит напоказ своё малодушие: «Когда нас там построили первый раз, и нарядчик пошёл вдоль строя выбрать глазами временных командиров — моё ничтожное сердце рвалось из-под шерстяной гимнастёрки: меня! меня! меня назначь. Меня не назначили. Да зачем я этого и хотел? Только бы наделал ещё позорных ошибок».

Меж тем пересыльная тюрьма имела для арестанта-новичка два важных плюса. Во-первых, давала время постепенно войти в лагерный и барачный быт. «В один шаг такого перехода не могло бы выдержать сердце человека. В этом мороке не могло бы так сразу разобраться его сознание». Во-вторых, здесь возникала иллюзия связи с домом.

В июле Наташа прилетела на две недели в Москву, поскольку теперь в столице соединилось всё самое важное в её жизни: тюрьма, где был Саня, и Московский университет, где был шанс поступить в аспирантуру. Своими глазами увидела крепостную стену, протянувшуюся на квартал по Новослободской улице, железные ворота Бутырок. Посылала передачи — продукты, бельё, полотенца... В справочном отделе МГБ на Кузнецком Мосту ей разъяснили приговор и — удача! — дали разрешение переписываться. Уже в Ростове она получила «шифрованное» письмо от тёти Верони: «Шурочку видела только один раз. Она возвращалась со своими подругами с разгрузки дров на Москве-реке. Выглядит замечательно, загорелая, бодрая, весёлая, рот до ушей, зубы так и сверкают».

Своё первое письмо жене Солженицын-зэк отправил с Красной Пресни 5 августа, ровно через полгода после последнего фронтового. Четыре мелко исписанные, процарапанные бледным карандашам странички, сложенные в треугольник, а вслед за ним и ещё один, принесли, однако, не только радость, но и недоумение. «Я узнал, что ты жива, здорова и свободна! — восклицал он. — В начале переживал за тебя, очень опасался, что побеспокоили тебя. Хочется узнать, что этого не произошло». «Как он может так писать, — пугалась тёща. — Почему ты вдруг могла быть “несвободна”?» На этот вопрос Наташа отвечала по-разному, в разное время. Но тогда, в 45-м, ей было всё абсолютно понятно: письма, которые с фронта писал муж, не были сплошь невинны, ведь не только Коке, но и ей Саня сообщал про «войну после войны», про начало партийно-литературной борьбы, в которой не все члены пятёрки будут идти его путём.

Значит, не на следствии придумал свою *пятёрку* Солженицын, чтобы, потрафляя следователю, утащить в тюрьму родных и друзей (как они изобразят его поведение позже). Ведь Наташа читала «Резолюцию № 1» весной 1944-го, когда была у мужа на фронте, — тогда этой бумаге было всего четыре месяца от роду. Теперь Саня спрашивал жену: «До сих пор не знаю, разделил ли мою судьбу *сэр* или нет? От души желаю ему счастья». «Сэр» — так со школьных лет Саня и Кока называли друг друга, и в письмах, и заочно. Значит, за эти полгода Солженицын действительно не знал, что случилось с Кокой и со всеми теми, кому он писал и кто в переписке с ним себя «засветил». Значит, не было у него очных ставок и никто не докладывал ему на Лубянке об аресте Коки или кого-то другого. Значит, вопросы о судьбе друзей — всех, кто писал ему и кому писал он, были искренни и не содержали задней мысли, мол, знает кошка, чьё мясо

съела. Так же обстояло дело и с письмами Сани тёте Вероне; и у неё, и у Наташи он спрашивал обо всех — где Кирилл? где Лида? что с Николаем? «Отвечайте хоть коротко, самое необходимое... С нетерпением жду известий... От всей души желаю, чтобы Кока и Кирилл избежали моей участи... Если писем от Коки нет с начала — середины июня, то так и знайте, что он повторил все мои злоключения вплоть до восьмёрки на конце. Жалко сэра, я уже надеялся, что может быть его жизнь не будет исковеркана».

Глагол *«повторил»* начнёт сильно смущать Решетовскую, когда она, работая над книгой «В споре со временем», будет просматривать письма мужа 1945 года. Он, этот глагол, покажется ей крайне подозрительным — логичнее, по её мнению, было бы употребить слово *«разделил»*: тогда бы арест Коки выглядел не как результат поведения Сани на следствии, а как роковая неизбежность. Но Саня отчётливо понимал разницу между «разделил» и «повторил». Разумеется, друзья могли *разделить* участь Сани, арестованного с поличным, поскольку были причастны к переписке. Но Саня не знал — арестован ли кто-нибудь из них (одновременно с ним, раньше него, позже него). Он мог предполагать и надеяться, что вроде никто не арестован, так как в его деле не было свидетельских показаний и никого не вызывали на очную ставку. В момент следствия никто из друзей *не делил* с ним тягот процесса по *его* делу. И *не разделил* — потому что только ему впаяли пункт «организация». Кока, кто, как и Саня, был арестован на основании данных переписки (потянувших на десятку), не *разделил* с другом наказание, а именно *повторил* его путь — то есть прошёл через арест, следствие и приговор. Он *повторил злоключения* Сани не потому, что тот ложно его обвинил, а потому, что улики *лежали на столе* у Саниного следователя, и подсудимому резонно было предполагать худшее. Саня не смог уйти от признания, что обсуждал с друзьями политические вопросы (следы этих обсуждений лежали тут же), а следователь, составляя протоколы, чудовищно извращал ответ.

Когда летом 1945-го Солженицын узнал, что друзья не пострадали, он испытал счастливое облегчение. «Итак, и ты, и Лидуська, и Страус живёте благополучно. Нужно знать мою тревогу за вас, чтобы понять, как я сейчас обрадован». «Только потому воспоминания эти не грызут меня раскаянием, что, слава Богу, избежал я кого-нибудь посадить. А близко было», — напишет он в «Архипелаге».

Тяжёлый, но законный вопрос, возникающий в этой связи, почему *было близко*, то есть почему не сели вместе с ним

трое из пятёрки — Кирилл, Наташа и Лида (а также двое других, Власов и Косовский), имеет вполне осязаемый ответ. Потому что эти трое и эти двое были только *получателями* и *читателями* крамольных писем, но сами *ничего подобного* не писали. Называя Власова и Косовского на следствии, Саня не открывал новые имена — о них как о возможных членах группы он подробно писал Коке в 1944-м: письмо было перехвачено и сфотографировано. Но Лёня Власов ответил Сане: «Не согласен, что кто-нибудь мог бы продолжить дело Ленина лучше, чем это делает Иосиф Виссарионович». И уцелел.

...На краснопресненской пересылке была сильна иллюзия *воли*. Саня писал жене: «Я почти уверен, что срока этого (восемь лет ИТЛ. — *Л. С.*) мне не придётся сидеть до конца — вся надежда на близкую, широкую амнистию, о которой ходит столько слухов. Будет она — наше счастье. Не будет — я считаю своим долгом предоставить тебе на весь срок моего наказания полную личную свободу, о которой не задам при встрече ни единого вопроса». Он пересматривал многие свои планы — и жизни, и работы. За минувшие полгода примирился с тем, что теперь обретается *на дне*. По приговору ОСО литературная деятельность после отбытия наказания ему как будто не запрещалась, но, сообщал Солженицын жене, «мне дали понять, что неплохо было бы, если б я её бросил».

В любом случае начинать пришлось бы с нуля. «Рассказы мои у меня изъяты, переписка с Кокой сфотографирована, а “Шестой курс” и другие незаконченные произведения, все литературные дневники, все планы романов, все фотографии — сожжены». Мечта жить в Москве или в Ленинграде после войны была похоронена. После выхода на свободу (тогда ещё никто не говорил ему о ссылке *навечно,* не значилась *ссылка* и в приговоре) хотелось устроиться школьным учителем где-нибудь в глухой деревне, подальше от центров и железных дорог, в Сибири, на Кубани, на Волге или на Дону, а в столицы ездить только в отпуск. Как это могло совместиться с вузовской карьерой жены — Саня пока не знал и советовал ей всемерно держаться за аспирантуру. Повидав людей, которые готовы были начать новую жизнь и после пятидесяти пяти, и после шестидесяти пяти, он иначе относился к своим двадцати семи. «Я здоров, тоскую, но не убит». И жалел лишь о пустой молодости Наташи: «Не *мои* потери на годы, а *твои* — вот что угнетает меня. Для женщины особенно дорог возраст между 20 и 30 годами».

14 августа 1945 года окончился первый тюремный опыт Солженицына и началась полоса лагерей. Был праздник, капитуляция Японии, и был недолгий этап из Красной

Пресни в ОЛП (отдельный лагерный пункт): Новый Иерусалим, Волоколамское направление, два часа езды пригородным поездом. Но шестьдесят зэков (на зоне их немедленно окрестили *фашистами* — так блатные, при одобрении начальства, называли 58-ю) были доставлены на двух грузовиках в два раза быстрее. «Мы только что пережили один из высоких часов своей жизни — один час переезда сюда с Красной Пресни — то, что называется ближний этап». Целый час они вдыхали запахи скошенного сена, радовались яркой зелени и людям, одетым в пёстрое и цветное, подставляли свои стриженые головы под вольный луговой ветер.

Первый день в своём первом лагере (ведь близко! ведь не Колыма! разрешены письма, свидания, посылки! зона под Звенигородом окружена не сплошным забором, а переплетённой колючей проволокой, и так далеко видна живая холмистая земля!) Солженицын подробнейше опишет в «Архипелаге». Как, помня завет спецнарядника, пытался избегнуть общих работ и как был назначен сменным мастером глиняного карьера. Как, имея *опыт работы с людьми*, «чётко и корректно» предлагал своей смене — блатарям из ШИЗО — приступить к работе (самой тяжёлой на карьере), а они послали его по общеизвестному адресу. Как сменщик, пригрозив уркам, был жестоко избит (ломом по почкам) и тут же увезён в тюремную больницу. Как «командная» должность, вместо удовлетворения, принесла душевное угнетение: мастер не знал производства, не понимал внутреннего устройства и законов зоны. «В оцепенении был мой дух от нескольких первых лагерных дней... Лишь поздним лагерным опытом, наторевший, я оглянулся и понял, как мелко, как ничтожно я начинал свой срок. В офицерской шкуре привыкнув к незаслуженно высокому положению среди окружающих, я и в лагере всё лез на какие-то должности и тотчас падал с них. И очень держался за эту шкуру — гимнастёрку, галифе, шинель, уж так старался не менять её на защитную лагерную чернедь! В новых условиях я делал ошибку новобранца: я выделялся на местности».

Неизбежное падение случилось дней через пять — была упразднена сама должность мастера карьера. Между тем лагерь покидали уголовники, освобождённые по амнистии, и на заводе не хватало рабочих рук. Солженицына сначала поставили в цех, откатывать вагонетки с глиной, а вскоре и вовсе низвели до простого глинокопа. Как тут было не вспомнить чеховского барона, мечтавшего о кирпичном заводе и полагавшего, видимо, что у него непременно будут сушилка для мокрого, чистая постель и плотный горячий ужин.

Но с каждой нагруженной вагонеткой раздражение глинокопа росло — почему этим взбалмошным трём сёстрам не сиделось на месте и так хотелось «работать», «трудиться»? В контексте подневольного глиняного карьера мечты девиц Прозоровых выглядели фальшивым вздором. Трое суток сеет мелкий дождь, пропитывая тяжелеющую шинель; в жидкой глине киснет единственная обувь — фронтовые сапоги; при норме на одного чернорабочего нагрузить и откатать *шесть* вагонеток рыжей глины (в сухую погоду вдвоём с напарником, поэтом Борисом Гаммеровым, они едва могут одолеть *пять* вместо положенных *двенадцати*) дают три раза в день чёрный несолёный навар из крапивных листьев, а за невыполнение нормы срезают скудную хлебную пайку. А глина уже не отстаёт от лопаты, сколько её ни колоти, и приходится собирать чавкающую жижу руками. Карьер размокает, норму выполнить невозможно; в наказание рабочих оставляют на вечер, а потом и на всю ночь. Но — гаснет электричество. В голове звон, в ушах шум, «подходит та приятная слабость, когда уступить легче, чем биться». В бараке темно, глинокопы лежат во всём мокром на всём голом.

«Меня удручает до боли и стыда, — писал он жене, — что приходится опять садиться вам с мамой на шею и опять тревожить Веронику Николаевну. Дело в том, что я сейчас никак не могу обойтись без передач, пока не найду лучшего применения своему труду. Норма чернорабочего не по моим силам...» И всё же, не желая пугать родных, сообщает о приличных жилищных условиях — имеются койка, матрац, постельные принадлежности. «С командной должности я уже слетел, ибо огрызался и не потрафил своему непосредственному начальству. Сейчас работаю на разных чёрных работах, без определенного рода занятий, а в перспективе мечу всё-таки на какое-нибудь канцелярское местечко...» Но, даже смягчая и сглаживая ситуацию, не может скрыть своей угнетённости, душевной усталости, «забитости головы каким-то тягучим месивом тупости». Боязнь, что жизнь искалечит все его духовные силы, прозвучит в «Архипелаге» ещё сильнее и трагичнее. «Господи, Господи! Под снарядами и бомбами я просил Тебя сохранить мне жизнь. А теперь прошу Тебя — пошли мне смерть...»

Но утром он слышал звонкое пение петухов из маленькой (домов на десять) соседней деревеньки — и думал не о смерти, а о ссылке. «Господи, пошли мне такую жизнь!» — молил он. То есть жизнь без городской суеты и честолюбивых планов, без высоких, но таких обманчивых мечтаний,

без убеждений и даже без истины — только бы смотреть на солнышко и слушать петухов. Но проходил ещё день, он собирался с духом и вспоминал, как на войне каждую тихую минуту читал и сочинял — и вскоре осторожно писал жене про отсутствие книг и бумаг, а заодно просил, по возможности, прислать учебник английского языка, а также англо-русский карманный словарик с международной транскрипцией.

И кто-то где-то дал-таки команду — расформировать лагерь (уголовники сразу поставили крест на этом гиблом месте). И так же как заселившаяся сюда 58-я дала возможность выйти на волю блатным и бытовикам, так теперь на смену 58-й гнали сюда пленных немцев: на стройках Москвы катастрофически не хватало кирпичей. Но для Солженицына 9 сентября глиняная жижа осталась позади*. Непонятным образом зависала и автобиография, которую для чего-то ему велели здесь написать, — недреманное око некоего лейтенанта углядело однажды фигуру в галифе и длиннополой шинели. А как приятно было арестанту после протоколов следствия, где он значился антисоветским клеветником, не оплёвывать себя, а вспомнить, как ещё совсем недавно был капитаном, командовал батареей, имел ордена...

Москва, 71, ул. Большая Калужская, 30, стройка № 121 — таков был адрес ОЛП смешанного типа, где политические, бытовики и блатные работали на строительстве жилых зданий для начальства МГБ и МВД. Рядом с вахтой лагеря, похожей на обыкновенную проходную, были остановки городских автобусов и троллейбусов, и прохожие даже не догадывались, что здесь, в конце решётки Нескучного сада, на стройке дома работают зэки и что деревянный забор, поверх которого в несколько рядов натянута колючая проволока, имеет специальное назначение. С верхнего перекрытия восьмиэтажного полукруглого здания арестантскому взору открывалась Москва — с одной стороны намечался будущий Ленинский проспект, по другую виднелись купола Новодевичьего монастыря. Дальше в дымке угадывался Кремль, где на столе у Сталина, как в это верила вся страна, лежала уже готовая амнистия для политических, оставалось только её подписать, да что-то никак.

---

* Полвека спустя, в июне 1995-го, Солженицын с сыновьями навестит кирпичный завод в Новом Иерусалиме, самый старый и самый большой в Московской области. Посетители обойдут цеха, и писатель порадуется техническим новшествам, увидит на территории бывшего лагеря жилые дома, детский сад, Дом культуры, школу, торговый центр. Узнает место, где была проходная, столовая, каптёрка. Директор завода от имени гостя сочинит для заводской газетки обращение к сотрудникам предприятия: «Привет от коллеги по труду».

Близость Москвы не радовала Солженицына: «С крыши Калужской заставы смотрел на слитную чуждую громаду столицы и заклинал: подальше от неё, подальше бы в ссылку!» Через год он сочинит «Мечту арестанта», одно из первых своих лагерных стихотворений, — и попробует увидеть себя учителем сельской школы, среди простой природы, «где и поезд не будит тишь». «Мне — в Алтай бы! Высоким стремленьям / Отдал дань я, и будет с меня. / Я грущу по коровьему пенью, / По оскалу улыбки коня». «Меня тянет к природе, — напишет он жене в ноябре 1945-го, — мне хочется слиться с ней, дотронуться до русской земли, чтоб набраться от неё сил... Мне хочется побродить по лесу ранним утром с каким-нибудь старым мужичком, который научит меня различать каждую птицу по голосу и по перьям. Мне хочется знать деревья, растения, травку, цветы — я не умею их различать, я не научился их любить каждого за своё».

Но действительность Калужской заставы была далека от этой идиллии, и вместо глухой избёнки Солженицын попал в «комнату уродов»: судьба, испытывая мечтателя обществом *придурков*, оставляла в окне лишь крохотный кусочек пейзажа. «Архипелаг — это мир без дипломов, мир, где аттестуются саморассказом. Зэку не положено иметь никаких документов, в том числе и об образовании. Приезжая на новый лагпункт, ты изобретаешь: за кого бы себя на этот раз выдать?» Как ему хотелось прикинуться фельдшером: в условиях лагеря эта работа была спасительной, но, даже *раскинув чернуху,* трудно было решиться на внутривенные уколы, на что-то более сложное, чем порошки и микстуры. Он и не решился, но зато прямо с порога, с вахты, объявил себя... нормировщиком. И уловка удалась! Его назначили завпроизводством, то есть начальником всех бригадиров и нарядчиков, и он уже сам был не рад, что из хомута попал в ярмо.

Высокая карьера завершилась, однако, так же быстро, как началась, успев закрепиться лишь койкой в той самой комнате, где днём запиралась дверь, можно было оставлять вещи в тумбочке, и работала электроплитка. А до этого — полукочевая жизнь в барачном общежитии, среди воров и бандитов, грязный матрац, вещи в камере хранения. Слетев с начальственной должности и став учеником в бригаде маляров, Солженицын-пролетарий мог в любой момент лишиться привилегий. А тут выдёргивают на этап соседа-генерала, и ученик маляра, так и не освоив малярного дела, занимает (с 9 ноября на целых полгода) желанную должность помощника нормировщика. «Но и нормировщиком я не научился, а только умножал и делил в своё удовольст-

вие». И только через два десятилетия он поймёт, в чём была главная *писательская* удача комнаты с ключом — близко видеть таких соседей, к каким раньше непредставимо было и подойти.

Вспоминая в «Архипелаге» десятимесячное пребывание на Калужской заставе, Солженицын не преминет упрекнуть себя, что слишком дорожил тогда бытовой стороной жизни: «Раб своего угнетённого испуганного тела, я тогда ценил только это». И вспомнит старого лагерника Д. С. Лихачёва, который неизбывно чувствовал свою вину за то, что остался жив: значит, в какую-то роковую ночь расстреляли кого-то другого. Лагерные урки живут по принципу: «Умри ты сегодня, а я завтра». Инженер Кукоч из «Республики труда» (пьеса будет написана весной 1954-го), севший за сворованную машину сахара, вполне приспособлен к порядкам на зоне: «Здесь свои законы жизни. Здесь — ГУЛАГ, незримая страна, которой нет в географиях, психологиях и историях, та знаменитая страна, в которой девяносто девять плачут — один смеётся!! Я предпочитаю смеяться!» Реальный зэк по фамилии Кукос (он тоже станет жильцом *придурочной* комнаты) был ровно таким же.

Солженицын никогда не был, да и не мог бы оказаться тем *одним,* кто в ГУЛАГе *смеётся* (даже если б сильно старался, переламывая и перемалывая свою натуру, не пустили б его никуда блатные акулы и хваткие придурки). Но ему, как и *девяноста девяти плачущим*, тоже приходилось выбирать между гибелью и спасением; иногда выбор был легче, иногда — тяжелее. Он сознавал: «Чтоб отказаться от всякого “устройства” в лагере и дать силам тяжести произвольно потянуть себя на дно, — нужна очень устоявшаяся душа, очень просветлённое сознание, бóльшая часть отбытого срока да, ещё, наверное, посылки из дому — а то ведь прямое самоубийство».

Шли, однако, всего лишь первые месяцы срока, и говорить об устойчивости, о просветлённости было бы опрометчиво. Кроме того, на Калужской были разрешены свидания. Наташа (а иногда тётя Вероника) раз или два в неделю приносили всего понемногу — еды, курева, белья. Он просил лишь самого простого: картошки, вермишели, немного жиров и сахару, лука-чеснока, чёрного хлеба, запрещая деликатесы вроде яблок и помидоров. Наташа доставляла всё по первому требованию, а иногда в посылках участвовала и Лида — получалось чуть богаче, чуть сытнее...

Немного помогала Солженицыну и самодеятельность: душевно, — да и после концерта артистов кормили, чаще разрешали свидания. 7 ноября он читал Горького и Есени-

на — оба совершенно не дошли до публики, но зато 8-го, после басен Крылова, зал покатывался со смеху. Как-то слишком всерьёз стал он думать о возможностях культбригады, о выездных гастролях и репетициях, партнёрах по сцене; просил жену добыть «для театральной деятельности» комедии Чехова и Островского. Зимой пытался ставить «Предложение», отрывки из «Бесприданницы», замахивался на «Укрощение строптивой» (хоть бы пол-акта), как-то дерзнул прочесть на репетиции монолог Чацкого, но уже первая строка «А судьи кто?» заставила начальника КВЧ подскочить на стуле: Грибоедов оказался контрой и пособником 58-й.

Но чтеца так тянула, так освежала сцена, давая краткое забвение, так манила рискованная игра, ведь зэк-актёр должен перевоплощаться дважды — из заключённого в артиста и из артиста в героя. Поздней весной 1946-го из тюрьмы «Матросская Тишина» на Калужскую заставу приехал ансамбль и пробыл у них три недели (с 20 апреля по 15 мая). Поочередно проходили концерты, приуроченные к майским и победным праздникам, ансамбль и местная самодеятельность с переменным успехом соревновались. Возможность попасть к профессионалам (в ансамбле было несколько драматических артистов) будоражила. Пока здесь были артисты, Солженицын забросил свои привычные занятия — и репетировал всё свободное время, переписывал отрывки из пьес, заучивал стихи. Но, присмотревшись к артистам и их работе внимательнее, с досадой увидел, что в репертуаре — всякая дрянь, песни-пляски, дешёвые скетчи. Руководство ансамбля держится на интригах, боится брать в коллектив, наполовину состоящий из 58-й, артистов той же категории. Плюс актёрское соперничество, борьба за роли. Прорваться в ансамбль, разъезжать с концертами без риска общих работ, иметь свободное время оказалось невозможным, и Солженицын ощущал это как неудачу... А через год случайно узнал о страшной беде: во время одной из поездок грузовик с артистами попал под поезд, кто-то погиб сразу, кто-то был тяжело ранен и изувечен. Всех убитых он хорошо знал и мог бы оказаться с ними вместе: «Никогда мы сами не знаем, чего хотим. И сколько уже раз в жизни я страстно добивался ненужного мне и отчаивался от неудач, которые были удачами».

Про художественную самодеятельность на Калужской заставе он вспомнит спустя много лет как об унижении — участников концерта мог сдёрнуть с кроватей любой опер, которому хотелось развлечься ночью. Но, несомненно, это будет только небольшая часть памяти. В «Республике труда»

за кулисами самодеятельной сцены сойдутся влюблённые — бывший фронтовик Глеб Нержин и бывшая театральная парикмахерша Люба Негневицкая, двадцати двух лет, польских кровей, восемь лет по 58-й, девушка злосчастной судьбы

В жизни она звалась Анечкой Бреславской. Ей и будет посвящена пьеса — история о горькой, короткой, сиротской любви «оленя» (так на зоне звали лагерных новичков, не приспособленных к жизни в лагере) и «шалашовки» (доступной женщины, лёгкой добычи). «Олень» и «шалашовка» не пара друг другу: он не может защитить её от этапа, сытно устроить в лагере — оставаясь вместе, они обречены. «В Республике труда» Люба, «цветок призывного греха», в конце концов «устраивается» с лагерным доктором, бывшим полковником и начсандивом, который пустил здесь глубокие корни и может постоять за двоих...

А Солженицын-Нержин через пару лет сочинит «Романс», тридцать строк с посвящением «А. Б.»: «Да, я любил тебя! Не только / За дрожь груди, за трепет тонкий, / За сохранённый щедрый пыл, — / В тебе, погиблая девчёнка, / Судьбу России я любил». Закон, напишет Солженицын в «Архипелаге», как будто даже способствовал лагерной любви, обязывая суды по первому требованию разводить супругов, если один из них, вольный, хочет расстаться с половиной, находящейся в заточении. И он не уставал повторять жене, что, при всей своей любви и нежности к ней, не хочет её закабалять. «Если у тебя когда-нибудь закружится голова — не коверкай и не мучь себя, не чувствуй себя жёстко связанной верностью — всё равно после *этого* ты будешь *моей* вся и целиком и только ещё горячей будешь меня любить». Наташа, со своей стороны, тоже готова была, кажется, закрыть глаза на «временную уступку плоти», на случайную встречу, если таковая, по естественной человеческой слабости, произойдёт у мужа в лагере. Но время для радикальных решений тогда ещё не пришло...

В конце мая 1946-го Солженицын слетел с канцелярской должности и был определён в плотницкую бригаду, учеником паркетчика. Снова став пролетарием, он потерял право на привилегии и вскоре таки вылетел из *комнаты уродов* в общий барак на тридцать человек. Но пока оставался с привилегиями, пока дорожил кроватью и полкой в тумбочке, пока жене разрешали свидания, и было что каждый день разогревать на электроплитке, он стал, как окажется, удобной мишенью. В него долго метили и попали.

Весной 1946-го лагерники, всё ещё ожидавшие амнистии к годовщине победы, больше всего боялись, что вместо ос-

вобождения получат новый срок. Когда однажды вечером надзиратель вызвал Солженицына в коридор и повёл в кабинет оперуполномоченного, первая мысль была именно об этом. «Ещё года не прошло от моего следствия, ещё болит во мне всё от одного вида следователя за письменным столом. Вдруг опять переворох прежнего дела: ещё какие-нибудь странички из дневника, ещё какие-нибудь письма...»

Оказалось — совсем другое.

История, как вербовал Солженицына лагерный опер; как отрабатывал приём («остаётесь ли вы после всего пережитого советским человеком? не переменились ли? не озлобились ли?»); как склонял к сотрудничеству, предлагая сообщать о готовящихся побегах уголовников; как подсунул чистый бланк и продиктовал текст (из которого слово «блатные» испарилось); как придумал «агенту» кличку — эта история со всеми нюансами двухчасового поединка будет впоследствии рассказана публично. Но не надзирателем, который вёл зэка в кабинет опера. И не опером, конечно. И даже не чёрным копателем секретных архивов — из тех, кто точно знает, как делаются «утечки» и как, по заданию ведомств, рушатся репутации (и по сей день никто не обнародовал тот злополучный листок, спрятанный в сейф и потом подшитый где-то в нужном месте к нужной папке, и ту бумажку «о неразглашении»).

Историю о том, как помощник нормировщика в лагере на Калужской заставе стал «Ветровым», поведал миру сам Солженицын. «“Ветров”. Эти шесть букв выкаляются в моей памяти позорными трещинами. Ведь я же хотел умереть с людьми! Я же готов был умереть с людьми! Как получилось, что я остался жить во псах?» Он не оставил себе ни малейшей зацепки — дескать, был завербован, потому что пытали голодом, ледяным карцером, загоняли иголки под ногти. Он заставил себя вспомнить тот свой страх второго срока или далёкого этапа: зима, вьюга, а тут сухо, тепло, сытно, ходит жена, носит передачи. Он назовёт этот страх «продажей души для спасения тела». И минуты не побывши осведомителем (с блатными не сближался, в их разговоры не вникал, потому не видел и не слышал, как средь бела дня пролез через забор зоны и удрал молодой вор), он обвинит себя в мерзости, которой не совершал. «В тот год я, вероятно, не сумел бы остановиться на этом рубеже. Ведь за гриву не удержался — за хвост не удержишься. Начавший скользить — должен скользить и срываться дальше».

Что́ значило в его случае — «должен скользить и срываться дальше»? Получалось, что скольжение началось с надетой

в лагере военной шинели, которая для глаз опытного кадровика уже была паролем. Получалось, что автобиография, написанная в Новом Иерусалиме (Солженицын и думать о ней забыл), продолжила начатое: ведь в той бумаге он сам напомнил начальству, что был офицером и командиром, то есть советским человеком. И значит, у любого опера была на него безотказная отмычка.

«Что-то мне помогло удержаться, — напишет Солженицын в «Архипелаге». — Так и обошлось. Ни разу больше мне не пришлось подписаться “Ветров”. Но и сегодня я поёживаюсь, встречая эту фамилию». Но высвободился он из петли проклятого псевдонима не постольку, поскольку в условиях шарашки (из ведомства МГБ—МВД СССР) опера́ (из ведомства УИТЛАГ по Московской области) потеряли его из виду. Он стал свободен от «Ветрова», потому что рассказал о нём *сам*, в годы, когда вербующая организация продолжала оставаться всесильной, рассказал *так*, как ещё никто тогда не смел говорить (ибо *такое* даже и слушать было опасно). «Ветров», извлечённый из секретного сейфа на свет божий, перестанет быть двойником Солженицына и его наваждением: точка слабости станет опорой силы.

Но именно поэтому и вследствие этого «Ветров», по спецзаказу родного ведомства, в нужное время будет реанимирован. Мертвяку сочинят легенду, возобновят карьеру и заставят отрабатывать пайку — чтобы потом показательно сдать: «контора» сама «разоблачит» и сама «устыдится» своего агента. Фантом «Ветров» станет самой циничной и самой топорной клеветой ведомства (и его многочисленных подведомственных) на Солженицына: история борьбы писателя с «Ветровым-2» протянется вплоть до 2003 года, когда фальшивку предъявят миру новые затравщики.

...Весной 1946-го, пребывая в ожидании амнистии, но уже не очень веря в её неизбежность, Солженицын решил действовать самостоятельно. Вокруг только и говорили о пересмотрах дел, об изменении срока, о смягчении наказания, о помилованиях, являлись какие-то удачные случаи освобождений, примеры послаблений. Тянулась долгая канитель — нужно было списаться с товарищами по дивизиону, чтобы те ходатайствовали перед командирами о характеристике. Нужно было раздобыть ещё одну характеристику из своего нынешнего лагеря (и бесконечно напоминать о том начальству). Нужно было советоваться с адвокатом — никто не знал, какие и куда есть ходы для 58-й. Нужно было составить грамотное заявление (и адвокат должен был подсказать — как и на чьё имя его писать, что́ именно просить).

Солженицын начал с дивизиона. Написал несколько писем — Наташа переслала их в часть, на имя сержанта Соломина. Оказалось, фронтовые товарищи не забыли комбата: Овсянников, принявший батарею после ареста Солженицына, совместно с командиром дивизиона Пшеченко, при согласовании с комбригом Травкиным (уже генерал-майором) написали боевую характеристику на бывшего капитана, ничуть не поосторожничав и ни на йоту не умалив его офицерских заслуг. Эта характеристика ставила всё на свои места: и то, какова была боевая работа комбата с декабря 1942 года, и то, как он вёл себя в острые и опасные моменты. «За время пребывания в моей части Солженицын был лично дисциплинирован, требователен к себе и подчинённым, его подразделение по боевой работе и дисциплине считалось лучшим подразделением части. Выполняя боевые задания, он неоднократно проявлял личный героизм, увлекая за собой личный состав, и всегда из смертельных опасностей выходил победителем. Так, в ночь с 26 на 27 января 1945 года в Восточной Пруссии при контратаке немцев его батарея попала в окружение. Гибель ценной секретной техники и личного состава казалась неминуемой. Солженицын же, действуя в исключительно трудных условиях, личный состав из окружения вывел и технику спас. За время боевой работы на фронте его подразделение выявило 1200 батарей и отдельных орудий, из которых 180 было подавлено и 65 уничтожено огнём нашей артиллерии с его личным участием. К боевой технике, к автомашинам, к оружию Солженицын относился бережно и всегда содержал в боевой готовности. За отличные боевые действия на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками Солженицын был награждён орденами...»

Характеристика была подписана 28 апреля 1946 года — с момента ареста комбата прошло четырнадцать месяцев, близилась годовщина победы, бывшие сослуживцы выросли в чинах и наверняка дорожили пребыванием в рядах вооружённых сил. Но и генерал Травкин, и подполковник Пшеченко (не говоря уже об Овсянникове и Соломине*), пытаясь спасти фронтового товарища, выдержали человеческий экзамен — хотя сама бумага пока лежала без дела. Впрочем,

* Весной 1946-го В. П. Овсянников, веря в скорое освобождение Солженицына, приглашал его в свою деревню провести летний отпуск, а И. М. Соломин, демобилизовавшись из армии, в мае навестил бывшего командира в лагере на Калужской. «Да чтоб Илюшка не вздумал приносить чего-нибудь от себя, категорически запрети ему такую глупость, — писал Солженицын жене 15 мая 1946 года. — У него сейчас считаные шиши, да ещё впереди у него — устроение новой жизни».

никуда не двинулась и положительная характеристика из лагеря; адвокат, нанятый Наташей за немалый аванс, не верил, кажется, в успех предприятия. Солженицына раздражало бездействие, и он пробовал сам составить прошение, приложив к нему свои патриотические стихотворения.

Летом 1946-го казалось, что всё зашло в тупик. Уехал восвояси ансамбль. Так и не случилась в годовщину победы амнистия — мечты о ней хирели день ото дня и совсем захирели к концу мая. Что-то невразумительное мямлил адвокат. Приходилось тянуть лямку на общих (пусть и не очень тяжёлых) работах. Внутренний режим всё время болезненно напоминал о себе — то лишением свиданий, то мелочными придирками, то конфликтами с разным начальством. В конце июня Саня писал жене: «Настроение у меня сейчас как раз *такое*, с которым можно выдержать срок... Брожу одиноко, сижу читаю, на проверках — стою молча. Без дела ни с кем первый не заговорю. Когда заговорят об амнистии — усмехнусь криво и отойду... Ничего серьёзного не жду от хлопот с адвокатом, вообще ничего радостного не жду до окончания срока».

Это новое состояние он назовет «бронировкой сердца».

На воле шла отдельная от него мирная жизнь — собиралась в отпуск жена-аспирантка, и он сам всячески настаивал, чтобы после сумасшедше тяжёлого года она ехала на юг, на все каникулы, и ничем себя не стесняла, разве что навестила бы тётю Марусю — уже два года из Георгиевска не было ни слуху ни духу (Наташа туда так и не доедет). Готовились к свадьбе Лида и Кирилл, и Саня написал молодожёнам тёплое поздравительное письмо. Послевоенная жизнь родных и друзей текла как бы параллельно его жизни, не слишком глубоко с ней соприкасаясь; его несчастье для всех становилось привычным, горе теряло остроту новизны. Чтобы выкарабкаться из лагерной трясины, нужно было открыть в себе какие-то новые ресурсы.

Свой шанс, сам того не ведая, Солженицын обретёт здесь, на Калужской заставе. Задним числом окажется, что за десять лагерных месяцев он успеет основательно проштудировать несколько учебников по физике, вчитается в Макса Борна, увлечётся теорией относительности Эйнштейна, жадно проглотит вышедший весной и принесённый с воли официальный отчёт военного министерства США о первой атомной бомбе. Единственный свой козырь (час или два в день свободного времени) он поставит на *специальность* — уповая, что математика и физика вытащат его хотя бы из этого лагеря.

«У нас тут имеются сведения, — сообщал он жене в конце мая, — что при СНК создано специальное 1-е управление под руководством Берия, которое ни на что не взирает в борьбе за создание атомной бомбы. Нужен заключённый — его освобождают и посылают туда, куда им требуется».

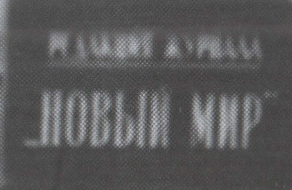
Ещё в начале зимы в лагерь приезжал какой-то тип и велел заполнить учётные карточки ГУЛАГа. «Важнейшая графа там была “специальность”. И чтоб цену себе набить, писали зэки самые золотые гулаговские специальности: “парикмахер”, “портной”, “кладовщик”, “пекарь”. А я прищурился и написал “ядерный физик”. Ядерным физиком я отроду не был... Был год 1946, атомная бомба нужна была позарез».

Его не освободили. Но совершенно неожиданно, 18 июля 1946 года, выдернули из лагеря. К тому моменту его работа по паркету стала гораздо умелей, не так сильно, как в первые дни, болели колени и спина, меньше сводило пальцы рук, заживали ссадины и ушибы. По вечерам соседи стучали в домино, играли на баяне, но он научился, впиваясь в свои книги, ничего не слышать. Ещё 17-го он размеренно занимался физикой — полчаса утром до работы и пару часов вечером, до отбоя.

В то утро он стоял на разводе в плотницкой бригаде, когда вдруг нарядчик отвёл его в сторону и с внезапным уважением сказал что-то о распоряжении министра внутренних дел. «Я обомлел. Ушёл развод, а придурки в зоне меня окружили. Одни говорили: “навешивать будут новый срок”, другие говорили: “на освобождение”. Но все сходились на том, что не миновать мне министра Круглова. И я тоже зашатался между новым сроком и освобождением».

Жена уже неделю находилась в Ростове. Он успел написать ей перед отправкой несколько слов: «Обстановка моего отъезда спокойная, не походит на 9. 2. 45 и даже на обычный этап... Уезжаю туда же, где был год назад в это же время».

Легко можно было догадаться, что этап отправлялся в Бутырки. Его привезли сразу после обеда, но тюрьма была так перегружена, что приёмка арестанта, ждавшего в боксах очередных процедур, длилась одиннадцать часов, и только в три ночи Солженицына впустили в камеру. Этой грязной, липкой, рассчитанной на 25 человек, но вместившей раза в три больше, 75-й бутырской камере, где люди спали вповалку на нарах и дополнительных щитах, мечась от духоты и отгоняя огромных жирных мух, где воняла параша и электрические лампы били по глазам, он посвятит в «Архипелаге» восторженные, вдохновенные строки. «Я был счастлив! Там,



А. И. Солженицын
у подъезда
«Нового мира».
Середина 1960-х гг.

У Николая Виткевича в Ростове. *Лето 1956 г.*

Впервые на могиле матери через 12 лет после её смерти. *Георгиевск, лето 1956 г.*



Наталья Решетовская
и Александр Солженицын
в Мильцеве. *22 октября 1956 г.*

Справа — героиня рассказа
«Матрёнин двор» Матрёна Васильевна
Захарова у своей избы. *1956 г.*



Дом в Рязани (Касимовский переулок), где А. И. Солженицын жил с июля 1957-го по февраль 1966 года

Во дворе дома, за этим самодельным столиком, был написан «Один день Ивана Денисовича». *Май 1958 г.*

С Львом Зиновьевичем Копелевым (слева) и Дмитрием Михайловичем Паниным. *Подмосковье, август 1968 г.*

С Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским. *Обнинск, 1965 г.*

С Николаем Ивановичем Зубовым в Рязани. *1964 г.*

Александр Трифонович Твардовский. *Февраль 1964 г.* *Фото В. С. Лебедева*

Н. С. Хрущёв и А. Т. Твардовский в Пицунде. *Фото В. С. Лебедева*

Анна Самойловна Берзер за своим столом в редакции «Нового мира»

Редколлегия «Нового мира». Сидят (слева направо): Закс, Дементьев, Твардовский, Кондратович, Марьямов. Стоят: Хитров, Лакшин, Дорош, Виноградов, Сац. *Февраль 1970 г.*

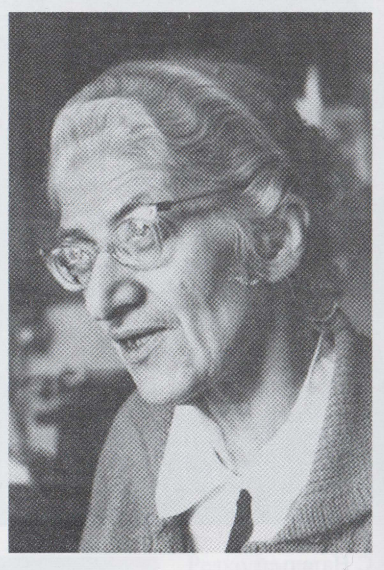


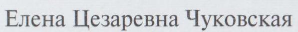
Начало славы — «Один день Ивана Денисовича» в «Роман-газете». *1963 г.*

С Натальей Ивановной Столяровой и Александром Александровичем Угримовым. *Рождество-на-Истье, 1968 г.*

С Борисом Андреевичем Можаевым. *Солотча, 1963 г.*







Елена Цезаревна Чуковская

Лидия Корнеевна Чуковская

С Корнеем Ивановичем Чуковским на его даче в Переделкине. *1967 г.*

С Арнольдом Сузи и Мартой Порт, хозяйкой хутора в Копли-Мярди.
Лето 1967 г.

Надежда Григорьевна Левитская



Елизавета Денисовна Воронянская



Наталья Дмитриевна (Аля) Светлова.
Июль 1969 г.

В поездке на Север с Н. Д. Светловой.
Июль 1969 г.

С Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем. *Рождество-на-Истье, лето 1969 г.*

С первенцем Ермолаем на даче Ростроповича. *Жуковка, октябрь 1971 г.*

Дом К. И. Чуковского в Переделкине. Здесь, по приглашению Л. К. Чуковской, Солженицын жил и работал в свою последнюю зиму в России



ПРЕЗРЕНИЕ И ГНЕВ

Каждый день в редакцию поступают письма советских людей, выражающих свою солидарность с той оценкой деятельности и личности Л. Солженицына, которая дана в статье ... «Правды». ...

ПРЕДАТЕЛЬСТВО НЕ ПРОЩАЕТСЯ

Трудно в наше время найти более мрачную и более мерзкую фигуру, чем Солженицын. ...

«Г-Н СОЛЖЕНИЦЫН НАМ НАДОЕЛ»

ПОЩЕЧИНЫ ПАСКВИЛЯНТУ

(ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ)

КОНЕЦ ЛИТЕРАТУРНОГО ВЛАСОВЦА

ВОЛЯ НАРОДА СВЕРШИЛАСЬ

Москвичи с горячим одобрением встретили Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении гражданства СССР и выдворении за пределы Советского Союза Солженицына, заклейменного позором и отвергнутого народом.

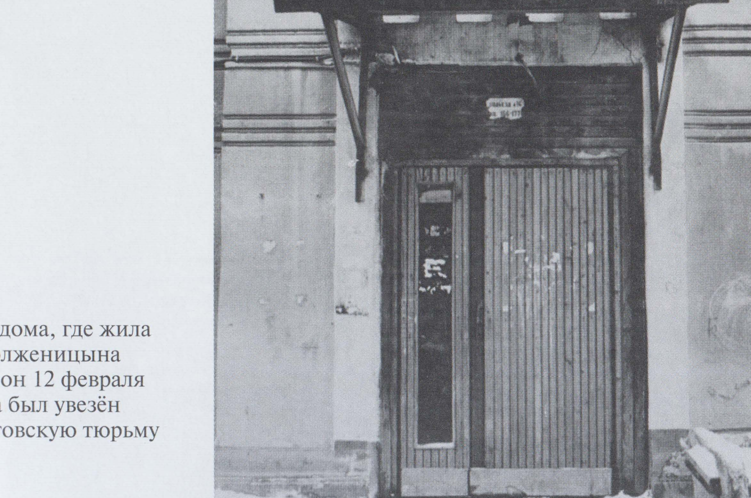
В своих письмах в редакцию «Московской правды» читатели с гневом и брезгливостью пишут о литературном власовце, злобном враге нашего общественного строя, который осмелился в своих грязных писаниях чернить все, что свято для советского народа, что составляет нашу гордость и славу. Сегодня мы публикуем несколько откликов читателей.

...антикоммунистическим расчетам определенных империалистических кругов.

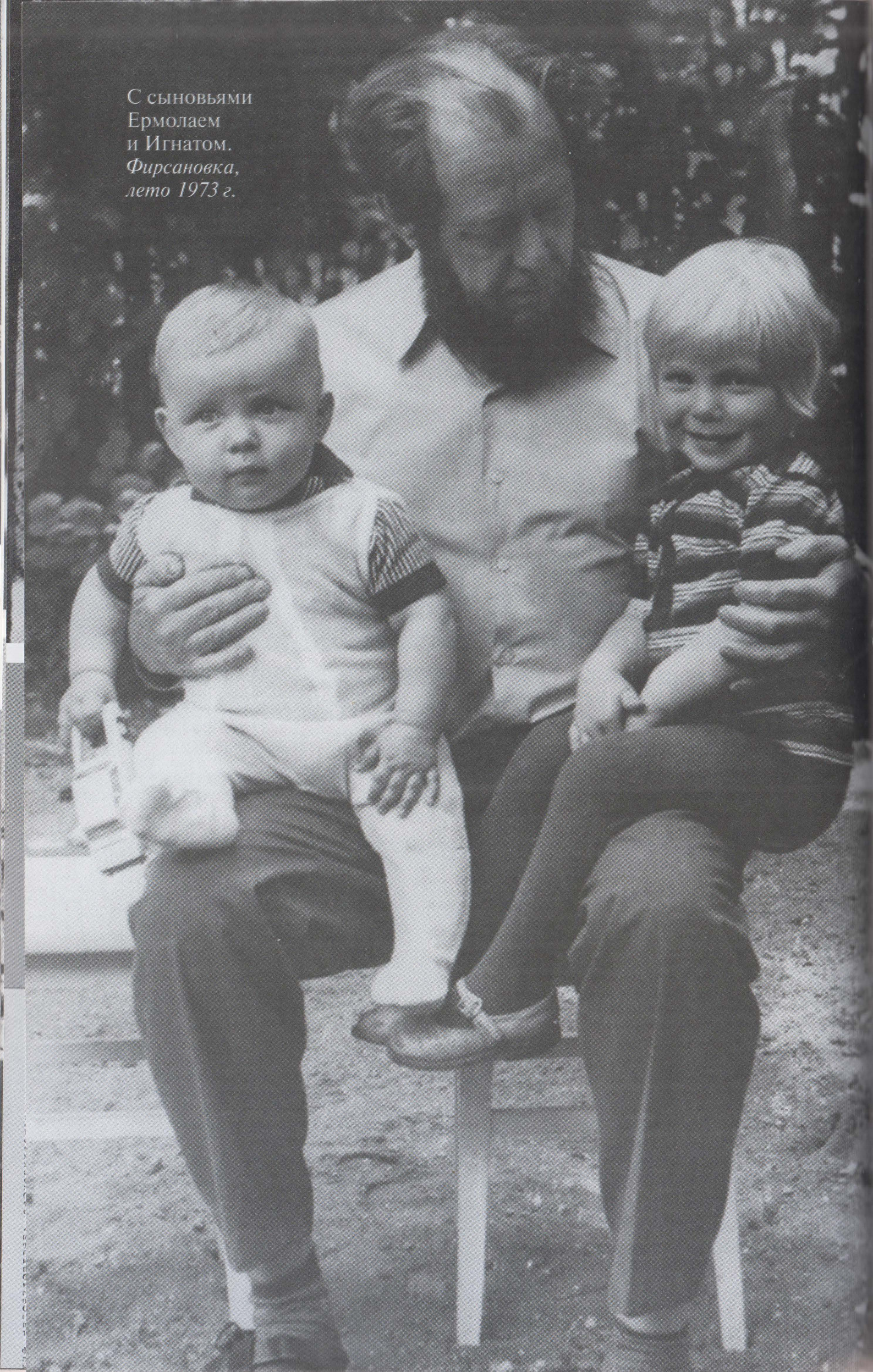
В последнее время Солженицын представлял особый интерес для противников разрядки международной напряженности. Его клевету на советский народ, на социалистический строй они широко использовали, чтобы сеять недоверие к знаменосцу мира и прогресса — великому Советскому Союзу.

Образцы газетной травли

Козицкий переулок
в Москве



Подъезд дома, где жила
семья Солженицына
и откуда он 12 февраля
1974 года был увезён
в Лефортовскую тюрьму


С сыновьями
Ермолаем
и Игнатом.
*Фирсановка,
лето 1973 г.*

на асфальтовом полу под нарами, в собачьем заползе, куда с нар сыпались нам в глаза пыль и крошки, я был абсолютно, безо всяких оговорок счастлив».

Утром стало понятно, что сидельцы камеры относятся к двум разным потокам: к новичкам (каким он сам был год назад) и к набранным из разных лагерей специалистам – физикам, химикам, математикам, инженерам-конструкторам. Значит, понял Солженицын, он здесь именно как *специалист*, и доматывать срок ему не будут. «Ко мне подошёл человек нестарый, ширококостый (но сильно исхудавший), с носом, чуть-чуть закруглённым под ястреба: “Профессор Тимофеев-Ресовский, президент научно-технического общества 75-й камеры. Наше общество собирается ежедневно после утренней пайки около левого окна. Не могли бы вы сделать нам какое-нибудь научное сообщение? Какое именно?”» Тут-то и всплыл недавно прочитанный отчёт американского военного ведомства — и ядерная физика, к которой Солженицын наудачу причислил себя, явилась во всей своей красе. Впрочем, Тимофеев-Ресовский, крупнейший генетик, работавший с одним из первых европейских циклотронов, восполнял пробелы рассказа*.

О двух месяцах, проведённых среди умнейших, образованнейших людей, Солженицын скажет вполне поэтически: *хлебал напиток жизни и наслаждался.* Научно-техническое общество, шахматы, двадцатиминутные прогулки (ходили даже при ливнях), книги. «А главное — люди, люди, люди!» Учёные, эмигранты, молодые пленники, поэты... И, конечно, бесконечные споры**. Здесь, в тюремных дискуссиях, среди невиданно свободного разнообразия мнений, впервые за десятилетие пошатнулась вера Солженицына в незыбле-

---

* Н. В. Тимофеев-Ресовский вспоминал: «Ещё на Лубянке я затеял коллоквий. Там Васютинский, профессор, прочёл нам курс древних культур. Коллоквий у нас был выдающийся. Потом в Бутырках был, где я с Солженицыным просидел. Он тогда участвовал немножко в нашем коллоквии. А потом был и в лагере. В Бутырках нас участвовало человек 17... Биолог — один я. Четыре физика, четыре инженера, два энергетика и один экономист. Я там читал доклады о биофизике ионизирующих излучений, о хромосомной теории наследственности, о копенгагенских общеметодологических принципах, о значении этих принципов для современной философии онтологического направления, для современной онтологии. Затем физики читали по своей науке».

** См.: «В послевоенных камерах Бутырской тюрьмы, где я встречался с умнейшими людьми, заключёнными, обсуждался не вопрос, устоит коммунизм или нет, а обсуждалось, каким образом из него будем когда-нибудь разумно выходить. И всё то, что было там сказано правильное, — ни одна мера не была реально использована теперь при Горбачёве, а как раз всё наоборот» (1993).

мость марксизма. Поначалу он рьяно отстаивал учение, защищая его, например, от Евгения Дивнича, православного энтээсовца из Европы. «Ещё год назад как уверенно я б его бил цитатами, как бы я над ним уничижительно насмехался!» Но после арестантского года, под тяжестью аргументов, о которых позаботилась сама жизнь, доводов в пользу руководящей истины оставалось всё меньше, и казались они теперь какими-то жидкими и хилыми, так что оппоненты разили их шутя. Имело смысл слушать и помалкивать. «Я заметил, что мои убеждения прочно не стоят, ни на чём не основаны, не могут выдержать спора. И я от них стал отказываться».

Но по вечерам споров не было, а устраивались лекции и концерты: «Кто-то читал лекцию о Корбюзье, кто-то — о нравах пчёл, кто-то о Гоголе». Читали стихи, сочинённые в тюрьме, и в камере плакали... Ничего своего, довоенного или военного, чем он прежде так дорожил, Солженицын читать не мог: что-то не пускало, не рифмовалось с нарами и парашей. «С той камеры потянулся и я писать стихи о тюрьме. А там читал вслух Есенина, почти запрещённого до войны... И до войны, учась в двух вузах сразу, ещё зарабатывая репетиторством и порываясь *писать*, — кажется, и тогда не переживал я таких полных, разрывающих, таких загруженных дней, как в 75-й камере в то лето...» Николаю Андреевичу Семёнову, одному из создателю Днепрогэса, в начале войны попавшему в ополчение, затем в плен и обвинённому в измене, посвятит Солженицын своё первое лагерное стихотворение — «Воспоминание о Бутырской тюрьме». «Помнишь — воздух, застойный, как в яме, / Своды серые старой добротной тюрьмы, / Где июльскими тёмными долгими днями / О великом и малом печалились мы?»

В эти летние месяцы должна была решиться дальнейшая судьба Солженицына-зэка: в 75-й держали контингент, назначенный к секретной научной деятельности. Но где именно? Через две недели (30 июля) его вызвали на Лубянку. Снова был знакомый цикл — с боксами, коридорами, банями и прожарками. «Допрашивал меня какой-то в штатском; но так как полковник перед ним вертелся, мне стало ясно, что в штатском был генерал. Он спросил, занимался ли я атомной физикой. Я отвечал: с общими вопросами знаком, физмат кончал. “А с какими вопросами?” Я нарисовал принципиальную кривую, которая показывает, где какие возможности атомной бомбы существуют, где нет, по атомным весам, по физическим элементам. Он понял, что я не вру. Поинтересовался: “А экспериментальный опыт имеете?” Я признал-

ся, что эксперимента не знаю. “Хорошо”». Лубянка отпустила с миром. Потом его снова вызвали на беседу, уже в самих Бутырках: «Математик?» — «Да». — «Рассчитать колебательный контур можете?» — «Конечно, могу». И его наметили для работы по специальности в радиотехническую *шарашку*.

Математика определила университетскую молодость Солженицына и решила его военную судьбу — теперь она спасала ему жизнь. «Вероятно, я не пережил бы восьми лет лагерей, если бы как математика меня не взяли на четыре года на так называемую “шарашку”». Он много раз писал, что обязан жизнью этим *райским островам*, о которых в ГУЛАГе ходили фантастические слухи — будто там чисто и тепло, кормят маслом-сметаной и требуют работы согласно полученной научно-технической профессии.

В сентябре 1946-го, чтобы не держать в переполненных Бутырках, зэков повезли обычным порядком, с пересадками и пересылками. Этап, несмотря на близость пункта назначения, оказался хлопотным. В Иванове на запасных путях начальник конвоя, не сильно церемонясь с ценным кадром, проломил ему ногой крышку чемодана — зэк «не так сел» по команде. На Ивановской пересылке спецнарядники ночевали в камере малолеток, среди воров, и «имели с ними беседу». В Рыбинске конвой не вышел; людей протащили до Бологого, потом повернули назад и всё же высадили — в бывшем монастыре. Теперь это была городская тюрьма № 2: «покойная, дворы мощёные пустые, старые плиты во мху, в бане бадейки деревянные чистенькие».

Наконец 27 сентября, после всех положенных тюремных процедур, их доставили к месту работы.

Глава третья

НА ОСТРОВАХ. РОЖДЕНИЕ ГЛЕБА НЕРЖИНА

Рыбинская шарашка (Ярославская область, г. Щербаков, п/я 127), первый на пути Солженицына *райский остров*, была авиазаводом № 36, при котором в сороковые годы основали спецтюрьму, вошедшую в систему научно-исследовательских институтов МВД—МГБ. Зэки — учёные, инженеры, крупные специалисты — занимались конструированием авиационных и ракетных двигателей. Солженицын как математик был определён в измерительно-вычислительный отдел «Компрессора» — группы, о которой ходила тогда (и сохранилась до сих пор) поговорка: «У на-

шего “Компрессора” четыре профессора». Здесь действительно работали известные профессора Винблат, Наумов, Богомолов, Страхович. А. И. запомнит профессора Журавского: через несколько лет под пером романиста он превратится в математика Челнова, оригинала, писавшего в графе национальность не «русский», а «зэк»; Челнов приедет в Марфино разрабатывать математические основания для абсолютного шифратора.

«И работа ко мне подходит, и я подхожу к работе. Думаю, что буду ею доволен, тем более что параллельно подниму все свои университетские знания, подвыветрившиеся за годы войны», — писал Солженицын вскоре. Его поселили в общежитии завода, в опрятной комнате на шестерых (кровать, чистые простыни, казённое мыло), прилично кормили (горячее, 800 граммов хлеба, 40—50 граммов сахара), выдавали 15 папирос в день. В заводскую библиотеку поступали центральные газеты, а пункт питания, с чистыми скатертями, тарелками, чашками, вилками и ножами (после лагерных эмалированных плошек и тюремных бутырских мисок с выбитыми буквами «БуТюр»), напоминал столовую довоенного дома отдыха. Впервые с начала срока Солженицын мог обойтись без посылок и надеялся даже, что сможет ежемесячно высылать домой хоть по сто рублей. И это почти сразу оказалось возможным; деньги (кроме зарплаты, дали раз и премию) переводил на адрес М. К. Решетовской. Ныне у тёщи квартировал Соломин: ещё в 1944-м, как только стало известно, что в Минске у него погибли родные, Саня и Наташа позвали друга в Ростов, и он уже учился в инженерно-строительном институте*.

С работой, которую предстояло выполнять в Рыбинске, А. И. справлялся легко, но рабочий день длился с 8 утра до 8 вечера, с часовым перерывом на обед, забирая почти всё свободное время. Выходной день (суббота) уходил на повторение высшей математики и английского, и ещё на музыку — здесь она была доступна, репродуктор висел в коридоре (потом зэки смастерили и устроили радио в комнате). «Математику я забыл не так страшно, как думал, — сообщал он спустя месяц. — Легко пробежал курс дифференциального

---

* Соломин был арестован 1 мая 1947 года и обвинён в создании антисоветской партии. «Я, — вспоминал Илья Матвеевич (2003), — дружил с Солженицыным, жил на квартире у Решетовской. Попал в поле зрения. Видимо, возникла идея слепить контрреволюционную организацию как логическое продолжение солженицынского дела. Потому и закрепили за мной сразу двух стукачей. Но потом или идея отпала, или организация не лепилась — отказались. Дали 58-10, агитацию».

исчисления, а сейчас занимаюсь дифференциальными уравнениями по тому же самому учебнику Степанова, по которому сдавал их в университете. Интегрирую уравнения почти не хуже, чем раньше. Так что надеюсь, что к лету весь математический анализ будет у меня в совершенном порядке».

Но *рай* оказался с изъянами. Тяготила невозможность побыть одному хоть час в день. В выходной день, рискуя нажить неприятности, он шёл из общежития на работу — лишь бы посидеть в тишине, без осточертевшей сутолоки. Большие ограничения касались и писем: получателю давали прочесть письмо, но потом отбирали; да и писать можно было не чаще раза в два месяца. Прогулки разрешались лишь в выходной день, и Саня страдал без свежего воздуха. Сильно донимал и холод: ни на работе, ни в общежитии почти не топили; зэки-умельцы находили проволоку и сооружали в комнатах «электрокозла». «Мёрзну на работе так, что руки становятся фиолетовыми, прихожу в общежитие — а там батарея еле теплится, для отвода глаз». Надевал на себя всю одежду, какая имелась: телогрейку, гимнастёрку, рубаху, бельё (из дома прислали ещё свитер и валенки).

В декабре ему предложили самостоятельную работу, увлекательнее той, какую он делал до сих пор. Однако мечта, будто успешный результат может дать освобождение или сильно сократит срок, быстро испарилась: его личное участие в проекте не было никак оформлено, нигде не зафиксировано и потому никаких выгод не сулило. Просто интересная работа — и на том спасибо.

Свой 29-й день рождения он встречал в Рыбинске, размышляя, что же будет дальше, ещё шесть лет. «И внутреннее состояние, и отношение окружающих дают мне всё время чувствовать, что я силён, здоров, молод, больше того — что я в расцвете своих умственных сил и их день ото дня прибывает». Он ощущал себя грустным, но не потерянным, несчастным, но твёрдым. И главное: именно здесь, после почти двухлетнего перерыва, он смог вернуться к стихам — то самое «Воспоминание», посвящённое Н. А. Семёнову, с кем пролежал в Бутырках бок о бок, было написано в Рыбинске.

Перед Новым годом стало известно, что вскоре ему предстоит покинуть авиазавод. Одно за другим возникали и отпадали предположения: Рыбинская авиационная шарашка была филиалом большой шарашки в Болшеве, а другой её филиал находился в Таганроге, так что могла выпасть и та, и другая карта. Ожидание длилось январь и бóльшую часть февраля. Но выпало нечто совсем третье. «Мой переезд пред-

полагается в такой же комфортабельной форме, как я ехал с фронта», — сообщал он жене 20 февраля 1947-го. А на следующий день два конвоира и в самом деле взяли его на этап — ехали обычной электричкой из Рыбинска в Москву, на Ярославском вокзале сели в трамвай (спецконвой, предъявив кондуктору удостоверения, билетов не брал), от остановки пешком шли до ворот «Санатория Бутюр», где ожидался знакомый ритуал приёмки.

«Я знаю: через несколько часов неизбежных процедур над моим телом — бокса, шмона, выдачи квитанций, заполнения входной карточки, прожарки и бани — я введён буду в камеру с двумя куполами, с нависающей аркой посередине (все камеры такие), с двумя большими окнами, одним длинным столом-шкафом — и встречу не известных мне, но обязательно умных, интересных, дружественных людей, и станут рассказывать они, и стану рассказывать я, и вечером не сразу захочется уснуть».

Камера на этот раз оказалась почти пустой, сидело всего несколько специалистов. Один из них оказался биологом С. Р. Царапкиным, невозвращенцем из Берлина, о котором А. И. слышал в июле 1946-го от Тимофеева-Ресовского. Ожидания не обманули, две недели на «третьей Бутырке» пролетели быстро, арестантский телеграф: внимание, память и встречи — не подвёл.

Вспоминает Солженицын (2001): «В третьей Бутырке сижу до 6 марта 1947. 6 марта меня берут на этап, то есть сажают в простую электричку, два человека со мной спецконвоиров, едем на Загорск, слезаем и топаем по Загорску пешком, но не в сторону храма, а в обратную. Меня ведут не в саму шарашку, а мимо неё; вижу простой забор с колючей проволокой, внутри церковь, заводят туда, в барак, в самой церкви живут зэки. Но все они пока на работе, а меня ведут в барак отдельный, там тоже все на работе, я смотрю на список дежурств — кто и когда убирает. И вижу — Николай Андреевич Семёнов. Когда он пришёл с работы, мы обнялись. Шарашка в Загорске занималась световой бомбой. Оптическая шарашка».

Однако высшие шарашечные инстанции не справлялись с объёмом задач. Ещё в декабре 1946-го в Рыбинск поступило срочное распоряжение о переводе математика Солженицына в Загорск. Тогда же из Москвы в Загорск сообщили, что шлют к ним Солженицына-физика. В январе, несмотря на просьбу рыбинского предприятия оставить нужный кадр на месте, его срочно затребовали снова, поручив, однако, заниматься не оптикой, а разбирать немецкие патенты и

вчитываться в показания военнопленных, из которых начальство рассчитывало выудить научно-технические тайны. «Здесь есть возможность использовать меня только как переводчика с немецкого и с английского, а математическая работа, если и будет, то не ранее осени, — сообщал он жене. — Впрочем, это последнее обстоятельство нимало меня не огорчает. Работать по переводам мне ещё интересней, чем по математике... Смехота! Судьба самым неожиданным образом заставляет меня заняться то одной, то другой областью моих знаний — как раз теми, к которым, как я думал во время войны, мне уже никогда не придётся вернуться. Но работа с иностранными языками очень полезная штука. Перевожу уверенно, хотя пока и медленно. Очень удачно, что я в своё время прослушал и сдал курс техники перевода».

Малая группа спецов находилась в Загорске на положении «гостей» и подлежала скорой отправке в Москву, на работу по профилю. Все знали, куда именно (в район Останкино, где-то возле Шереметевского дворца: там как раз готовили жилые и рабочие помещения), но не знали *когда*. Такое положение имело свои плюсы и минусы. К плюсам относились: библиотечка художественной литературы на 300—400 томов, с газетами и толстыми журналами, а также более регулярная, чем в Рыбинске, почтовая связь — право отсылать одно письмо в месяц. И, конечно, неслыханная в ГУЛАГе патриархальная «милость к падшим» — индивидуальные огороды: на зоне зэкам выделяли малые участки, где можно было выращивать овощи и зелень для личного потребления. В апреле Солженицын тоже получил кусочек земли, два с половиной на четыре метра, в тенистом влажном месте. Жена, навещавшая его и здесь, привезла семян и рассады, и можно было надеяться к концу лета на урожай морковки, капусты, редиски, лука. Минусов оказалось меньше: барак на 17 человек, койки впритык, неумолкаемый галдёж и никогда не выключавшееся радио.

Но всё искупал упоительно чистый воздух, которым Солженицын не мог надышаться и который полюбил на всю жизнь. Он сколотил себе столик, приделал столешницу из толстого картона, чтобы заниматься на воздухе. «Сижу за столиком или лежу на матрасе под славной пожилой берёзой у себя на огороде, дышу, дышу, глажу травку, смотрю в небо, читаю книги, загораю, когда солнце пробирается ко мне сквозь деревья, пропалываю и поливаю свой огород... Плодородие и могущество матушки-земли меня, не сталкивавшегося с ним, удивляет и восхищает. Сколько полезных вещей она делает из ничего». Вставал в шесть, обливался хо-

лодной водой и проводил на воздухе час до работы. После смены до темноты читал. Любовь к природе, насыщавшаяся в юности велосипедными и лодочными путешествиями, здесь очнулась и приобрела черты болезненной нежности. «Тут какая-то птичка, малиновка что ли, недалеко от моего огорода вывела двух птенцов и в таком месте, что их можно брать за головки и рассматривать глупые рожицы и огромные клювы. Так я каждый день с большой любовью прихожу их проведывать, чего бы раньше никогда не делал...»

Вскоре он раздобыл и с наслаждением прочитал повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда». «Это пишет обыкновенный офицер-фронтовик, пишет изумительно искренно, правдиво. Из каждой строчки на меня лились и лились мои собственные фронтовые воспоминания, замечтался — и стало на редкость хорошо, и вместе очень больно... Повесть эта подкупает настоящей правдой войны и, как небо от земли, отличается ото всего, что до сих пор о войне написано. Я читаю её с глубоким волнением — и потому, что она навалила на меня гору фронтовых воспоминаний, и потому, что по задачам своим она — родной брат "Шестого курса"...» Но «Шестой курс» он так никогда и не закончит.

В Загорске Солженицын впервые открыл для себя... настоящий русский язык. В читальне оказался словарь Даля в четырёх томах издания 1863 года. «Читал предисловие — и весь попал под обаяние редкой по красоте, сочной, объёмной, самобытной русской речи». За Даля взялся как за серьёзную науку — выписывая и конспектируя. Ему даже разрешили брать словарь из библиотеки в общежитие. «Работы там страшно много, но если я её не сделаю сейчас, я её никогда потом уже не сделаю». По вечерам и в выходные вытаскивал во двор свой самодельный столик и прорабатывал словарные статьи, отдаваясь делу с упоением. «Даль сводит меня с ума... Надо читать медленно и прожёвывать... Надо читать каждый день по страничке и метить цветными карандашами. Русскому языку надо учиться. Не знаем мы его никто, говорим на каком-то интеллигентном жаргоне». Много позже он скажет: «С 1947 года, с шарашки в Сергиевом Посаде и через все лагеря, ссылку, черезо всю жизнь, 35 лет делал я выборки сочных слов из далевского словаря: сперва выписывал 1-й экстракт, потом из него самое яркое — 2-й, потом и 3-й. Всё это — в записных книжечках, мелким почерком».

Не прошло, однако, и четырёх месяцев, как пришлось Солженицыну проститься и с Далем, и со своей грядкой. 9 июля 1947 года всем, кто на тот момент оставался в бара-

ке, приказано было собираться на этап. «Посадили нас тогда на грузовичок, очень всё было по-домашнему. Ехали мы очень свободно и вольготно, конвоир был ничтожный, бежать ничего не стоило. Мы поняли, что везут в Москву, когда с Ярославского шоссе повернули направо, до Останкина. Так я попал на шарашку в Марфино».

Но прежде чем марфинская жизнь обрела отчётливые контуры, Солженицын развязался с многомесячной адвокатской волынкой и внёс определённость в остаток срока. «Надеюсь, на этих днях, — писал он жене 24 июня, — все мои документы будут в Прокуратуре. Что ж, это первая попытка, но вместе с тем и последняя. Результат можно ожидать в сентябре. Если кончится безрезультатно — значит, сидеть мне до конца. Второй раз подавать уже не буду, незачем мучить себя иллюзиями».

После многих консультаций он составил жалобу-заявление от своего имени на имя Генерального прокурора СССР Горшенина, где ходатайствовал о пересмотре дела, доказывая, что никакого контрреволюционного умысла у него не было. «Невозможно представить, — утверждал заявитель, — чтобы человек с к/р настроениями, с к/р умыслом, а следовательно, враг Советской власти, до дня своего ареста так полно и беспредельно отдавал свою жизнь для того, чтобы отстоять Советскую власть и все её завоевания... Действовал человек, опьянённый самомнением молодости, увлечённый диалектическим материализмом и переоценивающий свои способности...»

Солженицын пытался оспорить решение ОСО с позиции логики и норм права, ссылался на свои патриотические сочинения и боевые ордена — однако попытка была заведомо обречена на неудачу. Заявитель раскаивался в ошибках, но не признавал вины; заменял жёсткий термин «преступление» беззубым понятием «заблуждения»; фактически разваливал обвинение, вынимая из него «политическую» составляющую, и при этом уличал следователя в давлении на подследственного. На воле такому субъекту, по меркам времени, делать было решительно нечего.

Жалоба, написанная в июне 1947-го, никакого впечатления на Генеральную прокуратуру не произвела. Через два месяца ответ стандартного содержания был готов — Солженицын получит его уже в Марфине. «Прошу объявить ...Солженицыну Александру Исаевичу... что его дело прокуратурой проверено. Жалоба... оставлена без удовлетворения. Военный прокурор ВП войск МВД СССР полковник юстиции Кузьмин. 23 августа 1947. № 2/257395-47».

Долгожданная ясность наступила 5 сентября, когда з/к Солженицын был ознакомлен с бумагой. «Сейчас я почему-то ни капли не верю в возможность хотя бы частичного успеха моей просьбы в Прокуратуру. Не разумом, а просто сердцем чувствую, что сидеть мне и дальше, как сидел до сих пор». Это признание было написано за два часа до того, как ему дали прочесть извещение. Предчувствие подтвердилось неправдоподобно быстро, и было лишь обидно, что прокурорские инстанции плевать хотели на блестящую боевую характеристику («слон не чихнул»), что пришлось надолго связаться с жуликоватым (или беспомощным?) адвокатом и дать ему крупный аванс — Решетовские взяли в долг две тысячи рублей, так и не получив ни одного толкового совета. «Не надо ничего ждать, ни на что надеяться, никакого раздвоения, всё ясно — сижу и буду сидеть». И спустя неделю: «От отказа в пересмотре я уже оправился. Трудно угадать, что к лучшему, что к худшему. Будем терпеть и дальше». Марфино начиналось прозрачно: без туманных надежд на амнистию, без шальной мысли о досрочном освобождении или замене ИТЛ на глухую ссылку.

«Жить будем в здании, где была семинария, а потом детский приют. Сколько нам там отгородят двора — неизвестно», — писал А. И. весной ещё из Загорска. Теперь он видел свой третий «остров» воочию. Владыкинская дорога, по имени некогда жившего в семинарии архиерея; крыши соседней деревушки Марфино; за ней линия железной дороги на Ленинград; в полукилометре Останкино, рядом — вход в Ботанический сад, остановки городского автобуса и двух трамваев, трёхэтажное кирпичное здание старой постройки, на торце башня с куполом. Те 12 заключённых, кто въехал сюда на грузовике летом 1947-го, с полным правом могли считать себя «отцами-основателями», а день 9 июля, когда их выгрузили во двор с высокой травой, ёлками и липами, загодя обнесённый колючей проволокой, — днём основания спецобъекта № 8.

Спустя десять лет Солженицын создаст литературный памятник Марфинской шарашке — роман «В круге первом», где подробно расскажет о тех легендарных *пасторальных* временах, когда жить здесь было легко и вольготно. «Тогда можно было громко включать Би-би-си в тюремном общежитии (его и глушить ещё не умели); вечерами самочинно гулять по *зоне*, лежать в росеющей траве, противоуставно не скошенной (траву полагается скашивать наголо, чтобы зэки не подползали к проволоке)». Первые полгода островитяне потихонечку оборудовали лаборатории, читали (сколько

угодно и что угодно), в любое время могли гулять по двору, и никому в голову не приходило, как легко отсюда можно сбежать. «Шарашка тогда ещё не знала, что́ ей нужно исследовать, и занималась распаковкой многочисленных ящиков, притянутых тремя железнодорожными составами из Германии; захватывала удобные немецкие стулья и столы; сортировала устаревшую и доставленную битой аппаратуру по телефонии, ультракоротким радиоволнам, акустике; выясняла, что лучшую аппаратуру и новейшую документацию немцы успели растащить или уничтожить».

Солженицын был поставлен библиотекарем. К его величайшей радости, среди книг оказался и второй том Даля. «Как с неба свалилось такое золото!.. Вот уж поистине на ловца и зверь бежит». Чтение Даля производило потрясающее впечатление. «Как будто я был плоским двухмерным существом, а мне вдруг открылась стереометрия. Я теперь совсем иначе стал понимать прошлую и представлять будущую русскую литературу и русский язык. Рано или поздно, но мне весь этот словарь хочется проработать, законспектировать... Упоительная вещь! И вместе — страшно трудоёмкая. Всего — 1200 стр., в час же удаётся проработать в среднем не более страницы». Так же тщательно прочёсывал он «Войну и мир», делая заметки на полях — о языке, стиле, качестве прозы*.

В фондах библиотеки оказалось много прекрасной математики, физики, биологии, филологии; обнаружились тома Ключевского и Моммзена, хрестоматии по древней истории, толстые литературные журналы, старые газетные подшивки; поступали и свежие газеты — «Правда», «Известия», «Красная звезда». Позже разрешат заказывать литературу из крупнейших библиотек Москвы. Утолив первый голод, он «с жестоким выбором» примется за больших мастеров. Вчитываясь и смакуя, заново откроет Пушкина, Гоголя, Герцена, Короленко, медленно-медленно перечитает «Анну Каренину». «Я просто раздавлен тем ярким, глубоким, выпуклым видением мира, которого я ни у кого не встречал кроме Толстого. Вот это мастерство! Нельзя оторваться от страницы, прочтёшь, кажется, медленно, а возвращаешься ещё и ещё». Новое грандиозное впечатление подарит «Преступление и наказание». «Никогда ещё Достоевский так не ошеломлял меня как на этот раз. Поражает его способность — не гонясь

* «Том из старого собрания сочинений Толстого был его собственностью, он его никому не давал. Когда я всё же выпросил, — вспоминал Л. З. Копелев (1981), — то увидел текст и поля, испещрённые пометками. Некоторые показались мне кощунственными. Он помечал "неудачно", "неуклюже", "галлицизм", "излишние слова"».

за космическими масштабами и людскими массами “Войны и мира”, взять ничтожно-ограниченный жизненный материал — жизнь нескольких человек в течение нескольких дней — и создать огромного значения и мощи книгу».

Книжное изобилие было замечательной привилегией шарашки. «Наверное, никогда ещё я не жил в отношении мелочей быта так налажено, как сейчас», — писал он. Рабочий день, который можно было длить с 9.00 до 23.00, А. И. проводил в высокой сводчатой комнате, у окна, открытого круглые сутки, за большим письменным столом со множеством ящиков, закрывавшихся на подвижные створки. У стола радио-проводка, переходник с четыре штепселями — для настольной лампы, электрической плитки, прикуривателя и переносной лампы — освещать книжные полки. И полно тетрадей, блокнотов, папок, писчей бумаги.

В обеденный перерыв, как и всегда в свободное время, не возбранялось проводить время на воздухе, свободно переходя из жилого отсека в рабочую зону и во двор тюрьмы. После двадцати трех полагалось находиться в общежитии — позже эта полукруглая комната-камера с высоким сводчатым потолком, в надалтарье семинарской церкви, где веером стояли двухэтажные наваренные койки для зэков, станет знаменитой. Спальное место — с двумя матрасами, двумя подушками, двумя одеялами и двумя простынями — включало табуретку для одежды и тумбочку с настольной лампой. Обычно он читал до двенадцати, маскируя свет, потом надевал наушники и в темноте полчаса слушал ночной концерт.

На питание тоже было грех жаловаться — оно было лучше, чем в предыдущих шарашках, не говоря уже о лагерях (давали даже белый хлеб). Для полной сытости приходилось всё же подкупать картошку, варить её или жарить на электроплитке*, а в сентябре из Загорска прислали урожай с огорода — несколько килограммов морковки, репы и редьки. Передачи, как вспоминала Решетовская (1975), «в то время носили скорее символический характер и приурочивались к нашим семейным праздникам».

Поразительная свобода первых марфинских месяцев, когда никто никем не руководил и зэки трудились лишь в

---

* Ср. у Л. З. Копелева: «Шарашечные харчи в первые послетюремные дни казались роскошными. За завтраком можно было даже иногда выпросить добавку пшённой каши. В обеденном супе, — именно супе, а не баланде, — попадались кусочки настоящего мяса. И на второе каша была густая, с видимыми следами мяса. И обязательно давали третье блюдо — кисель. Но все эти прельстительные яства не слишком насыщали. Нам всё время хотелось есть. Хлеба — 500 граммов в сутки — не хватало».

меру собственного воображения, вызывала у Солженицына двоякое чувство. Порой на него накатывало физическое ощущение ущербности бытия. «Можно сравнить это с таким состоянием, как если бы органы чувств мои были все ущемлены — вижу будто через очки, которые скрадывают ясность очертаний и краски, слышу — через вату в ушах, дышу через фильтры — как это описать — даже не знаю». Конечно, были Даль и Толстой, и просторный двор с высокой травой, но не покидало тяжёлое чувство почти трёхлетней оторванности от любимого труда, давшего мощные всходы в военные годы (счастливые для творчества). Написанное на войне, однако, оставалось в прошлом, не перешагивало через арест и приговор. Удастся ли начать всё сначала?

Теперь, когда Солженицын знал, что срок ему не скостят и сидеть придётся до конца, надо было осмыслить и стратегию ожидания. Наташа заканчивала аспирантуру, вот-вот должна была защитить диссертацию и получить распределение. Куда? Он вдруг остро осознал, что понятие «дом» имеет в его случае лишь теоретические очертания. В Ростов возврата не было, в Москве вряд ли разрешат когда-либо поселиться. «Незачем строить иллюзии относительно прочности моего нынешнего местопребывания, — писал он жене. — Каким бы оно ни казалось прочным тебе или мне, и даже, если оно останется таким год, два, даже три — при моем положении никогда не может быть никакой гарантии в том, где я буду кончать свой срок, — может быть, на Колыме, бог знает. Тем более близоруко и опрометчиво строить свою жизнь в применении, что я, видите ли, “живу” в Москве и тебе поэтому надо жить в Москве».

Он писал жене, что освобождает её от двенадцатилетнего (четыре года войны и восемь лет заключения) ожидания, что не вправе требовать от неё безукоризненной верности, что после всех испытаний хочет увидеть её молодой и цветущей, а не увядшей и поблекшей. Проходил месяц и другой, и он радикально менял точку зрения, не в силах допустить мысль об измене. Тема «ждать» или «не ждать» и вопрос «ка́к ждать?» были крайне болезненны для обоих, и всё же Саня с волнением читал заверения жены, что её безусловная верность — следствие чувства, которое захлестнуло на всю жизнь. Но в минуты свиданий (редких, и спецотдел грозил их сократить ещё) он начинал сомневаться в подлинности её любви, наталкиваясь на неизменную скованность и холодную сдержанность. «Свидания с тобой жду, да только что с него толку, раз ты опять будешь бесчувственной недотрогой, обесцветишь мне всё свидание, а потом в письмах бу-

дешь извиняться. Скоро перестану подавать заявления, если ты будешь так себя вести. Ты не хочешь понять, что это вовсе не каприз мой, что ты меня режешь прямо по сердцу. Если бы ты меня любила, а не убедила себя в этом, ты бы нашла в себе силы себя переделать и думала на свидании обо мне, а не о других».

И шёл ещё только сентябрь 1947-го. А 9 октября Солженицын отметил-отмерил грустный юбилей — 32 месяца неволи, треть срока...

В том же октябре на шарашку прибыло пополнение — будущие герои «Круга первого». «Статный мужчина в офицерской шинели спускался по лестнице... Мне сразу понравилось открытое лицо, смелые голубые глаза, чудесные русые волосы, нос с горбинкой» — так спустя четверть века вспоминал своё первое впечатление о Солженицыне Димитрий Михайлович Панин (в романе — Дмитрий Сологдин). «Когда я глянул вниз, спускаясь с лестницы, в темноте площадки я увидел лик нерукотворного Спаса» — так запомнил он первые слова Солженицына. Они быстро подружились и вскоре вместе встречали Льва Зиновьевича Копелева (в романе — Лев Рубин), бывшего майора, воевавшего в частях по разложению войск противника и арестованного в апреле 1945-го: критиковал лозунг «кровь за кровь, смерть за смерть». Незадолго до Марфина Панин и Копелев встретились в Бутырках. «Дмитрий Панин — коренной москвич, дворянин, инженер, теоретик кузнечного дела. Арестовали его в 1940 году за “разговоры”. Получил по ОСО пять лет. А в лагере в 1943 году его судили за “пораженческую агитацию” и уже “навесили полную катушку” — десять. В Бутырки его привезли из Воркуты по спецнаряду. Таких, как он, в камере было много. Инженеры, научные работники. От них я, — вспоминал Копелев, — впервые услышал о “шарашках”».

Именно Панин, «синеглазый витязь с короткой русой бородкой», объяснил сокамернику Копелеву смысл существования шарашек: остро нужны образованные люди, чтобы разбирать горы трофейной документации, чтобы отдаваться науке всецело. В условиях воли учёные капризничают и привередничают, а за колючей проволокой привыкают вкалывать без выходных и отпусков, и работа уже не повинность, а лекарство и дурман, эквивалент всех благ. Даже замена смертной казни на 25 лет лагерей в мае 1947-го проистекала из экономических причин: около трети валового внутреннего продукта страны производилось в системе ГУЛАГа, и основным расходным материалом лагерной экономики были заключённые.

«Все эти шарашки, — напишет Солженицын в «Круге первом», — повелись с девятьсот тридцатого года, как стали инженеров косяками гнать. Первая была на Фуркасовском, проект Беломора составляли. Потом — рамзинская. Опыт понравился. На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров или двух больших учёных: начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию, обязательно один другого выживет. Поэтому все конструкторские бюро на воле — это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке? Ни слава, ни деньги никому не грозят... Дюжина медведей живёт в одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматы, покурят — скучно. Может, изобретём что-нибудь? Давайте! Так создано многое в нашей науке! И в этом — основная идея шарашек».

По совету Панина Копелев ещё в Бутырках написал заявление в 4-й спецотдел МВД — о том, что владеет несколькими языками и опытом перевода научно-технической литературы. «Прошу использовать в соответствии...» Заявление было замечено, и через неделю Льва Зиновьевича в числе нескольких инженеров привезли из Бутырок в Марфино. На лестнице (каменные ступени, перила на кованых стойках, как в старых добрых гимназиях) Копелева встретил Панин и деловито объяснил, что здешняя шарашка официально называется объектом № 8, или спецтюрьмой № 16. Что сюда свезено имущество демонтированных лабораторий фирмы «Филипс», тысячи папок с немецкой писаниной, и что здесь разрабатывают полицейское радио. Что он, Панин, убедил начальство вытребовать сюда выдающегося знатока языков. И что в ходатайстве активно участвовал зэк-библиотекарь, друг — несмотря на то, что теперь может лишиться места. Кто же этот друг? «Сейчас познакомлю. Замечательный человек. Александр Исаевич Солженицын. Тоже фронтовик, капитан. Умница. Благороднейшая душа. Личность! Я уверен, что и ты его полюбишь».

И вот Копелев в библиотеке, среди дюжины стеллажей и шкафов с книгами, у стола заведующего. «Он встал навстречу. Высок, светлорус, в застиранной армейской гимнастёрке. Пристальные светло-синие глаза. Большой лоб. Над переносицей резкие лучики морщин. Одна неровная — шрам. Рукопожатие крепкое. Улыбка быстрая». Быстро же и выяснилось, что они воевали на одних фронтах, в одних местах, имели один и тот же набор орденов, что оба арестованы в конце войны прямо в армии одной и той же контрразведкой, испытывают сильную тягу к литературе и большой ап-

петит на газеты. «Ты был первым, кто попросил подшивку. Первым после меня», — сказал ему Солженицын.

Новый, 1948 год они встречали втроём, на койке Панина, на втором этаже «вагонки», сваренной из обыкновенных железных кроватей: два котелка кипятка, сахар с завтрака и хлеб с ужина, подаренные четверть банки сгущённого какао. Пили за дружбу и за то, чтобы в Новом году не пришлось голодать. Их ежевечернее убежище находилось в укромном углу библиотеки, за стеллажами; там жарили картошку на электроплитке, прозванной «камином», гоняли чаи, говорили о всякой всячине, избегая споров, ибо их могли слышать в конце комнаты. «До сих пор мне жаль, — писал Панин, — что только несколько вечеров были посвящены чтению стихов. Оба — и Лев, и Солженицын — декламировали изумительно».

Споры же (об истории, философии, литературе, о судьбе России и Европы), переходившие в столкновения, а иногда в жестокие перебранки, происходили с глазу на глаз, чаще всего на вечерних прогулках. Панин, неистово громивший сталинский режим, мог заработать четвертак за «клевету», а любой его слушатель — десятку за недоносительство. Копелев, неисправимый «красный империалист», видел в Панине непримиримого белого радикала. «Убеждённый, что большевики — это орудие Сатаны, что революция в России была следствием злонамеренных иноземцев и инородцев, Панин верил, что спасение придёт только вследствие чуда, по велению свыше». Солженицын противопоставлял несокрушимому марксизму Копелева упрямое недоверие. «В ту пору он считал себя скептиком, последователем Пиррона, но тогда уже ненавидел Сталина — “пахана”, начинал сомневаться и в Ленине. Снова и снова он спрашивал настойчиво: могу ли я (Копелев. — *Л. С.*) доказать, что если бы Ленин остался жив, то не было бы ни раскулачивания, ни насильственной коллективизации, ни голода». Сам Копелев видел в русской трагедии цепь роковых несчастий, но не сомневался в гениальности Сталина, которая, в отличие от «ленинского универсального гения», была устремлена к одной цели. При Ленине, готов был согласиться Лев, социализм был бы построен менее дорогой ценой.

Солженицын от аргументов Копелева отмахивался и просто взрывался, когда тот пытался доказывать историческую неизбежность революции, Гражданской войны, красного террора, коллективизации. «Он говорил, — вспоминал Копелев, — что раньше верил основным положениям марксизма, а потом стал всё больше сомневаться. Потому что не мог верить историческим анализам тех, чьи прогнозы оказались

ошибочными. Ведь даже самые великие — Маркс и Ленин — ошибались во всех предсказаниях. А уж Сталин и подавно; объявил мировой кризис последним кризисом капитализма, потом придумал особого рода депрессию... В 1941 году обещал победу "через полгодика, через год". Мы спорили, топчась по снегу, шёпотом, чтоб не услышали другие гуляющие, сквернословя и матерясь, чтобы "колорит" беседы не отличался от обычной зэковской трепотни...»

Панин досадовал, что Копелев, чистый сердцем человек, надевает на себя панцирь партийности, судорожно цепляется за идеологический мусор. «Со Львом мы расходились по всем главным вопросам современности и прошлого... Обычно наши столкновения происходили с глазу на глаз, но иногда мы прибегали к Солженицыну как к арбитру... Солженицын — человек уникальной энергии, и сама природа создала его так, что он не знал усталости. Он частенько терпел из вежливости наше общество, про себя жалея часы, пропавшие из-за такого времяпрепровождения, но зато, когда был в ударе или разрешал себе поразвлечься, — мы получали истинное наслаждение от его шуток, острот и выдумок... Не часто выходило наружу и другое его качество — присущий ему юмор. Он умел подметить тончайшие, ускользающие обычно от окружающих, штрихи, жесты, интонации и артистически воспроизводил их комизм, так что слушатели буквально катались от хохота. Но разрешал он себе это, увы, крайне редко и только тогда, когда это не идёт в ущерб его занятиям...»

Друзья часто говорили о будущем. Копелев истово верил в грядущие перемены — успехи внутренней и внешней политики должны ослабить карательную политику. Панин страстно возражал. «Нас не отпустят из шарашки никогда... Ведь нас тут посвятили в тайны... За все здешние блага — за матрасы, простыни, за кисель придётся дорого платить... Нечего нам высчитывать годы, мы осуждены пожизненно». «Я пытался вести какую-то среднюю линию между ними, — вспоминал Солженицын, — но оттенок того, что каждый из них понимает жизнь лучше, чем я, у них был... Панин, и Копелев, оба на 6—7 лет старше меня, привыкли относиться ко мне как к младшему и как бы ведомому». «В Сане, — говорил и Копелев, — ощущалась явственная боль безотцовства. И в его стихах, и когда рассказывал о детстве и юности. Тогда я себе казался старше, умудрённее; хотел понимать его по-братски, по-отцовски. И даже самые жестокие наши споры истолковывал как "естественные противоречия поколений"».

С начала 1948 года режим и характер работ в Марфине резко изменились. Закрытым постановлением Совмина СССР от 21 января 1948 года спецобъект № 8 системы МВД становился «Лабораторией № 1» при отделе оперативной техники МГБ СССР, созданной с целью «разработки аппаратуры засекречивания телефонных переговоров гарантированной стойкости». Началась эпоха «секретной телефонии»: из ведомства Берии объект передали во владения Абакумова*. На шарашку стали прибывать связисты, радиоинженеры и радиотехники, физики, химики, математики. Зэкам было объявлено, что отныне они являются сотрудниками особо секретного НИИ и что им доверено изобретение и изготовление такого телефона, при котором на многие тысячи километров может поддерживаться связь абсолютно надежная и абсолютно недоступная для любых подслушиваний и перехватов. Тех, кто способен по-настоящему увлечься этой проблемой и отдать ей все свои творческие силы, ждут (при успешном решении поставленных задач) реальные блага: досрочное освобождение, высокие награды, почётное место в большой науке.

Панин попал в конструкторское бюро по разработке шифраторов, Копелев и Солженицын (передавший заведование библиотекой сотруднику МГБ) — в группу, изучавшую звучание русской речи. Математическим обеспечением исследования занимался Солженицын, фонетическим — Копелев. Четыре направления работы (художественная литература, разговорная речь, язык публицистики и техники) по ходу дела свелись к двум: язык разговорный и литературный. Основываясь на теории вероятности, Солженицын определял наименьшее количество текстов, необходимое для исследо-

---

* В 1952 году постановлением Совета Министров СССР на базе Марфинской лаборатории был образован почтовый ящик № 37, который в 1966 году переименован в НИИА — Научно-исследовательский институт автоматики, работающий под эгидой Российского агентства по системам управления (РАСУ). Согласно официальной справке, «аппараты, комплексы средств шифрованной связи, защищённые сети и информационно-телекоммуникационные системы, разработанные и изготовленные сотрудниками предприятия, установлены в Кремле, Доме Правительства, министерствах, штабах и на передовых позициях воинских подразделений. Они надёжно работают на космических станциях, кораблях, в самолётах, бронетранспортёрах и т. д. Услугами правительственной связи пользуются должностные лица всех ветвей и уровней государственной власти. Рядом с Президентом России постоянно находится одно из изделий НИИА — известный всему миру “ядерный чемоданчик”. У истоков отечественной криптографии и засекреченной связи стояли академики В. А. Котельников, А. Л. Минц, многие другие видные учёные и специалисты послевоенного времени».

вания, изучал слоговое ядро русского языка методами математической статистики. В соседних лабораториях создавались приборы — анализаторы речи. Распознание голосов по телефону, а также выяснение того, что́ именно делает голос человека неповторимым, должно было вместиться в полгода, но растянулось на целых два. Солженицын неспешно разрабатывал теорию и методику артикуляционных испытаний, Копелев, сидевший с ним спина к спине, кропотливо и дотошно изучал звуковиды — спектрограммы звуковых колебаний, вникал в физические параметры индивидуального своеобразия голоса. Начальство нервничало и торопило, требуя практических результатов, а не чистой игры ума.

Шарашка тем временем распространилась на всё здание, открылось много новых помещений, траву во дворе скосили под корень, двери на прогулку открывали строго по звонку. Письма приходили с большой задержкой (и теперь не через «Матросскую Тишину», а через Таганскую тюрьму), и Саня посылал жене сообщения, что отменно здоров, увлечённо работает, ни в чём не нуждается, много читает и слушает классическую музыку — ни о чём другом писать было невозможно. Свиданий за весь 1948 год дали только два (вместо положенных шести), и выглядели они теперь вполне химерически: в присутствии надзирателей, с множеством запретов и жёстким регламентом прикосновений. Жена была у него на Таганке за три дня до защиты диссертации (23 июня) и 19 декабря, сразу после Саниного тридцатилетия, когда ей пришлось сказать о необходимости формального развода. Химическую лабораторию МГУ, где её оставляли работать, засекретили, и выбор был невелик: она могла, рискуя разоблачением, скрыть наличие мужа-заключённого, могла ничего не скрывать и немедленно потерять работу, могла написать в семейной графе анкеты «не замужем». Она затравленно и обречённо выбрала третье. Будто в предчувствии, что к этому неминуемо всё идёт, Солженицын писал ей в октябре: «Постарайся как можно меньше обо мне думать и вспоминать, пусть я превращусь для тебя в абстрактное, бесплотное понятие. Да это даже и неизбежно с ходом лет».

И всё же известие оглушило его. Он продолжал посылать Наташе регулярные листки с заботливыми вопросами, приветами, пожеланиями, привычно уверял, что всё в их любви осталось по-прежнему, поздравил её с Новым годом (она встречала праздник с Лидой и Кириллом, и там тоже назревала семейная драма, Сане совершенно понятная), похвалил за способность трезво оценивать жизненные обстоятельства, убеждал, что надо продвигать развод, не откладывая и не за-

тягивая. Развод, однако, тогда так и не понадобился: Наташу благополучно засекретили и вскоре уволили, придравшись к пустякам: дескать, не закрыла форточку, уходя с работы; а в Рязанском сельхозинституте, куда она устроилась с 1 сентября 1949 года, режима секретности не было.

Но отравная мысль о неизбежности развода продолжала мучить Саню, и теперь он сам, с трудом подбирая слова, писал жене, что не имеет права бросать на неё тень, ни единого пятнышка; просил закончить начатый развод и предлагал вообще отказаться от переписки, «этой иллюзии давно не существующих семейных отношений». Но потом сам ужасался написанному. И бурно радовался, что *пока* его предложение отвергнуто: «Рассудок говорит, что лучше бы ты последовала моему совету, а сердце в страхе сжимается — неужели так и будет?» До конца шарашки у них случилось всего только два свидания — в Лефортово 29 мая 1949-го и в Бутырках 19 марта 1950-го, и второе тоже было болезненно омрачено. «Саня сказал, что жалеет, что у нас с ним нет детей. Я погрустнела и сказала, что, вероятно, поздно об этом думать...» А Саня, в пятую годовщину смерти матери, мрачно констатировал: «Хорошо, что она не прожила ещё года — горько было бы ей умирать. Хотя, должно быть, умирать никогда не сладко».

В том же 1950-м чувство угрюмой безнадёжности найдёт естественный выход. «Отречением» назовёт Солженицын своё горестное стихотворение о том дне, когда из уст жены впервые прозвучало слово «развод». «День второй в себя не приду. / Я — мужик, а рыданьями горло сжало. / Вот она — на каком году / Эта весть меня ожидала...» Лагерные стихи, начатые в 46-м, высвободили замерший, онемевший дар, стихия сочинительства дала силы преодолеть кризис надвигающегося одиночества; шарашка дарила уникальный опыт познания характеров, мировоззрений, судеб. Бок о бок с Солженицыным делили тяготы заключения десятки ярчайших фигур: каждая была достойна отдельного повествования, стоило лишь обратить внимание, вглядеться, расспросить, выслушать, проникнуться, запомнить...

Но прежде чем драматические истории обитателей шарашки попадут под перо Солженицына-романиста, он обязан будет отработать собственные долагерные сюжеты: в Марфине его взгляд на прожитые годы постепенно обретал новые краски. В 1947-м начал сочинять поэму: «Дороженька» создавалась устно, записанные отрывки в 20—30 строк выучивались и затем сжигались. «Солженицын писал большую автобиографическую поэму-повесть о том, как он вдво-

ём с другом плыл на лодке по Волге от Ярославля до Астрахани. (Саня читал Мите и Льву «Мальчиков с Луны». — *Л. С.*) Мне тогда нравились его стихи, по-некрасовски обстоятельные, живописные», — вспоминал Копелев. В 1948-м прозаическая повесть «Люби революцию» продолжила историю Глеба Нержина, начиная с первого дня войны и проводов друзей на фронт...

А старые друзья были легки на помине. Той же весной из далёкого воркутинского лагеря сюда привезли Виткевича. «Опер спрашивал его и меня (видя по документам, что мы однодельцы), не будет ли конфликта. Я говорю: нет, не будет. И мы с ним обнялись, поговорили, легли рядом, и потом целых два года лежали рядом. Койки наши были рядом. Один одессит говорил: братья Солженицкеры. Прежняя дружба восстановилась». Точно так же запомнился этот эпизод и Копелеву. «Тюремный кум вызвал Солженицына и сказал, что скоро на объект привезут его “подельника” Виткевича, и предупредил: “Вам нужно будет вести себя особенно аккуратно”. Рассказывая об этом, Саня был очень встревожен: не провокация ли?.. Не собираются ли наматывать новое дело?.. Когда Кока приехал, первые день-два они все свободные часы были вдвоём, сосредоточенно, серьёзно толковали. Митя и я старались, чтоб им никто не мешал. Солженицын даже сменил свою нижнюю койку на верхнюю, чтобы оказаться рядом с другом»*.

Копелев же писал о Сане как о самом близком на шарашке человеке. «Он лучше всех вокруг понимал меня, серьёзно и доброжелательно относился к моим занятиям, помогал работать и думать, дельно использовал мои “открытия” в ходе артикуляционных испытаний и толково их обобщал. Он убедительнее всех подтверждал смысл моего существования. И очень по душе мне пришёлся. Сильный, пытливый разум, проницательный и всегда предельно целеустремлённый. Именно предельно. Иногда я сердился

* «Пятиться от меня Виткевич стал много позже. На шарашке он был вполне свой», — вспоминал Солженицын (2001). Как свидетельствует Копелев, «Виткевич и позднее, на воле, продолжал дружить с Солженицыным и с его первой женой. В конце пятидесятых годов он переехал в Рязань, чтобы жить и работать к ним поближе». Копелев оставался на шарашке с Виткевичем, своим добрым приятелем, ещё в течение двух с лишним лет после отправки Солженицына и утверждал, что Кока хоть и отзывался порой о Сане критически (мол, всегда хочет быть первым), но «ни разу не намекнул на те обвинения в предательстве, которые в 1974 году были опубликованы за его подписью в брошюре АПН, а в 1978 году от имени Виткевича повторены в грязной книжонке Ржезача».

на то, что он не хочет отвлечься, прочитать "незапланированную" книгу или поговорить не на ту тему, которую заранее наметил. Но меня и восхищала неколебимая сосредоточенность воли, напряжённой струнно туго. А, расслабляясь, он бывал так неподдельно сердечен, обаятелен...»

Та самая *неколебимая устремлённость воли*, которую так ценил в младшем друге Копелев, остро проявилась поздней осенью 1949 года, когда Лев Зиновьевич, внезапно вызванный к начальству, получил сверхсекретное задание и стал научным руководителем «Лаборатории № 1», за работу которой отвечал головой. Опознать и идентифицировать голос анонима, звонившего в американское посольство и выдавшего государственную тайну, то есть изобличить предателя родины — такова была правительственная задача. В распоряжение Копелева поступила магнитофонная пленка с ключевыми фразами: *советский разведчик Коваль вылетает в Нью-Йорк; должен встретиться с американским профессором в радиомагазине; тот даст ему новые данные об атомной бомбе; Коваль вылетает сегодня.* Копелев подписал бумагу о неразглашении и строжайшей ответственности «во внесудебном порядке», но в тот же день рассказал другу об оперативном задании.

Через тридцать лет Солженицын с изумлением прочитает в западной печати, будто это он, автор «Архипелага», «не спал ночами, чтобы поймать врага народа, торгующего с атомной Америкой». «Я, — ответит он, — не только ни минуты не состоял в их строго-секретной группе — но от первого рассказа Льва об этом тайном случае отшатнулся, отверг его щедрое предложение — при успехе группы в будущем в неё войти. Я только страстно ловил от Копелева — ещё, ещё подробностей об этом случае, ибо в тот же миг (а не годы спустя) с трепетом ощутил — какой это будет выдающийся литературный сюжет!»

Те три дня декабря 1949 года, которые Солженицын, предельно уплотняя время, опишет в романе о марфинской шарашке всего через пять лет после событий, начнутся невероятным звонком дипломата Володина (Иванова) и дадут точный ответ, ктó не спал ночами, чтобы изобличить предателя. «Перемочь болезнь, слабость, нежелание — и завтра с раннего утра припасть, принюхаться к следу этого анонима-негодяя, спасти атомную бомбу для России», — горит яростью Рубин после жестокой схватки с идейным антагонистом Сологдиным. «Не давать шифратора этой своре», — решает Сологдин после ночного спора с Рубиным. Но категорическое решение принимает именно Рубин. «Ему прояснялся единственный сокрушительный удар, который он мог нане-

сти Сологдину и всей их своре. Ничем другим их не проймёшь, меднолобых! Никакими фактическими доводами и историческими оправданиями потом не будешь перед ними прав! Атомную бомбу! — вот это одно они поймут!» А что же Нержин? «Бомбу надо морально изолировать, а не воровать, — заявляет он Рубину, принципиально отказываясь от совместной ловли анонима. — Оставьте мне простору, не загоняйте на баррикады». И свидетельствовал Панин: «Солженицын изобразил самого себя исключительно правдиво и точно в главном персонаже романа — Глебе Нержине».

А Копелев успешно справился с заданием, идентифицировал анонима и вскоре приготовил вопросник (включавший слова с магнитофонной записи) для следователя, проводившего допрос арестованного дипломата. Тот нудно отпирался, этот, как положено, давил и жал... Копелев не скрывал, что отчёт о сличении голоса, звонившего в американское посольство, с голосом дипломата занял два толстых тома и был подписан начальником института, начальником лаборатории и им самим, Копелевым, старшим научным сотрудником, кандидатом филологических наук, но всё ещё з/к...

Только через десятилетие поймёт Копелев-Рубин точку зрения своих тогдашних оппонентов на границы патриотизма: атомная бомба нужна России, но как же страшно, когда сверхоружием завладеет тиран-параноик. «От старых идолов и старых идеалов я освобождался медленно, трудно и непоследовательно... Было мучительно стыдно признать, что нашим кумиром стал просто ловкий негодяй, бессовестный, жестокий властолюбец, типологически подобный блатным "паханам", которых мы встречали в тюрьмах и лагерях (Панин, Солженицын и некоторые другие мои приятели-зэки поняли это значительно раньше меня)».

К осени 1949-го шарашка исчерпала для Солженицына свой ресурс, и он перестал держаться за её блага. «Я уже нащупывал новый смысл в тюремной жизни. Оглядываясь, я признавал теперь жалкими советы спецнарядника с Красной Пресни — "не попасть на общие любой ценой". Цена, платимая нами, показалась несоразмерной покупке. Тюрьма разрешила во мне способность писать, и этой страсти я отдавал теперь всё время, а казённую работу нагло перестал тянуть». Когда зимой 1950-го Солженицына вознамерились перевести в криптографическую группу, то есть погрузить в невылазную работу и безраздельно завладеть его временем, он уже не был рабом своего испуганного тела. «Все доводы разума — да, я согласен, гражданин начальник! Все доводы сердца — отойди от меня, сатана!»

Как следует из романа, Нержину-математику удаётся на шарашке составить серьёзную трехтомную монографию. Копелев утверждал, что Солженицын создал в Марфине нечто и впрямь небывалое — научно обоснованную теорию и практическую методику артикуляционных испытаний. «Он стал отличным командиром артикулянтов, был действительно незаменим. Это понимал каждый, кто видел его работу и мог здраво судить о ней. Это сознавал и он сам и вовсе не хотел переключаться на унылую математическую подёнщину рядовым».

Солженицын скажет о своём решении проще: «Очищенная от мути голова мне нужна была для того, что я уже два года как писал поэму». Так, оставив математику ради литературы, он был списан с шарашки и вызван «с вещами». Несомненно, он был благодарен третьему острову и как з/к, получивший передышку, и как писатель. Именно здесь появился на свет артиллерист-фронтовик Глеб Нержин, арестант *призыва сорок пятого года*, который на своём просторном рабочем столе, между казенной бутафорией («застывший ураган исследовательской мысли») прятал нематематические записи — первые итоги зрелых размышлений о русской революции. В момент решающего выбора между спасительной математикой и смертоносной историей Нержин скажет себе: «Милое благополучие! Зачем — ты, если ничего, кроме тебя?..» — и выберет лагерную тачку.

Но прежде Нержина этот выбор сделает Солженицын: в предвидении скорого этапа и генерального *шмона* всё сочиненное (и обречённое огню) он карандашно уложит в два невнятных листика с дикой разноязыкой смесью сокращённых слов, и листики те изомнёт, «как мнут бумагу для её непрямого назначения». Так закончится шарашка для Солженицына, и Нержин, герой поэмы, повести, двух пьес и большого романа, будет след в след осваивать детскую, юношескую, военную и лагерную биографию автора. Произведения с автобиографическим персонажем исторически достоверно зафиксируют этапы и вехи зэка-героя и зэка-автора, «людей бездны».

Вместе с Солженицыным из Марфина уходил и Панин — в отличие от Сологдина, прототип, по его собственному признанию, не стремился оставаться на шарашке: «...демонстративно не желал работать, задания всячески затягивал и сдавал только после нескольких напоминаний, часто огрызался, вечером иногда не выходил на работу». Весной 1950-го Панин неоднократно изъявлял желание убирать двор, и Солженицын дважды к нему присоединялся. «Никто из инженеров, дорожащих своим положением, о таком времяпрепровождении не смел и помыслить».

«19 мая мы мирно беседовали, сгребая листья...»

Свои конспекты по Далю, по истории и философии* Солженицын оставил Копелеву. «Все конспекты уцелели и вернулись к нему», — писал Л. З. Это удалось благодаря Гумеру Ахатовичу Измайлову, осуждённому за «плен» на десять лет, досрочно освобождённому и ставшему в Марфине вольнонаёмным. Именно он вынес и передал родным Копелева конспекты Солженицына и архив Льва Зиновьевича. Другую часть архива А. И. взяла к себе сотрудница Марфинского НИИ Анна Васильевна Исаева (в романе лейтенант МГБ Серафима Витальевна беззаветно влюблена в зэка Нержина). «Под страхом кары МГБ и уголовного кодекса, — пишет Солженицын в «Телёнке», — она приняла от меня, сохранила 7 лет — и вернула мне в 1956 году мою рукопись “Люби революцию” (без того не собрался б её возобновить) и многочисленные блокнотики далевских выписок, так ценные для меня. Спасибо ей сердечное».

Солженицын вспоминал (2001): «Я знал, что она живёт в бывшей церкви на Большой Серпуховской. И когда летом 1956-го я приехал в Москву, пошёл её искать. Нашёл церковь, посмотрел список жильцов, увидел фамилию “Исаева”, постучал. Она вышла в большом смущении (у неё был гость), потом вернулась и принесла тетрадки. В романе Нержин не оставляет Симочке архив — не мог же я дать на неё наводку! А на самом деле свои бумаги я Анечке оставил».

Глава четвёртая

ВДОЛЬ ПО КАТОРГЕ. ПОЭЗИЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

Заключённый категории 58-10, который претерпел Лубянку, троекратные Бутырки, два лагеря, три шарашки и которому нужно *мотать* ещё полсрока, — уже не новобранец, а уверенный, *бронированный* зэк. Даже пребывая в лучшем из островов ГУЛАГа, он не застрахован, что

* Четыре самодельные тетрадки 1948—1949 годов для самообразования с марфинской шарашки, размером 11,5 на 18 см, сшитые нитками, назывались «И.Ф.» (История философии). А. И. вставал в 5 утра, до подъёма, шёл в библиотеку, где делал выписки и записывал впечатления от изучаемых философов по темам. I — Восток и античность. II — Арабы. Средневековье. Возрождение. III — Декарт—Гоббс—Паскаль—Спиноза—Лейбниц—Локк—Юм. Эпоха Просвещения—Руссо—Кант—Фихте—Шеллинг—Гегель—Шопенгауэр—Шпенглер. IV — Философия XIX и XX вв. — Русская философия.

в какой-то не самый удачный день к нему подойдёт сменный надзиратель и рявкнет (или пробубнит): «С вещами!» Но даже и такой зэк не знает, *когда* свалится на него новость, — этап всегда всех застаёт врасплох.

Но этап этапу рознь. Переезды из Бутырок в Рыбинск, из Рыбинска в Загорск, из Загорска в Марфино тоже были этапами, но они лишь улучшали качество отбывания срока. А этап из лагеря на Калужской заставе в Рыбинскую шарашку вообще был равносилен попаданию из *почти ада* в *почти рай.*

Та стратегия поведения, которую стал практиковать Солженицын ближе к осени 1949 года, освобождаясь от математики (дважды за пятилетие спасшей ему жизнь), не могла рассчитывать на место, лучшее, чем Марфино: здешняя шарага было научно-техническим потолком для зэка-спеца. С точки зрения здравого смысла, инстинкта выживания и той самой боязни этапа, которая сжимает сердце каждого з/к, следовало держаться за Марфино всеми силами и средствами: ведь в 1949-м никто и мечтать не мог о близкой смерти вождя, аресте Берия, расстреле Абакумова и тому подобных нечаянных радостях. Рассудительные люди выбрали для себя именно этот путь — остаться и работать на секретную телефонию до конца срока. Так поступили Копелев, Виткевич и многие другие насельники полукруглой комнаты церковного надалтарья.

Но Солженицын *добровольно* выбирает этап: лишая себя *первого круга,* уходит на адское дно, — и в этом великая загадка его судьбы. Не *его* изгоняют из Рая, как некогда Господь изгнал непослушного Адама, обрекая Своё творение на земные тяготы, удел смертных. К тому же Адам, нарушив правила пребывания в райском саду, не знал, какой *этап* его ждёт, не ведал, что такое прóклятая Богом земля, не сознавал, что такое смерть, ибо никогда ещё её не видел, а если б знал, ведал и видел, так, может, и не ослушался бы.

Солженицын знал, чтó его ждёт за забором Эдема. Он слышал о медных рудниках Джезказгана и смертельных лесоповалах; напробовался баланды, нанюхался параши, навидался уголовной шпаны в тюремных и лагерных бараках. И всё же захотел вырваться из сытого *почти рая* на произвол гулажьей доли. «Разменивая уже второй год срока, я всё ещё не понимал перста судьбы, на что он показывал мне, швырнутому на Архипелаг, — писал Солженицын, вспоминая лето 1946 года, Калужскую заставу. — Внутреннее развитие к общим работам не давалось мне легко».

Однако шестой год срока имел совсем другую оптику, иное понимание свободы. Перст судьбы указывал поверх марфинского забора, прочь от секретной телефонии, сулив-

шей тюремщикам новые преимущества над узниками. Выбор Солженицына — не участвовать в поимке шпиона, не включаться в математическую каторгу ради укрепления режима — имел свою логику, равно как и поведенческая стратегия Копелева, убеждённого коммуниста, считавшего, что сталинская система «в корне» справедлива, ибо «закономерна». По Копелеву, создавая *фоноскопию*, он трудился для страны против её врагов: позиция ясная, простая, этически удобная и в первом приближении — *патриотическая*. Однако такой патриотизм не озабочен рефлексией — не думает, например, об *ответственности* учёного за судьбу своего открытия. *Безответственный* патриотизм близорук и непрозорлив — мысль о том, в чьи руки может попасть сверхмощное оружие и с какой целью оно может быть использовано, не приходит ему на ум. Резонное опасение — не покроет ли всю Европу (а то и весь мир) колючая проволока ГУЛАГа в случае, если режим монопольно завладеет атомной бомбой, — не тревожит воображение такого патриота.

Но как раз в сороковые годы, пока Солженицын воевал, а потом сидел в тюрьмах и лагерях, миру стали известны другие примеры. Саня оканчивал училище в Костроме, 2 ноября 1942 года курсантам был зачитан приказ о выпуске, а ровно через месяц, 2 декабря, на другом конце планеты была впервые произведена цепная реакция, высвободившая ядерную энергию и положившая начало атомной эре.

Мировая война была в разгаре, но немецкие физики почему-то не торопились вооружить Гитлера атомной бомбой. Когда в апреле 1945-го Отто Ган, Вернер Гейзенберг, Макс фон Лауэ оказались в плену у американцев, выяснилось, что эти учёные всячески тормозили разработку ядерной бомбы, остужая рвение преданных нацизму коллег. Почему они не спешили дать вождю третьего рейха сверхмощное оружие? Потому что они были ответственными людьми и понимали, чтó может сделать с человечеством их фюрер, получи он в ходе войны атомное оружие. Поистине, это был заговор физиков против фашизма!

В надежде опередить физиков фюрера в августе 1942-го стартовал американский «Манхэттенский проект» — тогда была ещё неясна судьба германского «уранового проекта». Альберт Эйнштейн, «отец физики», в 1933-м изгнанный фашистами из Германии, в августе 1939-го подписал письмо президенту Рузвельту с пожеланием «установить постоянный контакт между правительством и группой физиков, ведущих исследования над цепной реакцией в Америке». Однако после войны Эйнштейн заявил: «Если бы я знал, что

немцам не удастся достичь успеха в создании атомной бомбы, я бы никогда и пальцем не шевельнул». Он просил президента заморозить разработку атомной бомбы за её ненадобностью. Но Рузвельт умер, а новый президент был настроен иначе. Американской военной машине не терпелось испытать бомбу на «живых объектах».

Солженицын, переведённый из Лубянки в Бутырки, только-только выслушал приговор и ждал этапа, когда в августе (6-го и 9-го) американцы сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Эйнштейн был потрясён: не империя Гитлера, а цитадель демократии первой пустила в ход оружие массового поражения: «Не следует забывать, что атомные бомбы были сделаны в США в качестве предупредительной меры против применения атомного оружия (в случае его создания) немцами. А сейчас мы перенесли к себе и хорошо освоили недостойные приёмы наших врагов в последней войне». В атомном пламени над Японией европейские ученые с ужасом увидели плоды своих трудов и своих научных побед. Читая в газетах описания чудовищных разрушений в Хиросиме, учёные в Лос-Аламосе, где под руководством Роберта Оппенгеймера и Энрико Ферми осуществлялся «манхэттенский проект», задавали себе вопрос: могут ли они сложить с себя ответственность за эти бедствия и взвалить её на военное командование? «Многим хотелось куда-то спрятаться, — вспоминала Лаура Ферми, жена учёного, — или бежать от всего этого. Громкие обвиняющие голоса раздавались во многих странах мира, и это заставляло учёных ещё больше терзаться угрызениями совести. В католической Италии папа вынес осуждение новому оружию».

Учёные Лос-Аламоса испытывали чувство вины, одни сильнее, другие слабее, но это чувство было общим для всех. Иные из физиков приходили к заключению, что следовало прекратить работы, как только стало ясно, что бомба осуществима. Были ли эти физики патриотами США, страны, укрывшей их от нацизма? Были ли непатриотичными терзания учёных, опасавшихся, что сила атома, выпущенная на волю, зависит отныне от нелепой случайности или от власти злой силы? «Сначала было страшно, что бомбу сделают немцы, теперь страшно, что её сделали мы». «В тот момент, когда атомная бомба была использована против населения Хиросимы, меня лично, — говорил один из соратников Ферми Бруно Понтекорво, — как и некоторых других учёных в стране, поставившей своей целью только производство атомного оружия, начала тяготить работа физика. Я начал стыдиться своей профессии».

Именно поэтому многие физики Европы и Америки на свой страх и риск стали сотрудничать с советской разведкой — после Хиросимы оставлять США (и кому угодно другому) монополию на атомное оружие было сверхопасно. Они не были предателями и не сочувствовали Сталину, но понимали, что наличие бомбы у СССР лишит США возможности применить её снова на «живом объекте»*.

Когда советский атомный проект вступил в завершающую стадию, датский физик Нильс Бор дал советской разведке стратегическую информацию о том, какой тип бомбы можно быстрее довести до испытания на полигоне. Павел Судоплатов, руководивший прикрытием советского атомного проекта, позже писал: «Наши источники информации и агентура в Англии и США добыли 286 секретных научных документов и закрытых публикаций по атомной энергии. В своих записках в марте — апреле 1943 года Курчатов назвал семь наиболее важных научных центров и 26 специалистов в США, получение информации от которых имело огромное значение. Проверка ФБР в 1948 году установила исчезновение более 1500 страниц из отчётной документации по созданию атомной бомбы в Лос-Аламосе... Мне кажется, что между Бором, Ферми, Оппенгеймером и Сцилардом была неформальная договорённость делиться секретными разработками по атомному оружию с кругом учёных-антифашистов левых убеждений».

В истории атомной бомбы вопросы патриотизма имеют, как видим, две стороны. Немецкие физики «непатриотично» не дали Гитлеру атомную бомбу, учёные Лос-Аламоса «непатриотично» лишили США монополии на сверхоружие. Нет сомнений, что, обладай Сталин подобной монополией, он бы не побрезговал атомной атакой. Потому так «антипатриотично» ведёт себя, при всей спорности поступка, дип-

* По свидетельству «Ядерной энциклопедии», с лета 1945 года военно политическое руководство США начало разрабатывать план ядерного нападения на СССР, определять цели. Первый проект (доклад № 329) назывался «Стратегическая уязвимость России для ограниченной воздушной атаки» и был датирован ноябрём 1945 года. В 1948—1949 годах был подготовлен детальный план бомбардировки СССР. Предполагалось смести с лица Земли 70 городов и индустриальных центров, около двух тысяч объектов. Было подсчитано, что за месяц 2,7 миллиона людей будут убиты и ещё 4 миллиона ранены. Опасаясь ядерной атаки со стороны США, советское руководство начало блефовать. В 1947 году министр иностранных дел Молотов заявил, что в СССР раскрыт секрет ядерной бомбы и что СССР уже обладает ядерным потенциалом, хотя до первого испытания было ещё два года. Ради создания видимости ядерных испытаний в разных концах СССР проводились оглушительные взрывы с применением обычной взрывчатки.

ломат Иннокентий Володин. Потому сам себя «списал» с райского острова Глеб Нержин. Потому Солженицын и Панин «непатриотично» не желают своими руками и мозгами вооружать Сталина и предпочитают райской шарашке этап в неизвестность. «Обстоятельства шаг за шагом ускоряли отъезд и сделали его неизбежным, — напишет Солженицын жене с дороги. — Я принял известие о своём отъезде совершенно равнодушно, а во все последующие дни испытывал скорее облегчение, чем сожаление».

...Есть зловещее совпадение, которое более всего характеризует логику режима и «атомную» тему в судьбе Солженицына. В тот самый август 1949 года, когда СССР осуществил первый испытательный взрыв *своей* атомной бомбы, на севере Казахстана был создан Экибастузский лагерь, один из пунктов в системе Особлагов. «Особые лагеря, — пишет Солженицын в «Архипелаге», — были из любимых детищ позднего сталинского ума. После стольких воспитательных и наказательных исканий наконец родилось это зрелое совершенство: эта однообразная, пронумерованная, сухочленённая организация, психологически уже изъятая из тела матери-Родины, имеющая вход, но не выход, поглощающая только врагов, выдающая только производственные ценности и трупы».

Этап в Экибастуз занял ровно три месяца. 19 мая 1950 года Панина и Солженицына выдернули из Марфина с вещами и знакомым маршрутом повезли в Бутырки. Это было уже его пятое свидание с Бутюром — теперь оно продлилось пять недель. «Знакомые Бутырки встретили нас раздирающим женским криком из окна, наверное, одиночки: “Спасите! Помогите! Убивают! Убивают!”. И вопль захлебнулся в надзирательских ладонях». Здесь ничего не изменилось, разве что уже не было никаких споров, а поток арестантов пополнился новичками 1949 года посадки, с нереальными сроками в 25 лет. «Когда на многочисленных перекличках они должны были отвечать о конце своего срока, то звучало издевательством: “октября тысяча девятьсот семьдесят четвёртого!”, “февраля тысяча девятьсот семьдесят пятого!”»

Трёхмесячный этап в Особлаг Солженицын вспоминал без угнетённости и уныния. «Везли нас так долго, что эта дорога стала как бы периодом жизни, кажется, за эту дорогу я даже характером изменился и взглядами». Он сравнивал своё настроение лета 1945-го, когда впервые попал в Бутырки и ждал этапа, с теперешним положением, и все преимущества были в пользу настоящего: «Во-первых, нет впереди этого огромного груза лет, во-вторых — чувствую себя легко и привычно во всей этой обстановке, в-третьих, выгляжу

как огурчик, здоров и полон сил, в-четвёртых, очень доволен последними минувшими двумя годами».

Казалось, изменился сам воздух каторжного этапа. «Со всех сторон подбывали люди и случаи, убеждавшие, что правда за нами! за нами! за нами! — а не за нашими судьями и тюремщиками». Ранним утром 25 июня воронок со скамьями отвёз 14 арестантов Бутырок на Казанский вокзал. Они уже сидели в вагоне, когда из станционного репродуктора последние известия сообщили о начале корейской войны. «Эта корейская война тоже возбудила нас. Мятежные, мы просили бури!»

Без бури они все были обречены на медленное умирание.

Солженицын честно напишет о том диком, отчаянном состоянии умов, которое владело зэками по пути на каторгу, когда они слали на головы своих палачей громы и молнии, и, казалось, никакая кара не чрезмерна для ненавистных мучителей. Больше всего волновали пересылку сообщения из Кореи — она воспринималась как Испания третьей мировой войны, как её первая репетиция. Для этапников, среди которых были и фронтовики с боевыми наградами, вопрос — на чьей они стороне — даже не стоял: корейская война резко исказила параметры патриотического сознания.

За пять послевоенных лет обстановка в мире резко ухудшилась. Новый президент США Г. Трумэн взял в отношении СССР жёсткий политический курс, провозгласив доктрину «сдерживания коммунизма». Корейская война стала первым вооружённым конфликтом «холодной войны», создав модель локального столкновения, когда две сверхдержавы воюют на ограниченной территории без применения ядерного оружия. Бывшие союзники стояли по разные стороны баррикад, конфронтация между ними нарастала. 9 февраля 1950 года Сталин дал согласие на подготовку широкомасштабной операции на Корейском полуострове, одобрив намерение Северной Кореи военным путём объединиться с Югом. Немедленно возросли поставки из СССР танков, артиллерии, стрелкового оружия, боеприпасов, медикаментов, нефти. В штабе корейской армии с участием советских советников в глубокой тайне велась разработка плана операции. С рассветом 25 июня 1950 года войска Корейской Народной Армии начали наступление вглубь Республики Корея. Однако уже с первых дней войны произошла интернационализация конфликта в результате активного вмешательства в него США.

«Сталинский блицкриг там сорвался. Уже скликались добровольцы ООН... Эти солдаты ООН особенно нас воодушевляли: что за знамя! Кого оно не объединит! Прообраз бу-

дущего человечества!» — писал Солженицын в «Архипелаге», вспоминая настроения пересыльного этапа. «Так тошно нам было, что мы не могли подняться выше своей тошноты. Мы не могли так мечтать, так согласиться: пусть мы погибнем, лишь были бы целы все те, кто сейчас из благополучия равнодушно смотрит на нашу гибель». И, стремясь пусть не оправдать, но хотя бы понять тогдашнюю жажду справедливого возмездия, он восклицал: что́, кроме мировой войны, оставили хотеть палачи тем несчастным, кому в 50-м году дали срок до середины 70-х? Какой спрос с зэка, если его, как распаренное мясо, впихивают в раскалённый воронок? Что ему возразишь, когда из чрева душегубки он кричит надзирателям: «Подождите, гады! Будет на вас Трумэн! Бросят вам атомную бомбу на голову!» (Угрозы зэков имели под собой реальную почву. Так, командующий войсками генерал Макартур открыто настаивал на ядерном ударе по Китаю, несмотря на возможность ядерного конфликта с СССР.)

«И так уж мы изболелись по правде, что не жаль было и самим сгореть под одной бомбой с палачами. Мы были в том предельном состоянии, когда нечего терять. Если этого не открыть — не будет полноты об Архипелаге 50-х годов». Было понятно, что, хотя война идёт между двумя Кореями, они всего лишь марионетки у СССР и США и что для перемирия нужны чрезвычайные события. Поворотным моментом конфликта стала смерть Сталина, после которой Политбюро ЦК ВКП(б) проголосовало за окончание войны.

Но летом 1950-го о простой, естественной смерти вождя зэкам мечталось меньше, чем о третьей мировой. Мечта казалось несбыточной, да и мстительные фантазии позже обжигали мечтателей жгучим раскаянием. «Мне самому, — писал Солженицын, — сейчас дико вспоминать эти наши тогдашние губительные ложные надежды. Всеобщее ядерное уничтожение ни для кого не выход. Да и без ядерного: всякая военная обстановка лишь служит оправданием для внутренней тирании, усиляет её. Но искажена будет моя история, если я не скажу правды — что́ чувствовали мы в то лето».

А в то лето проезжали Рязань, спорили с конвоем на тему, кто́ есть враг народа, и зэкам, из окошек вагона видевшим убогую, ободранную страну, нищих стариков, корявых старух, скорбных детей, чудились признаки нового времени: народ сочувствовал «несчастненьким», а не конвою. «Вот так мы и ехали, и не думаю, чтобы конвой чувствовал себя конвоем народным. Мы ехали — и всё больше зажигались и в правоте своей, и что вся Россия с нами, и что подходит время кончать, кончать это заведение».

Потом была Куйбышевская пересылка, где они *загорали* больше месяца и где Солженицын, в предвидении условий Особлага, пробовал не курить. Вспоминал Панин (они вместе ехали от Марфина): «Куйбышевская пересылка, куда мы попали, по сравнению с другими, была домом отдыха. Кормили лучше, чем в других местах. Находились мы в бывших конюшнях, и хотя народу было много, но проходы между нарами оставались свободными, так что вполне можно было прогуливаться». Вольности этой несравненной пересылки (зэки встречались на общем дворе, можно было переговариваться с этапами, подойти к открытым окнам семейных бараков) ещё больше раззадоривали каторжный народ. «Мы, — писал Солженицын, — прочней ощущали под ногами землю, а под ногами наших охранников, казалось, она начинала припекать».

Пересылка давала обзор, широту зрения, иллюзию жизни и вольницы. Это не замкнутое пространство камеры или барака — здесь было движение, смена десятков и сотен лиц, откровенных разговоров и рассказов. Здесь не сновали опера, политруки и стукачи, не надо было бояться, что за крик из толпы (поди разбери, кто кричал!) намотают второй срок. «Ты просвежаешься, просквожаешься, яснеешь и лучше начинаешь понимать, что происходит с тобой, с народом, даже с миром». И ещё: «Только тот, кто отведал лагерных общих, понимает, что пересылка — это дом отдыха, счастье на нашем пути. А ещё выгода: когда днём спишь — срок быстрей идёт». Солженицын радовался, что 58-я, прежде беззащитная, не способная противиться блатным, теперь может при случае дать отпор и уцелеть. «Оказывается, можно так жить в тюрьме? — драться? огрызаться? громко говорить то, что думаешь? Сколько же лет мы терпели нелепо! Добро бить того, кто плачет. Мы плакали — вот нас и били».

Он всматривался в тех, с кем его свела судьба, — в эстонцев, латышей, украинцев, экзотических шведов, офицеров вермахта. Однажды увидел, как литовцы-католики мастерят тюремные чётки из размоченного и промешанного хлеба: окрашивали его жжёной резиной (для чёрного цвета), зубным порошком (для белого), красным стрептоцидом (для красного), влажные шарики нанизывали на промыленные нитки и сушили на окне. Ему помогли составить такие же, только из ста бусин (литовцы поразились религиозной ревности русского), и сделали сотое зерно в виде тёмно-красного сердечка, а каждое десятое в виде кубика. «С этим их чудесным подарком я не расставался потом никогда, я отмеривал и перещупывал его в широкой зимней рукавице — на разводе,

на перегоне, во всех ожиданиях»*. Ожерелье находили надзиратели, но, полагая, что оно для молитвы, отдавали. А оно помогало сочинять, заучивать и запоминать строки.

Куйбышевский «дом отдыха», где формировали этапы и где Солженицын узнал, что их везут в Казахстан, в неведомый Экибастуз (этапники заклинали судьбу, чтобы не в Джезказган, не на медные рудники), закончился 29 июля — арестантские вагоны без спешки двинулись на восток. «Я проехал благородно-красивый Южный Урал (вот уж не думал, что он так несказанно хорош! сколько у нас в России прелестных мест), проехал мимо обелиска "Европа-Азия"», — писал он жене из Челябинска в начале августа. Он уже знал, что будет иметь право только на два письма в год, и просил жену писать ему хоть бы раз в месяц, невзирая на его вынужденное молчание. «Для писем от тебя ко мне никаких ограничений там не будет». Своё настроение Саня называл сереньким, вариант окончания срока — самым нежелательным. «Ну, что ж поделаешь. В меру сладкого, в меру горького». И — скорее для успокоения жены, чем для дела — обещал ей, что в случае чего попробует проситься туда, где работал в 1946—1947 годах, то есть в Рыбинск, где им дорожили как математиком и не хотели отпускать.

А дальше ещё были Омск и Павлодар. «Омский острог, знавший Достоевского, — не какая-нибудь сколоченная из тёса наспех ГУЛАГовская пересылка. Это — екатерининская грозная тюрьма, особенно её подвалы. Не придумаешь лучших декораций для фильма, чем камера здешнего подвала». Этот острог, казалось, имел все шансы подавить мятежное настроение, которое крепло на Куйбышевской пересылке. Но и здесь при тусклой лампочке, в сырости, они громко пели старые революционные песни, которые для нового арестантского поколения обретали живой смысл.

Омский острог, а потом и павлодарская двухэтажная тюрьма, с которой начинался город, принимали каторжный этап потому, что в этих местах не было специализированных пересылок. «В Павлодаре даже — о, позор! — не оказалось и воронка, и нас от вокзала до тюрьмы, много кварталов, гнали колонной, не стесняясь населения, — как это было до ре-

---

* «Чётки с красным сердечком сохранились. Они сделаны из хлеба, не самого мягкого; они не протухают; они, как камешки, вечные. Позже я сам сделал себе более простые чётки из пробок, хороший материал, никакого запаха. Мне для проверки строк был нужен чётный десяток и нечётный десяток, всего двадцать. Я хорошо помню каждую строчку, которая падает на 10, на 20, на 30, на 40, на 50, на 60, на 100» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2001 год).

волюции и в первое десятилетие после неё». Но тюрьма эта внушала не ужас, а чувство покоя и уюта: просторный мирный двор с чахлой травкой и заборчиком-выгородкой для прогулок, камеры с редкой решёткой, за оградой видны улицы и пивной ларёк, а ещё дальше кварталы одноэтажных домиков, утопающих в сером песке. Но когда этап повезли в пустыню, сонный Павлодар вспоминался как сверкающая столица.

20 августа в тюрьму прибыл конвой Степлага. «За нами пригнали грузовики с надстроенными бортами и с решётками в передней части кузова, которыми автоматчики защищены от нас, как от зверей. Нас тесно усадили на пол кузова со скрюченными ногами, лицами назад по ходу, и в таком положении качали и ломали на ухабах восемь часов. Автоматчики сидели на крыше кабины и дула автоматов всю дорогу держали направленными нам в спины». «Много конвоиров видел я до этого, — вспоминал Панин, — но о таких бандитах приходилось только слышать».

Грузовики пересекли Иртыш, долго ехали заливными лугами, потом мчались по бездорожью степи. Когда стемнело, конвой начал палить в небо из ракетниц. Только к полуночи этап прибыл в лагерь, обнесённый высокой колючей проволокой, ярко освещённый на вахте и вокруг зоны: хотя лагерь спал, светились окна всех бараков. «Ночной свет — значит, режим тюремный. Двери бараков были заперты извне тяжёлыми висячими замками. На прямоугольных освещённых окнах чернели решётки. Вышедший помпомбыт был облеплен лоскутами *номеров*». Никаких мятежных листовок на столбах не висело, воздуха свободы или свежего ветерка перемен, о чем грезила пересылка, здесь, в политическом лагере, без блатных и бандитов, не было и в помине. «Из расспросов поняли, что кормёжка достаточная, доходяг нет, посылки разрешены, режим очень строгий, каторжный, гарантийная пайка — семьсот граммов хлеба, блатных почти нет, женщин, естественно, тоже, на работу по специальности с общих работ вырваться тяжело. Кроме лагерной тюрьмы, был в зоне барак с намордниками и решётками на окнах, отгороженный колючей проволокой, — БУР (барак усиленного режима). Впрочем, и в остальных бараках на окнах были решётки и на ночь двери запирались» (Панин).

«Большая советская энциклопедия» тех лет сообщала: «Экибастуз является ценным каменноугольным месторождением, запасы которого составляют 600 миллионов тонн; уголь превосходного качества». Ради добычи угля и был построен здесь пятитысячный каторжный лагерь.

В течение двух дней этап был обмундирован, арестантам выдали по четыре белых лоскута 8х15, и лагерный «художник» написал каждому его номер. Свой Щ-232 («весь Экибастуз я проходил с номером Щ-232, в последние же месяцы приказали мне сменить на Щ-262. Эти номера я и вывез тайно из Экибастуза, храню и сейчас») Солженицын должен был пришить в установленные места — на спине, на груди, надо лбом на шапке и на штанине повыше колена. Под тряпочками ватная одежда заранее прорезалась до потрохов — чтобы в случае побега зэк не мог, споров номера, выдать себя за вольного. Совсем немного недотянули Особлаги, чтобы выкалывать или выжигать номера на самом арестанте. К их чести, они не только друг друга не называли по номерам, но даже *не замечали* крикливых белых тряпок и никогда не знали, какой у кого номер, только свой и помнили; «мы с друзьями старались, чтобы номера выглядели на нас как можно более безобразно».

На их этап, как и на всякий новый, в первой же приёмной бане был сделан натиск. «Банщики, парикмахеры и нарядчики были напряжены и дружно налегали на каждого, кто пытался сделать хотя бы робкое возражение против рваного белья, или холодной воды, или порядка прожарки. Они только и ждали таких возражений и налетали сразу несколько, как псы, нарочито, кричали повышенно громко: “Здесь вам не Куйбышевская пересылка!” — и совали к носу откормленные кулаки».

Принцип Особлага, как вскоре убедится Солженицын, был *не иметь* («чем лучше человек в лагере живёт, тем тоньше он страдает»): не иметь денег и не получать зарплаты, не хранить сменной обуви или одежды, ничего для утепления или сухости. Бельё (гнилые тряпки) менялось два раза в месяц, одежда и обувь два раза в год. Носильная вещь, оставленная в тумбочке, а не отданная в камеру хранения, рассматривалась как улика: зэк готовится к побегу. Все продукты из посылок полагалось вечером брать из продуктовых каптёрок, а утром сдавать. Нельзя было иметь чернил, химических и цветных карандашей, норма чистой бумаги не превышала одной школьной тетрадки. Фактически нельзя было иметь и книг: сперва разрешалось иметь одну-две, позже полагалось их регистрировать: книги без штампа отбирались, а со штампом становились собственностью здешней библиотеки. Единственная книга, которую Солженицын довёз до Экибастуза, — был второй том Даля, марфинское наследство; и ту он вынужден будет обезобразить штампом: «Степлаг. КВЧ». «Я никогда его не листаю, потому что за

мостик вечера едва прочитываю полстраницы. Так и сижу или бреду по проверке, уткнувшись в одно место книги. Я уже привык, что все новые спрашивают, что это за толстая книга, и удивляются, на чёрта я её читаю. — Самое безопасное чтение, — отшучиваюсь я. — Новой *статьи не схватить*».

Кажется, отъезд из Марфина (которое спустя четверть века Решетовская расценит как следствие «нерадивости и лености» Солженицына, а также как лицедейское стремление мужа прослыть «одновременно и героем и мучеником») и трёхмесячный этап на каторгу произвели в нём существенные перемены. Первое письмо из Экибастуза домой было похоже на исповедь человека в предчувствии веры — он пытается заглянуть в себя как можно глубже, чтобы распознать сигналы судьбы.

«Снова начинаю такую жизнь, какая была у меня 5 лет назад. Очень многое со мной сходно с тем, что было тогда в Новом Иерусалиме; но огромная разница в том, что на этот раз я ко всему был приготовлен, стал спокойнее, выдержаннее, значительно менее требователен к жизни. Помню, например, как я тогда судорожно, торопливо и с кучей ошибок пытался устроиться поинтеллигентнее, получше. А сейчас всё это мне как-то не кажется главным, важным, да и надоело, признаться. Палец о палец ничего подобного не предпринял. Пусть идёт всё, как оно идёт. Я стал верить в судьбу, в закономерное чередование везений и невезений, и если во дни юности я дерзко пытался подействовать на ход своей жизни, изменить его, то сейчас мне это часто кажется святотатством. В конце концов все серьёзные перемены в моей жизни, кроме поступления в артучилище, от меня не зависели — и через все из них я прошёл цел и невредим, благословляя многие из них. И я уверен, что судьба не покинет меня и в дальнейшем. Может быть, такая вера в судьбу — начало религиозности? Не знаю. До того, чтобы поверить в бога, я, кажется, ещё далёк. Но и материальные блага жизни стал ценить не так жадно, как раньше. Много наблюдаю за своими поступками и чувствами и стараюсь различать меж них хорошие и дурные. Не знаю, насколько мне это удаётся. Но знаю, что всякие неурядицы в моей жизни способствуют этому различению».

Эти строки Санина «ненаглядная девочка» будет позже трактовать как фиаско капитана Солженицына, оказавшегося неспособным на фронте узнать простой народ, ибо этот народ только «обслуживал» командира и в другом качестве его не интересовал. «Эти люди не жили для него своей самостоятельной, собственной внутренней жизнью» (а как же

военные блокноты, где всю войну он записывал рассказы сослуживцев, вникал в их судьбы?). А теперь он и сам стал частью простого народа, рабочим (а не универсантом, офицером, математиком), человеком, как тысячи других, «со своими маленькими, почти ничтожными возможностями». Похоже, что *такой* Саня уже не интересовал жену — доцента Рязанского сельхозинститута, завкафедрой химии, члена Менделеевского общества, концертмейстера (Наташа аккомпанировала студенческому хору и солистам). Ведь теперь, напишет Решетовская, их разделяло не только время, но и пространство: в первом же письме из лагеря Саня писал, что видеться им не придётся.

«Постепенно к ощущению этой географической отдалённости присоединилось ещё и чувство другой отдалённости, которая объяснялась не только тем, что письма Сани были редки, но и тем, что писал их человек каких-то совсем других настроений, совсем новый для меня Саня. Я знала своего мужа как человека, активно вмешивающегося в свою жизнь. А тут он сообщает, что мог бы написать на старое место работы, где когда-то обнаружил, насколько крепки его математические "оленьи рога", и его, вероятно, взяли бы... Но... стоит ли? Как это было несвойственно ему раньше! Вместо буйной воли — пассивное ожидание: будь что будет... Смирение... Покорность судьбе... Фатализм... В редких письмах из Экибастуза стал проступать уже какой-то совсем другой человек. Этот человек мог вызвать ещё больше сочувствия, но не мог уже в той степени, как раньше, поддерживать во мне то внутреннее горение, без которого жизнь теряла краски. Саня становился для меня всё более ирреальной фигурой, далёким любимым образом. Образом-воспоминанием, образом-надеждой. Но... образом». Потом и образ стал расплываться и таять: «Он сам уже не воспринимался мной как живой человек во плоти и крови... Призрак...»

За полгода, с весны по начало осени 1950 года, Саня получил от жены всего одно письмо и несколько открыток с малозначащими фразами. И будучи вовсе не призраком, а человеком с воображением, вскоре (пространство, их разделяющее, не помешало) почувствовал неладное. «Стал за последнее время как-то странно видеть тебя во сне — смотришь на меня каким-то чужим взглядом, разговариваешь с неприязнью, такая злая, какой ты никогда не была и даже представить нельзя, чтобы стала. Сегодня (23 августа 1950 года. — *Л. С.*) приснилось, будто ты играешь с кем-то в шахматы, я подошел приласкать тебя и что-то спросить, а ты буквально процедила что-то сквозь зубы и сухо попросила отойти, не ме-

пать. Я проснулся с горлом, сжатым от боли и со слезами на глазах. Отчего такое — навалились на меня эти сны?»

Ясный ответ был не за горами.

«Судьба в течение жизни посылает нам знаки. На это судьба со мной не скупилась», — напишет А. И. десятилетия спустя. Знаки, которые судьба явила ему после Марфина, надо было прочесть и понять. Наташа (с 1949 года находившаяся в стадии развода с мужем-заключённым) восприняла новый поворот его судьбы как нечто, не имеющее с её жизнью ничего общего: ей было не по пути с *призраком* и его каторжными нарами. Она писала ему, что вот-вот должна получить комнату или две в новом доме, который её институт строит для своих преподавателей, и тогда перевезёт из Ростова в Рязань свой рояль. Где барак, а где рояль... Их брачный союз (десятилетний юбилей случился в конце апреля 1950-го, в последние марфинские недели) подходил к неизбежному финалу.

Менее всего, однако, Саня винил в том жену — ведь она не лишила его помощи. Наташа, её мама и тёти оставались единственными близкими людьми, кто принимал участие в его теперешней жизни. После смерти матери в 1944-м и нескольких лет заключения, видя искреннюю и щедрую заботу со сторону тёщи, он стал называть её (в письмах) *мамой*, *мамочкой*. Дом, которого у него не было с войны ни в одной точке пространства, и чувство дома, почти всегда травмированное в каждом обитателе тюрьмы, связывались у Сани только с женой и её родными. Где Наташа, там и дом — так думалось и верилось ему вплоть до Экибастуза и ещё какое-то время в Экибастузе. И теперь, когда его жизнь гарантировалась лишь семьюстами граммами хлеба, когда он снова (как в первый год заключения) сильно зависел от продуктовых посылок, Наташа его не оставила. Сама отправлять посылки из Рязани не хотела — всё бы очень быстро узналось в институте. Она высылала деньги в Ростов семидесятилетней тёте Нине, а та старательно, как для родного сына, собирала для Сани посылку: сало, сахар, сухари, лук, чеснок, иногда колбаса, сухофрукты, печенье, бытовые мелочи. Подписывала посылки своим именем, а продукты покупал и относил ящики на почту Павел, муж старшей Наташиной кузины. Саня отвечал подтверждающими открытками — они были не в счёт двух разрешённых ежегодных писем.

«Посылки ваши для меня — источник жизни», — благодарно писал Саня жене в декабре 1950-го. Позже Наташа трактовала эти слова в том смысле, что спасла его от голодной смерти. «Благодаря посылкам, — возражал А. И. (2001), — я мог удлинять время бодрствования (не сна). То есть про-

снуться пораньше в выходной день, удлинив время, когда я мог сочинять. Посылки подкрепляли меня физически, можно было немного перекусить и работать, не спать. Посылки спасли меня не от смерти. У нас в Экибастузе никто не умирал от голода. Посылки спасли мне не жизнь, а больше чем жизнь, то есть возможность работать. Посылки обеспечили мне мое творчество».

И главное: ради творчества он пожертвовал налаженным бытом Марфина и в конечном счете семьёй. Он мог бы удержаться на шарашке, принять новые правила игры, загрузив мозг математикой, и так продлить иллюзию семейных отношений. Но тогда надо было надолго (а может, и навсегда) запереть в голове, замуровать в сердце «своё», не дать ему даже сочиниться. И он сознательно выбрал вместо всего остального — «своё».

«Купил я дорого стихов свободное теченье, / Права поэта я жестоко оплатил! — / Всю молодость свою мне отдавшей бесплодно / Жены десятилетним одиночеством холодным, / Непрозвучавшим кликом неродившихся детей...» — эти строки «Дороженьки» ясно говорили о его выборе. Поворот 1950 года был осознанным, только пресловутое *буйство воли*, которого стало не хватать Решетовской в муже-зэке, называлось теперь твёрдостью воли.

«Именно с того дня, когда я сознательно опустился на дно и ощутил его прочно под ногами, — это общее, твёрдое, кремнистое дно, — начались самые важные годы моей жизни, придавшие окончательные черты характеру. Теперь, как бы уже ни изменялась вверх и вниз моя жизнь, я верен взглядам и привычкам, выработанным там». Девиз: *не верь, не бойся, не проси* — как генеральный принцип лагерного бытия означал привычку обходиться малым, быть готовым к гибели, не смиряться с угнетателями.

Общее, твёрдое, кремнистое дно Солженицын ощутил в Экибастузе с первых дней. «В начале своего лагерного пути я очень хотел уйти с общих работ, но не умел. Приехав в Экибастуз на шестом году заключения, я, напротив, задался сразу очистить ум от разных лагерных предположений, связей и комбинаций, которые не дают ему заняться ничем более глубоким. И я поэтому не влачил временного существования чернорабочего, как поневоле делают образованные люди, всё ожидающие удачи и ухода в придурки — но здесь, на каторге, решил получить ручную специальность».

Двадцать пять новоприбывших зэков сбились в бригаду, несколько дней считались чернорабочими, но скоро среди них объявились мастера, а другие охотно стали подмастерь-

ями. Так, учась у западных украинцев, Солженицын обрёл специальность каменщика. Бригада работала на жилом объекте, строила дома для вольных; кладка получалась хорошая, и начальство, заметив качество, перебросило каменщиков на зону, строить БУР. «Так, на позор наш, мы стали строить тюрьму для себя».

Эта мысль страшно угнетала Солженицына-каменщика. Своими руками, порой даже увлекаясь работой, привыкая к мастерку, он строит тюрьму в тюрьме, барак усиленного режима — для себя, куда он может угодить в случае непокорства или неосторожного слова*. В те дни было сочинено стихотворение «Каменщик», заканчивавшееся горьким восклицанием: «Боже мой! Какие мы бессильные! / Боже мой! Какие мы рабы!» Не потому рабы, что добросовестно работали и клали кладку аккуратно, надёжно — так, чтобы тюремную стену нельзя было разрушить будущим узникам. А потому что бригада, строившая тюрьму, получала дополнительную кашу, и каменщики не швыряли её в лицо начальнику, а съедали. И ведь уже сидели в отстроенном крыле БУРа товарищи, и швырял конвой на каменный пол камер избитых безумцев, решившихся на побег в безлюдной степи, чтобы бить ещё и не давать им ни есть, ни пить. «Что испытываешь ты, раб, глядя вот на этих, искромсанных и гордых? Неужели подленькую радость, что это не меня поймали, не меня избили, не меня обрекли?»

Всё же им довелось испытать чувство совсем другого рода. «Всякий удачный побег — это великая радость для арестантов. Как бы ни зверел после этого конвой, как бы ни ужесточался режим, но мы все — именинники! Мы ходим гордо. Мы-то умнее вас, господа псы! Мы-то вот убежали!»

Но побег Солженицына из каторжного лагеря, его несанкционированный гулажьим начальством выход на волю состоялся при иных обстоятельствах. Тюрьма и каторга вымолили тот дар, который бился в нём с ранней юности и которому он собирался посвятить жизнь. Но мало ли талантов угасало, скисало, сникало — в прислужничестве, самоцензуре, житейской суете? «Лучшие из писателей подавили

---

* «Однажды, когда мы строили БУР, туда повели заключённого. Зэк попросил карандаш; и я со стены кинул ему свой огрызок; мне можно было иметь карандаш, но нельзя было его в БУР передавать. Зэк схватил, но тут же надзиратель карандаш у него отобрал, а меня засёк, и объявил, что даёт мне трое суток карцера. Я ждал в течение двух, трёх недель, каждую минуту, что меня выдернут в карцер, но такая была тугая очередь, мы же не достроили БУР, и там было ограниченное количество камер, что попасть в карцер мне так и не пришлось» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2001 год).

в себе лучшее и отвернулись от правды — и только так уцелели сами и книги их», — напишет он.

Жестокое, однако, это было «вызволение». Освободился дар не писательства, а сочинительства, которое, не имея выхода на бумагу, рвало сердце, теснило память, приговаривалось к немоте и загонялось обратно в воспалённый мозг. Вечное сосредоточение в самом себе — состояние, жизненно необходимое для литературного занятия. Обращённость на себя в условиях тюремно-лагерных — лучший способ убегания от горькой действительности, опробованный ещё узником Омского острога Достоевским. Так же как и его знаменитая «тетрадка каторжная», лагерное сочинительство Солженицына было невидимым, но прочным щитом, владение которым преображало мрачную реальность. Само наличие рождённых строк, их физическое бытие — в памяти или в потаённом хранении — превращали зону мрака и немоты в объект зоркого художественного наблюдения. Ибо зэк, который терпит унижения и лишения, и тот же зэк, который упорно копит впечатления, запоминает и, когда повезёт, тайно записывает, — два принципиально разных существа.

И Солженицыну, одному из многих тысяч, судьба подарит эту исключительную честь: рассказать об изобретении арестантского телеграфа — «внимание, память и встречи»; сформулировать универсальную заповедь зэка: «Пусть будет путевым мешком твоим — твоя память. Запоминай! запоминай! Только эти горькие семена, может быть, когда-нибудь и тронутся в рост». Он сложит гимн памяти — единственной *заначке*, где только и можно держать написанное, проносить его сквозь обыски и этапы. Поэма, которая писалась с марфинских времен, щедро вознаграждала подпольного поэта, помогая не замечать свои телесные немощи. «Иногда в понуренной колонне, под крики автоматчиков, я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху, — скорей туда, на *объект*, где-нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен и счастлив». Перед *убеждённым беглецом* (так в лагерях называли зэков, которые, в силу своей человеческой природы, не могли не бежать, любой ценой, дорожа даже часом свободы), каким стал в Экибастузе Солженицын, вынашивающий тайные замыслы, были бессильны решётки на окнах, ряды колючей проволоки, вышки, заборы и засады.

Всю осень и зиму Солженицын пробыл на стройке. Много лет спустя он поймёт, чтó дал ему как писателю опыт тачки с цементом. «Я в 50-м году, в какой-то долгий лагерный зимний день таскал носилки с напарником и подумал: как

описать всю нашу лагерную жизнь? По сути, достаточно описать один всего день в подробностях, в мельчайших подробностях, притом день самого простого работяги, и тут отразится вся наша жизнь. И даже не надо нагнетать каких-то ужасов, не надо, чтоб это был какой-то особенный день, а — рядовой, вот тот самый день, из которого складываются годы. Задумал я так, и этот замысел остался у меня в уме, девять лет я к нему не прикасался». «Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там всю историю лагерей, — а достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё».

Замысел, который родился у Щ-232 на строительстве БУРа, станет самой великой *заначкой* русской прозы XX века.

Литература Солженицына создавалась на лесах, на каменной кладке — ложилась листком на кирпич, в промежутках между пустыми и полными носилками с раствором. Потаённое творчество имело вид мелких бумажных комочков с двадцатью строками, которые автор выдавал, если находили при обыске, за чужое фронтовое стихотворение, за пьесу для художественной самодеятельности и даже за отрывок из поэмы «Василий Тёркин» — благо имя Твардовского было на слуху. Так — чудом! — были спасены от расправы и сам сочинитель, и его стихотворные вещи — кусок из «Пира Победителей», весь «Каменщик», строки «Прусских ночей». Но даже и бесформенным комочкам нельзя было доверить фамилию, дату, суть события, а надо было шифровать, сокращать до буквы, ставить прочерки. И надо было запоминать километры строк, тренируя память с помощью спичек и чёток. «Меня обыскивали, считали, гнали в колонне по степи — а я видел сцену моей пьесы, цвет занавесов, расположение мебели, световые пятна софитов, каждый переход актёра». Писатель, скрывавший факт своего писательства и свою причастность к Тайне, будто находился в долгом, далёком, не обнаруживаемом побеге. «Я жил как во сне, в столовой сидел над священной баландой и не всегда чувствовал её вкус, не слышал окружающих, — всё лазил по своим строкам и подгонял их, как кирпичи на стене».

Спустя много лет Солженицын скажет: «Я стал достоверным летописцем лагерной жизни». Казалось, в его положении («букашка мироздания, ничтожный зэк, член последнего сословия, бесправнее колхозника») нельзя было быть дальше от главной жизненной цели. Но получилось, что в этом именно положении нельзя было оказаться ближе к ней. «Лагерное существование, оно как бы меня повернуло. С од-

ной стороны, оно как будто увело меня от магистральной темы, которую я хотел разрабатывать, от истории нашей революции, но с другой стороны, наоборот, это, как говорится, был Божий указ, потому что лагерь направил меня наилучшим образом к моей главной теме. Через лагеря, которые меня отвлекли по годам, по силам, и могли кончиться моей смертью, через это меня ввело в самое русло моей главной темы».

Вспоминает Панин: «С наступлением тепла Солженицын начал читать наизусть своё первое произведение — поэму "Дорога" («Дороженька». — *Л. С.*). Мы собирались под вечер, рассаживались на телогрейках, на подсохшей земле и с восторгом слушали. Память у Солженицына была гигантской, так как по объёму его произведение было в два с лишним раза больше "Евгения Онегина", в котором около 5400 стихотворных строчек. Чтобы не сбиться и ничего не пропустить, Саня откладывал каждый стих на чётках, которые ему подарил кто-то из западных пареньков». Солженицын помнит другой эпизод: «Зимой 51-го я писал уже "Пир Победителей" и весной прочёл его доверенным лицам. Как-то в выходной день мы легли крестообразно на траве на брюхе, головами друг к другу, так что видны подходы со всех сторон. Павел Баранюк, бригадир-каменщик, Панин и Киреев, молоденький поэт. Ещё один раз я читал отдельно двоим — Юрию Карбе и пожилому поляку-художнику. Это 1951 год и моя первая аудитория».

Панин полагал, что Солженицыну следовало поставить памятник при жизни, изобразив его в тёмном бушлате и офицерской ушанке каменщиком в момент передыха на кладке стены из черного мрамора. «Шея замотана вафельным полотенцем, лицо сосредоточено, взгляд устремлен вдаль, губы шепчут стихи, в руках чётки. Так читал он нам каждую неделю новые строфы всё возрастающей поэмы». Больше всего слушателей поражало то, что поэт слагал её сразу в уме, почти никогда не прибегая к бумаге, ибо риск попасться был огромным. «Однажды вечером, — вспоминал Панин, — он потерял листок, на котором всё же что-то записал, и не обнаружил его в бараке. Всю ночь он проворочался на жёстком ложе, с первым ударом подъёма был уж у двери и, выскочив, проделал наиболее вероятный маршрут, который восстановил в памяти. О диво! Листок, исписанный его столь характерным почерком, попал в расщелину между камнями на дороге. Саня занимался творчеством в обстановке слежки и регулярного надзора и, попадись этот клочок бумаги в лапы надзирателя, было бы создано лагерное дело. В это время Саня выходил ещё ежедневно на ра-

боту в качестве каменщика. Мы были горды тем, что в нашей среде формируется писатель огромного калибра, так как это уже тогда было ясно».

Сам писатель оценивал свои сочинения более скромно, чем его первые слушатели. Сотни и тысячи стихотворных строк были данью обстоятельствам, а не жанру. «В лагерные годы, лишённый возможности хранить написанное дольше нескольких часов, от обыска до обыска, я по необходимости писал только в стихотворной форме, чтобы наскоро заучить, а бумагу сжечь. Всё написанное в те годы, естественно, не считаю достижением поэтическим, но многие мысли и чувства тех лет сохранились только в этой форме». Заучивание наизусть, использование чёток с метрической системой (он их носил в рукавице, и если находили при обыске, говорил, что молится, а это не возбранялось; к тому же шарики круглые, не острые, не оружие, нельзя порезаться, никому не мешают) и спичек («на пересылках наламывал спички обломками и передвигал») расширили память до невероятных размеров. «Под конец лагерного срока, поверивши в силу памяти, я стал писать и заучивать диалоги в прозе, маненько — и сплошную прозу. Память вбирала! Шло. Но больше и больше уходило времени на ежемесячное повторение всего объёма заученного — уже неделя в месяц».

«Ожерелье моё, сотня шариков хлебных, / Изо всех пропастей выводящая нить! / Перебором твоим цепи строк ворожебных, / Обречённых на смерть, я успел сохранить. <...> / Проносил в рукавице, уловка поэта! / Не дойди до тебя я усталым умом, / Было б меньше одною поэмой пропето, / Было больше б одним надмогильным холмом». Стихотворение «Хлебные чётки» (1950) — взволнованная благодарность поэта своей тайной лире.

Ни единого слова, ни даже полунамека на то, что здесь, в каторжном лагере, он, поэт и *убеждённый беглец*, обретает крылья и вылетает на вольный воздух, Солженицын написать жене не мог. За весь 1951 год до неё дошло одно Санино письмо, мартовское, и в нём он представал отрезанным от мира, далёким, почти чужим человеком, будто с другой планеты. Описывал свой быт, местный климат, холодную зиму, которую чудом пережил, не заболев и не обморозив рук; сетовал на отсутствие радио, а значит, и музыки — от неё он был теперь совершенно оторван. Опять про словарь Даля... Скучно...

Жене, однако, стоило бы обратить внимание на странную для каторжника фразу: «Сейчас я верю в себя и в свои силы всё пережить... Я на личном опыте понял, что внешние обстоятельства жизни человека не только не исчерпыва-

ют, но даже не определяют собой, даже не являются главными в его жизни». Быть может, эти слова показались ей пустым бодрячеством, за которым нет никакой реальности: свидания в каторжном лагере были невозможны, приезжать ей туда не было никакого смысла, он писал, что думать о будущем незачем, ибо это расслабляет, и надо искать смысл существования в сегодняшнем дне.

И Наташа, наконец, решилась изменить свою жизнь, ответив на ухаживания коллеги, доцента-химика Всеволода Сомова, десятью годами старше, недавнего вдовца и отца двух мальчиков 7 и 12 лет. Даже узнав правду (которую она доселе упорно скрывала) о муже-заключённом, Сомов не отступился, а лишь усилил напор. «Они с моей мамой почувствовали друг к другу большую симпатию. Мама предложила ему заходить к нам. Мама относилась к В. С. с большой теплотой. Она боялась моего неизвестного будущего с Саней». Вскоре коллега-химик, специалист по комбикормам для свиноматок, действительно стал в жизни Решетовской «реальным человеком», как она отныне называла их отношения. Сведения о Сане в анкетах были окончательно закреплены за графой о бывшем муже, и нужно было срочно возобновлять хлопоты по расторжению брака. Она долго молчала, тянула, медлила написать «бывшему», что он и в самом деле уже бывший. Только летом 51-го, после полугодового молчания, послала ему из Кисловодска, где была в отпуске, странное, на полстраницы, невнятное, начатое через силу и оборванное на полуслове письмо. Ещё через полгода он получил поздравление к тридцать третьему дню рождения — жена желала ему «счастья *в его* жизни».

«Не буду себя ни оправдывать, ни винить. Я не смогла через все годы испытаний пронести свою “святость”. Я стала жить реальной жизнью».

Но жизнь имеет обыкновение радикально изменять реальность, особенно мнимую. В феврале 1951 года доцент Решетовская получила две смежные комнаты с подселением в трёхкомнатной квартире преподавательского двухэтажного деревянного дома (1-й Касимовский переулок, 12, кв. 3, позже ул. Урицкого, 17), где вместе с ней стала жить мама — и коллега-химик в качестве супруга (их брак никогда не регистрировался).

Судьба, однако, распорядится так, что всего через восемь лет здесь будет написан «Один день Ивана Денисовича». Истинной реальностью окажутся зимний лагерный день, носилки с раствором и гениальный замысел одного политического зэка.

Глава пятая

УРАГАННЫЙ ГОД: БУНТ И БОЛЕЗНЬ

С лета 1951 года в жизни Экибастузского лагеря повеяло чем-то новым и доселе неведомым: такое, по слухам, происходило только в Особлагах. Сравнивая общие и каторжные лагеря, Солженицын неизменно высказывался в пользу каторги. Общие лагеря Нового Иерусалима и Калужской заставы в «Архипелаге» названы *крысиным миром*, где царила грызня: каждый норовил урвать лучший кусок и выжить за счёт другого, по блатному принципу «умри ты сегодня, а я завтра». В крысятниках не бывает помощи, взаимовыручки, там не может созреть общественный протест. Другое дело — Особлаги. «Сгоняя Пятьдесят восьмую в Особлаги, Сталин почти забавлялся своей силой. И без того они содержались у него как нельзя надёжней, а он сам себя вздумал перехитрить — ещё лучше сделать. Он думал — так будет страшней. А вышло наоборот». Анализируя причины краха ГУЛАГа, который начался с Особлагов, Солженицын пишет: «Вся система подавления... была основана на *разъединении* недовольных; на том, чтоб они не взглянули друг другу в глаза, не сосчитались — сколько их; на том, чтобы внушить всем, и самим недовольным, что никаких недовольных нет, что есть только отдельные злобствующие обречённые одиночки с пустотой в душе. Но в Особых лагерях недовольные встретились многотысячными массами. И сосчитались. И разобрались, что в душе у них отнюдь не пустота, а высшие представления о жизни, чем у тюремщиков, чем у их предателей; чем у теоретиков, объясняющих, почему им надо гнить в лагере».

«Особлаговец, — вторит Солженицыну Панин, — быстро начинал себя чувствовать членом большой зэковской семьи, в которой хоть и не без урода, но замечательных людей тоже хватает, у них есть чему поучиться, их можно и следует послушать».

Страх и подозрительность вождя и созданного им режима в начале 1950-х достигли апогея. Всё свирепее ставились ограды вокруг лагерей, всё злее натренированные на людей овчарки; колючая проволока многими кольцами опутывала зону и предзонники, между заборами распахивалась земля, чтобы на ней отпечатывались следы беглецов; строились каменные изоляторы с сырыми холодными карцерами, а также БУРы, где содержались жертвы стукачей.

Всё и началось с расправ со стукачами, когда эпоха *побегов* сменилась эпохой *мятежей*. «В излюбленное время — в

пять часов утра, когда бараки отпирались одинокими надзирателями, шедшими отпирать дальше, а заключённые ещё почти все спали, — мстители в масках тихо входили в намеченную секцию, подходили к намеченной вагонке и неотклонимо убивали уже проснувшегося и дико вопящего или даже не проснувшегося предателя. Проверив, что он мёртв, уходили деловито. Они были одеты в масках, и номеров их не было видно, — спороты или покрыты. Но если соседи убитого и признали их по фигуре — они не только не спешили заявить об этом сами, но даже на допросах, но даже перед угрозами теперь не сдавались, а твердили: нет, нет, не знаю, не видел».

Рубиловка — так называлось это в лагере — становилась почти публичной, могла произойти в любое время суток, даже среди бела дня, на глазах у всех. На пять тысяч зэков Экибастуза уничтожена была дюжина стукачей* — и атмосфера лагеря ощутимо менялась. «Внешне мы как будто попрежнему были арестанты и в лагерной зоне, на самом деле мы стали свободны — свободны, потому что впервые за всю нашу жизнь, сколько мы её помнили, мы стали открыто, вслух говорить всё, что думаем! Кто этого перехода не испытал, — тот и представить себе не может!»

Стукачи, боясь ножа, замкнули рты, осведомители бездействовали, воздух очищался от подозрений, лагерное начальство осталось без ушей и без глаз. Зэки осмелели настолько, что отказывались идти по вызову опера для бесед. И уже не бригада, сколоченная администрацией, объединяла людей, а совсем другие связи. В Экибастузе складывались национальные центры с уважаемыми лидерами, и так началось невиданное в ГУЛАГе явление: бригады оставались те же, их было столько же, только *стало не хватать бригадиров*: место, куда рвалась толпа соискателей, вдруг потеряло свою привлекательность. Бригадиры и прорабы отказывались от должностей; стукачи, очередные в списке мстителей, сами просились в БУР — спрятаться от расправы. «Это была новая и жуткова-

* «Стукачи, — писал Панин, — были самыми страшными и опасными врагами. Чекист без стукача бессилен. Количество заключённых, уничтоженных вследствие предательства, провокаций и клеветы, огромно и сравнимо лишь с погибшими от искусственно созданного в лагерях голода. Ни блатные, ни комендатура, ни надзорсостав, ни сами чекисты без помощи стукачей не смогли бы нанести и малой части того урона, который был обеспечен их деятельностью. Около лагерной больницы находился барак, заполненный чахоточными молодыми людьми, заработавшими болезнь в карцерах, в основном, зимой. Все они были жертвами стукачей. Из-за них были переполнены карцер, изолятор, бур. Чувство мести и ненависти против них накопилось и ждало лишь выхода».

то-весёлая пора в жизни Особлага! Так-таки не мы побежали! — *они побежали*, очищая себя от нас! Небывалое, невозможное на земле время: человек с нечистой совестью не может спокойно лечь спать! Возмездие приходит не на том свете, не перед судом истории, а ощутимое живое возмездие заносит перед тобой нож на рассвете. Это можно придумать только в сказке: земля зоны под ногами честных людей мягка и тепла, под ногами предателей — колется и пылает!»

В лагере началось движение за избрание бригадиров снизу: вновь избранный брался за дело по поручению и с согласия работяг, переставал быть силой в руках начальства, представлял бригаду. В начале лета 1951 года бригадиром (вместо Панина, который устроился в конструкторское бюро мехмастерских) стал Солженицын. «Я, — вспоминал Панин, — считал себя обязанным устроить другу временную передышку, которая позволяла ему отдаться творчеству». Так после года общих работ наступила недолгая пауза. Каменный БУР был достроен и обнесён крепким забором, но тот стыд, который испытывал Солженицын, принуждённый учиться ручной профессии на строительстве «буревестника», непредвиденно уступил место ликованию: злополучная тюрьма, нацеленная на честных зэков, стала принимать и прятать от праведной мести — стукачей, прорабов-кровопийц и бригадиров-держиморд. Труд поэта-каменщика не стал проклятым!

Солженицын назовёт 1951 год временем укрепления духа и вызревания конфликтов с лагерным начальством, которое жаждало реванша. Теперь политических зэков называли «бандитами», а их движение — «бандитизмом», на них пытались давить всеми возможными мерами. То перевели весь лагерь на штрафной режим (барак, как тюрьма, под замком, пища и параша в бараке, выход на зону под конвоем). Но страдало производство, надзиратели целый день бегали по зоне с ключами, при этом мстители оставались неизвестны и акции отмщения продолжались. Штрафной режим оказался бесполезен. Потом приказали строить огромную саманную стену, разгораживающую большую зону для пока неведомой, но, несомненно, подлой цели. Несколько раз начальство пыталось спровоцировать резню между зэками разных вер и национальностей, натравив, например, западных украинцев («бандеровцев») на мусульман. Не вышло. А то вдруг устраивали спектакль — фотографирование якобы на новые документы, по которым вскоре начнётся пересмотр дел, а там не за горами и освобождение. Фотограф щёлкал на пустую камеру, липовая комиссия вкрадчиво интересовалась, где з/к хочет обосноваться после лагеря — од-

нако, ненадолго взволновав легковерных, затея провалилась. Зэки сопротивлялись надзирателю, когда тот приходил в барак брать: *не пойду,* — говорил зэк. И не шёл (в БУР, изолятор или карцер). «И поняли волки, что мы уже не прежние овцы. Что хватать им теперь надо обманом, или на вахте, или одного целым нарядом. А из толпы — не возьмёшь. И мы, освобождённые от скверны, избавленные от присмотра и подслушивания, обернулись и увидели во все глаза, что: тысячи нас! что мы — *политические*! что мы уже можем *сопротивляться*!» Они поняли, насколько верно было избрано то звено, выдернув которое, можно было развалить всю цепь: стукачи! доносчики! предатели! «Наш же брат и мешал нам жить. Как на древних жертвенниках, их кровь пролилась, чтоб освободить нас от тяготеющего проклятия».

То движение, которое зрело в Экибастузе весь год, Солженицын назовёт революцией. В предгрозовой её атмосфере всё громче были слышны угрозы, всё злее ругань, всё чаще и опаснее стычки. Панин описывает случай, когда конвой, не досчитавшись в мастерских одного человека, потребовал, чтобы все заключённые, уже ушедшие в цеха, вернулись назад, за ворота вахты. Бригадиры отказались выполнять команду, предложив пересчитать людей на рабочих местах. Один из бригадиров был вызван на вахту для объяснений — там и прозвучало: «контрреволюционный саботаж». Но бригадир ответил: «Мы революционеры, не вы. Мы борцы с вашим тюремным фашизмом. Хватит вам тридцать четыре года считать себя революционерами. Раз вы против нас — то вы настоящая контра. Зарубите себе это на носу». Начальник конвоя приказал солдатам скрутить злодея, но тот расшвырял их как котят и выскочил за дверь. И ему не выстрелили в спину.

Противостояние достигло крайнего напряжения, и каждая сторона думала об одном: что будет дальше? кто начнёт первый? откуда ждать удара? Было понятно, что инициатива, а также военная сила, организация, материальные ресурсы — всё на стороне лагерной администрации. А чего могли ждать бесправные, пусть и осмелевшие зэки? И не только ждать, но и добиваться? Чего они могли добиться? Смягчения режима (спороть позорные номера, иметь свидания и регулярную переписку, получать зарплату) или политических перемен (нормальный рабочий день, пересмотр дел)? Даже если особлаговцы и были революционерами, то ведь не настолько же, чтобы требовать отмены ГУЛАГа.

Медленно обдумывалась та единственная форма протеста, на которую мог решиться политический лагерь: забастовка. Слово это по-прежнему было страшилкой, термином из лек-

сикона про классовую борьбу, синонимом мятежа. Данники советской идеологии, з/к предполагали даже, что моральное право бастовать даст им только их решимость голодать. Думали-гадали, но не успели — охрана нанесла удар первой.

«Тихенько и уютно встретили мы на привычных наших вагонках, в привычных бригадах, бараках, секциях и углах — новый 1952 год. А в воскресенье 6 января, в православный сочельник, когда западные украинцы готовились славно попраздновать, кутью варить, до звезды поститься и потом петь колядки, — утром после проверки нас заперли и больше не открывали. Никто не ждал! Подготовлено было тайно, лукаво!»

Началась *пересортировка*. Пять тысяч заключённых были разделены четырёхметровой стеной, которую сами и построили: по одну сторону собрали две тысячи западных украинцев, самых опасных бунтарей, по другую — всех остальных: русских, прибалтов, кавказцев, евреев, поляков, молдаван, немцев. Пока формировали бригады, устраивались в бараках, налаживали связи — было не до забастовок. Но замысел начальства имел цель не только развалить общий фронт протеста и выследить руководителей, но и отделить украинцев-бунтарей от БУРа (он остался на русском лагпункте), куда стали бросать подозреваемых в резне, чтобы стукачи в своей «камере хранения» снимали допросы с применением пыток.

Крики и стоны пытаемых, услышанные в бараках по соседству, и подняли людей на бунт: вечером после работы без всякой подготовки зэки двинулись на БУР, стали сбивать решетки с окон в камере стукачей, подкатили к окну бочку с горючим и плеснули в камеру ведра три. И тут заговорили пулемёты. Солженицын со своей бригадой находился в столовой, когда началась стрельба: вышка палила по безоружным людям, не знавшим, в чём дело. «По усмешке судьбы это произошло по новому стилю 22-го, а по старому — 9 января, день, который ещё до того отмечался в календаре торжественно-траурным как *кровавое воскресенье*. А у нас вышел — кровавый вторник».

Пулемёты строчили по зоне наугад, пули пробивали стены бараков и ранили не тех, кто штурмовал БУР, а кого попало, не разбирая фамилий. Штурмующие, так и не успев поджечь нужную камеру, разбежались и укрылись в бараках, иные, напротив, из бараков выбежали и бродили по зоне, пытаясь понять что к чему. А на зону уже входил взвод автоматчиков конвоя, паля наугад; за ними рассвирепевшие надзиратели с железными трубами и дубинками. «У входа в наш барак образовалась губительная толкучка: зэки стреми-

лись скорей втолкнуться, и от этого никто не мог войти (не то чтоб досочки барачных стен спасали от выстрелов, а — внутри человек уже переставал быть мятежником). Там у крыльца был и я. Хорошо помню своё состояние: тошнотное безразличие к судьбе, мгновенное безразличие к спасению-неспасению. Будьте вы прокляты, чтó вы к нам привязались? Почему мы до смерти виноваты перед вами, что родились на этой несчастной земле и должны вечно сидеть в ваших тюрьмах? Вся тошнота этой каторги заняла грудь спокойствием и отвращением. Даже постоянная моя боязнь за носимые во мне поэму и пьесу, нигде ещё не записанные, не присутствовала во мне. И на виду той смерти, что уже заворачивала к нам в шинелях по зоне, нисколько я не теснился в дверь. Вот это и было — главное каторжное настроение, до которого нас довели. Дверь освободилась, мы прошли последние. И тут же, усиленные помещением, грохнули выстрелы. Три пули пустили нам в дверь вдогонку, и они рядышком легли в косяк. А четвёртая взбросилась и оставила в дверном стекле круглую маленькую дырочку в нимбе мельчайших трещин».

Вспоминает свидетель мятежа, венгр Янош Рожаш: «Вечером 22 января 1952 года я после ужина отправился не в свой барак, а в гости к Тибору Бенке. Инженер Карбе, тоже заглянувший на огонёк, взял книгу из тумбочки Солженицына и углубился в чтение. Я перелистывал газету. Внезапно началась беспорядочная автоматная пальба. В неё вплелись пулемётные очереди. Мы поначалу решили, что где-то поблизости у военных идут стрельбы, но в барак ворвались его запыхавшиеся обитатели и сообщили, что зэки штурмуют тюрьму, разнося в щепки лагерный забор, и что вызваны солдаты: они дают автоматные очереди, пока поверх голов... Дело принимало серьёзный оборот. Любой ценой мне надо было попасть в свой барак, чтобы быть в положенном месте при любом развитии событий. Но не успел я выскочить за дверь, как Тибор молча втянул меня за руку и втащил обратно, и в ту же секунду по стене снаружи полоснули из автоматов. Потом стрельба стихла. В окно было видно, как по двору двигались надзиратели во главе с плечистым буйволом Дуганом и молотили железными прутьями всех, кто попадался под руку. Зэков загнали в бараки, на их железных дверях появились массивные замки. Всем было приказано немедленно раздеться и лечь: за неподчинение — пуля без предупреждения! К счастью, в бараке оказалось свободное место, как раз над бригадирским. Я разделся и юркнул на нары, укрывшись одолженными мне бушлатами. Но сердце мое сжалось, когда в бараке появились начальник режима

Мачеховский, старший надзиратель Дуган и ещё один надзиратель, круглолицый казах. Замешкавшихся в коридоре Дуган "обрабатывал" своим железным прутом. Когда же эта страшная компания удалилась, все продолжали лежать тихо, боясь нового вторжения. А утром они явились снова. Первым делом спросили у бригадира, все ли на месте. Солженицын ответил, что отсутствующих нет. На счастье ему не пришлось отвечать на вопрос, нет ли в бараке посторонних».

Те бараки, где никто не пострадал, где не было убитых и раненых и где не знали о размерах беды, вышли на работу, в их числе бригады мехмастерских. Остальные отказались. «Гадко было на работе в этот день в наших мехмастерских». Но уже вечером стало понятно — завтра не пойдёт никто не только на работу, но и в столовую: забастовка и голодовка вместе. Наутро (24 января) ни одна бригада не вышла из бараков: люди лежали на нарах одетые, обутые и молчали.

Участник мятежа Панин: «В бараках были зачитаны требования заключённых к администрации лагеря: вызов республиканского прокурора, прекращение непрерывных репрессий, наказание виновников пыток в изоляторе. Три тысячи зэков остались в бараках, не пошли в столовую и за хлебом, наотрез отказались работать. Надзиратели лебезили, уговаривали, но из задних рядов их обзывали палачами, убийцами, спрашивали, не устали ли они, добивая раненых. Ушли они не солоно хлебавши».

Участник мятежа Солженицын: «Это тихое единое неповиновение власти — никому никогда ничего не прощавшей власти, упорное неподчинение, растянутое во времени, казалось страшнее, чем бегать и орать под пулями... Голодовку объявили не сытые люди с запасами подкожного жира, а жилистые, истощённые, много лет каждодневно гонимые голодом, с трудом достигшие некоторого равновесия в своём теле, от лишения одной стограммовки уже испытывающие расстройство. И доходяги голодали равно со всеми, хотя три дня голода необратимо могли опрокинуть их в смерть. Еда, от которой мы отказывались, которую считали всегда нищенской, теперь во взбудораженном голодном сне представлялась озёрами насыщения. Голодовку объявили люди, десятилетиями воспитанные на волчьем законе... И вот они переродились, вылезли из вонючего своего болота и согласились лучше умереть всем сегодня, чем ещё и завтра так жить».

Те, кто получал посылки, снесли свои скудные припасы (всё, что находилось в каптёрках, было недоступно) в общую кучу; еду делили на всех, по кусочку и крошке. Три дня сидения взаперти (из бараков выходили только дневальные —

вынести парашу, принести питьевую воду и уголь) казались бесконечными и бесполезными: безнадёжностью веяло от голодного мятежа. Было, однако, в этом отчаянии и что-то высокое: «Голодало наше брюхо, щемили сердца — но напитывалась какая-то другая высшая потребность».

Свидетельствует Панин: «В первый день повара и пекаря вышли на работу, но сваренную еду пришлось из котлов вёдрами вынести на помойку. Связь между бараками поддерживали ребята, доставлявшие уголь. Они передали поварам требование больше не готовить. Трубы пищеблока перестали дымиться, лагпункт производил грозное впечатление. Дни были морозные, безветренные, дым из бараков образовывал подобие серых длинных свечей. В зоне ни души. Тишина!»

«Этих трёх суток нашей жизни никому из участников не забыть никогда», — скажет Солженицын.

Но пройдёт четверть века, и окажется, что эти трое суток продолжают волновать воображение не только участников мятежа. Вот «Информация КГБ при Совмине СССР “О враждебной деятельности Солженицына и падении интереса к его личности за рубежом и в СССР”» (4 января 1976 года). В секретной папке — отчёты о продвижении на Запад «*выгодных* материалов и документов», где Солженицын показан с «нужной» стороны. Среди авторов — Решетовская, Виткевич, Каган, с ними проведены беседы. Среди документов — «донос Ветрова». Фантом, под воздействием спецусилий, ожил и двадцать четыре года спустя после событий в Экибастузе взял в руки перо. По «документу» выходило, что 20 января 1952 года агент «Ветров», втёршийся в доверие к зэкам-украинцам, написал донесение в оперчасть («куму»), где сообщал, что 22 января заключённые собираются поднять восстание. «Для этого они уже сколотили надёжную группу, в основном, из своих — бандеровцев, припрятали ножи, металлические трубки и доски». «Ветров» просил «кума» обезопасить его от расправы уголовников, «которые в последнее время донимают подозрительными расспросами».

Фотокопия «доноса» с наложенной наискосок резолюцией и служебными пометами (чтоб было видно, как усердно работали с бумагой) должна была, по замыслу составителей, способствовать «падению интереса к личности Солженицына в СССР и за рубежом» — с этой целью фальшивку подбрасывали западным печатным изданиям. Реакция Солженицына будет мгновенной: 24 мая 1976 года газета «Лос-Анджелес таймс» опубликует отклик А. И. под заголовком: «Советской пропаганде нечем ответить на “Архипелаг”». «Ещё никогда власти нашей страны не проявляли та-

кой смехотворной слабости, отсутствия опоры, чтоб обвинить своего врага в сотрудничестве... с ними самими!» «За 14 лет моих публикаций весь бездарный пропагандный аппарат СССР и все его наёмные историки не смогли ответить мне никакими аргументами или фактами, потому что ни мыслей, ни фактов у них нет, всегда одна ложь. Теперь КГБ по своей жульнической ухватке приготовил фальшивку, помеченную 1952 годом, — будто я тогда доносил чекистам о революционном лагерном движении... Для этого при содействии моей бывшей жены использовали комплект моих писем к ней лагерного периода (этими письмами КГБ уже тайно торговал на Западе, копии в моих руках) и, насколько могли, старательно подделали мой почерк того времени. Но, оставаясь на своём уровне, спущенном от людей к обезьянам, они не смогли подделать образа выражений и самого меня. Это различит всякий *человек*, кто читал “Ивана Денисовича” или “Круг”, или положит “Архипелаг” рядом с их жалкой клеветой. Сочинители фальшивки допустили просчёты и в лагерных реалиях. Третий том “Архипелага” передаёт огненный дух тех дней экибастузского мятежа, к которым осмелилось теперь приурочить свою подделку КГБ. Будет время — обретут свободный голос и мои солагерники того времени, украинцы, — высмеют они эту затею и расскажут о нашей истинной дружбе».

Провокация 1976 года, в которую были вовлечены чех Ржезач и немец Арнау*, была воспринята на Западе с брезгливостью и очевидным отвращением («советская власть демонстрирует свою способность на любую низость»), так что авторы дезы постарались замять дело. Да и «документ» был состряпан с таким грубым искажением реальных событий, что терял смысл при первом же обращении к хронике. 20 января Солженицын уже никак не мог встретиться на зоне с украинцем Мегелем (будто бы рассказавшим русскому приятелю о плане восстания), потому что все украинцы уже две недели как находились взаперти за высокой стеной, и готовиться к штурму БУРа (который остался на русском лагпункте) они никак не могли. Оставался без ответа и вопрос: почему на свет явился только один донос «Ветрова»? Где

---

* В 1976 году швейцарский журналист П. Холенштейн сообщил Солженицыну, что в Москве и Восточной Германии существует целое собрание «документов», наподобие «доноса Ветрова», на основе которых криминолог Франк Арнау готовит разоблачительную книгу. Арнау предложил Холенштейну 25 тысяч швейцарских франков за участие в публикации, но тот отказался, усомнившись в подлинности бумаг. Предложение журналиста провести экспертизу почерка Арнау не принял.

были следы его «деятельности» за предыдущие шесть лет и за многие последующие годы?

Но пройдёт ещё четверть века, и фальшивка вновь понадобится. Реанимировать «Ветрова» и обвинить Солженицына в стукачестве, повесив на него расстрел украинских повстанцев (число которых с годами выросло в разы), показалось «выгодным» критикам его книги «Двести лет вместе» — видимо, в расчёте на то, что свидетелей-экибастузцев не осталось и что «нейтрализовать» писателя можно будет старым способом. «Донос Ветрова» (та же самая фотокопия со «служебными» пометами) был напечатан (март 2003 года) в американском «Новом русском слове». Демократичнейшая из газет не постеснялась осведомиться о подлинности «архивной находки»... в само́м «секретном архиве»: экспертом выступил генерал Ф. Д. Бобков, бывший начальник 5-го (идеологического) управления КГБ СССР. Порочащие Солженицына публикации, авторитетно заявил Бобков, не сфальсифицированы, но появились не со стороны КГБ, а связаны с неким человеком, «который рылся в старом деле Солженицына и что-то оттуда вытащил». Как ведомство Бобкова могло допустить в свой секретный архив «некоего человека», разрешить ему не только рыться, но и стащить документ взрывной силы, генерал объяснять не стал. Сбежавший на Запад другой генерал КГБ, Олег Калугин (к нему тоже обратилось «Новое русское слово»), ответил, что Бобков лжёт, и порочащие Солженицына материалы появились в американской печати с подачи *конторы*. Впрочем, редакция газеты вполне цинично заявила: «С какой стати мы должны верить генералу Калугину, а не генералу Бобкову?»

Но клевета опять бесславно захлебнулась.

Свидетель мятежа В. Левенштейн (США): «После окончания моего лагерного срока я отбывал ссылку в Экибастузе. В начале 1952 года я работал механиком и часто бывал в мехмастерских, где работали заключённые. Там я встречался с А. И. Солженицыным, Ю. В. Карбе, Ю. Н. Киреевым и Л. А. Гроссманом (Цезарь Маркович в “Одном дне Ивана Денисовича”). Я бывал в зоне, где монтажом кислородной станции руководил Д. М. Панин (Сологдин в “Круге первом”), и в жилой зоне лагеря, где дотягивал свой длинный срок мой одноделец и ближайший друг А. С. Гуревич. Мне довелось быть свидетелем расстрела жилой зоны автоматчиками охраны. И я, и Киреев (оставшиеся в живых экибастузцы. — *Л. С.*) помним события зимы 1952 года так, как они были описаны в “Архипелаге ГУЛАГе” и в книге Панина “Лубянка-Экибастуз”. Западные украинцы-бандеровцы про-

вели в лагере героическую акцию, очистив лагерь от "стукачей". Взятые в карпатских лесах, эти люди пришли с опытом партизанской войны и против немцев, и против советских. Они привыкли к конспирации и были безжалостны к врагам. В конце 1951 года, когда начались массовые убийства стукачей, начальство стало строить высокий забор из самана, разделивший всю территорию лагерей на зоны. Зэки называли забор "Великой китайской стеной". И в первых числах нового 1952 года, то есть за две недели до расстрела заключённых в зоне и последовавшей забастовки, всех западных украинцев 2000 человек поселили в отдельной зоне. Штабной барак и БУР остались на "русской" половине. В БУРе, помимо сбежавших туда стукачей, начальство содержало подозреваемых в убийствах. Начальство боялось само пытать этих людей. Их отдали на расправу стукачам. Бригады пришли с работы, услышали крики пытаемых в БУРе людей и бросились штурмовать БУР. Западные украинцы в этом не участвовали. Охрана открыла огонь по людям в зоне. После обстрела зоны с вышек русский лагпункт отказался выходить на работу и принимать пищу. Украинская половина лагеря забастовку не поддержала и на работу вышла. Я хорошо помню, как простаивали без работы мехмастерские, а на строительстве ТЭЦ работали украинские бригады».

О том, как в 2003-м ответит на клевету Солженицын — речь впереди. Здесь лишь напомним одну деталь: «В самом главном месте фальшивки — провальный для гэбистов просчёт: "донос" на украинцев пометили 20 января 1952, цитируют "сегодняшние" якобы разговоры с украинцами-зэками и их "завтрашние" планы, но упустили, что ещё 6 января *все до одного* украинцы были переведены в отдельный украинский лагпункт, наглухо отделённый от нашего, — и на их лагпункте вообще никакого мятежа в январе не было, а к стихийному мятежу российского лагпункта 22 января — не имели они касательства, не участвовали и близко».

В интересах клеветы два имени, Солженицын и «Ветров», должны были связаться вечным узлом: окликаешь одного — отзывается другой. Поэтому и внедрялся аргумент от Ржезача, будто слезть с крючка органов и отделаться от двойника Солженицыну было невозможно: бумага из сейфа опера на Калужской заставе неминуемо должна была последовать за «Ветровым» по всем маршрутам. Солженицын отвечал: «В пределах ГУЛАГа — может и так, только из лагерька на Калужской заставе меня перемещали *не внутригулаговским* "спецнарядом", меня "распоряжением министра внутренних дел" выдернули *вне* системы ГУЛАГа — в Отдел

Спецтехники МВД, куда собирали специалистов из лагерей, — и поражённое начальство уже через два часа отправило меня прочь из лагерной зоны — в Бутырки».

Показательно, как клевета выбирала время действия. Никто не тревожил тень «Ветрова», пока Солженицын безвестно жил в Рязани, а потенциальные жертвы «Ветрова» один за другим выходили на свободу и могли призвать доносчика к ответу. Никто не вспоминал о фантоме, когда был написан «Иван Денисович» и его автор стал известен на весь свет: ему писали письма сотни бывших зэков. Никто не хватался за голову, когда выстрелил «Архипелаг» с эпизодом вербовки. Никто не суетился, чтобы *немедленно* вскрыть секретные архивы и обличить двойника, вытащив из особых папок десятки (или сотни) его донесений. Нет. Но вот явилась надобность *нейтрализовать враждебную деятельность Солженицына*, и, как чёртик из табакерки, выскочил «Ветров» со своей липовой бумажкой.

«Моя душа совершенно чиста, — пишет Солженицын. — Ни от моих односидчиков на шарашке (ни, кстати, и от Виткевича, там же сидевшего), ни в Особлаге — я никогда не встречал обиды, упрёка или подозрения, но только полное, неизменное доверие — как в грозные годы Экибастузского лагеря (1951—1952), когда стукачи валом валили спасаться за каменными стенами у начальства, а бригадиры бежали со своих должностей, ставших опасными, — я же, по просьбе моих товарищей из мехмастерских, перешёл с каменщика в их бригадиры, и оставался им до исчерпания нашего мятежа в январе 1952 года».

Обиды, упрёки, подозрения бывших одноклассников и солагерников появлялись позже, по причинам иного свойства, но — увы! редко кто не пользовался случаем бросить тень на общее прошлое. Такой, например, была и обида Льва Копелева. «Особую, личную боль, — писал он А. И. в 1985-м, — причинило мне признание о “Ветрове”. В лагерях и на шарашке я привык, что друзья, которых вербовал кум, немедленно рассказывали мне об этом. Мой такой рассказ ты даже использовал в “Круге”. А ты скрывал от Мити и от меня, скрывал ещё годы спустя. Разумеется, я возражал тем, кто вслед за Якубовичем утверждал, что, значит, ты и впрямь выполнял “ветровские” функции, иначе не попал бы из лагеря на шарашку (но ведь Копелев, Панин и Виткевич попали на шарашку из лагерей и тюрем не потому, что были сексотами! — *Л. С.*). Но я с болью осознал, что наша дружба всегда была односторонней, что ты вообще никому не был другом, ни Мите, ни мне». Однако Солженицын, не

боясь передать беспоследственный «ветровский» эпизод в мировую гласность, не скрыл его и от товарищей, а рассказал, как он утверждает (2006), о вербовке и соседу по Бутыркам Семёнову, и Копелеву с Паниным на шарашке в Марфине.

Но главное: даже если не нашлось бы ни одного свидетеля в пользу истины, не осталось бы в живых ни одного экибастузца, кто мог бы опровергнуть ложь, и оклеветанный Солженицын не успел бы сам написать в свою защиту горькие и гневные строки — одно существование «Архипелага» перевесило бы все поклёпы и пасквили. *Такие* книги, по закону о гении и злодействе, не даются людям с нечистыми руками, мутной душой и двойным дном: и это — если верить, что Слово имеет духовное измерение, — самый неотразимый аргумент в арсенале защиты.

...Итак, трое суток (24, 25 и 26 января) экибастузского мятежа голод рвал когтями желудки бастующих зэков. Трое суток в бараках лежали убитые и стонали раненые. То и дело забегало начальство и пыталось договариваться: обещали выдать пайку сразу же в момент прекращения забастовки и даже вернуть хлеб за предыдущие дни. Зэков *просили принять пищу*, обещали разобраться и устранить причины конфликта. Трое суток зэки были подчинены общему чувству солидарности, вопреки разуму и трезвому расчёту. «Этот взлёт я ясно ощущал на себе. Мне оставалось сроку всего один год. Казалось, я должен был бы тосковать, томиться, что вмазался в эту заваруху, из которой трудно будет выскочить без нового срока. А между тем я ни о чём не жалел. Кобелю вас под хвост, давайте хоть и второй срок!..»

Связные сообщили тяжёлую новость: украинцы не поддержали русских забастовщиков и вышли на работу, рассудив, что с москалями им не по пути. Из бараков, где были инвалиды и доходяги, шли просьбы прекратить голодовку: силы на исходе. Панин призывал заключённых своего барака не сдаваться: благополучные бригады не должны прекращать протест раньше всех. «Кончить голодовку мы можем, только вырвав у прокурора и начальства согласие удовлетворить наши требования. Потом обещания, конечно, нарушат, но победа всё равно будет одержана нами. Победа даст нам право добиваться улучшений, и тогда сами репрессии будут слабее. Для начальства любого ранга каждый день нашего протеста может обернуться трагедией всей их жизни». Солженицын, сосед Панина по нарам, был рядом, когда тот произносил речь; Саня сказал потом, что это лучший день в жизни товарища, который, рискуя получить новый срок, обретал голос истинного борца.

Когда к вечеру третьего дня наблюдатели увидели из окон, как тянутся к столовой ослабевшие зэки, мало кто мог сдержать слёзы. 27 января, в воскресенье, всё было кончено. Никого не гнали на работу, столовая кормила, отдавала хлеб за прошлые дни, начальство принимало жалобы (был поставлен стол посреди лагеря на линейке), бараки не запирались, по зоне передвигались. «Все ходили из барака в барак, рассказывали, у кого как прошли эти дни, и было даже праздничное настроение, будто мы выиграли, а не проиграли ("Пир Победителей", — пошутил Панин, уже знавший мою пьесу.)».

На следующий день, после отбоя, собрали бригадиров — якобы для предъявления жалоб: держать лагерь во взвешенном состоянии больше было невозможно. Это, однако, была ловушка: людей вызывали на откровенный разговор, но перебивали, запутывали, переспрашивали фамилии, записывали, чтобы потом прицельней наказать. «Предвестием репрессий» назовёт собрание бригадиров Панин. В предбаннике, за длинным столом, разместилось с десяток офицеров, своих и приезжих. Бригадир Солженицын понял, что *полканы* уселись здесь вовсе не для сбора жалоб. А как хотелось сказать им всё то, что было пережито и передумано за годы заключения и дни голодовки! Но... «Один год остался мне и давит. И язык мой не вывернется сказать им то, что они заслужили. Я мог бы сказать сейчас бессмертную речь, — но быть расстрелянным завтра». Но — удалось взять темп, заставить себя слушать и завоевать тишину для других. И люди говорили горячо, взволнованно. «Может быть, это всё на погибель нашу, ребята... А может быть, только от этих ударов головой и развалится проклятая стена». Совещание закончилось вничью: начальство, заботясь о целости своих голов, не стало подводить под бунт антисоветской подкладки, а посчитало его «волынкой», то есть массовым хулиганством.

Это был последний день бригадирства Солженицына. 29 января А. И. обратился в санчасть (она находилась в русском лагпункте). «У меня быстро росла запущенная опухоль, операцию которой я давно откладывал на такое время, когда, по-лагерному, это будет "удобно". В январе и особенно в роковые дни голодовки опухоль за меня решила, что сейчас удобно, и росла почти по часам». О характере опухоли больной и лагерные доктора тогда могли только догадываться.

Панин: «При разделении нашего лагпункта тюремный изолятор остался на нашей половине, а больница — на другой. Оттуда под конвоем приводили врачей для осмотра больных, а на излечение переводили на украинский лагпункт.

Солженицына уже несколько месяцев мучила опухоль. Время шло. Вначале врачи колебались в диагнозе, затем разделили лагпункты и произошли грозные события. Наконец Саня добился перевода в больницу и в начале февраля покинул нас. Наша четырёхлетняя жизнь под общим кровом, в теснейшем общении, окончилась».

Когда в санчасти нащупали опухоль с крупный мужской кулак, больного под конвоем отвели на украинский лагпункт — он стал первым, кто попал туда после голодовки. Хирург-зэк Янченко, который должен был оперировать, жадно расспрашивал о мятеже, и больной радовался, что доктор разделяет страдания восставшего лагеря. Солженицын лежал среди раненых и зверски избитых, и рядом с ним люди умирали от потери крови и тяжёлых ран.

Тем временем началась расправа. Сначала аресты, как пожар, вспыхнули на русском лагпункте, затем перекинулись к соседям. Янченко, готовивший Солженицына к операции, был схвачен накануне ночью, уведён в тюрьму, а потом на этап. Через несколько дней в больницу доставили другого хирурга, тоже зэка, немца Карла Фёдоровича Дониса, и 12 февраля он сделал операцию. А через неделю, 19-го (больной едва мог ноги спускать с кровати), стали собирать этап человек в семьсот «бунтарей», куда включили сотни украинцев, хотя они и воздержались от помощи москалям. В тех списках был и Солженицын* — начальница санчасти дала согласие отправить больного с незажившими швами на этап особого режима: на выходе из лагеря зэков заковывали в наручники. «Я — чувствовал и ждал, как придут — откажусь: расстреливайте на месте! Всё ж не взяли»**. Зато взяли, прямо из жилого барака, не дав обойти больных, хирурга Карла Фёдоровича. Доктор только успел крикнуть, уже стоя с вещами на линейке, а Солженицын — услышать через окно: «Запомните! Это очень важно! Срез вашей опухо-

---

* «Одному из заключённых, Раппопорту, велели переписать (скопировать) список, и он увидел, что там из всего этапа два или три человека были вычеркнуты, в том числе и я. То есть я уже был вписан, а потом вычеркнут. Наверное, потому что срок кончался; обычно малосрочников не перемещали» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2001 год).

** Рассказ героя «Ракового корпуса» Костоглотова, унаследовавшего историю болезни автора романа, дополняет картину. «Мадам Дубинская дала согласие. Дала согласие, зная, что я ходить не могу, что у меня швы не сняты, вот сволочь!.. Ну, я твёрдо решил: ехать в телячьих вагонах с неснятыми швами — загноится, это смерть. Сейчас за мной придут, скажу: стреляйте тут, на койке, никуда не поеду. Твёрдо! Но за мной не пришли. Не потому, что смилостивилась мадам Дубинская, она ещё удивлялась, почему меня не отправили. А разобрались в учётно-распределительной части: сроку мне оставалось меньше года».

ли я направил на гистологический анализ в Омск, на кафедру патанатомии».

Ещё через неделю, 26 февраля, Солженицына выписали из больницы, и вскоре, 1 марта, он писал домой: пропавшее ноябрьское письмо 1951 года образовало в переписке с родными годовую паузу. Впервые за многие годы он обращался не прямо к жене, а безымянно: «Мои милые и дорогие». «Болезнь моя не была неожиданностью, много лет была у меня одна опухоль, которая по сути дела не тревожила, и я относился к ней беспечно, а лучше было бы, если бы я побеспокоился раньше. Но с лета прошлого года она стала расти быстрее. Я всё думал, что обойдётся, что если операция окажется необходимой, то сделаю её после окончания срока, и только в январе она стала расти столь быстро, что откладывать дальше было опасно. В последних числах января я лёг в больницу, а 12 февраля эту опухоль (она была в паху) мне вырезали. Операция длилась около получаса под местной анестезией, прошла благополучно и осложнений не дала».

Он успокаивал родных — опухоль не опасна, так как она «не имела спаек с окружающими тканями и сохраняла до самого момента операции подвижность и капсуловидную замкнутость и потому не могла дать метастазов, то есть выбросов своей ткани в соседние». Так объяснил больному доктор Донис, так повторял вслед за ним Саня, уверяя, что рана уже зажила, что ходит он нормально и что через неделю, если его не переведут в другое место, выйдет на работу. Он писал сдержанно, отрешённо, не очень даже понимая, кто же из Решетовских будет читать письмо — о том, что уже два года не слышал музыки, что книги попадаются редко (за год прочёл стихи Баратынского, прозу Герцена, «Лунный камень» Коллинза, романы Гончарова, пяток пьес Островского, немного Чехова и Щедрина), что в декабре и январе отпускал бородку, а ложась в больницу — сбрил, что зимой долго было тепло и не случилось ни одного бурана. О том, как в Экибастузе вспыхнул мятеж, он, разумеется, написать не мог.

Письмо, надо полагать, не слишком взволновало Наташу. Как раз весной 1952-го она, уже больше не колеблясь, оформляла развод, занималась «полной перестройкой своей жизни» и писем Сане уже давно не писала. «Вероятно, это было малодушием, которому я искала оправдание в том, что в его лагере всё равно нет женщин, а потому в его судьбе ничто не может в этом смысле измениться... Быть может, так постепенно, сперва заподозрив недоброе, он легче примет то, что произошло». Но шёл последний год срока, и Саня настойчиво добивался прозрачности. «Мне хотелось бы

как-нибудь ещё в этом году рассеять ту неясность, которая создалась у меня в отношении дочери, — писал он 14 марта 1952 года, обращаясь к Решетовским-старшим. — Её редкие и чрезвычайно неопределённые письма ставят меня в тупик — изменились её чувства ко мне или нет?» Он спрашивал у тёщи, у тёть, может ли он рассчитывать на приезд жены к нему, если он, выйдя из лагеря и оглядясь на месте, позовёт её к себе? Он просил разъяснить нынешнее положение Наташи и её намерения. Летом ему удалось отправить ещё одно письмо, умоляя Решетовских ответить, что́ с Наташей. Он недоумевал, почему они все упорно молчат, на его вопросы отвечают уклончиво и почему она сама не пишет ни слова. Только в сентябре сердобольная тётя Нина (продолжавшая скрупулёзно комплектовать посылки и снабжать Саню всем необходимым) написала: «Наташа просила Вам передать, что Вы можете устраивать свою жизнь независимо от неё».

Но и это разъяснение не достигло цели — Саня, сочтя его туманной отговоркой и обращаясь уже прямо к жене, просил прояснить ситуацию в недвусмысленных выражениях. «Что случилось? Действительно непоправимо? Или только кажется тебе таким? Мы уже разведены, ты вышла замуж, ты живёшь с новым мужем? Или у тебя было какое-то несчастливое увлечение — и оно кончилось или не кончилось? Раскаяние ли в совершившемся и представление, что оно неизгладимо, толкают тебя на отречение, а на самом деле ты одинока сейчас?» Он уверял, что если кто-то третий прошёл через её жизнь и уже ушёл, ничем не связав, всё можно исправить. Он даже вообразил, что его бедная девочка настолько изнурена недомоганием, что физические страдания нанесли её здоровью необратимый ущерб, и потому она решила остаться наедине со своим несчастьем, мнительно изобретя причины разрыва (ей предстояла операция по поводу фибромы). Он призывал её открыться, довериться ему, честно написать полную правду. Какой бы ни была эта правда, Саня обвинял только себя — за то, что исковеркал её молодость и принёс ей так мало радости. «От всего сердца желаю твоему измученному телу — здоровья, твоей исстрадавшейся душе — покоя и счастья, со мной или не со мной — как будет лучше для тебя... Я буду молиться за тебя и желать тебе ничем не омрачённого счастья, если ты не найдёшь пути ко мне назад».

Пути к Сане его жена в тот момент не нашла, написав, что у неё есть семья, и это — её настоящее. Переписка оборвалась, он получил, наконец, определённость и свободу, до

которой, впрочем, надо было ещё дожить и доработать. То был томительный, тупой год — последний год срока в каторжном лагере и последний сталинский год на Архипелаге. Мятеж кончился ничем, буйных вождей увезли, и после огненного, ураганного порыва наступала скука безрадостной работы. Солженицын не вернулся на должность бригадира, чтобы не быть на виду, сам попросился в литейное производство, подсобником, и попал на тяжёлую физическую работу, в жаркий цех. Там, полагал Солженицын, он и заработал метастазы: вдвоём с напарником приходилось носить литье, по 75 килограммов на каждого, и разливать его в формы. Работать приходилось много — начальство лагеря ввело хозрасчёт, можно было немного заработать (на ларёк, на дополнительное питание). А так как расчёт велся по бригадам, надо было тянуться за товарищами, чтобы не лишить их заработка.

В апреле, неожиданно, Солженицын был вызван в оперчасть лагеря, и следователь предъявил ему бумагу от одного из районных отделений госбезопасности Москвы — о том, что в связи со следствием, начатым против Симоняна, поручается допросить з/к Солженицына. Что известно ему об антисоветских настроениях Симоняна? Подтверждает ли он свои показания 1945 года?

Никаких показаний Солженицын не подтвердил, заявив, что все разговоры о молодёжной группе являются вынужденной ложью, и Симоняна он знает как безупречного советского патриота. Но и этот мимолётный эпизод усилиями заинтересованных сторон разрастётся до гигантских размеров. Через привычный срок в 25 лет, как по заказу, возникнет история, согласно которой Симоняну, действительно вызванному в 1952 году к следователю госбезопасности, было предложено ознакомиться с некой объёмистой тетрадью. И якобы в ней на пятидесяти двух пронумерованных страницах содержался написанный в Экибастузе донос Солженицына на близкого друга, где доказывалось, что с детства Кирилл был настроен враждебно к властям, духовно и политически разлагал друзей и подстрекал их к антисоветской деятельности.

Решетовская (1975): «То ли в 57-м, то ли в 58-м году я узнала от Лиды, что Кириллу давали читать какие-то Санины показания против него. Кира был возмущён их содержанием... Смысл всего написанного сводился к следующему: Кирилл Симонян — враг народа, непонятно почему разгуливающий на свободе». По следу Решетовской шёл Ржезач (1978) и, стараясь придать истории с тетрадкой оттенок уд-

ручающей достоверности, цитировал стенограмму своей беседы с Симоняном*. «Вы должны написать объяснение», — якобы сказал следователь Симоняну, когда тот прочёл документ. Симонян написал полстранички и вместе со следователем горячо осудил автора тетрадного текста за неблаговидный поступок. «Да он просто дрянь-человек», — сказал про Солженицына, в изложении Ржезача, следователь, отпустив уважаемого доктора Симоняна на все четыре стороны и наплевав на общую тетрадь с грозными обвинениями. И вся эта идиллия, согласно версии Симоняна-Ржезача, имела место в свирепейшем 1952 году.

«Допустим, не мог ты догадаться, — обращаясь к Симоняну, писал Солженицын в «Зёрнышке», — что в ГБ таких тетрадок и писать не дают, а каждая фраза должна быть вывернута самим следователем. Допустим, ты и предположить не мог, что почерки подделываются. Но знал ты отлично, что сажают по малому клочку, — и не удивился, что тебя по пятидесяти двум страницам не посадили? Да и было ли там 50, они бы сами не стали надрываться больше страничек трёх. А может: только похлопали по стопочке издаля? перед носом помахали? — приём известный... Получивши от меня ноль, гебисты (того истинного протокола тебе не показали, конечно?), очевидно, хотели взять тебя блефом — а ты легко глотнул ядовитый крючок».

«Да где ж та тетрадь? приведите же эти нигде, никогда, никем, в том числе и Ржезачем, ни словом не цитированные 52 страницы! — И эту грубую дичь усердно пробуют повторить и теперь, спустя четверть столетия», — вынужден будет написать Солженицын в 2003-м, когда застарелая ложь про апрельский эпизод 1952 года (где-то ведь действительно хранится подлинный протокол того допроса?) прикинулась свежей и убийственной сенсацией.

...Той душной, тяжёлой весной, после мятежа и операции, когда, выйдя из больницы, Саня недосчитался многих своих друзей, угнанных на этап, он задумывался о ближайшем будущем — где придётся жить, чем заниматься после лагеря, и много размышлял о своём прошлом и о себе са-

* В предсмертном признании, которое оставил Симонян и которое, согласно его воле, было предано гласности, история с тетрадкой названа «постыдным фактом его жизни». Симонян корил себя, что под давлением «вежливых людей», которые пришли к нему в середине семидесятых, он написал, как в дурмане, «какую-то пакость для распространения за рубежом»; рассказал, как приезжал к нему Ржезач — «мразь, кагэбэшник, говно» — и «играл с ним в постыдные игры». Когда дурман рассеялся, признавался Симонян, он «спохватился, и хоть в петлю».

мом. В нём происходила сложная духовная работа, о которой десятилетия спустя он будет вспоминать благодарно и растроганно. А тогда, лёжа на больничной койке в палате, он, как хлебные чётки, перебирал свою жизнь, нащупывая и находя в ней моменты вины, греха, падения. Проступков, мелких и крупных, набиралось достаточно; Саня много думал о матери, проникаясь чувством вины перед ней, вспоминал эпизоды, когда вёл себя не лучшим образом. Он казнил себя, что допустил — а ведь мог, мог пресечь! — расстрел случайной немки на шоссе в Восточной Пруссии (у неё из сумки выпали фотографии жениха в форме СС). И не остановил Соломина, когда тот, мстя за расстрелянных родителей, увёл в лес какого-то пожилого немца и убил его. «И тогда б — довольно слова!.. / И тогда я близко был...» — писал Солженицын в «Прусских ночах»: эта глава «Дороженьки» уже была в Экибастузе. Болезнь удивительным образом вызвала в больном угрызения совести, подготовила к раскаянию, будто кто-то спешил позаботиться прежде всего о выздоровлении его души.

Он назовёт это настроение *чувством возвращения веры*. По своей лагерной привычке он укладывал чувства в рифмованные строки — о том, как надменный мозг, нагруженный книжным знанием, затмил веру, впитанную с детства; как, пройдя меж бытием и небытием, падая и вставая, поэт благодарно учится находить высший смысл в каждом изломе своей жизни. «И теперь, возвращённою мерою / Надчерпнувши воды живой, — / Бог Вселенной! Я снова верую! / И с отрекшимся был Ты со мной...» Он сравнивал себя с неопытным купальщиком, которого сильная волна сбивает с ног и выбрасывает на берег — так и его ударами несчастий Судьба возвращает на земную твердь. На ту дорогу, которой он и должен был идти с самого начала, но с которой в упоении молодости, власти и силы легкомысленно свернул, вообразив себя непогрешимым, самоуверенным, а значит, злым и жестоким. «На седьмом году заключения я перебрал свою жизнь и понял, за что мне всё: и тюрьма, и довеском — злокачественная опухоль. Я б не роптал, если б и эта кара не была сочтена достаточной. Кара? Но — чья?»

Теперь он знал ответ на этот вопрос. И как же должна была удивиться (а может быть, и поморщиться?) Наташа Решетовская, когда в марте 1952-го она получила письмо от Сани, только что вышедшего из лагерной больницы. «Усвоенная мной за последнее время уверенность в Божьей воле и Божьей милости облегчила мне эти дни...» Вопреки правилам атеистической орфографии, впервые за два десятиле-

гия он свидетельствовал о своей обретённой вере перед листком бумаги, лагерной цензурой и женой, для которой, впрочем, этот Бог (или всё же бог?) был очередным чудачеством её бывшего мужа*.

...В Экибастузе заключённых часто водили мимо школы. Беготня детей, светлые платья учительниц, школьное крыльцо и дребезжащий звонок казались Солженицыну недостижимым раем. «Таким счастьем вершинным, разрывающим сердце, казалось: вот в этой самой экибастузской бесплодной дыре жить ссыльным, вот по этому звонку войти с журналом в класс и с видом таинственным, открывающим необычайное, начать урок». В феврале 1952 года Саня получил от Решетовских посылку с учебниками арифметики и геометрии. Хотя будущее виделось ему в совершенном тумане, он надеялся (вдруг сошлют в такое место, где можно будет преподавать школьную математику) как следует подготовиться — ведь со времени учительства в Морозовске минуло двенадцать лет. Его по-прежнему тянуло в глушь, поближе к природе, но где окажется эта глушь, в какой части страны — он не знал даже приблизительно, да и загадывать не хотел. Была идея изучить геодезию — у одного зэка, который освобождался с ним вместе, имелся учебник (Саня будет штудировать его всю дорогу из Экибастуза). И была ещё задача — довезти до места, где бы оно ни было, двенадцать тысяч строк, которые сидели в памяти.

За три года из трёхтысячного экибастузского лагеря (русской зоны) не освободили ни одного зэка — ни у кого не кончался срок. Когда же за ворота вышли первые несколько человек, остальные с нетерпением ждали вестей — действительно ли они вышли на свободу или же попали из огня да в полымя? И выяснялось, что почти всех отвезли в ссылку, хотя никакой ссылки в приговоре ни у кого не стояло. Не было этого пункта и в приговоре Солженицына. Но с мыслью о ссылке за годы каторжного лагеря он вполне сжился, ведь только ссылка, то есть принудительное место жительства, была надёжным, «законным» местом пребыва-

* «Я вернулся бы к вере во всяком случае — за пределами лагеря или в лагере, — писал Солженицын в середине 70-х. — Просто лагерный опыт открыл мне глаза раньше. Лагерь самым радикальным образом обескровливает коммунизм. Идеология там полностью исчезает. Остаётся, во-первых, борьба за жизнь, затем открывается смысл жизни, а затем Бог». И тогда же: «Я вернулся к своему исходному состоянию, обогащённый новым жизненным опытом. Это не было открытие пути веры, но восстановление того, что в каждом заложено, от рождения, и что с детства у меня было, но затмилось от марксизма... Вся лагерная жизнь постепенно возвращала основу духовного бытия».

ния и освобождала бывшего з/к от ошибочных решений. «Только в этом единственном месте изо всего Союза не могли попрекнуть нас — зачем приехали. Только здесь мы имели безусловное конечное право на три квадратных аршина земли. А ещё кто выходил из лагеря одиноким, как я, не ожидаемым нигде и никем, — только в ссылке, казалось, мог встретить бы родную душу».

А его и в самом деле не ждал никто и нигде. Ни в одной точке страны не было у него дома — вообще ничего материального; с ним ехали только том Даля и алюминиевая ложка, которую он сам отлил в литейке. Срок заключения заканчивался 9 февраля 1953 года, и, отсидевший от звонка до звонка, Саня радовался, что его передержали всего четыре дня. Он *выходил* за ворота экибастузского лагеря точно так, как до этого перемещался с Лубянки в Бутырки, из Бутырок — на Красную Пресню, оттуда в лагерь Нового Иерусалима и на Калужскую заставу, потом в Рыбинск, Загорск и Марфино, потом снова в Бутырки и на пересылку. То есть — на этап.

Новый этап (пребывание Солженицына в Экибастузе официальные инстанции назовут «использованием на работе в тресте "Иртышуглестрой"») начался 13 февраля 1953 года, на вокзале Экибастуза: с чемоданом и вещмешком, в сопровождении конвоя, Солженицын и ещё несколько человек, выпущенных из лагеря, были посажены в поезд. «И замелькали опять Павлодарская, Омская, Новосибирская пересылка. Хотя кончились наши сроки, нас опять обыскивали, отнимали недозволенное, загоняли в тесные набитые камеры, в воронки, в арестантские вагоны, мешали с блатными, и так же рычали на нас конвойные псы, и так же кричали на нас автоматчики: "Не оглядывайсь!!"»

И текло уже время *после срока*, ссыльное время.

Глава шестая

ССЫЛКА НАВЕЧНО. ЧУДО ВОЗВРАЩЁННОЙ ЖИЗНИ

Испытал ли з/к Щ-262 хмельную радость, когда ворота лагеря захлопнулись за ним и лоскуты с номерами более не надо было нашивать ни на шапку, ни на куртку, ни на штаны, ни тем более на истёртую фронтовую шинель, дождавшуюся таки своего хозяина? Ощутил ли, ликуя, что мечта о ссылке, казавшаяся спасением, наконец исполнилась, и теперь он обретает право передвигаться один, а не в колонне, и может при ходьбе смотреть во все стороны, а

не только прямо перед собой, размахивать, если захочется, руками, а не сцеплять их за спиной, забыть про регламент побудки, оправки и отбоя? Чувствовал ли душевный подъём от мысли, что скоро будет писать письма по любым адресам и в неограниченном количестве?

Представить себе восторженные чувства у только что выпущенного из лагеря *бронированного сына ГУЛАГа* как-то затруднительно. В «Архипелаге» Солженицын раскроет коренную мировоззренческую черту зэческого племени — стойкое самозащитное равнодушие. «Фатализм даже необходим зэку, потому что он утверждает его в его душевной устойчивости. Сын ГУЛАГа считает, что самый спокойный путь — это полагаться на судьбу. Будущее — это кот в мешке, и не понимая его толком, и не представляя, чтó случится с тобой при разных жизненных вариантах, не надо слишком настойчиво чего-то добиваться или слишком упорно от чего-то отказываться, — переводят ли тебя в другой барак, бригаду, на другой лагпункт. Может, это будет к лучшему, может, к худшему, но во всяком случае ты освобождаешься от самоупрёков: пусть тебе будет хуже, но не твоими руками это сделано. И ты так сохраняешь дорогое чувство бестрепетности, не впадаешь в суетливость и искательность».

...Бестрепетно и несуетливо переносил он этап из лагеря к месту ссылки. Куда они едут, подконвойным никто не говорил, и спрашивать не полагалось. Усвоив правило жить в ожидании беды, встречать удары судьбы как должное, а всякое временное улучшение как недосмотр, который вскоре будет исправлен, он не тешил себя иллюзиями, когда на Омской пересылке надзиратель проговорился, удивляясь, что пятерых из Экибастуза везут на юг: «Какой бог за вас молился?» Павлодар, Омск и Новосибирск находились севернее Экибастуза, и когда из Новосибирска этап завернули на юг, угрюмые зэки лишь иронизировали: «Неужели товарищ Берия не мог нам в Советском Союзе хуже места найти?»

Через две недели, проехав ещё полторы тысячи километров, этапники добрались до Джамбула, областного центра на юге Казахстана, у границы с Киргизией. Однако знакомство с древнейшим городом Семиречья, одним из пунктов северной ветви Великого шёлкового пути, началось совсем не с памятников Средневековья и не с исторического экскурса — например с битвы при Таласе в 751 году, в которой арабская конница наголову разбила армию танского Китая. Города ссыльные так и не увидели; их высадили из вагонзака ночью, через живой коридор конвойных повели к грузовику и велели садиться на пол в кузове, будто и сейчас, в пя-

ти минутах от свободы, они могли удариться в бега. Гостеприимны были только ласковый, совсем весенний ветерок (в Экибастузе ещё стояли лютые морозы) и аллея из пирамидальных тополей, как в Крыму, но вела она не в санаторий, а в местную тюрьму.

Тюрьма (в отличие от всех предыдущих, начиная с Лубянской) приняла арестантов без тягомотных приёмных процедур, без бани и прожарки. «Мягчели проклятые стены! Так с мешками и чемоданами затащились мы в камеру. Утром корпусной отпер дверь и вздохнул: “Выходи с вещами”. Разжимались чёртовы когти». Но и это ещё не была свобода: опять грузовик, опять дно кузова, шум мотора, кусочек *воли* по уличной мостовой, быстро оборвавшийся во внутреннем дворе областного МВД, откуда выход в город арестантам был пока запрещён. Во дворе располагалась комендатура, куда по одному стали вызывать арестантов с грузовика — здесь их *оформляли*: указывали место ссылки и выдавали документы. В иное время, лет ещё семь назад, Солженицын волновался бы, изобретал причины, чтобы остаться в городе или попасть в самый близкий район. Чем не причина — перенесённая в лагере операция? Но годы изменили арестанта, к тому же он думал, что болезнь прошла. «Какая-то высшая малоподвижность снизошла на меня, и мне приятно в ней пребывать. Мне приятно не пользоваться суетливым лагерным опытом. Мне отвратительно придумывать сейчас убогий жалкий предлог. Никто из людей ничего не знает наперёд. И самая большая беда может постичь человека в наилучшем месте, и самое большое счастье разыщет его — в наидурном».

И вот перед ним бланк, отпечатанный на шершавой рыжей бумаге: дежурный лейтенант буднично вписывает в нужную графу фамилию, ставит дату и велит расписаться. Солженицын расписывается — в том, что он (без суда, нового приговора или постановления ОСО, административным распоряжением) ссылается *навечно* в Коктерекский район Джамбульской области Казахской ССР под гласный надзор районного МГБ и в случае самовольного отъезда за пределы района будет судим по Указу Президиума Верховного Совета, наказание — 20 лет каторжных работ. «Ничто не удивляет нас... Мы охотно подписываем... В моей голове настойчиво закручивается эпиграмма... “Мне лестно быть *вечным*, конечно, / Но — вечно ли МГБ?”» (основанием для ссылки *навечно* явился наряд 9-го управления МГБ СССР от 27 декабря 1952 года, о котором Солженицыну «забыли» сказать и в Экибастузе, и в Джамбуле).

И ещё двое суток держат ссыльных в камере, похожей на карцер, запирают на ночь, но уже не кормят. Это и есть центральный пункт вожделенной свободы: дать надзирателю денег, чтобы купил еды на рынке. Наконец 2 марта конвой с карабинами строит ссыльных в колонну по двое и ведёт к вокзалу уже знакомой пирамидальной аллеей, но иллюзий о юге, винограде и яблоках как не было, так и нет: Коктерекский район, куда должна двинуться колонна, — не курортный рай, а кусок пустыни на севере области, начало Голодной степи (Бетпак-Дала), безжизненных песков к западу от озера Балхаш.

Медленный поезд весь день движется по магистрали Москва — Алма-Ата на восток, от Джамбула до станции Чу. Оттуда их десять километров гонят пешком. Ночь на 3 марта застаёт ссыльных в Новотроицком, райцентре Джамбульской области, и, стало быть, ночлег в тюрьме общего режима: конвой, камера, глазок, оправка, кипяток, но не пайка — казенные харчи им не положены. Наутро — снова грузовик, дно кузова, конвой и ещё 60 километров по пыльной степи, где произрастает лишь жёсткая серая трава. И вот он, Кок-Терек («зелёный тополь»): аул с саманными мазанками, раймаг, чайная, амбулатория, почта, райисполком и райком, дом культуры и школа-десятилетка. Грузовик тормозит у здания МВД—МГБ — только этому ведомству есть дело до прибывших. Кабинет опера: анкета, автобиография, дырокол, скоросшиватель, новенькая папка. «Сюда будут подшиваться доносы на меня, характеристики от должностных лиц. И как только в контурах соскребётся новое *дело* и будет из центра сигнал *сажать* — меня посадят (вот здесь, на заднем дворе, саманная тюрьма) и вмажут новую десятку».

Бронированному лагернику пристало думать именно так, подчиняясь неписаному правилу: *не падать духом* — для входящего в ворота тюрьмы, *не слишком радоваться* — для выходящего. И всё же за броней равнодушия таились молодость, способность ярко ощущать вкус мгновения; их не стёрли ни война, ни лагерь. Ссыльному всего тридцать четыре, и когда он первый раз свободно идёт в районо наниматься на работу, его вечно согнутая спина распрямляется. И когда разрешают провести ночь под открытым небом — впервые без замков и решёток, — он ликует, не может унять волнения, не может спать, полночи ходит под луной, как влюблённый. «Поют ишаки! Поют верблюды! И всё поёт во мне: свободен! свободен!» Он засыпает на сене под навесом с ощущением мира и покоя.

Первые дни свободы — на вес золота, Солженицын запомнит их по минутам. Утром 4 марта ссыльным разрешено

уйти на частные квартиры, и он найдёт себе крошечный низенький домик, с земляным полом (сосед даст пару ящиков), а потом будет наслаждаться одиночеством, ощущая трепет сердца и восприимчивость чувств, открытых для жизни; будет блаженствовать в темноте, без электричества, терзавшего глаза все барачные годы. Лагерная окаменелость и бестрепетность пригодятся ему и в день, о котором молились все зэки Архипелага. 5 марта 1953 года — великолепное, знаменательное начало ссылки! Хочется вопить перед репродуктором, кружиться в дикарском танце на центральной площади, куда послала его утром хозяйка домика, ссыльная старушка Чадова. Он воображает, бесконвойно стоя в толпе, какое ликование царит в Особлаге. Но здесь — скорбные лица, рыдающие учительницы: «Как теперь жить?»

«И лицо моё, ко всему тренированное, принимает гримасу горестного внимания. Пока — притворяться, по-прежнему притворяться». Но зато сколь неподдельны переживания поэта, пишущего «Пятое марта». В потаённом стихе он даёт волю подлинным чувствам. Тоска — по товарищам, с кем в такой день он бы излил душу. Жалость, смешанная с презрением, к *бессмысленной Азии*, к обманутым простолюдинам, скорбящим по рябому тирану. Ненависть к диктатору («единственный, кого я ненавидел»), ускользнувшему от *русской мести.* И вот вместо суда — глубокий траур, и страна рыдает в беспамятстве.

...Целый месяц ссыльнопоселенец Солженицын ходил справляться о работе. С 3 марта в районо лежали анкета и автобиография, но брать в школу бывшего зэка (он даже не открыл, *за что сидел*, сославшись на гостайну) инспекторы боялись, заслоняясь резолюцией облоно об укомплектовании района математиками (не было ни одного с высшим образованием). Саня тратил рубли, выданные лагерем за работу в литейке, покупал хлеб, картошку и сало, раз в день ел в чайной похлёбку и самозабвенно писал «Пленников».

Так бы и длилось счастье свободного художника, пока не кончатся деньги, но однажды, прямо на улице, его зацепил комендант и отвел в райпотребсоюз. В тот же час А. И. был зачислен плановиком-экономистом, поставлен на твёрдый оклад в 450 рублей и брошен на жестокий аврал: переоценивать товары, на которые только что снизили цены. И поскольку счетоводы здесь были сплошь ссыльные, то есть бесправные, им установили дикий рабочий день с семи утра до двух ночи, с перерывами на обед и ужин. Плановик, у которого отнимали время на пьесу, не подчинился. Лагерь подсказал выход: *не высказываться против, а молча против де-*

лать. Начальство грозило загнать в пустыню, но «начиналась новая эра — самое мягкое трёхлетие в истории Архипелага».

Однако и оно показало поначалу колючую изнанку. 27 марта 1953 года без всякого разумного основания была объявлена «ворошиловская» амнистия («первый красный офицер» подписал ее как декоративный глава государства). Вышли на волю воры и убийцы, но Пятьдесят восьмая освобождалась лишь при сроке до пяти лет, то есть ничтожная часть контингента. Не выпускали по амнистии и тех, кто отбывал ссылку после тех же пяти лет. *Вечная* ссылка, казалось, вообще не может подпасть под амнистию никогда.

Избежать пустыни плановику, не желавшему жертвовать пьесой ради переоценки, снова помогла математика. В том же апреле внезапно в контору явился завуч школы, казах Джохар Маринов, и спросил об университетском дипломе ссыльного. Солженицын тут же принёс документ, предусмотрительно запрошенный и заблаговременно присланный сюда тётей Ниной. Завуч появился через три дня с выпиской из приказа облоно. «За той же самой бесстыдной подписью, которая в марте удостоверяла, что школы района полностью укомплектованы, я теперь в апреле назначался и математиком и физиком — в оба выпускных класса да за три недели до выпускных экзаменов!» День, когда Солженицын, преподаватель математики и физики средней школы имени Кирова села Берлик (советское название Кок-Терека, означающее в переводе «объединение»), вошёл в класс и взял в руки мел, стал истинным днём освобождения, возвратом гражданства.

«Говорить ли о моём счастье...»

Счастье — состояние заразительное. Несомненно, оно передавалось тем, кого он учил. Дети из ссыльных семей (немцы, украинцы, корейцы, греки), сознававшие своё угнетённое положение, жадно учились — это был их единственный шанс выйти в люди, получить профессию. Дети-казахи, не избалованные науками, тоже впивались в учение. «При таком ребячьем восприятии я в Кок-Тереке захлебнулся преподаванием, и три года (а может быть, много бы ещё лет) был счастлив даже им одним. Мне не хватало часов расписания, чтоб исправить и восполнить недоданное им раньше, я назначал им вечерние дополнительные занятия, кружки, полевые занятия, астрономические наблюдения — и они являлись с такой дружностью и азартом, как не ходили в кино. Мне дали и классное руководство, да ещё в чисто казахском классе, но и оно мне почти нравилось».

Через 56 лет ученик этого класса Б. Скоков вспомнит классного руководителя и пришлёт ему письмо-отчет о себе и одноклассниках, окончивших в 1955 году школу имени

Кирова. «Помню чисто бритое Ваше лицо, мягкие падающие волосы, Вашу бодрую походку... Я учился у Вас три года, прошли мы с Вами все фундаментальные предметы, все 300 задач из учебника Худобина. Мне, Вашему ученику, который получал тройки и четвёрки по математике, удалось получить отличные оценки при поступлении в Новосибирский институт торговли и с отличием его окончить. Ваш труд, затраченный на нас, не пропал даром, и мы до сих пор вспоминаем Вас с благодарностью. Я больше не встречал ни в учёбе, ни в жизни человека более честного, трудолюбивого, знающего всё на свете. Я помню Ваши слова на выпускном вечере, когда мы восхищались Вашим знанием математики, тогда Вы сказали: "Ребята, я знаю лучше русский язык и литературу". Мы убедились в этом, когда вышла в свет книга "Один день Ивана Денисовича"... После этого я был свидетелем всей Вашей дальнейшей жизни... Весь казахстанский народ, казахи, Ваши ученики Вас помнят, ценят и уважают».

«У Александра Исаевича, — сообщил (2004) другой ученик, С. Кожаназар, ставший учителем математики, — была исключительно своеобразная манера ведения урока: чистейшая русская речь и разносторонняя эрудиция держали нас под гипнозом этого сложного предмета. Широким шагом он устремлялся к столу, принимал стойку "смирно" и произносил: "Здорбво, орлы!" Я шёл по его стопам, учил детей заниматься самовоспитанием. Уроки Солженицына стали для меня стандартом мастерства. Если мой Учитель озабочен судьбой своей страны, то я работаю над национальной идеей консолидации народов Казахстана. Почти полвека Александр Исаевич, как маяк в океане, помогает мне плыть по морям жизни».

А сам учитель, упоённый счастьем дышать школьным воздухом, напишет спустя годы: «Всё светлое было ограничено классными дверьми и звонком». За порогом класса, в учительской, в кабинетах начальства царила привычная тягомотина: ссыльные педагоги (здесь их было немало) трепетали перед директором и инспекторами районо, а те требовали повышения успеваемости; оценки завышались, неучи-выпускники «за барана» попадали в вузы и неучами же возвращались обратно. Школа таила немало ловушек, обкладывала поборами и повинностями. На каждом шагу творилось беззаконие, идущее рука об руку с невежеством; машина «скорой помощи» развозила по квартирам начальства муку и сливочное масло; партиец-начальник мог явиться к учителю ночью со шкуркой каракуля — гонорар за тройку на экзамене. «Только при справедливых оценках могли у меня ребята учиться охотно, и я ставил их, не считаясь с секретарями

райкома», — писал Солженицын. И только твёрдость человека, сумевшего себя поставить, давала шанс продержаться.

Он — продержался. Не имея паспорта, жилья, имущества, свободы передвижения (ссылка замыкала круг в 50 километров), родных, любимой женщины рядом, он писал о счастье: «Никогда я, кажется, так хорошо не жил». «Он сразу покорял своим внутренним обаянием, эрудированностью, всесторонней образованностью, и особенно в литературе, что меня всегда изумляло, — вспоминала (1994) Т. Д. Лызлова, попавшая в Коктерекскую школу в 1952 году, после Ярославского педагогического училища. — Все дети в нашей школе были влюблены в математику и в Солженицына. Дети не очень хорошо владели русским языком. И вот им преподают математику на русском. И как! И они великолепно её усваивают. И легко пишут всякие замысловатые формулы, и бегают стайкой за своим учителем, который ходит по посёлку в поношенных ботинках и таких же поношенных брюках. И никто не обращает внимания, что у него всего, почитай, две рубашки, одна в жёлтую полосочку, другая — белая, единственная белая, с прохудившимся воротником, который некому заштопать... Он для нас был одинокий мужчина, очень притягательный. И девушки им увлекались. Он не хотел жить “впрохолость”. Но что он мог предложить будущей жене?.. Он жил по закону, который сам сотворил для себя в то время: “Сердце сжать... И ничего не ждать от будущего — лучшего... Вечно — так вечно”».

Ссылка, поманив счастьем учительства, мгновенно же и выставила счёт. 25 апреля (он едва успел оформиться в школе и взять на складе райпо нужные учебники) навалилась странная болезнь, с температурной лихорадкой и перемежающими болями. Эти боли впервые заявили о себе ещё в домике-курятнике бабушки Чадовой: обильная еда однажды так надавила на живот, что он не мог спать. Но потом его пригласила жить ссыльная семья Якова и Екатерины Мельничук, там он столовался и прожил несколько недель, не имея забот о быте*. Боли как будто затихли, но ненадолго —

* Вспоминает (1990) Е. П. Мельничук: «Помню я Сашу хорошо, стоял он у нас на квартире с весны до осени, как прислали его сюда. Мы жили тогда в мазанке — комнатка да кухонька. Самим тесно, да и отказать грех. Мы пустили. Пришёл, чемоданчик деревянный у порожка поставил. Познакомились. Видим — обходительный, славный с виду, только одёжка уж больно худа. Устроили ему лежанку из тарных ящиков на кухне... Мучил он себя ночами. Мы спим давно, а он при лампе керосиновой допоздна всё читает да пишет. Вставал рано, в шесть утра. Делал прогулки по степи, далеко уходил. Как стал учителем, начал зарабатывать, одежду справил».

в первомайские праздники пришлось обратиться в районную больницу. Никто не понимал, что́ с ним; заподозрил неладное, осмотрев больного, ссыльный доктор Зубов, акушер-гинеколог (они познакомились в коридоре больницы как два бывших зэка) — заподозрил, но не сразу решился сказать. Да и Саня не сразу рассказал про вырезанную в лагере опухоль, и доктор не сразу понял, что за прошедшие после операции четырнадцать месяцев могли вырасти метастазы. И не про то были их первые встречи, вскоре ставшие тесной, сердечной дружбой*.

В «Невидимках», дополнении к мемуарам «Бодался телёнок с дубом», Солженицын посвятит чете Зубовых, Николаю Ивановичу и Елене Александровне, благодарный, восторженный очерк: то были люди лучшие из лучших. «В завязавшейся нашей дружбе было что-то юношеское: и эта наша бессемейность (жена Зубова находилась в это время в красноярской ссылке. — *Л. С.*), и юношеские характеры у обоих, и это ощущение раннего прекрасного *начала* жизни, какое овладевает освободившимся арестантом, и даже степная казахстанская весна с цветением пахучего джангиля и верблюжьей колючки — да ещё первая весна после смерти Сталина, последняя весна Берии».

Саня годился Николаю Ивановичу в сыновья: тридцать четыре против пятидесяти восьми. Очарованный новым другом, он решил открыться ему, первому и последнему в ссылке. Вдвоем они уходили за край поселка, и Саня по памяти читал *своё* — стихи, отрывки из поэмы, куски прозы, волнуясь, как воспримет всё это *девятый* за тюремное время слушатель, после Панина, Копелева, Баранюка, Карбе, Киреева, Раппопорта и др. Память по-прежнему оставалась единственным хранилищем, но Зубов, в отличие от предшественников, не хвалил, а только изумлялся, как можно так изнурять свой мозг. Вскоре Николай Иванович пришел к поэту с подарком, простым до гениальности: в фанерном посылочном ящике, столь привычном и неприметном реквизите ссыльного быта, имелось двойное дно с тайной полостью — «желанная тёмная глубина, сотня кубических сантиметров пространства, как будто и на территории СССР, а не кон-

---

* В июне 1953 года Н. И. Зубов писал жене: «У меня завёлся новый приятель, ссыльный, преподаватель математики, очень моложавый, хотя ему, верно, около тридцати лет. Зовут его Саня, из Ростова н/Д, терской казак, родился в Кисловодске... Культурный, несомненно, человек, с интересом к литературе и истории. И очень тянется к людям, хочется поговорить. Много ходит гулять, а на Байбараке уже побывал — "наслаждаюсь свободой"».

тролируемого советской властью». Легко можно было в ящик положить листы, легко же и достать. Так вышли на волю двенадцать тысяч стихотворных строк — автор, имея потайное хранилище, доставал из памяти стихи, поэму, две пьесы, записывал их и прятал. Подпольный автор и прирождённый конспиратор чудесным образом встретились (тайный смысл первомайского больничного эпизода?) и обрели друг друга. Позже Зубов устроил потайное хранилище в обычном столе: «Как же это облегчило мне подпольное писательство: в последнюю минуту перед школой я всё прятал в своей одинокой халупке с лёгким навесным замочком, игрушечными рамами, и уходил на многие часы совершенно спокойно: и грабитель не польстится, и сыщик из комендатуры не найдёт, не поймёт».

Учебный год закончился, прошли выпускные экзамены, и начальство, уходя в отпуск, возложило на нового учителя временные, на срок каникул, обязанности директора школы, чтобы присматривал за текущим ремонтом здания. Подняли зарплату, и это было весьма кстати. Рядом с Мельничуками сдавался домик за 60 рублей в месяц: учителю с 800—900 рублей оклада это было уже по карману. Домик на Пионерской улице, который позже Солженицын сможет купить*, находился на отшибе: за 30 метров никто не жил и за 100 метров были видны все подходы. За калиткой и изгородью из колючих веток джангиля начиналась степь, а за ней синели Чу-Илийские горы. На улице, кроме глухой полевой тропинки, ничего не было; тишина во всякое время суток была изумительна. Домик с земляным полом (комната о двух окнах, кухня с окном и коридор) был добротный, высокий, светлый, чисто выбеленный. Новый жилец обставил его по своим средствам: кровать из трёх ящиков с матрацем и подушкой, набитых стружками (пошил сам), топчан, где сложены книги, чемодан, временно служивший столом (пока не появился настоящий), табуретка, посудный шкаф с полками, сколоченный из большого ящика. А ещё нужно было раздобыть одеяло (пока что согревала фронтовая шинель), топор и ведро; требовались настольная лампа и множество мелочей; очень хотелось купить приёмник (Саня с начала Экибастуза был отлучён от музыки); приходилось за-

* «Домик этот был замечательный. Я его сперва снял, но через год хозяйка собралась уезжать. Говорит: хочу продать дом, не хочешь ли ты купить? Я решил сам его купить, за 3 тысячи рублей. К тому времени я полторы ставки имел в школе; это была хорошая зарплата. Купил домик вместе с огородом и мог им немного пользоваться, но болезнь мешала заниматься им серьёзно» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2001 год).

пасаться топливом на зиму (вести за 20 километров саксаул), приобретать примус «для варки пищи»: иногда готовила старушка, сдавшая домик, но есть почему-то совсем не хотелось...

Но зато с сентября 1953 года, перебравшись в домик, автор двенадцати тысяч строк, спрятанных в памяти, получил возможность не только записывать сочинения, но и дорабатывать их, держать в руках мелко-мелко исписанные листы. И это уже было несомненное счастье.

Новый учебный год (1953/54) начинался замечательно. Работа увлекала, он навёрстывал оборванный войной 1941 год и сознавал, что преподавание — его родная стихия. Вёл в двух десятых и двух девятых математику, физику, астрономию, имел свыше 30 часов в неделю, почти две ставки. Школа отнимала весь день, оставляя для писательства вечер и ночь.

Но чем дальше в осень, тем сильнее донимал недуг: возвращались боли. В октябре Саня писал двоюродному брату А. Михееву (его и других родных удалось разыскать по переписке): «Этот год болею, болею непрерывно желудком, и ни средств, ни способов излечиться не знаю. Измучился совсем, в щепку превратился, так ещё год поболеть, так и на свете жить не захочешь». Доктор Зубов, уже посвящённый в подробности болезни, настаивал, чтобы Саня запросил из лагерной больницы анализы. «Я, — расскажет эту историю в «Раковом корпусе» Костоглотов, — написал в свой лагерь. Ответа не было. Тогда написал жалобу в лагерное управление. Месяца через два ответ пришёл такой: “При тщательной проверке вашего архивного дела установить анализа не представляется возможности”. Мне так тошно уже становилось от опухоли, что переписку эту я бы бросил, но, поскольку всё равно и лечиться меня комендатура не выпускала, — я написал наугад и в Омск, на кафедру патанатомии. И оттуда быстро, за несколько дней, пришёл ответ... Бумажка без печати, без штампа, это просто письмо от лаборанта кафедры. Она любезно пишет, что именно от той даты, которую я называю, именно из того посёлка поступил препарат, и анализ был сделан».

Непонятное заболевание более чем прояснилось. Смертельная болезнь, союзница тюремщиков, делала за них своё дело. «Месяц за месяцем, неделя за неделей клонясь к смерти, свыкаясь, — я в своей готовности, смиренности опередил тело». Осенью 1953 года ему казалось, что *вечная* ссылка дана ему будто в насмешку. Он еле держался, едва справлялся с уроками, плохо ел, мало спал. 20 октября в Кок-Терек приехала Елена Александровна Зубова, и помощь больному

удвоилась. Тепло и свет, исходившие от чужих, но самых родных теперь людей, были сродни родительской любви, и Саня в свои самые несчастные минуты не был одинок: «Суровое было наше знакомство, и так по-деловому говорили мы о моей близкой смерти, и как они имуществом распорядятся».

В конце ноября удалось получить разрешение на поездку в Джамбул, в областную больницу; 28-го, уезжая из Кок-Терека, он оставил Зубовым необходимые распоряжения на случай, если они более не увидятся. Джамбул подтвердил худшие подозрения. Врач-рентгенолог, щадя пациента, назвал уклончивый диагноз: *неоплазма*, но тот потребовал предельной ясности. Был вызван хирург, и оба доктора, тоже ссыльные, признались, что жить больному остаётся не более трёх недель: ничем помочь они не могут, надо немедленно ехать в республиканский центр, в Алма-Ату.

Однако частный доктор, грек Антаки, решительно не рекомендовал Алма-Ату — только Ташкент: там опытные врачи и эффективные методики. Антаки подсказал ещё одну идею — ехать на север Киргизии, в областной город Талас, оттуда в село Иваново-Алексеевское, к старику Кременцову, поселенцу столыпинского времени, за иссык-кульским корнем. В областной комендатуре дали разрешение, Саня съездил и вернулся с большой порцией сухого корня. И даже раздобыл готовую настойку у другого старика, заведующего партийной больницей в Джамбуле. «Я пошёл к нему рано-рано утром на приём, хотел уточнить, как настаивать корень, а он согласился дать мне, по моей просьбе, готовую настойку. Я сказал ему, что мне обязательно нужно ещё немножко пожить, хоть пару месяцев. “Зачем?” — спрашивает старик. Я говорю: “У меня будет научная работа по языку”». Эти два старика, давшие больному ядовитое и опасное снадобье, и само дикое корневище, похожее на женьшень, но совсем не женьшень, по всей видимости, спасли его*.

Солженицын вернулся в Кок-Терек 4 декабря. На следующий день Е. А. Зубова писала мужу, ненадолго уехавшему:

* «У Кременцова в тот момент была большая неприятность. Он, так же, как и мне, дал пациентам настаивать корень на водке. Дал на глаз, сколько нужно на три пол-литра водки, не взвешивая, безошибочно. 7 ноября к этим людям пришли гости, выпивали, а когда водка закончилась, кто-то увидел на кухне настойку. Выпили — и умерли сразу, двое или трое. Началось следствие, но сумела его защитить корреспондентка “Правды”. Он опасался давать корень кому попало, но мне дал, и я потом делился с другими, у меня корень хранился долго, ещё в Вермонте оставался» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2001 год).

«Ты был прав, Коленька, когда находил у него опухоль. Неужели это рак? У него тяжёлое состояние — с одной стороны, он говорит, что готов к смерти, и вместе с тем верит, что ему помогут наши корешки. В Ташкент поедет на каникулы, а этот месяц будет работать и работать. Без слёз не могу думать о его судьбе. Как-то вошёл он в нашу жизнь и стал как родной...»

Настойку из корня нужно было капать в рюмку по ступенчатой схеме, рассчитанной на двадцать дней. «Но прошло всего дней восемнадцать, я помню, как 19 декабря я проснулся с ощущением, что что-то во мне изменилось к лучшему, неизвестно что. Вроде опухоль на месте, боль на месте, но что-то изменилось. 19 декабря, день Николая Угодника, я считаю поворотным». В середине ступенчатой схемы ему стукнуло тридцать пять.

Обещанные джамбульскими врачами три недели Солженицын назовёт самыми страшными в своей жизни: смерть на пороге освобождения, гибель лагерного заучивания и всего написанного: никого не кликнешь, никому извне не расскажешь, никто не приедет и не заберёт потаённые листки. С весны Саня писал в Ростов ближайшей Наташиной подруге Ире Арсеньевой, врачу — та сама предложила переписку, справлялась о деталях заболевания, давала советы, консультировала. Из письма в письмо он настойчиво просил, звал и зазывал Иру приехать в Кок-Терек, а в случае его смерти приехать тем более и *распорядиться имуществом.* Несомненно, он надеялся, что давняя ростовская знакомая вывезет рукописи. «Это — не шутка, не балмошь, не дурь — это моя последняя (в случае смерти) воля. Выполни её». 24 декабря в очередном письме он задал ей страшный вопрос — какое применить средство на случай необратимого хода болезни, чтобы в последней её стадии избежать мук и встретить смерть с улыбкой. Писал ей и во время лечения, и после него. Однако не действовали ни намеки, ни упорство, с каким Саня звал её, — она так и не поняла, о чём идет речь, воспринимая его просьбы едва ли не как приглашение к замужеству. И не приехала.

Ночами, бессонными от боли, отравленный ядами опухоли, он записал всё выученное и, не рискуя обременять Зубовых, скрутил листы в трубочки, набил ими бутылку изпод шампанского и закопал её на своём участке: только Николай Иванович это место и знал. Оконченными казалась вся жизнь и вся литература — «маловато было».

Новогодняя ночь чуть было не сорвала поездку: предъявив на станции Чу ссыльное удостоверение некоему чину,

Солженицын спросил койку, а наутро хмельной железнодорожник документа не нашёл. И если бы не опер Коктерекской комендатуры, случайно оказавшийся на перроне вокзала и позволивший ехать без удостоверения (имелось ещё разрешение на поездку), неизвестно, как бы всё устроилось.

Ташкент встретил тёплым дождём. Первую ночь пришлось спать на вокзале; 2 января он пришёл в онкодиспансер и два дня лежал на полу в вестибюле, пока 4-го его не положили в клинику. Много лет спустя о тех днях вспоминала Ирина Емельяновна Мейке, врач, которая будет лечить Солженицына. «В одно из дежурств медицинская сестра мне сказала, что поступил тяжёлый больной и лежит он, как все наши больные, которым негде было остановиться. А очереди ждали под дождём, где угодно. Вечером они собирались в маленьком вестибюльчике. И там ночевали на полу или на скамейках — послевоенное время, убожество сплошное. Я вышла как дежурный врач посмотреть, какие у меня там больные ещё не зачисленные в наше отделение, и увидела этого тяжёлого больного, о котором мне говорили. Это был относительно молодой человек (тридцати пяти лет — это потом я узнала). Высокого роста. В такой заплатанной шинельке, рюкзачок какой-то маленький, военный, весь тоже заплатанный. Ну, и, свернувшись, он лежал на полу. Шёл сильный дождь, он весь промок. И мне как-то захотелось улучшить его положение. Скамейки все заняты, а в нашем рентгеновском коридоре, который был закрыт для посторонних, тоже были скамейки. Я распорядилась, чтобы его туда поместили и дали какой-то матрасик из нашего отделения. Он мне показал документ, что он ссыльный, приехал из Казахстана и находится под наблюдением МГБ. И вот это МГБ ему дало разрешение только на 24 часа, хотя дорога длинная. Поэтому он сказал: "Я никуда не уйду, что хотите со мной, то и делайте". А у него боли были сильные — живот был "нафарширован" опухолями, и конечно, он был тяжёлый. Моя заведующая отделением, мой учитель (Л. А. Дунаева. — *Л. С.*), его осмотрела и распорядилась, чтоб место для него было готово. Назавтра он поступил к нам в отделение. И я стала его лечащим врачом».

История болезни, тяготы лечения в 13-м корпусе ташкентского онкологического диспансера и чудо исцеления преобразятся в рассказ «Правая кисть» и повесть «Раковый корпус», через шесть и одиннадцать лет. Но замысел повести вспыхнет ещё летом 1954-го, в Ташкенте, когда Солженицын проходил повторный курс лечения, уже с надеждой на жизнь, понимая, что выздоравливает. Но начиналось ле-

чение, при большой запущенности процесса, крайне трудно. «Большая плотная опухоль в брюшной полости, резко болезненная при пальпации» не оставляла сомнений в диагнозе: метастазы в лимфоузлы брюшины после операции. Больному назначили лучевую терапию на рентгеновском аппарате, выделив (при тщательном укрытии просвинцованной резиной здоровых участков) несколько полей облучения: послеоперационный рубец, средостение, брюшная и поясничная области, а также участок под левой ключицей.

Выписка из истории болезни: «Больной получил общеукрепляющее лечение, дополнительное питание, гемотрансфузию и химиотерапию (эмбихин). Опухоль чувствительна к рентгеновскому облучению и быстро уменьшилась в размере. При повторном поступлении опухоль почти не прощупывалась. Лечение оказало хороший непосредственный и отличный отдалённый результат. Реакция опухоли на облучение подтверждала диагноз метастаз семиномы. Рецидива метастазов не было. Облучение больного Солженицына было строго локальным, без повреждений участков кожи, тем более прилегающих к ним».

Лаконичная медицинская выписка не могла, конечно, отразить ни ночных страхов, ни тягостных мыслей, ни головокружения, ни тяжёлой тошноты от двух ежедневных двадцатиминутных сеансов рентгена, при которой можно было лежать только в одном положении — навзничь, без подушки, приподняв ноги и низко опустив, свесив голову с койки. От тошноты помогали огурцы и квашеная капуста, да где ж их было взять? Больного не навещали, передач не носили: лишь сам, когда мог, пробирался на базар в подпоясанном больничном халате и покупал соленья. «Мне выздоравливать было почти что и не для чего; у тридцатипятилетнего, у меня не было во всём мире никого родного в ту весну. Ещё не было у меня — паспорта, и если б я теперь выздоровел, то надо было мне покинуть эту зелень, эту многоплодную сторону — и возвращаться к себе в пустыню, куда я был сослан *навечно*, под гласный надзор, с отметками каждые две недели, и откуда комендатура долго не удабривалась меня и умирающего выпустить на лечение».

Украдкой от врачей он продолжал лечиться секретным средством — настойкой из иссык-кульского корня, к которому официальные доктора относились как к тёмному суеверию и игре со смертью (и, конечно, драгоценную настойку он не вылил, как это в «Раковом корпусе» сделал Костоглотов). «Что-то есть благородное в лечении сильным ядом: яд не притворяется невинным лекарством и говорит: я — яд! берегись!

или — или!» К корню добавил чагу*, спорил с докторами (те никак не хотели разъяснять больному свои методики), отказывался от гормонального лечения, подозревал, что повышенными дозами рентгена врачи просто перестраховываются. «Он трудно принимал лечение, — вспоминала И. Е. Мейке, — он нас измучивал тем, что не хочет больше лечиться. И всё, что я могла, я действительно для него делала. Выписывала дополнительное питание — сливочное масло, молоко... И это ему как-то помогало, да и сам процесс лечения шёл успешно».

Уже через три-четыре дня после рентгенотерапии боли прекратились, опухоль помягчела, перестала давить. А после двенадцати сеансов — больной вернулся к жизни и хорошему настроению, ел, ходил, писал Зубовым вдохновенные письма, каких никому никогда больше не писал. Бросил курить после одиннадцати лет курения, теперь уже как будто совсем и навсегда. Весна 1954 года дала основание воскликнуть: «Отвалилась болезнь!» «Я был жалок. Исхудалое лицо моё несло на себе пережитое — морщины лагерной вынужденной угрюмости, пепельную мертвизну задубенелой кожи, недавнее отравление ядами болезни и ядами лекарств, от чего к цвету щёк добавилась ещё и зелень. От охранительной привычки подчиняться и прятаться спина моя была пригорблена. Полосатая шутовская курточка едва доходила мне до живота, полосатые брюки кончались выше щиколоток, из тупоносых лагерных кирзовых ботинок вывешивались уголки портянок, коричневых от времени».

Таким казался себе Солженицын той памятной весной, но эта видимость не имела никакого отношения к сущности вещей. Ощущение вернувшейся жизни, с которой он почти что простился, было ослепительным. И хотя эта жизнь не сулила общепонятных благ, имелись иные ни с чем не сравнимые, *самосущие* радости: «право переступать по земле, не ожидая команды; право побыть одному; право смотреть на звёзды, не заслеплённые фонарями зоны; право тушить на ночь свет и спать в темноте; право бросать письма в почтовый ящик; право отдыхать в воскресенье, право купаться в реке... Да много, много ещё было таких прав.

---

* «Про чагу я услышал в диспансере. Узнал адрес доктора Масленникова из Александрова, написал ему письмо; не надеясь на ответ. А он ответил и указал адреса заготовителей. Я им выслал деньги и заказ, а они присылали. Я стал чагу пить, и корень пью, и они не мешают друг другу; наоборот, одно усиливает действие другого. Масленников сделал открытие, что в его округе никто не болеет, быть может, потому, что вместо чая пьют чагу — по бедности. Стал исследовать и увидел, что она помогает, особенно желудочным больным» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2001 год).

Право разговаривать с женщинами. Все эти неисчислимые права возвращало ему выздоровление».

18 февраля 1954 года Солженицын выписался из онкодиспансера и вернулся в Кок-Терек, а через две недели писал Ире Арсеньевой: «Пока ничего не болит, слава Богу, и опухоль на ощупь не растёт... Ну совсем ничего не болит! Вот счастье-то! Надолго ли?» Не позднее июня нужно было вернуться в клинику для повторного курса, и он прошёл несравненно легче, с твёрдой надеждой на возврат жизни. Лечение было столь успешным и настроение столь приподнятым, что, выписавшись из клиники в августе, Саня первым делом купил фотоаппарат для пересъёмки рукописей*.

После «второго Ташкента» и начнётся его Прекрасная Ссылка.

«Как же не сказать, что всё по воле Божьей, и если со мной совершается чудо, то только Им. Сидя здесь, я уже опять не считаю себя излеченным, но каждый год жизни — великий дар», — писал он Арсеньевой летом 1954 года из Ташкента. «Когда человек осмысливает свою жизнь, то нельзя не испытать какого-то мистического уважения к тому, что, вот, зачем-то тебе жизнь возвращена. Врачи сказали, что спасти нельзя, а я спасся. Конечно, это не может не отразиться на человеке. Но и обязывает работать в эту вторую жизнь, себя не бережа», — скажет Солженицын через 35 лет.

Весной 1954-го, в перерыве лечения, он в угаре радости писал «Республику труда». «Эту я уже не пробовал и заучивать, это первая была вещь, над которой я узнал счастье: не сжигать отрывок за отрывком, едва знаешь наизусть; иметь неуничтоженным начало, пока не напишешь конец, и обозреть всю пьесу сразу; и переписать из редакции в редакцию; и править; и ещё переписать». Лунной июньской ночью, в домике на отшибе Солженицын в полный голос читал пьесу супругам Зубовым, и те были глубоко потрясены услышанным: «За ту ночь поднялась перед нами лагерная жизнь во всей её яркой жестокости — ощущение, какое мир через 20 лет испытает от “Архипелага”, а мы — в ту ночь».

---

* В недостроенном глинобитном сарае Солженицын сфотографировал свои рукописные листки, а Зубов ювелирно заделал их в переплёт случайной книжки. «В ссылке я сумел довести всю свою лагерную работу до начинки книжного переплёта (пьесы Б. Шоу, на английском). Теперь если бы кто-нибудь взялся поехать в Москву, да там на улице встретив иностранного туриста — сунул бы ему в руки, а тот, конечно, возьмёт, легко вывезет, вскроет переплёт, дальше в издательство, там с радостью напечатают неизвестного Степана Хлынова (мой псевдоним) — и... Мир конечно не останется равнодушным! Мир ужаснётся, мир разгневается, — наши испугаются — и распустят Архипелаг».

Эпоха Прекрасной Ссылки — это два года после выздоровления, когда ссыльный пребывал в блаженном, приподнятом настроении. Он испытывал постоянное счастье от уроков и учеников, от своего писания (пусть по часу в день), от того, что весь 1955 год писал «Круг», роман о шарашке; от домика, арыка за калиткой, свежего степного ветерка, от спанья на воздухе, от приёмника с короткими волнами, купленного ради музыки и вольного слова.

Но — не было никого рядом, никакой женщины, с которой можно было бы жить бок о бок, не таясь от неё, не боясь *комсомольской измены*, как писал он в стихотворении 1953 года. «— Кто ты, девушка? Где твои зреют / Непреклонность? и верность? и стан? / — Ты, кого б я привёл, не краснея, / В круг высокий былых каторжан?» Таких в Кок-Тереке не было, как ни перебирали они вместе с Зубовыми возможных невест. Учительницы из Ярославля, которым он читал Тютчева и Ахматову, «Блока белокрылого, Есенина смятенного, / Бунина закатного, обдуманного Брюсова», под это чтение безмятежно вышивали по канве. Мысль о девушке, которая на любовном свидании, «под духмяной дурманящей сенью джиды», способна запеть комсомольскую песню, была вероятна — как и сама девушка. Найти подругу в ауле несложно, но учителю иметь неженатую связь невозможно. «Я вдруг понял, что открыться никому не смогу, что на самом деле я получил не свободу (как я думал, когда освобождался), а капкан... Я не смел жениться: не было такой женщины, кому я мог бы доверить своё одиночество, своё писание, свои тайники».

Меж тем ещё в августе 1953-го Саня получил неожиданное письмо от бывшей жены. Зная о месте его ссылки от тёти Нины, она предлагала ему дружескую переписку, духовное общение и жизненное восхождение «по параллельным лестницам». Саня, изумлённый и обрадованный письмом как доказательством её любви, ответил очень сердечно, признавался, что любит её по-прежнему, но что их дружба возможна только вместе с любовью. И если дела обстоят именно так, пусть всё бросает и приезжает. Написать ей прямо, что у него есть рукописи, которые нужно во что бы то ни стало вывезти и сохранить, он не мог. «Если возврат ко мне — для тебя — простое и естественное решение, если для этого тебе не надо делать над собой насилия, если тебе это морально легче, чем оставить так, как есть, — напиши мне об этом сразу и приезжай побыстрей. Всё будет по-старому, как будто ничего не случилось. Если возврат ко мне для тебя невозможен, труден и даже в голову не приходил — тоже напиши об этом сразу и ясно. “Спасать” меня не надо, “ис-

купительной жертвы” мне не надо, жалеть тоже, эти чувства мне не нужны. Я буду поддерживать с тобой тёплые отношения и в этом случае, но постольку, поскольку обстоятельства моей жизни это разрешат».

Правильным было — второе «если»: возврат к бывшему мужу, да ещё в далёкую ссылку, ей не приходил в голову. Позже Решетовская объяснит, что написала письмо в искренней надежде, что Саня устроит свою личную жизнь самостоятельно, и тогда она сможет быть спокойна: как старые друзья они будут рассказывать друг другу каждый о себе. «К несчастью, Саня это письмо понял неверно... Наше взаимное непонимание было настолько глубоким, что я просто не нашла слов для ответа».

Не возникло понимания, симпатии и всего другого, что необходимо для счастливого супружества, и с девушками, которых рекомендовали Сане Зубовы. Николай Иванович рассказал о медсестре Насте, с которой сидел в одном лагере: западная украинка, партизанка, верный человек. Затеялась переписка, Саня даже отпросился и съездил на несколько дней в Караганду, где жила девушка, но... разочаровался уже как мужчина. Елена Александровна пыталась посватать Саню к своей племяннице Наташе, студентке из Златоуста, снова затеялась переписка, которая тоже пока ничем не закончилась. Он *продолжал бояться женитьбы*; даже тех девушек из Кок-Терека, которым симпатизировал (с одной из них даже встретил Новый, 1955 год), держал на расстоянии и сближаться не решался. Заглядывался на старшеклассниц своей школы, долго помнил Инну Штрем, немку из семьи ссыльных. Но отношения с ученицами были невозможны — профессиональный риск, могли бы лишить преподавания. Позже Солженицын скажет, что, несмотря на жестокие тяготы холостяцкой, монашеской, в сущности, жизни, он *спасительно* не женился, а ведь мог связать себя поспешными узами перед самым концом ссылки.

А климат страны заметно мягчел. Детей ссыльных стали отпускать в институты, сами ссыльные легче трудоустраивались и росли в должностях, ими уже не помыкали, как прежде; и не так строго следила комендатура; свободнее стал проезд по району, области и даже в соседние области; один за другим отпускали по домам ссыльные народы. И было ещё одно новшество: Пятьдесят восьмая по окончании сроков отправлялась уже не в пожизненную ссылку, а за ворота лагерей, на волю. В сентябре 1955 года случилась новая амнистия: канцлер ФРГ Конрад Аденауэр в ходе своего визита в Москву добился у Н. С. Хрущёва, первого секретаря

ЦК КПСС, освобождения всех немцев. За «аденауэровской» амнистией последовал Указ Президиума Верховного Совета от 17 сентября 1955 года «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Получилась дикая несуразица: немцев и их советских пособников отпускали на волю, а фронтовиков, служивших в Красной армии всю войну и с немцами воевавших, амнистия как бы и не касалась. Что-то должно было сдвинуться и в положении Пятьдесят восьмой. «Тревога радости и надежды подёргивала наш ссыльный покой».

Начали приходить письма от друзей по шарашке. Саню давно разыскивал Панин, отбывавший — после Экибастуза, штрафного изолятора в Спасске и лагпункта в Караганде — «вечную» ссылку в Северном Казахстане. Помогла Е. И. Панина, случайно встретившаяся в Москве с Решетовской: на вопрос об адресе Сани та назвала Джамбульскую область. Панина написала в облоно и получила адрес школы в Кок-Тереке. Евгения Ивановна усиленно хлопотала за мужа, и друзья Сани, в свою очередь, настаивали, чтобы он действовал, не теряя времени.

Заявление на имя Хрущёва было послано в специально созданный аппарат при Главной военной прокуратуре в сентябре 1955-го. «Только на основании моей вздорной юношеской переписки с моим другом детства, — сообщал заявитель, — извращённой, искажённой и раздутой до неузнаваемости в протоколах, вынужденных бессонницей и физическим изматыванием, как это практиковалось при ныне разоблачённом Абакумове, я без всякого суда был подвергнут административному решению ОСО НКВД от 7.7.45 — заключению в ИТЛ на 8 лет. Однако и по отбытии срока и не будучи лишён гражданских прав, я не был освобождён, а на этот раз даже без чьего-либо специального решения, механически зачислен “вечно-ссыльным”, и в этом положении живу уже третий год».

Заявитель сообщал, что тяжело болен и нуждается в постоянном врачебном наблюдении. Прилагал справку с места работы, копию трудовой книжки, три справки из Ташкентского онкодиспансера с указанием диагноза, сроков пребывания в стационаре и вида проведённого лечения, копию вузовского диплома с отличием, сведения о службе в армии и наградах, а также две характеристики — на «преподавателя математики и физики», подписанной заведующим районо Сейдалиевым, и на «ссыльнопоселенца», составленной помощником коменданта спецкомендатуры № 254 лей-

тенантом Кусмагамбетовым. Обе характеристики были положительны, и если заврайоно свидетельствовал о глубоком знании преподавателем своего предмета, педагогическом такте и любви к работе*, то комендатура акцентировала свою специфику: «Живёт одинокий, в составе семьи никого не имеет, установленный режим для ссыльнопоселенца не нарушал, контрольную регистрацию проходил своевременно, в побеговых отношениях не замешан».

Не успели в Главной военной прокуратуре изучить дело бывшего капитана Солженицына, просившего снять ограничения в передвижении, как в феврале 1956-го грянуло событие исторической важности — XX съезд КПСС. В Кок-Тереке, правда, о закрытом докладе Хрущёва ничего не знали. Но был у Солженицына приёмник, круглосуточно вещало Би-би-си, приходили центральные газеты; «довольно было мне слов Микояна: "это — первый ленинский съезд" за столько-то там лет. Я понял, что враг мой Сталин пал, а я, значит, подымаюсь. И я — написал заявление о пересмотре».

Немедленно, то есть 24 февраля 1956 года, Солженицын написал новое заявление на имя Хрущёва и аналогичные письма заместителю председателя Совета Министров СССР Микояну, министру обороны маршалу Жукову, Генеральному прокурору СССР Руденко.

Там говорилось: «XX съезд КПСС и речи, произнесённые с его трибуны руководителями ЦК, дают мне смелость обратиться к Вам... В преступлении мне были зачтены содержащиеся в моих письмах высказывания (действительно, резкие) против господствовавшего тогда *культа личности*... Но *культ личности* ныне решительно осужден... Я тревожно переживал тогдашнее состояние наших экономической, исторической и литературоведческой наук... Но ныне с трибуны XX съезда товарищами Хрущёвым, Микояном и другими членами ЦК признано как раз *неудовлетворительное состояние этих наук*.

Больше не было никаких объективных данных для моего осуждения. 17.9.55 объявлен Указ Верховного Совета об амнистии, по которому я должен был бы быть освобождён

---

* В характеристике, составленной год спустя, уже другой заврайоно, Маринов, отмечал большие педагогические способности Солженицына, «умеющего увлечь учащихся своим предметом и добиться у них прочных знаний»; подчеркивал успешное руководство районным методобъединением и школьным кружком прикладной математики и геодезии; положительно отзывался о выступлениях педагога на областных педчтениях в Джамбуле (1956) и в школьном лектории — на темы о строении вселенной, строении атомного ядра, ядерных реакторах, искусственных радиоактивных изотопах.

хотя бы от ссылки со снятием судимости — но даже и этот Указ не применён ко мне без всяких на то объяснений.

Я прошу:

1. Полной реабилитации.

2. Возврата моих боевых орденов».

Через два месяца после XX съезда, в апреле 1956-го, ссылка для осуждённых по 58-й статье была упразднена вообще: Указ от 17 сентября 1955 года «Об амнистии» был применён и к политическим ссыльным. *Вечность* коктерекского сидения продлилась, таким образом, три года. 16 апреля Солженицын получил справку из Управления МВД Джамбульской области о том, что он освобождается от дальнейшего отбытия ссылки со снятием судимости и как полноправный гражданин СССР имеет право получить паспорт. Через три недели, 5 мая, ему была выдана красная книжица – пропуск на свободу. Снятие ссылки и судимости означало, что государство простило бывшего з/к, и теперь ему предстояло настаивать на реабилитации, то есть на своей изначальной невиновности.

«Как хорошо казалось нам наше ссыльное место, пока было неизбежно-безвыходным, уж как мы его полюбили! и как потоскливело оно, когда появился дар свободы, и все уезжали, уезжали».

Дар свободы увлекал Солженицына в Россию — манило устроиться в глуши, в каком-нибудь «берендеевом уголке», тихо учительствовать, укромно писать. А перед тем съездить на юг, в Ростов и Георгиевск, повидать родные могилы, навестить тётю Марусю (Саня написал ей летом 1953-го, она ответила и дала адреса других родственников) и, конечно, доброго ангела тётю Нину Решетовскую, которая без устали заботилась о нём все беспросветные годы.

Он списался с Ивановским облоно, где, как сообщали газеты, не хватает физиков (оттуда предложили место в городе Наволоки на Волге), обратился во Владимир (там имелись вакансии в райцентрах и сельской местности). В апреле 1956-го послал письмо и Решетовской, с просьбой выяснить, не нужен ли математик-физик-астроном школам Рязанской области. «Могу заверить тебя, что даже если я буду в Рязанской области, то никакой тени на вашу жизнь отбрасывать не буду — вы меня и видеть не будете». Но Рязанщина, как ответила Сане бывшая жена, учителями была обеспечена — снабжал кадрами местный пединститут.

Кончался 1955/56 учебный год. Прошли экзамены в десятых классах, это был его четвёртый выпуск, и уже был продан дом, раздарен нехитрый скарб. Супруги Зубовы пока ос-

тавались на месте — подняться так легко, как Сане, им и по возрасту, и по бытовым обстоятельствам, было невозможно. Попрощавшись со школой и с «любимыми старичками», 20 июня 1956 года он покинул Кок-Терек. Вместе с ним, попутчицей, уезжала учительница Лызлова — в свой родной Ярославль. «Мы забрались с Александром Исаевичем в открытый кузов полуторки. Сели на деревянные скамейки. В лицо дул сильный колючий ветер с песком. Жара была под 40 градусов. Пили тёплую, горьковатую воду из фляжек. На станции Чу взяли билеты в плацкартный вагон — до Москвы. Ехали четверо суток, говорили всю долгую дорогу».

Со станции Саня дал телеграмму Копелеву и уже в поезде писал Зубовым: «Поймал себя на мысли, что если бы я должен был к сентябрю возвращаться в Кок-Терек, — это бы омрачало мою поездку. Смотрю на безрадостные степи Средней Азии — и хочется никогда сюда не возвращаться».

«И, слабый, покинул я свою прозрачную ссылку. И поехал я в мутный мир».

Вскоре, вослед Солженицыну, на станцию Торфопродукт Владимирской области из Кок-Терека, от Н. И. Зубова, прибудут по почте три аккуратных посылочных ящика, на вид совершенно стандартных. Про двойное дно и тайную полость фанерных ящиков знали только отправитель и получатель. Между ними завяжется многолетняя переписка, как между самыми близкими людьми — и Саня будет заботиться о стариках как нежный сын и верный друг.

Спустя год он напишет про свою ссылку тепло и благодарно: «Кок-Терек, который только тем и был для меня хорош, что не существовал, пока я там жил, — сейчас становится для меня симпатичным сам по себе и — главная ирония — лишь постольку, поскольку я там не остался. Три года, прожитые там, становятся в моей жизни какими-то уникальными и милыми».

Ещё через полвека он скажет: «Для меня это было величайшее испытание, и величайшее сочетание боли, мучения и счастья. Счастья от моего творчества, мучения от того, что не мог ни жениться, ни сходиться ни с какой женщиной, потому что тайну свою я берёг превыше всего. И несмотря на то, что это был такой трудный период и ещё на него наложились болезни, у меня осталось впечатление, что Кок-Терек был второй юностью моей жизни. Я рисую его для себя необычайно возвышенно, горжусь им, я там оставил сердце, хотя не сошёлся ни с кем, а только писал. Впервые после лагеря я там писал, и много написал, и это составило моё счастье».

Часть пятая

ПЕРЕД ПРОРЫВОМ

Глава первая

МОСКОВСКИЕ МАРШРУТЫ И ДЕРЕВЕНСКИЕ БУДНИ

Поезд Алма-Ата — Москва прибыл на Казанский вокзал 24 июня 1956 года. В тот же день Лев Зиновьевич Копелев записал в дневнике: «Мы с Митей на вокзале встречаем С<аню>. Он похудел. Бледный, нездоровый загар. Но те же пронзительные синие глаза. Ещё растерян, не знает — что, куда? Тот же торопливый говор». И дальше, 25 июня: «С<аня> приехал к нам на дачу. Сумка рукописей. Вдвоём в лесу. Он по-детски радуется берёзам: "Там ведь степь, только голая степь. А это — русский лес"».

«Из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад — просто в Россию», — вспоминал А. И. Пока же это «наугад» обернулось тёплой встречей с друзьями и краткими московскими гощениями: немного у Копелева и Панина и подольше на Красной Пресне, у Елены Фёдоровны Гориной, дочери дяди Феди, принявшей родственника на постой*.

Первое свободное лето должно было вместить множество маршрутов. «Мне надо проехать более 10 000 километров, и времени у меня будет в обрез», — сообщал Солженицын бывшей жене перед отъездом из Кок-Терека (та прислала бандероль с «Занимательной математикой» Перельмана и своим новым фото в кокетливой шляпке). Отвечая не сразу, Саня мимоходом заметил, что в доме Паниных всегда будут самые свежие новости о том, где он и что с ним. Заодно отозвался и о фотографии: «Она ошеломила меня: такая ты на ней неожиданно величественная и — чужая... и так зримо

---

* «Обе дочери Ф. И. Горина были замужем за крупными военными, партийцами, которые в 1937 году пострадали. Одного из них в 1956-м уже не было в живых, второй подарил мне письменный стол, который я багажом отправил в Торфопродукт; он простоял у Матрёны всю зиму, потом я отправил его багажом в Рязань, а после ещё и в Борзовку, и там он сгорел с последним пожаром» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2006 год).

почувствовались эти минувшие — минувшие — минувшие годы — 15 лет! На других ярче, чем на себе, замечаешь этот ход времени».

А Решетовская, взяв на себя обязанности матери детей Сомовых, проводила отпуск с младшим Боренькой. Из Рязани поехала за мальчиком в Суджу к родителям мужа, оттуда в Ростов, а далее десять дней они плыли на теплоходе по Дону, затем по Волге и Москве-реке, и ласковый Боренька уже звал «тётю Наташу» мамой. «Все дни нашего путешествия мы были такой дружной парой, так гармонично сочетались, что ни у кого не возникло даже малейшей мысли, что Боря не родной мне сын». Утром 26 июня на речном вокзале в Химках их встречал Серёжа, без пяти минут студент, и втроём (отец семейства оставался в Рязани) они направились в Хлебный переулок, к Лиде Ежерец. «Пока Лидина тётя накрывала на стол, я спустилась вниз и позвонила на работу Евгении Ивановне, открыткой я её предупредила о своем приезде. “Саня здесь и ждёт вас на Девятинском!” — с ходу сообщила та».

Целый день Наташа занималась детьми — водила Бореньку в Третьяковку и в зоопарк, встречалась и обсуждала с братом мужа выбор вуза для Серёжи и, оставив мальчиков ночевать у Лиды, попала к Паниным поздно вечером. Много раз потом она описывала то смятение, с которым поднималась по лестнице на третий этаж. «Я шла, как на Голгофу, как на расплату. Позвонила. Открыла Евгения Ивановна и сразу провела в комнату, где в углу за круглым столом пили чай и спокойно беседовали Дмитрий Михайлович и... Саня. Увидев меня, оба встали. Я подошла и поцеловала Саню. Только потом я осознала, что сделала это по инерции, интуитивно, как делала всегда когда-то. Панины, проявляя деликатность, удалились в другую комнату. Мы с Саней остались одни».

Решетовская вспоминала, как естественно рухнула стена отчуждения, как легко возник разговор, сразу обо всем. Саня сообщил главное: собирается учительствовать во Владимирской области и, возможно, скоро будет реабилитирован. Ей казалось, что их общая жизнь, расколотая по её вине шесть лет назад, восстановилась. Было поздно, шёл дождь, и Саня вызвался провожать. Когда дождь усиливался, они прятались в парадных, как когда-то в юности, и в какой-то момент вопрос, который висел весь вечер, был задан: почему она не дождалась его? Много раз обдумывала она варианты ответов, надеясь объяснить и свою тоску по материнству, и стремление опереться на сильную руку. «Вспомни,

ведь я росла без отца, а Всеволод Сергеевич на десять лет меня старше. В нём я почувствовала какую-то опору...» И потом добавила: «Я была создана, чтобы любить одного тебя, но судьба рассудила иначе». У дома Лиды Саня достал из кармана задачник по алгебре и, вручая его Наташе, объяснил, что в переплёте спрятаны посвящённые ей стихи. Прощаясь, крепко обнял её и поцеловал.

Была ночь, в доме все спали, но Лида, ожидая подругу, с порога спросила: «Что? Как?» Наташа протянула книгу, и Лида схватилась за голову — всё тот же Саня, со стихами и конспирацией, его ничто не может ни образумить, ни научить. Подруги полагали, что с литературой он навсегда покончил, а оказалось, что утвердился в ней! Вдвоём разорвали учебник, достали мелко исписанные листки. Это был цикл «Когда теряют счёт годам», написанный от лица женщины, ожидающей любимого из тюрьмы. Всю ночь Наташа читала и перечитывала; стихи завораживали, казались магическими, переворачивали душу; вечерняя встреча представлялась очередным свиданием с мужем, будто и не было разлуки. «Утром я была уже совсем другой. Для моего сердца не существовало моей новой семьи, не существовало этих двух чудесных мальчиков, которым я хотела заменить мать, и все вокруг были для меня чужими, кроме — одного. Да, я снова любила своего бывшего мужа». Утром она открылась Лиде, вечером, уже в Рязани, рассказала о свидании мужу, обещая, впрочем, что всё останется по-прежнему. Но жизнь с новой семьей уже не занимала и не наполняла. Тщетны были усилия Сомова удержать жену: ни лодочные катания по Оке, ни дом отдыха в Солотче, ни совместные усилия по воспитанию чудо-ребёнка Бореньки не могли их ни сблизить, ни соединить: мысли были далеко, Севу она всё чаще называла Саней... «Я понимала, что совершаю преступление».

Стихотворный цикл, который взорвал семейную жизнь Решетовской, заставил отказаться от детей, поверивших, что у них снова есть мама, имел длинную предысторию. Шли последние месяцы на шарашке, и Саня, ощущая шаткость своего положения, обдумывал, как поступить с письмами жены — вывезти их, как и всё письменное, было невозможно. «И я, — вспоминает А. И. (2006), — придумал: перевёл письма в стихи, связав, как времена года, с месяцами, заучил наизусть, а потом уничтожил. Вскоре нас с Паниным вышвырнули из Марфина. В Кок-Тереке я восстановил цикл по памяти, как и всё написанное, хотя никогда не включал его в собрание своих сочинений, просто по слабости стихов». Года три листки лежали, заклеенные в задачнике, а

летом 1956-го приехали в Москву. «И вот теперь, когда мы с Наташей прощались, как я понимал, навсегда, я решил подарить ей этот цикл на память. Я думал, что на этом всё кончилось. А на этом, наоборот, всё только началось. Она взвилась, нет, она взорвалась, как атомная бомба. Она увидела неслыханное: *её* письма изложены стихами, которые, конечно, когда-нибудь создадут ей светлый ореол, вознесут её на небесные вершины; она была *потрясена...* Какой-то рок, что я подарил ей эти стихи, без них ничего бы не было. А так разгорелся пожар. Ей представилась мировая слава, какую она едва не потеряла, и у неё возникла неистребимая решимость снова соединиться со мной».

«И сама встреча, и особенно стихи перевернули душу. Всплыло всё — юность, война, годы ожидания, тревоги, бессонные ночи, слёзы в подушку, не приносящие облегчения. Поняла одно, что по-настоящему я люблю только его, он — моя единственная в жизни любовь и всё остальное я должна принести в жертву вновь вспыхнувшему чувству» — так писала она. Уютная семья, добрый, прозаический муж (Наташа смирилась, что в музыке он признает только попурри из украинских песен), его научные эксперименты с картофельными очистками, улучшавшими корма для свиней, — всё стало чужим и ненужным.

Тот факт, что у Сани были другие планы, его бывшая жена, в общем, понимала. Он увиделся с ней для того, чтобы подвести итог совместной жизни и, подарив стихи, поставить точку. Ведь настаивала на их встрече только Панина — Евгении Ивановне важно было, по причинам личного свойства, на примере Сани и Наташи показать, что мужьям не должны покидать своих жён, много лет их одиноко ожидавших (хотя в случае Сани не выдержала одиночества как раз жена). «Я едва согласился на встречу с ней. И, провожая её, прощался навсегда. И стихи преподнёс ей не в залог будущего, а в память о прошлом»*.

Встреча 26 июня представлялась Сане настолько простой и понятной, настолько не затрагивала чувств, что через три

* В 1985 году Панин, «положив руку на Крест и Евангелие», писал Солженицыну: «Наша беседа втроём в 1956 запечатлелась и совпадает с твоим описанием: после обеда мы сидели, и Евгения Ивановна долго уговаривала тебя встретиться с Натальей Алексеевной. Я молчал. Ты возражал, спорил. Не помню доводов ни Е. И., ни твоих. Но запомнил одну фразу. Уходя, уже в дверях ты бросил: мы были муж-жена год, а с этим человеком она пять лет и растит его детей. Так ты и ушел с отказом от встречи на устах. Е. И. обладала ослиным упрямством, и переубедить её было невозможно».

недели он отправился знакомиться с девушкой, с которой состоял в переписке. На Южном Урале, в посёлке Магнитка близ Златоуста, жила сестра Е. А. Зубовой Вера Александровна Бобрышева. Саня виделся с ней в Кок-Тереке, когда та приезжала к родным; её потрясла «Дороженька» и особенно история Джемелли, напомнившая покойного мужа: он был из таких же романтиков, жертвенных рыцарей ленинизма. Теперь Сане предстояло увидеть ее дочь Наташу Бобрышеву, студентку. «Провёл неделю здесь как в сказке. Наташа, — писал он Зубовым, — такая прелестная девушка...» Он сделал предложение. Вскоре, однако, выяснится, что жених заслужил лишь доверие и уважение, но не любовь юной особы: события разворачивались слишком стремительно и поспешно, нормальное развитие чувства потребовало бы, вероятно, не один год. Невеста-студентка была смущена, даже напугана, обещала приехать на зимние каникулы. Но осенью искренне написала, что в итоге этого лета ничего к нему не почувствовала*.

До Магнитки А. И. ездил во Владимир наниматься на работу. Отдел кадров облоно отнёсся к нему вполне терпимо, и робкая просьба бывшего зэка (все документы были проверены едва ли не на ощупь) найти место учителя математики где-нибудь подальше от железной дороги не вызвала у них ни оторопи, ни возмущения, как было бы ещё год назад. Напротив: все просятся в город, в центр, а этот... «Я ехал окунуться в самую душу средней России». Ему предложили двадцать два (!) места по области, долгим перебором остановились на двух — и его потянуло к красоте. Это была деревенька Орехово Ставровского района, который вместе с Суздальским и Юрьев-Польским входил во Владимирское Ополье (в «Матрёнином дворе» деревня получит название Высокое поле). Про Ставрово говорили тогда: от деревни ушёл, до города не поднялся. «Я не помню, где и когда я видел такую разнообразную, могучую и мудрую красоту, — писал он Зубовым. — <...> Я шёл там, задыхаясь от счастья и почти готовый согласиться на любые условия». Но оказалось, что в Орехово всего 28 изб, дети приходят из соседних деревень, классы неполные, нет электричества, жители поражают дикостью и нечистоплотностью, квартиру снять

* «Я уехал, предполагая, что вот, наверное, подходящая женщина; такой тоже лагерной закалки; у неё отец погиб в ссылке, и она не комсомолка; я думал, что она потом приедет во Владимир из Свердловска, ко мне на каникулы, но не случилось...» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2001 год). Черты Н. Бобрышевой отразились отчасти в образе Агнии («В круге первом»).

почти невозможно. Кроме того, в деревеньке не пекут хлеба, овощи и молоко добывают на месте, а всё остальное, включая крупы, возят из города. «Это было крушение всего моего “хохломского” варианта: я понял, что в моей мечте заложено противоречие: там, где тихо и красиво, я не найду ни работы, ни еды. Там же, где будет работа и еда — там будет шумно и производственно».

Оставался «Торфопродукт» — Торфянка, как он окрестил второе место и куда поехал немедленно. Здесь, поговорив с директором школы, убедился: можно работать, нагрузка часов тридцать с оплатой по повышенному тарифу, среднее снабжение, хороший транспорт, близость Москвы, электричество, сносная тишина, есть шанс найти квартиру. 30 июня вернулся во Владимир и пришёл в облоно — оформляться. Его поразил минимум требуемых документов: личное заявление, справка об увольнении с прежнего места и копия диплома — никаких анкет и автобиографий. Приказом облоно № 256 А. И. Солженицын был зачислен преподавателем математики с семилетним (включая войну) стажем и направлялся в распоряжение Курловского районо. 4 августа там будет издан приказ № 64 о назначении его на работу в Мезиновскую среднюю школу с 24 августа 1956 года.

Москва ошеломляла и утомляла. При общем списке пунктов в пятьдесят за день он успевал сделать не больше пяти и к вечеру валился с ног. Когда-то (писал он Зубовым) даже дрожь поездов метро, струи подземного воздуха, московское движение приводили в радостный трепет ожидания, теперь ничто не могло вывести из состояния бесстрастной усталости. Его раздражали «сплетни в богеме», толчея в магазинах, очереди за невиданными им еще бананами; быстро надоело столичное кружение, но и Кок-Терек казался уже бледной сказкой, почти небылью. «Сейчас отчётливо сознаю, что я не имел бы сил в этом году вернуться в Казахстан, хотя и не нашёл ещё нигде мёда — просто не мог бы я себя туда добровольно загнать!..»

Необходимо было навести справки о реабилитации. В прокуратуре его вежливо направили на Лубянку. Простецкий с виду следователь искренне сокрушался: как же исковеркали ему, Солженицыну, жизнь; называл следака Езепова зверем и уверял, что *таких* в органах больше нет. Смеялся над остротами о Сталине из фронтовой переписки, и так выходило, что сажать друзей-офицеров было не за что. Одно его беспокоило: «Вы хотели создать организацию?» Но ответ уже давно созрел: имелась в виду не совокупность людей, а система мероприятий, проводимая государством же. Следо-

ватель успокоился и обрадовался; хвалил военные рассказы, вшитые в дело, советовал печатать. Но стреляного воробья на такой мякине уже было не провести. «Голосом больным, почти предсмертным, я отказываюсь: “Что вы, я давно забыл о литературе. Если я ещё проживу несколько лет — мечтаю заняться физикой”».

Задним числом компетентные инстанции признáют, что реабилитация Солженицына оказалась делом канительным и затянулась на целый год. После XX съезда жалобы писали все, кто дожил, «тогда как не готовые к шквалу реабилитаций органы прокуратуры и государственной безопасности в полном смысле слова изнемогали от перегрузки». Хроника реабилитации предстаёт как процесс неспешный, но необратимый. По жалобе заявителя от 24 февраля 1956 года помощник Главного военного прокурора полковник юстиции Прохоров 14 июня обратился в КГБ с просьбой выполнить необходимые следственные действия. Делом Солженицына занимались подполковник юстиции Горелый и старший следователь КГБ капитан Орлов — люди, не связанные с бериевским аппаратом. Был допрошен Виткевич — он показал, что в беседах и переписке с другом осуждался культ личности, но антисоветских разговоров не велось. Допрошенный Симонян тоже аттестовал друга с лучшей стороны.

14 июля Солженицын писал Решетовской: «В связи с моими хлопотами о реабилитации я допрашивался и, очевидно, в первой половине месяца или во второй половине месяца будешь допрошена в качестве свидетеля и ты. Ничего не пугайся, всё идёт очень хорошо... Следователь обещал, что реабилитация будут непременно». Но Наташу успели вызвать в Рязанский КГБ ещё до Саниного письма, и она немало напугалась, подумав, что начато новое следствие. Её успокоили: цель допроса — подтвердить политическую благонадёжность бывшего мужа. 29 сентября заместитель председателя КГБ генерал-лейтенант Ивашутин утвердил подготовленное капитаном Орловым заключение, согласно которому следовало «возбудить ходатайство перед Генеральным прокурором СССР о внесении протеста в Верховный Суд СССР на предмет отмены постановления ОСО от июля 1945 года в отношении Солженицына А. И. и прекратить его дело по пункту “б” ст. 204 УПК РСФСР».

Однако вопрос о реабилитации решался не автоматически. Главную военную прокуратуру одолевали сомнения — обвинение 1945 года было «более чем серьёзно»: заговор, организация... Только через два месяца, после долгих дебатов, в Военную коллегию Верховного Суда СССР был направлен

надзорный протест за подписью генерал-майора юстиции Терехова, где ставился вопрос об отмене постановления ОСО НКВД и прекращении дела Солженицына по п. 5 ст. 4 УПК РСФСР, то есть за отсутствием состава преступления.

6 февраля 1957 года Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством полковника юстиции Борисоглебского (члены суда — полковники юстиции Долотцев и Конов) вынесла определение № 4н-083/57: «Постановление Особого совещания при НКВД СССР от 7 июля 1945 года в отношении Солженицына Александра Исаевича отменить и дело о нём за отсутствием состава преступления прекратить».

«Мы были уверены в правильности своих выводов, хотя даже не предполагали, что рассматриваем дело будущего писателя», — рассказывал в начале 1990-х один из сотрудников коллегии. Определение Верховного суда было предъявлено Солженицыну под расписку 2 марта 1957 года по месту жительства (п/о Торфопродукт) Курловским отделением милиции, и тогда же ему вручили справку о реабилитации. Отныне он считался жертвой политических репрессий; по новым правилам (Постановление Совмина СССР № 1655 от 8 сентября 1955 года) восемь лет заключения засчитывались в непрерывный трудовой стаж, три года ссылки — в стаж педагогический, а шарашка — в работу по специальности в качестве младшего научного сотрудника НИИ МВД и МГБ СССР.

В предвидении реабилитации Солженицын почти ничего для себя не ждал. «Мой друг и одноделец Виткевич, с кем общими мальчишескими усилиями мы закатились за решётку, — воспринял всё пережитое как проклятье. Как постыдную неудачу глупца». Одиннадцать лет, проведённые в неволе, Солженицын усвоил не как позор и не как проклятье. Во сне он часто видел себя заключённым и завёл обычай: в годовщину ареста устраивал «день зэка» — отреза́л утром 650 граммов хлеба, клал два кусочка сахара, наливал кипяток. А в обед съедал порцию баланды и черпачок жидкой каши. «И как быстро вхожу я в старую норму: уже к концу дня собираю в рот крошки, вылизываю миску».

Как особую милость реабилитация возвращала членство в партии. Виткевичу вернули это звание, а Солженицыну — нечего было возвращать. «Я — свободен, а он влип, и на сорок лет остался “в рядах”. Вся его идеология перестроилась. И стал он уже заядлым партийцем и меня обвинял, что я разрушал этот строй». Реабилитация давала шанс всё забыть и *завязать* со старым, а Солженицын хотел всё помнить и обо всём рассказать. Отказавшись забрать с Лубянки фронтовые рассказы, подшитые к делу как улики, тайно собирал

свои сочинения, рассеянные по друзьям и знакомым. Вывез из ссылки все тюремные и лагерные сочинения, забрал у Анечки Исаевой сохранённую повесть «Люби революцию» и блокноты далевских выписок. Мечтал отправить свои тексты за границу — ведь для этого они с Зубовым совершенствовали фотографию и переплётное мастерство. По памяти читал свои вещи Копелеву и сильно надеялся, что Лев, имея зарубежные связи, согласится что-нибудь передать на Запад.

«Мы легли в лесу между деревьями, я ему наизусть прочёл “Пир Победителей”, сообщил о другой пьесе, “Республике труда”, читал “Дороженьку” — о ней Лев только и сказал: “Да, это жизненный документ”». Саню интересовала не столько оценка друга (их мнения почти никогда не совпадали), сколько реальная помощь... «Но — не хвалил он моих вещей. А особенно в том 1956 году — ведь начиналось “выздоровление” коммунистической системы! — никак не хотел он повредить ей, дав оружие “мировой реакции”. Обещал: разве вот полякам дать мою “Республику труда”, у них в те месяцы как будто бурно развивалась свобода, а главное, что — социалистическая. Но — и полякам не передал, так мои вещи и замерли. Да не придавал он и значения моим провинциальным опусам, ведь он встречался с передовыми советскими и передовыми западными писателями».

А Копелев записывал в дневнике (25 июня 1956 года): «Читает стихи, — тоска заключённого о далёкой любимой. Искренние, трогательные, но всё же книжные; надсоновские, апухтинские интонации. Потом читает очень интересные пьесы — “Пир Победителей” — мы в Восточной Пруссии, январь 1945 года. Пьеса в стихах. Шиллеризация? Здорово придумано: в старом прусском замке наши кладут зеркало вместо стола. Стихи складные, но коллизия надуманная. Идеализирует власовца: трагический герой. Для С<ани> сейчас главное — пьесы. “Я стал слышать, как они говорят... Понимаешь? Они говорят, а я только записываю, я их вижу и слышу”. Вот это настоящее. “Республика труда”. Лагерный быт натуралистически точен. Отлично разработаны детали постановки. Он и драматург и режиссёр. Лирический герой — “Рокоссовский!” — удачный автопортрет, правда, романтизированный, сентиментализированный. Омерзителен бухгалтер-еврей. Никаких замечаний он (то есть автор. — *Л. С.*) не принимает. “Это с натуры, он точь-в-точь такой был”. Третья пьеса “Декабристы” («Пленники» — *Л. С.*) — дискуссия в тюремной камере. Майор Яков Зак с моей биографией. И разглагольствует вроде как я на шарашке, только высокопарнее и глупее. Я всего до конца и не ус-

шышал, заснул где-то после половины. Он обиделся. Потом не стал дочитывать».

Не совпадали впечатления, ожидания, настроения. Солженицын, в отличие от Копелева и его круга, не верил в выздоровление системы. «Все годы после освобождения из лагеря я находился на советской воле как в чужеземном плену, родные мои были — только зэки, рассыпанные по стране невидимо и неслышимо, а всё остальное было — либо давящая власть, либо подавленная масса, либо советская интеллигенция, весь *культурный круг*, который-то своей активной ложью и служил коммунистическому угнетению». Но и со *своими* стало непросто: Панин интересовался философией и историей, а поэмы, пьесы, романы считал баловством и шалостью; трения с Копелевым на воле только усилились, обнажая «коренную, многостороннюю разницу во взглядах».

Эта разница обнажилась с первых московских дней. Солженицын стремился вглубь русской деревни, а Лев жил в московской суете. «В те годы мы всё время жили “на людях”. В квартирах друзей, знакомых и во всех наших временных пристанищах едва ли не ежевечерне собирались друзья и просто случайные знакомые или знакомые знакомых. Тогда возникло множество постоянных кружков», — вспоминала Раиса Орлова, вторая жена Копелева, с 1956 года делившая с Львом Зиновьевичем жизнь «на людях». Ей вторил сам Копелев: «Говорили о новых книгах, спектаклях, выставках, но всего больше, всего увлечённее — о жизни в стране, о политических переменах, о слухах. И всегда находились такие, как я, недавно освободившиеся из тюрем и лагерей. Нас подробно расспрашивали и нам рассказывали».

Представить себе Солженицына, только что вернувшегося из ссылки, участником кружка, где подробно расспрашивают и подробно рассказывают, невозможно: начиная с лагерей, конспирация стала для него законом жизни. Не коллекционировать впечатления случайных знакомых, а жить так, чтобы никто и не догадывался о его литературных занятиях, — такая задача была весьма далека от столичных кружковых интересов.

Летом он успел съездить на юг, *домой*, при всей условности понятия: давно не было у него нигде никакого дома (Мазин рассказывал, как после войны пришёл к дому, где раньше жил Солженицын: сохранилась только одна стена, на которой висела географическая карта времен гражданской войны в Испании с воткнутыми Саней вдоль линии фронта флажками). Прямым поездом, соединявшим Южный Урал с Северным Кавказом, он 27 июля, минуя Моск-

ву, отправился в Ростов повидаться с родными. Остановился у тёти Нины Решетовской. Мазин, школьный преподаватель математики, уговаривал остаться в Ростове. «Я легко мог бы устроиться здесь преподавать; но уже понимал, что Ростов — прошлое. Не хотелось на юг, потому что это, по-настоящему, не Россия». «Мы катались на лодке, — вспоминал и Мазин, — я сказал Сане: 13-й школе нужен хороший математик. Он не согласился, говорит: хочу на север». Ростов жил бурной деловой жизнью и был занят деланием денег. «Зарабатывают официально сотни, но у всех тысячи. Самые последние тупицы из моей университетской группы, которые по слабости мозгов собирались бросать физмат, преподают теперь все исключительно в институтах, в школе — почти никто. Многие — доценты — и такие, на которых бы не подумал. Но зависти не испытал», — писал он Зубовым; знакомые советовали «жениться на квартире», а он малой скоростью отправлял в Торфопродукт ящик с Пушкиным и Лермонтовым.

Даже Мазину Солженицын не открылся, что писал в лагере и продолжает писать сейчас. Что уж говорить про старую учительницу литературы... Теперь она казалась пропартийной, узколобой — *такая* «Нанка» его не поняла бы. Зато какой удачей засияли две тетрадки с заготовками к «Красному Колесу»: ещё в 1941-м, уезжая в Георгиевск, Таисия Захаровна отнесла Санины конспекты к тётушкам Решетовским. Он обнаружил их в 1944-м, а в 1956-м смог, наконец, забрать — это был главный ростовский трофей. Полузабытые главы о самсоновской катастрофе займут со временем своё место. И случилась ещё одна встреча «в тему». Студенческий приятель Миша Шленёв и его жена-армянка, знакомая по университету, взялись проводить Саню в Нахичевань, пригород Ростова, к старикам-армянам. «Я очень плодотворно беседовал с ними, они рассказывали обо всем, что происходило в Ростове в Гражданскую войну, а мне это нужно было для “Красного Колеса”».

Пробыв в Ростове девять дней, 5 августа поехал в Георгиевск, к тётям. Ни крёстной своей тёте Марусе, ни тёте Ире Щербак он не писал со дня ареста — связь прервалась на все годы заключения. До самой ссылки родня считала, что Саня пропал без вести. Тётя Маруся повела племянника на могилу матери и дяди Романа; родственники рассказали подробности о несчастном ранении отца и отдали драгоценные документы. В Пятигорске жила Мария Васильевна Крамер, Муся, подруга юности покойной матери. Она писала ссыльному в страшные месяцы его умирания, ободряла и

укрепляла, как могла; теперь они вместе съездили в Кисловодск, и Мария Васильевна объясняла, где и что было в 1917 году, так ей памятном. «И мы как раз попали на престольный праздник церкви Пантелеймона, где меня крестили; последний раз я видел эту церковь, при Хрущёве её сломали». И — пора было возвращаться в Москву, прощаться с друзьями, отправлять багажом письменный стол и раскладушку.

20 августа Солженицын выехал к месту работы.

Таких названий, как «Торфопродукт», во Владимирской области было немало: к их корявости местные жители привыкли и никак не реагировали на все эти «Профинтерны», «Комавангарды», «Оргтруды» и «Коммунары». Торфопродукт (здешняя молодёжь называла его «Тыр-пыр») был железнодорожной станцией в 180 километрах и четырёх часах езды от Москвы по Казанской дороге. Школа находилась в ближнем посёлке Мезиновском, а жить Солженицыну довелось в двух километрах от школы — в мещерской деревне Мильцево.

Пройдёт всего три года, и Солженицын напишет рассказ, который обессмертит эти места: станцию с топорным названием, посёлок с крохотным базарцем, дом квартирной хозяйки Матрёны Васильевны Захаровой и саму Матрёну, праведницу и страдалицу. Фотография же уголка избы, где поставит постоялец раскладушку и, оттеснив хозяйские фикусы, устроит стол с лампой, обойдёт весь мир.

А тогда мечта о тихом уголке нетронутой России завела его в посёлок торфяников Мезиновский, основанный в 1919 году на месте дремучих лесов. Местное население проживало в бараках и низеньких домиках меж торфяных низин, трудилось на фабрике «Изоплит» и на построенном в 1950-е годы брикетном заводе. Сквозь посёлок пролегала узкоколейка, по которой сновали составы с торфяными плитами, по железной дороге приезжали «вагон-лавка» со столичными товарами и «вагон-клуб» с кинохроникой и относительно новыми фильмами. Танцы для молодёжи, несколько кружков в клубе — это всё, чем был богат Мезиновский. Но за бугром шли деревни с неподдельными названиями: Мильцево, Тальново, Часлицы, Спудни, Шевертни... Погрузив себя в деревенское бытие, постоялец быстро свыкся с темноватой избой Матрёны, её колченогой кошкой, шустрыми мышами и дисциплинированными тараканами: в них, казалось, не было ничего злого, никакой лжи и нарочитости. А значит, можно было обрести душевный настрой для долгой и укромной работы.

Педагогический коллектив Мезиновки насчитывал в тот год около полусотни членов и заметно влиял на жизнь посёлка. Здесь было четыре школы: начальная, семилетняя, средняя и вечерняя для рабочей молодёжи. Солженицын получил направление в среднюю школу — она находилась в старом одноэтажном здании. Учебный год начинался августовской учительской конференцией, так что, прибыв в Торфопродукт, учитель математики и электротехники 8—10-х классов успел съездить в Курловское районо на традиционное совещание. Ехали в кузове грузовика, по дороге останавливались — перекусить, выпить, тоже по заведённой традиции. Звали, конечно, и его: «Казалось, Солженицыну представилась редкая возможность — сразу "войти" в коллектив, но почему-то он ею не воспользовался», — недоумевали сослуживцы. Как же можно игнорировать товарищеское застолье, такой быстрый и лёгкий способ неформального знакомства?

«Исаич», как его окрестили коллеги, мог бы при желании сослаться на тяжёлую болезнь, но нет, он ни с кем о ней не заговаривал. Только видели, как он ищет в лесу берёзовый гриб-чагу и какие-то травы, а на вопросы коротко отвечает: «Лечебные напитки делаю». Его считали стеснительным: всё-таки пострадал человек... Но дело было совсем не в этом: «Я приехал со своей целью, со своим прошлым. Чтó они могли знать, чтó я мог им рассказать? Я сидел у Матрёны и каждую свободную минуту писал роман. Чего ради я буду болтать про себя? У меня такой манеры не было. Я был конспиратор до конца». Потом все привыкнут, что этот худой, бледный, высокий мужчина в костюме и галстуке, носивший, как и все учителя, шляпу, пальто или плащ, держит дистанцию и ни с кем не сближается. Промолчит, когда через полгода придёт документ о реабилитации — просто школьный завуч Б. С. Процеров получит уведомление из поселкового совета и пошлёт учителя за справкой. Никаких разговоров, когда начнёт приезжать жена. «Какое кому дело? Живу у Матрёны и живу». Многих настораживало (не шпион ли?), что он повсюду ходит с фотоаппаратом «Зоркий» и снимает совсем не то, что обычно снимают любители: вместо родных и знакомых — дома, фермы-развалюхи, скучные пейзажи.

...Ещё летом он оставил бывшей жене свой новый адрес: «Если ты имеешь к тому желание и считаешь это возможным — можешь мне писать». Письмо с припиской: «тепло вспоминаю нашу последнюю встречу» — Решетовская сочла сигналом к действию. Она писала, не дожидаясь августа, ездила на исповедь к Лиде. Кроткая, благоразумная Лида, с

большой симпатией относясь к новой Наташиной семье, пыталась образумить подругу. Не тут-то было. Плотину прорвало. Наташа оставила у Паниных свои лихорадочные письма с листками аспирантских дневников; Саня, как считала она, перед отъездом из Москвы их непременно заберёт. И с сентября стала слать ему письмо за письмом.

Отвечая ей из Мильцева, Солженицын не без упрека размышлял: «Ты всегда говорила, будто в твоей в душе звучит музыка... Ты играешь Шопена, Шуберта, Бетховена. Неужели они тебе не подсказали, как быть? Неужели они тебе не помешали, сойдясь с другим человеком, полтора года молчать, ни слова мне не говоря?» Он приводил все возможные аргументы, чтобы держать её на расстоянии. «А как же твоё “материнство”, которое так “наполняло” твою жизнь и которое было тебе так необходимо? А подумала ли ты о моей болезни? Ведь ты меня видела сейчас в расцвете сил... Ведь болезнь моя смертельная и неизлечимая, вопрос только — на сколько лет она мне дала отдышаться».

Но Наташа не замечала ни упреков, ни расхолаживающих вопросов, ни его сопротивления. Она ловила малейшие признаки потепления, и когда он написал: «Отношения наши из тех совершенно ясных, какими они представлялись мне 26 июня, становятся всё запутанней и запутанней» — бурно ликовала, считая бывшего мужа союзником своему смятению. «Пытаюсь осознать моё теперешнее положение. Я уже — не жена. Всеволод Сергеевич очень страдает. Я уже — не мать».

Возникшую «путаницу» предстояло распутывать вместе. В середине сентября, видя бесплодность дальнейшей переписки, Саня предложил: «Чтоб хоть немного прояснилось в какую-нибудь сторону, нам надо увидеться». Речь шла о приезде Наташи в Торфопродукт, и это следовало скрыть и от мужа, и от мамы, и от детей, и от рязанских коллег. Всё отлично устроилось: она уезжала на три дня — якобы в Москву, в связи с Саниной реабилитацией. Из Москвы дала телеграмму. В тот же день Солженицын писал Зубовым о фиаско с их уральской родственницей и о своей новой ситуации. «Я с августа месяца охвачен шквалом писем, где пишут, что меня не могут разлюбить. Это... моя прежняя Наташа, которой несколько часов нашей встречи в июне “перевернули всю душу” и всю жизнь — но я об этом узнал лишь в августе. Я методически разъяснял ей, что она ошибается, что она уже гораздо больше общего имеет со вторым мужем, чем со мной. Я не хотел быть нечестным с Наташей Б<обрышевой> и не верил уже в героизм души Наташи прежней. Она наста-

ивала. Какими-то судорожными рывками. В иных письмах она вспыхивала той неотразимой для меня женщиной, которая заполняла всю мою жизнь. Я начинал колебаться. Но ей всегда писал — нет. Сейчас она замолкла. Она писала, впрочем, что после нашей встречи никакая другая жизнь, кроме как со мной, для неё немыслима».

Поздним вечером 21 октября 1956 года Солженицын встречал «Наташу прежнюю» на станции. Шли, останавливаясь для поцелуев, через поле, к дому Матрёны Васильевны. Хозяйки в избе не было — чтобы не смущать постояльца и его гостью, старушка отправилась к подруге. Наутро ненадолго появилась — растопить печь, насыпать корм курам, накормить козу. «От неё, конечно, не укрылось счастливое выражение наших глаз, — напишет Решетовская. — Но... ни вопроса, ни намёка... Между тем именно она явилась первым свидетелем нашего возродившегося счастья». Они проговорили много часов и не могли наговориться. «В каком-то небывалом прежде фиолетовом пламени мы горели эти дни... Здесь ни разума, ни доводов — просто ни она, ни я не можем и не хотим бороться с этим могучим чувством». Саня пытался её предостеречь, упирая на свою болезнь, Наташа была тверда: «Ты мне нужен всякий — и живой, и умирающий...»

Она потрясённо узнавала, сколько написано в лагере и в ссылке. Уходя в школу, он оставлял ей чтение — пьесы, поэму, главы романа о шарашке — листки с узкими полями, густо исписанные знакомым бисерным почерком. Новая роль захватила её, она была готова на всё. «Когда человек одержим чем-нибудь, он не останавливается перед препятствиями; сокрушая их, становится жестоким. Тогда я, вероятно, была жестокой. Многие порицали меня», — скажет она сорок лет спустя.

«Я изгубил одиночеством свои ссыльные годы — годы ярости по женщине, из страха за книги свои, из боязни, что комсомолка меня предаст. После 4 лет войны и 8 лет тюрьмы, оставленный женой, я изгубил, растоптал, задушил три первые года своей свободы, томясь найти такую женщину, кому можно доверить все рукописи, все имена и собственную голову. И воротясь из ссылки, сдался, вернулся к бывшей жене», — напишет Солженицын в «Телёнке». Ещё лет через тридцать добавит: «Она с огромной энергией приехала ко мне, и моё сопротивление ослабло. После стольких лет одиночества, без общения с женщиной, а главное, без возможности говорить, чем занимаешься, что́ пишешь, я ослаб и пошёл ей навстречу охотно».

Письма, которые теперь чуть не каждый день он слал жене, были полны нежности и страсти, сомнений и ревности. «Иногда закрадывается самая злая и самая страшная мысль: за эти пять лет какое бесчисленное количество раз ты принадлежала ему! — и мне тогда хочется просто выть от боли и стыда: как мне эту мысль изгнать, как мне забыть её?!» Терзания сменялись надеждой, что её решение бесповоротно, что она не даст никому себя уговорить. Позже он разглядит в обжигающей лавине тех своих писем сильные преувеличения, крайнюю несдержанность, писательское неистовство, которое назовёт *эпистолярным бешенством.*

Но тогда эти письма действовали как наркотик, Наташа упивалась ими и сама писала ежедневно, а то и дважды в день, подробно, изнурительно. Шквальная переписка длилась остаток осени, на фоне драматических обстоятельств разрыва с семейством. «Я наносила удар за ударом всем окружающим меня. Именно в этом заключался весь драматизм обстановки. Первый удар получила моя мама. Ведь она уже так привыкла к Бореньке, называвшим её бабушкой, она жила им. Главный и почти смертельный удар получил Всеволод Сергеевич. Он уже начал подумывать о самоубийстве. Даже предложил мне умереть вместе». Саня уверял жену, что человек, который тянется к докторской диссертации, не станет убивать ни себя, ни её; не станет он, вопреки угрозам, и вызывать соперника на дуэль, а очень даже скоро найдет себе новую подругу*. А главное, предлагал подумать, когда же свершилось её *истинное падение* — тогда ли, когда она оставила мужа-каторжанина, или тогда, когда нашла в себе силы соединиться с ним? Сомова, которого Наташа *жалела*, Саня резко осуждал: «Я считаю его негодяем за то, что он соблазнял к женитьбе жену живого мужа (если бы в нём была хоть капля благородства — он написал бы мне сам тогда!)»

Ещё из Мильцева Наташа отправила счастливо-покаянное письмо Саниной уральской невесте. Чуть позже Бобрышевым, а также Зубовым написал и Саня, беспокоясь, что задним числом девушка придумает чувства, которых у неё не было, и выйдет так, будто он разбил ей сердце. Каялась и ви-

---

* Вскоре после разрыва с Решетовской Сомов женился на милой, обаятельной Лиде Ежерец, к тому времени давно оставленной К. С. Симоняном, и перебрался к ней в Москву. Лида жалела Всеволода Сергеевича и его сыновей, страшилась за Наташу и прервала с ней отношения, как только соединилась с Сомовым. «Лида была вообще ангел, ангел в жизни. Это была удивительная женщина. Она могла принести Сомову только счастье и покрыть ему все раны» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2006 год).

нилась перед родителями Сомова Наташа «большая», что обманула и предала детей, но своё решение считала бесповоротным. Не обошлось без тяжёлых объяснений с мальчиками и с мамой, с рязанскими знакомыми и друзьями — ведь Саня разрешил открыто говорить всем о их воссоединении.

Несколько ноябрьских дней Солженицын провёл в Москве. Звонил в прокуратуру, пытался попасть на приём в онкодиспансер (не приняли), попал на «Вассу Железнову» в Малый театр (впервые!) и на «Синюю птицу» во МХАТе, встречался с Ивашёвым-Мусатовым (впервые после шарашки), посмотрел «Илью Муромца» и «Сорок первый» (в Торфопродукте даже до клуба ни разу не дошёл). Копелев привёл друга на вечеринку в Центральный дом литератора (Саня и здесь был впервые). Пьяненькие прилитературные остряки пели под фортепиано смешные пародии. Трезвые судачили, что читать «Литературку» — дурной вкус, особенно после того, как Паустовский со скандалом вышел из состава редакции, а Эренбург призвал её бойкотировать и иметь дело только с «Московским литератором» (в Торфопродукте не было ни одной читальни и никто в посёлке подобных газет отродясь не выписывал). Повторяли старую остроту: натуралист пишет, как видит, импрессионист — как чувствует, реалист — как хочет, а соцреалист — как слышит.

Друзья и знакомые поздравляли Саню с обретением жены, находили его помолодевшим, и он уже чувствовал свою неполноту без жены. Но с первых же московских мгновений радость встреч была отравлена — в день приезда, 4 ноября, вокзальное радио известило о вводе советских войск в Венгрию для подавления антикоммунистического восстания. Бои в Будапеште продолжатся до 12 ноября, пока не будут уничтожены последние очаги сопротивления. Погибнут шесть тысяч венгров и 720 советских солдат. А Европа, со всем своим свободолюбием, не пошевельнется...

В Москве, у брата, находился и Сомов вместе с Борей: Наташа держала слово и ни дня не оставалась с отвергнутым супругом под одной крышей. «После праздников мы с Всеволодом Сергеевичем окончательно разделили наше незатейливое добро, т. е. перевезли на его квартиру те его вещи, что ещё оставались у меня». С этим замужеством счёты были покончены.

В начале декабря Наташа снова приезжала в Мильцево на четыре дня, и счастье, не обманывая ожиданий, было насыщенным и концентрированным. Они были настолько поглощены друг другом, что едва помнили о печке и еде. Матрёна, проявляя деликатность, сидела в Черустях у воспитанницы,

которую любила как дочь. А перед самым Новым годом, 30 декабря, Солженицын впервые побывал в Рязани. Стояли лютые морозы, город был в инее, но весь следующий день они бродили по заснеженным улицам, по набережной реки Трубеж, осматривали Кремль, древнейшую в городе церковь Бориса и Глеба, Архангельский и Успенский соборы, фотографировались у Спаса на Яру и даже зашли в городской загс — заново оформить брачный союз. Не получилось: в новеньком Санином паспорте не было нужной отметки, ведь Наташа разводилась в 1952-м в одностороннем порядке (придёт время, и Солженицын назовёт вещи своими именами. «Когда Наталья Алексеевна разорвала наш брак, я был немым арестантом, даже и не извещённым ею о разводе. Тогда Н. А. не нуждалась в обстоятельной судебной речи, и ответить ей было некому: второй стороны на суде не было. И тогда — легко соглашалась на “вечную разлуку”»).

Новый, 1957 год встречали втроём, с Марьей Константиновной, едва оправившейся после разлуки с детьми, в которых души не чаяла. Всё происшедшее далось ей болезненно, но всё же она приняла выбор дочери. Саня тоже испытывал неловкость, смиренно писал из Мильцева, что их чувство с Наташей взаимно, что оно сильнее обстоятельств; он готов был видеть в тёще прежнего доброго ангела, хранителя домашнего очага. Смущал, правда, сам очаг: после старой, темноватой и холодноватой избы Матрёны благоустроенная квартира Решетовских, пусть всё ещё коммунальная (соседи занимали одну из трёх комнат), казалась слишком роскошной. Каникулы продолжились в Москве; они рекомендовались друзьям как муж и жена. И кстати успели зайти в архив городского суда за справкой о разводе.

Началось второе учебное полугодие. Взяв две недели в счёт летнего отпуска, в Мильцево приехала Наташа; 2 февраля 1957 года в Мезиновском поселковом совете они с Саней зарегистрировались. На этот раз Матрёна никуда не уезжала — жили семейно, женщины хозяйничали и подолгу топили большую русскую печь; стояла морозная, снежная зима. Солженицын всецело был поглощён «Шарашкой» и школой. Не могло быть и речи оставить преподавание посреди учебного года. На уроки ходил с энтузиазмом, но невольно вспоминал Кок-Терек. «Когда я приехал в Мезиновку, я был глубоко огорчён нищетой, запущенностью русской деревни. Были у нас ребята, которые приходили в школу, живя от неё в шести километрах, чтобы заодно купить буханку хлеба для своей семьи. А некоторые специально на второй год оставались, чтобы лишний год получать пенсию

по убитому отцу. Здесь, в Мезиновке, я встретил совершенно другую школьную атмосферу».

Но и Мезиновская школа смогла оценить учителя. Здесь его называли «ходячей энциклопедией» и Лютером-реформатором. Коллеги запомнили его огромную тетрадь, исписанную от корки до корки формулами и задачами, безотказный рукописный справочник. В 1956-м здесь обучалось более тысячи детей, в классах было по сорок учеников. Высокий, худощавый математик, с зачёсанными назад волосами, в кирзовых сапогах, в простом костюме, с командирской сумкой на длинном ремне через плечо запомнился надолго. «Он не вёл журнал. Переписал всех в простую ученическую тетрадь и на следующем уроке уже помнил все фамилии. Был очень строгий. Чтобы получить у него “4”, надо было несколько контрольных написать на “5”. Если видел, что человек чего-то не понимает, пытался докопаться до причин непонимания и спрашивал на каждом уроке», — вспоминал (1993) В. Кишев, один из его кружковцев.

В кружок по прикладной математике к А. И. поначалу записалось много ребят, но условие было жёсткое: пропустил одно занятие — значит выбыл. Остались самые стойкие. Он рассказывал о лучших математиках мира и их открытиях, учил определять расстояние на местности, время по солнцу и скорость движения поездов, показывал, как работать с логарифмической линейкой, астролябией и арифмометром. Ребята сами смастерили зеркальную астролябию, крестообразный эркер, пантограф. Нередко занятия проходили в лесу, в поле; потом сидели у костра, пели, пекли картошку, говорили о литературе. Зимой учитель мог вывести класс на школьный двор, завязать ребятам глаза и пустить по снежной целине, объясняя, что шаг у человека не одинаков и одна нога уводит другую, заставляя кружить: выписывая, под общий смех, замысловатые кривые, школьники постигали причины кружения путников в лесу. Объясняя прямоугольные треугольники, учитель увязывал теорему Пифагора со становлением земной цивилизации; и отныне ученики знали, что прямоугольный треугольник может послужить важнейшим символом при поиске общего языка с разумными существами, пришельцами-инопланетянами. Ребята завороженно слушали рассказы о чудесах техники, переговаривались на расстоянии по «спичечным коробкам» — учитель сконструировал для них импровизированный телефон. Как было не полюбить и геометрию, и чудеса техники и конечно же учителя математики?

Придя в школу в начале учебного года, он предложил собственную методику — дав всем классам контрольную, по

результатам разделил учеников на сильных и посредственных, а далее работал индивидуально. На уроках каждый получал отдельное задание, так что списывать не было ни возможности, ни желания. Ценились не только решение задачи, но и способ решения. Максимально была сокращена вводная часть урока: учитель жалел время на «пустяки». Точно знал, кого и когда нужно вызвать к доске, кого спрашивать чаще, кому доверить самостоятельную работу. «Учитель никогда не садился за учительский стол. В класс не входил, а врывался. И с этой минуты мы жили в ускоренном ритме. Он всех зажигал своей энергией, умел построить урок так, что скучать или дремать было некогда. Он уважал своих учеников. Никогда не кричал, даже голоса не повышал», — вспоминал С. Фролов (его называли «любимчиком» А. И.) в бытность свою студентом пединститута. «В класс приходил с указкой и журналом, который лежал на столе и оставался нераскрытым, — рассказывала (2003) В. Птицына (в девичестве Яшина). — Никаких учебников и других книжек. Сразу же двое шли к доске, называлась страница учебника, параграф, номер задачи — работайте! А сам занимался с классом. И так всё по памяти. Можно было не проверять — точно. На оценки был скуп, четыре с плюсом — потолок, на пять, шутил он, я и сам не знаю. Планку знаний он нам, конечно же, завышал. На логарифмической линейке сразу же начали с трёхзначных цифр. Хоть и трудно, но освоили, а потом всё как бы само пошло».

И только вне класса Солженицын был молчалив и замкнут. Уходил после уроков домой, съедал приготовленный Матрёной «картонный» суп и садился работать. Соседки долго помнили, как неприметно квартировал постоялец, гулянок не устраивал, в весельях не участвовал, а всё читал да писал. «Любила Матрёна Исаича, — говаривала Шура Романова, приёмная дочь Матрёны (в рассказе она Кира). — Бывало, приедет ко мне в Черусти, я её уговариваю подольше погостить. “Нет”, — говорит. — У меня Исаич — надо ему варить, печку топить”. И обратно домой».

Привязался к *потерянной старухе* и квартирант, дорожа её бескорыстием, совестливостью, сердечной простотой, улыбкой, которую тщетно пытался поймать в объектив фотоаппарата. «Так привыкла Матрёна ко мне, а я к ней, и жили мы запросто. Не мешала она моим долгим вечерним занятиям, не досаждала никакими расспросами». В ней начисто отсутствовало бабье любопытство, и квартирант тоже не бередил ей душу, но вышло так, что они открылись друг другу. Узнала она и про тюрьму, и про тяжёлую болезнь

постояльца, и про его одиночество. И не было горше потери для него в те времена, чем нелепая смерть Матрёны 21 февраля 1957 года под колесами товарняка на переезде сто восемьдесят четвёртого километра от Москвы по ветке, что идет к Мурому от Казани, ровно через полгода после того дня, когда он поселился в её избе.

Избу Матрёны закрыли и забили родственники, квартиранта взяла к себе одна из Матрёниных золовок, здесь же в Мильцеве. Дом был чист и добротен, без мышей и тараканов, ему дали отдельную комнату, но с гибелью Матрёны, родного человека, что-то невозвратно ушло из деревенского бытия. Владимирская Мещера как-то сразу исчерпала себя, и когда в весенние школьные каникулы Солженицын снова поехал к жене в Рязань, то уже перевёз частично и вещи. В конце мая подал заявление об уходе по семейным обстоятельствам; школа расставалась с ним нехотя и — благодарно. «К своей работе Солженицын относится весьма серьёзно: его уроки отличаются целенаправленностью, продуманностью; учитель увлекает учащихся, которые полюбили математику как предмет»*. А перед расставанием с Торфопродуктом (10 и 11 июня принимал экзамены, 12-го отправлял багаж и прощался с коллегами, в ночь на 13-е выехал) Солженицын побывал в Ильинской церкви, где отпевали Матрёну, и поклонился её праху на кладбище в Палищах. Покоится Матрёна на сельском погосте под высокой сосной. На пирамидке из металла — фотография и крест.

...Супруги встретились в Москве и прожили неделю в семье дяди, В. К. Туркина. Успели посетить Коломенское, побывать в Хамовниках, в доме Льва Толстого и сделали жизненно важное приобретение: пишущая машинка «Москва-4», счастливо купленная в ГУМе, обещала совершить революцию и в хранении рукописей, и в писательской работе. 21 июня на теплоходе «Лев Толстой» в каюте второго класса они отправились в путешествие. Плыли по Волге и Оке; Саня, сидя у окна каюты или на палубе, читал — с собой был Ренан «Жизнь Христа», оставивший ярчайшее впечатление. Выходили на остановках: Мышкин, Рыбинск, Муром, Елатьма, Касимов, Щербатовка, Починки, Горький,

---

* В служебной характеристике, подписанной директором школы М. Е. Парамоновым, говорилось также о большой помощи Солженицына местным учителям физики и математики, о кружке прикладной математики и геодезии, где изучались различные счётные приборы и изготовлялись самодеятельные геодезические приборы. Добрым словом упоминалась лекция «Атомная энергия на службе человека», с которой учитель выступал в клубе перед населением поселка.

Углич. 27-го прибыли в Рязань, где их ждала Мария Константиновна, приготовившая всё необходимое для удобного быта и семейного счастья дочери и зятя.

«Решающую роль в роковом возвращении Сани, — вспоминала (2002) В. В. Туркина, — сыграла назревшая потребность иметь, наконец, свой дом, свою крепость, где бы он мог писать, не боясь, что его предадут. В верности Наташи, тёти Маруси, тётушек, которых по его настоянию перевезут из Ростова в Рязань, он не сомневался».

«Начался период мирной, счастливой, уединённой жизни втроём, — "тихое житьё", как назвал мой муж этот отрезок своей, нашей с ним жизни...» Так напишет спустя годы Решетовская.

«Я уже освободился из ссылки, переехал в Среднюю Россию, вернулась ко мне жена, я был реабилитирован и допущен в умеренно-благополучную ничтожно-покорную жизнь... Я... вновь соединился со своей первой женой, к тому времени 6 лет уже бывшей замужем за другим, — ложный шаг, очень дорого впоследствии стоивший нам обоим». Так напишет спустя годы Солженицын.

Глава вторая

РЯЗАНЬ: ДВЕ СТОРОНЫ «ТИХОГО ЖИТЬЯ»

В середине пятидесятых Рязань была городом, сохранявшим черты патриархальности, но быстро растущим вверх и в стороны. Неширокие улицы с деревянными домами в центре, только-только заселённые новостройки на окраинах, железобетонные каркасы строящихся заводов и видный отовсюду кремль с синими куполами-луковками. «Тихое житьё» в девятиметровой квадратной комнате, где поселись супруги, началось хлопотно и бурно: получали багаж из Торфопродукта, делали ремонт, переставляли мебель, размещали книги. Комната, как описала её Решетовская, вмещала два кабинета, библиотеку и спальню: «Друг против друга — два письменных стола: мужа — большой, строгий, с множеством ящиков, мой — маленький, старинный, на тонких резных ножках. Стены были обшиты книжными полками. Возле кровати — маленький круглый тоже старинный столик. На него мы клали книги, которые читали перед сном».

При доме был дворик с вишневым садом. В дальнем углу у глухого забора, где старая яблоня образует беседку, А. И. соорудил скамейку и столик, поставил раскладушку и кресло. Ему было почти сорок, но после каморок, которые

до войны он делил с мамой, съёмных комнат в первый женатый год, землянок на фронте, тюремных камер и лагерных бараков, домика с ящиками в ссылке и угла в Матрёниной избе он впервые ощутил домашний уют. «Там можно проводить целые дни, — писал он Зубовым про зелёную комнату. — Таких условий не запомню в своей жизни. Шум города туда доносится глуховато, жары там не ощущаешь, воздух совершенно очищен деревьями, не падает солнце, не пробьётся пыль — а сверху висят яблоки...»

Открывался и рязанский край. Первым же летом они съездили в Солотчу. «Как только он попал в прекрасный древний сосновый бор, влюбился в Солотчу без оговорок». Но когда плыли на теплоходе по Оке в городок Спасск, Солженицын не без душевного стеснения наблюдал нарядную праздную публику, от какой давно отвык. Первым и единственным рязанским гостем в то лето был Семёнов, друг по шарашке. «“Андреич” нам с мамой очень понравился. Симпатичный, с мягким юмором. Он много рассказывал нам о своих былых злоключениях. И, с большим энтузиазмом — о своих нынешних делах на строительстве Куйбышевской ГЭС». Семёнов, гостивший трое суток проездом, одним из первых узнал про роман и тогда же, в июле 1957-го, прочёл «Улыбку Будды».

Всё лето шли хлопоты по трудоустройству. Университетский диплом с отличием, характеристика из Мезиновской школы, право реабилитированного на получение работы вне очереди — всё это как будто давало преимущества. Солженицын вспомнит в «Архипелаге», как в 1957 году заведующая кадрами рязанского облоно спросила, за что он был арестован в 1945-м. «За высказывания против культа личности». «Как это может быть?» — изумилась чиновница, помня, что культ личности объявили в 1956-м. «Разве *тогда* (то есть в 1945-м) был культ личности?» Впрочем, облоно отказал — «за отсутствием вакантных мест». Вакансий не было и в гороно, но тут повезло: в кабинете заведующего оказался директор средней школы № 2 Г. Г. Матвеев; в разговоре выяснилось, что они воевали рядом, и Солженицына приняли в старейшую и самую престижную школу города*.

---

* «Георгий Георгиевич был достойный человек. Но я просил математику, и очень хотел её вести, а он не мог её дать из-за уже работавшего учителя — тот боялся конкуренции и убедил Матвеева предложить мне физику. Это намного утяжелило мои годы в Рязани. Физика требует эксперимента, классных опытов, подготовки лаборатории. Я это очень не люблю. Руки мои не талантливы. Матвеев согласился не давать мне классного руководства — за это спасибо. Взамен я взялся вести в школе фотокружок. Мы много чего делали с ребятами, но это тоже отнимало мое время» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2006 год).

До революции в здании размещалось созданное по указу Петра I Рязанское духовное училище, где в середине XIX столетия учился будущий великий ученый-физиолог лауреат Нобелевской премии академик И. П. Павлов. В 1930-м здесь выступала Н. К. Крупская, её именем и называлась теперь школа. Но она тоже не смогла затмить тот энтузиазм, с которым коктерекские дети ловили каждое слово учителя, ту жажду знаний, которая светилась в их глазах. В Рязани гнались за отметками. «Ребята весьма разболтанные, учёбой не интересуются и какие-то *не сердечные* — вот, пожалуй, основное отличие их от коктерекских». Затронуть их ум сложной задачей, увлечь чудесами техники казалось делом почти невозможным — рассказы о тайнах вселенной вызывали тягостное недоумение. Зато процветали хор, оркестр, спортивные кружки. Двойки легко превращались в тройки, никого не исключали, и все чувствовали свою полную безнаказанность. «Лакированный город и лакированная школа» — так впоследствии скажет А. И. про свой новый опыт.

Рязань жила соседством со столицей. Каждое утро фирменный поезд «Берёзка» доставлял пассажиров в Москву, чтобы вечером с рюкзаками и сумками везти их обратно. Практиковался автобусный «продовольственный туризм». Да и мезиновцы ездили закупать продукты в Москву, отовариваясь на месяц вперёд. Вырастало поколение (и не одно) жителей Центральной России, для кого это было нормой жизни, определяло поведение, интересы, психологию. Как далеко это было от мечты Солженицына о первозданной России, об исконном крестьянском характере! Мечта навеки осталась в Мильцеве, с Матрёной, не гнавшейся за обзаводом и не державшей жадного поросёнка.

Новый учитель был заметно непохож ни на кого из школьных педагогов — ни с кем не сближался, избегал общих разговоров, не вмешивался ни в какие литературные обсуждения. Физик не застревал в учительской, уклонялся от праздничных сборов, дружеских посиделок. Почему-то отказался от лишних часов и от должности завуча; отверг аспирантуру в Академии педагогических наук (рязанская школа № 2 была экспериментальной базой академии), а ведь мог бы, полагали коллеги, стать отличным специалистом по методике преподавания физики и математики.

Но эта сдержанность, кое-кем воспринятая как пренебрежение коллективом, никак не распространялась на учеников. И конечно, никому и в голову не приходило, что замкнутый учитель с тяжёлым прошлым занят, помимо преподавания, чем-то ещё. Он так азартно вёл свои предметы,

что заподозрить его в интересах, далёких от астрономии, было бы просто нелепо. Здесь ему так и не пришлось вести математику, часов набиралось всего на полставки (600 рублей зарплаты в дореформенном исчислении, при доцентской зарплате жены в 3200 рублей), а потом эта свобода оказалась тайным благом. Но физика как предмет в его исполнении была так же увлекательна, так же темпераментна, как и математика. Он умел просто, почти шутя, изложить самые сложные вещи. «Изучали мы тогда закон сохранения энергии, — вспоминал (1990) выпускник 1961 года С. Грозденский, учившийся у А. И. с 1957-го. — Комкая исписанный лист бумаги в шарик, бросал его к потолку, ловил, спрашивая, как происходит превращение потенциальной энергии в кинетическую, и наоборот. Если причина физического явления была неизвестна науке, он этого не скрывал, а делился с учениками своими сомнениями».

Стремительная походка, редкостная пунктуальность, экономия времени на всём, даже на записи «дано» и «требуется доказать» (учил обходиться значками и символами), интенсивная работа все 45 минут урока, энергичные блиц-опросы (в ответах ценились не только точность, но и находчивость), отметки с «плюсами» и «минусами», будто ему тесно в рамках пятибалльной системы. Контрольные работы, где одна из задач формулировалась так, чтобы ученик мог показать собственное понимание материала. Черновик сдавался вместе с контрольной. «Может оказаться, что именно в черновике вы были рядом с решением», — говорил А. И. и ставил отметку по черновику. Не любил рассуждений вокруг да около, требовал точного попадания в тему, не терпел, когда что-то отвлекало от занятий, морщился от постороннего шума. Проявлял принципиальность и никогда не «тянул» ученика, превращая текущие «неуды» в годовые тройки: ему одному удавалось провести через педсовет твёрдые двойки. При этом внушал школьникам веру в свои силы, поощрял их и словом, и оценкой. Невозможно было представить Солженицына кричащим («вон из класса!») или грозящим («без родителей в школу не являйся!»).

«С приходом нового учителя, — вспоминала (1989) Н. Торопова (Сазонова), — у меня появился интерес к предмету. Все занимались физикой с удовольствием. А. И. ввел систему преподавания по типу вузовской. У нас были коллоквиумы, зачёты, интересные опыты. Мне кажется, он с таким же успехом мог бы преподавать литературу. Главное было в том, *как* он это делал». На урок астрономии учитель мог принести томик классической прозы, найти в тексте описания звёзд

и прочитать их глазами астронома. Оказывалось: даже классики, любившие смотреть на звёзды, были не всегда точны. Рассказы о тайнах созвездий, иногда проходившие у стен кремля, были столь поэтичны, литературное дарование рассказчика столь очевидно, что слушателей подмывало спросить не только о звёздах на небе. Но ореол таинственности витал над учителем, и дети не выходили за рамки урока...

«Догадывались ли мы, что он — писатель? Нет, не могу сказать определенно. Несмотря на внешнюю открытость Солженицына, его жизнь за школьным порогом была нам неведома. Мы знали о нём меньше, чем об иных учителях» (С. Грозденский). Наверное, человек проницательный или человек со специальными целями мог бы — по случайным репликам, по обрывкам разговоров — заподозрить учителя физики в причастности к литературному труду. Ученикам запомнилось его трепетное отношение к русской речи — то, как морщился он при любых искажениях языка, как был придирчив к этим невозможным «лóжит», вместо «кладёт», как чисто говорил сам. А стихотворные правила, вывешенные на стене комнаты, где занимался фотокружок: «Будь аккуратен исключительно, / Раствором чистым дорожа. / Воронка жёлтая — для проявителя, / Воронка красная — для фиксажа»! А замечание насчёт «Двенадцати стульев» (ребята как-то спросили его о романе): «Не понимаю, как можно вдвоём работать над одним произведением. Я не представляю, как бы стал писать с соавтором». Напрашивался вопрос — а *без* соавтора? Но подростки редко бывают внимательны, и тайна учителя оставалась нераскрытой всю подпольную рязанскую пятилетку.

Внешняя жизнь, давая выход педагогическому призванию, протекала в школе; внутренняя, высвобождавшая литературный дар, — за столом в девятиметровой комнате или во дворике под яблоней в тёплое время года. Предстояла сплошная перепечатка рукописей, превращавшая опасные улики в безликую машинопись*. Он уже достаточно поплатился, храня «Резолюцию № 1» и фронтовые письма. Теперь, после перепечатки, не должна была уцелеть ни одна рукописная страница, ни один черновик, и его мгновенно

---

* Первой была отпечатана статья А. И. Солженицына о будущих искусственных спутниках земли, заказанная автору «Блокнотом агитатора». Статья не увидела свет, так как 4 октября 1957 года был запущен в космос первый искусственный спутник. Газета «Приокская правда» (1957, 19 октября), говоря о лекторах, выступавших в связи с этим событием, упоминала фамилию преподавателя физики и астрономии средней школы № 2 Солженицына.

узнаваемый почерк не должен был оставаться ни на одном листке бумаги. Перепечатки тоже не содержали имени автора или подписывались неведомыми фамилиями (так, псевдоним *Степан Хлынов* должен был использоваться для посылки за границу микрофильмов с текстами). Печное отопление стало союзником писателя, но печь была на кухне, общей с соседями*; так что сожжения проходили поздними вечерами, когда все спали. Более чем когда-либо литературная работа казалась занятием рискованным, наказуемым, и ведь уже было за что наказывать. И сам факт работы, и её результаты надлежало таить по всем правилам конспирации, строгого литературного подполья.

В соответствии с кодексом подпольщика никто, кроме самых близких, то есть неизбежных свидетелей, не должен был знать, что он вообще занят чем-то, не имеющим отношения к школе. Никто из посторонних никогда не должен был заставать его дома пишущим или печатающим на машинке. Никто не должен был видеть на его столе исписанные листы бумаги и машинопись (в письмах к Зубовым в Кок-Терек, а потом и в крымский посёлок Черноморское, куда они переехали осенью 1958-го, никогда не было ни намека на подпольное писание, кроме кодового «перечитывания Данте», то есть редактирования «Круга первого»). Следовало резко ограничить круг общения, не заводить новых знакомств, тщательно избегать проникновений в квартиру случайных визитёров. Складывался образ жизни затворника, отказывающего себе во всём, что не являлось работой, а было развлечением и отдыхом.

Посещение кино, театра, концертов жёстко лимитировалось — два раза в месяц кино, раз в два месяца театр или концерт. Наташа считала, что это едва переносимый минимум, который нещадно обедняет жизнь. Саня согласился на такую норму как на максимум: «Я абсолютно был равнодушен к тому, что́ мы ходили смотреть, только отбывал как повинность». Но всё же обстоятельно писал Зубовым обо всём, что удалось посмотреть, прочитать, услышать по радио. Знакомиться с рязанским кругом жены Солженицын не

* «Соседей приходилось опасаться: отношения с ними были испорчены тем, что они с двумя детьми жили в одной комнате, а у нас их было две, — вспоминала Решетовская. — Первая из двух смежных комнат была нашей столовой, гостиной, в ней стоял беккеровский рояль, и маминой спальней, другая, маленькая, дальняя — наша с А. И. Он всегда работал только в ней. Если кто-нибудь заходил, что было очень редко, дверь в маленькую комнату затворялась, из неё не доносилось ни звука, будто там никого нет».

торопился, и она смирилась с тем обстоятельством, что все её связи постепенно захирели — никто из подруг не должен был знать об истинной жизни её мужа. В те рязанские годы она легко согласилась на роль самоотверженной жены и была готова пропустить ради него концерт или спектакль. Ещё при первой встрече в Торфопродукте Саня дал читать жене статью Толстого о «Душечке»: по мнению Толстого, Чехов, намереваясь посмеяться над женщиной, на самом деле воспел её. Саня спросил мнение жены, и она согласилась с Толстым и со своей новой ролью. Вспоминает В. В. Туркина: «Наташа радостно подчинила себя его воле, его распорядку дня, старалась быть сверхорганизованной, как он, становясь святее самого Папы, не замечая комичности своих стараний». «Я была податлива (вероятно, сверх меры!), — напишет Решетовская в 1975-м, — послушно шла на все ограничения: ведь я любила своего мужа, верила в него как в значительную, необыкновенную личность, хотела, чтобы всё было так, как он считал нужным. Вполне сознательно и добровольно шла на растворение в его личности. Я же совершенно искренне обещала быть ему “душечкой”!» «В Кок-Тереке я стал многим своим предполагаемым невестам давать и посылать фотоотпечатки толстовского предисловия к “Душечке”... Все отзывы были отрицательны, — и лишь Наташа... согласилась тотчас и полностью», — разъяснял Солженицын Зубовым «историю вопроса» в 1960-м.

Однако образ жизни, который Решетовская добровольно разделила с мужем-затворником, не был капризом нелюдима или чудачеством бывшего зэка, не знающего покоя. Ещё в Кок-Тереке его записали лектором по распространению научных знаний. В Рязани он стал читать лекции по путёвкам, куда пошлют. Вскоре пришлось рассказывать о достижениях науки и техники в рязанской ИТК-2 — женской колонии при тюрьме. «И я воображаю: сейчас отнимут у меня пропуск, и я останусь тут. И эти стены, всего в нескольких метрах от известной мне улицы, от известной троллейбусной остановки, перегородят всю жизнь, они станут не стенами, а годами» (рязанский ученик Солженицына вспомнит, как был поражён, когда учитель однажды посоветовал: овладевай той профессией, которая пригодится, если попадешь в тюрьму). Обречённым на затворничество был теперь не столько он сам, сколько его творчество.

В центральной печати громко обсуждались новые веяния, но Солженицын, оторванный от дебатов внутри писательского цеха, не верил, что наступают новые времена, где будут нужны и его сочинения. Он писал в стол, совершенно

не предполагая, что хотя бы единая строка появится при жизни, и думал только о том, как бы успеть сделать больше. Он вынужденно не имел приятелей, отменил (резко сузил) понятие «гостей» — «потому что нельзя же никому объяснить, что ни в месяц, ни в год, ни на праздники, ни в отпуск у человека не бывает свободного часа; нельзя дать вырваться из квартиры ни атому скрытому, нельзя впустить на миг ничьего внимательного взгляда, — жена строго выдерживала такой режим, и я это очень ценил». Он приспособил под хранение проигрыватель: нашёл внутри полость и даже «халтурную советскую недоделку верха шкафа использовал для двойной фанерной крыши».

Лето — осень 1957-го и весна 1958-го были отданы «Шарашке»: закончены первая (ещё в Мильцеве) и вторая редакции, всё перечитано и переписано. В апреле — ещё одна «контрольная вычитка» и перепечатка на машинке. Первым, кто читал «Шарашку» в те месяцы, был Панин: на него конспирация не распространялась. Он приехал один, без семьи, в Москве жил у сестры. Брак с Евгенией Ивановной, шестнадцать лет ждавшей мужа, навещавшей его в кустанайской ссылке (у Мити там уже была подруга), фактически распался, а сын Паниных, выросший без отца, не мог преодолеть отчуждения и не хотел подчиняться новым воспитательным установкам: Дмитрий Михайлович стал верующим и безуспешно пытался обратить в строгое православие своих домашних.

Панин принял роман восторженно и безоговорочно. Солженицын обсуждал с ним темы споров Сологдина и Рубина. Как писала Решетовская (1975), «он снова ударился в такие размышления, что Саня едва успевал записывать. Их страстные беседы растянутся на многие годы, пока будет перерабатываться и переписываться “Шарашка”». Панин заметит, что описанные в романе споры «лишь бледная тень того, что было на самом деле. Как нападающая сторона, Сологдин вынужден был называть вещи своими именами и громить сталинский режим совершенно бескомпромиссно. Это вызывало ярость и резкие возражения Рубина, так как невозможно было защитить систему по существу».

Расхождения между образом и прототипом не задевали Панина. Сологдин получал статус гениального инженера, успешно завершившего разработку абсолютного шифратора, хотя в реальности такого результата Панин не достиг, и предложить начальству ему было нечего. «Я придумал, — говорил Солженицын (2006), — такой изворот сюжета, который страшно интересен и характерен для жизни на шарашках. Будто он, Сологдин, *сделал* этот абсолютный шифратор,

сделал, но уничтожил — так, чтобы у него не могли украсть. И только когда уничтожил, то продал заочно Яконову, главному инженеру. Панин оценил, какой там у него блистательный диалог, как он спорит с Яконовым, как ему уступает и какие условия ставит» (в 1973-м Сологдин как будто перестал нравиться прототипу. Он видел в персонаже приспособленца, в то время как он сам, Панин, считал недопустимым вооружать режим и ни разу не пожалел, что не остался на шарашке. Считая, что образ не во всём следует прототипу, Панин говорил, будто обиделся на автора: «черная кошка пробежала между нами»*).

Прочитал «Шарашку» и Копелев. В начале 1958 года Лев приезжал в Рязань и сразу по возвращении записал в дневник: «17 января 58 г. Вернулся из Рязани. Поездка с бригадой Госэстрады. “Коварство и любовь”, “Разбойники”. Моё вступительное слово. На вокзале встречал С<аня>. Всё ещё худой и словно бледнее. Долгополое пальто, как шинель. Решили: буду ночевать у него, читать... Ночью, утром, днём читал “Шарашку”. Митя твердил взахлёб: “Гениально, лучше Толстого, всё точно, как было, и *гениальная художественность*”. Митя, как всегда, *фантастически* преувеличивает. О шарашке — добротная, хорошая проза. Но все наши споры, как в “Декабристах”, преображены на свой лад. Мой “протагонист” глупее, равнодушнее, а “сам” и “Митя”, и “синтетические” персонажи — их единомышленники — умнее, благороднее. Страницы про волю, про красивую жизнь сановников — карикатура на Симонова, посредственная, а то и плохая беллетристика, скорее боборыкинская. Когда говорю об этом, Наташа злится больше, чем он. Она играет Шопена. Сноровисто, но холодно-рационалистично». Но, скажет Копелев, и самые горячие перебранки, и непримиримые разногласия из-за книг не нарушали добрых личных отношений. Лагерные друзья в ту пору заменяли Солженицыну «всё остальное человечество» и составляли исключение из общих принципов конспирации. Встречи с ними происходили в Рязани (помимо Семёнова, Панина, Копелева, там побывал ещё и Карбе), а также в Москве всякий раз, когда туда приезжал Солженицын, — дружбой с ними он неизменно дорожил.

---

* В 1975-м Панин дезавуировал высказывание 1973 года, мотивируя это тем обстоятельством, что Солженицын ещё оставался в СССР. «Действительность была несколько иной. Мои встречи и разговоры с Солженицыным после нашей реабилитации проходили на уровне сурового братства сталинских лагерей. Я отдавал должное его литературному таланту, но с жесткой прямолинейностью указывал на его ошибки».

В начальную пору «тихого житья» Солженицын ощущал, что болезнь, хотя и не проявлялась, совсем не ушла. Осенью 1956-го он рассказал жене о совете доктора Масленникова, открывшего свойства чаги — берёзового гриба. Доктор писал, что опухоль под воздействием рентгена скорее всего осумковалась, и чагой на неё воздействовать трудно. Но если появится хоть малейший намёк на рост, нужно пить настойку по пять стаканов в день. Иными словами, никакой гарантии, что в Ташкенте его вылечили радикально, не было. Зимой 1957-го он делился с женой горьким сознанием того, что его болезнь может отравить ей жизнь. И тут же просил прощения за *нытье*: «Порывы нытья, наверно, неизбежны у всех, кого болезнь обрекла не на какую-то проблематическую смерть в 70 лет, а на смерть реальную и близкую». Наташа отнеслась к «нытью» со всей возможной серьёзностью и постаралась изучить нужную литературу. Она и в самом деле была потрясена, узнав, что с таким диагнозом живут, по медицинской статистике, не более восьми лет. Если считать с 1952-го, получался 1960—1961-й. Отсчитывая от февраля 1957-го, выходило всего три—четыре года. А потом — всё. Она изложила грозную арифметику матери и объявила решение — стараться, чтобы остаток жизни прошёл у него как можно лучше, легче, плодотворнее. «Буду исполнять все его желания! Буду служить ему! Сколько им пережито тяжёлого... А я ещё и виновата перед ним...»

В Рязани вместо рентгеновского облучения ему была предложена химиотерапия. Две апрельские недели 1958 года Солженицын провёл в онкологической клинике (которая, увы, во всем уступала ташкентской). Он обстоятельно изучил инструкции к сарколизину — препарату, которым его лечили; послал запрос в Институт терапии рака и получил разъяснения; по его просьбе в Рязань были высланы справки из Ташкента. «Я взял лечение в свои руки, сам прописывал себе всё необходимое и осуществлял это либо через старшую сестру, либо через лечащего врача. Зав. отделением, заметив мою въедливость, уступил и предоставил всё течению вещей. После хорошо перенесённых трёх приёмов я на оставшиеся 4 выписал себя из больницы и продолжаю курс амбулаторно, — писал он Зубовым уже из дома. — Я очень поверил в сарколизин: он разрушает организм гораздо меньше, чем рентген, переносить его гораздо легче; вместе с тем он гибок — бродит по телу, ищет семиному и растворяет в себе её клетки». Болезнь поддалась, так что уже в 1960-м, когда нужно было повторить курс, он договорился с

врачами о лечении на дому: образовалось полтора просторных месяца для работы.

В знак полного выздоровления были куплены велосипеды: жене — маленький дамский, ему — тяжёлый, дорожный. С весны 1958-го начались совместные велосипедные походы по рязанскому краю и за пределы области — на Оку, до Полян, в Солотчу, к её старинному кремлю и прекрасному лесу, к лесному озеру Сегден в окрестностях Солотчи, в получасе езды от Рязани. В этих походах рождались первые «Крохотки», сотканные из мгновенных уколов красоты и горьких мыслей о поруганной родине. Таков был маленький рассказ об озере Сегден. «Вот тут бы и поселиться навсегда... Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли. Нельзя. Лютый князь, злодей косоглазый, захватил озеро: вон дача его, купальни его. Злоденята ловят рыбу, бьют уток с лодки. Сперва синий дымок над озером, а погодя — выстрел. Там, за лесами, горбит и тянет вся окру́жная область. А сюда, чтоб никто не мешал им — закрыты дороги, здесь рыбу и дичь разводят особо для них. Вот следы: кто-то костёр раскладывал, притушили вначале и выгнали».

Можно ли было предположить, что рязанские газеты, даже из любви к родному краю, опубликуют заметку о заколдованном пустынном озере? И мог ли автор писать так, как обычно пишут в гладких краеведческих брошюрах? Вопросы риторические... Даже в первой своей «крохотке» с невинным названием «Дыхание», в восемнадцати строках про отцветающую яблоню во дворике рязанского дома, соткался тот воздух свободы, ради которого имело смысл жить затворником. Ароматы трав после дождя, яблоневый сладкий дух — это и есть «та единственная, но самая дорогая воля, которой лишает нас тюрьма: дышать так, дышать здесь. Никакая еда на земле, никакое вино, ни даже поцелуй женщины не слаще мне этого воздуха, этого воздуха, напоённого цветением, сыростью, свежестью. Пусть это — только крохотный садик, сжатый звериными клетками пятиэтажных домов. Я перестаю слышать стрельбу мотоциклов, завывание радиол, бубны громкоговорителей. Пока ещё можно дышать после дождя под яблоней — можно ещё и пожить!»

Той же весной, уверовав в своё выздоровление, но не в надёжность свободы, Солженицын задумал написать обобщающую работу о тюрьмах и лагерях. Тогда же родилось и название — «Архипелаг ГУЛАГ». Был разработан принцип последовательных глав о тюремной системе, следствии, судах, этапах, «исправительно-трудовых» и каторжных лаге-

рях, ссылке и душевных изменениях арестанта за годы неволи. Книга должна была вобрать опыт автора и его друзей, рассказать о судьбах всех, с кем его свела судьба. Никто пока не знал о крамольном замысле, но когда было уже написано несколько глав, стало понятно, что материала — лиц, судеб, историй — не хватает. Работа прервалась.

Но 1958 год стал истинной точкой рождения «Архипелага». Несмотря на XX съезд и реабилитацию Пятьдесят восьмой, несмотря на длящуюся оттепель, возникло стойкое ощущение, что установка всё забыть побеждает. Что те самые руки, которые прежде завинчивали наручники, теперь скорее всего отмахнутся от неприглядной правды — мол, не надо ворошить старое. «Идут десятилетия — и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого, полярное море забвения переплёскивает над ними». В предисловии к «АГ» он скажет: «Когда я начинал эту книгу в 1958 году, мне не известны были ничьи мемуары или художественные произведения о лагерях». Десять лет понадобится писателю, чтобы довести до конца начатое дело и не дать беспамятной воде похоронить историю Архипелага.

...Весь учебный 1958 год Солженицын готовился к летнему путешествию в Ленинград (про себя он всегда называл его Петроградом), который манил и увлекал его с давних пор и где ему пока не довелось побывать. Выписал «Ленинградскую правду», чтобы знать, чем живёт город. Раздобыл в библиотеке путеводители 20-х годов, справочники со старыми названиями улиц и составил по ним историко-художественную картотеку, рассортировав карточки по конкретным маршрутам. Карточки были расположены и по улицам, и по типам зданий, и по историческим событиям. Характеристики домов (их номера не изменились) компоновались так, чтобы можно было с карточками в руках осматривать дом за домом, слева и справа, накапливая сведения, которые обычно не попадают в путеводители. Этот план, воплощённый в «пешеходную» реальность, станет стратегической подготовкой к работе над «Красным Колесом»: изучить Петроград своими глазами и своими ногами, а не заочно, по книгам.

Они выехали ранним утром 29 июня и через сутки были в Ленинграде. Стояли белые ночи, свежи были кусты сирени, давно отцветшей в Рязани. Когда троллейбус тронулся от Московского вокзала и поехал по Невскому, Солженицын жадно смотрел по сторонам и, впервые видя проспект, воспетый русской литературой, безошибочно узнавал мосты, дворцы, набережные. В самом центре, на улице Гоголя, 16 (бывшей Малой Морской), в доме с двором-колодцем, мрач-

ным парадным и узкой лестницей их ждала темноватая длинная комната. Александра Львовна Буковцева, хозяйка квартиры № 21, уезжала с сестрой на дачу в Лугу и, выполняя просьбу своей подруги по заключению Е. А. Зубовой, пустила на месяц незнакомых *своих*. Трудно было не прийти в восторг от места: шаг до Адмиралтейства, два шага до Эрмитажа, Исаакиевского собора и Дома книги, 10 минут ходьбы до Салтыковки и Русского музея.

Тем же вечером путешественники уже гуляли по Невскому и даже прорвались, поймав лишние билетики, в Филармонию (бывшее Благородное собрание) на концерт американского дирижера Стоковского. В полночь на улицах было светло без фонарей, и они до четырех утра бродили по набережным Невы, любуясь прелестью белых ночей прекрасного города. Особое удовольствие доставляло называть по старинке площади, театры, улицы — ведь в задуманном романе о революции действие должно происходить в Петербурге, а не в Ленинграде. Поэтому билеты на спектакли покупались — в Мариинку, Александринку, Михайловский, пригородные поездки совершались — в Павловск, Петергоф, Царское Село. «От пешей беготни я иногда скулила и в результате не одолела всех предусмотренных маршрутов, — вспоминала (1990) Решетовская. — Саня же исходил, избегал, изучил все до единого. Очень скоро даже уверенно давал справки всем, как пройти или проехать в любую точку города».

«Что касается Петербурга-Петрограда, я, — отмечал Солженицын, — посвятил, к счастью, один полный месяц жизни на то, что пешком, ежедневно, ходил по городу, имея на руках объяснительные карточки на все улицы, на все дома, объяснения — что в каком доме было, что на какой улице случилось и когда. Карточки я сперва заготовлял многие месяцы, потом приехал туда и ходил по Петрограду, ни разу не воспользовавшись ни троллейбусом, ни метро, никаким видом транспорта, а только пешком. Останавливался около каждого дома и рассматривал. Я даже и не представлял, насколько это мне понадобится... Я бы не мог этого писать ни по какой карте, если бы я это всё не видел. Но я с закрытыми глазами вижу каждый дом, каждый перекрёсток». Побывал и в Петропавловской крепости. Увидев маленький укромный скверик Трубецкого бастиона, вспомнил райский садик внутреннего дворика Бутырок, где оглушительно чирикали воробьи, а зелень деревьев казалась отвыкшему глазу непереносимо яркой. «Экскурсанты охали от мрачности коридоров и камер, я же подумал, что, имея *такой* прогулоч-

ный садик, узники Трубецкого бастиона не были потерянными людьми. *Нас* выводили гулять только в мёртвые каменные мешки».

«Пребывание наше в Ленинграде вспоминаем как сказку, как один из зенитов жизни», — напишет он через полгода Зубовым. В конце июля петербургские белые ночи стали темнеть и путешественники двинулись дальше: Псков, Михайловское, Тригорское, могила Пушкина в Святогорском монастыре. Купались в Сороти у подножия холма, прогуливались в старом парке. А потом был парк в Тарту, висящие мосты с надписями на латыни, университетская библиотека и, конечно, Таллин с его Вышгородом, узкими улочками, остроконечными шпилями, Кадриоргом и всем тем, что так притягивает приезжих, впервые попавших в столицу Эстонии. «Переполненные впечатлениями, обременённые обновками, одиннадцатого августа мы вернулись в Рязань, точно уложившись в намеченный график. Разбирая вещи и настраиваясь на обычные дела, Саня облегчённо вздохнул».

Начинался новый учебный год: опять физика, астрономия, кружки, но и тайное писание, перепечатка, хранение — всё для Большого Прорыва, как называл про себя Солженицын гипотетический момент, когда подпольная литература вырвется наружу и изменит мир. Но пока не получалось и малого: никто из московских друзей, читавших его роман, слушавших пьесы и поэму, не проявлял никакого нетерпения: мол, надо немедленно предать это гласности. Никто не говорил, что вот узнáет мир о лагерных откровениях бывшего зэка и вздрогнет, ужаснется; и тогда, под напором мировых сил, власть испугается и отменит ГУЛАГ. Рухнула надежда на западных туристов, которые, как наивно думалось в ссылке, только и ищут в Москве, как бы помочь какому-нибудь страдальцу за правду. Теперь Солженицын сам бывал в Москве и видел, что рядом с каждым интуристом шагает спецпереводчик и что самодовольным, лощёным туристам в их весёлом путешествии до правды — как до серой кошки.

И зависали уже новые объёмы написанного, росла опасность погибнуть им в безвестности. «Один провал — и всё пропало. Десять, двадцать лет сидеть на этой тайне — утечёт, откроется, и погибла вся твоя жизнь, и все доверенные тебе чужие тайны, чужие жизни — тоже». В лагере пригрезился ему как-то выход: Нобелевская премия, которую получил эмигрант Бунин, неподцензурно печатавший за границей свои вещи в таком виде, как они были написаны. «Я

узнал (о нобелевских премиях. — *Л. С.*), не помню, от кого-то в лагерях. И сразу определил, в духе нашей страны, вполне политически: вот это — то, что нужно мне для будущего моего Прорыва».

Поскольку советская власть от рождения внушала писателям, что литература — часть политики, — и сама руководила писателями, держа в одной руке кнут, в другой — пряник, Нобелевская премия тоже входила в разряд событий политических. Осенью 1958-го ее был удостоен Борис Пастернак. Пример Пастернака, казалось, полностью отвечал представлению Солженицына о Прорыве. Но ещё осенью 1954-го в Москве и Ленинграде пронёсся слух о присуждении Пастернаку Нобелевки. Тогда этот слух оказался ложным, и Пастернак, которому негде было навести справки («какое нереальное, жалкое существование»), писал О. М. Фрейденберг: «Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечёт за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, — но ведь опять-таки не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклою, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы всё это обострилось! Вот ведь вавилонское пленение! По-видимому, Бог миловал, эта опасность миновала». Пастернак, однако, просчитался — «опасность» не миновала. Он не получил Нобелевскую премию при первом выдвижении (в 1946-м), но за факт выдвижения подвергся травле в печати. Он не получил её и при втором выдвижении, в 1954-м. Но в конце 1955-го был завершён «Доктор Живаго»; в мае 1956-го автор дал читать роман итальянскому издателю-коммунисту, и тот выразил желание издать его в Италии. Пастернак ответил, что был бы рад этому, но предвидит, как всё осложнится, если перевод опередит издание романа в русских журналах.

Так и произошло. 1 сентября 1956 года К. И. Чуковский записал в «Дневнике» характерные отзывы: «Судя по роману, Октябрьская революция — недоразумение и лучше бы её не делать» (Э. Казакевич). «Нельзя давать трибуну Пастернаку!» (К. Симонов). Обсуждался и такой план: прекратить все кривотолки, тиснуть роман в трёх тысячах экземпляров, недоступных для масс, заявляя в то же время, что никаких препон Пастернаку не чинят. Однако план не удался. «Новый мир» отказался от публикации «Живаго», заслонившись письмом пяти членов редколлегии: Лавренёва, Федина, Агапова, Симонова, Кривицкого (первым двум дотюремный Солженицын высылал свои сочинения). «Как люди, стоящие

на позиции, прямо противоположной Вашей, мы, естественно, считаем, что о публикации Вашего романа на страницах журнала "Новый мир" не может быть и речи».

Хроника событий, связанных с «Живаго», впечатляюща и поучительна, особенно для сознания подпольного литератора. В 1957-м Госиздат, с которым был подписан договор на роман, рассыпает готовый набор книги избранных стихотворений, и тогда же автора вызывают в ЦК, требуя остановить итальянское издание. Под нажимом Пастернак шлёт в Милан телеграмму, которая остаётся без ответа. В октябре—ноябре 1958-го с интервалами в несколько дней происходят взаимосвязанные события. Присуждение Пастернаку Нобелевской премии по литературе. Публикация в «Литературной газете» письма членов редколлегии «Нового мира» и редакционной статьи «Провокационная вылазка международной реакции». Постановление Союза писателей СССР «О действиях Б. Пастернака, несовместимых со званием советского писателя». Отказ лауреата от Нобелевской премии, выраженный в телеграмме секретарю Шведской Академии. Общее собрание писателей Москвы, принявшее обращение к правительству с просьбой о лишении Пастернака советского гражданства. Письмо Пастернака на имя Хрущёва, напечатанное в «Правде»...

Литературный скандал, связанный с Пастернаком, не мог не обсуждаться в кружке Копелева летом 1956-го, когда Солженицын вернулся из ссылки, и осенью, когда они встречались с Лёвой в Москве в осенние каникулы. Какой вывод должен был сделать автор «Шарашки», «Пира Победителей», «Республики труда» о литературном климате Москвы и оттепельных литературных журналах? А ведь тогда их появилась целая россыпь. Возобновились «Иностранная литература» (1955) и «Молодая гвардия» (1956), альманах «Дружба народов» преобразовался в ежемесячный журнал (1955), появились «Юность» (1955), «Москва» (1957), «Вопросы литературы» (1957). В Ленинграде стали выходить «Нева» (1955) и «Русская литература» (1958); в Воронеже — «Подъём» (1957), в Ростове-на-Дону — «Дон» (1957). Наряду с «Литературной газетой» в 1958-м появилась «Литература и жизнь», ставшая позже (1963) еженедельником «Литературная Россия». Весьма ощутимым был книжный бум. После долгого перерыва вышли собрания русских классиков — серый десятитомник Достоевского, одиннадцать красных томов Лескова, полный коричневый Герцен. Собрания сочинений Чехова, Куприна, Паустовского, Пришвина, Анатоля Франса приобрели в те годы и Солженицын с женой.

Но при всем том литературой руководили инстанции, имевшие к ней отношение косвенное. Деятельность Главлита была окутана тайной, механизм публикаций запускался устными указаниями и телефонными звонками. «В треугольнике между Пушкинской площадью, где помещалась редакция "Нового мира", Китайским проездом — резиденцией Главлита, и Старой площадью, где находился идеологический аппарат ЦК, то и дело возникало поле высокого напряжения», — вспоминал В. Лакшин. «Причёсывание произведений литературных вошло в повадку, и каждая редакция стала похожа на парикмахерскую», — однажды записал в дневнике Пришвин; но тогда, в начале оттепели, кое-что успело всё же выйти в свет, не лишившись всех волос на голове. В «Новом мире» (ещё руководимом Симоновым) появился роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» (1956), клеймивший класс номенклатурщиков. 22 октября в Центральном доме литераторов состоялось обсуждение, на котором выступил К. Паустовский, вызвав ураган, напугавший власти даже больше, чем сам роман. Речь Паустовского ходила по рукам как крамольная листовка, и противники романа перешли в контрнаступление. Обсуждение романа называли на самом верху *политическим митингом, антисоветской сходкой*. Сталинисты пугали Хрущёва «странным» совпадением: 23 октября, на следующий день после собрания венгерских писателей (их называли «кружком Пётефи»), в Будапеште была опрокинута чугунная статуя Сталина, и началось восстание. «И тут, и там, главную роль играли писатели. Трудно поверить, что это случайность. Налицо сговор антисоциалистических сил». За распространение стенограммы обсуждения и речи Паустовского стали привлекать к уголовной ответственности.

Так аукнулось московским литераторам венгерское восстание — оттепельный реализм переименовали в нигилизм и односторонний критицизм. Оттепельная печать снова обрела привычные проработочные интонации, сыпались обвинения в ревизионизме, в недооценке роли партии. 18 марта 1957 года в «Правде» появилась статья «За идейную чистоту», перепечатанная из будапештской газеты «Непсабадшаг», где говорилось об отрицательной роли писателей в венгерских событиях. В ЦДЛ вновь состоялось обсуждение романа Дудинцева — на этот раз реванш взяли «они». «Как вы не понимаете? — кричала с трибуны Мария Прилежаева. — Если будут выходить такие романы, как роман Дудинцева, нас, коммунистов, всех повесят. Будет как в Венгрии. Нас повесят на деревьях». Ей вторила Галина Серебрякова: «Я про-

сидела в лагерях и ссылке 18 лет. Но если будут появляться такие произведения, я согласна снова сесть в тюрьму, в лагерь, чтобы не дать затоптать достижения нашей революции»*. Роман Дудинцева подвергся разгрому, в традициях борьбы с «космополитами» и «носителями безыдейности». Обвинения содержали полный набор — от преступного умысла до идеологической диверсии. Симонов, поначалу защищавший роман, отрёкся от него, признав публикацию ошибочной; искупая «преступление», он ушёл в отставку и на время уехал из Москвы. Дудинцеву надолго закрыли двери в журналы и издательства...

Солженицын был не настолько оторван от реальности, чтобы не видеть партийную дубину и угодливую готовность многих собратьев по перу самим взять её в руки — он только ни с кем не обсуждал сии скользкие материи. Примечателен эпизод осени 1957 года, о котором поведала Решетовская. «“Литературную газету”, которую мы с мамой привыкли читать, по настоянию мужа мы на следующий год не выписали. Она раздражала Саню. Чашу терпения переполнили статьи Софронова “Во сне и наяву”, в которых автор критиковал тех, кто менее всего этого заслуживал. В частности, бывшего главного редактора “Нового мира” А. Твардовского и нынешнего — Симонова за то, что напечатал роман В. Дудинцева “Не хлебом единым”». Позже Солженицын скажет, имея в виду всю советскую прессу: «Наши газеты были пулеметными очередями, фразы наших газет расстреливали».

Итак, роман Дудинцева был превознесён до небес, а потом разбит в пух и прах; речь Паустовского в защиту романа была названа «голосом писательской совести», а потом — «антисоветской выходкой» (осуждённой в закрытом письме ЦК, которое зачитывалось на всех партсобраниях). Образцово смелой в раннюю оттепель считалась статья В. Померанцева «Об искренности в литературе» (1953), утверждавшая, что писатель должен писать то, что думает. И очерк В. Овечкина «Районные будни» (1952) — о трудной жизни колхоза и бездушном секретаре райкома. И статья Ф. Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе»: автор доказывал, что романы Бабаевского, Медынского, Николаевой и других сталинских лауреатов лакируют дейст-

---

* Как вспоминала Р. Орлова (1988), две её подруги, школьные учительницы, чуть не плакали, присутствуя у неё дома при споре о Дудинцеве. «К чему это приведёт? Наши дети, читая таких, как Дудинцев, вовсе перестанут уважать и нас, своих учителей, и советскую власть». Лев Копелев при этом кричал, что такие книги могут только помочь восстановить советскую власть, разрушенную Сталиным.

вительность. Но уже в августе 1954-го постановление ЦК «Об ошибках “Нового мира”» признало эти публикации «очернительскими», а Твардовский был снят с должности.

Вопрос риторический: что́ бы сделали московские литераторы с «Дороженькой» или «Республикой труда», выплыви они в 1956-м или в 1958-м? Как бы, скажем, отнеслись в «Новом мире» (в 1958-м его снова возглавил Твардовский) к монологу капитана Нержина из лагерной пьесы «Пир Победителей» (1951): «Я чувствую порой, / Что в Революции, что в самом стержне становом / Есть где-то роковой, / Проклятый перелом...»? Скорее всего, автор пьесы, при общем одобрении, недолго задержался бы в средней полосе — ведь даже фильм С. Герасимова «Тихий Дон», претендовавший в 1958-м на Ленинскую премию, партийный критик В. Ермилов назвал кулацким и антисоветским. Вещи Солженицына, написанные к моменту реабилитации, и те, которые он собирался писать, настолько перекрывали протестный потенциал оттепели, настолько превышали меру дозволенного и допустимого в деле «очищения от культа личности», что защитников у него в те поры было бы не просто меньше, чем у Пастернака, Дудинцева, Паустовского или у Овечкина с Абрамовым — их бы у него не было вообще. Ни одного, включая Копелева и Панина.

Все годы подпольного писательства, от выздоровления и до Прорыва, Солженицын устойчиво работал, не меряясь с писателями, скованными полуправдой и повязанными общей партийной присягой. Позже, в «Телёнке», он нарисует портрет официальной словесности: «Существовавшая и трубившая литература, её десяток толстых журналов, две литературные газеты, её бесчисленные сборники, и отдельные романы, и собрания сочинений, и ежегодные премии, и натужные радиоинсценировки — раз и навсегда были признаны мною ненастоящими, и я не терял времени и не раздражался за ними следить: я заранее знал, что в них не может быть ничего достойного. Не потому, чтобы там не могло зародиться талантов, — наверное, они были там, но там же и гибли. Ибо *не то* у них было поле, по которому они сеяли: знал я, что по полю тому ничего вырасти не может. Едва только вступая в литературу, все они — и социальные романисты, и патетические драматурги, и поэты общественные, и уж тем более публицисты и критики, все они соглашались о всяком предмете и деле не говорить *главной правды*, той, которая людям в очи лезет и без литературы. Это клятва воздержания от правды называлась *соцреализмом*. И даже поэты любовные, и даже лирики, для безопасности ушедшие в

природу или в изящную романтику, все они были обречённо-ущербны за свою несмелость коснуться главной правды».

Пройдут годы, и Солженицын поправит себя: не такое уж бесплодное было то поле, если выросли на нём Твардовский с «Тёркиным», Залыгин, Шукшин, Можаев, Тендряков, Белов, Астафьев, Солоухин, Максимов, Владимов... Но в те поры, из подполья, прожжённый Союз писателей, «не принявший когда-то Цветаеву, проклявший Замятина, травивший Булгакова, отдавший на смерть Мандельштама, Павла Васильева, Пильняка, Артёма Весёлого, исторгнувший Ахматову и Пастернака», представлялся ему «совершенным Содомом и Гоморрой, теми ларёшниками и менялами, захламившими и осквернившими храм, чьи столики надо опрокидывать, и самих бичом изгонять на внешние ступени».

Оглядывая литературный ландшафт перед Прорывом, Солженицын не верил, что художественное слово сможет вызвать потрясение основ. Например, роман Дудинцева, прочитанный в начале 1957-го («Эта книга — злободневка и однодневка и потому — не вещь!» — писал Саня Зубовым). Литература была зависима и явно не тянула общественный воз. «Я думал, что вздрогнет и даже обновится общество от других причин, так появится щель, пролом свободы, и туда-то сразу двинется наша подпольная литература — объяснить потерянным и смятенным умам: почему всё это непременно должно было так случиться и как это с 1917 года вьётся и вяжется». Сам он не надеялся дожить до этого часа.

Но причиной окажется — *он сам*, ему первому, в одиночку, достанется прорезывать *щель* и двигать *свою* подпольную литературу в *пролом свободы*, первому выходить из бездны тёмных вод. «Мне пришлось дожить до этого счастья — высунуть голову и первые камешки швырнуть в тупую лбищу Голиафа». Оправдает себя образ жизни «без гостей», сработает конспирация, пригодятся тайники, правильной окажется стратегия поведения — быть замкнутым упорным одиночкой, а не болтуном московского разлива. Вольнодумец курилок, фрондирующий завсегдатай буфета, во-первых, ничего бы не сделал, во-вторых, был бы до времени срезан, отсеян, изолирован. «Понурая свинка глубоко корень роет...»

Лучезарная мечта о тайных братьях, тридцати трёх богатырях, которые разом выступят из морских глубин на землю Отечества и возродят загубленную литературу, окажется сладостной иллюзией — такого числа богатырей, *шлемоблещущей рати*, не наберёт отечественная словесность ни в самый момент пролома свободы, ни позже, когда свобода обнажит пустынные берега, вспененные волны, и — гальку, выбро-

шенную в шторм большой водой. *Это* одиночество подпольщик Солженицын ощутит как поражение и беду. «Сколько светлых умов и даже, может быть, гениев — втёрто в землю без следа, без концов, без отдачи».

И само время (тут интуиция не обманет) окажется мутным и коварным: «А лета и не состоялось / Такого, как мечтали люди...» Чахлое тепло почти без борьбы даст сковать себя крутым заморозкам. Полусвобода родит двусмысленность и полуправду. Твёрдая почва под ногами расползётся болотной жижей. Верность в дружбе останется исключением, а трусость и предательство, ложь и клевета — утвердятся правилом. «Стала петлями, петлями закидываться история, чтоб каждою петлёю обхватить и задушить побольше шей», — скажет Солженицын в «Телёнке». Оттепельная интеллигенция и культурный круг всю ту малярийную весну проживёт в праздном ожидании вольностей, поблажек и послаблений сверху.

«Мы в то время резко спорили о книгах, — вспоминал Копелев. — Ему (Солженицыну. — *Л. С.*) не нравились Хемингуэй, Паустовский, он не стал читать “Доктора Живаго”. Проглядев несколько страниц: “Отвратительный язык, всё придумано”. А Бабеля даже открывать не захотел: “Достаточно тех цитат, что я прочел в рецензии. Это не русский язык, а одесский жаргон”».

Но может быть, дело было не только в языке «Доктора Живаго»*. Может быть, дело было в *главной правде*, которую жаждал увидеть, но не увидел Солженицын в прославленном романе. «Несмелость коснуться главной правды» относилась и к Паустовскому — апелляции к идеалам революции и социализма сильно снижали градус его речи в защиту Дудинцева. Паустовский виделся *писателем-придумщиком*, не нашедшим в XX веке (в эпоху, когда нельзя было не найти своей темы) ни своего стержня, ни своей темы, ни *точки зрения* — а значит, и правды. «Несмелостью» был скован и сам Дудинцев, автор будто бы смелого, но слабого романа: после речи Паустовского «недавний триумфатор Дудинцев, встав над трибуной, показался почему-то жалким, его лицо

---

* «“Доктора Живаго” я действительно получил из рук Копелева в виде ещё самиздата, в конце 1956 или в начале 1957. Я начал читать, и начало романа мне показало, что автор просто не умеет прозу писать. Какие-то реплики, ремарки в диалогах несусветные. Какая-то неумелость. И вообще я не почувствовал в этой книге ни большой мысли, ни движения, ни реальных картин. Я действительно был разочарован, и надо сказать, что и с годами я не сильно изменил своё мнение об этой книге» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2006 год).

испуганным. Стало ясно, что напугало его только одно — яркое выступление Паустовского. Он невнятно мямлил о том, что предыдущий оратор понял роман не так, он этого не хотел сказать, он не собирался заходить так далеко...» (Г. Корнилова). Да они все, оттепельные писатели, *не собирались заходить так далеко.* «Ах, эта муть, багряность, алость, / Сиянья всякие в полнеба! / Пусть! Только бы не кровь плескалась — / И нам достаточно вполне бы» (Л. Мартынов).

«Обречённо-ущербным» в глазах Солженицына стало несчастное отречение Пастернака от Нобелевской премии. «И в 1958, рязанским учителем, как же я позавидовал Пастернаку: вот с кем удался задуманный мною жребий. Вот он-то и выполнит это! — сейчас поедет, да как *скажет* речь, да как напечатает своё остальное, тайное, что невозможно было рискнуть, живя здесь! Ясно, что поездка его — не на три дня. Ясно, что назад его не пустят, да ведь он тем временем весь мир изменит, и *нас* изменит, — и воротится, но триумфатором! После лагерной выучки я, искренно, ожидать был не способен, чтобы Пастернак избрал иной образ действий, имел цель иную. Я мерил его своими целями, своими мерками — и корчился от стыда за него как за себя: как же можно было испугаться какой-то газетной брани, как же можно было ослабеть перед угрозой высылки, и униженно просить правительство, и бормотать о своих "ошибках и заблуждениях", "собственной вине", вложенной в роман, — от собственных мыслей, от своего духа отрекаться — только чтоб не выслали?? И "славное настоящее", и "гордость за то время, в которое живу", и, конечно, "светлая вера в общее будущее", — и это не в провинциальном университете профессора секут, но — на весь мир наш нобелевский лауреат? Не-ет, мы безнадёжны!..»

Жёстко и бескомпромиссно судил никому не известный Солженицын поэта-нобелевца. Трусливые московские литераторы, за совсем малым исключением, требовали от властей изгнать Пастернака из страны, а он, отчаявшись ждать от лауреата подвига, упрекал его в слабости и малодушии. Оправданий не было — «перевеса привязанностей над долгом я и с юности простить и понять не мог, а тем более озвенелым зэком».

«Если позван на бой, да ещё в таких превосходных обстоятельствах, — иди и служи России!» Несомненно, этот призыв был обращён уже не к Пастернаку, а только к самому себе. Он видел план жизни — совершенно несбыточный по реалиям и меркам 1958 года, — отчётливо и ясно: замысел смешивался с предчувствием. «*Мне* эту премию надо! Как

ступень в позиции, в битве! И чем раньше получу, твёрже стану, тем крепче ударю! Вот уж, поступлю тогда во всём обратно Пастернаку: твёрдо *приму*, твёрдо поеду, произнесу твердейшую речь. Значит, обратную дорогу закроют. Зато: *всё* напечатаю! *всё* выговорю! весь заряд, накопленный от лубянских боксов через степлаговские зимние разводы, за всех удушенных, расстрелянных, изголоданных и замёрзших. Дотянуть до нобелевской трибуны — и грянуть! За всё то доля изгнанника — не слишком дорогая цена».

Оставалось только *дотянуть*. На языке Солженицына, уверовавшего в Нобелевскую премию как в неизбежность, это не значило смирно стоять в очереди (хотя Пастернак своим отречением надолго закрыл дорогу кандидату из России) или просто физически дожить до награды. Это по-прежнему значило: писать и таиться. Положение, абсурдное для соискателя литературной награды мирового уровня.

И ещё одно: нужно было самому устояться в отношении к *главной правде* — как и к *главной неправде*. Нужно было поставить самому себе вопрос — *кто* враг? «Вовка»? «Пахан»? *Что* считать за правду? И иметь мужество ответить — как ответит герой «Красного Колеса» Георгий Воротынцев. «Круговой Обман — вот какой враг. А — как через него прорваться? Такого в жизни не приходилось. Таких способов мы не знаем. Нужна речь — как меч».

Речь — как меч. Это была достойная цель.

Глава третья

«Щ-854. ОДИН ДЕНЬ ОДНОГО ЗЭКА»

9 февраля 1959 года в Москве, на Сивцевом Вражке, в квартире сестры Панина, собрались четверо из Марфинской шарашки: Панин, Копелев, Ивашев-Мусатов и Солженицын: в этот день стукнуло 14 лет со дня его ареста. «День зэка» с хлебной пайкой, кипятком, баландой и жидкой кашицей — живыми ощущениями вечно голодного лагерника, — впервые отмеченный в ссылке, обычно проходил в одиночестве. Нынешняя годовщина была шумной, хлебосольной; к тому же друзьям было что вспомнить, о чём подумать.

Чем был *срок* и чем было *освобождение* все сорок дохрущёвских лет? «От звонка до звонка — вот что такое *срок*. От зоны до зоны — вот что такое *освобождение*». Несчастны были те, кто освобождался льготно, без ссылки и без направления на место, — они ехали в *гущу замордованной воли* и по-

падали в порочный круг: на работу не принимают без прописки, а без работы не прописывают (Виткевич не мог до реабилитации устроиться в Ростове даже рабочим на кирпичный завод; москвича Копелева долго не прописывали в его прежнюю квартиру*). Несчастны были те, кто освободился *слишком рано,* — на *дрессированной* воле их избегали, от общения с ними уклонялись. Да и сами они ежеминутно помнили о своей жалкой участи (Солженицын вспомнит в «Архипелаге» профессора Н. А. Трофимова — «постоянно вобранная в плечи голова, постоянная напряжённость, пугливость, в коридоре его не окликни»). *Гнёт вольного состояния* — так называлось это на языке освободившихся. Не очень уверенно чувствовали себя и реабилитированные — на них смотрели с подозрением, партийное начальство называло реабилитацию *тухтой* и не доверяло людям с «нечистым» прошлым. «И одна только реальность ото всего прошлого осталась — справка. Небольшой листок, сантиметров 12 на 18. Живому — о реабилитации. Мёртвому — о смерти».

Собираясь вместе, марфинцы по-прежнему ощущали себя семьёй. Солженицын тайно вывез свои лоскуты-номера, их берегли и в других домах. Воля поначалу была ощутима только среди *своих*, и как же неприкаянно чувствовали себя *свои* на «чистой» публике. «Копелев вернулся в 1955 году в Москву и обнаружил: “Трудно с благополучными людьми. Встречаюсь только с теми из бывших друзей, кто хоть как-то неблагополучен”». Солженицын, уже реабилитированный, зашёл в здание Бутырской тюрьмы, где была вывеска: «Приёмная передач», стал читать правила. «Но, сметив меня орлиным взглядом, ко мне быстро идёт мордатый старшина. “А вам что, гражданин?” Учуял, что не передача тут, а подвох. Значит, пахну я всё-таки зэком!»

Это была проверка — на верность и крепость. Вопрос: скрывать своё прошлое или гордиться им — не стоял никогда. А. И. писал: «Горжусь я принадлежать к могучему этому племени! Мы не были племенем — нас сделали им! Нас так спаяли, как мы сами, в сумерках и разброде воли, где каждый друг друга трусит, никогда не смогли бы спаяться. Ортодоксы и стукачи как-то автоматически выключились из

---

* «Я вернулся, — вспоминал Копелев (1988), — в декабре 1954 года в ту самую московскую квартиру, из которой ушёл на фронт в 1941 году. Но уже три недели спустя меня из неё выдворила милиция: ведь я просто отбыл срок по ст. 58, был лишён гражданских прав, в частности, права жить в Москве. Тогда я прописался в деревне возле Клина за сравнительно небольшую взятку секретарю сельсовета. А жил в Москве нелегально у друзей».

нас на воле. Нам не надо сговариваться поддерживать друг друга. Нам не надо уже испытывать друг друга. Мы встречаемся, смотрим в глаза, два слова — и что ж ещё объяснять? Мы готовы к выручке. У нашего брата везде свои ребята. И нас миллионы».

Был ли случайным в жизни Солженицына (ему стукнуло сорок в декабре 1958-го) тот поздневесенний день, 18 мая 1959 года, когда он начал писать «Один день одного зэка»? Случайно ли вспомнил замысел девятилетней давности, возникший зимой 1950-го в Экибастузе? О случайности не могло быть и речи. Конечно, не забывали Архипелаг и его товарищи, но никто из них не готов был стать летописцем лагерной жизни, да и писательством никто в те поры не занимался. «Записки Сологдина» и «Лубянка—Экибастуз» Панина будут написаны много позже и изданы в эмиграции (1973, 1990). Книга воспоминаний Копелева «Утоли моя печали» — в 1981-м и тоже за границей. Время конца пятидесятых не располагало к лагерным летописям: тяжёлое похмелье оттепели отрезвило многих смелых и дерзких.

В тот момент, когда Солженицын сел писать рассказ, рядом не было, кажется, никого, кто бы сочувственно отнёсся к идее «описать один день зэка с утра до вечера». Его друзья стремились жить настоящим, наверстать упущенное. Панин погрузился в инженерию (был главным конструктором в НИИ «Стройдормаш»), собирался ехать в Котлас с кустанайской подругой; Копелев был увлечён историей немецкого театроведения (работал над плановой книгой в Институте истории искусств). «Ежедневно происходили события, — вспоминал Лев Зиновьевич, — в которых нужно было если не участвовать, то хотя бы наблюдать: новые спектакли, просмотры фильмов, выставки художников и скульпторов, обсуждения книг, дискуссии, споры; приезды иногородних и зарубежных гостей». Художник Ивашев-Мусатов (в «Круге» — Кондрашев-Иванов) ощущал, что на воле у него отросли крылья, открылся простор для создания образов Совершенства и Мирового Зла. На шарашке художник писал «Замок святого Грааля» в то мгновение, когда его увидел Парсифаль (эту картину особенно любил А. И.), на воле увлёкся шекспировскими сюжетами. Его не сразу реабилитировали; не имея своего угла, художник жил у матери на Волхонке, потом получил комнату в Кунцеве, счастливо женился на своей ученице и самозабвенно работал над «Отелло». С увлечением отдавался своему делу, переезжая со стройки на стройку, *Андреич*-Семёнов, и казалось, в его душе тоже звучит новая музыка.

Школьный друг и подельник Виткевич о прошлом и слышать не хотел. «В 1959 году, когда Пастернак ещё был жив, но плотно обложен травлей, я, — вспоминал Солженицын в «Архипелаге», — стал говорить ему о Пастернаке. Он отмахнулся: “Что говорить об этих старых галошах. Слушай лучше, как я борюсь у себя на кафедре!” (Он всё время с кем-нибудь борется, чтобы возвыситься в должности)». Виткевич заканчивал работу над кандидатской диссертацией по химии, был молодожёном и никакого долга перед лагерным прошлым не испытывал*. Решетовская ощущала то же самое: «Встречаясь с Николаем и его женой Эгдой, Эмилем Мазиным, мы чувствовали себя совсем молодыми, будто бы не было ни войны, ни разлук, будто бы мы — ещё студенты».

Вряд ли, однако, чувство «будто не было войны и разлук» разделял с женой и Солженицын, начавший в середине мая писать рассказ о зэке. И всё же — почему о *зэке*? Почему, например, не об учителе? Ведь был уже богатый и разнообразный опыт: месяцы в Морозовске, три года в Кок-Тереке, год в Мезиновке и уже третий год в Рязани? Герой-учитель мог бы преподавать физику, математику, астрономию, мог бы, для остроты сюжета, вести историю или литературу. Помимо предмета есть и внеурочное время: педсоветы, общественные нагрузки. В том же 1959-м он и в самом деле пробовал писать об учителе, опираясь на рязанский опыт, но работа не продвинулась нисколько. «Не *до* “Ивана Денисовича”, а *после него*, — рассказывал Солженицын (2006), — я думал написать “Один день одного учителя” и наброски делал. И уже начал материалы собирать школьные, но всё повисло, никакого текста никогда не было».

Вопрос, почему *зэк*, следовало бы поставить иначе: почему *снова* зэк? Ибо кем были герои уже написанных вещей? В «Шарашке» зэки — *все*, кроме Сталина, Абакумова, местного начальства и нескольких периферийных вольняшек. В «Пире Победителей», действие которого происходит в конце января 1945-го в Восточной Пруссии, зэков нет *ещё*: герои — солдаты и офицеры отдельного разведывательного

* Летом 1959 года Солженицын виделся с Виткевичем в Ростове, когда они с женой приехали, чтобы забрать к себе в Рязань тётушек Решетовских. В результате тройного обмена (соседи по квартире в Касимовском поменялись с людьми, которые уехали в Ростов в квартиру тёти Нины и тёти Мани) с осени 1959-го вся семья — тёща, две тёти, Наташа и Саня — жила в отдельной квартире, без соседей. «Перебравшись из своей тесной комнатки во вдвое бóльшую, мы первое время просто блаженствовали. Но главное было, конечно, в другом — никого не надо опасаться! Теперь, сжигая в печи рукописи, Саня мог быть уверенным, что уже никто не застанет его за этим крамольным занятием!»

артдивизиона. А с ними смершевец — и это значит, что многие из пирующих не встретят победу в своей части. И в самом деле: время действия «Пленников» (1952) — 9 июля 1945 года, место действия — контрразведка СМЕРШ, где собраны 27 арестантов разного возраста и калибра. Кажется, что послевоенный мир — одна большая тюрьма, где есть только зэки и надзиратели, а «слабая, истерзанная, стиснутая» воля лишь поставляет в нужных количествах контингенты тех и других. Действующие лица драмы «Республика труда» (1954) уже прямо разведены списком: *зэки* (45), *вольные* (10), *охрана* (5): преобладающее большинство населения строительной зоны именно зэки — мужчины и женщины в грязных рваных телогрейках и ватных брюках.

Мир «исправительно-трудового» лагеря вмещает множество человеческих судеб, ставит болезненные темы, прицеливаясь и к истории лагерей, и к подробному рассказу о каком-нибудь одном зэке. Зона, как показано в драме, радикально меняет сознание людей, поворачивает их чувства в непредвиденную, непредумышленную сторону. Фронтовик из вольных (то есть ещё не сидевший) вряд ли дерзнёт сокрушаться, что воевал за родину, даже если ему тошно на воле. А зэк Павел Гай говорит: «Наводчиком зенитки был. В штрафной был. Командиром взвода сорокапяток был. Своими руками двух мессершмитов сбил. Жалею... Я четыре года как дурак за них воевал. Где голова была?» И зэк-фронтовик Нержин ему отвечает: «Жалею, Павел Тарасович, и я. За какой бардак воевали?» Прототип Павла Гая — Павел Баранюк, бригадир каменщиков в Экибастузе, у него учился ремеслу Солженицын (Нержин), передав позже навыки Ивану Денисовичу Шухову.

В том же духе размышляет и Воротынцев («Пленники»), полковник русской императорской армии, добыча СМЕРШа (в 1914 году Георгию Михайловичу, герою «Красного Колеса», было около сорока): «*Наши*, Ваня, это скользкое словцо. / Что в них наше? Звук фамилий? Русость на лицо? / После всех расстрелов, лагерей, колхозов, уксуса из чаши — / Отчего б они вдруг стали *наши*?» Вот и Костоглотов помнит, как в камере бился с урками на стороне зэков-японцев, ибо блатарей *не мог считать русскими*. Зона не располагает к патриотизму, стирающему грань между зэком и надзирателем, ибо в корне меняет понятия «мы» и «они»: для всякого з/к *мы* — это только зэки, *они* — это только хозяева. А беда хозяев, как известно, радость для арестантов, ибо не осталось у разделённого зоной народа ничего общего, кроме колючей проволоки. Впрочем, хозяева тоже именуют зэков — *они*, как в присказке про волка тамбовского, который один толь-

ко зэку и товарищ. Отвечая Гаю («Что делать будем? Оружие добывать? В побег уйдём?»), загадочно обозначит Нержин способ борьбы с *ними*. «Надо как-то учиться — не бежать. Надо как-то... чтоб они от нас побежали...»

Что имел в виду Нержин? Какой смысл придавал задаче автор «Республики труда», сочиняя весной 1954 года пьесу с автобиографическим героем? Какая реальность давала ему основание на втором году *вечной* ссылки надеяться на подобный поворот событий? И что стояло за словами: «надо учиться — не бежать»? Какая учёба, какая стратегия? И кто тот учитель, кто умел обращать в бегство тиранов?

Теперь, в 1959-м, Солженицын мог ответить на это только работой, верностью теме, конспирацией и качеством письма. По-прежнему не видно было вовне ничего, что бы обещало Большой Прорыв. Он помнил про объёмы написанного, про то, что в литературе он отнюдь не новичок. Он давно перестал страшиться того, чего страшился в молодости: уже двадцать лет, а ничего не напечатано. Нужно было только успеть — ведь зачем-то была ему дарована вторая жизнь. Это потом заговорят о «дебютанте из провинции». Для себя он был совсем не дебютант.

Но ни одна живая душа не могла бы заподозрить, что скрытный учитель физики имел основания отмечать той весной творческий юбилей: исполнялось ровно тридцать лет с тех пор, как в 1929 году третьеклассник Саня написал повесть о сыщиках и разбойниках. Хотя сам юбиляр не помнил ни о круглой дате, ни о первом детском опыте, оставался факт: тридцать из сорока лет он писал, держа перо в руке, а когда перо отбирали, сочинял устно. Такой стаж и такая преданность профессии не могли пройти даром.

Есть магия цифр, которую чувствовал и признавал Солженицын: так, числа, кратные девяти, всегда были значимы в его судьбе. Можно видеть и другие знаки. 1929-й — год триумфа сталинской власти, пятидесятилетний юбилей тирана, который праздновался вместо отмененного Рождества Христова. Год «великого перелома», когда народу сломали хребет. В этот *переломный* год школьник Солженицын начал писать, но, конечно, никому и в голову не могло прийти, что детское творчество пойдёт в рост. И вот 1959 год, тридцатилетие спустя: год *великого*, но пока тайного *прорыва*, когда он сел рассказывать об «одном зэке». Так получалось, что новая повесть в каком-то смысле тоже была про «сыщиков и разбойников», только с поправкой на Вторую мировую войну, свирепое позднесталинское время, особый лагерь каторжного режима, собственный опыт ГУЛАГа, писательский замы-

сел девятилетней давности, колоссальное упорство и обретённое мастерство. Поправка выходила гигантская.

«Как описать всю нашу лагерную жизнь? — объяснял в интервью (1982) Солженицын. — По сути, достаточно описать один всего день в подробностях, в мельчайших подробностях, притом день самого простого работяги, и тут отразится вся наша жизнь. И даже не надо нагнетать каких-то ужасов, не надо, чтоб это был какой-то особенный день, а — рядовой, вот тот самый день, из которого складываются годы. Задумал я так, и этот замысел остался у меня в уме, девять лет я к нему не прикасался и только в 1959, через девять лет, сел и написал». Он сам поражался скорости письма: «Сел — и как полилось! со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. И только чтоб чего-нибудь не пропустить». «Писал я его не долго совсем, всего дней сорок, меньше полутора месяцев. Это всегда получается так, если пишешь из густой жизни, быт которой ты чрезмерно знаешь, и не то что не надо там догадываться до чего-то, что-то пытаться понять, а только отбиваешься от лишнего материала, только-только чтобы лишнее не лезло, а вот вместить самое необходимое».

Следует ответить ещё на один вопрос. Почему был выбран *такой* зэк — простой работяга без образования, без интеллигентских рефлексий, творческих занятий и замыслов, без тоски по музыке (в каторжном лагере нет радио), без груза прочитанных книг, без гражданских переживаний за русскую историю и судьбу революции? Почему героем стал не он сам, автор, хотя бы под прежней «нержавеющей» фамилией? Ведь Нержин прошёл длинный путь — от поэмы «Дороженька» и повести «Люби революцию» к «Пиру Победителей», «Республике труда» и «Шарашке». И пошёл на этап в Экибастуз.

Все главные события, которые стали сюжетами художественных книг Солженицына и определили его писательскую судьбу, к тому времени уже произошли: детство и юность, война, арест, «исправительно-трудовой» лагерь, ссылка, онкологическая клиника, и все они последовательно отрабатывались писателем как «свои», автобиографические. А экибастузский сюжет отдавался герою, не имевшему с автором ничего общего, кроме сидения в одном и том же лагере в одни и те же годы. Почему?

«Ивана Денисовича я с самого начала так понимал, что не должен он быть такой, как вот я, и не какой-нибудь развитой особенно, это должен быть самый рядовой лагерник. Мне Твардовский потом говорил: если бы я поставил героем, например, Цезаря Марковича, ну там какого-нибудь интелли-

гента, устроенного как-то в конторе, что четверти бы цены той не было. Нет. Он должен был быть самый средний солдат этого ГУЛАГа, *тот, на кого всё сыпется*» (курсив мой. — *Л. С.*).

В лагерную летопись Солженицына, которую он вёл с 1947 года, пришёл новый герой: политический зэк из самых низов. На долю такого выпадает только чёрный труд в течение всего срока — общие работы, от которых бегут все, кто может зацепиться за профессию и образование, хитрость или нахальство. У того, кто до войны был простым колхозником, а на войне — рядовым солдатом, поменять участь *работяги* на удачу *придурка*, устроиться при столовой, в конторе или в каптёрке, нет никаких шансов. Он — лагерная песчинка, по жестокой иерархии зоны. Ему неоткуда и не от кого ждать послаблений, льгот и даже посылок (на воле, в колхозе, бедствует семья), ему надо выживать только за счёт собственных ресурсов. У него нет привычки образованного человека к занятиям, которые просветляют мрак тюрьмы и барака, нет в памяти книжных образов и стихов, нет самой привычки к чтению, чтобы заполнить краткий досуг. Он молчит, когда при нём о высоких материях судачат образованные сокамерники: зэк-простолюдин им не ровня и не возбуждает у них даже простого любопытства. «За много лагерных лет Сологдин водился лишь с образованными, не предполагая почерпнуть что-либо ценное у людей низкого развития». Условный Сологдин относится к условному работяге с чувством явного или плохо скрываемого превосходства, потому что знает теоретическую механику, сопромат, много разных наук, имеет «обширный взгляд на общественную жизнь». Нержин, покровительствуя пятидесятилетнему и почти слепому мужику с тяжёлой историей скитаний и кручёной жизни, чувствует «ужасающее невежество и беспонятность Спиридона Егорова в отношении высших порождений человека духа и общества».

Но вот вопрос, на который векá пытается ответить интеллигенция. «Это мыслимо разве — человеку на земле разобраться: кто прав? кто виноват? Кто это может сказать?» И оказывается: беспонятная песчинка Спиридон знает ответ поразительной простоты и силы: *волкодав — прав, а людоед — нет!* Вот какая уверенная правота живет в душе неразвитого простолюдина. Вот какой пепел стучит в его сердце: «Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит самолёт, на ём бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронят под лестницей, и семью твою перекроет, и ещё мильён людей, но с вами — Отца Усатого и всё заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерям, по колхозам,

по лесхозам?» Он уверен, что сказал бы: «кидай», «рушь», потому что «нет больше терпежу! терпежу — не осталось!». Сознание простого человека, искажённое болью и мукой, насилием и несправедливостью, таит страшные бездны, о которых порой и не подозревает солагерник с высшими понятиями. Но ведь и каждый лагерь в отдельности, и весь Архипелаг в целом — тоже бездна, в которую свалилось Отечество, и понятия человеческие здесь уступили место правилам истребления. И всё же в «Круге» Спиридон — как бы тоже *придурок*: ведь ему досталась не зона, а райский остров; и ход событий определяет не он, слепой дворник, а рафинированные технари с их сложным внутренним миром.

Сознание простолюдина как самостоятельная нравственная ценность, а не как этнографический материал — вот что влекло Солженицына, взявшегося писать про «одного зэка». Мир по обе стороны зоны, история и текущий момент, товарищи по бригаде и лагерное начальство видятся глазами *этого* героя (а не глазами условных Нержина, Сологдина или Рубина), оцениваются *его* умом, пропускаются через *его* сердце. Автор видит героя изнутри *его* души, вживается в *его* помыслы, чувства, настроения. Нет больше снисходительно-сочувствующего рассказчика, собирателя и коллекционера историй, есть суверенный герой — Иван Денисович Шухов.

В то урожайное, поистине болдинское лето 1959 года Солженицын всецело отдался замыслу девятилетней давности. Невероятно быстро память сосредоточилась в точке жизни, которую он знал достоверно и доподлинно. Он берёг и бередил в себе память, «как будто не кончилась ссылка, не кончился лагерь, как будто всё те же номера на мне, нисколько не поднята голова, нисколько не разогнута спина и каждый погон надо мной начальник». Сперва рассказ носил название «Щ-854» — этот номер был выведен чёрной краской на лоскутах, нашитых на казённое обмундирование Ивана Денисовича. В воображении писателя теснились десятки и сотни товарищей по заключению, которых он знал лично, но неожиданно и неизвестно почему «незаконный прототип» выдвинулся на первый план. Даже сама фамилия — Шухов — влезла в рассказ без всякого выбора. Так звали милого пожилого солдата из батареи Солженицына: солдат не был в плену (как герой рассказа), никогда не сидел, и комбат даже не предполагал, что когда-нибудь станет о нём писать. Между тем вместе с фамилией в рассказ вошло лицо реального Шухова, его речь, характер, повадки. Лишь лагерная биография досталась Ивану Денисовичу от «пленников», получивших сроки, а лагерная профессия ка-

менщика — от автора. «Когда я взялся писать, то почувствовал, что не могу ни на ком остановиться одном, потому что он не выражает достаточно, отдельный, один. И так сам стал стягиваться собирательный образ».

Следуя за героем *шаг в шаг* — в штабной барак, санчасть, столовую, потом на *объект* и обратно, на нары, — автор создавал малую энциклопедию лагерного быта, где всякая вещь имеет иную цену, нежели на воле. Но описанная аскетичным слогом лагерная этнография — это не цель, а суровый, подчас жестокий фон для той мысли, что трудолюбие и справедливость, собственное достоинство и деликатность — качества, жизненно необходимые для того, чтобы остаться человеком где бы то ни было, даже в бездне зла. За колючей проволокой Шухов отбывает срок — *день за днём*, надеясь только на свои руки и крестьянскую смекалку. Иван Денисович, способный радоваться ровно выложенной стене, умеющий заработать на закрутку и миску каши, но презирающий вымогателей, удостоен высшей похвалы. «Он не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался». В этом пункте оценка автора сливалась с самосознанием героя абсолютно.

Поворот Солженицына от образованных героев-зэков, от их мудрёных споров о хорошем Ленине и плохом Сталине, от дискуссий о марксизме и идеалах «нашей революции» имел переломный характер. Это был прорыв к *главной и полной правде* о человеке, брошенном в бездну зла. Это был отказ от промежуточных и частичных правд. Это был поворот к личности, которая в советской иерархии унижена и подавлена в наибольшей степени, но которая в наименьшей степени живет по лжи. Это был личный протест против уже понятого обмана оттепели, с её интеллектуальной трусостью и дозированным свободомыслием. Когда Цезарь Маркович, увлечённый «образованным разговором», берёт миску с кашей из рук Шухова так, будто она сама к нему приехала по воздуху, а Иван Денисович, *поворотясь*, тихо уходит от него, спорящего с другим лагерником об «Иване Грозном» (Эйзенштейн — гений или подхалим, подогнавший трактовку образа под вкус тирана?), кажется, что и автор разворачивается вместе с Шуховым и идет прочь от лукавого празднословия*.

---

* За полгода до создания «Ивана Денисовича» Солженицын смотрел в кинотеатре вторую серию «Иоанна Грозного» и по свежему впечатлению писал Н. И. Зубову: «Такая густота вывертов, фокусов, находок, приёмов, новинок — так много искусства, что совсем уже не искусство, а чёрт знает что — безответственная фантазия на темы русской старины».

Это был внутренний, глубинный разрыв с оттепельным культурным кругом — разрыв, потенциал которого будет осознан много позже. Первыми почувствовали неладное близкие Солженицыну люди. «Я, — признавалась Решетовская (1975), — читала повесть по мере того, как она переписывалась вторично, и должна сознаться, что медленно развивающееся действие "Одного дня", описываемое как бы бесстрастно, поначалу казалось мне скучноватым...» В это время любимой книгой жены, над которой она прорыдала неделю, был роман Ремарка «Три товарища», присланный в подарок Лёвой Копелевым, автором предисловия. И ещё одно свидетельство мемуаристки. 2 ноября 1959 года Копелев был в Рязани с лекцией о Шиллере и пробыл у Солженицына с вечера до утра. «Перелистав рукопись "Ивана Денисовича", отмахнулся от нее, небрежно бросив: "Это производственная повесть". Да ещё нашёл, что она перегружена деталями». Только что принятый в Союз писателей СССР, выпустивший однотомник своих статей и проживший лето в переделкинском Доме творчества, Копелев хорошо сознавал своё превосходство над учителем из провинции, который «неосмысленно» тянется в литературу. «Московский литератор» несколькими выпусками описал его, Копелева, жизнь и творческий путь — по меркам времени, увековечил. Дистанция была огромна, и Лев дал её почувствовать рязанским друзьям. «Вся история его приезда, пребывания здесь и отъезда достойна была бы юмористических красок, если бы он не проявил некой небрежной невнимательности, нечуткости, которая очень обидела меня и за меня — Наташу», — писал Солженицын Зубовым, которые, как всегда, были в курсе Саниных общений, передвижений, увлечений.

Солженицын воспримет обе оценки как тупик своего литературного подполья. «Жена, упиваясь "Кругом", об "Иване Денисовиче" нашла, что "скучно, однообразно", а Лев Копелев сказал: "типичный соцреализм". Копелев был тогда для меня единственным выходом в литературный мир, но как в 1956 году он забраковал всё моё привезённое из ссылки, так теперь, побывавши в Рязани, отверг и всё дальнейшее, включая "Круг"». Добавим, что и Панин противился выходу в публичность: это, говорил он, донос на самих себя, и всех ставит под удар. Он был в отчаянии от решения Солженицына и яростно упрекал его — как можно было позволить герою самозабвенно отдаться рабскому труду. Лишь спустя двадцать лет Панин признает, что был неправ. «Я не предугадал отзвук и влияние лагерной тематики, которая благодаря Солженицыну прорвалась в советскую литературу».

Теперь кажется чудом, что рассказ об «одном зэке» вместился в то щедрое событиями и разъездами лето. Солженицын писал с середины мая почти до конца июня, дней сорок пять, и успел закончить рассказ до отпуска: 26-го он и жена отправились в Ростов за тётушками. Переезд занял десять дней, а потом наступило время Крыма — 16 июля они выехали к Зубовым. Те обживали квартирку в посёлке Черноморское, привыкали к морскому прибою после казахских степей и принимали гостей, которые вдруг все потянулись в Крым. Трёхдневная встреча в Рязани в сентябре 1958-го (Зубовы заезжали по дороге в Крым) только разожгла аппетиты, и теперь предстояло просторное и нестеснённое общение.

Путешественники сняли комнату неподалеку от стариков, по утрам и вечерам плескались в море, но днём, укрывшись от жары, Солженицын писал. Здесь был начат рассказ «Не стоит село без праведника»: долг памяти Матрёны. «На сто восемьдесят четвертом километре от Москвы...» — так начиналась история её нескладной жизни, которая причудливо переплелась с судьбой учителя-постояльца. «Не умемши, не варёмши — как утрафишь?» — бывало, говаривала Матрёна. Сейчас, под пером бывшего жильца она волшебно оживала, а скудная её *картонная* стряпня с *неурядными* вложениями вызывала не изжогу, а прилив мощного вдохновения. Самим своим существованием Матрёна *потрафляла* постояльцу — и теперь её простое имя, её двор, её жизнь *в зáпущи* сплетались с его судьбой в единое целое, как счастливо найденная рифма. Меньше года простоял у Матрены учитель, а она отныне поселялась в его судьбе навсегда. Значит, был смысл тянуться в глубинную Россию и в сельскую школу. И выбрать Торфопродукт, и найти славное место с ивами возле высыхающей подпруженной речушки с мостиком, где плавали утки и выходили, отряхиваясь, на берег гуси, и каждый день топать два километра в школу и два обратно, хотя о школе той так ничего и никогда не написалось.

За две недели Солженицын разогнался, но жара не дала закончить рассказ. И было у него к Николаю Ивановичу ещё одно дело: рассредоточить хранение машинописных копий. «И уже б не обременять стариков — а не было никого ближе и доверенней. В 1959 году отвёз я им из Рязани — все пьесы, лагерную поэму и “Круг первый” (96 глав), который тогда казался мне готовым. И снова Н. И. устроил двойные донья, двойные стенки в своей грубой кухонной мебели — и попрятал моё». Зубовы хлопотали о реабилитации, дело тянулось долго, стариков будто брали измором и на первое

прошение отказали, Саня же, посвящённый во все тонкости их следствия, был советчиком и утешителем.

Крымские каникулы закончились 5 августа. Автобус вёз до Симферополя, поезд доставил в Днепропетровск, пароход — в прекрасный Канев. После суток «сказочного отдыха» они выехали в Киев: раздобыв подробную карту, четыре дня изучали город квартал за кварталом. Проникли в Кирилловскую церковь, где шла реставрация, любовались фресками Врубеля и — тоже повезло — иконами Владимирского собора. 14 августа вылетели в Москву: в жизни А. И. это был первый самолёт. «Перелёт на "Ту-104" производит впечатление могучее, но не скажу, чтобы приятное. С десяти тысяч метров, когда ни один населённый пункт не виден отдельно, реально ощущаешь ту "пустынность" нашей планеты, о которой пишет Экзюпери. Вся земля кажется в заплатах, как рубище». Он описывал Зубовым вид из окна, рёв двигателей, давление в ушах при снижении, а потом и московские впечатления: ВДНХ, кинофестиваль (Лёва достал билеты), Архангельское и Абрамцево («вот в таком месте пожить бы, в такой "зоне тишины"»).

Но дома нужно было переставлять мебель, переделывать электропроводку, заготовлять картошку и дрова на зиму (эта забота всегда была целиком на нём), осенью наплывали другие хозяйственные и школьные обязанности, а нагрузка в новом учебном году вышла максимальной — физика в 10-х классах с большой экспериментальной работой. Имея только два свободных от школы дня, обязывая себя следить за «Наукой и жизнью», «Знанием—силой», «Юным техником» и «Техникой—молодежи» (а хотелось читать ещё «Искусство кино», «Театр», «Новый мир» и быть в курсе книжных новинок), он вместил в осень 1959-го окончание «Матрёны» и чистовую перепечатку «Ивана Денисовича».

Ему хорошо работалось. «Мне было дико слушать, — напишет он в «Телёнке», — как объясняли по радио обеспеченные, досужие, именитые писатели: какие бывают способы сосредоточиться в начале рабочего дня, и как важно устранить все помехи, и как важно окружиться настраивающими предметами». Тишины в Рязани уже не было: прямо перед домом открылась оптовая продуктовая база, и теперь по целым дням здесь ревел транспорт. Но, научившись складывать строки в колонне под конвоем, в степи на морозе, в литейном цехе и в гудящем бараке, он был *естественно приспособлен писать всюду*, потому тарахтевшие грузовики как будто и не мешали. «Лишь бы выдался свободный часик-другой подряд!» В конце года, одолевая незнакомую

для себя форму, написал сценарий «Знают истину танки» — сгусток событий семи- и пятилетней давности: лагерные волнения в Экибастузе, участником которых был он сам, и восстание в Кенгире, о котором знал по рассказам.

Опять мятежному учителю виделся чёрный силуэт зоны — вышки и столбы с фонарями, колючая проволока во много нитей. Опять слышались мерные удары в рельс, и вставала перед глазами прежняя картина: голая «линейка» меж бараков, три тысячи спин по пять в шеренгу, и *номера* — грязная, голодная, пригорбленная публика, в чёрных спецовках и чёрных картузах с белыми лоскутами — три спереди и один сзади, меж лопаток. И надзиратели с голубыми погонами и голубыми околышами фуражек, стоявшие, расставив ноги и обхлопывая заключённых. Носилки с диким камнем, надрывная работа, неудачливый побег, избитые в кровь беглецы — вся эта проклятая жизнь без справедливости... А ещё забастовка, расстрелы из пулемётов... Сценарист писал так наглядно, с такой детальной прорисовкой, что будущие читатели могли ощутить себя зрителями и без экрана («Как я любил годами этот фильм, как надеялся, что он грянет!»). Он заставлял себе помнить то, что уже давно пора было заслонить домашним уютом, летними отпусками, заботами о здоровье. К забвению призывал и персонаж сценария, находившийся по *эту* сторону колючей проволоки: «Какой дурак это придумал — старое ворошить? Сыпать соль на наши раны!»

И только сценарист кричал о неутихающей боли и невысыхающей крови, которая заливала всё новые и новые пространства. «Памяти первых, восставших из рабства, — Воркуте, Экибастузу, Кенгиру, Будапешту, Новочеркасску...» посвящался сценарий, написанный как бы ещё и *впрок*: советские танки давили Будапешт тремя годами раньше, расстрел рабочих в Новочеркасске случится тремя годами позже. Десять огненных страниц «Архипелага» расскажут о новочеркасской трагедии, к посвящению будет добавлен ещё один *роковой город России* и поставлено многоточие...*

---

* «Целый город, целый городской мятеж так начисто слизнули и скрыли! Мгла всеобщего неведения так густа осталась и при Хрущёве, что не только не узнала о Новочеркасске заграница, не разъяснило нам западное радио, но и устная молва была затоптана вблизи, не разошлась, — и большинство наших сограждан даже по имени не знает такого события: Новочеркасск, 2 июня 1962 года» («Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын узнал о факте восстания сразу же, «как и все, кто слушал западное радио», но только в 1966-м прямые очевидцы событий сообщили ему подробности.

Итак, Солженицын усердно преподавал, тщательно планировал лето, старался не пропускать книжных новинок (рекомендации давал Копелев), следил за кинопремьерами, увлекался фотографией и йоговской гимнастикой, читал о снежном человеке и сам любил обтираться снегом; грамотно лечился и лечил домашних по купленному двухтомнику «Справочник практикующего врача». Он был небезразличен к общественным язвам и мог отправить в газету заметку о нечётко работающей почте, о слишком громком радио в местах отдыха трудящихся, о продаже двух билетов на одно место в купе поезда. Добропорядочный, законопослушный педагог радовался вместе со всеми горожанами приезду Хрущёва для вручения Рязани ордена Ленина за показатели по мясу (дорогого гостя ожидали и в школе № 2, дети весь день простояли с букетами, но не дождались). Видимая часть жизни Солженицына была неприметна и совершенно обыкновенна.

Но была ещё грозная невидимая часть. Затаившийся упрямый лагерник, подпольный летописец ГУЛАГа напряжённо вслушивался в то, что льётся с высоких трибун. Вот говорливый, весёлый Никита Сергеевич бьёт себя в грудь — дескать, нету, нету у нас политических заключённых, и старые зэки верят на слово первому секретарю ЦК: *забывчивость горя, заплывчивость кожи*. Меж тем рассказ А. И. о зэке начат *одномоментно* с занятным выступлением Хрущёва: «К таким явлениям и делам возврата нет и в партии и в стране» (22 мая 1959 года). И вот что скажет Хрущёв через девять месяцев *после* Новочеркасска: «Теперь все в нашей стране свободно дышат... спокойны за своё настоящее и будущее» (8 марта 1963-го). Как хотелось в это верить! Но как уже невозможно было этому верить! А значит, нечего надеяться, что *главную правду* впишут в Уголовный кодекс или в постановления партсъезда. Оставались тайные рукописи, но и здесь закон поэзии диктовал быть выше гнева и воспринимать сущее с точки зрения вечности.

А пока — тянулся учебный год с физпрактикумом для 9-х классов и предэкзаменационной подготовкой 10-х; и снова планировалось летнее путешествие, на юг, организованными туристами. Продолжались споры с Копелевым о литературе. Лев упрекал друга в невежестве, а Саня писал Зубовым: «Со Львом переписка безнадёжная: он отвечает *мимо* корреспондента. Круг досужих людей, они совершенно не приемлют и не ощущают, чем живут т. н. *простые* люди, бесконечно влюблены в своё общество, свой ум и время от времени роняют нам дары, вроде “какие 10 книг ты бы взял с собой

в космический полёт, в одиночную камеру, на необитаемый остров?”. Проведите, мол, такие анкеты среди своих учеников, среди своих студентов и присылайте нам материалы. Лев даже не хочет понять, что я преподаю физику...»

Но он и сам давно хотел читать только лучшее, без подсказок. Потому раздобыл «Литературную энциклопедию» и, штудируя том за томом, изучал биографии писателей, разборы произведений, а выписки складывал в тематические папки. Занимался словарем пословиц Даля, создавая в себе внутреннюю атмосферу русского языка. Литература, заполнявшая толстые журналы, вызывала раздражение, особенно автобиографии писателей, «продукт чрезмерной любви автора к себе». Мемуары Паустовского казались скучными. Мемуары Эренбурга — признаком того, что писателю нечего сказать. Нудно, самовлюблённо, бедно мыслями, претенциозно... Сбивчивый, путаный, хвастливый стиль... Спорит с мертвецами и доказывает живым, что он гений... Автобиография, если только она не несёт в себе художественного обобщения, есть самый низкий вид творчества, почти даже и за пределами его... Только попытка Эренбурга осмыслить Гражданскую войну примиряет с мемуаристом. «Эпидемия автобиографий» — назовёт А. И. свою статью для «Литературной газеты» (оттуда придёт кислый ответ, не предполагавший публикации). Письмо Паустовскому со статьей останется вообще без ответа, как и копия, посланная в «Литературу и жизнь».

Но дело было вовсе не в мемуарном жанре, и не он вызвал протест. «На самом деле это был упрёк, — скажет он в «Телёнке», — что писатели, видевшие большую мрачную эпоху, всё стараются юзом проскользнуть, не сказать нам ничего главного, а пустячки какие-нибудь, смягчающей мазью глаза нам залепливают, чтоб мы дольше не видели истины, — а чего уж так они боятся, писатели с положением, неугрожаемые?» «Поучиться бы им у протопопа Аввакума! — писал он Зубовым тогда же, в 1960-м. — Ведь у него сила мысли, сила и густота изложения. Он не “плыл всю жизнь по течению” и ему есть что сказать». Но брать пример с мятежного протопопа никто не спешил.

...Лето 1960-го стало переломным во многих отношениях. Каникулы складывались удачно — заранее была заказана туристическая поездка по Военно-Сухумской дороге с пляжным отдыхом в Сухуми. В Ростове к поезду пришли Виткевичи и Ира Арсеньева. Удалось заехать в Георгиевск навестить тётушек и подновить мамину могилу, а в Минводах — разыскать двоюродных братьев. Август подарил ещё

пять дней приокского путешествия, куда Солженицын отправился один: Баженовская церковь в Черкизове, ансамбль монастырей и соборов в Коломне, интереснейший кремль в Зарайске. Потом отдыхали с женой в Солотче и вместе ездили на родину Есенина. «Это лето было за последние двадцать лет — первое, когда я *по-настоящему и беззаботно отдыхал*», — писал он Зубовым, не упоминая, конечно, о миниатюрах-крохотках, которые создавались по следам поездок. Церкви со сшибленными крестами, *вахты* и *вышки* у монастырских стен, непостижимая красота есенинских мест... «Небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и ещё сегодня он обжигает мне щёки здесь... Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясённый, нашел столькое для красоты!»

Но устойчивое тайное писание переставало радовать подпольщика. «От написанных многих вещей — и при полной их безвыходности я стал ощущать переполнение, потерял лёгкость замысла и движения. В литературном подполье мне стало не хватать воздуха». Он чувствовал, будто заживо закопан: приезжающие в Рязань друзья — не оценщики того, что написано, и, кроме Зубовых, жены и тёщи, читателей у него не было. «В 1960 году всего этого я не мог бы точно назвать и объяснить, но ощутил, что коснею, что бездействует уже немалый мой написанный ком, — и какую-то потяготу к движению стал я испытывать. А так как движения быть не могло, некуда было пошевельнуться даже, то я стал тосковать: упиралась в тупик вся моя так ловко задуманная, беззвучная, безвидная литературная затея». Однако тяжесть тайного писательства состояла, как теперь понимал он, в невозможности проверить свою работу на развитых и опытных читателях.

Как-то в июле, в разгар *беззаботного* отдыха, когда они с женой изнывали от жары на сухумском пляже, его охватила страшная тоска. Он обронил, тяжело вздохнув: «Вот пишу, пишу... Но прочтёт ли кто-нибудь это?.. Для кого ж я пишу?..» Можно было, конечно, списать всё на раздражение — из-за духоты, людского месива, зноя, бестолковости «организованного» туризма (тем летом он раз и навсегда отказался от путешествий в случайной группе). Но жара и туризм были ни при чем. Тупик имел выход: надо было лишь расширить круг читателей, найти образованных, знающих толк в литературе и надёжных людей. «Когда мы мчались вдоль моря в поезде Сухуми—Москва, я предложила Сане показать его вещи двум близким мне семьям, живущим в Моск-

ве. В этих семьях никто не имел касательства к литературе, там занимались точными науками, но любили и ценили настоящую литературу». Наташа назвала супругов Теушей и Кобозевых.

Лауреат Сталинской премии профессор Вениамин Львович Теуш был выдавлен из авиационного института в конце сороковых, в разгар «борьбы с космополитами», и после долгих поисков смог найти работу только в Рязанском сельхозинституте. Заведовал кафедрой математики, был антропософом, меломаном и — соседом Решетовской по дому: институт предоставил ему комнату там же, на Касимовском, куда к нему наезжала жена Сусанна Лазаревна, хранившая в Москве комнату и прописку. Вместе с Решетовской они организовали музыкальный лекторий: Теуш рассказывал о композиторах и произведениях, Наталья Алексеевна их исполняла. После смерти Сталина Теуш получил кафедру математики в Москве, но рязанские связи не порвал, и однажды к друзьям на дачу в Малаховку Решетовская привезла мужа (прежде Теуши полагали, что Наталья Алексеевна вышла за Сомова, овдовев в войну, а о муже-зэке не подозревали). Гость поразил воображение острыми и яркими суждениями, стремительной, пружинистой, энергичной речью и очень профессиональным взглядом на литературу. Уж не писательствует ли он втайне? Такая мысль промелькнула у проницательных супругов при первом же знакомстве.

Только год спустя, в августе 1960-го, на дачу к Теушам Решетовская приехала с рукописями в чемоданчике. «Я — решился. И дал им “Щ-854” (более резкий вариант “Денисовича”) — самое безобидное, что у меня тогда было. Этот шаг был для меня сотрясательный: я ещё никогда не приоткрывался человеку, которого бы знал так мало и не проверил сердцем», — скажет в «Телёнке» Солженицын. Впервые он так рисковал: приобретал двух читателей, но мог потерять труд многих лет, свободу и голову. И действительно: Теуш, прочтя рассказ, был настолько взволнован, что, не спрашивая разрешения, показал «Щ» ещё трём знакомым. С одним из них, доктором технических наук Львом Самойловичем Каменномостским (тоже изгнанным из авиации и из Москвы в 1949-м, работавшим в Рязани, а потом вернувшимся в столицу), Теуш приехал в середине зимы к автору — объяснить, что рассказ не просто художественная удача, а историческое событие. «А меня, — признается Солженицын, — как ударила эта непрошеная утечка! Стеснилось сердце, как от большой беды, как от уже происшедшего провала».

К счастью, провала не произошло, итог чтения был взрывной, и Теуши поклялись в надёжности людей. «Ныне отпущаеши раба Божьего, ибо видел я возрождение русской литературы!» — торжественно восклицал Теуш; он был тронут мягкостью Ивана Денисовича (и автора!) к Цезарю Марковичу, а Каменномостский добавил, что этой чертой рассказ реабилитирует в его глазах русскую литературу. Сняв на три дня два номера в гостинице, взахлёб читали «Шарашку», передавая листы друг другу. «Теуши наперебой поздравляли Саню, — вспоминала Решетовская (1975), — повторяя, что открыли огромного писателя! А Каменномостский добавил: “Придет время, когда в Рязань люди будут приезжать, как ездили в Ясную Поляну к Толстому!”» Трое математиков, первых читателей Солженицына, безошибочно почувствовали его масштаб, угадали будущность.

И был ещё Николай Иванович Кобозев, крупный физикохимик, научный руководитель Наташи по аспирантуре. Ему она отвезла «Один день» и с нетерпением ждала реакции. «Н. И. Кобозев был — из самых умных людей, когда-либо встреченных мною, — скажет о нём Солженицын. — ...Он сильно заинтересовался мною, прочтя самиздатского “Ивана Денисовича”». С первого разговора они испытали друг к другу доверие. «Я стал давать ему читать ещё неоткрытые рукописи, он прилежный и обдумчивый был читатель. Само собой всплыло, как трудно этому всему обеспечить сохранность — и он сам предложил устроить хранение, только не подручное, а глубокое. В этом больше всего я и нуждался. Далеко идущее совпадение наших взглядов давало возможность доверить ему любую мою работу». Солженицыну открылась библиотека Кобозева. Первым делом Николай Иванович предложил прочесть Достоевского, «Дневник писателя»...

Так образовался кружок, где прочитывались и обсуждались все его вещи, и писатель понемногу привыкал к читателям — *не зэкам*. Жена Каменномостского, бывшая артистка Малого театра, созвала своих, когда А. И. читал «Свечу на ветру» — эту пьесу он начал в конце 1960 года. «В ту осень, мыкаясь в своей норе и слабея, стал я изобретать: не могу ли я всё-таки что-нибудь такое написать, чего хоть показывать людям можно! хоть не надо прятать!» (через несколько лет он поймёт, почему не удалась пьеса, несмотря на переделки и перестановки, почему вообще может не получиться вещь, если она — абстрактно *сочинённая*).

Первый успех давал уверенность, что его литература имеет цену не только среди бывших зэков, но может быть с сочувствием прочитана и *вольными*. И он продолжал гнуть

свою линию. Легко написался рассказ «Правая кисть» — действительный случай про весну 1954 года, когда, корчась от рентгеновской тошноты, он выздоравливал в Ташкентском онкодиспансере. Сейчас нужно было снова лечиться: курс сарколизина лишь на время смягчил и уменьшил опухоль, но она снова затвердела, прощупывались контуры. Амбулаторное лечение, разрешённое докторами, проходило не так безоблачно, как хотелось бы: лекарство вызывало длительную тошноту, неприятные изменения в крови. Только к Новому году удалось добиться положительного результата.

А в январе в Рязань накатили гости — был проездом Андреич, приезжала давно званая тётя Ира из своей конуры в Георгиевске; ухоженная квартира Решетовских показалась бывшей богачке, а теперь почти нищенке обидной «роскошью». Саня готов был купить ей жилье под Рязанью, в любимой Солотче или рядом, в деревне Давыдово, где продавался дом с садом, обещал помогать по хозяйству, бывать в выходные и жить летом неделями. Но тётя Ира отказалась: лучше стариков не трогать с насиженных мест, к тому же у неё кошки, с десяток, и как же их всех сюда везти? И ещё отыскался дядя Илья, брат отца: Саня почти наугад послал открытку в посёлок Маклаково Красноярского края, без улицы и номера дома, с обращением к почте, помогите, мол, найти родственника. И нашли почтари Илью Семёновича *Салжаницына*! А в Вятке, тоже через почту, Сане удалось разыскать бывшего своего фронтового комиссара. В конце января съездил в Москву, повидался с Ивашевым-Мусатовым и вынес отрадное тёплое чувство: Сергей Михайлович жил до того отрешённо, до того бедно, что казался птицей небесной, и Солженицын рассказывал Зубовым: «Жизнь проходит в ажиотаже творчества под непрерывное проигрывание пластинок... Жена, Нина Васильевна, наивная доверчивая натура, даже не XIX, а какой-то XVIII век... Ведь вот живут же люди не стяжательством!»

И опять теснились планы на лето — то ли в Ленинград, куда звали сёстры Львовны (с ними после 1958 года не прерывалось дружественное общение), то ли к русской старине во Владимир и Суздаль, то ли на Селигер. И почти безотчётно взялся он за своего «Щ». «Я не знал — для чего, у меня не было никакого замысла, просто взял “Щ-854” и перепечатал *облегчённо*, опуская наиболее резкие места и суждения и длинный рассказ кавторанга Цезарю о том, как дурачили американцев в Севастополе 1945 года нашим подставным благополучием. Сделал зачем-то — и положил. Но положил уже открыто, не пряча. Это было очень радостное освобож-

дённое состояние! — не ломать голову, куда прятать новозаконченную вещь, а держать её просто в столе — счастье, плохо ценимое писателями. Ведь никогда на ночь я не ложился, не проверив, всё ли спрятано и как вести себя, если ночью постучат».

В конце мая Солженицын снова был в Москве и привёз Копелевым облегчённый «Щ-854». «Хотя Лев счёл это “производственной повестью”, но всё же тут новинка-перчинка явно чувствовалась, и они с Раей Орловой стали уговаривать меня разрешить им понемногу “давать читать”, это было в их амплуа. Я сперва твёрдо отказывался, но потом поддался, они выдавили из меня некий дозволенный список читателей: Рожанские, Осповаты, Кома Иванов. И тем же летом и осенью стали давать, и списка не соблюдая».

Из дневника Раисы Орловой: «Май 61 г. С<аня> принёс рукопись. На плохой бумаге, через один интервал, почти без полей. Заголовок “Щ-854” (арестантский номер). Сперва не хотел никому, кроме Л<ёвы>, показывать. Разрешил мне. Первую страницу преодолевала, а дальше и не знаю, что было вокруг, не подняла головы, пока не кончила. Ни минуты сомнения: *такой* барак, *такая* миска, *такой* лагерь. Я этого не испытала, не знала об этом, не хотела знать. Потому — острое чувство вины. Л<ев> говорит: “Всё правда”. Составили список — ещё 6 человек (список включал Вс. В. Иванова, Л. К. Чуковскую, В. Ф. Тендрякова. — *Л. С.*). О<споват> сказал: “Это гениально!” Летом 61-го года мы всё же осторожно вышли за пределы списка. Несколько самых близких друзей прочли у нас дома».

Малый культурный круг был покорён. Решетовская вспоминала (1992): «Лев Самойлович Осповат и Вера Николаевна Кутейщикова, его жена, потрясены... Первое признание среди “литературного мира”. Копелев после этого стал тоже иными глазами смотреть на “Щ”, хотя особенно не восхищался*. Однако о публикации в то время никто не думал. Никакого дальнейшего движения рукописи нельзя было предвидеть...»

---

* В письме Копелева к Солженицыну (1985) содержится объяснение в связи с недооценкой «Одного дня Ивана Денисовича». «Неужели ты забыл, что для меня в те годы понятие “соцреализм” было весьма одобрительно? В 1960 году вышла моя первая книга “Сердце всегда слева”, где я с искренней глупой уверенностью излагал свою теорию соцреализма. И в этом я не был ни одинок, ни оригинален. В. Днепров и Г. Лукач хвалили “Ивана Денисовича” именно как образец социалистического реализма. А Генрих Бёлль в 1968 году писал о тебе с любовью как о художнике-обновителе социалистического реализма. Социалистический реализм — это стремление отражать реальную действительность в свете определённой идеологии».

Автор же, выпустив своего «Щ» на суд столичных экспертов, отправился к русским древностям — во Владимир, с осмотром Боголюбова и Покрова на Нерли, в Суздаль, Ростов Великий и Загорск с Лаврой, а потом в Ленинград (походить по театрам и знаменитым кладбищам), и ещё потом на Селигер, с бродяжьей жизнью на лодках, и ещё потом — в Солотчу, на базу отдыха учителей, откуда их с женой в середине августа выгнали проливные дожди, галдёж, карты и домино отдыхающих.

В Рязани стояла хорошая тёплая осень, в кинотеатрах шли «Алые паруса», и Солженицын писал Зубовым, как верно сказался дух Грина в выборе типажей для героя и героини — «так хорошо, что и жить на земле им нельзя». А в сентябре приехал и сам Николай Иванович, и тут, в саду под вишнями, они смогли вдоволь наговориться, и, конечно, Саня не скрыл от доверенного друга, что его «Щ» разгуливает по Москве бесконвойно.

Глава четвёртая

СЛОЖЕННЫЙ КОСТЁР И ОГОНЬ, УПАВШИЙ С НЕБА

К осени 1961 года на поверхности общественной жизни было так же глухо, как и год, и два, и три назад. Никакого просвета не предвиделось, свежий ветер ниоткуда не дул. Голоса западных радиостанций (Солженицын их слушал, невзирая на треск и шипение глушилок) не сообщали ничего путного: *там* тоже ничего не знали и ничего не предвидели. Тупо и бесцветно прошёл в январе 1959-го внеочередной XXI съезд КПСС, объявивший о полной и окончательной победе социализма и начале строительства коммунизма. Что конкретно означала эта победа для правды о ГУЛАГе, виделось ясно, особенно если учесть, что благие начинания XX съезда на XXI были замолчаны и как будто забыты.

Ни предположить, ни предугадать, что на очередном XXII съезде Хрущёв бросится в новую («внезапную, заливистую, яростную», по слову Солженицына) атаку на Сталина, а тем более объяснить, чем она была вызвана, никто даже не пытался. Почему Хрущёв решил пойти в открытую, а не облечь свои откровения в секретные циркуляры для закрытых партсобраний — тоже никто не знал. Ведь один раз он уже отменил своей волей вечную мерзлоту и впустил оттепель, но тут же испугался, боясь, что с теплом хлынет половодье

и начнётся потоп. Ведь он уже *открыл* в пятидесятые замки́ тюрем, ворота лагерей, двери ссылок, Кремль, запертый с 1918 года для осмотра, Москву, где в 1957-м прошёл Всемирный фестиваль молодежи и студентов с невиданным наплывом (до тридцати тысяч) иностранцев. И все *открытия* проходили публично, преступления были названы преступлениями, зло — злом, палачи — палачами. А потом наступали откаты и отходы, отливы и затухания, шараханье и завинчивание гаек. Почему же теперь его обличительная речь больше походила на душевный порыв, чем на доклад, подготовленный экспертами ЦК? Быть может, прорвавшаяся на съезде ярость против бывшего Хозяина и его опричников была выходом из тупика собственной конспирации? И того глотка свободы, который он, великий половинчатый реформатор и идейный путаник, дал стране в 1956-м, уже не хватало ему самому, чтобы удержаться у руля?

Эффект, однако, был оглушительный. В многочасовом отчётном докладе, занявшем два заседания первого дня съезда (17 октября) и наполненного обычной риторикой — о вступлении СССР в период развернутого строительства коммунизма и обострении противоречий в странах капитализма, об освоении целины и росте народного благосостояния, о неуклонном расцвете науки, образования, литературы и искусства, — уже под вечер докладчик стал горячо доказывать, что резкая и откровенная критика культа личности Сталина и его последствий на XX съезде была насущно необходима. Оказывается, после разоблачения матёрого врага и авантюриста Берии во всей полноте раскрылись факты грубейшего нарушения законности, факты произвола и репрессий против многих честных людей. Докладчик утверждал, что партия испытала потребность честно и откровенно сказать народу *всю правду*, несмотря на временные трудности, которых не надо бояться. «Сейчас мы свободнее расправляем грудь, легче дышим, смотрим зорче и яснее». Он гневно клеймил ревизионистов и догматиков, рьяных приверженцев репрессий — Молотова, Кагановича, Маленкова, Ворошилова, Булганина, Первухина, Сабурова и примкнувшего к ним Шепилова — группу, которая пыталась захватить руководство партией и страной. Положение о культе личности было заложено и в Программе КПСС, которую принимал съезд: в проектах Программы и Устава стояли пункты о гарантиях против рецидивов культа личности. На 23-м заседании, утром 30 октября, взорвалась главная сенсация: решение вынести саркофаг с гробом Сталина — так как серьёзные нарушения им ленинских заветов, массовые репрессии против

честных советских людей сделали невозможным оставление гроба с его телом в мавзолее Ленина. За вынос Сталина из мавзолея (впрочем, как и за все прочие постановления) съезд проголосовал единогласно.

«Давно я не помнил, — скажет Солженицын в «Телёнке», — такого интересного чтения, как речи на XXII съезде! В маленькой комнатке деревянного прогнившего дома, где все мои многолетние рукописи могли сгореть от одной несчастной спички, я читал, читал эти речи — и стены моего затаённого мира заколебались как занавеси театральных кулис, и в своём свободном колебании расширялись и меня колебали и разрывали: да не пришёл ли долгожданный страшный радостный момент — тот миг, когда я должен высунуть макушку из-под воды?» Чтение растянулось надолго.

Как по команде, тему о культе поддержали секретари ЦК партии союзных республик и секретари обкомов: Подгорный поведал о деятельности на Украине Кагановича, «садиста, интригана, подхалима, перерожденца», Спиридонов сообщил о гнусной роли Маленкова в «ленинградском деле», Мазуров доложил о разгроме партийных кадров в Белоруссии, к чему тоже приложил руку Маленков. О страшной пропасти, в которую толкали партию фракционеры, страстно говорила министр культуры Фурцева: «Какое счастье для всего нашего великого народа, что в тот момент ЦК партии во главе с нашим дорогим Никитой Сергеевичем оказался на высоте и сумел разгромить антипартийную группу! Новый курс нашей партии победил». Микоян, член ЦК, назвал Молотова фарисеем, твердолобым консерватором-догматиком, Косыгин, первый заместитель Председателя Совета министров СССР, требовал, чтобы были уничтожены все ростки и корни культа личности.

Пятнадцать дней длился съезд, и на каждом заседании, в присутствии пяти тысяч человек, громили догматиков, которые мешают строить коммунизм. И каждый день «Правда» публиковала отчёты, так что читатели узнавали новости почти одновременно с участниками съезда. Можно ли было не поддаться общему порыву? «Газеты с речами на XXII съезде мы читали в Гаграх на пляже, — вспоминали (1988) Л. Копелев и Р. Орлова. — Вернулись в Москву уверенные: теперь уж развитие не остановить никому».

Но людей литературы ждало ещё одно событие. Утром 27 октября выступил главный редактор «Нового мира» Твардовский. Настороженное внимание подпольного писателя сразу уловило нерв его пространной речи. Литература, утверждал Твардовский, при всех своих немалых достижениях,

«ещё не смогла в полную меру воспользоваться теми благоприятными условиями, которые определил для неё XX съезд партии. Она далеко не всегда и не во всём следовала примеру той смелости, прямоты и правдивости, который показывает ей партия».

Это была увесистая оплеуха всей официальной словесности. Выходило так, что «секретарская литература» даже «оформляет» смелые партийные положения с опозданием и опаской. Создатель «Тёркина» бросал упрёк собратьям по цеху, которые, вместо того чтобы опережать события, постыдно отставали и, вместо смелости, прямоты и правдивости, обнаруживали трусость, лицемерие и лживость. Каждое слово Твардовского звучало как дуэльный вызов той литературе, которая ничем не рискует, требует твёрдых гарантий и цветёт лишь в режиме наибольшего благоприятствования, то есть торгуется и выжидает. Тех же, кто хватается за актуальные темы без глубокого освоения, оратор назвал, как пригвоздил: пенкосниматели. Душа поэта ждала чуда, потрясения, непритворной любви, и он приглашал писателей к честному творчеству и высокому полёту, ставя в пример не только партию коммунистов, которая дерзнула быть смелой, но и великую русскую литературу. Он искренно хотел, чтобы современная литература тянулась к вершинам.

Вскоре Солженицын писал Зубову: «Николай Иванович! Постарайтесь прочесть речь Твардовского — не в изложении, а полную — в “Правде” от 29 октября. И вообще — зачем же главные речи читать в изложениях? В “Известиях” большинство главных речей приведены полностью». Спустя ещё лет пять-шесть Солженицын уточнит: «А тут ещё хорошо выступил на XXII съезде и Твардовский, и такая была у него нотка, что давно можно печатать смелее и свободнее, а “мы не используем”. Такая нотка, что просто нет у “Нового мира” вещей посмелее и поострее, а то бы он мог».

Фокус был в том, что Солженицыну не нужно было дерзать *в ответ* на призыв партии. Он дерзал без спросу и без приглашения и мог предъявить миру (а также «Новому миру») нечто невиданное. «Новый мир» хотел *всей* правды? Эта правда (и полная, и чуть облегчённая) обреталась в Рязани, в Касимовском переулке, и автор ждал своего часа, не имея права ошибиться и выйти из бездны вод прежде времени. Но и прозевать уникальный момент он тоже не имел права.

Позже он признается, что тогдашний «Новый мир» в его глазах мало отличался от остальных журналов, разница же, значимая для «толстяков», была для него слишком ничтожной. «Все эти журналы пользовались одной и той же глав-

ной терминологией, одной и той же божбой, одними и теми же заклинаниями — и всего этого я даже чайной ложкой не мог принять». То же и Твардовский. Душа радовалась «Тёркину», замеченному ещё на фронте, — вещи мужественной, чистой, честной. Не имея возможности сказать всей правды о войне, поэт всякий раз останавливался в миллиметре от лжи и никогда роковой черты не переступал. Но сейчас — высокие слова были обрамлены густой советской риторикой, с обязательным «великим Лениным» и хвалами Программе партии, обещающей построить коммунизм к 1980 году. Твардовский вполне вписывался в контекст — литературный либерал с партийным билетом, может быть, чуть живее, острее, человечнее прочих. Да ведь и либерализм его был тоже разрешён сверху, и должность официального либерала на содержании у партии, с членством в ЦК, с депутатством в Верховном Совете, с секретарством в Союзе писателей — тоже была сверху. Но *не сверху* было желание сделать журнал пристанищем подлинной, а не поддельной литературы. *Не сверху* были и слова на съезде: «Мы в свои писаниях, повествуя о трудовых подвигах нашего народа, часто вовсе умалчиваем о тех лишениях и трудностях, которые он переносит».

И Солженицын решился отнести своего «Щ» Твардовскому, в «Новый мир». Но только не идти самому в редакцию начинающим мальчиком, а отдать текст через Копелева. В Москве, в гостинице возле Останкина, он три дня читал полученный от Лёвы самиздат. «Как вы и угадали, я перед праздниками ездил в Москву. Прочёл там лучший роман Хемингуэя (“*For Whom the Bell Talls*”), нахожусь сейчас под его сильным впечатлением... Вещь — огромная», — напишет он Зубовым. Но скроет, конечно, как выходил бродить рядом со знакомой семинарией-шарашкой, вдоль забора, который всё так же стоял, как и четырнадцать лет назад. Он прохаживался по тропинке, где раньше только смена караула пробиралась от вышки к вышке, и думал, идя *конвойным путём*, что теперь снова *у них* в руках, что *сам*, никем не понуждаемый, донёс на себя. «Охватило меня волнение, только не молодого славолюбивого автора, а старого огрызчивого лагерника, имевшего неосторожность дать на себя след».

След получился — великанский.

Из дневника Р. Орловой: «*8 ноября 1961 г.* В дни праздников С <аня> пришёл возбуждённый. Он внимательно читал газеты о съезде, речь Твардовского. Мы твердим: теперь надо, чтобы Твардовский прочитал “Щ”. Обсуждаем, как сделать. Перебираем знакомых новомирцев. Решаем: через Асю (Анну Самойловну Берзер) и отнесу я, у Л<евы> слиш-

ком дурная репутация. *10 ноября.* Отнесла. Сказала про автора: "Наш друг, лагерник". Ася: "После съезда идёт поток лагерных рукописей, боюсь, что не напечатаем ничего". Но обещала сама прочитать и дать только лично А. Т.».

Потом много лет и множество людей по разным поводам и с разными целями будут говорить о жалком виде рукописи, поступившей в редакцию, о плохой бумаге и двусторонней печати, о листках без полей и без интервалов между строчками, со следами то ли синей, то ли сиреневой копирки, а то и вообще о тексте, написанном от руки неправдоподобно мелким почерком, и даже о самотёке, принесённом невесть кем и отданном невесть кому в окошко регистрации. Множество легенд будет сложено о том, кто кому и зачем звонил, кто кого и в чём убеждал, кто кому и как помогал, кто кому и почему мешал. Будет множество сердитых споров, разбирательств и размолвок. Но общий вид картины, даже и без детальной прорисовки, всё равно выглядел как невозможное в мире чудо, которое люди сотворили вместе.

«В ноябре 1961, после XXII съезда, сговорились мы, что Копелевы передадут рассказ в "Новый мир". Отнесла Рая Орлова (по её версии — прямо и со значением передала А. Берзер, а по версии А. Берзер: ничего не объяснила существенного, положила на стол как некую незначащую текучку, — стыдясь?). Но уж раз отдали в "Новый мир", то теперь идея Копелевых была: "под это" можно широко распространять (то есть валя вину за распространение на журнал), а в публикацию они вовсе не верили. Я всё же немного надеялся».

Из дневника Л. Копелева: «Ни мы, ни кто-либо из прочитавших не надеялись, что это будет напечатано. Расчёт был — Твардовский не может остаться равнодушным. Автору "Василия Тёркина" должен быть понятен, даже близок Иван Денисович Шухов. И он уже постарается помочь его автору. Кроме того, мы были уверены, что рукопись, пролежав некоторое время в редакции, естественно проникнет в самиздат». По словам Копелева, Р. Орлова, отнеся рукопись Берзер, настойчиво просила передать рассказ лично Твардовскому, минуя всех членов редколлегии. В тот день, когда Берзер, редактор отдела прозы, собиралась передать рукопись главному редактору, Копелев был в редакции ходатаем за сборник «Тарусские страницы», составленный Паустовским и попавший под цензурный колпак. Анна Самойловна сказала Копелеву, что не может предложить Твардовскому анонимную рукопись. «Автору незачем скрываться. Это прекрасная вещь». Копелев, пообещав другу хранить

имя в тайне, молчал. Тогда Берзер попросила написать хотя бы псевдоним, и Копелев поставил: «А. Рязанский». Твардовский, приняв Копелева, назвал сборник, тиражу которого грозило изъятие, дешёвой провинциальной фрондой и помогать отказался. «Я ушёл огорчённый и злился на Твардовского: всё-таки сановник, барин и уже поэтому консерватор, фронду не любит. Но злился и на себя: лопотал беспомощно, просительски, не нашёл настоящих аргументов».

О «Щ» в тот день Копелев заговорить так и не решился.

А на следующий день Твардовский, читавший и перечитывавший «Щ» до половины пятого утра, звонил своим замам, потом Берзер и Копелеву. «Анна Самойловна сказала, что это вы принесли повесть лагерника. Что же вы со мной о всяком говне говорили и ни слова о ней не сказали? Я читал всю ночь». Копелев оправдывался: «Разговор у нас получился такой неприятный, что я боялся напортить». Твардовский: «Кто автор?» Копелев, нарушив обещание хранить тайну, рассказал об авторе. «Такой вещи ничем нельзя напортить. Ведь это же как “Записки из Мёртвого дома”. Ничего подобного не читал. Хороший, чистый, большой талант. Ни капли фальши!»

Из рассказа В. Некрасова: «Сияющий, помолодевший, почти обезумевший от радости и счастья, переполненный до краёв, явился вдруг к друзьям, у которых я в тот момент находился, сам Твардовский. В руках папка. “Такого вы ещё не читали! Никогда! Ручаюсь, голову на отсечение!..” Никогда, ни раньше, ни потом, не видел я таким Твардовского. Лет на двадцать помолодел. На месте усидеть не может. Из угла в угол. Глаза сияют. Весь сияет, точно лучи от него идут... “За рождение нового писателя! Настоящего, большого! Такого ещё не было! Родился наконец! Поехали!” Он говорил, говорил, не мог остановиться... “Господи, если бы вы знали, как я вам завидую. Вы ещё не читали, у вас всё впереди... А я... Принёс домой две рукописи — Анна Самойловна принесла мне их перед самым отходом, положила на стол. ‘Про что?’ — спрашиваю. ‘А вы почитайте, — загадочно отвечает. — Эта вот про крестьянина’. Знает же, хитрюга, мою слабость. Вот и начал с этой, про крестьянина, на сон грядущий, думаю, страничек двадцать полистаю... И с первой же побежал на кухню чайник ставить. Понял — не засну уже. Так и не заснул... Не дождусь утра, всё на часы поглядываю, как алкоголик, открытия магазина жду... Поведать, поведать друзьям! А время ползёт, ползёт, а меня распирает, не дождусь... Капитан, что же ты рот разинул? Разливай! За этого самого ‘Щ’! ‘Щ-834’!”»

Солженицын и Копелев условились, что в письмах и телефонных разговорах «Щ» будет называться «статьёй Льва». Саня писал другу: «Слушал — не по телевидению, а по УВЧ-сопровождению — выступление Твардовского о редакционных планах “Нового мира”, — меня берут большие сомнения в том, что *статья твоя* им подойдет. Ну, тебе видней, нужно ли?» А Твардовский тем временем ликовал. «Печатать! Печатать! Никакой цели другой нет. Всё преодолеть, до самых верхов добраться, до Никиты... Доказать, убедить, к стенке припереть. Говорят, убили русскую литературу. Чёрта с два! Вот она, в этой папке с завязочками. А он? Кто он? Никто ещё не видал. Телеграмму уже послали. Ждём... Обласкаем, поможем, пробьём!»

Нет, это был рыцарь литературы, поэт от Бога — прежде всего. А не сановник, не барин, не угодливый партийный кормленец.

Солженицын позже напишет, как тягостно целый месяц жил в Рязани, не зная, куда движется его судьба. Плохо спал, пытался неторопливо, как стихи, читать Бунина и дивился последней литературной сенсации — «Звёздному билету» Аксёнова. «Очень интересная манера письма, много от Хемингуэя, Ремарка, урбанистическое мышление», — сообщал он Зубовым в числе прочих новостей, слышанных в Москве: про альманах «Тарусские страницы», про «Избранное» Цветаевой... Про главное пока молчал. Думал о Панине и своём взорванном подполье. А Панин гневно, уничтожительно выговаривал, как смел Саня, не спрося его, открыть конспирацию. «Митя считал это провалом всей жизни — моей, да и его (теперь засветится и он...)» И шла работа над новой редакцией «Круга», и все лагерные вещи были здесь, на Касимовском. Затея с «Новым миром» и впрямь казалась губительным легкомыслием.

А 9 декабря, будто запустили камнем в окно, в Рязань пришла телеграмма Копелева: «Александр Трифонович восхищён статьёй». Ещё через день, 11-го, как раз в день рождения, пришла телеграмма от Самого: «Прошу возможно срочно приехать редакцию нового мира зпт расходы будут оплачены = Твардовский». Солженицын ответил, что приедет утром. «Тихое житьё» кончилось.

12 декабря семичасовой электричкой он уехал в Москву. Пересекая Страстную площадь, суеверно постоял у памятника Пушкину — «отчасти поддержки просил, отчасти обещал, что путь свой знаю. Не ошибусь». В полдень пришли с Копелевым в редакцию. Здесь начинали поздно, и Твардовского ещё не было. Знакомились в отделе прозы, у Анны

Самойловны. Много позже Солженицын узнает, а потом опишет, как на самом деле случилось, что «Щ» попал в руки главного редактора, минуя промежуточные звенья. Целую неделю после 10 ноября рукопись пролежала на столе у Берзер без движения, неприкрыто, даже не в папке. Расчищая стол, Анна Самойловна прочла несколько фраз, поняла, что *так* держать нельзя и читать надо *не здесь*. Взяв текст домой, прочла, сверила впечатление у подруги, редактора критики К. Н. Озеровой, и всё сошлось. Вдохновенным порывом *Ася* ощутила, что сейчас решается судьба новой русской литературы и судьба безвестного писателя, и обе судьбы она в силах счастливо изменить. От того, насколько она будет бесстрашна и безупречна в своей правоте, а также осмотрительна, тонка, деликатна, последовательна, — зависит, быть может, ход истории. Эта миссия выпускнице МИФЛИ удалась абсолютно! «Ведь у нас был необыкновенный институт, — писала Берзер в своей незавершённой книге «Сталин и литература», — и многие сравнивали его с пушкинским лицеем. И Твардовский кончал наш институт. И Солженицын поступил заочно на филологический факультет. А Солженицын — наш сверстник, и перебитое наше поколение может гордиться тем, что такой писатель вышел из его рядов, свидетельствуя о правде, мужестве и удивительном трудолюбии, которым были отмечены лучшие из нас. Каждое поколение имеет свою литературную вершину. Наша вершина — Солженицын»*.

Вид полуслепой рукописи был непрезентабелен — Берзер отдала её в перепечатку за счёт редакции. Специальными манёврами, перебрасывая от одного ответственного лица к другому и зная слабые места каждого, вызвала общую неохоту *это* читать. Получила полное право обратиться к Твардовскому. Передавая ему рукопись (вместе с «Софьей Петровной» Л. К. Чуковской), сказала: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь» — и попала в самое сердце шефа. «Узнав потом жизнь редакции, я убедился, — писал Солженицын, — что не видать бы “Ивану Денисовичу” света, если б А. Берзер не пробилась к Твардовскому и не зацепи-

* «С А. С. Берзер удивительно ровные неизменные дружеские отношения сохранялись у нас много лет — от первого знакомства в редакции “Нового мира”, ещё в старом помещении, от первых её тайных сообщений мне о ходе “Денисовича” по кругам ЦК... Она была моя ровесница, и в МИФЛИ училась, как раз когда я там был заочник, от этого ещё — общий взгляд и воспоминания нашего поколения. Самый образ мысли её и восприятия был мне близок, не расходились заметно наши реакции» («Бодался телёнок с дубом»).

ла его замечанием, что это — глазами мужика». Потом Твардовский читал, звонил, узнавал, и особенно ему нравилось, что «Щ» — не мистификация, что написана она не литератором и не москвичом.

Твардовский приехал в журнал с заседания Комитета по Ленинским премиям. В этот день, ещё до рассвета, записал в рабочей тетради: «Сильнейшее впечатление последних дней — рукопись А. Рязанского (Солонжицына), с которым встречусь сегодня». Беседа с автором, фамилию которого Твардовский ещё толком не усвоил, состоялась за старинным овальным столом посередине большой общей комнаты: редактор и автор друг против друга, головка редакции — по бокам. Твардовский старался держаться сдержанно и солидно, но по сиянию глаз видно было, как счастлив этот золотодобытчик, открывший новый прииск. Глядя на своё открытие почти уже с любовью, он говорил, что написана отличная вещь, опытным художником, сформировавшимся писателем. Что «Щ» даже выше «Мёртвого дома»: там народ дан глазами образованного человека, здесь интеллигенция дана глазами народа. И как важно, что день выбран рядовой, даже без бани, и что нет никаких ужасов, и поражает сочный язык. Присутствующие кивали, поддакивали, замечания были как будто мизерны. Предложено было для весу рассказ назвать *повестью* и заменить невозможное *«Щ-854»* на спокойное *«Один день Ивана Денисовича»*. Автор, хмуро ожидавший, что начнут выламывать руки и тыкать в текст ножницами, согласился. Самые опасные вопросы — сколько времени писалась повесть и что ещё есть в столе — он сумел обойти... Так, кое-что, этюды, может быть, рассказик ещё найдётся, ну, там несколько стихов... Все смущённо притихли, услышав размер заработка рязанского учителя: цифра была за гранью понимания, да и одет автор был в уровень со своей зарплатой. «Властно и радостно распорядился Твардовский тут же заключить со мной договор по высшей принятой у них ставке (один аванс — моя двухлетняя зарплата). Я сидел как в дурмане...» Расставаясь, Твардовский предупредил, что печатания твёрдо обещать не может, сроков не называет, но усилий не пожалеет.

Тем же вечером Солженицын привёз домой ДОГОВОР, первый в жизни, а с ним письменные отзывы заместителей Твардовского — А. И. Кондратовича и А. Г. Дементьева. При сдержанных похвалах общим было согласованное мнение: печатать невозможно... случай сложный... не поможет никакое предисловие или послесловие... Похоже, оба заместителя отлично сознавали, что печатать и невозможно, и вред-

но, и не будет, конечно, журнал это печатать, но поскольку главный увлёкся, нужно мягко спустить на тормозах. Замы, конечно, ничего против автора не имели, но благополучие «Нового мира» почитали превыше всего. А в близких кругах знали, что накануне случился разговор с глазу на глаз между шефом и его замом, битым и осторожным Дементьевым: «Учти, Саша! Даже если нам удастся эту вещь пробить, и она будет напечатана, *они* нам этого никогда не простят. Журнал на этом мы потеряем. А ты ведь понимаешь, что такое наш журнал. Не только для нас с тобой. Для всей России». — «Понимаю, — ответил Твардовский. — Но на что мне журнал, если я не смогу напечатать *это*?»

Солженицын сидел в Рязани, вёл уроки, помалкивал и только за три дня до Нового года написал Зубовым, заметая следы: «Вас очень удивит, если я скажу, что (по стеснительности таясь даже от Вас) я немножко баловал литературкой в свободное время, то есть имел дерзость пытаться писать. Так я написал некую повестушку “Один день Ивана Денисовича” — и после XXII съезда мне показалось, что как раз самое время её напечатать бы — и отправил в “Новый мир”. Реакция “Н. М.” превзошла самые радужные ожидания: оно выразилось в телеграммах и выражениях восхищения. Сочли, что я какой-то там самородок и будто бы даже никаких художественных исправлений они не находят. Всё это меня удивило, как удивит и Вас. Может быть, Вам удастся эту вещицу когда-нибудь и прочесть — если её напечатают. То есть редакция-то повесть мою приняла, заключила со мной договор на неё и в счет договора заплатила тысячу руб. новыми, редакция намерена печатать — но шансов на это немного, зависит не от неё. Вот какие новости, всё это, конечно, меня выбило из колеи».

Как должны были торжествовать Зубовы, хранившие все Санины рукописи с 1953 года!

Но ещё в декабре Солженицын дважды ездил в «Новый мир». Берзер указывала цепляющие места, и они вместе смягчили несколько выражений. Опытный редактор (пятнадцать лет работы в газетах и журналах), Анна Самойловна предупреждала, что лучше подольше ничего не править, так как неизвестно, к чему придерётся цензура. «Никто в “Новом мире” тексты мои никогда не трогал. Никогда никто со мной художественной работы не вёл вообще. Была лишь неудачная попытка Кондратовича переставлять слова, которую он вскоре оставил по безнадёжности». В те декабрьские приезды были отданы Твардовскому лагерные стихотворения, подборки «Крохоток», а также рассказ о Ма-

трёне без нескольких непроходимых фраз. «Крохотки» были признаны «записями в общую тетрадь про запас», стихи показались слабее, чем проза (а надо было не просто напечататься, надо было «выстрелить»!), Матрёна оставлена в редакции для обсуждения на январь.

Дома пришлось перетряхивать весь архив, памятуя, что подполье открылось и непрошеные гости в любой момент могут проявить любопытство. Солженицын сам взламывал двойные донья и вторые крышки, сжигал варианты и черновики. Под Новый год комплект машинописи и плёнок, сложенный в сундучок, был отвезён Теушам. Так было основано *второе* московское хранение, *первое* же находилось у Кобозева — он будет верным хранителем ещё семь лет.

Новогодние дни Солженицын с женой провели в Москве. Поселились по брони «Нового мира» в гостинице «Урал», на углу Столешникова и Петровки, встретили новогоднюю ночь у Наташиной аспирантской подруги Шуры Поповой и там впервые подняли тост за «Ивана Денисовича». Утром 1-го ездили к Ивашеву-Мусатову в его «ателье»: управдом предоставил 60-летнему художнику две комнаты полуподвала, предназначенные для бомбоубежища, в обмен на оформление стендов и руководство кружком рисования. Там были истинные шедевры — а их никто не видел и никто не хотел выставлять! Потом пошли на органный вечер старинной немецкой музыки в Малом зале консерватории. 2-го было редакционное обсуждение «Матрёны». Судьба рассказа, однако, решилась накануне двумя Сашами: Дементьев убедил шефа в бесполезности затеи. Твардовский длинно объяснял, почему «Матрёна» не может быть напечатана в «Новом мире» ни в коем случае. «Это была сбивчивая, растерянная и сердечная речь. Сидевшая среди нас Берзер говорила мне потом, что за все годы в "Новом мире" не помнила, не слышала Твардовского таким». А Твардовский, имея в виду попенять автору, что и деревня у него жалка, и живут там одни вурдалаки, и непонятно, зачем же тогда революцию делали, и слишком уж торчит христианская линия, и что «Щ» выглядит погуще, а «Матрёна» — пожиже, как-то незаметно перешёл к плюсам. Увидел сходство с моральной прозой Толстого, просил автора не становиться *идейно-выдержанным* писателем, не писать такое, что идёт без заминки. «Ничего из принесенного мною он не мог напечатать — и просил впредь писать не иначе!! Как раз это я легко мог ему обещать...»

Они надолго расстались. «Мои дела в Москве пока замерли. За два месяца из редакции ничего мне не написали, и я им тоже. Думаю, что Александру Трифоновичу трудно-

вато очень. Ещё месяца два помолчу — потом съезжу», — писал Солженицын Зубовым в начале марта, плотно работая над новой редакцией «Круга». А ещё раньше, в середине января, объяснял друзьям, что от Твардовского зависит далеко не всё, но всё, что от него зависит, он сделает.

Твардовский готовил печатание «Ивана Денисовича» так, будто осаждал крепость. Провёл через редколлегию решение «добиваться публикации повести», собирал отзывы (обратился к Чуковскому, Маршаку, Лифшицу, Федину*), читал их вслух членам редакции и знакомым, писал предисловие, но отдавать в набор (а потом сразу в цензуру) не решался, чтобы не погубить дела. Расползание копий, очень его сердившее (все просили дать на ночь, перепечатывали в четыре руки, фотографировали и передавали дальше, заучивали наизусть и даже, по слухам, декламировали в Переделкине — в уверенности, что *такое здесь* никогда не напечатают) вынуждало торопиться. «Сегодня иду с солженицынской вещью к В. С. Лебедеву и одновременно к Черноуцану. Дай бог, дай Бог», — записал Твардовский в рабочей тетради 3 июля. От помощника Хрущёва по культуре Владимира Семёновича Лебедева зависело весьма много — выбор момента разговора с патроном, правильные, солидные рекомендации, убеждённость самого Лебедева. Важно было обработать и зам. зав. отделом культуры ЦК Игоря Сергеевича Черноуцана. Встречаться с ними на Старую площадь Твардовский шёл после многочисленных телефонных переговоров, во всеоружии отзывов и рецензий.

Только от Анны Самойловны узнавал автор о передвижениях «Ивана Денисовича» да ещё от новых знакомых, прочитавших повесть. Его спрашивали, зачем, дескать, тянет Твардовский, когда можно просто набрать номер и позвонить *Никите*. Говорили, что, отдыхая с Чуковским в Барвихе, Твардовский дал ему читать повесть, и тот был взволнован, увидел в Шухове родного брата Василия Тёркина и тут же прислал в «Новый мир» отзыв, назвав его «Литературное чудо» (и действительно, Чуковский, получив 9 апреля от Твардовского *рукопись некоего беллетриста о сталинских лагерях*, уже 13-го записал в дневнике: «Третьего дня Тв<ардовский> дал мне прочесть рукопись “*Один день Ивана Да-*

---

* Как записал В. Лакшин в июне 1962 года, Федин, член редколлегии «Нового мира», «очень хвалил Солженицына. “Вы сами не знаете настоящей художественной цены этой повести Солженицына”. Но написать на бумаге отзыв боится. “Ну, вот только не знаю, как вы это напечатаете? — сказал ещё Федин. — А папе (то есть Хрущёву) показывали?” — спросил он трусовато».

ниловича" — чудесное изображение лагерной жизни при Сталине. Я пришёл в восторг и написал краткий отзыв о рукописи»). Цитировали мнение Маршака — мол, после «Щ» нельзя будет писать плохую беллетристику, ибо повесть глубоко человечна и создана с тем чувством достоинства, какое присуще только большим писателям. Передавали, что Симонов и Паустовский тоже откликнулись положительно, а Федин и Эренбург от письменных отзывов отказались.

Вероятность, что «Иван Денисович» прорвётся, заставила Солженицына предпринять ещё один важный шаг. Весной было сделано три полные фотокопии всего написанного для вывоза в *дальние хранения*. В Крым, к Зубовым, были отвезены экземпляр «Круга» в последней редакции и набор тайных отпечатков. «Там при знакомой мне обстановке, за похожим круглым столом, как бывало когда-то, я рассказывал моим любимым старичкам о невероятных новомирских событиях». А в конце июня Солженицын с женой, взяв набор фотокопий, отправился в большое сибирское путешествие. Поездом до Уфы, оттуда на теплоходе по Белой и Каме до Перми. Снова поездом — в Свердловск, Красноярск, Иркутск. Потом теплоходами по Енисею и Байкалу. «Конечно, путешествие такое не в нашем стиле, слишком много пересадок, вокзалов, слишком мало воздуха, путешествие не мускулами, а нервами — но никак иначе нельзя было повидать столь далёких мест», — писал он Зубовым, и те понимали, что остановки связаны с лагерными друзьями. Одна полная фотокопия была вручена Семёнову в городе Чайковском на Пермской ГЭС, где тот работал. Андреич плёнки принял и честно хранил. Вторая предназначалась, но так и не была отдана Павлу Баранюку, ныне едва ли не лагерному надзирателю. «С капсулой плёнок в кармане, как бомбой, я оглядчиво ходил целый день по Кизелу — одной из гулаговских столиц, чтоб как-нибудь случайно, по подозрению, по проступку, меня не взяли многочисленные тут патрули. Так и не доехал до Павла, и хорошо». Третий комплект отвезли в Свердловск Карбе — экибастузскому другу. «Он — тоже принял и тоже честно сохранил, где-то в лесу, в земле».

На Байкале его застала новость. «Зашли на почтамт и получили телеграмму из дому, из коей явствует, что Александр Трифоныч вчера прислал мне в Рязань телеграфный вызов. Но ждать меня ему придётся долго: из Красноярска вылететь нелегко, да мы не хотим и торопиться, в кои веки выбрались. Собираемся съездить пароходами и вверх, и вниз по Енисею (до Минусинска и до Енисейска)». Но вызов («Срочно телеграфьте возможность кратковременного при-

езда Москву связи подготовкой рукописи сдаче набор = Твардовский») пришёл и в Красноярск. «Приеду двадцать первого раньше не выбраться», — ответил Солженицын.

События развивались по плану Твардовского. 9 июля, меньше чем через неделю после встречи на Старой площади, Лебедев позвонил Твардовскому. «Талант баснословный. Но получается: “советская власть без коммунистов”?!» Черноуцан был тоже сильно напуган. 10 июля Твардовский телеграфно пригласил Солженицына на короткую встречу в редакции, и на следующий день телеграмма нашла адресата в Иркутске. В «Телёнке» будет выразительно описана встреча в редакции 23 июля* — обсуждение повести с учётом замечаний хрущёвского референта. Солженицыну казалось, что главный редактор еле сдерживает ликование, считая многомесячную осаду вполне успешной. И что требует радикальных исправлений только «второй Саша», «первый» же молчит и выжидает. И только когда автор заявил, что готов забрать рукопись («десять лет ждал и ещё десять подожду, моя жизнь от литературы не зависит»), Твардовский всполошился: писатель ничего не должен, всё — на его доброе усмотрение. А Солженицын недоумевал — замечания референта не трогали в повести главных, отчаянных мест. «Да что ж это за таинственный либерал там, наверху, в первой близости к Первому секретарю ЦК? Как он пробрался туда? Как держится? Какая у него программа? Ведь надо ему помочь!» Самым забавным для бывшего зэка, севшего за «клевету на вождя», было требование партийца хоть один раз лягнуть Сталина. Так появился на страницах «Щ» непредусмотренный *батька усатый*...

«Прохождение повести, по мнению А. Тр. и иже, складывается благоприятно, — писал Солженицын Зубовым 25 июля. — В литературной среде — небывалое единодушие в похвалах. Есть письменные отзывы в незаурядных выражениях... Перед последней инстанцией предложено мне ещё поработать, чем я и занят сейчас. Условий, которые бы калечили вещь, никто не выставляет. Даже не верится — неужели так это близко?» Три дня на квартире у Шуры Поповой работал по замечаниям; исправления составили не более чем полпроцента и по объёму, и по содержанию. 26 июля

---

* «Солженицына я вижу впервые, — записал в этот день Лакшин. — Это человек лет сорока, некрасивый, в летнем костюме — холщовых брюках и рубашке с расстёгнутым воротом. Внешность простоватая, глаза посажены глубоко. На лбу шрам. Спокоен, сдержан, но не смущён. Говорит хорошо, складно, внятно, с исключительным чувством достоинства. Смеётся открыто, показывая два ряда крупных зубов».

рукопись была сдана в «Новый мир». Вечером на квартире Анны Самойловны А. И. встретился с Некрасовым — тот был одержим «Одним днём» и всё спрашивал за рюмкой «Столичной», как удалось написать сто процентов правды. В чём секрет? Секрет был прост: «Вот толкнули тебя в пекло с головой, вот и напишешь».

Но полной уверенности, что всё идет к финалу, у Твардовского не было. В тот день, 26-го, он записал дальнейшую программу продвижения повести: «Ещё раз перебелить всю рукопись, ещё раз пройтись мне по сопроводительному письму на высочайшее [имя] и по Предисловию. А там — бог её знает, скорее всего — ничего, если не хуже того. В. С. Лебедев решительно отсоветовал изготовлять набор и тискать "для удобства чтения" — перепуг Черноуцана отразился и на нём. Идти, стучаться больше некуда, кроме этой главной двери, которая, *по существу дела*, менее всего для этого отверзается, и, однако, только через неё возможен какой-то выход из безвыходности».

К 6 августа письмо на имя Хрущёва было готово. «Я не счёл бы возможным посягать на Ваше время по частному литературному делу, если бы не этот поистине исключительный случай. Речь идет о поразительно талантливой повести А. Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Имя этого автора до сих пор никому не было известно, но завтра может стать одним из замечательных имен нашей литературы... Но в силу необычности материала, освещаемого в повести, я испытываю настоятельную потребность в Вашем совете и одобрении».

И снова всё повисло. В августе Твардовский уехал в Коктебель, работал над поэмой, буксовал; «Тёркин на том свете» продвигался медленно, поэт чувствовал себя один на один с неизвестностью. От Лебедева никаких известий не поступало: лето, отпуск, как и у Хрущёва, улетевшего в Крым. Рядом с новыми вариантами стихов Твардовский записал: «Искусство могущественнее всякой политики. Ему дано угадывать ту правду жизни, которая гораздо менее уловима для политики, берущей всё по необходимости и в слишком общих чертах, и в слишком частных, по подсказке текущего дня». Стратегия Твардовского оправдывалась: даже спустя семь месяцев после появления рукописи в «Новом мире» всё висело на волоске, и волосок этот в любой момент могло сдуть ветром. Но всё же пока отказа не было, и как-то позвонил в редакцию зав. отделом культуры ЦК Д. А. Поликарпов, просил прислать рукопись «Ивана Денисовича». Прочитав, сказал, что мешать публикации не будет.

Но его невмешательство при отсутствии сигнала сверху никакой роли не играло.

«Референт по литературным вопросам взял рукопись для утверждения, но то ли не показывал, то ли отпуск мешал и мешает до сих пор — мне неизвестно. Ни да, ни нет», — объяснял Солженицын Зубовым положение дел на 11 сентября. Но успел в остатке августа совершить захватывающее велосипедное путешествие с Лёней Власовым, знакомцем фронтовых лет. Они проехали пятьсот километров по маршруту Рига—Двинск—Вильнюс—Тракай, ночевали то в гостиницах, то на сеновалах, повидали сельскую Прибалтику, руины замков, музеи, послушали пять орга́нов — в концертах и в воскресных службах. А ещё Леня поведал свою военную историю, а Саня остро почувствовал в ней зерно рассказа. Из похода привёз готовый сюжет, несколько отснятых плёнок и — тяжёлый радикулит. Пришлось делать рентген. Неожиданно на снимке проступила опухоль, та самая, которую уже дважды убивали сарколизином. Больной видел снимок и опознал её. Врачи заключили, что опухоль *петрифицировалась*, то есть окаменела, и умерла. Значит, сам он будет жить.

В двадцатых числах сентября он ещё лежал с радикулитом, переделывал и правил пьесу «Свеча на ветру», примеривался к новому рассказу; шёл уже новый учебный год, и новомирские события казались полусном. «Дела мои застыли на последней инстанции, ни “да”, ни “нет”», — сообщал он Зубовым, собираясь в Москву. На самом деле всё самое главное уже случилось. 16 сентября Твардовский зафиксировал победу: «Солженицын (“Один день”) одобрен Никитой Сергеевичем». Накануне, 15-го, ему звонил Лебедев, после звонка Твардовский кинулся к жене, расцеловал её и плакал от радости. И сказал в редакции М. Алигер, осторожно спросившей про «ту повесть»: если «Щ» не увидит света после всех усилий, то его, Твардовского, пребывание в «Новом мире» теряет смысл и становится убыточным для литературы. Лебедев просил не отлучаться из Москвы, быть на месте — со дня на день Хрущёв пригласит для беседы и сам всё расскажет. Твардовский смаковал текст телеграммы, которую пошлёт в Рязань: «Поздравляю победой тчк выезжайте Москву». И записал в дневнике: «Сам переживаю эти слова так, как будто они обращены ко мне самому. Счастье».

Твардовский не надеялся, что Хрущёв *сам прочтёт* текст. Напротив, он рассчитывал, что Никита как раз таки *не прочтёт* текст, а, полагаясь на доклад помощника и письмо редактора, даст отмашку поступать «по своему усмотрению». Ан вышло, как радостно отметил Твардовский, «куда круче».

Лебедев, выбрав удачное время, стал читать повесть вслух, и Хрущёв слушал. «Первую половину, — рассказывал Лебедев, — мы читали в часы отдыха, а потом он отодвинул с утра все бумаги: давай, читай до конца. Потом пригласил Микояна и Ворошилова, просил послушать отдельные места. Потом спросил: в чём, собственно, дело? о чём хлопочет Твардовский?» Лебедев напомнил, что без его, Хрущёва, вмешательства, не увидели бы света «Дали» и что Никита Сергеевич звонил по этому случаю Суслову. И было у Хрущёва лишь одно сомнение — не хлынет ли вслед за «Одним днём» поток *других дней* других авторов? Лебедев ответил, как отчеканил, снабжённый неотразимым доводом Твардовского: уровень этой вещи как раз будет заслоном против наводнения печати подобного рода материалами — подобными, но не равноценными.

Пять дней Твардовский приковался к телефонам. Терзался — каждый новый день — это потеря свежести впечатления; и кто может гарантировать, что Никите, вернувшемуся из отпуска, доброхоты не стукнули уже, что в «Новом мире» готовится крамола. К тому же Лебедев намекнул, что его сообщение не официально, что отдавать текст в набор нельзя (ведь Твардовский как бы ничего ещё не знает), что всё решит только встреча с *самим*. Когда 20 сентября в журнал позвонил Поликарпов и затребовал назавтра приготовить *двадцать* экземпляров «этого твоего “Ивана, как его, Парфёныча?”», первое, о чём подумал редактор, что вопрос откладывается и решение повисает на усмотрение членов Президиума ЦК. Он немедленно позвонил Лебедеву — не значит ли это, что дело худо. «Не значит», — успокоил Лебедев, намекнув, что это формальности: Никита Сергеевич хочет всё обставить демократично, показав предметный урок, что культа личности отныне нет.

В редакции работали две машинистки, лежало три экземпляра, и за ночь сделать ещё семнадцать было невозможно. Решили пускать в набор. Заведующая редакцией «Нового мира» Н. П. Бианки вспоминала, как вызвал её шеф с просьбой срочно набрать повесть в *двадцати пяти* экземплярах; как договаривалась с корректорами (они вычитывали рукопись по кускам, не очень понимая, о чём идет речь, дивясь языку и содержанию); как потом ездила в типографию «Известий», где было задействовано несколько наборных машин; как лучшие линотиписты ночной смены набирали куски рукописи, и как потом мастера-брошюровщики одели оттиски в сине-серый картон; как положила она стопку тетрадок на стол главному. 22 сентября Твардовский отвёз эк-

земпляры в ЦК (потребовалось *двадцать три*), Хрущёв велел раздать их для чтения кому положено, объяснив, для чего это нужно, и снова потекло молчание почти в месяц: 23-го Никита отбыл по делам сельского хозяйства в Среднюю Азию. А Солженицын, приехав в Москву 26-го, узнал главное, что «верхний» читал и одобрил. Теперь можно было спокойно браться за рассказ «Случай на станции Кочетовка», истинное происшествие с Леней Власовым — Васей Зотовым...

12 октября состоялось «историческое» заседание Президиума ЦК, решившее публиковать «Ивана Денисовича». 15 октября Твардовский был у Лебедева и узнал о деле в общих чертах. 20 октября Хрущёв принял, наконец, Твардовского. «Ну, вот насчёт "Ивана Денисовича". Я начал читать, признаюсь, с некоторым предубеждением и прочёл не сразу, поначалу как-то особенно не забирало... А потом пошло и пошло. Вторую половину мы уж вместе с Микояном читали. Да, материал необычный, но, я скажу, и стиль, и язык необычный — не вдруг пошло. Что ж, я считаю, вещь сильная, очень. И она не вызывает, несмотря на такой материал, чувства тяжёлого, хотя там много горечи. Я считаю, эта вещь жизнеутверждающая. И написана, я считаю, с партийных позиций». Хрущёв заметил, что не все участники заседания и не сразу так восприняли повесть. Клонили смягчить обрисовку лагерной администрации, чтобы не очернять работников НКВД. «Вы что же, — говорил им Хрущёв, — думаете, что там не было жестокостей? Было, и люди такие подбирались, и весь порядок к тому вёл. Это — не дом отдыха». Хрущёв рассказывал о комиссии по сталинским злодеяниям, собравшей уже три тома материалов, которые будут сохранены для тех, кто придёт на смену, о том, что люди у власти не судьи сами себе, и только потомки смогут понять, какое наследие было получено и как его пришлось преодолевать. И ещё раз подчеркнул Твардовский: если бы не он, Хрущёв, талантливую повесть непременно зарезали бы. Никита охотно согласился. И обещал прочесть «Тёркина на том свете», когда автор поставит в поэме последнюю точку.

В одно лето 1962-го во власти одного человека скрестились расстрел рабочих в Новочеркасске и чтение «Ивана Денисовича», закрытые суды над участниками демонстрации с тяжёлыми приговорами и — умиление работягой, который трудится и раствор бережёт... В одну осеннюю неделю соединялись карибский кризис (скандальное обнаружение советских ракет на Кубе) и высочайшая виза на «Один день». Как невероятно зависел «Иван Денисович» от внутренних партийных ветров и больших международных бурь...

20 октября в Рязань была отправлена телеграмма: «Повесть идёт одиннадцатым номером журнала поздравляю = Твардовский». Солженицын ответил сдержанно: «В последнее время я так уже понимал (и вполне смирился с этим), что “Иван Денисович” не пойдёт. Тем неожиданней и приятнее было вчера получить Вашу телеграмму, за которую благодарю Вас». Твардовский был почти оскорблён сухостью тона. «Скажу по правде, что мне, вместе с моими товарищами по редакции (и не только редакции!), пережившему настоящий праздник победы, торжества в день, когда я узнал, что “все хорошо”, — мне показалась чуть-чуть огорчительной та сдержанность, с которой Вы отозвались на мою телеграмму-поздравление, то словечко “приятно”, которое в данном случае было, простите, просто обидным для меня. Много месяцев я жил с Вашей вещью и её возможной судьбой в полной душевной неотрывности, для меня это было вопросом “или — или”».

Солженицын ответил благодарным письмом, пытаясь объяснить разницу между «праздником победы», царящим в редакции, и своим положением. «Моя жизнь в Рязани идёт во всём настолько по-старому (в лагерной телогрейке иду с утра колоть дрова, потом готовлюсь к урокам, потом иду в школу, там меня корят за пропуск политзанятий или упущения во внеклассной работе), что московские разговоры и телеграммы кажутся чистым сном». Главной радостью было — написать повесть, главным признанием — когда её бессонной ночью оценил Твардовский. «Самая большая человеческая радость была в том, что я в Вас не ошибся! Вы пренебрегли многим и взяли на себя ответственность за эту повесть, сняли её с меня. С тех пор я мог уже о ней не думать, а только издали удивляться той настойчивости и умению, с которыми Вы её постепенно проводите».

Теми же днями он написал и Зубовым: «Понимаю, как существенно меняется моя жизнь, какие большие духовные возможности, но и духовные опасности (слава, успех, порча сознания и души, халтура) сулит мне будущее. Сейчас я ещё ошеломлён...» Перед ноябрьскими праздниками автора вызвали читать корректуру. Пока в его руках была машинопись, история казалось нереальной. Но когда в номере гостиницы «Украина» с пугающе роскошными коврами легли на стол необрезанные журнальные страницы и автор увидел, как выступает из топи забвения лагерная зона, он плакал над «Иваном Денисовичем» — впервые. Никакие силы не могли заставить вычеркнуть из «Щ» слова, бдительно досмотренные Лебедевым: «Всё ж Ты есть, Создатель, на небе.

Долго терпишь, да больно бьёшь». Это была первая в жизни Солженицына корректура, он правил её, слушая по радио сообщения о карибском кризисе; окажись Хрущёв в эти дни сумасбродом, всё могло полететь в тартарары. Но — пронесло... Твардовский же, глядя на вёрстку, говорил: «Сам себе не верю, неужели мы *это* напечатаем?!»

А Москва, раскалённая слухами, томимая ожиданием, читала 5 ноября в «Известиях» рассказ «Самородок» некоего Г. Шелеста из Читы — про то, как зэки в лагере на Колыме, найдя золотой слиток в полтора килограмма, сдали его властям: «Что бы с нами ни было, мы коммунисты...» «Непроходимый» рассказик, прежде отвергнутый, в преддверии новомирской публикации был срочно запрошен по телефону. Разгадав прыть А. Аджубея, главного редактора «Известий» и хрущёвского зятя, торопившегося обскакать «Новый мир» и застолбить тему, Твардовский комментировал: «Нужно помнить, что ничто в чистом виде не приходит — говно обязательно поплывёт поверх потока, и как будто поток только для того и родился, чтобы нести на себе его». Перехватить инициативу «Известиям» не удалось: золотой слиток рассыпался трухой.

«Мне сказали, что Санина повесть будет напечатана в “Новом мире”. А ещё сказали: “Родится большой русский писатель”», — нарушив шестилетнее молчание, писала Лида Ежерец-Сомова. «Говорят, одиннадцатый номер будет невозможно достать. Могу ли я надеяться на получение авторского экземпляра?» — спрашивала Шура Попова; недавно она гостила в Рязани, и Саня читал вслух свой новый рассказ. В середине ноября взволнованно сообщал Ивашев-Мусатов, что старые друзья, много пережившие вместе, с восторгом ждут рассказ.

В ноябрьские праздники Твардовский прислал в Рязань большое письмо. Он взывал к сдержанности автора, стоящего на пороге триумфа, надеялся на его спокойствие, выдержку, зрелость мысли, бескорыстие и несуетность дара. Он рассчитывал, что жизненный опыт поможет достойно перенести испытание славой. 15 ноября Солженицын, вызванный телеграммой, впервые был у Твардовского дома, на Котельнической набережной. Они беседовали несколько часов без свидетелей, а потом прибыл редакционный курьер с сигнальным экземпляром одиннадцатого номера. Твардовский радовался и порхал по комнате, как ребёнок: «Птичка вылетела! Птичка вылетела!.. Теперь уж вряд ли задержат! Теперь уж — почти невозможно!» «Был у меня Солженицын, — запишет он через пару дней. — Опять молодец, умён и чист, полон энер-

гии, которой, впрочем, его бы не лишила и "катастрофа" с "Денисычем". Был только чуть более возбуждён, говорлив, но все равно умён и хорош». А Солженицын говорил, как рад был не ошибиться в двух главных точках, на эти две точки только и опирался. «Но разве дело в том, что он во мне не ошибся, дело в том, что я в нём и в себе не ошибся».

Решетовская писала, как, вернувшись вечером домой, Солженицын вымолвил: «Взошла моя звезда!» Со дня на день в «Правде», «Известиях», «Литературной газете» ожидались рецензии на повесть, вот-вот должен был выйти в свет и сам журнал. Но автор продолжал ежедневно ходить в школу, давал открытые уроки для очередной комиссии из Москвы. Отвезя «Случай...» Твардовскому, взялся готовить «Республику труда»; теперь в центр ставилась лирическая линия, и пьеса превращалась в «Оленя и Шалашовку». Через два дня автор снова был вызван телеграммой редактора: «Рассказ очень хорош, необходимо встретиться».

Воскресным утром 18 ноября, когда Солженицын приехал к Твардовскому работать над рассказом «Случай на станции Кочетовка», одиннадцатый номер журнала «Новый мир» с повестью «Один день Ивана Денисовича» появился в продаже, а накануне, 17-го, пошёл к подписчикам. Одна из самых невероятных, феерических историй общественно-политической жизни страны, высшая точка хрущёвской оттепели, наконец, свершилась. Общий тираж журнала с допечатками составил тогда более чем сто тысяч экземпляров, которых не хватило даже на день продаж. Некий читатель прислал телеграмму: «Поздравляю Вас одним днём, который перевернул мир!» Накануне Твардовский читал «Матрёну» и утром 18-го записал: «Перечитал к пяти утра "Праведницу". Боже мой, какой писатель. Никаких шуток. Писатель, единственно озабоченный выражением того, что у него лежит "на базе" ума и сердца. Ни тени стремления "попасть в яблочко", потрафить, облегчить задачу редактора или критика, — как хочешь, так и выворачивайся, а я со своего не сойду. Разве что дальше могу пойти».

Слава Солженицына («триумфальное шествие», по слову Твардовского) начиналась бурно и парадоксально. Вечером 19 ноября участники Пленума ЦК по новым формам партийного руководства в народном хозяйстве уходили из Кремля, держа в руках по две книжки: красную с докладом Хрущёва и синюю — с «Иваном Денисовичем». В холле, где ларьки торговали всякой культурной всячиной, стояло несколько очередей к стопкам «Нового мира», завезённого сюда утром в количестве двух тысяч экземпляров. Их разметали мгновенно, услышав с трибуны слова Хрущёва, что это важ-

ная и нужная книга. Впервые за пять месяцев Хрущёв публично заговорил о волнениях в Новочеркасске: «То, что у нас произошло в Новочеркасске — результат бюрократического отношения к насущным нуждам трудящихся» («Правда» «не заметит» и не напечатает эту фразу. Как утверждал в своем кругу Ю. Барабаш, «важно не то, какие речи раздаются на съездах, важно то, что́ через неделю напишет в своей передовой статье "Правда"»). И ещё: «Сталин, совсем сойдя с ума, строил аппарат (партийный и правительственный) с расчётом, чтобы он стоял *над* рабочим классом, *над* народом. Он не доверял народу и боялся его».

Вечером Твардовскому доложили, что в редакции бедлам: идут паломники, требуют адрес автора, плачут, благодарят. Софья Ханаановна Минц, секретарь главного редактора, отражает натиск журналистов и звонки — с радио и телевидения, из посольств и издательств, даже из Верховного суда: узнав имя и отчество автора, звонщик ликует: «*Он* проходил по нашей картотеке! мы его реабилитировали! он — наш крестник!» В киосках — списки очередников на одиннадцатый номер*, в библиотеках — запись на чтение ещё не поступившего журнала (очереди растянутся на месяцы). Борис Германович Закс, ответственный секретарь журнала, распоряжается заказать столик в «Арагви» на весь коллектив. «Нужно ли мне, — заметил Твардовский в тот триумфальный день, — чтобы я, кроме привычных и изнурительных самобичеваний, мог быть немного доволен собой, доведением дела до конца, преодолением всего того, что всем без исключения вокруг меня представлялось просто невероятным».

Собравшись 24-го в «Арагви», новомирцы во главе с Твардовским праздновали победу и чествовали отсутствующих героев — Солженицына и Хрущёва.

...С. Я. Маршак, прочитав рукопись «Ивана Денисовича» и рассказав о ней знакомым, выразился так: «Я всегда говорил Александру Трифоновичу: надо терпеливо, умело, старательно раскладывать костёр. А огонь упадёт с неба...»

---

* См.: «С незабвенным выходом в свет того одиннадцатого новомирского номера жизнь наших смолоду приунывших поколений впервые получила тонус: проснись, гляди-ка, история ещё не кончилась! Чего стоило идти по Москве домой из библиотеки, видя у каждого газетного киоска соотечественников, спрашивающих всё один и тот же, уже разошедшийся журнал! Никогда не забуду одного диковинно, по правде говоря, выглядевшего человека, который не умел выговорить название "Новый мир" и спрашивал у киоскёрши: "Ну, это, это, где вся правда-то написана!" И она понимала, про что он; это надо было видеть, и видеть тогдашними глазами. Тут уж не история словесности — история России» (С. С. Аверинцев — А. И. Солженицыну, 1998).

Глава пятая

ПРИВИЛЕГИИ ТРИУМФА И КОВАРНАЯ ИЗНАНКА СЛАВЫ

Был ли в истории литературы случай, когда бы неизвестный и немолодой человек за считаные дни стал признанным писателем? И явился бы не многообещающим дебютантом, «новым Гоголем», как поспешили окрестить критики 24-летнего Достоевского (чтобы назавтра высмеять и развенчать), а выступил зрелым мастером, поднимающим литературную планку на недостижимую высоту? Пожалуй, нет: история литературы таких случаев не помнит. И не знает ничего похожего на тот молниеносный взлёт, который случился с Солженицыным. Меж тем громкая, затопляющая слава, об опасности которой предупреждал Твардовский, имела для автора несколько кардинальных последствий.

Первым делом «рассекретилось» писательское подполье. Маска педагога из провинции, плотно приставшая к Солженицыну, была сорвана, и рязанская школа № 2 вдруг узнала, *кто* на самом деле пятый учебный год работает в её стенах. «Новый мир» читали далеко не все, да и пришёл одиннадцатый номер рязанским подписчикам только дней через десять после Москвы, но статью в «Известиях» от 17 ноября «О прошлом во имя будущего» не могла пропустить даже Рязань. «Солженицын проявил себя в своей повести как подлинный помощник партии в святом и необходимом деле борьбы с культом личности и его последствиями», — писал Симонов, и *такую* оценку не могли не заметить. Заключительную фразу из статьи Симонова: «В нашу литературу пришёл сильный талант» — следовало принять всерьёз.

Когда через пять дней «Литературная газета» (в статье Г. Бакланова «Чтоб это никогда не повторилось») назвала автора «рязанским учителем», деваться было некуда. 23 ноября к учителю домой явился секретарь рязанской писательской организации В. Матушкин и выразил радость, что живёт в одном городе с автором «Ивана Денисовича». Назавтра в областной газете «Приокская правда» появилась рецензия местного литератора А. Чувакина «Суровая правда». Спустя ещё две недели Матушкин пришёл снова, на пару с писателем Б. Можаевым («рослым, молодым красавцем»), жившим тогда в Рязани, и вдвоём они стали уговаривать Солженицына вступить в Союз писателей. А. И. вышел к ним в лагерных валенках и не торопился соглашаться: дайте, мол, огля-

деться, пусть повесть выйдет отдельным изданием, и в «Литературку», как просил от имени газеты Можаев, дать что-нибудь затруднился.

Этот визит имел двоякий результат. Во-первых, уже к концу декабря автора «Одного дня» поспешно, без обычной процедуры, без поручителей, даже без личного заявления (оно было послано вдогонку) приняли в Союз писателей РСФСР. Во-вторых, знакомство с Можаевым вскоре переросло в сердечную дружбу: «Душевная прямота Бориса рождала распахнутость. В конспирацию мою я его не вовлекал, конечно, но политические и бытийные наши взгляды на всё время советское и подсоветское не могли не сойтись. Простая трезвость его знающей оценки не могла оставить у него места политическим заблуждениям».

Следует отдать должное и школе № 2: в учительской, на доске объявлений, прикнопили вырезку из «Известий», коллеги жали триумфатору руку, парторг прислала домой личное поздравление, ученики одного из выпускных классов подарили открытку с розой и желали дальнейших творческих успехов. Директор школы пригласил на служебном авто прокатиться на Великие озёра (вместо Великих озёр получилось съездить в Кирицы, погулять по лесу возле санатория). Оригинально повёл себя институт, где работала Решетовская: ректор поручил прочесть «Один день» педагогу, напечатавшему повесть о чекистах, и тот доложил, что хвалёное сочинение написано *ужасным* языком. Торжества из публикации решили пока не делать.

А читатели пробовали на вкус непривычную фамилию: Саланжицын, Соложенцын, Солженцов... В Рязань потянулись журналисты, фотографы, поклонники творчества. Всесоюзное радио связало развитие нового направления в литературе с именем Солженицына, сообщило о двух рассказах, которые вот-вот будут напечатаны, и выдало «биографическую справку», подготовленную «Новым миром» (Твардовский не позволил, чтобы прошла формула «репрессирован за критику Сталина», так что остались «необоснованные обвинения»). То, чего не успели сделать журналы и газеты, довершило радио.

«Чтобы меня раскачать, нужны большие события!» — с этими словами, едва закончилась радиопередача, прибежал Виткевич; с февраля 1962-го он жил в Рязани и работал на кафедре химии Медицинского института. Старая дружба держалась общими воспоминаниями, велосипедными прогулками, но настоящего сближения не получалось: разговоров о литературе и общественной жизни Кока не терпел. Па-

фосное поздравление с высокой оценкой «со стороны центрального партийного органа» прислал Лёня Власов. Экибастузец Владимир Гершуни, читавший «Один день» до публикации, радостно убеждался, что А. Рязанский — его товарищ по лагерю. Однокашник надписал на конверте: «Вручить, если подтвердит, что он — Морж». «Поздравляю с космическим взлётом!» — телеграфировал из Казани фронтовой друг Аркадий Мельников: в 1946-м он выслал от себя лично боевую характеристику комбату, попавшему в беду. Мгновенно отозвались Зубовы, лучше всех знавшие историю «Щ».

Именинницей чувствовала себя и Решетовская. Вузовская карьера, прежде так увлекавшая её, давно стала бременем. Доцентскую нагрузку Наталья Алексеевна тянула с трудом, уже и перешла на половинную ставку. Пыталась развлечь себя фотографией, курсами кройки и шитья, музицировала, и, как замечала кузина Вероника, Санина слава сильно разогрела Наташины чувства к мужу. Летом 1962-го, ещё до выхода повести, она ездила в Ростов. «Я могла, наконец, сознаться, что А. И. пишет, что он — писатель. Да, да, настоящий писатель, признанный Твардовским, Чуковским». Когда вышел «Один день», она жаждала разделить с мужем общественное внимание. «Я ездила по Москве, оповещала друзей и родных, взахлеб делилась нашими новостями и жадно впитывала впечатления от повести, отношение к автору. Каких только похвал “Ивану Денисовичу” не наслышалась я в те дни! Один из редакторов издательства “Искусство”, учившийся вместе с моей сестрой Вероникой, говорил ей: “Я счастлив, что оказался как бы заочно знаком с Солженицыным. Он — гений. Вы, как родственники, не можете оценить его таланта. Для нас же — это святое”».

Солженицын всё чаще выезжал в Москву, и ей тоже не сиделось в Рязани: «тихое житьё» утратило былую прелесть. «Хочу в Москву! Хочу к мужу! Хочу хоть краешком разделить его славу!» — вспомнит позже Решетовская свои тогдашние ощущения. И едва появлялось окно в расписании, она мчалась в Москву, чтобы быть с ним в дни триумфа, видеть тех, кого видит он, бывать там, куда зовут его и куда она, по своим собственным возможностям, не имела бы никаких шансов попасть. Было от чего закружиться голове: по броне «Нового мира» муж останавливается в гостинице «Москва», дни его расписаны с утра до вечера, дружеские и деловые встречи плотно следуют одна за другой. Телефон звонит не умолкая: даже Военная коллегия Верховного суда жаждет зазвать к себе писателя. Переводчики ждут консультаций. «Советский писатель» намерен печатать «Один день»

отдельной книгой. Повесть должна выйти в «Роман-газете». Театр «Современник» хочет ставить пьесу, артисты готовы её слушать в авторском чтении. На обеде у вдовы Михаила Булгакова гости поднимают бокалы за писателя ушедшего и писателя «внезапно родившегося»; во всех московских культурных семьях, сообщает Елена Сергеевна, говорят об «Иване Денисовиче» (и как же мечтает Решетовская походить на прекрасную Елену, писательскую музу и светскую даму!). Известный чтец Дмитрий Журавлев читает «Матрёну». Ходят слухи, что великий Шостакович мечтает написать оперу «Матрёнин двор».

«Уж это-то я знал твёрдо, что славой меня не возьмут, на стену советской литературы всходил напряжённой ногой, как с тяжёлыми носилками раствора, чтобы не пролить», — позже писал Солженицын. Те первые недели, когда он отбивал атаки прессы, оставили оскомину: время и нервы тратились впустую. Но у его славы была одна несомненная и радостная привилегия: новые яркие знакомства. Не то чтобы он как-то вдруг перескочил на другую орбиту, нет: старые связи сохраняли свою крепость. «Бывая в Москве, — напишет он в «Телёнке», — я теперь всякий раз, и с тяжёлыми сумками продуктов, делал дальний крюк на Мытную к Теушам, где не надо было скрываться, притворяться, и так тепло сердцу, и можно полностью открыто рассказывать о своих событиях и советоваться. Привязался я к ним... Так они и стали первыми, кому я разгружал свою душу в Москве, первыми, кому рассказывал все мои перипетии с “Новым миром”».

Однако «Иван Денисович» принес автору, помимо славы, известности и официального признания, дружбу тех, перед кем он привык преклоняться, не ища личного знакомства. Так было с В. Т. Шаламовым. «Варлам Шаламов раскрыл листочки по самой ранней весне: уже XX съезду он поверил, и пустил свои стихи первыми ранними самиздатскими тропами уже тогда. Я прочёл их летом 1956* и задрожал: вот он, брат! из тайных братьев, о которых я знал, не сомневался.

---

* «Мы с ним оба были верные “сыны ГУЛАГа”, — писал Солженицын, — я хоть по сроку и испытаниям меньше его, но по духу, по отданности, никак не слабей. Это — очень стягивало нас, как магнитом. И когда в 1956 я читал в самиздате стихи его, неведомого: “Я знаю сам, что это — не игра, / Что это — смерть. Но даже жизни ради, / Как Архимед, не выроню пера, / Не скомкаю развёрнутой тетради”, — да ведь это ж просто обо мне! о моей тайне! — и он соучастник. И с подобным же чувством прочёл он в самиздате 1962 года “Ивана Денисовича” — по своему пессимистическому взгляду никак не допуская, что это будет опубликовано» («С Варламом Шаламовым»).

Была ниточка и мне ему тут же открыться, но оказался я недоверчивее его, да и много ещё было у меня не написано тогда, да и здоровье и возраст позволяли терпеть, — и я смолчал, продолжал писать». Весной 1962-го удалось раздобыть в библиотеке Дома офицеров Рязани маленький сборник Шаламова «Огниво», вышедший крошечным тиражом (это была первая книжка 54-летнего поэта), и Солженицын, радуясь за «брата», перепечатывал на машинке его стихи.

Они встретились в комнате отдела прозы «Нового мира» сразу по выходе повести. Шаламов был крайне взволнован — будет ли «Один день» ледоколом, торящим путь, или останется крайним положением маятника, который качнёт в другую сторону. Вскоре он писал автору: «Я две ночи не спал — читал повесть, перечитывал, вспоминал... Повесть — как стихи! — в ней всё совершенно, всё целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что “Новый мир” с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал». Шаламов находил, что похвалы преуменьшены неизмеримо — ведь автор сумел найти исключительно сильную форму, точно выбрать ракурс — лагерь с точки зрения работяги, чьё увлечение работой спасительно. «Вся Ваша повесть — это та долгожданная правда, без которой не может литература наша двигаться вперед. Все, кто умолчат об этом, исказят правду эту — подлецы». Шаламов писал, что и сам хочет посвятить жизнь этой правде; просил напомнить Твардовскому, что в «Новом мире» *более года* лежат стихи и рассказы, в которых лагеря показаны так, как он, Шаламов, их видел и понял*. Солженицын благодарил за подробный разбор, в котором столь органично скрестились лагерник и художник.

«Иван Денисович» ещё до выхода в свет сумел покорить и Анну Ахматову: Солженицын ставил её выше всех живущих поэтов. «Копелев сказал мне: “Ахматова не прочь тебя встретить. Хочешь?” Я ответил: “Конечно, хочу”. Он позвонил мне и назвал день, и я поехал к ней. Это было на Хо-

---

* «Сразу же за публикацией “Ивана Денисовича” я обратился к В<арламу> Т<ихоновичу>: отберите какие Ваши стихи, я попробую передать А<лександру> Т<рифоновичу>. И — передал. Твардовскому, к моему удивлению и сожалению, они вовсе не понравились, и он выразил мне резкое неудовольствие моим посредничеством. Продолжать его, настаивать — было неуместно. Тем более, что путь через новомирский отдел прозы был Шаламову и открыт, и использован им: его рассказы там хорошо знали, они лежали в “Новом мире” задолго до публикации “Ивана Денисовича”, он сам мне о том писал» («С Варламом Шаламовым. Добавление 1998 года»).

рошёвском шоссе, на квартире Марии Петровых». Ахматова прочитала «Щ» в середине сентября и сказала непререкаемо: «Эту повесть о-бя-зан прочитать и выучить наизусть — *каждый гражданин* изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза». О их первой встрече 28 октября 1962 года у Марии Петровых она рассказывала торжественно: не к ней пришли на поклон, как бывало обычно, а явился человек, которому она сама была готова и хотела поклониться. «Вчера (28) у меня (у Маруси в Москве) был Рязанский (Солженицын). Впечатление ясности, простоты, большого человеческого достоинства. С ним легко с первой минуты». Ахматова сравнивала: «В “Старике и море” Хемингуэя подробности меня раздражают. Нога затекла, одна акула сдохла, вдел крюк, не вдел крюк и т. д. И всё ни к чему. А тут каждая подробность нужна и дорога».

Анна Андреевна предсказала Солженицыну всемирную славу и опасалась, выдержит ли он. «Пастернак не выдержал славы, — говорила она. — Выдержать славу очень трудно, особенно позднюю». «Славы не боится, — записывала Ахматова. — Наверное, не знает, какая она страшная и что влечёт за собой». Появление «Ивана Денисовича» в печати Ахматова считала эпохальным событием, и говорила не раз, что счастлива дожить до Солженицына, до его сочинений и до его личности. Л. К. Чуковская фиксировала ахматовские восторженные оценки Солженицына-человека. «Све-то-носец! — сказала она торжественно и по складам. — Свежий, подтянутый, молодой, счастливый. Мы и забыли, что такие люди бывают. Глаза, как драгоценные каменья. Строгий. Слышит, что говорит... О, Лидия Корнеевна! видели бы вы этого человека! Он непредставим. Его надо увидеть самого, в придачу к “Одному дню з/к”... Поразительный человек... Огромный человек... Ему 44 года. Выглядит на 35. Лицо чистое, ясное. Спокоен, безо всякой суеты и московской деловитости. С огромным достоинством и ясностью духа»*.

В те первые встречи они много читали друг другу. Ахматова — свой «Реквием» («Я так и думал, что вы не молчите,

* «Когда я был у Ахматовой второй раз (30 ноября 1962), Анна Андреевна спрашивает: “А вы не хотите ли познакомиться с Еленой Сергеевной Булгаковой?” Я отвечаю, что очень охотно. Она тогда и говорит: я сейчас набираю номер — потом дает мне трубку и соединяет с Еленой Сергеевной. Я потом очень подружился с ней, у неё прочел роман “Мастер и Маргарита”, одним из первых, ещё никто не читал. “Театральный роман” прочёл. Я вообще считаю Булгакова бесконечно близким себе. Хотя мы разные, но по какому-то складу и соотношению с советским временем чувствую в нём себя, своё, родное» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2001 год).

а пишете что-то, что нельзя печатать»). Солженицын — «Дороженьку». «Он принёс мне поэму. Она автобиографична. И спросил, стоит ли за неё бороться. Я сказала, что одного моего мнения недостаточно, пусть даст ещё кому-нибудь. Он сказал, что ему достаточно моего мнения. Я сказала, что бороться за эту поэму не стоит». «Пишите прозу, — советовала Ахматова. — В ней вы неуязвимы». Когда появится «Матрёнин двор», Ахматова скажет проницательно и прорицательно: «Удивительная вещь... Удивительно, как могли напечатать... Это пострашнее “Ивана Денисовича”... Там можно всё на культ спихнуть, а тут... Ведь у него не Матрёна, а вся русская деревня под паровоз попала и вдребезги...» Но совсем никогда не льстила — и «Случай на станции» поругивала: рассказ казался сочинённым, а герой — склеенным из бумаги: «От Солженицына мы другого ждём, только правды, а не этих выдуманных добродетелей».

С первого дня знакомства Ахматова спрашивала, понимает ли он, что уже скоро начнут терзать. После «Матрёны» — предсказала: вот-вот. Выдержит ли? Ведь это хуже, чем выдержать прокурора. Прокурора он выдержал, но открыться ей не посмел. Не сказал, что перенёс рак, скрыл, что написал роман, не намекнул, что собирает материалы к «Архипелагу». «Я ещё в самом начале знакомства прочла ему “Реквием”. А он мне глав о том же самом не дал и даже не упомянул о них. Я так им всегда восхищалась, так счастлива, что до него дожила. За что же он меня обидел?» «Я круто ошибся, — признается Солженицын позже, а в 1962-м боялся, что Анна Андреевна не удержит тайну. — Не мог дать читать своих скрытых вещей, даже “Круга” — такому поэту! современнице! уж ей бы дать?! — не смел. Так и умерла, ничего не прочтя». Позже узнает от Л. К. Чуковской, что Ахматова безошибочно чуяла стукачей, замечала слежку, верила в существование подслушивающих приборов, когда никто в это не верил. Держала «Реквием» *незаписанным* 34 года, хранила свои рукописи *не дома*. «Политическая осторожность была её манией».

В ту осень Ахматова подарила ему томик стихов: «А. Солженицыну в дни его славы». Он понял, что значила такая надпись. *Дни* — вот было ключевое слово. Он не сомневался, что *эта* слава — не надолго, ощущал её коварство, её опасную летучесть. Сколько продлится инерция успеха? Чем он располагает — годом? месяцем? неделей? Он хотел, чтобы вещи, следуя одна за другой, выстреливали, как автоматная очередь. «Такова была сила общего захвала, общего взлёта, что в тех же днях сказал мне Твардовский: теперь пускаем “Матрёну”! Матрёну, от которой журнал в начале го-

да отказался, которая "никогда не может быть напечатана", — теперь лёгкой рукой он отправлял в набор, даже позабыв о своём отказе тогда!» Твардовский дал название «Матрёнин двор» — авторское «Не стоит село без праведника» казалось слишком назидательным. С колёс пошла и *Кочетовка*, изменённая на *Кречетовку*, во избежание рифмы с Кочетовым, редактором «Октября». Твардовский провёл четырёхчасовой разбор «без наркоза», но и без цензорских вывертов: Солженицын отбивался, но за тонкие уроки был благодарен. «Труден кое в чём до колотья в печени, — записывал Твардовский. — Но молодец».

Пьеса, которую А. И. готовил для «Современника», внесла в отношения автора и редактора первую трещину. «Республика труда» (в варианте «Оленя и Шалашовки») двигалась трудно. Ахматова сказала о пьесе: «Какая-то средневековая»; Анну Андреевну увлекал только Солженицын-прозаик. У Твардовского было куда больше претензий, и они были куда принципиальнее. «Это то, что он сам себе запретил "Иваном Денисовичем" делать (дополнять подробностями и деталями, очерком быта и нравов — образ, родившийся, выбившийся из всего этого). Вот оно, то самое, чего нужно было бояться, — он рванулся к "пьесе", написанной им 10 лет назад, рванулся сейчас, когда воспринял успех: это что, я ещё не то знаю... Очень похоже, как я после "Муравии" начал писать пьесу, желая досказать...»

Твардовский был непреклонен — пьесу нельзя ни печатать, ни ставить. Логика редактора была безупречна, и аналог с «Муравией» работал *против* «Республики труда». Но автор находился внутри собственной логики, и значит, ему было по пути с «Новым миром» до тех пор, пока обеспечивался прорыв к цели. Счастье печататься вообще, и счастье печататься в «Новом мире» не должно было ни затмить, ни отменить главную цель. Поэтому признать, что пьеса десятилетней давности — всего лишь новые подробности темы, значило отказаться от своего тайного статуса и своего тайного замысла. Твардовский, при всей его трепетной любви к «Ивану Денисовичу», знать об этом замысле и не мог, и не должен был. А если бы и узнал, то скорее всего никак бы не одобрил. Твардовскому нравилось, что в «Иване Денисовиче» нет ужасов. Но это не значило, что их не было вообще или что автор дал подписку никогда о них не писать. «Конечно, я был обязан Твардовскому — но *лично*. Однако я не имел права считаться с личной точкой зрения и что́ обо мне подумают в "Новом мире", а лишь из того исходить постоянно, что я — не я, и моя литературная судьба — не моя,

а всех тех миллионов, кто не доцарапал, не дохрипел своей тюремной судьбы, своих поздних лагерных открытий».

И вопрос по сути: что для кого? кто для чего? журнал для автора или автор для журнала? Если оттепельный журнал — ценность абсолютная, а публикуемые в нём вещи — ценность относительная, тогда и в самом деле следует печься прежде всего о благе журнала. Но какой художник согласится применять к себе относительные мерки? или считать себя средством, в то время как журнал — цель? Ведь и сам Твардовский честно говорил: зачем мне нужен журнал, если в нём нельзя напечатать «Один день»? Разве не считал он публикацию повести делом своей жизни? Разве новомирцы не отличали «солженицынский» период в жизни журнала? Разве не верны слова Шаламова, что «Новый мир» с самого начала своего существования ничего столь сильного не печатал? Разве не Солженицын задал журналу высочайший уровень правды, моральной ответственности и художественного мастерства? В 1966-м В. Лакшин запишет в «Дневнике»: «1962 г. — дата рождения у нас новой литературы. "Иван Денисович" подвел черту под прежним и начал новое. Можно бранить Солженицына, поставить его вне литературы, но дело это обречено. Он теперь единственный романист, который даёт уверенность, что реализм не умер, что он и теперь, как прежде, единственно жизнеспособная ветвь искусства. Все другие — ветки высохшие, и голые, омертвелые... В 1962 году кончилась "молодежная литература", "4-е поколение" со "Звёздным билетом" и пр. Появление Солженицына быстро уничтожило их легкий и скорый успех — сейчас они кажутся эпигонами самих себя, их никто не принимает всерьёз. Вот последствия выхода XI номера "Нового мира" 1962 года... Журнал будто ждал появления Солженицына, и когда он явился — этим оправдано всё — теории, декларации, компромиссы — и под будущие векселя мы получили золотое обеспечение».

Можно ли в таком случае упрекать Солженицына, что он следовал своей стратегии, а не стратегии редакции и цензу «проходимости»? В том, что писатель боролся за свою литературу и не считал «Новый мир» святыней, не присягал ему на верность, не было обиды для журнала, тем более что риск понимался окружением Твардовского и автором «Ивана Денисовича» слишком по-разному.

Однако своё поведение после выхода «Ивана Денисовича», так или иначе скованное обязательствами, писатель позже осознает как *ложное*: невозвратно упускалось время разгона, когда на инерции выступлений Хрущёва можно бы-

ло толкнуться во все двери — редакций, театров, киностудий. Как и предсказывал Твардовский, у Солженицына все просили дать хоть что-нибудь, любые кусочки, отрывки, и в те первые недели всё и везде пошло бы беспрепятственно. Вместо того чтобы немедленно публиковать «Крохотки», разместить в печати главы «Круга» и «Дороженьки», то есть застолбить участок, он отвечал «нет» и «нет», полагая, что *так* он оберегает свои вещи, и был горд, что легко устаивает против медных труб. Худсовет «Современника» настойчиво просил разрешить к постановке «Оленя и Шалашовку», брался ставить пьесу *тотчас*, артисты готовы были обедать и ночевать в театре и за месяц выпустить спектакль. И наверняка выпустили бы, но — получили отказ. Ибо сначала пьеса должна была пройти в журнале — а журнал её забраковал: «искусства не получилось».

«Дочитал пьесу Солженицына, — замечал Твардовский. — Мнение то же самое: не нужно ни печатать, ни ставить. Он молча выслушал, но сказал, что очень любит эту вещь и хочет её всё же показать "специалистам", т. е. режиссерам и т. п. Я не возражал было, но думаю, что и читать её не нужно никому, — боюсь, что "специалисты" бросятся ставить». Этих «специалистов» Твардовский называл «театральными гангстерами» — автор не должен был им даже показывать пьесу. А ещё приезжала дама с «Ленфильма», привезла четыре экземпляра договора на «Кречетовку», уже подписанного киностудией. «Мне оставалось только поставить подпись и получить небывалые для меня деньги — и "Кречетовка" появится на советских экранах. Я — сразу же отказался: отдать им права, а они испортят, покажут нечто осовеченное, фальшивое? А я не смогу исправить...» АПН жаждало получить интервью по поводу Карибского кризиса; некто из Кишинёва хотел делать сценарий по «Ивану Денисовичу». Поток писем, вызовов и звонков не мог бы уместиться даже и в две жизни.

В ноябре 1962-го, в ошеломлении первого успеха, Солженицын всё же надеялся, что у его славы есть минимум полгода. Они нужны были позарез — ведь одной книгой изменить или сдвинуть систему невозможно. Прорыв в публичность — это ещё не прорыв к цели, к тому же оказалось, что счёт идет вовсе не на годы. Время отмеряло недели — от первой хвалебной рецензии на «Денисовича» до первой контратаки (скандал в Манеже) и потом до кремлёвской встречи Хрущёва с интеллигенцией: две недели и ещё две.

1 декабря 1962 года в Манеже открылась выставка, посвящённая 30-летию Московского союза художников, кото-

рую посетил Хрущёв. Неожиданно к участию в выставке были приглашены художники альтернативных направлений. Как позже выяснится, одна команда живописцев решила свести счёты с другой руками первого человека в государстве. Так же как Твардовский через Лебедева нашёл путь к Хрущёву, так и первый секретарь Союза художников РСФСР Серов действовал через секретаря ЦК по идеологии Суслова. Интрига была тщательна срежиссирована: с первых минут Хрущёва повели по специальному маршруту, и он увидел работы, далёкие от реализма. *Никита* был в бешенстве. «Мазня!» «Патологические выверты!», «Духовное убожество!» Но кампания против абстракционизма оказалась двусмысленной: авангардисты Запада примыкали к левым организациям, и в Москве их обычно привечали. К тому же готовилась выставка французских художников Фернана и Нади Леже. Советское руководство решило пойти на диалог с творческой интеллигенцией.

Твардовский, отдыхая в Пицунде, сразу понял, чем чреват такой «диалог». «О встрече думается так-сяк. Звонил Дементьеву сегодня утром, тот говорит: обстановка сложная, противоречивая. Кочетовщина поднимает голову в связи с суждениями о живописи. То Солженицын, а то — противоположное, — разберись. Только бы не вверзиться в дерьмо». Предчувствие не обмануло. «Кочетовщина» подняла голову ещё *до* событий в Манеже: её короткий обморок заканчивался. Лакшин зорко подметит вирши официозного поэта Н. Грибачёва, появившиеся в «Известиях» 30 ноября: «Метеорит» стал *первым* отрицательным отзывом на Солженицына, через двенадцать дней после выхода повести. «Отнюдь не многотонной глыбой, / Но на сто вёрст / Раскинув хвост, / Он из глубин вселенских прибыл, / Затмил на миг / Сиянье звёзд. / Ударил светом в телескопы, / Явил / Стремительность и пыл / И по газетам / Всей Европы / Почтительно отмечен был. / Когда ж / Без предисловий вычурных / Вкатилось утро на порог, / Он стал обычной / И привычной / Пыльцой в пыли земных дорог. / Лишь астроном в таблицах сводных, / Спеша к семье под выходной, / Его среди других подобных / Отметил строчкою одной». Официоз отмерял славе «Ивана Денисовича» срок *до утра* и хотел видеть автора *пылью*. Не хватало лишь определения — *лагерная*. Но в хрущёвское время таких эпитетов уже как-то стеснялись, и пока Солженицын был в фаворе, газеты держались за удобную формулу: повесть напечатана «с ведома и одобрения ЦК КПСС».

Меж тем 15 декабря, в субботу вечером, в рязанскую школу № 2 пришло распоряжение из обкома партии: Сол-

женицын вызывается в Москву, в ЦК, к Поликарпову, повезёт его утром 17-го обкомовская серая «Волга». Зачем? Первая мысль была — будут загонять в партию. Оделся нарочито: старый костюм из «Рабочей одежды», чиненные чёрные ботинки с латками из красной кожи, к тому же был сильно нестрижен. «Так легче было мне отпираться и придуряться: мол, зэки мы, и много с нас не возьмёте. Таким-то зачуханным провинциалом я привезён был во Дворец встреч». В понедельник утром водитель спросил «товарища Солженцова» и покатил в Москву. В отделе культуры ЦК, где его приняли «восхитительно-заботливо», будто всю жизнь сочувствовали лагерной литературе, он узнал, что приглашён на торжество. Черноуцан вручил пригласительный билет, и, завезя по дороге в «Москву» (в невиданно пышный номер) для размещения, большая чёрная машина доставила гостя на Ленинские горы.

Лет через пятнадцать Солженицын составит подробный рассказ о той встрече, куда он был зван не как объект вразумления, а как именинник. Запомнит огромные паркетные залы, белоснежные оконные занавесы, разодетую праздную публику, мужчин в остроносых лакированных ботинках, знающих друг друга в лицо и по именам. Он не знал тут никого, и его тоже никто здесь не знал: «Новый мир» портреты авторов не печатал. А потом всех завели в банкетный зал со столами буквой «П», роскошной сервировкой и гастрономическим изобилием; гости приветствовали длинного Суслова, тучного Брежнева, усталого Косыгина, непроницаемого Микояна, и в центре — маленького лысого Хрущёва. Близко сидели ответственные персоны: Марков, Кожевников, Софронов, Чаковский, Шолохов... «Это — всё грозные были имена, звучные в советской литературе, и я совсем незаконно себя чувствовал среди них. В *их* литературу я никогда не стремился, всему этому миру официального советского искусства я давно и коренно был враждебен, отвергал их всех вместе нацело. Но вот втягивало меня — и как же мне теперь среди них жить и дышать?»

В перерыве Твардовский знакомил своего протеже с публикой, и надо было учиться с ней беседовать. Потом каким-то ловким манёвром, выждав время, когда вестибюль опустел и Хрущёв шёл один, А. Т. представил ему Солженицына. «Хрущёв был точно как сошедший с фотографий, а ещё крепкий и шарокатный мужик. И руку протянул совсем не вельможно, и с простой улыбкой сказал что-то одобрительное — вполне он был такой простой, как рассказывал нам в лубянской камере его шофёр Виктор Белов. И я испытал к

нему толчок благодарного чувства, так и сказал, как чувствовал, руку пожимая: “Спасибо вам, Никита Сергеевич, не за меня, а от миллионов пострадавших”. Мне даже показалось, что в глазах у него появилась влага. Он — понимал, что́ сделал вообще, и приятно было ему от меня услышать».

Потом, через месяцы, Солженицын будет себя корить, что упустил момент, мог бы смелее говорить с Хрущёвым, сделать необратимый шаг, просить аудиенции, предупредить, что успех XX и XXII съездов шатается, и подвигнуть на закрепление начатого. «Но я оказался не вровень с моментом — с первым прямым касанием к ходу к русской истории. Слишком резок и быстр для меня оказался взлёт». Кинохроника зафиксировала момент рукопожатия, которое, кроме Твардовского, видел ещё только Шолохов. «Земляки?» — спросил он. «Донцы», — лаконично ответил Солженицын. И был момент, когда глава агитпропа Ильичёв, клеймя лозунг «пусть расцветают все цветы», вдруг изогнул речь в ту сторону, что партия ценит произведения пусть и острокритические, но жизнеутверждающие. И привел пример: вот правдивое, смелое произведение «Один день Ивана Денисовича», где показаны человечные люди в нечеловеческих обстоятельствах. Хрущёв, перебивая докладчика, предложил всем посмотреть на автора. Зал аплодировал. «Я встал — ни на тень не обманутый этими аплодисментами. Встал — безо всякой и минутной надежды с этим обществом жить». Но залом был получен сигнал, и во втором перерыве фаворита окружили и обласкали. Сатюков, редактор «Правды», просил дать кусок рассказа. Подошёл интеллигентный Лебедев, «с неба приставленный к беспутному Хрущёву ангел чеховского типа». Радостно тряс руку некто долговязый: Солженицын не признал Суслова, а тот и не обиделся. Потом были прения, о которых позже напишут все, кто там был и кто не был, и всё закончилось поздним вечером.

Ещё два дня провел Солженицын в Москве. Объяснял Олегу Ефремову — постановка пьесы может сорвать публикацию рассказов в первом номере «Нового мира» за 1963 год. Забрал в редакции верстку и внёс правку, видел стопку студенческих билетов — залоги за чтение одиннадцатого номера, взятого на сутки. Обедал у Твардовского: Александр Трифонович, в обход собственных установок, настаивал дать в «Правду» отрывок — это гарантия, что рассказы никто не тормознёт. Сошлись на отрывке из «Кречетовки».

23 декабря «Правда» напечатала «подвал» на четвёртой странице. Получив дома газету, Солженицын написал Власову, как настойчиво просился под перо сюжет, услышан-

ный от него. «Я уже проверил действие этого рассказа на людях старшего поколения: у всех поголовно герой вызывает симпатию и сочувствие». Славный Лёня ответил: «Могу только радоваться, что моя более чем заурядная персона в какой-то мере способствует расцвету советской литературы. Так что с самого начала твоей художественной деятельности дарую тебе полный карт-бланш».

Публикация в «Правде» — охранная грамота, затыкающая рты злопыхателям. Однако почему-то Москва не советовала Рязани перепечатывать «Один день». Почему-то трёхсоттысячное издание в «Советском писателе» урезано до ста тысяч. Почему-то напряжены рязанские писатели, когда на встрече с ними 22 декабря Солженицын рассказывал о встрече на Ленинских горах, и Матушкин спрашивал, правда ли, что за границей «Один день» собираются использовать «против нас». А с другой стороны, «Правда» печатала доклад Ильичёва, и автор повести упоминался в положительном смысле. «Межкнига» сообщала, что «Ивана Денисовича» переводят в Лондоне, Париже, Турине, Гамбурге, Нью-Йорке, и получены запросы из Дании, Швеции, Норвегии.

Где победы, где провалы?

Никаких иллюзий насчет дебюта и прорыва у Солженицына не возникло. Вместо диалога власти с людьми искусства прозвучали нотации; партийные бонзы разрешали пение только в унисон с партией. Интеллигенцию призывали трудиться во имя коммунизма, и она торопилась заявить о своей лояльности. Самый дерзкий из выступавших Евтушенко просил считать его не наследником Сталина, но наследником революции. Каждый шаг хрущёвской либерализации был двусмыслен, и это стало сущностью эпохи. Встреча на Ленгорах дала внятный сигнал, что повестью, одобренной сверху, лагерная тема в литературе исчерпана, и пахать на этом поле бесперспективно. И был ещё один знак: только что вышедшая «История КПСС» под редакцией директора Института марксизма-ленинизма Поспелова разрыва со сталинизмом не содержала. Заглянув в учебник, Твардовский отметил: «Убожество новой лжицы взамен старой лжи... Жалкое впечатление: поручили мелкому чиновнику “исправить” известный “краткий курс”, он и делает это, стремясь не упустить ни одного из “указаний” и “разъяснений”, но без всякой заботы относительно целого. Горе!»

Солженицын, нацеленный на «Архипелаг», должен был ощущать это *горе* ещё трагичнее. Градации лжи виделись ему иначе, чем любому правоверному коммунисту, а понимание «целого» не совпало бы даже контурно. «Всей глуби-

ны *нашей* правды они не представляли — и нечего даже пытаться искать их сочувствие» — это мысль билась в нём при аплодисментах зала, когда его выдернул с места Хрущёв. Партийным ортодоксам «Иван Денисович» показал, что дальше отступать нельзя. «Я — не ихний»: чувство чужести *им всем* только окрепло после встречи на Ленгорах. Литературное подполье должно было отныне обрести новое качество. «Иван Денисович» освобождал от службы, успех давал гарантию защищённости, инерция славы обещала продлить срок спокойной работы. Главное сейчас было правильно распорядиться временем и трудом.

Заканчивалось учебное полугодие. 29 декабря прошли последние уроки учителя Солженицына, и он прощался со школой. Он не подвёл директора, от которого всегда видел только добро, но... «За неделю я мог дать "Современнику" текст, подготовленный к публичному чтению; дважды в неделю мог выдавать по "облегчённому" отрывку из "Круга" и читать их по радио, и давать интервью — а я возился в школьной лаборатории, готовил ничтожные физические демонстрации, составлял поурочные планы, проверял тетради. Я был червь на космической орбите...»

Отныне на космическую орбиту выходил вольный стрелок, одинокий копьеносец, проводник в миры неведомые.

Так совпало, что как раз в этот день его приняли в ряды Союза писателей РСФСР по секции прозы. В Рязань пришла телеграмма, его поздравляла верхушка — Соболев, Сартаков, Баруздин, Михалков, Софронов, Кожевников. В канун Нового года все они собрались у себя на Софийской набережной и ждали, звали Солженицына, изумлённые его взлётом и связями с Хрущёвым. В течение получаса могли (и хотели как будто!) выписать новому члену Союза московскую квартиру. Солженицын, приехав 31-го в Москву, от визита уклонился и квартиры не принял. «Это было некрасиво, сразу переехать в Москву, а мне это и не нужно было; к тому же я Москвы боялся, сразу задёргают, бесконечные встречи, звонки, конференции; а в Рязани, как приезжаю, — тихо, спокойно». Поступок, поймёт он позже, был весьма обременителен: «Обрёк себя и жену на 10-летнее тяжкое существование в голодной Рязани, потом и притеснённый там, в капкане, и вечные поездки с тяжёлыми продуктами — о жене-то я меньше всего подумал, и потом она, в разрыве со мною, только через выступление против меня смогла переехать в Москву. (А в дальнем просвете жизни хорошо: не стал я москвичом, а разделил судьбу униженной провинции.)».

Новогоднюю ночь, к восторгу Натальи Алексеевны, они встречали не в Рязани и не у подруги, а в украшенном еловыми ветками и разноцветными шарами фойе театра «Современник», где после спектакля были расставлены столики со свечами и шампанским. Сидели вместе с Олегом Ефремовым (Долоховым!), вернувшимся со съёмок «Войны и мира», и его супругой, актрисой Аллой Покровской. Часы пробили полночь, взорвались хлопушки, загорелись бенгальские огни. Главный тост — чтобы на сцене «Современника» был поставлен «Олень».

Первую неделю января Солженицын и его жена прожили в роскошном номере «Будапешта» на Петровских линиях. Был в гостях Шаламов, «мы ужинали в номере и живо обсуждали пьесы: мою “Олень и Шалашовку”, которую он уже прочёл, — и его колымскую пьесу, не помню её названия, драматургии в ней было не больше, чем в моей, но живое лагерное красное мясо дрожало так же, пьеса его волновала меня». А вскоре в фойе театра (там всё ещё висели на ветках блестящие шары) автор читал труппе «Современника» своего «Оленя», пояснял отличия ИТЛ от Особлага, где *мотал срок* Шухов. Обсуждения не получилось: волнение переполняло артистов, перехватывало горло: «Счастье, что эта пьеса в нашем театре!» «Нам бы только дотянуться до неё!»

20 января почта принесла «Новый мир» с двумя рассказами. Им он, кажется, радовался больше, чем выходу «Ивана Денисовича». «Там — тема, а здесь — чистая литература. Теперь пусть судят!» Судьи не замедлили себя ждать: восторженная телеграмма, а потом и письмо от Шаламова, похвальные отзывы от Можаева и других рязанцев — с ними А. И. увиделся на перевыборном собрании (избрали Н. Е. Шундика), восторженное письмо от Чуковского. «Это никакая не заслуга, — писал Корней Иванович, — прочесть великое произведение искусства и обрадоваться ему как долгожданному счастью. “Иван Денисович” поразил меня раньше всего своей могучей поэтической (а не публицистической) силой. Силой, уверенной в себе: ни одной крикливой, лживой краски, и такая власть над материалом; и такой абсолютный вкус! А когда я прочитал “Два рассказа”, я понял, что у Льва Толстого и Чехова есть достойный продолжатель».

«Получил письмо от Солженицына!!!» — так, тремя восклицаниями, отметит *событие* Чуковский 3 марта. Крёстный «Щ-854» отстаивал правду Ивана Денисовича талантливо и азартно. «Встретил Катаева. Он возмущён повестью “Один день”, которая напечатана в “Новом мире”. К моему изум-

лению, он сказал: повесть фальшивая: в ней не показан протест. — Какой протест? — Протест крестьянина, сидящего в лагере. — Но ведь в этом же вся *правда* повести: палачи создали такие условия, что люди утратили малейшее понятие справедливости и под угрозой смерти не смеют думать о том, что на свете есть совесть, честь, человечность. Человек соглашается считать себя шпионом, чтобы следователи не били его. В этом вся суть замечательной повести — а Катаев говорит: как он смел не протестовать хотя бы под одеялом. А много ли протестовал сам Катаев во время сталинского режима? Он слагал рабьи гимны, как и все».

Эти «все» снова собрались вместе 7—8 марта 1963 года в Екатерининском зале Кремля. Хрущёв преобразился: не было больше хлебосольного хозяина, кормившего несколько сот человек обедом из семи блюд, не было покровителя талантов. Наставник советской литературы и друг художников предстал свирепым чудищем и угрожающе прорычал: «Всем холуям западных хозяев — выйти вон!» (это значило: тем, кто собирается информировать западные агентства, лучше этого не делать, иначе ответят по закону об охране гостайн). Новая встреча отменяла вредное понятие «оттепель» и обещала морозы для врагов партии. Лозунги про «все цветы» и «сосуществование идеологий» объявлялись враждебными. Бонзы предупреждали, что власть они ни с кем делить не будут. Интеллигенции вменялось в обязанность самой бороться за чистоту рядов. Мастера искусств ответно требовали извести душок либерализма в творческих союзах. Редкие оппозиционеры, которых допустили выступать, были так осторожны и уклончивы, что казалось, будто они твёрже самой власти. Два дня репетировали старую как мир идею: кто не с нами, тот против нас. Сначала атаковали маститых либералов, потом — запугивали молодняк. Затопали Вознесенского, зацыкали Аксёнова, обуздали средних и промежуточных. И уже звучало страшное слово «контрреволюционер»: «верные» требовали возвратить в литературу меч диктатуры пролетариата, распалённый Хрущёв нервно выкрикивал: «По врагам — огонь!.. Судьёй будет партия!.. Сталин звал на борьбу с врагами!.. У меня были слёзы на глазах, когда мы его хоронили!.. Бразды правления не ослаблены!.. Не пустим на самотёк!.. Во всех издательствах — наплыв рукописей о тюрьмах и лагерях. Опасная тема! Любители жареного накидываются! Но — не каждому дано справиться с такой темой. Тут — нужна мера. Что было бы, если б все стали писать?.. На такой материал, как на падаль, полетят огромные жирные мухи...»

«В руинах дымился весь XX съезд, — вспоминал Солженицын ту встречу. — Сейчас внеси портрет Сталина, объяви Никита: “На колени перед портретом!” — и все партийные повалятся, и вся когорта повалится радостно, — и остальным куда ж деваться? Попробуй, устой!» Уже никто не искал знакомства с недавним фаворитом в перерывах, никто не торопился пожать ему руку. Ускользал Лебедев, отрешённо скрываясь за нужной дверью. В кулуарах прошёл слух, будто Шолохов и Кочетов готовятся раздавить «Ивана Денисовича», но, в уважение к Никите, их не выпустят... «Разговоров много, — записал 7 марта Чуковский. — Говорят, будто Шолохов приготовил доклад, где будут уничтожены “Новый мир” с Твардовским, будет уничтожен Солженицын, будет прославлен Ермилов, будет разгромлена интеллигенция и т. д.». А интеллигенция восприняла встречу в Кремле как реакцию по всему фронту, откат от двух съездов и реставрацию сталинизма. «После “встречи” не пишется, не читается, — замечал Лакшин. — Вокруг растерянность, уныние. Перепуганные интеллигенты ещё пуще запугивают друг друга».

Вопрос о постановке «Оленя» отпал сам собой. Лебедев объяснил и автору, и режиссёру, вызванному на беседу, и своему патрону Хрущёву (в специальной справке от 22 марта), почему пьеса не подходит для сцены: это именно тот материал, на который в театр тучами полетят *огромные, жирные мухи*, то есть отечественные обыватели и западные корреспонденты. К тому же в этом исправительно-трудовом лагере почему-то не видно исправляющихся...

Всё, что сквозь зубы поздравляло Твардовского три месяца назад, после «встречи» мстительно показало когти. Публикации «Нового мира» именовали злостным очернительством; журнал называли «сточной канавой», собирающей всю гниль в литературе. Травля достигла апогея на пленуме Союза писателей СССР; Твардовский не выступал, ибо общий настрой понял точно. «Повеяло чем-то жутко знакомым: ты не хочешь, но ты должен выступить и должен сказать не то, что ты думаешь, а то, что мы хотим, и выступишь, и скажешь, но что бы ты ни сказал, мы назовём это “попыткой уклониться”, и чем более ты будешь готов “признать” и “заверить”, тем беспощаднее мы тебя растопчем, отплатим тебе и за речь на XXII съезде, и за Солженицына, и за строптивость, и за твои удачи, и за всё, но, пожалуй, более всего за Солженицына...»

Реваншисты жаждали кровопускания и так торопились, что ТАСС вынужден был опровергнуть слух, будто Твардовский снят с должности (23 марта «Нью-Йорк таймс» сооб-

щил о назначении Ермилова на его место). Жалить «Матрёнин двор», не имевший верховных санкций, было проще — с него и начали. Бдительный взор разглядел печать безысходности, пессимизма и затхлости; партийные сердца испытали душевную горечь. Ведь автор исказил историческую перспективу, перепутал бунинскую деревню с советской, критическим реализмом подменил социалистический. Чуткие к перемене погоды собратья по перу требовали рассказа о революционных изменениях, происшедших в крестьянском сознании. Из Москвы критика «Матрёны» перенеслась в Рязань: столичные эмиссары громили учителя-постояльца, не сумевшего очистить хозяйскую избу от крыс и тараканов. Автора «Матрёны» приглашали выглянуть за гнилой забор, увидеть цветущие колхозы и показать передовиков труда — истинных праведников своего времени («Нашёл идеал в вонючей деревенской старухе с иконами и не противопоставил ей положительный тип советского человека!» — негодовал осенью 1963-го сосед Чуковского по Барвихе маршал Соколовский. Другой вельможа говорил Корнею Ивановичу: «Я депутат той области, где живёт Матрёна. Ваш Солженицын всё наврал. Она совсем не такая»). Поиски уязвимых мест «Ивана Денисовича» вскоре тоже дали результат — и оказалось, что кусать можно и эту высочайше одобренную вещь. Во-первых, социально-классовые критерии подменены общегуманистическими. Во-вторых, герой похож на Платона Каратаева, примиренца, и покоряется обстоятельствам. А нужен герой пытливый и действенный. В-третьих, не показаны «тайные партсобрания зэков», к которым мог бы прислушаться Иван Денисович...

И наступал на пятки новый партийный форум — июньский Пленум ЦК по вопросам культуры и идеологии. По инерции славы Солженицын был зван и сюда, и Твардовский считал, что надо идти, иначе *свора* подумает, будто фаворит упал в значении, а это вредно для «Нового мира». Следовало ехать и в Ленинград, на симпозиум Европейской ассоциации писателей. Однако стать декорацией придворно-партийного театра и *так* распорядиться своей свободой Солженицын не хотел. Представлять советскую литературу и не сметь сказать ни одного своего слова — нет, неколебимое «нет». От одного форума отбился, от второго — просто сбежал.

Газетный лай нисколько не уязвлял Солженицына: в *этой* печати его больше задевали и позорили недавние чрезмерные похвалы. Своё положение он считал превосходным: впервые в жизни можно было в любой сезон писать, живя у

реки или в лесу. «Не мешают писать — чего ещё? Свободен — и пишу, чего ещё?» В начале лета Чуковский впервые принимал литературного крестника у себя в Переделкине и радовался, как легко тот взбежал по лестнице и как молодо потом мчался догонять поезд, изо всех сил, сильными ногами, без одышки: «В лёгком летнем костюме, лицо розовое, глаза молодые, смеющиеся». А. И. рассказывал о тюремных годах, о лекциях в Бутырках, о своей болезни; вместе смотрели «Чукоккалу», потом стояли у могил Пастернака и Марии Борисовны, покойной жены Корнея Ивановича. Гость был «лёгкий, жизнерадостный, любящий». А с обложки «Роман-газеты» смотрело грустное, усталое, укоризненное лицо...

Но он действительно ощущал необычайную лёгкость. В конце зимы перепечатал для Твардовского несколько глав «Дороженьки». Весной в Солотче, в номере гостиницы бывшего монастырского дома на берегу Старицы, а потом в отдельном домике на опушке леса, отрешившись от московской и рязанской суеты, газетного бреха, журнальных дрязг, отрезанный от всех, он писал, думал, гулял по лесу, впервые в жизни от начала до конца видел ледоход. Пора было собирать материалы к «Архипелагу» и к роману о революции, своей заветной цели. Пришла мысль написать повесть или роман об онкологическом прошлом. И ещё в Рязани был задуман рассказ о техникуме, который строили студенты: и тема, и разработка как будто подходили для «Нового мира». И в самом деле — отданный в редакцию в начале мая рассказ «Для пользы дела» был встречен в журнале как *проходной*, с большим одобрением, и пошёл в печать гладко, без заминки. «Новый рассказ Солженицына — сила. Того, что там на 1,5 листах, хватило бы на "острый, проблемный" роман типа Г. Николаевой», — считал Твардовский. Но автор видел в *таком* успехе верный признак неудачи. «Противный осадок остался у меня от напечатания этого рассказа, хотя при нашей всеобщей запретности даже он вызвал немало возбуждённых и публичных откликов. В этом рассказе я начинал сползать со своих позиций, появились струйки приспособления». Неудачей назвала его и официозная критика, только по другим причинам: новый рассказ архаичен, как и «Матрёнин двор», люди даны вне реальных жизненных связей, автор привержен этическим абстракциям, идеалистической концепции добра и зла; там — «праведница» (это слово особенно раздражало рецензентов), здесь «маленькие люди», расшибающие лбы ради такой схоластики, как справедливость.

Лето 1963-го было наполнено такими яркими, живыми впечатлениями, что он не слишком горевал из-за неудач.

Прочёл залпом «Мастера и Маргариту». Три недели был в Ленинграде и работал в Публичке, поглощая спецхрановские книги. Благодарно навестил на даче Дмитрия Сергеевича Лихачёва, сказавшего доброе слово об «Одном дне». Был у Ахматовой, на этот раз с женой, и Наталья Алексеевна видела, как высоко ценит мужа первая дама русской поэзии. Впечатляющей получилась встреча с отставным генералом Травкиным, бывшим комбригом, пожелавшим счастья капитану Солженицыну в момент ареста. Захар Георгиевич специально приехал из Луги, забрал гостей к себе, вспоминал, как довоёвывала бригада после 9 февраля 1945 года. Встречи продолжились в Тарту — сокамерник по Лубянке Арнольд Сузи, Юрий Лотман, знакомый Булгаковой. А потом отдых в Латвии, на хуторе Милды и Бориса Можаевых, у самого моря. Едва вернулись в Рязань, схватились за велосипеды и бежали из города, чтобы укрыться от приглашений на писательский форум. «Если бы мне когда-нибудь сказали, что я отклоню первое предложение встретиться с европейскими писателями, я бы не поверил!»

Но всё было именно так: Рязань—Михайлов—Ясная Поляна—Епифань—Куликово поле—река Ранова—Рязань. Купались во всех встречных реках, пили родниковую воду, на ночлег останавливались в школах, днём отдыхали под деревьями, обедали, где придётся, покупали молоко и яблоки. Кульминация путешествия — в Ясной Поляне, где Солженицына встречали с почётом, оставили ночевать в гостевом флигеле. Впервые он видел дом Толстого, комнаты, парк, представлял, на какой аллее мог встретиться отец с Толстым — это уже был заход на «Р-17».

То великолепное, щедрое лето окажется последним летом семейного мира.

А осенью — опять Солотча, спасительное уединение, ежедневная работа в тишине и в чистом воздухе, лекарство от бессонницы и головных болей, донимающих в городе. «Топлю печь, хозяйничаю. Из приёмника льётся музыка, Александр Исаевич пишет... Уютно. Хорошо. Лучше не может быть. Мужу очень хорошо здесь работается», — вспоминала Решетовская (1990). Приезжал, но не остался пожить Шаламов: гость был настроен на общение, хозяин — на писание и молчание. «Открытой размолвки между нами этот неудачный опыт не вызвал — но и не сблизил никак». Нужно продумывать и начинать «Раковый корпус», готовить «Отрывок» — четыре главы из «Круга», объединённых тематически. «“Женская тема”, которой посвящён отрывок, тяготеет над моей совестью, я считаю её для себя одним из

главных долгов», — пишет он Твардовскому. Александр Трифонович тактично даёт понять, что лагерное содержание в ракурсе «женской темы» под силу многим, кому не под силу то, что по плечу автору «Одного дня». Солженицын понимает, что уже и для «Нового мира» лагерные сюжеты исчерпаны. Не проходит и анонс «Ракового корпуса» на 1964 год: название страшит и может быть принято за символ. Лучше, полагает Твардовский, пусть будут «Больные и врачи». «Манная каша, размазанная по тарелке», — негодует Солженицын.

...Сорокапятилетие А. И. было отмечено необычными дарами. Во-первых, «Москвич», приобретённый на зарубежные гонорары за «Один день». Машину выбрал и пригнал в Рязань... *Цезарь Маркович*, то есть режиссер-документалист Лев Гроссман, прототип, очень любивший списанного с него героя и мечтавший снять фильм о Твардовском. День рождения праздновали вместе и легковушку назвали «Денисом Ивановичем». Во-вторых, стараниями Шундика в квартире на Касимовском был установлен телефон, сразу же засекреченный хозяевами. В-третьих, в самый канун Нового года «Известия» напечатали большой список кандидатов на соискание Ленинской премии. Семнадцатым (из девятнадцати) в списке значился «Иван Денисович», выдвинутый редколлегией «Нового мира» и Центральным государственным архивом литературы и искусства.

«Раньше мне казалось, — писал той осенью Твардовский, — что решающее слово принадлежит самым победительным в своём художественном существе явлениям искусства. Оказывается, это не совсем и не всегда так. Солженицын отнюдь не разоружил тёмную рать, а только ещё более её насторожил».

И всё же, понимая это, он поставил перед собой невыполнимую задачу: добиться присуждения Ленинской премии именно Солженицыну: отважный, отчаянный, безнадёжный вызов всей тёмной рати.

Глава шестая

ВЗЛЁТЫ И ПРИЗЕМЛЕНИЯ, ПАДЕНИЯ И ПРОВАЛЫ...

«Когда расступается в недоумении или сникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше собственного вечера и не знают, что надо делать завтра — Ты снисылаешь мне ясную уверенность, что Ты есть и что Ты позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты».

«Молитва», как свидетельствовал Солженицын, была написана ровно через год после опубликования «Ивана Денисовича», когда автор был *на хребте славы земной*. «В тот год моё имя уже было известно по всему миру, а в Советском Союзе усилялась травля и давление на меня. И, во весь этот период чувствуя всегда, молясь и чувствуя духовную поддержку, выше, чем от наших человеческих сил, я написал эту молитву, оценивая разные варианты, что может теперь со мной произойти. Может быть, вот это и конец; может быть, вот это и всё».

Сотворённая в конце 1963 года «Молитва» менее всего относилась к перспективам получения Ленинской премии. Солженицын трезво оценивал оба результата — один укрепит и даст выигрыш во времени, другой обнажит истинную расстановку сил в литературном сообществе. В январе 1964-го Твардовский говорил ему с тревогой: «Огромный запас ненависти против вас». «Это за первый только год, как обо мне узнали вообще!» Но за делом как-то неохотно думалось о ненависти и ненавидящих. В работе было три большие вещи: роман, начатый еще до «Ивана Денисовича», «раковая» повесть и «замысел отроческих лет» — роман об Октябрьской революции (до 1929 года). Именно так Солженицын обозначил свои вещи, встретившись в январе с Твардовским; при этом «Круг» (35 листов, первые дни и часы после 70-летия Сталина) был открыт для чтения и ждал редактора в Рязани; для «раковой повести» запланирована поездка в Ташкент спустя десять лет после лечения; роман о революции требует сидения в библиотеках Ленинграда.

Удалось поработать и в Москве — в Фундаментальной библиотеке общественных наук и в бывшем Лефортовском дворце. «В 1964, когда я никак ещё не был опалён, открыто работал в Военно-историческом архиве — в книге посетителей увидел мою подпись Юрий Александрович Стефанов, подошёл поблагодарить меня за “Ивана Денисовича” и предложить свою помощь по архивам». Стефанов, обладая высочайшими архивными навыками, неоценимо помог развёрнутыми справками об отдельных частях и личностях старой русской армии, о казачестве. Были найдены документы о местах службы отца и даже о церкви в Белоруссии, где венчались родители.

Поездка в Ленинград (помимо спецхрана Публички, планировалась студийная запись «Ивана Денисовича» в авторском исполнении) должна была существенно продвинуть работу по «Р-17». И была уже в *Петрограде* верная помощница — Елизавета Денисовна Воронянская, одна из тех, чьё

письмо об «Одном дне» было замечено; завязалась переписка, Е. Д. предлагала даже не помощь, а служение: «Располагайте мной, как искреннейшим и преданнейшим другом. Жду со страстным нетерпением Вашего звонка. Жму Ваши волшебные руки художника и надеюсь, что смогу сделать это наяву». В июне 1963-го они встретились. «Уже на первую за тем зиму я попросил её просматривать редкие издания 20-х годов, отбирать штрихи эпохи и факты для будущего Р-17 (я торопился и широко тогда размахнулся на новую книгу, собирал материалы на все двадцать Узлов сразу, не представлял, что всей жизни не достанет на этакое). Она неплохо справилась с этой работой».

Петроград властно удерживал его почти весь февраль...

Тем временем в Москве разгорались премиальные баталии. Комитет по премиям учитывал, какие учреждения выдвинули кандидата, сколько получено писем, сколько и где напечатано статей. Простая арифметика показывала, как перекошены все пропорции. Только на одного «Ивана Денисовича» к началу 1964 года было получено восемьсот писем (а всего автору прислали за первый год его публичности 1200 посланий, не считая бандеролей и деловых корреспонденций) и опубликовано свыше сорока статей. Однако кроме «Нового мира» и ЦГАЛИ (в тот момент А. И. даже не знал о существовании такого учреждения) его не выдвинул никто*, а Союз писателей намеренно провалил его кандидатуру с тем еще припевом, что «личное мнение Никиты Сергеевича в данном случае не обязательно».

Тёмная рать выражала недоверие «Новому миру» за публикацию читательских писем и настаивала на своём праве не видеть в Шухове героя времени. Январский номер «Нового мира» вышел со статьёй Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги», и автор тут же был приглашён на дискуссию о критике. Однако кочетовцы «выли по-волчьи» вокруг одной лишь работы. «Хуже всех были “либералы” и сочувствующие, — писал в те дни Лакшин. — Многие подходили ко мне в перерыве, прочувственно жали руку, приветствовали, хвалили статью, но никто, ни один человек не выступил». «Литературка» яростно отбивалась от понятия «недруги», требовала различать «недругов» повести и «недругов» её героя. Механизмом сознательного лицемерия

---

* Так, трилогия Г. Серебряковой о К. Марксе «Прометей» была представлена Союзом писателей РСФСР, издательством «Художественная литература», журналом «Дон», Институтом литературы и искусства имени М. Ауэзова АН Казахстана, Новосибирским монтажным техникумом, Управлением гидрометеослужбы центральных областей и т. д.

назовёт Лакшин эту манеру ведения литературной атаки. «Очевидно, что *пока* не с руки бить повесть, одобренную Н. С. Хрущёвым и выдвинутую, как-никак, на Ленинскую премию. Но набросить тень на этот "феномен" можно. Можно ударить по ней рикошетом, браня её защитника и в позе бесстрастного арбитра солидаризуясь с её критиками. Те, кто вскоре начнут изымать повесть Солженицына из библиотек, вымарывать любые упоминания о нём, свертывать едва начавшуюся критику сталинской эпохи, пока что фальшиво сердятся на то, что кто-то посмел искать "недругов Ивана Денисовича" — жертвы культа личности. Где вы их увидели? Помилуйте, их нет! Решительно все ходят в "друзьях", и разве что некоторые освобождают повесть от ореола исключительности».

Нечаянной радостью явилась известинская статья В. Паллона «Здравствуйте, кавторанг!». Тот самый Буйновский, то есть Бурковский Борис Васильевич, с четвертным сроком от Сталина и ледяным карцером от Волкового (читатель «Одного дня» не знал, уцелеет ли кавторанг после БУРа), был жив, реабилитирован, проживал отставником в родном Ленинграде и служил начальником филиала Военно-морского музея на крейсере «Аврора»! Твардовский был глубоко взволнован — так, как если б вдруг обнаружились неизвестные страницы повести. Наличие подлинного Буйновского было драгоценным подарком всем читателям: оказывается, ещё летом 1962 года среди экскурсантов, пришедших на крейсер, был и автор повести (ещё не опубликованной), они узнали друг друга, обнялись, расцеловались, обменялись адресами, переписывались... И теперь кавторанг под своим собственным именем называл повесть лагерного товарища «хорошим, правдивым произведением», хотя и не помнил Ивана Денисовича Шухова. «Лучшей похвалы автору и желать нельзя», — считал Маршак; в конце января «Правда» дала «подвал» с его статьёй. «Повесть правдива, строга и серьёзна... В сущности Александр Солженицын написал повесть не о лагере, а о человеке... Люди как бы держали труднейший экзамен... Выдержат — выживут...»

19 февраля Комитет по премиям сообщил, что для дальнейшего обсуждения отобраны семь кандидатур: Гончар, Гранин, Исаев, Первомайский, Серебрякова, Солженицын, Чаковский. Твардовский надеялся, что А. И. получит премию несмотря ни на что, ибо это вопрос принципиален для литературы. Он искал союзников, жаловался Лебедеву, сочинял статью об «Иване Денисовиче» и хотел поставить все точки над i. Он страдал, что критика высокомерна, говорит

о Шухове и «людях из-за проволоки» как о мире, с которым у неё нет ничего общего, ведь «у нас зря не сажают». Он гневно отметал аргумент, будто присуждать премию за такую вещь невозможно. «Эта повесть — один из предвестников того искусства, которым Россия ещё удивит, потрясёт и покорит мир...»

Однако линия «не тот герой» упорно брала верх. 7 апреля на секциях определяли список для тайного голосования. Писатели национальных литератур — Айтматов, Гамзатов, Стельмах, Токомбаев, Зарьян, Карим, Марцинкявичюс, Лупан, — а также Твардовский голосовали «за». С ними — вся целиком секция драматургии и кино. «Против» — «бездарности или выдохнувшиеся, опустившиеся нравственно, погубленные школой культа чиновники и вельможи от литературы» (как аттестовал противников Твардовский): Грибачёв, Прокофьев, Тихонов, Анисимов, Марков, министр Романов, композитор Хренников. Космонавт Титов «сказал нечто совершенно ужасное с милой улыбкой “звёздного брата”: “Я не знаю, может быть, для старшего поколения память этих беззаконий так жива и больна, но я скажу, что для меня лично и моих сверстников она такого значения не имеет”».

Итак, в список для тайного голосования «Иван Денисович» прошёл *вопреки* голосованию русских писателей (факт пророческий, напишет позже А. И.). На пленарном заседании комитета Твардовский просил оставить Солженицына в списке для тайного голосования, ибо это вопрос совести. И тут же получил удар в спину: первый секретарь ЦК комсомола Павлов заявил, что Солженицын сидел в лагере не по политическому делу, а как уголовник!* «Неправда!» — крикнул Твардовский. Но поразительно: два года продвигая автора «Ивана Денисовича», он не знал обстоятельств его посадки, статьи, срока. Немедленно был вызван Солженицын и спрошен, за чтó, по какой статье, и получен чёткий по-военному ответ: 58-10, часть 2 и 58-11; реабилитирован за отсутствием состава... Немедленно была запрошена Военная

---

* Следы этой «специальной акции» сохранились в поздних (2002) мемуарах В. Семичастного. «Во время Великой Отечественной войны Солженицын был на фронте и не проявил себя как настоящий патриот. В напряжённой обстановке, какой является война, совершенно ясно, что власти вводят строгую цензуру и карают за проявления безответственности. В 1945 году Солженицын был арестован за пораженческие настроения и за то, что в своих письмах расхваливал немецкую армию и немецкую технику. Поэтому, я считаю, был Солженицын осуждён совершенно логично и с полным основанием».

коллегия Верховного суда и получен документ о реабилитации. Как только открылось заседание комитета, Твардовский доложил, что располагает фактами, опровергающими обвинение Павлова. Тот потребовал оглашения — и нарвался: в документе значилось, что, переписываясь на фронте с другом, капитан Солженицын осуждал культ личности Сталина и ругал книги советских авторов за ангажированность и лживость. Пригвождённому Павлову пришлось извиниться, но это уже ничего не меняло. Подлый приём был разоблачён, но не утратил своего первоначального назначения: опорочить автора, если не удастся опорочить героя.

11 апреля, в день голосования, «Правда», напечатав обзор писем, дала указание забаллотировать кандидата с его «уравнительным гуманизмом», «ненужной жалостливостью», непонятным «праведничеством» — всем тем, что мешает «борьбе за социалистическую нравственность». Партгруппу комитета обязали голосовать против Солженицына. В редакции «Нового мира» Р. Гамзатов рассказывал, как выговаривала ему Фурцева: «Товарищ Гамзатов притворяется, что он маленький, и не понимает, какие произведения партия призывает поддерживать». Голосование с предрешённым исходом Твардовский называл *гнусным делом*: тот факт, что премия принадлежит Солженицыну, подтвердили его враги, рискнувшие пойти на прямую ложь и фальсификацию. «За» — двадцать, «против» — пятьдесят; с таким счётом вывели «Ивана Денисовича» из списка, но нужных голосов никто не собрал. «Нате вам, — торжествовал Твардовский, — он всех за собой в прорубь утянул!» Но далее — был стыд и срам: собрали комитет и *заставили* переголосовать хотя бы за тех, кто немного недобрал голосов: в фавориты вышел Олесь Гончар с «Тронкой».

«Что же, собственно, произошло и происходит? — размышлял Твардовский. — То, что подступало уже давно, издалека, сперва робко, но потом всё смелее — через формы "исторических совещаний", печать, фальшивые "письма земляков" и т. п. и что не может быть названо иначе, как полосой активного, наступательного снятия "духа и смысла" XX и XXII съездов». Лебедев был огорчён, говорил, что упустил что-то из виду, чего-то не предпринял, а «*они* не упустили». Позже многим участникам борьбы станет ясно, насколько она была связана с падением Хрущёва. Но уже и тогда в Москве, как писал А. И., «поговаривали, что эта история с голосованием была репетицией "путча" против Никиты: удастся или не удастся аппарату отвести книгу, одоб-

ренную самим? За 40 лет на это никогда не смелели. Но вот осмелели — и удалось. Это обнадёживало их, что и Сам-то не крепок».

Однако Сам, как догадался Твардовский, действительно не хотел, чтобы «Иван Денисович» получил премию, опасаясь, что это сочтут указанием сверху. Подобная щепетильность делала бы честь Никите, если бы не свидетельствовала о нежелании раздражать *кого-то*, кого он имел основания бояться. А эти *кто-то* безошибочно чуяли чужака, которого нельзя пускать в круг избранных, равнять с советскими корифеями; инстинкт подсказывал верно: нельзя сохранить систему и своё в ней положение *вместе* с Солженицыным. Нельзя встроить его в систему, оставив её нетронутой. Пока он пребывал на периферии общественной жизни, его можно было терпеть. Но своими руками узаконить его центровой статус, ведущее положение в литературе (то есть в идеологии) значило поставить под сомнение самих себя. Те, кто в апреле 1964 года голосовал против Солженицына, осознавали: при *таком* властителе дум, да еще и признанном официально, все они — банкроты. Надо было делать выбор. Хрущёв запустил механизм преобразований, и «Один день» стал его символом, однако даже частичное смягчение системы вело к её разлому. Те, кого в 1964-м опасался Хрущёв, разглядели в авторе повести детонатор цепной реакции и сделали всё, чтобы процесс остановить или хотя бы замедлить. И в любом случае приструнить «Новый мир».

А. И. воспринимал события вполне трезво. Из дневника Лакшина (12 апреля 1964 года, *до* решающего голосования): «Забегал на днях Солженицын. Говорит о премии: “Присудят — хорошо. Не присудят — тоже хорошо. Но в другом смысле. Я и так, и так в выигрыше”». «Сам я просто не знал, чего и хотеть, — писал Солженицын позже. — В получении премии были свои плюсы — утверждение положения. Но минусов больше, и главный: утверждение положения — а для чего? Ведь *моих* вещей это не помогло бы мне напечатать. “Утверждение положения” обязывало к верноподданности, к *благодарности*, — а значит не вынимать из письменного стола неблагодарных вещей, какими одними он только и был наполнен». Зимой был закончен облегчённый «Круг»: хотя вместо непроходимой (но истинной) «атомной» телефонной плёнки в романе из 87 глав фигурировала плёнка «лекарственная» (придуманная), риск обнаружить роман даже и перед Твардовским казался автору не меньшим, чем отдать «Щ» осенью 1961 года.

В тот короткий отрезок времени, пока создавалась «лекарственная» версия «Круга», собирались материалы для «Р-17», совершалась поездка в Ташкент, ожидался визит Твардовского в Рязань, в семейной жизни Солженицына произошёл роковой разлад.

То, что случилось зимой в Ленинграде, имело предысторию. Летом 1963-го Рязань перестала быть для писателя прибежищем; он рвался спрятаться от журналистов и почитателей. Когда некая дама из Ленинграда, доктор наук и профессор математики, приехала в Рязань без письма и приглашения, чтобы поблагодарить автора «Одного дня» за повесть, о которой говорит вся страна, писателя и его жены в городе не было. Учёную даму, однако, это не остановило: раздобыв адрес известного в Рязани человека, она познакомилась с тёщей и задала ей множество вопросов. Мария Константиновна доверилась сорокадвухлетней визитёрше и рассказала о зяте, не обойдя стороной и его болезнь. Уходя, посетительница оставила телефон и письмо к А. И. с обратным адресом. Вернувшись из летних поездок, он приобщил письмо к другим (оно попало в папку № 21 «мир учёных», а всего папок было уже пятьдесят) и... не то чтобы забыл о нём, а просто не отвечал до самого своего февральского *Петрограда*. Приехав же, позвонил — точно так же, как звонил Воронянской и прочим корреспондентам, чьи письма взывали к ответу.

С дамой-профессором вышло нечто совершенно другое. «В 1964 году у меня возникла любовная история в Петрограде. Когда я вернулся домой, у меня было очень тяжело на сердце. Надо было тут же ехать в Ташкент, и Наталья Алексеевна поехала со мной. Там, в Ташкенте, я имел неосторожность, глупость открыто ей всё сказать. С этого и начался разлад».

Любовное увлечение февраля 1964 года и возникший конфликт будут ярчайше описаны в «Красном Колесе» применительно к обстоятельствам 1916 года и отданы героям — полковнику Воротынцеву, его жене Алине и его возлюбленной, тридцатисемилетней Ольде Орестовне Андозерской, профессору истории, специалисту по западному средневековью. Всего девять дней продлился их петербургский роман — от первой встречи до прощания, но так дорога была полковнику забытая радость мгновенной влюблённости, так ново счастливое, полыхающее возбуждение, так ослепительна вернувшаяся молодость, так ошеломительна и она, Ольда. Трогательно маленькая, стройная, легкая, как статуэтка, темноволосая неяркая женщина с вкрадчивым, певучим,

льющимся, ручьистым голосом, оживавшим в телефонной трубке нежным пением. Она говорила тихо, но убежденно и убедительно; владела мыслью, словом — и знала это. Свободная от семейных уз, талантливо чувственная, многоопытная, непредсказуемая, с новизной в каждом жесте, *Ольженька* смотрела на полковника с таким восхищением, что каждый миг он чувствовал себя не простым смертным — Атлантом. А ещё и неотразимая спорщица, ровня в любом серьёзном разговоре. Первый вечер с ней рассёк его жизнь на две части: «Только блаженство и благодарность к этой женщине затопляли его». Вернувшись в Москву, он не смог солгать Алине: «Человек человеку — неужели не может сказать правду?» И его *несло* говорить об Ольде — умная, широко образованная, сложная, духовно-напряжённая, не склоняется перед господствующими мнениями, имеет самостоятельные, глубокие взгляды... Алина была низвержена. «Она так хотела хорошего! — славненькой, светленькой, ровной, уютной жизни, — а горе свалилось и всё передавило... Она перестала быть Несравненной! Она перестала быть Единственной!»

...Объяснение с Натальей Алексеевной произошло в Ташкенте. Но ещё из Ленинграда были телеграмма Воронянской, 13 февраля («Умоляем разрешить задержаться неделю»), и письмо от мужа: не хватает дней, не укладывается в сроки. Поражало, что, пробыв двадцать дней в Ленинграде, он не торопится к её дню рождения, 26 февраля, праздновать который стало незыблемой традицией. Если бы не внезапный грипп, она бы сама помчалась в Ленинград: «Я же была женой зэка. Что меня остановит? Колючая проволока?» 15-го дала телеграмму: «Надо решить ты Рязань мы Москву я Ленинград звони телеграфируй». Через день пришёл ответ ещё невнятный, но в следующей телеграмме назначалась встреча на 25-е, в Москве. Он старался снять напряжение, но временами впадал в задумчивость и отрешённо молчал. Были у Теушей; наблюдательная Сусанна Лазаревна спросила Наташу, не опасается ли та, что муж увлёкся кем-нибудь — ну хоть актрисой из «Современника». «Это исключается. Его творчество — моя единственная соперница».

В Рязани его отчуждённость только усилилась: дома всё раздражало, он не находил себе места. 17 марта выехали поездом в Ташкент. Он вёз заготовки к «Раковому корпусу» — всё, что смогла удержать память. Удастся ли собрать больше того, что пережито самим? Предстояло общение с врачами-онкологами, участие в обходах, уточнение медицинских тер-

минов, лекарств, методик. Встречи с заведующей отделением Л. А. Дунаевой (Донцовой) и лечащим врачом И. Е. Мейке (Вегой) получились плодотворными и сердечными, так что поездка не обманула. Но он вынес твёрдое убеждение, что «собирать материал» можно только своим горбом, иначе ты — сторонний наблюдатель, перед которым все притворяются. «Раковый корпус» мог быть написан, поскольку был вынесен на себе.

Решающее объяснение выпало на 23 марта.

«В нашем доме совершено предательство. Мама слишком откровенно говорила с одной из посетительниц о моей болезни.

— Как ты можешь быть в этом уверен? Кому она сказала?..

Муж назвал фамилию. Я растерялась. Этой женщине, профессору из Ленинграда, я склонна была доверять, хотя знала её только по письмам. Но меня поразила другая мысль: "Как она могла тебе сказать такое?.. Разве женщины с мужчинами на такие темы говорят?.. Она... влюбилась в тебя? Ты с нею... близок?"

— Да».

Мир Натальи Алексеевны внезапно рухнул: она перестала быть единственной и несравненной. Успев прочно войти в амплуа писательской жены, она уже умела громко, с апломбом рассуждать о литературе, считала себя музой гения, гордилась, что Надя Нержина списана с неё, и готовила себя к роли биографа своего великого мужа (В. В. Туркина вспоминает о тетрадке с разделёнными вдоль страничками, которую завела Наташа. Слева стояло: «Л. Толстой», справа: «А. И.». «Слева заносились черты характера, о которых было вычитано в мемуарах, справа, соответственно, ставился прочерк или плюс. Себя она сравнивала с Софьей Андреевной Толстой и воспринимала её мемуары как руководство к действию»).

Ташкентское объяснение вышло тягостным. Солженицын уверял, что его чувства к жене и к *той* женщине — *разные*. А ей чудилось, что муж твердит о *разных* сочинениях. «Она буквально сказала мне, — вспоминал Солженицын (2007): "Ты написал *на мне* один роман, теперь напишешь *на другой* — другой". Вот это выражение: "*Ты написал на мне роман*" — точно выражало её мысли. Она считала, что "Круг первый" не существовал бы без неё, что всё дело в ней как в центральной фигуре». Он тяжко ощущал свою вину, жалел жену, а ей казалось, что он наблюдает, разглядывает, изучает её. Она предупредила, что переживания не вмещаются в сердце и она будет записывать — так ей легче справиться с

собой. Он не возражал. Позже она не раз скажет, что муж-писатель *побудил* её вести дневник, регистрировать страдания — это, мол, хороший литературный материал*, и что, презрев женскую гордость, она согласилась снова стать для него моделью, «натурщицей». Ей чудилось, что он сравнивает её, провинциального доцента, с возлюбленной, выдающимся учёным. А она, жена-«душечка», посвятившая себя его делу, осталась у разбитого корыта. Они гуляли по зоопарку (здесь, выйдя из онкоцентра, десять лет назад бродил ссыльный Солженицын, сюда в романе придёт и Костоглотов), ездили в Самарканд, а она во всём видела подвох, обидные намёки, и всё мутное, скверное, даже пошлое, что рождалось в раздражении, приписывала ему, ответчику... Десятки раз просила у мужа разрешение «уйти совсем»: угрозой самоубийства рассчитывала держать его сколь угодно долго. «Как заходил у нас спор, она говорила, что покончит с собой, и смерть её ляжет на меня».

Рязань их ничуть не примирила; Наталья Алексеевна перестраивала квартиру, чтобы жить в разных комнатах, пока муж не выберет — она или *та*. Ездила в Москву: Теуши и Штейны стали посредниками в этой драме. «Наташа лежала в нашей маленькой комнате и сутками рыдала, — вспоминала сестра. — Мы метались, не знали, как помочь... Я увиделась с Саней, выговаривала ему в отчаянии, сама ужасалась тому, что говорю: “Пока ты тут пишешь свои опусы (!!!) — человек страдает”. Он со всем кротко и горестно соглашался. “Но не двинуться, не ринуться, не броситься — слишком крепко я привязан — не уйти”. Саня не ушёл. Но постепенно и неуклонно их жизнь стала превращаться в ад».

В Москве ещё гремели события вокруг премии. Горько переживал своё поражение Твардовский, хотел демонстративно выйти из комитета, покинуть журнал, но не вышел и

---

* «Помню, осенью 69-го года, — писала (1975) Решетовская, — после исключения Солженицына из Союза писателей я сожгла конверт с этими записями и письмами тех недель — тот самый, на котором рукой мужа было написано: “Наша злополучная история”. Сожгла, чтобы никогда не увидели этих строк чужие глаза». «Никогда никаких записей не видел, никогда этого дневника в руках не держал. Был ли он? Наверное, был, но сколько его было, и когда она его уничтожила, я не знаю» (Из пояснений А. И. Солженицына, 2007 год). Сохранившийся дневник Решетовской, который она вела на страницах перекидных календарей с 1963 по 1969 год, включает и ташкентские записи от 18—25 марта 1964 года, однако следов драматического объяснения в них нет. Из записи 23 марта видно, что А. И. целый день провёл в городском онкодиспансере, а Н. А. днём гуляла по городу, посетила два музея, общалась (вместо А. И.) с корреспондентом «Ташкентской правды».

не покинул — уговорили родные и коллеги. «Нужно терпеть и тянуть, тянуть свой воз, пока есть хоть малая возможность — другое дело, если силком выпрягут... А покамест — нет». 30 апреля автор и редактор вместе ходили на фотовыставку Лебедева, устроенную на Кузнецком Мосту: рядом с Маршаком и Фединым была выставлена фотография Солженицына — либеральная Москва, учитывая провал с премией, сочла это *поступком*. Новомирцы, наблюдая, как всегда спешит Солженицын, как нетерпеливо смотрит на часы, называли его «маньяком утекающего времени», который боится не написать всего, что задумано. И конечно, никто из них не знал, какую бурю только что пережил «маньяк» — совсем не премиальную и не политическую... «Тогда трещина склеилась на ещё шесть мучительных лет», — скажет он позже. Но работа держала, не отпускала — крепче любых цепей; отнимала и все силы, и всё время. Кризис как будто миновал, смятение чувств было подавлено, «той женщины» в его жизни больше не было.

2 мая, на Пасху, Солженицын принимал в Рязани Твардовского: на очереди был «Круг». История нескольких майских дней, пока редактор читал рукопись на дому у автора, да ещё с ночлегами, застольями, чайком и коньячком, ночными беседами, тайными признаниями, смехом сквозь слёзы, чувством опасности и восторга, — история эта будет детально рассказана в «Телёнке». Александр Трифонович был захвачен дымящимся романом, забывал, что должен принять ответственное решение, простодушно смеялся над одними страницами, плакал над другими, жалел Симочку, влюблённую в Нержина, жалел и Надю, переживал за Бобынина, перебирал подробности зарешёточной жизни, размышлял о главах про Сталина и Абакумова. Искренне полюбив роман как читатель, он решил печатать его как редактор.

Из дневника Лакшина: «Впечатления А. Т.: это “колоссаль”, настоящий роман, какого не ждал прочесть, замечательная книга». Записал впечатление и Твардовский, предвкушая, как будут читать роман друзья и недруги. «И всё-таки, всё-таки, как их тряхнёт этот роман, именно роман — всех толкующих на разные лады об отмирании жанра. Именно роман, т. е. произведение, обнимающее своим содержанием целую эпоху в жизни общества, взятую с её трагической и самой исторической стороны. Роман, несомненно опирающийся на традицию, но отнюдь не рабски и не ученически, а свободно и дерзновенно гнущий своё, забирающий круче и круче. Другие, как и я, заметили, что где-то вблизи есть Достоевский (энергия и непрерывность изло-

жения с редкими перевздохами), но это и не Достоевский не только по существу дела, мысли, но и по письму, никакой не Достоевский. Только бы дал господь!»

Его сильно беспокоили сталинские главы, «съёмные», как назвал их он ещё в Рязани. «Без них всё становится не беднее содержанием, но свободнее, необязательнее, т. е. художественнее. И вся суть в одном-единственном секрете: авторская ненависть к Сталину, вполне понятная сама по себе, не опирается на такое знание личности, обстановки и обстоятельств в данном случае, как во всех других случаях, когда он, автор, знает то, о чём ведёт речь поистине лучше всех на свете». Автор, однако, настаивал на своём праве давать картину так, как он её видел и понимал.

Через две недели Солженицын привёз в редакцию «Круг», напечатанный, как всегда, «пещерно», то есть с двух сторон, без интервалов и полей. Пока шла перепечатка и читала редколлегия, кончился май. Обсуждение было назначено на 11 июня, длилось четыре часа, и Твардовский, заставив высказаться всех («привёл к присяге»), буквально выдавил из редколлегии согласие, доказывая, что «Круг» не колеблет социализма, не подрывает устои, не обессмысливает революцию (ему возражали, что роман повергает в растерянность и сомнение; несёт горькую тяжёлую сокрушительную правду, которую трудно вынести человеку с партийным билетом, тем более что правда эта выходит за пределы культа личности; что Рубин — карикатура на марксиста, а на воле мало хороших людей). С автором заключили договор; это было и кстати, и приятно, но к продвижению романа в печать отношения не имело. Ничего иного, кроме как обратиться к Лебедеву, Твардовский не мог: в конце июля помощник Хрущёва получил экземпляр.

Чуткий к колебаниям воздуха Лебедев читать не спешил, но через месяц всё же вернул рукопись. «Прочтя “В круге первом”, я жалею, что в своё время способствовал появлению “Ивана Денисовича”», — выговаривал он Твардовскому. Гневно цитировал Нержина, находя в его вольномыслии антисоветчину, убеждал немедля спрятать роман и никому не показывать. Александр Трифонович сдержанно отвечал: «Напрасно жалеете, под старость пригодится. А вот об отношении к этой вещи вы, пожалуй, действительно пожалеете». Вежливо благодарил Лебедева «за всё доброе». Но тот впервые был холоден, отпустил, не вставая с места, не проводил к лифту, не послал приветов супруге Марии Илларионовне. Правда, потом звонил, пытался смягчить конфликт, готов был встретиться с автором, посидеть втроём («мы должны

помочь писателю вылезти из беды»). Решено было роман оставить в сейфе и считать, что автор продолжает работать по замечаниям...

Отчасти это было правдой: за лето нужно было внести в роман поправки и заново перепечатать текст. И уехать прочь из Рязани, найти новую берлогу для просторной работы, о которой бы не знал никто. Летом 1964-го Солженицын вместе с женой отправился в автомобильную поездку — впервые на «Денисе Ивановиче», набив его до отказу, впервые за рулем: накануне были получены права. Воронянская, заведовавшая до пенсии в геологической библиотеке на Мойке, подсказала место, где можно укрыться на два летних месяца — эстонский хутор близ Выру, в озёрных местах, где она уже не раз отдыхала и куда готова была поехать снова. В Москве к путешественникам присоединился Зубов; двигались медленно, с остановками, ночёвками и прогулками — в Клину, Калинине, Торжке, Валдае, Новгороде, Пскове, Изборске. В Печорах проводили Зубова на поезд в Таллин, а сами доехали до Выру, встретили Воронянскую и вместе прибыли на хутор в хвойном лесу. «Там и проработали мы в три пары рук: на хуторе женщины печатали попеременки вариант "Круга"-87, урезчённый во многих мелких чёрточках, а я жил на сосновой горке поодаль — для работы был врыт стол, для проходки проторилась тропа, от дождя поставлена палатка, а безмолвными перелесками можно пройти к загадочному озеру». Это было первое в его жизни сплошное рабочее лето на одном месте, без дёрганья. «Я готовил текст "Круга", а ещё — раскладывал, растасовывал по кускам и прежний мой малый "Архипелаг", и новые лагерные материалы, показания свидетелей». Здесь родилась окончательная конструкция большого «Архипелага».

К 25 августа новая редакция «Круга» была отпечатана. Но до отъезда из Эстонии они ещё успели прокатиться на окрестные и дальние хутора, в поисках надёжного места, *у своих,* на всякий случай. Удалось найти даже два: одно под Тарту, у Марты Мартыновны Порт, вдовы биолога, и прежде дававшей приют ссыльным эстонцам, другое близ Пярну, у Лембита Аасало, бывшего зэка, товарища Тэнно по сибирскому штрафному лагерю. Дорогу на тот хутор Солженицын не показал даже жене: «не нагружать никого лишнего, кому чего знать не надо». Времена подполья возвращались, а при свалившейся известности конспирация требовала совсем других усилий.

В сентябре стало понятно, что «Круг» крепко застрял. Но ходили по Москве и залетали дальше самиздатские «Крохот-

ки», ещё весной отданные для чтения «хорошим людям». Их передавали из рук в руки, дарили на день рождения. «Распространение “Крохоток” было такое бурное, что уже через полгода — осенью 1964, они были напечатаны в “Гранях”, о чём “Новый мир” и я узнали из письма одной русской эмигрантки». Упорхнула за границу и «Молитва», не предназначенная для публикации: беспечное восхищение Воронянской... Тот факт, что «ужасные антисоветские “Грани”» опубликовали «Крохотки» (пусть и отвергнутые журналом), было для Твардовского страшным ударом. Он с лета ревниво выспрашивал: не ходит ли роман по рукам? А то ведь уже кто-то читал, кто-то видел. Прошёл слух, будто Солженицын в войну сидел в немецком лагере, плохо там себя показал и за это получил срок. И ещё слух, что служил в гестапо и сидел именно за это. И третий слух, абсурдно противоречащий первым двум: он — еврей по фамилии Солженицер, сумевший подладиться под дух русского языка и русского характера. В «Новый мир» звонили возмущённые читатели и требовали опровержений, и было понятно, что кто-то *такое* намеренно распускает. «Советский писатель» под предлогом, что не учтена критика «Матрёны», возвратил три рассказа, отказавшись от отдельного издания.

Но зато летом пришло 60 писем. Настойчиво ищет встречи Шостакович, хочет сочинить оперу «Матрёнин двор» и сам собирается писать либретто. Эфрос, новый главный режиссер «Ленкома», хочет ставить «Свечу на ветру». Солженицын, восхищённый самиздатской работой Жореса Медведева по генетике (история разгула лысенковщины), шлёт автору письмо в поддержку, убеждает «Новый мир» печатать очерки («При знакомстве он произвёл самое приятное впечатление; тут же помог мне восстановить связь с Тимофеевым-Ресовским»). Некая старушка Варвара Семёновна пишет, что в молодости, в Пятигорске, знала отца Александра Исаевича (окажется, действительно знала!). И всегда, всегда душевно рад ему Корней Иванович: «10 сент. Четверг. В 10½ пришел Солженицын. Моложавый. Отказался от кофею, попросил чаю. Мы расцеловались. Рассказывает по секрету о своём новом романе: Твардовский от него прямо с ума сошёл. В восторге. Но Дементьев и Закс растерялись. Положили в сейф. Посоветовали автору говорить всем, что роман ещё не кончен. А он кончен совсем. 35 печатных листов. Три дня (сплошь: двое с половиной суток) 49-го года. Тюрьмы и допросы. Даже Сталин там изображён! Завтра он скажет Твардовскому, чтобы Тв. дал прочитать роман мне... Тв. так и не дал мне романа. Он вдруг круто меня невзлюбил».

В середине осени гром наконец-то грянул. Ещё с весны окружение Хрущёва нервничало, жалуясь в своём кругу на грубость и непредсказуемость Никиты. А тот, совершив очередную перетряску кадров, пообещав реформы в управлении, придавив военных и академиков, никакой угрозы и не чувствовал. Его 70-летие (17 апреля 1964 года) и приуроченная к юбилею звезда Героя Советского Союза пышно праздновались в особняке на Ленгорах, и ритуальное поздравление, зачитанное Брежневым, казалось искренним: счастливы работать рука об руку... брать пример... быть вместе с народом... отдавать ему все свои силы... Повторно пустили на экраны фильм трёхлетней давности «Наш Никита Сергеевич».

Однако спустя полгода, сорвав ему отпуск, выманив из Пицунды, заменив охрану, поставив новых людей на телевидение и радиовещание, в «Правду» и «Известия», Президиум ЦК предъявил Хрущёву внушительный счёт грехов и ошибок. И немедленно «удовлетворил его просьбу» об освобождении от всех обязанностей в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Главное и самое, должно быть, обидное для Хрущёва обвинение заключалось в новом культе личности, который создался по его вине: «Характеристика, данная Лениным Сталину, полностью относится и к вам». «Разве кому-нибудь могло пригрезиться, будто мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? — говорил Хрущёв Микояну вечером по телефону. — От нас бы не осталось мокрого места. Теперь всё иначе. Исчез страх, и разговор идёт на равных. В этом моя заслуга».

«Та же сила, что подняла его на вершину власти, та самая, с помощью которой он устранил даже такое на своём пути восхождения препятствие, как Молотов и др. — она же теперь и стряхнула его с ветки истории — обкомы», — записывал Твардовский. «Малой октябрьской революцией» назвал Солженицын сокрушительные события 14 октября 1964 года. Положение было крайне опасным: «С его падением не должен ли бы загреметь и я?» Но пока что горели заначки и схроны. В ночь, когда Зубовы узнали о свержении Хрущёва, они сожгли Санин архив и дали знать условной фразой в письме. «Тогда и не им одним казалось, что сейчас в несколько дней начнётся всеобщий разгром».

Известие о снятии Хрущёва застало Солженицына в Рязани и побудило к немедленным действиям. На другой день он был в Москве, у Натальи Ивановны Столяровой, секретаря Эренбурга; они познакомились в 1962-м, в момент таинственных движений «Ивана Денисовича». Она была, во-

первых, *своя*, зэчка, во-вторых, рязанская; и как-то на его прямой вопрос дала прямой ответ: что сможет, *если надо*, передать на Запад микрофильмы. Теперь было *надо*, капсула с плёнкой (не оставленная в Кизеле) лежала наготове, и Наталья Ивановна назначила конец октября. Случай был уникальный: сын Леонида Андреева Вадим, живущий в Женеве, гостил в Москве и не только не отказал в помощи, но даже почёл за честь. Они встретились. «Этот вечер тогда казался мне величайшим моментом всей жизни!» Капсула перешла из кармана в карман, руки были пусты, дух свободен: «Теперь хоть расстреливайте!» «31 октября 1964, через 2 недели после воцарения Коллективного руководства, моя маленькая бомба пересекла границу СССР в московском аэропорту».

Но ещё 18-го, лихорадочно взволнованный, Солженицын мчался к Твардовскому с проектом: *подменить роман романом*. «Круг» изымается из сейфа и вскоре туда кладётся «Раковый корпус»: пусть считается, что это *тот же самый роман*, только переименованный автором. «Я опасался, что вот-вот придут проверить сейф “Нового мира”, изымут мой роман — и сверзимся мы с Твардовским далеко в преисподнюю. Теперь уж я считал оплошным неразумием, что вытащил роман из подполья и дал читать в редакцию. Теперь я метался — как понезаметнее прильнуть к земле и снова слиться с серым цветом её». Авантюру с заначкой и подменой («лагерными штучками») Твардовский не принял, хранить «Круг» где-либо помимо редакционного сейфа считал неразумным, объясняя, что надёжнее места нет, и роман остался лежать в «Новом мире».

Довелось «Кругу» стать причиной ещё одного раздора — с Виткевичем. Их отношения с Кокой складывались ни шатко ни валко, но всё же 1964-й друзья встречали вместе. Собрались и в новогоднюю ночь 1965-го. Виткевич, получив роман одним из первых, успел прочесть несколько глав и за праздничным столом на Касимовском объявил, что в каждой странице «Шарашки» видит нескромность, претензию автора на собственную правоту. А его, Коку, сильно раздражают те писатели, кто, как, например, Саня, мнит себя последователем Толстого и Достоевского (Солженицын, носивший круглую меховую шапку, подозревался Кокой в подражательстве Достоевскому). «Круг» возмущал Виткевича и как партийца — он был убеждён, что автор подрывает основы идеологии, а значит, и государства. «В тот же день, в Новый год, я пошёл к нему и сказал: верни роман. Я уже опасался, что он с ним что-нибудь сделает. И он небрежно вернул мне “Круг”».

Падение Хрущёва, вызвавшее горечь и тревогу, имело для Солженицына ещё и то последствие, что, освобождённый от покровительства «верховного мужика», он был теперь свободен и от обязательств. «Взнесённый Хрущёвым, я при нём не имел бы настоящей свободы действий, я должен был вести себя благодарно по отношению к нему и Лебедеву, хоть это и смешно звучит для простого зэка — с простой человеческой благодарностью, которую не может отменить никакая политическая правота» (неоднократно цитируя это место из «Телёнка», Решетовская неизменно заменяла слово «*благодарно*» словом «*благородно*», осуждая бывшего мужа за неблагородство поведения). Желание «прильнуть к земле» и обретённая свобода действий, несомненно, мешали бы друг другу, если бы не разграничили сферу применения: нужно было дать себя забыть, уйти в молчание, но ещё нужнее было уйти в писание.

И так сложилось, что в первые месяцы после *сковыра* Хрущёва, когда интеллигенция опасалась реабилитации Сталина, когда люди, ожидая обысков, сжигали *заначки*, когда Поликарпов объяснял в узком кругу, что «Один день» и «Тёркин на том свете» — «позорные страницы нашей литературы», — когда цензура категорически запретила лагерную тему, Солженицын вплотную взялся за самую взрывную свою вещь — «Архипелаг ГУЛАГ».

За тот год, что «Иван Денисович» сновал по самиздату, а потом за те два года, что он существовал печатно, накопилось огромное количество материала, который нужно было обработать. Поток писем ошеломлял, превосходил все ожидания. Воскресали забытые имена — подруги мамы; ростовчане, знавшие автора ребёнком, школьником, студентом; своего комбата искали бывшие бойцы батареи и офицеры дивизиона, ученики и учителя тех школ, где он прежде работал. Его называли другом и братом, его труд считали подвигом, благодарили за мужество и могучий талант. «Один день» сравнивали с Библией, и для тысяч читателей повесть стала ударом в сердце, зовом истины, а также духом времени, который заговорил языком человеческой правды, раздвинул силы мрака.

Письма от бывших зэков имели в той почте особый вес. Слух о том, что вышла какая-то повесть о лагерях и о ней трубят газеты, был поначалу воспринят *своими* как липа и враньё: с чего это вдруг брехливая пресса будет хвалить кого-то за правду?! Но потом стали читать... Едва ли не каждый корреспондент утверждал, что в «Одном дне» показан именно *его* лагерь, и готов был назвать подлинные имена.

(Как-то В. Некрасов заметил: *один день* в этом лагере описан так, что видны *все* лагеря.) Экибастузцы приняли повесть безоговорочно, радостно опознавая себя и всех *своих*. Писали знакомые и незнакомые, предлагали встретиться, чтобы рассказать и свидетельствовать. Проверенные всем прошедшим и пережитым, они стали добровольными тайными помощниками, сообща строившими «Архипелаг». Ни жена (по неприятию этой работы), ни Копелевы (по их перекрёстной открытости) не знали никого из опрошенных и ни при одном рассказе не присутствовали. «Кроме всего, что я вынес с Архипелага — шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах — 227 свидетелей. Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий памятник всем замученным и убитым».

Всю зиму он писал «Архипа» (прозвище книги), располагая показания свидетелей по плану, сложенному минувшим летом под Выру. Работа требовала отрешённости и от дома, и от города. В укромном домике деревни Давыдово близ Солотчи, у старушки Агафьи Ивановны Фоломкиной, «второй Матрёны», варившей ему в печи постные щи, он прожил холодные месяцы; ранней весной наведался в Эстонию, на хутор к Марте Мартыновне — приладиться к месту и оставить «Рену», пишущую машинку. В апреле, уже в Рязани, придумал, под видом статьи «Читают “Ивана Денисовича”», подготовить обзор писем зэков и тех, кто их судил и сторожил. «Архипу» была посвящена и автомобильная поездка по местам пребывания свидетелей — от Переславля-Залесского до Обнинска, где было договорено о встрече с Жоресом Медведевым и Тимофеевым-Ресовским. А в июне рванул в Тамбов тайно собирать остатки сведений о крестьянских повстанцах по деревням и в городском архиве — тут уж выручил, прикрыл своим крылом Можаев: взяв от «Литературки» нарочитую командировку, повёз друга в Каменку, в самую гущу повстанческого края. «Подарил мне Боря эту неделю незабываемую».

Через три месяца рассказ Солженицына о посещении Обнинска (куда затевался переезд), о путешествии в Тамбовскую область, а также о том, какую убийственную вещь он пишет сейчас, войдёт в секретный меморандум «О настроениях писателя А. Солженицына»; председатель КГБ Семичастный направит документ в ЦК. «На микрофонное прослушивание, — скажет Солженицын в «Телёнке», — ещё никто тогда не был наструнен в Москве, ещё не было такого понятия “потолки”, не опасался никто серьёзно». А опа-

саться следовало: «потолки» уже висели во всех нужных местах. Спустя десятилетия Солженицын прочтёт меморандум в печати и опознает свой рассказ — в квартире у Кобозева, прикованного к постели. А. И. любил и жалел старика, делился с ним впечатлениями и замыслами, считал, что здесь уследить за ним невозможно. Уследили...

«Александр Исаевич был человек увлечённый, порывистый и, вот, случайно рассказал друзьям про “Архипелаг”, не подумал о прослушке, — вспоминает (2007) Е. Ц. Чуковская. — Я его таким уже не застала. Он всегда о ней помнил, ничего не говорил под “потолком”, при незадёрнутых занавесках (считалось, что это мешает специальным машинам, которые стоят за углом), по телефону звонил только из автоматов. Правда, я познакомилась с ним как раз после провала у Теуша. Конечно, человек не всегда за собой мог уследить и не сказануть чего-нибудь лишнего, но не называть по телефонам имена, не говорить лишнего под “потолком” — это была привычка поколения, в том числе и Александра Исаевича. Иногда он от неё мог отступить, но она в нём была всегда после лагеря».

«“Меморандум” — свидетельство самого большого моего провала. Оказывается, я всё об “Архипелаге” рассказал сам», — признавался (2007) Солженицын. Однако опасность он почуял ещё в начале лета, когда понял, что московский тыл — комната Теушей в коммунальной квартире с соседом при погонах — крайне ненадёжен, а сами Теуши — крайне неосторожны. Вениамин Львович брался писать смелые статьи об «Иване Денисовиче», пускал их в самиздат, и теперь выяснялось, что по бесконтрольности одна из них залетела слишком высоко. Это был сигнал тревоги, так что архив А. И. тут же перенёс к новым друзьям — Наталье Мильевне Аничковой и её приёмной дочери Наде Левитской, бывшим зэчкам, отважным, преданным душам*. По недосмотру Теуша часть рукописей, лежавших отдельно, осталась в комнате. Обнаружив опасные улики, он сложил их в пакет и отдал — без ведома и спроса — на всё лето своему другу Илье Иосифовичу Зильбербергу и забыл о том напрочь. 11 сентября 1965 года к тому и другому придут с обыском.

---

* «Знакомство с Солженицыным, — пишет Н. Г. Левитская, — стало этапом в нашей жизни, придало ей смысл, целеустремлённость, наполнило новым содержанием... Мы поняли и приняли друг друга с первого слова. Речь сразу же пошла про книгу о лагерях — будущий “Архипелаг ГУЛАГ”. Без лирики договорились, что́ и как будем делать, и приняли сразу же постановленные условия: никаких посторонних разговоров, случайных встреч, рассказов кому-нибудь, что мы для него делаем».

Лето перед разгромом казалось мирным и безмятежным: колесо фортуны крутилось медленно. А. И. с женой успели присмотреть садовый домик с участком в Рождестве на Истье, близ Обнинска, куда они собирались переехать; писались бумаги, где-то всё крутилось и решалось. В июле, после длительной блокады «Нового мира», кольцо разомкнулось: Твардовского вместе с Дементьевым ласково принял новый секретарь ЦК по идеологии Демичев (назначенный вместо Ильичёва), поил чаем и московскими хлебцами с изюмом, разрешил печатать застрявший в цензуре «Театральный роман» и заодно полюбопытствовал насчёт Солженицына — хорошо бы поговорить и с ним. «Когда я рассказывал об этом в редакции, — писал Твардовский, — в дверь заглянул Солженицын со своей ужасной бородой — без усов — и с бакенбардами, — ничего нельзя лучше придумать, чтобы попортить его красивое открытое лицо». А Солженицына в тот день неудержимо тянуло в «Новый мир»: «Толкуй, что нет передачи мыслей и воль!»

Твардовского одолевали сомнения и тревоги. Автор, явившись граду и миру через журнал под крылом главного редактора, вёл себя слишком независимо, скрывал поступки, знакомства, встречи. «Всё время глядел в лес, держал про себя свою отдельную московскую жизнь, ни на волос не считался с общими нашими интересами, был отчуждённо тороплив, с неприятной резкостью и святошеством выказывал своё отвращение, подобно Набокову, “к рюмочкам, закусочкам и задушевным беседам”». В редакции ему советовали идти на приём к Демичеву без бороды, в чёрном костюме и при галстуке, а не в рубашке-апаш навыпуск. Но лето, жаркий июль... К тому же Исаич «смотрел в лес» и был настроен на «раскидку чернухи». Беседа длилась часа два. Он убеждал настороженного Демичева, что работает медленно («Денисовича» вот писал несколько лет), часто уничтожает готовое (глаза собеседника теплели), ничего другого, кроме отданного в редакцию, не имеет, и если литература перестанет кормить, вернётся к математике. Петр Нилович озабоченно спрашивал о целях и задачах (дескать, зачем, для чего пишете?), беспокоился за «Раковый корпус» (не тяжело ли будет читать?) и предложил запомнить, чего партия *не хочет* видеть в художественном произведении: 1) пессимизма, 2) очернительства, 3) тайных стрел. И, невзирая на странную бороду, высказал лестные для автора похвалы: что он сильная личность, скромный открытый русский человек, не озлоблен и положительно не похож на Ремарка. «*Они* (то есть Запад. — *Л. С.*) не получили второго Пастернака!» — воскликнул, прощаясь,

хозяин, довольный беседой. Но был доволен и гость: «Без труда и подготовки я утвердился при новых руководителях и теперь какое-то число лет могу спокойно писать».

И действительно, остаток лета выдался спокойным. Солженицын осваивал дачку (*Борзовку*, по фамилии бывшего владельца) и её окрестности, совершал пешие и велосипедные прогулки, наведался в Обнинск, ездил в Москву останавливать печатание «Крохоток» в «Семье и школе», как того хотел Твардовский. И, конечно, работал.

Позже окажется, что августовский покой был видимостью, миражом. Готовился поворот к сталинизму с зажимом идеологии, возвратом к поиску «врагов народа», наступлением на литературу. Аппаратное наступление, которое в августе возглавил Шелепин («железный Шурик»), сопутствуй ему успех, неминуемо обрело бы репрессивный уклон. Первым шагом этой кампании был арест Синявского и Даниэля в начале сентября 1965-го; в плане была ещё «тысяча интеллигентов». Забрать «Круг» из «Нового мира», уйти в подполье, замаскироваться математикой — этот план Солженицын начал осуществлять немедленно. Твардовский просил, уговаривал — не забирать «Круг»: в сейфе надёжно, изъять из редакции не так-то просто. Не уговорил: 7 сентября автор забрал все четыре экземпляра романа, три отнес Теушу (а тот уже засвечен!!), четвёртый — в «Правду», для её либерального шефа Румянцева, якобы тот напечатает несколько безопасных глав.

«Бывают минуты, когда слабеет, мешается наш рассудок...»

Вечером 11 сентября госбезопасность пришла к Теушу и Зильбербергу одновременно. «В мой последний миг, перед тем как начать набирать глубину, в мой последний миг на поверхности — я был подстрелен!» Это был разгром, непростительная ошибка, провал. Роман «В круге первом», опаснейший «Пир Победителей», «Республика труда», лагерные стихи — удар, перечеркнувший все годы конспирации. Дракон вылез, ядовитым языком слизал добычу, а в руках ограбленного открыто оставался начатый «Архипелаг» со всеми заготовками и материалами. «Я несколько месяцев ощущал его (провал. — *Л. С.*) как настоящую физическую незаживающую рану — копьём в грудь, и даже напрокол, и наконечник застрял, не вытащить. И малейшее моё шевеление (вспоминанье той или другой строчки отобранного архива) отдавалось колющей болью».

Казалось, с такой болью легче умереть, чем жить. «Впечатление остановившихся мировых часов. Мысли о самоубийстве — первый раз в жизни и, надеюсь, последний».

Солженицын узнал о захвате архива от Вероники — она специально примчалась в Борзовку. «Саню привезённая мной весть оглушила. Никогда я не видела его таким тёмным и окаменевшим. Казалось, что это крах всего его дела». Всё, что являлось тогда «Архипелагом», было немедленно переправлено в Эстонию, через Тэнно. Немедленно был предупреждён и Твардовский.

«Какая судьба, — писал А. Т., узнав о беде, — выйти, вынырнуть из той пучины кромешной, где конец всему — человеку, личности, таланту и часто самой жизни, — успеть рассказать о том, что там — рассказать с такой силой, стать всемирно известным писателем, быть обласканным, прославленным в течение полугода, а затем вновь ощутить на себе сперва медленное, но все более близкое дуновение той пучины и, наконец, совсем над головой её "крылья", будучи теперь уже по-настоящему "виновным" в разглашении всему свету и времени зловещих тайн этой пучины. Нет, с арестом Солженицына я не примирюсь никогда. Это всё равно, что забрали бы меня. Я больше отвечаю за него, чем он сам за себя, каких бы он там глупостей "конспирации" ни наделал».

Всю чёрную неделю после арестов и обысков Москва лихорадочно перепрятывала самиздат и эмигрантские книги. Рукопись «Круга» пришлось уносить из «Правды» — Румянцев был снят. Однако принять роман теперь, после *изъятия*, «Новый мир» отказался. Беспризорный «Круг» нужно было куда-то устроить немедленно. «Я догадался отдать его в официальный литературный архив — ЦГАЛИ». Там — приняли. Когда были спасены все рукописи, в Рязани сожжено всё, что нужно было сжечь, предупреждены все, с кем писатель был связан общим делом, настало время понять, как, чем и где жить дальше. А главное — уразуметь смысл происшедшего. Солженицын был готов к аресту, ожидал его каждую ночь. Работа остановилась.

21 сентября в полном смятении он был у Чуковского. В тот день Корней Иванович записал: «Враги клевещут на него, распространяют о нём слухи, будто он власовец, изменил родине, не был в боях, был в плену. Мечта его переехать в учёный городок Обнинск из Рязани, где жена его нашла место, но сейчас её с этого места прогнали. Он бесприютен, растерян, ждёт каких-то грозных событий — ждёт, что его куда-то вызовут, готов даже к тюрьме».

Чуковский предложил Солженицыну свой кров.

Не все пути добра были закрыты.

Часть шестая

СЛОВО И ДЕЛО

Глава первая

БЛАГАЯ ОТСРОЧКА. В УКРЫВИЩЕ И НА ЛЮДЯХ

Магнитофонная плёнка, добытая «под потолком» у Кобозевых, а также комментарии к ней позволяют сделать вывод не только о «настроениях» писателя, как это сдержанно обозначил меморандум госбезопасности. Можно уверенно утверждать, что «потолок» заработал, как только был установлен автор «анонимной рукописи антисоветского содержания» Теуш и выявлена его связь с Солженицыным — то есть задолго до обыска. Слухачи быстро поняли, что Теуш их интересует в третью очередь, и направили оперативные мощности на московские маршруты А. И. В меморандум попала плёнка не с квартиры Теушей (летом 1965-го там уже ощущался риск), а с квартиры Кобозевых, которая казалась совершенно безопасной. Прослушка функционировала, по-видимому, всё лето и никем не была обнаружена. Солженицын, почувствуй он слежку, поостерёгся бы привольно беседовать с Кобозевым и не принёс бы Теушу из «Нового мира» три экземпляра «Круга».

Об официальной цели обысков говорили уклончиво. Теушу заявили, что изымут статью «О художественной миссии А. И. Солженицына», подписанную псевдонимом Д. Благов. При этом «случайно» обнаружили на шкафу чемоданчик с копиями «Круга», накануне принесённого автором (версию «случайного» захвата романа наивно разделяли и сами Теуши). «Обыск у них (Теушей. — *Л. С.*), — вспоминал Зильберберг, — был менее тщательным и продолжительным, чем у нас. Многое из того, что имелось у меня и было изъято, имелось и у В. Л., но изъято не было. Не было и фотографирования». На допросах Теушу объяснят, что у некоего иностранца при выезде из СССР обнаружена подозрительная анонимная рукопись и начинается расследование. Это была уловка: личность автора рукописи была Лубянке давно известна.

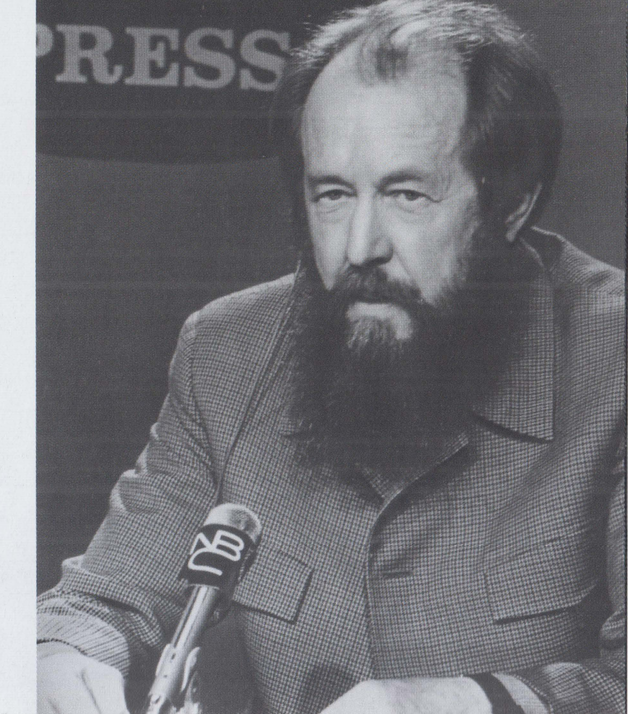


Солженицыны
в Штерненберге
близ Цюриха,
где писатель
работал летом
и осенью
1974 года

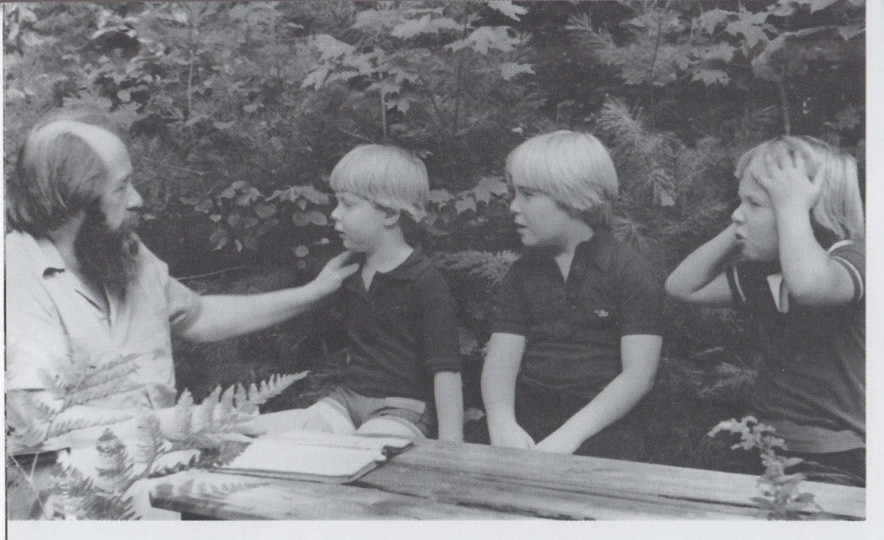
Толпа журналистов у дома Генриха Бёлля под Кёльном, куда был привезён высланный из СССР А. И. Солженицын. *13 февраля 1974 г.*

А. И. Солженицын на церемонии вручения Нобелевской премии. *Стокгольм, 10 декабря 1974 г.*

С Никитой Алексеевичем Струве, главой парижского издательства «ИМКА-пресс», постоянным русским издателем Солженицына с 1971 года. *Кавендиш, 1989 г.*



Телевизионное интервью в Нью-Йорке. *1975 г.*



Занятия с сыновьями. *Кавендиш, лето 1980 г.*

Екатерина Фердинандовна Светлова (мать Али) выправляет через лупу наборные листы «вермонтского» Собрания сочинений. *1984 г.*

На рабочем столе — материалы к «Красному Колесу»

Дом в Кавендише (штат Вермонт), где Солженицын с семьёй жил с осени 1976-го до возвращения на родину в мае 1994 года

Семья в гостиной вермонтского дома. Слева по часовой стрелке: Ермолай, Е. Ф. Светлова, А. И., Наталья, Игнат, Степан. *1983 г.*



Православная церковь Воскресения в Клермонте, прихожанами которой были Солженицыны



Настоятель церкви — отец Андрей Трегубов

Клод Дюран, литературный представитель Солженицына на Западе, в гостях у автора в Вермонте. *1981 г.*



Солженицын в Гарварде. *8 июня 1978 г.*

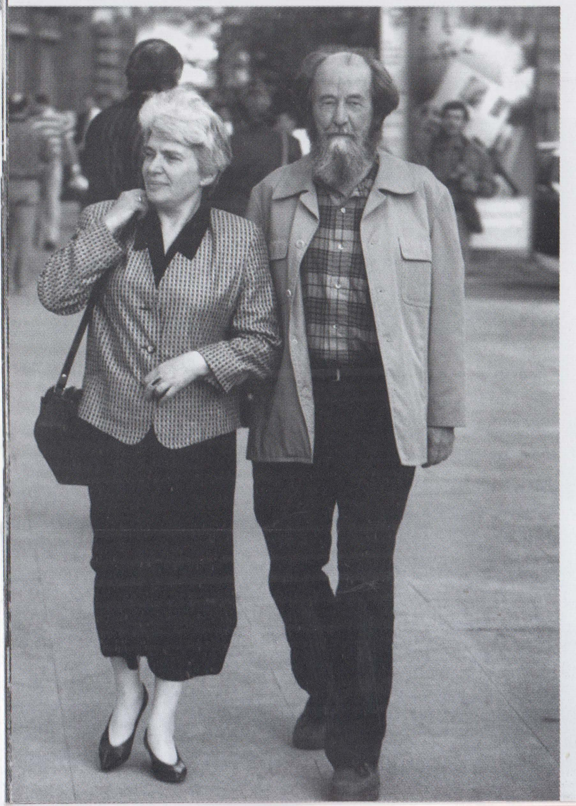
Мстислав Ростропович и Галина Вишневская в гостях у Солженицыных в Вермонте. *1990 г.*

С отцом Александром Шмеманом в Свято-Владимирской семинарии. *Крествуд, штат Нью-Йорк, декабрь 1976 г.*

Возвращение на родину. Встреча во Владивостоке. *27 мая 1994 г.*

Наталья Солженицына с мужем и сыновьями. Слева направо: Степан, А. И., Дмитрий, Ермолай, Игнат. *Кавендиш, июль 1988 г.*

Встреча Солженицына на Ярославском вокзале в Москве. Слева — Игнат и Наталья Солженицыны. *21 июля 1994 г.*



Спустя 20 лет Солженицын с женой идёт по Тверской в дом к Лидии Корнеевне и Елене Цезаревне Чуковским. *26 июля 1994 г.*

Обмен мнениями.
Приморский край, май 1994 г.

Выступление в Государственной Думе.
28 октября 1994 г.

Под Рязанью, на пути к монастырю Иоанна Богослова. *Октябрь 1994 г.*

Александр Исаевич и Наталья Дмитриевна в Тверской губернии. *Сентябрь 1996 г.*

Встреча с жителями
города Боровска
Калужской губернии.
Май 1998 г.

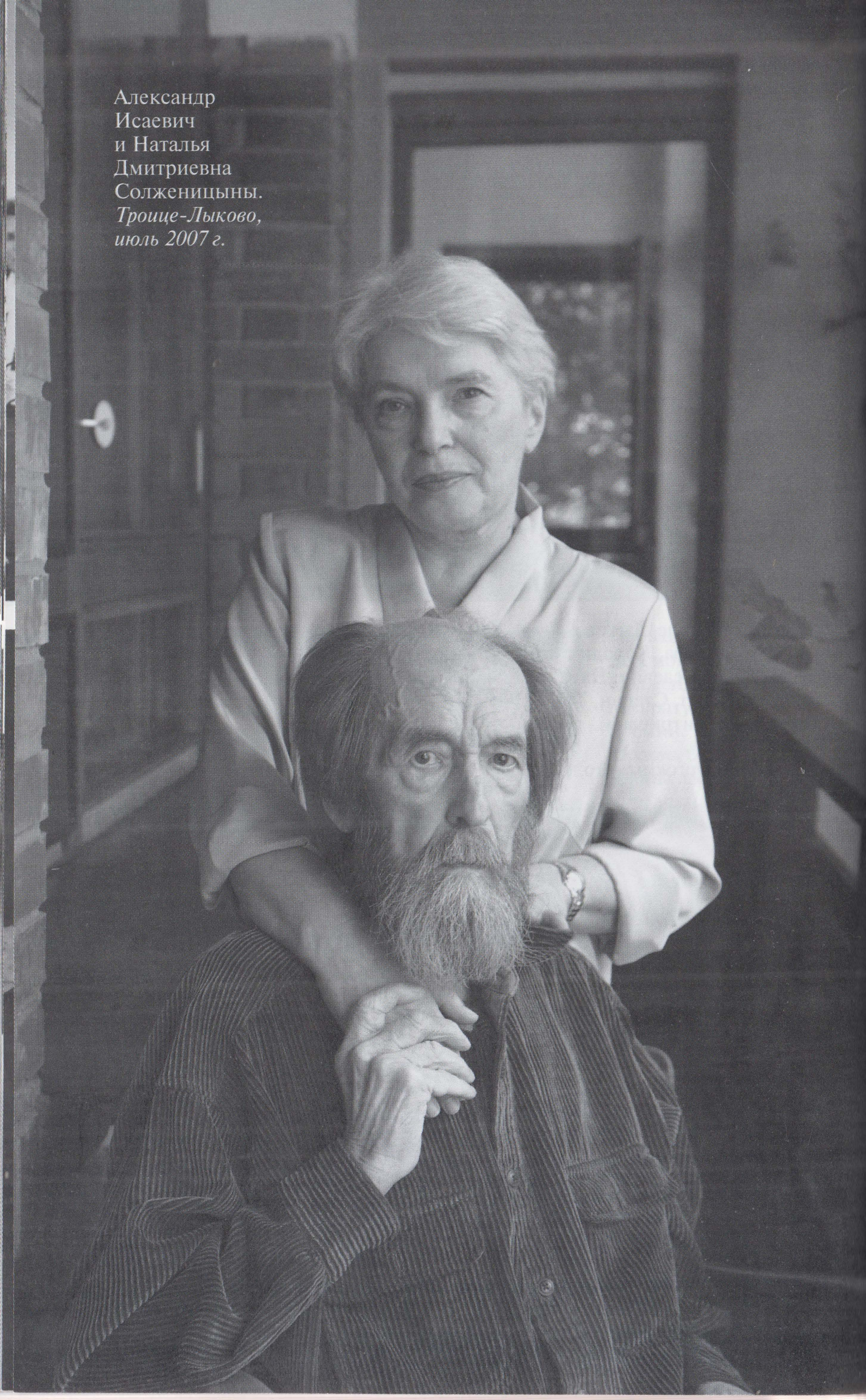
Дома
в Троице-Лыкове.
1998 г.

Первая церемония вручения Солженицынской литературной премии. *Москва, 7 мая 1998 г.* Члены жюри (слева направо): Л. И. Сараскина, П. В. Басинский, В. С. Непомнящий, Н. Д. Солженицына, Н. А. Струве, А. И. Солженицын

80-летие А. И. Солженицына 11 декабря 1998 года. С Юрием Петровичем Любимовым в театре на Таганке на премьере спектакля «Шарашка»

Семья в Троице-Лыкове. *Лето 2003 г.* Сидят (слева направо): Е. Ф. Светлова, Кэролин (жена Игната) с детьми Митей и Анной, Александр Исаевич, Надежда (жена Ермолая) с детьми Ваней и Катей; стоят: Игнат, Степан, Татьяна Тюрина (дочь Дмитрия), Ермолай, Наталья Дмитриевна

За «петербургским» столом. *Июль 2007 г.*



Александр
Исаевич
и Наталья
Дмитриевна
Солженицыны.
*Троице-Лыково,
июль 2007 г.*

С Зильбербергом темнили больше, разъясняя, что обвиняемого пока нет, что следствие возбуждено «по делу» — как, скажем, возбуждается следствие, «если где-нибудь в лесу обнаружен труп, но убийца неизвестен». А значит, начинается опрос свидетелей, и они обязаны отвечать на любые вопросы, чтобы помочь выйти на преступника. Меж тем обыск у него длился почти четыре часа — искали «рукописные материалы антисоветского характера», фотографировали все документы и места их нахождения. При этом брали всё подряд: статьи Теуша (явно *не они* были целью охоты), машинописные тексты Евангелий от Луки и от Матфея, перепечатки «Несвоевременных мыслей» Горького, стенограмму суда над Бродским (протокол обыска, копию которого получил и впоследствии опубликовал Зильберберг, включал полный перечень изъятого). Разумеется, евангелисты и пролетарские писатели следствие не интересовали, но здесь находилось и то, что искали и нашли сыщики, — архив Солженицына.

Улов, взятый на квартире Зильберберга, впечатлял. Запечатанный пакет из белой бумаги размером 38х24,5 см, а в нём коричневый конверт содержал (по протоколу) следующее: *Степан Хлынов.* «Улыбка Будды» — на 5 листах; *Степан Хлынов.* «Щ-854» — на 36 листах; *А. Солженицын.* «Сердце под бушлатом» (общий заголовок лагерных стихов. — *Л. С.*) — на 29 листах; *Степан Хлынов.* «Сердце под бушлатом» — на 20 листах; *Степан Хлынов.* «Республика труда» — на 74 листах; А. Солженицын. «Правая кисть» — на 11 листах; «Когда теряют счёт годам» — на 10 листах; «Вертеп счастливых. Драма в 7 картинах» (вариант названия пьесы «Свеча на ветру». — *Л. С.*) — на 49 листах; А. Солженицын. «Невеселая повесть» (глава «Мальчики с Луны» из поэмы «Дороженька». — *Л. С.*) — на 60 листах; рукописи без названия; записи чернилами фиолетового цвета на листах тетрадной бумаги в линейку.

Протокол выразительно запечатлел торжество искателей: найдя конверт коричневого цвета, всё остальное сыщики сложили в кучу — машинописные листы вместе с записями от руки пошли, что называется, на вес. Находка, помимо прочего, открывала псевдоним, так что теперь нужда в *Степане Хлынове* отпадала. Вместе с «Кругом» и «Пиром Победителей» творчество Солженицына представало в таком свете, что интерес к хранителям его архива тут же угас. В записке Семичастного и генпрокурора Руденко решение не привлекать Теуша к уголовной ответственности объяснялось преклонным возрастом, плохим здоровьем и раскаянием подследственного. Поскольку работы Теуша не получили

широкой огласки, следствие ограничилось профилактической беседой, полагая, что возбуждение уголовного дела, а также допросы причастных к делу лиц «уже произвели на них определённое влияние и будут способствовать прекращению их идейно-порочной деятельности».

Несомненно, госбезопасность интересовали не Теуш и не Зильберберг, и даже не «политический салон» — «пёстрый самиздатовско-диссидентский водоворот» (как назвал Илья Иосифович квартиру В. Туркиной и её мужа Ю. Штейна в Чапаевском переулке у станции метро «Сокол», где, бывая в Москве, останавливался А. И.). «Была задумана широкая антисамиздатовская и антидиссидентская кампания», — полагал Зильберберг, однако документы свидетельствуют о более локальном намерении. «Мы не занимались тотальным прослушиванием — слишком дорогое удовольствие. Только — кого надо», — признается спустя 35 лет генерал-полковник в отставке В. Е. Семичастный. Следить за писателем, едва не ставшим лауреатом Ленинской премии, стало делом государственной важности.

Охотники за крамолой, располагая плёнкой и архивом, получили исчерпывающие подтверждения о наличии у Солженицына «политически вредных высказываний и клеветнических измышлений». Материала на плёнке оказалось более чем достаточно. Писатель сообщал о книге американского журналиста Луиса Фишера «Жизнь Ленина», которая доказывала, что вождь — это «змея», личность, лишённая моральных принципов: «скажет, что он за вас, а потом выстрелит вам в спину». А нынешнее правительство, добавлял Солженицын от себя, — «паралитики»: «у них нет приводов ни к идеологии, ни к массе, ни к экономике, ни к внешней политике, ни к мировому коммунистическому движению, ни к чему». Пугающе выглядели высказывания о неизбежном развале СССР и отпадении союзных республик: Закавказья, Прибалтики, даже Украины...

Органы получили представление не только о политических взглядах писателя, но и о принципах его литературного поведения. Весело говорил он друзьям, как надо «раскидывать чернуху» и темнить, общаясь с высокими инстанциями, когда те вдруг вызывают на беседу; как отпираться от авторства своих текстов; как добиваться большего резонанса своих сочинений и публичных заявлений. А. И. не скрыл содержание своего завещания — в случае внезапной смерти немедленно будет напечатано на Западе всё сразу, в случае ареста — один текст за другим с перерывами в три месяца, в случае газетной травли — по тексту каждые полгода или

каждый год. «Я собираюсь всем им нанести первый удар, чтобы “Шарашка” была напечатана в том виде, в каком она лежит. Но это не скоро...» Так следствие узнало, что захваченный у Теуша «Круг» — это ещё не весь «Круг», а может быть, и не тот «Круг»! А. И. обозначил — сам! — направление своего главного удара. «Я сейчас пока должен выиграть время, чтобы написать “Архипелаг”. ...Я сейчас бешено пишу, запоем, решил сейчас пожертвовать всем остальным... Я обрушу целую лавину... Я ведь назначил время, примерно, от 72 до 75 года. Наступит время, я дам одновременный и страшнущий залп... Что будет, не знаю. Сам, наверное, буду сидеть в Бастилии, но не унываю».

Был назван и жанр новой вещи (*опыт художественного исследования* с ясной схемой и ясным построением), при той оговорке, что «во многих недостающих звеньях работает интуиция, языковой образ», подчеркнута крамольная суть работы (по сравнению с ней «Шарашка» «покажется ерундой»), названы сроки завершения. «Архипелаг», который даст объяснение революции и станет её убийственным обвинением, течёт, как лава, и будет окончен к следующему лету. А сейчас уже написаны разделы о каторге, этапах и пересылках — есть историческая, идеологическая, экономическая, психологическая канва.

О наличии у ГБ магнитофонной плёнки Солженицын ничего не знал и выстраивал линию защиты, полагая, что в руках следствия только архив («Пир Победителей» он рассчитывал «отмазать», упирая на то, что пьеса писалась «озлобленным лагерником»). Меж тем на Лубянке сопоставили высказывания *под потолком* с рукописями из архива (аннотации составляли Бобков и Струнин) и сделали недвусмысленные выводы. Автор (иногда выступающий под псевдонимом *Степан Хлынов*) «дотошно» порочит буквально всё в советской истории и то, с чем сталкивается в советской действительности. «Принимая во внимание, что произведения Солженицына в силу их враждебного содержания не могут быть изданы в СССР и не подлежат распространению, а также, имея в виду возможность передачи этих произведений за границу для опубликования, что может нанести ущерб международному престижу Советского Союза, нами принято решение об их конфискации и оставлении на хранении в архиве КГБ».

«Писателя Александра Солженицына следует отнести к самой серьёзной категории врагов режима», — утверждал (2002) мемуарист Семичастный; несомненно, что и в 1965-м он действовал согласно этому убеждению. Особенно его воз-

мущал «Пир Победителей», «полный нескрываемой ненависти к советскому строю»: «Я тогда посоветовал собрать писателей Москвы и почитать им выдержки из этой книги». По рекомендации Семичастного Союзу писателей СССР было поручено организовать обсуждение рукописей Солженицына с участием автора. При таком раскладе о напечатании чего-либо нового не могло быть и речи; тщетными должны были остаться и попытки возвращения захваченных рукописей (А. И. писал сразу четверым секретарям ЦК — Демичеву, Брежневу, Суслову, Андропову), звонки Твардовского Демичеву (тот лукаво отвечал, будто распорядился вернуть архив).

...Осень 1965 года текла рвано, тревожно, дёргано. Солженицын никак не мог понять, почему и зачем на него свалилась эта беда. Неужели полная бессмыслица и тупой случай? Злой рок в лице наглого соседа Теуша по коммуналке? Или есть шифр, и надо его разгадать? Поначалу казалось, что обыски с изъятием — это первые шаги, и потом будут обыски на Касимовском и в Рождестве, после чего арест. Когда воскресным вечером 19 сентября, через неделю после захвата архива, они с женой возвращались на «Денисе» в Рязань, каждый пост ГАИ казался засадой: ведь по номеру машины легко вычисляется владелец, его останавливают, обыскивают, увозят... Они вообще опасались ехать домой — возможно, там уже был (или идет!) обыск. В Рязани с вокзала позвонили домой — Мария Константиновна отвечала спокойно, безмятежно. Отлегло от сердца. Но решили разделиться: А. И. уехал электричкой в Москву, Н. А. — домой, жечь рукописи, стирать записи на плёнках.

С уцелевшими рукописями Солженицын приехал к Туркиным — понять, на каком он свете. Виделся с Копелевым. Лев считал, что с учётом ареста Синявского и Даниэля оставаться в Рязани нельзя: «сделают всё что угодно, а потом свалят на произвол местных властей». Так же думал и Солженицын. «В Рязани я жить боялся: оттуда легко было пресечь мой выезд, там можно было меня взять совсем беззвучно и даже безответственно». Позже Решетовская недоумевала: кто убедил А. И. в возможности ареста? Почему никто не разубедил Саню и Лёву? «Ведь нельзя было автоматически переносить беззакония сталинского времени на нынешнее! Синявский и Даниэль не просто писали — они публиковали на Западе свои произведения! Думаю, если бы Твардовский подозревал, что у А. И. бродят мысли об аресте, он сумел бы втолковать их несостоятельность. Но Твардовскому, вероятно, такое и в голову не приходило».

Но Решетовская рассуждала, исходя из реалий 1990-го. А в 65-м всё зависело от политических качелей, и никто не знал, куда качнет завтра. «Не только полный, но избыточный набор у них был для моего уголовного обвинения, в десять раз больший, чем против Синявского и Даниэля» — так оценивал свои шансы А. И. «Конфискацию архива Солженицына восприняли как угрозу всем, — писал Копелев. — Если после падения Хрущёва стал беззащитен прославленный автор “Ивана Денисовича” и “Матрёнина двора”... то чего ждать всем другим?» И Твардовский (повторюсь) тоже допускал мысль об аресте А. И.: «С арестом Солженицына я не примирюсь никогда. Это всё равно, что забрали бы меня». И добавлял: «Те, что арестуют рукописи романов и т. п., полагают, должно быть, что это куда как гуманно: ведь самого же (телесно) автора не изолируем, как в грубые времена, а только то “вредоносное”, что от него исходит. Конечно, если считать, что душа менее принадлежит автору, чем тело, то они правы».

Ничего страшного пока не происходило. 20 сентября А. И. был на концерте Шостаковича в Большом зале консерватории (первое исполнение 13-й симфонии) и не скрывал своей беды от знакомых: пусть как можно больше людей знают об аресте романа и архива. 21-го навестил Чуковского, и Корней Иванович записал: «Сейчас ушёл от меня Солженицын — борода, щёки розовые, ростом как будто выше. Весь в смятении. Дело в том, что он имел глупость взять в “Новом мире” свой незаконченный роман — в 3-х экз. и повёз этот роман к приятелю. Приятель антропософ. Ночью нагрянули к нему архангелы. Искали *якобы* теософские книги; а потом: “Что это у вас в чемодане? бельё?” — и роман погиб» (замечательное *якобы* означало, что Чуковский прекрасно понял суть дела). Прежде чем переселиться к нему, А. И. пробыл несколько дней в Рождестве; наедине с яблонями; дачка, открытая всем ветрам, казалась ему лучшим убежищем, чем Рязань. 28-го привёз вещи — Корней Иванович предложил гостю комнату сына Коли («это приючанье поддержало меня в самые опасные и упадочные недели»).

Только сейчас началось их настоящее знакомство. С того апреля, когда Чуковский написал «Литературное чудо», потрясённый рассказом *неизвестного беллетриста*, прошло три с половиной года. Потом был разбор американских переводов «Одного дня» (Чуковский поместил их в книге «Высокое искусство»), эти странички читались по радио, и благодарный А. И. приезжал лично свидетельствовать уважение. Теперь они жили под одной крышей, и Чуковский

заново узнавал автора «Щ». «*29 сент., среда.* Поселился у меня Солженицын. Из разговора выяснилось, что он глубоко поглощён своей темой <...>. О лагере может говорить без конца. Гулял с ним по лесу. <...> *30 сент.* Поразительную поэму о русском наступлении на Германию прочитал А. И. — и поразительно прочитал. Словно я сам был в этом потоке озверелых людей. Читал он 50 минут. Стихийная вещь — огромная мощь таланта. <...>*3 октября.* <...> Я ближе присмотрелся к нему. Его, в сущности, интересует только одна тема — та, что в “Случае на станции” и в “Ив<ане>Денисовиче”. Всё остальное для него, как в тумане. Он не интересуется литературой, как литературой, он видит в ней только средство протеста против вражьих сил. Вообще он целеустремлен и не глядит по сторонам».

А. И. тоже вспоминал об этих днях. «В моём понуреньи, когда я со дня на день ждал ареста и с ним — конца всей моей работы, он (Чуковский. — *Л. С.*) убеждённо возражал мне: “Не понимаю, о чём вам беспокоиться, когда вы уже поставили себя на второе место, после Толстого”. Вёл меня к отдалённому помосту на своём участке — и давал идею, как подкинуть туда и спрятать тайные рукописи». И ещё один фрагмент: «Я гулял под тёмными сводами хвойных на участке К. И. — многими часами, с безнадёжным сердцем, и бесплодно пытался осмыслить своё положение, а ещё главнее — обнаружить высший смысл обвалившейся на меня беды».

Патриарх российской словесности, 83-летний Чуковский, с календарной точностью зафиксировал, что в момент наивысшей опасности, в тягостном самоубийственном «понуреньи», Солженицын не то что сидел тише воды, не то что забросил (ну хоть на время!) «протест против вражьих сил», а жил и дышал лишь им одним: неуплаченные долги гнали прочь малодушие и уныние. Именно с *таким* Солженицыным знакомились дочь и внучка Чуковского — Лидия Корнеевна и Елена Цезаревна (Люша, как звали её близкие). «Мы познакомились с Люшей в самое тяжкое, шаткое для нас обоих время, когда обоим стоило труда держаться ровно, когда она только опиралась жить, а я залёживал подранком в отведенной мне комнате, по вечерам даже не зажигая лампочки для чтения, не в силах и читать. К. И. осторожным стуком вызвал меня из темной комнаты к ужину, я вышел, увидел остро-живую внимательность внучки и сразу ощутил, что встречу помощь».

Вспоминала и Елена Цезаревна (2005): «Я ожидала увидеть человека измученного, несчастного, нервного, капризного, больного и была крайне изумлена, увидев молодого, с

военной выправкой, весёлого Александра Исаевича, который старался развлечь Корнея Ивановича какими-то шуточными разговорами. Держался Александр Исаевич очень бодро. Несмотря на то, что в это время на душе у него было тяжело. Вот запись моей матери, Лидии Корнеевны, из её дневника: “Первое впечатление: молодой, не более 35 лет, белозубый, быстрый, лёгкий, сильный, очень русский. Главное ощущение от него: воля, сила. Чувствуется, что у человека этого есть сила жить по-своему. Когда он смеётся или сильно движется, он похож на пламя; иногда он — князь Мышкин; иногда Тиль; иногда — когда моложав и красив — похож на Дубровского. Смотрю на этого человека, слушаю, размышляю. Быстро, точно, летуче, как-то даже элегантно движется. Красота его именно в движениях, в быстрых переменах лица: то сосредоточенность, сжатый рот, глаза сверкнули, шрам на лбу виднее — то вдруг совсем распустил лицо в пленительной, открытой улыбке, глаза исчезли, сощурившись, одни зубы сверкают, молодой хохот».

Люша и в самом деле немедленно предложила помощь. Первым делом они с матерью пригласили А. И. пользоваться их квартирой на улице Горького как точкой опоры: останавливаться, встречаться с людьми, работать. Затем — помощь секретарская, организаторская, машинописная, вообще любая, какая была нужна в данный момент. Под руководством А. И. младшая Чуковская осваивала правила конспирации (вдвое, втрое устроженные после провала архива). «Прежде всего он исходил из того, что под любым потолком, где он находится, — его прослушивают... Поэтому в доме никогда не называл никаких имён, не упоминал никаких своих планов и встреч, не звонил из квартиры по телефону, а только из телефона-автомата. Позже он учил меня выскакивать из вагона метро в последнюю секунду, с тем чтобы избавляться “от хвостов”. Показывал, как выскакивать из троллейбуса. В нашу квартиру к нему часто приходили многочисленные друзья и помощники, но никого он не называл под потолком своим именем, все были переименованы». «После провала моего в 1965, — писал А. И., — именно Люша помогла мне изменить всю скорость жизни и перейти в непрерывное наступление. Я ощущал её как своего единопособника во всех практических планах и действиях; мы тщательно обсуждали их (со временем уходя из-под потолков в *зелень*)».

А возле дома в Рязани околачивались какие-то типы. Кто-то с чемоданом невнятно ссылался на «Новый мир», твердил о необходимости срочного свидания с А. И., нерв-

ничал, торопился. Потом оказывалось, что журнал никого сюда не посылал. 9 октября приезжали невозмутимые сотрудники ЦГАЛИ, взяли черновики, тетрадки с довоенными рассказами, иностранные издания «Ивана Денисовича», подборки читательских писем. Подарили удобные папки для хранения рукописей и повторяли любимый девиз: «В доме писателя не должно быть корзин для бумаг!» В свете недавнего провала это звучало особенно актуально.

Нельзя сказать, чтобы скитальческий образ жизни А. И. нравился его жене. После кризиса 1964 года он старался сглаживать трения, повсюду с ней бывал, со всеми знакомил. Но арест архива и жизнь вне дома снова довели их отношения до взрыва. «В тех самых днях (в той самой столовой Чуковских), — пишет Солженицын в «Телёнке», — дошёл до края и наш разлад с женой, выразившей, что лучше бы меня арестовали, нежели буду я скрываться и тем “добровольно не жить с семьёй”. С этого мига я не только не мог полагаться на жену, но, неизбежно сохраняя прежним её участие в том, что она знала, должен был строить новую систему, скрытную от неё, как от недруга». Это было тяжкое испытание: в 1956-м он сошёлся с женой, ибо ей доверял, теперь надо было опасаться и её. Проницательная Столярова (Ева) заметила это раньше всех. «Осенью 1965, когда уже разворачивалось следствие над Синявским, Ева на скрытой встрече спросила меня: “Но ваша жена *ничего* не знает?”» (Решетовская никогда не вспоминала о том «*лучше бы*». Как заметит А. И., в её книгах «шесть последних лет, после 1964, нашей совместной интенсивно-мучительной, раздирающей жизни перед разводом — обойдены вовсе»).

Окончательно лопнула и затея с Обнинском — как ни старался Ж. Медведев, Наталью Алексеевну не взяли научным сотрудником в Институт медицинской радиологии. Решающее заседание под председательством президента АМН академика Блохина не оставило камня на камне от прежних обещаний: в свете нового отношения властей к Солженицыну все они теряли силу. Недавнее ходатайство ЦК было отклонено руководством АМН! Из дневника Решетовской: «*23 октября.* Президент и его окружение хохотали над тем, что в ИМР рекомендуют человека, который занимается изучением кормов для свиней. Жореса обвинили в протекционизме, научной беспринципности... Он заявил, что тоже не подходит для ИМР’а, ибо у него тоже нет работ по радиологии, и потому подает заявление об уходе из института». Шанс на переезд отпадал, и Решетовская, успев проститься со своим институтом, должна была вернуться обратно.

А жизнь А. И. теперь всё больше протекала *не* в Рязани. Шёл второй месяц после провала, а за ним не приходили — ни к Чуковскому, ни на Касимовский, ни в Рождество. Он по-прежнему старался чаще бывать на людях. 20 октября посетил Булгакову. «Ох, до чего неповторимый человек, — записала в тот день Елена Сергеевна. — И до чего ужасно, что они не встретились с Мих. Аф. — вот была бы дружба, близость, полное понимание друг друга. На прощание он крепко поцеловал меня, подарил карточку с хорошей надписью. Сидел, пил чай и говорил, как ему нравится тут, как всё уютно, красиво и как ни у кого. Тяжёлый у него период жизни. Завтра идёт в ЦК. Обещал потом побывать, рассказать, что и как». Вечером, впервые за три года членства в Союзе писателей, зашёл в ЦДЛ, на 50-летие автора «Брестской крепости» С. Смирнова (появиться там А. И. уговорили Копелевы — мол, надо показать: жив, здоров, всё порядке). Сидя в большом зале ЦДЛ и слушая, как хвалят юбиляра, А. И. прикидывал, а мог бы тот собрать материалы, если бы нельзя было: пойти к развалинам крепости; подойти к микрофону Всесоюзного радио; написать в газеты или выступить публично; писать в письмах открыто о своей работе; открыто разговаривать с бывшими брестовцами, а только тайно, вдалеке от прослушек и слежки; ездить за материалами в командировки; собранные материалы и саму рукопись держать дома. Вот — *тогда бы как*? «Это — непридуманные были условия. Именно в таких условиях я и собрал 227 показаний по “Архипелагу ГУЛАГу”».

В перерыве к нему подходили знакомиться, как будто он «не угрожаемый автор арестованного романа, а обласканный и всесильный лауреат». Был здесь и Твардовский, и уже не сердился, напротив — ликовал: завтра принять А. И. готов Демичев. И что бы там ни было, «раз *принимает* — уже победа!». Ничуть не отшатнулся Твардовский, душевно продолжал болеть за А. И., только просил не дерзить начальству. Но назавтра А. И. принял не Демичев, а его помощник Фролов. Солженицын повторил то, о чём писал секретарям ЦК: конфисковали рукописи, нет жилья, и оставил новое письмо для Демичева. «Именно теперь, когда мне уготовлялась жилплощадь на Большой Лубянке, я заявлял, что в Рязани у меня слишком дурны квартирные условия и я прошу квартиру... в Москве!» Фролов, в меру умный и вежливый чиновник 36 лет, изумил Солженицына чистотой аппаратного мышления: пострадавшие заключённые *эгоистически* хотят *навязать* молодёжи свои переживания о минувшем времени. *Эгоизм тех, кто хочет говорить*

правду! — так выглядел в глазах начальства пафос писателя лагерной темы.

Между тем жалоба Солженицына на отъём рукописей, направленная секретарям ЦК, была передана в Генеральную прокуратуру. Это значило, как понял А. И., только одно: *ему дали отсрочку.* Семичастный напишет про те свои служебные трудности: «С точки зрения нашей работы публикация повести Солженицына породила ряд новых проблем. Людской гнев обернулся не против тех, кто был во всём виноват, не против наших предшественников, а против нас, хотя именно мы старались исправить старые ошибки и не делать новых. Конечно, подобные размышления никому из нас не поднимали настроения, но я оставался в стороне и ждал, как отреагирует Политбюро». Так что если бы ЦК хотел посадить писателя, достаточно было дать санкцию Семичастному. Но ЦК ушёл от решения, и Солженицын остался на воле.

А воля — в частности, хвалёная свобода слова Запада — преподносила один сюрприз за другим. Никто и звука *там* не издал об арестованном романе, и уже кончалось следствие над Синявским и Даниэлем. «Именно в эту осень, — возмущался Солженицын, — сунули Нобелевскую премию в палаческие руки Шолохова». А. И. откажется от встречи с Жаном Полем Сартром, *властителем дум* Франции и Европы, «который выхлопотал эту премию Шолохову и не мог оскорбить русскую литературу больнее». Взгляды Шолохова середины шестидесятых были известны, поступки — тем более. Спустя четыре месяца, в апреле 1966-го, он, делегат XXIII съезда КПСС, под аплодисменты обрушится на осуждённых Синявского и Даниэля: «Попадись эти молодчики с чёрной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а “руководствуясь революционным правосознанием”, ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! А тут, видите ли, ещё рассуждают о “суровости” приговора!»

Лидия Чуковская в открытом письме Союзу писателей СССР в мае 1966 года скажет: “Литература уголовному суду не подсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря. Вот это Вы и должны были заявить слушателям, если бы Вы, в самом деле, поднялись на трибуну как представитель советской литературы. Но Вы держали речь как отступник её. Ваша позорная речь не будет забыта историей. А литература сама Вам отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, суще-

ствующей для художника, — к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные и международные премии не отвратят этот приговор от Вашей головы». «Подлая речь Шолохова, — записал 1 апреля 1966 года Чуковский. — Чёрная сотня сплотилась и выработала программу избиения и удушения интеллигенции».

Пути Солженицына бесповоротно расходились с теми, с кем в декабре 1962-го он волею судьбы оказался в банкетном зале за роскошным столом. Даже Вознесенский, не так давно обруганный Хрущёвым, казался почти чужаком: посмотрев в конце октября «Антимиры» в театре на Таганке, А. И. упрекнул поэта, что у него мало русской боли и идёт он не самым трудным путем. Про свой путь А. И., кажется, уже всё понял и не надеялся ни на кого: его судьба решалась в другой инстанции. «Понятно, — скажет Семичастный, — что никто в правительстве не был заинтересован в том, чтобы Солженицын обосновался в Москве, где он постоянно притягивал и будоражил иностранцев, а потому местом жительства ему была определена Рязань». Понятно (скажем и мы), почему никакие петиции не могли изменить положение вещей. Зимой 1965-го Чуковский стал хлопотать о московской квартире для Солженицына. Под письмом, кроме него, поставили свои подписи Паустовский, Шостакович, Капица и С. Смирнов. «К Смирнову, — вспоминает Е. Ц. Чуковская, — ходила я, он колебался, ставить ли ему свою подпись. Я ему сказала: “Сергей Сергеевич, ведь Солженицын до сих пор с войны не вернулся — сперва лагерь, потом ссылка, потом неустроенная жизнь в Рязани, надо ему помочь”». Письмо на имя Демичева всё же имело резонанс: ответом стало молниеносное, в течение двух недель, предоставление Солженицыну и его четверым домочадцам благоустроенной трёхкомнатной квартиры... в Рязани*. Оставалась всё та же неопределённость — с неизвестным исходом, но с забрезжившей отсрочкой, а значит, с возможностью работать. Солженицын решил, что пора заявить о себе.

---

* В марте 1964 года Н. А. Решетовская обратилась в горсовет: муж обречён на бездомную жизнь из-за уличного шума. Вскоре удалось привести одного из чиновников домой. Н. А., указывая на папки с письмами читателей, сказала: «Если бы эти доброжелатели знали, что от вас зависят новые страницы Солженицына, они бы пришли к вам целой делегацией». Она просила отдельную двухкомнатную квартиру для себя и мужа, но ей объяснили, что речь может идти только о трёхкомнатной квартире на пятерых. Но и это решение было принято только через год, в мае 1965-го, и ещё через полгода, в декабре, Рязанский горисполком оповестил о нём заявителей.

Прочитав в «ЛГ» статью В. В. Виноградова «Заметки о стилистике советской литературы», А. И. ответил на неё короткой репликой. Через неделю, 29 октября, главный редактор А. Б. Чаковский предложил расширить материал, и уже на следующий день статья «Не обычай дёгтем щи белить, на то сметана» была сдана в газету. Публикация не задержалась (вышла 4 ноября), и это значило, что имя автора (наверняка Чаковский успел снестись с кем надо) не под полным запретом. А. И. казалось тогда, что газетный диалог с академиком Виноградовым об изъянах письменной речи, утратившей подлинно русский *склад,* укрепит его позиции. Но вдруг 9 ноября (через два месяца после провала!) «Нойе цюрхер цайтунг» дала информацию об обыске и конфискации. «Полузадушенный, накануне ареста, я мечтал и путей не имел: о, кто б объявил о взятии моего архива?» Теперь выходило, что, хотя и забрали архив, писать и печататься автору никто не мешает. Заметка в «ЛГ» (она окажется единственной газетной публикацией Солженицына в СССР вплоть до изгнания) подрывала акцию швейцарской газеты, хотя и крайне неточную: «В Москве, у тяжело больного писателя взяли все рукописи, хотя не нашли ничего компрометирующего». И в те же недели Твардовский скажет в Париже, что Солженицын спокойно работает и в скором будущем напишет много прекрасных страниц.

Жизнь на людях и активность поневоле («со страху ожил») дали несомненный результат: вернулось рабочее равновесие. В первые дни ноября были закончены рассказы «Как жаль» и «Захар-Калита». Вместе с «Правой кистью» и ироническим рассказом из колхозного быта «Живое существо» А. И. решил предложить их в «альтернативные» журналы. «Новый мир» отпадал — «Правую кисть» ещё раньше отверг Твардовский как «самое страшное из всего написанного». Игры с «альтернативщиками» А. И. назвал *исторической проверкой*, а Копелев — «переходом Хаджи-Мурата»: если «Огонёк», «Литературная Россия» и «Москва» хвалятся, что они прежде всего «русские», пусть используют шанс и напечатают русского автора с русскими темами.

Однако автор, произведя в стане правоверных переполох (за ним посылали машины, встречали всей редколлегией — имя недавнего фаворита все ещё действовало магнетически), будто дразнил их всех! Будто не знал, что это журналы не столько русские, сколько партийные и подчинены дисциплине. В сплотке из четырех рассказов только два были проходные — «Захар-Калита» и «Живое существо». «Правую кисть» не брал никто (Твардовский был прав, говоря, что

«ничего нет страшнее»), «Как жаль» — опять «про лагеря»: правдивый случай с дочерью репрессированного профессора Васильева (Солженицын напишет о нём в «Архипелаге»). Радость правоверных продержалась до первого чтения: в «Огоньке» сначала отклонили «Правую кисть», потом и «Как жаль». В «Литературной России» приняли одного «Захара». В «Москве» помолчали, потом всё вернули. Суета надоела в три дня, рассказ «Живое существо» по его слабости А. И. забраковал сам (и никогда не публиковал), однако иметь дело с правоверными пришлось по другому поводу.

Давно миновали страсти с Ленинской премией, но слухи, возникшие на гребне премиальной волны, не только не замерли, но мерзко размножились. Даже инцидент со справкой о реабилитации, прочитанной в ответ на клевету Павлова, пересказывался так, будто на заседании Комитета была оглашена бумага, доказывающая, что Солженицын служил у немцев и был не то гестаповец, не то полицай. А. И. решил защищаться. Обращаясь в правление Союза писателей РСФСР (копии в ЦК и в «ЛГ»), 27 ноября 1965 года он писал: «Нашлись люди, продолжившие критику моей повести “Один день Ивана Денисовича” другим путем — внелитературным, избегающим печати и не требующим ни познаний, ни вкуса, именно — клеветой об авторе повести, о его биографии. Если бы клеветников было несколько человек, я легко мог бы опровергнуть их и наказать судебным разбирательством. Но их больше, это некое направление, включающее официальных лиц и использующее официальные каналы, как видно из последних фактов». Памятуя, что подобное письмо два месяца назад отказался публиковать «Новый мир», он просил содействия напечатать текст в центральной печати. Но никакого ответа получено не было — не для того затевалось, чтобы так быстро захлопнуться.

2 декабря А. И. был в «Новом мире» с «Захаром-Калитой»: если где-то и печатать рассказ, то только *здесь*. Однако *здесь* деликатно дали понять, что не только рассказы, романы или пьесы — само имя его вот-вот будет запрещено к упоминанию, накатывает-де такая пора. Дементьев и Лакшин пытались пристроить «Захара» в «Правду», а потом и в «Известия» (там набрали, да вскоре рассыпали). И уже не было ни ревности, ни упрёков в измене, а облегчение: мы уступаем вам светлый, патриотический рассказ Солженицына! Но «Правда» и тут разглядела слово «монголы», подрывающее политику СССР в Азии, и отклонила публикацию. В итоге разговор с Твардовским получился неприятным, едва не дошло до ссоры, на глазах всей редакции. Взрыв уда-

лось предупредить, и они сухо расстались (страницы «Телёнка» об этой «хаотичной и взаимообидной» брани будут тяжелы и безутешны).

На какое-то время счёты с Москвой были покончены. «Захар-Калита» пристроен, при содействии Копелева Г. Бёлль вывез из страны «Танки» и «Прусские ночи» («Уж как я радовался, как благодарен был!»), стараниями Левитской и Тэнно спасена рукопись начатого «Архипелага». Тем же вечером А. И. уезжал в дальнюю нору («Укрывище»), надолго, без переписки, — туда, где не знали ни его, ни о нём. Устраивала отъезд Люша; только у неё был тартуский адрес Арнольда Сузи. В ошеломлении наблюдала она на своей кухне, как А. И. сбривает бороду (Твардовский нет-нет да и укорял его «маскировкой»: вот, дескать, сбреет бороду и неузнанным перейдёт границу). С двумя чемоданами он спустился вниз, к подогнанному Люшей такси. Двор просматривался, уследить за ним, даже и безбородым, не составило бы здесь никакого труда. «Значит, не следили вплотную. Нерешительность в ту осень ГБ непонятна мне посегодня, разъяснится когда-нибудь». Семичастный охотно объяснит тогдашнюю тактику: «До мая 1967 года имя Солженицына ещё не было в мире широко известно, как это произошло позже, и мы со своей стороны никогда не стремились его популярность приумножать. Поэтому не конфисковывали его рукописей сразу после их создания, не прибегали к прямым насильственным действиям». В 1965-м он рассчитывал добиться всего лишь общественной изоляции Солженицына и «локализовать его идейно-порочное влияние»*.

В Тарту его встретил Сузи-старший. Старинный университетский город казался заграницей, безопасной Европой. А. И. захватил с собой разговорник и старался общаться на эстонском. «Меня, конечно, отличали по акценту, но так необычен русский человек, кто силится знать эстонский, его всегда встречают тепло». Переночевал на квартире сына Арнольда; на рассвете тот отвез гостя на место. Семья Сузи —

* В секретной записке от 4 октября 1965 года в Секретариат ЦК Семичастный и Генеральный прокурор Руденко писали: «Рукописи романа А. И. Солженицына “В круге первом” и его пьес “Республика труда” и “Пир Победителей” Прокуратура СССР и КГБ предлагают в порядке исключения подвергнуть конфискации с последующим хранением в архивах КГБ». Правлению Союза писателей СССР рекомендовалось «провести партийные собрания и активы писательской общественности с вопросами повышения идеологической закалки творческих кадров». А на партсобраниях объявляли, что захваченный архив Солженицына «концентрировался для отправки за границу».

Арнольд, его дочь Хели и сын Арно с женой Хертой говорили соседям, что поселившийся на хуторе московский профессор работает над диссертацией. А. И. полагал, что в Эстонии не может быть человека, который бы его предал. Вспоминает (2003) Хели Сузи: «Это был хутор Марты Порт. Она и папу с мамой там приютила, когда им жить было негде, дала им две большие комнаты. Хутор Копли-Мярди в деревне Васула. В зиму 1965 года он пустовал — Марта уехала в город, к детям. С её согласия и поселился там в одиночестве, подальше от глаз людских, А. И. И знали об этом только самые близкие люди. Из Тарту я на местном автобусе доезжала до Васула, там сходило много людей. И в этой толпе я "растворялась". А до хутора — три километра — добиралась на лыжах. Приносила провиант. Мы пили с ним чай, иногда А. И. читал стихи наизусть. Потом всю ночь работал, а я, как мышка, затихала и таилась в другой комнате, чтобы ему не мешать. Наутро он отдавал мне порцию машинописи, третью копию, и я увозила её на хранение. Три километра на лыжах до Васула, на автобусе — в Тарту. Я понятия не имела, что он тайно отвозил в Пярну, Лембиту Аасало, второй экземпляр рукописи. И Лембит ничего не знал обо мне, хотя мы были друзьями. Абсолютная конспирация. В ту зиму 65—66-го мне пришлось посетить хутор четыре или пять раз».

Марта Порт с сыновьями ни тогда, ни позже не проговорились, что у них жил опальный писатель. В комнате хутора Копли-Мярди, выходящей окном во двор, стопка заготовок к «Архипелагу» превращалась в готовую машинопись. Так сосредоточенно и отрешённо он не работал никогда в жизни. «Это был как бы даже и не я, меня несло, моей рукой писало, я был только бойко́м пружины, сжимавшейся полвека и вот отдающей». Он ничего не читал (иногда листочек из далевского блокнота), западное радио слушал только за едой и топкой печи, в семь вечера валился спать, во втором часу ночи снова садился за стол и при ярких лампах продолжал работу. «К позднему утреннему рассвету в десятом часу у меня уже обычно бывал выполнен объём работы полного дня, и я тут же начинал второй объём — и управлялся с ним к 6-часовому обеду». Хели Сузи казалось, будто никому и ничему в этом мире он уже не принадлежит. Когда ему пришлось ехать к Лембиту в Пярну ночным автобусом, он чувствовал, что ко всему готов, лишь бы закончить «Архипелаг».

«Это были вершинные недели и моей победы, и моей отрешённости...»

А в Москве перешёптывались, будто Шолохов, когда ездил получать Нобелевскую премию, на вопрос о Солженицыне ответил: «Солженицын? Он мемуарист; не всякая мемуарная литература может считаться литературой». Столицу знобило. Ходили письма с требованием освободить Синявского и Даниэля. В первых числах декабря в Московском университете и других вузах были разбросаны машинописные листовки «Гражданское обращение»: «Ты приглашаешься на митинг гласности, 5 декабря в сквере на площади Пушкина у памятника поэту. Пригласи ещё двух граждан». Автором обращения был математик Александр Есенин-Вольпин, сын поэта. 5 декабря на «Пушке» он и ещё несколько человек развернули плакаты «Требуем гласного суда над Синявским и Даниэлем!», «Уважайте советскую Конституцию!». Их задержали, через несколько часов отпустили. «Мы, — писал в этой связи Копелев, — хотели действовать по-иному: не выходить на улицу, не взывать “всем, всем, всем!”, а снова попытаться вразумлять власти и выпросить Синявского и Даниэля, как выпросили Бродского. Мы начали заступаться за них, думая прежде всего об опасности, нависшей над Солженицыным. Мы ещё продолжали рассчитывать на возможности “прогресса в рамках законности”, не замечая, что нас уже затягивало в новый и куда более крутой поворот».

О московских событиях А. И. не знал почти ничего, и не было у него связи с внешним миром тоже почти никакой; однако это хилое «почти» относилось к жене. Весь декабрь она маялась и металась — не занимала работа, не волновали авторитетные мнения московских знакомых: «Не растворяйтесь в другой личности, даже если она гениальна!» Трудно было справиться с тоской, одиночеством, отчаянием. «Он считал нужным проваливаться в неизвестность, чтобы писать “Архипелаг”. Но при этом невольно, неизбежно уходил из семьи... Нет, он совершенно не представляет моего состояния, если может меня обрекать на такую пытку... Порой начинает казаться, что от бессмысленности существования без него я становлюсь душевнобольной. А этого никто не хочет замечать. Никто. Даже мама». А. И. скажет в «Телёнке»: «С осени возненавидела она “Архипелаг”: не побоялась бы и печатать его, если вместе со мной, — но если я для него уезжаю и даже писать не могу домой — пропади тот “Архипелаг”».

29 декабря её вызвали в горжилуправление и директивно предложили выбрать квартиру из предложенных вариантов. «Пока идеала нет, — записала она, — но что-то стараются для нас сделать. Буду ещё смотреть и, вероятно, вызову

С<аню>». Это, разумеется, был предлог. Она послала телеграмму («Приезжай немедленно») на тартуский адрес Сузи, подписавшись непонятным именем «Ада». Он понял, что телеграмма от жены — но почему *Ада*? Что за *адский* намёк? «Безопасный быт, страстная работа — всё бросается в час, сворачивается наспех, и уже нет покоя на душе, всё равно и не поработаешь, прощайте, рукописи...»

Ночным поездом А. И. примчался в Москву и позвонил в Рязань. «Скорей! Скорей! Приезжай!» И только в Рязани узнал, чтó же случилось. «А — ничего. Ты с осени почти в Рязани не живёшь, я всё время одна. Просто — не могла больше ждать. И — надо квартиру в Рязани получать». За день до Нового года они успели выбрать просторную квартиру из трёх комнат на первом высоком этаже старого добротного дома, с большой прихожей и кухней, с окнами-фонарями; во дворе имелся тёплый гараж с электрическим освещением. Новый год встречали на Касимовском, с надеждой на новую жизнь в новом доме. «Но, в общем, — писала Наталья Алексеевна в дневнике, — Санин приезд не получился радостным. У меня — полоса мрака». Сразу после Нового года А. И. уехал. «На этот раз его приезд не принёс мне облегчения».

...А Лубянка весь январь писала секретные записки в ЦК относительно автора, чьи произведения могут нанести ущерб международному престижу СССР. Фотокопии предоставлялись видным писателем: предполагалось, что, прочитав, например, «Пир Победителей», они ужаснутся, и общественная изоляция будет обеспечена ненасильственным способом (как того и хотел Семичастный). К концу месяца с текстами Солженицына успели ознакомиться секретари правления СП СССР Бровка, Сурков, Грибачёв, Кожевников, Чаковский, Воронков, секретарь правления СП РСФСР Алексеев, главный редактор «Иностранной литературы» Рюриков. «Очень горестное» впечатление получил от чтения Сурков (его отзыв прилагался к информации отдела культуры ЦК от 29 января 1966 года). Солженицын оказался противником «всего нашего строя жизни», писателем, для которого в советской истории нет ни единого светлого пятнышка. Его талант, если таковой и есть, полон злобы и презрения, полыхает зоологической ненавистью, и по сравнению с ним даже «Доктора Живаго» можно считать лояльным к советскому строю. «Как увязывается “феномен Солженицына” с тем, что у нас нет сейчас классовой борьбы? Где найти этому всему объяснение?» — вопрошал поэт, обращаясь к госбезопасности. В течение февраля с рукописями

знакомились секретари правления СП СССР Федин, Тихонов, Марков, директор ИМЛИ им. Горького Анисимов. «*Не взяли* рукописи Леонов и Твардовский: последний — ссылаясь на то, что почти все произведения он читал, кроме пьесы “Пир Победителей”, которую, однако, также *отказался прочитать*. Тов. Симонов ознакомился только с романом “В круге первом”, от чтения остальных произведений *наотрез отказался*», — докладывали замзавотделом культуры ЦК Мелентьев (пришедший на смену умершему Поликарпову) и его подчиненный Барабаш.

Твардовский объяснил в ЦК свою позицию просто и благородно: не считаю возможным знакомиться с пьесой посредством органов. «А как же мы?» — напирали мелентьевцы. «Вы — другое дело, вы контролируете деятельность органов, это ваш служебный долг. А мне — это всё равно, что читать письмо, которое не мне предназначалось». Симонов же, просидев три дня в стенах ЦК, прочел «Круг» «с тяжёлым чувством в душе». «Я не приемлю этот роман в самой главной его отправной точке, в его неверии во внутреннюю здоровую основу нашего общества, которая присутствовала в нём всегда, в том числе и в такие тягчайшие периоды его развития, как последние годы Сталина. И это для меня самое главное».

На таком фоне вышел январский «Новый мир» с «Захаром-Калитой» — последнее, что смог сделать журнал для автора, которого так счастливо открыл четыре года назад Твардовский. Но — *сковырнули* Хрущёва, в середине января 1966-го умер В. С. Лебедев, совсем ещё не старый, а ведь собирался писать воспоминания о Сталине и Хрущёве... (Твардовский говорил на поминках, что ему, Лебедеву, «вопреки многим невозможностям, предубеждениям, прямому сопротивлению мрачных сил, принадлежит честь и заслуга “пробития” “Ивана Денисовича”»). И в феврале, в десятилетний юбилей XX съезда, в газетах не было ни строчки; 14-го был объявлен приговор Синявскому и Даниэлю: семь и пять лет в колониях строгого режима с последующей ссылкой. «В сущности, — писал Твардовский, — ничего не хочется делать, можно сказать, что и жить не хочется: если это поворот к “тому”, то, право, остаётся существовать. Но, конечно, вряд ли это действительно “поворот” — просто бездна слепоты и глупости невежд (а это не то ли самое?)... Нужно быть готовым и к свёртыванию манаток, что, впрочем, соответствует настроению».

«Правда» теперь писала, что никакого «периода» культа личности не существовало, а были отдельные проявления,

преодолённые партией. И катил уже XXIII съезд, где так отличится Шолохов. «Я представил себе, — писал Чуковский, — что после этой речи жизнь Синявского станет на каторге ещё тяжелее». Твардовского на съезд не избрали: «Объективно говоря, не умно, слишком наглядно. Бедные сотрудники “Нового мира”, сколько им ещё слышать лицемерно-сочувственные вздохи: “А вашего-то не избрали. Пьёт, должно быть?..» И ещё одна запись А. Т., после чтения материалов съезда: «Речь Шолохова — ужасно, даже её “общегосударственный” план не спасает от впечатления позорно-угоднического, вурдалацкого смысла в части искусства... Растленный старец, а как много мог бы он сделать добра литературе и всему, будь — без всякой опаски — чуть самостоятельней, свободнее и человечней. Горько и стыдно».

...Когда весной 1966 года Солженицын вернулся из эстонской норы, до него дошли слухи, будто кто-то из ЦК запросто, в автомобиле, передавал *почитать* «Круг» Межелайтису. Другой слух намекал, будто в недрах партийного агитпропа тайно, малым тиражом, издан и «Круг», и «Пир Победителей»; их дают читать по особому списку, ключевым фигурам, от которых зависит публичная жизнь писателя. «Дают читать главным редакторам издательств — чтобы сам срабатывал санитарный кордон против моего имени и каждой моей новой строчки. Нет, не тупая голова это придумала: в стране безгласности использовать для удушения личности не прямо тайную полицию, а контролируемую малую гласность — так сказать номенклатурную гласность. Обещались те же результаты, и без скандала ареста: удушить, но постепенно».

19 апреля завотделом культуры ЦК Шауро информировал секретарей ЦК об использовании работ Солженицына в западной печати. Там отмечалось: у Солженицына нет никаких точек соприкосновения с критериями коммунистической морали; если заменить их нравственными критериями самого Солженицына, это приведёт к резким изменениям всей жизни СССР. Как раз в этом и обвиняла Солженицына советская партийная пропаганда.

А. И. видел, что с этой весны власть повела с ним новую игру. Вроде бы всё тихо, нигде ничего вслух, никакой травли. Но с закрытых трибун, по всей сети партпросвещения, пропагандисты рассказывают: автор «Ивана Денисовича» сидел при Сталине *за дело*, реабилитирован неверно, произведения его преступны. По стране неуловимо расползалась клевета, и тысячи лекторов работали в унисон *с установкой*. «Между прочим, — небрежно ронял в провинции заезжий

просвещенец, — настоящая фамилия его Солженицер (или Солженицкер), но в нашей стране национальность не имеет значения». «Как вы могли допустить, чтобы в вашем журнале печатался сотрудник гестапо?» — спросили Твардовского на читательской конференции в Новосибирске. Он, конечно, ответил, но не везде спрашивали, и не везде было кому сказать правду. А как заманчиво было бы найти в его военных документах хоть два дня, проведённых в плену (был же в плену Иван Денисович Шухов!). Но и без документов неслось с партийных кафедр: сдался в плен! сдал батарею! служил полицаем, нет, гестаповцем! И только читатели сообщали: такого-то числа в такой-то аудитории лектор по фамилии такой-то говорил такую-то ложь и гадость. «Бывали и такие случаи, что по мне, как по лакмусу, проводили проверку лояльности при отборе в аспирантуру или на льготную должность: “Читали Солженицына? Как к нему относитесь?” — и от ответа зависит судьба претендента».

Оттепель закончилась. Общественное мнение было готово к любому повороту событий, и никто, наверное, не удивился бы расправе над писателем. Но всё же — в 1963-м протестовали против ареста Бродского. В 1965-м выходили на Пушкинскую площадь с плакатами в защиту Синявского и Даниэля. Порицали партсъездовское выступление Шолохова в 1966-м. И доносилось до родных осин слабое эхо мировой печати. И понял Солженицын: раз тайно издают его вещи, значит, дана ему долгая отсрочка. Раз не сажают за «Пир Победителей» (то есть *знают* про лагерный образ мыслей и не трогают), значит, не посадят ни за какое нынешнее убеждение. Только теперь он смог разгадать *шифр неба* — зачем нужен был арест архива. А затем, чтобы, раскрывшись, стать идеологически экстерриториальным! Значит, провал архива развязывал руки, давал свободу исповедания любых идей. Если западный журнал писал, что Солженицын и коммунизм — вещи несовместные, а его при этом не хватали и не вязали, значит, он завоевал свободу. «Что угодно я теперь могу записывать в дневниках — мне незачем больше шифровать и прятаться. Я подхожу к невиданной грани: не нуждаться больше лицемерить! никогда! и ни перед кем!»

Теперь, полагал он, помимо «Архипелага», который он закончит в тайной берлоге (а при себе и материалов держать нельзя), нужно *открыто* работать над тем, о чём вскоре следует *открыто* и заявить. Для этой роли больше всего подходил «Раковый корпус» — горький опыт зимы 1954-го, дополненный материалами ташкентских встреч весны

1964-го. На такую работу вполне можно отвести даже и год, а внутри него поместится окончание «Архипелага»! Составился план ближайших месяцев. Март ушел на переезд и устройство новой рязанской квартиры в проезде Яблочкова (дом 1, кв. 11), но, несмотря на красивые книжные полки, окно-фонарь, где теперь стояла кафедра, чтобы писать стоя, его тянуло прочь из Рязани — в одиночество Рождества, в Переделкино к Чуковским, и даже в Москву, редкими наездами.

«Большой день!» — восклицала Решетовская, побывав с А. И. в гостях у академика Капицы в двухэтажном коттедже на Воробьевском шоссе, а потом на спектакле у вахтанговцев. Такие дни она считала *образцовыми*. Положение жены знаменитого писателя, допущенной к кругу других знаменитостей, казалось исключительным. За три года мужниной славы она успела привыкнуть к тому повышенному вниманию, которым культурная Москва окружает его, а значит, и её. Она убеждалась, что настойчивость, которая помогла добиться воссоединения с ним в 1956-м, пусть даже ценой предательства приёмных детей, того стоила и дала результат. Более чем когда-либо она дорожила своим положением и душевно омрачалась, если чуяла угрозу — его отъезды, скитания, новые помощники и помощницы, которых становилось всё больше. «Разлом и обморок» (как называл А. И. свои отношения с женой после марта 1964-го) тянулись и разрастались.

...Пасхальную неделю А. И. провёл в Переделкине, у Чуковского. Был у всенощной: «За полчаса до благовеста выглядит приоградье патриаршей церкви Преображения Господня как топталовка при танцплощадке далёкого лихого рабочего посёлка». В тот же день, 10 апреля, написал маленький удручённый рассказ о пасхальном крестном ходе — без молящихся и без крестящихся, где девки в брюках и парни в кепках, с орущими транзисторами на груди, прикуривали от свечек и матерились в полный голос. «Чего доброго ждём мы от нашего будущего? Воистину: обернутся когда-нибудь и растопчут нас всех! И тех, кто натравил их сюда, — тоже растопчут!»

Месяц с середины апреля А. И. безвыездно жил в Рождестве, гнал «Раковый корпус». Возникла мысль предложить «Новому миру» первую часть без второй. Хотя надежды на печатание не было, он тепло написал Твардовскому, что скоро принесёт полповести, и просил, по возможности, не сильно задержать с решением. Люша взялась перепечатать, и так радостна была эта помощь — две недели дались как

подарок. 13 мая он был в «Новом мире». «Мое положение — самое хорошее, нечто вроде экстерриториальности. Как Тарле в своё время объявили буржуазным историком и больше не трогали», — объяснял он. 30 мая Лакшин записал: «А. Т. прочитал Солженицына и говорит, жмуря глаза от удовольствия: "Ну что сказать... Это писатель... Он у нас совершенно табуированный. Между тем я уверен, что эта книга, будь она всеми прочитана, принесла бы большую пользу. Сейчас в мире три темы, интересующие всех: термоядерная бомба, фашизм и рак. Но не собственно болезнь его интересует, а как открывается человек"».

«Кому объяснить, — размышлял Лакшин, — что это преступно, такое обращение с писателем, подобным Солженицыну? Кто ответит за это?»

Но отвечать на этот вопрос никто и не собирался.

Глава вторая

РАЗГАДАННЫЙ ШИФР: БЕДА КАК СВОБОДА

В конце мая 1966-го в одном гостеприимном доме, где Солженицын читал главы «Ракового корпуса», хозяйка, провожая гостя к лифту, шепнула, что у неё на работе ходят слухи, будто он написал какой-то «Архипелаг ГУЛАГ». А. И., похолодев, благодарил за предупреждение и сказал, что примет меры. Но какие меры он мог принять? Подавить слух (каким образом?), отпираться, если спросят? Конечно, подумал о Воронянской — Елизавета Денисовна была посвящена в замысел, но при встрече клялась, что откровенничала только с двумя надёжными друзьями (что ГБ знает об «Архипелаге» из прослушки и может само пускать слух, даже мысли не было).

Но он не отменил путешествие, которое задумал ради «Архипелага»: увидеть Беломорканал. 17 августа 1933 года сюда приезжало *прогуляться* сто двадцать писателей. «Во время шлюзования парохода эти люди в белых костюмах, столпившись на палубе, манили заключённых, с территории шлюза... в присутствии канальского начальства спрашивали заключённого, любит ли он свой канал, свою работу, считает ли он, что здесь исправился, и достаточно ли заботится их руководство о быте заключённых? Вопросов было много, но в этом духе все, и все через борт, и при начальстве, и лишь пока шлюзовался пароход» («Архипелаг ГУЛАГ»). Горький, редактировавший книгу об этой *прогулке,* утверж-

дал, что знакомство с каналом полезно повлияет на писателей, а в литературе появится настроение, которое двинет её вперед и поставит на уровень других великих дел.

33 года спустя, как бы состязаясь с теми ста двадцатью (из них 84 как-то уклонились от участия в горьковском проекте и только 36 вошли в авторский коллектив), Солженицын тоже приехал на канал. Добирался из Ленинграда (где был 6 июня), минуя Вологду, Кириллов, Белозёрск, Вытегру, Петрозаводск. Одиночная прогулка оказалась затруднительна: не было ни пассажирских пароходов, ни экскурсантов. Оставалось проситься на грузовое судно — с паспортом, конечно. «А у меня фамилия наклёванная, сразу будет подозрение: зачем еду? Итак, чтобы книга была целей — лучше не ехать». Удалось от Повенца пройти пять шлюзов Повенчанской «лестницы». Было тихо, безлюдно, канал (как сказал начальник охраны) вышел мелкий, полгода стоит подо льдом, даже подводные лодки своим ходом не проходят, на баржи их кладут и так тянут. Он провёл около канала восемь часов; за это время прошла мимо одна самоходная баржа в одну сторону и одна в другую, с одинаковыми сосновыми брёвнами. Зачем, для какой надобности было угрохано четверть миллиона жизней? «Куда спешил ты, проклятый? Что жгло тебя и кололо — в двадцать месяцев? Ведь эти четверть миллиона могли остаться жить». Когда, вернувшись (поездка заняла дней десять), А. И. сказал жене, что зимой отправится в нору заканчивать «Архипелаг», это вызвало тяжёлую сцену, со слезами и обвинениями. «Но там ведь были миллионы слёз», — пытался оправдаться он...

Обсуждение первой части «Ракового корпуса» было назначено на 18 июня. «Новый мир» переживал не лучшие времена. В партийных инстанциях его считали главным поставщиком крамолы. Твардовского, как уже было ясно, не избрали на XXIII съезд *в наказание*, и был пущен слух, что ему уже готова замена. Его грубо толкали к отставке. Цензура издевалась над журнальными материалами подолгу, со смаком, беря редакцию и авторов на измор. После бесконечных поправок, унизительных уступок тексты всё-таки вынимались из номера, неизвестно кем, неизвестно почему. В ходу была злая шутка: «Мы наш, мы *новый мир* разрушим, до основанья, а затем...»

Ещё в феврале 1966 года сотрудники газеты «Советская культура» во главе с главным редактором отправили в Президиум ЦК письмо о спектакле «Тёркин на том свете», поставленном в Театре сатиры. «Мы имеем дело с произведе-

нием антисоветским и античекистским... Удивительно почти полное совпадение авторских выпадов, намёков и полунамёков в адрес органов государственной безопасности, в адрес наших славных чекистов с клеветой, характерной для буржуазной пропаганды... Главный порок — в литературном первоисточнике, которому, к сожалению, до сих пор не дана принципиальная партийная оценка».

Это был прямой донос — и доносчики открыто предлагали, как лучше расправиться со спектаклем. Надо, во-первых, показывать его не *мещанам*, с их истерическими восторгами по поводу любого политического намёка, а рабочей аудитории, которую можно подтолкнуть к обструкции представления. Во-вторых, поработав с труппой, можно подвести сознательных артистов к отказу от участия в спектакле. Эта отравленная стрела метила не столько в театр, сколько в Твардовского. Позднее, когда «Тёркин на том свете» будет запрещён, Семичастный ясно выразит своё отношение к журналу и его редактору: «Трудно найти оправдание тому, что мы терпим по сути дела политически вредную линию журнала "Новый мир"... Наша реакция на действия редакции "Нового мира" не только притупляет политическую остроту, но и дезориентирует многих творческих работников».

Можно понять, почему журнал сделал из «Ракового корпуса» секретный документ: боялись, что текст утечёт, как утёк «Круг». Но автор был уже не тот, что два года назад, и делать секрет из своей новой вещи не хотел: понимая, что публикация повести почти невозможна, он надеялся на её вольное хождение в Самиздате. Однако связь с «Новым миром» была жива, несмотря на размолвку с Твардовским. Во всяком случае, А. И. рассчитывал добиться ясности и распорядиться своим сочинением по собственному разумению.

Обсуждение длилось пять часов, за чаем из самовара, в полном составе редакции. Лакшин, участник обсуждения, записал в тот день: «Солженицын, как всегда, слушал всех внимательно, молча, расписывая замечания на 2-х бумажках. Потёртый учительский чёрный портфель с двумя замками, обращение, несколько неловкое, "друзья мои", учительский тон — всё это от его педагогической практики — другой аудитории он и не знает. Кое-где он наскакивал, как боевой петух, но всё же сказал, что чувствует себя среди друзей и потому хочет объясниться». Объясняться пришлось подробно, дотошно — и в целом, и по частностям, и по заглавию (ему, однако, казалось, что большого интереса к себе он не ощущает, будто речь идёт не о его книге).

Мнения резко разделились: «Кисло выступили Закс, Кондратович, сдержанно говорил Дементьев. Я говорил, кажется, горячо и взволнованно... Очень хорошо, интересно говорил А. Т. <...> Трифоныч очень хвалил повесть, но порой, говорил он, чувствуешь резь — нет, так не может быть...» Молодая (низовая) часть редакции энергично ратовала *за* печатание повести, а старая (верховая) — столь же энергично *против*. И. Виноградов, недавно принятый в журнал критик, сказал то же, что говорил Твардовский в связи с «Одним днём»: «Если этого не печатать, то неизвестно, для чего мы существуем». Лакшин горячо уверял, что держать такую повесть взаперти — значит брать грех на душу. О нравственном долге перед читателем напоминали Марьямов и Берзер. Но *старики* гнули свою линию: тенденциозно... слабее, чем роман... не завершено, только 1-я часть... Голос главного, однако, рассеял сомнения: эту вещь мы хотим печатать, после доработки мы её запустим и будем стоять за неё, сколько есть сил и даже больше.

Всё кончилось как будто хорошо — казалось, повесть одобрена. «Солженицын — великий писатель, а мы больше, мы — журнал», — записал в тот день Лакшин слова Твардовского. Что́ это значило для повести, стало понятно очень скоро. 4 июля А. И. снова был в редакции, принёс поправки. Теперь повесть имела запасные названия: то ли «От среды до четверга», то ли «Корпус в конце аллеи». Ещё через две недели состоялось новое обсуждение. Молодёжь по разным причинам отсутствовала, а старики (во главе с уже обработанным Твардовским) как раз были на месте. А. Т. сказал отчётливо: благоприятных обстоятельств для печатания повести у журнала нет; надо встать на ноги; выступать с такой вещью сейчас — рискованно, невозможно. Формально рукопись считается «в основном одобренной», и редакция готова подписать договор. Автору предлагается дописать и принести вторую часть, потом и решать. «Без меня обсуждали повесть Солженицына и решили отложить — Твардовский переживает всевозможные опасения — и очень давит на него укоренившаяся “дурная репутация” автора», — записал Лакшин 28 июля, вернувшись из загранпоездки. Чуковский отмечал и другой оттенок коллизии, известный ему по слухам: «С Солженицыным снова беда. Твардовский, который до запоя принял для “Нового мира” его “Раковый корпус”, — после запоя отверг его самым решительным образом».

Такое решение Солженицын, в общем, предвидел и отнёсся скорее с облегчением, чем с обидой. Он тотчас при-

нял точный порядок действий: договор не подписывать, рукопись забрать, все исправления уничтожить, прежний текст восстановить, первую часть отдать в самиздат, вторую писать, а потом тоже выпустить на волю. Это и была искомая свобода от обязательств. Вольного плавания «Корпуса» (дописанного за лето и отпечатанного Люшей на ураганных скоростях) уже ничто не могло остановить. «Новый мир» как бы толкал повесть в открытый мир самиздата.

В тот день, 19 июля, ещё до решения редакции, А. И. в предвидении событий сообщил Твардовскому, что его изъятые сочинения читаются избранными лицами по некоему списку; против автора настраивается общественное мнение. Твардовский позвонил Черноуцану — и после обсуждения в «Новом мире» Солженицын был там принят, внимательно выслушан, как будто даже понят, но — с нулевым результатом: ни обещания, ни предложения, ни совета. Решимость обратиться на самый верх созрела сразу, как только он убедился в никчемности промежуточных чиновных звеньев. Чтó мог сделать замзавотдела ЦК, если он выполнял команды того самого верха? 25 июля на имя Брежнева было написано письмо с изложением обстоятельств, объяснением позиций, с просьбой о содействии. «Я прошу вас принять меры, чтобы прекратить незаконное тайное издание и распространение моих давних лагерных произведений, изданное же — уничтожить. Я прошу вас снять преграды с печатания моей повести “Раковый корпус”, книги моих рассказов, с постановки моих пьес. Я прошу, чтобы роман “В круге первом” был мне возвращён, и я мог бы отдать его открытой профессиональной критике». Копия была послана Черноуцану.

Никакого ответа или отклика не последовало никогда и ниоткуда.

«Я бился и вился в поисках: что ещё? что ещё мне предпринять против наглого когтя врагов, так глубоко впившегося в мой роман, в мой архив? Судебный протест был бы безнадёжен», — размышлял Солженицын в «Телёнке». Но насколько перспективен был *этот* шаг — письмо в ЦК? После снятия Хрущёва автор «Ивана Денисовича» не питал иллюзий, будто новая власть способна к диалогу, будто она нуждается в критике снизу, будто она способна к развитию и изменению. Он знал ей цену, он дал ей точную оценку, зафиксированную магнитофонной плёнкой на квартире Кобозева. Чего мог ждать он от бывшего комсомольского вожака Семичастного, назвавшего (под диктовку Хрущёва) Пастер-

нака на пленуме ВЛКСМ в 1958 году «свиньёй» и «паршивой овцой»?* Что, став председателем КГБ, тот одумается и осознает постыдность своих погромных речей? Нет, конечно. «“Оттепель” разморозила либеральных критиков устоев Советской власти и политики КПСС в области идеологии. *Их надо было одёрнуть*» — так рассуждала власть, закрепляя за собой вечное право «одёргивать». Но — власть это уже поняла — не изменял себе и писатель Солженицын, один из самых серьёзных её критиков, чтó бы он ни говорил и кому бы ни писал. Власть, захватив его архив и прослушав плёнку, не верила ему больше на слово.

Ситуация складывалась вполне тупиковая.

Но Солженицын, даже и не зная о наличии плёнки, увидел единственно возможный выход: «Вот уж год кончался после провала моего архива, и даже в моей неусвойчивой голове прояснялось положение *их* и мое: что нечего, нечего, нечего мне терять! Что открыто, не таясь, не отрекаясь, давать направо и налево “Корпус” для меня ничуть не опаснее, чем та лагерная пьеса, уже год томящаяся на Большой Лубянке. — Вы раздаёте? — Да, я раздаю!! Я написал — я и раздаю! Провалитесь все ваши издательства! — мою книгу хватают из рук, читают и печатают ночами, она станет литературным фактом прежде, чем вы рот свой раззявите! Пусть ваши ленинские лауреаты попробуют распространить так свои рукописи!»

Власть сама указала ему на его силу и мощь.

И вскоре узнал Твардовский, что «Раковый корпус» ходит по Москве безнадзорно, и гневался выше всякой меры, и был вызван для оправданий автор, и готовились санкции против ротозейной редакции. Однако 3 августа, будучи в Москве и не застав Твардовского звонком (а Закс не стал говорить по телефону о причине *вызова*), А. И. написал главному редактору, что считает себя свободным от всяких обязательств перед «Новым миром» и оставляет за собой право распоряжаться *своей* повестью по *своему* усмотрению. «Редакция не только отложила на неопределённый срок всякое продвижение моей повести, но и выставила мне допол-

---

* См.: «Когда я с задором произносил свою речь с трибуны во Дворце спорта, место в докладе о Пастернаке было встречено бурными аплодисментами. Надо сказать, что книгу Бориса Пастернака “Доктор Живаго” я, как и все присутствующие в зале, тогда ещё не читал. Была она издана в Италии, и в нашей стране её прочесть было нельзя. Поэтому судить о содержании книги я не мог и осуждал Пастернака за факт незаконного, тайного издания книги за границей» (В. Семичастный. Беспокойное сердце).

нительные условия — сверх уже сделанного (уже невозможные для меня) — и тем самым практически отказалась от повести. Я думал, что, взяв из редакции рукопись и отказавшись подписать предложенный мне договор, я достаточно выразил своё отношение к этому решению редакции и своё намерение. Я посылаю эту повесть в другие редакции, я предлагаю её вниманию писательской общественности. Это — право всякого автора, и было бы странно, если бы Вы намерились лишить меня его. К тому же я не могу допустить, чтобы "Раковый корпус" повторил печальный путь романа: сперва неопределённо долгое ожидание, просьбы к автору от редакции никому не давать его читать (я свято выполнил эту просьбу) — и затем роман потерян и для меня и для читателей, но распространяется каким-то диким путем по какому-то закрытому избранному списку... Хочу ещё раз заверить Вас, что ничуть не обижаюсь на "Новый мир" за отказ печатать мою повесть, вполне понимаю положение редакции — но прошу встречно всегда понимать и моё».

Это была декларация независимости — сдержанная, нелицеприятная, справедливая. Но, конечно, читать *такое* Твардовскому было нерадостно. «Я писал — и не думал, что это жестоко. А для А. Т. это очень вышло жестоко. Говорят, он плакал над этим письмом». Твардовский назовёт его поступком, «окончательно освободившим от недоговорённости того, что давно уже обозначалось». Ему было и больно, и обидно. «Эта история сидит в Трифоныче занозой, — записывал Лакшин 23 августа, через двадцать дней после письма А. И., — и он, мне показалось, надеется, что А. И. первый найдёт путь к желанному и для него примирению. Сегодня он повторил те слова, что я говорил ему несколько дней назад, что без Солженицына не было бы не только Залыгина "На Иртыше", но и последней вещи Айтматова («Прощай, Гульсары!». — *Л. С.*)». Однако А. И. не звонил, не писал и не приходил в «Новый мир» до конца осени. И действительно предложил «Раковый корпус» в «Звезду» (а там тоже редколлегия разделилась), и собирался послать рукопись в «Простор», а то и в «Звезду Востока».

Лето 1966-го в Москве выдалось на редкость холодное и промозглое, и впредь до решения редакций было решено отправиться в автомобильное путешествие на юг. Выехали 29 августа — Калуга, Рославль, Чернигов. В Киеве встретились с Некрасовым, а на почте их с женой уже ждала телеграмма от Марии Константиновны: «ССП признал нецелесообразным поездку Солженицына в Чехословакию» (А. И. почти не сомневался, что поехать по приглашению чешских писа-

телей ему не дадут, и сам писал о том Брежневу, но всё равно было противно). Была запланирована Джулинка Винницкой области, где А. И. надеялся встретиться с одним из корреспондентов, обещавшим показать свои лагерные дневники, однако ничего интересного там не оказалось. В Одессе (где А. И. был ещё студентом) рассчитывали повидать И. Соломина. После ареста 1945 года это была их первая встреча на воле; Илья был женат, имел двух сыновей, остепенился, но не закоснел: комбат и сержант не могли оторваться друг от друга, вспоминали общее, каждый рассказывал своё, гуляли у моря, ездили по городу.

А потом был «бросок на юг» — так, передразнивая Паустовского, окрестили они своё путешествие: Аскания-Нова, Ялта, Алупка, Ливадия. Но А. И. волновали не только туристские достопримечательности. В Симферополе он встретился с Зубовым — теперь проехать в Черноморское без пропуска МВД было невозможно, посёлок стал запретной зоной, базой военно-морского флота. «Я спрашивал, *всё* ли сожгли, действительно ли всё? Он отвечал уверенно. Единственное, что случайно сохранилось, — ранний вариант "Круга", и теперь мы его сожгли вдвоём, в Симферополе» (через несколько лет Николай Иванович обнаружит забытую *заначку* — «Пир Победителей»; после ареста у Теуша это будет единственный на воле экземпляр пьесы). В Старом Крыму навестили вдову Грина, в Коктебеле вдову Волошина — обе были рады знакомству. Из Феодосии двинулись в обратный путь через Харьков, где жил Пшеченко, бывший командир разведывательного дивизиона, и тоже просидели за воспоминаниями несколько часов. Через Курск и Орел (с заездом в Спасское-Лутовиново), одолев почти четыре тысячи километров и пробыв ровно месяц в пути, вернулись домой — сначала в Рождество, потом в Рязань.

В Москве его ждала невероятная новость: «Секция прозы Московского отделения СП 25 октября устраивает в Доме литераторов вечер из цикла "Обсуждаем рукописи прозаиков". Тема: А. Солженицын, повесть "Раковый корпус". Начало в 18.30. Малый зал». А. И. тут же дал экземпляры для чтения. Можаев готов был отстаивать друга, если понадобится. За неделю до 25-го в Рязань пришла телеграмма: «Обсуждение шестнадцатого четырнадцать часов допущено тридцать человек». То есть октябрь меняли на ноябрь, вечер на день и выдали мизерное число приглашений (хотя потом объясняли, что пытались расширить аудиторию, ибо обсуждение «вызвало живой интерес»). Однако замены не затмевали сути события. Справочно-рекламный календарь ЦДЛ

типографски начертал *авторское* название повести — «Раковый корпус», а не «Врачи и больные» или «От четверга до среды», как настаивал «Новый мир». И теперь это было неотменимо. И вообще — ограничивать себя в слове или в деле не имело никакого смысла. Терять было нечего — «хуже, чем *они* обо мне думают, — они уже думать не могут».

Весь октябрь А. И. сидел в Рождестве, редактировал и шлифовал вторую часть «Ракового корпуса». Но ещё 7-го, в Москве, почти случайно и на бегу, дал согласие выступить в «каком-то почтовом ящике». Оказалось — в Институте атомной энергии, 24 октября, вечером. На его первое публичное выступление пришло 600 человек, из них 100 приглашённых парткомом (подготовились!). Зал встретил аплодисментами. Три с половиной часа читал он свои вещи — главы из «Корпуса» («Чем люди живы», «Правосудие», «Несуразности»), первый акт «Свечи на ветру», разделы о тюремных свиданиях из «Круга». «Если *они* дают его читать номенклатурной шпане — то почему же автор не может читать народу?» — резонно полагал он. К тому же поединок *первыми* начали *они*. А он уже дважды просил дать возможность опровергнуть клевету. Не дали. Значит, нужна любая аудитория, любая трибуна.

Зал «повело», когда он читал про «анкетное хозяйство» (из «Правосудия»). Вспоминает Е. Ц. Чуковская: «Это была дерзость неслыханная, и слух об этом выступлении сразу разошёлся по всей Москве. Я там не была, но слышала от очевидцев. Они были потрясены его свободной, смелой и артистической манерой поведения... Были вопросы в записках, и на них он отвечал, не уклоняясь, говорил о конфискации своего архива, в том числе и романа “В круге первом”, о тех препонах, которые чинились его работе и его общению с читающей публикой, возражал против цензуры» (ответ молодому учёному: почему предаются анафеме люди, занятые одной наукой, почему их называют механизированными роботами — Солженицын пустит в самиздат). Одна записка была личного свойства: «Читая и слушая ваши произведения, можно предположить, что вы глубоко несчастный и обиженный человек. Правда ли это?» Солженицын ответил: каждый обязан принять свою долю испытаний, несчастья помогают правильно оценить окружающий мир и понять его.

После блестящего дебюта у курчатовцев приглашения сыпались отовсюду: Институт молекулярной биологии, Институт народов Азии, Фундаментальная библиотека общественных наук, ЦАГИ и ОКБ Туполева, МВТУ им. Баумана, НИИ им. Карпова, НИИ в Черноголовке, Институт элемен-

тарно-органических соединений, мехмат МГУ. Солженицын не отказывал никому, но — по понятно-непонятным причинам валилась одна встреча за другой. Созывались экстренные партсобрания, за час до начала встречи сообщалось о смерти сотрудника, не удавалось найти вместительный зал. На объявлении об отмене вечера у несмеяновцев некая дама написала: «Позор нашему институту», и её вызывали, песочили. *Там* — не дремали, понимал А. И., а звонили и говорили: «Устроите встречу с Солженицыным — положите партбилет».

Но в ЦДЛ всё состоялось, как и было обещано, 16 ноября. Правдами и неправдами в Малый зал набилось полторы сотни человек — среди них Окуджава, Дудинцев, Вознесенский, Коржавин, Некрасов. По распоряжению Твардовского новомирцы игнорировали обсуждение: пришла, в частном качестве, лишь Анна Берзер. Вот ведущий Берёзко пикируется с теми, кому не хватило места. Каверин бросает реплику — атмосфера тайны вокруг Солженицына и то, что мы собрались здесь, а не в Большом зале, который, несомненно, тоже был бы полон, поможет этому большому писателю сделаться великим. Солженицыну предложено занять место за столом президиума. Работают стенографистки. Берёт слово Борщаговский. «Раковый корпус» — выдающееся произведение, которое, конечно, увидит печатный станок и без которого нравственное общество не может быть здоровым. В чём сила таланта Солженицына? (это обратился к залу Каверин). Не только в умении воплотить пережитое, не только в литературном искусстве, которое иногда достигает у него необыкновенной высоты. У Солженицына есть две драгоценные черты, к которым должен присмотреться каждый работающий в литературе: внутренняя свобода и могучее стремление к правде. Винниченко, Славин, Карякин, Мальцев и другие не сомневались, что повесть будет завершена и напечатана. Кедрина (общественный обвинитель по делу Синявского и Даниэля) призвала автора «более конкретно обозначить свою общественную позицию»: её речь то и дело прерывали и — вслед за Некрасовым — демонстративно покидали зал. Был объявлен перерыв.

Солженицын, взяв слово в конце, рассказал о своих неудачных переговорах с «Новым миром», а теперь со «Звездой» и с «Простором», которые тоже пока никак не обнадёжили. «Будем уповать на Бога!» — простирая руки ввысь, воскликнула Ахмадулина. Подводя итоги, ведущий заявил: стенограмма обсуждения станет ярким доказательством права повести на существование. Собрание единогласно реши-

ло: поддержать рукопись, стенограмму послать во все редакции, которые вели переговоры с автором, и просить ускорить издание повести. «И превратилось обсуждение не в бой, как ждалось, а в триумф и провозвещение некой новой литературы, ещё никем не определённой, никем не проанализированной, но жадно ожидаемой всеми». Таким запомнится Солженицыну первое писательское обсуждение его работы.

И ещё: звонком из телефона-автомата А. И. пригласил прийти сюда завтра японского журналиста Сёдзе Комото, неделей раньше просившего об интервью. «Был будний день, из писателей — никого, вчерашнего оживления и строгостей — ни следа... Привратники были те же, которые вчера видели меня в вестибюле в центре внимания... И пошло наше двадцатиминутное интервью при свете молний». Японец заранее сформулировал вопросы: отношение к мнению читателей и критиков, о «Раковом корпусе», о творческих планах, о восприятии Японии, её народа и культуры, об обязанностях писателя в деле защиты мира. Объявлять во всеуслышание, что арестованы роман и архив, А. И. не стал, а упомянул только, что не может найти издателей для своих новых вещей. Это — увы! — была чистая правда.

В конце ноября пришла бандероль от Булгаковой. «Москва» (№ 11) напечатала с большими купюрами «Мастера и Маргариту», спустя 26 лет после смерти автора. Неужели такая участь ждёт и его, Солженицына, сумевшего к сорока восьми годам опубликовать всего четыре рассказа? После триумфа в ЦДЛ потянулась серая полоса — отменили встречи бауманцы, мехматовцы, ЦАГИ. 19 ноября позвонили из института им. Карпова — встреча состоится, в такой-то школе снят зал (к ним, засекреченным, не пускают). Прислали машину. У входа висит (повесили пять минут назад) объявление: «Встреча с писателем Солженицыным отменяется из-за болезни автора». Автор здоров, зал полон, но... пришлось возвращаться на вокзал. И опять звонили из Дубны, Черноголовки, зазывали, а потом телеграммами или звонками отменяли.

Долг чести требовал показать Твардовскому, прежде чем пустить в самиздат, вторую часть «Ракового корпуса». В конце ноября А. И. написал, что считает справедливым предложить ему быть первым читателем полного варианта повести. «Текст ещё подвергается шлифовке, я пока не предлагаю читать повесть всей редакции “Нового мира”, но мнение Лакшина меня также очень бы заинтересовало. Пользуюсь случаем заверить Вас, что несостоявшееся наше

сотрудничество по 1-й части повести никак не повлияло на моё отношение к “Новому миру”. Я по-прежнему с полной симпатией слежу за позицией и деятельностью журнала. Но обстановка общелитературная слишком крута для меня, чтобы я мог разрешить себе и дальше ту пассивную позицию, которую занимал четыре года назад».

Речи о печатании не было — только чтение, после которого, полагал А. И., неизбежно последует отказ.

После выступления у курчатовцев и обсуждения в ЦДЛ, на фоне срыва и отмены встреч (девяти из одиннадцати) Солженицыну казалось, что упущено нечто важное, что он был слишком сдержан, оглядчив: «*Одно,* всего одно выступление мне было нужно, чтоб ответить крепенько разок — да поздно! За всю жизнь не ощущал я так остро лишения свободы слова!» Это *одно* выступление и было ему послано. 29 ноября в Рязань пришла телеграмма: обязательно провести вечер завтра, 30-го числа, в Институте востоковедения, в Армянском переулке. Никакой гарантии, что он состоится, не было; рваться ехать в метель и пургу не хотелось. Но он пересилил себя, сел на электричку и прямо с Рязанского вокзала пришёл к востоковедам. А у них накануне было открытое партсобрание: сотрудники возмущались: почему отменили вечер с Солженицыным? «Чтó, ему официально запрещены выступления? Есть распоряжение?» — «Распоряжения нет», — отвечал парторг. И собрание решило пригласить писателя снова.

Потом рассказывали, что Институт востоковедения неделю не мог прийти в себя. В отделах, курилках и коридорах пятьсот участников встречи, ошалевшие от свободы, обсуждали это событие — для кого-то оно стало самым сильным впечатлением в жизни. Публика здесь была ещё горячей, чем в Курчатовском институте, Солженицын же пришёл — *говорить,* долго искал повод, чтобы *всё* сказать, и место, *где* сказать (спустя много лет ход встречи будет опубликован по записи слушателя из зала). И он действительно сказал всё, что хотел: о трудностях «Нового мира» и своём в нём положении, о «Раковом корпусе» (прочёл две главы), о конфискации романа и архива, о закрытом издании его вещей и их чтении по списку, о своей решимости защититься от клеветы. И читал отрывки из арестованного «Круга» — главы о разоблачении стукачей и ничтожестве оперов.

30 ноября 1966 года в зале, где три часа его слушали полтысячи развитейших гуманитариев, он первый раз почувствовал, что делает историю, превращая себя и своих собеседников в свободных людей. «Вот для этого часа я и жил». Та

встреча оставила ещё один след — ворох писем, не требовавших ответа. «Ваш вечер есть некое произведение, литературное, эмоциональное, политическое целое... Мы так взволнованы, что почти не можем слушать. В самом деле: тов. Семичастный запретил, но Солженицын — разрешил! Да разве когда-нибудь бывало у нас в жизни такое?.. Это событие истории... Редко в жизни удавалось пережить такое опьянение... Мы шли небольшой гурьбой по улице и были охвачены совершенно детским, беспредельным энтузиазмом. Вышли на Лубянку, и впервые эти камни на минуту показались не такими уж устойчивыми, не такими непререкаемыми!»

В первых числах декабря А. И. снова нырнул в *нору* — заканчивать «Архипелаг». Он рассчитывал, что после шума, произведённого в Москве, и того, какой ещё будет по выходе японского интервью, три месяца покойной работы он себе обеспечил. Так и случилось: за декабрь, январь и февраль была сделана последняя редакция «Архипелага»; с дописками, переделками и перепечатками вышло семьдесят авторских листов за 81 день. В эту вторую эстонскую зиму он сильно простудился, стояли тридцатиградусные морозы. «Я всё же колол дрова, истапливал печь, часть работы делал стоя, прижимаясь спиной к накалённому зеркалу печи вместо горчичников, часть — лёжа под одеялами, и так написал, при температуре 38°, единственную юмористическую главу (“Зэки как нация”). Вторую зиму я в основном уже только печатал, да со многими мелкими переделками, — и успевал по авторскому листу в день!» Той зимой он жил на хуторе Марты душевно просторней: не угнетала мысль о новом обыске или аресте. «Всё более безопасными казались эти уже привычные стены, большие замороженные окна, старинная печь с хитроумным чугунным запором, старинный буфет, групповая картина судовых эстонских рыбаков. Уже без опасения пробегал я и в окрестностях на лыжах: соседи знали, что живёт “профессор из Москвы”, нечужой, старается говорить по-эстонски. Лунными вечерами иногда гулял по убитой площадке арестантской ходьбою вперёд-назад, и ослепляла меня радостью уже почти готовая, в здание возвысившаяся книга. В эту зиму я был с бородой, не обривался. Так и не выследили нас».

Но всё было не так гладко, как казалось из укрывища. В Рязани, на собрании интеллигенции, секретарь по пропаганде Кожевников говорил о дурном влиянии Солженицына на молодёжь — в его пьесе подвергаются сомнению подвиги героев, в том числе Зои Космодемьянской (пьесу он

сам не читал, а слышал от кого-то в Москве). В местном мединституте некий лектор причислил писателя к хунвэйбинам. На московских партактивах сочилась и растекалась клевета: «Солженицын сидел за дело», на одном из таких активов артист «Современника» И. Кваша не выдержал и крикнул оратору: «Врёте!» Японское интервью, на которое рассчитывал А. И. (и надеялся поймать по голосам отзвуки), как в воду кануло — ни слуху ни духу. Усилилось давление на «Новый мир» — не пропускали «Военные дневники» Симонова, собирались снять Дементьева и Закса. В ЦК настойчиво предлагали писателям читать «Пир Победителей» (автор «замахнулся на святое»). Пускали слухи о задержании на границе чемодана с рукописями, где Солженицын порочит действия Советской армии на территории Германии. Цензура не пропускала любых упоминаний о нём, если в них было что-то положительное. Редколлегия «Простора» просила творчески просмотреть «Раковый корпус», убрать длинноты и довести повесть до кондиции. А. И. ответил, что убрать «длинноты» не может по той причине, что их там нет, иначе давно бы убрал, «довести до кондиции» не может, ибо не знает уровня «кондиции», принятой в журнале, и просит либо конкретно указать, что́ в рукописи неприемлемо, либо её вернуть. Такое же примерно письмо он отошлёт и в «Звезду», где не могли принять решения уже несколько месяцев.

В самом конце января в Тарту приехала Решетовская. Три месяца одиночества были для неё тяжким бременем, и ещё в начале декабря было условлено, что в назначенный день она неделю побудет с ним на хуторе. Рязань становилось всё невыносимее; Н. А. чувствовала себя там, как в капкане, рвалась в Москву развеяться, но была связана расписанием занятий. Как-то в январе обнаружила у себя на груди небольшое уплотнение; рязанские онкологи велели обследоваться и наблюдаться, потом делать операцию. Но вернувшись в Москву, Н. А. решила не медлить. «Мне было настолько невыносимо дома, — вспоминала она, — что “раковый корпус” казался если не развлечением, то во всяком случае отвлечением...» 13 февраля она легла в больницу, 18-го ей благополучно удалили узелок, без последствий. А. И. всё ещё был в Эстонии. «Очень захотелось поделиться радостью, что всё обошлось! Попросила милую медсестру написать открытки. Подписи из двух букв нацарапала сама. В этот же день ликующие весточки полетели к Сане и маме!»

Пройдут годы — и в *той* своей болезни она обвинит мужа. «Как терпеть вот такую жизнь: в разлуках, без переписки?

Даже когда вот так тяжело — от Сани ни слова... Он свободен, делает то, что хочет. Едет туда, где ему кажется безопаснее. А я связана по рукам и ногам. Не будь так — я, может, и в больницу бы не попала. Да, его жизнь подвиг. Но разве моя не подчинена тому же?..» Болезнь и тоска развели её и с двоюродной сестрой — перед операцией, надеясь отвлечь Наташу от переживаний, Вероника долго рассуждала не о её беде, а о *Саниной трагедии.* «Очень тяжело, но сестру я потеряла, — писала Н. А. спустя две недели после операции. — Пропало безнадёжно взаимопонимание. Она, как и многие другие (которым можно простить!), стала воспринимать меня через него. Я с этим не могу примириться!..» «Наташа избрала свою линию поведения, — вспоминала В. Туркина. — Она перестала быть "душечкой", больше говорила о ценности своей собственной личности, своего таланта, м. б., не меньшего, чем у А. И. Побывав первый раз на операции, считала, что может написать свой "Раковый корпус"».

А Солженицын остался верен своему неумолимому плану. Закончив работу, покинул хутор и уехал в Таллин, к семье Сузи, переснимать «Архипелаг» на плёнку. Перед этим встретился с Лембитом в Тарту, в условленном месте, у того в сумке были недостающие части, и теперь всё собралось вместе: здание «Архипелага» стояло отныне как неприступная крепость. В конце февраля, проездом из Эстонии, отдал Воронянской «пещерный» экземпляр «Архипелага», один из двух, для более просторной перепечатки, а значит — для новой правки и доработки. «В своей комнатке, затиснутой шкафами и стенами, во враждебной коммунальной квартире, доступная лёгкому схвату при подозрении... за обеденным столом, другого не было, Кью (как называли Воронянскую свои. — *Л. С.*) благополучно перетюкала все полторы тысячи страниц — да в трёх экземплярах».

Кроме «Архипелага», А. И. вывез из норы замысел обращения к съезду писателей, и друзья-эстонцы, прощаясь, благословили его на этот шаг. Завершение «Архипелага» поставило вопросы — что теперь? что требует безотлагательных усилий, а что может ждать? «В захвате безостановочной работы в ту зиму я обнаружил, что годам к пятидесяти окончу "№ 1"-ю свою работу — всё, что я собирался в жизни написать, кроме последней и самой главной — "Р-17"... Уже не за горами предстояло мне наконец дотянуться до заветной работы, от которой сами ладони у меня начинали пылать, едва я перебирал *те* книги и *те* записи».

В заснеженной *норе* он должен был сделать один из самых важных жизненных выборов. Как дальше быть — сидеть

тихо, веря во внешнее благополучие и устойчивость положения, сидеть и писать, сколько хватит сил, «Р-17»? Или не верить благополучию, которое может взорваться уже завтра? «Ведь “железный Шурик” тоже не дремлет, он крадётся там, по закоулкам, к власти, и из первых его будет движений — оторвать мне голову». Солженицын принимает решение: бесповоротно испортить отношения с властью, чтобы этим и укрепиться. Раз в Японии интервью прошло без следа, значит, надо сказать ещё громче, ещё сильнее. «Может, только в захвате потрясений я и пойму сотрясённые души 17-го года?»

Когда в начале марта А. И. вернулся из Эстонии, его словно ждали, его настроение словно бы чувствовали. 10 марта заседал секретариат ЦК; четырнадцатый вопрос повестки дня назывался: «О писателе Солженицыне». Присутствовало восемь секретарей; тон задавал Семичастный: «С этим писателем никто серьёзно не говорил. Сейчас он разъезжает по различным учреждениям, по писательским организациям, читает отрывки из своих произведений, дал интервью японской газете (зря А. И. беспокоился! *Они* тоже знали про *то* интервью! Наверняка имели и газету “Токио симбун” с большим портретом на восемнадцатой странице — А. И. увидел её в Рязани 4 марта, когда вернулся домой). Солженицын поднимает голову, чувствует себя героем. Партком Института имени Курчатова приглашал Солженицына читать отрывки из романа». «Надо решительно воздействовать на Солженицына, который ведёт антисоветскую работу» (Андропов). «В последнее время Солженицын развил большую активность. Он живет в Рязани, но большую часть времени проводит в Москве. Ему помогают, кстати, крупные учёные, такие, как Капица» (Шауро). «Есть ли управа на этих людей?» (Соломенцев). «Он клевещет на всё русское, на все наши кадры» (Гришин). «Солженицын — это свихнувшийся писатель, антисоветски настроенный, с ним надо повести решительную борьбу. Отделу культуры надо разработать меры и доложить ЦК» (Демичев). И снова Семичастный, решительно подводя итог: «Прежде всего нужно исключить Солженицына из Союза писателей. Это первая мера».

Значит, Солженицын угадал: сидеть спокойно ему бы не дали. «Мой путь уже был втайне определён, я шёл на свой рок, и с поднятым духом». Журналы, куда он предложил «Раковый корпус», под разными предлогами от него отказались — и «Звезда», и «Простор», и ташкентская «Звезда Востока», и те, кто просил только отрывки. «За год я получил

из пяти советских журналов отказ напечатать даже самую безобидную главу из 1-й части — "Право лечить"». Каждый новый отказ неотвратимо толкал его в самиздат; вскоре, скажет он радостно, уже *шагали самиздатские батальоны!*

Оставалось получить отказ из «Нового мира» — вторую часть повести к середине марта успели прочесть не только А. Т., но и все остальные. Встреча с Твардовским состоялась 16 марта. А. Т. был удручён и подавлен. В 1966-м его не выбрали ни в ЦК, ни в Верховный Совет, сейчас не пригласили в Комитет по Ленинским премиям, членом которого он был с 1958 года, и с потерей этих постов он стал ещё беспомощнее перед кусачей цензурой. В декабре 1966-го, по решению секретариата ССП, ключевые сотрудники «Нового мира», Дементьев и Закс, были выведены из состава редколлегии, а протест главного редактора в ЦК не принят. 15 марта на заседании секретариата правления СП СССР пять часов обсуждался или, скорее, *осуждался* «Новый мир». Хотя к журналу было проявлено уважение, а критика сопровождалась даже и комплиментами, Чаковский настаивал, что основной недостаток редакции («преимущественное внимание к теневым сторонам действительности») — следствие взглядов, выходящих далеко за пределы литературы. Соболев, председатель правления СП РСФСР, напоминал, что в преступнике Синявском видят за границей «ставленника "Нового мира"», и упрекал Твардовского, что журнал до сих пор не отмежевался от антисоветчика («Мразь», — лаконично записал Твардовский, характеризуя выступавшего). А. Т. стоял перед выбором: либо оставаться на месте, зная, что тем, кто реально решает судьбу журнала, нужна лишь его фамилия, то есть влачить безрадостное существование, либо «с болью, с горечью крайней, но и с гордостью, с сохранением достоинства, рискуя навлечь на себя всевозможные немилости — уходить».

Солженицын старался перенастроить Твардовского: снятие с постов — это не падение, а высвобождение, стоять в одном наградном списке с теми, кому только что дали золотые звёзды Героев Соцтруда, — позор. Твардовский соглашался: да, позор. Он записывал: «С чувством освобождения провожаю срок своих "полномочий" в Верховном Совете РСФСР. Так постепенно спадает с меня всё, что не я... Нужно быть только тем, что ты есть, — не дай бог иметь всё, кроме этого, как у нынешних "Героев Социалистического Труда"».

Разговор автора и редактора внешне тёк мирно и непринуждённо. Журнал, несмотря на все беды, выстаивает, демонстрируя непотопляемость. Завтра А. Т. улетает в Ита-

лию. Все живы. Что же касается «Ракового корпуса», то вторая его часть намного выше первой, но если бы даже печатание зависело от него одного, он, Твардовский, повесть бы не напечатал — по неприятию автором советской власти. «Вы ничего не хотите простить советской власти, ничего не хотите забыть». Но ведь память художника — основа его творчества, оправдывался Солженицын. Понимания, однако, не возникало; Твардовский стоял на том, что у автора «Одного дня» *нет ничего святого*. Горький их диалог уже совсем скоро зафиксирует «Телёнок» — наступали и его сроки. А. Т. в тот день записал только про секретариат. И добавил ещё одну строку про Италию: «Едем завтра, 17. III. Зачем — не знаю».

Они снова расстались, на этот раз не ссорясь и не бранясь; говорили мягкими голосами, но с тяжким сожалением, что повлиять на взгляды друг друга невозможно. В Италии А. Т. уверял в многолюдном интервью, что с Солженицыным *всё в порядке*, что первая часть его новой вещи хорошо принята московскими писателями, и он спокойно продолжает работать. «Не проходит поэту безнаказанно столько лет состоять в партии», — скажет о том интервью Солженицын. Не печатают. Не дают выступать. Клевещут со всех трибун. Отвергли «Раковый корпус». Это и есть «всё в порядке»?

Чувствуя себя *опасным подранком*, Солженицын оборонялся.

Теперь, когда «Раковый корпус» вольно жил в самиздате, когда «Архипелаг» был перепечатан и переснят, настало время письма к IV съезду писателей СССР, до открытия которого оставалось два месяца. Разумеется, он не был делегатом и никто не приглашал его выступать, не прислали даже гостевого билета. Но вряд ли той весной кто-нибудь готовился к съезду столь серьёзно. Не имея доступа к трибуне, Солженицын просил делегатов обсудить произвол литературно неграмотных людей над писателями. Указывал на цензурные ярлыки — «антисоветский», «порочный», «идеологически вредный», — калечившие судьбу отечественной литературы. Брал под защиту русскую и послереволюционную классику, натерпевшуюся притеснений и разгромов: Достоевского и Есенина, Цветаеву и Ахматову, Булгакова и Платонова, Мандельштама, Волошина, Гумилёва, Клюева, Замятина, Ремизова. Вступился за Пастернака, на судьбе которого сбывалось пушкинское пророчество: они любить умеют только мёртвых! Писал о текущей литературе, утратившей ведущее мировое положение, требовал — упразднить цензуру над художественными произведениями. Обвинял

Союз писателей, что он не защищает своих членов, бросает их в грозную минуту бедствий и преследований, а часто выступает первым среди гонителей. Только после длинного перечня гонимых и пострадавших писателей, которых СП послушно отдал тюремно-лагерной судьбе, Солженицын сказал и о себе — об арестованном романе и конфискованном архиве, о грязной клевете, развязанной против него наверху, о запретах на встречи и выступления. «Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы — ещё успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение её я готов принять и смерть. Но, может быть, многие уроки научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни? Это ещё ни разу не украсило нашей истории».

27 марта письмо было закончено и ждало своего срока: отсылать раньше времени было опасно — противник мог подготовить контрудар (позже А. И. поймёт, что рассылать надо было не за пять дней, а хоть за месяц. А так многие делегаты разминулись с письмом или получили его слишком поздно). Недели *до* рассылки письма могли стать последними неделями свободы. В таком настроении 7 апреля в Рязани был начат, в Рождестве продолжен и ровно через месяц закончен «Телёнок» — история о том, как вышел на поверхность литературной жизни писатель-подпольщик и как подранком готовился пойти на плаху. Весь месяц он писал по 8—12 страниц в день. «Я потому только писал, что ещё несколько дней — и разлетится моё письмо съезду, и не знаю, что будет, даже буду ли жив. Или шея напрочь, или петля пополам».

Параллельно шло печатание письма — и дома, и не дома; к сроку было заготовлено около 250 копий. По справочнику А. И. отметил адреса: «Я долго отрабатывал, каждую фамилию перетирая. Надо было разослать во все национальные республики и по возможности не самым крупным негодяям; всем *подлинным* писателям; всем общественно-значительным членам союза. И наконец, чтобы список этот не выглядел как донос — припудрить его самими же боссами и стукачами». Подписанные автором и датированные 16 мая, экземпляры раскладывались по конвертам с адресами писателей и редакций. Вспоминала Е. Ц. Чуковская: «Ещё 21 апреля 67-го он писал мне: “Если со мной что-нибудь случится, Веронька принесёт 16-го все конверты, вы за меня надпишете каждое письмо и отправите без “росписи”. Но этого не будет”».

Этого и не было. «В разных концах Москвы письма опускали в разные почтовые ящики разные люди. Помню в этой роли Георгия Тэнно, близкого друга Александра Исаевича, “убеждённого беглеца”, морского офицера, которому посвящены многие страницы “Архипелага”» (Чуковская). 16 мая Солженицын сдал экземпляр письма под расписку в технический секретариат съезда. 18 мая экземпляр был отдан в Рязанское отделение СП, Эрнсту Сафонову. «Прочел. Отнёсся очень серьёзно. “Этот шаг — большое мужество”». 19-го телеграмму поддержки пошлют Войнович, Корнилов, Светов. Открытого обсуждения письма потребуют от съезда около ста писателей, среди них Паустовский, Можаев, Каверин, Тендряков, Бакланов, Солоухин, Искандер, Аксёнов, Трифонов, Ваншенкин, Коржавин, Максимов, Давыдов, Окуджава, Рыбаков, Быков. Солидарность с Солженицыным в личных письмах выразят Катаев, Конецкий, Владимов, Антокольский, Антонов, Соснора.

17 мая Семичастный доложил ЦК о массовом распространении документа к IV съезду писателей и о том, что зафиксирована пересылка писем в Петрозаводск, Минск, Ригу, Махачкалу и Ереван. Однако разбираться с Солженицыным вместо Семичастного станут другие лица. В те самые дни, когда конверты достигали адресатов, кресло председателя КГБ уже шаталось. Побег Светланы Аллилуевой из-под носа опытных охранников, специально командированных в Индию (куда она ездила хоронить мужа-индийца) и стороживших её в советском посольстве в Дели, стал для Семичастного роковым. Дочь Сталина нервно ждал в Москве сын, из-за неё несколько раз переносилась его свадьба, и она как будто торопилась — приобрела билет на самолёт (посол, поверив искреннему намерению Светланы Иосифовны, вернул отобранный паспорт!), укладывала вещи, даже устроила стирку и развесила в комнате бельё. А потом — пропала, бросив влажные вещички на произвол судьбы. «Один из охранников видел Светлану: с небольшим чемоданчиком в руках она направлялась к выходу, сказав мимоходом, что должна встретиться с дочерью индийского посла. Охранник, естественно, не обратил на это никакого внимания — такие встречи с посетителями у посольских ворот были постоянными... Но калитка американского посольства была в 40 метрах от нашего, туда она и прошмыгнула», — вспоминал свергнутый чекист. 18 мая 1967 года, когда он докладывал на Политбюро ЦК о контрмерах, призванных локализовать использование побега Аллилуевой в антисоветской пропаганде, товарищи предложили ему освободить кресло и ехать на

Украину («в ссылку»). Конечно, теперь ему было уже не до писем к съезду писателей; и только в июле госбезопасность, отныне руководимая Ю. В. Андроповым, снова вспомнит о Солженицыне.

19 мая письмо ушло в самиздат. А. И. встречался с единомышленниками и сторонниками — Тарковским, Капицей, Кавериным, Борщаговским. 20 мая был у Чуковского. «Сегодня приехал Солженицын, румяный, бородатый, счастливый. <...> Он ясноглазый и производит впечатление простеца. Но глаз у него сверлящий, зоркий, глаз художника. Говоря со мной, он один (из трёх собеседников) заметил, что я утомлён. Меня действительно сморило. Но он один увидел это — и прервал — скорее, сократил — рассказ. Таким “собранным”, энергичным, “стальным” я ещё никогда не видел его. Оказывается, он написал письмо Съезду писателей, открывающемуся 22 мая, — предъявляя ему безумные требования — полной свободы печати (отмена цензуры). <...> Я горячо ему сочувствовал — замечателен его героизм, талантливость его видна в каждом слове, но — ведь государство не всегда имеет шансы просуществовать, если его писатели станут говорить народу правду...»

В первый день работы съезда, куда А. И. так и не был допущен, он читал своё письмо (а также «Крохотки» и главы из «Круга») в военном НИИ, в Сокольниках, для сотни слушателей в погонах. Среди них оказался капитан Строков, товарищ по университету: поднялся на сцену, и однокашники сердечно обнялись. Неожиданная встреча растеплила суровую мужскую аудиторию — а пока читалось письмо, слышался взволнованный шёпот: «Какой ужас!», «Смело, слишком смело!»

А на съезде о письме — ни слова, будто его и не существовало вовсе. Обращения и телеграммы в поддержку не оглашались, о них говорили лишь в кулуарах. Призывы обсудить положения письма вязли в глухом молчании руководства съезда. «Нация ли мы подонков, шептунов и стукачей или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев? Солженицын свою задачу выполнит, я верю в это столь же твёрдо, как верит он сам, — но мы-то, мы здесь при чем? Мы его защитили от обысков и конфискаций? Мы пробили его произведения в печать? Мы отвели от его лица липкую зловонную руку клеветы? Мы хоть ответили ему вразумительно из наших редакций и правлений, когда он искал ответа?» — писал в Президиум съезда Георгий Владимов. «Письмо, которое должно было стать на съезде одним из программных — скрыли. Чего этим добились? Письмо за

две недели уже распространено в тысячах экземпляров... Ещё через две недели не будет ни одного человека в России, и не только в России, кто его не прочитал бы, — обращался в секретариат правления СП СССР Виктор Соснора. — В мощной организации, состоящей из шести тысяч членов, мы, члены, не имеем даже права публично заявить о своём мнении. Мы, как графоманы-пенсионеры, пишем почти подпольные молитвы-письма, и куда же? В свой собственный Секретариат! Потеряна всякая литературная этика».

То, что испытывал Солженицын в первые дни после съезда, было «чистым светом радости». Он высказался, распрямился, и стройная вселенная вернулась на своё место. Помимо радости ощущал потрясение, ибо не мог надеяться на столь мощную, умную, честную поддержку. И к тому же массовую! «Бунт писателей!! — у нас! после того, как столько раз прокатали вперёд и назад, вперёд и назад асфальтным сталинским катком!» И сколько было высказано развивающего, прозорливого — о нравственной цензуре, например, которая не подлежит упразднению. Письмо, с которым он шёл, как на костер, как на плаху, показалось многим ...блестящей шахматной партией, обеспечившей выигрыш турнира. «С изумлением я увидел: да! вот неожиданность! оказалась не жертва вовсе, а *ход*, комбинация, после двухлетних гонений утвердившая меня как на скале...»

31 мая, тотчас после закрытия съезда, усилиями *Евы* письмо было опубликовано в «Монд». Только с этого момента западные газеты стали следить за писателем Солженицыным, видеть каждый его жест и слышать каждое его слово. Целую декаду мировые радиостанции цитировали, комментировали, читали письмо. Ощущение разгромной победы было захватывающим. «Блаженное состояние! Наконец-то я занял своеродную, свою прирождённую позицию! Наконец-то я могу не суетиться, не искать, не кланяться, не лгать, а — пребывать независимо!»

Пребывать независимо, не лгать, не искать, не кланяться и не суетиться — это был нравственный императив, обращённый к самому себе. Теперь, когда он высказался и облегчил душу, не нужно было впредь и *раскидывать чернуху*. Это был капитальный, качественный выход из подпольной мглы.

Последние дни мая А. И. провел в Переделкине, у Корнея Ивановича, почитывая, полёживая, собираясь с мыслями. Кажется, подошла очередь заветного «Р-17». Сейчас для него высвободились и голова, и руки, и сердце.

Глава третья

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ. «ШЕВАРДИНО» И «БОРОДИНО»

Все попытки предать гласности письмо Солженицына с трибуны съезда ни к чему не привели. Осмелилась нарушить табу только Вера Кетлинская: «Нельзя делать вид, что явления не существует, как получилось в докладах с именем талантливого писателя Солженицына...» Осмелился расслышать её выступление только Твардовский. «Я смотрю из президиума на затылки впереди сидящих. Как окаменевшие. И первая часть зала — гости — застыли. Аплодирую я один... Мне нравится то, что говорит Кетлинская, я согласен с ней — и я аплодирую», — с удовольствием рассказывал А. Т. в редакции.

29 мая состоялось заседание секретариата СП: первая попытка понять, что делать с письмом и его автором. Единодушия не было; напротив, возникла перепалка. Симонов требовал *обсуждения* письма, Михалков — *осуждения;* Кожевников кричал, что всегда относился к Солженицыну с подозрением и неприязнью, а Грибачёв мстительно предложил опубликовать «Пир Победителей» — «пусть тогда Солженицын отвечает перед народом». «Зачем же мы будем его отдавать врагам?» — возразил Салынский. И последовал истинно партийный ответ: «А он и есть враг, зачем он нам».

Но генсек Европейского писательского сообщества Вигорелли выступил в поддержку Солженицына и был настроен весьма серьёзно. 6 июня Твардовский встречался с Шауро. «Положение трудное, угрожающее, нельзя терять ни одного дня», — объяснял Твардовский (в ЦК письмо называли «диверсией») и предложил два варианта. Первый — посадить Солженицына, а заодно и его, Твардовского. Второй — немедленно поместить в «ЛГ» отрывок из «Ракового корпуса» с врезкой: полностью печатается в «Новом мире». Шауро, который раньше был за печатание «Ракового корпуса», теперь добивался оценки *поступка* автора. «Я бы так не поступил, — честно отвечал Твардовский, имея в виду массовую рассылку, — но бросить в него камень не могу. Он доведён до отчаяния, терять ему нечего. Объявить человека власовцем и не давать ему возможности возразить... Он поставлен в условия вне закона. Хотим мы этого или не хотим, но речь идёт об огромном таланте, по отношению к которому *мы* вели себя преступно».

8 июня Твардовский был приглашён на секретариат СП. Федин был настроен «осудить», «ответить ударом на удар»:

митинг, анафема, исключение из СП. Потом согласился, что обстановка *не та*: испытанные приёмы подольют масло в огонь. «Вы хотите повторения истории с Пастернаком, хотите, чтобы от нас окончательно отвернулась интеллигенция, чтобы КОМЕС (Комитет Европейского сообщества писателей. — *Л. С.*) развалился? Только этого вы и достигнете». Все всё понимали, но мялись, держась «уровня предполагаемого понимания высшим начальством с учётом эмоций последнего». Крайне раздражала мысль о созданном *прецеденте*: получалось, что *нажал* и всего добился — значит, давай, жми дальше? Твардовский снова объяснял: Солженицын, боевой офицер, кругом оболган. «Он зря разослал письмо. Мы бы так не поступили, мы другой школы. Но войдите в его положение». А. Т. повторял: это прокламация подписана самым авторитетным на Западе русским писателем; оба его романа могут выйти в свет *там* уже завтра, их ждёт колоссальный успех. А в каком положении окажется «Новый мир», отклонивший эти вещи и печатающий третьестепенное?

Тактика Твардовского привела к компромиссу, и Федин сам предложил составить мягкое коммюнике: секретариат считает необходимым опубликовать «Раковый корпус», напечатать отрывок из повести в «ЛГ» с биографической справкой, поскольку об авторе ходят лживые слухи. Вместе с тем секретариат полагает, что писатель поступил бестактно, разослав письмо, из-за чего оно попало в буржуазные органы печати и теперь истолковывается во вред советской литературе.

Твардовский тотчас послал телеграмму Вигорелли: оснований для тревоги нет. Теперь всё решала подпись Федина («страшно важно, чтобы эта беспартийная руина подписала»). И нужно было срочно найти Солженицына. 8 июня, на Киевском вокзале, за несколько минут до отхода наро-фоминской электрички, с хозяйственными сумками в обеих руках, разыскиваемый А. И. звонил из автомата в «Новый мир». Однако сдать багаж и приехать в редакцию отказался*. Договорились на 12-е. «Не понимает, — жаловался А. Т. в

---

* Из рабочей тетради Твардовского: «Разыскиваю Солженицына, оказывается, он в Москве. Звонит уже с вокзала. Я: Приезжайте немедленно, серьёзнейшие дела. Он: Вещи уже в вагоне, поезд сейчас уйдёт. Я: Заберите вещи, сдайте в камеру хранения. Он: Нет, я буду в понедельник. — Зверь!» Из дневника Кондратовича: «Живёт стеснённо. Уезжал в прошлый раз в Рязань. "Шесть десятков яиц увёз", — сказал мне. "А разве в Рязани нет их?" — "По девяносто копеек нет. Есть по рублю сорок. А на шесть десятков разница уже почти целый проездной билет"». «Нашу земную жизнь — как им понять, кому всё на подносиках?» — писал в этой связи Солженицын.

редакции, — что над ним уже занесена секира. Сигнал — и гильотина сработает...»

Недовольство Твардовского было, однако, мнимое. А. И. думал, что Трифоныч взревёт от гнева, проклянёт навеки: «Нет, не разобрался я в этом человеке!» Они встретились, рукопожатие было сдержанным, но «весёлые игринки» прыгали в глазах А. Т. Пытаясь казаться строгим, он внушал автору, что не одобряет поступка, хотя... нет худа без добра. Надо бы только подтвердить на секретариате, что расчёта на радиобомбежку акция с письмом не имела. «Я увидел А. Т., когда он с Солженицыным уже уходил. Оба возбуждённые, весёлые, но в возбуждении этом была и нервозность. "Еду", — сказал А. Т. — Сопровождаю государственного преступника. А то ведь ещё отколет что-нибудь» (Кондратович).

Через несколько месяцев Солженицын опишет поход в колоннадный особняк на Поварской (дом Ростовых), где их с Твардовским принимали секретари СП Воронков, Марков, Сартаков, Соболев (трое из них — «даже и не писатели вовсе»). Фруктовые и минеральные воды, чай с печеньем и шоколадными трюфелями, светская беседа для затравки, начальственные попытки «разобраться и найти выход». Твардовский чётко играл на стороне А. И.: все вопросы — в цвет, все реплики к месту, и резюме: правление СП считает своим долгом публично опровергнуть низкую клевету о военной биографии писателя. В тот день Солженицын впервые в жизни ощутил, какой язык понимают *они*...

«Ведь вначале было что, — рассказывал Твардовский в редакции, — стучали кулаками, ответить ударом на удар, не щадить, но разговор с Солженицыным протекал уже по-другому. Когда он зашёл, просто одетый, в рубашечке без пиджака, то я сразу почувствовал — вошёл некто сильнее их. Сила за ним. И отвечал он так быстро, ловко, что видно стало, как они начали лебезить перед ним. Есть за ним такая сила, что и они становятся иными, даже не замечая этого». Кондратович почти с завистью записывал: «Он уже ни о чём не волнуется. Ничто не тревожит его. Может быть, оттого и весел, доволен, сорвался со всех якорей и цепей — и плывёт, как хочет, — свободно. Может быть, только так и можно стать свободным. Или хотя бы ощутить свободу».

Победа, однако, им всем только померещилась. Заехав в редакцию 20 июня, А. И. убедился, что сдвигов никаких нет. И хотя Твардовский сам подготовил для «ЛГ» «Отрывок из романа "Раковый корпус"», ни коммюнике, ни отрывка в печати так и не появилось. 30 июня состоялся секретариат ЦК, и Твардовский уже не ждал ничего хорошего. Было из-

вестно, что Шолохов где-то наверху сказал: «Солженицын ударил нас ниже пояса, ну так и мы дадим ему в солнечное сплетение, так чтобы он не встал». «Я чувствую, что-то надвигается, — волновался Твардовский. — Если Солженицыну уготован удар в солнечное сплетение, то ведь это отразится и на “Новом мире”. Мы Солженицына породили, а я так просто чувствую себя его крёстным отцом. И если сын за отца не отвечает, так отец за сына отвечает. Вопрос с Солженицыным сейчас вопрос жизни и смерти литературы».

3 июля А. И. опять заезжал в редакцию. Твардовский был мрачен, понимал, что дело увязло: секретари ЦК намерены читать и «Круг», и «Корпус», и «Пир». Значит, ничего не будет решено ещё полгода — до празднования 50-летия революции. Тем временем *наверху* очнулись. Проведя проверку архивных и учётных документов, замначальника 2-го управления КГБ Бобков составил для ЦК справку «В отношении Солженицына». 5 июля новый председатель КГБ Андропов доложил ЦК о конфискации материалов из-за границы — листовки НТС и вырезки из эмигрантской газеты «Русская мысль» с текстом письма Солженицына к съезду. 18 июля секретариат ЦК раздражённо обсуждал вопрос «О поведении и взглядах А. Солженицына».

Всё лето «Новый мир» будоражил слух, будто «Правда» держит наготове статью, где творчество Солженицына названо антисоветским и где ему, так же как в 1958-м Пастернаку, предлагают покинуть страну. «Для нас это будет как цунами, — говорил Твардовский. — И многие будут рады. Я уверен, что Федин будет рад, потому что в глубине души Солженицын ему мешает. Я же великий, крупнейший, — а оказывается, есть ещё больше... По Солженицыну можно мерить людей. Он — мера. Я знаю писателей, которые отмечают его заслуги, достоинства, но признать его не могут, боятся. В свете Солженицына они принимают свои естественные масштабы, а они могут и испугать». Но тогда, понимал А. Т., пойдёт ко дну и «Новый мир». «Солженицын, на котором сосредоточена ненависть начальства и “открытых его противников в литературном мире”, а также затаённое злорадство тех литераторов, что не прощают ему его таланта, успеха, иной природы его личности, этот Солженицын — самое прямое и непосредственное порождение “Нового мира”».

«Дело Солженицына», направленное «на доследование», ждало своего часа. Но уже 12 июля на собрании пропагандистов Свердловского района письмо к съезду назвали «анархическим», и Фурцева возмущалась: «Он нам жить не дает! работать не дает!» В отдел культуры ЦК вызывали пи-

сателей-коммунистов и отчитывали: как они могли поддержать *такое*? Почему не дали отпор его настроениям? Он — наш враг, идеологически он весь — *не наш.*

А Солженицын отправился по следам армии Самсонова, где воевал отец. Для «Р-17» нужно было освежить и свои военные впечатления: побывать там, куда успел дойти в 1945-м, и там, куда не попал из-за ареста. «Вместе с Эткиндами — мы на своей машине, они на своей — поехали в Восточную Пруссию, попали в Калининград, но до Самсоновских мест не доехали, потому что это уже была Польша», — вспоминал А. И. Заезжали на Смоленщину — к брату Твардовского Константину Трифоновичу; А. И. писал потом, как похожи братья мимикой, жестами, манерой говорить, выражением лица. Увидели бывшие немецкие курорты на берегу Балтийского моря, побывали на Куршской косе, в Паланге и Ниде, в Вильнюсе, Риге, Ленинграде.

Двухнедельная поездка закончилась в Рождестве: ждала работа над новым романом. Теперь уже не только отъезды А. И. в дальние норы, но и обычная его сосредоточенность вызывали у Натальи Алексеевны тоску и раздражение: «Муж порой кажется мне заведенной машиной: дело, дело, дело!.. Всё предельно рассчитано. Над всем довлеет разум. Где же сердце?..» Она не знала, чем наполнить свою жизнь, чем занять себя, пока от раннего завтрака и до позднего обеда он уходит работать за свой столик у Истьи. Она хваталась то за музыку, то за биографии великих людей. «Хочу читать о великих людях, понять то, чего не понимаю. Хочу сладить с жизнью!»

В начале августа Солженицын был у Чуковского. «Он сияет, — записал К. И. — <...> Чувствует себя победителем. Утверждает, что вообще государство в ближайшем будущем пойдёт на уступки. “Теперь я могу быть уверен, что по крайней мере в ближайшие три месяца меня не убьют из-за угла”. Походка у него уверенная, он источает из себя радость...». А он как раз беспокоился — не упускает ли возможность ускорить печатание «Ракового корпуса»? 15 августа заехал в редакцию и предложил Твардовскому вариант: «Новый мир» составляет договор и, если никто не наложит запрет, двигает рукопись. План застал Твардовского врасплох. «И неожиданно ему было, чтобы я о договоре первый завёл, и толкал же я его на мятеж, не иначе, — самому преступить волю начальства». Теперь, считал А. Т., когда «вопрос решается», оформлять договор — будет «стук и звон». Затруднения были понятны; А. И. ещё дважды был в редакции и выяснил, что без санкции сверху заключить договор редакция не может.

А клевета, учуяв момент, обросла новыми сюжетами. На закрытых партсобраниях и семинарах говорилось, что Солженицын, предав интересы родины, сбежал в арабские страны (или в Англию по туристской путёвке) и там за большие деньги пишет пасквили о своей стране. Из Крыма поступали сведения, что библиотекам велят изъять из обращения все его публикации. «Ивана Денисовича» официально именовали «идеологической диверсией против советской власти.

Пришло время действовать.

12 сентября, спустя три месяца после «узкого секретариата», А. И. решился на новое письмо — секретарям правления СП СССР (их, смеялся Твардовский, было «тридцать три богатыря, сорок два секретаря»). Ничего из обещанного правление СП не сделало, клевета не опровергнута, повесть не напечатана. «В этом странном равновесии — без прямого запрета и без прямого дозволения — моя повесть существует уже больше года, с лета 1966. Сейчас журнал “Новый мир” хочет печатать эту повесть, однако не имеет разрешения». Через день Андропов уже информировал о случившемся ЦК.

«Секретари, — напишет А. И., — взвились как от наступа на хвост, что-то кричал и рычал Михалков по телефону в “Новый мир” (он назвал письмо «подлым и вызывающим». — *Л. С.*), уже 15-го собрали предварительный секретариат для первого обгавкиванья, пока без стенограммы». Он продолжался три часа. Даже противники осознали, что «дело» позорно затянулось, что секретариат проявил слабость и нерешительность и что писателя, ожидающего три с половиной месяца ответа на своё письмо, можно понять. «Не хочется искать слов для характеристики предельной провокаторской подлости Чаковского, перед которой уже и Грибачёв с Кожевниковым выглядят почти что порядочными людьми, — писал Твардовский. — Хорош и Воронков. “Есть и письменные отзывы” — и оглашает лишь два из них: Шолохова и сидящего по левую руку от него седого гнусавца Михалкова. Письмо Шолохова: “Солженицын — это или опасный для общества психически больной, злобный графоман, или, если он здоров, злобный антисоветчик, прямой враг”. Только что не употреблены прямые слова о необходимости изолировать Солженицына, но смысл этот, не какой иной. Михалков, явно зная уже об этом письме лидера, поспешил оказаться среди первых подписавшихся под приговором Солженицыну».

Твардовскому снова удалось настоять на своём проекте. Решили созвать секретариат, призвать Солженицына и по-

ставить вопрос — о «Пире Победителей» и о готовности дорабатывать «Раковый корпус». Этот предбой («Шевардино») был Твардовским выигран; А. Т. готовился к главному сражению и, вызывая Солженицына, надеялся (вместе с дипломатичным Лакшиным) настроить его на правильный тон. 18-го А. И. был в редакции. Суета этих дней успела изрядно надоесть. Надо сидеть и работать. Зачем наседать на осиный рой? Да ещё репетировать. «Бесподобный парень, — запишет Твардовский. — Назначен секретариат, результаты которого, если говорить серьёзно, жизнь или смерть (“*To be or not to be*”?) не только для него, но и для журнала... а он: “Мне не придётся там зря торчать до моего вопроса?» Упрямцу объяснили: если он будет агрессивен и заносчив, дело пойдёт под откос. Но тут А. И. засмеялся: в том и состоит лагерная выучка — он может вспыхнуть и взорваться сознательно, по плану, если это будет нужно. Едва пришли к зыбкому согласию. «В принципиальном я не уступлю ничего, — предупредил А. И., — будут хамить, — встану и покину зал».

Два дня перед сражением («Бородино») А. И. готовился к выступлению, первый раз в жизни писал речь. В сущности, секретарский сбор, вопреки мнению новомирцев, не решал не только судьбу автора, но даже и судьбу «Ракового корпуса». Всего-то нужно прийти, проявить непреклонность и составить протокол. «В конце концов — ещё бы им меня не ненавидеть! Ведь я — отрицание не только их лжи, но и всей их лукавой прошлой, нынешней и будущей жизни». И ещё: это ведь не их сочинения добровольцы переписывают от руки, перепечатывают на машинке, фотографируют, а наборы отпечатков дарят любимым людям в обувных коробках. Это не о них говорят на партсобраниях и в радиоголосах. Это не они интересуют культурный мир по эту и ту стороны границы. Это не за их сочинениями гоняются соперничающие западные издательства...

Солженицын шёл на секретариат, заготовив чистые и пронумерованные, с очерченными полями листы бумаги, и в час пополудни 22 сентября явился в зал с кариатидами. Было душно и накурено: заседание (его вёл Федин) шло с одиннадцати утра. Из 42 секретарей в наличии было 26, и можно было лишь гадать, почему не явились главные обвинители — Шолохов, Грибачёв, Чаковский, Михалков, Полевой. С самого начала А. И. вывел «Пир Победителей» из-под огня, объявив, что пьеса написана не членом СП, а бесфамильным арестантом Щ-232: автор так же мало отвечает за эту вещь, как многие из присутствующих за свои речи 1949 года. Кроме того, он имел *написанные* ответы на их за-

готовленные и заданные сейчас вопросы. От него требовали «сделать первый шаг», отмежеваться от западной печати. «Я не могу выступать по поводу ненапечатанного письма», — парировал А. И.

«Блистателен был Солженицын в своей заключительной речи, исполненный достоинства и неотразимой логики, — записал Твардовский. — Ужасен в своем бесстыдстве и потакании самым подлым антисолженицынским настроениям был Федин. Ему-то и принадлежит обрадовавшая вурдалацкую часть постановка вопроса таким образом, что Солженицын должен прежде всего... выступить в печати против зарубежной пропаганды, использовавшей его в антисоветских целях».

Писал он и о педантичности Солженицына, которую Федин назовёт наторенностью «тяжебщика», искушённого в коварном крючкотворстве: «Он всё записывал (разными шариковками — синей, зелёной) на листах в разложенной на столе папочке, вынутой из портфеля, оставленного у ног, — он сидел рядом со мной; вдруг перебирал эти листы, что-то в них подчёркивал, вписывал в оставленных пробелах; он и говорил как будто наполовину по писанному, но, по-видимому, это были лишь "ударные" формулировки или цитаты, а так речь была живой, изустной, крепко построенной и подпружиненной сдержанным пафосом, за которым была сила — её не могли не почувствовать все без исключения, — слушали его так, как, может быть, давно уже никого не слушали в этом кабинете, а только после того, как он кончил (заключение), как бы стряхивали с себя это остолбенение и принимались без всякой связи со слышанным только что долдонить своё».

«Я думаю, — вспоминал Солженицын, — в тот день я бился так хорошо ещё и потому, что пришёл к писательским хрякам от смертной постели зэка». Умирающий от рака Тэнно благословил друга на победу в бою. Впрочем, на языке ЦК заседание трактовалось иначе: «Секретари правления СП СССР решительно осудили недостойное поведение Солженицына, которое даёт пищу для разжигания за рубежом антисоветской истерии». Порицание заслужил и Твардовский, который, защищая Солженицына, «игнорировал главный вопрос обсуждения — гражданскую позицию этого литератора и ошибочные концепции его творчества».

На следующий день Твардовский писал в Рязань: «Вели Вы себя с абсолютной выдержкой и превосходным достоинством. Я, между прочим, едва ли не впервые имел возможность оценить Ваши ораторские способности. Я издали лю-

бовался Вами и был рад за Вас». Теперь он готов был заключить договор на «Раковый корпус». Стало известно письмо Шолохова: Михаил Александрович требовал *не допускать Солженицына к перу!* Заявлял, что не может состоять с антисоветчиком в одном творческом Союзе. «Русские братья-писатели заревели на правлении: “И мы — не можем!”» («Телёнок»). Тем, *кто не может*, предложено было написать личные заявления, но никто не написал.

Понять, кто победил, а кто проиграл, было трудно — в духе истинного Бородино. Вроде бы поле боя осталось за секретарями, но смысл боя заставлял задуматься. «Ну разве доступно ввинтиться в гранит? Разве есть такие свёрла? Кто бы предсказал, что при нашем режиме можно начать громогласить правду — и выстоять на ногах?» А он не то что выстоял — немедля рванул на юг, в Ростов, Новочеркасск, Георгиевск, набирать материал для «Р-17». Вернувшись в Рязань, написал «Первое дополнение» к «Телёнку», как раз о сражениях, с победным заголовком «Петля пополам». И впервые принимал у себя Ростроповича, который после концерта в Рязанской филармонии пришел «обнять Александра Исаевича».

Тихо прошли октябрьские юбилейные праздники: «требовалось *им* как можно нескандальнее, как можно глаже» («Не могу вычеркнуть из памяти, — писал Кондратович, — что Солженицын не подписал наше октябрьское обращение к читателям. Там есть и “партия”, и “коммунизм”, а под такими словами он не хочет подписываться. И тоже нашел отговорку: он не подписывает коллективных писем»). Но были и ощутимые уколы. Выступая 5 октября в ленинградском Доме прессы, главный редактор «Правды» Зимянин объявил писателя шизофреником и «подтвердил»: да, был в плену, сидел «за дело», на всех обижен, не может выйти за рамки лагерной темы. «Печатать его не будем, за такое прежде сажали, пусть себе преподает физику»*. Московские лекторы утверждали, будто Солженицын «сколачивал в армии» то ли «пораженческую», то ли «террористическую» организацию. Среди писателей, которых обязали читать «Пир Победителей», был пущен слух, что автор и в самом деле помогал невесте власовца перейти границу.

---

* «Я не знаю, какой мерзавец разболтал о моём выступлении», — гневался Зимянин, пригласив Т. М. Литвинову, дочь бывшего наркома иностранных дел, которая, прочитав в самиздате выдержки из речи, написала, что докладчик введён в заблуждение. Зимянин поразился: кто-то, перед кем он выступал в Ленинграде (узкий круг, проверенные люди, доверительная беседа), дал утечку...

После праздников Солженицын отправился в Москву. Навестил Ростроповича, побывал у Капицы и Чуковских, читал «Крохотки» и главы из «Круга» в Институте русского языка, куда был приглашён якобы в связи с созданием фонотеки современной русской речи. Прослышав о визите, «сверху» звонили и допытывались: «Правда, что у вас будет выступать Солженицын?» Пытаясь внести ясность, вместе с Лакшиным ездил к Твардовскому на дачу — а не пустить ли в набор несколько глав повести, как бы для пробы. Однако прежде, разъяснил Лакшин, от автора ждут заявления. Тут уж возмутился Твардовский, и вопрос был снят. Едва успел А. И. доехать до Рязани, пришло напоминание от Воронкова: когда же будет «первый шаг»? 1 декабря Солженицын «шагнул», отправив Воронкову свои вопросы. Намеревается ли секретариат защитить его от клеветы? Какие меры приняты для отмены запретов его книг в библиотеках? Почему его имя вычеркивают из критических статей? Делается ли что-нибудь для печатания повести? Прекращено ли распространение отрывков из арестованного архива? Что сделано для возвращения конфискованного романа? Почему за два месяца не получена стенограмма заседания секретариата?

Едва успев отбиться от Воронкова и уехать в Давыдово, чтобы, обложившись портретами самсоновских генералов, засесть в избе Агафьи за роман, он был срочной телеграммой вызван в «Новый мир». Пришлось ехать. Оказалось, накануне звонил Воронков, сама вежливость и забота: а готова ли рукопись «Ракового корпуса» к печати? А заплатили ли Солженицыну хотя бы аванс? Ведь «надо же ему что-то *кусать*». Вся редакция гадала, откуда дует *такой* ветер и кто мог, вступившись за Солженицына, привести в действие аппаратную машину. *Такое* не под силу отделу культуры ЦК. Значит, сигнал получен *сверху*. А Воронков звонил и повторял: «Мы уже не будем настаивать на его ответе. Время прошло, за границей всё утихло, надо думать о литературной судьбе Солженицына». Это казалось слишком невероятным, чтобы быть правдой, но верить хотелось, и Твардовский загорелся.

Когда 18 декабря Солженицын появился в редакции (два часа езды из Давыдова в Рязань и три часа из Рязани в Москву), они едва не поссорились. А. И. был мрачен и раздражён (зачем оторвали от работы?), А. Т. сказал: «Вы приехали, словно сделали мне одолжение. Я не могу твёрдо сказать вам, что получится, но надо использовать любую возможность». Возможность случилась уже завтра. 19-го их с Твардовским ждали Воронков и Сартаков для задушевно-

го разговора. И уже не требовали отмежеваться от Запада, а почти умоляли — написать хоть один абзац о неприятии западной поддержки. «Пробовал и я нажимать на Солженицына, — писал Твардовский. — Но Солженицын сказал, что это опять переворачивает всё с ног на голову, что он не может сделать этот "первый шаг", его должен сделать секретариат».

И опять всё кончилось ничем — не разрешили, но и не запретили. В воздухе висело нечто такое, будто возможно новое цензурное чудо. Придя в редакцию, Твардовский торжественно заявил: «Запускаем "Раковый корпус" в набор!.. Пусть после печатанья нас поливают в критических статьях — в этом состоит литературная жизнь». «Красный день! Сдали в набор первые 128 стр. (8 глав) "Ракового корпуса". А. Т. счастлив. Ещё вчера мрачный Солженицын — тоже. Стремительная походка стала у него просто летящей... Что-то произошло. Что? Вот это остаётся загадкой...» (Кондратович).

Набор был сделан за сутки; А. И., не успев нырнуть в берлогу, провёл корректуру, получил аванс (его хватит почти на два года жизни). Но дальше — пошло-поехало. 23-го позвонил Воронков: от Солженицына ждут письма для внутреннего пользования. Снова телеграмма, вызывают. А. И. собирался, готовился, но не поехал — в тот день не смог сесть на поезд, а потом и вовсе решил не ехать. Та сила, которая запустила аппаратную машину, её сначала притормозила, а потом и вовсе остановила. Предновогодние указания из ЦК были почти паническими: следующие главы в набор не сдавать, вёрстки вернуть и держать при себе.

Лихорадка продолжилась и в начале 1968-го. Надежда то появлялась, то исчезала. Воронков говорил по телефону то одним тоном, то другим. 4 января, после беседы вчетвером (Воронков, Марков, Федин, Твардовский), А. Т. вернулся взбешённый. Накал достиг последней точки, и всё свелось к Федину. «Горький сегодня» требовал от Солженицына капитуляции: «пусть ответит *врагам*». А Солженицын знает, что его роман и так будет издан — не здесь, так там, и ничего отвечать не будет. Его поддержали западные коммунисты — как быть с ними, с *друзьями*? И Твардовский решил обратиться к Федину, повторив всё с начала: пусть письмо станет фактом истории. «Я вовсе не так наивно самонадеян, чтобы предполагать, что Вы, вняв моим "увещаниям", вдруг прослезитесь и измените свою точку зрения на "дело" А. И. Солженицына и примете иное, чем нынешнее, решение...»

Пространное (17 страниц на машинке) письмо ушло к адресату 15 января. В те же дни Твардовский дал его читать Солженицыну без выноса из кабинета (18-го А. И. был в редакции, сделал четыре страницы выписок). «Я сердечно рад, — благодарил он Твардовского, — что Вы и “Новый мир” сделали всё от Вас зависящее, и ни из близкого времени, ни из далекого Вас нельзя будет упрекнуть». Пытался повлиять на Федина и друг молодости Каверин. «Что толкнуло тебя теперь на этот шаг, в результате которого снова тяжело пострадает наша литература?.. Нет сейчас ни одной редакции, ни одного литературного дома, где не говорили бы, что Марков и Воронков были за опубликование романа, и что набор рассыпан только потому, что ты решительно высказался против».

Но победил, как отмечал Кондратович, вульгарный сальеризм... «Давно уже мёртвый писатель больше всего ненавидит живого». 25 января состоялась трёхчасовая беседа Федина и Брежнева в Кремле. «Можно не сомневаться, что Федин говорил о Солженицыне только плохое и внушал даже, что и *писатель-то он неважный*: для Федина это главное — Солженицын-писатель, и не принизить его он не мог». Ходил слух, почти анекдот, будто Брежнев принял Солженицына и разрешил печатать «Раковый корпус», но Федин, узнав, заявил: «Через мой труп». В Москве читатели возвращали Федину его книги бандеролями. 31-го о письме Твардовского к Федину Андропов сообщил в ЦК. И каким-то образом попало на Запад ноябрьское письмо Солженицына к Воронкову — в феврале А. И. изумлённо услышал его по западному радио.

...Вышло так, что заветный «Р-17» той зимой так и не был начат. А. И. примеривался, настраивался, но вызовы, телеграммы, рассыпанный набор «Ракового корпуса» (и вся борьба за него) сбили настрой. К тому же не отпускал «Архипелаг». Сидя в холодной хате у Агафьи, А. И. дописывал последние главы шестой части, вносил правку, работы хватило до весны. В начале марта на две недели съездил в Москву и в Ленинград — договориться с Люшей и Кью о чистовой перепечатке «Архипелага», собрать материалы и фотографии для иллюстраций. «В марте—апреле был переделан и сильно дополнен весь первый том, — вспоминала Е. Ц. Чуковская. — По моей записи: “Почти нет страниц без правки — причём она в сторону ужесточения против Ленина и Горького”. Первый том он правил в Рязани и присылал мне главы, которые я печатала. Рукописи мне привозили его бывшие школьные ученики». С наступлением тепла

А. И. надеялся перебраться в Рождество, где переставало скакать давление, и он мечтал, чтобы ничего не помешало, не оторвало от стола и от дела.

Но как раз в середине апреля грянул удар («громовый и радостный»): в литературном приложении к «Таймсу» напечатаны пространные отрывки из «Ракового корпуса»: именно его А. И. никогда сам на Запад не передавал. Тут же пришла телеграмма от Твардовского: немедленно приехать, связаться. Окольными телефонными звонками выяснилось, что случилось нечто невероятное, «важнее всего, что было до этого».

В «Новом мире» перед ним брезгливо положили телеграмму из журнала «Грани» от 9 апреля: «Ставим вас в известность, что комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на Запад ещё один экземпляр “Ракового корпуса”, чтобы этим заблокировать его публикацию в “Новом мире”. Поэтому мы решили это произведение публиковать сразу». Это была бомба. «Речь идёт не только о вас лично, — объясняли ему, — но и о ваших друзьях, о журнале, которому вы подносите такую дулю. Ведь получается на радость демагогам, что “Новый мир” сошёлся в оценке вещи с “Гранями”, пытался напечатать её и напечатал бы, если бы не бдительность Союза писателей и лично К. А. Федина». Ответственность за скандал падала на Твардовского, который уже знал от Демичева, что это не провокация и не мистификация; и *там* даже рады известию, ибо заинтересованы в окончательной дискредитации Солженицына. И это на фоне Пленума ЦК, идущего под знаком борьбы с интеллигенцией, обновления кадров агитпропа, глушения радиостанций. Выход был один: запретительная телеграмма от имени Солженицына в «Грани», с копией в «ЛГ»: категорический отпор.

Началась борьба за текст телеграммы. А. И. сидел в кабинете Лакшина, пытался складывать слова, но всё получалось неточно и фальшиво. Когда что-то наскреблось, оно было тут же забраковано — слабо, не то! Называть «Грани» журналом антисоветского направления А. И. категорически отказался: «Я ведь не знаю, что это за журнал. Чтобы через 20 лет не было стыдно». Дошло до крика и ругани (подробно описанной и Солженицыным, и Твардовским, и Кондратовичем), после чего А. И. взял паузу до утра. Но как раз утро не дало сделать то, что за вечер и ночь, пока он одумывался, уже казалось дичью и мóроком. Лидия Чуковская сказала ему без обиняков: «Не понимаю. Игры, в которые играют тигры. Лучше устраниться». Вместо двух телеграмм А. И. принёс в «Новый мир» письмо с вопросами — кто такой

Луи? почему он распоряжается «Раковым корпусом»? какое отношение к этому имеет ГБ? И вывод: «Нельзя доводить литературу до такого положения, когда литературные произведения становятся выгодным товаром для любого дельца, имеющего проездную визу». Отвечать за публикацию повести должны те, кто переслал её на Запад. «Просто смешно, что накануне я мог обморочиться и заколебаться. Оберёг меня Бог опозориться вместе с ними», — писал позже Солженицын.

«Для него мы, т. е. “Новый мир” и я, — одно из звеньев враждебной ему системы, которое ему удалось прорвать и которому он не чувствует себя сколько-нибудь обязанным», — констатировал Твардовский. Новомирцы считали, что именно в те дни из-за упрямства, а также скрытности Солженицына его дружба с редактором потерпела крах, и Твардовский решил вырвать любимого автора из сердца. «Кого винить во всём этом? По-человечески, — писал Кондратович, — я не могу встать на сторону Солженицына, хотя понимаю, что и он жил и живёт трудной жизнью. Солженицын вёл игру, а это вряд ли сопряжено с переживаниями, скорее с холодным расчётом. Думаю, что с А. Т. он расстался безболезненно, А. Т. ему никогда и не был близок. В лучшем случае симпатичен, в то время как А. Т. Солженицын был одно время очень дорог. И для него это была потеря. Для Солженицына же — только внешнее изменение курса».

«Это — неправда!» — прокомментирует запись новомирца Солженицын (2006). Искренне и глубоко любя Твардовского, он должен был по совести (а не по холодному расчёту или игорному азарту) следовать *своему* курсу, *своим* понятиям о литературной жизни (которые, кстати, стали общепринятыми спустя четверть века после баталий). Почему, теснимый, запрещаемый и оклеветанный дома, он должен был держаться мнения, будто издаваться на Западе — измена и предательство? Как будто жить по правилам правления СП (презираемого и Твардовским), или по понятиям отдела культуры ЦК (цену которому А. Т. отлично знал), или по прихоти политического момента (от которой стонал и сам редактор «Нового мира») — было бы честно для автора «Архипелага»? Разве мог бы *конформист* написать «Ивана Денисовича»? Быть честным художником и петь с властями по *их* нотам у Солженицына спасительно не получилось. Как, впрочем, не получилось и у Твардовского. Просто у каждого из них был свой предел терпения, своя точка кипения и свои сроки. Весной 1968-го меры и

сроки чуть-чуть не совпали*. Но можно представить, что бы сделал с Твардовским литературный официоз, если бы «оперативным путём» рабочие тетради с ежедневными записями были захвачены, размножены и переданы для чтения сорока двум секретарям, в «вурдалачью стаю».

И всё же Солженицыну пришлось написать письмо в «ЛГ» (и одновременно в «Монд» и «Униту»). 20 апреля в Рождество примчался Можаев с дурной вестью: от имени автора (выдавая себя за его представителя) договор с английским издательством «Бодли Хэд» на издание «Ракового корпуса» подписал словацкий журналист-коммунист Павел Личко. Ещё в 1967-м А. И. отдал ему для перевода на словацкий язык первую часть повести, а глава «Право лечить» успела выйти в словацкой «Правде». Ныне, продавая *от себя* «Раковый корпус», Личко понукает автора подписать издательский договор и подсылает к нему Можаева. А. И. взорвался. «Теперь окажется: я передал повесть на Запад сам? да не передал, а продал? Что делать с этим балбесом, ошалевшим от запаха денег? Борька! Подави его, гада! Запрети категорически, провались он с его деньгами!»

Так появилось заявление для трёх газет: «*Никто* из зарубежных издателей не получал от меня рукописи этой повести или доверенности печатать её. Поэтому *ничью* состоявшуюся или будущую (без моего разрешения) публикацию я не признаю законной, ни за кем не признаю издательских прав; всякое искажение текста (неизбежное при бесконтрольном размножении и распространении рукописи) наносит мне ущерб; всякую самовольную экранизацию и инсценировку решительно порицаю и запрещаю» (запрет не поможет; издательство не посчитается с волей автора и даст советской прессе новые основания для травли).

И вот уже в Рязани знают, что над Солженицыным сгущаются тучи. Эрнст Сафонов просит зайти в рязанское отделение СП; 28 апреля они встречаются. Оказывается, у Москвы есть намерение исключить А. И. из Союза писателей, на Сафонова давят: предлог — член СП не участвует в

---

* Как выяснится в 1990-е годы, уже весной 1968-го «Новый мир» находился накануне разгрома. Решение отобрать у Твардовского журнал будет принято Секретариатом ЦК КПСС 14 июня 1968 года, однако последовавший вскоре ввод советских войск в Чехословакию и бурная реакция на это в мире заставили отложить решение. В 1969-м поэма Твардовского «По праву памяти», не разрешённая к печати в СССР, «по нелегальным каналам» уйдёт за рубеж и будет напечатана во Франции, что и даст властям повод и сигнал к финальной атаке на «Новый мир» в феврале 1970-го.

работе отделения. Вскоре домой придёт официальное письмо, требующее объяснений, на которое А. И. ответит в том духе, что ему, в его двусмысленном положении, не защищённому от лживых нападок, неловко быть критиком и советчиком молодых авторов. Но, значит, тем более надо торопиться с «Архипелагом».

...На рассвете 29 апреля Солженицын с женой выехали на «Денисе» из Рязани и через пять часов были в Рождестве, где их с Пасхи ждали Воронянская и Чуковская. Деревянный летний домик, под который по весне подступает поток воды, оставляя на полу тонкий слой ила. Комнатка наверху, комнатка внизу, небольшая терраса. Нежная зелень, пение птиц, кваканье лягушек, по утрам легкий туман от реки, две печатные машинки, фотоаппарат с плёнками, единственный подлинник доработанного «Архипелага» и все его отпечатки. Момент отчаянный — пан или пропал. Если пропал, то уже никогда этой книги не восстановить, не возобновить. Но посторонних поблизости не было, соседи приезжали редко, никто не выследил, не донёс и не схватил.

Первый том «Архипелага» Люша отпечатала ещё в апреле, в Москве, и сейчас печатала второй. А. И. дочищал главы второго и третьего томов; весь май от света до темна три помощницы (Воронянская в очередь с Решетовской) печатали на двух машинках в пяти экземплярах; по вечерам считывали, вносили правку. Потом чистовой текст снимали на плёнку в верхней комнате дачки, там же протянули верёвки для просушки, под лестницей устроили фотолабораторию. А. И. через лупу проверял каждый кадр, забракованное тут же переснималось. Неполные страницы (концы глав) дополнялись фотографиями. Весь «Архипелаг» Решетовская, по слову А. И., «сняла отлично». Каждый третий день приезжала Надя Левитская за копиями. «В какой-то на всю жизнь запомнившийся день всё это — все четыре экземпляра одновременно отвезла в переплет А. И. Крыжановскому. Много раз потом вспоминал он и его жена, как смотрели они в окно мне вслед, когда я уносила огромный рюкзак с двенадцатью переплетёнными томами динамитной силы».

В Рязань из Рождества шли беззаботные письма — о вольной, ленивой жизни на лоне природы. И едва не сглазили: в разгар работы сюда внезапно пришло письмо... с таможни: Солженицына вызывают в «связи с возникшей необходимостью». Поразмыслив, А. И. сам пригласил их приехать в Москву, на Чапаевский, к Веронике, через две недели. 27 мая таможенники прибыли с сообщением, что на границе, при вылете в Италию, у Витторио Страды отобрано пись-

мо А. И. для газеты «Унита» (вместе с изложением прошлогоднего секретариата СП). После весьма эксцентричного разговора (А. И. пылко внушал офицерам, что перехват письма помешает разоблачить западных дельцов-издателей) таможенники отбыли. То-то веселились свидетели сцены!

Поразительно сошлось, что в тот самый день 2 июня 1968 года (знамение судьбы: никаким планом такого не выстроить!), когда «Архипелаг» был отснят и плёнка свернута в капсулу, приехали в Рождество друзья: Н. И. Столярова и А. А. Угримов. Вызвав А. И. в лес, *Ева* сообщила, что на Западе вышел по-русски «Круг» и что плёнку через неделю можно переправить в Париж с Сашей Андреевым (сыном Вадима Андреева), приехавшим с группой ЮНЕСКО в командировку. Через день обозначились контуры операции: киномеханик будет отправлять контейнер с киноматериалами группы, туда и засунут капсулу. 6 июня из Москвы за плёнкой приехала Люша. Всё, наверное, прошло бы спокойно, если бы за юношей не обнаружилась (или почудилась?) слежка — лихорадило ещё дней пять. 8-го Люша примчалась в Рождество — сказать, что не всё идёт гладко и что А. И. следует укрыться в безопасном месте. Прямо с вокзала А. И. отправился на 13-ю Парковую, к А. И. Яковлевой, *«гадалке»* («такому человеку, как вы, гаданья не нужны», — скажет ему Анастасия Ивановна, одна из помощниц, тем вечером). Трое суток удушливого ожидания закончились ликующим известием: и Сашу выпустили, и капсула перебралась через границу! «И отправка эта, и сами эти Троицыны дни казались нам святым зенитом жизни».

«После бурной весны 68-го года — что-то слишком оставили меня в покое, так долго не трогали, не нападали», — напишет Солженицын. И в самом деле: столько случилось той весной и радостного, и печального. Разгоралась Пражская весна, вселявшая надежды. В Венгрии Янош Кадар объявил о демократизации страны, по Восточной Европе ходил призрак «социализма с человеческим лицом». Но в Москве всё только свирепело: в январе состоялся «Процесс четырёх» (Галансков, Гинзбург, Добровольский, Лашкова), арестованных год назад. Теперь тяжёлая рука власти подбиралась к театру на Таганке, настаивая на снятии Любимова. Выгнали с работы Копелева. В «Новом мире» райкомовская комиссия требовала от редакции провести партсобрание с самоотчетами. Бесновался Главлит; такого разгула цензуры не знала вся история советской литературы. Вернулись в обиход зловещие термины «классовое чутьё» и «классовый нюх», и каждый партийный карьерист налёг на тренировки.

А тут Надя Левитская вместе с Аничковой напечатали и пустили в самиздат подборку писем «Читают “Ивана Денисовича”» — главу из «Архипелага», выпавшую при последней переработке. Твардовский строго спрашивал, как *это* могло *утечь*. «А как ваше письмо Федину утекло? Вы ж никому его не давали», — парировал А. И. В конце апреля «Голос Америки» сообщил, что в июле в США выходит «Раковый корпус». 4 и 5 июня появились публикации «запретительного» письма в «Монд» и «Уните». И дальше почти весь июнь «голоса» сообщали новости о печатании сочинений Солженицына на Западе: готовятся, запущены, вот-вот выйдут.

Ответила, наконец, и «ЛГ» редакционной статьёй. Твардовский увидит в затее Чаковского точный расчёт: «Они подталкивают и подтолкнут многих к тому, что Солженицын действительно был, а следовательно, и остался антисоветчиком... И такими мерзостями прошита-пронизана вся статья, сотканная, само собой, из лжи беззастенчивой и вместе настороженно трусливой, из доносительских подтасовок, подлых умолчаний».

Но так уже привычен был Солженицын к газетным мерзостям, так устал их страшиться, что статью в «ЛГ» сравнил с «пухлым, но не грозным облаком». Едва отпала опасность с передачей плёнки, он засел за «Круг», искренне считая, что счастливей наступившего лета нельзя и придумать: «Архипелаг» в безопасности и не за горами работа над «Р-17». «Кругу»-87, только что вышедшему в Цюрихе на русском языке (а вскоре выйдет и в переводах), автор намерен вернуть прежние качества: Иннокентий Володин должен звонить в американское посольство; сюжет «атомный» должен стать на место «лекарственного». Так случилось, что герои «Шарашки» тем летом то и дело появлялись в Рождестве — и Панин, и Копелев. А в июне на один день приезжал Соломин: остановился в Рязани у Марии Константиновны, прочёл «Раковый корпус» и плакал над ним, видя, как его долагерная биография пригодилась Костоглотову.

В середине августа вдруг поступил сигнал от Твардовского: срочно ждёт А. И. у себя на даче. Оказалось: Лакшин и Кондратович были в ЦК, пытались говорить о «Раковом корпусе». Мелентьев ответил, что Солженицыну скоро конец: «Мондадори» печатает «Пир Победителей». Второй цекист, Беляев, предвкушая желанный результат (можно будет, наконец, закрыть надоевшее дело), с ликованием добавил: «Народ его растерзает!» — «Ну, не растерзает, у нас закон. Но — посадят!» Твардовский был в крайнем волнении — нет сомнения, что «Пир» попал на Запад из «тиража», выпущен-

ного на Старой площади, и если попал, то не сам по себе, а по некоей воле. И Солженицын должен сделать всё возможное, чтобы помешать выходу этой злосчастной вещи. Но где его искать, с этой его чёртовой конспирацией?

Мгновенно понял А. И., что если единственную копию «Пира» забрало ГБ, попасть на Запад она могла только, условно говоря, «посредством Луя», и значит, это провокация агитпропа. Меньше часа езды на машине было от дачи до дачи, и он немедленно бросился к Твардовскому — намного раньше, чем тот ожидал. Трифоныч был сердечно рад встрече, принял Солженицына радушно, «широкими руками», они обнялись и расцеловались. А. И. сразу взял быка за рога, и они наметили программу действий: выяснить источник слухов и, если они подтвердятся, вместе писать издателю Альберто Мондадори (после статьи в «ЛГ» тот сообщил Твардовскому, что купил рукопись «Ракового корпуса» как анонимную и ввиду её литературных достоинств напечатал, поскольку понимает долг издателя и смысл своего бизнеса «в соединении автора и читателя»). «Сердечно мы расстались, как никогда», — писал Солженицын, и уже не было места старым обидам, и никто никого не вырывал из сердца.

А через пять дней грянула Чехословакия. Вечером 20 августа, услышав грохот, доносившийся с шоссе, А. И. вскочил из-за своего стола у Истьи, бросился в дом и застыл возле окна второго этажа. В ста метрах от дачи бесконечной вереницей лились по шоссе танки, грузовики, спецмашины. А. И. понял: это — на Чехословакию (ему до последнего не хотелось верить в оккупацию). В ночь на 21 августа войска стран Варшавского договора вторглись в страну, чтобы покончить с Пражской весной. «Свою судьбу я снова сам выбирал в эти дни. Сердце хотело одного — написать коротко, видоизменить Герцена: *стыдно быть советским!* В этих трёх словах — весь вывод из Чехословакии, да вывод из наших всех пятидесяти лет! Бумага сразу сложилась. Подошвы горели — бежать, ехать...» Первым движением хотел броситься к знаменитым — Капице, Шостаковичу, Твардовскому, Сахарову, Ростроповичу. Выложить им трёхсловную бумагу и двинуть её за семью подписями в самиздат. Движением вторым — понял: *не подпишут они, столь разные, такую бумагу.* Начнутся согласования, исправления — выйдет что-то выморочное, межеумочное. Так что если подписывать, то только своё и только одному. Тогда будет честно и хорошо. «И — прекрасный момент потерять голову: сейчас, под танковый гул, они мне её и срежут незаметно». Значит, как ни противно, придётся смолчать, поберечь горло для главного крика,

хотя все знают: Пражская весна началась с московского писательского съезда, где читалось *его* письмо. Попытка подготовить документ протеста совместно с Сахаровым, на их первой встрече 28 августа, как Солженицын и предполагал, тоже кончится ничем.

Была ещё одна точка позора — когда новомирцы, на собрании редакции, в обход Твардовского, одобрили оккупацию*. Тот день Солженицын назвал духовной смертью «Нового мира» (пустая, значит, оказалась байка, будто прежде чем ввести войска в Чехословакию, надо их ввести в «Новый мир»). И случилось ещё одно убийственное потрясение — Тимофеев-Ресовский (в начале сентября А. И. навестил его в Обнинске) *поддерживал* действия СССР в Чехословакии («если б не мы, туда бы вторглась Западная Германия»). Только семь человек в Москве вышли протестовать открыто: 25 августа на Красной площади, у Лобного места, они провели сидячую демонстрацию с плакатами на чешском языке. Их били, арестовали, судили. Твардовский писал про «страшную десятидневку»: «*Что делать нам с тобой, моя присяга, / Где взять слова, чтоб рассказать о том, / Как в сорок пятом нас встречала Прага / И как встречает в шестьдесят восьмом*». И тут же: «Встал в 4, в 5 слушал радио — в первый раз попробовал этот час. Слушал до 6, курил, плакал, прихлёбывая чай».

В доме Чуковских часто говорили: «Есть две России — Россия Шолохова и Россия Солженицына. 1968-й, лишивший Россию Солженицына кислорода («впору надевать противогазы», — мрачно шутили в «Новом мире»), явил крах последних надежд и торжество серой аппаратной лапы. Но судьба писателя будто дразнила задохшееся время: осень 1968-го выдалась для него вызывающе плодотворной. Переводы «Круга» и «Корпуса» на главные языки мира большими тиражами идут по Европе и добираются до Америки. «Голоса» читают отрывки и целые главы его сочинений.

---

* «Вчера настаивали из райкома, чтобы мы провели собрание в поддержку действий наших войск и нашего правительства. Долго спорили с Виноградовым. Он против собрания. Что делать? Не проводить? Значит, сразу же партбилеты на стол, и конец журналу. Мы все думаем, что в этой ситуации журнал дороже. Он важнее всех нас вместе взятых... Я не хочу оправдывать себя или других, но в нашем положении идти на самоубийство бессмысленно» (Кондратович). Твардовский, осудив вторжение, отказался поставить свою подпись под открытым письмом писателям Чехословакии, подписанным всеми действующими секретарями СП (за исключением Симонова и Леонова). Введение советских войск в Чехословакию объяснялось в письме угрозой делу социализма и оценивалось как «осознанная необходимость». «Я бы мог всё подписать, но только до танков и вместо танков», — сказал Твардовский.

Лучшие критики Запада пишут о них как о главных литературных достижениях, констатируя, что в СССР теперь есть не только соцреализм, но и Солженицын. Режиссер Алов готов взяться за съёмки фильма по сценарию «Тунеядец», написанному А. И. вроде бы между делом, без особой охоты. Но взыскательный Твардовский, прочитав, напоминает о «праве первой ночи» на публикацию. Ещё и шутит: «Сажать вас надо, и чем скорее, тем лучше». В ноябре «Правда», хваля принципиальность «ЛГ», лягнула Солженицына за «антиобщественную, очернительскую позицию» — однако при всех последствиях (велено было «Мосфильму» сценарий закрыть), свободе и жизни автора ничего не угрожает: даже Твардовский уже не обращает внимание на газетный хай.

«Я шёл по окаянно-запретным литературным путям, а вёл себя с уверенностью признанного советского литератора. И — сходило». То есть — пока что он ходил по своему дачному участку без конвоя и кандалов. Жаль, не получилось той осенью дать Твардовскому «Архипелаг» — Трифоныч уже дозрел, считал А. И., мечтая, как зазовёт его к себе в Рождество, дней на пять, как славно и согласно обсудят они главные русские вопросы. Это чтение, полагал А. И., нужно Твардовскому «как опора железная, это заменило бы ему долгие околичные рысканья по нашей новейшей истории».

Вместо Твардовского в Рождество ранним сентябрём пожаловал незваный гость — тот самый французский журналист Виктор Луи, на которого ссылались «Грани». Предъявил претензию: западная пресса считает его, Луи, продавцом рукописей Солженицына, и он теперь опасается за свою карьеру. Потом приезжал ещё раз, с двумя спутниками; фотографировали участок в отсутствие хозяев, расспрашивали соседей, нельзя ли снять дачу поблизости. «Это первая ласточка! — сказал тогда А. И. — Чехословакия кончена. Теперь начнётся кампания против Солженицына». Жить в Рождестве, в незащищённом домике, в осеннем безлюдье, становилось опасно.

Но вот — Рязань, 11 декабря. Солженицыну — пятьдесят. Поток писем и телеграмм. За один заход приносят по пятьдесят, по семьдесят штук, несколько раз на дню. «Всего телеграмм было больше пятисот, писем до двухсот, и полторы тысячи отдельных личных бесстрашных подписей» («Телёнок»). Рязанское и Воронежское отделения СП (смельчаки!), сотни русских читателей; Альберто Моравиа, Эдуардо де Филиппо, Генрих Бёлль, Союз писателей Чехословакии. «Вашим голосом заговорила сама немота. Я не знаю, — телеграфировала Лидия Чуковская, — писателя, более долгожданного и необходимого, чем Вы. Где не погибло слово,

там спасено будущее. Ваши горькие книги ранят и лечат душу. Вы вернули русской литературе ее громовое могущество» (А. И. писал в ответ: «Ваша телеграмма высечена на камне или извлечена из архангельских труб»). «Примите, дорогой друг, мои сердечные поздравления по случаю нынешней даты. Живите ещё пятьдесят, не теряя прекрасной неутомимости Вашего таланта. Всё минется, только правда останется» (Твардовский). «С вами наша любовь, бесконечное уважение и благодарность. Без Вас и Ваших книг мы не живём сегодня и не мыслим будущего» (Студенты литфака).

«Скажу, не ломаясь: в ту неделю я ходил гордый. Настигла благодарность при жизни и, кажется, не за пустяки», — признавался Солженицын. «Читателей и писателей, приславших поздравления и пожелания к моему 50-летию, я с волнением благодарю. Я обещаю им никогда не изменить истине. Моя единственная мечта — оказаться достойным надежд читающей России», — писал он в ночь на 12-е, после того как разобрал (помогали ещё трое) огромную почту; наутро первой электричкой Вероника везла экземпляры письма в две редакции.

Но в «ЛГ» оно никогда не появилось, а родной журнал, получив копию, а не оригинал, обидчиво предположил, будто юбиляр написал письмо загодя, в смешной уверенности, что поток поздравлений неизбежен. Но что ж было смешного в пятистах телеграммах, на которые кратким письмом откликался юбиляр?

Официальная Москва, крепко зажмурясь, юбилея не заметила. Неофициальная — передавала солженицынский «Ответ поздравителям» из рук в руки, ощущая себя адресатом его благодарности. И даже спустя много лет люди помнили: они были среди тех, кто в 1968-м послал Солженицыну в Рязань слова от сердца.

Глава четвёртая

АЛЯ: ВОЗМОЖНОСТЬ СЧАСТЬЯ. СОЖЖЁННЫЕ КОРАБЛИ

Зимой 1969 года в Париже, в залах отеля «Пале-Рояль», при большом стечении публики состоялось торжество по случаю присуждения Премии французских журналистов за лучшую иностранную книгу. Были названы сразу два сочинения русского автора Солженицына (которого на торжестве, разумеется, не было): роман «В круге первом» и повесть «Раковый корпус». Приём был устроен французским издателем Робером Лаффоном, о чём в тот же вечер

(29 января) сообщило Би-би-си, благодаря которому Солженицын, сидя в избе Агафьи (при сильных морозах к вечеру комната прогревалась всего до +4), и узнал о нежданной награде. Ближе к весне из Нью-Йорка придёт сообщение об избрании его почётным членом Академии искусств и литературы, а также Национального института искусства и литературы. Ещё позже он напишет: «Получил французскую премию “за лучшую книгу года” (дубль: и за “Раковый” и за “Круг”) — *наши* ни звука. Избран в американскую академию *Arts and Letters* — *наши* ни ухом. В другую американскую академию, *Arts and Sciences* (Бостон), и ответил им согласием — *наши* и хвостом не ударили».

А «наши» трактовали текущий момент как «обострение идеологический борьбы»; газеты писали, что «империалисты, не видя путей прямого сокрушения социализма, усиливают идеологическое наступление». Это сильно напоминало сталинское: «классовый враг оказывает особенно сильное сопротивление, видя свой конец». Приближался столетний юбилей Ленина, и было понятно, что́ готовится под этим флагом. «Унита» утверждала: «В СССР наметился курс на реабилитацию Сталина, и только мужественный “Новый мир” продолжает отстаивать позиции XX съезда». Похвалы западных газет («“Новый мир” — неофициальная оппозиция Кремлю») выходили новомирцам боком; и обиднее всего было то, что их «одобрение» по Чехословакии никак не мешало властям удушать журнал. Инстанции контроля множились, найти концы было почти невозможно: Главлит, утратив право запрещать, отсылал спорные материалы в ЦК; тот, не желая показывать, что снимает их, кивал на Союз писателей, там раздражённо отругивались, и Главлит *не подписывал*.

Впрочем, зависимость Солженицына от цензурных зверств упала фактически до нуля: его уже не то что не печатали, его имя уже нигде и не упоминали. Книги, вышедшие на исходе 1968 года, и отклики на них были опубликованы не в СССР, а на Западе, и «наши» были не в силах остановить этот поток. 22 января отдел культуры ЦК подготовил записку «О литераторе А. Солженицыне в связи с публикацией его произведений за рубежом». «В СП СССР высказывается мнение, что назрело время рассмотреть вопрос о пребывании А. Солженицына в рядах Союза. При этом отмечается, что исключение его из Союза писателей следовало бы провести в Рязанском отделении СП, где этот литератор сотоит на учете, с последующим утверждением принятого решения секретариатом СП РСФСР».

Механизм исключения был запущен.

Солженицын, собрав урожай ушедшего 1968 года, 1 января перекочевал в ледяную избушку Агафьи, чтобы в тишине и одиночестве приступить, наконец, к «Р-17». Ещё в 1967-м определился принцип Узлов — сплошного густого изложения событий в сжатые сроки времени и перерывы между ними. Ещё раньше, в 1965-м, утвердилось и название — «Красное Колесо». Но — писать не получалось: он долго мялся, робел, «очень уж высок казался прыжок. Да и холодно было, не раскутаешься, не разложишься». Пробыл у Агафьи до середины февраля, наезжая домой в сильные морозы, и всё-таки продолжал разборку материалов. А когда совсем коченел в избе, выходил на лесные тропинки и так, прогуливаясь, прочёл подряд двадцать номеров «Нового мира». Теперь он не только получил цельное впечатление о журнале (Твардовский часто укорял А. И., что тот ничего, кроме нужного по делу, не читает), но и увидел «с другой стороны» ахиллесову пяту «самого свободного советского журнала» — его зависимость от догматического учения («Телёнок» процитирует слова Твардовского, сказанные «с обаятельной улыбкой откровенности»: «Да вы *освободите меня от марксизма-ленинизма*, тогда другое дело. А пока — мы на нём стоим». «Вот это — вырвалось, чудным криком души! Вот это было уже — вектор развития Твардовского! Насколько же он ушёл за полтора года», — комментировал Солженицын).

Зимой, так и не преодолев стартовой линии «Р-17» (множились варианты начала, наметилась дюжина разных входов в роман, несколько эпилогов, но — не писалось), А. И. особенно нуждался в уединении. Говорил о потребности ненарушаемого одиночества и даже о монастырской жизни. Н. А., негодуя, шла в наступление: «Тебе не нужна жена, тебе не нужна семья!» «Да, мне не нужна жена, мне не нужна семья, мне нужно писать роман», — раздражался он, и ссора заканчивалась её восклицанием: «Считай, что у тебя нет жены». Она срывалась с места, мчалась в Рязань, потом возвращалась, или он ехал домой; после долгих объяснений (А. И. называл их «кишкомотательством») они мирились. «Мир восстановлен. Но прочно ли это?» — записывала Н. А., но уже знала, что нет, не прочно. 6 января, в сочельник, записал и он: «Семейное крушение... Давно к нему шло неумолимо, а случась — вышло совсем как новое, откусанной раной в груди, пылающей. Но и через это надо пройти, ибо, видно, это и есть путь к моему роману. Именно будущим романом я не мог пожертвовать для жены, из-за него всё и вышло».

Бывали дни, когда они предпочитали объясняться письменно, чтобы не наговорить лишнего. «3.9.68. С<аня> пишет мне письмо. Неужели конец неизбежен? 4.9. Пишу в лесу письмо С<ане>. Не пришла на *lunch* — С<аня> пришёл ко мне. Примирение». И снова слёзы — зачем он едет в Москву? зачем сидит один? «Наташа часто срывалась в истеричные болезненные объяснения, — вспоминала В. Туркина, — следила за ним денно и нощно, проверяла карманы, нет ли там каких-нибудь записочек? (Бедную тётю Марусю это очень коробило.) Всё это производило грустное впечатление большой женской бесталанности. Было жаль её, жаль Саню».

А. И. ощущал свою нынешнюю семейную жизнь как погружение в суету, как тяжкий крест, который надо нести без любви, по долгу, из жалости. «Ужасно вот что, — писал он жене ещё в 1967-м, — постоянное давление недовольства или обиды с твоей стороны. Вместо радостного соучастия — какая-то чужая жизнь. И ощущение: как бы перед тобой не провиниться, как бы не провиниться... Я не могу, приезжая домой, постоянно встречать здесь мрак». Он не раз говорил ей, что все её беды происходят от чудовищного себялюбия. «Попробуй разбирать и понимать события нашей жизни с точки зрения Бога, правды, истории, справедливости, миллионов жертв, а не только: “как мне хочется”, “что будет со мной?”». День за днем Н. А. жаловалась, что ей одиноко, однообразно, тошно, что муж, поручая ей техническую работу (она печатала 8—10 страниц в день), мешает жить полноценной умственной и духовной жизнью, что машинопись не раскрывает её лучших возможностей. «Каких *лучших*?» — спрашивал А. И., и это давало её упрекам свежую энергию. Она ждала от мужа похвал и восхищения, а он страдал от её претенциозности («не забывайте, что я научный работник»), когда они были на людях, от самовлюблённости, от нервных срывов.

Семейная жизнь Н. А. осложнялась ещё и тем обстоятельством, что как раз в январе 1969-го она окончательно поняла, в чём состоит её призвание и что́ может стать целью её дальнейшей жизни. «С момента признания мужа Твардовским я веду подробные дневниковые записи. Через мои руки проходит вся почта мужа, я читаю не только приходящие письма, но и все письма, которые пишет он. Наши фотоальбомы представляют собой своеобразные фотодневники. В папках — множество рецензий на его книги, отклики на его письмо IV съезду писателей. А наговорённые магнитофонные ленты? Кто же когда-нибудь сумеет сплавить всё

это воедино, если не я, живой свидетель?.. С осени 1961 года я добровольно взяла на себя роль летописца. Так почему же не сделать следующего, такого естественного шага: *писать мемуары?..* И не просто по памяти, а *по документам!* Вот чем я буду заниматься, когда оставлю опостылевший институт!»

В феврале Решетовской исполнилось пятьдесят. Получив согласие дома, она объявила на кафедре, что хочет уйти из института за пять лет до пенсии: потеряла интерес к работе, переключилась на интересы мужа. Все считали это жертвой, видя в преподавании ту упряжку, которая не даст упасть. Её отговаривали Зубовы, беспокоились Теуши, чутко уловившие ситуацию; но вот Кобозев отнёсся к решению ученицы с пониманием. А. И. Яковлева советовала: прежде чем браться за перо, надо изучить мемуарную литературу. Н. А. спешно погрузилась в мир чужих жизней, «нападая» то на переписку Тургенева с Савиной, то на «Очерки былого» С. Л. Толстого, то на книгу Аксакова о Гоголе, а то и на романы Цвейга. «Даже завела тетрадки: для каждого писателя — свою. Всё это мне пригодится, чтобы лучше понять моего героя».

Драматичность её решения усугублялась пока не известной ей переменой в судьбе самого А. И.: с ним случилось то, чего после 1964 года она боялась больше всего. Тогда история с «той женщиной» сошла на нет. Ныне — была уже не «история», и не «любовное увлечение»: ныне он любил и был любим. Всё началось вполне обыденно: с поисков новых рук для самиздатских дел. *Ева*, успешно проведя эвакуацию плёнок, как-то летом сказала А. И.: «Вы тратите силы, где могли бы не тратить. У вас не хватает молодых энергичных помощников. Давайте я вас познакомлю».

Конечно, у него были и помощники, и помощницы. «Люша Чуковская, — скажет А. И., — почти пять лет, с конца 1965, стояла в самом эпицентре и вихре моей бурной деятельности... Она была как бы начальник штаба моего, а верней — весь штаб в одном лице». Были безотказные Воронянская, Аничкова, Левитская, сама Столярова. Была и Мира Петрова, стоявшая в стороне от конспирации. Историк литературы и текстолог, она написала в 1966-м отзыв на «Раковый корпус»; А. И. встретился с ней, просил высказаться подробнее, готов был вносить исправления по её дотошным замечаниям. «К Мире я нёс свежие впечатления, доработки на бегу, головную боль, усталость и голод...»

Ноша его, однако, была столь велика, что предложение *Евы* он принял. Встречу назначили на квартире Светловой,

предполагаемой помощницы (Столярова познакомилась с ней несколько лет назад у Н. Я. Мандельштам и быстро прониклась дружеской симпатией), на Васильевской улице, 28 августа. В тот же день А. И. планировал познакомиться с Андреем Дмитриевичем Сахаровым и обсудить его меморандум «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Для общения с Сахаровым была выбрана квартира академика Евгения Львовича Файнберга.

Сахаров вспоминал об этом дне: «Солженицын с живыми голубыми глазами и рыжеватой бородой, темпераментной речью необычайно высокого тембра голоса, контрастировавшей с рассчитанными, точными движениями, — он казался живым комком сконцентрированной и целеустремлённой энергии. Я в основном внимательно слушал, а он говорил — страстно и без каких бы то ни было колебаний в оценках и выводах. Он остро сформулировал — в чём он со мной не согласен». Запомнил встречу и хозяин дома: «Они беседовали, сидя рядом, полуобернувшись друг к другу. Александр Исаевич, облокотившись одной рукой на стол, что-то наставительно вдалбливал Андрею Дмитриевичу. Тот произносил отдельные медлительные фразы и по своему обыкновению больше слушал, чем говорил. Не помню, сколько продолжалась эта беседа. Наконец они кончили и стали — по одному — уходить». Чтобы не засветить встречу, А. И. пришёл первым, *до* Сахарова, и ушел вторым, *после* Сахарова (Решетовская отмечала: «28.8.68. С<аня>... встретился с А. Д. С<ахаров>ым. Изложил ему все свои несогласия по его работе. 29.8.68. С<аня> вернулся, конечно, невыспавшимся. Заснул у своего столика. А потом снова взялся за свои главы»).

За два часа до беседы с Сахаровым Солженицын знакомился со Светловой. Первые слова — те, по которым тогда опознавали *своих*: о Чехословакии, о демонстрации на Красной площади. «У себя в Рождестве я слышал всё по радио, но живых подробностей московской демонстрации не знал. И теперь молодая собранная женщина с темнокрылым надвигом волос над ореховыми глазами, крайне естественная в одежде и манере держаться, рассказывала мне, как демонстрация прошла и даже как готовилась». Оказалось, двое из семерых участников — её друзья; и сама она близка к самиздату, свой в нём человек. «Её общественная горячность очень понравилась мне, характер это был мой. Так надо её к работе!»

Наташа была *своей* по характеру, с гулаговской семейной историей. Родилась в Москве, 22 июля 1939 года, через пол-

тора года после ареста деда по матери Фердинанда Юрьевича Светлова (1884—1943). Пятнадцатилетним подростком примкнул он к Союзу эсеров-максималистов, после его раскола вступил в РКП(б), преподавал в Академии народного хозяйства, в 1925-м вместе со своим товарищем А. И. Бердниковым составил тысячестраничный «Курс политграмоты», который считался в те годы Библией молодых коммунистов. Работал в «Известиях», был заметным публицистом. В апреле 1939-го ОСО НКВД осудило его на восемь лет лагерей. Срок отбывал в республике Коми; там через четыре года и умер. В 1955-м семье сообщили, что дело деда прекращено, в 1956-м прислали справку: постановление ОСО отменено «за недоказанностью обвинения». Жена деда Зинаида Андреевна (ум. 1960) в молодости была сотрудницей библиографа Рубакина, позже закончила в Петербурге курсы профессора Лесгафта и служила в детских туберкулезных санаториях. Её и троих дочерей после ареста главы семьи выселили из трёх комнат восьмикомнатной коммуналки на улице Грановского в комнату другой коммуналки на Горького: длинный коридор, тридцать две комнаты, множество соседей, где и прожила Наташа первые двадцать лет своей жизни.

Мама, Екатерина Фердинандовна Светлова, родилась в 1919-м; когда появилась дочь, училась в Московском авиационном институте. Отец, Дмитрий Иванович Великородный, родился в 1904-м в семье ставропольских крестьян, окончил литературное отделение аспирантуры Института красной профессуры в Москве. Исключался из партии, сидел без работы, писал письма в разные инстанции о своей невиновности. Перед самой войной был восстановлен (будто бы по личной резолюции Сталина). Ушёл на фронт с отрядом московского ополчения, пропал без вести под Смоленском в декабре 1941-го*.

Наташа запомнила две голодные зимы эвакуации в Южном Казахстане и скудное московское детство. Помнила, как бабушка откладывала всякое непортящееся, добытое мамой, работавшей в МАИ, — «деду»; отправлять посылки бабушка и внучка ездили за 100-й километр. Её детство было внятно А. И. до мелочей, до голодных спазмов, до комка в

---

* Друг Д. И. Великородного Д. И. Гачев (отец культуролога Г. Д. Гачева), осуждённый ОСО НКВД на восемь лет лагерей, писал с Колымы: «Мы вдвоем могли бы создать достойную Роллана, всестороннюю, с глубокой любовью и пафосом написанную монографию о великом гуманисте современности». Первую часть книги (Роллан и литература) должен быть писать Д. И. Великородный, вторую (Роллан и музыка) — Д. И. Гачев.

горле: отец погиб, дед в тюрьме и мать круглые сутки на работе. Такая же размётанная и оглушённая семья, как у него, да ещё «воронья слободка», населённая служащими Музея революции (одна из них заставляла мать жечь в тазу сомнительные дедовы книги, «а то сообщу»). «Быта не было, в жаркой послевоенной Москве беспризорно бегала в трусиках, босиком купаться в сливе фонтана у “гробницы” напротив Моссовета, зимой уроки при свечке: никогда не хватало у мамы до получки, приходили отключать свет, надутая вельможная школа (вокруг “спецдома”, почти у всех живые отцы, сохранённые бронью), одичалое несытое детство, несвязные клочки прошлого в бабушкиных рассказах». А ещё церковь на Успенском Вражке, куда, пряча галстук в карман, она *вьюркивала* по дороге в школу (о, как А. И. это понимал!), и московские улицы, где с шести лет девочка бегала одна, приучив бабушку не волноваться. А ещё раскладушка, которую она стелила себе в узкой, как пенал, комнате, у книжных полок, где знала каждый корешок. «Домой не тянуло. Но вся эта безродность, одичалость — тогда не сознавались». Ей было лет десять, когда появился отчим, Давид Константинович Жак (1903—1973), фронтовик, видный работник Центрального статистического управления; с его приходом материально стало легче, отношения с ним установились сдержанные, но неизменно добрые.

Общественная горячность, которая так привлекала Солженицына в его новой помощнице, проявилась рано. Школа № 131 на улице Станиславского в 1950-е годы входила в число «сталинских гимназий», где преподавали латынь; она закончила учёбу с золотой медалью. Свободное время проводила в детском зале «Ленинки»; ни она сама, ни её учителя не сомневались, что будущее связано с историей или литературой. «Однако, — вспоминала она, — “дни открытых дверей” в университете на Моховой — на истфаке, журфаке, филфаке — поразили и отвратили меня: перед нами распахивали не светлый храм, а класс для политзанятий. В последний мой школьный год прогремел и XX съезд — и положил конец колебаниям: не пойду никуда, где будут в партию загонять... Оставался — мехмат: математику всегда любила, участвовала в олимпиадах, но скорее играючи, никогда не думая о ней как о профессии; меня, однако, завораживала гармония и совершенная красота математических построений».

Выбор *беспартийной* математики в обход *партийной* литературы Солженицыну был слишком понятен: казалось, Наташа шла за ним след в след.

Летом 1956 года (А. И. только-только вернулся из ссылки) она, сдав, как медалистка, экзамен по математике и получив «отлично», поступила на мехмат МГУ. И точно так же, как когда-то Саню, её, студентку мехмата, тянуло на гуманитарные факультеты, в литобъединения и семинары филфака. Мехмат всё же не бросила; на 3-м курсе выбрала специальность: теории вероятностей. Кафедру возглавлял академик Андрей Николаевич Колмогоров, крупнейший математик XX века, человек колоссального масштаба, щедрый и светлый ум. Ученики испытывали к нему уважение, смешанное с восторгом. В том, что он взялся руководить дипломной работой студентки Светловой и оставил её у себя на кафедре, а вскоре пригласил работать в созданную им лабораторию статистических методов, была, несомненно, дань её одарённости, способности самостоятельно мыслить. В рамках лаборатории она вела статистические исследования стихотворной ритмики. Осенью 1967-го поступила в очную аспирантуру, к члену-корреспонденту Ю. В. Прохорову, продолжая заниматься статистическими закономерностями, свойственными языку, построением «Теоретических моделей прозаического текста, не подчинённого специальным ритмическим тенденциям».

Широта её интересов была велика. С четырнадцати лет академическая гребля, дважды выигранные всесоюзные юношеские соревнования. Позже — горный и водный туризм, альпинизм (Приполярный Урал, Кавказ, Саяны, Алтай, Тянь-Шань, Памир). Отношения с самиздатом начались рано и не случайно. «Тянуло как магнитом к пишущей машинке (трофейная “Торпедо”, с перепаянным русским шрифтом), и в двенадцать лет, добиваясь скорости, перепечатывала на ней “Витязя в тигровой шкуре”, выбранного за длинные, легко запоминающиеся строки, чтобы меньше нырять в книгу и обратно. В старших классах “издавала” домашнее “избранное” Мандельштама и Цветаевой, составленное из переписанных у букинистического прилавка стихов. С первого же университетского года окунулась и в “живой” Самиздат: непечатаемые стихи современных молодых поэтов, неподцензурные эссе, проза — всё это читалось, обсуждалось, отбраковывалось, и лучшее печаталось для друзей в 5—6 экземплярах... С 1965-го появился политический Самиздат, и в нём пришлось принимать участие, но для меня Самиздат остался синонимом литературной жизни 50—70-х годов».

К осени 1968-го, когда Солженицын познакомился со Светловой, она училась в аспирантуре, жила на Васильев-

ской («воронью слободку» расселили, заняв под конторы) с мамой, отчимом и шестилетним сыном Митей, которого родила в 1962-м, на пятом курсе. С отцом мальчика и бывшим мужем, алгебраистом Андреем Николаевичем Тюриным*, была в разводе уже четыре года.

Вскоре А. И. предложил Светловой взяться за только что восстановленный «Круг»-96. Она охотно согласилась, а он сообщил дома, что нашлась ещё одна помощница, которая будет печатать роман («для меня, разрывавшейся между дачей, Рязанью, приёмными экзаменами в институте и хозяйничаньем в Борзовке, труд этот был непосилен», — писала Решетовская). «Пусть она будет полностью законспирирована», — сказал А. И. жене без всякой задней мысли. Но — быстро осознал, насколько необходимы и помощь Светловой, и она сама. Имея для печатания лишь два вечерних часа, когда сын заснёт, она управилась с «Кругом» в рекордные сроки, и её грамотная, со вкусом оформленная работа завидно отличалась от тех *пещерных* рукописей, которые А. И. носил в «Новый мир». «Милая Аля!.. Не слишком ли Вы гоните? Не перегружайте себя», — писал он ей в ноябре 1968-го; темп, который она умела задать работе, превышал даже его разумение. К тому же она ставила столь придирчивые вопросы, столь свободно ориентировалась в хитросплетениях партийной истории, что уверенно поправляла автора, а он и не ожидал от мехматовской аспирантки такой гуманитарной образованности и такой редакторской хватки.

---

* Зимой 1959/60 года с Тюриным и ещё шестью математиками (среди них профессора И. Шафаревич и Л. Скорняков) они отправились в зимний поход на Кавказ: «На перевале нас застал буран, который не стихал трое суток, а когда стих и мы вылезли из палаток, то обнаружили, что лыжи наши, лежавшие, как положено, под полом палатки, вмёрзли так, что оторвать их было нельзя, — и пришлось идти вниз пешком. Топали по глубокому снегу, мне по грудь, тропили все по очереди, но за светлое время дня до базы не дошли, ночевали в долине, без палаток и без топора, так что жгли только ветки, которые можно было руками сломать. Обморозили ноги все. Наутро дошли до базы, оттуда четверых на вертолёте, а четверых верхом на лошадях доставили в Нальчик. Там определили, что у всех гангрена разной степени, надо оперировать. Долетели в Москву, там четырём (среди них мне) ободрали кожу на ступнях и на костылях отпустили домой лечиться, а других четверых долго лечили в Академической больнице, пока не образовалась "демаркационная линия", по которой уже и отрезали то, чего спасти было нельзя. Андрею Тюрину отрезали все пальцы одной ноги вместе с "подушечкой", в общем — полступни». Осенью 1960-го Н. Светлова вышла за него замуж, а через три с половиной года их молодёжно-товарищеский брак распался.

Но всё было просто: после деда осталась библиотека — учёные монографии, запрещённые протоколы партсъездов; так что свою любознательность она утоляла из первоисточников. «Сказать “деловая” мало, — напишет о Светловой А. И., — в работе была у неё мужская готовность, точность, лаконичность. В соображении действий, тактики — стремительность, как я называл — электроническая, она по темпу сразу разделила моё тогда стремительное же поведение... А ещё открывалась в ней душевная прирождённость к русским корням, русской сути, и незаурядная любовная внимательность к русскому языку». Они быстро сближались, он хотел видеть её как можно чаще. Пятидесятилетний Солженицын впервые ощутил, чтó значит подобное родство душ и умов: он мечтал их встретить, но так и не встретил в друге-мужчине, а теперь нашёл в ней, 29-летней женщине. *Близость досконального понимания* — так назовёт А. И. их общность в отношении к лицам и событиям отечественной истории. Он открывал в ней человека *бьющей жизненности* и был покорён её яркой женственностью. «Встречу на четвёртую-пятую я, в благодарности и доверии, положил ей руки на плечи, обе на оба, как другу кладут. И вдруг от этого движения перекружилась вся наша жизнь, стала она Алей, моей второй женой».

«Прежде, чем я Алю *узнал*, — вспоминал А. И. (2007), — я её счастливо *угадал*». К концу 1968 года они были уже прочно соединены. Она знала, как мечется он между семейным домом в Рязани, избушкой Агафьи, дачей в Рождестве и всеми своими временными пристанищами. Аля тактично угадала, как, не требуя ничего для себя, следует облегчить жизнь ему: первым делом прочитала всё им написанное (и читала раньше всё, что ходило в самиздате), во всё вникла, всё держала в памяти и в подробном знании, а потом, как истинный математик, создала классификацию и систему. Довольно скоро в её руках сосредоточились все рукописи Солженицына — и окончательные, и текущие, и те, работа над которыми была оборвана, с краткими аннотациями автора на первых листах. Она сама взялась проверить в уже оконченном «Архипелаге» ленинские и прочие цитаты, выписанные им в разное время, впопыхах, из непрямых источников. «Она влилась и помогала мне сразу на нескольких уровнях, в советах, в обдуманьях шагов... Прежде — во всех определяющих, стратегических решениях я был одинок, теперь я приобрёл ещё один проверяющий взгляд, оспорщицу — но и постоянную советчицу, в моём же негнущемся тоне и духе. Очень это было радостно и дружно. Моей работе и моей борьбе Аля быстро отдалась — вся».

Четверть века спустя Н. Д. Солженицына скажет: «Мне было очень ясно, когда я выходила замуж за Александра Исаевича, что я хотела бы для него сделать. Я не знала — получится ли. Разделить — бой. Разделить — труд. Дать и вырастить ему достойное потомство. Это всегда и длилось. Всегда длился бой, и он не окончен. Всегда длился труд, и он не кончен...» А тогда, на заре любви, она догадывалась, что их ждут трудные времена — не только потому, что он женат и преследуем властями. Через год обнаружится, что связь с ним (она не осталась тайной для Лубянки) автоматически закрыла ей возможные продвижения. После аспирантуры она собиралась вернуться в лабораторию; но когда летом 1970-го подала заявление, Колмогорову сказали: «В университете *такие* не нужны», — о чём и сообщит он ученице растерянно и недоуменно.

Уже в 1969-м Светлова взяла на себя и самое большое бремя подпольного писателя — его архивы; и вскоре, когда забуксовало кобозевское хранение, освобождённою душой Солженицын доверился ей. «Я уже понял, что именно её хочу сделать своей литературной наследницей... Порукой было и глубинное неразличие убеждений и двадцатилетнее различие возрастов». Она должна была разработать стратегию: где держать, чтобы было и надёжно, и доступно, и безопасно* — ведь теперь, «по уже сердечному тяготению», к ней часто приезжал Солженицын. Но таким тяжёлым узлом была завязана его жизнь, что, считая Алю своей женой перед Богом, чувствуя, что без неё он «кусок деревяшки», каких-нибудь путей соединиться и не разлучаться пока не видел. Зимой, когда любовь затопила его, с «Р-17» ничего не вышло, не трогалось с места. В середине февраля он вернулся в Рязань, надеялся по весне уехать в Крым, пробовать начать там. И узнал, что Сафонов показывал начальству письмо, где А. И. предлагает рязанским писателям прочесть главы «Ракового корпуса». Ответ звучал жёстко и однозначно: «Воздержитесь!»

Всё шло к запланированному финалу.

В начале марта, вскоре после своего пятидесятилетия, Решетовская собралась на юг, в Цхалтубо, лечить суставы.

---

* «Заведовать» хранением, по просьбе Светловой, согласился Андрей Тюрин, человек большого личного мужества, отношения с которым у неё остались дружескими и после развода; навещая сына, он мог бывать в доме своей бывшей жены сколь угодно часто, не вызывая никаких подозрений. Хранение, устроенное по принципу непрямого касания, у его сестры Галины было самым крупным и действовало быстро, чётко, безотказно и бесперебойно.

Неловко пытаясь пробудить в муже ревность, намекала, что там её будет ждать некий поклонник. «Помню, — пишет В. Туркина, — Саня воспрянул духом и радостно проводил её на Курский вокзал». «Провожая меня к поезду, — писала и Решетовская, — А. И. вдруг предложил мне взять написанное им для меня письмо. По его намёкам я поняла, что этим письмом он как бы давал мне полную свободу развлекаться, как только я захочу. Я расстроилась, расплакалась, взять письмо отказалась». На курорте Н. А. читала мемуары, готовясь к новому поприщу.

А Солженицын отправился в Крым, в Гурзуф, на дачу И. Н. Медведевой-Томашевской, жены известного пушкиниста. Она радушно предлагала для работы и свой ленинградский кабинет, и свою крымскую дачу на горе, в окружении кипарисов: на новом месте он надеялся начать писать. Но — ничего не вышло: дача стояла далеко от моря, дни были сырыми и холодными, смотреть Крым А. И. не хотел, рвался работать. В три дня с югом было покончено. 8 марта, проездом через Москву в Рязань, он пробыл у Али от поезда до поезда и сказал ей, что завтра начинает писать.

9 марта началась непрерывная, а потом и скоростная работа над «Красным Колесом», 33 года спустя от момента замысла. Сперва создавались главы поздних Узлов, тамбовские и ленинские. Ближе к маю А. И. приступил к «Августу Четырнадцатого», и уже писал разделы о дяде Ромаше, о деде Захаре. Время от времени накоротко приезжал в Москву, работал в Историческом музее (тут же к сотрудникам музея наведались комитетчики справиться, где Солженицын сидит, что читает). И пока он просматривал журналы, газеты, офицерские дневники времён Первой мировой войны, изучал фотографии и диапозитивы в военном зале «Ленинки», а дома читал «Вехи», в Москве и в Ленинграде набирала силу кампания арестов и обысков: рылись по целому дню — изымали уже и «Один день». И, напротив: в «Новый мир» звонила дочь Хрущёва Юлия с приветом от отца: прочтя «Круг», он провозгласил Солженицына гениальным писателем, чего не предполагал, разрешая печатать «Ивана Денисовича»: «Я просто поверил Твардовскому».

И ещё вдруг в Москве объявился самозванец, выдающий себя за писателя Солженицына. Брутальный дядька пенсионного возраста скандалил, закатывал кутежи в «Славянском базаре», зазывал к себе хорошеньких женщин, дарил подарки (не на пенсию же свою?), раздавал автографы, утверждал, что он гений, жаловался, что «исстрадался в лагере», и потому жаждет веселья, а главное, нуждается в молодых актрисах

красивой наружности для чтения своих великих произведений. Еле изобличили проходимца, помог Лёва Копелев...

И свершилось, наконец, давно задуманное путешествие с Можаевым к нему в родные места, в Пителинский район Рязанской области. Проездили на «Денисе» неделю, больше тысячи километров. «Для меня эта наша с Борей ещё одна поездка — была оживляющее касание среднерусской природы и деревенского быта, куда сам не соберёшься... Я в те годы совсем плохо спал от перенапряга. Боря насобирал в ведро и листов смородины, и стеблей шиповника, и ещё чего-то, и ещё, вскипятил ведро, на костре — изжаждались мы за день, и вкусно так, не оторваться, кружек по пять вытянули, — такого мёртвого сна не упомню, хоть режь нас на куски... В эту поездку он рассказал мне о своём замысле "Мужиков и баб"... И слушал я во все уши, и глазами Борю поедал, как живое воплощение среднерусского мужичества, вот и повстанчества». Позже А. И. увидит в Борисе живой прообраз своего крестьянского героя, Арсения Благодарёва, а Можаев будет хвалить Арсения, но не догадается.

В середине июля А. И. уехал на Север, куда давно хотел — с Алей. Это было их первое совместное путешествие, утаённое от всех. В Архангельске пытались (безуспешно) найти следы сосланных Солженицыных. А. И. писал в «Телёнке», как, сидя у Красного Ручья на берегу Пинеги, они обсуждали возможности издания журнала с теневыми редакциями, самиздатом и тамиздатом. Выяснилось, однако, их коренное несогласие: «Аля считала, что надо на родине жить и умереть при любом повороте событий, а я, по-лагерному: нехай умирает, кто дурней, а я хочу при жизни напечататься». Ещё раньше Аля поражалась, когда он убеждал её, будто разить Голиафа лагерным знанием лучше *оттуда*, ибо никакое слово не будет искажено или утаено. Этой логики она принять не могла — напротив, считала, что слова, исходящие *оттуда,* будут *здесь* оболганы или отшиблены. А. И. в тот момент поразился встречно, но год спустя уже и призадумался. Будто в насмешку, тогда же, находясь в Англии и собирая материалы для книги о Ленине, попросил политического убежища Анатолий Кузнецов, и на Пинеге по радио А. И. вместе с Алей слушал комментарии: кто он, беглец, — герой? изменник? трус, выбравший лёгкий жребий? (западные газеты вскоре напишут, что Солженицын преследуется, но, в отличие от Кузнецова, не убегает...).

Что-то менялось в королевстве датском: упекли человека в тюрьму — *там* скандал. Выдавили за бугор — *там* тишина... Думать об этом всерьёз было как раз ко времени. Поч-

ти случайно А. И. узнал о повестке дня собрания рязанского СП, назначенного на 20 августа: «Перевыборы. Распределение квартир. Исключение Солженицына из Союза писателей». Дело, однако, затормозила телеграмма: «Решением секретариата правления собрание переносится на конец октября». Рязанское отделение, состоящее из семи членов, ни о чём не догадалось, но ларчик открывался просто: каждый четвёртый четверг октября в Стокгольме объявляли лауреата по литературе. Только этого и боялись в Москве, трезво оценивая шансы Солженицына (хотя к кандидатам на премию относили и Набокова, и Бёлля). Исключать из писательского союза нобелевского лауреата было бы слишком скандально, всё же не 1958 год. Когда лауреатом стал ирландец Сэмюел Беккет с его театром абсурда, спектакль исключения стартовал и в Рязани. Предчувствуя неладное, Сафонов и раньше говорил, что всю процедуру покатят через него. Так и случилось: в конце октября его спешно вызвали в Москву.

Как-то летом Ростропович, зазвав А. И. в Жуковку, показал флигель (две комнаты, кухня, ванная, необходимая обстановка), который предназначил для друга. «Пусть кто-нибудь только посмеет прикоснуться к тебе в моём доме!» — грозил Мстислав Леопольдович (Стива, Слава), глядя на Саню восторженными глазами и называя его «моё солнце» и «моё счастье». Флигель окрестили «Сеславино» (се-Славино), запустили туда кота, внесли хлеб-соль (А. И. и нёс), окропили углы святой водой, обмыли новоселье токайским вином. В конце августа Ростропович приезжал в Рождество с твёрдым намерением перевезти А. И. к себе. Вскоре А. И. с женой поселились у него во флигеле.

Роскошная осень в Сеславине омрачилась печальными известиями из Переделкина — болезнью и смертью Чуковского. Год назад Корней Иванович писал А. И. к юбилею (поздравление было найдено в бумагах покойного): «В дни Вашего праздника я был дьявольски болен... А хотелось написать большое письмо — длинное признание в любви. Сейчас мне полегчало, но длинное письмо ещё не под силу — поэтому я скажу в двух словах, как горжусь я нашей дружбой и как я радуюсь, что Вам всего только 50 лет». Чуковский умер 28 октября, не дожив нескольких дней до исключения Солженицына из СП. Узнав, что ритуал прощания пройдёт в ЦДЛ, А. И. писал дочери и внучке Чуковским: «Почувствовал, что нет моих сил там присутствовать, просто страшно умирать неопальным. Простите же мой неприезд! Хочу надеяться, что и Корней Иванович со

своим острым чувством красивого и безобразного меня бы тоже простил. Я с вами душевно. Понимаю ваше горе и внезапную пустоту. Корней Иванович так свежо держался, что уже казался вечным и как бы занимал престол литературного патриарха — а кто же другой? Мне он много и бесстрашно помог в самые тяжёлые для меня месяцы...»

Чуковский помог Солженицыну и перед кончиной, оставив ему три тысячи рублей. «После гонораров за “Ивана Денисовича”, — признается А. И. в марте 1972 года в интервью двум американским газетам, — у меня не было существенных заработков, только ещё деньги, оставленные мне покойным К. И. Чуковским, теперь и они подходят к концу. На первые я жил шесть лет, на вторые — три года». Лакшин писал в те дни: «Не хотели, чтобы выступали на похоронах Солженицын, Балтер, Копелев и я. Эти фамилии Ильин (секретарь Московского отделения СП. — *Л. С.*) прямо назвал нежелательными».

Как раз 31 октября, в день похорон Чуковского, Сафонов был вызван в Москву, на заседание секретариата СП РСФСР, где присутствовал инструктор ЦК. В течение четырех часов Сафонова обрабатывали, чтобы, не откладывая, он провёл собрание по исключению Солженицына. «Вопрос решен независимо от того, как вы лично или даже вся ваша организация поступят», — заявила дама из ЦК. Вернувшись в Рязань, Сафонов лёг в больницу с аппендицитом.

В одиннадцать часов утра 4 ноября к А. И. на рязанскую квартиру (он уехал из Жуковки от дурной погоды, и нужна была читальня) прибежала секретарша из СП: на три часа назначено заседание на тему «Информация секретаря СП РСФСР Таурина о решении секретариата СП РСФСР “О мерах усиления идейно-воспитательной работы среди писателей”». Бумага насторожила. И точно. Когда, отодвинув в досаде «Август», он погрузился в старую папку «Я и ССП», в Рязанском обкоме партии уже шла генеральная репетиция: писателей вызывали по одному, обрабатывали, с каждого взяли обязательство голосовать за исключение Солженицына. Пытались вырвать согласие у Сафонова, в больничной палате. Тот отказался (и лишился поста, и много лет носил партийный выговор за неподчинение дисциплине). Почтил собрание секретарь обкома по идеологии Кожевников. До сих пор А. И. уклонялся от встречи с ним — теперь обкомовец ликовал. Все пятеро (положенных две трети), поддетые на крючок квартирных ордеров и партвзысканий, выступали с осуждением: не вёл работы и оторвался от организации... пишет чёрными красками и пятнает светлое будущее...

не отмежевался от наших врагов... сам себя изолировал... мы не можем мириться... По итогам полуторачасового обсуждения все пятеро покорно проголосовали: «За антиобщественное поведение, противоречащее целям и задачам СП СССР, за грубое нарушение всех положений устава СП СССР исключить *литератора* Солженицына из членов СП СССР. Просим секретариат утвердить это решение». Исключили не те, кто принимал; протокол не вёлся, стенографистки не приглашались.

Первый звонок был Але. Не застал («в последний раз она платила дань своему юному обычаю, полетела с друзьями на Кавказ, покататься на лыжах»). Затем — в журнал, на «первый этаж»: от Аси Берзер и выпорхнула весть. «Мы сидели как пришибленные, — писал Лакшин. — Надо что-то делать, а сразу не сообразишь. Но в сущности — это катастрофа. Требуют, чтоб он завтра же ехал в Москву “исключаться”. Он переложил на после праздников». Солженицын и в самом деле не поехал в Москву, а сел описывать случившееся («Изложение»). Когда утром 5 ноября проснулся и включил радио, услышал в кратких известиях «Голоса Америки» главную новость выпуска: «По частным сведениям из Москвы, вчера в Рязани, в своём родном городе, исключён из писательской организации Александр Солженицын». Спустя четыре часа они же дали опровержение: «На наш запрос представители Рязанского отделения СП ответили, что сообщение об исключении Солженицына неверно».

В сквере напротив дома стоял затемнённый грузовик с рязанскими номерами, уже однажды замеченный на слежке.

Только через два дня А. И. станет известно, что секретариат СП РСФСР утвердил исключение мгновенно, 5 ноября. «Когда узнал — заходил во мне гнев, и сами высекались такие злые строки, каких я ещё не швырял союзу советских писателей». Ростропович скажет вскоре: «Ну и хорошо. Зачем тебе быть вместе с этими подонками?! Это всё равно, как если бы меня забраковала рязанская филармония!» Переждав праздники, А. И. поехал в Москву. «Ещё не думал, что это — навсегда. Что жить мне в Рязани уже не судьба, исключеньем закрыли, забили мне крест-накрест Рязань». Когда 11 ноября прямо с поезда он пришёл в редакцию «Нового мира», там уже прочли «Изложение». «Это дьявол, — говорил Твардовский. — Он записал всё точно и с такой силой, что одного этого документа вполне достаточно, чтобы перерешить дело и восстановить его в Союзе».

В те дни А. Т. писал в рабочей тетради: «Вот оно то самое, которое. Оно подбиралось потихоньку, давно, было “запро-

граммировано" в мире чиновников, не ведающих или хорошо ведающих, что творят». И ещё одна сокрушительная запись — о равнодушии, лицемерии... «"Ах, ужасно" и через фразу — о другом, не менее интересном, житейском, пустячном. Тотально». Внушал Солженицыну: «Лицемеры вздыхают о вашем исключении и тут же переходят на другие темы. Я верю, что вы не позу занимаете, когда говорите, что готовы к смерти. Но ведь — бесполезно. Ничего не сдвинете».

Они говорили наедине, сердечно, на равных, как друзья — впервые за всё время, так казалось Солженицыну. Его беду Твардовский принял как свою, твёрдо зная, что никогда, что бы ни случилось, он не изменит своей оценки таланта А. И. («Партия его не считает талантливым», — говорила московская партийная функционерша). Но показать Твардовскому «Открытое письмо», нож для «вурдалачьей стаи», А. И. не посмел: ведь не даст, удержит, запретит. Только сказал, прощаясь: «Если вынудят меня на какие-нибудь резкие шаги — вы не принимайте близко к сердцу. Вы отвечайте им, что головы своей за меня не ставили, я вам не сын родной!» И повторил, убегая, Лакшину: «Я вынужден отвечать ударом на удар. С лагерными уголовниками, с урками, можно поступать только так, я это знаю, иначе забьют». Можаев, встреченный возле редакции (А. И. тайком показал ему текст), пытался, испугавшись за друга, отговаривать: нельзя посылать такое письмо, нельзя рубить канаты, сжигать корабли, лучше формально обжаловать. И только Аля... «Сразу же из "Нового мира" пошёл к ней, хотя и вёл за собой трёх *топтунов*. Она уже вернулась. "Читала?" (то есть в газете, про моё исключение). — "Читала". — "И что по-твоему?" — проверял я себя и её. "Надо вдарить!" — не сомневалась она. "А вот!" — достал я готовый свой ответ. Порывы к бою у нас всегда сходились».

Как только секретариат объявил решение, А. И., вписав дату, 12 ноября 1969 года, без колебаний «Открытое письмо» разослал. «Бесстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно, пожарным порядком... Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжёлые занавеси! Вы даже не подозреваете, что на дворе уже светает... Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредёте в сторону, противоположную той, которую объявили... *Гласность*, честная и полная *гласность* — вот первое условие всякого здоровья общества...»

Однако часы Солженицына, как окажется, сильно опережали время. «Открытое письмо», шедевр политической публицистики XX века, было воспринято в СП с ужасом и него-

дованием. Одни радовались — «правильно исключили». Другие лицемерно сокрушались — помешал братьям-писателям заступиться, отпугнул резкостью. Третьи были потрясены: «измена, нож в спину». Передавая экземпляр в редакцию, А. И. писал Лакшину и Хитрову (ответственному секретарю): «Владимир Яковлевич, Михаил Николаевич! *Очень* прошу вас: преподнесите прилагаемое мое “Открытое письмо” Трифонычу как можно мягче и со всеми нужными предосторожностями, чтобы он не рассердился. Объясните, что: 1) мое молчание только хуже и делает беззащитным, а это письмо, как ни парадоксально, — укрепляет; 2) вижу свою задачу в том, чтобы сменить *общий воздух*. Надеюсь достичь, даже если пострадаю. Крепко жму руки! Ваш А. Солженицын».

Смягчить Твардовского не удалось. «Передавали из рук в руки новое письмо Солженицына. У Трифоныча глаза белые от ярости и обиды... Это — бунт. Трифоныч в отчаянии клеймит его за неблагородство. Ни слова не сказал вчера, всё берёт на себя, ни в чём не советуется и всё губит» (Лакшин). «Это антисоветская листовка!» — гремел Твардовский в телефонном звонке В. Туркиной, невольной ответчице (самого А. И. нигде не нашли, хотя искали, вызывали, требовали). Вероника дерзнула сказать Трифонычу: «Разве то, что написал А. И., неправда?» («Это ложь, ложь!!» — кричал Твардовский.) «Было буйство в редакции, — рассказывал «первый этаж». — [Твардовский] стулья ломал, кричал: “Предатель!! Погуби-и-ил!!!”» (но через час говорил Лакшину, что, может, зря сказал про предательство). «Отблагодарил! За всё, за всё отблагодарил нас, коварно, явочным порядком, не удостоил нас предупредить, не то что посоветоваться. Это — конец. Но не тот, какого мы ждали в горделивом сознании своей правоты и жертвенного назначения. Всё — прахом, — записывал Твардовский в те дни. — Но остаётся один итог: подло, хоть ты и будь гений. Но “гений и злодейство — вещи несовместные”. Спутать друзей и врагов — и за одну скобку. Лишить начисто нас возможности не то что защищать его, но даже лишить нас гордости, заставить “признать”». «Я начал читать, — писал и Кондратович, — бог знает что такое... Видимые с лёта глупости, мелкое язвление, остроумие (со льдами Антарктиды) и злость, злоба, ненависть...»

Здесь и была роковая линия, по которой проходил и дошёл до конца главный культурный раскол конца 1960-х: Солженицын — «Новый мир». Писатель, освобождаясь от оков системы, каждый свой поступок сверял с историей: не стыдно ли будет через двадцать лет? (Твардовский сиял, узнав

от А. И., что за изданные на Западе романы тот не взял от издателей ни копейки, по советской заповеди: если свои не платят, умри, как патриот, а у чужих не бери.) Журнал, задыхаясь от несвободы, терпя унижения и невольно продлевая агонию, жил минутой: конечно, нас разгонят, но ещё не сегодня. Пройдёт несколько дней, и Солженицын, поселившись у Ростроповича в исцеляющей тишине, напишет Твардовскому, которого жалел, любил и называл «большим ребёнком», подробное письмо, где попытается объяснить, что воспринимает свою жизнь как постепенный подъём с колен, как переход от немоты к свободному голосу. Обращение к съезду, как и письмо в СП, скажет он Трифонычу, было моментом *высокого наслаждения, освобождения души*. Письмо к тому же должно иметь содержание, выходящее за рамки личной судьбы, и такой уровень мысли, чтоб он не устарел через год-два-три, едва освежится обстановка. То, что сейчас кажется страшным, завтра может показаться туманным, а послезавтра робким. Советы А. Т. диктуются навыками *другой* эпохи. «Мои же навыки — каторжанские, лагерные. Без рисовки скажу, что русской литературе я принадлежу и обязан НЕ БОЛЬШЕ, чем русской каторге, я воспитался ТАМ, и это навсегда». «Дорогой мой Александр Трифонович! Прошу Вас беспристрастно вчитаться в эти аргументы, смягчиться и не сердиться. Люблю Вас, и Вы меня любите, и зачем нам осыпать друг друга упрёками? Я НЕ МОГ иначе, меня нельзя было остановить! А сейчас на душе — легко, сознание выполненного долга. А что трудно обо мне "хлопотать" — так это СОВСЕМ НЕ НАДО, не то время уже... Я бодро смотрю вперёд. Обнимаю Вас крепко. Всегда Ваш...» А. И. был с ним откровенен как со своим «Дневником»: «*12 ноября*. Сегодня — поворотный день для меня. Но вот странно: от момента подачи письма на почту и в Самиздат наступил не просто покой, но весёлость! Я так развеселился, как будто никакой угрозы нет надо мной, а одержана победа. Такова сила: правоты, выполненного долга, высказанного слова. Внутри — чистота, храм. Пришли бы арестовывать — пошёл бы с усмешкой».

А в секретариат, к Воронкову, шли писатели с протестами против исключения Солженицына — Можаев, Бакланов, Трифонов, Окуджава, Антонов, Войнович, Тендряков, Максимов (потом их станут вызывать в ЦК, запугивать, лгать, будто остальные уже отреклись). Воронков радовался тому, что писатели *идут, а не пишут*. Но вот уже и написали: Л. Копелев, Л. Чуковская, Ж. Медведев, Т. Литвинова, И. Грекова, К. Богатырёв. А потом был протест правления

Национального комитета писателей Франции, и письмо на имя Федина от правления Международного ПЕН-клуба, и письмо в «Таймс» тридцати европейских писателей, и открытое письмо в СП СССР от тридцати девяти своих, и обращение Бертрана Рассела к Косыгину, и ещё, и ещё... Читать «вурдалачьей стае» («сурковой массе»), что Солженицын «повсеместно считается классиком» (Артур Миллер), что исключение его «абсурдный шаг» (Альберто Моравиа) и монументальная ошибка (Жан Поль Сартр, Луи Арагон, Эльза Триоле), что обрекать его на молчание — это преступление против цивилизации (громкие подписи), вряд ли нравилось тем, кто его исключал...

У *стаи* были, однако, свои списки.

«Решение об исключении А. Солженицына из Союза писателей СССР активно поддерживается авторитетными литераторами страны», — писал в ЦК Шауро, называя Федина, Чаковского, Суркова, Полевого, Кожевникова и других правоверных. «Поднятая буржуазной пропагандой антисоветская шумиха в связи с исключением А. Солженицына из Союза писателей СССР вызвала справедливое возмущение многих советских писателей», — вторил Мелентьев, перечисляя свои фамилии: Леонов, Тихонов, Наровчатов... «Сам факт исключения А. Солженицына из Союза писателей СССР одобряется большинством московских писателей», — не отставал и московский секретарь Гришин, с неудовольствием указывая на досадные исключения: Можаев, Тендряков, Арбузов, Евтушенко, Копелев, Чуковская.

Постепенно Твардовский смягчался. 2 декабря ностальгически писал об А. И.: «Он был единственным среди нас со своим *неповиновением,* и когда мы его уступили, уступили все. Ему не простили, что впервые, придя *оттуда*, рассказал, что *там* есть, скольким из нас было невдомёк, что это “концы”. Безумие его “Открытого письма” не в счет...» Само понятие «антисоветский» А. Т. подвергал теперь честному политическому анализу. «Перечитал “Ивана Денисовича” и — ахнул. Это таки законченно антисоветская вещь, с точки зрения времён, породивших её и возвращающихся вспять (два лагеря, две системы, два мира, два вероисповедания — охрана и заключенные)». Остыв от гнева, Трифоныч пытался внушить начальству, что «Открытое письмо» исторгнуто как «вопль затравленного», как «крик смертельно израненного и обезумевшего от боли существа». С отвращением наблюдал Твардовский, как писательская стая освобождается и от Солженицына, и от своих остаточных угрызений совести. «Речь не о Федине, Шолохове, Леонове — тут и не без чёрной за-

висти, но о тех, что кинулись было отстаивать его и должны были отпрянуть не без того же чувства освобождения... То же, что у многих других, — освобождение, радость, что он “оказался”, “выявился” — так ему и надо». И такая запись: «Один Михалков развернулся во всю свою подлость, да Марков отчеканил одиознейшую фразу насчет зрелости “даже такой маленькой организации, как Рязанская, давшей оценку и исключившей Солженицына из СП”». И горькое признание от 20 декабря: «Значит, *и я* продолжаю жить в литературе, в Союзе писателей, исключившем из своих рядов крупнейшего, м. б., самого крупного писателя».

Вечером 24 ноября, после десятидневного сидения в Сеславине, А. И. был на концерте Ростроповича в Большом зале консерватории. Гонимого, его окружали, приветствовали. Через неделю по «Свободе» передали манифест Европейского объединения писателей с двумя тысячами членов: если не прекратятся преследования Солженицына, то они порвут все отношения с СП СССР. Можно исключить Солженицына из Союза писателей, но — не из русской литературы. Власти отвечали: это дело внутреннего характера, не потерпим вмешательства, не позволим клеветать. 25-го «Голос Америки» передал заявление правления СП РСФСР: «Никто не намеревается задерживать Солженицына, если он захочет отправиться туда, где будут с энтузиазмом приветствовать его и его антисоветские произведения». Запад ответил немедленно — писатель такого масштаба повсюду был бы принят радушно. Норвежские художники просили своё правительство предоставить А. И. политическое убежище и — пустующий дом недавно умершего национального поэта: пусть Солженицын поставит свой письменный стол в Норвегии! Теми же днями «ЛГ» *предложила* А. И. уехать из страны. «Мне сегодняшнему — *предлагать*?» В ответ он пустил в устный самиздат *mot*: «Разрешают мне из родного дома уехать, благодетели! А я им *разрешаю* ехать в Китай».

В ту осень над головой Солженицына клубились тучи. На закрытых собраниях заявляли: «Пусть убирается за границу!» «Уже был приказ посылать наряд милиции — меня выселять, а я не знал ничего, спокойно погуливал по аллейкам». И двигался, летел на всех парах «Август». «Читал главы “Августа”, — записал Лакшин. — Романист такой, что руками развести, и похоже, что подбирается к главному, не только в романистике». Читал и Твардовский, с тем же впечатлением. Ко дню рождения снова пришло много телеграмм и писем. На концерте Шостаковича в Большом зале консерватории, в антракте, к А. И. не боялись подходить люди, благодарить

«за всё», просить автограф. И сам он, несмотря на тучи и мрак, каким-то своим особым зрением видел намёк на рассвет. Ростропович не уставал повторять, что Бог послал ему счастье в дом — живого гения. В новогоднюю ночь в тесном кружке А. И. приветствовал Стиву, говоря, что видит в наступающем времени «светлый день России».

Однако главный итог и счастье конца шестидесятых заключались, кажется, не в славе, не в известности и не в том, что он зашвырнул в СП «Открытое письмо». Счастье его таилось пока от людских глаз. «Ладушка, любимая! — писал он той осенью Але. — Даже непривычно это мне: как часто, сколько раз на день, черезо всю работу, через все мысли пробивается мысль о другом человеке, всё об одном — о тебе, о тебе! Снова хочется быть вместе — чаще, чем задумано, чем возможно. А больше всего хочется, чтоб выплавился из нашей близости — он, третий... Просто даже другого пути в жизни как будто не осталось — обязательно чтоб так!.. Всё сердце — к тебе! Такое счастье, что ты у меня есть». Их связывало чувство, которое было никак не меньше самиздата, хотя с ним (и с хранениями) Аля справлялась отменно. А ещё помогла, через Лизу Маркштейн, свою знакомую, найти адвоката в Швейцарии и заняться передачей дел. «Неслышно, невидимо моё литературное дело превращалось в фортификацию».

Несомненность и неутолимость их любви, связь, крепнущая от встречи к встрече, жажда быть вместе сопрягались с растущей тревогой — что дальше? Как-то в январе, когда жена отправилась навестить мать и тётушек, А. И. прислал ей письмо, мягко убеждая «подержаться месяцок в Рязани», чтобы он мог ощутить реальный сдвиг в работе. Такие просьбы повторялись всё чаще. Надя Левитская, жившая той (и следующей) зимой в Жуковке, вместе с Аничковой, в качестве сторожих дачи и «пастухов» ньюфаундленда Кузи, вспоминала, как на весь день приходила Наталья Алексеевна из флигеля, где обитал муж, в большой дом, «чтоб не мешать ему работать». «Иногда Н. А. играет на рояле, а то лежит, уткнувшись носом в стенку дивана, и плачет. Уже в эту зиму стремился А. И. на подольше отправлять её в Рязань».

Шестилетний разлад двигался к неизбежному финалу, но должно было случиться нечто, что ускорило ход событий...

«Ладуня моя ненаглядная, — писал Солженицын Але в марте 1970-го. — За спехом деловых разговоров всё не остаётся времени выразить тебе, остаётся писать письмо: представляешь ли ты, как ты постоянно присутствуешь со мной, близ меня? Ложусь ли, встаю, ночью ли проснусь — никог-

да не минует мысль тебя. И на дню по многу раз обращаюсь к тебе, делюсь тем, что в работе возникает и по другому разному, всё время — ноющая нехватка тебя, два дня разлуки уже кажется много. И удивительно, как это в жизнь вошло незаметно, с первого взгляда не угаданно. А сейчас *впервые в жизни* у меня такое ощущение: из всех земных людей невероятной близости тебя, изо всех когда-либо встреченных мужчин или женщин; твои поступки, ход мыслей — такие, как я бы придумал, как я бы хотел, чтобы были, а они сами такие возникают. И если б можно было так, чтоб жили мы с тобой неразлучно, неотрывно — кажется, приобрела бы жизнь цельность и полноту по самый верхний край».

Летом А. И. получил от Али долгожданную, вымоленную весть. Минувший год надежда стать отцом то радостно вспыхивала, то гасла, и он сокрушённо винил в этом себя, только себя, умоляя её не ненавидеть своё «пустое тело». Вспоминает В. Туркина: «А тут Санечка узнал, что у него будет ребёнок. И хотя Аленька говорила, что об этом не узнает ни одна душа, что она сама будет растить дитя, что она не хочет, чтобы это послужило причиной окончательного разрыва Сани с Наташей — он твёрдо стоял на своём: он отец, ребёнок будет записан на его имя и как бы тяжело это ни было, с этого момента всё меняется».

«Шесть последних лет я сносил глубокий пропастный семейный разлад и всё откладывал какое-нибудь его решение — всякий раз в нехватке времени для окончания работы», — напишет А. И. в «Телёнке». Драматическое объяснение с женой происходило в августе, поэтапно. Он предлагал расстаться, жить врозь, повторял, что любовь прошла, отсохла, как ветка. Потом открылся, что после 1964 года у него были и другие увлечения. Отвечая, Н. А. оставила на столе у Стивы «взрыв беспорядочных записей». Кроме обвинений, обличений, цитат о тайнах супружества из Р. Нойберта, звучало требование исключить из «донжуанских планов» рязанских представительниц, обеспечить прожиточный минимум, комнату и прописку в Москве. «Отныне ты умер для меня. Я получила то преимущество, которого мне не хватало для писания мемуаров!!! Ты ещё не узнал одного — как обманутая женщина умеет мстить!»*

---

* А. М. Гарасёва, помогавшая А. И. Солженицыну в период его работы в Рязани над «Архипелагом» и близко знавшая его семью, вспоминала: «У А. И. уже давно были нелады с женой, и Мария Константиновна как-то сказала мне, что они обязательно разойдутся, уж очень разные люди он и Наталья Алексеевна, всё время у них ссоры. В нём

27 августа А. И. написал ей «главное письмо», где открылся до конца. «Вот событие, которого дальше скрывать нельзя или не так долго можно было бы скрывать: у меня будет *ребёнок*... Сразу не прими ложную линию: да возможно ли? да уверен ли я? что он мой? да не обманывают ли меня? *Нет*. Ещё до того, как он зародился, я проводил специальный анализ и сам с удивлением убедился, что у меня никаких противопоказаний нет, что всегда был возможен у меня ребёнок — и только стечением обстоятельств или Божьей волей было, что никогда не было...» Он просил её поверить, что при всей сложности ситуации рассматривает будущего ребёнка только как радость, как надежду, и, конечно, не станет его прятать и делать тайны из своего отцовства. Он также просил не думать дурно о матери его ребёнка. «Она не случайный человек в моей жизни... Не придумывай на неё, что она хочет меня от тебя оторвать, забрать меня непременно к себе, — нет. Она отлично понимает, как ты мне родна и что значит десятилетиями сплетённые жизни. Она *очень* хотела от меня ребёнка, но она так сознательно и шла — только чтобы иметь, без дальнейших претензий и прав». Он призывал жену не зачёркивать прожитые годы, говорил, что она имеет полное право создавать свои мемуары и, если захочет, сможет принимать участие в его жизни: «И да не испортим прошлого недостойным поведением сейчас!»

Письмо было отдано Веронике. «Через несколько дней пришла Наташа, я передала ей письмо. Она читала в комнате, мы с Юрой сидели, обмерев, в кухне, дети уже спали. Наконец на пороге появилась Наташа с письмом, которое тут же порвала на мелкие кусочки и с криком: “Все вы, бабы, тут с ним...” — пошла грудью на меня. Юра не выдержал: “Как ты смеешь!” — я в первый раз видела его таким. Сестрица утихла и стала подбирать клочки».

Писала о случившемся и Решетовская: «Совершенно потрясённая, узнала я, что у какой-то женщины от него родится ребёнок... А. И. старался рассеять мое отчаяние, уверяя, что у нас сложатся необыкновенные отношения, жизнь в чём-то станет ещё лучше для нас всех! Однако вскоре потребовал от меня “разорвать бумажку”, которая связывала нас. Он опасался, что если поедет за ожидаемой Нобелевской

М. К. просто души не чаяла. Она любила его гораздо больше, чем свою дочь, считала его “человеком высокого полёта” и чрезвычайно высоких горизонтов и, наоборот, всегда говорила об узости взглядов и интересов, об эгоистичности и ограниченности своей дочери, её обидчивости и мнительности».

премией, то могут не разрешить вернуться, и тогда не увидит своего ребёнка. Само его рождение казалось А. И. в то время едва ли не значительней Нобелевской премии».

Вот это была чистая правда. Радостное ожидание первенца, страх разлуки с ним и его матерью были той осенью в жизни А. И. самым сильным чувством. 5 октября будущие родители: отец, Солженицын Александр Исаевич, и мать, Светлова Наталья Дмитриевна, написали совместное заявление в загс по месту её прописки (у А. И. прописки в Москве никогда не было и до высылки не будет) с просьбой внести сведения об отце в запись о рождении ребёнка, который должен родиться в феврале 1971 года. «Просим указать отчество ребёнка по имени отца и присвоить фамилию отца». Это была охранная грамота и для отца, и для будущего младенца — на случай непредвиденных обстоятельств.

А «угроза» Нобелевской премии была близка как никогда и нарастала от месяца к месяцу. В январе роман «В круге первом» был назван Грэмом Грином лучшей книгой года. 3 февраля «Голос Америки» сообщил, что английские и норвежские писатели выдвигают Солженицына на соискание Нобелевской премии. 1 апреля посетивший Москву Генрих Бёлль сказал Твардовскому, что Солженицын — самая вероятная, даже единственная кандидатура на Нобелевскую премию этого года (говорили, будто Бёлль, вероятный лауреат 1970 года, снял в пользу Солженицына свою кандидатуру). 3 июня генеральный секретарь французского общества «Ар э'Прогрэ» Тереза Баскен направила письмо Михалкову с предложением подписаться под коллективным обращением (через четыре месяца «Литературная газета» попытается уличить её в скупке русских икон), но автор «Дяди Стёпы» ответил крайне резко: «Лично я считаю эту инициативу ничем иным, как очередной политической провокацией, направленной против советской литературы и ничего не имеющей общего с подлинной заботой о развитии литературы». В двадцатых числах июля стало известно, что большая группа французских писателей, учёных и деятелей искусства во главе с Франсуа Мориаком предложила дать Нобелевскую премию по литературе Александру Солженицыну за повесть «Один день Ивана Денисовича». В комментариях говорилось, что Солженицын — величайший писатель современности, равный Достоевскому, к тому же обладает огромным мужеством, и это второй несомненный повод для его выдвижения.

Многоголосое, упорное выдвижение Солженицына на Нобелевскую премию западной литературной общественностью сулило успех и — громкий скандал.

Глава пятая

NOBELIANA. МИННЫЕ ПОЛЯ, СМЕРТЕЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ

Петля, которую долго затягивали на горле «Нового мира», додушила его в феврале 1970-го. История поучительно повторилась: сочинение новомирского автора, запрещённое к печати дома, выпорхнуло за рубежом, во «враждебном» издании. Только на этот раз речь шла не о беспартийном Солженицыне («живущем по своему плану»), не о «Раковом корпусе» и эмигрантских «Гранях», а о секретаре СП Твардовском, его поэме «По праву памяти» (запрещённой без обсуждения и без объяснения со стороны цензуры) и родственном «Граням» журнале «Посев». «Потрясён, обескуражен, удручён был А. Т., — вот уж не хотел! вот уж не ведал! вот уж не посылал! да даже и не распускал!» («Телёнок»). Но, совершив плагиат, история с поэмой и дальше двигалась по отработанной схеме: от А. Т., как прежде от его «неуправляемого» автора, требовали публичных покаяний и отречений.

«Может ли писатель редактировать журнал, где он лишён возможности напечатать собственную вещь?.. — сетовал Твардовский. — Что — я, кто — я? Главный редактор “Нового мира” или автор опубликованной в зарубежных изданиях поэмы?» Совесть Твардовского была чиста; он стучался и к Федину, и к Воронкову, настаивая на обсуждении поэмы, но натыкался на глухую стену: ему раздражённо твердили, чтобы, не упоминая о цензурных санкциях, он *сначала выразил своё отношение*, дал врагу по зубам. «Хорошо, я выражу своё отношение, а завтра что?» — спорил он. «Никакой секретариат не будет обсуждать поэму, напечатанную в “Посеве”», — отвечали ему. Это была ловушка: попытки добиться публикации поэмы дома на языке Федина значили «поставить Союз писателей на колени». «Так это же получается — как с Солженицыным! — ужасался Твардовский. — Я как Солженицын, та же модель, ультиматум...»

С Твардовским, однако, всё обстояло много хуже. Исключённому из СП Солженицыну «вурдалачья стая» яростно кричала вслед: «Ежели ему не угодно, может отправиться туда, где его печатают и превозносят!» Не обращая внимания на «гавканье» (как смачно выражался А. И.), караван лишь набирал скорость. Твардовский же, причисленный Западом к «наиболее беспокойным интеллигентам» и «важнейшим фигурам оттепели», был связан по рукам и ногам: «Новый мир» был самой удобной мишенью. По ней и

ударили — уволив пятерых сотрудников («беспрецедентное ущемление прав главного редактора, носящее оскорбительный характер, прямое понуждение к отставке»), без промедления приняли и саму отставку, наплевав на письма и телеграммы в защиту журнала, руководимого «национальным поэтом России».

«Тут какая-то мистика в датах, — говорил Солженицын Трифонычу, придя в редакцию 10 февраля 1970 года, когда решение по журналу уже состоялось. — Вчера был день моего ареста, даже 25-летие — (Да покрупней: 9 февраля нового стиля умер Достоевский). Сегодня — день смерти Пушкина, и тоже столетие с третью — (А завтра, 11-го, разорвут Грибоедова). — И в эти же дни вас разгромили». 11-го, на совещании в КОМЕС, Твардовский подпишет продиктованное ему заявление об уходе с должности вице-председателя. Накануне, 7 февраля, А. И. записал в дневнике: «Если б можно было после моей фамилии поставить (1918—1985), да прошли б эти годы в здоровье и доступно для свободной работы — так *для себя* ничего у Бога больше и не прошу. Я бы тогда свою задачу выполнил, успел».

Прощание Твардовского с сотрудниками «Нового мира», обход всех комнат на трёх этажах («еле сдерживал слёзы, был потрясён, растроган, всем говорил хорошие слова, обнимал») Солженицын сравнит с прощанием Самсонова с войсками: как раз этот эпизод «Р-17» в разгромные февральские дни был у А. И. в работе. «Сходство этих сцен, а сразу и сильное сходство характеров открылось мне! — тот же психологический и национальный тип, те же внутреннее величие, крупность, чистота, — и практическая беспомощность, и непоспеванье за веком. Ещё и — аристократичность, естественная в Самсонове, противоречивая в Твардовском. Стал я себе объяснять Самсонова через Твардовского и наоборот — и лучше понял каждого из них».

Гибель «Нового мира», как её видел Солженицын, была лишена красоты, поскольку не содержала даже самой малой попытки публичной борьбы. «Уходящие члены редколлегии — не сопротивлялись, не боролись, оказали позорную сдачу, кроме Твардовского — и не пожертвовали ничем, шли на обеспеченные служебные места, — но ото всех остальных после себя ожесточённо требовали жертв: после нас выжженная земля! мы пали — не живите никто и вы!» Жизнь «Нового мира», державшаяся на компромиссах с цензурой, освещаемая только личностью Твардовского, теперь была обречена на прозябание. Солженицын и Твардовский, «придушенные одним сапогом», долго не встречались,

переживая катастрофу врозь. Первый — согласно принципу: без слабых союзников свободны руки одинокого. Второй — был исполнен горечи, иссушён обидой на всеобщее предательство: жизнь в изувеченном журнале пошла и без него, своим чередом; прежние авторы как ни в чём не бывало носили рукописи в прежние комнаты. В июне 1970-го А. И. поздравил Трифоныча с юбилеем и получил благодарный ответ; потом ещё писал, прося разрешения показать законченный «Август» (копия письма, полученная 5-м управлением КГБ «оперативным путем», была направлена Андропову), но Твардовский, охваченный недугом, не ответил... «Есть много способов убить поэта. Твардовского убили тем, что отняли “Новый мир”», — скажет Солженицын, когда Трифоныча не станет, в поминальный день...

Но было в 1970-м дело, в котором они, пусть и заочно, сошлись и сроднились ещё раз. Вечером 29 мая из своей квартиры в Обнинске был увезён в калужскую психиатрическую больницу для «экспертизы» и «наблюдения» Жорес Медведев (его работы об истории биологической дискуссии в СССР вызвали, оказывается, у врачей «сомнения в психическом здоровье учёного»). «Стыдно быть историческим романистом, когда душат людей на твоих глазах. Хорош бы я был автор “Архипелага”, если б о продолжении его сегодняшнем молчал дипломатично», — сказал себе Солженицын и пустил в самиздат письмо в защиту Медведева. До него успели высказаться академики (под телеграммой протеста против принудительной госпитализации подписался и Твардовский, вместе с Тендряковым навестивший Медведева в больнице), с открытым письмом к Брежневу обратился Сахаров. Но текст Солженицына («Вот так мы живём»), хоть и смягчённый многими редакциями, выходил из всех мыслимых рамок: «Захват свободомыслящих здоровых людей в сумасшедшие дома есть *духовное убийство*, это вариант *газовой камеры*, и даже более жестокий: мучения убиваемых злей и протяжней. Как и газовые камеры, эти преступления не забудутся *никогда*, и *все* причастные к ним будут судимы без срока давности, пожизненно и посмертно. И в беззакониях, и в злодеяниях надо же помнить предел, где человек переступает в людоеда!» Письмо Солженицына было написано 15 июня, 17-го Жореса выпустили, 20-го он был у А. И. в Рождестве, потрясённый своей дикой историей.

А время и впрямь было дикое, несусветное. В начале 1970-го Щёлоков, министр внутренних дел и приятель Брежнева, в порядке личного одолжения Ростроповичу прислал для А. И. подробную топографическую карту Восточ-

ной Пруссии из штаба МВД, охватывавшую весь район самсоновских действий. Летом же, не дожидаясь новых «выходок», власти решили выслать А. И. за границу. «Подготовили ведущие соцреалисты ходатайство к правительству об изгнании мерзавца Солженицына за рубежи нашей святой родины. Новой идеи тут не заключалось, но ход делу был дан формальный». Впрочем, машина не сработала: слишком очевидна была бы привязка к защите Медведева. Правда, спецпорученцы, бывая на посольских приёмах, подначивали западных деятелей пригласить Солженицына с лекциями и уверяли, что его непременно пустят, пустят...

В этот-то момент и прогремела инициатива Франсуа Мориака. «И опять у *наших* расстроилась вся игра: теперь высылать — получится в ответ Мориаку, глупо. А если премию дадут — за премию выгонять, опять глупо. И затеяли замысел: сперва премию задушить, а потом уже выслать». Писательская комиссия во главе с Симоновым, которая при первых слухах должна была мчаться в Стокгольм и душить премию, протянула всё лето, рассчитывая начать кампанию недели за две до четвёртого четверга. Только 1 октября из-под пера Шауро нарисовалась записка «О мерах по недопущению присуждения А. И. Солженицыну Нобелевской премии». Меры планировались следующие: а) распространение группового письма-протеста советской общественности; б) поездка во Францию директора ИМЛИ Б. Сучкова для спецконтактов с французскими литераторами; в) устное внушение совпосла в Стокгольме шведским властям; г) обращение совпосла во Франции к французским левым с просьбой о влиянии. А Бобков ещё пожелал, чтобы в советской печати появился специальный фельетон «об этой провокации».

Но пока заказывали фельетон и готовили вояж Сучкова в Париж, пока обрабатывали общественность, а совпослы примерялись к щекотливым поручениям, Нобелевский комитет взял да и объявил о присуждении премии на две недели раньше срока — 8 октября вместо 22-го. «Премия — свалилась, как снегом весёлым на голову!» В Жуковку с поздравлениями и вопросами дозвонился норвежский журналист Пер Хегге, и Солженицын чётко ответил: «Я признателен за награждение и принимаю эту награду. Я намереваюсь поехать и лично получить её, как полагается по традиции, если это будет зависеть от меня. Я здоров, и путешествие будет невредным для здоровья». То же и в телеграмме Шведской академии: «Вашу телеграмму получил, благодарю. В присуждении Нобелевской премии вижу дань русской лите-

ратуре и нашей трудной истории. К традиционному дню намерен приехать в Стокгольм для личного получения».

Никаких сомнений, что он поедет на церемонию, у него тогда не возникло, напротив: замысел сделать *всё не так*, как 12 лет назад сделал Пастернак, диктовал — непременно ехать! Только в дневнике (а позже и в «Телёнке») признается, что премия, при всей её значимости, выбила из рабочей колеи. «*8 октября.* Со стороны трудно поверить: главное чувство при объявлении Нобелевской: ах, раньше времени! Десяти дней не хватило на окончание Узла. И все поздравители, их взвинченность и попытки радоваться — постылы из-за этого. Да и чего, правда, радоваться? Шумят с рюмками, а я-то вижу — трагический рубеж. Развязка, верней — начало последнего этапа жизни... *9 октября.* Видит Бог: никакой щекотки честолюбия, никакого головокружения, гордости. Одно сознание: сошлись мостом Запад и Восток для какого-то важного-преважного дела, и мне его выполнить, угадать Божью волю. Всё».

Власти, раздосадованные известием, действовали с размахом. 9 октября было принято постановление Секретариата ЦК «О мерах в связи с провокационным актом...». Больше всего начальство раздражала премиальная формула: «За нравственную силу, с которой он продолжил извечную традицию русской литературы» (в ЦК перевод звучал в другой редакции: «*За ту этическую силу, с которой он развивает бесценные традиции русской литературы*»). Всем центральным газетам вменялось разъяснять, что присуждение носит не литературный, а политический характер. «Литературной газете» поручалось опубликовать памфлет, Комитету по телевидению и радиовещанию — подготовить и распространить «по соответствующим каналам необходимые пропагандистские материалы». Секретариат СП сожалел, что «Нобелевский комитет позволил вовлечь себя в “недостойную игру”». Главное управление по охране гостайн жаловалось, что публикации в компечати капстран носят в этой связи в «основном положительный характер».

Весь октябрь Лубянка собирала отклики иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве (получалось больше положительных), и высказывания представителей советской интеллигенции (больше негативных). Андропов, составлявший справку для ЦК, особенно дорожил мнением учёного секретаря ИМЛИ Ушакова и даже привёл его полностью: «Солженицын как политик от литературы добился всего: публикаций, известности, признания. Теперь он может даже умереть. Видимо, в ближайшем будущем подни-

мется шумиха в западной печати, которая неминуемо приобретёт антисоветскую окраску. И именно это обстоятельство обнажит политический характер решения Нобелевского комитета. Что касается Солженицына, то это враг. Я лично не могу себя убедить, что в своё время он случайно попал в лагерь, откуда его не надо было и выпускать». Подобную позицию в ГБ, конечно, приветствовали, но — вынуждены были учитывать и таких, как академик Колмогоров (ему так и не позволили взять на работу в свою лабораторию Н. Светлову*): «Солженицыну присудили Нобелевскую премию за 1970 г. Хорошо, что дали; он этого заслуживает. Интересно, пустят ли его за границу получать премию?»

Это был хороший вопрос. К 10 октября мнение лауреата на сей счет органы уже знали: он поедет в Швецию только в том случае, если ему будет гарантирована обратная въездная виза. Но прежде чем определиться («пускать — не пускать»), нужно было продолжить сбор информации «о реагировании». Лубянку утешало, что отношение писателей, художников, композиторов и артистов «в основном неодобрительно», но беспокоило другое. Даже и лояльные властям творческие личности открыто говорили о трудностях положения: во-первых, Солженицын получил премию за произведения, опубликованные в СССР; во-вторых, после Шолохова нельзя ссылаться на реакционный характер премии и на то, что её «превратили в огнестрельное оружие бизнесмены и политиканы». Тем более «вызывали озабоченность» высказывания, будто «невозможно не разрешить Солженицыну выезд в Швецию — это создаст для западной пропаганды постоянную “горячую точку”». Что уж говорить об «отдельных» писателях, кто воспринял новость «с удовлетворением» — Нагибине, Залыгине, Тендрякове! «Вопреки всем провокациям Фединых, Соболевых, Михалковых русская литература ещё раз получила всемирное признание... Весть о всемирном признании писательского и нравственного подвига Солженицына была воспринята с ликованием и счастьем», — писали Вера Панова и её муж Давид Дар.

Конечно, «советская литературная общественность в подавляющем своём большинстве» расценивала присуждение

---

* Всего пять месяцев удастся удержаться Светловой и в Институте международного рабочего движения, куда она устроилась в октябре 1970-го. Директор института Т. Тимофеев, «едва узнав, что работающий у него математик — моя жена, так перетрусил, что с непристойной поспешностью вынудил её увольнение, хотя это было почти тотчас после родов и вопреки всякому закону» («Телёнок»). Будет исключена из партии и уволена с работы и её мать Е. Ф. Светлова.

Солженицыну премии как акт холодной войны и как политическую провокацию. Федин, Михалков, Тихонов, Кожевников, Сурков, Грибачёв, Наровчатов, Рекемчук и многие другие, не попавшие в сводки ЦК, твёрдо держались официальной линии, то есть гневались. Но вот Антокольский взял и заявил, что рад присуждению Нобелевской премии «хорошему русскому писателю». Марков сокрушённо докладывал, что в СП и в «ЛГ» получено 14 (!) поздравительных телеграмм на имя Солженицына (правда, восемь из них анонимные, а шесть подписаны неизвестными именами и не имеют обратного адреса). В русле «подавляющего большинства» торопились высказаться многие люди искусства, и каждый утверждал, что в их творческих цехах дружно осуждается решение Нобелевского комитета. В общем, ЦК был доволен: кампания по дискредитации лауреата была доказательно поддержана творческой интеллигенцией страны.

В те октябрьские дни А. И. писал Твардовскому: «О моих новостях (8 октября) Вы знаете. Сожалею, что опять пытаются (очками Воронкова — Маркова и К°) увидеть в этом не славу русской литературы, а какую-то политическую игру. А у меня сердце щемит за всех тех русских, кто достоин был этой премии, но так и умер, не получив».

Кампания по превращению праздника русской литературы в политический скандал не прошла бесследно. Неожиданно Солженицын узнал, что *там*, на Западе (который как будто жаждет услышать правдивое слово из-за железного занавеса), тоже боятся *шумихи* и потому предлагают русскому лауреату поселиться на охраняемой квартире, советуют избегать общения с прессой, радио и телевидением и вообще видят его стокгольмский визит максимально тихим. Шведы, испугавшись политики, отступили. Но для лауреата это была не политика и даже не литература — это была жизнь. «Для того я к премии шагал с лагерного развода, чтобы в Стокгольме прятаться на тихой квартире, от лощёных сопляков уезжать в автомобиле с детективами?»

Солженицыну казалось, что фактор премии даёт ему право говорить на равных с руководством страны. Вспоминая, как в 1962-м его приветствовал Суслов, 14 октября А. И. обратился к идеологу партии с письмом: «Я предлагаю пересмотреть ситуацию, созданную вокруг меня и моих произведений недобросовестными деятелями из Союза писателей, дававшими правительству неверную информацию». Но — «ответа не было никогда никакого, по надменности и безнадёжности они упускали все сроки что-либо исправить». Через 24 года станет известно, что Суслов то письмо получил

и ответил резолюцией: «Тов. Демичеву, тов. Шауро. Просьба познакомиться и переговорить». И вскоре Шауро будет возмущаться «недопустимой формой» и «развязным тоном» письма и вынесет заключение: «Возвращаться к вопросу об издании в СССР произведений А. Солженицына оснований нет».

Среди многочисленных откликов был один, который резко контрастировал с гневом-возмущением или восторгом-радостью. «Нобелевская *трагедия*» — так назовёт Решетовская тот раздел своей книги (1994), где расскажет о событиях осени 1970 года. «Надо отойти», «надо потерпеть», «надо смириться», «надо подождать», «надо оттянуть» — советовали Н. А. её родственники и знакомые, с которыми делилась она своей бедой: мама, Вероника, Кобозевы, Теуши, Ростропович и Вишневская, Копелев и Орлова, Юдина, о. Всеволод Шпиллер и его жена. Н. А. вспоминала былое, показывала фотографии 1956 года, когда они с Саней соединились вновь, читала его старые письма. Но оказывается, он позволял себе *полную* свободу... Повторилась история 1964 года... Были и другие, неизвестные ей «истории»... Ему нужны героини для его романов... А теперь молодая женщина ждёт от него ребёнка. (Н. А. готова была *принять* в свой дом этого ребёнка, «плод греха», но без матери!) Этот ребёнок делает её, жену, лишней *навсегда*...

Мария Константиновна, пытаясь вразумить дочь, писала: «Ты цепляешься за самую тонкую ниточку, в чём хочется тебе увидеть хоть какой-то остаток любви к тебе; ты копаешься в прошлых письмах... Но ты ведь перед фактом: он любит другую, и у него от неё будет ребёнок... Значит, чувство к тебе у него умерло. Так останьтесь в дружбе. Дай ему развод, расстаньтесь по-хорошему. Найди в себе силы. Уйди от него. Но “уйди от зла и сотвори благо”». «Мама, — сокрушалась Н. А., — хотела не того, чего хотела я. Она хотела того, что было для меня совершенно невозможно».

Она снова и снова читала *то* письмо, про *задуманного* ребёнка, которого, оказывается, очень хотели они оба: и женщина, и Саня. «Я, действительно, на старость лет *захотел* ребёнка, *захотел* продолжения своего на земле. А тут какая-то мистика по отношению к давно покойным папе и маме моим: продолжить *их* — так поздно, когда уже никто бы надеяться не мог. Я ощущаю тут общение с *ними*. *Их* радость». Если бы Саня обманул, сказал, что ребёнок случайный, ей было бы легче. Но Саня не стал обманывать. «Вот за кого я несу расплату, — говорила себе Н. А., — за Серёжу и Борю, когда-то дорогих мне мальчиков». Мысль о разводе приво-

дила её в ярость: «Он шутя получит теперь квартиру и прописку в Москве. У него — всё, у меня — ничего». При любом упоминании о разводе она требовала от мужа заверения, что процедура будет формальной, фиктивной, настаивала, чтобы мать ребёнка дала письменную гарантию, что, в случае развода, не будет вмешиваться в её отношения с А. И. И, как обычно, грозила сумасшествием и самоубийством, двумя революьверами, которые выстрелят и «всё развяжут».

В конце сентября А. И. писал ей: «Давай смотреть вперёд. Пусть любовь твоя ко мне прежде всего выражается в том, чтобы ты не отнимала моих сил от моего большого дела, от моего писательства — и я всегда это буду ценить, и всегда буду настроен к тебе светло, как сейчас. Твоя судьба щемит меня, и так всегда будет. Никакая твоя жертва не пройдёт бесплодно и без благодарности. Наша прошлая жизнь в прежней форме невозобновима — но она была тяжела, полна фальши. Я верю, что в наших силах с тобой построить *по существу* (а не формально) отношения лучшие и высшие. И мать моего ребёнка не захочет посягнуть на них и не посягнёт никогда, заверяю тебя, и даже при злой воле (которой НЕТ у неё!) была бы бессильна надо мной в этом. Только не спускайся с этого уровня! Всегда помни, что я — это прежде всего моя работа, ей я подчинён, ты знаешь, с юности и до смерти, и об этом всегда тебя предупреждал». Н. А. ответила: раз он, её муж, умрёт для неё, пусть поручит кому-то заботу о ней, пусть найдёт москвича-мужчину, который заключит с ней фиктивный брак и будет ей моральной опорой.

8 октября, услышав о решении Нобелевского комитета, она примчалась в Жуковку из Москвы, где уже месяц снимала комнату у Н. В. Каретниковой, прихожанки о. Всеволода Шпиллера. Находиться в Рязани, в квартире, где ей, быть может, предстоит доживать свой век с тремя старухами, было «подобно вхождению в свой собственный склеп». «Если бы год назад! Какая бы радость, ничем не замутнённая, захлестнула меня, какая гордость за мужа, какое торжество!.. А сейчас...» Сейчас, навестив мать и тёток, она бросила им жестокие слова: «Зачем вы пережили моё счастье?» Думать о разводе *сейчас*, когда муж достиг вершины, было выше сил. Ни одного разумного довода в пользу развода, кто бы их ей ни приводил, Н. А. слышать не хотела. Сусанна Теуш внушала ей и Сане, что развод — это вздох облегчения для него и величайшая несправедливость к Наташе. 14 октября, снова приехав к мужу и застав его за письмом к Суслову, Н. А. обрадовалась — может, теперь он одумается: Нобелевский комитет как будто не любит «семейных осложнений».

Но за обедом, когда беседа вновь соскользнула к разводу и Н. А. стала настаивать на сохранении *положения жены*, Саня сказал: «Я всё больше и больше к *ней* привязываюсь. Неужели ты не можешь пожертвовать... для троих?» «Решение пришло мгновенно. Да, могу. Да, должна. Но вижу лишь один способ разрубить гордиев узел: уйти из его жизни, из жизни вообще...»

С мельчайшими подробностями опишет позже Решетовская подготовку к самоубийству — как в «большом доме» у Ростроповичей она играла первую часть 3-го концерта Бетховена, как писала письмо душеприказчице, Сусанне Теуш; как, вернувшись во флигель, пожелала Сане спокойной ночи (а он перекрестил её широким крестом); как проносила в комнату чашку с водой (подогреть не решилась, чтобы не вызвать подозрение); как легла не раздеваясь, чтобы утром не было хлопот с одеванием; как уже в постели писала письма — мужу, чтоб похоронил её в Борзовке, Веронике — чтоб та распорядилась насчёт похоронной одежды, и завещание — кому должны достаться её деньги и вещи. И подробнее всего, как приняла, тщательно разжевав, 36 пилюль мединала (по другим сведениям, 23 таблетки по 0,3 грамма, то есть 7 граммов снотворного).

Утром 15-го, заподозрив неладное, А. И. вошёл в её комнату, всё понял и поднял тревогу: вызвал фельдшера по соседству, позвонил Копелеву, тот кликнул друга, доктора Крелина. В одиннадцать утра Крелин был на месте, оказал первую помощь и отвёз больную в Кунцевскую больницу. Там её откачали и перевели в Первую градскую на долечивание. «Я оказалась плохим химиком, — сделает вывод Н. А., — надо было запивать снотворное горячей водой». «То ли от облегчения (жива!), то ли от мысли о несчастной тёте Марусе, — но моим первым чувством было возмущение, — вспоминала Туркина; её немедленно вызвал А. И., когда жену забрали в больницу. — А мать? А Саня? Предать, когда после 65-го года его давят и давят. Да ещё где — в доме Ростроповича, которого тоже давно преследуют. И даже решившись умереть, обставила это театрально: наколола палец и кровью написала на стене “Я?” и перечеркнула. Господи, ну не хочешь, чтоб твое “Я” перечёркивали, не цепляйся, отойди, освободи человека. Ведь не любовь это, не любовь». Вероника ездила к сестре каждый день, уговаривала её «не терять лица». С невероятным напором та просила, чтобы к ней привели Саню, надо, мол, оговорить развод — но оказалось, как печально убедилась Вероника, что Наташа хотела просто покрасоваться перед больными...

Через несколько дней после отравления Н. А. Алю забрали в больницу с угрозой выкидыша. Это было тяжелейшее для неё время — мысленно она уже простилась с А. И., понимая, что, ввиду премии, их разлука неизбежна, и твёрдо решила рожать одна. А. И. словно окаменел: этим действием, объяснял он Зубовым в письме 16 октября, жена расторгла все договоры, разрезала все душевные связи. Он всегда говорил ей, что самоубийства не простит, даже и загробно. Только через неделю нашёл в себе силы написать: «Давно бы нам пора думать не о зле от другого, а о зле от себя. Так и давай друг другу простим, а каждый себе — не простим. Будем заглаживать, и будем друг ко другу добры, отзывчивы, дружественны. Так тяжело, как никогда в жизни не было... А — надо. Надо развестись». Дневник зафиксировал каменную тяжесть тех дней: «*16 октября.* Много зла причинила мне жена за последние 5 лет. И, чтобы всё уж вместе сошлось, — сшибая перед самым концом Узла I, — самоубийство! (к счастью, устранённое). Всюду ждётся и требуется от меня общественное — а семейные дела как муть чернильной рыбы, как водоросли вокруг ног. Вот как платит человек за ошибку в женитьбе. *23 октября.* И вдруг вереницей: всё то зло, какое я причинил ей, а не она мне. И такая тяжесть на сердце — как вообще смогу работать? Не на век ли эта тяжесть?»

27 октября, после больницы, они ездили в Рязань оформить развод: теперь это было неизбежно и неотвратимо. Услышав фамилию заявителя, сотрудники загса что-то промямлили, но бумаг не приняли. Звонили в суд — но суд не занимался бездетными супругами без имущественных претензий. Н. А. была счастлива. «Понял ли он, что у меня была затаённая мысль — не быть разведённой с ним до его возможной поездки?.. Возможно, это заставит его отказаться от поездки. Чтобы я рассталась с ним навсегда — это в моём мозгу, в моём сердце не помещалось».

Развод, как того и желала Решетовская, не состоялся ни в преднобелевские месяцы, ни после них. В ноябре Н. А. уехала в Ригу, сказав всем, что будет «прятаться от развода». Дело растянется на три года, и государство не упустит возможности «вкогтиться в него как в добычу». Поползут слухи, один чудовищнее другого. Н. А. пошлёт телеграмму приятельнице с поручением — выяснить у смертельно больной Юдиной, Алиной крёстной, какова вероятность того, что Алин ребенок не от А. И., а от другого человека. Через два дня после неудачной попытки развестись в Рязанском загсе в записке КГБ, подписанной Андроповым, появится прелю-

бопытный абзац: «Представляет интерес оценка личности Солженицына со стороны его жены Решетовской... которая рассказала следующее: “У меня произошло крушение образа моего мужа. Раньше я считала его совершенно уникальным, необыкновенным; он меня всегда гипнотизировал. Всё было очень хорошо до того, как он прославился. Успех его всегда портил. Ему стал никто не нужен как личность. В любом обществе разговор только о нём. Как же! Он пуп земли! Он у людей интересуется только тем, что ему где-то, как-то понадобится, кто может быть полезным для его дела. Весь ужас в том, что перед ним все преклонялись. Его страшно испортили. Недавно выяснилось, что он стал на путь разложения”». Далее шли подробности «разложения». Кому и где она говорила всё это? У каких знакомых, при каких обстоятельствах? Знала ли, что её показания попадут в «оперативную разработку» против мужа? Этого в своих мемуарных свидетельствах она никогда не сообщила...

А компетентные органы своё дело знали. В той самой записке сразу после показаний Решетовской говорилось: «Солженицын некоторое время назад стал сожительствовать со Светловой Натальей Дмитриевной... которая сейчас беременна». Знали в ГБ и о том, что Решетовская приняла большую дозу снотворного и была доставлена в больницу с диагнозом «отравление». «Солженицын стремится скрыть истинное положение в своей семье», — писал Андропов товарищам по партии, и с этим пикантным обстоятельством «вкруговую» знакомилось всё политическое руководство страны.

31 октября 1970 года, пытаясь вразумить власть, в «Правду» (копии ещё в три газеты) написал Ростропович. «Неужели прожитое время не научило нас осторожно относиться к сокрушению талантливых людей? не говорить от имени всего народа? не заставлять людей высказываться о том, чего они попросту не читали или не слышали?.. Я знаю произведения Солженицына, люблю их, считаю, что он выстрадал право писать правду, как её видит, и не вижу причин скрывать своё отношение к нему, когда против него развернута кампания». Это был акт высокого мужества, воспринятый в ЦК как веский аргумент против обоих.

«Представляется более предпочтительным решить вопрос о поездке Солженицына отрицательно. Целесообразно не сообщать о характере нашего решения вплоть до последних дней». Эта телеграмма была послана 15 ноября из советского посольства в Швеции: там внимательно наблюдали за подготовкой к церемонии (премьера кинофильма по «Ивану

Денисовичу», радиоспектакль, телепередачи, реклама книг) и «выражали обеспокоенность». Но не сообщал своего решения и лауреат. «Заявляя открыто, что он принимает премию и готов выехать в Швецию, Солженицын не предпринимает реальных шагов для оформления документов на право получения визы. Складывается мнение, что он инспирирует очередной скандал», — сообщали Андропов и Руденко.

Ведомства приходили к выводу, что больше вреда лауреат нанесёт государству, если премию примет, но останется в стране. 20 ноября 1970 года был принят проект указа о лишении его советского гражданства и выдворении из пределов СССР. При этом рассматривалось три варианта: аннулировать въездную визу при выезде в Швецию, не препятствовать самостоятельному выезду за границу, выдворить в принудительном порядке. «Наряду с этим не проходить мимо факта укрытия врачами попытки жены Солженицына — Решетовской покончить жизнь самоубийством и возбудить по этому вопросу уголовное дело». Так начиналась игра против Солженицына с участием «фактора Решетовской».

«*Наши* очень ждали моего отъезда, подстерегали его!» — скажет А. И.; он достоверно узнает о подготовленном указе — его должны были лишить гражданства, едва граница останется позади. Значит, премия, если он за ней поедет, лишит его родины, обречёт на разлуку с Алей и ребёнком и всё равно не даёт сказать лучшую в жизни речь: *оттуда,* вместе с регламентом на смокинг, фрак и белую бабочку, прислали пожелание ограничиться трёхминутной благодарностью во время банкета, под стук ножей и вилок. Какой смысл был в такой поездке? А. И., укоряя себя за давнюю насмешку над Пастернаком, от поездки отказался.

Хроника событий перед церемонией будет описана в «Телёнке» как поединок дипломатии и пропаганды, трусости одних и отваги других, при этом лауреат, принимая решение, вёл себя так, будто ничто над ним не властно. «Я уже писал в Нобелевский фонд, что отказываюсь от поездки в Стокгольм, так как боюсь, что меня не впустят назад на родину. Я предложил господам из Нобелевского фонда вручить мне диплом и медаль в Москве», — сообщал лауреат. Однако шведский посол, под давлением советских властей (и явно подыгрывая им), отказался вручать премиальные знаки в посольстве, предложив почтовый вариант или конфиденциальную обстановку своего кабинета. («Неужели Нобелевская премия — воровская добыча, что её надо передавать с глазу на глаз в закрытой комнате?» — скажет позже в этой связи лауреат.)

Дневник тех недель запечатлеет завершающий рывок работы над «Августом». «Камень с плеч. О, сколько труда он мне стоил! Но, пожалуй, получился лучше, чем я когда-нибудь мечтал, ожидал. Лучше, но *хорошо ли* по абсолютной шкале?» А «Особые папки» накопят поучительный материал: постановления Политбюро ЦК, жёсткие указания совпослу в Швеции, твердокаменные предупреждения послу Швеции в СССР, нервную мидовскую переписку, оперативную слежку за движением премиальных денег из Стокгольма во Внешторгбанк и секретные инструкции в этой связи.

Первый результат был таков, что лауреат остался в Москве, его приветственное слово звучало в Стокгольме, там же оставались почётные знаки, а сам он, без фрака и бабочки, сидел 10 декабря на даче Ростроповича (Стива был за границей) и слушал радио. «Не могу пройти мимо той знаменательной случайности, что день вручения Нобелевских премий совпадает с Днём Прав человека. Нобелевским лауреатам нельзя не ощутить ответственности перед этим совпадением. Всем собравшимся в стокгольмской ратуше нельзя не увидеть здесь символа. Так, за этим пиршественным столом не забудем, что сегодня политзаключённые держат голодовку в отстаивании своих умалённых или вовсе растоптанных прав» (позже выяснится, что Твардовский, томясь в кремлёвской больнице после инсульта, раздумывал: как бы это А. И. получил премию, *никуда не выезжая*? А когда узнал историю полностью, счастливо произнёс: «Так им и надо!» Но А. И. ещё успеет побывать у Трифоныча дважды, в феврале 71-го с Ростроповичем и в том же мае с Можаевым, и всем троим казалось, что почти лишённый речи Твардовский всё понимал и на всё точно реагировал).

«В большом доме Ростроповича, где была оборудована длинная гостиная на два света, с баром и большим столом, отпраздновали и день рождения Сани, и Нобелевскую. За большими окнами с двух сторон кружились хлопья снега, на столе горели свечи, Саня крутил ручку радиоприёмника, ловя Швецию. За столом только и было нас пять человек: Сам, Аленька, Мильевна, Наденька да я, — пишет Туркина. — В этот вечер я в первый раз увидела Алю, была она на сносях, в милом сером платьице с круглым девичьим воротничком и всё смущалась. А мне нравилась ужасно, и я вспоминала Санины вздохи: "Господи, когда же, наконец, всё устроится... Я хочу всегда её ощущать рядом, под локтем..."» Напишет об этом дне и виновник торжества: «Этот мой необычный — нобелевский — вечер мы с несколькими близкими друзьями отметили так: в чердачной "таверне" Ростропови-

ча сидели за некрашеным древним столом с диковинными же бокалами, при нескольких канделябрах свечей, и время от времени слушали сообщения о нобелевском торжестве по разным станциям... Моей последней фразы не было».

Уже назавтра выпавшая на банкете фраза — о голодовках политических заключённых — выпорхнет в русский самиздат. А хозяин дома Ростропович успеет прибыть к другому торжеству: рождению Ермолая Солженицына в ночь на 30 декабря, на полтора месяца раньше срока. Счастливый А. И. поделится с дневником: «Не в этот дневник записывать, да другого нет. Романов уже несколько. А сын — первый!» «Ладушка, родная моя и родимая! — писал он Але утром 30-го и потом дописывал понемногу каждые час-полтора. — Поздравляю тебя и горжусь тобой!.. Счастлив, что удалось избежать кесарева. Пока врачи консультировали и мудрили — а ты им выдала!.. Что — сын, я нисколько не удивлён, я на 100% был и уверен и предчувствовал... Но всё же так радостно было услышать от Верони первое слово (без обращения): “мальчишка!”... А как Ермолаха выглядит? Даже страшно. Слабенький, говорят? Ну, в 7½ месяцев откуда ему сил? Все силы ушли твой живот толкать... Ладуня, какое же это великое событие! То всё “будет” да “будет” ребёнок (а вдруг да и не будет?..) — а вот — есть! и — сын!.. Сижу-сижу за столом — и время от времени радостно вслух смеюсь... Подумал: а если бы Наташе 14 октября удалось — ведь не было бы праздника? или очень ущерблённый. Вчера отправил ей специально к Рождеству умиротворяющие пожелания... Счастье, которого отец мой не пережил, не дожил...»

Новый, 1971 год А. И. тихо встречал в «таверне» с Надей и Мильевной. «Вернувшись на дачу, после всех треволнений, связанных с рождением сына, стоя на деревянной лестнице на второй этаж, А. И. сказал мне: “Никогда я не был так счастлив. Это совсем особое состояние, не сравнимое ни с чем, ни с радостью освобождения, выхода в свет первого произведения, любого другого события в жизни — это ощущение счастья”» (Н. Г. Левитская). Вернувшись из храма Ильи Обыденного, вместе с Можаевым и Стивой, крёстным, в его городской квартире праздновали крестины.

...Ещё осенью 1970-го семья Светловых переехала в просторную квартиру на улице Горького, получив её в обмен на две другие — ту, что на Васильевской, где они все жили, и новую, на проспекте Вернадского, построенную родителями Али на её имя (как сотрудник МГУ она имела право вступить в университетский кооператив). После рождения Ер-

молая начальнику жэка, обслуживавшего дом № 12 по улице Горького (он же дом № 2 по Козицкому переулку), позвонил сам Гришин. Член Политбюро и первый секретарь МГК КПСС интересовался, кто прописан в семье гражданки Светловой, переехавшей недавно по обменному ордеру. «Теперь вы понимаете, почему мы интересуемся этой семьёй? — спросил Гришин, когда начальник жэка прочитал фамилии на карточке лицевого счёта. — На днях к вам придут наши товарищи, окажите содействие». Вскоре двое в штатском с удостоверениями офицеров госбезопасности были здесь и просили подыскать служебное помещение вблизи квартиры Е. Ф. Светловой (в жэке уже знали, что сын её дочери носит фамилию Солженицын, прописан по этому адресу, и уже кто-то был наказан за потерю бдительности). Из трёх помещений офицеры выбрали комнату техника-смотрителя, получили ключ, внесли аппаратуру — теперь квартиру № 169 прослушивали круглосуточно (двадцать лет спустя тот самый начальник жэка расскажет, как оказался в эпицентре охоты на писателя: «Солженицына мне пришлось видеть несколько раз возле дома и на детской площадке с коляской. "Бородатый дед гуляет с внуком", — думали местные мамаши...»).

Охота продолжалась. «Наружка» глядела в оба, плёнка перематывалась, телефоны щёлкали и трещали, оперативные материалы подшивались в «Особые папки». Но всё както утихло и закисло — только газеты присвоили нобелевскому лауреату звание «внутреннего эмигранта», злобствовали агитаторы («остался вредить советской власти здесь»), и армейская печать обзывала нобелевку «каиновой печатью за предательство своего народа».

Нобелевский кризис, грозивший перевернуть жизнь лауреата, на время утих; диплом и медаль лежали на хранении в Стокгольме, проект указа о высылке ждал подходящего момента. Но оставалась Нобелевская лекция, которую полагалось представить в течение полугода от момента церемонии. Лекция была готова к сроку, и секретарь Шведской академии Карл Гиров вновь (в 1972-м) поднял вопрос о вручении нобелевских знаков. Канцелярии заработали. В докладах Андропова и Громыко в ЦК сообщалось, что шведские власти «приняли во внимание» сделанные внушения (так, 1 декабря 1970 года министр иностранных дел Швеции заверил советского посла в Стокгольме, что вмешательство шведского правительства исключено). Под давлением страны пребывания шведское посольство снова, полтора года спустя, отказывало предоставить своё помещение — за не-

имением подходящего зала. Тогда лауреат предложил для торжества квартиру Светловых, выбрал день и разослал приглашения*.

Из комнаты техника-смотрителя в Козицком переулке будут внимательно наблюдать за квартирой № 169. 3 апреля 1972-го, зная, что акция срывается (а лауреат об этом пока не подозревает), Андропов не без злорадства докладывал в ЦК: «Для приема гостей, приглашаемых на вручение, сожительница Солженицына Светлова и её родственники закупают в большом количестве посуду и продукты питания. В связи с тем, что день вручения 9 апреля приурочен к первому дню религиозного праздника Пасхи, приём одновременно будет носить характер религиозного торжества, для чего готовятся соответствующие реквизиты — пасхальные куличи, крашеные яйца и т. д. Солженицын, находясь на даче Ростроповича, разучивает наизусть текст подготовленной им ранее так называемой традиционной лекции лауреата Нобелевской премии. Предполагается, что на указанном сборище Солженицын даст интервью приглашённым туда иностранным корреспондентам».

Назавтра, 4 апреля, станет известно, что Карлу Гирову отказано во въездной визе, и сорок гостей получат уведомление, что акция не состоится.

10 апреля 1972-го Андропов вновь информировал ЦК: «По оперативным данным, Солженицын воспринял сообщение об отказе в визе на въезд в СССР секретарю Нобелевского фонда Гирову крайне нервозно, заявив своей сожительнице Светловой: “Наглые собаки... они делают со мной всё, что хотят... мы слишком терпеливы”. Перед своим окружением он старается держаться более спокойно и уверенно».

Но нервничали, кажется, именно «наши»: подглядев или подслушав, что 9 апреля в квартире № 169 семья и гости (Шафаревич, Столярова) обедают в честь праздника Пасхи, Политбюро ЦК ещё и 12 апреля продолжало волноваться, ибо возможность вручения Солженицыну нобелевских знаков в шведском посольстве сохранялась. И ещё 13-го, в за-

* Приглашение было послано и министру культуры СССР Е. А. Фурцевой (12 февраля 1972 года). А. И. писал ей: «Если и не тотчас, то через каких-нибудь 10—15 лет тот факт, что в Москве не нашлось помещения для вручения Нобелевской премии русскому писателю, будет восприниматься в истории нашей культуры как национальный позор». Фурцева, доложив о письме Солженицына в Политбюро ЦК КПСС, назвала его «умным и властным человеком, способным оказывать вреднейшее воздействие на шатких и неустойчивых людей», просила применить к нему строгие меры, рассмотрев вопрос о его выдворении за пределы страны.

явлении посольству Швеции выражалась надежда, что «шведская сторона примет меры по прекращению в Швеции инспирируемых в отношении СССР враждебных выступлений вокруг Солженицына». А Солженицын в «Заявлении об отмене Нобелевской церемонии» напишет: «Нобелевские знаки могут храниться неограниченно долго. Если не хватит моей жизни, я завещаю их получение моему сыну». И по сравнению с уже пережитыми неприятностями лекция, опубликованная в официальном сборнике Нобелевского комитета «Lex prix Nobel en 1971» в августе 1972-го, и там, и здесь будет воспринята как цветочки.

В нобелевской истории Солженицына (октябрь 1970-го — апрель 1972-го) было поставлено красноречивое многоточие.

...Ещё летом 1967 года на подступах к «Красному Колесу» А. И. заметил: «Чтó значит написать этот роман? Это — стать себе на плечи, и ещё раз тому второму на плечи, и тогда напружить ноги, подпрыгнуть, зацепиться пальцами за край стены, подтянуться и перелезть. Вот так — трудно. Вот так — почти невозможно. А иногда думаю: не исключено, что и справлюсь, а? Вот диво-то будет». В конце октября 1970-го Узел первый («Август Четырнадцатого») был закончен, но ещё и весь остаток осени, и зима 1971-го ушли на поправки и доработки. В конце февраля «Август», увезённый французским полицейским под видом большой коробки конфет для больной монахини, был доставлен в Париж. Там его принял на руки Никита Струве, издатель «ИМКА-пресс», который вместе со швейцарским адвокатом Фрицем Хеебом и переводчицей из Австрии Лизой Маркштейн вошёл в «опорный треугольник» Солженицына на Западе. Ранней весной были уже набор и корректура — роман печатался открыто, под именем автора, а с марта началась систематическая работа над «Октябрём».

«О, как бы сосредоточиться только на 2-м Узле? Как бы уйти в историю, в роман? Нет, современность тянет и тянет», — записал А. И. в дневнике 8 марта 1971 года. *Современность* и в самом деле вмещала множество неотложных дел. Необходимо было достать из дальнего хранения «Архипелаг», заново переснять и отправить плёнки в Цюрих, сосредоточить архивы в одном месте и в своём распоряжении. Огромную работу выполнил друг Андрея Тюрина физик Валерий Николаевич Курдюмов, сотрудник сверхсекретного Радиотехнического института АН. Притащив на квартиру Светловых огромный рюкзак с фотооборудованием, он переснял три тома «Архипелага», проявлял плёнки в узком, удалённом от окон коридорчике и сушил их в ванной трое суток напро-

лёт (свет ламп не укроется от бдительного ока, и ему припомнят эту фотосессию вызовом на Лубянку в 1974-м)*.

С этого комплекта плёнки, переданного в Париж (подтверждение о благополучном исходе придёт только через три месяца), будут сделаны позже все мировые переводы «Архипелага», кроме англо-американского. «Мы с Алей благополучно отправили всё на Запад, создали недосягаемый для врага *сейф*. Это была крупнейшая победа, определяющая всё, что случится потом... Только с этого момента — с июня 1971 года, я действительно был готов и к боям и к гибели».

И в марте же, перепечатывая дополнения к «Телёнку», А. И. впервые отдал себе отчёт: какие гигантские напряжения и трудности уже преодолены. Он вспоминал весну 1963-го — как собирал материалы к «Архипелагу» (ещё почти не написанному), к «Р-17» (не было плана Узлов), начинал «Раковый корпус», а «Круг» существовал «лохматый», ни «87», ни «96». «И всё это удержал, и с рук осторожно скатил, и осталось каких-то несчастных 19 узлов — и чего ж я трушу, маловер?» В один из «лавинных дней» (так называл он те счастливые дни, когда мысли накатывают неудержимо и рука не поспевает записывать) приходила в Жуковку милиция — предупредить о выселении. «Своими ногами в Рязань? — не пойду, не поеду! Судебному решению? — не подчинюсь! *Только в кандалах!*» — сказал он начальнику паспортного стола Московской области. «Дача Ростроповича для меня — рубеж жизни и работы. Выбьют отсюда — не поднять громаду “Р-17”».

И прожил здесь, без прописки и разрешения, ещё полтора года.

В преддверии «Августа» Ростропович подал идею — предложить роман какому-нибудь советскому издательству — дескать, автор готов публиковаться и дома. А. И. идея понравилась — послали семь запросов, в семь мест, но ни одно не захотело даже взять рукопись в руки... А русское издание

* «В то время у меня уже был комплект плёнок “Архипелага”, — вспоминал Курдюмов (2007). — В 1969-м Н. Светлова тайно дала мне третий экземпляр машинописи для чтения. Я прочитал сам, показал отцу, бывшему зэку, строившему Беломорканал, и переснял все три тома, а плёнки закопал на родительской даче, в двух местах. Когда в 1971-м ко мне обратились с просьбой переснять три машинописных тома, я на самом деле должен был сказать: завтра привезу готовые плёнки (это бы ничего не изменило — текст уже содержал множество вставок и поправок. — *Л. С.*). Но у меня не хватило духу выдать Наташу, хотя я понимал, насколько велика опасность производить фотосъёмку на этой квартире. Я рискнул. Через несколько дней, когда плёнки уехали, смог свободно вынести аппаратуру».

«Августа» вышло в июне 1971-го в Париже. В том же году появилось два издания в Германии, затем в Голландии, в 1972-м — во Франции, Англии, Соединённых Штатах, Испании, Дании, Норвегии, Швеции, Италии. Публикация Узла первого в «ИМКА» для расчетов ГБ станет, по словам А. И., «опрокидывающей неожиданностью».

Только задним числом мог доложить Андропов ЦК, что в Париже вышла новая книга Солженицына и что с рукописью по оперативным данным знакомились Ростропович, мать и дочь Чуковские, Твардовский, Копелев, Ж. Медведев и «другие лица из числа близких связей автора». Замначальника управления КГБ генерал-майор Никашкин, выступивший в роли закрытого рецензента, читал роман внимательно и сделал несколько важных открытий. Во-первых, предположил, что прообразом семьи Лаженицыных является семья деда автора, Семёна Солженицына, а прообразом семьи Томчаков — семья второго деда, Захара Щербака. Во-вторых, заподозрил, что в романе имеются данные на отца и мать автора. Это была удача — писатель давал сыскарям след на себя. В-третьих, удостоверился, что в романе не упоминается партия большевиков и автор недвусмысленно показывает своё отрицательное отношение к любым революционным изменениям. Таким образом, автор допускает возможность развития России по капиталистическому пути развития, его симпатии целиком на стороне националистически настроенных военных и оборотистых, рационально хозяйствующих землевладельцев. Критика царского строя в романе ведётся с реформистских (меньшевистских) позиций. Если сюда добавить ещё и проповедь внеклассового добра, идеология автора, безусловно, чужда советской идеологии.

Следует отдать должное генерал-майору Никашкину: он верно уловил дух времени и состояние умов. «Незримо для меня, — скажет Солженицын позже, — уже пролегала пропасть — между теми, кто любит Россию и хочет ей спасения, и теми, кто проклинает её и обвиняет во всём происшедшем. Эту, мне ещё непонятную, обстановку вдруг, первым лучом, просветил “Август”, напечатанный в 1971. Хотя это был патриотический (без социализма) роман — его бешено ругали и шавки коммунистической печати, и журнал национал-большевиков “Вече”, а вся образованная публика отворотила носы, пожимала плечами. “Август” проре́зался — и поляризовал общественное сознание».

До «Августа» казалось, что единство автора с образованным обществом абсолютно: они вместе выстаивают против режима, стремятся к демократии и свободе. «Так все истос-

ковались ударить государственную власть в морду, что за меня было сплошь всё неказённое, хотя б и чужое, — и несколько лет я шёл по гребню этой волны, преследуемый одним КГБ, но зато поддержанный слитно *всем* обществом (в старой России так было не раз, так поддерживали Толстого, будучи чужды его учению, — лишь бы против государства)». Когда вышел «Август», разногласия открылись. «Зачем *это* тебе надо?» — спрашивали его близкие друзья; под словом «это» подразумевалось именно то, о чём докладывал в аннотации на «Август» Никашкин: национальный дух, антиреволюционизм, традиционализм. «Меня пугает в Солженицыне одно, — говорил Паустовский Чуковскому ещё в феврале 1963-го, — он — враг интеллигенции. Это чувствуется во всём» (Паустовский, разумеется, имел в виду советскую интеллигенцию с её приверженностью Белинскому, Герцену, Ленину и революции). В свете «Августа» становилось ясно, что поддержка его всем *передовым обществом* есть «явление временное, недоразуменное».

Ныне недоразумение разъяснялось. «Иван Денисович» оказывался не тем, за кого себя выдавал, вернее, не тем, за кого приняло его образованное общество. Именно поэтому, заметит А. И., «“Иван Денисович” и не выскочил за границу, чего боялся Твардовский в 1962: он был слишком крестьянским, слишком русским и оттого как бы зашифрован. Западные корреспонденты, может, и читали его в тот год, но не сочли перспективным к западному уху». Реакция на «Август» показала, что время мнимого единства и нерасчленённых понятий закончилось. Уже и Мира Петрова с неприязнью «атаковала семью Томчаков и совсем непонятную ей, чуждую Орю». Андропов докладывал в ЦК, что, например, Чуковская (Лидия или Люша?) даёт отрицательную оценку художественным качествам романа и близкие друзья автора тоже оценивают роман негативно: «Так, литературовед Лакшин заявил, что “симпатизируя больше всего патриотически настроенному офицерству, инженерам и просвещённой буржуазии, Солженицын не противопоставляет им умных собеседников из среды солдат и рабочего класса”». «Л. Копелеву, — писал зампредседателя КГБ Цвигун в декабре 1971-го, — не понравился образ Ленартовича — большевик в 1914 году выглядел иначе».

Но то была критика друзей. Что же касается недругов (то есть «широких слоёв советской творческой интеллигенции», чьи высказывания попадали в отчёты госбезопасности), их негодование не знало границ. Доколе он будет пользоваться ореолом мученика и правдолюбца, играть на струнах страда-

ния? «Отдельные представители художественной интеллигенции, полагая, что Солженицыну всё сходит с рук, сами начинают утрачивать чувство ответственности за своё творчество и общественное поведение» (Фурцева). «Нет, большое терпение у нашего правительства, что терпит такого негодяя!» (И. Абашидзе). «Не настала ли пора порассказать нашим людям всё честно и прямо — что́ это за писатель и что́ это за человек?» (Л. Леонов). «Он спокойно разгуливает по Москве, снабжает наших врагов идеологическим антисоветским оружием, а мы ему всё прощаем» (И. Шток). «Мы говорим и говорим, а он всё больше и больше разгуливается» (Д. Кабалевский). «Разве нет каких-нибудь решительных способов лишить наших врагов такого козыря, как Солженицын?» (В. Крепс).

Насчет *решительных способов* член СП СССР Владимир Крепс, ныне прочно забытый драматург, был совершенно прав: органы ими владели и, не брезгуя, применяли. Так случилось и летом 1971 года, когда А. И. собрался на юг, по местам детства, собирать материалы для следующих Узлов. 7 августа вместе с Угримовым выехали на машине, 9-го утром были в Новочеркасске. А. И. чувствовал себя превосходно, они гуляли по городу, посетили собор, заходили в магазины. Внезапно среди дня стала сильно болеть кожа по всему левому боку. К вечеру, а особенно к утру 10-го стало совсем плохо — что-то вроде сильного ожога распространилось по всему левому бедру, левому боку, по животу, спине, ногам в виде множества отдельных волдырей, самые крупные достигали 15 сантиметров в диаметре. В ближайшей поликлинике ему прокололи несколько волдырей, но на их месте открылись раны. Состояние А. И. ухудшилось, и на станции Тихорецкой Угримов посадил его в московский поезд. Утром 12 августа по телеграмме был встречен на Курском вокзале тёщей (Катенькой, как звал её А. И.) и их общим другом А. М. Горловым.

Больной действительно был плох, огромные водяные пузыри лопались при малейшем движении, причиняя страшную боль. Вначале решили, что это тепловой удар — он ехал в машине при работающей печке, не отключавшейся по неисправности, а жара стояла +35. Галина Вишневская, видевшая его в то утро, писала позже: «Что это? Он не идёт, а еле бредёт, всем телом наваливаясь на стену веранды, держась за неё руками. У меня внутри всё оборвалось... То, что с ним тогда произошло, для меня и до сих пор является загадкой. Ноги и всё его тело покрылось огромными пузырями, как после страшного ожога. На солнце он не был. Несколько раз

вышел из машины поесть в столовке... А может, подсыпали в еду что-нибудь?..»

Вызывали частных докторов и профессоров-дерматологов, доставали мази, снижали температуру, обрабатывали кожу антисептиками, обезболивали, накладывали повязки. В течение всей болезни за ним ухаживала Аля. «Первые недели были особенно мучительны, невыносима была даже лёгкая простыня, покрывающая ожоги... Боль вызывало даже движение воздуха при открывающейся двери. Ни один из врачей, лечивших А. И., не понимал происхождения этих ожогов, и ни одна из выписанных ими мазей не помогала. В конце концов справился сам организм, выздоровление тянулось медленно и длилось долго» (Н. Д. Солженицына). Вспоминает Н. А. Жуков — доктор, впервые посетивший А. И. 23 августа 1971 года: «Клиническая картина поражения кожи напоминала ожог второй степени. Поражал обширный отёк левого бедра. Дермографизм оказался красным, быстро переходящим в белый, стойкий. Кожа как зеркало отражала перевозбудимость сосудосуживающих нервов и как бы “кричала”, что лечить её необходимо теплом — общим или местным, сухим или влажным. Тогда я установил диагноз: “распространённая аллергия”, осложнённая вторичной стрепто-стафилококковой инфекцией». Немного помогали горячие ванны, после которых стихала боль, а волдыри уменьшались и подсыхали. Мазь Конькова (свежий мёд, жир, риванол, берёзовый дёготь) снимала зуд и уменьшала жжение.

Ни доктора, ни потерпевший, ни его близкие не могли даже представить, откуда взялась эта напасть. Только через двадцать с лишним лет подробное описание «аллергии», взятое из дневниковых записей доктора Жукова*, будет однозначно квалифицировано специалистами по лечению ост-

* В 1973—1974 годах Н. А. Жуков лечил и М. М. Бахтина, питавшего к Солженицыну, «удивительному человеку и писателю» с «сугубо необычной судьбой», глубочайшую симпатию. Бахтин чрезвычайно тревожился за жизнь Солженицына и при всякой встрече с доктором говорил, что боится «непредвиденных опасностей», «насильственного изменения трагической судьбы» опального писателя. «Они непременно заставят его замолчать! Непременно! Трудно угадать, что уготовано ему». В январе 1974-го Бахтин, внимательно читая газеты, сделал вывод, что над Солженицыным нависла угроза жестокой расправы. Но и после высылки Солженицына, вспоминал Жуков (1994), тревога Бахтина не ослабла: «Они не простят ему “Архипелага”! Они убьют! Они непременно убьют его!» Бахтин просил Жукова, имевшего контакты с семьёй А. И., передать Солженицыну низкий поклон с родной земли, сказать ему спасибо за всё, что тот сделал для русской литературы. «Не время пока ещё судить, какую глыбу своротил он в литературе... Время будет судьёй... Я же представляю его величиной формата Достоевского!!»

рых отравлений: «Данные симптомы характерны для накожного отравления ядом рицинином, который содержится в клещевине (турецкая конопля). При попадании яда рицинина под кожу через несколько часов возникает сильный озноб, резко повышается температура, характерны слабость и головная боль. В месте попадания яда появляются отёки и волдыри. В течение нескольких дней могут развиться глубокие язвенно-некротические изменения не только кожи, но и тканей, вплоть до костей. Язвы плохо поддаются лечению, заживление может длиться год, два, три. Смертельный исход неизбежен при попадании под кожу около трёх миллиграммов рицинина».

Итак, *яд*, самый решительный способ устранения человека как козырной карты. Всё разъяснилось, когда в 1992 году отставной подполковник Управления КГБ по Ростовской области Борис Александрович Иванов привёз в Москву свои показания и отдал их в газету «Совершенно секретно». «В нашу область с неизвестной целью едет писатель Солженицын. Товарищ из Москвы прибыл к нам в связи с этим тревожным обстоятельством», — услышал Иванов, тогда ещё майор, в кабинете начальника в августовские дни 1971 года. Выполняя полученные инструкции, майор, московский гость («шеф») и ещё один незнакомый оперативник должны были неотступно следовать за «объектом» по его маршруту, проверять его контакты и связи.

Его настигли в Новочеркасске. Наружное наблюдение держало Солженицына мёртвой хваткой; офицеры, сидевшие в машине, получали по рации сведения каждые пять—десять минут. Наконец поступило сообщение, что «объект» находится на центральной улице города, заходит в магазины. «Чуть погодя “объект” с приятелем вошли в крупный гастроном. Следом — мы. Таким образом, мы все оказались в одном замкнутом пространстве. “Незнакомец” буквально прилип к “объекту”, который стоял в очереди кондитерского отдела. “Шеф” прикрыл “незнакомца”. Они стояли полубоком друг к другу, лицом к витрине. “Незнакомец” манипулировал руками возле “объекта”. Что он там делал конкретно, я не видел, но движения рук и какой-то предмет в одной из них помню отчётливо. Вся операция длилась две-три минуты. “Незнакомец” вышел из гастронома, лицо “шефа” преобразилось, он улыбнулся, оглядел зал, кивнул и направился к выходу. Я последовал за ним. На улице “шеф” тихо, но твёрдо произнёс: “Всё, крышка. Теперь он долго не протянет”. В машине не скрывал радости: “Понимаете, вначале не получилось, а при втором заходе — всё о’кэй!”»

Эпизод в гастрономе уже не казался майору Иванову странным и непонятным — смысл операции дошёл до него, когда всё было закончено. «Это был финал задуманного высшим карательным органом страны преступления против писателя. Что я мог сделать? Оставалось только молчать — единственный вариант сохранить жизнь себе и своей семье». Потом будут гадать, как же это Солженицын остался жив? То ли задание было выполнено кое-как, то ли «объект» дёрнулся, и под кожу попала меньшая доза токсина, то ли яд, привезённый из Москвы, потерял в дороге свои свойства, то ли организм потерпевшего оказался сильнее яда, то ли случайно (и сам того не ведая) больной съел некий продукт, содержащий противоядие рицинину. И выжил, хотя планировалась именно «крышка». «Мы попали в Новочеркасский собор, — вспоминал А. И., — в день Пантелеймона-целителя. Я молился ему, и через полчаса меня укололи. Думаю, это он меня защитил, и яд не причинил того вреда, на который рассчитывали отравители». Только в 1994-м получит А. И. собственноручную записку Иванова с подлинными именами и фамилиями участников той операции и открыто назовёт их в «Зёрнышке».

Кто-то очень большой в лубянском ведомстве дал команду использовать яд для расправы с Солженицыным и вынес ему смертный приговор. Кто-то в те же самые августовские дни (это А. И. узнает позже) организовал «посещение» в Георгиевске тёти Иры Щербак. Кто-то тогда же, 12 августа, устроил вторжение в Борзовку: «В Рождестве в это лето жила моя бывшая жена, она была под доглядом своего друга (*их* человека), и в этот день гэбистам было гарантировано, что она — в Москве и не вернётся. А я — на юге». Приехав по просьбе (нужна была автомобильная деталь) только что вернувшегося из поездки на юг больного А. И., Александр Горлов столкнулся со взломщиками, которые что-то искали или что-то устанавливали в пустовавшем домике, был избит ими и едва не застрелен «при попытке к бегству». «Я рванулся, — вспоминал Горлов, — но тут острая боль пронизала всё тело: мне резко, с хрустом заломили руки за спину и, очевидно, ударили по голове. На какой-то момент ушло сознание, а потом я понял, что меня волокут в лесу: голова беспомощно болталась по земле, а мимо глаз проплывали какие-то сучья, листья, трава».

Его бы непременно убили, если бы, улучив момент, он не назвался иностранцем и на шум не сбежались соседи. Потом ему приказывали молчать, угрожали: «Если Солженицын узнает, считайте, что ваше дело кончено... Это отразит-

ся на вашей семье, на ваших детях, если понадобится — мы вас посадим» (его не посадят, но выдавят — сначала с работы, потом из страны).

13 августа Солженицын, больной и беспомощный, «разъярился здоровей здорового»; к концу дня его открытое письмо к Андропову уже передавалось западными голосами*. «Я требую от вас, гражданин министр, публичного поименования всех налётчиков, уголовного наказания их и публичного же объяснения этого события. В противном случае мне остаётся считать их направителем — Вас». Копия письма была послана Председателю Совмина Косыгину: за все перечисленные беззакония автор винил лично Андропова и требовал расследования. Результат превзошёл все ожидания. В те же дни на дачу Ростроповича позвонил «от министра» некий полковник Березин и чрезвычайно вежливо, даже галантно, заверял (с ним разговаривала Аля), что это — не *они*, это — *милиция*...

«Солженицыну, — докладывал Андропов в ЦК, — будет заявлено, что участие КГБ в этом инциденте является его досужим вымыслом, весь эпизод носит чисто уголовный характер, и поэтому ему следовало бы прежде всего обратиться в органы милиции. В целях нейтрализации невыгодных нам последствий считали бы целесообразным поручить МВД СССР утвердить версию “ограбления” по линии милиции». Спросить, по *какой именно линии* тёрлись возле него у прилавка гастронома двое в штатском и как следует лечить отравление рицинином, даже Солженицыну, хорошо изучившему почерк лубянских каллиграфов, не приходило тогда в голову, тем более что никакого *укола* в магазине он не почувствовал. Впрочем, вопрос о применении к нему «спецсредств» даже и двадцать лет спустя после покушения ведомство не комментировало, ссылаясь «на отсутствие сведений». Как сообщала в 1992-м газета «Совершенно секретно», получив официальный ответ на свой запрос, Солженицын А. И. (кодовое имя «Паук») с оперативного учета КГБ СССР снят, а 105 томов разработок на него уничтожены 3 июля 1990 года путём сожжения, ибо «утратили свою актуальность и не представляют оперативной и исторической

---

* В тот же день А. И. написал Горлову: «Хочу, чтобы Вы ясно поняли, и поверили мне, и доверились: только предельная гласность и громкость есть Ваша надёжная защита — Вы станете под мировые прожекторы, и никто Вас не толкнёт! Поэтому я взялся решить за Вас — сегодня же пишу открытое письмо Андропову и отдаю в самиздат. Постарайтесь мне поверить и убедить своих близких, что при всяком умолчании и сокрытии ОНИ, наоборот, тихо бы Вас задушили».

ценности». Если принять на веру эту версию, то причина загадочной болезни Солженицына летом—осенью 1971 года улетучилась из лубянских печей струйкой дыма.

...В те страшные недели А. И. записывал в «Дневнике “Красного Колеса”»: «*23 августа.* Не нахвастывался я, как непрерывно я работаю, не зная никаких кризисов. Но вот — трёхмесячный провал (потерял Рождество, глупо затеял поездку на юг, нелепо и тяжко заболел) — полная потерянность, и уже кажется: не только всю книгу, но и 2-й Узел вытяну ли когда-нибудь? Ощущение перешибленной жизни. *7 сентября.* Вот и месяц болезни. Еле-еле выползаю, еле-еле что-то завязывается в голове да книжки читаю прилегающие. А м. б., и в этой болезни откроется (уже открывается) некий углубляющий смысл, какое-то улучшение замысла?»

Заканчивался год, ощущение *перешибленной жизни* понемногу проходило, напрашивалось подвести итоги. Во-первых, он устоял против неведомой жестокой болезни (фактор яда никто, кроме Вишневской, тогда так и не заподозрил). Во-вторых, указ о высылке лежал под сукном и не был пущен в ход. В-третьих, попытка печатно разоблачить его по линии родственников (на что очень рассчитывала ГБ) провалилась: статья «Штерна», опубликованная осенью 71-го и чуть позже перепечатанная в «ЛГ», «вызвала в СССР не гнетущую атмосферу травли, как было бы в юно-советские годы, а взрыв весёлого смеха: такая трудолюбивая хорошая семья?!». А ещё случилась замечательная удача: Зубовы обнаружили у себя заначку с «Пиром Победителей», передали надёжным людям в Ленинград, туда и съездил А. И. летом, и снова была с ним его арестованная пьеса.

И самое главное: в конце октября, после долгого перерыва и болезни, случился новый *лавинный* день. «О, Господи, — писал он в дневнике, — не оставь меня чудесным этим, лучшим в мире состоянием. Ведь пять месяцев не пишу, это — небывалый у меня прорыв, после тюрьмы никогда так не было...»

Глава шестая

ДРЕМЛЮЩИЙ РОК: КУЛЬМИНАЦИЯ И РАЗВЯЗКА

Зимой 1971/72 года Солженицын по нескольким каналам был предупреждён («в аппарате ГБ тоже есть люди, измученные своей судьбой»), что готовится автомобильная авария, в результате которой он будет убит. Об этом же сообщила ему в Жуковке дочь министра МВД

Н. А. Щёлокова. Сам министр, вразрез с общей установкой, осенью 1971-го подал в Секретариат ЦК записку, содержание которой разительно отличалось от всего, что там привыкли читать. Текст попал к Брежневу; Леонид Ильич, подчеркнув множество мест, долго и как будто сочувственно держал её у себя.

Щёлоков писал, что Солженицын — «объективно талантлив»; его приняли в Союз писателей за «Ивана Денисовича», а исключили за «Раковый корпус», но ведь обе повести написаны с одних и тех же идейных позиций, так в чём же дело? Проблему Солженицына, утверждал министр, создали *администраторы в литературе*, повторив грубейшие ошибки, которые были допущены с Пастернаком: теперь поэта поднимают на щит, но зачем же было его губить? Призывая к гибкости, Щёлоков предлагал методы мягкие и деликатные; пусть писатель заявит на Западе (куда он должен ехать за премией), будто у него расхождения не с властью, а с коллегами по цеху, а это есть и всегда будет в литературе. «Солженицыну нужно дать срочно квартиру. Его нужно прописать, проявить к нему внимание. С ним должен поговорить кто-то из видных руководящих работников, чтобы снять с него весь тот горький осадок, который не могла не оставить травля против него. За Солженицына надо бороться, а не выбрасывать его. Бороться *за* Солженицына, а не *против* него».

Секретариат воспринял записку Щёлокова прагматично и обсуждал её лишь в одном аспекте: где должен жить Солженицын — в Рязани, где он прописан вместе с бывшей женой, в Жуковке у Ростроповича (но сколько же можно гостить?) или у фактической жены, где он не прописан. Спор решил Суслов (7 октября): «Надо посоветоваться с КГБ, как будет лучше — то ли выслать его за пределы Москвы, то ли ему разрешить проживать в московской квартире у новой жены, что обеспечит лучшее наблюдение за ним». Щёлоков, внушавший товарищам по партии ту истину, что «надо не казнить врагов, а душить их в объятиях», услышан не был.

События, однако, развивались так, что душить Солженицына в объятиях властям не пришлось: он не давал им опомниться. Выходили в самиздат и немедленно оглашались западным радио его речи, интервью, открытые письма. Каждое упоминание о нём в западной печати регистрировалось как «новая волна антисоветской кампании», в связи с чем собирался Секретариат и намечались «мероприятия по локализации». 15 февраля 1972 года в Москву приехал Генрих

Бёлль и заявил в Союзе писателей, что его цель как председателя ПЕН-клуба — встреча с Солженицыным. «В СП все эти дни паническая суета, — записывал Копелев, — как предотвратить встречу Бёлля с Солженицыным?» Копелеву внушали: «Они не должны встречаться. Неужели вы не понимаете, что это повредит всем? После этого у нас запретят книги Бёлля».

Но они встретились. «Мы с Аннемари и Генрихом у Солженицына. Блины. “Прощёное воскресенье”. За столом И. Шафаревич — математик, член-корреспондент АН... Генрих лучится радостью... О делах не говорим. С<аня> уверен, что квартира прослушивается: только пишем на отдельных листах, которые сразу уничтожаем» (Копелев). «Президент ПЕН-клуба Г. Бёлль, — докладывал Андропов в ЦК, — 20 февраля 1972 года имел в Москве продолжительную (около трёх часов) беседу с Солженицыным на квартире его сожительницы Светловой. Во встрече принимал участие член СП Копелев, исключённый из КПСС». Андропов рекомендовал секретариату СП провести беседу с Бёллем, чтобы тот «не связывал своё имя с действиями, которые могли бы нанести ущерб отношениям советских писателей с ним».

И всё же сыскари прозевали главное. Пока следили, как немец встречается с «известными своим антиобщественным поведением Л. Копелевым и Б. Окуджавой», а потом снова с Солженицыным, Бёлль своей личной подписью скрепил каждый лист завещания опального писателя. «Вторая их встреча — на нейтральной почве; всё очень конспирируем. С<аня> передал тексты своего завещания и ещё кое-что. Ни в первый, ни во второй раз я не заметил филёров; впрочем, у них есть электроника, издалека всё видят» (Копелев). Завещание Солженицына Бёлль увёз с собой: теперь судьба книг А. И. и его авторская воля были юридически защищены. Документ вступал в силу немедленно при явной смерти завещателя, его бесследном исчезновении (сроком в два месяца), заключении в тюрьму, психбольницу, лагерь. Охрана произведений поручалась фактической жене, Наталье Дмитриевне Светловой, которая после заключения с ней законного брака брала фамилию мужа. Ей же в распоряжение вверялся Фонд общественного использования, на нужды которого шло 85 процентов всех средств от зарубежных изданий. Статьи расходов были определены по приоритетам: помощь семьям политзаключённых, помощь лицам, лишившимся работы за свои убеждения. Завещание предусматривало: учреждение премии «Русской мысли», постройку храма Святой Троицы, восстановление храма Соловецкого монастыря,

создание Всероссийской мемуарной библиотеки, установку в местах бывших лагерей и тюрем памятников погибшим. «Это — не просто завещание, — скажет А. И. в «Телёнке», — но важный ход в будущей борьбе, это бесценное укрепление моей обороны, — оттого-то с весны 1972 такая и лёгкость: теперь только троньте меня!»

В сочельник 1972 года он услышал по западному радио рождественское послание Патриарха Пимена и понял, что обязан ответить. Почему призыв воспитывать детей в христианской вере относится только к дальней пастве, к эмигрантским семьям? Почему, имея своё взволнованное мнение по любому злу в дальней Азии или Африке, Церковь молчит о внутренних бедах? Почему так благодушна, будто служит среди христианнейшего из народов? «Церковь, диктаторски руководимая атеистами, — зрелище, невиданное за Два Тысячелетия... Какими доводами можно убедить себя, что планомерное *разрушение* духа и тела Церкви под руководством атеистов — есть наилучшее *сохранение* её? Сохранение — *для кого*? Ведь уже не для Христа. Сохранение — *чем*? *Ложью*? Но после лжи — какими руками совершать евхаристию?»

Заказное письмо, отправленное в Загорск Патриарху Московскому и всея Руси Пимену (лично) с обратным заказным уведомлением, было извлечено из почтового ящика Троице-Сергиевой лавры и, подтверждая обличительный пафос послания, доставлено в Совет по делам религии. Куроедов, председатель совета, минуя адресат, направил подлинник (!) письма в ЦК (в 1991-м парламентская комиссия Верховного Совета РСФСР извлечёт его вместе с конвертом из архива отдела пропаганды) с комментарием: «В настоящее время от имени управляющего делами Московской патриархии готовится специальное заявление с разоблачением клеветнических вымыслов автора этого письма для распространения за границей». Советский комитет защиты мира, облагавший Церковь денежными поборами в «интересах мира», также обратился в ЦК, предлагая организовать выступление в «Литературной газете» группы негодующих верующих. Совместными усилиями готовился в ЦК и проект «отпора» религиозных иерархов, участников движения за мир, Солженицыну.

Пущенное в церковный самиздат письмо Солженицына вырвалось в широкий мир мгновенно. «Как я потом узнал, оно вызвало у госбезопасности захлёбную ярость — бóльшую, чем многие мои предыдущие и последующие шаги». Письмо было расценено как подстрекательство. «Он призывает Патриарха принести себя в жертву против действий ате-

истического государства», — писали в ЦК Андропов и Руденко. Интеллигенция тоже недоумевала. После шести лет верного сотрудничества печатать письмо отказалась Люша: большие дозы православия образованным сословием не воспринимались. «Единосердечную поддержку, какою я незаслуженно пользовался до сих пор, именно “Август” и “Письмо” раскололи — так что за меня оставалось редкое меньшинство...»*

Письмо и споры вокруг него, нобелевский скандал, «Август», встречи с Бёллем вызвали у властей новую судорогу. Солженицын виделся законченным противником государственного строя. Его студенческие годы и военная биография выстраивались в один ряд. «Правильно сидел» — стало лейтмотивом партийных документов. «Один день» теперь трактовался как ловкая *маскировка* — автор просто притворился борцом с последствиями культа личности, а на самом деле отрицает революцию, коммунистическую идеологию и практику социалистического строительства. Был составлен новый проект указа о лишении гражданства и высылке. Обсуждались даже приёмы этапирования (старый план автомобильной аварии уступил место временному аресту и принудительной посадке в самолёт), операция намечалась на середину апреля — гнев общественности должен был достигнуть максимума. «В марте 1972 *нас же и предупреждали*, что именно так и будет: высылка через временный арест. Совершенно забыли...»

30 марта 1972-го, когда вопрос о Солженицыне решался на заседании Политбюро, в прослушиваемой квартире № 169 шла бурная жизнь. «Мой график был стремительней», — скажет А. И. Американские корреспонденты «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост», сговоренные через Ж. Медведева, пришли без звонка — их визит был засечён, но не предот-

---

* «Письмо» задело не только интеллигенцию. Были «смущены» и церковные диссиденты-правозащитники. Священник Сергий Желудков писал Солженицыну, что его послание обращено к человеку, который заведомо лишён возможности отвечать. «Полная правда заключается в том, что легальная церковная организация не может быть островом свободы в нашем строгоединообразноорганизованном обществе, управляемом из единого центра». Солженицын, отвечая о. Сергию, настаивал, что потеряна внутренняя стойкость Церкви, потеряна — иерархами, «чем выше — тем безвозвратнее». «Солженицын не понял, — скажет в интервью АПН сразу после высылки писателя о. Всеволод Шпиллер, — что любая политическая материализация религиозных энергий, которыми живёт Церковь, убивает Её, что, поддавшись такой материализации, Церковь перестаёт быть Церковью». В православных кругах на Западе письмо было встречено сочувственно.

вращён. Момент был рассчитан точно: в мае в Москве ожидался визит президента США Р. Никсона. «Интервью было в основном разветвлённою личной защитою, старательной метлой на мусор, сыпанный мне на голову несколько лет». 3 апреля Андропов докладывал: «Солженицын пригласил на квартиру своей сожительницы американских корреспондентов Роберта Кайзера и Хедрика Смита, с которыми беседовал в течение четырёх часов. Солженицын представил корреспондентам готовый текст ответов, объёмом приблизительно 25 машинописных листов, заранее определив характер вопросов, которые должны быть ему заданы. В самом начале сожительница Солженицына предупредила корреспондентов о том, что их разговор может подслушиваться, в связи с чем дальнейшее его продолжение велось в основном путём переписки».

Интервью появилось 4 апреля, молниеносно. Ответом властей и был отказ в визе Карлу Гирову. Раунд борьбы, оставив стороны в положении как будто ничейном (лауреату сорвали нобелевское мероприятие, но не смогли выслать из страны), дал писателю моральное преимущество и два года работы на родине. Власть, избегая персональной ответственности за высылку*, мстила как умела. 7 апреля в «Труде» и «Литературной России» была опубликована статья поляка Ежи Романовского, где «Август» осуждался за «неописуемое интеллектуальное высокомерие» и «покушение на правду истории», а 13-го Андропов уже располагал откликами интеллигенции. В отчёт попал и отклик Солженицына: «Я не понимаю, почему у них система — поручать всё время кому-то такое... Бёлль мне правильно говорил, что надо нам не отгавкиваться на всё. Раз пошло такое дело, что читает весь мир, то будут гавкать со всех сторон, изо всех нор. Не надо на это обращать внимания. Пусть пишут! История разберётся!»

12 апреля Солженицын свободным порывом обратился в Шведскую академию, выдвинув Владимира Набокова на Нобелевскую премию по литературе. «Это писатель ослепительного литературного дарования, именно такого, какое мы

---

* Характерен обмен репликами на заседании Политбюро ЦК (30 марта 1972 года). Косыгин: «Вопрос, связанный с Солженицыным, это частный вопрос. Солженицын перешёл все рамки терпимого, все границы, и с этими лицами (речь шла ещё и о А. Дзюбе, П. Якире и А. Сахарове. — *Л. С.*) должен решать вопрос сам т. Андропов в соответствии с теми законами, что у нас есть. А мы посмотрим, как он этот вопрос решит. Если неправильно решит, то мы его поправим». Андропов: «Поэтому я и советуюсь с Политбюро».

зовём гениальностью... Он совершенно своеобразен, узнаётся с каждого абзаца — признак истинной яркости, неповторимости таланта...» А заседание Политбюро ЦК 14 апреля началось с вопроса «О Солженицыне»: «Всё более нагло ведёт себя, пишет всюду клеветнические письма, выступает на пресс-конференциях» (Брежнев); «Его поступки остаются безнаказанными, поэтому он и ведёт так себя. Его, по-моему, надо выселять» (Косыгин). Но членов Политбюро терзал вопрос: правильно ли выбран момент? Всякий раз *момент* связывал руки. «Потеряв голову, опозорясь с нобелевской церемонией, власти прекратили публичную травлю и в который раз по несчастности стекшихся против них обстоятельств оставили меня на родине и на свободе» («Телёнок»). И только передавала Але М. В. Розанова-Синявская, что некий важный генерал КГБ выразился об А. И. вполне определённо: «Если не уедет добровольно — кончит на Колыме».

Но они без колебаний оставались дома.

В марте 1972-го А. И. съездил в Ленинград. С помощью Е. Эткинда и Д. Прицкера осмотрел Таврический дворец — зал заседаний Думы, куда его самого никто бы не пустил. А летом анонимно побывал в тамбовских краях — на этот раз под прикрытием товарища по шарашке Брыксина, местного уроженца; в областном архиве, где история «гибнет на полу сырого заброшенного храма и грызётся мышами», А. И. не допустили даже к старым газетам. В Тамбове попал на «Андрея Рублёва»: «При малом фонарике, в тёмном зале, на коленях делал записи, а тамбовцы смеялись и протестовали, что мешаю, и кричали: “Да тут шпион! Взять его!”»

Не взяли и там...

Но вот уже два года жёг «квартирно-милицейский кризис». Осенью они с Алей ждали рождения второго ребёнка, но А. И. числился мужем Решетовской и был прописан в Рязани: высылка угрожала разлукой с детьми и их матерью. А развод откладывался. В феврале 1971-го Решетовские (мать и дочь) поздравили А. И. с рождением сына. У Марии Константиновны это вышло искренно и сердечно: «Как бы обрадовалась твоя мама, взявши на руки внучонка. Ведь это такое счастье! Пусть будет твоё отцовство радостным и благополучным». Наташа писала в своём обычном стиле: «Благодарю Бога, что все проявления моего отчаяния не помешали произойти событию, которого ты так хотел». А. И. отвечал: «Почему, в самом деле, рожденье моего сына, внука моего отца, должно было оказаться для тебя заклятьем или концом света?.. Пусть отчаяние отступит от тебя, пусть тебе будет светлей!» И, умягчённый её дружелюбием, напи-

сал опрометчиво: «Я буду стараться, чтоб тебе было лучше, чем в прошлые месяцы».

На эти слова, как на крючок, он и был вскоре пойман. В конце февраля Наталья Алексеевна передала ему ультиматум на 12 страницах-простынях, с цитатами из Бердяева, Шекспира, Ницше, Герцена, Экзюпери и Солженицына. В «дурной бесконечности мук и страданий» она винила *тех* (подразумевалась Светлова), кто «раскинул перед ним соблазны» и «непомерно прославлял его». «Дай мне паузу! — требовала она. — Остановись в своём наступлении на меня!.. Ослабь узел! Прими на себя и на *неё* какую-то толику жертв». В понятие «паузы» входило категорическое условие: пока она, Н. А., не найдёт свою синюю птицу, он не должен бывать с матерью Ермолая в общественных местах и представлять её своей женой. За собой Н. А. оставляла право называть его на людях и в переписке *своим мужем* и просила несколько месяцев, чтобы «переплавить любовь в дружбу». Пока речь не шла, чтобы он был «только отцом» и не был «ничьим мужем», но ожидалось и это.

А. И. слышал в письме крик раненого, сокрушённого человека и чувствовал, что должен пожалеть её, дать надежду. Но какую? Он уступил. «26. 2. Открылся Але, что бросить Н<аташу> не могу — долго не смогу, даже и в случае кризиса (то есть в случае высылки ехать с Н. А. — *Л. С.*). Она приняла удар, поняла: не могу разбивать совесть, без этого не жизнь, не говоря о радостях». «За свои ошибки надо платить, — писал он в марте 1971-го Мусе Крамер, маминой подруге. — Женщину в 52 года — как бросить? Совесть не позволяет. Но никакого счастья у меня с ней невозможно. Даже тихие ровные отношения вряд ли возможны из-за пилообразности её настроений, истерии».

Но скоро стало ясно, что тактика уступок бессмысленна. Весной 1971-го Н. А. полтора месяца была в Ленинграде, у Эткиндов, потом в Крыму, у Зубовых, рассказывая повсюду, что «угар» её мужа «проходит», что «он изжил своё отцовство» и возвращается к ней. Зубовы писали Сане, что Наташа — всё тот же «котёл злости». И он сам, сквозь пелену жалости, отчётливо видел её криводушие, планомерность требований, обдуманный расчёт. «Рвётся к реваншу и мстительной реставрации, “новому режиму”... Низкое истолкование моей жалости и уступок. Закрыла дорогу... Не забывать, что двулична, скрытна, расчётлива — *не попадаться*!.. Почему я ведо́м жалостью, а не Долгом? Она меня заразила своей истерикой... Не давать замыкать себя в этом курином яйце — *вырываться*! Только твёрдость помогает... Обнадё-

жить — всё ухудшить». В мае, прозрев окончательно, записал: «Новое соединение с ней было бы гибельно для меня, *двойной* тюрьмой, цепью ужасов».

Лето 1971-го Н. А. провела в Борзовке, рассказывая знакомым, что муж, окружённый «тридцатилетними серостями», омещанился, опустился, но скоро опомнится и вернётся к ней, и тогда она сама займётся воспитанием Ермолая, а его отца вытащит из душевной бездны, вернёт ему доброе имя. Градус раздражения не снизился даже тогда, когда она узнала об ожоге А. И. и налёте на дачу («муж раздул его для сенсации»). Она рвалась в Жуковку, где лежал Саня, но получила категорический запрет. Едва выздоровев, А. И. дал ей знать: «Пришло время что-то решать, тот или другой путь. Миновали все отсрочки, которые я тебе обещал, и даже больше».

Всё повторилось. При встрече она заявила, что угрозой развода снова поставлена на грань самоубийства. Предложила ему жить на две семьи (кроме того, просила дать ей время пожить *свободно*, как жил он сам, то есть неразведённой, но с мужчинами). На суде (29 ноября 1971-го) ответчица держала речь, обильно уснащая её цитатами из мужниных писем разных лет, говорила о крахе своей жизни, о потере веры в человека, об одиночестве. Супругов не развели, отложив слушание дела на полгода «для примирения». Хотя А. И. заморозил все отношения с ней на оговоренный судом срок, изматывающие объяснения, в которых рвалось принимать участие множество разного народа, продолжались.

Статья в «ЛГ» (по мотивам «Штерна»), откуда мимоходом вылезло, что Решетовская оставила мужа, пока он был в лагере, и сошлась с другим, заставила её срочно искать публичности. Так возник союз с журналом «Вече», взявшим под своё крыло «русскую жену» писателя. Подразумевалось, что вторая жена «нерусская» и потому их ребёнок — «ахиллесова пята» Солженицына. В знак благодарности Н. А. отдала в «Вече» две главы своих мемуаров, самовольно использовав архив мужа и письма третьих лиц. «Она спешила при мне живом публиковать обо мне воспоминания и не пощадила, открыто напечатала, что Зубовы были самые близкие мне в ссылке, читали все мои лагерные вещи и были хранителями “Круга”» («Телёнок»).

Судебное заседание, назначенное на конец мая 1972-го, было перенесено по заявлению Н. А., якобы в связи с отъездом. «Несколько недель недостойных увёрток тебе не помогут. За эти полгода ты потеряла гораздо больше, чем то, за чем гналась», — писал ей А. И. За десять дней до суда она

оставила на даче письмо для «Санечки», где объявляла себя русской националисткой, верующей христианкой, всеми поступками которой руководит Всевышний. Вину за семейную трагедию, «равную шекспировской», Н. А. возлагала на «еврейское окружение» мужа, которое «разложило его лестью», «купило в большом и в малом». «Ни одна истинно-русская христианка не способна была бы причинить столько страданий другой русской женщине... Да ещё с таким хладнокровием, спокойствием, методичностью (я имею в виду, в частности, ещё и второго зарождённого ребёнка)», — писала она. Отныне Н. А. ощущала свою миссию в том, чтобы указать мужу путь покаяния: «Откажись от развода, если ты хочешь остаться в веках истинно русским писателем!»

Он был оглушён тоном её письма, написанного с чужого голоса, ошеломлён фальшью «внезапного русского национализма», неведомого ей до 1970 года. «Всё это, Наташа, тоньше, сложней и промыслительней, чем бывает в партийных лозунгах, дух и вера далеко не всегда и не однозначно определяются кровью. Путь голой воинственности — бесплоден, не соберёшь на нём духовного урожая».

Суд состоялся 20 июня 1972 года. Н. А. не претендовала на бывшего мужа как на мужчину или спутника жизни, разрешала ему жить с новой семьёй, но требовала, чтобы суд учёл её желание числиться женой *только по паспорту*, ибо «разрыв бумажки» — смертный приговор. Солженицын в плохих руках, говорила Н. А. суду: *та* женщина «безжалостно зачала второго ребёнка, не дав мне прийти в себя от всего ужаса, связанного с рождением первого!». Однако суд, пойдя навстречу истцу, а также впечатлившись имущественной стороной развода (за женой оставались квартира в Рязани, новая машина, гараж, денежные сбережения, добровольно переданная истцом четвёртая часть Нобелевской премии), вынес решение о расторжении брака.

Она выбежала из зала суда с громкими рыданиями, не дослушав пункт о праве на апелляцию, бросилась на дачу... и устроила «похороны любви». «Положила в полиэтиленовый пакет Санину фотографию и недалеко от скамеечки под ореховым деревом выкопала могилку. Присыпала любимую фотографию землёй, грани обложила гвоздиками, а из листьев травы выложила дату расставания: 20.6.72. Сане об этом я ничего не сказала». Через несколько дней А. И. приедет на дачу, станет косить траву, коса упрётся в нечто... «Обкопать, взрыхлить и украсить "могилу" на живого человека, да ещё там, где он живёт, — не христианство, а ведьмовство... Вот и видно, какой "всевышний" тебя ведёт», — напишет он ей.

Андропов пристально следил за ходом дела; собственно говоря, «контору» угнетало то обстоятельство, что разведённый Солженицын вот-вот оформит брак со Светловой и пропишется к ней. Но Решетовская подала кассационную жалобу, а суд областного уровня отменил решение райсуда и направил дело на новое рассмотрение. «Нам известно, что Решетовская и её адвокат в настоящее время подготавливают материалы, которые поставят под сомнение основной аргумент Солженицына, выдвинутый для развода, — образование второй семьи, наличие внебрачного сына и ожидаемое в ближайшее время рождение второго ребёнка, — сообщал Андропов. — Действия Солженицына, Решетовской и адвоката Комитетом госбезопасности контролируются».

Какие материалы могли стать аргументом против малолетнего сына истца и беременности его фактической жены, Решетовская уже знала: хозяйственные бумажки с дачи. Эти «улики» (посевной план, список расчёта с молочницей и т. п.) Н. А. украдкой увезёт с дачи и предъявит суду как доказательство, что её муж живёт именно с *ней*, а не с новой семьёй. Тот факт, что истец много месяцев помогает ответчице материально и заботится о ней по-человечески, суд воспринял как несомненное свидетельство совместного ведения хозяйства и активной супружеской жизни.

Солженицын послал жалобу в Верховный суд СССР. «Дальнейший ход событий взят на контроль», — докладывали Андропову из отдела административных органов ЦК 1 сентября. Дело «проверялось» в Верховном суде; адвокат Решетовской, вчерашняя студентка, действовала под диктовку заказчиков (приехав с Н. А. в Жуковку, она признается Солженицыну, в присутствии Вишневской, что на Лубянке ей угрожали, обязали не только любой ценой предотвратить развод, но и дискредитировать А. И. в глазах его друзей). А. И. получал дикие письма от «обеспокоенных его судьбой» дам, с дерзкими поучениями и наставлениями. Взвинченно требовала встречи с «соперницей» и Решетовская: «Вы не пожалели меня. После рождения ребёнка Вы снова стали любовницей моего мужа и зачали второго ребёнка...» (А. И. холодно ответит, что *своей жене, уже два года, непрерывно*, а не «снова любовнице», он передаст письмо только после родов). «Когда во всех перипетиях развода, проходившего у меня на глазах, — пишет Вишневская, — я однажды зашла к Але, беременной на последних неделях вторым ребёнком, чтобы успокоить её после суда, когда Солженицына снова не развели — она с посиневшими губами, с болями в животе, только сказала: “Ну, зачем он всё это затеял? Я же гово-

рила ему — будем жить так. Мне ничего не нужно. Ведь ей нелегко, я всё понимаю...”» Истинную причину, по которой Н. А. хотела остаться женой *по паспорту*, она, не таясь, назвала Вишневской (та спросила — как можно желать себе столь унизительного положения?): «Если его вышлют из России за границу, с ним тогда поеду я».

23 сентября 1972 года Аля Светлова родила сына Игната. «Опять радостный удар и гордое ощущение: сын*овья*! Это тебе — не сы*н* один, — писал ей А. И. — В час, когда ты рожала Игната, стояла выше всех сосен полная луна, небо чистое и торжественная умеренно прохладная строгая ночь». Он был счастлив, мечтал ещё о Филиппе, Тихоне, Степане, Настеньке... «Ладочек, родимый мой, правда: как хорошо, что ты не устаёшь рожать! Как *надо* мне к ряду романов пристроить ряд детей... Пятерых сыновей и двух дочерей, если Бог даст — надо брать, Ладочка, сердечко мое! (Брать, но — чтоб не они тебя брали, ты — чтобы осталась мне, разменять тебя на детей не хочу!)»

А потом случилось непредвиденное — 18 октября они встретились втроём: Солженицын, Решетовская и Светлова, едва оправившаяся после родов*. На следующий день Н. А. написала заявление в Верховный суд: «В связи с тем, что у Н. Д. Светловой родился второй ребёнок от моего мужа, из сочувствия к ней, я даю согласие на расторжение нашего брака». Светловой вместе с копией заявления тоже было послано письмо: «К решению, о котором Вы узнаете из заявления, я пришла потому, что узнала Вас и в Вас поверила. К нему привели меня Ваши печальные глаза, в которых я многое прочла, и последние Ваши слова, ко мне обращённые. Произойди всё это раньше, — не было бы этих двух кошмарных лет, которые, как я поняла вчера, из нас двух не одной мне принесли страдание. Из-за сложных отношений с Александром Исаевичем в последние годы я потеряла веру в людей. Я надеюсь через Вас её вернуть. Если друзья спросят меня, почему я дала согласие — у меня будет один

---

* За оказание помощи Н. Д. Светловой при родах главный врач родильного дома доктор медицинских наук М. С. Цирульников был исключён из партии, освобождён от должности и от педагогической работы в медицинском институте. На районной парткомиссии ему, как рассказал сам Цирульников, было заявлено: «Раз вы дали родить жене Солженицына, пусть и неофициальной, значит, вы дали родиться ребёнку врага народа, политическому врагу. Вы совершили сознательное преступление. Вы коммунист, руководитель учреждения, вам партия и правительство доверили такой пост, а вы вот что делаете». Но и после увольнения доктора долго не оставляли в покое, и в 1977 году он эмигрировал во Францию.

короткий ответ: после знакомства и беседы с Вами. И ни слова больше».

Аля, опасаясь «качелей» в настроении Н. А., ответила сдержанно: «Искренне радуюсь тому, что Вы, по-видимому, оставляете путь, сопровождавшийся тяжёлыми, быть может, необратимыми душевными потерями. Если в самом деле, как Вы пишете, я могла способствовать облегчению Вашего состояния, — не сомневайтесь в моей доброй воле».

Несмотря на заявление ответчицы Верховный суд молчал четыре месяца, а 30 ноября утвердил решение областного суда — не давать развода. Андропов докладывал: «Все возможности по дальнейшему затягиванию бракоразводного процесса Солженицына с Решетовской исчерпаны. В ближайшее время дело вновь будет рассмотрено в народном суде г. Рязани и решено в пользу Солженицына». Неожиданно «затягивание» получило новый импульс. 14 декабря, когда бывшие супруги явились в районный загс с заявлением о разводе по взаимному согласию, чиновники отказались принять документы: фамилия «Солженицын», как и два года назад, парализовала их волю к исполнению служебных обязанностей. После жалобы А. И. в городской загс документы всё же были приняты, а расторжение брака назначено на 15 марта 1973 года.

Но пришлось пережить ещё болезнь (запущенный рак) и смерть М. К. Решетовской в январе 1973-го: А. И. помогал с лекарствами, был на похоронах, а потом услышал от Н. А., что он — «палач, убивший её мать» (Мария Константиновна при последнем свидании с зятем сказала: «Как страшно мне, чтó Наташа наделает без меня»). Н. А. требовала встреч, доступа в Жуковку, порывалась «выяснить всё до конца», добиться, чтобы «забрезжил свет из будущего». Она снова называла развод «смертью заживо», но торопилась освоить многообещающие пространства «вдовьей» жизни. Яростная статья, которую по собственной инициативе она написала и распространила через АПН, была вручена (сюрприз!!) теперь уже бывшему мужу с автографом («моему *вечному* возлюбленному, моему чёрно-белому королю...») в тот день, когда их таки развели через загс, хотя всё висело на волоске и могло сломаться в последнюю минуту. «Развод есть, но так тяжело он дался, что даже облегчения нет, а только измаранность и гадливость, — писал А. И. Мусе Крамер. — Сейчас, сразу после развода вот это одно я испытываю: омерзительную усталость, горечь, что я так плохо распорядился большею частью своей жизни — и этого нельзя исправить».

Этого нельзя будет исправить долгие, долгие годы.

После развода, досадуя на свой добрый порыв 18 октября, Н. А. вновь поддалась злому вихрю. Она слала «Санюше» бешеные письма, бросала неистовые обвинения, называла себя безутешной *вдовой*, у которой *украли* мужа, гневалась на «соперницу», в которой «так ошиблась»*, едко намекала, что «при Светловой», за два с половиной года, *он* «ничего не написал». Уязвить *этим* А. И. было невозможно. Та внешняя сжатость, в которой он пребывал два последних года, считая их ещё относительно спокойными, мало повлияла на труднейший «Октябрь». Роман, в согласии с *законом сгущения кризисов*, писался и горячо, и обстоятельно, и динамично, и вдумчиво; автор прорывался к нему в каждую свободную, мирную минуту. Дневник романа, заполнявшийся так регулярно, как только позволяла жизнь (то есть не всякий день, но по многу раз в каждый месяц), доказывал: Солженицын — суть его работа. «Сейчас, — записывал он 15 марта 1972 года, — недели на три или даже на месяц прервался... *И едва прошло несколько дней без прямого писания — отдалась в голове такая усталость, такая лень мозга, что даже бумажки на столе трудно рассортировать. А пока ежедневно работал — была прекрасная бодрость*» (курсив мой. — *Л. С.*). Пока не оставляло его спасительное ежедневное писание, он был глубинно, победно недосягаем для угроз, сплетен, инфернальных порывов, неистовых писем, злой и мстительной воли. Всё это вычитало силы, мутило сердце, иссушало ум, ранило душу, сжигало время, — но лишь постольку, поскольку он был лишён мужского цинизма и, как мог, укрощал в бывшей жене беса ненависти и мести. На фоне слежки, ожога, премиальных и разводных сюжетов, рождения детей, скитаний и дёрганий его творческое сознание работало так, будто злоба дня не различима и не сфокусирована, будто он скрылся в дымке и замер, пережидая, выигрывая время для «Р-17». «Утройте меня или утройте мне время — и я утрою!» — восклицал он в дневнике. Только теперь он был не одинок: торжество «побега» в полной мере делила с ним, удваивая и утраивая его время, Аля Светлова.

---

* На упрёки, адресованные не только А. И., но и Н. Д., та отвечала (18 марта 1973 года): «Мои слова были совершенно искренни. И обращены они были не только к Вам, но к Богу, знающему, в чём истинная вина и в чём искупление, лживо сердце или сокрушено. Я говорила — так. По-видимому, Вы не услышали. И вину А. И., хоть она и давнее меня в его жизни, — тоже делю. Но Ваше настойчивое "украла" — не беру на себя, нет. Я не отнимала у Вас любви А. И. Ни добрых отношений. Ни сотрудничества. Это — до меня и без меня».

20 апреля 1973 года они зарегистрировали брак, и Аля, как было сговорено, стала Солженицыной. Теперь в оперативных донесениях её больше не называли унизительным словом «сожительница». Теперь, в случае высылки, А. И. уже не могли разлучить с семьёй. 11 мая в храме Ильи Обыденного, там же, где был крещён их первенец, они обвенчались; это событие не имело отношения к квартирно-милицейскому кризису, но отвечало глубокой душевной потребности супругов. То, чего так опасался Андропов, случилось: Солженицын получил законное право прописаться к семье. Однако закон, общий для всех, относился к нему капризно и увёртливо. На следующий день после регистрации брака А. И. подал заявление на прописку. «Вот тут-то новый начальник паспортного отдела города Москвы Аносов у себя в министерстве, с любезной улыбкой объявил мне *лично от министра*: что “милиция вообще не решает” вопросы прописки, а занимается этим при Моссовете совет почётных пенсионеров (сталинистов): рассматривает политическое лицо кандидата, достоин ли он жить в Москве. И вот им-то я должен подать прошение». Через четыре месяца милиция и МВД официально отказали ему в прописке. «Я пользуюсь случаем напомнить Вам, — писал он министру МВД Щёлокову 21 августа, — что крепостное право в нашей стране упразднено 112 лет тому назад. И, говорят, Октябрьская революция смела его последние остатки. Стало быть, в частности и я, как любой гражданин этой страны, — не крепостной, не раб, волен жить там, где нахожу необходимым, и никакие даже высшие *руководители* не имеют владельческого права отторгнуть меня от моей семьи».

Подробно разъяснил позицию КГБ и Андропов. Во-первых, проживая в Москве на законном основании, Солженицын становится центром притяжения недовольных лиц. Во-вторых, он и раньше использовал квартиру своей жены для встреч с иностранцами, получив же прописку, будет делать это более интенсивно. В-третьих, «нельзя не считаться с мнением СП СССР о нежелательности проживания Солженицына в Москве». В-четвёртых, его поведение «вступает в противоречие с положением о прописке в Москве, и удовлетворение его демонстративных требований неизбежно нанесло бы политический ущерб». «Было бы целесообразным, — настаивал Андропов, — чтобы в случае обращения Солженицына в Моссовет ему был бы дан примерно следующий ответ: “Моссовет рассмотрел вашу просьбу о прописке и не может разрешить её вам, поскольку до последнего времени вы не прекращаете антисоветскую деятельность. Москва —

город со строгим режимом, из которого за подобное поведение люди выселяются"».

Бездомность Солженицына становилась вопиющей. Переписал на бывшую жену, по её настоянию, дачу в Рождестве (мог там работать лишь краткое время). Простился с Жуковкой — чтоб не заедать жизнь великодушных друзей. Ростроповича отстранили от Большого театра, лишили заграничных гастролей, запретили столичным оркестрам приглашать его как дирижёра, не давали залы Москвы и Ленинграда для сольных концертов. Вишневскую не пускали на радио и телевидение, её имя запрещалось упоминать в прессе. «Около нашей дачи, ни от кого не таясь и не прячась, КГБ установил дежурство — чёрная "Волга", а в ней несколько человек. Проезжая мимо них, Слава им сигналил как старым знакомым» (Вишневская). У хозяев не было претензий к гостю. «Не желая подвергать нас ответственности за происходящее в нашем доме, он, — пишет Галина Павловна, — никогда не встречался в Жуковке с иностранными корреспондентами, а когда те внезапно появлялись, просто не открывал им двери. Жил отшельником и никого, кроме самых близких людей, не принимал у себя».

Уезжая (14 мая 1973-го), А. И. благодарил друзей за годы спасительного приюта, где ему так замечательно работалось. «Хотелось бы глянуть, кто б ещё из прославленной нашей интеллигенции, которая за чайным столом так решительно обо всём судит, ещё решительнее осуждает и "не прощает", — кто бы из них проявил хотя бы долю вашей смелости и великодушия». Спустя 11 лет Солженицын снова напишет друзьям: «Без ваших покровительства и поддержки я бы тех лет просто не выдержал, свалился... Вы с таким тактом берегли моё одиночество, даже не рассказывая о нарастающих стеснениях... В общем, Вы создали мне условия, о которых в СССР я и мечтать не мог... Вы заплатили за это жестокой ценой, и особенно Галя, потерявшая свой театр невозместимо. Этих потерь мои никакие благодарности не покроют...»

И правда, Ростроповичу и Вишневской его отъезд уже не мог помочь — инерция мщения выдавит их из страны чуть позже Солженицына. А в опустевшую Жуковку пожалуют пятеро в штатском. Предъявив удостоверения, пройдут к веранде флигеля и, не стесняясь домоправительницы, поднимут ковёр в углу, отодвинут доски и вытащат из-под пола большой железный ящик; *здесь* он был больше не нужен.

В Фирсановке, где была снята летняя дача и где поселился А. И. с женой и детьми (к осени в семье ожидался третий

малыш), стоял грохот. «Все обстоятельства стеклись на новом месте неблагоприятнейше для работы — записывал А. И. 28 мая 1973 года. — Хуже всего — самолёты на бреющем полёте узкой полосой именно над нашим участком, днём и ночью, иногда в сутки сотнями. Сначала я совсем подавился и растерялся. Но потом вспомнил: я ж и на фронте писал, и тем более писал в лагере, а что ещё предстоит? Слишком я расслабился у Ростроповича...»

Но шум самолётов — это была не самая большая беда. Тактика *затягивания* сменилась тактикой *запугивания*: посыпались анонимные письма с угрозами расправы. 2 июля А. И. отправил копии двух бандитских анонимок в КГБ: «У меня нет досуга вступать с вами в детективную игру. Если данный сюжет будет иметь продолжение в виде новых эпизодов, я предам публичности как его, так и предыдущие приёмы вашего ведомства в отношении моей частной жизни». Через три недели позвонил тот самый полковник Березин, который в 1971-м от имени Андропова уверял, что в налёте на дачу виновна милиция. Теперь он тоже рекомендовал обратиться в милицию. После небольшой паузы в конце июля пришла ещё одна якобы уголовная «малява»: «Теперь обижайся на себя. Прави́лку сделаем». Но зэк Солженицын анонимщикам был не по зубам. «Характерная терминологическая ошибка, — успокаивал он Алю, — *правилкой* называется суд и расправа над *своим* (изменившим, провинившимся), но никогда не над “фраером”. Это не урки писали». Но Аля и сама догадывалась, кто эти «урки»: «Я уверена на 100%, что всё это — ГБ... Мама тоже совершенно убеждена в этом. Однако — они не могут же оказаться в наших (твоих) глазах настолько уж дешёвками, чтобы даже и не пугать, после предупреждения».

Это было слабое утешение. Малые дети, женщина на сносях, её пожилые родители представляли собой слишком лёгкую добычу, даже если бы «урки» явились сюда просто попугать. Успокаивая мужа, Аля писала ему в Рождество: «Мама настроена очень воинственно, будет драться в прямом смысле, я — намерена не драться, разумеется, но мужественно встретить любую ситуацию». Но ситуация, даже и без бандитов, была аховая: беременность осложнилась угрозой преждевременных и опасных родов, которые могли начаться от резкого движения, усталости, испуга. «То было тяжёлое у нас лето, — напишет А. И. — Много потерь. Запущены, даже погублены важные дела. Своих двух малышей и жену в тяжёлой беременности я оставлял на многие недели на беззащитной даче в Фирсановке, где не мог работать из-

за низких самолётов, сам уезжал в Рождество писать. Поддельные бандиты или настоящие, только ли продемонстрируют нападение или осуществят, — ко всем видам испытаний мы с женой были готовы, на всё то шли».

В те дни родились у А. И. отчаянные, трагические строки — о ежечасной готовности к смерти. «И жена моя вышла за меня замуж в том же сознании и в той же готовности: не уступив, умереть в любую минуту. Призывая мир противостоять насилию, хорош бы я был, если б уступил страху, что убьют кого-то из нас. Мы не поддадимся ничьей угрозе — от тоталитарного ли правительства или от левых банд». Но «урки» — отступили, строки — достались мемуарам... Менее всего это был урок жестокости (позже многие не раз упрекнут Солженицына «слезинкой ребёнка»: бодался с властью, не жалея собственных детей). Побывав не раз в шаге от смерти, он не бравировал бесстрашием, не вёл показательных сражений под лозунгом «чем хуже, тем лучше». Борьба с властью, вопреки распространённому заблуждению, вообще не была ни его основным занятием, ни профессией, ни призванием. Но если власть не давала дышать, то есть писать, а он всё равно писал и не писать не мог («я — это моя работа»), каждый его вздох и каждая его страница грозили роковым поединком. Аля приняла это как данность и всецело доверилась их общей судьбе. И пока что рок дремал...

Лето 1973-го было временем потерь. В мае скончался благодарный читатель «Ивана Денисовича» Вениамин Львович Теуш. Весной (ещё в Жуковке) были Сахаров с женой, сообщили о своих планах уехать за границу. В середине лета приезжал Синявский знакомиться-прощаться. «И тоской обдало, что всё меньше остаётся людей, готовых потянуть наш русский жребий, куда б ни вытянул он». А пока что русский жребий грубо коснулся Чуковских. «Комитет госбезопасности, — докладывал Андропов в ЦК 27 ноября 1972 года, — располагает данными о том, что член Союза писателей СССР Чуковская Л. К. и её дочь Чуковская Е. Ц. продолжают оказывать активную поддержку Солженицыну в его антиобщественной деятельности... готовят так называемый “Сборник” читательских отзывов о романе “Август Четырнадцатого”... Комитетом госбезопасности принимаются меры к пресечению распространения “Сборника” и компрометации его составителей».

Меры не заставили себя ждать. В конце 1972 года «неизвестный» среди бела дня напал на Люшу в пустом парадном её дома, где почему-то не оказалось всегдашнего швейцара, повалил на каменный пол и стал душить. Она растерялась,

не закричала, но в подъезд вошли соседи, и она смогла вырваться. «Неизвестный» убежал. Милицейское расследование ни к чему не привело. А 20 июня 1973-го, одновременно с атакой анонимных «бандитских» писем на семью Солженицына, на Садовом кольце грузовик (водитель — служащий *специальной* воинской части) вдруг ударил по такси, в котором ехала Люша. Она болела почти год, едва оправилась, водителя не наказали (Люша, жалея его детей, за него хлопотала), А. И. сокрушался, что удар нанесён как последнее предупреждение.

Удавку набрасывали и на его шею. В те июньские дни в ЦК валом шла информация из КГБ: Солженицын призывает к организованному противодействию государственным органам, переходит к активным формам деятельности, внушает одиннадцатилетнему пасынку, что надо биться с правительством и ничего ему не уступать. Сообщалось о «нелегальной, подрывной работе», о единомышленниках в Крыму, Рязани, Тамбове, Новочеркасске и особенно в Ленинграде. Назывались имена: Эткинд, Самутин, Воронянская, Пахтусова. К середине июля КГБ собрал серьёзный компромат. В Ленинграде, на квартире Пахтусовой, были обнаружены «Воспоминания» её подруги Воронянской, в которых (подарок следствию!) мемуаристка излагала историю создания «Архипелага ГУЛАГ», пересказывала его содержание и называла современников автора — тех, кто находится «под воздействием его могучего духа».

Фрагменты «Воспоминаний», подобранные Бобковым, вместе с докладом Андропова были представлены в ЦК. 4 августа Пахтусову и Воронянскую арестовали в Ленинграде на перроне Московского вокзала, разъединили и поехали на квартиру к Пахтусовой производить обыск. Искали не зря — было изъято 192 документа политически вредного характера. Среди них дневник хозяйки, где, помимо восторженной оценки «Архипелага» («Такой книги ещё не было ни разу в истории человечества... Это боль, слёзы, рыдания, гнев, молитвы, кличи пророка, Евангелие XX века!»), содержались сведения о хранении копий текста у близких знакомых автора. Особое внимание Андропова вызвала дневниковая запись Пахтусовой о том, как волновалась Воронянская, узнав, что А. И. собирается публиковать «Архипелаг». «Он решил, — размышляла Пахтусова, — если уж погибать, то по крайней мере за изданную книгу, которую уже нельзя будет ни изъять, ни уничтожить — ведь её издадут за границей».

Пятеро суток шли допросы. Спустя месяц Андропов проинформирует ЦК об успешной работе его ведомства с дву-

мя пенсионерками, разделявшими взгляды Солженицына. «Воронянская по результатам обыска была допрошена и дала показания о характере знакомства с Солженицыным, поручениях, которые она выполняла по его просьбе (печатала на пишущей машинке), подробно рассказала о содержании романа “Архипелаг ГУЛАГ”. Прибыв с допроса домой, Воронянская пыталась покончить жизнь самоубийством, но принятыми мерами эта попытка была предотвращена. В дальнейшем Воронянская пояснила, что причиной к этому послужил тот факт, что она дала показания, направленные против Солженицына. Воронянская была помещена в больницу для приведения её в нормальное состояние, однако, будучи выписанной оттуда 23 августа 1973 года, находясь в своей квартире, покончила жизнь самоубийством через повешение». Разлагающийся труп обнаружили в комнате только четыре дня спустя; портрет Солженицына на столе был окружён огарками свечей, зажжённых накануне... Несколько знакомых пришли её хоронить, получив приглашающие открытки...

Солженицын обо всём этом ничего не знал, никакого сообщения ни от кого в августе не получал, и о том, что Елизавете Денисовне может угрожать что-то серьёзное, не думал. Осенью 1972-го она прислала красочное описание, как при облетающей листве они с Самутиным разожгли костёр и как она рыдала, когда горела машинопись «Архипелага». В утешение А. И. писал ей, что скоро, весной 1975-го, издаст и подарит настоящего «Архипа». На самом деле в том костре ничего не горело, потому что и не сжигалось. Воронянская, страстно желая сохранить свой экземпляр (вдруг окажется последним?), отдала машинопись Самутину, просила закопать на даче, но обманул и он — не закопал, а хранил на чердаке вместе с «Кругом»-96. На допросе с пристрастием Воронянская выдаст имя хранителя, а хранитель, когда его вызовут *туда*, сам отдаст искомое.

То, что случилось в конце августа — начале сентября 1973 года в жизни Солженицына и на советской общественной арене, он назовёт «встречным боем» — то есть таким видом боя, когда обе стороны, не зная о замыслах друг друга, сталкиваются внезапно. «Такой вид незапланированного боя считается самым сложным: он требует от военачальников наибольшей быстроты, находчивости, решительности и обладания резервами». Арсеналом *той* стороны были аресты двух женщин и тайно схваченный «Архипелаг», на крючок которого рассчитывали поймать и автора. «ГБ надеялось глодать и грызть свою добычу втайне от меня», — скажет

Солженицын, но тайна вышла наружу. Вести о смерти Воронянской (она считала себя Иудой, предавшей невинных людей) и о её похоронах дошли по цепочке: родственница Дуня — Самутин — Эткинд — Копелев; 30 августа Лев позвонил из Ленинграда Е. Ф. Светловой: «Скажите Сане, что умерла Елизавета Денисовна. Это было ещё 24-го, но никто не знал. Похороны завтра». 30 августа Андропов выступал на заседании Политбюро: «Мы будем вызывать Солженицына и предъявлять ему обвинение в преступлении против Советской власти». Но по цепочке — через Копелева, Эткинда, Вяч. Иванова и Люшу — Солженицын уже 2 сентября узнал, что «Архипелаг» схвачен*. С этого момента орудия противника стреляли вхолостую. «3-го днём еду в Москву к Але. При двух наших малышах она ждёт третьего, Стёпу, на самых этих днях. Говорю: "Ведь надо взрывать?" Она бесстрашно: "Взрываем!"»

План атаки и хроника боя впечатляли. Подготовка была начата ещё в августе. Внезапно, ни под чьим влиянием, в одинокий день на даче в Рождестве родилось «Письмо вождям Советского Союза». «И так сильно это письмо вдруг потащило меня, лавиной посыпались соображения и выражения, что я на два дня в начале августа должен был прекратить основную работу и дать этому потоку излиться». Только мирная эволюция режима, освобождение от мёртвой идеологии марксизма-ленинизма и от мифологии «бесконечного прогресса», перенесение центра внимания с внешних пространств и внешних задач на внутренние, предоставление народу права свободно дышать, думать и развиваться помогут солидарными усилиями всего общества избежать национальной катастрофы. Письмо, свидетельствовал автор, не преследует личных целей, но знаменует тяжёлую ответственность перед русской историей.

В предвидении боя А. И. передал на Запад фотоплёнку «Октября», в том виде, как он был написан. Подённый план сражения был готов к 20 августа. 22-го А. И. писал Лизе

* 1 сентября 1973 года к Але на московскую квартиру пришёл Вяч. Вс. Иванов с сообщением, что к нему прибыл гонец от Копелева из Ленинграда: «взят архив» у Воронянской, её смерть — самоубийство. «Не правда ли, темновато? — писала Аля мужу. — И что в этом архиве? Казалось бы, если самоубийство, то ничего не должно быть твоего. А может, и нет ничего. А может, не послушались тогда, летом?.. Я думаю, что нечего особенно суетиться, даже если здесь на 1/2 провокации, т. е. в опечатанную квартиру подложили что-нибудь...» Назавтра Эткинд специально приедет в Москву, чтобы сообщить через Люшу: не архив, а «Архип», и та привезёт правильную букву А. И. в Фирсановку.

Маркштейн: «Это будет особенно трудная осень. Может быть, уже и некогда говорить. Вы, может быть, заметили ускорение и сгущение событий у нас со многим. Это какой-то ход звёзд или, по-нашему, Божья воля. Я вступаю в бой гораздо раньше, чем думал, многое к этому вынуждает, сомнения нет. Ничего нельзя предсказать, но ясно, что [готовность «Архипелага»] понадобится раньше, чем предполагалось». 23 августа в обширном интервью «Монд» и «Ассошиэйтед Пресс» А. И. рассказал о судьбах многих гонимых соотечественников, о бесстыдстве и бандитстве власти. В тот же день отправил заказное письмо Щёлокову: «Два удара вместе, кажется, весили немало».

Только через десять дней узнает Солженицын, что в это самое время в ленинградской коммуналке покончила с собой Воронянская (в перестройку А. И. получит юридическое подтверждение её самоубийства: повесилась на шнуре электропровода, без насилия); сама того не ведая, она выдернула чеку, и «Архипелаг» взорвался на весь мир. Он жалел Кью, опрометчиво пытавшуюся сохранить книгу, но погубившую себя, скорбел о ней. Но что же было в её смерти? «Достаточно уже у́ченый на таких изломах, — писал он в «Телёнке», — я в шевеленьи волос теменных провижу: Божий перст! Это ты! Во всём этом август-сентябрьском бою, при всём нашем громком выигрыше — разве бы я сам решился? разве понял бы, что *пришло время пускать* “Архипелаг”? Наверняка — нет, всё так же бы — откладывал на весну 75-го, мнимо-покойно сидя на бочках пороховых. Но перст промелькнул: что спишь, ленивый раб? Время давно пришло, и прошло, — открывай!!!» Никаких предвидений, считал он, не хватило бы, чтобы решиться на такое: «Архипелаг» сам проложил себе дорогу. «И когда ленинградский экземпляр “Архипелага” не сожжён был, как я понуждал, как был уверен, а достался гебистам, и вызвал спешное печатанье, под яростный их рёв, — именно *этим* путём возводился “Архипелаг” в свидетельство неоспоримое».

Та сторона, потеряв темп, слала реляции задним числом. 27 августа Андропов доложил о содержании интервью Солженицына. Эффект этой информации был нулевой: 28-го интервью было напечатано, а потом три дня его передавали по всем западным радиостанциям. Надеясь окончательно разгромить оппозицию, власти открыли показательный процесс Якира—Красина, но момент опять оказался невыгодным, ибо судебный спектакль проходил под мировое улюлюканье: «инакомыслящие в СССР» были жгучей темой всей европейской печати. 31 августа А. И. послал записку в

КГБ: «Своим третьим письмом [анонимкой с угрозами], да ещё таким злым, Ваше ведомство вынудило меня к интервью», а сам уже обсуждал с Шафаревичем сборник «Из-под глыб». 3 сентября в поддержку советских диссидентов выступил канцлер Австрии, к нему присоединился министр иностранных дел Швеции, вызывающее интервью германскому телевидению дал Гюнтер Грасс. А в ЦК вяло текла информация «О реагировании трудящихся на материалы печати о клеветнических заявлениях академика Сахарова, писателя Солженицына и на судебный процесс по делу Якира и Красина»: «Всеобщее возмущение вызывают...»

Наступила кульминация сражения. Вечером 5 сентября через Стига Фредриксона, журналиста из Скандинавии, А. И. передал молниеносное, опаснейшее сообщение о взятии «Архипелага» («Взрываем!») и послал в ЦК «Письмо вождям»*. К этому моменту была закончена статья «Мир и насилие». Обращаясь через норвежскую газету «Афтенпостен» в Нобелевский комитет, автор писал: «Я прошу считать эти строки формальным выдвижением Андрея Дмитриевича Сахарова в кандидаты на присуждение Нобелевской премии мира 1973 года». 5-го статья была отправлена в печать, 6-го на квартире Светловых её прочёл Сахаров — это было их единственное свидание за весь период боя. 7-го МИД СССР совместно с ЦК начал обсуждать меры по противодействию французской печати, допустившей появление интервью Сахарова (агентство «Франс Пресс») и Солженицына («Монд»), 8-го зампредседателя КГБ Чебриков сообщил в ЦК о встрече Солженицына с Сахаровым. Но всё это было — после драки кулаками. «К 8 сентября уже накопилось довольно, чтобы наши власти поняли, что проиграли с газетной травлей и надо её кончать. 8-го в “Правде” *подвели итоги* — и кончили по этому сигналу».

Встречный бой, предел которому *та* сторона положила 8 сентября, закончился для Солженицына и его семьи, делившей с ним все тяготы сражения, символично: рождением сына Степана. Утром 8-го А. И. был в храме и молился

* «Письмо вождям» было взято в работу только через месяц, в конце сентября 1973 года. Сначала с ним, по указанию Суслова, ознакомились только Косыгин, Подгорный и Андропов. 4 октября появилась резолюция Брежнева: «Ознакомить членов ПБ (вкруговую)». К концу декабря появилась ещё одна резолюция генсека: «Мы обсуждали вопрос о Солженицыне по частям на нескольких заседаниях ПБ — считаю, что необходимо, чтобы все товарищи прочли его письмо». На документе расписались все до единого члены ПБ, но автору «Письма» никакого ответа никогда не было.

на коленях перед иконой Владимирской Божьей Матери о разрешении в родах. «Приезжаю домой — всё благополучно!.. и опять богатырь! Какое счастье! Милостив к нам Бог. А ведь так тревожно было, даже и в последнее время, а уж в мае и сказать нельзя. Вот и считай, что ты прошла Божий суд. Ещё остаётся мне и всем нам вместе... Спасибо тебе, родная, за полное исполнение сказки!»

Отзвуки сражения, несмотря на отмашку «Правды», были слышны всё громче. 8-го Сахаров дал пресс-конференцию о злодейской психиатрии, ставшей орудием борьбы с инакомыслящими. 9-го призвал представителей Красного Креста проинспектировать советские психушки. 10-го в «Афтенпостен» была напечатана статья Солженицына «Мир и насилие» и Сахаров подтвердил, что будет рад принять Нобелевскую премию мира. Покатилась всемирная кампания вокруг выдвижения Сахарова. На это общий отдел ЦК смог ответить порцией писем трудящихся, а КГБ, раздобыв экземпляр «Архипелага», составил на него подробную «Аннотацию» (Бобков) и разослал её всем членам и кандидатам в члены Политбюро. Кампания западной поддержки разрослась до таких размеров, о каких А. И., планируя удары, не мог и мечтать. «Для меня весь этот размах мировой поддержки, такой неожиданно-непомерный, победоносный, сделал с середины сентября излишним дальнейшее моё участие в бою и окончание задуманного каскада: бой тёк уже сам собою. А мне надо было экономить время работы, силы, резервы — для боя следующего, уже скорого, более жестокого, — неизбежного теперь после того, как схватили “Архипелаг”».

Теснимое мировым общественным мнением советское правительство пошло на частичные уступки — сняло глушение западных передач, введённое в дни чехословацкой оккупации, объявило о создании агентства по авторским правам (А. И. немедленно отдал в самиздат главы из «Круга»-96), из психлечебницы в обычную больницу был переведён генерал П. Григоренко, оставили на свободе Е. Барабанова (уже велось следствие). Можно было, по-видимому, добиться и большего. Но, полагал А. И., Сахаров в своём обращении к американскому Конгрессу сузил объём требований. 16 сентября А. И. писал Сахарову (письмо пошло в самиздат и по радиостанциям): «Неужели же право эмиграции (по сути *бегства*) важнее прав постоянной всеобщей жизни на местах? Права немногих тысяч — важнее прав многих миллионов? Право эмиграции — частный-частный случай всех общих прав. Я прошу Вас, убедительно: не сводите вопроса к эми-

грации, не акцентируйте её на первом месте выше всего — ведь почву под собственными ногами сжигаете».

«То был второй и последний контакт наших колонн во встречном бою», — напишет А. И.; он считал кампанию выигранной и для себя пока законченной. Иначе смотрела на итоги боя *та* сторона. 17 сентября состоялось заседание Политбюро ЦК под председательством Брежнева. Андропов информировал коллег о целесообразности применения к Солженицыну *промежуточного решения*: «поручить Министерству иностранных дел СССР через своих послов в Париже, Риме, Лондоне, Стокгольме обратиться к правительствам указанных стран с предложением предоставить Солженицыну право убежища, поскольку в ином случае по советским законам он должен предстать перед судом». Правительства европейских стран оказались бы в этом случае перед дилеммой: или дать Солженицыну политическое убежище или фактически согласиться на привлечение его к судебной ответственности.

Из всех вариантов ближайшего будущего — теперь, когда *там* знали об «Архипелаге» и прочли его, — менее всего А. И. думал о возможности мирных переговоров: вряд ли власти, допуская вариант скорого издания книги, будут пытаться договариваться с ним об условиях, при которых он отзовёт её, остановит печать. Неясно было даже, через каких посредников к нему обратятся, если захотят пойти на контакт. 23 сентября он составил перечень возможных путей, но переговоры (и то со знаком вопроса) были там на последнем месте.

Накануне кратко виделся в Рождестве с бывшей женой, та оставила ему письмо. Слово в слово повторяла Н. А. пассажи советских газет, писавших, что августовское интервью Солженицына — плод больного и озлобленного воображения. «Ты не додумался, — писала Решетовская, — как сделать, чтобы пресечь поиски твоих вещей... Напротив, ты на них толкаешь. Хотя бы тем, что пригрозил, что после твоей смерти "хлынут твои *основные* произведения". Ясно, что ты этим только подогрел стремление найти их при твоей жизни. Значит, обыски, допросы, на кого-то почему-либо упадёт подозрение. Ты должен сделать заявление, которое сделало бы бессмысленными поиски!!!» Устно она повторяла, вслед за советской прессой, что А. И. истерично себя ведёт, кричит о мнимой угрозе, клевещет на госбезопасность. Через день, 24 сентября, она позвонила и взволнованно просила о встрече. А он не догадался, что вестницей от «переговорщиков» придёт бывшая жена! «Я сам виноват: я в тюрьмах пронизывал человека, едва входящего в камеру; я

ни разу не всмотрелся в женщину рядом с собой. Я допустил этому тлеть и вспыхнуть».

Встречу на Казанском вокзале 25 сентября 1973 года Солженицын подробно опишет в «Телёнке» по своей записи, сделанной через час после свидания («ещё вся кожа обожжена»). Первые же слова Решетовской о некоем телефонном звонке и «благоприятном» для А. И. разговоре прояснили ему, с какой миссией она явилась. Спустя двадцать лет Решетовская будет запальчиво опровергать, будто была в тот момент посланцем КГБ, упрекнёт А. И., что он разгласил конфиденциальный разговор, хотя обещал молчать, и будет настаивать, что никакой подслушивающей аппаратуры на перроне не было (А. И. чувствовал слежку *всего лишь* «охватом спины»). Но Решетовская никогда не опровергала *содержания* той беседы. От чьего имени предлагала она бывшему мужу встретиться *кое с кем* и обсудить шанс печатания в СССР «Ракового корпуса»? А потом встретиться ещё кое с кем *повыше* издательства? По каким впечатлениям оценивала пославших её людей? «*Эти*, пойми, *совсем другие люди*, они не отвечают за прежние ужасы». На основании каких контактов защищала новых друзей? «Теперь мой круг очень расширился. И каких же умных людей я узнала! Ты таких не знаешь, вокруг тебя столько дураков... Что ты всё валишь на Андропова? Он вообще ни при чём... Вообще тебя кто-то обманывает, разжигает, страшно шантажирует! Изобретает мнимые угрозы». Откуда узнала, что́ именно и где именно *они* ищут? «Они вынуждены искать у какой-нибудь Евы». Кто уполномочил её брать с писателя обет молчания? «Сделай заявление, что ты двадцать лет не будешь ничего публиковать». Откуда узнала, кому грозит преследование, а кому нет? «Кто рассказывал о лагерях, тому ничего не будет. А вот кто помогал *делать...*» Кто поручил договариваться с А. И. о неразглашении? «Ты должен дать некоторые заверения. Ты не сделаешь заявления корреспондентам об этом предложении?»

Слишком всё было ясно, и она даже не скрывала, что вовлеклась в опасное занятие. Даже и не играла в благородство, а говорила прямо: «Ты шёл на развод — должен был предвидеть все последствия» (то есть учесть, что покинутая жена способна вступить в сделку с кем угодно, лишь бы отомстить за себя). А. И. лишь сказал ей на прощание: «Смотри, Наташа, не принимай легко услуги чёрных крыл!» Теперь она перестала быть для него женщиной, которой и после развода он мог сказать «ты», по очереди делить с ней дачу, писать деловые и хозяйственные записки. Теперь он видел в

ней общественную даму, имя во враждебной печати, марионетку могущественных покровителей, персонажа папки № 13 (столь ей знакомой), наряду с Барабашом или Чаковским. Отныне никакие личные отношения с ней становились невозможны.

Акция, порученная Решетовской, *там* квалифицировалась скорее всего как *мера предупредительного характера*. Тот факт, что мера оказалась малоэффективной, Андропов докладывал в ЦК 19 октября: Солженицын, несмотря на *все меры*, «продолжает дискредитировать внешнеполитический курс Советского государства, активизирует контакты с иностранцами и передачу им клеветнических сведений». В ноябре «чёрные крыла» замахнулись на Лидию Чуковскую, предложившую Солженицыну свой кров на ближайшую зиму. «Для закрепления права пользования дачей за собой на будущее, — докладывал Андропов, — Чуковская добивается превращения её в литературный музей отца, рассчитывая стать его директором... Считаем целесообразным предложить Секретариату СП СССР отказать Чуковской в создании музея в посёлке Переделкино» (в январе 1974-го Чуковская будет исключена из писательского союза «за грубые нарушения Устава» и в создании музея ей откажут).

В ту осень А. И. уже не мог работать в полную силу, и «Октябрь» остановился. «Из-за всех событий с “Архипелагом”, — отмечал он в дневнике, — 2-й узел отлагается надолго. И это даёт возможность дорабатывать его медленно и многократно». С ноября, имея приют в Переделкине, жил в жестоком предфинишном ритме и спешил окончить малое — предисловие к «Стремени “Тихого Дона”», статьи для сборника «Из-под глыб». Итоги этого года видел ещё и в анализе своей жизни — писал продолжение «Телёнка». «Заброшен, забыт роман, но зато как своевременно обдумать себя — на таком перетряхе, на таком гребне. Что будет теперь — Бог весть. Но оборвись и на сделанном жизнь — не так мало». Ожидался выход «Архипелага», с ним решалась судьба автора. Куда всё катится, можно было догадаться. Снова слали анонимные письма, теперь с черепом и костями, похоронные вырезки из нью-йоркского «Нового русского слова»: «В смерти найдёшь успокоение! Скоро!» Лекторы-агитаторы злорадно заявляли: «Солженицыну мы *долго ходить не дадим*». Хриплые голоса кричали Але в телефонную трубку: «Мы ему, суке, ходить по земле не дадим, хватит!!» Заканчивая в Переделкине третье Дополнение к «Телёнку», он восклицал: «О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!»

12 декабря Андропов доложил, что Солженицын как противник советского строя может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 70 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) и осуждён сроком до семи лет со ссылкой до пяти лет. Однако уверенности в решении (несмотря на всю его привлекательность) Андропов явно не чувствовал и предлагал поручить послам СССР в Швеции, Швейцарии, Дании и Ливане официально обратиться к правительствам этих государств с просьбой предоставить Солженицыну въездную визу. Андропов полагал, что такой вариант выгоден во всех смыслах — Москва освобождается от «Паука», которого перед лицом Запада нельзя раздавить, и в то же время демонстрирует человеколюбие. «Советское правительство, руководствуясь гуманными побуждениями и имея в виду, что на иждивении Солженицына имеются четыре малолетних сына, считало бы возможным заменить привлечение его к уголовной ответственности выдворением за пределы Советского государства. По желанию Солженицына члены его семьи могли бы свободно последовать за ним».

Однако выслать его тихо и незаметно куда-нибудь в Ливан властям не удалось. 28 декабря 1973 года в дневных новостях Би-би-си А. И. услышал, что в Париже вышел первый том «Архипелага» на русском языке. Он ждал его не раньше русского Рождества, но издатели, работая без отдыха и выходных, выпустили книгу на десять дней раньше. На «ИМКА», несмотря на каникулы, обрушился ураган звонков и запросов. Заголовки центральных европейских газет извещали о выходе «Архипелага» как о крупнейшей мировой сенсации. Через час после сообщения, случайно опалив руку из газового котла, А. И. поехал в Москву.

Семья восприняла новость об «Архипелаге» как праздник. Москва таила молчание дней пять. 2 января Андропов предложил ЦК «начать через специальные органы немедленный зондаж мнения руководства одного из дружественных нам государств о возможности принять туда Солженицына». КГБ, докладывал Андропов, видит, как сильно спеццентры западных государств заинтересованы, чтобы Солженицын оставался в СССР. «Там он как червь в яблоке, а вне яблока он не стоит ничего и превращается в ничто». В тот же день Андропов направил в ЦК три ксерокопии «Архипелага», снятых с машинописного текста. 4 января Секретариат ЦК дал старт кампании по дискредитации писателя и его новой книги, при этом ВААПу поручалось применить правовые санкции против нарушения автором советского законодательства. Немедленно посыпались заявления ТАСС для

границы: автора клеймили за то, что... испортил Новый год, не отразил рекордного урожая последнего года, не учитывает экономических достижений СССР. В «Окнах ТАСС» на улице Горького выставили большой плакат, где уродцы с трубами и барабанами возносят «сочинения Солженицына», жёлтый череп, чёрные кости. «Вышел в свет “Архипелаг” — и любимый знак бандитов перешёл из анонимных писем на витрину союза художников, а угрозы убить — в телефонную атаку». Эту атаку на квартиру двух женщин и четверых детей профессиональные хулиганы будут вести в течение трёх недель в две смены с шести утра до часа ночи, кроме суббот и воскресений. Прыткие организации и лояльные физические лица поторопятся заклеймить «отщепенца и предателя, которому нет места на советской земле».

На Новый год А. И. составил прогноз: что с ним могут сделать? Получалось: убийство — «пока закрыто». Арест и срок — «мало вероятно». Ссылка без ареста — «возможно». Высылка за границу — «возможно». Судебный иск «ИМКА», газетная травля, дискредитация через бывшую жену, переговоры и уступки рассматривались факультативно. 7 января Политбюро ЦК во главе с Брежневым взялось за дело всерьёз. Андропов настаивал на принудительной административной высылке и указывал на прецедент с Троцким в 1929 году. Возражал против высылки в братские страны — каково им получить такой подарок! Почему-то предлагал, наряду со Швейцарией, Ирак. Подгорный во что бы то ни стало хотел добиться ареста, суда и максимального срока с отбыванием наказания в лагерях строгого режима где-нибудь в зоне вечной мерзлоты, откуда не возвращаются. К «внутреннему варианту» сильно склонялись Громыко, Шелепин и Косыгин (последний предложил Верхоянск: в такой холод никто из зарубежных корреспондентов не сунется). Брежнев после некоторых колебаний склонился на их сторону. Было решено определить порядок и процедуру судебного следствия и процесса. В этот самый день А. И. получил из Парижа два экземпляра «Архипелага» — «ещё сигнальные, ещё раньше, чем ГБ и ЦК получили, первые в СССР». Один экземпляр оставил дома, другой немедленно повёз на Пироговку, к Мильевне и Наде Левитской. «Развернул — у них, и это было справедливо»: Наталья Мильевна первая увидела в парижском издании подобранные ею фотографии расстрелянных родных и знакомых.

Через неделю лобовую атаку прессы начала «Правда» («Путь предательства», 14 января). На следующий день статья была перепечатана всеми газетами страны тиражом пять-

десят миллионов. «Литературная газета», по прямому указанию Суслова, пустила в оборот термин для автора «Архипелага»: *литературный власовец.* К газетной кампании подключились телефонная и почтовая: снова анонимные звонки и письма, злобная ругань, яростные угрозы. Намечались сцены народного гнева — какие-то типы созваны были во двор дома на Козицком, набежала туча милиционеров, но что-то не срослось, и спектакль не состоялся. «Госбезопасности, — скажет Солженицын, — не повезло на мою вторую жену. Аля не только выдержала эту атаку, но не упустила течения обязанностей. Шла работа, и семья жила, и малыши ещё не скоро поймут, что их младенчество было не совсем обычное».

Пока ЦК тремя постановлениями (от 15, 16 и 17 января) вызывал к жизни письма трудящихся и отклики общественности (движение возглавил Союз писателей во главе с Фединым), пока КГБ (доклад Андропова от 19 января) трудился над созданием вокруг Солженицына «атмосферы гнева и возмущения» (подключился большой отряд собратьев по перу от Бондарева и Суркова до Щипачёва и Острового), виновник событий проводил свою линию. Написал (14 января) «Заявление» в связи с исключением Л. К. Чуковской из писательского союза: «Истинным толчком и целью была месть ей за то, что она в своей переделкинской даче предоставила мне возможность работать. И напугать других, кто решился бы последовать её примеру». Составил «Заявление», где ответил на самую ядовитую ругань советских газет, разъяснил смысл названия новой книги и отверг обвинения в пособничестве мировой реакции: «Если Госбезопасность ценит разрядку напряжённости, зачем же она в августе 5 суток выдавливала, выжигала эту рукопись из бедной женщины? В произошедшем захвате я увидел Божий перст: значит, *пришли сроки*. Как предсказано было Макбету: *Бирнамский лес пойдёт*». 18 января А. И. принял дома американского корреспондента Фрэнка Крепо и передал ему «Заявление» для публикации на Западе, о чём на следующий день Андропов докладывал в ЦК. И снова заказывались и собирались отклики, где Солженицын клеймился позором. И засылались секретные телеграммы по списку — в сорок стран, где имелись компартии...

Тем временем началось массовое чтение «Архипелага» во всём мире. 22 января в Вашингтоне перед зданием Национального клуба печати прошла демонстрация американских интеллектуалов. Ещё не было американского издания, оно опаздывало на полгода (историю этого опоздания А. И. воспримет крайне болезненно, как предательство общего дела),

американцы читали пока только отрывки. И всё равно восклицали: «Руки прочь от Солженицына! Наблюдает весь мир!» Но не молчали и дома. «26 января 1974 года в городе Ленинграде на станциях метро и в скверах неизвестными лицами были распространены политически вредные листовки с призывом выступить в защиту Солженицына и Сахарова, — докладывал Андропов 29 января. — В местах распространения всего изъято 235 листовок. Приняты активные меры по розыску авторов и распространителей».

«Нам, — скажет Солженицын, — уже было ничего не страшно. Мы стояли просто победно. И действительно, у нас в квартире был как бы эпицентр шторма: вокруг шторм бушует, а у нас тишина, покой, маленькие дети растут». В январе, в разгар травли, он публично объявил, что гонорары «Архипелага» не считает своими — они принадлежат России, а раньше всех — политзэкам, «нашему брату». Но больше не дремала и власть: ей уже было мало откликов рабочих, колхозников и творческой интеллигенции, нужна была добыча покрупнее. Зная, что для Солженицына «свои» — это зэки, профессионалы сыска нашли способ зацепить его и с этой стороны. «Вот вызван из провинции мой бывший однoделец Виткевич, и, сохраняя свою научную карьеру, он через АПН, этот испытанный филиал КГБ (они ему "дружески показали" протоколы следствия 1945 года, пошёл бы кто добился другой!), похваливает следствие тех времён: "следователь не нуждался искажать истину". 29 лет он не ставил упрёков моему поведению на следствии — и до чего же вовремя попадает теперь в общий хор» («Заявление для печати», 2 февраля 1974 года). Теперь, мобилизуя Виткевича на интервью кому-нибудь западному, госбезопасность задним числом укоряла Солженицына, что в 1945-м он не был с ней достаточно стоек, замыливал глаза лубянскому следователю — вместо того чтобы лепить себе расстрельный приговор. Он знал, что ему не избежать личной дискредитации, но не учёл, что, кроме бывшей жены, есть друзья юности и «враги детства». Зимой 1974 года, в разгар газетной травли, все они были взяты на учёт, внесены в списки, образуя резерв...

Много раз за последние два года, думая об угрозе высылки, Солженицын представлял картину так: окружат квартиру, отрежут телефон, поставят часовых, назначат срок и прикажут собираться. Всё, однако, пошло по другому сценарию. Ключ к нему дало заявление западногерманского канцлера Вилли Брандта, выступившего в Мюнхене 2 февраля на некой торжественной церемонии: «Солженицын может беспрепятственно жить и работать в ФРГ». Андропов ухватил-

ся за это как за спасительный шанс. 7 февраля в записке «особой важности» он писал: «Заявление Брандта даёт все основания для выдворения Солженицына... Для согласования практических шагов в этом направлении представляется целесообразным через неофициальные каналы войти в контакт с представителем правительственных кругов ФРГ».

Позже станут известны и мемуары генерал-майора В. Кеворкова, бывшего контрразведчика, который выполнял деликатные поручения КГБ. Согласно его поздней версии, в тот момент сложилась парадоксальная ситуация. Чтобы сохранить репутацию гуманиста образца Луначарского (каким Андропов хотел себя видеть) и не превратиться в злодея Берию, методы которого он был призван искоренять, руководитель карательной организации должен был спасать опального писателя. По поручению Андропова Кеворков вылетел в Берлин на тайные переговоры с Эгоном Баром, статс-секретарем канцлера («с Баром у нас за пять лет существования “тайного канала” установились не только деловые, но и дружеские отношения, покоившиеся на полном доверии друг другу», — вспоминал Кеворков). «Если в последнюю минуту Брандт не дрогнет и переговоры Кеворкова закончатся благополучно, — писал Андропов лично Брежневу, — то уже 9—10 февраля мы будем иметь согласованное решение... Всё это важно сделать быстро, потому что, как видно из оперативных материалов, Солженицын начинает догадываться о наших замыслах и может выступить с публичным документом, который поставит и нас, и Брандта в затруднительное положение».

Но Солженицын — не догадывался, полагая, что бой окончен и атака отбита. Только Аля в начале февраля насторожилась: телефонное нападение на квартиру в одночасье сникло, съёжилась и газетная кампания. 7 февраля А. И. записал прогноз на текущий месяц: «Кроме дискредитации от них вряд ли что будет, а скорей передышка». Позже комментировал: «Неразумно так я писал, сам же и не забывая, что конец января — начало февраля всю жизнь у меня роковые, многие в эти дни сгущались опасности, арест, гибельный этап, операция, и помельче, а как переживёшь эти дни — так сразу и спадало».

8 февраля встреча Кеворкова и Эгона Бара состоялась на вилле в самом престижном районе Западного Берлина. Кеворков красочно опишет и типично немецкий обед, и удачный поворот беседы, и обещание Бара срочно переговорить с канцлером. «8 февраля наш представитель имел встречу с доверенным лицом Брандта с целью обсудить практические

вопросы», — докладывал Андропов Брежневу. А Кеворкову сказал: «Сейчас будет играть роль каждый час. Подгорный и Косыгин давят на Руденко, чтоб он выписывал ордер на арест Солженицына, а дальше суд и ссылка, как предлагает Косыгин, в Верхоянск. Живым он из неё уже не вернётся. Необходимо в максимально короткие сроки прояснить позицию Брандта». На следующий день Кеворков снова был в Берлине, ожидал путешествующего канцлера.

8 февраля в Переделкине, где работал А. И., в неурочное время раздался телефонный звонок. Жена сообщила: принесли повестку. «Гр-н Солженицын А. И. Вам надлежит явиться в Прокуратуру СССР — улица Пушкинская, 15-а, 8 февраля 1974 г. в 17-00, комната № 513, этаж 5-й». Часа через два послышались топот на крыльце дома и стук в стекла. Лидия Корнеевна вышла на крыльцо: трое в штатском явились по «поводу ремонта дачи», просверлили А. И. глазами, потом ушли сразу все. Следовало признать, что *землетряс* (так они с женой называли роковое развитие событий) начался, но А. И. остался в Переделкине до понедельника. Весь участок был обложен круговой слежкой. 10-го сквозь оцепление к нему прорвались, дав себя засечь, друзья: Борис Можаев и Юрий Любимов. «Вот так смельчаки! Очень я был тронут этим их прорывом блокады. Посидели полчасика, попрощались: доброго мне уж было не ждать».

Спланированная Андроповым операция была расписана по дням и по часам. 13 февраля не позднее 17 часов местного времени Солженицын должен быть доставлен рейсовым самолетом во Франкфурт-на-Майне. С момента его выхода из самолёта советские представители уже не участвуют в акции. Это было условие Брандта. Значит, решала Москва, 11 февраля прокуратура возбуждает уголовное дело. 12-го принимается Указ о депортации. В тот же день арест: арестованного доставляют в тюремный изолятор. «Имеется в виду при этом не отпускать Солженицына домой, а днём 13 февраля объявить ему Указ, а затем осуществить выдворение. Если же в последнюю минуту Брандт, несмотря на все свои заверения, по тем или иным причинам изменит своё решение, то Солженицын остаётся под арестом и по его делу прокуратура ведёт следствие».

У Андропова были в запасе считаные дни — если бы до 15 февраля высылка не состоялась, линия Косыгина взяла бы верх. Судьба Солженицына висела на волоске от суда и неминуемого приговора: Якутия, абсолютный полюс холода и смертельная Верхоянская ссылка — ни одного побега за всю её столетнюю историю.

В тот понедельник, 11-го, он не слишком рано встал, не слишком торопился ехать, на письменном столе в Переделкине оставил книги. По дороге в Москву понял, чтó ответит прокуратуре. Дома, на Козицком, его ждал посыльный с удостоверением Московского угрозыска. Свой ответ, тут же напечатанный на машинке, вместо подписи, А. И. приклеил к повестке: «Я отказываюсь признать законность вашего вызова и не явлюсь на допрос ни в какое государственное учреждение». Вечером они гуляли с Алей на Страстном бульваре. Он обещал, что в лагере работать не будет ни дня, а при тюремном режиме сможет даже и писать. Что? Да хотя бы историю России в кратких рассказах для детей. Вечером за ним не пришли, они неспешно собирали тюремные вещи. Днем 12-го А. И. с пятимесячным Стёпой в коляске вышел погулять во дворе. Там его нашёл Шафаревич, и они без помех обсудили текущие дела. Едва поднялись в квартиру, раздался звонок...

На лестнице лезли в дверь, напирая друг на друга, восемь крепких мужчин в штатском и милицейском. Советник юстиции по фамилии Зверев предъявил постановление о приводе в прокуратуру. Это была ложь, которой ГБ обставила арест. Судьба сбывалась.

Рассказ о том, как силой уводили его из квартиры, как везли в Лефортово и там предъявили обвинение по расстрельной 64-й статье УК (измена родине), как держали в тюремной камере ещё ночь и день, как прочитали указ о высылке, переодели в казённое и доставили в аэропорт «Шереметьево», как под усиленным конвоем завели в самолёт, как летели (а он до самого конца не знал куда) и как выпустили наружу одного, составит самые драматические, самые захватывающие страницы «Телёнка». Солженицын напишет об этом в изгнании, четыре месяца спустя, как о ещё свежей ране.

Часть седьмая

ОПЫТ ИЗГНАНИЯ

Глава первая

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРИСТАНИЩА. ТЕНЬ ЛЕНИНА

Зимой 1974 года советскому культурному сообществу страшно было бы увидеть себя в зеркале истории. Невозмутимая гладь отразила бы образы, искажённые судорогой, лица, перекошенные злобой, глаза, ослепшие от ненависти, души, изъеденные чёрной завистью. Даже ко всему привычное ухо оглохло бы от грубой брани, осквернилось бы от оскорблений. Дело Солженицына обнажило такую степень растления советского агитпропа, за которой идёт только вырождение и гибель. Случай Солженицына показал такую глубину падения официальной интеллигенции (способной по первому зову клеймить и ставить к позорному столбу тех, на кого укажет власть), что терялся всякий смысл её исторического существования.

Чéм было жить, кáк думать и чтó чувствовать доверчивому читателю, если известнейшие люди страны — скульпторы, композиторы, режиссеры, артисты — через газеты, радио и телевидение соучаствовали в коллективной лжи? Если печатные издания соревновались в ругани, изощрялись в поношениях и клевете, сочиняя отпор «литературному власовцу»? Если, стоя за партийными трибунами, натренированные лекторы так и сяк вертели ненавистную фамилию, переставляли буквы и демонстрировали скандальную разгадку?

Простых читателей запугивали словом «антисоветский». Но кто мог дать определение этому понятию? В своё время антисоветскими считались Бабель, Зощенко, Ахматова, Булгаков, Мандельштам, Пастернак, Бунин. Но в семидесятые их уже издавали, за них — не преследовали. Никто, однако, ничему не научился. И те самые люди, кто однажды по разнарядке давили одних, готовы были задавить следующих. Всех, кого нужно. Но кому это было нужно? Стране? Государству? Народу? Такие вопросы задавал себе в те дни Виктор Некрасов: «Не слишком ли щедро разбрасываемся мы

людьми, которыми должны бы гордиться?.. С кем же мы останемся? Ведь следователи КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний».

Партийные перья страны твердили, что Солженицын — предатель. Об этом советским людям напоминала 64-я статья УК, которую предъявили изгнаннику. Но вдумчивый гражданин должен был задать себе вопрос: кого он предал? Какие выдал секреты? Почему молчать о зле — нравственный долг? Говорят, он предал дело социализма. Не означает ли, что преступления, о которых говорил Солженицын, — неотъемлемая часть социализма? Эти вопросы жгуче волновали религиозного философа Евгения Барабанова: «Большой русский писатель сделал то, что неоплатным долгом лежало на всей нашей литературе и истории».

Передовой отряд советских писателей особенно торжествовал в связи с расправой. Этого учителишку из провинции напечатали, приняли в Союз писателей, превознесли до небес. Кололи глаза его «правдивыми» опусами, ставили в пример. И что? Он мог бы ездить по стране, описывать новые города, заводы-гиганты, колхозы-миллионеры, а вместо этого сидел под Москвой и клеветал. Три машины, две дачи... матёрый деляга... бизнес на антисоветизме... миллионер... контрреволюционер... моральное чудовище... Но почему тогда его ценили Чуковский, Твардовский, Маршак? Почему им восхищалась Ахматова? Эти вопросы приходили на ум многим, а иные открыто писали: «Раньше на 100 писателей, критикующих недостатки правительства, приходился один Греч или Булгарин. А ныне на 100 курящих фимиам власть имущим едва ли один осмелится написать — “когда румяный комсомольский вождь / на нас, поэтов, кулаком грохочет / и хочет наши души мять, как воск, / и вылепить своё подобье хочет...” — и тот после 2—3 вызовов в ЦК или КГБ остепенится».

Писатели, улюлюкавшие вслед изгнаннику и «всем сердцем одобрявшие мудрое решение», ведали, что творили, но держались своей уютной линии, полагая, что она воцарилась навсегда, на их век — хватит. «Но что делаем мы, молчаливое интеллигентное большинство? — спрашивал Вадим Борисов. — Мы с жадным любопытством ждём развязки. “Бог не выдаст, свинья не съест” — не так ли? Мы умываем руки — и надеемся сохранить их чистыми? Но в России, для которой жертвует собою Солженицын, ещё достаточно благодарных сердец, которые скорее предпочтут разделить его судьбу, чем оставаться соучастниками в заговоре рабьего молчания». «Где Вы — там и Россия... Сколько ни есть сего-

дня здесь любящих Вас, завтра их будет вдвое, послезавтра втрое», — писал ему в те дни поэт Владимир Корнилов.

...Едва конвоиры вывели мужа, Аля бросилась в его кабинет, успеть разобраться с бумагами: самое важное прятала на себе, остальное сжигала на металлическом подносе, служившем для сожжения «писчих разговоров». Сортировала, перекладывала, жгла, полагая, что обыск неизбежен. Двое из конвоя ещё минут двадцать оставались в квартире, чего-то выжидали. Чего? Подкрепления? Отмашки? Шафаревич тоже остался, защищал дверь в кабинет. Бабушка с Митей привезли коляску со Стёпой, пошли в детский сад за Ермошей. Игнат норовил выползти на лестницу — внешний замок был сломан. Телефон вёл себя странно: гудок, нормальный набор и тут же разрыв; но после многих попыток Але удалось прорваться в три места: этого было достаточно, чтобы весть облетела Москву.

Вечером 12-го в квартиру арестованного шли друзья и знакомые, без приглашения, как приходят в несчастье. Первые, услышав рассказ очевидцев ареста, передавали следующим, а те по цепочке дальше. Сахаровская группа из пяти человек пикетировала перед Генеральной прокуратурой, полагая, что А. И. там. Но *там* сказали: никакого Солженицына у нас нет. В 21.15 телефон прорезался: «Ваш муж арестован». И предложили звонить утром. В 22 часа Сахаров ответил канадскому радио: «Я говорю из квартиры Солженицына. Я потрясён его арестом. Здесь собрались друзья Солженицына. Я уверен, что арест Александра Исаевича — месть за его книгу... Мы воспринимаем арест Солженицына не только как оскорбление русской литературы, но и как оскорбление памяти миллионов погибших, от имени которых он говорит». Л. Чуковская, назвавшая «Архипелаг ГУЛАГ» прорывом немоты, не молчала и в этот вечер. 23 часа, квартира арестованного: «Наступило пятое действие драмы. Позор стране, которая допускает, чтобы оскорбляли её величие и славу. Беда стране, у которой щипцами вырывают язык. Несчастье народу, который обманывают». «Истекают последние часы, отпущенные нашему государству на проверку: способно ли оно на политику мира — с Правдой», — заявил Шафаревич, слышавший, как было сказано Але, когда она подала мужу тюремные вещи: «Не ломайте комедию, он через час вернётся». Дозвонились в Стокгольм, Амстердам, Гамбург, Париж, Нью-Йорк; об аресте А. И. узнал весь мир.

Ночью на кухне Аля поставила большой таз под костёр, который придётся жечь всю ночь (с обыском сюда так и не придут, а будут по чьей-то мстительной наводке искать в Ря-

зани, у Радугиных, знакомых А. И., где он никогда ничего не держал, и в Крыму, у Зубовых, откуда давно всё забрал). Главное, мучительное колебание той ночи было — как сохранить архив? Раздать гостям, пусть возьмут, кто сколько может? Но это значит — губить людей... И удастся ли потом всё собрать? А если утром придут и *всё* заберут? Но почему не пришли сразу после ареста и дали столько времени на подготовку? Посреди ночи она вызвонила корреспондента «Фигаро» (тот пришёл немедленно) и вручила текст заявления Солженицына «На случай ареста». Француз ушел без помех. Утром 13-го, едва дождавшись девяти, позвонила в прокуратуру: телефон следователя Балашова, куда советовали обращаться, не отвечал. Снова обман? Нет никакого Балашова? Значит, А. И. убили? Но если убили — почему не спешат забрать всё до последнего листка?

Она приняла истинно солженицынское решение — *атаковать*, то есть экстренно пускать в печать то, что было заложено на случай смерти, ареста, ссылки. Кажется, то неведомое, что случилось с А. И., подходило по смыслу... Позвонил из Цюриха адвокат Хееб: чем он может быть полезен в данную минуту? «Прошу доктора Хееба немедленно приступить к публикации всех до сих пор хранимых произведений Солженицына!»

Воззвание, которое писалось как призыв к идеологическому неповиновению, под пером стало нравственным обращением; оно было готово к сентябрю 1973-го и ждало своего часа. 13 февраля текст «Жить не по лжи!» ушел в самиздат и на Запад. Солженицын предлагал согражданам путь к общему освобождению: *личное неучастие во лжи*. «Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет *не через меня*!.. Вот это и есть наш путь, самый лёгкий и доступный при нашей проросшей органической трусости... Наш путь: *ни в чём не поддерживать лжи сознательно*!» Тот из современников, кто соглашался с программой *неучастия во лжи*, готов был впредь не говорить, не писать, не подписывать и не печатать то, что искажает правду, кем бы он ни был — агитатором, учителем, актёром, воспитателем. А также не проводить ложную мысль живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально. Не ссылаться без внутреннего убеждения на «руководящие» материалы для страховки, из угождения, для карьеры. Не ходить против желания на митинги и демонстрации, не брать в руки фальшивые транспаранты или лозунги. Не голосовать за то или за того, чему или кому нет сочувствия; не присутствовать на заведомо лживых собраниях и покидать

их (а также лекцию, спектакль, киносеанс), как только прозвучит пропагандистская ложь.

За рамками воззвания оставался вопрос: что́ считать за правду? Даже у честных, нравственных людей конкретное понимание правды часто сильно разнится. К тому же всегда остаётся лазейка для лицемера — он-де пишет, поёт, рисует, лепит, голосует и цитирует по зову сердца («мы пишем, как диктует нам сердце, а сердце наше принадлежит партии»). За рамками воззвания остался и другой ряд трудных вопросов — живут ли *по правде* граждане свободного мира? Обеспечивают ли политические свободы свободу *жить не по лжи*? За рамками воззвания остались конкретные примеры (кто *уже* живет не по лжи) и «инструкция по применению» — как *жить не по лжи* в частной жизни (всегда ли возможно?) и в тех случаях, когда ложь щадит слабого, больного? И вообще: где границы принципа? как вести себя с врагом, соперником, конкурентом — ведь как раз автору воззвания, гонимому и теснимому, много раз приходилось по укоренившейся зэческой привычке *темнить, раскидывать чернуху, держать нож за голенищем*... Только с первого взгляда императив Солженицына мог показаться делом лёгким и скорым, рецептом простым и понятным. Писатель звал своих сограждан на тропы нехоженые, на путь тернистый, на поле непаханое. Мысль, которую по призыву Солженицына надо было разрешить каждому русскому максималисту, требовала полного пересмотра бытия и сознания.

...А по Москве ползли смутные слухи. Западное радио, ссылаясь на источники Г. Бёлля, сообщило, что Солженицын летит в ФРГ. Каждый час приносил новые версии. Летит. Уже прилетел. Ещё не вылетел. Рейс откладывается. Прилетел!!! Самолёт прибудет через полтора часа. Этот кавардак мог означать также и то, что его уже убили здесь или увезли на край света и убили там. Потом было официальное сообщение правительства ФРГ, что оно согласилось на предложение Кремля принять изгнанника на своей территории. Подтвердили, что он прибыл во Франкфурт, передавали подробности встречи.

Сотни две людей на аэродроме Франкфурта широким кольцом стояли за чертой, фотографировали. У трапа пассажира встречали представитель немецкого МИДа и женщина с цветком. Вся операция от ареста до посадки самолёта заняла 24 часа. На заседании германского бундестага в разгар дискуссии Брандт объявил о прибытии рейса с русским писателем Солженицыным. Весь зал встал и долго аплодировал, на глазах депутатов были слёзы умиления.

А в Москве в программе «Время» диктор читал «Сообщение ТАСС»: вечером 13-го о высылке Солженицына знала уже вся страна.

...Они мчались по шоссе на полицейской машине, вскоре их догнала другая такая же, и ещё один немец поднёс гостю огромный букет от министра внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц. У сельского домика под Кёльном, где обитал Бёлль, и рядом, на узких улочках, стояли сотни корреспондентских машин. А в Москве Аля, обожжённая несчастьем («они его силком выпихнули и силой увезли — пережить нельзя!»), говорила: «Не поверю, пока не услышу его голос». Ослеплённый фотовспышками, А. И. вошёл к Бёллю и попросил заказать разговор. Ответила жена! На месте! В кабинет набилось человек сорок. Аля для всех повторяла за мужем его слова, стеснялась, что видят её лицо. Голос А. И. казался сильным, бодрым, не мрачным и даже не усталым. Видимо, оживлён от напряжения. Ожгло, что его носильные вещи остались в Лефортове: я заберу! (не отдадут*). «Какое же счастье слышать голос родной, через пропасть скакнули...»

Год спустя Бёлль у Копелева в Москве рассказывал подробности тех дней. Сначала ему звонили из МИДа, потом — сам Брандт: «Примите ли гостя?» — «Конечно, если он захочет». Когда гостя привезли, дом был в осаде, журналисты заглядывали в окна, в щели ставен. Взвод полиции. На кухне — полицейский командный штаб. Во дворе — полевые кухни. Автомобильные фары, разноязыкая речь. Среди ночи А. И. проснулся, долго лежал без сна, в сознании счастливого освобождения. Но что и как теперь делать? Утром Лиза Маркштейн (прилетела экстренно той же ночью) убедила, что надо выйти, постоять перед камерами, что-то сказать. Накануне по телефону он подтвердил Але,

---

* В 1992-м отставной полковник КГБ А. Петренко, бывший начальник Лефортовского следственного изолятора — в 1974-м он представился Солженицыну как полковник Комаров («Я не хотел, чтобы он потом, по заграницам, трепал моё имя»), — сообщил подробности той «встречи»: «Солженицын, когда его арестовали, о высылке не подозревал, думал, что попадёт в зону. И оделся соответственно: видавшие виды брюки, дублёный старый тулуп, шапка-кубанка. И тут я подумал: зачем высылать его в таком виде?.. Зачем Солженицыну давать возможность эти его тряпки продавать на Западе как реликвию?.. Я велел доставить Солженицыну новую одежду, в соответствии с распоряжением Андропова. Всё принесли подходящее — только кроликовая шапка, ну, страшно поношенная. Звоню Андропову. Он приказал не дурить. Короче, выдали Солженицыну новую ондатровую шапку. Старую одежду сожгли».

что ничего в Лефортове не подписал (был пущен слух, будто Солженицын добровольно выбрал изгнание вместо тюрьмы). И теперь от *телёнка* ожидали, что, пободавшись с *дубом* и не расшибив лба, он врежет ему как следует.

Это и был момент истины. «Вот наконец я стал свободен как никогда, без топора над головою, и десятки микрофонов крупнейших всемирных агентств были протянуты к моему рту — говори! и даже не естественно не говорить! Сейчас можно сделать самые важные заявления — и их разнесут, разнесут... А внутри меня что-то пресеклось... Вдруг показалось малодостойно: браниться из безопасности, та́м говорить, где и все говорят, где дозволено».

Как-то само собой у него вышло: «Я — достаточно говорил, пока был в Советском Союзе. А теперь — помолчу».

Своё выпадение из лефортовской темницы и появление в центре Европы он поймёт в первый же день как шанс напечатать и ещё написать книги, как возможность бережно собрать урожай. Но здесь, под окнами Бёлля, его молчание было воспринято как нарушение конвенции — что́ бы он делал без помощи западных корреспондентов, которые рисковали карьерой, передавая его рукописи и его плёнки, приходили по первому зову? «Молчанием моим — они оказались крайне разочарованы. Так — с первого шага мы с западной "медиа" не сдружились. Не поняли друг друга».

Москва бурлила. Всю неделю газеты печатали отклики трудящихся и письма деятелей культуры, аплодирующих «гражданской смерти предателя». С теми творческими единицами (в отчетах ЦК назывались Евтушенко, Некрасов, Иоселиани), кто не понял смысл акции, планировалась разъяснительная работа («Не пора ли Евтушенко на пятом десятке лет остановить качели, на которых он порой раскачивается?» — грозно спросят поэта собратья по цеху). Лояльные граждане резво подписывали статьи: «Изменнику родины нет места на советской земле», «Предательство не прощается», «Отвергнутый народом». Дрогнули даже стойкие. Письмо одобрения подписал Колмогоров (вместе со своим близким другом академиком Александровым) — что́ могло вынудить его на такой шаг? Он получит гневное, как пощёчина, открытое послание от коллеги: гений служит злодейству, потакает подлости. «Мы верили, что существует уровень гениальности, несовместимый с моральной низостью. Мы думали, что существуют сияющие вершины человеческого духа, на которых нет места ничему мелкому, корыстному и трусливому. Чему же нам верить теперь?.. Вы предали себя, предали Науку». Это событие ученики акаде-

мика назовут трагическим фактом в биографии учителя и в истории России*.

Больнее всего было читать выступление митрополита Крутицкого и Коломенского Серафима (Никитина), тоже одобрившего указ: «Солженицын печально известен своими действиями в поддержку кругов, враждебных нашей Родине, нашему народу». Немедленно Патриарху всея Руси Пимену была послана телеграмма: «Акция митрополита Серафима есть кощунство — поругание священной памяти мучеников. Преосвященный митрополит нанёс личное оскорбление одному из самых великих представителей современного христианства» (священник С. Желудков). Ситуация, когда иерарх православной церкви на страницах атеистических газет, попирая евангельскую заповедь, осуждает брата во Христе, изгнанного «правды ради», будто иллюстрировала недавнее письмо изгнанника к Патриарху. Болезненный ужас от подобных нравственных провалов больше всего угнетал сознание соотечественников.

Снова две России стояли лицом к лицу. Одна подписывала «Московское обращение» с требованием оградить Солженицына от преследований и дать ему возможность работать на родине. Другая — клеймила, поставляя материал ненасытным отчётам ЦК. Перевес был на стороне грубой силы. 14 февраля приказом Главного управления по охране государственных тайн в печати из всех библиотек общественного пользования изымались все до единого экземпляры напечатанных произведений Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела», «Захар-Калита». Практически это значило, что будут истреблены все номера «Нового мира», где, между прочим, были напечатаны сочинения и других авторов. Но кто тогда с этим считался...

Госбезопасность, подводя итог операции, сообщала в ЦК (23 февраля) о крупной победе. Тем силам на Западе, которые использовали Солженицына в подрывной деятельности, нанесён серьёзный удар. Правительства западных стран вынуждены признать правомерность и дальновидность акции. Они уже проявляют сдержанность в вопросе о предоставлении Солженицыну политического убежища и гражданства.

---

* В октябре 1987-го, когда до Солженицыных дошла весть о кончине Колмогорова, они вспоминали его злосчастное выступление уже без обиды. «Саня сказал: а я всем давно простил... Мне, — записывала Н. Д., — нечем помянуть его кроме добра. Он был один из “высоколобых” и вдохновенных носителей Божьего дара, которых мне посчастливилось встретить. Он казался всегда живущим в мире с собой».

В большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки «дело Солженицына» большого внимания не привлекло. Антисоветская шумиха явно идёт на спад. Население западных стран теряет интерес к человеку, сделавшему бизнес на антисоветизме. В эмиграции ему будет трудно сохранить за собой славу «великого писателя». Он уже не принесёт Западу тех дивидендов, которые мог давать, находясь в СССР. «Играть на Солженицыне можно будет от силы полгода-год, поскольку ни как писатель, ни как историк, ни как личность интереса для западной публики он не представляет». Последнее утверждение, высказанное американским советологом Бжезинским, КГБ (устами зампреда Цвигуна) цитировал с видимым удовольствием.

Вольно же было госбезопасности быть столь самонадеянной...

К «безответственным правителям великой страны» обращались в те дни самые отважные её граждане. «Вы не решились убить его не потому, что вы гуманисты, — писал историк Лев Регельсон, — вы ими никогда не были; но вы, кажется, начали понемногу понимать, что в духовной борьбе убитый противник намного опаснее живого». «Ложь — ваше оружие, — бросал в лицо Союзу писателей Владимир Войнович. — Вы оболгали и помогли вытолкать из страны величайшего её гражданина. Вы думаете, что теперь вам скопом удастся занять его место. Ошибаетесь». «Я уверен, — говорил академик Сахаров итальянской газете, — что Солженицын, человек исключительного мужества, найдёт в себе силы не замолкнуть, а полностью использует те возможности, которые предоставит ему жизнь на Западе, со свободным доступом ко всем источникам информации, для продолжения своего дела». «Что будет делать Солженицын на чужбине? — размышлял Рой Медведев. — Конечно, он будет писать, и писать прежде всего о своей родине, интересами и судьбами которой он будет жить и за рубежом». «История, да ещё какая! — библейского величия и накала творится на наших глазах, — записывал в дневник Юрий Нагибин. — Последние дни значительны и нетленны, как дни Голгофы... Вот, значит, какими Ты создал нас, Господи, почему Ты дал нам так упасть, так умалиться и почему лишь одному вернул изначальный образ».

...Краткосрочный немецкий паспорт был привезён в дом Бёлля утром 14 февраля; от имени правительства ФРГ мидовский чиновник предложил Солженицыну избрать Германию постоянным местом жительства. Но — ему грезилась Норвегия, и манил Цюрих, место действия ленинских глав

«Р-17». Простившись с гостеприимными Бёллями, А. И., Лиза и доктор Хееб (тоже приехавший к Бёллю) двинулись на автомобиле в Кёльн, оттуда поездом достигли Базеля — а там писателя встретили пограничники, ожидавшие... автографа. На вокзале в Цюрихе и на прилегающих улицах его приветствовала густая толпа народа. Дом Хееба на окраине города обложили корреспонденты, тщетно требуя, чтобы гость вышел, говорил, позировал. Приехал и предложил помощь в устройстве мэр Цюриха Зигмунд Видмер. Звонил сенатор Хелмс, приглашал немедленно лететь в Америку. В интервью Фрэнку Крепо А. И. скажет, как дружелюбно и даже горячо встретил его Запад, но не скроет, как назойливы здесь репортёры: «Это — другой полюс той неотступной, но скрытой слежки, которой я постоянно подвергался у себя на родине».

Соприкосновение с прессой неприятно изумляло и отталкивало. А. И. понимал, что поступает неблагодарно: именно «медиа» построила ему мировой пьедестал и вызволила из тюрьмы — хотя бы по инерции сенсаций (пусть даже вёл бой он сам и рисковал один). Теперь по той же инерции от него ждали продолжения сюжета. Значит, в угоду газетам он должен превратиться в болтуна и балаболку, стать дежурным давальщиком интервью, поставщиком новостей? Жгла опасность отбиться от письменного стола, втянуться в публичность, утонуть в собственных речах. Но неужели он, ни дня не державшийся за свою первую славу, будет цепляться за сегодняшний триумф и потакать всем камерам и перьям? Неужели пустит свою жизнь на расклёв? «Вы хуже гэбистов!» — скажет он в сердцах бесцеремонным репортёрам, совавшим ему под нос длинные микрофонные палки на улицах Цюриха, когда во время прогулки он разговаривал со спутниками. Эти слова разнеслись по всему миру. «Так с первых же дней я много сделал, чтобы испортить отношения с прессой. Сразу была заложена — и на многие годы вперёд — наша ссора».

В доме Хееба А. И. встретился и с Никитой Струве, третьей вершиной своего «опорного треугольника». Это он, издатель «ИМКА», тайком готовил в Париже русский «Архипелаг» и обеспечил его победный старт в конце декабря 1973-го. В «Вестнике РСХД», сопровождавшем публикацию «ошеломляющей и фантастической» книги, Струве писал: «*Архипелаг* — книга воздаяния, суда, покаяния. В ней — мёртвые встают с безумных строек, загубивших их, со дна подвалов и каналов, и взывают, как призраки в Ричарде III, о воздаянии. Страницы *Архипелага* — как скрижали страш-

ного судного дня. "Вся правда сказана и никому уже её не стереть"... Своей художественной неотразимостью, своей политической трезвостью, своей нравственной высотой *Архипелаг ГУЛАГ* из тех редких книг, что производят сдвиги не только в сознании людей, но и в самой истории». «Вестник» первым напечатал воззвание «Жить не по лжи!». С момента знакомства начались и потекли годы совместной работы и дружбы. «С Никитой Алексеевичем оказалось всё просто и взаимопонятно, как если б его не отделяла целая жизнь за границей: духом — он всё время жил в России, и особенно в её литературных, философских, богословских проявлениях на чужбине». Через двадцать лет Струве вспомнит, как в их первую встречу в Цюрихе А. И., устав от суеты, прилёг отдохнуть и вдруг говорит: «Вы знаете, я вижу день моего возвращения в Россию». Потом добавил: «Я вижу, как и вы приедете в Россию...»

После краткого гощения у Хееба, разъездов по городу, осмотра знаменитого дома на Шпигельгассе (газеты сглупа напишут, будто Солженицын пришёл поклониться Ленину), пора было выбирать место жительства. Но где? А. И. не забыл, как в нобелевские дни Норвегия дружеским порывом открыла свою землю для его письменного стола. Они с женой вполне представляли себе жизнь в скандинавской глуши: высокий берег фиорда, на обрыве дом с видом на океан. «Суровость, зимность и прямота этой страны прилегали к самому сердцу». Короткая поездка в Норвегию вызвала удивление прессы (только жена в Москве поняла, в чём дело). На железнодорожных станциях Германии и Швеции его узнавали, встречали оркестриками и цветами; окружили почётом в Копенгагене; на пристани в Осло люди держали плакаты «God bless you». Норвежцы, скажет А. И. по местному телевидению, сохранили спасительный идеализм, которого всё меньше в современном мире, но только он один даёт человечеству надежду на будущее. И всё же Норвегия как пункт приземления и оседлости быстро отпала. Здесь Солженицын почувствовал то, о чём прежде не думал: норвежское побережье, казавшееся из Москвы неприступной скалой, на самом деле было крайне уязвимым — лёгкая добыча для воинственного соседа. Если война — думал Солженицын в разгаре своего противоборства — Советы в первые же часы будут атаковать этот берег, чтобы нависнуть над Англией. «Почти нельзя было выбрать для жительства более жаркого места, чем этот холодный скальный край... Я понял, что в Норвегии мне не жить. Дракон не выбрасывает из пасти дважды».

Возвращаясь из Скандинавии поездами, чтобы побольше увидеть Европы, А. И. перебирал в уме страны, где бы приютиться — чтобы без коммунизма, и не слишком жарко, и близко по духу. «Ещё одна, кажется, оставалась в мире страна, мне подходящая, — Канада, говорят — сходная с Россией. Но текли недели, ждалась семья, откладывать с выбором было некогда». Значит — пока Цюрих, нечаянный подарок для «Р-17». Размышляя о выборе, он учитывал, что теперь мог бы месяцами триумфально гастролировать по странам мира. Первой шанс заполучить героя почуяла Америка. Выступая в американском сенате 18 февраля, сенатор Джесси Хелмс назовёт Солженицына *гражданином мира* и внесёт резолюцию, по которой он становился бы почётным гражданином США: такую честь Америка оказывала когда-либо только двум иностранцам — Лафайету и Черчиллю. Приглашение отдохнуть на вилле в горах Северной Каролины, а потом посетить Вашингтон для встречи с сенаторами А. И., вернувшись из Норвегии, благодарно отклонит: «В непривычно новых условиях я должен с особым усердием и вниманием сосредоточиться на моей основной литературной работе... Потому никакие вообще поездки и никакая энергичная общественная деятельность невозможны сейчас для меня».

Откажет и лидеру профсоюзного движения Джорджу Мини, звавшему посетить США и проехать по стране с лекциями: свобода потеряет всякий смысл, если перестать писать. В свободном мире хотелось быть свободным и от прессы, и от приглашений, и от публичности. Это была, считал А. И., литературная самозащита, та самая, которая не пустила его в дни первой славы получать московскую квартиру. «Только б не дать себя закружить, а продолжать бы в тишине работать, не дать загаснуть огню писания. Не дать себя раздёргать, но остаться собой».

Тем временем мэр Цюриха Видмер предложил писателю арендовать половину дома в университетской части города, на Штапферштрассе, 45: подвал, первый и второй этажи — с кухней, столовой, гостиной, тремя спальнями, и ещё мансарда из двух комнаток, куда можно втиснуть полки и письменный стол. Из мэрии прислали мебель в аренду, и потекла почта от Хееба: книги, письма, телеграммы, приглашения. Нашлись помощники-чехи, якобы из эмигрантов — и не сразу поймёт А. И., что это ловушка, что эти «помощники», под видом деятелей Пражской весны, внедрены в его дом госбезопасностью, чтобы заманить «Паука» в сотканную вокруг него паутину.

План, одобренный Политбюро ЦК, предполагал: дискредитировать писателя на Западе и в глазах соотечественников; выявить и перекрыть каналы сообщения с друзьями в СССР; идентифицировать всех, кто с ним связан, и блокировать идущую от этих лиц информацию; распространять ложные сведения о сотрудничестве людей из окружения Солженицына со спецслужбами. Из разных адресов сюда направлялись письма протеста, подозрительные на вид посылки, анонимные угрозы; в журналистскую среду вбрасывались слухи — мол, могут украсть детей, поджечь дом. Ставилась задача вселить в А. И. чувство страха и нервозности, чтобы «отвратить Солженицына от его деятельности».

В дом на Штапферштрассе были внедрены офицеры чешской службы безопасности StB супруги Голуб. Валентина Голуб представилась чешкой, родившейся в России, в Рязани (землячка!), и после 1968 года сбежавшей в Швейцарию. Именно она предложила А. И. помощь чешской эмигрантской общины, и вскоре («чувство постоянной вины перед чехами затмило осторожность») фрау Голуб и её муж стали своими людьми в доме*. Этот план, однако, удался Андропову далеко не во всех пунктах: Солженицын гораздо раньше, чем рассчитывали планщики, раскусил их замыслы, постепенно отодвинул чешскую пару от всех дел, ни разу не принял Ржезача у себя дома и вообще избежал с ним личного знакомства, как ни ходатайствовала за «прекрасного поэта» фрау Голуб («Я допускаю, — писал А. И. про Ржезача, — что он и хозяев обманул: он и им ещё из Цюриха соврал, что задание выполнено, познакомился»).

...Каждые несколько дней А. И. звонил в Москву, жене. Её голос казался измученным — было понятно, что она за-

---

* Согласно опубликованным на Западе документам из коллекции В. Н. Митрохина, бывшего архивиста КГБ («Архив Митрохина»), госбезопасность стремилась забросить «Пауку» в сеть приманку, которую тот без колебаний бы проглотил. Голубам вменялось навязать А. И. в качестве переводчика и внедрить в «друзья и сотрудники» агента StB Томаса Ржезача (кличка «Репо»). После того как внедрение произойдёт, Андропов намеревался приступить к осуществлению «Плана “Паук” № 5/9-1609»: дискредитировать и дестабилизировать Солженицына и его семью и обрезать его связи с диссидентами. За писателем велось неотступное наблюдение, его пытались вывести из равновесия, выплёскивая потоки клеветы, которая регулярно воспроизводилась в западной прессе. По версии Митрохина, только к середине 1975 года А. И. понял (ему намекнули из Чехословакии, а потом и швейцарская полиция), что вокруг него сплетена тонкая агентурная сеть, и принял свои меры, ибо швейцарская полиция не смогла обеспечить ему необходимую защиту. Согласно той же версии, «пристальное внимание», каким писатель был окружён в Швейцарии, могло подтолкнуть его к отъезду в США.

нята спасением архива. «Не торопи меня с приездом. Очень много хозяйственных хлопот», — просила Аля. Сначала она подвернула ногу и не могла ходить, потом тяжёлым воспалением легких заболел Стёпа. Неясна была позиция властей: на каких условиях разрешат вывезти архив. 13 февраля, в Лефортове, Солженицын написал заявление: «Я могу ехать только в составе своей семьи». В перечне значились жена, её сын Митя Тюрин, трое малышей Солженицыных, тёща Е. Ф. Светлова и тётя Ира Щербак. «Также прошу Вашего разрешения на беспрепятственный вывоз моей библиотеки и моего литературного архива, почти целиком состоящего из романа “Октябрь Шестнадцатого”, материалов к нему и к следующему — “Март Семнадцатого”». Заявление Н. Д. Солженицыной с просьбой о выезде в Швейцарию рассматривал Президиум Верховного Совета с участием КГБ, МВД и Генпрокуратуры. Было вынесено два решения: не взыскивать с членов семьи госпошлины на выезд из СССР (так как глава семьи покинул страну не по своей воле) и не возражать против вывоза архива и библиотеки писателя при условии тщательного таможенного досмотра.

Каждый вечер после работы в осаждённую квартиру приходила Люша, часами разбирала, сортировала, раскладывала по конвертам материалы, готовила архив к переезду. Обеим Чуковским высылка Солженицына досталась нелегко: анонимки, брань, угрозы («лев будет убит» и т. п.), слежка и провокации не оставляли их ни в первые недели, ни потом многие годы. Всё это время «начальник контрразведки Солженицына» (так прозвали Люшу в ГБ) будет опекать тётю Иру в Георгиевске, писать изгнаннику при любой возможности и наотрез откажется «прийти поговорить» в ГБ без официальной повестки. А вот В. Курдюмов летом 1974-го явится-таки по вызову на Кузнецкий Мост и узнает, что «контора» сняла про него целое «кино» — как он фотографировал рукописи у Солженицына и как с ним встречался. Предложат рассказать о «деятельности» и «взглядах» А. И. Но Валерий Николаевич изберёт тактику «глухой несознанки»: никогда книг Солженицына не читал, никогда ничего у него не фотографировал. Грозили встретиться с ним по месту работы — в дирекции Радиотехнического института АН. Изображая насмерть испуганного человека, он ничего не сказал, ничего не подписал. «Мы видим по тебе — такие, как ты, работать на нас не будут». И отстали.

...Наконец был назначен день отъезда — 29 марта. Незадолго до этого Аля и Екатерина Фердинандовна получили советские загранпаспорта, в которых за ними сохранялось

советское гражданство ещё на два года — до марта 1976-го. За два дня до отъезда начались проводы и прощания. Позвонила, не называясь, Надя Левитская. Плачущий голос сказал: «Передайте *ему*, что то были счастливые годы, таких больше не будет». 27 марта квартира заполнилась людьми, не было ни общего стола, ни речей. Вспоминал Александр Горлов: «Кто-то предложил вести счёт посетителям и сотому вручить “приз” — стакан водки. Но сотой оказалась жена генерала Григоренко, и приз не был должным образом оценён. Сто двадцатыми оказались А. Д. Сахаров с женой». Все читали Алино прощальное письмо — о том, как больно расставаться с Россией, оставлять друзей, не защищённых мировой известностью от мстительной власти; о том, что пробивается и крепнет подлинно русское чувство — сострадание к гонимому, травимому, неправедно осуждённому; о том, что на глазах совершается чудо — возвращается поруганная, оплёванная, затоптанная вера. «В этом чуде — наше будущее, в нём — основание надежды. Не мне судить о сроках, но мы вернёмся. И детей наших вырастим русскими. И потому — не прощаемся ни с кем». Гости расходились далеко за полночь.

Самолёт швейцарской авиакомпании улетал из Москвы в восемь утра. Вышли из дома в четыре; семья и провожающие разместились в машинах друзей. «Несмотря на глубокую ночь и темень, во дворе перед домом слонялось довольно много “посторонних” людей: были здесь и “влюблённые” парочки, и пожилые “пенсионеры”, которых, надо полагать, мучила бессонница. Один держал открытую тетрадь: подходил к каждой вновь подъезжающей машине и демонстративно записывал номер. Неожиданным было появление свободных такси, которых никто не вызывал» (А. Горлов). В аэропорту семью Солженицына ожидали десятки корреспондентов.

Процедура досмотра проходила долго, но вежливо и корректно (потом окажется, что все аудиоплёнки, записи трёх лет, таможенники стёрли или размагнитили). «До свидания! Мы вернёмся!» — крикнула Аля, подойдя с Ермошей на руках к перилам верхнего зала у выхода на лётное поле. Е. Ф. плакала и махала руками стоявшим внизу друзьям. Западные радиостанции передадут в тот же день отчёт об отъезде и пофамильно назовут провожающих (это, увы, не пройдёт им даром).

В тот день в Цюрихе было тепло и солнечно. «К самолёту приставили лесенку, меня впустили. Вошёл, как в темноту, первым столкнулся с Митькой, обвешанным ручными

сумками за всех, потом Аля передала мне Ермошку и Игната, они таращились, Ермошка меня узнал, а полуторагодовалый Игнат просто покорился судьбе, я понёс их как два пенька, Аля — корзину с шестимесячным Стёпкой (тогдашняя фотография стала из моих любимых). За Алей шла бабушка. Чемоданов они привезли десяток, но это было, конечно, не главное, Аля успела шепнуть, что всё *существенное* не тут, пойдёт иначе».

Огромный архив, многолетние заготовки к будущим Узлам, без которых автор «Р-17» был бы в изгнании «инвалидом с вырванным боком и стонущей душой», удалось, не утратив ни странички, ни привычного упаковочного конверта, переправить в Швейцарию, минуя таможню и копировальные аппараты. Бесценный груз приедет на Штапферштрассе, 45 тремя порциями. 16 апреля сотрудник германского МИДа доставит два чемодана и сумку с незаконченным «Октябрём», дневником романа и сорока конвертами заготовок: Солженицын запомнит этот миг, как чудо, равное исцелению от рака. 27 июля норвежский журналист привезёт ещё один чемодан: новая радость и торжество. Осенью кружным путем через США усилиями американского дипломата прибудет самая объёмная часть бумаг. В октябре на месте будет и библиотека «Р-17».

Первые месяцы нырнуть в роман не получилось. «На родине писал, под всеми громами, до последнего дня, — а тут вот уже два месяца — и не могу? Задушили перепиской, заклевали вопросами, требованиями, визитами через калитку и окриками поверх заборчика». А он уже горел ленинской темой, и везде в Цюрихе за ним по пятам шла ленинская тень. Заходил в библиотеки, где Ильич занимался, в трактирчики, где тот сиживал, прохаживался по уже знакомой Шпигельгассе, изучал вероятные маршруты героя. И попал в другой «ленинский» город — Берн, где президент Швейцарии торжественно вручил изгнаннику разрешение на постоянное проживание без испытательного срока (вскоре и вся семья получит в Цюрихе швейцарские паспорта).

Жест дружеского участия и уважения к гонимому русскому писателю и его семье странным образом опоздает. Едва начав жизнь в Цюрихе, они с Алей поймут, что из этого образцового города придётся уезжать. Здесь — скрещение европейских дорог, волны эмигрантов, потоки посетителей (в «Зёрнышке» А. И. выразительно опишет «тряску и дёрганье» своего первого цюрихского лета). Здесь ему не дадут работать, и, чтобы писать, придётся снова ездить в «берлогу», на этот раз в горы (Видмеры любезно предоставят ему полдачи

в альпийском Штерненберге), сидеть там одному, без семьи, как было во все прежние годы. Значит, надо искать швейцарскую глушь либо другую страну. И если это не Европа, то, методом исключения, получались США или Канада.

В конце мая уединение Штерненберга с Солженицыным разделил о. Александр Шмеман. Дневниковые записи «горной встречи» рисуют писателя пером священника-эмигранта («Невероятное нравственное здоровье. Простота. Целеустремлённость... Несомненное сознание своей миссии, но в этой несомненности подлинное смирение... Чудный смех и улыбка... Никакого всезнайства. Скорее интуитивное понимание... Такими, наверное, были пророки... Его вера — горами двигает... Рядом с ним невозможна никакая фальшь, никакая подделка, никакое “кокетство”»). Вернувшись в «свой мир», Шмеман сравнит два впечатления: «Там — в Цюрихе — сплошной огонь (но какой!). Тут — привычная болтовня о Христе и преображении мира». Во время прогулок в Штерненберге, а потом в Париже со Струве, и ещё позже, в Америке отец Александр не раз подумает о Солженицыне с любовью, жалостью и страхом: сгорит или не сгорит? Как долго сможет жить таким пожаром? Страшно от его напора, страшно *за* него, страшно за то, *что* и *как* он сделает.

Но пожар, угроза которого столь остро, даже болезненно воспринималась внешними людьми, полыхал вполне контролируемо. Изнутри жизни огонь виделся нормой, естественной стихией и, на языке Солженицына, ощущался как густая череда неотменимых дел, срочных решений и обязательных поступков. Так, в один из тёплых весенних дней они с Алей, сидя в лесу на скамейке, на Цюрихберге, придумали создать Русский Общественный Фонд на средства мировых гонораров от «Архипелага». «Сперва помощь — зэкам, преследуемым, но не упускать и русскую культуру, и русское издательское дело...» И всё начнёт действовать. Созданный совсем не пожарным порядком, а чувством долга, Фонд не сгорит и через тридцать лет, только расширит свои задачи.

Но ещё же следовало защищать каждого своего помощника, оставшегося дома, не дать властям расправиться с ними втихомолку (заявления в поддержку П. Григоренко, Е. Эткинда, В. Некрасова, А. Гинзбурга, Г. Суперфина). В Цюрихе была написана речь для церемонии вручения премии итальянских журналистов «Золотое клише». Организаторы специально приехали в Цюрих, и вместо политического заявления А. И. сказал неожиданное: опасность не в том, что мир разделён на два лагеря, а в том, что обе системы по-

ражены общими пороками материалистической цивилизации. Невозможно было отклониться и от полемики с Сахаровым, признанным вождём либерального направления: А. Д. ещё в апреле выступил с критикой «Письма вождям», видя в нём *опасные ошибки*. В «Зёрнышке» А. И. едко скажет: «Дождалась Россия своего чуда — Сахарова, и этому чуду ничто так не претило, как пробуждение русского самосознания!» «Из долгого боя выйти непросто, вот уже 4 месяца в Европе и ещё многие месяцы придётся дояснять, договаривать, отражать догонные удары, а истинно хочется: уйти в тишину, писать, — и книги пусть текут». Как репортажи с поля боя (а вовсе не мемуары) писались новые дополнения к «Телёнку», а также попутная, порой случайная, публицистика. Постепенно, с ошибками, просчётами, внутренними терзаниями — за два-три месяца, — А. И. втянулся в писательское занятие, в свой естественный режим существования: устоялись мысли, пришло душевное равновесие.

Среди дел, начатых на родине и требующих завершения, был сборник «Из-под глыб». В середине ноября удалось согласованно (в Москве и Цюрихе) провести пресс-конференцию в связи с его выходом. Акция мыслилась символически — из Цюриха оглашается документ, где группа русских людей из Москвы рассказывает Западу, чем обернулась акция, которую Ленин поехал совершать в Россию из этого самого Цюриха. Официальная Москва ответила тоже символически, обрубив после выхода сборника открытую почту в оба конца. За действиями изгнанника напряжённо наблюдали. Вскоре после его высылки АПН отчитывалось в ЦК специальными мерами (тиражирование записок Решетовской и показаний Виткевича). «Работа по дискредитации ведётся в тесном контакте с КГБ... Всего за январь—февраль с. г. по линии АПН за рубеж направлено более 95 материалов» — в них Солженицын презрительно назывался эмигрантом с «несостоятельными политическими амбициями». Андропов докладывал: «Принимаются меры к локализации попыток Солженицына проводить враждебную деятельность, дальнейшей компрометацией его перед советской и мировой общественностью, усилению наблюдения за лицами, оказывавшими поддержку Солженицыну в период его проживания в СССР».

Однако «меры» и теперь плелись в хвосте. Смысл всякого эмигранта, словно отвечал Солженицын оппонентам, — возврат на родину. Расчёт властей, что, спихнув в эмиграцию интеллектуально активные силы, они добьются в стране тишины и покорности, ложный: идеологическая основа

сгнила, умы молодёжи открыты сомнению и поиску. Свою деятельность вне родины А. И. осмысленно строил как путь домой. «Впереди у нас цель, — заявил он в июне 1974-го в телеинтервью Си-би-эс, — возврат в Россию, чувствуем себя повседневно связанными с нею... Мы верим, что вернёмся, для этого и работаем». Подобные заявления многим казались тогда пустой риторикой.

И оставалось ещё одно неоконченное дело — получить Нобелевскую премию, через четыре года после награждения. У старого цюрихского портного сшили фрак (А. И. коробило: для одного лишь надевания в жизни!) и на первой неделе декабря отправились по следам Бунина, в Стокгольм, поездами. Это было не первое их европейское путешествие — в октябре четыре дня они с Алей поездили по Швейцарии: Берн, Женева, Монтрё, Шильонский замок; по досадному недоразумению не попали к Набокову (Солженицын ждал звонка, подтверждающего приглашение, а Набоков считал, что всё уже обговорено); краешком захватили Италию. Теперь вот с пятью пересадками добрались до Швеции. «В нашей советской жизни праздники редки, а в моей собственной — и вообще не помню такого понятия, таких состояний, разве только день 50-летия, а то никогда ни воскресений, ни каникул, ни одного бесцельного дня».

Непривычные часы праздничного веселья, встречи, впечатления, прогулки по старому городу А. И. неспешно опишет в «Зёрнышке». *Nobeliana*, сослужившая мощную службу в поединке с *дубом*, завершалась чинно, по заведённому этикету: традиционный обед Шведской академии в честь лауреата (ныне, кроме двух шведов, был он, опоздавший русский), репетиция церемонии, сама церемония с королевским рукопожатием и вручением почётных знаков*, банкет в ратуше, ответное слово, которое А. И. прочёл на память, ужин в королевском дворце (как раз пришёлся на 11 декабря, первый день рождения на чужбине; Люша Чуковская

---

* «Я уже дважды держал к Вам речь, — сказал в своём обращении к лауреату член Шведской академии Карл Раднар Гиров. — Первую Вы не смогли услышать, потому что Вам мешала граница. Вторую я не смог произнести, потому что граница мешала мне. Ваше сегодняшнее присутствие здесь не означает, что границы наконец исчезли. Наоборот, это значит, что граница всё ещё существует, но сейчас Вы находитесь по эту её сторону. Но дух Ваших произведений, как я его понимаю, двигающая сила Вашего творчества — подобно духу и силе завещания Альфреда Нобеля — в том, чтобы открыть все границы, позволяя людям встречаться друг с другом свободно и доверительно. Трудность в том, что такое доверие может быть основано только на правде, и нет такого места в нашем мире, где правду всегда искренне приветствуют».

пришлёт в Цюрих поздравительную телеграмму, и снова ГБ будет её всяко запугивать). Не раз в эти дни подумает Солженицын, как он был наивен четыре года назад, предполагая вместить в распорядок чопорных мероприятий слово о голодовке политзаключённых. И ещё одно: хорош бы он был, если б ради одного такого дня своей волей уехал из России и узнал вот здесь, в ратуше, о лишении гражданства. «Чем бы я тогда отличался от Третьей эмиграции, погнавшейся в Америку и Европу за лёгкой жизнью, подальше от русских скорбей?»

В Цюрихе их ожидал сюрприз. «Полиция для иностранцев» через контору Хееба сообщила о необходимости, согласно постановлению швейцарского правительства от 1948 года, испрашивать разрешение на любые политические высказывания и предупреждать о том за десять дней. Первое движение было — грохнуть, обличить, немедленно. «Благодетели! — приют мне предоставили! — чтобы я молчал глуше, чем в СССР?» Видмеры едва отговорили, и он едва удержался, ответил полиции выразительно, но «в рамках», однако как жить тут с заткнутым ртом? И это в старейшей демократии Европы! Письмо из полиции словно бы толкало в спину — здесь не *его* место, надо уезжать, бесповоротно.

Новый, 1975 год они с Алей встречали в Париже. Заранее уговорились со Шмеманом — тот обещал прилететь на новогодние каникулы. Страхи отца Александра с момента цюрихского знакомства под многими влияниями только окрепли: Солженицын склоняется к идеологизму, учительству, доктринёрству. «На сердце скребёт, страшно за этот потрясающий *дар*...» Струве, с которым Шмеман делился сомнениями, отвечал: «Что соблазнов у А. И. — много, я очень чувствую и иногда больно переживаю: соблазн догматизма, авторитаризма, некоторого упрощения и т. д. В творчестве все эти соблазны преодолеваются, снимаются, в жизни они неизбежны. Это обратная сторона его силы...» Шмеман прекрасно знал настроения Третьей эмиграции; тесно общался и был дружен со многими. «Они не понимают или не хотят понять, что А. И. — явление мировое, первый русский человек после смерти Толстого, дошедший до сознания десятков миллионов. Чтó рядом с этим фактом реплики или ещё какие-нибудь писульки, в которых А. И. не сумел обуздать силу? А они об этом всерьёз».

Но и сам Шмеман склонялся говорить о соответствии эмпирического облика Солженицына его историческому значению в терминах почти страдальческих: в статьях А. И., помещённых в сборнике «Из-под глыб», Шмемана волнует,

что автор «бьёт наотмашь со священным гневом», «оскорбляет направо и налево» и, значит, быть грозе. «Огромная, неудобоваримая правда Солженицына. Тут действительно “ничего не поделаешь”», — замечал Шмеман, а *Третьи* уже были «смертельно, кровно» обижены на Солженицына. Отец Александр предвидит: «То ли ещё будет, когда они прочтут “Образованщину”!» В Париже новая русская эмиграция была «буквально накалена» против Солженицына и торопилась сказать о том Шмеману. «Опять моя вечная трудность: вполне понимаю и их, и его и не хочу выбирать, ибо для меня это — *не* выбор».

...Знакомство с неповторимым городом, его набережными, бульварами, картинными галереями — было по Алиной части. А. И. ставил себе цель деловую, «революционную»: Париж белой эмиграции, которая билась за Россию и отступила с боями. В мансардный номер гостиницы в Латинском квартале на улице Жакоб приходили старики, бывшие офицеры; с сыном Столыпина, Аркадием Петровичем, А. И. обсуждал будущую главу «Колеса» о его отце. Прогулку с отцом Александром по Парижу А. И. назовёт лучшим своим днём в Париже — они побывали во многих исторических местах города, на его войнах и революциях. Долго бродили по кладбищу Сен-Женевьев-де-Буа, А. И. волновался, записывал имена, надписи. «Ведь это — всё отцы мои, его поколение!.. Там погибшее под сталинскими глыбами, и вот — здесь — в изгнании!»

Никита Струве показал русскую типографию Лифаря, где печатались «Август» и «Архипелаг». А. И. был поражён, увидев, что *страшно тайная* типография, какой она казалась из Москвы, была открытым двором и амбаром, куда каждый мог войти без спросу и без пропуска. Прояснились и порядки в самой «ИМКА»: Струве, профессор Парижского университета, не занимал в ней на тот момент никакого поста, а был душой издательства на бесплатной основе; штат не содержал ни одного редактора, ни одного постоянного корректора, издательская политика была не совсем внятная. Договоры, заключённые заочно, оказались крайне запутаны. А если прибавить к этому общую картину доверенных адвокату Хеебу издательских дел (полный развал нарисовался осенью 1974-го), можно понять, почему так напряжён был А. И. в новогоднюю ночь в Париже, в русском ресторане у Доминика на Монпарнасе, где с четой Струве и четой Шмеманов были и они с Алей. «Чувствуется наличие драмы... Солженицын мрачен как туча...» — записал в тот день отец Александр. А. И. вспоминал ту ночь иначе: «Сидела там со-

стоятельная публика, чужая России, а старый русский официант, высокий статный мужчина, наверно бывший офицер, в полночь надел для смеха публики дурацкий колпак и пытался смешить, едва ли не кукарекал. Сердце разрывалось от такой весёлой встречи».

«Хищники и лопухи» — так аттестуется в «Зёрнышке» издательский мир Запада, который из Москвы виделся в розовом свете. Теперь наступало отрезвление: найти в свободном мире руки *честные* и *верные* окажется непростой задачей. «Мы — бились насмерть, мы изнемогали под каменным истуканом Советов, с Запада нам нёсся слитный шум одобрения мне, — и оттуда же тянулись ухватчивые руки, как бы от книг моих и имени поживиться, а там пропади и книги эти, и весь наш бой». И всё же именно Франция, закрытая по языку для жительства, станет, как убедится вскоре А. И., приехав в Париж в апреле 1975-го по случаю выхода «Телёнка», страной, где все его книги будут прекрасно переводиться, выходить вовремя и работать в полную силу. Струве привезёт в Цюрих умных и душевных издателей Поля Фламана и Клода Дюрана, которые возьмут на своё издательство («Сёй», то есть «Порог») международную защиту авторских прав. «Только с того момента, с декабря 1974, мои добрые ангелы Фламан и Дюран постепенно, год от году, разобрали и уладили мои многолетне запутанные издательские дела».

Фламан и Дюран стали для А. И. гидами в мире французской печати. Выступление в телевизионной программе «Апостроф» (11 апреля 1975 года) с участием известных литературных критиков стало и знакомством с литературным Парижем, и, отчасти, прощанием с Европой. «В ходе этой передачи Солженицын выступил с махровых антисоветских позиций», — заезженно докладывал Андропов. Но Франция, смотревшая передачу, получила ошеломляющее впечатление. «Я не знаю ни одного француза, кто не был бы раздавлен величием Солженицына. И я полагаю, что вопреки всему, миллионы телезрителей восприняли его слово, слово любви, веры, надежды, освещавшее лицо и взгляд его и его самого», — писал в «Фигаро» Раймон Арон, известный интеллектуал и публицист.

...За пять зимних недель в Штерненберге были закончены все цюрихские ленинские главы — А. И. радостно убеждался, что смог преодолеть опасный, огромный по времени отрыв от «Р-17». «В горном домике в Sternenberg'е, — записывал он, — на деревянную стенку навесил несколько портретов Ильича, чтоб обозримее видеть сразу всё при работе, схватывать нужные черты, а получилось — как в сельской

избе-читальне, потеха. Но вот третий день изо всех портретов выделяется одна потрясающая фотография: сколько зла, проницательности и силы. Видит мой замысел — и не может (не может ли?) ему помешать. Посмертная пытка ему — а мне земное соревнование».

И ещё одно впечатление (А. И. с друзьями отмечал окончание работы в ресторанчике): «Поднимаю глаза: на близкой низкой стене прямо против меня — портрет Ленина! — да какой: тот, мой избранный для книги, — самый страшный и выразительный, где он и дьявольски умён, и безмерно зол, и приговорённый преступник. Три недели он висел у меня на стене в горах, с ненавистью и страхом следил за моей работой. И вот — здесь, разве не символ?..»

Завершение ленинских глав ощущалось как взятие хорошо оснащённой крепости. А. И. таки заставил своего инфернального героя быть свидетелем торжества над ним самим. *Первый раз* в жизни работа вырвалась из подполья: писатель заканчивал её без оглядки на конспирацию.

Освобождение!

Глава вторая

НА ПРОСТОРАХ МИРА: В ПОИСКАХ ДОМА И ПОКОЯ

За два месяца до высылки, 16 декабря 1973 года, А. И. записал в дневнике: «Начиная с 55-летия, хочу изменить стиль жизни: проиграть в темпе работы — и выиграть в длительности жизни. После всего сделанного второе уже становится важней: успеть поприсутствовать в будущем. Но сумею ли я этот стиль выдержать?» Оглядывая свою жизнь два года спустя, он должен был признать: стиль жизни (если не считать перемены мест) не изменился. Темп был всё тот же, только теперь в его планы вторглось ещё и пространство мира: старой Европы и Нового Света.

20 марта 1975 года из Вашингтона пришло известие: сенат единогласно проголосовал за избрание Солженицына почётным гражданином США. Знакомясь (и прощаясь!) с Европой, А. И. вместе с Виктором Банкулом, новым другом, сыном русских эмигрантов, в середине апреля на четыре дня отправился «взглянуть» на Италию и Южную Францию. Это были «редчайшие дни чистого отдыха безо всякой цели, даже безо всякой задачи глазам и наблюдению, а если что и записывает перо, то механически, от вечного разгона». «Вечный разгон» — так назывался и его нынешний темп. А перо

ухватило маленькую Брешию, шекспировскую Верону, волшебную Венецию, утреннюю Равенну, осквернённую мусором Флоренцию, а там и Пизу, и дымную Геную, и Лазурный Берег, и Грасс, где некогда жил Бунин, и холмы Прованса... В Монте-Карло каким-то знакомым ветром затянуло в казино — не играть, но ходить по залам, наблюдать и записывать: правила игры, лица игроков, манеры крупье. Зачем бы, казалось? «Но, писатель, никогда не зарекайся, а всегда запасайся!» Не пройдёт и трёх лет, как по этим залам будет хищно рыскать убийца Богров...

В конце апреля Солженицын улетал в поисках жилья в Канаду, полагая, что безвозвратно. Самолётный билет был куплен заранее, на подставную фамилию (в кабинете Видмера висел большой живописный портрет старика-пастуха, по-немецки *Hirt*, так А. И. и назвался). За семь часов перелёта (который уже не был «чистым отдыхом», а скорее данью политическому темпераменту) успел написать начерно и переписать набело статью «Третья Мировая?..» — о том, как свободный Запад, боясь Большой Войны, дал коммунизму покорить и разорить два десятка стран, то есть *впустил её в мир*. Швейцарец-стюард обязался обратным рейсом доставить письмо со статьёй в «Neue Zürcher Zeitung».

В Монреале Солженицына встретил условленный сотрудник аэропорта и как будто незаметно проводил к дому при храме Петра и Павла — Струве дал рекомендацию к епископу Американской православной церкви Сильвестру; ему А. И. и открыл цель своей поездки, прося совета и помощи. Несмотря на конспирацию, канадские газеты в первые дни визита огласили и план купить землю в Канаде, и намерение переселиться сюда. О своём желании Солженицын конфиденциально сообщил канадскому премьер-министру Трюдо, на частной встрече — немедленно разгласился и этот факт.

Три пасхальных дня писателя возил о. Александр Шмеман и был упоён «озёрной встречей». Общаясь с Солженицыным «вживую», слушая его голос, он ему «всё прощал» — исчезали сомнения, несогласия, недоумения. Они останавливались в маленьких отелях провинции Онтарио, бесконечно разговаривали, так что путешествие по канадской глуши казалось Шмеману дивным приснившимся сном. «Он, — записывал отец Александр, — в чудном настроении, бесконечно дружественен... Восторгается, потом тут же критикует... Всё-таки не Россия... Всё то же внутреннее метание: с одной стороны — желание устроиться, с другой — нетерпение, всё не то, всё не Россия... Настроение падает и поды-

мается, как у ребёнка: почему не нашли ещё имения? Хочет быть страшно практичным — на деле путаник, всё осложняет, всё по-своему, всё неисполнимые планы. И вдруг всё та же улыбка... Дружественен, почти нежен...»

Погружённый в «стихию Солженицына», Шмеман пережил в эти пасхальные дни чувство несказанной радости жизни. Так было вблизи. Анализируя впечатления «издали», он пытался дорисовать образ. Несомненным было одно: по одержимости призванием и полной слитности с ним, по той силе («мане»), которая исходит от А. И., это, конечно, великий человек. Дальше шли разнообразные «но» — распределяет людей по категориям («мои» и «не мои»); лишён мягкости, жалости, терпения; подозрителен, скрытен, самоуверен. Коренным различием, собственно, преградой, вставала между ними Россия. «Его сокровище — Россия, и *только* Россия, моё — Церковь. Конечно, он отдан своему сокровищу так, как никто из нас не отдан своему. Его вера, пожалуй, сдвинет горы, наша, моя во всяком случае — нет. И всё же остаётся эта “отчуждённость ценностей”».

Россию Солженицына Шмеман трактовал как *идеал*, по отношению к которому Запад являлся *соблазном*, *роскошью*, чуждой реальностью, к тому же и глубоко больной. Россия и сама смертельно ранена марксизмом и большевизмом — это её расплата за интерес к Западу и утрату «русского духа». Её исцеление — в возвращении к двум китам «русского духа»: к природе и к христианству, понимаемому как основа нравственности. Однако на пути к исцелению стоит «образованщина», то есть антирусская и подчинённая Западу интеллигенция. Роль Солженицына — восстановить правду о России, раскрыть её самой России, вернуть Россию на изначальный путь. Отсюда напряжённая борьба с двумя кровными врагами России — марксизмом и «образованщиной». В этой дихотомии самым подозрительным Шмеману казалось качество *русскости* Солженицына, каким оно ему виделось — синоним самоизоляции, самоудушения... Солженицын-творец и Солженицын-человек в восприятии о. Александра были не только не в ладах друг с другом, но человек и борец в нём грозил победить творца...

Обо всех «опухолях» (так Шмеман называл соблазны Солженицына, способные «метастазировать» в его «судьбоносную глубину») он обстоятельно писал Струве, но Никита Алексеевич смягчал жёсткость приговора, призывал к осторожности, говорил о метаниях А. И. «Выкорчевать такую глыбу из почвы не могло остаться без последствий. Вот он и ищет, где “найти почву”, и мечется... За него страшно, ему

бы теперь где-то осесть и опять засесть за писание, там, “где он неуязвим”. Ведь он в путешествии с апреля, не понимаю, как он выдерживает... И всё же он у России единственный, и рядом с ним от Шрагина до Максимова все — пигмеи...»

Но осесть не удавалось. Епископ Сильвестр посоветовал А. И. обратиться к молодому архитектору Алексею Виноградову, сыну русских эмигрантов. Тот охотно согласился помочь, и они ездили с А. И. уже недели две, осмотрели несколько десятков мест, уже и искать устали (хоть готовый дом, хоть участок), но ничего не находили. Канада оказалась совсем не похожа на Россию ни лесами, ни городами, ни людьми, чудилась страной не просто северной, а беспамятно спящей. Была мечта поселиться вблизи русского населения, но в Онтарио таких посёлков не имелось. Это было сродни страданию: достигнув необъятной воли, имея необходимые средства, Солженицын нигде не мог найти для себя подходящего приюта. Наконец, в середине мая, так и не приняв никакого решения, вызвал жену из Цюриха. Но Аля ещё решительнее, чем муж, забраковала все приблизительные варианты. И вообще ни за что не хотела уезжать из Европы.

Они двинулись пытать счастья на Аляску, трансканадским экспрессом на тихоокеанское побережье. Знакомство с Аляской произвело сильное впечатление: самое русское место на Земле после России. По столице штата Джуно их возил православный священник. А в Ситхе (Ново-Архангельске) встретили и совсем по-русски, и жили они, в полном радушии, у русского епископа Григория («Ньюсуик» тут же написал, что высланный писатель вот-вот вступит в православный монастырь: во всяком случае ищет религиозную общину для себя и рядом дом для семьи).

Поиск приюта неизбежно вёл в Америку, которая настойчиво звала уже год и которую, как потом понял А. И., оскорбило его канадское путешествие. Начали, долетев до Сан-Франциско, с Гуверовского института, его русского хранения, и там, ещё прежде остальной Америки, целую неделю всласть поработали в четыре руки, разбирая описи, картотеки, впиваясь в мемуары и издания, никогда прежде не слыханные. Хотелось и увидеть старообрядцев (штат Орегон), побывать в бенедиктинском монастыре с ревностными монахами. Ещё волновали беспоповцы: вроде тоже русские — однако «своими» они были весьма условно; ужиться с ними значило полностью им подчиниться. Дата 13 июня 1975 года застала А. И. в монастыре — 25 лет на-

зад, в Экибастузе, ему приснилось (чей-то ясный голос чётко произнёс), что в этот день он умрёт. А вот и ничего подобного...

Он так странно, с самого края, въехал в Америку, что подумал, пока совсем отвлечённо, — вот если бы вернуться домой (когда-нибудь!) не через Европу, не в Москву, а через Тихий океан и Владивосток, и потом долго двигаться по России, всюду заезжая, знакомясь, осматриваясь. Но пока что Аля возвращалась в Цюрих, а он в Канаду, хотя уже было почти ясно, что не жить ему в стране, «похожей на Россию». Искать жильё в Соединённых Штатах взялся Виноградов.

В последние дни июня Солженицына ждали в Вашингтоне. Его выступление перед американскими профсоюзами — повторное приглашение А. И. получил во время путешествия и дал согласие — проходило в отеле «Хилтон», перед двумя тысячами участников. Через десять дней, по тем же тезисам (об угрозе коммунизма и излишней доверчивости Америки, идущей на разрядку напряжённости с коммунистическим драконом), произнёс речь в Нью-Йорке. Позже (через три года, когда писалось «Зёрнышко») А. И. смотрел на ситуацию иначе: при ближайшем знакомстве Америка уже не казалась ему честным союзником русского освобождения. По закону американского Конгресса 1959 года русские не числились угнетённой коммунизмом нацией; всемирным угнетателем был назван не коммунизм, а Россия. «Лучшее время было мне ударить по лицемерию того закона! — Увы, тогда я не знал о нём, и ещё несколько лет ничего о том не знал!» А тогда, в 1975-м, он торжествовал, что изо всех сил бьёт по людоедам. «Думаю, что большевики за 58 своих лет не получали такого горячего удара, как эти две мои речи, вашингтонская и нью-йоркская (Думаю, что пожалели, что выслали меня, а не заперли)».

Впрочем, официальная Америка тоже побаивалась, что беспрецедентная резкость писателя испортит отношения с СССР. Телевидение, в ошеломлении от политического накала этих выступлений, ничего не показало. Пресса едва ли не в один голос твердила, что опасный гость призывает к крестовому походу против СССР: «В атомной войне погибнет и Россия, освобождения которой так добивается Солженицын». А он давно задумывался: если правительство оплело и шею, и тело родины, как спрут, — как определить границу? Не рубить же и тело матери со спрутом! Как ни уверял А. И. и тогда, и позже, что не зовёт к крестовому походу, а лишь *просит перестать помогать угнетателям*, — с тех выступле-

ний потянулось и утвердилось журналистское клише: «Солженицын призывал Америку сбросить бомбу на Советский Союз»*.

Официальная Москва восприняла американские выступления изгнанника как несомненное доказательство своей правоты и в пункте гонений, и в пункте высылки. «Солженицын, — докладывал Андропов, — подверг резкой критике администрацию президентов Гувера и Рузвельта за экономическую помощь, оказанную молодой Советской республике, за установление дипломатических отношений с нашей страной и за участие США во Второй мировой войне на стороне государств антигитлеровской коалиции. Одновременно с этим Солженицын обрушился на бывшего президента Никсона и администрацию Форда за их "уступки" Советскому Союзу. Он обвинил правящие круги США в том, что они недостаточно активно вмешиваются во внутренние дела СССР, и в том, что "советский народ брошен на произвол судьбы". "Вмешивайтесь, — призывал Солженицын, — вмешивайтесь снова и снова настолько, насколько можете"». В КГБ были собраны негативные отклики западной прессы на речь А. И. в «Хилтоне». По версии органов, слушатели покидали зал («этот тип хочет заставить нас таскать за него каштаны из огня»), выражали сомнение в его психической полноценности, называли фанатиком. Андропов торжествовал: Солженицын собственными усилиями («непомерные амбиции, махровые реакционные взгляды, элементарная политическая безграмотность») разрушает миф о себе как «поборнике демократии» и отталкивает от себя и интеллигенцию, и политических деятелей Запада.

Позиция Третьей эмиграции тоже приятно будоражила госбезопасность. «Политическое кредо Солженицына, его мания величия, стремление представить себя в роли "высшего судьи", "пророка" явились причиной глубоких разногласий между ним и целым рядом лиц, выехавших в послед-

---

* «В американских речах 1975 я призывал — не давать СССР электронной техники, сложного оборудования, но не сказал же такого о поставках зерна. Не сказал, однако получилось ли так в расширительном смысле, или говорили другие, а это наслаивалось в общественном впечатлении — приехал в Нью-Йорк ценимый мною Олег Ефремов, главный режиссёр МХАТа, с Мишей Рощиным, драматургом, и говорили Веронике Штейн: "Зачем же Исаич к войне призывает и говорит: не давать зерна? А люди будут голодные сидеть?" Боже, да я именно не призывал к войне, это переврала американская пресса — но именно в таком виде докатилось до наших соотечественников, поди, вот! И о зерне — ни о каком я ни слова не говорил, а поди теперь докричись» («Зёрнышко»).

нее время из Советского Союза на Запад (Синявский, Максимов, Некрасов)». Эти лица воспринимались теперь на Лубянке как нечаянные, но драгоценные союзники, антисолженицынский авангард. И всё же спокойно смотреть на «клеветническую кампанию в связи с публикацией пасквиля “Архипелаг ГУЛАГ”», тем более пустить эту кампанию на самотёк, Андропов не мог: Солженицын становился его навязчивой идеей. Опрометчиво либеральная высылка писателя компенсировалась чрезвычайными мерами. «В целях нейтрализации враждебной деятельности Солженицына в 1974—1975 годах на Запад *были продвинуты выгодные нам материалы и документы*, в которых раскрывалось истинное лицо пасквилянта и классовые корни его ненависти к Советскому Союзу», — докладывал шеф КГБ.

К наиболее выгодным и «резонансным» материалам Андропов относил признание Виткевича («Меня предал Солженицын»; США), переводы книги Решетовской («Мой муж — Солженицын»; Италия и Япония), статьи Н. Яковлева («Продавшийся и простак», «Архипелаг лжи»; США и Франция). Шли в ход телевизионные интервью с Решетовской, Якубовичем, Каганом, Виткевичем, «знавшими Солженицына лично и в разное время разделявшими его взгляды». Компрометирующие сведения (неверный муж и друг, тиран с дурным характером и манией величия) должны были привести к переоценке личности писателя, к «появлению и укреплению сомнений в правдивости и исторической достоверности его “сочинений”». Целились, несомненно, в «Архипелаг» — и теперь женщина, своими руками переснявшая три тома машинописи на плёнку, объявляла их сборником лагерного фольклора.

Жирную пищу для «переоценок» дал вышедший в Париже «Телёнок». «Публикация пасквиля “Бодался телёнок с дубом”, — торжествовал Андропов, — в котором Солженицын допустил оскорбительные выпады в адрес известных советских писателей и творческой интеллигенции в целом, способствовала окончательной дискредитации пасквилянта даже перед теми, кто ранее оказывал ему практическую помощь и поддержку. Характерно в этом отношении резко осуждающее Солженицына открытое письмо дочери А. Твардовского, которое опубликовано в газете “Унита” и получило одобрительную оценку со стороны известных советских писателей». Письмо в «Унита» Андропов назвал (11 июля 1975 года) «мероприятием по дискредитации Солженицына и его антисоветских сочинений»; правда, ему была важна не столько оценка личности главного редактора

«Нового мира»*, сколько то, что его дочь Валентина «обвиняет Солженицына в гипертрофированном самомнении и попытках трактовать мировые события “сквозь призму своей предназначенности”».

Андропов, однако, ничуть не преувеличивал: оглушительное впечатление от «Телёнка» было и у его фигурантов, и у читателей. Даже друзья А. И. считали, что публикация «Очерков» — ошибка: мемуары не должны печататься по свежим следам, эмоциям надо дать остыть. Было много обиженных и обозлённых — они хотели бы, чтобы запрет на «дневники» и «записки» действовал лет пятьдесят, а ещё лучше — сто. Говорили о «нравственном максимализме», бегущем от «грязной действительности». Звучали казённые оправдания со стороны тех, кто гордился участием в «грязной действительности» по «тактическим соображениям» и «крайним обстоятельствам». Утверждая право на компромисс, творцы компромисса становились в позу дуэлянтов. Но были и сочувственные суждения о свободной личности автора-подпольщика, который только и мог пробить своей головой толщу льда («Я — только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговорённый её рубить и разгонять»).

«Телёнок-меч» сильно встревожил и Шмемана, наблюдавшего «издалека»: «Впечатление очень сильное, ошеломляющее, и даже с оттенком испуга. С одной стороны — эта стихийная сила, целеустремлённость, полнейшая самоотдача, совпадение жизни и мысли, напор — восхищают... Чувствуешь себя ничтожеством, неспособным к тысячной доле такого подвига... С другой же — пугает этот постоянный расчёт, тактика, присутствие очень холодного и — в первый раз *так* ощущаю — жестокого ума, рассудка, какой-то гениальной “смекалки”, какого-то, готов сказать, большевизма наизнанку... Такие люди действительно побеждают в истории, но незаметно начинает знобить от такого рода победы... Или же всё это от непомерности Зла, с которым он борется и которое действительно захлёстывает мир?.. Что нужно, чтобы убить Ленина? Неужели же “ленинство”?»

---

* По оценке генерала КГБ Ф. Д. Бобкова, писавшего для ЦК закрытую аннотацию на «Телёнка», Солженицын «в целом положительно отозвался о Твардовском, признавая его талант поэта». Но: «Солженицын не может удержаться от постоянного акцентирования внимания читателей на его болезни (склонности к алкоголю. — *Л. С.*). Описывая многочисленные свои ссоры с главным редактором “Нового мира”, Солженицын обвиняет его в соглашательстве с государственной властью, а в качестве основной причины этих ссор, да и самой болезни Твардовского, указывает на его принадлежность к КПСС».

Но очевидно: Солженицын сам показал читателю точки своей слабости и пункты противоречий, сам назвал свои ошибки*. *Дал на себя материал* — и больше того, чем он сам на себя *дал*, никто из его критиков не заметил и *не взял*. «Телёнок» — весьма странные мемуары. Нерв «очерков» — упоение в бою и бездны мрачной на краю; тут ничего не может остыть и успокоиться, взвеситься и уравновеситься. Из тесноты «очерков» рвётся наружу неистовый рыцарский роман о русской литературе эпохи гнёта, полный любви и ненависти, ревности и мести, страдания и гнева, торжества и скорби. На хроникальную канву нанизан бессмертный сюжет о том, как первый Поэт России, лицо живое, обаятельное, трагическое, наперекор вкусам Дракона и нравам «вурдалачьей стаи» угадывает в строках неизвестной машинописи руку ослепительного Мастера, и потом Мастер, верный призванию, с нежностью и болью, пристрастно и горячечно пишет о мучительной судьбе Поэта. Вулканическое повествование становится символическим памятником времени, преодолевая которое Поэт и Мастер обретают себя. Блистательное сочинение, которое Поэт, проживи он дольше, непременно понял бы и оценил.

...Уже три месяца Солженицын находился в путешествии. После американских речей дважды выступал в телевизионных интервью. Ездил в Колумбийский университет работать в русском «бахметьевском» архиве. Говорил в Конгрессе США перед сенаторами. Общался с вице-президентом, но отказался ехать в Белый дом на «символическую» встречу с президентом Фордом. Посетил Александру Львовну Толстую и там, на толстовской ферме под Нью-Йорком, познакомился с дочерью генерала Самсонова: она уверяла, что писатель вылепил её отца совершенно таким, каким тот был в реальности. 1 августа, не найдя места ни в Канаде, ни в Америке, с тяжёлым ощущением зря потерянного времени, возвратился в Цюрих. «Сошёл я на землю не своими ногами... Ищу покоя и возврата к работе... Надоело мотаться в политической мельнице...» Аля записывала в те дни: «Свеж,

* Солженицын пишет в «Зёрнышке» о критиках «Телёнка»: «Вот читаю: “Описывает Твардовского с циничной неблагодарностью”. — И хором: жесток к Твардовскому. Очнаюсь: да может, эта пустоголосица в чём-то и наставительна? Жесток? Да, повороты жестокости были: скрывался от А. Т. порою сам, почти всегда скрывал свои предполагаемые сюрпризы. Жестоко — но как было биться иначе? Лишь чуть расслабься в чём одном, даже малом, — и бок открыт, и бой проигран. Однако: рисовал я Твардовского в “Телёнке” с чистым и расположенным сердцем, и оттуда никак нельзя вынести дурно о нём».

бодр, ласков, терпелив (детишек тормошит) — но грустит (и обескуражен немного) от нерешённого бездомья... Всё гвоздит его возврат ни с чем...» Дача в Штерненберге была занята, собственные мансардные каморки раскалены августовским зноем, в крохотный дворик то и дело заглядывали прохожие, работать было решительно негде.

Снова выручила фрау Видмер, подыскавшая для А. И. временный приют — трёхэтажную пустующую дачу (хутор Хольцнахт на базельском нагорье): хозяева обещали не тревожить гостя три месяца и сдержали слово. «Месяца два хочу совершенно вне жизни пожить и по-настоящему вернуться в “Р-17”, — писал он в дневник. — В частности, стал перечитывать вот этот свой дневник, ибо собственные же идеи я многие забыл и забросил. В 50 лет загадывал — что успею к 60? Сделал 1-й и почти 2-й узел, “Ленина в Цюрихе”, “Телёнка”, разную публицистику. Но в оставшиеся три года надо докончить 2-й, написать 3-й и 4-й. Без этого вообще игра, а не писание. Если к 60 годам не иметь Первой Книги (“книга” — лучше, чем том) — на что можно рассчитывать? о каком Повествовании говорить? Я тогда на всё Повествование клал “десять лет, при удаче семь”. Вот — как будто “неудачи” нет, а семь лет — гохнуло». Постепенно пришло успокоение, кризис миновал, и даже случались порой «лавинные дни». И всё же А. И. сам звонил домой от ближайших соседей, и всегда была какая-нибудь новость, требующая срочных решений. Внешний мир дёргал и разжигал — нельзя было удержаться от заявлений, писем в поддержку, сообщений прессе. «Вот так проходят мои тихие уединённые дни в Хольцнахте, то и дело бежать за 400 метров к телефону — или узнавать, или передавать».

Наконец 31 октября пришло сообщение: Виноградов, получивший в Канаде доверенность у А. И., купил на свой страх и риск участок в 50 акров с домом и мебелью в штате Вермонт, и не слишком дорого, — и, значит, переезд стал реальностью. «Так и покупается главное место, на годы вперёд, — заочно! К счастью, Алёша не промахнулся». И снова в «Р-17» стало тесно: «Я почувствовал, что так просто уйти в “Красное Колесо” не могу, не удастся». Снова завернуло на злобу дня; в выступлениях выплёскивалась горечь на западный мир, судебное крючкотворство, коммерцию, трусость, уступки (но скоро А. И. и сам поймёт, что не надо было ему вмешиваться — да хоть бы и в кадровые назначения, не трогать, например, Киссинджера и его дипломатию). «Это была, от моего темперамента, грубая ошибка, слишком прямой отзыв на американские дела, и тон слишком рез-

кий». Но, помимо Америки, он распалялся на Испанию, где «под развязный свист европейских социалистов, радикалов, либералов» умер легендарный генерал Франко, и надо было (русский долг!) срочно ехать туда. А ещё не мог подавить жажду поехать в Англию и тоже высказать там многое — «за новое и за старое». А на пути была ещё и Франция, главная литературная база, первая по печатанию его книг.

Всё удалось. Под Новый, 1976 год при посредничестве Струве А. И. дал в Цюрихе большое интервью «Ле Пуэн» — парижскому журналу, который в споре с враждебными веяниями объявил Солженицына «Человеком года»: это был дерзкий вызов тем перьям и голосам, кто спешил вычеркнуть писателя из «списка № 1». «Огромная пропагандная машина разных “интеллектуальных партий”, — писала редакция, — начала свою подрывную работу. Раз нельзя заткнуть рот Солженицыну, раз нельзя помешать распространению его книг, — остаётся возможность его оклеветать... Постепенно его замалёвывают...» В «Ле Пуэн» удалось сказать то, что было испытано собственной жизнью. «Встреча человека с коммунизмом происходит в два тура. В первом туре всегда выигрывает коммунизм; как дикий зверь, он прыгает на вас и опрокидывает. Но если есть второй тур, то тут уж почти всегда коммунизм проигрывает. У человека открываются глаза, и он замечает, что преклонялся перед обманом, нарисованным на рогоже. И он получает прививку, навсегда».

В середине февраля они с Алей были уже в Англии, тихо жили в Виндзоре в гостинице, потом переехали в Лондон, непотревоженно и неразоблачённо выполняли свою программу в стране Диккенса, а телевизионные выступления и радиобеседы пошли сразу вслед за их отъездом. После Англии осталось ощущение хорошо сделанного дела. Очень скоро, однако, А. И. изумится: ему казалось, что его выступления разнообразны, в каждом что-то новое, а теперь виделось — везде *одно и то же*! На все лады, во всех странах, со всеми корреспондентами: «Говори-говори! Полная свобода! Сказанное месяц назад — уже забыто. Ах, политическая публицистика сама вгоняет в эту карусель». Но в Париже марафон продолжился — в беседах, на телевидении, «один денёк отвёл душу в литературном интервью с Н. Струве».

А потом восемь дней неузнанными (на автомобиле, с В. Банкулом) они скользили по Испании. «Я ехал не посмотреть, но помочь, сколько могу, как своей бы родине». На самый конец поездки было сговорено телевыступление, сорок минут наедине со всей Испанией, и как его итог было

получено неожиданное приглашение от короля Хуана Карлоса во дворец, догнавшее Солженицына уже по дороге на Сарагосу. «Я высоко ценю приглашение Вашего Величества, — отвечал А. И., имея минуту на раздумывание. — Я и принял решение приехать в Вашу страну осенью прошлого года, когда Испанию травили. Я надеюсь, что моё вчерашнее выступление поможет стойким людям Испании против натиска безответственных сил... Однако встреча с Вашим Величеством сейчас ослабила бы эффект от вчерашнего... Я желаю Вам мужества против натиска левых сил Испании и Европы, чтоб он не нарушил плавного хода Ваших реформ. Храни Бог Испанию!» Через четверть часа полицейский сержант торжественно объявил: «Его Величество желает Вам счастливого пути. Никто Вас больше беспокоить не будет». Покидали страну под гневную брань социалистических и либеральных газет.

В конце марта семья начала оформлять американские документы для переезда. Было решено, что А. И. поедет раньше — смотреть участок и разворачивать строительство. Аля, бабушка и дети поедут вторым эшелоном, когда будет готово жильё. Прощались на месяцы; остающимся предстояло переносить домашнюю жизнь за океан — быт, архив, библиотеку, всё, чем обросли в Цюрихе. 2 апреля Солженицын вылетел в Нью-Йорк, где его встретил Виноградов и повёз на новокупленное место. А Шмеман тем же днём не без скепсиса записывал в дневнике: «Сегодня (конечно, *тайно* от всех и вся) переезжает в Америку Солженицын! “Каково будет целование сие?” Эта страна никого не оставляет таким, каким он приехал сюда. Какова будет “химическая реакция”? Увидит ли он за деревьями (раздражительный “американизм”) — лес, то есть саму Америку?»

Отец Александр успел накопить немало новых претензий к Солженицыну. Вряд ли это была только инерция общений с Третьей эмиграцией — её «стилистика» открылась Шмеману очень скоро. «Впечатление... грустное: маразм и свары в “диссидентской” среде. В сущности, ничего подлинно *нового* они с собой не привезли, но старую эмигрантскую традицию — ссориться и лично, и “принципиально”, — восприняли и оживили». *На* Солженицыне (вернее, *против него*) можно было легко сойтись, тем более что и пища была самая острая — «Ленин в Цюрихе». Шмеман читал главы с неотрывным интересом, ощущая «бесконечный, какой-то торжествующий талант в каждой строчке» — никого из современников нельзя было поставить и близко («Скука, отсутствие настоящего дара, искры... какая-то органическая

пришибленность» — так аттестовал о. Александр тексты «Континента», выделяя на общем тусклом фоне одного И. Бродского).

Но где ключ к торжествующему таланту, от которого «нельзя оторваться»? Где источник энергии, которой наполнено слово Солженицына? Откуда этот невероятный напор, неслыханный ритм? Шмеман записывал: «С каким-то мистическим ужасом вспоминаю слова Солженицына — мне, в прошлом году, в Цюрихе — о том, что он, Солженицын, в романе — не только Саня, не только Воротынцев, но прежде всего сам Ленин. Это описание *изнутри* потому *так* живо, что это "изнутри" — самого Солженицына... Эта книга написана "близнецом", и написана с каким-то трагическим восхищением. Одиночество и "ярость" Ленина. Одиночество и "ярость" Солженицына. Борьба как содержание — единственное! — всей жизни. Безостановочное обращение к врагу. Безбытность. Порабощённость своей судьбой, своим делом. Подчинённость тактики — стратегии. Тональность души... Повторяю — страшно...»

Отец Александр полагал, что ключ к Солженицыну найден (благо скандальное сравнение уже вовсю «хромало» по эмигрантским кругам). Но ведь тогда, в горах Штерненберга, Солженицын говорил (и Шмеман записал!) иначе: «У нас (с Лениным. — *Л. С.*) много общего. Только принципы разные. В минуты гордыни я ощущаю себя действительно анти-Лениным. Вот взорву его дело, чтобы камня на камне не осталось... Но для этого нужно и быть таким, как он был: струна, стрела». Ключ тыкался, гнулся, но замок не поддавался. Ведь «Телёнок» тоже написан *изнутри* и тоже *живо* — а там никакого Ленина нет (художник и должен видеть своих персонажей *изнутри*, должен вжиться в них — это азы творчества; Достоевский не постеснялся признаться, что «взял» Ставрогина «из сердца»). А чьим *близнецом* выступал Солженицын в «Архипелаге»? Тоже Ленина, создавшего ГУЛАГ? Разве нет разницы между тем, кто выковал цепь, и тем, кто её с себя сбросил, кто построил застенок и кто написал о нём правду? Разве воля и целеустремлённость («струна и стрела») — привилегия только Ленина или только Солженицына? Почему *верность* писательскому призванию именуется *порабощённостью*? Солженицын не был ни рабом, ни пленником своего дела и своей судьбы, а их творцом; он создавал свою литературу и боролся за неё словом, а не бомбой, как профессиональные революционеры. Что-то мешало отцу Александру увидеть Солженицына в свете его собственных принципов. Меж тем А. И. записывал в

дневнике: «В ленинских главах впервые встречаюсь с языковой задачей, противоположной моей обычной: надо тщательно убирать даже из авторской речи (чтоб не создать неверного фона, языковой фон всегда должен соответствовать духу персонажа) всё сколько-нибудь своеобычное, русское, яркое, объёмное: надо выплощивать, высушивать и огрязнять (опаскуживать) речь — и только так приблизишься к реальной ленинской».

...Выбор Виноградова пришёлся А. И. по душе: долгие совместные поиски не пропали даром. «В пустынном месте, вполне закрытое от дороги, со здоровым вольным лесом, с двумя проточными прудами, дом есть, только летний и мал, перестраивать и утеплять, есть и два подсобных малых домика, только слишком гористо, недостаёт полян и плоскости», — описывал покупку «безбытный» Солженицын. Участок имел название *Twinbrook* — ручьи-близнецы, — но, пересчитав ручьи на участке, А. И. уточнил название: Пять Ручьёв. Руководить стройкой остался Виноградов, а для А. И. наступало время Гуверовского института: начался двухмесячный «лёт» по материалам Февральской революции — книги, газетные подшивки, редкие документы. «Разверзаются мои глаза, как и что это было такое. Да в Союзе — разве допустили бы меня вот так во всю ширь и глубь окунуться в Февраль?»

Теперь, когда удалось добраться до сокровенного, живого материала, Солженицын был глубоко потрясён. Расхожее представление о полезности Февральской революции, о том, что в Феврале Россия достигла желанной свободы, рассыпалось в прах: ошеломлённо открывал он, что именно тогда страна покатилась в разложение и гибель. Но это значило, что до сих пор он и сам мировоззренчески был солидарен с поборниками Февраля, с советской, а затем и с западной образованщиной, и его борьба с Драконом целила в следствие, а не в причину. Значит, в инерции поединка он уклонился от глубинного пути России, и надо было искать его заново; главная работа, полагал он, выведет на верную дорогу.

Который раз он говорил себе, что пора сократить общественную активность — не *состязаться с современностью*, не растрачивать себя в телеграммах, речах, интервью («подальше от кузни — меньше копоти»). Но — политическая страсть была сильнее, и вот уже в Гувере на почётном приёме он заявил, как ошибочно западные исследователи понимают Россию, как искажают русскую историю, как путаются в понятиях «русский» и «советский». И снова одёргивал себя: слишком сильный публицистический напор скоро пе-

рестанет убеждать, надо снизить темп, убавить громкость, вернуться в естественные размеры. «Какое освобождение души: чтоб о тебе перестали писать и говорить, перестали на каждом шагу про тебя узнавать — а пожить в обычной человеческой шкуре. Путь звонкий, но неизбежно короткий, сменить на путь беззвучный и глубокий».

Это была заявка на долголетие, ясное желание «поприсутствовать в будущем», однажды уже записанное в дневнике «Р-17». Каждый день заниматься языком, читать мемуары стариков — свидетелей революции, открывать молодых авторов, следить за тем, что появляется на родине. «Ведь я же, правда, не политик, а писатель, и друзья мои ближние — не диссиденты, а русские писатели. Да вот и сыновья у меня растут, от шести до трёх лет, пора для них время найти, как находят все нормальные люди». Переезд в Вермонт обещал стать первым шагом к простой норме жизни, к замедлению темпа, к ценностям приватного, а не публичного бытия. Желанное вольное уединение почти дата в дату совпало с окончанием ссылки двадцать лет назад.

В начале июля к нему прилетела Аля, пока одна. Ехали вместе на восток на грузовичке, их первой американской машине — хотели почувствовать континент своими колёсами; мчались, сменяя друг друга у руля, полтора дня, от Колорадо до реки Гудзон. Аля осмотрела участок и стройку, убедилась, что сюда можно будет перевозить детей, и через несколько дней вернулась в Цюрих готовить эвакуацию. В канун 200-летия Соединённых Штатов, 3 июля 1976 года, А. И., совершив процедуру официального въезда в страну не как турист, а как житель (поехал в Монреаль и оттуда в назначенном месте пересёк границу США), перебрался в Пять Ручьёв окончательно.

Полтора месяца до приезда семьи жил в домике у пруда (служившем купальней прежним хозяевам), вдали от строительного шума. Раннее утро начиналось нырянием в воду. «Пруд накоплен из ручья, каменною плотинкой. Он густо обставлен — высоченными тополями, берёзами, пониже — клёнами, а по круче на наш холм — весь склон в соснах и елях. У пруда замкнутый овал, и внешнего мира вообще не видно, как нет его... Четыре скученных берёзы составляли как бы беседку, и между ними врыл я в землю стол на берёзовых ногах, там и сидел целыми днями... Для меня это и была самая естественная жизнь: устранить все помехи, или пренебречь ими, и работать».

До конца лета здесь был написан весь столыпинско-богровский цикл.

Виноградов неплохо руководил стройкой, но подрядчик хитрил, рабочие (не подневольные зэки, а свободные американцы!) часто опаздывали, порой слонялись без дела, гнали халтуру, а за переделки требовали новой платы. Дело двигалось медленно. Летний дощатый дом надо было расширять и утеплять, и ещё отдельно строить кирпичный, с подвалом и просторными помещениями для архива и библиотеки — за него взялись только в сентябре; к тому времени вся семья была уже в сборе, ютилась в прохладном и сумрачном гостевом домике, рядом со строительством. Их отъезд из Швейцарии, так же как и въезд в США 30 июля, прошёл незаметно, почти конспиративно. В Цюрихе о переезде в Америку знали только самые близкие, но и те, дав слово, молчали. «Мы не задались вопросом: а когда откроется — как это будет выглядеть для Швейцарии?» Для Швейцарии тайный отъезд выглядел необъяснимым бегством, чёрной неблагодарностью: страна приютила изгнанника, а он всё бросил, и даже не попрощался. «Швейцария обиделась, вся целиком», и пресса, левая и бульварная, отыгралась на «обидчиках». Объяснять причины отъезда было невозможно, да и поздно. Но выводы А. И. сделал.

В первых числах сентября, едва вокруг участка выстроился прозрачный сетчатый забор и встали ворота, новость взорвалась: Солженицыны бежали из Европы в Америку, поселились в лесном уединении, выстроили хоромы с бассейном (спутали с прудом), огородили себя колючей проволокой («новый ГУЛАГ»), оборудовали крепость электронной сигнализацией. «Это по-русски», — глубокомысленно высказалась Светлана Аллилуева, беглянка со стажем, в поспешном интервью. А ещё двадцатиметровый подземный переход из подвала в подвал, соединивший два дома для удобства отопления и водопровода, сообщения зимой и в непогоду (газеты шумели: «тоннель», «бункер»). Солженицыны никого ни в чем не разуверяли: пусть думают, что к ним и в самом деле так просто не подступиться. «Местопребывание Солженицына в Вермонте “раскрыто” американской прессой, — отмечал Шмеман. — В “Нью-Йорк таймс”, однако, ни слова. Неужели они ему мстят?.. Никита защищает “засекреченность” С<олженицына> (которую как таковую я и не осуждаю, а только высказываю сожаление о его подозрительности)». В крохотный городок Кавендиш с одной улицей, продуктовой лавкой и почтовой конторой хлынули журналисты, ища дорогу к *Twinbrook*, пробирались, кто как мог, стояли у верхних и нижних ворот, шныряли вдоль забора, пытались даже найти вертолёт — пролететь над участ-

ком и сфотографировать (малыши, завидев над собой стальную птицу, бежали прятаться к стенам дома). В глазах прессы Солженицын стал «затворником» и «отшельником». Сам он в этой связи писал: «Затвор у меня предполагался, только не тюремный, а затвор спокойствия, тот один, который и нужен для творчества в этом безумном круженом мире».

В КГБ отнеслись к новости по-своему. В «конторе» давно знали, что Н. Д. Солженицына (Светлова) всемерно содействует мужу в «сборе материалов для клеветнических пасквилей, их размножении и распространении». Известна была и её роль в Русском Общественном Фонде. «Тот факт, — докладывал Андропов, — что она остаётся советской гражданкой, может быть использован супругами Солженицыными в крайне нежелательном для нас направлении, т. к. Солженицына в провокационных целях может обратиться с просьбой о въезде в Советский Союз». Записка Андропова «О лишении гражданства СССР Солженицыной Н. Д.» была поставлена на голосование, и 17 октября 1976 года Политбюро ЦК одобрило проект Указа Президиума Верховного Совета. Через два дня указ вступил в силу.

Подозрения Андропова были, разумеется, лишены всяких оснований — Солженицыны не собирались проситься в СССР «в провокационных целях». Лесное уединение далось Але нелегко. Стройка, безлюдье, быт, который нужно было создавать с нуля, отдалённость всего и вся угнетали. Магазины и аптеки — не ближе 10 миль, значит, всюду только на машине, за любой мелочью, трудности языка, который пришлось заново осваивать им всем и прежде всего Мите — с сентября он уехал в частную школу. Обидно было читать, будто семья «хочет отдаться прелестям и соблазнам богатства». «Мы выброшены с родины, у нас сердца сжаты, у жены слёзы не уходят из глаз, одной работой спасаемся — так “буржуазный образ жизни”». Как-то раз в воротах появилась коряво написанная записка: «Борода-Сука За сколько Продал Россию Жидам и твоя изгородь не поможет от петли».

...Зима в тот год началась в первых числах ноября — в летнем домике у пруда было не усидеть, а каменный дом, странно похожий снаружи и на пирамиду, и на пагоду, и на утёс, всё ещё строился. 18 ноября исполнилось сорок лет с того дня, когда был задуман «Р-17». «Такой замысел проносить в себе даже неосуществлённым — уже счастье, — записывал А. И. в дневнике. — Да почти этим и кончается оно. По сути, я встречаю 40-летие в поражении, и малой части не написал того, что задумал, и даже обнаружил в последние месяцы, что я задумал тогда не то, что нужно теперь писать: я задумал —

как получился Октябрь и его последствия. А нужно это всё писать — о Феврале». Каникулярную неделю Дня благодарения он провёл в Йеле, в номере для гостящих профессоров, ни разу не выйдя наружу, с сухим пайком. Зарылся (снабдили друзья) в стенограммы Государственной Думы, номера «Красного архива», дела народовольцев. Потом работал в архиве Магеровского, восполняя пробелы «Колеса».

В Нью-Йорке виделся со Шмеманом — это была их четвёртая встреча. Солженицын приехал к утрене, стоял («всё в том же костюме, высокий, статный, благообразный») в притворе храма, где служил о. Александр. «Он весь, целиком в себе, — записал 2 декабря Шмеман, — в своих планах, в своём “деле”, видит только его, одержим им... Он несёт в себе до предела наполненный и безостановочно кипящий, бурлящий, дымящий сосуд. Его мир, его Россия, его собственное дело». Загадка Солженицына всё так же занимала о. Александра, дразнила, не давалась, и он ностальгически вспоминал, как два года назад водил по зимнему Парижу этого необычного, большими страстями обуреваемого человека, ощущая к нему близость, которая предвещала дружбу. Теперь ему казалось, что Солженицын должен смиренно *учиться* у Америки, вникать в её жизнь, в её глубокую сущность — страны, которая (как полагал о. Александр) одна нашла почти чудесную формулу единения государства и общества, традиции и жизни. А русские развалины, из-под которых пытается учить весь мир Солженицын, никогда ничему никого не научат.

...Только под Новый, 1977 год трёхэтажный рабочий дом был готов. «Такое совпадение: именно сегодня перебрался в новый дом, в стрельчатый кабинет. Впервые в жизни есть постоянное место и простор для работы. Правда, всё это не только не в России, но и очень не по-русски устроено, многое чужое. Надо преодолеть и работать как никогда». Виноградов выстроил внутри дома церковку-часовенку. Мария Александровна Струве (урождённая Ельчанинова), известный иконописец и жена Никиты Алексеевича, подарит иконы своей работы; епископ Григорий Аляскинский освятит храм во имя Сергия Радонежского.

31 декабря А. И. перетащил в дом четыре письменных стола и 1 января 1977-го — символически — начал работу. «Саня обживается ласково, начинает любить свой стрельчатый кабинет, — писала в дневнике Аля. — Светло и холодно (15°). На голубятню ещё не перебирался, кафедру поставил к западному окну. На цюрихском огромном — основное писание, на петербургском — вся классификация, на доске —

наконец-то можно стало развернуть огромные иллюстрированные залежи».

«Теперь только работа — и ничего не знаю больше». С этим чувством осваивал А. И. новое рабочее пространство, какого не было у него никогда в жизни. Со всех сторон и с самого верха лился сюда свет утра, далеко виднелся простор леса, звенела тишина, прямо напротив блестели, а по вечерам светились окна дома, где обитали родные. Впервые он мог пребывать в одиночестве, работать на свежем воздухе, но не уезжать от семьи. Ему хотелось, чтобы никакие внешние события больше не отвлекали, чтобы можно было работать всякий час и всякий день, писать до тех пор, пока не исчерпается опыт прожитой жизни. А дальше — только домой, где пригодятся его книги и он сам. «Только тогда, в обновляемой России, захочется и действовать, и кинуться в общественную жизнь, попытаться повлиять, чтоб не пошла она опять по февральскому гибельному пути». «Перестал я мечтать о долгой серии узлов. Теперь прошу Бога только: четыре бы Узла, и будет с меня. Последний год очень ощущаю эту предельность человеческих сил», — записал он в конце января 1977-го.

На исходе первой вермонтской зимы, по совету губернатора штата, А. И. выступил на ежегодном собрании граждан Кавендиша. В спортзале *Elementary School* (школы, где позже будут учиться сыновья), который служил ученикам и столовой, и концертной площадкой, а городку — местом общих сборов, он рассказал, что никогда не имел своего дома, не мог жить там, где требовала работа. Извинился за свой забор и просил не обижаться: он отгораживается не от соседей, а от непрошеных визитёров издалека. И ещё просил не смешивать два понятия: «русский» и «советский»; не сопоставлять народ и его болезнь. «Коммунистическая система есть болезнь... Мой народ, русский, страдает этим уже 60 лет и мечтает излечиться. И наступит когда-нибудь день — излечится он от этой болезни. И в этот день я поблагодарю вас за ваше дружеское соседство, за ваше дружелюбие — и поеду к себе на родину!» Собрание поняло и приняло нового соседа.

Однако желанный рабочий покой не наступил. В феврале 1977-го в Москве был арестован Александр Гинзбург, распорядитель Русского Общественного Фонда. По телефону из дома А. И. передал заявление телеграфным агентствам: это не рядовая расправа с инакомыслящим, а решимость властей задавить голодом и нищетой всех преследуемых и заключённых. Началась изнурительная кампания в защиту Фонда и его распорядителя, потребовавшая настойчивости,

изобретательности, времени. Переговоры с вашингтонским адвокатом, встречи с влиятельными людьми в Нью-Йорке, Вашингтоне, Париже и Лондоне, интервью, создание «Комитета защиты», многие десятки писем, обращений — всё это легло на плечи Али.

Первый «спокойный год» оказался годом круговой обороны. Только отбился А. И. от фальшивого доноса «Ветрова» («контора» надеялась на свою подделку как на бомбу, но получилась хлопушка), как была состряпана «сенсация» от Ржезача. Андропов лично следил за выходом русского издания книги и продвижением её за рубеж. Летом 1977-го Политбюро ЦК приняло специальное постановление «Об издании на русском языке книги Т. Ржезача о Солженицыне». Спустя год Аля запишет: «С 31 августа, как прислал Ржезач свою пакостную книгу, — Саня оторвался от "Р-17". 9 дней читал и тут же писал "Сквозь чад"». «Когда я пишу роман, — говорил ей Саня, — мне очень трудно, но я спокоен, ровен, вечером могу заниматься другим, — живу как человек. А это — мне писать легко, но сильно завожусь, не могу бросить до ночи — нервный заглот».

Обороняться пришлось и от Запада. Швейцарские налоговые власти внезапно арестовали счёт Фонда, на который поступали гонорары за «Архипелаг». Техническая ошибка в адресе платежей и банковских зачислений («Солженицын, счёт №», вместо: «Фонд, счёт №») вызвала скандальное подозрение, тут же преданное широкой гласности, — будто писатель, получая огромные гонорары, не платит с них налоги. Была объявлена гигантская цифра недоплаты и выставлен огромный штраф. «Это был июль 1977. Вязкое чувство, состояние растерянности: как же жить на Западе? Жёрнов КГБ никогда не уставал меня молоть, я привык, а тут вплотную к нему приблизился и стал подмалывать (и уже не первый раз) жёрнов западный. Как же жить?» В ходе расследования выяснилась ещё одна тонкость: отчуждая от себя гонорары за «Архипелаг», А. И. (вернее, его адвокат) должен был оформить ещё и передачу собственности на книгу. Только в феврале 1978-го швейцарские финансовые власти сообщили, что со стороны Солженицына не было злого умысла, а была юридическая недоработка, которая теперь устраняется. Дело было закрыто за полной невиновностью ответчика. Но то контуженное состояние, когда местная печать громко напомнила ему о бегстве (не от налогов ли?), левая европейская пресса клеймила его как вора и жулика, почти фашиста (поддержал испанских правых), а в СССР власти злорадно раздували скандал (как «теперь» можно верить «Архипелагу»?), —

мучило его ещё очень долго. А если прибавить к этому раны, нанесённые первой женой, ядовитые стрелы, выпущенные старыми друзьями, волны враждебности, ругани, низких сплетен от бывших соотечественников...

Решетовская после смерти матери тут же сдала в дом престарелых двух своих тётушек и в августе 1974 года вышла замуж за К. И. Семёнова, редактора АПН (он и руководил её публикациями)*. Личный архив первого мужа оставался у неё, и она ловко продала его фронтовые и лагерные письма — через четыре месяца после высылки в Италии напечатали «Любовные письма Солженицына». Панин, эмигрировавший по израильской визе, через свою вторую жену, незвано прибыл из Парижа к Бёллю, едва там появился А. И., и потребовал немедленно объявить перед прессой о совместном походе на мировой коммунизм — и был обижен, оскорблён отказом. Гневные отповеди (*изменил демократии и благородному либерализму*) шли и от Копелева. В письмах и пересказах общих друзей сообщалось, что Лев ругает его в любом обществе, по любому поводу: дескать, Ленин — это автопортрет А. И.; соотношение таланта и нравственной личности не в пользу личности; на Западе стал «силой разъединяющей», а его сторонники — это «секта фанатичных приверженцев».

Бывшие сторонники тоже превратились в раскалённых недругов: «И чего только не несли на меня супруги Синявские! кроме "тоталитариста", "теократа" и "вождя русских фашистов" в последний год ещё: что высылка моя — спектакль, по совместному с ГБ сценарию; и что якобы Гинзбург хотел бросить Фонд и эмигрировать, а я его "заставил остаться и сесть в тюрьму"». «Что я "великорусский националист" — кто же пригвоздил, если не Сахаров? Всю нынешнюю эмигрантскую травлю кто же подтолкнул, если не Сахаров, ещё весной 1974?» Западные публицисты перенимали манеру и политические импульсы Третьей эмиграции и тоже не стеснялись...

---

* Д. М. Томас, автор английской книги о Солженицыне (Лондон, 1998), писал о своей попытке узнать правду о браке Решетовской с Семёновым через третье лицо. «Я поручил одной моей знакомой тактично расспросить её об этом. Наташа была как громом поражена. "Это стало известно? Это моя тайна, мой тайный брак. Значит, Саня будет... Как ужасно!.. Костя спас меня после того, как выслали Саню; у меня не было работы, у меня не было ничего. Этот брак дал мне возможность жить в Москве. Он был мой самый близкий друг..." У него были серьёзные проблемы с сердцем; они были женаты с 1974-го до его смерти в 1981 году. "Все эти годы мы скрывали наш брак. Я никогда не была агентом КГБ, клянусь!" Именно она, а не Саня, была сфинксом. Она — и история».

Солженицын с его русскостью, а главное, с его масштабом стал самой крупной мишенью для либеральных сил Запада и объединённой Третьей эмиграции. «Новым эмигрантам, — писал Солженицыну Н. Струве ещё в Москву, — России уже не жалко». Здесь и был водораздел, непроходимая стена между *насильно изгнанным* из страны Солженицыным и уехавшей по своей воле *пишущей* эмиграцией. «Э, нет, я не ваш! э, нет, простите, я не эмигрант, и во всяком случае не *Третий*». Шмеман довольно скоро увидел зреющий конфликт между Солженицыным и *Третьими*: «Солженицына, в сущности, "разлюбили" только потому, что он говорил простейшую, элементарную правду. Можно доказать теорему: "интеллигенция" всех народов не выносит правды. И потому не выносит, что считает себя носительницей "правды" в каждый данный момент, в каждой ситуации».

При всей своей симпатии к широте и культурности новоприезжих москвичей и ленинградцев Шмеман не мог не увидеть их глубинный нравственный изъян. «Вот эта очевидная нелюбовь к России мне чужда и меня отчуждает. В России они любят только "интеллигенцию" и всё то, что так или иначе можно к этому понятию пристегнуть». Он много раз писал, что не может до конца принять одну или другую сторону, что этот выбор мучителен, но что разговор между ними невозможен — не из-за идей, а из-за тональности. Когда в очередной раз в каком-нибудь уютном нью-йоркском или парижском доме милые и симпатичные *Третьи* истерически кричали, что Солженицын — нуль, *ничто*, наполненное и вытянутое из *ничего* ими, московскими интеллигентами, — отец Александр только печалился и сокрушался.

Нелегко было и Солженицыну. «И вполне бы тут, на Западе, в отчаяние прийти, если б не своя работа. Горы работы — на годы и годы. Надо сперва самому исполнить — а потом уже требовать от Истории».

Глава третья

ВЕРМОНТСКИЙ УГОЛ. РАБОТА, СЕМЬЯ, ЖЕРНОВА...

Как только Пять Ручьёв были освоены и устроены, а хозяева осознали, что здесь они надолго, возникли новые большие планы. Поначалу А. И. хотел создать под своей крышей бесприбыльное издательство, дочернее учреждение Русского Общественного Фонда — издавать книги, нужные в России, и бесплатно туда посылать. Речь

шла прежде всего о двух сериях — ИНРИ («Исследования новейшей русской истории») и ВМБ («Всероссийская мемуарная библиотека»). Он был уверен, что удастся собрать сильный круг авторов, талантливых, увлечённых. Но издательство — это ещё и большое производство, а руки у А. И., кроме своих, занятых вперёд на много лет «Красным Колесом», были ещё только женины.

А она и так решилась на невозможное — собственными усилиями, с нуля, начать выпуск двадцатитомного собрания сочинений Солженицына: глубокая редакторская работа, корректура, правка, набор, вёрстка, оформление и только печать в Париже, в «ИМКА». После долгого розыска был приобретён композер фирмы «IBM». Прекрасным помощником оказался Андрей Трегубов, семинарист Свято-Владимирской нью-йоркской семинарии, имевший профессию наладчика печатных машин; Солженицыны, по рекомендации Ирины Иловайской-Альберти, пригласили его вместе с женой Галиной жить с ними в Вермонте в качестве учителей детей. «Всё оформление собрания сами сочинили, дома, своей семьёй, благо Трегубовы оба оказались художники. Аля быстро во всех деталях овладевает и набором, и вёрсткой, повела моё собрание сочинений, том за томом». «Начала Собрание, — записала она в дневнике 24 июля 1977 года. — С “Ракового корпуса”. Саня проверил первые 4 странички: “Сегодня день памятный. 33 года назад я лежал под обстрелом весь день... Мог ли тогда представить, что через 33 года в этот день начнём печатать Собрание?»

Это была нагрузка и чрезмерная, и чрезвычайная. Вряд ли она была бы под силу даже такой талантливой помощнице, если бы работа осознавалась и выполнялась только как техническая — силы и энергию придавала солидарность с автором. Вот «Танки» — сценарий, с 1959 года никогда нигде не напечатанный. Она пишет в дневнике: «“Танки” захватили меня в сурово-жертвенном накале, в решимости никогда не изменить, не забыть; это то чувство, которое с юности, почти с детства — неизменно и сильно во мне, невесть кем сообщённое (не семьёй, не друзьями); оно всплеснуло мощно при нашей встрече с Саней, — и никогда не покидало наш общий союз — общая верность, неоспоримый долг, надо всем высший. Этот ознобляющий хор “Пусть ярость благородная” — под него шло моё детство и под него же — тогда же, в те самые годы — их танки давили Саниных друзей в Кенгире, а немецкие — моего отца под Смоленском. Вся моя юность и есть — вихрь опознания (среди ледяного вокруг страха): кто — они, кто — мы, постепенно-

го оборачивания “Встаёт на смертный бой”, росшего внутри, против понятого к 17 годам Главного Зла — с “проклятою Ордой!”».

В «Зёрнышке» А. И. щедро и благодарно упомянет вклад жены в их общее дело. «Не решусь сказать, у какого русского писателя была рядом такая сотруженица и столь тонкий чуткий критик и советник. Сам я в жизни не встречал человека с таким ярким редакторским талантом, как моя жена, незаменимо посланная мне в моём замкнутом уединении, когда не может хватить одной авторской головы и примелькавшегося восприятия. Пристальность к тексту, меткий глаз, чуткость к любому фонетическому, ритмическому процарапу, к фальши или истинности тона, штриха, синтагмы, чуткость ко всему в художественном произведении — от крупных конструкций, от верности характеров, до нюансов образов, выражений, порядка их, междометий, знаков препинания. Аля помогала мне критикой, советами, оспорами, она много способствовала улучшению и ясности моих текстов». Она всегда была более требовательна к качеству текста, чем автор; твёрдо настаивала на улучшениях и предлагала отличные варианты; пропускала через себя каждое слово и каждую фразу; имея яркую мгновенную память, замечала все повторы и зорко участвовала в шлифовке сочинения. Аля не давала ему «расползтись в несамокритичности».

Сама она считала эту свою работу драгоценным жребием, горела ею, не могла насытиться. Тосковала, когда ломался компоузер и наступала вынужденная пауза — без переписки на полях наборных листов («от которой у Сани чувство тесной, “в упряжке” с ним работы, — и он грустнеет и даже нервничает»). Но тогда она принималась за архивы, переписку, бумаги Фонда; на ней были ежегодные бухгалтерские и тематические отчёты швейцарским властям, защита распорядителей Фонда (защищать пришлось и А. Гинзбурга, и С. Ходоровича), груз приходских обязанностей, домашние ежедневные заботы и ежевечернее чтение детям. Годами не отдыхала — потому что «потом раздавят дела», и потому ещё, что не умела и не любила отдыхать.

И все же её дневники за все годы изгнания, тридцать общих тетрадей в клетку и в линейку, исписанные чётким, безупречным почерком (только в дни сильных потрясений он мог «выйти из берегов»), полны горячего, неувядающего чувства: Саня пишет у себя наверху, Саня радостен, Саня испытал прилив счастливых сил, Саня закончил одно и взялся за другое, Саня весь в «Октябре» (или в «Марте»), Саня долго рассказывал об изломах работы... Саня... Саня...

«Конечно, он — светлый центр и смысл нашей жизни, — напишет она в 1981-м своим московским друзьям Жене и Алёне Пастернакам. — Работает — всегда, наработано много, и мне счастливо выпадает на некоторых этапах помахивать гривой с ним рядом, как пристяжная».

Свою жизнь в изгнании, сначала в Европе, где было шумно и одиноко («скакание на отрезанной ноге»), а потом и вермонтское уединение она воспринимала как время самоотречения, ученичества, вслушивания, смирения, тишины. И свистящего одиночества, которое болезненнее всех воспринимали дети, прежде всего Митя, бесконечно любимый, светлый и смелый мальчик, с золотыми руками, щедрой душой, замечательным сердцем, повёрнутый к людям (малыши обожали, боготворили старшего брата), за которого всякий день у неё трепетала душа. Н. Д. просидит у его постели в бостонском госпитале десять суток, когда в первый же свой студенческий год он попадёт (декабрь 1979-го) в автомобильную аварию. Через полгода Митя поправится, но у неё надолго сохранится страх и ожидание новой внезапной беды. «С детства, со школы, и всюду, до последнего дня он был таким излучающим, сильным, добрым центром большого круга людей. Он любил и умел слушать, и люди всегда тянулись к нему со своими и тяжёлыми, и смешными ситуациями. Он был широкий, истинно русский человек, который, не сознавая своей русскости, заражал ею младших братьев», — говорила о сыне мать в 1994-м, вскоре после того, как его не стало.

Её дневники и письма отражали рост и взросление *солженят* — Ермоши, Игони, Стёпы, белоголовых братьев-погодков... Ей страстно хотелось видеть у сыновей такую же, как у неё и у мужа, «сквозную верность». Но ведь это дар, а не воспитание, и можно только помочь детям не обронить дар, если он дан свыше. Уезжая из России, Аля обещала (себе прежде всего!) вырастить сыновей русскими. Малыши и росли в Пяти Ручьях как в русском заповеднике. Кроме Мити на них влияла бабушка. «Она постоянно вносила тепло и мягкость в нашу перенапряжённую жизнь», — вспоминал (2007) А. И., с первого дня знакомства считая *Катеньку* близким и родным человеком. «Трудно представить, как сложилась бы наша изгнанническая жизнь, — вспоминала и Н. Д., — если бы с нами не поехала мама (а она бы наверняка осталась в Москве, если бы к моменту высылки жив был мой отчим, тяжело заболевший летом 1973 и умерший в ноябре)... Но мама была с нами — и оттого состав и быт семьи оказался типично русским, с бабушкой при внуках; да и ба-

бушкой незаменимой: она была главный, все годы, "шофёр" семьи и "главный инженер" в доме: пока не подрос Митя, ею же во многом выученный, — именно Катя чинила все лампы, утюги, пишущие машинки и детские игрушки. И все фотографии, детские и семейные, тоже всегда делала Катя. Благодаря ей раннее детство мальчиков было гармоничным и даже счастливым»*.

А ещё была с ними Катерина Павловна Бахарева, старушка родом из Читы, оказавшаяся в дальневосточной эмиграции; жила в Харбине, откуда уехала в 1949-м, когда к власти пришли коммунисты. Солженицыны встретили её в Цюрихе и пригласили в семью; ежедневно она приходила гулять с малышами и очень привязалась к ним. Приезжала и в Америку каждый год на несколько месяцев; дети любили «бабу Катю» за живое воображение, неистощимый запас шуток, прибауток, песенок и побасенок.

До выхода в американскую среду мать спешила насытить их русским языком, ежедневно читая с ними вслух стихи и сказки, а позже русскую классику и Евангелие. Ежедневно по стихотворению разучивала с детьми и их первая, дошкольная, учительница Галина Трегубова. («Слава Богу, у наших детей русский, кажется, уже вне опасности», — записала Аля в начале 1983 года, услышав, что ещё один ребёнок из знакомой московской семьи утратил в эмиграции родную речь.) Отец преподавал мальчикам математику — учил по книгам, привезённым из Москвы, по которым когда-то учился и сам.

К боковой стенке прудового домика была прибита школьная доска, приобретён мел, заведены ежедневные те-

---

* «Наша бабуля, — пишет Игнат Солженицын (2007), — была скрепой, хоть зачастую неявной, но объединявшей всю нашу семью теснейшей связью. Она была верной подругой и помощницей для мамы; идеально-неприхотливой тёщей для папы (который говорил, что лучше тёщи невозможно было бы найти), а также точной помощницей в оформлении некоторых его работ; любезнейшей хозяйкой, собеседницей и остроумной рассказчицей для наших гостей, хоть и нечастых; послом доброй воли по всей нашей округе, где не было, казалось, ни одной лавки, где бабушку не знали б и не любили; и, конечно же, источником безграничной любви и утешения для своих обожаемых внуков. Вечно улыбающаяся, она всегда делала что-то для нас полезно-приятное — то ли готовила вкуснейший ужин, то ли помогала со сложным школьным проектом так, что учителя только ахали, то ли учила нас своим неисчерпаемым навыкам (как управлять автомобилем; как правильно поливать огород; как играть в фантики с убийственной точностью; как обёртывать ноты мягкого переплёта в клейкую бумагу, предохраняя их на годы вперёд; как приготовить омлет с мукой; как искать потерянные предметы "головой", а не глазами; и многое, многое, многое из всех областей жизни и быта)... Короче, наше детство и юность немыслимо вспомнить кроме как пронизанными её добрым гением».

традки и обязательные контрольные работы — всё, как полагается, по-настоящему. «Вот не думал, что ещё раз в жизни, но это уж последний, придётся преподавать математику. А — сладко. Какая прелесть — и наши традиционные арифметические задачи, развивающие логику вопросов, а дальше грядёт кристальная киселёвская “Геометрия”. После урока сразу — купанье. В пруду, он местами мелок, местами очень глубок, учу их плавать и страхую. Вода проточная, горная, очень холодная... Выше по течению одного ручья есть и подлинный водопад, метров пятнадцати высоты, ребята гуськом пробираются глазеть на него. Да впечатляет он и взрослых».

В тёплое время года в Пяти Ручьях было раздолье. С апреля по октябрь А. И. жил в прудовом домике, — и рано утром ребята, цепочкой друг за другом, по крутой тропе, сквозь величественный храмовый лес спускались к отцу молиться. «Между порослями становимся коленями на хвойные иглы, они повторяют за мной краткие молитвы и нашу особую, составленную мной: “Приведи нас, Господи, дожить во здоровьи, в силе и светлом уме до дня того, когда Ты откроешь нам вернуться в нашу родную Россию и потрудиться, и самих себя положить для её выздоровления и расцвета”. А в нескольких шагах позади нас камень-Конь, очень похож, ноги поджал под себя, заколдованный крылатый Конь, ребята мне верят: ночами слегка дышит, а когда Россия воспрянет — он расколдуется, полностью вздохнёт и понесёт нас на себе по воздуху, через Север, прямо в Россию... (Ложась спать, мальчики просят: а ты ночью пойди проверь — дышит?)». По нескольку раз в день по очереди дети приносили от мамы страницы набора с её пометками. Потом — забирали обратно. Не полагаясь на школу, Аля завела мальчикам ежевечернее русское переписывание, для почерка и грамотности: «Барышня-крестьянка», «Аленький цветочек» и прочее (тетрадки, в ярких бабушкиных обложках, со стихами и диктантами, и также отметками под красной чертой рукою матери хранятся в семье до сих пор).

Года через три, когда мальчикам исполнилось от семи до десяти, начались для них физика и астрономия. «В конце августа, когда рано выступает звёздное небо, водил их с горы и мимо пруда на единственную у нас открытую полянку, откуда можно было видеть распах звёзд. Там разглядывали и запоминали созвездия и элементы математические, основные линии на небесной сфере, которые в другой день показывал на доске. Созвездия втягивали жадно. Стёпа запоминал лучше всех и альфы созвездий. (Он и в географии был более чем успешен: обогнав братьев, да и родителей — вот уже знал на-

изусть все страны мира, все столицы, все флаги, — и все же полторы сотни миниатюрных флагов собственноручно изготовил, развесил на стене.) А Игнат поражён был “Альголем” — “звездой дьявола” (за переменную яркость) — и жаловался маме, что ему теперь страшно ложиться спать». В 2003-м известный пианист и дирижёр Игнат Солженицын скажет об отце: «Он замечательный педагог! Он один из самых лучших, а может быть, самый лучший учитель, с которым я встречался в жизни. Он обжигает, увлекает! Ты абсолютно не замечаешь времени, хочешь узнавать и узнавать дальше. Его урок похож на самое захватывающее приключение, как приключение Гекльберри Финна или Шерлока Холмса. Удивительно, как судьба одаривает людей: как будто не хватает его дара художника, общественного деятеля... Родители привили нам главное: любовь к процессу узнавания».

С осени 1976-го Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти, вдова итальянского дипломата, имевшая квартиру в Риме и двух взрослых детей, переехала (как было договорено ещё в Цюрихе) в Пять Ручьёв. «Ей досталось быть и “пресс-секретарём”, отвечать на неотступные запросы печати, и вести дела с американской администрацией разных отраслей и уровней и вести нашу западную переписку (она свободно владела семью языками). А уж от сердца — находила время вдобавок нашим с Алей урокам давать детям и свои (при возрастах 4, 5 и 7 лет много приходилось вести отдельно), очень привязалась и к ним тоже». Первым учителем английского языка у ребят стал американец итальянского происхождения Ленард Ди Лисио, он же после отъезда Иловайской в Париж (И. А. стала редактором «Русской мысли» вместо З. А. Шаховской) принял на себя обязанности секретаря А. И. Как-то раз счастливым образом Ленард показал Игнату, как читать ноты... Законом Божьим (а потом и всемирной историей) занимался с детьми отец Андрей Трегубов — после окончания семинарии он был рукоположен и получил православный приход в Клермонте («и на долгие годы стал священником этого постоянного для нашей семьи храма — дети наши во многом возрастали под его сенью»).

О некоторых результатах воспитания малышей Солженицыных писал А. Шмеман (май 1977-го): во время возвращения с прогулки его родственница А. Осоргина говорит детям — а вот и ваша земля. Семилетний Ермолай отвечает: «Это не наша земля. Наша земля — Россия!..» Встречая Новый, 1981 год, семилетний Стёпа высказался в том же духе: его спросили — что́ бы ты попросил у волшебника, который исполняет только одно главное желание? «Стёпа, не колеб-

лясь, с силой вымолвил — чтоб он меня вернул в Россию; а покинул её — в корзинке, 6-месячным худеньким тельцем». А чуть раньше, в 1980-м, в летней школе русского языка для американских студентов в Норвиче (Вермонт), Ермоша, девяти с половиной лет, восьмилетний без малого Игнат и семилетний, тоже без малого, Стёпа, ездившие туда с бабушкой на выпускной концерт, читали наизусть «Реквием» Ахматовой, а также самостоятельно выбранные стихи Блока, Цветаевой, Баратынского, Пастернака, Мандельштама. Наутро их чтение записал один из преподавателей, и эта запись сохранила голоса мальчиков: отважный, уверенный, звонкий у Ермоши; глуховатый, грудной, с ускользающим «р» у Игони; совсем ещё детский, нежный, немного простуженный у Стёпы. И ещё сохранилась самодеятельная афишка: «Дорогим отцу Александру и Ульяне Сергеевне. КОНЦЕРТ-ПОДАРОК. Светлая Суббота, 12 апреля 1980. Кавендиш». Игнат играет Баха, Бетховена, Скарлатти, Кабалевского, Моцарта, Чайковского, Шопена, Гайдна, и все трое по очереди читают стихи (разумеется, наизусть): Пастернак, Лермонтов, Блок, Пушкин, Рылеев, Языков, Некрасов, Ахматова, Гумилёв, Цветаева, Киплинг...

Несомненно, бóльшую ответственность за воспитание детей несла мать. Она внушала им, что изгнание их семьи имеет особый смысл. Но, конечно, на детей действовала и атмосфера дома. Мальчики прощались на ночь, зная, что родители ещё долго будут работать; вставая утром, они обнаруживали, что отец и мать уже давно работают и счастливы в своём деле. Ощущение осмысленной жизни и сильной цели воспитывало лучше всяких слов. И вот уже Ермолай с десяти лет станет набирать на компоузере первую книгу из мемуарной серии — воспоминания Волкова-Муромцева, — потом возьмётся за переписку отца с Лидией Чуковской, преодолеет трудности почерка корреспондентки, узнает реалии «той» жизни. «Из духа соревнования тут же и восьмилетний Игнат кинулся печатать на машинке, — соревнования, но не зависти. Чужеземное окружение сплачивало. Мальчики вырастали в дружности, сознание нашей необычной ноши передавалось им», — писал отец. «Мы считали своим долгом научить их работать. Что лучшее мы могли бы оставить им в наследство?.. Нам хотелось, чтобы они выросли неленивыми людьми, которые не живут в пустоте и не оставляют после себя пустоту», — вспоминала мать.

«На одном из домашних концертов, — рассказывала Г. Трегубова (2007), — мальчики читали стихотворение Полонского: “Писатель, — если только он / Волна, а океан —

Россия, / Не может быть не возмущён, / Когда возмущена стихия. / Писатель, если только он / Есть нерв великого народа, / Не может быть не поражён, / Когда поражена свобода". Это было символическим объяснением того, как дети воспринимали свою жизнь здесь. То же самое ощущали все люди, которые приходили со стороны. Даже соседи старались предохранить семью от любопытства, старались вписаться в её график, предупреждали о посторонних машинах; на почте вели себя как друзья, никогда не давали справок о семье...»

Трудные решения пришлось принимать и при выборе школы. Местные *public school* считались примитивными и опасными, потому решили послать детей в частную. Только оказалась она школой-фермой (*East Hill Farm*), где утром шли занятия, а днём приобретались полезные навыки, от мытья посуды и доения коров до пристройки новых комнат к дому. Атмосфера была доброжелательная, сосредоточенная, но — нарочито усреднённый подход к ребёнку: отметок не ставят, задания на дом не задают, кто в каком классе учится — не определяют, чтобы не травмировать менее способных и не слишком успешных. Не поощрялось любить что-либо сильно, и потому от любимого занятия ребёнка отвлекали и направляли на что-то совсем другое: равенство, доведённое до абсурда. Из школы-фермы дети перешли в кавендишскую школу для младших классов (*Elementary School*), Ермолай — в 6-й класс, Игнат — в 5-й, Стёпа — во 2-й. Родители сознавали, что мальчикам нужны школьные реалии — парта, звонок, урок-перемена, общение со сверстниками. Никаких специальных школ в округе не было. «Ведь живём-то где? — ёлки да волки», — посмеивалась Аля.

По утрам школьный автобус собирал детей «с холмов» — и становился для них зоной опасности. На переменах в школьном дворе тоже разыгрывались жестокие сцены, от которых Ермоша будет спасаться навыками карате, а добродушный и мечтательный Стёпа — только терпел и страдал, когда всем скопом старшеклассники заламывали ему руки, били или запихивали в рот траву, дразня «Russian Negro», «коммунист», «шпион». «Стёпушка был подавлен, говорил матери: "Из жизни — нет выхода"».

Рано открывшиеся музыкальные способности Игната и его яркую одарённость первым разглядел Ростропович, увидев (услышав!) в один из редких приездов в Вермонт, как мальчик вертится у инструмента и пытается что-то подбирать. Маленький кабинетный рояль среди прочей мебели остался от прежних хозяев и притягивал ребёнка как магнит, а в Цюрихе двухлетним крохой он вскарабкивался на стул,

ближе к проигрывателю, и заводил пластинки. Игнат стал заниматься по своему расписанию и от «школьного автобуса» зависел мало; странного русого медвежонка с мягкой кистью, околдованного музыкой, возила к педагогам бабушка, «грустная, умелая, преданная», как писала о ней дочь.

...С осени 1977 года стала собираться Мемуарная библиотека. А. И. обратился ко Второй эмиграции — к тем, кто пережил войну, был беженцем, находился на оккупированной территории, в остовских лагерях, в армейских частях. «Я призываю моих соотечественников теперь же сесть писать такие воспоминания и присылать их — чтобы горе наше не ушло вместе с ними бесследно, но сохранилось бы для русской памяти, остерегая на будущее». Официальная Москва восприняла известие с негодованием. 11 ноября 1977 года Андропов доложил о попытке создания библиотеки (которая угрожает приехать в Россию) как об идеологической диверсии: «Принимаются меры по локализации и пресечению указанной акции противника».

Но ни локализовать, ни пресечь «акцию противника» шефу ГБ не удалось: до своего возвращения на родину Солженицын получит тысячи рукописей, среди них — редчайшие свидетельства эмигрантов второй волны о советских военнопленных в немецких лагерях Второй мировой. В библиотеку попадёт и архив великого князя Николая Николаевича, который вёл начальник его походной канцелярии Н. Л. Оболенский (он жил в Ницце и, узнав о задумке Солженицына, прислал в Вермонт восемь коробок с письмами и документами). В хранение ВМБ поступят архив Л. Зурова, секретаря Бунина, часть личной переписки философа С. Франка и многое другое.

Зимой 1978-го, когда, казалось, ничто уже не оторвёт А. И. от его кабинета, пришло приглашение выступить с речью на выпускном акте Гарвардского университета. В 1975-м приглашение оттуда он отклонил (как потом и десятки подобных), но теперь решил согласиться: «Весьма примечательное место, будет хорошо слышно по Америке. А уже два года не выступал — и темперамент мой толкает снова вмешаться». Готовя речь, он обнаружил, что испытывает не только стилистическое отвращение к бесконечным повторам, но и к обычному направлению своих публичных выступлений. «Много лет в СССР и вот уже четыре года на Западе я всё полосовал, клевал, бил коммунизм, — а за последние годы увидел и на Западе много тревожно опасного и предпочитал бы *здесь* — говорить о нём».

Не то чтобы он смирился с коммунистическим режимом,

напротив. Как только стало известно о лишении Ростроповича и Вишневской советского гражданства («из-за кого ж, как не из-за меня? и как же мне смолчать? И какое ж возможно перемирие с большевиками?»), он высказался, будто выстрелил: «Как русский писатель заявляю ответственно, что коммунистическая власть своей историей сама не имеет на нашу родину того права, которого бесстыдно лишает других — вот, сейчас, великих артистов Мстислава Ростроповича и Галину Вишневскую». Но речь в Гарварде строилась по поводам западным, а не советским. А. И. отлично понимал, на что идёт. Иловайская, переводя русский текст на английский язык, умоляла смягчить выражения и со слезами говорила Але: «Этого ему не простят». Но ему и так уже ничего не прощали: если выступал часто, злобствовали, что его «съедает честолюбие»; если замолкал — значит, «отдался гордыне, вообразил себя сверхчеловеком». Если вмешивался в политику — кричали: «исписался»; если погружался в писательство, кричали тоже, но другое: почему молчит? почему покинул соратников в беде?

А в Гарварде от него ждали речь с похвалами Америке, с благодарностью за приют; рассчитывали, что он сравнит ад ГУЛАГа и Кавендиш, райское место. 8 июня 1978 года в прохладный дождливый день на университетском дворе собралось двадцать тысяч человек — выпускников и гостей. Солженицына приветствовали общим вставанием и долгими аплодисментами. От него тоже хотели услышать традиционное приветствие: «Harvard's motto is veritas» («Девиз Гарварда — истина»). Однако «бородатый пророк» (как назовут его газеты) «вещал без обычных любезностей, которые всегда выдавались вместе с дипломами. Выпуск 1978 года не услышал ничего, что бы могло его подбодрить». Он предупредил их: «Истина редко бывает сладкой, а почти всегда горькой». Речь («Расколотый мир») с переводом длилась почти час. Несколько дней спустя супруга президента США Розалин Картер выступила в национальном клубе печати с официальным ответом: никакого духовного упадка в Америке нет, а наблюдается всесторонний расцвет. И ещё месяцы потом текли возбуждённые газетные отклики и личные письма американцев к писателю — а он только изумлялся, насколько критика речи не соотносилась с её содержанием.

...Солженицын не понимает ни Запад вообще, ни Америку в частности. Он зовёт США на священный бой с коммунизмом, грезит крестовым походом против СССР, выступает за нескончаемую холодную войну. Настоящий враг Солженицына — даже не коммунизм, а современный человек, воспи-

танный эпохой Возрождения («человек — мера всех вещей»), якобы извратившей духовные основы общества. Солженицын упрекает людей Запада, что они недостаточно страдали и не очистили свои души от всякой нечисти. Значит, желает им страдания?.. Он говорит о «падении мужества» как об отличительной черте Запада, упрекает Америку, что духовное банкротство и физическая трусость привели её к «поспешной вьетнамской капитуляции». Поспешной? Спустя целое поколение массовых жертв?.. Он фундаментально противоречив: то доказывает, что только моральные критерии помогут Западу в его борьбе с коммунизмом, то утверждает, что только американская военная мощь и сила воли могли остановить резню во Вьетнаме. Он демонстрирует чудовищное непонимание западного общества, основанного на уважении различий между людьми. Его раздражает принцип многообразия мнений, самокритичности и терпимости, но он сам эксплуатирует этот принцип в своей критике Запада. Именно Запад позволил ему сказать то, что он сказал; на выпускном вечере в МГУ выступить с такой речью ему бы не дали.

Итак, неисправимый русский, отчаянно тоскующий по родине, считающий себя не эмигрантом, а ссыльным, называющий «своей страной» не США, а всё ещё СССР. Современность для него — ошибка, заблуждение разума; теократ, консерватор, антимодернист, антикапиталист. И грубее: мистик, фанатик, догматик, радикал, реакционер, одержимый, ненормальный. Бросил перчатку Западу — и получил в ответ: «Любите нас — или оставьте нас!» Готовясь к враждебной реакции, *такого* он всё же не ждал: «До гарвардской речи я наивно полагал, что попал в общество, где можно говорить, что думаешь, а не льстить этому обществу. Оказывается, и демократия ждёт себе лести. Пока я звал “жить не по лжи” в СССР — это пожалуйста, а вот “жить не по лжи” в Соединённых Штатах? — да убирайтесь вы вон!»

Но постепенно пробились в печать и другие мнения. Солженицын — наш Исайя, Иеремия, Савонарола. Он — как первые американские пуритане. Он сказал горькую правду, сотряс страну землетрясением в девять баллов. В глубине души мы знаем, что он прав. Если восхищаешься прямотой в одной точке земли, надо уважать её и в другой. Мы духовно больное и нравственно плоское общество. Мы ищем себе самого лучшего за счёт всех остальных. Мы напоминаем Содом и Гоморру. На банкнотах пишем «In God we trust», — надо или доказать это, или снять надпись. Америка — не моральный Прометей, мы нация, живущая одним заработком, нам неведомы истинные ценности жизни.

Это уже было близко к тому, о чём он хотел сказать Америке. Надо оставить надменное ослепление — оценивать самобытные миры лишь по степени их приближения к западному образцу. Общество, которое строится на *юридическом* уровне, ниже подлинных нравственных мерок. «Права человека» подавляют права общества и разрушают его; а свободная пресса, диктующая политическую моду, обретает силу закона. Культ материальных благ ослабляет мужество и волю; свобода ведёт к необузданности. Зло — в рационализме и гуманизме эпохи Просвещения, к которым возводят себя и коммунисты. Солженицын критикует Запад из более древней, чем Просвещение, традиции и предлагает пересмотреть шкалу нравственных ценностей, подняться на новую высоту обзора.

Хотя Гарвардская речь открыла Солженицыну низовую, коренную, Америку, его самого американская пресса могла теперь поносить сколько угодно. «Банда журналистов концентрированно хочет опорочить Солженицына. Он напал на массмедиа за их самоуверенность, лицемерие, обман, они этого ему никогда не простят. Он должен понимать, насколько его масштабное видение не подходит демократическому и либеральному обществу» — так оценивали ситуацию сочувствующие Солженицыну аналитики, и были правы. Наступала полоса тотальной обструкции. Вывести Солженицына на чистую воду, писать о нём разгромные статьи и книги становилось на Западе хорошим тоном. Когда одна из сотрудниц русской секции Би-би-си поздравила его в эфире с 60-летием (11 декабря 1978 года) — она едва не лишилась работы.

В Москве потирали руки — «падение» Солженицына на Западе шло ускоренными темпами. Но хотелось внести и свой вклад в общий хор. В августе 1978-го, через два месяца после Гарварда, руководители АПН и Госкомиздата вышли с предложением издать труд Ржезача по-русски стотысячным тиражом: мол, книгу жаждет увидеть вся советская общественность. Правда, спустя месяц завотделом пропаганды ЦК Фалин дал понять, что все те, кто должен был прочесть Ржезача, уже его прочли: первый тираж (десять тысяч) был распределён через КГБ (семь тысяч) и ЦК (три тысячи). Было рекомендовано «принять меры к продвижению книги в зарубежные страны через иностранные издательства и фирмы». «Тем досадней, отвлекательней, — скажет Солженицын, — был осенью 1978 вынужденный трёхмесячный отрыв на “Зёрнышко”, подтолкнутый гебистской пачкотнёй Ржезача».

В общем, после Гарварда Солженицын был благодарен своей интуиции — каково бы ему было, если бы весной

1974-го, когда его усиленно звали, он соблазнился бы и поехал получать почётное гражданство. «Каким бы бременем оно сейчас на меня легло, когда я сюда переселился! Уж тут бы не отбиться так легко, а — участвовать, отзываться, высказываться. Больше почёта, больше хлопот. А так — живи себе свободно, отрешённо, не обязанный срастаться с этой страной». Но его и так уже занесли в списки «неискоренимо русских» (полагая, что это порок) и уличали, что критика Запада в Гарвардской речи — вся в «русской интеллектуальной традиции» (не сомневаясь, что традиция дурная, «погромная»). А он, присмотревшись, к началу 1979 года осознал, насколько несправедливо, что все советские мерзости лепят на лицо России; в глазах Запада именно Россия, а не СССР, отвечает за коммунистическую заразу — эту заразу считают *русской* (потому танки в Праге *русские*, а балет *советский*), как будто коммунизм природен России и является её сутью: «Какая же скотина русский народ, что не мог удержаться от коммунизма, вот мы же, европейцы, удержались!»

Больнее всего было сознавать, что прежние соотечественники, попав на Запад, образовали мощный союз против России. Они клялись Западу в верности, относили Россию не к Восточной Европе, а к Западной Азии, уверяли, что русские мечтают о монархическом правлении и престоле царя. Русское православие и русское национальное самосознание выглядели в их писаниях синонимом антисемитизма, тоталитаризма и мракобесия. В общественное сознание Запада внедрялась (и внедрилась) мысль, будто ему грозит не коммунизм, как об этом трубит Солженицын, а возрождение России. Что же касается Солженицына, то он самая большая угроза западным ценностям: теократ, монархист, наследник сталинского образа мыслей, большевик наизнанку (Синявский, Париж). А ещё — двойник Ленина, союзник Кремля, потенциальный диктатор (Копелев, Москва). А ещё — православный антисемит и шовинист (Ольга Карлайл, Нью-Йорк). А ещё сторонник церковной диктатуры, православный аятолла (Эткинд, Париж; в 1979-м стало модно браниться «хомейнизмом»). Запад внимал, впитывал и брал на веру. В 1980-м «Вашингтон пост» напечатала карикатуру «Мать Россия»: Владимирская Божья Матерь — с серпом и молотом во лбу, советскими орденами на груди, а вместо младенца — маленький Брежнев. «В Штатах недопустим расизм, — писал А. И., — но лить помои на Россию как целое и на русских как нацию позволяют себе даже и почтенные люди».

Любой спор Солженицына с *Третьими* отбивался ими ещё и под тем предлогом, что своим неодобрением эмигра-

ции он-де воздвигает барьер, мешающий людям бежать из проклятой России. «Быстрый антирусский разворот в мире показывал мне, что я, очевидно, засиделся, надо было выставляться против этой атаки раньше». В октябре 1979-го он и выступил — резко, энергично, сжато. *Персидским трюком* назвал низкий приём, когда авторы из новейшей эмиграции, напуганные возможностью русского религиозного возрождения, из своего безопасного убежища лепят на лоб угнетённому русскому православию жестокости мусульманского фанатизма, «мечут в глаза персидским порошком человеку, встающему с ниц на колени». Когда в ноябре 1979-го А. И. увидел в радикальном «Нью-Йорк ревью оф букс» на красном фоне во всю страницу обложки чёрный заголовок: «Опасности национализма Солженицына» (интервью О. Карлайл с Синявским), — он понял, что надо действовать, что от этого пожара ему не укрыться.

В 1979 году в Париже (в «ИМКА») вышла книга Л. К. Чуковской «Процесс исключения». Она писала: «Солженицын, где бы ни селился и куда бы ни бросала его судьба, всегда и везде оставался суверенным владыкой собственного образа жизни... Солженицын и праздность — две вещи несовместные. Будто он в какую-то минуту — я не знаю за что и не знаю когда — сам приговорил себя к заключению в некий исправительно-трудовой лагерь строжайшего режима и неукоснительно следил, чтобы режим выполнялся. Слежка его — за самим собою — была, пожалуй, неотступней, чем та, какую вели за ним деятели КГБ. Урок рассчитан был на богатырские плечи, на пожизненную работу без выходных, а главным инструментом труда была полнота и защищённость одиночества».

В изгнании всё осталось прежним — и образ жизни, и пожизненная работа; и урок для богатырских плеч; только фронт борьбы необычайно расширился*. В октябре 1979-го Шмеман читал строки из книги Чуковской своей жене, и

---

* «“Вечно он торопится...”, “Всегда он смотрит на часы...” — говорили о нём с неудовольствием знакомые, — писала Чуковская. — Или даже так: “Вечно он занят своими делами, одним собою!” И это о человеке, взявшем на себя урок, от которого мы уклонились, о человеке, предоставившем голос (и какой голос, голос художника!) тысячам воскрешаемых им людей. За голосом тысяч звучал голос миллионов. Но вокруг Солженицына густой шёпот: “Вечно он занят одним собой”. Собой!.. Не из пустой прихоти надел он на себя вериги, не напрасно в разговоре с приятелями или даже с величавыми, осанистыми редакторами поглядывал на часы, не попусту, сам преследуемый и гонимый гонял себя по всей стране, чтобы разыскать ещё одного свидетеля, пережить ещё чей-нибудь рассказ, проверить ещё один факт. И, чужими — родными! — судьбами переполненный, — снова спешил за стол, в мастерскую человечьих воскрешений».

они, в который раз, обсуждали единственность Солженицына. У отца Александра, как всегда, были свои «но». Он следил за эмигрантской сварой, знал все её оттенки, видел, что дело приобретает драматический оборот. «Звонок от Наташи Солженицыной, — записывал он в ноябре 1979-го. — Почти неприкрытая просьба — “защитить” А. И. против Чалидзе, Синявского и *tutti quanti*, вмешаться, написать... Разговор меня сильно взволновал, не знаю даже, чем специально. Разве что вечно “пронзающей” меня “уязвимостью” и тем, что пришло от “неуязвимого”».

Он взялся за дело. «У меня с С<олженицыным> свои “счёты”. Но низкие нападки на него Чалидзе, Синявского, Ольги Карлайл и К° столь именно низменны, что всё остальное отходит на задний план. Это желание — упростить, огрубить, эта всё пронизывающая инсинуация — отвратительны... И, увы, “эффективны”. Поэтому и пишу». Свою статью о. Александр назвал «На злобу дня» — «ибо именно злобой пышет каждое слово и Чалидзе, и Синявского, и Ольги Карлайл». Шмеман осудил *злобу* нападающих, позиция которых, отчасти, ему была более близка, чем позиция подзащитного. Но *злоба* бессильна против *зрячей любви*, которая, как писал о. Александр в одноимённой статье 1971 года, является тайным двигателем солженицынского творчества, определяет строй души писателя и духовный строй его сочинений. За вычетом *выдуманных преступлений* Солженицына, утверждал Шмеман, остаётся одно *невыдуманное*. «И состав его в том, что Солженицын *любит Россию*. В том, что признаёт многое в ней, в её прошлом, а также настоящем, заслуживающем любви, восхищения, верности, сохранения, благодарности. В утверждении, что в “старой”, царской России жилось лучше, чем под советской властью... Обвинительный акт предъявляется здесь уже не Солженицыну, а самой России, с нею сводятся счёты».

Такого заступничества не могли простить даже отцу Александру. В январе 1980-го он записал: «Вчера по телефону истерические вопли Майи Литвиновой (дочери Л. З. Копелева. — *Л. С.*): как это, мол, я принимаю участие в защите Солженицына, который “хуже Сталина”, “абсолютно дискредитирован в России”, “лгун” и т. д. По-видимому, он и впрямь наступил нашим диссидентам на чувствительную мозоль, если всё, что касается его, вызывает такой вопль злобы и нетерпимости. И удивительно, до какой степени эти западники и защитники демократии неспособны на простой спор. Всё сразу “принципиально” и “хуже Сталина”. Я долго не мог очухаться от этого удивительного взрыва».

Но в конце концов вопрос о Солженицыне решался не в инстанции свары и не в ведомстве злобы. Главным аргументом оставалась работа — и когда в декабре 1981-го Шмеман получил из Парижа первые девять томов Собрания сочинений Солженицына, он был счастлив. «Расставляя их на полке, подумал: вот бы написать теперь статью: “Девять томов”... Не уравновешивает ли один Солженицын всю русскую эмиграцию? Не *грандиозны* ли эти девять томов?» Продолжая наблюдать и взвешивать, ещё через год о. Александр с болью скажет о процессе гниения *Третьих* и сформулирует их главное отличие от Солженицына: *они* (95%) уехали не для того, чтобы «служить» России, свободе, а для *себя*. «Они эмигрировали во имя своего личного, житейского *успеха*... Поскольку, однако, успех этот зависит, в большинстве случаев, от их “представительности”, от признания их Западом как “представителей” порабощённого Советского Союза, то создалась и не могла не создаться атмосфера самозванства, главное же — *рвачества* во всех его видах, формах и степенях. И всё стало *фальшиво*».

...Свои шестьдесят лет Солженицын парадоксально воспринял как едва ли не начало пути: главный круг борьбы и дел ещё не совершён, что было — то попутное и поневоле, а всё самое главное и ответственное — впереди. И всё же ему казалось, что возраст — только в писании! — стал ощутимее. Даже не в работоспособности, а в потере лёгкости, дерзости воображения. «И это, — писал он в дневнике, — кладёт предупредительный рубеж всему. Может быть, спасти бы могло впрыскивание новых впечатлений — возврат на родину, поездки, встречи. Ведь я нахожусь в принудительной (но и обязательной для работы) коробочке — сколько? Да с провала архива, с 1965, — 14 лет! Это уже чрезмерно. Может быть, и от этого я задыхаюсь. Выход один — поездить по Азии, но это будут уже совсем другие впечатления — и куда уведут?»

Была и другая причина той непомерной усталости, которая порой накатывала, и тогда он сильнее ощущал груз прожитых лет — без воскресений, отдыхов-отпусков, свободных вечеров. «Мне ещё потому так безумно трудно, что я осваиваю невиданный жанр. Обычно всякая литература (роман) состоит в том, чтобы провести через события одного-двух героев. На это у всякого автора хватает душевного запаса, это подобно обычной жизни. Но — где набраться такого душевного запаса на 150—200 человек? Это выходит за всякий индивидуальный жизненный опыт. А хочется — “связать связь времён”». Телесную радость, отдых, распрямление он получал, когда ненадолго отходил от Узлов и переключался на

что-то другое — например, на грамматические записки (многолетние наблюдения над странностями русской орфографии). И даже публицистика, которая чаще всего навязывалась обстоятельствами, служила отвлечением: интервью по случаю пятилетия высылки, статья для журнала «Foreign Affairs» («Чем грозит Америке плохое понимание России»), а потом полемика вокруг неё («Иметь мужество видеть»); статья для американского журнала «Time» «Коммунизм: у всех на виду — и не понят»; заявление по поводу суда над Г. Якуниным, в связи с задержанием распорядителя Фонда С. Ходоровича, телеграмма бастующим польским рабочим. Или вот новая беда. «Где-то в Твери, под тяжёлой советской лапой, внезапно объявляется бесстрашный геофизик Иосиф Дядькин со своими расчётами о многомиллионных уничтожениях в СССР — и самыми весомыми цифрами. И, конечно, тотчас арестован. Мы — обязаны его защищать (в мае 1980 я призываю западных социологов и демографов вступиться за коллегу)».

Но потом гора скатывалась, и снова возвращалась радость «Марта»: «Осенью 1980 я чувствовал себя особенно, невероятно легко: прочно спал, здоров, приёмист, прекрасно идёт работа, освободился ото всяких глупых забот, как швейцарский скандал с Фондом, и рассчитался с дискуссиями, довольно успешно из них вышел, — и вот теперь только работать!» Той осенью он ощутил, что художественный рост не кончен, что 62 года — не помеха и что в Америке есть тонкие критики. Один из них написал в рецензии на «Телёнка»: «Если когда-либо писателю приходилось искать родину в самом себе — то таким писателем является Солженицын». «Верно! — радовался А. И. — Я плавал в советских помоях, только силясь увидеть родину вокруг. Через язык, пейзаж, фрагменты материалов и воображение — я внутри себя воссоздаю её, прошлую и будущую, а затем задача — распространить вовне»*.

Осень 1980-го была, однако, непоправимо испорчена. В суд на Солженицына подала Ольга Карлайл — именно ей в Троицу 1968 года была отправлена плёнка с «Архипелагом» для хранения и перевода (а ещё прежде «Круг»). Увы! — надежда, что английский перевод будет сделан качественно и

---

* Автор сборника «Из-под глыб» физик-теоретик М. К. Поливанов сравнит «Телёнка» с «Дневником писателя» Достоевского: «Это замечательная книга. Она стала эпосом целой эпохи и убеждает читателя в Вашей правоте и единственности Вашего пути гораздо сильней, чем публицистика. По прочтению “Телёнка” у людей открываются глаза на себя, на наше время, на наше злополучное житьё — не меньше, чем “Архипелаг” открыл глаза нам на предыдущую эпоху или “Август” на то, как всё это начиналось».

вовремя, не оправдалась. А. И. полагал, что тайком вывезенный «Архипелаг» попал в руки верных друзей и от них потечёт в мир. Оказалось, «друзья» были больше заинтересованы в получении мировых прав и копирайта, чем в хорошем переводе. Об этом А. И. и написал в предисловии к американскому «Телёнку», и теперь ему грозил судебный иск в два миллиона долларов (то есть: продавай дом со всем скарбом и иди вечным должником с детьми на улицу).

Едва скандал разгорелся, *Третьи* возликовали: «Солженицын дошёл до того, что близкие друзья должны подавать на него в суд за клевету!» «Март» остановился, надо было разбирать архив и восстанавливать хронологию событий эпизод за эпизодом, вспоминать детали, искать доказательства, свидетелей, подбирать документы, переводить их на английский язык, заверять у нотариуса и представлять в суд. «Судили меня там — судят и здесь. Положение подсудимого в свободном мире». Этот единственный провал борьбы за «Архипелаг» был тем больнее, что произошёл не дома, а на свободном Западе. Подтверждалась истина: не море топит, а лужа.

За неделю до суда противная сторона предложила капитуляцию. Но это, понимал А. И., будет писательским самоубийством: отречься хотя бы от одного абзаца в «Телёнке» значит поставить под сомнение все его страницы. Летом 1981-го суд состоялся, и судья жёстко определил: иск Карлайл против Солженицына отклонен как *неосновательный*. Камень, давивший почти год, спал с души, и можно было спокойно дышать — до следующих исков; охотников поживиться вокруг книг Солженицына и его персоны везде и всегда находилось немало. Когда А. И. читал в очередной раз, что у него шесть вооружённых телохранителей, свора сторожевых псов, колючая проволока под электротоком, что он освобождён от уплаты налогов и живёт на содержании у американского миллиардера (имя почему-то не называлось), он только горестно восклицал: как мне тут жить?! «В любом уголке Земли, любой дегенеративный репортёр может печатать обо мне любое враньё — в этом для них святая свобода! святая демократия!»

Летом 1981 года исполнилось пять лет «вермонтского отшельничества», после которых А. И. и члены его семьи получали право на американское гражданство. Но — решили пока оставаться без гражданства, без паспортов, только с видом на жительство: советского гражданства их лишили, другого не было сроду, а на чужбине они жили с горя — «нам тут только до времени перебыть». За прошедшие пять лет Америка не стала ближе, чем была в 1976-м. Она не могла защитить писателя от клеветы, от журналистского разбоя —

стаи фотографов пробирались на участок, караулили, снимали с вертолета, торговали фотографиями. Американская пресса («тысячеротая газетная ложь») сочиняла о нём небылицы, грубо лгала и, даже пойманная за руку, «не видела причин извиняться». «Разве они умеют исправляться? Разве крупный американский журналист чтит себя чем-нибудь меньшим, чем апостол Павел?» Америка дала понять своей пишущей братии, что о Солженицыне можно печатать любую брань; а после выхода «Телёнка» в США (весна 1980-го) утвердила клише: Солженицын хуже Сталина, Гитлера, Ленина и Брежнева; заражён лагерной ненавистью, недемократичный, недобрый, нетерпимый, неправдивый, неблагоразумный. Америка (усилиями своих образованцев, удивительно похожих на советских) пустила в ход поговорку: «Скажи, что ты думаешь о Солженицыне, и я скажу тебе, кто ты». А думать полагалось так: лгал друзьям, отказался оплакать смерть помощницы, безразличен к судьбе диссидентов, готов пожертвовать жизнью своих детей ради ещё одной рукописи.

Слишком много, слишком откровенно писал Солженицын и в «Архипелаге», и в «Телёнке» о своих промахах, ошибках, заблуждениях, чтобы это могло пройти безнаказанно*. Критики вытаскивали из книг и выставляли напоказ его признания, будто это улики, добытые их собственными усилиями, и рисовали портрет лживого, лицемерного, заносчивого, коварного, жестокого, мстительного чудовища. «Какой смык с Советами!.. Когда выгодно использовать клевету, чем эти две мировые силы, коммунизм и демократия, так уж друг от друга отличаются? Переброшенный в свободную Америку, с её цветущим, как я думал, разнообразием мнением, никак не мог я ожидать, что именно здесь буду обложен тупой и дремучей клеветой — не слабее советской! Но советской

---

* В главах «Зёрнышка» (1978) он снова признавался в ошибках — теперь, что не открыл всего доброго, что можно было сказать о Твардовском. Слишком был захвачен борьбой, давал простор нетерпеливым, а иногда и несправедливым оценкам боя, «был совершенно неправ, укоряя А. Т., что он не взял в редакцию уцелевшего после провала экземпляра “Круга Первого”: после моих же ошибок не должен был он ставить журнал под удар новым взятием на хранение уже арестованного романа. И не мог “Новый мир” устанавливать печатанием “следующие классы смелости” — разве только когда обманув цензуру (они это и делали), а вся сила была не в их руках». А. И. снимал упреки и журналу, и его сотрудникам — подневольным госслужащим: что́ они могли сделать в дни разгона? Винился, что упрекал А. Т., когда тот в своих интервью на Западе не сделал ни малейшего намёка, в какой опасности находится его автор. «Тут нашу всеобщую подгнётность — о, её помнить надо!»

прессе хоть никто не верит, а здешней верят, — и ни один западный журналист и почти ни один “славист” не взял на себя честный труд поискать, найти: ну где-либо у меня подобное написано? сказано? а есть ли хоть гран правды в том?»

Он прочитывал рецензию за рецензией и видел, как хищно чёртова мельница старается перемолоть в пыль его жизнь, его труд. В каждом втором опусе ему указывали на дверь — неблагодарный гость, подорвал доверие приютившей страны, смеет возвышать голос на нас, жаждет власти, ему нужен ГУЛАГ, чтобы засадить других, следует примеру Ленина, русский аятолла. Порицали правительство, которое «некритически приняло Солженицына в свои объятия». А. И. вспоминал слова Твардовского 1964 года: «Огромный запас ненависти против вас». Только теперь стали ощутимы истинные размеры этого ненасытного чувства, только в изгнании стало понятно, чем отличается казённая травля от сведения счётов. Он сравнивал: даже при исключении из Союза писателей в 1969-м его не поносили с такой ядовитой желчью, с такой личной страстной ненавистью, как американская элита, которая обещает вести с ним вечную и непримиримую борьбу. «Надо было мне пережить этот поединок с Драконом, чтобы через 10 лет в стране легкопёрых журналистов услышать упрёки, что я дрался против ГБ неблагородно!» Когда однажды осенью мимо А. И., сидящего под берёзами у пруда, беззвучно прошли два матёрых рыжих волка, он, опомнившись, подумал: «Вот хорош был бы мой конец! съели волки! у себя же на участке за письменным столом. Никто ещё из русских писателей так жалко не кончал. Ликование и хохот врагов. Недописанный “Март”, разгрызенная жизнь ещё в полных силах».

С момента, когда президентом США стал консерватор Р. Рейган, отношение официальной Америки к Солженицыну как будто изменилось. Весной 1982-го Рейган обильно и сочувственно цитировал Гарвардскую речь, а из Белого дома долетали сигналы о возможной встрече президента и писателя. На вопросы об условиях А. И. отвечал посредникам: если будет возможность существенного разговора, он приедет; если планируется символическая церемония — нет. Но Белый дом постарался организовать встречу таким образом, чтобы участие в ней Солженицына было бы заведомо обречено — завтрак с десятком «отставных» диссидентов» и он в их числе.

«Некоторые чиновники рейгановской администрации посоветовали Белому дому не устраивать частной встречи с Солженицыным теперь, так как он стал символом крайнего

русского национализма, который ненавистен многим советским правозащитникам». Так писала осведомлённая пресса, обнаруживая истинное настроение американской элиты: Солженицын — символ отвратительной им исторической России, растоптанной в 1917 году и не имеющей права на возрождение. В письме президенту о причинах неприезда (май 1982-го) А. И. объяснял, что не *может ставить себя в ложный ряд* — он не эмигрантский политик и не советский диссидент: ни к тем, ни к другим писатель-художник не принадлежит. Категорически отверг А. И. и клеймо «крайнего русского националиста». «Я — вообще не “националист”, а патриот. То есть я люблю свое отечество — и оттого хорошо понимаю, что и другие тоже любят своё... Сегодня в мире русское национальное самосознание внушает наибольший страх: правителям СССР и Вашему окружению. Здесь проявляется то враждебное отношение к России как таковой, стране и народу, вне государственных форм, которое так характерно для значительной части американского образованного общества, американских финансовых кругов и, увы, даже Ваших советников. Настроение это губительно для будущего обоих наших народов».

Солженицын сознавал теперь, что Главный фронт, на котором он воевал дома, был не единственный. За спиной открывался новый фронт, и его бойцом он оказывался просто по факту своей русскости. «Сумасшедшая трудность позиции: нельзя стать союзником коммунистов, палачей нашей страны, но и нельзя стать союзником врагов нашей страны. И всё время — без опоры на свою территорию. Свет велик, а деться некуда. Два жорна». Три десятилетия он в одиночку выстаивал на Главном фронте — таился, готовился, бился, не жалея сил и самой жизни, шёл на Прорыв и прорвался — но оказалось, что только проложил проезжую дорогу для образованщины. «Хлынули они в этот прорыв и тут же освоились, будто никакого прорыва и не сделано, да и не нужен он был, и Главного Фронта даже не было».

По-прежнему он пребывал в одиночестве, держа удар уже не одного, а трёх противников: коммунистической власти, американской образованщины и Третьей эмиграции, отлично спевшихся в общем хоре ненависти. Но и на публицистов русского национального направления полагаться тоже не приходилось: А. И. страдальчески морщился от их грубости, неумелости, топорности — они спорили, будто ругались на базаре. Сойтись с самиздатским журналом национального толка, который пишет «бог» с маленькой буквы, а «Правительство» с большой и убеждает своих читателей, что коммунизм создал

великую державу и знаменует искомый *третий путь* России, было невозможно. Русский национализм скользил в сторону национал-большевизма с его специфическими инстинктами, и Запад, видя отчётливый антисемитский и ксенофобский уклон этого «изма», злорадно потирал руки: ненависть к России получала законный статус и моральное оправдание.

А в СССР с Солженицыным сводили счёты старым способом — в жанре «травли с подлогом». В мае 1982-го «Советская Россия» писала, будто Солженицын, изгнанный из страны, бросил в лицо согражданам страшную угрозу: «Подождите, гады! Будет на вас Трумэн! Бросят вам атомную бомбу на голову!» И бедные запуганные сограждане даже не догадывались, что газета жульнически цитирует сцену из «Архипелага», слова отчаявшегося зэка на куйбышевской пересылке. Сгущающееся безумие, тупик за тупиком — так ощущали жизнь московские друзья А. И., письма которых малым ручейком притекали в Вермонт. Начало 80-х напоминало последние сталинские годы от 1949-го до 1953-го: глухая жажда перемен вместе с болезненным ощущением безнадёжности, с сознанием, что перемен ждать неоткуда: слишком всё запущено и окостенело.

Весной 1982-го А. И. впервые прочёл подряд всё, что пишут *Третьи*, и ужаснулся, придя к выводу, что они обманывают Запад, дают неверную перспективу, нечестные, безответственные советы. Всю вину за мерзости коммунистического режима взваливают на *проклятый* русский народ, на его извечную *рабскую сущность* и *природное варварство*. По их философии, скотская русская масса сама виновата в ленинизме и сталинизме. По их прогнозам, русское самосознание тяготеет к фашизму и экстремизму; русское православие — к исламскому фундаментализму; русская государственность — к свирепому империализму; русский общественный инстинкт — к еврейскому погрому. Угроза Западу — не коммунизм, не сталинизм, а сама Россия, её народ с его аморальной рабьей ментальностью. Солженицын нарисовал выразительный (и отвратительный!) портрет тех деятелей эмиграции, кто прежде обслуживал советский режим «на деликатном идеологическом фронте», а потом, теряя по дороге партбилеты, потянулся на Запад, где, встав в позу чистых и невинных, не стеснялся клеймить ненавистную страну.

И только в самую последнюю очередь Солженицын сказал о себе: «Сколько лет в бессильном кипении советская образованщина шептала друг другу на ухо свои язвительности против режима. Кто бы тогда предсказал, что писателя, который первый и прямо под пастью всё это громко вызвез-

дит режиму в лоб, — эта образованщина возненавидит лютее, чем сам режим?»

Он собрал весь яд, все клейма, всю чернуху, всю злобу и ложь и расположил *это* через запятую, крещендо. Предоставил хулителям право голоса и полную свободу самовыражения. Брань, сошедшаяся вместе, уничтожила самоё себя. Пирамида сползла в лужу; грозные обвинения рассыпались в труху.

Он победил. Это были «Наши плюралисты»*.

...Азиатское путешествие, задуманное два года назад как перерыв между Узлами и намеченное к осуществлению после очередных глав «Зёрнышка», потребовало серьёзной подготовки. На это ушло полтора месяца в августе — сентябре 1982 года, после чего стало понятно, что просто прогулкой, разминкой («перерыв в работе располагает ввести в жизнь и что-то непредвиденное, незнаемое, новую полосу зрения») это путешествие не будет. Ни в Японии, ни в Корее не удастся избежать острых вопросов, не говоря уже про Тайвань, опорную точку политической страсти А. И., «наш несостоявшийся врангелевский Крым».

Поездка (А. И. со смаком, самоиронией и во многих этнографических подробностях опишет её в новой порции «Зёрнышка») продлилась тоже полтора месяца. 15 сентября 1982 года с переводчиком Хироси Кимура они вылетели в Японию, и две недели А. И. ездил по непарадной части страны; вникал в специфику гостиничного быта с переменой тапочек у каждой двери, дивился экзотике миниатюрных садов и парков; созерцал чайные церемонии в чайных домиках с немолодыми гейшами и юными майко; наблюдал ловлю жемчуга на жемчужных островах (одно из самых острых впечатлений красоты); с трудом преодолевал запах и вкус японской кухни; осматривал храмы и заповедники, замки и музеи, самые мелкие городки и ремесленные лавки. «Я ехал в страну с надеждой, что мне будет внятен японский характер: его самоограничение, трудолюбие, способность глубокой разработки в малом объёме. Но странно: в Японии я испытал непреодолимую отдалённость».

Уже в Токио, после интервью, бесед и выступлений, когда казалось, что всё сказанное о коммунистическом Китае,

---

* «С увлечением работаю над дискуссией с Тараканьей Ратью, — отметил А. И. в дневнике 31 мая 1982 года. — Какие бывают приёмы дискуссии? Просто выписывать все их утверждения, хоть самые фальшивые, — они начнут забирать поле боя. Опровергать тут же каждое — утомит, раздражит читателя. А — опровергать только в важных местах. И ещё кое-где сочетать так, чтоб они сами друг друга опровергали».

ценностях неоконсерватизма, об освобождении народов от коммунизма изнутри, о путях развития современной цивилизации, оставляет не слишком заметный след, он почувствовал, что устал, и его планы на Азию покачнулись. Ехать в Сеул (где от него ждали серьёзных политических заявлений), а потом ещё в Сингапур, Таиланд, Индонезию — невозможно. «Не могу я быть частным путешественником для удовольствия — пропущено, положение связывает меня». Решился ещё только на Тайвань. Четырёхдневное путешествие в сопровождении нескольких десятков корреспондентских автомобилей, обилие экзотических впечатлений, выступление в Тайбэе перед чуткой двухтысячной аудиторией об особенной судьбе острова (местные газеты назовут речь «Свободному Китаю» событием, а сам приезд русского писателя — эпохой) завершились 25 октября специальным заявлением, в котором путешественник благодарил гостеприимный Тайвань, решающее место, где проверяется стойкость всего свободного мира.

Но и это своё путешествие, да ещё со специальной подготовкой, он назовёт потерянным временем, слишком роскошной тратой сравнительно с предстоящими писательскими задачами. «С бодростью я ехал в дальневосточную поездку, но с каким же наслаждением вернулся домой: вот оно, моё истое место, теперь опять годами не сдвинусь! Хватайся опять за “Красное Колесо”! — вот оно, счастье: работа».

«Сегодня возвращаюсь к “Марту”, — записал А. И. в дневнике 14 ноября. — Удивительно приятное чувство — как вход в родной, родной дом. И — как будто высоту набираешь, умнеешь — после публицистики, текущей политики и прочего».

И ещё через четыре месяца: «*8 марта 1983.* Сегодня кончаю четырнадцатый год сплошной работы над “Колесом”. Ну, не сплошной, — набрался год отвлечений (“Телёнок”, речи). И только сейчас! — подбираюсь к 4-му узлу, ещё с 3-м не рассчитавшись вполне. О, много ещё жизни надо!»

Глава четвёртая
МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ СИЛАМИ. ПЕРЕМОЛОТ

Весной 1983 года, спустя семь месяцев после дальневосточного путешествия, наполненных интенсивной работой над третьей редакцией «Марта» и разгоном к «Апрелю», Солженицыну предстояло ехать в Англию. Там его ждала награда — Темплтоновская премия, крупнейший в

мире приз за прогресс в исследованиях духовности («Templeton Prize for Progress Toward Research or Discoveries about Spiritual Realities»). Присланная брошюра поясняла, что премия — религиозная, присуждается людям, «имеющим особые заслуги в укреплении духа перед лицом нравственного кризиса в мире». Согласно замыслу учредителя, американского миллиардера-протестанта Джона Темплтона, принявшего британское подданство (спустя четыре года королева Елизавета II присвоит ему рыцарский титул), живущего в Нассау, на Багамах, денежный эквивалент премии должен всегда быть больше, чем у Нобелевской. Начиная с 1972 года премия вручалась ежегодно, среди десяти лауреатов значилась мать Тереза, но впервые награды удостаивался кандидат православного вероисповедания. Премиальная формула не могла не вдохновлять: слово Солженицына «доказывает жизненность православной духовной традиции в России» (материалом послужили «Архипелаг ГУЛАГ» и «Молитва»).

«Как же не использовать момент, сказать на весь мир о своих?»

Он сразу вспомнил Воронянскую: «Поразился я непредвиденным путям. Ведь уже который раз печатают эту Молитву, ссылаются на неё, впечатлены ею, — а ведь я её в мир не выпускал — это сделала Елизавета Денисовна, самовольно. И я её как бранил за то! Так же самовольно, как и дохранила "Архипелаг" до гебистов, и выпустила "Архипелаг" в мир. И за оба самовольства я должен только благодарить покойницу. Была она — орудием Божьим» (так и прежде А. И. писал: «К этой книге от первого же знакомства с ней в те дни (и до смерти) Кью относилась завороженно, с поклонением и ужасом, — как чувствовала свою с ней роковую связь»).

Премиальная церемония предполагала ответную речь. Все годы, скажет А. И. в «Зёрнышке», он интуитивно избегал прямо говорить о вере; «и нескромно, и оскорбляет чуткий слух: негоже декларировать веру, но дать ей литься беззвучно и неопровержимо». Тоже и теперь: слово при получении премии в Букингемском дворце и сама Темплтоновская лекция не были ни нескромны, ни декларативны. Он дорожил тем особенным соотношением, которое звучало без надрыва и перебора: сцепление веры христианина с тоном, приемлемым для современности, — «тот верный, естественный звук, которым только и допустимо не-священнику призвать, повлечь потерявшееся общество к вере». А. И. решил выступить как защитник веры и православия в век их жестоких гонений, как свидетель бесчинств коммунистической власти. Сказать о духовном помрачении евро-

пейской цивилизации, утерявшей сознание высшей силы, об однобоком петровском просвещении, о ветре секуляризма, пропитавшем образованные слои России и открывшем путь марксизму. Русская революция, как и предупреждал Достоевский, началась с атеизма, но такого агрессивного и мстительного безбожия, как в марксизме-ленинизме, мир не знал прежде. «Воинствующий атеизм — это не деталь, не периферия, не побочное следствие коммунистической политики, но главный винт её». Почувствовать тёплую руку Творца, дающего всему земному энергию бытия, вернуться под Его покровительство, которое беспечно и самонадеянно было отвергнуто людьми, возомнившими себя свободными от Божьего промысла — только так можно понять ошибки несчастного XX века и удержаться на оползне во время смерча, которым охвачена вся Земля.

...Попечением Темплтоновского фонда они с Алей летели в Лондон на сверхскоростном «конкорде» и, согласно срокам церемонии, попали в столицу Великобритании как раз под православную Пасху, 8 мая. Всё пасхальное воскресенье после заутрени плотно готовились к намеченным в Лондоне встречам с издателями и переводчиками. Премиальная программа начиналась 9-го приёмом, который сэр Темплтон устраивал в вестибюле палаты лордов для многочисленных гостей, съехавшихся из разных концов света. Вечером, на ужине у архиепископа Кентерберийского, А. И. просил заступничества за арестованного месяц назад распорядителя Русского Общественного Фонда С. Ходоровича, над которым нависла опасность обвинения в измене родине (ещё в марте «Литературная газета» объявила, что деятельность Ходоровича и тех, кто с ним работает, подпадает под эту статью).

На другой день, в Светлый вторник, герцог Эдинбургский принц Филипп, супруг королевы, вручал в Букингемском дворце почётные знаки премии, а вечером в старинном Гилдхолле, доме приёмов (на торжество приехали и парижские издатели Солженицына), А. И. прочитал лекцию. Опубликованная на следующий день в «Таймс», она вызвала острую дискуссию. Одни отрицали, что всё зло происходит от утраты веры в Бога, а безбожие ведёт к гонениям, ибо все раздоры и преследования в истории шли не от атеизма, а от религий. Другие утверждали, что оппоненты Солженицына «своими гуманистическими псалмами» как раз и доказывают тезис, что «люди забыли Бога», в то время как истинная праведность вытекает из индивидуальной веры, а не из социального единодушия или экономического преуспеяния.

Лондонская программа включала общение с премьером Маргарет Тэтчер — к ней А. И. относился с искренней симпатией и восхищением. Час плотного разговора на Даунинг-стрит, 10, под искусный перевод И. А. Иловайской, специально приехавшей из Парижа, символически начался с вопроса Тэтчер об Андропове, занявшем кремлевский престол сразу после смерти Брежнева, в ноябре 1982-го. Что́ мог сказать А. И. о бывшем секретаре Ярославского обкома комсомола, получившем орден Красного Знамени по докладной записке Берии за вклад в строительство Волгостроя НКВД? О после в Венгрии, в октябре 1956-го призвавшем советские войска раздавить танками восставший Будапешт? О человеке, 15 лет (дольше всех своих предшественников) возглавлявшем КГБ и создавшем Пятое управление для слежки за «политически незрелыми советскими гражданами из числа интеллигенции», откуда выделился специальный отдел по работе с наиболее видными диссидентами?

«Предсказуемая личность, без каких-то высоких или оригинальных идей, всего лишь убогое повторение сталинского закручивания», — комментировал А. И. «сталинский металл» Андропова (так назвали соотечественники жёсткую, но бессмысленную борьбу нового генсека за дисциплину на производстве). Через год, когда Андропова не станет, а Тэтчер пошлёт в Москву телеграмму: «Разделяем скорбь всего вашего народа», А. И. задумается — это всего только дипломатический жест или желание западного лидера видеть в Кремле вождя с умом и сердцем?

До запланированной встречи с принцем Чарльзом и леди Дианой оставалось четыре дня, и Солженицыны успели побывать в Шотландии: заехали на оленью ферму дружественного лорда Пирсона, увидели роковой Бирнамский лес (полоса которого изогнута, будто готовый к движению войсковой строй), побродили по Эдинбургу, осмотрели королевский Холирудский дворец. Маленькие шотландские каникулы сменились лондонскими выступлениями А. И.: речь перед старшеклассниками Итона, интервью для «Таймс» и Би-би-си дополняли, развивали идеи Темплтоновской лекции.

В Кенсингтонском дворце, где состоялся обед с наследником престола и его юной супругой, А. И. говорил то же, что и в беседе с Тэтчер — убеждал принца не настраиваться против *русских* как таковых и не воевать с ними, решительно осудить британскую выдачу русских Сталину в 1945-м. Солженицыны ощутят затравленность молодой четы беспощадной прессой и щемящее одиночество супругов, испытают сочувствие к ним и к мрачно-туманному будущему анг-

лийского трона. «Мы с женой вынесли очень сердечное ощущение от встречи с Вами и душевно тронуты Вашей судьбой. Хочу надеяться, что самые мрачные из моих предположений в беседе с Вами не сбудутся», — напишет А. И. его высочеству уже из Вермонта. Самые мрачные предположения относительно союза Чарльза и прекрасной принцессы трагически сбудутся спустя 14 лет...

Тот же «конкорд» 18 мая перенёс Солженицыных на американский континент. И снова вынужден будет убедиться А. И., что всё самое существенное из сказанного им в Англии американская пресса извратит или потеряет. Урок первый: никогда не давать пресс-конференций. Урок второй: прессу раздражает *каждое* его выступление, массмедиа хочет, чтобы он замолчал. «Но ведь этого самого хочу и я. Ладно, кончили! Теперь — никому, никуда, ничего — ни слова!.. Напряжённое стремление моё было: совсем бы вот замолчать сейчас! совсем замолчать! И сразу — хватит!»

И всё равно пришлось уступить. В связи с предстоящим выходом переводного «Августа» в конце октября 1983-го в Вермонт приехало французское телевидение: 16 человек во главе с ведущим популярной передачи «Apostrophes» Бернаром Пиво, и Солженицын впервые впустил телеобъективы в свой стрельчатый кабинет. Помимо «Красного Колеса» пришлось говорить и о «Наших плюралистах», которые летом вышли во Франции (в ответ Синявский объявил, что отныне между ним и Солженицыным наступает «открытая гражданская война»), и об отношениях с американскими интеллектуалами («я им ни по душе, ни по нраву не подхожу»), и о судьбе коммунистического режима (освобождение России не может прийти никак иначе, как изнутри), и о физическом ощущении Бога. «Вам известно, кто такой Александр Солженицын? — писала «Фигаро» на следующий день после выхода передачи (12 декабря 1983-го). — Величайший, пожалуй, писатель со времён Достоевского. И вчера, с гениальной простотой, он рассказал о себе и своём... Это было настоящее вторжение духа. Говорил поэт. Спокойно, сильно. Это было — как молния среди туч».

...Тем декабрём Солженицыну исполнилось шестьдесят пять. Вот уже год он замечал, как на лестнице задыхается, что-то сжимает грудь. Оказалось — стенокардия, гипертония. Прекратил нырять в пруд с головой, не замахивался на непомерные задачи. «Уже не на звенящих канатах держится жизнь...» Пришлось изменить и режим работы в прудовом домике: невозможно было более переносить туда все материалы по «Апрелю» и не имело смысла брать с собой только

их часть. Теперь он ходил туда налегке, и по первому дождю уходил. «Сейчас, после 65 лет, — писал он в дневнике, — когда мысли о смерти подходят всё ж тесней, придумал: это — и правильная у меня находка. После 65 лет я могу разрешить себе, но и должен так сделать: на три летних месяца впервые в жизни добровольно прерывать работу над романом — и готовить на всякий случай те вещи, которые я ещё обязан сделать до смерти. А 9 месяцев гнать "Р-17". Так — снимется мучительный вопрос очерёдности работ. А заодно — и какая-то форма отдыха впервые появится».

С 1984 года, полагал А. И., маховик лет должен замедлиться. Он упорно отклонял одно приглашение за другим (их были десятки), объясняя, что прекращает политические выступления, потому что прежние не достигли цели. Теперь уже и поездка на Дальний Восток казалась ошибочной — потрачено три месяца, а что достигнуто? Может быть, и Темплтоновскую речь не стоило произносить? «Замолчать ещё и потому правильно было, что я Западу не судья: и не изучал его с полным вниманием, и не много досматривал своими глазами. Мои сужденья о Западе потому, конечно, встречают и веские возражения. Да мне и не требуется непременно убедить сегодняшний Запад».

А на Западе бурно отмечали «год Оруэлла»; университеты приглашали принять почётную докторскую степень, колледжи просили произнести речь «как в Итоне», газеты хотели интервью и статей, а ещё были комитеты, конференции, семинары. «Но ничего этого я уже не мог. Одно единственное принятое приглашение — потянет новое и разрушит весь выдержанный ряд». Зато, скажет А. И., захотелось взяться за художественную критику, вернуться в рамки литературы. «Изгаженьем ощущал я "Прогулки с Пушкиным" Синявского — а с годами, смотрю, никто достойно ему не ответит. Работа неблагодарная, и времени отняла досадно. Но благодетельно было в ходе её перечитать, окунуться снова в Пушкина, ещё по-новому вникнуть в него». А ещё отозваться на «Андрея Рублёва», и двигать ИНРИ, и перечитать ради донских глав «Колеса» «Поднятую целину» (так родилась статья «По донскому разбору» об авторстве «Тихого Дона» глазами читателя «Поднятой целины»).

Аля видела: «Писать для него — единственно естественная форма жизни. Всякая иная работа, как бы ни была объяснима, оправданна, — не даёт ему счастья и покоя». Ожидаемая от неё помощь была по-прежнему огромна и живительна; её дневники запечатлели градус и качество сотрудничества и в «год Оруэлла» тоже. «*1984. 15 августа.*

Кончила читать "Март", все 4 тома. Пролистала все свои записи, 2 общих тетради. Передала Сане — все его рукописи и свои записи. Говорили о "Марте" 3 часа... Принял серьёзно, но как уложится в нём дальше — не знаю. У меня — ощущение торжественного покоя: сделано нечто большое, с отдачей, — и возвращено в хозяйские руки. Спокойно, хорошо на душе... *21 августа.* Саня прочитал мои записи по 2-му тому. Хвалил меткость и тонкость, — в таких всё словах и так сиял, что на весь долгий вечер затопил меня счастьем... *24 августа.* Несколько дней обдумывала линию глав, порученных Саней на передумку-переделку... Очень напряжённая, почти мучительная, но и какая богатая, радостная работа!.. *11 сентября.* Саня по нескольку раз в день приходит к моему столу, весь — любовь и сияние. Счастливые мы... *8 октября.* Когда Саня доволен, как я работаю, и всем вообще нашим совместным — мне так легко делать любую работу и в любых количествах. Счастье...»

В марте 1984-го в Пять Ручьёв позвонил о. Виктор Потапов, настоятель собора Иоанна Предтечи в Вашингтоне: в США находится писатель Солоухин, хочет повидаться. С первого дня изгнания это был для Солженицыных первый случай (не считая Столяровой, гостившей в Вермонте весной 1977-го), когда бы к ним приехал человек с родины, с советским паспортом. «Встретились мы тепло, — писал А. И., — сознавая себя писателями общей литературы». Спустя десять лет на страницах «ЛГ» (она радикально изменится к тому моменту) Солоухин вспомнит о своём тайном (от членов советской делегации, участников русско-американского «круглого стола») визите в «Вермонтскую крепость», о которой говорили, будто она нашпигована электронными замками. На деле, убеждался Солоухин, всё оказалось совсем не так: он сам открыл сетчатые ворота и въехал в мартовский лес, где обнаружил жилой двухэтажный деревянный дом, вспомогательные постройки и Иртыша — огромную белоснежную ласковую собаку, у которой через минуту уже чесал за ухом. Солоухину запомнится точная дата визита — 22 марта: раньше по всей России в этот день («Сорок мучеников») пекли из теста «жаворонков». Напекла их и Аля, Наталья Дмитриевна, убедившая гостя взять с собой десяток «птичек» для коллег. Запомнился и русский ужин: грибной суп, картофельные оладьи под водочку, застольные разговоры, и — как читал своего «Ястреба» — стихи о птице, поставленной «вне закона» и подлежащей уничтожению. «Я вне закона, ястреб гордый, / Вверху кружу. / На ваши поднятые морды / Я вниз гляжу... / Меня поставив вне закона, / Вы не

учли: / Сильнее вашего закона / Закон Земли». «А это ведь про меня», — сказал А. И.

1984 год принес немало печального. Узналось, что ещё в 1976-м умерла Е. А. Зубова, а в 1980-м и Николай Иванович. Потерь вообще было много: в 1981-м не стало Угримова, ещё одного друга и соратника. В конце августа скончалась бесценная *Ева* — Н. И. Столярова. Болезнь скрутила её за неделю, перед смертью она ещё успела передать для *вермонтцев*, что тучи сгущаются. Друзья вовремя успели забрать из её квартиры всё, связанное с работой Фонда. С 1975 года до своего последнего дня она осуществляла конспиративные операции, на ней держался тайный почтовый канал «Вермонт—Москва». А. И. скажет в «Телёнке»: «Вряд ли без её смелости и находчивости могли бы наладить такую полнокровную артерию... ГБ изо всех сил следило за ней — а всё никак не поймало...» Она ушла от них — ускользнула неуловимо, и только «с поздним оскалом лязгали о ней в газетах». «Смерть Натальи Ивановны значит слишком много для нас с Саней. Никого ближе неё у нас в России не осталось... Самая горькая и саднящая боль», — писала и Н. Д.; 3 сентября о. Андрей отслужил панихиду в домовой церкви вермонтского дома; собрав детей, Аля читала вслух главу из «Невидимок» о Столяровой и Угримове. 4-го её хоронили в Москве. «Наверное, наши все собрались, — как там ни тяжко, но они вместе, а мы — одни».

От близких друзей «по левой» с большими перерывами доходили письма, «такие важные, дорогие, нужные — воздух, смысл, серьёзность жизни», хоть от них и веяло ледяными сквозняками родины. «Сообщили, что отняли дачу Пастернака, грубо вывезли вещи (силой), при том разбив рояль (на котором Рихтер и Юдина играли траурное, по смерти Б. Л.). Каково Жене сейчас и Алёне, сколько горечи и стыда». «Получили письма от Андрея Кистяковского и Тани Ходорович. Мороз по коже, что делали с Сергеем. Мы оба подавлены, хотя и знали уже. Саня сказал: “Мы затеяли Фонд, мы и ответственны за всё, что случилось с Сергеем”» (Ходоровича в тюремной камере люто избивали, его заместителя Кистяковского таскали на допросы — и Аля вместе с Ермолаем специально ездила в Вашингтон, встречалась с конгрессменами и сенаторами, нашла поддержку, провела многолюдную пресс-конференцию). Или вот политические новости (ноябрь 1984): «Собралось Политбюро, без Воротникова и Горбачёва, “молодых реформистов”, и отменили Пленум ЦК, назначенный на конец ноября (на нём ожидалась борьба за реформы)». И ещё: «Горбачёв в Англии не

пошёл на могилу Маркса (сенсация). Он всё-таки из молодых, наверное, чует, что этот труп смердит».

После каждой вести из дома Н. Д. особенно остро ощущала, что они живут «*в нигде*». Америка и после восьми лет оставалась для них *terra incognita*. «На этом континенте, — писала она, посетив как-то музей импрессионистов в Вильямстауне, в соседнем штате, — масса замечательного и грандиозного, но нет сокровенного (или нам не открывается; может быть, надо родиться на земле, чтоб чувствовать её душу?)». Единственное место, в котором «*нигде*» ощущалось менее всего (хотя служба велась по-английски), был приход о. Андрея, воспитанника Шмемана, куда ездили Солженицыны все вермонтские годы. «Хорошо служит о. Андрей. Школа о. Александра: каждое слово должно быть понято священником, и произнесено — понятно молящимся. Ученики о. Александра к тому стремятся в меру сил... Во всём нас Бог покрывает, устраивает, защищает, — даже в многоразъединённой Америке». Самого отца Александра, увы, уже тоже не было; в середине декабря 1983-го, проболев с год, он умер, оставив после себя восемь общих тетрадей, исписанных по-русски, — тот самый *Дневник*.

Много лет спустя, вспоминая о встречах Солженицына со Шмеманом, отец Андрей сказал (2007): «Нам с женой посчастливилось быть свидетелями общения двух Александров. Оба несли в себе удивительную гармонию. В присутствии друг друга они ощущали глубину и правильность общей духовной основы, уверенность в единстве, несмотря ни на что. Их личное общение всегда было очень радостным и не просто светлым, а каким-то светящимся. Для о. Александра встреча с А. И. была, вероятно, самой значительной в его жизни. Для него дружба с живым гениальным писателем имела абсолютную ценность. Если же он находил в Солженицыне что-то, что этот абсолют нарушало, это его огорчало. С другой стороны, по словам А. И., он тоже никогда не встречал священника — богослова и проповедника, такого уровня, каким был о. Александр. И он тоже глубоко огорчался, когда Шмеман в чём-то не соответствовал высокому идеалу. На самом деле, эти двое русских людей, хотя и любили Россию каждый по-своему, были объединены этой любовью и, главное, Божьим призванием к исполнению своего дела. Поэтому когда они говорили или писали друг о друге вне контекста личного общения, у них были разногласия, но когда они встречались, то общая радость, наполняющая их, была совершенно очевидна. Тогда главный акцент был на общности их любви и одинакового понимания свободы. Так

же, как о. Александр предстоял Богу за других в своём высоком священническом служении, в своём богословском и проповедническом призвании, так и А. И., в своём призвании писателя, предстоит перед Господом за те миллионы погибших и замученных, чьим голосом он стал, чтобы явить их жизнь последующим поколениям. Мне кажется, что именно это особое Божье призвание и предстояние за других и объединило двух Александров, и позволило Шмеману восхищаться Солженицыным как великим христианским писателем».

...А подростки-солженята, ведомые родителями и отцом Андреем (при церкви открылась и действовала воскресная школа), уже вовсю «богословствовали». «Говорили, — записывала Н. Д., — о горе разделения, черте между жизнью мира и жизнью Церкви в буднях каждого из нас. Какое благословение, что мои бурные и уже входящие в возраст активного скепсиса мальчишки — так открыто и даже ожидательно приняли эту воскресную затею, — и так свободно, готовно говорят о насущном и сокровенном, не пытаясь себя приукрасить. Главная цель и есть — стереть мертвящие грани между "жизнью" и "религией", узнать ближе тех, кто рядом стоит в храме каждую Литургию, научиться говорить друг с другом, любить и видеть Христа — в другом. Это — прежде всего. Нельзя "спасаться" в вакууме. Чем же спасёшься, если и праведен, но не любишь?» О себе она писала: «Литургия уже давно стала необходимой еженедельной пищей, без которой не хватает сил, иссякает помогающая энергия, — но сейчас эта нужда и связь с буднями (кормящая) стала совсем непреложной и внутренне суровой».

Сыновья, при всей сложности характеров, несовпадении переходных возрастов и разности интересов, вырастали друзьями и помощниками родителей. Ермолай переводил для отца статьи с английского и набирал их на IBM («молодец мой мальчоночка, — писала в дневнике мать, — только что стебелёчек беленький, — а вот уже 14-летний, крепкий и надёжный дружок»). Стёпа истово печатал отцовы выписки по Далю, был круглым отличником (по результатам всеамериканского теста для шестиклассников вошел в 1% лучших по всей стране). Старательно помогал и Игнат, но был загружен больше братьев: серьёзно учился у лучших фортепианных педагогов, концертировал с оркестрами, о нём писала местная пресса, и Алю приглашали гордиться замечательным сыном. Митя, оставив инженерный факультет Бостонского университета после автоаварии, вышел на самостоятельную дорогу, пробовал себя в документальном кино, потом создал на пару с приятелем небольшую дизайнерскую фирму.

В ночь под Новый, 1985 год Н. Д. записала: «Благодарю Тебя, Господи, за все дары незаслуженные. И прошу ещё: помоги мне войти в тишину, победить празднословие, невозмутимо встречать измены и поношения, научи быть светлой». И тремя неделями раньше, в день рождения А. И.: «Саня, благодарение Богу, встречает свои 66 — в силе, здоровье и с неослабшей внутренней пружиной, и характера, и творчества». Саня той осенью как-то ей сказал: «Давай долго жить. Ещё столько надо сделать. А для того — давай друг друга беречь». В начале 1985-го он принял непростое, но окончательное решение — после «Апреля» остановить «Колесо»: десять томов «Р-17» — это предел (если не запредельно) для читателя. «Всю жизнь я видел перед собой бесконечную, громадную задачу. А решив писать “Апрель” как последний Узел, — как будто увидел впереди стену, достижимый край. Человек не создан для бескрайности. Мне легче и радостней видеть завершение».

9 февраля 1985-го исполнялось сорокалетие со дня ареста. «40 лет! Подумай!» И, как всегда, роковое для А. И. начало февраля выкинуло чёрную метку: «*нигде*» показало свои ядовитые клыки (Аля как в воду глядела, поминая на молитве «измены и поношения»). Внезапно американской прессой резко и бурно был атакован «Август» (ещё не вышедший по-английски), причём с той стороны, которая грозила Солженицыну и его семье санкциями США как государства. А. И. часто говорил жене, что никогда не молится, чтобы Господь избавил от клеветы («это — просить слишком невозможного, и в то же время не самого насущного: можно выжить под клеветой и своими силами»). За десять лет изгнания кто только и как только на него не клеветал: бывшие друзья называли его «большевиком навыворот», старые дружбы ревниво и вздорно рушились; «гроссмейстеры злоречия» из *Третьих* упражнялись в устной пропаганде: «Солженицын — раковая опухоль на русской культуре», «погиб из-за отсутствия критики» (хотя кого же ещё так жестоко били за любой шаг?); «хочет ввести единомыслие», «ненавидит интеллигенцию», «поджигатель войны», «обыкновенный черносотенец: обвиняет евреев, поляков, латышей», «недообразованный патриот», «диктатор, думает только о своей короне». Эту упорную атаку на себя со стороны «плюралистов» А. И. назвал в «Зёрнышке» *фантомным страхом за территорию*: «не ново, бесплодно, тоскливо».

Но эмигрантские предостережения о «вреде Солженицына», «страшно-ужасного вождя русского национализма, рвущегося к власти», в конце концов сошлись в едином обвине-

нии (эту карту госбезопасность продвигала на Запад ещё до высылки А. И.) — *антисемитизме*. Невольной подсказкой (линия террориста Богрова) явилась яркая статья Льва Лосева, американского профессора литературы из ленинградских эмигрантов, об «Августе» («Великолепное будущее России»): «За антисемитское прочтение его книги Солженицын несёт не больше ответственности, чем Шекспир за подобную трактовку "Венецианского купца"». Вслед за статьей Лосев сделал передачу для «Свободы» (программа «С другого берега») — но не дремала пара сверхбдительных сотрудников радио (бывшие совграждане, из *Третьих*): доложили президенту станции Джеймсу Бакли, что радио поощряет передачи с расистским и антисемитским уклоном. Запись передачи доносители предлагали отправить на суд сенаторам и конгрессменам США*.

Атака (все её этапы А. И. опишет в главах «Зёрнышка») очень скоро переключилась со «Свободы» и Лосева на Солженицына и «Август». 4 февраля залп последовал из «Вашингтон пост», влиятельнейшей газеты США: «Роман Солженицына, транслируемый "Голосом Америки", вызывает тревогу... Части "Августа Четырнадцатого" рассматриваются как прикрыто-антисемитские... Критики романа утверждают, что Солженицын считает еврейское происхождение Богрова ключом, фактически возлагая на евреев ответственность за коммунистическую революцию». Газета густо цитировала профессора истории из Гарварда Р. Пайпса, высмотревшего «скрытые антисемитские намёки» в романе. Цитировалась и статья Н. Подгореца, издателя авторитетного журнала «Комментарии»: «Хотя мы и не находим в книгах Солженицына прямого указания на положительную неприязнь к евреям, мы не находим в них и симпатии. В глубине души ему неприятно, что столько старых большевиков, творцов революции, навлекшей проклятие коммунизма на Россию, были евреями...»

Как по команде, загрохотало и полыхнуло по всей Америке. «А. И., — записывала Аля, — как всегда, от дурных вестей, лишь твёрже и бодрей. К вечеру даже помолодел на вид, ска-

* «Как нам стало известно, — говорилось в редакционном послесловии журнала «Континент» (№ 42), опубликовавшем статью Лосева, — передача, сделанная по этой статье на радио "Свобода", вызвала довольно острую полемику, инициаторы которой обвинили автора в "антисемитизме" и даже в "животном расисме". Знал бы покойный Владимир Лившиц — один из чистейших и талантливейших людей своего поколения, чуть не до голодной смерти затравленный в годы кампании против "безродных космополитов", — что придёт время, когда несколько бездарностей от журналистики, ради своих сугубо лукавых целей, обвинят его сына в юдофобии!»

зал: чувствую, что силы ещё есть и на это. Пусть пробуют». Однако вскоре выяснилось, что атака американской прессы, которую тут же подхватили и *Третьи* — ещё не вся война. «Времена наступают осадные. Вкруговую. С Нового года идёт в Москве “документальная” пакость — о Сане, Фонде, А. Д. Сахарове с женой: Саня — скупой (свидетельствует Виткевич), а потому деньги в Фонд не мог дать, это, конечно, ЦРУ. Какие-то зэки-полицаи на окраине бьют себя в грудь кулаком, что они получают деньги от Фонда, и тут же сообщают, сколько душ на их совести. Фото Симоняна, Решетовской — А. И. “всех их посадил”, чтоб сам спастись. 19 февраля этот фильм показали по московскому телевидению».

Агитационный «документальный» фильм «Заговор против Советского Союза» (впечатления о нём и записала Н. Д. в дневнике) внушал советскому зрителю: Солженицын — агент ЦРУ, Русский Общественный Фонд — структура ЦРУ, помощь политзэкам — враждебная акция на средства ЦРУ. «Две мировые силы — единовременно, сплющивая меня!! Вот это и есть: промеж двух жерновов. Смолоть до конца!» А. И. только удивлялся, как всё повторяется: опять его травят в той стране, где он живёт, и опять — за те книги, которые в этой стране никому не доступно прочесть. «И, как и советские нападчики, здешние тоже стягивают любую проблему и мысль — на позорно низкий партийный уровень, на клички, на ярлыки, вот теперь “антисемитизм”, и подыскиваются самые подлые личные обвинения».

Поражало ещё одно совпадение: здесь, в Америке, так же как в СССР, его тоже провоцировали — дескать, он должен, обязан, согнувшись под тяжестью обвинений, ответить на критику прессе. Но он молчал, пока медиаоракулы не выговорятся до точки: «Брань в боку не болит, очей не выест. Сдюжаем. Не рассчитали противники, как остойчив мой характер, я — гнаный зверь. Этот шквал я перестаивал спокойно. Период, когда тебя бранят или замалчивают, для творчества самый полезный, меньше ненужных помех. Безо всякого душевного затруднения я входил в эту полосу заплёванности, как при печатании “Ивана Денисовича”, напротив, — в полосу известности».

Солженицын ясно видел, что жернова заведены надолго и с одной целью. За минувшее десятилетие на родине успело вырасти поколение, бывшее детьми в 1974-м: книг его они не читали, имя было под запретом, и теперь, после полосы молчания, брань обещала заполнить вакуум. А «свободный мир» изумлял убогим уровнем доводов насчёт непрочитанного «Августа»: раз Богров еврей, а смерть Столыпина,

им убитого, — несчастье для России, облегчившее революцию, значит, Солженицын обвиняет в революции 1917 года евреев. «В Америке, — записывала Н. Д., — “антисемитизм” — часть политики, и на эту кнопку очень легко нажать. Всегда наготове подлецы — делать это оружием устранения неугодного человека. Что ж, наступают для нас тяжёлые времена. В дальнем плане мы этот бой выиграем, как выигрывает в конце концов правда и чистота, — но по пути может быть много грязи и боли... Если они добьются ярлыка “антисемита” для А. И. сейчас — в будущем, когда книги его будут все переведены, — это обернётся против них же: нельзя заставить всех людей читать *их* безумными глазами, читатели увидят, что и близко нет антисемитизма, а — требуют цензурировать историю... Когда революция была благом и “зарей с Востока” — участие евреев в революции не замалчивалось, а напротив, горделиво отмечалось. Когда революция обернулась ГУЛАГом и стала “зверством” по последствиям, упоминать об участии евреев — стало “антисемитизмом”».

Она душевно радовалась, когда видела справедливое отношение к А. И. в связи с позорной «кнопкой». Вот узнала, как после поэтического вечера И. Бродский вместе с С. Довлатовым и ещё несколькими эмигрантами и издателями-американцами зашёл в ресторан. «Дяди спрашивают: как понимать весь этот шум вокруг антисемитизма Солженицына, историю с Лосевым? Довлатов: “Я ‘Августа’ не читал, судить не могу” (уж это слава Богу). А Бродский резко возмутился: чушь, бред и стыд — обвинять А. И. в антисемитизме (Я рада, что не отмалчивается, хотя бы на вопрос в упор)». «Аля, — писал А. И. в «Зёрнышке», — переживала эту безотбойную атаку на нас — остро. В отличие от меня — она чувствовала себя реальной жительницей этой страны, где ей приходилось общаться, сноситься, делать дела общественные и личные, организовывать разные виды защиты распорядителей нашего Фонда в СССР. И ещё больнее: наши дети жили в этой стране как в своей реальной, пока единственной — и сколько лет ещё им тут предстояло, и вся эта брань не могла не стеснить их, озадачить».

Американские медиа были раскалены: «Растет влияние *лагеря* Солженицына» («только самого *лагеря* нет», — замечал А. И.); «Банда Солженицына в фаворе у Рейгана», а «демократические группы испытывают недостаток средств»; «Солженицын считает себя некоронованным главой России»; «Растёт антипатия американцев к Солженицыну — пусть едет в Европу». А главное: сенат США начинает *расследование*; Конгресс *задумывается*.

В конце марта 1985 года Комитет по иностранным делам сената США созвал слушания: каким образом радио «Свобода», загипнотизированное Солженицыным, умудрилось использовать американские деньги в пропаганде враждебных Америке взглядов? Чиновники станции оправдывались: как же не допускать Солженицына на передачи, если с него начинаются новости Би-би-си, а его слова печатаются на первых страницах ведущих американских газет? Как не цитировать писателя, критикующего Америку и Запад, если половина политических деятелей США вслед за ним (и безотносительно к нему) тоже критикует западные демократии? Если мы хотим достойно вести дело, надо дословно цитировать человека такого масштаба, как Солженицын. И ещё: «Если бы президент Рейган был комментатором у нас в эфире, он бы очень часто нарушал наш устав».

Слушания захлебнулись в ходе первого же дня. Сенаторы не смогли вынести компетентного суждения о нечитанном романе, ориентируясь на донос заинтересованных лиц. Комиссия почувствовала себя неловко — «дела» не оказалось, всё было вздуто и вспенено пристрастными доносителями. Теперь и «Вашингтон пост» признала, что передача на «Свободе» получилась не то чтобы антисемитская (быть может, она была даже исторически верной), но такая, какую иные особо возбудимые и мнительные советские слушатели-евреи *могут* счесть антисемитской. Потому — надо усилить контроль, надзор ещё *до* выхода радиопрограмм в эфир.

«Да здравствует Предварительная Цензура в Соединённых Штатах!» — едко восклицал А. И. в «Зёрнышке». Тем летом А. И. часто говорил жене, что они — только в начале «тяжёлых времен»: его начнут поносить громче и шире, обложат всё небо, — и возможно, этот лай будет возрастать до его смерти, а Узлы победят лишь в будущем веке. Запад не сможет вынести появления у себя такого крупного историко-литературного и морального явления, как «Колесо», и в Россию Узлы попадут ещё совсем нескоро. «Ну что ж — пожили в славе, поживём и в поношении, для души полезно».

И вот уже критик Ричард Гренье брался подготовить для «Нью-Йорк таймс» материал и сообщал, что газета намерена опросить двадцать экспертов и составить балансовый отчёт: есть ли в «Августе» антисемитизм. Сам он, прочитав книгу по-французски, антисемитизма не нашёл и потому приглашал Солженицына высказаться, чтобы прекратить дебаты. Чуть позже он напишет А. И.: «Обвинения в антисемитизме, как Вы должны понимать, исключительно опасны в этой стране. В Соединённых Штатах есть люди, которые

изо всех сил стараются разрушить Вашу репутацию, и они не будут ждать выхода книги по-английски».

В частном письме к Гренье Солженицын ответил, что считает невозможным для писателя выступать адвокатом собственных произведений, к тому же прежде их публикации. «Что касается ярлыка "антисемитизма", то это слово, как и другие ярлыки, от необдуманного употребления потеряло точный смысл, и отдельные публицисты и в разные десятилетия понимают под ним разное. Если под этим понимается пристрастное и несправедливое отношение к еврейской нации в целом — то уверенно скажу: "антисемитизма" не только нет и не может быть в моих произведениях, но и ни в какой книге, достойной звания художественной. Подходить к художественному произведению с меркой "антисемитизм" или "не-антисемитизм" есть пошлость, недоразвитие до понимания природы художественного произведения. С такой меркой можно объявить "антисемитом" Шекспира и зачеркнуть его творчество. Однако кажется, "антисемитизмом" начинают произвольно обозначать даже упоминание, что в дореволюционной России существовал и остро стоял еврейский вопрос. Но об этом в то время писали сотни авторов, в том числе и евреев, тогда именно неупоминание еврейского вопроса считалось проявлением антисемитизма — и недостойно было бы сейчас историку того времени делать вид, что этого вопроса не было».

Опять приходило на ум тягостное сравнение — СССР и США. «Просто можно ошеломиться, — писал А. И. в дневнике «Колеса», — как в великой демократической державе повторяются все приёмы тоталитарного СССР: газеты поносят книгу (да всё тот же "Август"!), которая ещё не напечатана, никому не доступна, никто прочесть не может, и лепят на неё политические ярлыки. Даже тут ещё глупей: специальное заседание комиссии Конгресса! — обсуждать якобы "антисемитизм радиостанции Свобода" — а по сути: не антисемитичен ли "Август"! Там — хоть не собирали Верховного Совета. А когда ещё он появится по-английски! И "Нью-Йорк таймс" хочет втянуть меня в защитное интервью: нет, поверьте, он не антисемитичен! Несчастный Столыпин! Смерть его сопровождал торжествующий хор радикалов и ревдемократов при ехидном довольстве правых. Но и через 75 лет запретно написать правду о его смерти. Убивать можно было, а писать об этом не смейте!»

Солженицын призывал изучать историю, подчиняясь требованию истины, а не оглядываясь на конъюнктуру. «Я развёртываю "Красное Колесо" — трагическую историю,

как русские в безумии сами разрушили своё прошлое и своё будущее, а мне швыряют в лицо низкое обвинение в “антисемитизме”, используя его как дубину, низменно подставляют цепь ложных аргументов».

Гренье, обещая широко цитировать письмо, всё же настаивал на личной встрече, добиваясь интервью, устного высказывания — тогда материал поставят на первую полосу, все прочтут, реабилитация состоится, страсти улягутся: так устроено американское общество, так работает американская пресса. Настаивала и Аля (А. И. считал, что в этот редкий случай ей отказала долгосрочная выдержка): надо отвечать, идти в бой, атаковать. Но ему была непереносима мысль, что он, будто испугавшись, поддастся истерике. «Не хочу принимать “Нью-Йорк таймс” в арбитры. Хотят привести меня к присяге — да ни за что! При первой травле стать перед ними в позу оправдания? — да было бы несмываемое пятно, позорный сгиб. Ни за что». Он отвечал Гренье: «Я вполне сознаю, насколько могут вредить обвинения в антисемитизме в этой стране, и даже допускаю, что мои враги будут сейчас иметь в американской прессе полный и быстрый успех, — но это не касается масштабов истории и масштабов литературы. Выступить в газете непосредственно, чтоб отражать низкие, искусственно созданные обвинения, — я считаю для себя невозможным».

Только в ноябре 1985-го «Нью-Йорк таймс» напечатала «балансовую» статью Гренье — далеко не на первой странице, в сокращённом виде, с фотографиями «сторон», однако перевес мнений оказался всё же в пользу Солженицына. Было признано, что хотя «Архипелаг» небеспристрастен к соотношению евреев и неевреев, а автор «неосознанно нечувствителен к страданиям евреев», но что антисемитизм его не кровный, не расовый, а на основе религии и культуры — и этим он похож на Достоевского. Умеренная позиция Главной газеты (Оракула) утихомирила самых неистовых ругателей; вермонтские СМИ перепечатали статью с заголовком «Солженицын отрицает обвинения в антисемитизме», и местные жители (а также одноклассники сыновей) впервые узнали о буре, бушевавшей вокруг соседей из России. Но ещё долго доносилось злостное разноголосое эхо — те, кто уверяет, что Солженицын *не антисемит*, или крестоносцы, или выкресты, или лизоблюды, или подкупленные...

Солженицын ни разу не пожалел и, конечно, не раскаялся, что устоял перед Оракулом, не присягнул всесильным американским медиа. Впрочем, ещё раньше, летом 1985-го, он отказался присягнуть и самой Америке. Готовы ли вы с

оружием в руках защищать Соединённые Штаты? Носить оружие в интересах Соединённых Штатов безо всякой мысленной отговорки? Такие пункты стояли в тексте присяги и в анкете на получение гражданства. Взрослые обитатели Пяти Ручьёв уже давно имели на него право; американский паспорт был лучшим средством передвижения — до сих пор каждое обращение Али за визой в любое из европейских консульств (поездки по делам Фонда) мгновенно становилось известно всем заинтересованным службам, как и дата выезда, как и пункт назначения. Но Солженицын ни при каких обстоятельствах не был готов с оружием в руках защищать США, то есть фактически воевать против родной страны, и уговорить себя себе — не дал. «Дерёт». «Не по себе». «Заноза». «Клятва — глупому смешна, а умному страшна». «Очень я отяготился. В тупик и мрак врюхался зачем-то сам. Самоубойно». И уже пройдя собеседование в иммиграционной службе Вермонта, просто не явился на процедуру, когда уже был точно назначен день и час, и толпы корреспондентов съехались смотреть, как русский упрямец поднимет руку, клянясь Америке в гражданской верности.

«Сегодня я еду принимать американское гражданство, — записала Н. Д. 24 июня 1985 года, — с таким тяжёлым сердцем, с такой тоской, что и дышать не могу». Она вынесла процедуру одна, без мужа, стояла как на заклании, с потемневшим лицом, и ещё должна была отвечать журналистам, когда её примеру последует муж. Три дня спустя записала: «Со вторника по пятницу выключала телефон; не могу слышать ничьих голосов; все поздравляли бы с гражданством, а меня оно душит: ненужностью, ошибкой — и только спасает, что это была необходимая жертва за Саню, чтобы вылезти из дурацкого нашего хомута. Ах, беда».

Вскоре окажется, что Европа, особенно Франция, ревниво следит за событиями: неужели Солженицын и в самом деле взял американское гражданство? «Эта новость сжимает сердце... Этот человек-гора наконец последовал реальному пути как Гулливер в Лиллипутах» (то есть признал Америку убежищем и хочет обеспечить будущее своих сыновей). Старая русская эмиграция, почитавшая иностранное гражданство за оскорбление, недоумевала, не хотела верить... Но постепенно всё прояснилось; газеты сообщили, что — *не взял, не принял, не торопится принять.* А он чувствовал освобождение: вовремя сумел исправить ошибку и не присягнул Америке. «Шатко. Русская почва мне ещё долго не может открыться, и до смерти, а американскую — не могу ощутить своей. Без твёрдой земли под ногами, без зри-

мых союзников. Между двумя Мировыми Силами, в перемолот. Тоскливо».

Казалось, в СССР не только ничего не меняется к лучшему, но всё безнадёжно отягчается. А. И. вспоминал в «Зёрнышке»: «Новым горбачёвским министром иностранных дел стал главный грузинский гебист Шеварднадзе. Всё с тем же оголтелым безумством готовили поворот северных рек — и, казалось, нет сил остановить большевиков и на этом последнем пределе России. Как раз тогда арестовали и осудили на 6+5 Льва Тимофеева, ещё одного отчаянного переходчика из правящей касты в гибнущий стан. Режим в лагерях сатанел. На полгода кинули в одиночку Ирину Ратушинскую». Власть не смогла перенести книг Тимофеева о советской экономике («Технология чёрного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Последняя надежда выжить»), тем более она не могла выносить факт существования Русского Общественного Фонда, ситуация с которым ожесточалась от месяца к месяцу. Все попытки спасти Ходоровича были тщетны. Не помогали ни выступления Н. Д., ни помощь западных журналистов. В 1985-м больного, с туберкулезом, Ходоровича кидали в ШИЗО, сажали в камеру к бандитам-уголовникам. В апреле 1986-го ему по «андроповской» статье (продление заключения без нового суда) в заполярном Норильске дали второй срок. Незадолго до этого в Москве засекли В. Славуцкую в момент передачи 30 тысяч рублей для Фонда. Ей грозил арест, в её адрес (и в адрес покойной Столяровой) сыпалась ругань «Советской России». Деятельность Фонда в СССР вынужденно была приостановлена; против него открыли следственное дело.

А потом грянул апокалипсический Чернобыль, и Солженицын вознегодует, узнав о воровском молчании вождей, увидев страшные и пронзительные кадры народного гулянья в первомайскую демонстрацию на заражённом Крещатике, в радиоактивном воздухе. «Всё казалось безнадёжно, как всегда, от ленинских времён». Друзья писали о мертвящей духоте, о жизни без воздуха, о новом поколении начальников, которые спешно и прочно заштопывают дыры в железном занавесе, об убийственной деградации труда, об общем духовном разврате. О том, что в этом безысходно мрачном политическом пейзаже намечается некий просвет, открываются какие-то клапаны, не было видно ничего — и тем более из Вермонта.

Первые смутные новости — дескать, в советских газетах печатаются «вольные» статьи об экономике — вызывали недоверие. Доходили неясные слухи о послаблениях в культуре. Артисты «Таганки» будто бы обратились к Горбачёву,

чтобы в страну и в театр вернули Юрия Любимова. Все гадали, сколько ещё продержится новый лидер, ведь врагов перемен — легион. Но тут одиозный «Огонёк», при его огромном тираже, стал печатать запрещённых или замалчиваемых прежде авторов. Этого и вообразить было нельзя. «Если Горбачёв и дальше будет играть в Гумилёва, уберут его, и баста. Но до тех пор пойдут в рост посеянные хоть и в короткую оттепель зёрна, потом властям будет хлопот», — писала Н. Д.

А летом 1986-го (прошло полтора горбачёвских года) случилось совсем невероятное: разнёсся слух, что поворота северных рек не будет! «Сердце скачет! Нельзя не надеяться!» Потом, в июле, был съезд писателей, где вспыхнул реальный бунт: зал не давал говорить Чаковскому, требовал «демократии в действии» — «давайте голосовать писательскими билетами за то, чтобы вернуть дачу Пастернака под музей». А. И. надеялся, что это не сверху запланированная фронда, и говорил жене: «Мы вернёмся, вот увидишь, всё перевернётся в нашей жизни». «Саня говорит, — записывала Н. Д., — что за всю советскую историю первый раз чего-то добилась общественность: отменили-таки, проклятые, поворот северных рек вспять. Хочется, так хочется верить, что эта вторая на нашем веку оттепель не будет так же легко заморожена, приведёт к чему-то заново создаваемому, а не лапоть вправо, лапоть влево. Но верить — почти нет оснований. Если разумом высчитывать».

Тем временем газета гласности «Московские новости» (за ней с рассвета выстраивалась очередь) выходила с лозунгом «Перестройка — это та же революция». Откуда ни возьмись на поверхность общественной жизни выплыли «неформалы» — люди, мобилизованные и призванные перестройкой. Они учились писать статьи и воззвания, учреждали демократические общества, участвовали в «круглых столах», пытаясь понять суть происходящего и угадать, «что будет, если и эта перестройка погибнет». Набирала обороты «народная дипломатия»; советские делегации, кочевавшие по миру, объясняли, что СССР — более не империя зла: «нас не надо бояться», «мы такие же, как и вы», «армия нам не нужна». «Народные дипломаты» Запада слушали всё это с энтузиазмом, хотели верить изъявлениям дружбы, особенно если они звучали из уст нечиновных собеседников из-за железного занавеса. Советские делегации существенно и спешно меняли свой облик, включая, помимо официоза, людей свежих, незапятнанных партийным стажем и высокими должностями («социализм с человеческим лицом» подразумевал квоту для соответствующих делегатов).

К концу лета до Пяти Ручьёв дошла (долетела) самиздатская запись встречи Горбачёва с тридцатью доверенными писателями. Генсек призывал мастеров пера поддержать его против внутренних врагов. «Посочувствовал я ему в первый раз», — напишет А. И. в «Зёрнышке»; чтение весьма взволновало его, и он даже составил конспект впечатлений. Получалось так: Горбачёв искренне хочет перемен. Всерьёз опасается «среднего эшелона». Правильно понимает сроки перестройки — она займёт не одно поколение. Действует коротким рычагом (но так многого не повернёт, придётся вскоре перейти на длинный, либо его свалят). Если и свалят, старое назад не вернётся — некуда, жизнь опять выбьется на ту же дорогу. Именно этим путем будет меняться жизнь в России. «Моё место — всё ещё не там; я для них помеха, длинный рычаг. И мне бы там сейчас — всё равно задыхаться. Так что пока — надо оставаться здесь и работать — кончать все замыслы... У меня всё внимание, все интересы переместились туда». Воздух Пяти Ручьёв наполнился тем, что делается дома: «новая форма жизни».

А *оттуда,* из дома, раздавались возбуждённые звонки: поверьте, происходит что-то совсем новое! И как было не поверить, если в декабре 1986-го Сахарова вернули из горьковской ссылки в Москву и в Академию наук и больше не препятствовали западным корреспондентам расспрашивать его сколько угодно и о чём угодно! А он требовал свободы политзэкам и ухода Советской армии из Афганистана. По понятиям Запада — это была почти революция. При этом «Правда», как уследила Аля, лишь сообщила: Сахаров выразил желание перебраться из Горького в Москву, и оно было рассмотрено положительно. «Ни признания их ошибки, ни хотя бы извинения. Плевок». К тому же А. И. видел разницу: «Сахаров — нужен этому строю, и имеет великие заслуги перед ним, да и не отрицает его в целом. А я — режу их под самый ленинский корень, так что: или этот строй, или мои книги».

18 ноября 1986 года А. И. в кругу семьи отмечал юбилей «Красного Колеса» — 50 лет с тех пор, когда он, студент-первокурсник, решил, что напишет историю русской революции. «За столом Саня сказал сыновьям, что замысел исполнил, хотя это взяло целую жизнь, — и то потому только, что сурово себя во всём ограничивал всегда». Собственно, ограничивали себя если не во всём, то в очень многом и домочадцы: только общими усилиями семьи, обеспечившей А. И. просторную и нестеснённую работу, станет возможно создание грандиозного четырёхтомного «Марта» и вслед за ним «Апреля». В конце 1986 года два тома «Марта» вышли по-русски.

Солженицын не зря торопился завершить труд всей жизни. Осенью 1986-го прозвенел тревожный звонок. «Повторялась стенокардия. Обнаружились камни в желчном пузыре, как будто нужна операция. А самое удивительное: вдруг — множественный (как вообще почти не бывает, знаю) рак кожи. Опять мне — рак! да не много ли с одного человека? ну что за невылазная судьба!» Но с этой злой напастью удалось справиться в три недели: в Америке уже была техника единократного вымораживания пятен, и они, к счастью, не давали метастазов. Рак — отшибли. Но он чувствовал, как болезни меняют его самого и его жизнь. «Утерялся тот безграничный разгон немеряной силы, который владел мною все годы. С этими болезнями (а есть и высокое давление, и артрит, и ещё) можно и 20 лет прожить, а можно — и ни года. Надо спешить делать не то, что "хочу", а — на что ещё время осталось. Приучаться смотреть на земные дела — полупосторонним, окротевшим взглядом: уладятся и без меня. Смирение».

Впервые в его вечерах появился просвет — он разрешал себе *просто читать*! Не для «Колеса», а по собственному выбору, для удовольствия — русскую литературу. Но даже и при таком чтении рука тянулась записать впечатления — так начала складываться «Литературная коллекция». Хотя сомнения в том, что на родине новая оттепель, таяли, вопрос — коснутся ли его самого тёплые ветры — оставался. «Ясно, — считала Аля, — что Солженицына они принять не могут, и будут по-прежнему его честить и облыгать (потому что он подрезает не Сталина только, как и они нынче опять готовы, но саму систему), — но дух захватывает от тех перемен, что уже есть, и от обещанных, и радость, что хоть сколько-то отпущено всем нашим дома, после спёртости безнадёжной последних 15-ти лет». «Россия меня не минует, — записал А. И. 20 декабря 1986 года в дневнике «Колеса». — Как бы сейчас ни метались, а меня не обойти, идя в будущее. Потому что я — камнем лежу на главной дороге. Почему-то всегда оказывался на главной дороге».

Новый, 1987 год начинался как год надежд: объявили о создании Комиссии по литературному наследию Пастернака, он становился легальной частью русско-советской культуры. Одновременно его восстановили — посмертно — в Союзе писателей, через 30 лет после травли, через 27 лет после смерти («Тот самый Союз! — возмущалась Н. Д. — Какое низкое, стыдное зрелище!.. Ах, позор, ах, горе. Да ни за что, никогда не дам измываться так над именем Солженицына, и сыновьям заповедую». А. И. твёрдо знал: как бы и что бы

ни переменилось дома, вернувшись, он ни за что не вступит в Союз писателей). Но именно такие акции задавали тон «гласности», их инициировали «прорабы перестройки» (большей частью писатели), а широкая публика пребывала в сомнениях и апатии. Правда, прекратилось глушение Би-би-си, и поговаривали, будто с 1 мая разрешат некоторые виды частной инициативы. На январском пленуме Горбачёв предложил реформу выборов — два кандидата и тайное голосование. Если это осуществится, рассуждали в Пяти Ручьях, будет подорвано гарантированное назначение во власть, ослабеет «средний эшелон», который не хочет реформ. Словом, «скучать с Горбачёвым не будем».

Их собственная судьба (как и дóлжно изгнанникам) была полна неопределённостей. Слух о том, что Горбачёв зовёт Солженицына вернуться, возникший в Нью-Йорке на заре перестройки («мы на полушку не поверили»), не подтвердился и за три года. Но — «омахнуло радостью и тогда». Однако настоящая взмывающая радость случилась в феврале 1987-го: освободили разом весь политический лагпункт под Пермью, 42 зэка, осуждённых по 70-й статье. ТАСС ничего не объясняло, государство молчало, Запад узнал ошеломляющую новость (более 30 лет ничего подобного не было) от самих зэков, вернувшихся из лагерей. Среди них — и Лев Тимофеев, и доктор Корягин, сидевший за разоблачение карательной психиатрии. 17 марта с обязательством выехать за границу освободили, наконец, и Ходоровича. Что это было — милосердие Горбачёва или голый расчёт? Все действия нового генсека, казалось, были обращены только к Западу — произвести впечатление, показать лицо смягчённого, подкрашенного режима.

А сигналы из Москвы двоились. Либеральный «Огонёк» заявлял, что Солженицын — не писатель, а политический оппонент, «Советская Россия» продолжала травить Русский Общественный Фонд, изображая его активистов (Гинзбурга, Столярову, Славуцкую) как людей, жадных до дармовых денег, предназначенных «для мифических политзаключённых». А. И. ясно видел: процесс будет долгим и трудным, «пошло по самой дальней от нас дуге». Но: главный редактор «Нового мира» Сергей Залыгин невзначай сказал корреспонденту датской газеты, будто намерен публиковать «Раковый корпус». Вся европейская и главная американская пресса немедленно сообщила: в СССР будут печатать книги Солженицына. «Это была волшебная фантазия, будто радуга вдруг взошла над сибирским ГУЛАГом посреди зимы — радуга с серебряной полосой», — писал «Уолл-стрит джор-

нэл» в редакционной статье. Однако на запросы западных агентств МИД дал опровержение: ничего подобного. Ложный тайфун, как казалось в Пяти Ручьях, — к добру: если Горбачёв хотел проверить реальные ставки А. И. на Западе, взрывную силу его имени, то получил высший балл. 5 марта, как раз в день опровержения, недавний ссыльный А. Подрабинек написал открытое письмо правительству, что при наступлении гласности замалчивать Солженицына более невозможно: нужно отменить указ о лишении гражданства, дать возможность вернуться на родину, не дожидаясь, пока писатель умрёт, как «вернули» Пастернака, Гумилёва, Набокова. Два месяца спустя к Подрабинеку в Киржач внезапно явился секретарь райкома партии по агитации и пропаганде с официальным ответом: «Дело о Солженицыне рассматривается в ЦК». «Я же, хотя и понимал всю необязательность и уловку этого приёма, — писал А. И., — а сердце забилось. Всё же тает, тает стена, и изгнание моё идёт к концу! Да ведь по моему возрасту — уже надежда из последних».

...Весной 1987-го по неглушимому Би-би-си читали отрывки из двух томов «Марта Семнадцатого» (доходили вести, что в Союзе эти передачи ох как слушают). Готовились читать «Март» «Немецкая волна» и «Голос Америки». Исполнялось сорок лет непрерывной работы над сохранностью русской лексики — вскоре она должна была завершиться выпуском Словаря. Вышло шесть томов из мемуарной серии ВМБ. Виден был финал «Колеса». Что дальше? Обстановка дома оставалась непредсказуемой. «Ещё когда, когда они внутри себя-то разберутся: как же им со мной быть. Не зовут. А со стороны — не подгонишь». Как быть сыновьям — наступала пора двум старшим получать высшее образование. Где? Родина пока закрыта. Да если бы сейчас каким-то чудом А. И. и позвали бы — он был твёрд: вернётся только вслед за своими книгами, а не в обгон их.

А на родине были убеждены: перестройка станет необратимой, если опубликуют «Архипелаг»; это и будет доказательством не показной, а подлинной гласности. Но ещё и в 1987-м это казалось фантастической мечтой: пропагандисты из аппарата Горбачёва называли срок в двести (!) лет. «Что́ я могу по совести сказать о горбачёвской перестройке? — писал А. И. — Что *что-то* новое началось — слава, слава Богу. Так можно — хвалить? Но все новизны пошли отначала нараскоряку и *не так*. Так надо — бранить? И получается: ни хвалить, ни бранить. И тогда остаётся — молчать». Но вот *Третьи* как раз таки не молчали. «Поражает злоба и пустота сквозящая, — поражалась Н. Д. — Всё новое, что до-

носится из дома, — встречает их бешенство, улюлюканья, проклятья, свист, — скотий хутор, буквально. Как же надо не любить оставленную страну, чтоб даже бывшим друзьям, её населяющим, не желать глотка свободы или хотя бы чуть больше человеческой жизни. Раз без меня, — истлейте, захлебнитесь, будьте навсегда смрадным болотом, — иначе я неправ, что уехал? Неправ, что проклинал? (Или ещё дешевле, теряю профессию обличителя)».

Будущее оставалось гадательным. Как не наделать ошибок, если всё же допустит Господь вернуться на родину? Как помочь стране? Быть может, теперь не риск-напор, а само живое присутствие будет видом действия? Но сколько же понадобится ещё жизни?

«И уже не раз замечаю, что длительность жизни человека сильно зависит от сохранённости его жизненной задачи: если человек очень нужен в своей задаче, то и живёт. И пословица так: умирает не старый, а поспелый... А в душе желание: не разделяться, не разделять, а — *слить* всех, кого доступно, послужить для России объединяющим обручем. Это ведь — и есть подлинная задача» («Зёрнышко», июнь—июль 1987 года).

Глава пятая

«АГ» — В «НОВОМ МИРЕ» И ВО ВСЕЙ РОССИИ

В середине мая 1988 года из Парижа в Пять Ручьёв позвонил Никита Струве и необычно торжественным голосом сообщил, что сотрудники «Нового мира» (он встретился с ними на конференции в Бергамо) по поручению Залыгина просили помочь связаться с Солженицыным, чтобы узнать, как бы он отнёсся к печатанию в журнале «Ракового корпуса». Хотя это были уже не слухи, а реальное предложение, настоящей радости А. И. не испытал. «Перестройка, как она идёт (и гласность), — явление мутное. И я — вдвигаюсь в эту муть. И — всего лишь “Раковым корпусом”, — а вроде брешь со мной и закрыта». Он видел, что пока не нужен дома: рано, температура перемен слишком низка. Перестроечные умы хлопочут о доброй памяти уничтоженных Сталиным большевиков, хватаются за Бухарина, Рыкова. «Для меня “вопрос о Бухарине” стоял, когда мне было 16 лет, — а они вот и сейчас не понимают, что вся партия была бандитская. До моих книг им ещё поспевать и поспевать».

Чудно́ было слышать, как президент США Рейган, посетивший СССР в том же мае, напоминал советской общественности в МГУ и в ЦДЛ: «Вот вы вернули вашему народу “Реквием” Ахматовой, “Доктора Живаго” Пастернака, — надеюсь, теперь придет очередь вернуть всё остальное; и вы сможете увидеть, как танцует Барышников, дирижирует Ростропович, опубликуете все книги Солженицына». «Что-то есть унизительное, — записывала Н. Д., — глава чужой страны внушает и повторяет и внедряет имя большого писателя, выброшенного родной страной, — и соотечественники молча слушают, не смея даже кивнуть, — да, мол, напечатаем». Казалось, соотечественники, от которых это зависело, не торопятся: автор «Колеса» для них оставался политическим экстремистом. *Третьи* добавляли: реакционер, сваливает революцию на инородцев, сеет ненависть.

Было очевидно: пока в СССР важно, кто победит на партконференции, Горбачёв или Лигачёв (притом что оба одинаково молятся на Ленина), «Архипелагу» и «Колесу» там делать нечего, их не допустят к читателю. Интеллигентская масса так упивается свободой слова, что не способна слышать — и должно утечь немало воды, чтобы рьяные говоруны захотели услышать хотя бы друг друга. А. И. ощущал, что двенадцать вермонтских лет, несмотря на испытания клеветой, были «благовременьем и благотишьем»: «Они не только простелили мне *возможность* написать “Красное Колесо” — но и, обратно, историческая работа была *спасением* моим... История революции была моим дыханием все годы изгнания — и далеко отвадила меня в глубь времени».

Близкое завершение «Колеса» вызывало сложные чувства. С Узлами он прожил ещё одну жизнь — с конца XIX века и до революции, до своего рождения. «Так и ощущаю в себе две несмешанных жизни: собственную и ту, которую тоже полюбил, вжился. Но уже пора вернуться к собственной — прежде её развязки». Слишком долго он пробыл в истории — современность ждала его отзыва, и даже активного вмешательства. Узлы парадоксально опережали время и опаздывали ко времени. «И вот Советский Союз при Горбачёве кормят фильмом о Распутине (с чего и начал Февраль, все хватают эту наживку*)». В Россию Узлы не попадали, в нужном направлении не работали. Читатели были те, кому удавалось пере-

* Фильм Э. Климова «Агония» был окончен в 1974 году, принят Госкино СССР в 1975-м, однако по решению ЦК КПСС к экрану не допущен как «нецелесообразный». Напечатанная всего в двух копиях картина легла на «полку» и вышла на широкий экран в России лишь с началом перестройки — в 1985 году.

слать «по левой» тома из вермонтского Собрания. М. Поливанов, бывая в загранпоездках, отправлял Солженицыну пространные критические разборы Узлов. «Благодарен Вам, — писал ему А. И., — за отзывы (чуть не единственные из России!) — а где кроме России могут мою книгу понять и для кого б другого я писал так подробно?.. Мы, кажется, только от Вас одного и получали по-настоящему развернутые отзывы на Узлы — а то ведь пишу как в пустоту: почти нет свидетелей, ка́к воспринимается»*. На Западе, без переводов, которые сильно запаздывали, «Колесо» подставлялось под раздражённое непонимание (подробные описания, колоссальный объём), а то и под ругань — бой без сдачи.

А. И. всегда испытывал отвращение, сталкиваясь с гомерической ложью советских книг о революции. «И как же бы я пробился к истине, если должен был бы писать “Колесо” в Советском Союзе? Ведь это просто *исключено*». Теперь, когда впереди оставалась только конспективная часть «Колеса», он переживал, что много лет работал вхолостую, надрываясь на тех полях, которые ему уже никогда не засеять. Ездил в Тамбов, готовя главы для 19-го и 20-го Узлов, много сделал лишнего («так было время сжато тогда — и так промахнулся»), не дошёл до раннесоветских лет — и выписки Воронянской не понадобились. «А когда смотрю на оставшиеся картотеки ещё 16 узлов, — писал он 1 января 1988 года, — на все уже собранные материалы — то ощущение, что жизненной задачи я не выполнил. Тоска берёт, что этого всего я уже не напишу. Как бы хотелось!»

Из двадцати задуманных Узлов за 20 лет было написано четыре — и сделана огромная работа впрок, которая конечно же не была лишней: она не только пригодилась для конспективных глав, но и стала воздухом «Р-17» — без них многотомная эпопея съёжилась бы и ссохлась. А. И. признавался дневнику: «Не только недостаток жизненного времени и кризис жанра заставили меня остановиться на “Апреле”. Но и в самом себе я не нахожу прежнего неиссякаемого источника сцен и глав, уже не поддаются они с прежней лёгкостью, и даже закончить “Апрель” мне будет трудно. Возраст —

---

* Отвечая Поливанову на письмо, посланное из Рима, А. И. пояснял (14 апреля 1981 года) свою концепцию Февраля: «Сделать февральскую революцию “повеселей” — никак не могу: это предельная степень бездарности и падения. Я не имел такого замысла apriori; я понятия не имел, всё открылось в материале. Октябрь — не побочный жестокий замысел, но — нагнулся отобрать павшую и падшую в маразме февральскую демократию. Она так стремительно падала, что уже через две недели после Февраля (в пределах моего “Марта”) уже была обречена».

ощущается, мой напор на материал снижается. Уже не начинаю утр с прежней быстротой, но замедленно. И нахожу приятным кончить главное занятие ещё прежде, чем стемнеет, — и заняться чем-нибудь полегче». Писал Гёте Шиллеру (и Солженицын поучительно цитировал): «Мои начинания далеко превосходят меру человеческих сил и отпущенные им земные сроки».

О тяготах многолетней работы над «Колесом» и о своей изнемогающей усталости писала и Н. Д. Речь шла даже не о физической усталости, хотя многие годы она работала без отдыха и отпуска по 16—17 часов в день, из которых на хозяйство уходило всего час или два. Уж очень подавляла махина самого «Колеса». Трудно было постоянно жить в трагически неостановимом крушении и видеть сегодняшние катастрофические результаты *того* обвала, выстраивать в деталях и красках картину, как предавали, трусили, обманывали, интриговали, откуда-то брать свет при спуске России в ад. Она трудилась жертвенно и самозабвенно. Соработничество по «Колесу» было куда объёмнее, чем простое редактирование: её глаз, а потом и рука придирчиво касались всех элементов строения. Поля рукописей она исписывала замечаниями по сокращению, уплотнению, прояснению, сверканию текста. А. И. рассчитывал на неё как на последний контроль, жаждал предложений, но и бунтовал, если критика оказывалась сокрушительной. Но когда речь шла о качестве его письма, Н. Д. была безжалостной — существовали только приоритеты работы, без скидок и снисхождений на вялость, слабость и иссякание сил. Да и ему важно было, чтобы работа подпирала, чтобы её было больше, чем он в состоянии сделать, — тогда только ощущалась упругость жизни. Когда дело катилось к концу, А. И., радуя жену, сиял, как дед Щербак, провожая вагоны с зерном своего урожая. Архив «Колеса» — честный свидетель этого мощного, уникального труда двоих.

То, что А. И. называл работой *полегче*, тоже поражало масштабами, хотя бы только в издательской части. В конце мая 1988-го в Пяти Ручьях несколько дней гостил Струве («Никита, — записывала Н. Д., — каждый раз это снова и снова является — не просто близок, единомыслен в главном, но совсем родной. У нас общий язык, от самой глубины, общая родина»). Втроём обсуждали планы «ИМКА»: очередные тома Бердяева, Флоренского, Федотова, Отцы Церкви в шести книгах, дневники Булгакова, работа Фуделя о Достоевском, Зеньковский, Мейендорф. Расписали вперёд на несколько лет свои две серии — ИНРИ и ВМБ; утвердили сроки для последних томов солженицынского Собрания сочи-

нений. Все трое согласно убеждались: нельзя жить в ожидании перестроечных чудес — всё пока зыбко, больно, трудно, и только работа даёт ощущение твёрдой почвы под ногами.

Всё же что-то вроде чуда произошло: 1 августа 1988 года в Вермонте была получена телеграмма Залыгина, отправленная из Москвы 27 июля и пять дней блуждавшая неизвестно где. А мировая пресса вот уже месяц смаковала слух, будто Солженицын получил два *нежных* письма Горбачёва «от руки» с приглашением вернуться домой, где непременно будут напечатаны *все* его книги — и писатель будто бы приглашение принял, собирается на несколько недель приехать с женой в Москву *подписывать контракты* (Н. Д. пришлось спешно опровергать этот вздор через газеты*).

Телеграмма в латинских буквах звучала лаконично: «Намереваемся публиковать Раковый корпус Круге первом Ждём вашего согласия предложений Уважением Новый мир Сергей Залыгин». Над ответом долго думать не пришлось: уже были взвешены на *весах* все плюсы и минусы, которые А. И. вместе с женой обсудил при полном совпадении мыслей и чувств. Выходило так: «Раковый корпус», который власти готовы были печатать и в сентябре 1973-го в обмен на обездвижение «Архипелага», — не та вещь, с которой имеет смысл выступить дома в столь болтливое время. Именно «Архипелаг» должен стать условием и началом возвращения в Россию. Он — причина высылки, за тайное его чтение людей сажали в тюрьмы; он — пробный камень горбачёвской *гласности*: действительно ли система, которая не принимала Солженицына и пыталась оградить от него население, хочет перемен или намерена лишь что-то подмалевать для видимости? В таком случае «Раковый корпус» только затуманит картину, а «Архипелаг» «пронижет перестройку разящим светом». Нелёгкое решение — самому себе ставить барьеры — было бесповоротно: «Если возвращаться в советское печатание — то полосой калёного железа, “Архипелагом”».

Солженицын отвечал заказным письмом — оно, однако, не будет доставлено в «Новый мир», и Н. Д., нарушив 12-летнюю паузу в телефонном общении с Москвой, под-

---

* Она писала в дневнике: «Кому эти “нежные” письма Горбачёва и “визит” Солженицына были нужны? Всё-таки горбачёвцам. Создать впечатление, что Солженицын поддерживает перестройку (которая пока — миф) и уж конечно гласность (которая хотя и отрадная реальность, но имеет ясные и жёсткие границы, и, главное, не гарантирована ничем, ибо монополия государства на всю печать незыблема). Солженицын молчит, так придумать и выразить за него. А уж раз Солженицын поддерживает Горбачёва и едет по его приглашению — значит, у Горбачёва всё в порядке».

страховочно сообщила другу семьи и соратнику в боях начала семидесятых В. Борисову содержание письма для передачи Залыгину. «Невозможно притвориться, что “Архипелага” не было, и переступить через него. Этого не позволяет долг перед погибшими. И наши живые соотечественники выстрадали право прочесть эту книгу. Сегодня это было бы вкладом в намечавшиеся сдвиги. Если этого всё ещё нельзя, то каковы же границы гласности?» Реальный массовый тираж «Архипелага», книга, которую можно было бы купить в любом областном городе СССР, — таково было условие Солженицына.

А. И. полагал, что этим письмом надолго отрезал себе все пути. Но вышло иначе — «Новый мир» рискнул «пробовать». 8 сентября через Борисова, по телефону, стало известно о единогласном решении большой редколлегии (кто не смог прийти, прислал письма): *печатать*. Предполагалось в последнем номере года поздравить писателя с 70-летием, дать «Нобелевскую лекцию» и анонс об «Архипелаге». Публикация глав из разных частей (30—35 печатных листов, треть книги), в последовательности, рекомендованной автором, должна была начаться с первого номера 1989 года. «Всё существо потрясено... Внутри не тревога, не расстройство, а какое-то марево», — признавался А. И. «Трудно уложить на бумагу, — писала Н. Д., — это как размораживание изо льда — и сладко, и больно, и горько, и радость без конца... Невероятно. Пусть им запретят, не дадут, — но всё равно сдвигается, когда люди решаются на поступки, даже если их пресекают в движении. Решимость — это победа».

А победители уже были. 3 августа по-английски, а 7-го по-русски вышли «Московские новости» (№ 32) с предерзкой статьей Л. Воскресенского «Здравствуйте, Иван Денисович!». Сочинение, которое власти 14 лет назад изъяли из библиотек и сожгли, называлось крупнейшим, этапным свершением отечественной литературы. 5 августа в «Книжном обозрении» ракетой взлетела статья Е. Ц. Чуковской «Вернуть Солженицыну гражданство СССР». «Очень плотно, много сумела Л. Ч. втиснуть в статью фактов, литературного и биографического характера, есть замечательные фразы, и вообще — *прорыв*, какая Люша всё-таки стрела, молодец» (дневник Н. Д.). Статья к тому же напоминала, что ещё в 1969-м, обращаясь к секретариату СП, Солженицын добивался гласности, честной и полной, как первого условия здоровья общества. «Пора прекратить распрю с замечательным сыном России, офицером Советской Армии, кавалером боевых орденов, узником сталинских лагерей, рязанским учителем,

всемирно знаменитым русским писателем и задуматься над примером его поучительной жизни и над его книгами».

Статья стала подлинной сенсацией, а главный редактор «КО» Е. С. Аверин — героем (поступок едва не стоил ему инфаркта). «Прорвалась пелена общественного напряжения. Уже в день выхода номера — возбуждённые читатели звонили в редакцию и сами приходили, долетели и первые телеграммы в поддержку. У стендов газеты на улицах густо толпились. Международные агентства подхватили новость. В следующие дни — сотнями писем — обрушился страстный отклик писем в редакцию, — и газета посмела те письма печатать, в двух номерах, на полных разворотах. Отважные голоса полились теперь на страницы отважной газеты», — рассказывал А. И. в «Зёрнышке» (с той, однако, оговоркой, что дело ведь не только в возвращении советского паспорта*).

«Книжное обозрение» выслало в Вермонт подборку писем — сотни три; в редакции их уже считали на вес. Изучая их, А. И. убеждался: на родине его как писателя знают очень плохо. Разделяющий порог высок — его не преодолеть разовым усилием. О нём судят настолько по-разному, будто речь идёт о разных людях. Читатели напуганы самим именем — длительное промывание мозгов дало результат. «Зачем понадобилось из отщепенца, пусть и наделённого литературными способностями, лепить “творца подлинного искусства”?»; «Требования издать Солженицына и тем более вернуть ему гражданство СССР являются оскорблением памяти тех, кто отдал свои жизни в боях за Родину. Пусть он остаётся там, где ему щедро платят покровители из ЦРУ». Таких писем на мешок набиралась все же пара десятков.

Меж тем решение «Нового мира» нарушало все прежние запреты. Газеты, журналы, издательства рвались печатать Солженицына на свой страх и риск. 18 октября киевская газета «Рабочее слово» выдала «Жить не по лжи!» — ему и суждено было стать первым шагом А. И. на родине. А. С. Смирнов, новый глава Союза кинематографистов, звонком из Нью-Йорка в Вермонт сообщил: хотим устроить

---

* Для многих соотечественников вопрос о гражданстве был тем не менее ключевым. «Выдающийся русский писатель нашего времени должен снова обрести права гражданина СССР» (Ст. Лесневский); «Те, кто сейчас вернёт гражданство СССР Солженицыну, или те, кто этому помешает — все благодаря писателю останутся в памяти детей и внуков именно в тех ролях, которые они предпочитают, — прогрессивных радетелей или мерзких гонителей» (Н. Эйдельман). О том, что за этим шагом должно последовать полнообъёмное возвращение Солженицына — издание всех его книг, писали Вяч. Вс. Иванов, И. Р. Шафаревич, протоиерей А. Мень и др.

в Доме кино, в декабре, вечер в честь 70-летия. Общество «Мемориал» телеграммой пригласило А. И. войти в состав совета из 16 человек, во главе с Сахаровым. Солженицын ответил: «Памяти погибших с 1918 по 1956 я уже посвятил “Архипелаг ГУЛАГ”, за что был награждён обвинением в “измене родине”. Через это нельзя переступить. Сверх того, находясь за пределами страны, невозможно принять реальное участие в её общественной жизни».

Потекли месяцы изнурительной борьбы за «Архипелаг» (в ЦК о нём не допускали и мысли) — как когда-то за «Ивана Денисовича». Только теперь всё выглядело иначе. Цепочка: «Залыгин — ЦК — Горбачёв», повторявшая прежнюю: «Твардовский — Лебедев — Хрущёв», ныне опиралась на мощную общественную поддержку. Бесчисленные письма в редакции газет, выступления на митингах, вечерах, собраниях, требования самиздата выпустить «Архипелаг» массовым тиражом, проекты солженицынских чтений... Обращение А. Смирнова к Председателю Президиума Верховного Совета Громыко (тому самому, чей план услать Солженицына на полюс холода был заменён выдворением): высылка незаконна, просим отменить Указ о лишении гражданства и восстановить в Союзе писателей. Телеграмма из «Мемориала» Горбачёву: выражаем *озабоченность* задержкой публикации глав книги.

Дальше — больше. «Архипелаг», ещё до напечатания, стал, как тогда говорили, мощным прожектором гласности. В ЦК узнали, что «Новый мир» на обложке октябрьского номера даёт анонс «ряда произведений» Солженицына. Когда полумиллионный тираж был готов, анонимным звонком из ЦК в типографию журнал остановили и велели содрать обложку. Возмущённые произволом типографские рабочие бросились искать защиты, но, ничего не добившись, просто спрятали часть тиража с крамольной обложкой. С. Залыгина вызвали «наверх», кричали, что печатать «врага» не дадут. По Москве «ходили» ксерокопии обложки — вещественного доказательства гласности: страна упрямо требовала возврата себе Солженицына. Но в ноябре Залыгин выслушал запрет Горбачёва — «ещё рано». На совещании руководителей СМИ партийный идеолог В. Медведев заявил: Солженицын враждебен нашей стране, неприемлем нашему обществу, его атаки на Ленина и верных ленинцев недопустимы («спасибо ему, что хоть не лгал и не клеветал на меня», — говорил А. И.).

...Семидесятилетие Солженицына прошло, как писала Н. Д., в лучшей вермонтской аранжировке: снег, тишина, камин, сыновья, семья, много писем и телеграмм отовсюду,

но ничего из СССР — почту блокировали «отцы-перестройщики». А. И. предрекал: горбачёвцы допустили гласность как оружие в борьбе за власть, но она, гласность, их и свалит. А в Москве шли вечера в честь юбиляра — в домах архитекторов, медиков, кинематографистов; люди уже не боялись говорить поперёк власти — их выступления тут же тиражировались самиздатом. Коллективные письма в поддержку книг Солженицына, порой с феноменальным сочетанием подписавшихся (И. Шафаревич и Л. Чуковская, А. Сахаров и В. Клыков), направлялись лично Горбачёву. За четырёхлетнюю оттепель, напишет А. И., в СССР успели напечатать всех запрещённых — живых и мёртвых — кроме него. А его не только запрещали — по-прежнему ловили его книги на границах и на таможнях. Горбачёв в начале 1989-го заявил: критика заходит слишком далеко, народ идёт по пути к коммунизму и не сойдёт с него («мрачно для страны и грустно для нашей личной судьбы», — комментировал А. И.).

В феврале 1989-го высказался и бывший председатель КГБ В. Семичастный: Солженицын — наш враг, неисправимый антисоветчик и уж конечно не тот человек, которому надо праздновать юбилей у нас в стране. Тогда же перестроечный агитпроп совместно с *Третьими* изобрёл новый лозунг: *Солженицын против перестройки*. Два жернова, советский и западный, и их безотказный связник в лице *Третьих*, должны были перемолоть «монархиста, теократа, изувера», но были бессильны. На родине, вопреки заклинаниям, Солженицына хотели читать, издавать, ставить фильмы по его вещам. А самые преданные читатели, прорываясь письмами сквозь границы, говорили: «Вы нужны дома. Когда напечатают Ваши книги — возвращайтесь».

В начале мая 1989-го был закончен «Апрель Семнадцатого». Оставалось «На обрыве повествования» — конспективное изложение остальных Узлов. «Раньше думал дать только перечень Действий и Узлов, — писал А. И. в дневнике. — Но это — слишком голый скелет, только знающие могут догадаться, о чём речь. Значит, надо пояснять: главные, охватываемые узлом политические события — не только по степени их исторической важности, но и по акценту: что было бы не упущено в “Колесе”». Это не было лёгкой работой: он перелопатил столько материала, как если бы писал Узлы, а не конспект, но другого пути не было. Всматриваясь в события предоктябрьских месяцев, А. И. поражался, насколько *то* время психологически схоже с *нынешним*: та же радость освобождения, то же легкомыслие в момент, когда решается будущее России.

За рубежом об этих материях говорили много и путано. «О Москве — по рассказам частых теперь выезжантов — у нас создавалось смутное представление. Какой-то вихрь толковищ, взаимонепониманий, косых сопоставлений, перпендикулярных сшибок. Уже и Аля сама звонит в Москву друзьям, — всякий раз с огромным волнением концентрируясь, — а потом пересказывает мне. У москвичей уже заклубились мрачные и отчаянные настроения последнего распада... В провинции волоском не бывали задеты вихрями образованских столичных сражений».

В вихре этих сражений январская «Нева» напечатала письмо Солженицына IV съезду писателей (1967), февральский номер журнала «Век XX и мир» — «Жить не по лжи!». 1 мая среди демонстрантов, прошедших по Дворцовой площади в Ленинграде, было и общество «Мемориал» с лозунгом «“Архипелаг ГУЛАГ” — в печать!». На этом фоне диковато выглядела пиратская публикация «Матрёнина двора» в трёхмиллионном «Огоньке». Всегдашний гонитель, надев маску благодетеля, выпустил рассказ без разрешения автора и его литературного представителя (в феврале 1989-го им стал В. Борисов) и «под конвоем» ехидного предисловия: теперь, дескать, дорога к критике Солженицына открыта, так что можно начать борьбу с «культом его личности, которая заслонила собою весь горизонт». По красноречивой логике «Огонька» публикация соседствовала с пространным интервью Семичастного «Я бы справился с любой работой...».

К середине лета ситуация с «Архипелагом» наконец взорвалась — «Новый мир» на свой страх и риск подготовил набор и вёрстку. Говорили, что Горбачёв топал ногами и выгонял Залыгина из кабинета. Медведев требовал отказаться от затеи («“Архипелаг” не будет напечатан ни-ког-да!»), но упрямец-редактор жёстко заявил: если не дадут печатать «Архипелаг», журнал будет остановлен и об этом узнает весь мир. И снова, как встарь, дело решалось на Политбюро: только в 1962-м речь шла об «Иване Денисовиче», а двадцать семь лет спустя — о куда более взрывчатом «Архипелаге». И Горбачёв сдался! «Писатели заварили кашу — пусть сами и разбираются», — произнёс Михаил Сергеевич сокрушительную фразу (хотя, рассказывал двадцать лет спустя Медведев, «по отдельным репликам и выражению лиц было видно, насколько мрачная реакция у многих моих коллег»). «Устоял Залыгин. Молодец старик!» — прокомментировал А. И.

Секретариату СП, в чьих руках оказалась судьба «Архипелага», тоже некуда было деться от ветра перемен. На заседание пришла почти вся редколлегия «Нового мира», под

окнами «Дома Ростовых» выстроилась толпа с плакатами в поддержку Солженицына. Председатель собрания В. Карпов заявил: «Нам нет смысла придерживаться старой запретительной тактики по отношению к Солженицыну. Почему, собственно, нам не подходит “Архипелаг ГУЛАГ”? Там всё честно, документально. Мы поддерживаем эту инициативу». Секретари, из тех, кто с таким рвением травил Солженицына, должно быть, чувствовали себя неуютно, но подчинились новой линии. Прошло всего пятнадцать лет, и «враг», «предатель», «литературный власовец» единогласно был признан честным писателем, а «ГУЛАГ» — не «антисоветской клеветой», а документальным сочинением. Секретариат принял резолюцию: поддержать инициативу «Нового мира» в опубликовании «АГ»; поручить издательству «Советский писатель» издать книгу массовым тиражом; отменить позорное решение об исключении Солженицына из СП (это был, как выразился В. Карпов, «акт нашего очищения и покаяния»); обязать писателей-депутатов Верховного Совета вынести на обсуждение сессии вопрос об отмене Указа о лишении А. И. Солженицына гражданства СССР; для обсуждения финансовых вопросов командировать В. Борисова в Вермонт.

И всё же, аплодируя секретариату СП (Залыгин назвал его решение самой серьёзной и благотворной акцией последнего времени), мало кто задавался вопросом — а почему Союз писателей опять решает (пусть не в запретительном, а в разрешительном ключе), что́ печатать, а что́ не печатать, что́ читать, а что́ не читать? Почему берёт на себя функции посредника между автором и издателем, автором и читателем? Суть бюрократической системы от этого никак не меняется, и по-прежнему всё зависит от перемены ветра... Но пока что ветер для «Архипелага» стал попутным.

«Так что поздравляю вас, мальчики, как членов нашей команды. И дожили, и выжили. Только, как папа всегда и предвидел, не всё успели», — писала Н. Д. сыновьям в Англию: Ермолай с отличием заканчивал Итон и готовился поступать в Гарвард, Игнат два года учился в Лондоне и брал уроки у известного педагога Марии Курчо. Шестнадцатилетний Степан переводился из местной школы в частную «St. Paul School» в Нью-Хэмпшире, Митя (летом ему исполнилось двадцать семь) работал в Нью-Йорке и впервые за пятнадцать лет смог увидеться с отцом. Андрей Тюрин, по-прежнему родной и верный друг, стал «выездным», получил командировку в Чикаго, неделю гостил в Пяти Ручьях — и в это тоже с трудом верилось.

Седьмой номер «Нового мира» с Нобелевской лекцией

поспел как раз к Алиному 50-летию: «от Сани огромный букет красных роз, вот уж из ряда вон...» А про журнал с лекцией, прочитав её всю прилежно, А. И. сказал: «Ты знаешь, всё-таки это событие: люди в СССР свободно читают такой текст — я в него много вложил». Августовский номер вышел с «Архипелагом» (массивный кусок в 90 страниц) тиражом в миллион шестьсот тысяч экземпляров. «Чем трагичнее, чем ужаснее было пережитое нами время, тем больше "друзей" било челом до земли, восхваляя великих вождей и отцов народов, — писал Залыгин в небольшом предисловии. — Злодейство, кровь и ложь всегда сопровождаются одами, которые долго не смолкают, даже и после того, как ложь разоблачена, кровь оплакана и принесены уже громкие покаяния. Так, может быть, умные и честные оппоненты нужнее нашему обществу, чем дёшево приобретённые и даже — искренние, но недалекие друзья?»

Вырвавшись на простор «Нового мира», «Архипелаг ГУЛАГ» пошел в мир лавинообразно: главы печатались в «Даугаве», в «Волге», в «Литературном Киргизстане», полностью книга ожидалась в «Советском писателе», и несколько других издательств боролись между собой за право печатать всё, немедленно, хоть бы и одновременно, и всем вместе. «Жаждали мы этого, бились за это — а сейчас неохватимо: такая скрытая лютая правда — полилась-таки по стране!.. Ничто не приходит поздно для того, кто умеет ждать». Когда журнал прилетел в Вермонт и А. И. прочёл написанное, то испытал весёлый ужас: «Как такой текст может легально читаться в СССР? Да чекисты должны отрядами ходить и отбирать — выбирать обратно эти 1 млн. 600 книжек».

Но уже никто никуда не ходил и ничего не отбирал: Слово вылетело, обрело плоть, да и поезд шёл вразнос... Ибо пала Берлинская стена — и сыновья-студенты звонили домой, мол, дожили! А Н. Д. счастливо записывала: «Всё-таки наши дети выросли не фермерами, хоть и в Вермонте». А. И. комментировал сообщения мировой прессы: «Поразительно, как упорно вьются вокруг да около, не хотят назвать, — *чего конец* "мы наблюдаем", — и "сталинской эпохи", и "холодной войны", и "застоя", — не скажут только, что это *конец коммунизма*, конец *марксизма*, Марксом взожжённого именно в той стране». Восточная Европа стремительно уходила от коммунизма (Польша, Венгрия, Румыния, Германия, Болгария); опасно полыхали пожары перестройки — национальные волнения на Кавказе, в Средней Азии, Прибалтике с участием войск и применением оружия. Обнажились катастрофы с землёй, водой, едой; всё громко трещало

и обваливалось. В Рязани местные держиморды выгнали с работы учительницу за разговоры о Платонове, Набокове, Солженицыне — а в Пять Ручьёв стекались письма от сотрясённых читателей «Архипелага» (уже брались его переводить на узбекский, армянский, грузинский). Старый агитпроп на партсобраниях ещё пел свою прежнюю песню: «В печать просочились произведения врага нашего строя Солженицына» — а «Нева» печатала «Март», «самое петроградское сочинение», благородно уведомляя, в каких журналах будет «Август» и «Октябрь».

А вся страна неотрывно, две недели подряд (демократия без берегов) смотрела Съезд народных депутатов летом 1989-го — выступление Сахарова о преступной войне в Афганистане и его столкновение с орущим залом: «Горжусь своей ссылкой в Горький за критику этой позорной авантюры, извиняться мне не в чем». Н. Д. негодовала: «*Ни один* из друзей не выступил в его поддержку (где же вы, мóлодцы-либералы?)». Президиум во главе с Горбачёвым не мог унять злобствующих депутатов; обвинитель Сахарова под стоячую овацию скандировал лозунг «Держава-Коммунизм-Родина». Такие потрясения не проходят даром. «В несколько месяцев доведённый непосильными для него напряжениями и столкновениями, Сахаров скончался на 69-м году жизни. Да в его христианской улыбке и в печальных глазах — и всегда отражалось что-то неповторимое... На похоронах был и мой венок: “Дорогому Андрею Дмитриевичу с любовью Солженицын”».

В самом конце 1989 года А. И. прощался и с «Дневником “Р-17”». «Ну что ж, “Колесо” докатил, сколько мог, — конец и дневнику. За эти годы ты много мне помог как собеседник. Прощай, друг. Если скинуть месяцы, затраченные на “Телёнка” и “Зёрнышко”, на публицистику, — так почти и ушло на “Колесо” 20 лет сплошной работы». На дневник ушло ещё больше — первые записи были сделаны в 1958-м и стали регулярными в 1969-м, прерывались редко — на исключение из СП, переезды, арест, высылку. А. И. писал его не для читателей; это был укромный угол, где обсуждались потери и находки, сомнения и страхи, велась летопись эпопеи. Позже стал очевиден и публичный потенциал дневника — однако А. И. придёт к выводу, что не следует издавать его раньше времени, вмешиваться в свободное чтение «Колеса». В планы на ближайшие девяностые А. И. включил «Невидимок», «Зёрнышко», ранние вещи, публицистику и совсем новое — «еврейскую работу» (так условно назывался будущий труд «Двести лет вместе»). «Большая, трудная, сложная работа, по конструкции схожая с “АГ”. Сколько

времени займёт — нельзя предсказать, вряд ли меньше двух лет, хотя прочтены к ней уже тысячи страниц и много думано», — писала Н. Д. в те дни.

Новый, 1990 год Солженицыны встречали (как и всегда, по московскому времени, то есть в четыре часа дня) в светлом, приподнятом настроении: в уходящем году очень много успели сами, колоссально много успелось и в мире. Впервые за 16 лет изгнания один из членов семьи — Митя — гостил в Москве. Вернувшись в середине января, выглядел счастливым, привёз огромный ком впечатлений, живых картин, приветов друзей. В долгом разговоре с А. И. сказал: «У меня ушла из сердца боль, которая жила все эти годы». И потом, отдельно, матери: «Я утвердился в том, что принадлежу *той* земле. Но и в своей судьбе огромная разница: сам уехал или выслали силой, — не было ни перед кем стыдно, что я их покинул в их тягостях, — и нет стыда, что прежде чем вернуться, должен ещё достроить себя и начатое здесь».

В Москву, по дороге из Японии в Париж, впервые за много лет, прилетели Ростропович и Вишневская. На пресс-конференции их спросили о возвращении Солженицына. Слава и Галя были верны себе: «Он, конечно, вернётся, только когда с него снимут гнусное звание изменника родины, за что тогда давали расстрел! Человек, перед которым все мы должны преклониться, — и с этим тавром! Немыслимо!» В апреле «ЛГ» (руководимая перестроечным редактором Ф. Бурлацким) обратилась к властям с ходатайством восстановить гражданскую и юридическую справедливость в отношении Солженицына. Но властям было уже не до него: 1 мая на Красной площади демонстранты освистали Горбачёва, обругали КПСС и режим — «Кремлёвский Чаушеску», «Из Политбюро — на тюремные нары», «Свободу Литве», «Социализм? — спасибо, не надо». Президент, которого освистывают, был обречён, издалека это ясно виделось. И уже в затылок ему дышал новоизбранный президент «отдельно взятой» России Борис Ельцин; Россия впервые становилась «субъектом» — ситуация, чреватая двоевластием и конфликтом. Хорошо рассчитанным жестом через полтора месяца своего президентства Ельцин вышел из партии, положив билет на съезде: работа-де не позволяет ему быть ответственным перед какой-либо одной партией.

В середине августа 1990-го грянул указ Горбачёва, неясный, безымянный, — о возвращении гражданства двадцати трем лицам, «включая Солженицына и Бродского» (потом узнали, что и Н. Д. тоже). В тех же днях появилось открытое письмо Председателя Совета министров РСФСР И. Силаева:

российский премьер приглашал Солженицына приехать в качестве личного гостя, со свободной программой путешествия по стране. Если отдаться политике — надо ехать немедленно, размышлял А. И. «И толкаться на московских митингах? на трибунах между Тельманом Гдляном и Гавриилом Поповым?.. Я свою роль сыграл в то время, когда глóтки были совсем одиноки. А теперь, когда их множество?..» Ответ А. И. был передан через ТАСС сразу нескольким центральным газетам и появился в «Комсомольской правде»: «Для меня немыслимо быть гостем или туристом на родной земле — приехал и уехал. Когда я вернусь на родину, то чтобы жить и умереть там. В свой возврат я верил в самые безнадёжные годы». А. И. призывал очистить Русский Общественный Фонд от клеветы, снять судимости с его сотрудников, а сам Фонд легализовать.

Газета, однако, вычитала из ответа А. И. будоражащую новость: писатель только что закончил работу о нынешнем состоянии страны, и предложила немедленно печатать её массовым изданием: тираж 22 миллиона, цена номера — 3 копейки. В конце августа готовый набор статьи «Как нам обустроить Россию? Посильные соображения» (А. И. работал над ней всё лето) был отослан в Париж, в «ИМКА», а также повезён Митей и *Катенькой* в Москву. Статья вышла сразу в «Комсомолке» и в «Литературке» с разницей в один день, общим тиражом 27 миллионов. «Большое дело сделали, — говорил в те дни Солженицын жене. — И такие клинья я вбил, что легко их не вытащат. Но ты готовь нервы: будет большой хай».

«БЛИЖАЙШЕЕ. Часы коммунизма — своё отбили. Но бетонная постройка его ещё не рухнула. И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами» — так начинались «Посильные соображения». И покатилось: звонок Ростроповича из Вашингтона («Историческое событие! Всё сказал! Всё влепил — и с какою силой! Обними его, Аля»); дебаты в Верховном Совете и резюме Горбачёва: «Солженицын хотя и великий человек, но мне чужды его политические взгляды, он весь в прошлом, монархист — а я демократ, радикал. Брошюра *нам* целиком не подходит». Предсказание (но ведь никак не мечта!) Солженицына о неизбежном распаде СССР с пожеланием сохранить союз трёх славянских республик и Казахстана возмутило Горбачёва; обсуждение было замято, а потом и вовсе прихлопнуто — «лапа Партии по-прежнему лежала на Гласности». В Алма-Ате газету со статьёй публично сожгли на площади; украинские газеты (эмигрантские и советские) откликались с одинаковой «бескрайней яростью и непробивным невежеством».

В сентябре 1990-го с выставкой книг «ИМКА-пресс», приуроченной к 70-летию издательства, Москву посетил Никита Струве, первый раз в жизни. Его принимали как замечательного просветителя, всю жизнь отстаивавшего честь русской культуры, хранителя духовного богатства, наконец-то востребованного родиной. Советские газеты разом вспомнили, что выход в 1973 году «Архипелага» был первой публикацией этой книги по-русски и предопределил судьбу автора и что «ИМКА» благодаря Струве издала «всего Солженицына». Тесной дружбе, скреплённой верным и плодотворным сотрудничеством Никиты Алексеевича с «дорогими вермонтцами» (как он их неизменно называл в письмах, адресуясь сразу ко всем обитателям Пяти Ручьёв), было уже два десятилетия, проверенных во многих испытаниях, а по напряжённости ныне переживаемого Струве склонен был, как на войне, считать *год за три*. «Как всегда с Никитой у нас у всех, — писала Н. Д. в дни его недавнего гощения, — полная простота общения, полная и блаженная естественность (одарил Бог дружбой; хоть и “дальний друг”, да лучше “ближних двух”). Но что обрадовало и удивило: почти тождественный строй, в котором воспринимает он — и мы — события на родине. Не только оценки, это понятно, но и эмоциональное восприятие — совпадающе близко. А ведь прошлое — разное совсем, мы — не “из одного двора”». И вот теперь, побывав в Москве вместе с женой, Струве писал вермонтцам: «Самое удивительное, что мы сразу же почувствовали себя дома, и это ощущение не поколебалось, наоборот только усилилось. Редко где и редко когда я чувствовал себя так непринуждённо, так раскованно, несмотря на тяжёлую атмосферу и нищету... Удалось ощутить, несмотря на сдавленность, суровость лиц, не только долготерпеливость, но и доброту, а поверх всего — домашность русского образа быть на улице, в магазине, в церквах. Это так далеко от западной чопорности...»*

---

* «Выставка “Имки”, с которой в Россию приехал Н. А. Струве, проходила в Библиотеке иностранной литературы в 1990 году и была похожа на чудо. Она, по условиям времени, не должна была состояться, но состоялась, — рассказывал В. А. Москвин (2007), директор Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье», один из организаторов издательства «Русский путь» как филиала «ИМКА-пресс». — Шла напряжённая переписка, требовались бесконечные согласования, сложные переговоры. Но всё удалось замечательно. При выставке работали читальный зал, книжный магазин, где продавались издания “Имки”, изд-ва им. Чехова, “Возрождения”, книги Солженицына. Выставка стала большим событием — в читальный зал стояла очередь, чтобы занять освободившееся место. Две недели, которые Струве провёл в Москве, были весьма насыщенными, встречи с ним собирали огромное количество народа, прессы. Россия стала для него открытием».

В декабре 1990-го ко дню рождения А. И. была присуждена литературная премия РСФСР за «Архипелаг». Параллельно «Военно-исторический журнал» публиковал сфабрикованные «мемуары» Л. Самутина (у которого в 1973-м «Архипелаг» был изъят) — до тех пор, пока вдова мемуариста не разоблачила фальшивку. «В нашей стране, — отвечал А. И. (получалось, что и тем, и другим), — болезнь ГУЛАГа и посегодня не преодолена — ни юридически, ни морально. Эта книга — о страданиях миллионов, и я не могу собирать на ней почёт». Власть хотела от него поддержки и сочувствия, приглашала к сотрудничеству («должен повлиять»). А он понимал, что единственная возможность сейчас «влиять» — это находиться в центре власти, пробиваться к ней, утвердиться на вершине. Но, писал А. И., это было ему и не по характеру, и не по желанию, и не по возрасту. «Так — я не поехал в момент наивысших политических ожиданий меня на родине. И уверен, что не ошибся тогда. Это было решение писателя, а не политика. За политической популярностью я не гнался никогда ни минуты».

События зимы—весны 1991-го виделись Солженицыну даже не как Февраль 1917-го, а как его дурная пародия. Шесть лет перестройки для экономики страны, жизни людей и порядка в государстве ничего не дали; из достижений оставались только «демсвободы» — это было, конечно, огромное благо, но к нему все как-то быстро привыкли, так что уже и не замечали, а митингами и демонстрациями даже и объелись. Все нетерпеливо хотели всего сразу и побольше и чтобы быстро, и без труда. Ленинград путем референдума готовился стать Санкт-Петербургом, и Солженицын, ощущая фальшь неоправданной, незаслуженной пока метаморфозы, писал жителям города на Неве, убеждая их в пользу *Петрограда*. Бесполезно.

В Москве тяжело и некрасиво ворочались издательские дела; Н. Д. изводилась, сгорала от их запутанности и непрозрачности, от ненадёжности партнёрства, от того, что печатание книг Солженицына в России стало предметом разбоя и грабежа. В. Борисов, представитель автора, вёл себя непонятно, подолгу не отвечал на письма и факсы (аппарат был послан ему из Вермонта для экстренной связи), не присылал отчётов и справок, уклонялся от объяснений. Оказалось — связался с какими-то кооперативными посредниками, да так прочно, что те уже вообще от автора перестали зависеть, только слали ультиматумы «о материальной ответственности в случае поправок и перемен» (А. И. называл эти ультиматумы «бандитскими трюками», Н. Д. — «кошмаром и бесстыдством», «московским ужасом» и «дурным сном»). А позже

всплыли двадцать (!!!) тайных договоров на сокрытые от автора издания, постыдная двойная бухгалтерия, обнаружилось отвратительное качество выпущенных книг, вскрылось надувательство читателей-подписчиков. Обжигающе больно было убеждаться в отступничестве любимого друга, бесстрашного перед ГБ, но сдавшегося жуликам. «Горе, позор, кромешный стыд... Живое страдание... Опустошительная, дымящаяся история... Ад».

В мае 1991-го высокая политика едва не втянула А. И. в свою глубокую воронку — побывать в гостях у писателя выразил желание Б. Ельцин, во время своего американского визита, намеченного на вторую половину июня. Отказать было невозможно, нелепо, хотя первое побуждение было именно «нет». Но ведь можно многое сказать с глазу на глаз — об объявленном суверенитете России (от кого?), о «дне независимости» (тоже — от кого?), о миллионах русских в союзных республиках (как — с ними?). «Издали Ельцин был мне симпатичен, и я верил, что в чём-то важном сумею его подкрепить». Но — визит не состоялся; как объяснили Але звонком из МИДа РСФСР, «есть колебания и противодействия», хотя «встреча с А. И. важнее, чем встреча в Белом доме». Потом, уже из Вашингтона, визит отменился звонком министра иностранных дел А. Козырева — «встреча не помещается в график». «Передайте Ельцину от А. И. — пусть не принимает поспешно программу “гарвардской группы”, как бы ни давили... Экономическая ловушка». «Козырев прямо прыгнул на эти слова...»

А дальше зажглось в России 19 августа... О том, что Горбачёв смещён, власть в стране взял Госкомитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) во главе с Янаевым, вице-президентом и выдвиженцем Горбачёва, а Ельцин назвал гэкачепистов государственными преступниками и отказался им подчиниться, Н. Д. узнала на рассвете по американскому *National Radio.* Весь день они не отходили от приёмников, не пропуская ни одного часа новостей (А. И. слушал Би-би-си и «Голос Америки», Н. Д. — все англоязычные станции). Что-то казалось несуразным в этом «путче», который, как полагал А. И., вовсе и не путч, не переворот. Сидящая во власти кучка стремилась укрепить своё положение, а укрывшийся в Форосе Горбачёв «по своей неизбывной нерешительности просто страховался на случай провала». «Хунта», однако, вела себя менее агрессивно, чем от неё можно было ждать. «Уверенное чувство, — писала Н. Д., — если хунта и одолеет, то ненадолго, опоздали они, люди уже другие, да и так плохо в стране, что терять осталось мало, — не примут “чрезвычайного положения” этих держиморд». Новизна положения

(банального рывка по закручиванию гаек) виделась А. И. в сильном общественном сопротивлении и в том, что власть потеряла энергию подавления, застыла в растерянности.

«А. И. счастлив за русское имя, за мужество людей, но очень тревожится, что все структуры сумеют себя сохранить, и тогда эти дни ничем не обернутся, кроме ярких воспоминаний», — записала 21 августа Н. Д. «Когда увидели мы по телевизору, как снимают краном “бутылку” треклятого Дзержинского, как не дрогнуть сердцу зэка?!.. Такого великого дня не переживал я за всю жизнь». 22-го А. И. снова открыл уже законченный дневник «Колеса». «Великие дни. Вся жизнь прошла под коммунизмом — а вот-таки — пал он. Перестоял я его, пережил». Но тревога не была напрасной: очень скоро счастливые минуты обернулись жгучим разочарованием — победители алчно делили власть, боролись за плацдармы в Кремле и на Старой площади. «Ельцин не разглядел никакого дальнего исторического смысла, ни великих перспектив, которые открывал удавшийся переворот, а, кажется, единственный смысл его увидел в победе над ненавистным ему Горбачёвым. И когда вся будущность России была как воск в его руках, поддавалась творческой лепке ежечасно и ежеминутно, и можно было быстро и безо всякого сопротивления начисто оздоровить путь России, — захватывали кабинеты и имущество... Вот их уровень».

От Солженицына ждали публичных восторгов, телеграмм и славословий победителям, а он почему-то не восхищался «парадом суверенитетов», рассекавшим Россию по фальшивым ленинско-сталинским границам. Вместо буйной радости душа затмевалась — страна теряла свои исконные области, выходы к морю, миллионы русских людей. 30 августа он обратился к Ельцину с письмом, где просил защитить интересы тех, кто вовсе не желает отделяться от России. Ему ответили «по-царски»: решением Генерального прокурора от 17 сентября аннулировали его «дело» за отсутствием состава преступления, сняли обвинение в измене родине и послали извинения. Этим устранялось юридическое препятствие для возвращения на родину (Горбачёв на такой шаг не решился и за шесть лет). 24-го Ельцин прислал писателю торжественно-успокоительное письмо: Россия учится жить по-новому...

Это «новое» разворачивалось на глазах Солженицына сокрушительной бедой — теперь он видел, что горбачёвское время было только её кануном, предвестием. 28 ноября 1991 года он последний раз обратился к дневнику. «Три Великие Смуты сейчас сошлись на моих столах: Смута Семнадцатого века, которую я слежу — по историкам, да как раз-то с

поиском уроков; Смута Семнадцатого года, доработанная до дна; и Третья Смута, сегодняшнего дня, гибельней обеих первых, и к которой "Колесо" так и опоздало, опоздало. Эти 75 лет немилосердно накладывались на нашу страну, — всё новыми, новыми давящими слоями, отбивая память о прошлом, не давая вздохнуть, опомниться, понять дорогу. И — опять мы на той же самой, февральской: к хаосу, к раздиру на клочки. И демократы наши, как и в 17-м году, получив власть, не знают, как её вести: и не мужественны, и не профессиональны. В Семнадцатом веке наш народ в глубинах страны был здоров, сыт и духом стоек. И устоял. В Семнадцатом году — ещё сыт и ещё здоров телом. А сейчас — все голодны, больны, в отчаянии и полном непонимании: куда же их завели?»

Тотальный развал и расползание России, наступившие в 1992-м, Солженицын назвал гигантской исторической Катастрофой и воспринял её как крушение своей собственной жизни, хотя уже 18 лет жил в изгнании. Всего себя и свои книги положить на борьбу с большевизмом, стать свидетелем его кончины, но увидеть, как вместо освобождения страна расплющивается и стонет под его обломками — этого именно и опасался он в «Обустройстве»! Ельцин, к которому всё ещё теплилась изначальная симпатия как к характеру русскому — замедленному, неповоротливому, но как будто лишённому корысти, двоедушия, коварства, — делал столько непоправимых, губительных ошибок, допускал такие чудовищные промахи, а Россия за них расплачивалась людьми, территорией, богатствами, утратой морального духа. А. И. хотел верить, что неописуемый ущерб, жестокие потери, которые несла страна, причинялись ей не по злому умыслу и расчётливому бесстыдству, но по неумению, незнанию, недомыслию. Хотелось верить в неизбежность и такого «этапа освобождения», каким поначалу казалась трагедия 1993 года. Разгон Верховного Совета, по своему устойчивому отвращению к коммунизму, А. И. воспринял как тяжёлый, но единственный выход из тупика двоевластия («Разрывалось моё сердце на всё это глядючи. Это пагубное двоевластие изводило меня») и был уверен, что исторический проигрыш коммунистических знамён закономерен. Только потом, в России, он понял и признал: обе стороны действовали не по принципу, а по политической тактике, притом что Ельцина вели «вовсе не государственные соображения, а только жажда личной власти. Уличные расправы были жестоки беспричинно и до бесцельности, а верней — террористически нагнать страх» («Зёрнышко»).

...Солженицын принял решение возвращаться, как только его «дело» было аннулировано. Но ехать было решительно некуда — никакого жилья ни в Москве, ни за её пределами у Солженицыных не было с тех самых пор, как ключи от квартиры в Козицком переулке в конце марта 1974-го были сданы в ЖЭК, государству. Надо было строить или покупать дом, налаживать работу Фонда в России, собирать в дорогу архив и библиотеку. И помнить, что едут они не в цветущую и богатеющую страну, а в больную, страдающую Россию, отданную на разорение и разграбление прытким «молодым людям», которые видят в ней вакантное государство, площадку для эксперимента, зону льготной и лицензионной охоты. Из России приходили письма обескураживающие: «Возвращаться — сумасшествие; жить у нас невозможно», «не торопитесь с приездом», «Россия — страна всех пороков», «повремените!» Но уже слышалась и новая песня: почему не едет? почему сидит в Вермонте? И потом: опоздал! опоздал!

Всё это Солженицыны учитывали, понимали — и всё же ехали.

Летом 1992-го Наталья Дмитриевна разведчицей отправилась в Москву, прожила там с Ермолаем и Степаном несколько недель, повидалась со старыми друзьями, обрела новых, целый месяц вместе с В. Курдюмовым ездила по ближнему Подмосковью — искала участок для строительства дома, ходила по учреждениям, добиваясь легализации многострадального Фонда. Надо было спешно найти надёжные пути доставки из-за границы посылок с лекарствами, едой и одеждой для старых зэков, доживающих свой век в нищете, — Н. Д. занималась этим в течение последних двух лет. В 1993-м весь приход о. Андрея Трегубова в Нью-Хэмпшире будет собирать тёплые вещи и обувь; Фонд — закупать бельё, консервы, растительное масло, чай, супы, сухофрукты, бульонные кубики; Г. Трегубова и Н. Д. — паковать грузы. Контейнеры (в каждом несколько сотен коробок) разъедутся по российским адресам.

И той же весной началось строительство дома в Троице-Лыкове, на северо-западной окраине Москвы — семья получила от города участок в пожизненное наследуемое владение («место это составило отраду моей старости», — скажет позже А. И.). Но даже и к весне 1994-го дом не будет готов, и Солженицыны временно устроятся в купленной ими городской квартире на Плющихе. А Фонду, с конца 1992 года легально работающему в России, достанется в «хозяйственное ведение» та самая квартира № 169 по Козицкому переулку, куда так и не прописали А. И. до высылки, где за ним

круглосуточно следили и откуда двадцать лет назад, арестованного, увезли в Лефортово.

...Начиная с 1992-го Солженицын прощался с Вермонтом, Америкой, чужбиной. Приезжал, впервые за годы изгнания, верный друг Можаев; ему одному открыл А. И. то, чего тогда ещё никто не знал: возвращаться с женой они будут не через московский аэропорт «Шереметьево», а через Дальний Восток, и просят Борю встретить их во Владивостоке; Борис Андреевич взялся участвовать в подготовке их дальневосточного путешествия. В вермонтском доме было записано двухчасовое телеинтервью со Ст. Говорухиным для «Останкино» — и российский телезритель в начале сентября 1992-го впервые видел на своих экранах писателя-изгнанника. «Ваше решение вернуться в Россию твёрдое? — Решение вернуться в Россию абсолютно твёрдое, неизменное, то есть даже сомнений нет. Я знал, что я вернусь, ещё тогда, когда надо мной все смеялись: быть не может, чтобы ты при своей жизни вернулся. — Что бы вы пожелали передать? — Боже мой, выздоровления России. Нравственного, духовного выздоровления, так, чтобы совесть у нас оказалась выше экономики и важней экономики. Тогда мы изо всего выберемся».

Весной—летом 1993 года все литературные работы в Вермонте были постепенно свёрнуты и подготовлены к переезду. Но прежде чем проститься с Америкой, А. И. с женой осенью 1993-го приехали в Европу. А. И. прощался с Цюрихом, потом с Парижем, где его узнавали и приветствовали, и он чувствовал себя во Франции как на второй, совсем неожиданной родине. Встречался с парижской интеллигенцией, участвовал в телевизионном «круглом столе» у своего знакомца Бернарда Пиво. «Говорили много о нынешней России, спрашивали, что буду делать на родине по возврате. Заверил я, что не приму никакого назначения от властей и не буду затевать избирательных кампаний; а вот поскольку буду говорить, не считаясь с политическими авторитетами, то не удивлюсь, если мне ограничат доступ к телевидению, к прессе». Корреспондент из «Останкино» В. Кондратьев в интервью для российских телезрителей спросил А. И.: могут ли какие-либо трагические события в стране оказать влияние на решение приехать в Россию в мае 1994 года? «Нет, никакого. Я действительно не вижу впереди светлого радостного облегчения ни для страны, ни для себя. Но решение моё абсолютно неизменно: родина у нас одна, выбор сделан, и срок этот нами был намечен давно. Мы возвращаемся весной 1994-го, в мае. Так это и будет».

Так всё и было. Но пока ещё длилась европейская поездка, описанная позже в «Зёрнышке», — Лихтенштейн (Меж-

дународная академия философии вручала Солженицыну почётную докторскую степень), Вандея (где отмечалось 200-летие восстания), Германия (здесь, 4 октября, и застала путешественников злая весть о пальбе и крови в Москве), Австрия, Италия, Рим, Ватикан, аудиенция у папы Иоанна Павла II. «К Папе я шёл с высоким уважением и добрым чувством. В прежние годы были между нами, в устных передачах третьих лиц, как бы сигналы о прочном союзе против коммунизма, это прозвучало и в нескольких моих выступлениях. Он тоже видел во мне важного союзника — однако, может быть, шире моих границ». Верный себе, А. И. говорил с папой о судьбах православия...

В феврале 1994 года на ежегодном городском собрании граждан Кавендиша, в той самой *Elementary School*, А. И. прощался с соседями. «Вы — сердечно поняли меня, и простили мне необычность моего образа жизни, и даже всячески оберегали мою частную жизнь, за что я вам глубоко благодарен все эти годы напролёт и завершающе благодарю сегодня! Ваше доброе отношение содействовало наилучшим условиям работы». Кавендишцы подарили Солженицыным на память мраморную плиту с надписью: руки, протянутые русской семье для прощания, всегда готовы к новому дружескому приветствию.

Весну 1994-го А. И. назвал «эпохой укладки» — сотни картонных коробок с книгами, рукописями, архивом, на каждой номера и надписи. Он прощался с окрестными холмами, прудовым домиком и столом меж четырёх скученных деревьев, со своим высоким кабинетом и балконом-верандой, где так хорошо думалось и писалось. В предвкушении решающей весны чувствовал себя окрепшим и помолодевшим: отступила даже стенокардия. Кавендишский дом оставался пристанищем сыновей — и был для них пока единственным родным местом на земле. Ермолай совершенствовал на Тайване свой китайский, но готовился лететь во Владивосток встречать родителей. Игнат учился в консерватории (знаменитом Кёртис-институте в Филадельфии), осенью 1993-го успешно гастролировал в России. Степан изучал в Гарварде градостроительство; им всем предстояло заканчивать образование в Америке. Жадно ждал возврата на родину Митя — в отличие от младших братьев, увезённых из России младенцами, у него *там* оставались друзья и привязанности.

...Ещё в Вермонте успеет А. И. написать в «Зёрнышке» страшные строки — о том, как 18 марта, внезапно, беспощадным ударом семью оглушила мгновенная смерть Мити от разрывного сердечного приступа. «В 32 года! — такая же

безвременная, как его прадеда, деда, дядьёв по мужской линии. Ладный, красивый, в молодой силе. Так и застыл — на пороге возврата на родину, оставив вдову с пятимесячной дочерью Таней. Это было смятенное горе. Не только для семьи, для десятков повсюду друзей, но для всего нашего прихода. Похоронили его — в православном углу вечнозелёного клермонтского кладбища. Так осталась у нас в Америке своя могила. Такое прощание...»

Вспоминал о. Андрей Трегубов (2007): «Смерть Мити — страшная трагедия. Смерть Богом не сотворена. Весь приход участвовал в похоронах, ведь этот приход был их, Солженицыных. Мы венчали здесь и Митю, и потом Игошу. Мы и Татьяну крестили. Это страшное потрясение, до сих пор. Митя, живой, спортивный, энергичный, нежно любил своих маленьких братьев, умел найти с ними внутренний язык и был для них проводником во внешний мир, их первой связью с Америкой, её запахами и вкусами. Они сроднились с этой землёй. Начинаешь чувствовать землю своей родной, если есть у тебя в ней своя могила. Для них память Мити имеет колоссальное значение».

Две маленькие туи по обе стороны невысокого гранитного креста, посаженные весной 1994-го, ныне пышно разрослись, и ещё выше, ещё наряднее стал клён, в тени которого покоится Дмитрий Тюрин.

...Последнее, что Солженицын написал в вермонтском доме, уже в «эпоху укладки», была публицистическая работа «“Русский вопрос” к концу XX века», обращённая к злободневности, если смотреть на неё через призму отечественной и европейской истории. С «Русским вопросом» он ехал домой (уже в июле его напечатает «Новый мир»), и теперь на главный тезис, поставленный в плоскости шекспировской — «*быть* нашему народу или *не быть?*» — соотечественники получали шанс отвечать вместе с Солженицыным. А. И. надеялся встретить на родине духовно здоровых людей, строителей новой России — «может быть, они, возрастая, взаимовлияя, соединяя усилия, — постепенно оздоровят нашу нацию». Ибо «Русский вопрос» в конце XX века заключался в неисполненном уже два с половиной столетия Сбережении Народа.

«Я боялся дожить в Вермонте до смерти или до последней телесной слабости. Умереть — я должен успеть в России. Но ещё раньше успеть — вернуться в Россию, пока есть жизненные силы. Пока — ощущаю в себе пружину. Есть жажда вмешаться в российские события, есть энергия действовать. Плечи мои ещё не приборолись, у меня даже — прилив сил...

Что-то ещё успею сказать и сделать?»

Часть восьмая

ДОРОГА ДОМОЙ

Глава первая

ВЕКТОР ВОЗВРАЩЕНИЯ. КАВЕНДИШ—МАГАДАН—МОСКВА

Загадка возвращения Солженицына домой — в том, что он начал «возвращаться» сразу, как только оказался в изгнании. «Я вижу день моего возвращения в Россию», — сказал он Н. Струве в первый день их знакомства в Цюрихе и вскоре заявил о своём намерении публично, в интервью журналу «Тайм», в мае 1974-го: «Смысл всякого эмигранта — возврат на родину. Тот, кто этого не хочет и не работает для этого — потерянный чужеземец». С тех пор при каждом удобном случае А. И. повторял магические слова: «Впереди у нас цель — возврат в Россию... Мы верим, что вернёмся» (июнь 1974-го). «Я просто живу в этом ощущении: что обязательно я вернусь при жизни. При этом я имею в виду возвращение живым человеком, а не книгами, книги-то, конечно, вернутся» (май 1983-го). Надежда и необъяснимая убеждённость, что ещё живым он вернётся на родину, не покидали его никогда, все двадцать лет. В то, что не пройдёт и десятилетия, как от коммунистического государства останутся одни обломки, верил, кажется, один Солженицын. То, что советский режим саморазвалится от накопленных в нём продуктов гниения, видел тоже один Солженицын, но когда он говорил об этом «ad mortem», его мало кто слышал.

«В свой возврат я верил и в самые безнадёжные годы», — писал он в августе 1990 года главе российского правительства, когда вдохновлённый гласностью тот позвал писателя на родину «в гости». Ехать домой *гостем*? Ему, дважды арестанту Советского Союза? Последней русской едой на родине стали пустые тюремные щи и овсянка на воде; последними русскими пейзажами — заснеженные постройки из окна тюремной машины по пути в Шереметьево, последними собеседниками-соотечественниками — тюремный эскорт: врач и семь чекистов. От тюремного белья до пальто и шапки, от

галстука до ботинок со шнурками, и даже краюха чёрного хлеба, упрятанная в карман пиджака, — всё было казённым, лефортовским. Когда его выпихнули из самолёта на чужую территорию, личного, своего, имелись при нём только наручные часы да нательный крест. С ними и началось изгнание.

Теперь изгнанный, но не блудный сын, Солженицын дал подновлённой власти несколько уроков. Он приедет — но не прежде, чем «Архипелаг ГУЛАГ» будет напечатан массовым тиражом. Он приедет — но не прежде, чем окончит «Красное Колесо», работу всей жизни, то есть «живо и бережно уберёт свой урожай». Он приедет — но не прежде, чем с него публично снимут позорное обвинение в измене. Каждое из условий было экзаменом для отцов перестройки, однако, сдавая его, они даже не заметили, что экзаменатор, остающийся в Вермонте, на самом деле уже давно присутствует на родине.

Солженицын не выбирал момента, когда бы возвращение принесло ему наибольшие политические дивиденды. За время своего *неприезда* он пытался приучить общество к мысли, что возвращается в качестве писателя, а не политика, спешащего занять вакантное поприще «аятоллы», партийного вождя или всенародного избранника. «Солженицын опоздал. В 1985-м он вернулся бы героем. В 1988-м — пророком. Вся страна читала “ГУЛАГ”. В 1990-м — стал бы членом Президентского совета», — писал в марте 1993-го «Московский комсомолец», обнажая «мелкие целевые мысли». Солженицын показал пример несуетного поведения в момент наивысшего общественного нетерпения, и потому его физическое возвращение домой пришлось как раз вовремя: остыла горячка ожидания («приедет», «возглавит», «рассудит»), осталось позади опьянение гласностью, рассеялся псевдодемократический туман. На смену романтической, хмельной эпохе пришли продажность и цинизм. Самое время, чтобы заговорить о национальном самосознании, исторической памяти, моральной ответственности; самое время, чтобы начать кропотливую работу.

Непреклонной верой в возвращение на родину Солженицын подрывал смысл существования Третьей эмиграции как политического явления, обессмысливал её «странничество», её высокомерие к тем, кто остался дома «по подлой совместимости с проклятым режимом»: ибо если в страну ехал насильно изгнанный Солженицын, то чтó делают за границей страдальцы, оказавшиеся там по своей воле? Как теперь они будут объяснять затянувшуюся эмиграцию? Ведь для самооправдания нужно, чтобы на родине было как можно хуже и чтоб это «хуже» продлилось как можно дольше.

Возвращение Солженицына было катастрофой для коммунистов: автор «Архипелага» не оставил им ни единого шанса на историческое уважение, показав, что ГУЛАГ — это не крайности системы, это сама система. Он бросил вызов «коммунистическому выбору» своей страны, поставил на кон свою жизнь и стал автором сбывшегося пророчества о крушении коммунизма. Но и тем, кто ловил рыбку в мутной воде продажной демократии, дикого рынка, политического цинизма, было очень некомфортно от мысли, что вот-вот на подведомственных территориях появится величина, нравственный авторитет, и скажет неотразимое: «Мы перестали видеть цель, для которой живём».

Перспектива его присутствия в стране многим отравляла жизнь. «Жить не по Солженицыну!» — такой истошный вопль исторгла накануне приезда писателя одна из столичных газет, выразившая жажду всех *новых русских* жить без помех, с *правом на бесчестье* — так, чтобы вокруг никто и ничто не кололо глаза. «Он является в Россию праздничный, как Первомай, и, как он же, безнадёжно устаревший. Протопоп Аввакум для курёхинской Поп-механики. В матрёшечной Москве он будет встречен как полубог, вермонтский Вольтер. А кому он, в сущности, нужен? Да никому. Возвращение живых мощей в мавзолей всея Руси. Чинно, скушно... Нафталину, ему, нафталину. И на покой». Множество раз придётся услышать Солженицыну в первый год своего возвращения злобное, яростное шипение: «Не нужен! Не нужен!»

За годы перемен в России сформировался пишущий класс, опьяневший от дармовой свободы. Весной 1994-го столичную прессу сразила повальная болезнь: самые известные перья спешили заявить, что ни в коем случае не станут ни трубадурами, ни придворными, ни свитой при Солженицыне. Будто ждали (и боялись!), что приедет начальник гласности, главнокомандующий свободой слова. Какое знамя подымет, какую партию создаст и возглавит (или, на худой конец, к какой партии примкнёт), с кем пойдёт на выборы и даст ли избрать себя — эти гадания стали главным занятием «пикейных жилетов» журналистики и политической аналитики. Заявления: «Время Солженицына прошло», «Солженицын возвращается в страну, которую не знает и которая его практически забыла», «Солженицын безнадёжно устарел» — служили тестом на вольномыслие.

Общим местом для «господ ожидающих» стал и взгляд на Солженицына как на конструктора своей судьбы, режиссёра своей биографии, которая, как и всякая пьеса, требует за-

конченности. Вернуться на родину — это как поставить восклицательный знак в конце текста. Вот и едет — ему нужно, чтобы всё было «правильно». Но придумать такой ход — въехать не как все, не через Москву! Вряд ли найдётся в мире режиссёр, кому бы этот сценарий пришёл в голову — а ему пришёл. Солженицын ничего не делает просто так, не просчитав последствий. Он, как солнце, взойдёт на Востоке и напишет, как Радищев, «Путешествие из Магадана в Москву». С барина снята опала, и он едет ревизовать вотчину. Солженицын едет в Россию, как врач к пациенту («а больной он и есть больной»).

Москва нацеливалась следить, как «ревизор из-за границы» станет собирать жалобы на всём пути следования. Газеты захлёбывались от фантазий, сценариев, живых картин; предвкушали, смаковали... И охотились за компроматом, нанимая тех, кто с азартом выполнял работу по снижению образа — отслеживал первые шаги по родной земле самого знаменитого «возвращенца» и «фиксировал в материале» те из них, которые при нужном свете можно было выдать за нелепые и несуразные, и вот уже кумир освистан, разоблачён, развенчан, свергнут с пьедестала. Самое Свободное в Мире Радио уговаривало в те дни и меня, автора этих строк, подглядеть, как *он*, авось, да и поскользнётся на какой-нибудь арбузной корке или разобьёт где-нибудь китайскую вазу. Из Главного Центра Управления Демократией звонили мне с ультиматумом: «Или *он*, или мы» (*он*, конечно, *он* — в любом случае!). Самый Либеральный в России Альманах объяснял мне — *он*, да на страницах нашего издания, да никогда! Самая Перестроечная Газета внушала мне: *нас* его приезд нисколько не интересует!

Много было даже оскорблённых в своём патриотическом чувстве — почему путешествие снимает Би-би-си (а не отечественная телекомпания), почему семья едет в специальном вагоне (а не в общем или плацкартном, пересаживаясь на каждой станции и перетаскивая в руках багаж), почему обычные гостиницы предпочитаются резиденциям или наоборот. Нашёлся оригинал из собратьев по цеху, который возмутился самим средством передвижения: «В Россию нельзя возвращаться на самолёте или на поезде — только пешком... Если уж Солженицын взвалил на себя ношу пророка, надо было возвращаться пешком. А он поехал в поезде, да ещё и в литерном, да ещё всё это сопровождалось шоу» («оригинал» выразит и личную претензию: «Солженицын живёт в недоступном для простых людей месте, к нему нельзя прийти, а ко Льву Николаевичу Толстому можно было

прийти. А раз к нему нельзя прийти или запросто позвонить, то для меня его в стране нет»).

Встречающие Солженицына крики озлобления, равно как и возгласы ликования, более всего свидетельствовали о нравственной подлинности его жизни. «Как будет выглядеть на фоне бойко тусующихся "пародистов действительности" этот огромный человек, который перерос литературу и сам стал героической действительностью XX века?» — волновался Е. Евтушенко. Ему отвечали лучшие люди страны. «Приезд Солженицына — настоящий праздник для всех нас. Сам этот человек, его жизнь и то, что он приезжает, — настоящее Чудо Божье» (И. Смоктуновский). «Счастлив, что моё преображающееся Отечество может вернуть народу своего великого изгнанника. Думаю, что Александру Исаевичу будет у нас интересно...» (М. Захаров). Америка, давшая приют писателю, ныне провожала его с подобающим уважением. «Беспрецедентный моральный авторитет, — сказал о нём диктор американского телевидения. — Он не пел гимнов Западу, а осуждал его за отсутствие духовности, за разлагающее влияние материализма». «Солженицын по совокупности своей, как писатель, как историк, как нравственный проповедник — разламывает рамки узкополитического подхода. В этом он абсолютно последовательное русское явление, — заявил Э. Неизвестный и не поскупился добавить: — Есть люди судьбы. Люди, которыми рок, Бог или судьба пишут историю».

...25 мая 1994 года, после полудня, Солженицыны — А. И. с женой и 20-летним сыном Степаном — выехали из Кавендиша на машине в сторону Бостона, где в международном аэропорту «Логан» (*Logan Airport*) сели на самолёт авиакомпании «Дельта эйрлайнз», вылетевший рейсом на Солт-Лейк-Сити (штат Юта) и далее в Анкоридж (штат Аляска). В Анкоридже они пересели на рейс авиакомпании «Аляска эйрлайнз» до Владивостока с посадкой в Магадане. В связи с отъездом семьи стал публично известен и точный адрес усадьбы, который жители Кавендиша благородно скрывали от посторонних все 18 лет: выехав из городка по дороге № 131, надо свернуть направо у хозяйственного магазинчика «Ira Belknap and sons», проехать мимо старинного кладбища и съехать с асфальта на узкую грунтовую дорогу длиной в четыре километра — она и приведёт в Пять Ручьёв. Ни один из 1323 кавендишцев никому и ни разу за все годы не показал эту дорогу. А владелец единственной в городке продуктовой лавки «Cavendish General Store» Джо Аллен на видном месте у входа держал табличку: «Shirts requred. No bare feet. No

directions to the Solzhenitsyns» («Рубашки обязательны. Не входить босиком. Не показываем дорогу к Солженицыным»).

Городской библиотеке Кавендиша А. И. подарил 11 томов своих сочинений на английском языке, надписав каждый том: «Жителям Кавендиша». «Я думаю, это честь для нашего города, — говорила журналистам библиотекарь Джойс Фуллер. — Хотя у нас и не было обычных встреч день ото дня, поскольку он вёл уединённую жизнь, и люди уважали это. Такое скромное поведение вполне соответствует духу Вермонта». Накануне отъезда Н. Д. скажет «Известиям» по телефону из дома: «Америка — это для нас Вермонт, штат не очень типичный, бедный, населённый людьми гордыми, хранящими много традиций, высоко достойных уважения. Это — часть Новой Англии. Мы прожили рядом с этими людьми очень хорошие восемнадцать лет. Кроме того, это изумительно красивый штат...» Единственными журналистами, которые в день отъезда были допущены за ограду усадьбы, была съёмочная группа Би-би-си, получившая право на создание фильма о возвращении Солженицына. ИТАР—ТАСС, в свою очередь, получило «добро» на оглашение даты прилёта семьи во Владивосток.

...27 мая 1994 года после двадцати лет, трёх месяцев и четырнадцати дней вынужденного проживания вне Отечества Солженицын вновь ступил на родную землю. Это произошло в аэропорту Магадана, столицы Колымского края, где сел на дозаправку лайнер из Анкориджа. График полёта предусматривал получасовую стоянку, но, казалось, авиаторы не торопятся. Выйдя из самолёта, Солженицын сделал заявление для прессы: «Я приношу поклон колымской земле, схоронившей в себе многие сотни тысяч, если не миллионы, наших казнённых соотечественников. Сегодня, в страстях текущих политических перемен, о тех миллионах жертв легковесно забывают — и те, кого это уничтожение не коснулось, и тем более те, кто это уничтожение совершал. А ведь истоки нашего нынешнего затопления — они оттуда. По древним христианским представлениям — земля, схоронившая невинных мучеников, становится святой. Такою — и будем её почитать, в надежде, что в Колымский край придёт и свет будущего выздоровления России».

Выдержать столь высокую ноту Центральному телевидению было невмоготу. Солженицын только выходил на лётное поле Магадана, а дикторы уже спешили сообщить, что лишь 42 процента населения придают большое значение приезду писателя. Он едва успел поклониться колымской земле, как программа «Намедни» повторила банальность:

«Солженицын восходит с Востока». Позже известный газетный телекритик, разделываясь с сюжетом, раздражённо опишет его «своими словами»: «Картинно поклонившись в пояс и прикоснувшись ладонью к асфальту, Солженицын выпрямляется “с лицом одухотворённым и строгим” и произносит патетическую, заранее отрепетированную речь».

После второй, незапланированной, из-за ливня во Владивостоке, посадки в Хабаровске (к самолёту подошёл депутат Госдумы В. Борщев, разговаривал, стоя на трапе, с Н. Д. и со Степаном) самолёт ещё полтора часа кружил вокруг грозы. Пролетев в общей сложности 38 часов, путешественники приземлились во Владивостоке, где их встретил Ермолай, прибывший сюда двумя днями ранее из Тайбэя. Из друзей — только оповещённые заранее Б. Можаев и Ю. Прокофьев, кинооператор говорухинского фильма. «Это тот самый звёздный час, мой Тулон, такая высота, которой, наверное, больше не будет», — говорил Прокофьев коллегам-журналистам. Ещё в Вермонте, а потом и в Москве, куда с разведкой приезжала Н. Д., обсуждался вопрос, сможет ли какая-нибудь российская телекомпания при существующем развале справиться с работой (по ходу поездки Прокофьев сделал много горьких наблюдений. «Не владея по-настоящему ремеслом, некоторые отечественные журналисты уже переплюнули зарубежных по части высасывания из пальца всевозможных дешёвых сенсаций, в охоте за “клубничкой”, “за жареным”... Стремление некоторых наших коллег вторгаться в частную жизнь Солженицына не раз выходило за рамки приличия»).

Почти все телекомпании мира, кроме российских, обратились к Солженицыну, предлагая свои услуги. А. И. отдал предпочтение Би-би-си, имевшей прочную профессиональную репутацию, с одним только условием: должен быть бесплатный показ картины по российскому телевидению. Первоначально А. И. действительно собирался путешествовать на перекладных, но железнодорожные переезды и встречи с людьми — занятия несовместимые. Прокофьев взялся устроить аренду двух постоянных вагонов (в каких выездная редакция программы «Время» целый год колесила по стране), снабдить их специальной связью, организовать сносный быт, питание — благо экипаж во главе с капитаном привередливостью не отличался. «А *как* нам по Сибири ехать? — объяснял А. И. позже. — С двадцатью ссадками с поездов и столькими же посадками, сиденьем на станциях в разное время суток, и ночами, и зависимостью — найдётся ли нужное количество билетов в один вагон? и нужное число мест

в гостинице? И после этих бессонных передряг — с какой несвежей головой — встречи с местными людьми? выступления? поездки по округе?»

Владивосток встречал Солженицыных дождём и холодным ветром, неистовством корреспондентов (в аэропорту с кино-, видео- и фотокамерами к нему бросилось около трёхсот журналистов, сметая ограждения и охрану), хлебом-солью, цветами, приветствиями епископа Владивостокского и Приморского, а также вице-губернатора Приморья. Несколько тысяч человек, прождав писателя более трёх часов (самолёт, перебрав время на дозаправках, опоздал), восприняли его приезд как подарок. «Солженицын возвращается — это к добру», «Если такие люди возвращаются, значит, не совсем ещё пропала Россия» — звучало на центральной площади города, сохранившей название «Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке». «Сол-же-ни-цын!!!» — скандировала площадь, едва показался автобус. А. И. шёл сквозь людскую стену, к нему тянулись руки с книгами, листками, цветами. Взойдя на дощатый помост, произнёс: «Я знаю, что возвращаюсь в Россию истерзанную, ошеломлённую, обескураженную, неузнаваемо переменившуюся, в метаниях ищущую саму себя, свою собственную истинную сущность... Я жду достоверно понять ваше нынешнее состояние, войти в ваши заботы и тревоги — и, быть может, помочь искать пути, какими нам вернее выбираться из нашей семидесятипятилетней трясины».

На площади со своими лозунгами стояли и «белые», и «красные». На вопрос из толпы: «Как искать?» — А. И. привёл пример из истории России XVII века, когда разорванная страна поднялась не силой бояр, а инициативой городов, стремившихся объединиться. Обязанность объединителя общество готово было доверить Солженицыну, только что шагнувшему с трапа самолёта.

«В России ты сегодня или святой или грешник, — писала в те дни «Комсомольская правда». — Середины не бывает. Провожали мы Солженицына как грешника. Встречаем — как святого. А он — ещё и просто живой человек. Писатель. И то, что он возвращается, — это ещё не итог. Это только начало». А далее — встречи с учёными, с учащимися старейшей городской гимназии, со студентами технического университета, пресс-конференции для российских и иностранных журналистов в актовом зале краевой администрации. «Длилась она два с лишним часа, — писал Можаев. — Её передавали и по местному телевидению, и по радио. Мы-то в простоте душевной думали, что она пойдёт по стране. Не

тут-то было. Слишком он круто взял в оборот нынешнюю реформу, слишком горячо доказывал пагубность её для народа. Вот почему дальше Приморья передача не пошла. Москва, как и прежде, не приемлет такой критики».

«Солженицын критиковал и поучал», — писала столичная пресса, боясь впадения в пафос; содержание «поучений» волновало её куда меньше, чем антураж затрапезной гостиницы «Владивосток», где остановился писатель, отказавшись от предложенных на выбор загородных госдач и пансионатов (где обычно проживали генсеки и звёзды экрана). Обозреватели светской жизни набрасывались на «низкие подробности» (вроде тараканов в гостиничных номерах) и доискивались, имеют ли место в сценарии возвращения дармовщина, популизм и показуха. Раз искали — то, конечно, и находили.

С Владивостока и районов Приморья начался процесс взаимного узнавания писателя и страны, от которой он был отторгнут на двадцать лет. Солженицын выступал в особом, «вечевом», по слову Можаева, жанре. Обращался к публике с просьбой выйти и сказать о главном — чтó нужно сделать для улучшения жизни. «Обычно выступало человек 17—20. И только потом говорит Солженицын. Постепенно втягиваясь в проблемы, сам загорается и говорит сильно, горячо. Обвальный грохот аплодисментов! Мигом пролетают два-три часа удивительно захватывающего действа... По сравнению с этим заседания нашей Думы — жалкий и скучный лепет младенцев. Не один Солженицын страшен для чиновников-запретителей, — грозен и страшен народ наш, говорящий на таких встречах во весь голос. Вот в чём суть».

Меж тем президент России Б. Ельцин в приветственной телеграмме выражал уверенность, что талант Солженицына, историка и мыслителя, поможет обществу в благоустройстве России. Твёрдости в отстаивании высоких этических принципов желал ему и председатель Госдумы И. Рыбкин. А писатели-либералы, одержимые ревностью, неприлично выходили из себя... От этого имени хочется защищаться, хвататься за револьвер... Событие не имеет отношения к литературе... Это факт частной жизни... Это человек, выпавший из времени, что, естественно, делает его гротескным персонажем... Попытка сделать из «возвращения» событие государственной важности — реанимация монстра по имени «советская литература»... Ругать реформаторов, которые его принимают, бестактно... Он не понимает, что без них мы бы подохли с голоду...

Нервничали и «почвенные» литераторы: Солженицын — диссидент и негативист по основной своей силе и славе. «Э,

нет! — вступался за друга Можаев. — Писатель не командир бронепоезда, а литература не телега с кобылой, которую можно двинуть на задворки: серьёзный писатель ничего общего с диссидентством не имел во все времена. Литература истинная всегда отражала жизнь реальную, и нет вины писателя в том, что за его полы и штанины цепляются подорожные брехуны из диссидентов». Сказал своё веское слово и В. Распутин: «Он возвращается ни к правым, ни к левым, а в Россию. И думаю, что он употребит свой огромный мировой авторитет на поддержку России национальной и самостоятельной».

Новостные телепрограммы два месяца держали страну на голодном пайке — никто не видел ни встреч, ни пресс-конференций. Секундные включения, невнятные сообщения — и развёрнутые комментарии ведущих: «Есть ли повод для ажиотажа? В Россию возвращается пожилой человек, не самый худший из русских писателей, книги которого лежат в магазинах и популярностью не пользуются. Скорее, не нам надо думать, как мы его встретим, а ему надо думать, знает ли он родную страну...» Не только у жены писателя, но и у всякого российского телезрителя были все основания сказать о «пишущих и снимающих»: «Они замалчивали поездку Солженицына или пытались высмеять, принизить его значение».

А он предвидел, что даже и первые шаги по России не будут лёгкими. «Я не собираюсь подлаживаться и стремиться кому-то понравиться», — сказал он в Хабаровске. Здесь и во Владивостоке ему помогал освоиться Можаев — позже А. И. благодарно вспомнит, как втроём со Стёпой и с Борисом они оторвались от корреспондентов и в своё удовольствие побродили по городу. «Ничего б того я без Бори бы не охватил: и как рождалась планировка города, и как он застраивался, и где что было, или кто жил, начиная аж от гражданской войны». А. И. пояснял хабаровчанам, что на Дальнем Востоке никогда не бывал — в 1950-м в тюремном вагоне его довезли до Новосибирска, а потом завернули на Казахстан. И то, что для возвращения он выбрал более длинный, кружной путь — через восточные территории страны, вызвано единственным желанием узнать, чем живут и дышат люди. После Хабаровска семья разделилась: Ермолай остался с отцом на всё время путешествия, Наталья Дмитриевна, Степан и Борис Андреевич 4 июня улетели в Москву.

Сказать, что Москва-медиа только посмеивалась над путешествием Солженицына, было бы неверно. Она ещё и тревожилась. Взвинченные ведущие центральных каналов сооб-

щали, что в Иркутске писателя намерены встретить национал-патриоты, а в Красноярске — правые экстремисты. И что отказ от участия в политической борьбе (о чём Солженицын всюду заявлял публично) никто всерьёз не воспринимает. «В Россию возвращается русский националист», — заявили «Итоги» («Вы отдаёте себе отчёт, — строго спросит писателя уже в Москве телеведущий, — что коммунисты могут использовать ваши идеи как свои? Вы не боитесь, что ваши слова будут восприняты как обоюдоострое оружие?»).

В дни ожидания (Солженицын всё ещё ехал по стране и беседовал с народом) вышли в эфир «Подробности». «Считаете ли вы, что Солженицын тот самый человек, который сконцентрирует в себе нравственный и духовный авторитет? К нему будут ходить, как в Мекку. За его мнения, за его позицию будут бороться различные политические группы — за его снисходительное слово, за его поощрение, за его одобрение... Чем это может кончиться?!» — панически восклицал ведущий, допрашивая депутата Госдумы В. Лукина, зная, что тот, в бытность свою российским послом в США, переписывался с «человеком без гражданства». Лукин ответил: «Он не мог не приехать. Он человек России и человек судьбы. Несколько раз он делал такой выбор, который захватывал воображение. Он, фактически в одиночку, бросил вызов чудовищной, невиданной до этого государственной машине — чудовищной, пусть деградировавшей, но всё ещё эффективной. И выиграл, в сущности... И он, не будем этого забывать, не уехал сам — его буквально вынесли из России... Для меня и людей моего круга то, что скажет Солженицын, его похвала или порицание значат очень много. Но значит ли это очень многое для очень многих?» И Лукин, предвидя дальнейший ход событий, задал ведущему, в нарушение дипломатической сдержанности, яркий риторический вопрос: «Насколько мы оскотинели, чтобы не слушать таких людей, как Солженицын?»

Но Москва — Москвой, а Россия — Россией. Очевидцы и участники общений Солженицына в российской провинции свидетельствовали об остром дружелюбии встреч, о многих сотнях народа, жаждавших Слова писателя, а не развлекательного зрелища. Это столичные телевизионные шоумены и газетные пикейные жилеты уговаривали друг друга: «Частное дело, частный случай, частное мнение...» Но какое же оно *частное*, когда к путешественнику устремляются тысячи людей и, между прочим, сотни журналистов со всех стран мира? Километры видеоплёнки без обмана, монтажа и мистификаций запечатлели диалоги Солженицына с теми,

кто приходил его слушать, спрашивать, а также говорить: Иркутск, Красноярск*, Новосибирск, Пермь... Ему жаловались, его упрекали, его побуждали выступать, от него требовали объяснений, но всё происходившее было взаправду, без глума и зубоскальства. Русская провинция оказалась той самой аудиторией, с которой можно было говорить на одном языке. Солженицын назвал его *языком боли.* (Степан Солженицын вспоминал приморских соотечественников как людей очень живых, ничуть не уступавших москвичам ни умом, ни чутьём, ни сердцем**.)

А Солженицын тем временем говорил и о столице: «Москва всегда жила другой жизнью... Москва относится к остальной России, как Европа к Москве... В Москве создался эллипсоид, внутри которого остро реагируют лишь друг на друга... Они перестают чувствовать, что происходит вокруг и за её пределами». И Москва демонстрировала, что и в самом деле не верит ни слезам, ни стонам. Слова Солженицына: «Я не могу уйти от народной боли... Я приехал сюда не потому, что страна цветёт...» — осколочно пробивавшиеся на Центральное телевидение, воспринимались внутри «эллипсоида» как зловредная пропаганда оппозиционных идей и едва ли не как начало предвыборной кампании самого Солженицына.

За 55 дней поездки по стране он успел сказать столько, что к его приезду в Москву «эллипсоид» раскалился добела: лидер коммунистов на всякий случай заявил, что будущий президент должен быть молодым и здоровым. «Эллипсоид»

---

* А. И. рассказывал о встрече с В. П. Астафьевым в Овсянке: «Я у него часа три погостил, по берегу Енисея мы с ним погуляли, в библиотеку он меня сводил, на кладбище, могилам его родных поклонились. Понравилось мне у него. Этот домик его на деревенской улице, там, где родился, могучая сибирская река, скалы, тайга — всё это мне представляется прекрасным обрамлением этого талантливого писателя, честного, искреннего, правдивого. Я читал всё, что выходило из-под его пера, и до высылки из страны, и в Вермонте».

** «Уже полных 13 лет прошло с тех пор, — отмечала Н. Д. Солженицына, выступая на Международной научной конференции «Aleksandr Solzhenitsyn as Writer, Myth-maker & Public Figure» в Урбане (США), проходившей в июне 2007 года, — а в глазах так и стоят те незнакомые, но родные лица, и звучат их тёплые слова тёплыми голосами, и памятно первое потрясение от русской речи, льющейся отовсюду. Полгода назад, в Париже, Мюнхене, Риме А. И. ходил не без труда, часто останавливался, я с тревогой думала: как он вынесет намеченный в России марафон? Теперь его было не узнать, он без отдыха ездил со встречи на встречу, молодо взбегал по лестнице, постоянно записывал в свои маленькие блокноты горькие речи собеседников, сам говорил в вузовских аудиториях, в тесных ординаторских, в театральных залах, его забрасывали вопросами, не расходились по многу часов».

более всего тревожился в связи с критикой реформ и пророчил, что сосуществовать властям с таким критиком, как Солженицын, будет весьма неуютно. Ключевая фигура «эллипсоида», ведущий «Итогов» Е. Киселев, комментируя решение Госдумы пригласить писателя, волновался: «Беспрецедентно: антикоммунист Солженицын получил право беспрепятственного обращения к российскому народу благодаря голосованию фракции коммунистов. Похоже, они действительно хотят поднять его как знамя» (интересно, как представлял телеканал «НТВ» препятствия общению Солженицына с народом?).

И как же согласованно разные телепрограммы выражали одну и ту же тревогу, одни и те же опасения; как тщательно подбирались фигуры, умевшие изобразить на экране беспокойство появлением на политическом небосклоне беззаконной кометы! Цена этим чувствам будет точно обозначена во «Взгляде», первой московской программе, которая пригласит Солженицына в студию: «Если бы он умер по дороге, тогда бы ему раздалась хвала из уст всех политиков...» Итак, Москва готовилась встретить Солженицына не столько любовью, сколько боязнью, не столько надеждой, сколько ревностью. Из всех чувств, разрывавших «эллипсоид», политическая ревность к автору «Красного Колеса» выглядела наиболее удручающе: дело не в том, что претенденты на духовное лидерство видели в Солженицыне соперника, а в том, что *его* соперниками они считали *себя*.

На сорок пятый день путешествия Центральное телевидение показало несколько секунд пребывания Солженицына в Тобольске, месте сбора арестантов и ссыльных царского времени. Нобелевский лауреат с тетрадью для записей спешил с кладбища на завод, из колхоза в Дом культуры, а московские министры и партийные руководители требовали подробных докладов, где останавливается путешественник, с кем и о чём беседует, кого критикует. Солженицын не мог изобрести для центральной власти худшей пытки, чем этот «крестный ход» по бывшим пространствам ГУЛАГа. «Есть ли что-нибудь новое об Александре Исаевиче?» — такой вопрос, по слухам, каждое утро за завтраком задавал президент, и некий его советник шутил в ответ: «Можно подумать, что этот человек ведёт за собой огромное войско». «Солженицын будет на нашей стороне, это мощное оружие», — был убеждён Ельцин, как только стало известно о приезде А. И., но первые же шаги писателя по русской земле поставили президента в тупик. Патриот и антикоммунист, Солженицын говорил о России *всю правду* без оглядк-

ки на власть и оппозицию, называл режим «мнимой демократией», ставив ему тяжелейший диагноз: «хитроумное слияние бюрократов, номенклатурщиков и прожжённых дельцов: они объединились, и это ужасно».

Следуя нравам «эллипсоида», Солженицын как антикоммунист должен был сомкнуться со сторонниками существующего режима или, удручённый впечатлениями, подхватить знамя оппозиции. Однако он ничего не подхватывал и ни с кем не смыкался, лишь записывал в тетрадь самое горькое: «Россия сегодня в большой, многосторонней беде. Стон стоит. Деревня работает бесплатно. Крестьянство по-прежнему во власти колхозно-совхозного начальства. Сельское хозяйство может иссякнуть. Врачи и учителя работают уже по инерции долга. Демократии нет. Народ — не материал для избирательной кампании. 63 процента населения или бедны, или нищие. Людям не во что одеться, ходят в старом запасе. Двух буханок хлеба в день уже не купить, нельзя поехать к родным даже на похороны. Позвонить в другой город, другую республику — месячный заработок. Рождение ребёнка — подвиг, почти безрассудство. Вымирают люди среднего возраста, людей низа выбросили из жизни. Москва отвернулась от России».

А Москва в это самое время торопилась поделить между «своими» государственное имущество, проводила второй этап денежной приватизации (большинство населения проморгало и первый), создавала миллионные состояния, назначала из *своих* будущих олигархов. Несомненно, не *эта* Москва стояла среди встречающих на Ярославском вокзале, когда там, 21 июля 1994 года, появился Солженицын. «К началу девятого вечера Ярославский вокзал был запружен множеством людей, жаждущих лицезреть гиганта мысли и отца русской демократии» — так, в стиле постперестроечного полураспада, писал «Московский комсомолец», соревнуясь с конкурентами лишь броскостью заголовков: «Солженицын проехал по России красным колесом», «Он пришёл дать нам волю», «Солженицын на броневик не пересел», «Солженицын, перестаньте обустраивать Россию!».

В зеркале солидной прессы событие выглядело почти торжественно. А. И. прибыл в столицу из Ярославля, где вместе с семьёй (из Москвы туда приехала жена вместе с сыном Игнатом, незадолго до того прилетевшим с бабушкой из Америки) сделал последнюю остановку на пути домой: она была самой продолжительной в транссибирском путешествии и самой светлой по впечатлениям. «Я ехал с весьма печальной, мрачной оценкой того, что делается в Рос-

сии, — говорил А. И. на встрече с жителями города. — Мрачная оценка моя подтвердилась: всё это можно было увидеть оттуда, и я это увидел. Но чего я всё-таки не мог увидеть через океан и что я встретил в сотнях душ... Я встретил столько деятельных, ищущих, плодовитых умов... И я понял, что, несмотря на все унижения, духовный потенциал нашего народа не сломлен. Он силён. Это одно заставляет меня и надеяться, и верить в будущее России». «Очарованный странник» — так назвали его жители Ярославля...

Поезд Пекин—Москва, к которому было прицеплено два вагона, арендованные у МПС на весь период путешествия, прибыл в Москву по расписанию. Уже с утра пространство вокзала чистили и мыли; площадь была освобождена от бомжей и мелкой торговли, за порядком следила строгая железнодорожная милиция. Ближе к вечеру сюда доставили металлические ограждения. Территорию контролировали патрульные подразделения и отряды омоновцев: вход на платформу 5-го пути, к которой прибывал поезд, строжайше регулировался. Точно по расписанию приехал мэр столицы Ю. Лужков, которому (так сообщала пресса) было дано президентское поручение: «сделать всё что надо». Накануне днём В. Костиков, пресс-секретарь Ельцина, заявил, что президент обязательно встретится с писателем, об этом договорено по телефону ещё из Вермонта: полезно обменяться информацией о стране, по которой много поездили оба. «Отношение президента к писателю определяется масштабами личности А. И., его громадным талантом, страдальческой и подвижнической судьбой. Писательский труд Солженицына был нравственным и философским “камертоном” не только для поколения “шестидесятников”, но и для значительной части более молодого поколения мыслящих россиян».

Несмотря на ливень, приветствовать Солженицына в тот вечер пришло несколько тысяч человек. Сотни журналистов, отечественных и зарубежных, заняли все подступы к перрону. Лозунги, транспаранты, плакаты: «Отступать дальше некуда. Всё для России, всё для Победы». «Нет американизации России». «В России трудно, каждый знает. / Но Солженицын приезжает!». Чья-то гнусность, воровато выставленная перед микрофонами: «Солженицын — пособник Америки в развале СССР», «Солженицын, вон из России!» (по плакатам и их владельцам люди колотили зонтами). В руках седовласого графомана ватман с рифмованным приветствием: «В России каждый знает, / Что Солженицын приезжает. / Он совесть наша и пророк, / Как обустроить, дал урок». Возбуждённая, гудящая толпа. Давка. Заготовленные хлеб и

соль от Московской ассоциации жертв незаконных репрессий. Молодые «скалолазы» взбираются на деревья, ограду, металлические опоры, высокие парапеты окон, стремянки. Грозовое небо обрушивает на людей потоки дождя. «Пророка встречаю», — с благоговением говорит иеродиакон Митинского храма Воскресения Христова отец Митрофан. «Меня бы пришло встречать гораздо больше народу», — ревниво замечает Э. Лимонов; здесь он «из интересу», знакомиться с нобелевским лауреатом не желает: «пусть он сам со мной знакомится». Маловеры цедят: ждите... так он вам и вернётся... после дождичка в четверг...

А дождик и в самом деле всё лил и лил, и был действительно вечер четверга. «Последний раз я видел столько милиции на похоронах Твардовского в Доме литераторов, — писал В. Радзишевский в «ЛГ». — Как во сне я двинулся в сторону Садового кольца и вдруг увидел стремительно идущего человека — в рыжем полушубке, с такой же бородой. Не поднимая головы, он глядел в землю прямо перед собой — отчуждённый, властный, неостановимый. Я узнал его тотчас, хотя не видел ни разу. Это его, притаившись, дожидалась милиция в Доме литераторов, чтобы поступить, как прикажут. Теперь милиция — от элитарного спецназа с выставленными напоказ пистолетами и наручниками до растерянных бестолковых мальчишек, пинками расталкиваемых по разным шеренгам, — держит коридор от перрона к вокзалу, чтобы защитить “объект” от непуганых журналистов».

Тем временем по рации предупреждают: «Поезд проследовал через Пушкино... через Лосиноостровскую...» Можаев первым появляется на платформе. Залыгина омоновцы в лицо не знают и пропускать не хотят. Знаменитости, жаждущие быть запечатленными рядом с Солженицыным, стараются пробиться к свите московского мэра.

Как только показался, а потом и остановился долгожданный поезд, толпа репортёров рванула к вагонам. Солженицын выходит. Хлеб-соль, цветы. Люди скандируют: «Здравствуй, И-са-ич, здрав-ствуй, И-са-ич» — это, наверное, самый тёплый момент встречи. Находчивый мэр просит писателя, едва тот ступил на землю, зайти обратно в вагон (по версии Прокофьева, журналисты сами втолкнули Солженицына и Лужкова в вагон), и громко высказывается в том смысле, что вряд ли нужно, чтобы кто-нибудь сейчас попал под поезд. Навести порядок среди пишущей и снимающей братии, не желавшей уступать ни пяди завоёванной территории, пришлось милиции. Только после интенсивных мер А. И. и его семье удалось снова выйти из вагона и проша-

гать, вслед за мэром, 100 метров до депутатского зала, и через несколько минут снова выйти в дождь, к мокнущим людям. Они увидели писателя в ветровке защитного цвета, без головного убора, моложавого, рядом с женой, Ермолаем и Игнатом. «Добро пожаловать в Москву, добро пожаловать на нашу землю. Давайте поприветствуем Александра Исаевича. Ура!» — начал мэр. Толпа скандирует, перекрывая шум: «Сол-же-ни-цын! Сол-же-ни-цын!..» Кто-то передаёт ему букет роз. Кто-то зачем-то — его портрет. На коротком митинге выступили Ю. Лужков, В. Лукин, С. Ковалёв. Когда третий оратор начал пространно объяснять роль Солженицына в истории, народное терпение иссякло: «Пусть говорит сам!»

От него ждут Слова: он должен сказать то, что все и так понимают, но высказать не умеют. Люди возбуждены, шалеют операторы и журналисты, забираясь на спины, автомобили, ограду. Дождь усиливается. Зонтов в руках почти нет, вода стекает по лицам, за вороты рубашек и курток... Солженицын, кажется, тоже не замечает ливня. «Дорогие соотечественники! После двадцатилетней принудительной разлуки вот я снова на родной земле». Он благодарил всех, с кем встретился за восемь недель поездки, кто приходил к нему и говорил добрые слова, множество умных, пытливых, деятельных жителей Сибири и русской провинции, сохранивших душевное здоровье и духовный потенциал, но находящихся в смятении, не знающих, как себя направить, куда приложить усилия, с кем соединиться. «Я помню — помню! — все их советы, просьбы, умоления, настояния, о чём надо сказать, сказать, сказать в Москве. И я надеюсь, что мне удастся донести всё это до слуха тех, у кого в руках власть и влияние».

Но уже и здесь, на вокзале, в присутствии городских властей он абсолютно точно выразил ключевой, то есть общепонятный смысл происходящего: *государство снова не выполняет своих обязанностей перед гражданами*. От безумной дороговизны транспорта и связи страна распалась на саможивущие, отдельные части. Выход из коммунизма пошёл самым неуклюжим, нелепым, искривленным путём. Россия сегодня в большой, тяжёлой, многосторонней беде. И стон стоит повсюду...

В момент, когда критический пафос выступления достиг предела, кто-то из привокзальных завсегдатаев мрачно пошутил: «Они его сейчас обратно вышлют». «И все улыбнулись. И ни у кого не возникло ни малейшего чувства тревоги. Теперь это шутка, и только шутка. В новой России Алек-

сандр Исаевич может говорить всё, что думает, как и все мы, — писали в те дни «Известия». — И в этом есть большая заслуга самого Солженицына». А Солженицын говорил, что ему стыдно, обращаясь к людям, употреблять слово: «господа», и он ни разу не применил этого термина. Ведь в народных ушах сегодня «господа» — это те, кто пользуется несчастьем, бедой двух третей бедного и нищего населения. «Народ у нас сейчас не хозяин своей судьбы. А поэтому мы не можем говорить, что у нас демократия. У нас нет демократии. Демократия — это не игра политических партий, а народ — это не материал для избирательных кампаний».

Коммунистам образца 1994 года, национал-патриотам и радикалам было от чего прийти в уныние. В самую гущу народа, в самом центре столицы, самым авторитетным в стране лицом были брошены тяжёлые политические обвинения режиму, который претендовал на звание демократического. Брошены «даром», без конкретной цели и предвыборной надобности. При этом оратор заявлял (в который уже раз!), что никакого государственного поста — ни по выбору, ни по назначению — не примет, ни с какой политической партией не свяжется, но останется в своей роли писателя и будет использовать все возможности говорить и влиять, не считаясь с лицами, исходя только из пользы России, как он её понимает. Властям, надо полагать, тоже было не до шуток. В общем, «Известия» слишком оптимистично оценили пределы гласности: Солженицын раньше всей демпрессы осознал, что полной свободы слова ему не дадут, а рано или поздно вовсе «отключат микрофон».

Официальной Москве с лихвой хватило двух месяцев, чтобы ещё до встречи на Ярославском вокзале понять — управы на Солженицына нет и приручить его не удастся, он не человек «команды», никуда не впишется и останется самим собой, то есть фигурой крайне неудобной для всех партий и сил. «Для камарильи в коридорах власти, — напишут вскоре «Куранты», — это кошмар: человек, который не пьёт, не бреется да ещё говорит такие опасные вещи: “Бюрократический аппарат коррумпирован, невозможно, чтобы в этом не участвовали некоторые министры. Мы должны от этого освободиться”. Или: “Выборы по партийным спискам — это обман; избиратель покупает кота в мешке, не знает, за кого голосует”. И ещё: “Власть не может уклоняться от выборов, как бы ей этого ни хотелось”» (а власть уже искала способы продлить себе сроки и полномочия). Солженицын становился ко всему прочему ещё и опасной помехой. Может быть, поэтому встречать писателя не пришёл никто из пра-

вительства; поговаривали даже, что Лужков явился сюда по собственному почину, а вовсе не по поручению президента. А люди, близкие к власти, торопились объявить этого *ужасного* Солженицына «страшно далёким от политики»: этот человек 20 лет находился далеко от родины и едва ли может понять, что здесь происходит.

...Когда «Икарус» с Солженицыными медленно двинулся от вокзала, раздались аплодисменты: встреча народа и писателя состоялась. Толпа быстро таяла, лишь напоследок некий пожилой гражданин прочёл группе товарищей свои стихи: «Солженицыну спасибо — / Наши муки описал / И фашистский ГУЛАГ красный / Всему свету показал». Вскоре на площади остался один неподвижный гранитный Ленин — он тоже оказался в числе встречающих и теперь не знал, как отнестись ко всему увиденному и услышанному. А ушлые репортёры, опережая автобус, перебрались на Плющиху, к недавно выстроенной кирпичной башне в 14 этажей по 1-му Труженикову переулку: здесь, на 12-м этаже, была квартира писателя, сюда и должен был подъехать «Икарус».

Вернулись, пропутешествовав из Москвы в Цюрих, из Цюриха в Вермонт, из Вермонта обратно в Москву, — старая пишущая машинка Солженицына, его письменный стол и ещё одна большая столешница. Приехали сотни коробок с книгами и бумагами. Подмосковный дом в Троице-Лыкове, куда должен был переместиться архив, и личный, и общественный (мемуары первой и второй русской эмиграции, свидетелей «страшных лет России»), стоял недостроенный, в нём нельзя было ни жить, ни размещать бумаги. Проектировщиками и строителями были допущены серьёзные ошибки: текла крыша, отсутствовали вентиляционные каналы в стенах и гидроизоляция в подвале. Судьба дома была пока неясна, предстояли малоприятные хлопоты, чтобы сделать его сухим, тёплым, пригодным для хранения архива и проживания в зимнее время.

В первый же день на городской квартире Солженицыных собрались семья, близкие друзья. Сюда, как и на адрес Русского Общественного Фонда, пришла огромная почта, и первые дни в Москве проходили в разборке бумаг, а также записей, сделанных во время поездки по России. Стараниями Н. Д., сильно сократившей своё путешествие, в квартире на Плющихе уже имелось всё необходимое — собраны стеллажи, куплена мебель, тоже сборная (газеты, понятно, сочиняли завистливый вздор, будто Солженицыны окружили себя шикарным антиквариатом). 24 июля сюда пожаловала программа «Итоги», и её ведущий призывал писателя воз-

держиваться от резкостей в публичных выступлениях, с осторожностью пользоваться такими, например, словечками, как «прихватизация», помнить о врачебном долге: «Не навреди!» На вопрос, с кем из политиков он хочет встретиться, А. И. ответил: «Я не ставлю себе никаких преград, чтобы отказываться с кем-то говорить, от Владивостока такого отказа ни для кого не было».

Главная телепрограмма «эллипсоида» вынуждена была признать факт: чудо возвращения Солженицына на родину — огромное событие, а не частный случай: «В Москву вернулся, наверное, один из самых великих изгнанников нашего века, быть может, единственный духовный авторитет в России, общепризнанный народом». В мучительный момент истории, когда отъезды из России становились всё чаще, когда многие светлые умы упорно искали способ зацепиться за Европу или Америку, Солженицын возвратился, чтобы разделить судьбу соотечественников, а главное, создал прецедент — и стал поперёк преобладающей тенденции. В российской глубинке, где никто не верил в демократические перемены — ведь на местах во власти оставались всё те же люди, изменились только их звания, — явление Солженицына и прямой разговор с ним и стали первым знаком изменений: люди верили ему, поскольку он не только призывал к борьбе, но и боролся сам. Он ступил на московскую землю не через Шереметьево — символ «отлётов», — а через бескрайние пространства, ставшие братской могилой жертв ГУЛАГа, через святую землю мучеников. Не собираясь стать политиком, он не искал популярности, так что, говоря о *прихватизации* или *дерьмократах*, лишь отдавал должное острому народному уму и чувству языка. Его пафос был не только в страстной критике режима — он звал людей побороть уныние и отчаяние, приниматься за работу, чтобы восстановить разорённую страну и не дать себя снова обмануть. «Это, без всякого сомнения, историческое событие, прекрасная история человеческого духа, ведомого Духом Божьим», — писало французское христианское издание. «Теперь он с нами. А вот с ним ли мы? Воспримем ли мы его мудрость? Доверимся ли его опыту? Нравственному чутью?» — вопрошали российские газеты, пытаясь тоже быть серьёзными.

25 июля Солженицын вместе с женой, тёщей Катенькой, Ермолаем, Игнатом (из членов семьи не было только Степана, уехавшего на летнюю университетскую практику) и съёмочной группой Би-би-си пришёл в легендарную квартиру в Козицком переулке. Зайдя в подъезд, замедлил шаг, неспешно поднялся по лестнице, где была памятна каждая

ступенька (и где в прежние времена обычно дежурили «топтуны»). Из квадратной прихожей, куда двадцать лет, пять месяцев и тринадцать дней назад позвонили в дверь, потом ворвались, сломав замок, восемь оперативников, А. И. завернул направо в узкий коридорчик, который вёл в его рабочий кабинет.

«У всех было приподнятое настроение. Все осматривались, вспоминали», — рассказывала (2007) М. Уразова, бессменный (с 1990 года) секретарь Литературного представительства, встречавшая в тот день хозяев и гостей. Возвращение изгнанников получало здесь законченное выражение.

Ещё летом 1992 года, в свой первый приезд, Н. Д. Солженицына зарегистрировала Русский Общественный Фонд в Министерстве юстиции (свидетельство о регистрации от 22 июня). Через месяц, 21 июля, мэр столицы Лужков подписал Постановление правительства Москвы о передаче квартиры «в полное хозяйственное ведение». Той же осенью была составлена проектно-сметная документация, весной начался ремонт, продлившийся полгода. В октябре 1993-го, по мере готовности помещений, туда постепенно перебралось представительство. Солженицыны вернулись к *себе* — и к счастью, *эта* территория не стала пепелищем, хотя за двадцать лет случилось немало тяжёлых потерь.

Теперь можно было начинать отсчёт будущего на родине.

Глава вторая
В СТРАНЕ И В «ЭЛЛИПСОИДЕ»: РЕЧЬ КАК МЕЧ

Возвращение Солженицына на родину, всколыхнувшее и провинцию, и столицу, какими бы лозунгами и плакатами они ни защищались от писателя или защищали его, писателя, породило в обществе множество вопросов. Первейший из них — в какую страну *он* вернулся? В СССР образца 1974 года, откуда его подло и трусливо вышвырнули, предварительно обложив доносами, затравив слежкой и угрозами? В «Россию, которую мы потеряли», ностальгический идеал 1913 года? В демократическую страну («открытое общество»), какой она провозглашалась властями (иначе зачем было городить перестройку, устраивать путчи, стрелять по парламенту)? В Россию эпохи политического карнавала, интеллигентской эйфории, фантастических прожектов, стотысячных митингов в Лужниках («Президент — Ельцин, генеральный прокурор — Гдлян!»), гумани-

тарной помощи из Европы, тут же попадавшей к спекулянтам, то есть в 1989—1990 годы? В ту Россию, для которой А. И. и писал своё «Обустройство»? Кажется, нет. Он приехал к началу нового грозного времени.

1994 год наступал как тяжёлое похмелье, а впереди, совсем близко, маячила первая чеченская война — бесславный итог «демократических» реформ, чреватых грабежами и мятежами. 1993-й завершился выборами в Думу — 1994-й был первым годом, когда Россия жила по новой Конституции, когда президент победил всех своих врагов и ему уже не мешал Верховный Совет. Но счастья не было: началась позорная приватизация с приснопамятными ваучерами — процесс, породивший олигархию, финансовые пирамиды, залоговые аукционы, жуликов особо крупных и неслыханно крупных размеров, захваты и переделы собственности, заказные убийства и прочие отличительные признаки дикого капитализма. То есть процесс, который подтолкнёт страну к бездне, а Солженицына, способного видеть дальше и глубже, заставит написать книгу «Россия в обвале».

1994 год уже давал возможность судить о точности прогнозов Солженицына, высказанных в «Обустройстве». Кто только не клеймил писателя в 1990-м за его вольнодумство в обращении с географической картой СССР: взял, дескать, и отдал прибалтийские, закавказские, среднеазиатские республики и Молдавию в придачу, выделил их из империи, так как «нет у нас сил на окраины». Критики Солженицына не хотели считаться с тем, что вопрос отделения Украины был обусловлен не личным желанием писателя, а объективными процессами, от него не зависящими. Вермонтский отшельник, мечтатель и утопист, ретроград и традиционалист Солженицын, каким его представляла демократическая печать в 1990 году, смог дать более точный диагноз состояния страны на текущий момент и прогноз на её ближайшее будущее, чем его политические оппоненты.

Россия в 1994-м уже пережила ту фазу развития, которая была обозначена в «Обустройстве» как «Ближайшее», и приблизилась к рубежу, названному «Подальше вперёд». То обстоятельство, что нигде в мире так буквально не работает положение о пророках в своём отечестве, как в России, требовало, кажется, примириться с глухотой и слепотой общества в 1990-м. Но и общество образца 1994-го делало выводы, учась только на своих ошибках — оно выходило из эпохи политического запоя, протрезвев, набив оскомину, получив изрядную дозу отвращения к партийной риторике, депутатскому вранью и высокомерию, корысти и алчности.

Понятия «демократия» и «либерализм» становились синонимами лжи и наживы, так что отождествлять себя с ними порядочному человеку было (в который уже раз за русскую историю!) вполне противно. Солженицын вернулся в страну и ситуацию, куда более сложную, болезненную и драматическую, чем все перестроечные и постперестроечные моменты *до того*: идеалы либерализма были непоправимо изгажены, эйфория свободы бездарно растрачена, завоевания гласности обращены во зло для большинства народа.

Летом 1994 года Международный институт социальных исследований «ГФК—Россия» провёл опрос населения европейской части страны об отношении к общественно-политической элите: кому из писателей, политиков, учёных, артистов вы полностью доверяете? Солженицын, только что вернувшийся в Россию, изгнанник, которого здешние политики упорно называли *эмигрантом*, вышел на первое место, далеко опередив лидеров депутатских фракций, не говоря уже об официальных писателях. Те, ничего не стыдясь, на глазах всероссийского читателя или дрались за собственность бывшего Союза писателей СССР, то есть за дачи, дома творчества, толстые журналы, или боролись за места в парламенте и в президентской команде, в составе которой выезжали за границу «читать лекции» (*их* так и называли: «президентские писатели»).

После двухмесячного путешествия по стране, пробыв дома пять недель, Солженицын вместе с женой отправился на юг России — туда, где пролегали тропы его судьбы. Встречаясь с земляками, А. И., как и во всём своём длинном русском путешествии, «секретарствовал», то есть слушал людей и записывал их вопросы. «Я сейчас объезжаю страну, чтобы лучше понять её общие и местные проблемы, потому прошу вас говорить о вопросах не личного, но общего значения, имеющих интерес для всей России». С такими словами обратился он 24 сентября к ставропольцам, собравшимся во Дворце профсоюзов и спорта: зал, переполненный от партера до балконов, стоя, овацией приветствовал писателя. В своих выступлениях люди (и здесь, и во всех других местах) были справедливы и пристрастны, добры и гневны, впадали в крайности, выкрикивали свои боли и заботы, но сквозь гримасу обиды и унижения проступало истинное лицо страны. И Солженицын говорил: «Если завтра над Россией нависнет угроза, люди пойдут защищать не свободный рынок, а Отечество. Патриотизм — это честное отношение к своей стране, без приукрашивания недостатков, без умаления достоинств, без пресмыкательства перед властями».

В родном Кисловодске (Солженицыны остановились здесь после поездки в Новокубанский район, где когда-то было имение деда Щербака) писатель «разрешил себе посетить места детства». И всё же, гуляя по тихим улочкам, воскрешая в памяти знакомые уголки, молясь на месте разрушенного Пантелеймоновского храма (там, на месте будущей часовни, установили крест), он не изменил традиции и встретился с общественностью. В переполненном зале филармонии его ответы отдавали горечью. «Мне до сих пор задают вопросы, о которых я писал 15, 20 и более лет назад... Разодранная, растерзанная Россия напоминает тонущий корабль, который протекает сразу в 150 дырах, — и не знаешь, какую из них затыкать... Край превратился в пограничную зону, в сплошную горячую точку... Надо выбирать не тех, кто работает на свой карман, а тех, кто понимает власть как служение...»

Отчий край запомнился Солженицыну встречами в Георгиевске, где он долго ходил, разыскивая могилу матери — в 1956-м сам ведь установил крест и табличку, и вот всё затерялось. «Теперь ничего не прочтёшь, не узнаешь, — цитировали «Георгиевские известия» слова писателя. — И такова вся наша русская земля! Сколько затоптано сознательно, сколько по небрежности, сколько по нашей нищете... Везде, везде, не только со мной одним так». Последние приметы стёрлись и на стадионе, где тоже когда-то было кладбище и на нём могила отца. Но давно уже не было ни старой церкви, ни часовенки, откуда выносили гроб, ни ухоженных могил, запомнившихся Сане в бытность, когда его сюда привозила мать. «Всё закатано... Слишком долго мы свою память не хранили, слишком легко всё забыли». И ещё одна остановка — на улице, где почти до самой своей кончины обитала тётя Ира. «Где же вы теперь живёте?» — интересовались соседки-старушки, помнившие родных писателя. «Ещё нигде не живу, езжу по России».

И действительно, его ждало много точек на карте страны. Прежде всего село Саблинское — могила деда, Семёна Солженицына, и встреча с Ксенией Васильевной, двоюродной сестрой. И ещё Ростов-на-Дону, город школьного детства и юности, и Таганрог, и два дня в Воронеже (4—5 октября), откуда произошёл род Солженицыных. «Я не раз повторял, и продолжаю повторять: в возрождение России я верю, и произойдёт это тогда, когда сорок самых крупных старинных городов России будут иметь такой же крупный культурный потенциал, как Москва», — сказал он воронежским журналистам. В вестибюле гостиницы «Дон» устроил общественную приёмную, куда несколько часов кряду люди шли

с просьбами, бедами, задушевными разговорами, вопросами о политике, о будущем и насущном. И вход на встречу с жителями города категорически потребовал сделать свободным, и снова, как везде, зал был набит битком и писатель отвечал сразу всем выступившим.

Рязань (6—10 октября) венчала его южное путешествие. Приветствие представителя местного казачества «Честь имею!» — было первым, что услышал А. И., ступив на Рязанскую землю. Земной поклон главы администрации города, каравай хлеба с солью от девушек в русских национальных костюмах, плотное кольцо встречавших сограждан, громкое «ура!», вопросы журналистов о чувствах писателя к *неласковой* Рязани. Но А. И. возразил: «Я провёл здесь двенадцать трудолюбивых лет, так что Рязань близкий мне город. Но, конечно, приехал я не только по воспоминаниям, а потому, что продолжаю объезд российских городов, и Рязань — очередной этап». На встрече с интеллигенцией в библиотеке имени М. Горького и с городской общественностью на литфаке Педагогического университета Солженицын объяснял, что книг о путешествии писать не собирается — сбор информации о жизни страны и настроениях граждан нужен для предметных разговоров с политиками. За всё время на российской земле он не входил в аудитории с готовыми лекциями. Так было и здесь: «Дайте мне почувствовать атмосферу моей Рязани. Рассказывайте, и я буду откликаться на то, о чём будете говорить вы». Но и воспоминаниям тоже была отдана малая дань — прогулка по улицам города, к храму Спаса-на-Юру, поездка в Солотчу, в Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово. И конечно, встреча с бывшими коллегами и учениками школы-гимназии № 2, где преподавал А. И. Памятный, снимок у крыльца, прогулка по школьному музею с остановкой у посвящённого ему стенда, кабинет физики, фотолаборатория, мемориальная доска на школьном здании*.

В чём таилась загадка беспрецедентного «объезда русских городов», совершаемого писателем по собственной воле?

* 16 июля 1990 года на доме в бывшем 1-м Касимовском переулке (позже ул. Урицкого, 17) была открыта мемориальная доска: «В этом доме жил лауреат Нобелевской премии русский писатель Александр Исаевич Солженицын». Решением президиума Рязанского городского Совета народных депутатов 20 сентября 1990 года А. И. Солженицыну присвоено звание «Почётный гражданин города Рязани». 1 сентября 1994-го на фасаде здания рязанской школы № 2 открыта мемориальная доска: «В этом здании с 1957 по 1962 г. преподавал русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Исаевич Солженицын».

Ведь над ним не висели ни депутатская необходимость, ни редакционное задание, ни предвыборная обязаловка. Почему к нему ломился народ? Почему, например, зал областного Дворца культуры во Владимире (А. И. посетил город в канун нового учебного года, 1 сентября был в Торфопродукте и на могиле Матрёны) был забит так, что люди еле-еле пробирались к микрофонам? Кажется, больше всего эта загадка волновала именно тех, кто приходил на встречи с ним. *Кем* он вернулся после изгнания? *Кто* он — современный писатель или всё же мессия? *Кем* он сам себя осознаёт по возвращении? *Чему* посвятит себя — возрождению России? Или снова, как в Вермонте, расставит в своём кабинете длиннющие столы и начнёт разматывать клубок русской истории?

Люди, настроенные слушать его, поражались необычной форме общения — он предлагал говорить им самим, собирал записки, чтобы потом «проработать». Ему, похоже, и в самом деле *было до них дело*, раз он не торопился начинать с лекций, а слушал — даже тех, кто страдал многословием, скудоумием, косноязычием. Их, каждого по отдельности и всех вместе, *так* слушали впервые в жизни. И везде зал поначалу терялся, повисало тягостное молчание, затем публика понемногу освобождалась от скованности и тянулась к микрофонам. «Достаточно только увидеть Солженицына, — писала владимирская журналистка, — чтобы понять: мощный старик. От духовной силы, внутренней свободы и независимости этот человек и в семьдесят пять выглядит крепким, сияющим, всемогущим. Наверное, именно так должны выглядеть люди, поправшие смерть, насилие, достигшие пределов человеческого совершенства и получившие право учить людей не от власти, а от собственного опыта жизни, или, может быть, даже... от Бога?» А он, выслушивая на каждой встрече по 15, 20, 30 человек, говорил: «Пока не объеду всю Россию, не стану встречаться ни с кем в столице. Если Москва — сердце России, то провинция, глубинка — её душа». Как же непохожи были эти встречи на модные в годы перестройки поездки «прогрессивных писателей» к простому народу или на «концерты» популярных экономистов в лучших залах столицы...

Только в родном Ростовском университете (20 сентября) Солженицын отступил от принятого правила — и прежде чем дать слово слушателям, выступил с краткой речью. Это происходило в здании, обрубленном бомбой, где до войны был актовый зал несравненной красоты; А. И. проучился здесь пять лет, знал каждую дверь. «Мы жили под страшным, хотя и не всем видимым Колесом, — говорил он сту-

дентам, лет на 55 моложе его. — Колесо это, как раз я учился с 36-го по 41-й год, то есть и 37-й, и 38-й год, прошло тогда неумолимо через Ростов. А ещё раньше и хуже того оно прошло в 31-м: на улицах Ростова лежали мёртвые крестьяне. Умершие от голода крестьяне. Кубанский край был весь оцеплен, оцеплена была Украина, со всех сторон. Крестьян не выпускали из своих сёл. Они прорывались в надежде получить кусок хлеба и умирали на улицах города... Через нас катило это невидимое Колесо».

...Учителя, рабочие, учёные, с необыкновенным жаром встречавшие писателя, говорили: теперь сдюжим, ведь у нас есть Солженицын. Именно ему прочили — в случае досрочных выборов — победу в борьбе за пост президента. «Только Солженицын, — полагала депутат Г. Старовойтова, — своим чутьём может помочь определить будущее страны, сформировав патриотическую русскую идею в нешовинистических словах и выражениях». «Аргументы и факты» писали: «Сейчас можно вполне спрогнозировать борьбу за симпатии россиян двух лидеров: президента, избранного народом, и всемирно известного писателя, взявшего на себя роль заступника всех сирых и обездоленных. Борису Ельцину будет очень неудобен Солженицын. Ведь президент не может вторить писателю и сетовать на то, что народ плохо живёт. Ему либо нужно доказывать противоположное, либо менять политику. Но менять её невозможно — у государства нет денег, чтобы жить по Солженицыну. А у Солженицына, в отличие от правительства, никто денег не требует. Солженицыну не надо ни перед кем заискивать, ему ведь некого бояться, авторитет у него планетарного масштаба. Начальников над ним нет и не будет. Он гражданин Земли»*.

Но Солженицын ощущал себя прежде всего гражданином России, который дал честное слово соотечественникам — рассказать наверху о их бедах. Несколько месяцев в Думе

* В январе 1995-го к А. И. Солженицыну как к «последней инстанции, высшему и на сегодня единственному моральному авторитету России» с открытым письмом обратились молодые политики, призывая писателя возглавить страну: «Мы призываем Вас — ради России нашей, ради нас и наших детей подумать о возможности согласия быть избранным на высшую должность в государстве... Вы могли бы стать символом нации, моральным маяком, вокруг которого объединились бы и активно взялись за дело её лучшие люди, которые сейчас зажаты между двух огней. Вы один сможете объединить их всех, подобрать честных, способных специалистов, которые всерьёз занялись бы конкретными вопросами государственного управления. Помогите нам ещё раз, Александр Исаевич! Если понадобится, мы и наши единомышленники во многих городах России готовы оказать Вам любое содействие».

шли споры, приглашать ли колючего возвращенца. Наконец 14 октября на открытии пленарного заседания было сообщено, что Солженицын откликнулся на приглашение и выступит 28-го. Телекамеры зафиксировали событие во всей полноте. «Никто из правительства не пришёл... Депутаты “правящей партии” “Выбор России” его проигнорировали и проголосовали против приглашения писателя в Думу. Егор Гайдар демонстративно нагло вошёл в зал, когда Солженицын уже полчаса как был на думской трибуне» (А. Зубов). «Немало прошло дней, — записывал в дневник И. Дедков (11 ноября 1994 года), — а забыть невозможно. Могли бы ведь и встать, когда Солженицын поднимался на трибуну... Могли бы и отдать должное этому человеку, его писательскому таланту и огромному труду, его духовной стойкости и храбрости, его исторической роли в преобразовании России. Могли бы и встретить его приветственной речью председателя Думы. Но до того, до таких ли тонкостей?.. Встретили жидкими аплодисментами, слушали с кислыми лицами и проводили теми же жидкими хлопками».

Всё так и было. «Он сделал всё, что мог, сделал всё, что обещал, он поднялся на самую высокую в стране трибуну и в полный голос сказал всё, что хотел сказать, сказал на том пределе правды и страсти, на котором говорили Толстой и Золя, но — его не услышали. Не услышали в полупустом, полудремлющем, полухихикающем зале, иногда отвечающем вялыми аплодисментами. Не услышали и за его стенами, в неисчислимых и всё разрастающихся ответственных кабинетах. Не захотели услышать», — писал в те дни Р. Киреев. Нигде А. И. не встречал такого демонстративного равнодушия — не к нему, а к тому, о чём шла речь. Нигде во всей России не было такой пассивной, бездарной аудитории. «Чем дольше говорил мастер, тем острее было чувство... разнопланетности выступающего и — зала, и той его части, что хлопала, и той, что кривилась, а большинству было, кажется, попросту безразлично» (Ю. Кублановский).

В каком качестве пригласили Солженицына выступать в Думе? К кому обращался он, понимая, что находится в центре «эллипсоида»? В какую реальность пытался пробиться своей часовой речью? Кого пытался тронуть свидетельством о нищете и бесправии народа, о высокой смертности и моральной задавленности людей, о массе населения, которая находится в шоке от унижения и стыда за своё бессилие? Неужто питал иллюзии относительно «5-й Думы»? («Я, приглашённый выступить в Думе, пошёл туда со всей серьёзностью, как в какую-то, правда, важную инстанцию».) Неуже-

ли полагал, будто *этим* депутатам можно пронзить сердце известием о *вымирании* народа или призывом к его *сбережению*? Неужели надеялся, что их может хотя бы зацепить тезис о том, что в стране нет демократии, а есть *олигархия*, то есть власть ограниченного, замкнутого числа персон? Как бы там ни было, речь Солженицына рассеяла все иллюзии, и постыдная правда о «народных избранниках» встала во весь рост: даже не маскируясь, они сидели, отгородившись от оратора общепартийной агрессивно-глумливой гримасой, и потом выдавили из себя опасливые, жалкие хлопки. Спустя четыре года А. И. напишет: «Депутаты, как это запечатлело телевидение — кто разговаривал с соседями, кто печатал на компьютере, кто зевал, кто чуть не спал (Хотели этим выразить насмешку надо мной? — а обсмеивали самих себя)».

Всё время его речи Дума продолжала жить своей отдельной жизнью, мелкой вознёй, перетягиванием преимуществ, поиском того, что можно сразу положить в политический карман. Думцам-законодателям пафос высказываний Солженицына был враждебен заведомо, как не имеющий конкретно-партийной цели. Лексика выступления («ответственность перед страдающим и ожидающим народом», «кто не в отчаянии, тот в апатии»), ключевые сравнения («дореволюционные думцы имели весьма скромное жалованье, не имели ни казённых квартир, ни казённого транспорта, ни череды оплаченных заграничных командировок, ни устройства на летний отдых», «либералы в 1917 году растерялись, многого не смогли, но ни один из министров не был ни взяточник, ни вор») должны были разозлить думцев, испорченных привилегиями. И они не замедлили пойти в наступление.

Нет смысла цитировать политических персон, для которых Солженицын во все времена был агентом ЦРУ и по его указке разваливал СССР. Интересны демократы, борцы с коммунизмом, то есть как будто «свои». Наверное, им хотелось, чтобы с думской трибуны Солженицын разъяснял народу благо шоковой терапии и прославлял приватизаторов (поселился же он на Плющихе в одном доме с иными из них). Но... «как персонаж Солженицын является подобно стихийному бедствию. Словно кошка, которая вдруг выбегает на сцену во время спектакля. Он не вписывается в сюжет, в лучшем случае — маргинал, в худшем — лишний. Потому что он начал играть “не по правилам”» (Г. Заславский). «Я с грустью воспринял выступление Солженицына. Мне было печально видеть, как многие его слова доставляют искреннее удовольствие представителям коммунистической фракции» (Е. Гайдар). «Мы ждали слова громадного писателя. Но

Солженицын всё успел узнать, всё понять за несколько месяцев пребывания в своей не своей стране. Всё на уровне корреспондента из районной газеты... Мне плакать хотелось после этого выступления, да и не только мне. Многие из нашей фракции "Выбор России" сидели, опустив глаза — нам было обидно, стыдно, грустно... Мы прощались со своим Солженицыным» (А. Гербер). «Жалко человека, который не осознаёт, что он настолько не соответствует сейчас нашей ситуации, что в итоге оказывается никому не нужен» (А. Нуйкин).

История мстительно повторялась: двадцать лет назад власти сказали — такой писатель *нам не нужен* — и выставили его вон. Теперь «Коммерсантъ», комментируя речь писателя в парламенте, писал: «Избрав именно такой путь общения с верхами, Солженицын невольно поставил себя в положение знатного иностранца». Либеральная пресса называла Солженицына «регентом хора катастрофистов», который, хочет того или нет, вторит красно-коричневым. А Э. Лимонов стал упрекать писателя за то, что публикация в США *романа* «Архипелаг ГУЛАГ» вызвала «всплеск неприязненного отношения американцев к русскому народу и охладила и без того прохладные отношения между СССР и США». С мнением Лимонова охотно соглашались: книги Солженицына были использованы в годы холодной войны для создания образа СССР как «империи зла». Поговорка про зеркало и кривую рожу доказывала свою жизненную силу.

И всё же, видя на экране телевизора *этих* думцев, читая *их* и *о них* в прессе, трудно было не вспомнить, как пять лет назад другой зал, другие депутаты реагировали на выступление Сахарова. Казалось, прогресс налицо: Солженицына не затопало, не захлопало вскочившее в едином порыве стадо носорогов. И действительно, в Думе никто вроде не топал. Но как врезались в память эти лица: брезгливые, холодные, каменно-равнодушные, и на всех без исключения — пренебрежительное недоумение и печать превосходства, будто именно *этим* и дано завершить историю, будто именно *они* — навсегда. Не желая вступать с писателем в живой спор на языке тех ценностей, которые он исповедует, демократическая элита саморазоблачительно повторила сакраментальный вопрос Великого инквизитора: «Зачем ты пришёл нам мешать?»

Тот день закончился в Думе анекдотично. Едва А. И. покинул думские стены (ему не задали ни одного вопроса, не было и тени дискуссии), депутаты занялись отстаиванием своего права ездить и летать за счёт казны не только в свои округа, но и повсюду, даже и целыми фракциями, и почему-

то *этого* никто из депутатов «Выбора России» не устыдился. В 1994 году в стране не было такой партии, в программе которой сочетались бы патриотизм, национально ориентированное историческое мышление и приверженность демократии; свой политический букет Солженицын явно составил мимо партийной моды. Когда стало понятно, что он не станет «определяться» в узкополитическом смысле, что он вообще чужак, политики махнули на него рукой. Как скажет об этом Ф. Бурлацкий, «в святые места Солженицына не пустили».

Но вся страна увидела, что идти со своей правдой в Думу, к депутатам, не надо: незачем и нечего. Это и был главный итог восхождения на думскую трибуну писателя, пытавшегося докричаться до тугоухой и тупой демократии, воцарившейся в России после 1993 года. «Солженицын несёт весть о России, а она власти не нужна, не нужна Москве и Кремлю» (И. Дедков). Солженицын вернулся в страну, где были сказаны уже все слова, прочитаны все книги, усвоены все истины, приняты внутрь все лекарства. «Перед нами рассыпавшийся, опустевший, нищий словарь — все приличные слова растащили мало приличные люди. Они гремят ими с трибун, как пустыми вёдрами. Но вспомним: настоящий художник только тогда и начинает говорить, когда всё сказано» (Д. Шеваров). Солженицын приехал в страну, элита которой была больна *пророкофобией*: нет пророков в своём отечестве — и быть не должно; не дадим, не допустим. Между тем парадокс публичных появлений Солженицына, подозреваемого в злостном предсказывании истории (занятие опасное во все времена), заключался в том, что он не *поучал*, а *спрашивал*. Хотя где же это видано, чтобы пророки в течение многих недель кочевали по Транссибирской магистрали, расспрашивали простолюдинов о их бедах и записывали то, «о чём надо сказать в Москве»? Где это видано, чтобы пророки, дорвавшись до государственных трибун, и в самом деле зачитывали эти записи?

...Было широко известно о предстоящей встрече Солженицына с Ельциным. Политические наблюдатели гадали, как сложатся отношения между первым писателем России и её первым президентом, который нередко называл себя «хозяином» России. Имелась и предыстория. Письмо писателя к президенту 30 августа 1991 года, после победы над ГКЧП. Звонок Ельцина в Вермонт в июне 1992-го (сорок минут разговора, в котором А. И. «не убедил его ни в чём»). Телеграмма президента в декабре 1993-го, на 75-летие (Солженицын поблагодарил, но и указал на главные язвы: приватизацию в пользу избранных, бесстыдный разграб национального до-

стояния, безнаказанность криминальных шаек). Письмо 26 апреля 1994-го, в котором А. И. сообщал президенту *доверительно* и *лично* о маршруте возвращения. В книге «Записки Президента» (1994) Ельцин уже раздражённно писал: «В интервью телекомпании "Останкино" Александр Исаевич Солженицын задал риторический вопрос интервьюеру, зрителям, всему народу, Президенту: "Вы свою мать будете лечить шоковой терапией?" Мать — Россия. Мы — её дети. Лечить шоковой терапией мать действительно жестоко. Не по-сыновьи. Да, в каком-то смысле Россия — мать. Но в то же время Россия — это мы сами. Мы — её плоть и кровь, её люди. А себя я шоковой терапией лечить буду — и лечил не раз. Только так — на слом, на разрыв — порой человек продвигается вперёд, вообще выживает».

Ельцин серьёзно готовился к встрече с писателем. «Борис Николаевич явно нервничал, — вспоминал его пресс-секретарь В. Костиков, — видимо, не совсем понимая, "как себя поставить". К этому времени у него уже окрепла привычка вести разговор в тональности — "как президент, я...". Его пытались настроить на вельможный лад. Ему говорили: "Ну что Солженицын? Не классик же, не Лев Толстой. К тому же всем уже надоел. Ну, пострадал от тоталитаризма, да, разбирается в истории. Да таких у нас тысячи! А вы, Борис Николаевич — один". Но Ельцин избрал другой тон. Разговор прошёл просто, откровенно, без сглаживания политических разночтений. Они проговорили четыре часа и даже выпили вместе водки».

Волновалась и оппозиция. В. Максимов, выступавший как жёсткий критик и Ельцина, и Солженицына, писал: «Неужели Солженицын удовольствуется жалкой ролью частного конфидента при пьяном самодуре, сознательно и беспощадно изничтожающем нашу общую родину — Россию? Неужели не выкрикнет в лицо своему кремлёвскому собеседнику и окружающей его алчной банде, да так, чтобы услышал весь мир, то, о чём ещё не смеет или не имеет возможности прокричать сам вконец измордованный ими народ?»

И всё же встречу Солженицына с Ельциным (16 ноября 1994 года) пресса оценила как событие не политическое, а историческое. «На наших глазах, — писала «Комсомольская правда», — происходит реставрация Слова как глубинной, почти геологической силы. Солженицын пытается повлиять не на Бориса Ельцина, а на ход истории Отечества... То, чем сейчас занимается Солженицын, — это не текущая политика, это *текущая* история, это попытка понять течение истории в его невидимых даже из Кремля глубинах».

Единственным из политиков, кто к миссии Солженицына и его русскому путешествию отнёсся серьезно, был, как ни странно, президент. Его советники настойчиво убеждали воздержаться от встречи, и он, прежде чем принять писателя, долго (дольше, чем Дума) колебался. «Встречей на высшем уровне» назвала пресса переговоры высшего государственного деятеля и её высшего духовного авторитета. «На встрече с президентом Ельциным Солженицын, — отмечали «Известия», — представляет исключительно себя самого, фактически являясь той самой “неоформленной” цивилизованной оппозицией, которая реально влияет на ситуацию в стране силой своего духовного авторитета. По этой причине и в одном лице писатель такого масштаба — не меньшая сила, чем иные многоликие партии и движения». Встреча прошла в формате личном и семейном: с жёнами, но без журналистов; несомненно, Солженицын не смягчал оценок, но несомненно также и то, что президент общался с писателем в иной тональности, чем думцы. «Остро стоял вопрос о том, — сообщала президентская пресс-служба, — каким образом на трудном переходе России от тоталитаризма к демократии и рыночной экономике поддержать достойный уровень жизни народа, сохранить национальное достояние и достоинство России». Записи Солженицына из толстой тетради пошли в ход. Более высокой инстанции в стране не было.

Эффект и смысл его многочисленных встреч с людьми был меж тем шире и значительнее, чем только записи в тетради для «ретрансляции» (как насмешливо именовались его выступления в демпрессе). Люди — и те, с кем он общался лично, и те, кто видел и слышал его только по телевидению, — взялись за перо и стали писать ему. Но ведь чтобы сесть за письмо к писателю такого масштаба, нужно, если это не простая просьба, проделать огромную духовную работу, пусть письмо будет состоять из одних вопросов — порой задать вопрос намного труднее, чем дать на него ответ. И такую же работу по чтению и изучению писем проделывал сам Солженицын — его семья малыми силами (сыновья разъехались по учебным заведениям) регистрировала и обрабатывала всю полученную корреспонденцию. «К нам сумками приносят письма, — признавалась в канун Нового, 1995 года, первого на родине за 20 лет, жена писателя. — После выступления в Думе был новый всплеск писем. Всё это даёт ощущение уместности здесь, среди своих. Это вовсе не патетическое чувство. Но как бы ежедневная награда: вот мы дожили, можем жить здесь. Большая тёплая волна несёт нас и поддерживает...»

С декабря 1994 года А. И. «был допущен» на телевидение. И опять же: готовя цикл выступлений для Останкино, Солженицын, вопреки практике древних пророков, предрекавших народу разные бедствия за грехи, собирал *единомышленников* и вёл с ними *диалог*. Среди собеседников были издатель Н. Струве, поэт Ю. Кублановский, депутат В. Лукин, офтальмолог С. Фёдоров, журналист В. Денисов — Солженицын выступал в роли *интервьюера*, а не *пророка*. Тематика встреч определялась двумя соображениями: проблемами, которые волновали писателя, и наличием собеседников, с которыми он готов был эти проблемы обсуждать: религиозно-нравственное состояние российского общества и церковная жизнь в России; интеллигенция и земство; угнетённое национальное чувство, демографическое положение страны. С апреля 1995-го «Встречи с Солженицыным» на канале «ОРТ» стали выходить в режиме монолога — 15-минутные передачи каждые две недели: получалось по минуте в день.

Темы были острейшие: предвыборная тряска, порочный избирательный закон, итоги Второй мировой войны и положение армии, роль профсоюзов и забастовочное движение, чёрные дыры Чечни, участь казачества, судьба брошенных соотечественников, народное образование и школа. Одной только школе — учителям, учебникам, школьным программам и школьным зданиям были посвящены три передачи. Несомненно, Солженицын «отдавал долги», рассказывая стране о её бедах в той последовательности и с теми приоритетами, которые выстроились у него после многочисленных общений на местах. Полгода длились «Встречи»; было записано 12 передач. Последняя, тринадцатая, с программой «Разочарование народа в политической жизни. Горькие суждения в народе о властях. Никакая правда правящим не нужна», — намеченная для показа на 2 октября 1995-го, неожиданно была снята с эфира, как и «Встречи» вообще. Между тем материал для «горьких суждений» имелся самый свежий, накануне А. И. посетил три области — Пензенскую, Самарскую и Саратовскую — и провёл полтора десятка публичных общений.

Текст передачи, запись которой должна была состояться 28 сентября, заканчивался красноречивым сравнением. Когда-то видный классик соцреализма требовал от партийных властей «не допускать Солженицына к перу». Ныне через комсомольскую газету видная радикал-демократка требовала, чтобы писателю запретили *говорить*, буквально: «Не допускайте Солженицына к микрофону!» «Не удивлюсь, если это произойдёт. Правда вслух не нужна — ни исполнитель-

ной власти, ни законодательной, ни новым денежным мешкам, которые уже и управляют из темноты. Не нужна и той части нашей образованщины, которая приняла новые, навязанные, как теперь выражаются, “правила игры”... “Свободу слова” у нас понимают: для *своих*, — и уж тогда в любой развязности, распущенности и пошлости».

Именно это и произошло. Прогноз писателя оказался точным и сбылся немедленно. 17 сентября он вернулся из Саратова. 20 сентября руководство ОРТ выразило мнение, что более не нуждается в передачах Солженицына. 21 сентября на автоответчик московской квартиры писателя была послана просьба: срочно связаться с телевидением. Н. Д. удалось связаться только 24-го — она услышала, что очередная передача не состоится. Просто не состоится, и всё. Ни эта, ни последующая. Никаких объяснений ни ОРТ, ни Останкино не дали и, по всей видимости, давать не собирались. Тем же днём Н. Д. отдала в печать заявление для прессы: «Владельцы 1-го телевизионного канала распорядились прекратить регулярные 15-минутные выступления Александра Солженицына, в которых он рассматривал широкий спектр сегодняшней народной жизни. Характерно при этом, что непосредственно Солженицына даже не сочли нужным известить».

Были протесты общественности по поводу извечного советского (а теперь и постсоветского) хамства. Возмутился министр культуры России Е. Сидоров: «Солженицын — слишком крупная фигура для России, чтобы его лишать слова на телевидении. Дело даже не в свободе, а в общественной этике. Нравится нам или не нравится, он сам в состоянии решить, говорить ему на телеэкране или нет». Были искренние сожаления одних деятелей, злорадство и торжество других, а также гробовое молчание правозащитных организаций, писательских союзов, думских фракций, президента РФ, много раз заявлявшего, что не позволит ограничивать свободу слова. Демполитики заученно твердили о низком рейтинге передач: «Солженицын приехал сюда с явным намерением выступить в роли моралиста, нравоучителя. Но с каждым днём его величие тает. Если ты писатель — пиши книги, а не лезь на телевидение» (Ю. Афанасьев). Многоликая писательская «образованщина» «вбрасывала» свежие мнения о «кризисе» Солженицына в творчестве и в политике: и опять впереди всех шагали собратья по цеху, скорые на руку, когда требуется пасквиль. «Не пристало одному русскому писателю поддерживать власть имущих, когда они затыкают рот другому писателю! Не пристало именно в

это время говорить, что он в кризисе, что никто не хочет его слушать. Позорно именно в это время пачкать имя великого патриота России!» — протестовал А. Глезер. И. Дедков записывал в дневнике: «Солженицын много чести оказал нашей интеллигенции, назвав её “образованщина”. Я бы сказал: “невежественщина”. Вот что губит Россию...»

«Мне заткнули глотку, как я и ожидал. У нас правду не любят. Такой факт сам по себе нагляден и комментариев от меня не требует», — заявил А. И. сразу после закрытия программы. Но телевидение всё же не избежало официальных версий (которым, разумеется, никто не верил). «Солженицын слишком часто появляется на экране» (это по минуте в день!). «Его эфиры стóят слишком дорого» (раз в пятнадцать дешевле, чем, например, «Поле чудес», а гонораров А. И. не получал на ТВ никаких и никогда). «Он говорил всем известные вещи» (но фокус в том, что его слово значимо и действенно). На пресс-конференции ОРТ перед А. И. *как бы* извинились, объясняя: «Мы не руководствовались рейтингом, когда решили прекратить передачи. Накануне предвыборной кампании к нам обращались политики самых разных ориентаций с законным вопросом: “Почему Солженицыну — всё, а нам — ничего? Почему эфир предоставляется человеку, выступления которого могут и будут трактоваться как имеющие предвыборный характер?” Мы просто вынуждены были отказаться от этих передач».

Все, однако, прекрасно понимали, что *не* руководство ОРТ принимало решение — а имелись такие указания, которым не перечат. Демсвобода, расцветавшая только при искусственном освещении и жившая по принципу: если тебя нет в телевизоре, тебя нет вообще, — запретив и изгнав Солженицына, праздновала победу. Теперь «правильному» исходу выборов уже никто не мешал*. А. И. на те выборы не пошёл, а на инаугурацию президента России 9 августа 1996 года его не позвали. Писатель, в который уже раз, остался на шумной улице демократии одиноким пешеходом: никакие «свои» «своим» его не признали. Ведь «свои» опознают и отсекают от себя чужаков безошибочно, по точному коду.

---

* «Истинную оценку политическим деятелям можно дать только тогда, — сказал А. И. в интервью «Аргументам и фактам» 18 января 1995 года, — когда обнаружатся все скрытые от глаз обстоятельства. Так, лишь через полвека я добрался до истинной сути и психологии деятелей 1917 года — и написал эпопею “Красное Колесо”. Я думаю: пройдёт время — и другой русский писатель, хорошо ознакомясь со всеми тайнами десятилетия 1985—1995, напишет о нём другую эпопею — “Жёлтое Колесо”».

Если бы А. И. захотел прослыть «своим» в среде московских либералов, ему бы следовало произнести кодовые слова о русском фашизме и его угрозе мировому сообществу. А он вместо этого говорил: России в первую очередь угрожает не фашизм, а демографическая катастрофа. «Каждый год наш народ вымирает на миллион человек чистой убыли, как если бы по всей России бушевала гражданская война». За это либералы назвали его националистом.

Если бы антикоммунист Солженицын захотел прослыть «своим» среди крайне правых, ему бы следовало не к народу ездить, а срывать красные звёзды с Кремля и мавзолея, жечь портреты неугодных политиков на Пушкинской площади. А ему (возмущались правые) звёзды не мешают, мешают ваучеры. Неужели он не видит красных флагов и чёрных свастик? За то, что по дороге домой Солженицын «собрал целую коллекцию воплей и слёз», от него отреклись диссиденты. «Быть диссидентом — это не просто ругать правительство, а ругать за дело, обгоняя своё время, а не отставая от него на век. А он решил защищать тех, кто меньше всего в этом нуждается: *русских*».

Если бы русофил Солженицын стремился прописаться в «Русском национальном соборе», он бы воздерживался от резких высказываний по адресу ура-патриотов. А он тревожился, что русское национальное самосознание не может освободиться от имперского дурмана, «переняло от коммунистов никогда не существовавший, дутый “советский” патриотизм и гордится той “великой советской державой”, которая в эпоху чушки Ильича-второго... опозорила нас, представила всей планете как лютого безмерного захватчика». За это национал-патриотическая печать встретила его в Москве словами: «Кто он такой, чтобы “обустраивать” Россию?»

За год пребывания в России Солженицына печатно и экранно успели множество раз развенчать, объявив лжепатриотом, голым королем, пародийной, карикатурной фигурой. «Каждого поэта, — с грустью писал А. И., — и не один раз в жизни, должно достичь ослиное копыто». Как и в «те ещё годы», когда травлю писателя выполняла советская пресса, ляпавшая на него классовый, расовый, военный, бытовой компромат (помещик, фашист, полицай, дезертир, еврей, антисемит, продавшийся Западу Иуда, стукач, пособник ЦРУ, развёлся с женой), так и постсоветская «дворняжная печать» (выразительное определение 1980-х ничуть не устарело) тоже старалась укусить побольнее. Как и прежде, впереди всех были «братья по перу и по труду».

Со скорбной миной, раздражением, а то и со злобой повторяли они, что нет больше прежнего Солженицына, титана и борца, антикоммуниста и кумира интеллигенции: ветром задуло священный прометеев огонь. *Не наш* Солженицын выступал в Думе. Не было там великого диссидента, бунтаря, грозы Лубянской площади, томящегося духовной жаждой мученика, пламенного антисоветчика и демократа (при этом демократические оппоненты писателя зевали, когда он говорил о земстве: какая скука!*). И почему его косточки не вмёрзли в лед рядом со знаменитым тритоном? Почему в 1974-м он не отбился от лефортовской охраны и дал себя посадить в самолёт, в котором спокойно летел, не бил стекла и не резал вены, не заставил связать себя или надеть наручники? Почему не умер от сухой голодовки во франкфуртском аэропорту, не пошёл нелегалом обратно через границу прямо на выстрелы? Почему в Америке не высох от тоски по родине, а жил с семьёй и растил сыновей? Почему поссорился с Западом, который приютил его и обласкал? Почему не стоял «с нами» на баррикадах у Белого дома, не сжигал советские флаги и приехал «на готовое»? Почему переезд «с одной дачи на другую» обставляется столь помпезно («карнавально», «шутовски»)? Почему он идёт по стране тяжёлой поступью пророка? По какому праву собирает везде толпы народа? Почему не стоит в круглосуточном пикете под стенами мавзолея, требуя убрать «маринованного Ильича»? Почему живёт уединённо и не подходит к телефону? Почему одевается в полувоенные френчи и толстовки? Почему помолодел и посвежел, когда все постарели и потускнели? Почему занимается журналистикой, а не пишет («перед смертью!») нового «Хаджи-Мурата»? Почему делает не то, что от него ждут, а то, чего не ждут совсем?

Всякое общество характеризуется своим отношением к фундаментальным ценностям и своей способностью вовремя, а не задним числом, признать их таковыми. Отношение к Солженицыну и до изгнания, и после возвращения было не вопросом предпочтений в литературе или в политике, а пока-

---

* Выступая в Кремле на Всероссийском совещании по местному самоуправлению (17 февраля 1995 года), Солженицын, один из экспертов думских проектов по созданию земства, сказал: «Построение земства встретит множество препятствий, оно встретит препятствия от правящей олигархии, оно встретит препятствия от партийных функционеров, оно встретит препятствия от некоторых элит, которые пользуются сегодняшней преимущественной системой. Но пропасть между властями и народом должна быть заполнена. Иначе России не жить и не быть». Именно так и случится: в земстве усмотрят потенциал двоевластия, смуты, срыва выборов и т. д.

зателем нравственного состояния общества, тестом на его умственную состоятельность, знаком качества. Российскому культурному кругу в этом смысле хвалиться было нечем — ему не давал покоя «культ Солженицына», из-за которого «никто не хочет говорить писателю и о писателе всю правду».

Правда же, непереносимая для многих ревнивых и завистливых собратьев, заключалась как раз в том, что Солженицын, привезя в Россию Собрание сочинений в двадцати томах и столько же своих книг в отдельных изданиях, устроился в стране не памятником самому себе, а живым и действующим писателем, благотворителем, деятелем культуры. В декабре 1995-го в Москве, на Таганке, усилиями Русского Общественного Фонда, правительства Москвы и парижского издательства «ИМКА-пресс» была открыта библиотека-фонд «Русское Зарубежье». Здесь нашла приют Всероссийская мемуарная библиотека — воспоминания, книги, фотографии, рисунки: А. И. сдержал обещание, которое дал первым русским эмигрантам. За 18 лет были собраны сотни рукописей, бесценный сгусток памяти, которые обрели в России надёжный дом, место вечного хранения. В июне 1996-го Солженицын передал библиотеке всю собранную коллекцию мемуаров русской эмиграции, а также часть архивов С. Булгакова, И. Сикорского, Л. Зурова, С. Франка. «Русскому Зарубежью» суждено будет стать одним из мощных культурных центров общероссийского масштаба.

Весной 1995-го в зале Саввы Морозова отеля «Метрополь» Солженицыну была вручена Литературная премия имени итальянского писателя-сатирика Виталиано Бранкати (1907—1954), прозванного на родине «итальянским Гоголем» и жившего на Сицилии. В 1967 году эта премия была учреждена группой известных деятелей искусства, среди которых были Эзра Паунд, Пьер Паоло Пазолини, Альберто Моравиа, Рафаэль Альберти. Солженицын, двадцать шестой лауреат, награждался «за гражданскую активность, высокий моральный уровень, о чём свидетельствует жизнь и всё творчество писателя». Известный славист Витторио Страда выразил мнение, что во вручении премии Солженицыну больше чести для самой награды, нежели для награждённого, ибо он «больше чем писатель, он олицетворяет Россию, её прошлое, настоящее и будущее».

Но самому Солженицыну по возвращении больше всего хотелось быть именно писателем, работающим в настоящем времени. За три года он побывал в двадцати шести областях России (ездил по стране ещё и в 1998-м, пока позволяло здоровье: сердце, давление, позвоночник), написал и опуб-

ликовал, помимо больших публицистических работ, семь двучастных рассказов. Идея таких рассказов (с одним героем в разные поры его жизни, либо с одной темой, разработанной на разном материале), давно привлекавшая писателя, начала воплощаться, как только работа над «Красным Колесом» осталась позади. «Братья по перу и по труду» были недовольны, что «расшаркивающаяся», «неразборчивая» (а на самом деле просто грамотная) критика всерьёз оценивает достоинства «Абрикосового варенья», «Настеньки», «Эго» и прочего, тогда как к ним следует применять согласованный термин: *чудовищная художественная деградация*.

После изгнания у А. И. неожиданно вновь возникла потребность писать «Крохотки» — лирические зарисовки, стихотворения в прозе. «Только вернувшись в Россию, я оказался способным снова их писать, *там* не мог», — пояснял Солженицын «Новому миру», где были опубликованы 14 миниатюр. *Здесь* прозрачная глубина «Крохоток» ему счастливо далась. Миниатюры-притчи впускали читателя в самые сокровенные, интимные размышления автора. О старении, которое «вовсе не наказанье Божье, в нём своя благодать и свои тёплые краски». О наслаждении духа — ещё живому подниматься выше материи. О сладости воспоминаний, которых лишена молодость, «при тебе же они все, безотказно». О чародействе утра, смывающем с души всё ничтожное, что морщило её прошлый день. О сердечной болезни — в острой стадии она как сидение в камере смертников: «Каждый вечер — ждёшь, не шуршат ли шаги? Это за *мной*?» О бессоннице, когда терзают и язвят тёмные вихревые потоки — тревожные ночные мысли. О власти над собой. И, конечно, о калязинской колокольне: «Она стояла при соборе, в гуще изобильного торгового города, близ Гостиного двора, и на площадь к ней спускались улицы двухэтажных купеческих особняков. И никакой провидец не предсказал тогда, что древний этот город, переживший разорения жестокие и от татар, и от поляков, на своём восьмом веку будет, невежественной силой самодурных властителей, утоплен на две трети в Волге... Но осталась от утопленного города — высокостройная колокольня... Как наша надежда. Как наша молитва: нет, *всю* Россию до конца не попустит Господь утопить...»

Приверженцы словесных карнавалов и литературных игр («игрой на струнах пустоты» называл А. И. погоню за приёмами, а пренебрежение высшими смыслами — «обмороком культуры») ставили этим текстам окончательный диагноз: *бесконечно эстетически устарело*. Суммарный эффект двухлетней деятельности Солженицына после изгнания питер-

ский критик В. Топоров оценил как «даже не отрицательный — нулевой. С Солженицыным не спорят, Солженицыну не возражают ни в целом, ни по мелочам — его просто не слушают... А слушают третьесортную шушеру, при одном условии, если её, этой шушеры, взгляды совпадают с мейнстримом. А мейнстрим обеспечивают и тиражируют СМИ. А по СМИ тиражируются взгляды и мнения шушеры. Возникает замкнутый круг. Называть ли его порочным — дело вкуса».

Но у Солженицына был *свой* мейнстрим, *своё* основное направление — «шушера» дороги туда не знает. Путь возврата с Дальнего Востока пролегал через Тобольский кремль, где в часовенке-одиночке триста лет томился большой колокол Углича, главный свидетель кровавого преступления XVI века и соучастник беспорядков, лишённый в наказание и языка, и уха. Отбыв срок, узник был амнистирован и возвращён домой. В храме Димитрия-на-крови и увидел Солженицын почётного ветерана опаснейшего колокольного занятия: «Бронза его потускла до выстраданной серизны. Било его свисает недвижно». Писателю предложили — и он ударил, единожды. Прикасаясь к легендарному колоколу, звонарь мог ощутить жар собственного жребия и своё родство с безымянным пономарём соборной площади, который в миг беды бросился на колокольню, запер за собою дверь, и сколько ни ломились в неё недруги, бил и бил в набат, а колокол возвещал общий страх за Русь. «И как избавиться от сравненья: провидческая тревога народная — лишь досадная помеха трону и непроби́вной боярщине, что четыреста лет назад, что теперь» («Колокол Углича»).

Провидческая тревога стала внутренним стержнем всего, что писал, говорил и делал Солженицын после изгнания, основным мотивом общественного поведения, доминантой писательского самосознания. Но правда о Солженицыне-писателе открывалась и в том, с какой жадностью бросилась вся читающая Москва на первое российское издание «Очерков литературной жизни» (1996): первый тираж «Телёнка» разошёлся мгновенно и навсегда остался книжным дефицитом — хотя эта самая «вся Москва» давным-давно прочитала «Очерки». А тут ведь ещё были «Невидимки», впервые напечатанные главы о тайных друзьях, помощниках и соратниках писателя в 60-е и 70-е годы. И было известно: ведётся последняя редакция «Очерков изгнания» — «Зёрнышка».

Отрадно и редкостно проявилась ещё одна правда о Солженицыне — у него никогда не было раздражённой ревности, изнуряющей зависти к чужому таланту, напротив: всегда жила жажда чужой талант всенародно назвать и поддержать.

Уже упомянутое письмо в Шведскую королевскую академию (1972), где он, недавний лауреат, выдвигал на Нобелевскую премию Набокова, можно цитировать вновь и вновь: «Это писатель ослепительного дарования, именно такого, какое мы зовём гениальностью. Он достиг вершин... Он совершенно своеобразен, узнаётся с одного абзаца — признак истинной яркости, неповторимости таланта». Эта оценка, что ли, называется ретроградством, эстетическим юродством, как спешили квалифицировать манеру позднего Солженицына эстетствующие критики?

А тогда, в 90-е, один за другим пошли в печать очерки из «Литературной коллекции» — заметки о Пильняке и Тынянове, Пантелеймоне Романове и Замятине, Шмелёве и Успенском, Марке Алданове и Андрее Белом, позже о Гроссмане, Бродском, Владимове — более 20 эссе из 40 написанных. В них А. И. представал и как опытнейший читатель, и как мастер-художник. «Каждый такой очерк, — писал он о своей «Коллекции», — это моя попытка войти в душевное соприкосновение с избранным автором, попытаться проникнуть в его замысел, как если б тот предстоял мне самому, и в мысленной беседе с ним угадать, что он мог ощущать в работе, и оценить, насколько он эту задачу выполнил».

Это, что ли, считается культом личности? Кажется, немного в те годы существовало авторов масштаба Солженицына, кому было дело не только до самих себя, кто искал душевных соприкосновений с кем бы то ни было. А он лично встречался с огромным количеством людей из Москвы и провинции — литераторами, учителями, священниками, членами общественных движений, принимая их или дома, в Троице-Лыкове (Солженицыны переселились в достроенный дом весной 1995-го), или в своём литературном представительстве, отдавая встречам в Козицком многие часы и дни. «Каждый раз при встрече с Солженицыным, — замечал Ю. Кублановский (1996), — ловлю себя на мысли, что не верю своим глазам: неужели этот подтянутый, ухоженный, в отлично сидящем пиджаке мужик (отнюдь не старец) и есть “тот самый Солженицын”?.. Никакого снобизма, натужности — просто здоровая органика знающего себе цену достойного человека...»

В 1990-е он был, кажется, единственным писателем, кто не гастролировал с лекциями, не устраивал рекламных шоу, а разговаривал с людьми по всей стране — на личных встречах, на «прямых линиях» по телефону, когда любой человек мог ему позвонить и задать вопрос. «Комсомольская правда», публиковавшая стенограмму такой «горячей линии»

(1996), цитировала: «Я тоскую по разговору с простыми слушателями всей России. Я объехал уже больше двадцати областей, но всех не объедешь, не обойдёшь. А сейчас я очень освежился, услышал действительные голоса, я просто счастлив, почему и говорю: продолжаем, я нисколько не устал...»

Здесь и крылась разгадка его писательского и человеческого долголетия — общение со страной и с народом не утомляло и не напрягало, наполняя живительной силой, которая в былинное время давала богатырям силу и мощь. «Энергетика и обаяние этого человека завораживают. Зная, что в его жизни были сиротское детство, война, лагерь, умирание от рака, изгнание с Родины, как поверить, что этому улыбчивому бородачу вот-вот исполнится 78 лет! Стремительная походка, прямая спина, молодые глаза, могучий голос, которому не нужны микрофоны, какой-то невероятный напор в разговоре, когда слова катятся на тебя, как морские валы». Таким запомнили Солженицына журналисты «Комсомолки», наблюдая его участие в «прямой линии»: наушники, свободные от телефонной трубки руки быстро-быстро записывают самое важное из услышанного, целый ворох цветных карандашей и ручек на столе.

В том же 1996-м Солженицын выступал на открытии IV Рождественских образовательных чтений при Московской патриархии — речи Патриарха и писателя задали тон всему дальнейшему обсуждению. В конце года А. И. написал знаковую статью «К нынешнему состоянию России» для парижской «Le Monde» (русский текст был опубликован в «Общей газете» и перепечатан провинциальными изданиями). В июне 1997-го его избрали (258 голосов при проходном балле в 225) действительным членом Российской академии наук за уникальную работу, которая начиналась в 1947-м выписками из Даля, вершилась несколько десятилетий и ощущалась автором как восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств. «Русский словарь языкового расширения» был признан высококвалифицированным научным трудом. Три месяца спустя академик РАН Солженицын выступил на круглом столе в академии — его речь «Исчерпание культуры?» — при всём её критическом пафосе (культура и наука забыты, сметены на обочину жизни, им достаются только непитательные объедки, кому — и просто нуль) звучала обнадёживающе: «Всё, что наполняет бесплодным жалким шумом и гримасами сегодняшний эфир, и все эти раздутые фигуры, наплывающие в телевизионные кадры, — все они прейдут, как не было их, затеряются в Истории забытой пылью».

Одного десятилетия оказалось достаточно, чтобы убедиться в провидческой достоверности этих слов.

В далекие семидесятые о судьбе Солженицына говорил Ю. Трифонов: «Он возвратится сюда и начнёт устраивать русскую жизнь. С малого начнёт, и над ним будут подсмеиваться дураки. Как с малого он начал поход против системы, а кончил полной победой над ней. Мы ещё просто об этом не знаем. Он гений, что надо понять и принять. Кое-кому трудно признать превосходство. Да и как признать, когда на шее медальки болтаются. Рядом с гением жить неудобно. А мне удобно!»

Первые итоги возвратных лет показали, что Солженицын приехал домой вовремя, в самый раз. В тот самый исторический момент, когда слова «народный заступник» на языке «эллипсоида» звучали политическим приговором, эстетическим фиаско («ты ещё скажи нам об униженных и оскорблённых!» — с издёвкой говорили мне в одной знаменитой газете); когда утверждение: «Народ страдает и бедствует» — считалось не только дурным тоном, но наглой ложью и опасной демагогией, призывом к новому штурму Зимнего. Солженицын не боялся ни быть, ни выглядеть тем, кем он себя осознавал. Он не стеснялся быть смешным, говоря самовлюблённой Думе дикие для неё слова о *сбережении народа*. Думские сидельцы за него стыдились, а тысячи и тысячи глядевших на экран людей понимали, что писателю для его новых целей нужно не меньше мужества и крепости, чем двадцать лет назад, когда он — телёнком — бодался с дубом.

Люди проницательные говорили ещё тогда: голос Солженицына — это голос изнутри сердца, это сокровенное мнение страны. Он, опять в одиночку, спас честь русского писателя и интеллигента — в старом смысле этих понятий, когда ещё не было «президентских писателей» и «интеллигентов при олигархах». И, надо сказать, народ не безмолвствовал — об этом говорили письма и телеграммы с безошибочным адресом: «Москва. Солженицыну». Приведу всего лишь одно из многих тысяч: «Сейчас лжи стало больше, так что теряешь ориентиры. Слова правды завалены горами лжи, и никому уже не веришь. А за Вас были страхи: 1) что прикончат; 2) что стары и память уже не та и не разберётесь. И вот я вижу, что Вы осторожны, как старый волк, и говорите правду, как и тридцать лет назад».

Мудрено с таким народом хоть на миг почувствовать себя одиноко. Но ведь и писал Солженицын, что через души, мужественные и прямые, перестраивает Бог наши несчастливые и безрассудные общества.

Глава третья

СЮЖЕТ О ПРОРОКЕ И ОТЕЧЕСТВЕ: НОВЫЙ ПОВОРОТ

В апреле 1998 года произошла памятная встреча А. И. Солженицына в московском Доме архитектора. Теперь даже трудно вообразить, что за четыре года это был единственный подобный вечер в Москве. Десятилетием раньше, в 1988-м, в этом же Доме заочно праздновалось 70-летие писателя, а плёнка, на которой было запечатлено событие, попала в Вермонт и была встречена с благодарностью. «И вот занавес в переполненном Большом зале ЦДА раздвинулся, на сцену быстрым шагом вышел Солженицын. Аудитория, стоя, аплодировала ему», — вспоминала (2007) устроитель встречи, архитектор Р. Тевосян, вручившая гостю билет на тот, первый, вечер в знак памяти и любви. На сцене стояли стол, два стула, конторка: за неё и встал писатель. Несмотря на перенесённый инфаркт, он был в отличной форме: прямая осанка, живой взгляд, мгновенная реакция. «Друзья мои», — привычно обратился А. И. к залу; его вступительное слово было посвящено жизни в изгнании. Диалог с аудиторией (куда не звали прессу) по вопросам-запискам сосредоточился вокруг состояния общества и государства.

Картина рисовалась безрадостная. Мы разбрелись мыслями на 77 дорог. Свобода слова обернулась раздражением, непониманием, ненавистью. В каком-то смысле мы уже даже не соотечественники. Власть, закружившаяся с 1991 года, распахнула ворота блатному миру. Предприимчивые, но грязные дельцы бросились отхватывать за бесценок государственное имущество. Народ оказался нравственно и культурно не готов к небывалым испытаниям. Наше правительство не демократическое, оно олигархическое, и в главных чертах ничем не отличается от прежнего, коммунистического. Его решения скрыты — никто ничего не объясняет, никого ни о чём не спрашивает. Как говорят люди на улицах: «Они о нас не думают, а мы не думаем о них».

Ответы слушателям на вечере в Доме архитектора (с тёплой, сердечно расположенной аудиторией, как сразу почувствовал А. И.) были результатом длительных размышлений. Ещё в 1994-м то явление, которое многие умы считали «демократизацией» и «развитием рыночной экономики», он назвал «Великой Русской Катастрофой 90-х годов XX века». В один ряд с революцией 1917 года, десятилетиями большевистского развращения, миллионами, погибшими в ГУЛАГе и во Второй мировой войне, был поставлен «нынешний по

народу "удар долларом", в ореоле ликующих, хохочущих нуворишей и воров». «Тогда нам казалось, — признавался историк А. Зубов, — что это уж слишком. Что в своей критике писатель переходит в стан красно-коричневых, что нельзя на одну доску ставить кровавых деспотов, богоборцев и мужикоборцев, и, пусть не всегда кристально честную, но демократическую власть, вытаскивающую, опять же пусть не всегда умело, Россию из большевицкого прошлого».

Но нужно было прожить 1990-е до самого конца, увидеть плоды правления «демократов-рыночников», чтобы (тому же А. Зубову) совсем иначе прочитать строки «"Русского вопроса" в конце XX века». Всё это время Солженицын твердил об углублении Катастрофы. В мае 1998-го в издательстве «Русский путь» (созданном в 1995-м как филиал «ИМКА-пресс») вышла «Россия в обвале». «Эту книгу я пишу лишь как один из свидетелей и страдателей бесконечно жестокого века России — запечатлеть, что́ мы видели, видим и переживаем. Конечно, далеко не единственный я, кто всё это знает и обдумывает. Есть немало у нас в стране думающих так или сходно. И множество напечатано разрозненных детальных статей о наших болях и уродствах. Но кому-то надо собраться, через вихри жизни, высказать и слитно всё».

Солженицын подводил итоги четырёхлетнего общения со страной: 26 областных центров, средние и малые города, посёлки и сёла, глубинная Россия; около ста общественных встреч, на каждой от 100 до 1700 человек. «Разговоры на любую тему, и никем не стеснённые, после каждой встречи сталпливались вокруг, продолжался обмен мыслями, фразами, и так — с тысячами людей». Огромные разорванные пространства были объединены сходностью забот и тревог, повторяемостью больных вопросов, так что казалось, будто только общность страданий оставляет раскромсанную Россию в едином теле. А. И. станет писать о ней под впечатлением тысячеустых наставлений, напутствий, просьб и прощальных слов сограждан. «Мне никогда уже не повидать такого отечественного объёма — но и вобранного его дыхания хватит на остаток моих дней. (А — ещё бы гонял по Руси ненасытно, в каждом месте оставил сердце.) И эту книгу я пишу, ощущая на себе все те требовательные и просящие, растерянные, гневные и умоляющие взгляды».

В каждом месте оставил сердце... Так ощущал общественный жар этот уже почти 80-летний человек, сердце которого было надорвано не раз и не два. Болью отзывались реформы, несшие разорение и нищету («народ, через который всё пропускали шоковый электрический ток, — оглушён-

ный, бессильно распластался перед этим невиданным грабежом»). Теснило душу от «технологии великого обмана», когда под лозунгом обвальной приватизации была проведена практически бесплатная раздача госимущества «избранным домогателям», и случилось не имеющее аналогов разворовывание народного добра. Возмущала верховная власть — по всей видимости, одобрявшая грабёж, ни разу не спросившая: *откуда* у недавних скромных обывателей взялись миллиарды рублей, миллионы долларов? Мерзило от волчьего оскала «молодого русского капитала» — ради него свершилось государственное самоубийство, ему в пасть было брошено население с убогими зарплатами, пенсиями, стипендиями, детскими пособиями. По-новому открывался и Запад: десятилетия жаждавший поражения России, он вёл себя теперь как безжалостный стервятник.

«Россия в обвале» — книга сокрушительных, беспощадных констатаций. Наше национальное сознание впало в летаргию. Мы еле-еле живы: между глухим беспамятством позади и грозно маячащим исчезновением впереди. Мы — в национальном обмороке, он отнимает у нас и жизненную силу, и инстинкт самосохранения. «С горькой горечью опасаюсь, что после всего пережитого и при ныне переживаемом — участь уклона, упадка, слабения всё более угрожает народу русскому». Россия преломлена духовно, подорвана телесно. Потому: «Не закроем глаз на глубину нашего национального крушения, которое не остановилось и сегодня. Мы — в предпоследней потере духовных традиций, корней и органичности нашего бытия. Наши духовные силы подорваны ниже всех ожиданий». Хотя население угнетено и беспомощно, важно осознать главное: «Русский народ в целом потерпел в долготе XX века — историческое поражение, и духовное, и материальное. Десятилетиями мы платили за национальную катастрофу 1917 года, теперь платим за выход из неё — и тоже катастрофический. Мы сломали не только коммунистическую систему, мы доламываем и остаток нашего жизненного фундамента».

Россия, как её видел писатель, стояла на последних рубежах перед бездной национальной гибели, перед угрозой утраты *ещё* населения, *ещё* территории, *ещё* государственности. «И последнее, что у нас ещё осталось отнять, — и отнимают, и воруют, и ломают ежедень — сам Дух народа. Вот этой разбойной, грязнящей атмосферой, обволакивающей нас со всех сторон». Но, поездив четыре года по России, Солженицын клятвенно заявлял: Дух ещё жив! В стержне своём ещё чист! Кто жизнью своей убеждался в правоте и могуществе

Высшей Силы, тот поверит, что и после проигранного столетия есть надежда на возрождение. Кроме как на веру в Высший замысел о России, опереться было не на что. Но верить — не значит покорно ждать решения своей участи, прозябать в усталом безразличии к своей судьбе. Напротив — нужно ощутить каждому, что он не щепка, преодолеть косность, уныние, вялость, поверить, что он сам — исполнитель своей судьбы.

Так же как сверх всякого разумения Солженицын верил, что вернётся на родину физически, при жизни, а не только книгами, так и теперь, вопреки очевидностям, верил, что низшая точка падения пройдена. И видел только одно спасительное правило: «*Действуй там, где живёшь, где работаешь!* Терпеливо, трудолюбиво, в пределах, где ещё движутся твои руки... Мой *дух*, моя *семья* да мой *труд* — добросовестный, неусыпный, без оглядки на захлёбчивую жадность воровскую, — а как иначе вытягивать? Хоть бы и секира опустилась на воров (нет, не опустится), а без труда всё равно ничего не создастся. *Без труда — нет добра.* Без труда — нет и независимой личности».

Слышать про гибельное положение страны «эллипсоиду» было не к настроению. Десятилетие спустя Н. Д. Солженицына заметит: с появлением «России в обвале» была связана почти анекдотическая реакция прессы: в мае—июне—июле брюзжание — *какой обвал, о чём он говорит?* А в августе, когда обвалился рынок, случился дефолт, — *неужели старик предвидел?* Но кроме брюзгливого недовольства диагнозом (термин «обвал» воспринимался многими как публицистическое преувеличение), в летние, ещё «додефолтные» месяцы 1998 года слышались голоса рассерженные и взыскующие. Автор апокалипсической книги, во-первых, уличался в нелогичности. «Если жизнь при Брежневе была так ужасна, как описывал её Солженицын из Вермонта, тогда вряд ли стоило называть книгу про нынешнюю жизнь “Россия в обвале” — обваливаются сверху вниз, а нижняя точка была зафиксирована ещё в Вермонте», — писал в июне 1998-го «Русский телеграф» (газета, возникшая в 1997-м и почившая после дефолта). Во-вторых, «пророку» язвительно предлагали задуматься — могло ли вообще из страны, прошедшей длительную школу государственного разврата, выйти что-нибудь не столь больное и кособокое, как сегодняшняя Россия. В-третьих, обвиняли — его самого. «С первых моментов ослабления цензуры в 1987 году подсоветская публика тщетно взывала к вермонтскому затворнику с вопросом, чтó он обо всём этом думает, — и тогда эффект от его речей мог

быть вполне серьёзным. Пророк высокомерно молчал три года и стал пасти народы лишь тогда, когда уже всё пошло вразнос. Если за то, что Россия в обвале, ответственны все, то, может быть, не ко времени молчащий и не ко времени говорящий пророк — тоже?»

В том факте, что для прессы, состоявшей при коммерческих банках, тревога Солженицына была «не ко времени», ничего удивительного не было. То, что его книгу такая пресса сразу дезавуировала, назвав результатом «скорбной преходящести пророческого дара», тоже было в порядке вещей. Но нельзя не подивиться вопиющему служебному несоответствию: сторожам хозяйского добра следует ведь предупреждать хозяев об опасности. А тогда, за полгода до рокового 17 августа, бил тревогу (по своим причинам, разумеется) один Джордж Сорос, заявивший в марте: «Россия “села на иглу” западных кредитов. Олигархи, будто не видя общей опасности, продолжают грызться между собой за последние куски бывшей госсобственности. Всё это неизбежно должно закончиться полномасштабным финансовым кризисом».

Через пять лет после дефолта Би-би-си провела интернет-дискуссию о событиях 1998 года: «17 августа 1998 года в России произошёл крупнейший финансовый кризис, который серьёзно повредил экономике страны и подорвал доверие к ней со стороны международного сообщества. Многие россияне впервые в жизни услышали слово “дефолт” и узнали его значение. Как повлиял дефолт на вашу жизнь? Удалось ли вам вернуть потерянные деньги и вообще восстановить утраченные позиции? Как изменились ваши взгляды на жизнь?»

Так вышло, что ответы участников дискуссии оказались точной реакцией на «Россию в обвале». «Россия кончилась. Сегодня это не государство, а шарашкина контора по обогащению довольно большой группы людей, быстро идущая к ликвидации. Мне жаль её. Но виноваты только те, кто стерпел и дефолт, и многое иное...» «Россия потерпела крах как цивилизация, а дефолт это просто мелочь». «Дефолт был сделан российскими чиновниками и правительством, никто за это не ответил впоследствии. Запад прекрасно понимал, что действия российского правительства ведут к краху, но молчал и потворствовал, так как желал этого краха». «Сильные люди боролись за большие деньги. Победили. Вышли во Власть. Дальше — надо что-то делать для страны и граждан, а ни образования, ни мотивации нет. Что-то и делали. Страну качало и трясло... Как можно электорат-ждущий-зарплату превратить в людей, смотрящих правде в глаза?

Только самосознание Личности можно противопоставить беспределу власти». «Дефолт показал, что у нас государство не рыночное, а воровское. К сожалению, народ слишком инфантилен, чтобы потребовать головы шутников, устроивших подобную мерзость. Кто виноват? Народ виноват, который нёс деньги в банк, заведомо зная, что его дурят».

А вот — ещё серьёзнее: «Все годы правления Ельцина Россию вели к катастрофе, точнее, к бесконечной череде катастроф. Дефолт был одной из них. Дефолт в России тщательно готовился Западом. Страна и сама бежала к нему с фантастической скоростью, летела, распахнув нараспашку грудь, и он случился. Главные виновники дефолта не то что вышли сухими из воды, а даже не испытали ни малейшего чувства стыда. А мы? Радовались ли мы? Не совсем. Думаю, мы были шокированы, мы были потрясены, мы были подавлены. Обида и злость душила нас. Но мы не протестовали, не требовали наказания виновных. Мы получили ответ на вопрос: что такое демократия по-русски. Это когда тебя негодяи насилуют, грабят и раздевают. Раз за разом, год за годом, ежедневно, днём и ночью. На смену коммунистической ночи Россию окутала ночь демократическая. За что боролись, на то и напоролись».

Жизнь России конца 1990-х — будто начиталась и наслушалась Солженицына. Единомышленниками писателя становились даже и далёкие от литературы люди, учившиеся на опытах собственной жизни понимать, что происходит с ними и с их страной. Они формулировали своё понимание жизни вроде бы независимо от русских классиков, но получалось — совершенно созвучно с ними. «Россия — есть теперь по преимуществу то место в мире, где всё что угодно может произойти без малейшего отпору» (Достоевский). «В нашей стране всё возможно»; «в России всё непредсказуемо»; «от России можно всего ожидать»; «почему-то у нас всё невозможное случается как возможное» — так, согласно социологическим опросам, считало большинство населения после катастрофы 1998-го, будто цитировало «Бесов» или «Россию в обвале». Разве что градус обвала теперь зашкаливал: «Земная история, может быть, не знает другого такого самоубийственного поведения этноса».

...Кажется, 1998 год стал переломным в русском сюжете о пророке и отечестве. Вырос спрос на книги Солженицына (первые четыре года не издавалось почти ничего). В 1997-м была объявлена и в 1998-м стартовала Литературная премия Александра Солженицына для награждения писателей, живущих в России и пишущих на русском языке, — об учреж-

дении такой премии А. И. мечтал почти четверть века. И критерии отбора лауреатов, и основательность аргументов в пользу награждённых со стороны жюри, и серьёзность церемонии, где в ответ на формулу присуждения звучало слово лауреата, получат в глазах культурной общественности высокую оценку. Наконец, в декабре 1998-го широко отмечался 80-летний юбилей писателя. «Есть какая-то провиденциальная эстетическая сообразность в том, что день рождения этого человека приходится на самое тёмное место в году: день съёжился дальше некуда, от стужи дух захватывает, из всех красок остались только чёрное и белое, белизна снега и чернота мрака, — но каждая проходящая, отмечаемая тиканьем часов секунда явственно приближает солнцеворот. В жилах это чувствует кровь, в стволе дерева, наверное, чувствует по-своему сок. Время становится ощутимым. Когда же ему было родиться, как не в такие дни?» — размышлял в юбилейные дни С. Аверинцев.

К свету, кажется, повернулась и Госдума. Четырёх лет хватило ей, чтобы усвоить уроки 1994 года. Когда В. Лукин, председатель Комитета по международным делам, на пленарном заседании предложил отметить юбилей Солженицына как «великого русского писателя и великого соотечественника», депутаты, навёрстывая упущенное, встали и аплодировали. 11 декабря фракция «Яблоко» распространила заявление, где отмечалось, что «Солженицын нужен сейчас России не меньше, а ещё больше, чем в тоталитарные времена». Это был несколько запоздалый, но всё же ясный ответ тем, кто кричал в 1994-м: не нужен! не нужен!

Депутаты Московской городской думы приняли решение о присвоении писателю титула «Почётный гражданин Москвы» — за благотворительную деятельность. Учитывалась работа Русского Общественного Фонда: теперь он трудился открыто и легально, а политзэки, получавшие регулярные денежные выплаты, жизненно им необходимые, являлись, к счастью, зэками *бывшими*. Учитывалась и помощь, которую оказывает Фонд провинциальным библиотекам России и бывших союзных республик, покупая и передавая им в дар ежегодно около 50 тысяч книг — с начала перестройки центральные библиотечные коллекторы были разрушены, новых поступлений ждать не приходилось и средств на приобретение книг тоже не было.

Отметила заслуги Солженицына и Русская православная церковь. Патриарх Московский Алексий II направил писателю поздравительное послание: «За прошедшие годы Господь судил Вам многое пережить и сделать. Отрадно сознавать, что

во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда являли пример христианского отношения к ближним, бескомпромиссного свидетельства о правде, большой работоспособности и стойкости духа». Солженицын, отмечал Патриарх, своими произведениями оказал огромное влияние на самосознание последних поколений россиян. «Ваше творчество помогло современникам увидеть себя в контексте реальной истории, освободиться из плена догматизированных мифов. В Вас, быть может, как ни в ком из современников, столь ясно видно, что Ваша судьба — Россия и сами Вы — часть судьбы Святой Руси». От имени РПЦ писатель награждался орденом Святого благоверного князя Даниила Московского.

1 июля 1998 года указом президента России был восстановлен самый первый из российских орденов, учреждённый Петром I в 1698 году и выдававшийся (вплоть до 1917 года) за боевые подвиги и гражданские доблести, — орден Святого апостола Андрея Первозванного, высшая государственная награда Российской Федерации. В указе отмечалось, что этим орденом (девиз — «За Веру и Верность») будут награждаться «выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Первыми кавалерами восстановленного ордена стали академик Д. Лихачёв, оружейник М. Калашников и президент Казахстана Н. Назарбаев. «Вот она, наша новая (искомая) идентичность: с Пушкиным в одной руке, с автоматом Калашникова — в другой, с орденом Андрея Первозванного на шее, — памятник новой/старой России. России, которую мы обретаем», — сердилась оппозиционная пресса.

В случае Солженицына история с высшей наградой дала осечку. Когда-то Твардовский выдвигал любимого автора на Ленинскую премию, но власть заартачилась и в награде отказала. Теперь потакать капризу власти отказывался сам писатель. Личное поздравление от Б. Ельцина как частного лица он принял, а орден как знак государственного благоволения — отверг. «До меня дошли сведения, что президентский совет по культуре рекомендовал наградить меня орденом к моему 80-летию. Если эти сведения верны, хочу удержать от этого шага. От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу — не та обстановка в стране», — заявил А. И. Слова отречения (заранее направленные в администрацию президента в письменном виде, но не возымевшие действия) были вынужденно произнесены со сцены Театра на Таганке — в день своего юбилея Солженицын был на премьере спектакля

Ю. Любимова «Шарашка», поставленного по роману «В круге первом». Название премьеры, как вывеска, висело над входом в театр — празднование юбилея *как бы* в «спецтюрьме» и в компании «подельников» лучше всего отражало смысл торжества. Декорацией спектакля, которая стала и декорацией юбилейной церемонии, были тюремные нары. «На меня нахлынули чувства, — говорил А. И. со сцены, — я вспомнил многих тех, кого сегодня уже нет...»

...Зал, замерев, слушал речь юбиляра, выделявшего паузами каждое слово, но ещё не знал, что главное действо впереди. Безмолвно внимали автору артисты в лагерных бушлатах, и, кажется, сильно был смущён режиссёр спектакля, сыгравший Сталина, — незапланированная мизансцена совершенно выпадала из сценария торжества. «При нынешних обстоятельствах, — добавил А. И. поверх письма, — когда люди голодают за зарплату и бастуют учителя, я принять орден не могу. Может быть, через немалое-немалое время, когда Россия выберется из своих невылазных бед, сыновья мои примут эту награду за меня». Ю. Лужков, выступавший вслед за юбиляром, точно оценил момент: «Сейчас он совершил поступок, на который способны только люди, кто душой болеет за то, что у нас происходит...» Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл передал поздравление юбиляру от Патриарха и вручил награду РПЦ. «Церковные награды — это награды народные, — сказал Владыка. — Не нужно никакого политического решения, чтобы вручить такую награду. Она вручается по велению сердца, по велению совести. Святейший Патриарх вместе со всей нашей Церковью удостаивает Вас такой награды. Я надеюсь, что Вы примете её». Ордену Святого благоверного князя Даниила Московского повезло больше.

Кто видел Солженицына перед отречением — тот не забудет грозную музыку судьбы: при внешнем спокойствии — стальная точность жеста, неколебимость решения, огненность веры. «Нынешний отказ ставит писателя, живого классика русской литературы, в почётный ряд мужественных патриотов своего Отечества», — отмечала оппозиционная пресса, называя имена предшественников: писателя Ю. Бондарева, композитора Г. Свиридова, генерала Л. Рохлина, не принявших разные награды от руководства страны. Однако первого кавалера ордена, Д. Лихачёва, поступок Солженицына не порадовал: это «неуважение к власти», «элементарная невоспитанность», «Ельцин тут ни при чём», «я уговаривал А. И. получить орден, но он встал в позу и остался непреклонен». Но тот же Лихачёв вполне понимал стремле-

ние Солженицына «отгородиться от власть имущих»: «Подобно Тургеневу, Достоевскому, Толстому и другим русским классикам, Солженицын всегда был “против мундиров”, находился в духовном изгнании». Но получалось, что способность «жить по совести, говорить правду независимо ни от каких партийных, идеологических соображений» — некорректна? невежлива? А воспитанность — нечто противоположное совести и правде?

Отказ от награды комментировался как поступок прогнозируемый: опубликовав «Россию в обвале», писатель не мог поступить иначе. «Может быть или высшая награда, присуждаемая властью, или такая низшая оценка деятельности этой власти». «Значение того солженицынского вечера для меня, — замечал Е. Яковлев, — возвращение на Таганку. Не возвращение “Таганки”, оно невозможно. А наше возвращение на Таганку как на место коллективной мысли, общей мечты, сопротивления, протеста против насилия. Когда я шёл на спектакль, люди, как когда-то, стояли у входа и спрашивали лишний билет. И то, что отказ Солженицына от президентской награды произнесён именно со сцены “Таганки”, для меня чрезвычайно важно». Поведение Солженицына в дни юбилея называли венцом его нравственного противостояния злу. «Для жадной и услужливо-суетливой интеллигенции это стало столбнячным шоком. А для будущих поколений высоким примером. Ни один из его злопыхателей не смог бы подняться на такую высоту. Своим поступком великий “зэк” отвесил глубокий поклон своим ушедшим товарищам по лагерной баланде» (К. Раш).

Для властей жест писателя не стал сюрпризом. Президент не учёл просьбу лауреата и не воздержался от вручения награды. Сообщалось, что окружение Ельцина восприняло шокирующее заявление чрезвычайно мягко: А. И. «всё равно» оставляли кавалером ордена, которого он «безусловно заслуживает». «Его право принять либо не принять награду, но долг президента, так, как он его понимает, перед государством — не оставить неотмеченным выдающегося человека в день его юбилея». «Нынешние властители в попытках награждения писателя лукавят — вроде Россию в обвал двигают не они», — говорили в народе. «Отказавшись от ордена, Солженицын замечательно точно выразил свою гражданскую позицию, — считал губернатор Красноярского края А. Лебедь. — В стране, которая влачит жалкое существование и находится в состоянии перманентной гражданской войны, ни один человек не должен получать ордена до тех пор, пока его Отечество не станет страной единого народа,

не обретёт собственное достоинство и уважение к себе. Я приветствую позицию Солженицына» (сам Лебедь будет награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного в декабре 2000 года и награду примет — за полтора года до своей гибели в авиакатастрофе).

Именно это награждение-ненаграждение стало кульминацией юбилейных солженицынских дней («уникальный пример писательского самоуважения и личностной целеустремленности», по одной из оценок). Неврученный орден залёг невзорвавшимся снарядом, миной в минном поле. «Истинный, неподдельный трагизм ситуации, — писала «ЛГ», — в том и состоит, что обе стороны — награждавшая и непринявшая — поступили как должно, оставив почтеннейшую публику в состоянии недоумения. Неожиданно или, напротив, закономерно при таких фигурантах нам в этом сюжете не оказалось места. Кому аплодировать? Кого освистывать? Шаг вправо, шаг влево...»

Характерно суждение Н. Михалкова, посетившего Солженицына по своей инициативе (и по-соседски) в начале 1999 года. «Мне показалось (и это самое главное), что Александр Исаевич не диссидент по существу своему. Это вовсе не означает, что я хочу принизить роль диссидентов. Это смелые люди, и они многое сделали. Но мне внутренне претит диссидентство как таковое по одному эмоциональному качеству: потому что оно строится на словах “нет”, “не люблю”, “не нравится”, “будь проклято”. Меня же интересует: “люблю”, “хочу”, “мечтаю”, “делаю”... Мы пытались оценить вместе, что плохо у нас... Говорили о том, за кого и за что можно было бы “дружить”, выражаясь фигурально».

Тот факт, что Солженицын не диссидент, а «поэт по преимуществу» (как отзывался Достоевский о Герцене), и всегда, во все времена оставался им, он доказал ещё раз, выпустив в 1999 году книгу стихов и прозы тюремных-лагерных-ссыльных лет. Лагерные стихи и стихотворная поэма «Дороженька», сочинённые на память (в памяти вывезенные из лагеря и записанные только в ссылке); автобиографическая повесть «Люби революцию», созданная на шарашке, хранившаяся у «Симочки» и возвращённая автору в 1956-м; эссе о Грибоедове «Протеревши глаза», написанное в онкологической клинике в Ташкенте в 1954-м и давшее название сборнику. «Они были моим дыханием и жизнью тогда. Помогли мне выстоять. Они тихо, неназойливо пролежали 45 лет. Теперь, когда мне за 80, я счёл, что время их и напечатать». Писательское подполье бывшего зэка открывалось читателю на всю свою глубину...

У российских академиков получил признание и Солженицын-ученый. 2 июня 1999 года, в дни юбилейных торжеств, посвящённых 275-летию РАН, на общем собрании академии её президент Ю. Осипов вручил нобелевскому лауреату, действительному члену академии Солженицыну Большую золотую медаль имени М. В. Ломоносова 1998 года. Высшей награды РАН академик Солженицын был удостоен «за выдающийся вклад в развитие русской литературы, русского языка и российской истории». Согласно традиции после вручения награды лауреат выступил с речью: «Я вырос в сознании, что писатель не смеет отдаться полностью своим художественным радостям. Что рано или поздно он должен послужить своему народному сообществу, своему Отечеству... У кого есть силы — должны заменить истреблённых, даже выходя за контуры своей профессиональной деятельности и своего жизненного плана. По этому, но и по общественной страсти, я, едва начав публичный литературный путь, вынужден был много сил переложить на борьбу за общественную справедливость, в противостояние жестокому политическому режиму».

Своё выступление А. И. назвал «Наука в пиратском государстве» — ещё никогда за три века существования российская наука не был ввергнута в столь жалкое и нищенское состояние. Да и человеческой истории неведомы примеры, когда бы под демократическим флагом устроилось уродливое полууголовное государство: «Когда заботы власти — лишь о самой власти, а не о стране и населяющем её народе; когда национальное богатство ушло на обогащение правящей олигархии из неперечислимых кадров властей верховной, законодательной, исполнительной и судебной». В условиях такого государства трудно давать утешительный прогноз для России — только многовековая культурная традиция, которая и делает Россию одной из мировых цивилизаций, несёт в себе собственные спасительные задатки. «Удалось бы только срастить в живую ткань здоровые творческие силы».

...31 декабря 1999 года, в полдень (выступление в записи было показано за несколько минут до полуночи), Б. Ельцин объявил о своей отставке. «Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку... Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать... Я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из

серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, одним рывком — и всё одолеем. Одним рывком не получилось. В чём-то я оказался слишком наивным. Где-то проблемы оказались слишком сложными. Мы продирались вперёд через ошибки, через неудачи. Многие люди в это сложное время испытали потрясение. Но я хочу, чтобы вы знали. Я никогда этого не говорил, сегодня мне важно вам это сказать. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моём сердце. Бессонные ночи, мучительные переживания: что надо сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немного жилось легче и лучше? Не было у меня более важной задачи. Я ухожу. Я сделал всё, что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем».

Снимавший телеоператор вспоминал, что, дочитав последнюю фразу, Ельцин ещё несколько минут сидел неподвижно и по лицу его лились слёзы. Уже выйдя из здания и садясь в машину, Ельцин произнёс знаменитое: «Берегите Россию!» Исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства В. Путин — он и обратился с новогодним обращением к гражданам России. В тот же день и. о. подписал указ, гарантирующий экс-президенту защиту от судебного преследования, а также материальные льготы ему и его семье.

В мае 2000-го, после церемонии вручения Литературной премии писателю В. Распутину, А. И. давал интервью НТВ и «Новой газете», как бы подводя итог правлению Ельцина. Ведущие политологи страны писали, что Ельцин вошёл в историю как первый всенародно избранный президент России, один из организаторов сопротивления ГКЧП, один из главных участников упразднения СССР, радикальный реформатор России. «Известен также своими решениями о запрете КПСС, пересмотром курса на строительство социализма, решениями о роспуске Верховного Совета, штурме Белого дома с применением бронетехники, о начале военной кампании в Чечне». Оценка Солженицына была горше. «В результате ельцинской эпохи разгромлены или разворованы все основные направления нашей государственной, культурной и нравственной жизни... Президент Ельцин бросил 25 миллионов соотечественников, без всякой правовой защиты, без всякого внимания к их нуждам. Они ошарашены, они стали иностранцами в своей стране. А он тем временем только обнимался с диктаторами и вручал им российские награды...» Ещё непримиримее А. И. высказался на встрече с читателями Российской государственной библио-

теки в том же мае: «Снятие с Ельцина ответственности я считаю позорным. И, наверное, не только Ельцин, но и с ним ещё сотенка-другая тоже должна отвечать перед судом!»

Отчётливые сигналы были посланы и по адресу нового президента: «Невидимые для нас финансовые магнаты незримыми нитями по сути управляли исполнительной властью. И что же? При новой власти послан ли нам знак, что эти путы будут разорваны? До сих пор нет... Новый стратегический центр нового президента говорит: продолжим реформы. То есть без критики реформ, без отказа от них, от их пороков, от их возмутительного издевательства? Как это понять? Продолжим разграбление, разгром России до конца?.. Пока никаких ободряющих, оздоровительных движений мы от новой власти не видели».

Власть, однако, сигналы услышала и не осталась безучастной. 20 сентября 2000 года в Троице-Лыково прибыл с визитом президент России Путин с супругой и был тепло принят четой Солженицыных. Спустя сутки российские и мировые СМИ разрывались от предположений, версий, догадок: зачем Путин поехал «на поклон»? Зачем Солженицын его принял (ведь такие визиты не бывают внезапными)? И главное: на следующий же день в программе «Вести» писатель признался, что Путин произвёл на него очень хорошее впечатление — человек живого ума и быстрой сообразительности, озабочен судьбой России, а не личной властью, понимает все неимоверные трудности, доставшиеся в наследство. «У нас был очень живой, очень полезный диалог, иногда он возражал, иногда соглашался. Ряд моих предложений он зафиксировал, а часть я зафиксировал его возражений, поправляя себя... Я считаю, что встреча была очень полезна и нужна. Я благодарен, что президент нашёл время приехать и побеседовать. Во всяком случае я сегодня полон идей».

«Общая газета» сердито писала: «Довольно сложно представить Льва Толстого, вознамерившегося из писателя и мыслителя переквалифицироваться в политика-практика, принимающего у себя в Ясной Поляне государя императора Николая II». «Новое время» тоже соблазнилось историческими парадоксами: Солженицын разглядел в Путине нового Столыпина (а Путину было интересно общаться с человеком, которого при ином раскладе он, в составе спецконвоя, мог бы сопровождать в ссылку к Генриху Бёллю). Газета «Сегодня» с тревогой писала о прецедентах: «В России во второй раз в её истории создаётся дуэт правителя и писателя. Правитель правит, писатель вдохновляет. Первый раз правителем был державно мыслящий Николай I, а писателем Пушкин, ставший

просвещённым консерватором и противником польской независимости. Сейчас эту пару составляют Путин и Солженицын». «В том, что Путин умный человек, я с Солженицыным согласна, — сообщала «Вечерней Москве» из США Е. Боннэр. — Всё остальное вызывает сомнение... Психологически этот альянс безумно интересен и достоин пера Достоевского. Как самый отчаянный борец с режимом подружился с полковником КГБ, до сих пор апологетически относящимся к этой организации? Становится довольно страшно...»

«Пикейные жилеты» противоположного толка полагали, что Путин уронил репутацию КГБ, унизил свою офицерскую честь, оскорбил полковничьи погоны, пойдя на поклон к человеку, который называет доблестные органы не иначе как «Дракон». Правые радикалы требовали, чтобы Солженицын ушёл из жизни подвижником, а не лагерным прихвостнем — встретив на пороге своего дома кадрового офицера КГБ, он навсегда опозорился. Почему Солженицын не вышел к гостю с топором, почему не спустил его с крыльца, почему на худой конец не сказался больным или отсутствующим, — риторически вопрошали «товарищи по оружию». «Вы стоите на грани утраты доброго имени, гражданского достоинства и имиджа борца против тоталитаризма. Мой долг предостеречь Вас. Я говорю с Вами как диссидент с тридцатилетним стажем» (В. Новодворская). Впрочем, неистовую правозащитницу тут же и одёрнули: в отличие от писателя, обеспокоенного тем, как обустроить Россию, она хлопочет, как бы её разрушить.

Политические аналитики видели в происшедшем гениальный пиаровский ход, работу имиджмейкеров и политтехнологов. Бывший сотрудник КГБ посетил бывшую жертву КГБ, за «чаем с блинами» состоялось их полное примирение — тем самым чекистское прошлое президента как бы отменяется, а сам факт встречи с писателем характеризует уже нового Путина. Но ведь... Солженицын с его внутренней склонностью к духовному наставничеству, чего доброго, начнёт влиять на нового президента — и в деле обустройства России, и в вопросе об итогах приватизации, и в смысле конкретного отношения к тем или иным олигархам. И поскольку творческая интеллигенция (кроме Солженицына) уже вовлечена в игры олигархов, такой партнёр (если только он им станет!) сразу даст президенту огромное преимущество. «Они естественные союзники! — ужасались либералы. — Так они теперь и будут вдвоём: Путин и Солженицын — друзья России, враги свободы. Так это теперь и останется в памяти, как на телекартинке: патриарх, благословляющий президента. Аминь».

Делались самые мрачные предположения. «Антидемократическая и антизападническая позиция Солженицына представляется существенной угрозой для будущего России, если именно она будет воспринята и поддержана президентом страны» (В. Войнович). «Известия» называли Солженицына «репетитором», который натаскивает «ученика» Путина на уроках морали, нравственности и государственного строительства. «Приватизация была, конечно, страшным обманом целой страны. Но выступать за передел собственности, особенно Солженицыну, знающему, что такое революция, связанная именно с таким переделом — значит призывать к гражданской войне» (Е. Боннэр). «Увлечение Путина идеями Солженицына, который остаётся непререкаемым моральным авторитетом, крайне опасно; а мнение о необходимости пересмотра итогов приватизации — не просто его личные мысли, а нечто, всерьёз влияющее на ситуацию» (А. Чубайс). За полтора месяца до встречи в Троице-Лыкове этот же деятель заявил «Коммерсанту»: «Ненависти такого накала к современной России, как у А. И. Солженицына, я давно не видел даже у Г. А. Зюганова. Масштабы этой ненависти таковы, что она просто самоуничтожающа... Я знаю, что искренняя позиция Солженицына — это глубокое убеждение в том, что результаты приватизации нужно отменить. Поразительно, как логика, основанная на внешне понятных этических ценностях, может завести умного человека на позиции абсолютно человеконенавистнические. Любой, кто знает историю России, прекрасно понимает, к чему приведет пересмотр приватизации».

Напрашивался, однако, вопрос: знают ли историю те, кто вместе с Чубайсом проводили приватизацию? Или уроки рукотворных катаклизмов положено помнить только их жертвам, но никак не авторам? Так или иначе, били тревогу именно последние. Как сообщала пресса, Чубайс сильно обеспокоился тем, что глава государства всё больше заражается идеями Солженицына — писатель становится духовным наставником президента. «Писателя и правителя» подозревали в тесных, но не афишируемых контактах. «Либералы боятся, — докладывала «Общая газета», — что альянс Путина с Солженицыным и гэбэшниками может стать доминирующей политической силой. В этом случае господам, не питающим друг к другу особых симпатий: Касьянову, Волошину, Чубайсу, Абрамовичу, ничего не остаётся, как сплотиться и организованно противостоять президенту, который, по их мнению, дрейфует в опасном направлении».

Заговоры, мятежи, революции и гражданские междоусо-

бицы виделись воспалённым умам «столпов демократии» естественными следствиями разовой застольной беседы писателя и президента. Солженицын был удостоен звания экстремиста, крайнего политического средства («теперь вместо полётов на истребителе президент выбирает общение с нобелевским лауреатом»), а его взгляды отныне считались фактором морального оправдания для радикальных мер, на которые неизбежно пойдёт президент, своего рода нравственной санкцией на авторитарное правление. «Благодаря общению с Солженицыным, многие решения президента приобретают дополнительный привкус полуутопической борьбы за справедливость», — злилась либеральная пресса, в понимании которой слово «справедливость» приравнивалось к понятиям «поджог» или «погром». Как, должно быть, теперь кусали локти те, кто в 1994-м приговорил Солженицына к политическому небытию!

...13 декабря 2000 года в Москве, в резиденции посла Франции состоялась церемония награждения Солженицына Большой премией Французской академии нравственных и политических наук, входящей в состав Института Франции. В присутствии видных общественных и культурных деятелей обеих стран известный французский философ Ален Безансон, говоря о месте Солженицына в истории XX века, аттестовал писателя не только «моментом человеческой совести», но также одним из величайших людей столетия, «главным действующим лицом истории». Ответная речь лауреата — «Перерождение гуманизма» — прозвучала как русская версия будущего человечества. Мысль о метаморфозе гуманизма (которому далеко не всегда удавалось смягчать зло и жестокость истории) прямо смыкалась с тем местом в речи Безансона, где говорилось о пути Франции, отказавшейся от планов господства над Европой. Гуманизм человечный, «широкодушный» на глазах одного поколения людей переродился в «Обещательный Глобализм», присягнувший единому мировому порядку. Обнаружив со временем, что «прогресса для всех» не хватает, он превратился в -изм повелевающий, указующий, тоталитарный. В такой -изм, который три месяца подряд бомбит многомиллионную европейскую страну, разрушает её святыни, электростанции и мосты, а потом берётся «лечить» больное государство, отрывая от него лакомую провинцию.

«Под такими чёрными знаками мы вступаем в век XXI».

На какой опыт ориентироваться России? Какому примеру следовать? Коль скоро француз-интеллектуал пожелал России обрести *счастье* на путях свободы и права — А. И. ответил рассуждением об особой трагичности русской исто-

рии, о стране, попавшей из тоталитарного гнёта в истребительный ураган грабительства. Ален Безансон уповал на «хорошего правителя для России» — Солженицын не упустил случая сказать, каковы они, сегодняшние «верхние»: «Наш нынешний политический класс — невысокого нравственного уровня, и не выше того интеллектуального. В нём чудовищно преобладают: и нераскаянные номенклатурщики, всю жизнь проклинавшие капитализм — а внезапно восславившие его; и хищные комсомольские вожаки; и прямые политические авантюристы; и в какой-то доле люди, мало подготовленные к новой деятельности». Вместо *свободы* и *права*, где, по мнению французского философа, и поджидает Россию счастье, Солженицын заговорил о преимуществе духа над бытием — осознание этого преимущества, этой первичности духа и даст силы подняться из обморока. «Я и всегда верил, что возможности духа — выше условий бытия и способны преодолевать их».

Солженицын остался верен себе, когда журналисты спросили его о новом президенте. Наследству, доставшемуся Путину от Ельцина, не позавидуешь. Перед ним не десятки, а сотни вопиющих вопросов. Сделано уже множество ошибок, а то, что делается правильно (борьба против грабителей и хищников), — делается пока нерешительно. Война в Чечне начата не Путиным, а Ельциным. «Я в 1992 году советовал Ельцину: да оставьте вы Чечню, они хотят отделиться, жить сами по себе, ну пусть живут за Тереком. Но после этих трёх лет масхадовских, которые пошли на устройство взрывного, опасного узла, я вижу, что я в своем совете Ельцину ошибался. Не Путин напал на Чечню, а боевики Масхадова напали на Дагестан. Что же, отдавать Дагестан? Потом Ставропольский, Краснодарский край — только бы не было войны?»

Солженицын отлично сознавал лицемерие Указующего Гуманизма. Когда Россия пребывала во прахе, когда государство Российское уже переставало существовать, закрывались заводы и институты, запустевали космодромы и научные лаборатории, авторам *такого* проекта аплодировал весь либеральный мир — и вся его *свободная* пресса по ту и по эту сторону границы. Россия удостаивалась похвал, когда деморализованная, пьяная, нищая она протягивала руки за гуманитарной помощью и тщилась угадать, в какую сторону швырнут кусок. Теперь, когда появлялся шанс, что Россия сосредоточится и соберётся с мыслями, она тут же объявлялась опасной и подозрительной, в ней немедленно обнаруживалось *меньше демократии*. «Свобода слова, как всякая свобода, дорогой, но двоякий дар, — объяснял А. И. почтенному собранию в по-

сольстве Франции. — Когда говорят, что у нас уже подавлена свобода слова, я, имея советский опыт, не согласен».

Солженицыну было с чем сравнивать нынешнюю степень свободы, но ему был важен другой её ресурс. «Очень опасно внутреннее нарушение свободы. Я получаю несколько газет и сотни писем. Непрерывные письма идут: крик народа — о том, чтó с ним делают. Так вот: *эти звуки не совпадают*. Газеты гораздо поверхностней, мельче, они меньше всего заботятся о народном благе, так, для украшения, втягиваясь в отдельные эпизоды». Музыка свободы различалась по ритму, интонациям, громкости, страстности, накалу, а главное — по содержанию, и это музыкальное ощущение было точнее и достовернее слов. «Как раз при встрече с Путиным я ему сказал: укрепление государства нужно для единства России, но расцвета России от этого укрепления государства мы не получим. Расцвет России возможен тогда, когда откроются уста миллионов, и уста, и руки их станут свободными, чтобы делать свою судьбу».

«Знание о *социальном неравенстве* — есть знание высокое, холодное и гневное...» — писал А. Блок в 1918 году, незадолго до рождения Солженицына, когда бездны ада XX века ещё не разверзлись в полной мере. Запредельность жестокости, обширность катастрофы, массовость её участников и безмерность жертв, то есть общая сумма зла, придавали истории, как её ощущал Солженицын, новое качество, «условия жизни как бы другой планеты». Историческое поражение (духовное и материальное), которое потерпел русский народ в XX веке, а также общее падение европейского человечества в Первой мировой войне имели общую причину: утрату *высших мерок жизни*. В самый канун XXI века Солженицын, неизменный сочувственник страждущих, дерзал напоминать своей стране (уже как будто обречённой безвозвратно погрузиться в Третий мир) и её новому президенту о возможностях Духа, способного изменить направление любого самого гибельного процесса, «откатить и от самого края бездны».

Человек в мире Солженицына, как и в реальности, слишком упал, но имеет силы подняться. Как сказано у Иоанна Лествичника: «Ангел никогда не падает, бес до того упал, что всегда лежит, человек падает и восстаёт». Христианскую идею вечной природы человека, сотворённого по образу и подобию Божию, великую идею, теснимую под натиском мирового организованного гуманизма (или Обещательного Глобализма), и пытался в конечном счёте отстоять Солженицын. А циничный мелкотравчатый «эллипсоид» полагал, что речь идёт только об итогах приватизации.

Глава четвёртая

«КАЛЁНЫЙ КЛИН». ХОЖДЕНИЕ ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА

В мае 2001 года в России побывал вице-премьер и министр иностранных дел Израиля Шимон Перес. Пресса сообщала, что программа визита была необычно широкой, особенно в её гуманитарной части. Израильский политик встретился не только с президентом РФ и министром иностранных дел. Он общался с Патриархом, был в Ясной Поляне, сказав, после посещения Музея Л. Толстого, будто весьма сожалеет, что Толстой переписывался с Ганди, а не с Ясиром Арафатом, потому что, возможно, писателю удалось бы повлиять на палестинского лидера так, как он в своё время повлиял на великого индуса. Это, разумеется, была шутка, хотя и с некоторым подтекстом.

Встретился Шимон Перес и с Солженицыным. «Мы обсуждали глобальные и философские проблемы — цивилизации и культуры в эпоху глобализации, войны и мира, религии. Г-н Солженицын по поводу всего этого пессимистично настроен, я не разделяю его пессимизма. Я спросил его, не желает ли он посетить Израиль, где не был. Солженицын ответил, что совсем не путешествует уже, что не может тратить время, предназначенное для творчества. Я был приятно удивлён, узнав, что он пишет книгу об отношениях между русскими и евреями».

Так широкой публике стало известно, что автор «Архипелага» трудится над взрывоопасной русско-еврейской темой и что первая часть работы вот-вот выйдет в свет. «Как, он и это успел?! — восклицал Л. Аннинский. — И сил хватило, и времени! И никто не ведал, что готовится такое! Втайне, что ли, он работал, как в советские времена? Во хватка, во схрон — молодец, зэк!» В июле 2001-го, выступая в «Русском Зарубежье» на обсуждении первого тома книги «Двести лет вместе» (русско-еврейские отношения в дореволюционный период), Н. Д. Солженицына, редактор издания, рассказала о замысле и истории создания работы. Неиспользованный в «Красном Колесе» материал по еврейскому вопросу не вмещался в эпопею и требовал отдельного осмысления. Проведя «инвентаризацию», автор пришёл к выводу, что разумнее всего сделать исторический обзор.

В кратком предисловии к тому («Вход в тему») автор назвал русско-еврейский вопрос *калёным клином*, то и дело входившим в события, в людскую психологию. Автор раскрыл мотивы создания книги и своё представление о по-

следствиях (вряд ли можно надеяться на полный успех миротворческой, третейской миссии). Он долго откладывал работу и рад был бы не писать книгу вовсе, не испытывать себя на лезвии ножа: «С *двух* сторон ощущаешь на себе возможные, невозможные и ещё нарастающие упреки и обвинения». Но не появился до сих пор труд об истории русско-еврейских отношений, который бы встретил понимание с обеих сторон. Еврейский вопрос всегда толковался страстно и самообманно — автор намеревался посмотреть на него спокойно и правдиво. «Слишком повышенная горячность сторон — унизительна для обеих».

Послание Солженицына выглядело предельно ясно: «Я призываю обе стороны — и русскую, и еврейскую — к терпеливому взаимопониманию и признанию своей доли греха, — а так легко от него отвернуться: да это же не *мы*... Искренно стараюсь понять обе стороны. Для этого — погружаюсь в события, а не в полемику. Стремлюсь *показать*. Вступаю в споры лишь в тех неотклонимых случаях, где справедливость покрыта наслоениями неправды. Смею ожидать, что книга не будет встречена гневом крайних и непримиримых, а наоборот, сослужит взаимному согласию. Я надеюсь найти доброжелательных собеседников и в евреях, и в русских. Автор понимает свою конечную задачу так: посильно разглядеть для будущего взаимодоступные и добрые пути русско-еврейских отношений».

Однако едва книга появилась в продаже, прозвучали два диаметрально противоположных радиоанонса. Первый: «Новая книга Солженицына рассказывает о *дружбе* двух великих народов России — русских и евреев». Второй: «Новая книга Солженицына посвящена *вражде* двух великих народов, чьё соседство сложилось исторически». Каждый слышал только то, что хотел услышать. Каждый стремился, чтобы его уже сложившаяся точка зрения обрела новое подтверждение. И это тоже было в традиции старого спора.

«Поднять такой величины вопрос, как положение еврея в России и о положении России, имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев, я не в силах. Вопрос этот не в моих размерах», — в своё время писал Достоевский. Иные критики ни за что не хотели признать, что его действительно интересовали *две стороны* проблемы, равно как ни за что не хотели верить, что ненависти к евреям как к народу у него «не было никогда»: слишком соблазнительно было лепить клеймо антисемита великому русскому писателю. «Всё, что требует гуманность и справедливость, всё, что требует человечность и христианский закон, — всё это должно было быть

сделано для евреев», — писал Достоевский задолго до того, как в России это было сделано реально; и те, кто хотел видеть в нём антисемита, старательно не замечали его слов.

Существует лукавая интеллектуальная традиция: трактовать апостольское — «нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но всё и во всём Христос» (Кол. 3, 11) — не как равенство всех людей *перед Богом*, а как этический запрет признавать тот факт, что эллины, иудеи, варвары и скифы — суть разные народы, с разными судьбами *перед лицом истории*. Так и Солженицыну — в намерении записать его в антисемиты — привычно ставили в вину, что он *посмел заметить* национальность убийцы Столыпина Богрова. Теперь добавилось множество других примеров. «Я не терял надежды, что найдётся прежде меня автор, кто объёмно и равновесно, обоесторонне осветит нам этот калёный клин...» Пережив и написав «Красное Колесо», испытав и исследовав «Архипелаг ГУЛАГ», Солженицын уже не мог бы, вслед за Достоевским, повторить, что «вопрос этот не в его размерах». «Цель этой моей книги, — сказал он во втором томе, посвящённом советскому периоду, — отражённая и в её заголовке, как раз и есть: нам надо *понять друг друга*, нам надо *войти в положение и самочувствие* друг друга. Этой книгой я хочу протянуть рукопожатие взаимопонимания — на всё наше будущее. Но надо же — взаимно!»

Многомесячные обсуждения (первый и второй том вышли с интервалом в полтора года), породившие огромную литературу, обнажили предвиденный итог, своего рода отрицательный «баланс»: радикальные «прорусские» издания осудили книгу как проеврейскую (о евреях — слишком много хорошего, сработано «под сионистским контролем» и «на сионистских хлебах»), а большинство «проеврейских» — как антисемитскую (слишком много критики евреев, цитатное стравливание двух народов). Признание *своей доли греха* не далось почти никому. «О евреях как ни напиши, все будут недовольны. Одни антисемитизмом, другие — отсутствием антисемитизма. Что делать — не так страшен еврейский вопрос, как неприятен любой на него ответ. Классик опять попал в точку», — иронизировал «Ex libris».

Вместе с тем книга сразу стала интеллектуальным бестселлером, попав в эпицентр дискуссий историков, филологов, философов. Одними она была признана бесстрашным поступком, актом гражданского мужества: автор сознательно принял огонь на себя, довёл дело до конца, зная, что идёт под обстрел. Другие называли акцию «несвоевремен-

ной», призыв к обеим сторонам — односторонним. «Дивную» особенность либеральной общественности А. И. уже хорошо знал. «Кажется: равная полная свобода для всех — и высказываться, и узнавать чужие мысли. А на самом деле нет: свобода узнавать только то, что помогает *нашему* ветру. Мысли встречные, неприятные — не слышатся, не воспринимаются, с невидимой ловкостью исключаются, как будто и сказаны не были, хотя сказаны» («Красное Колесо»).

Но в том и был эффект книги, что её не только сметали с прилавков (ежедневно в одной Москве продавалось до трёх тысяч экземпляров, и издательство без устали допечатывало тираж), но и взахлёб, жадно читали — с ощущением, что вступают в зону запретного, в область неназываемого и недозволенного. Солженицын нарушил табу неупоминаемости — и уже тем навлёк на себя тяжёлые подозрения. Либеральные критики и *здесь*, и *там* были убеждены: какие бы исторические факты писатель ни собрал, какие бы мысли ни высказал, сам факт появления этой книги, да ещё с эпитетом «раскалённая», лишь нагнетает антисемитизм. «Зачем столько лет собирать юдофобский мусор, высыпать его на бумагу, вымешивать помои антисемитской лжи?» — сердито спрашивала израильская газета «Новости недели», считавшая к тому же, что жизнь писателя в изгнании — «тоскливый и, видимо, вынужденный спуск в грязь, где приходится ползать на брюхе». Меж тем кто-то вновь распространял слухи, что Солженицын — еврей; в «специальных» изданиях иначе чем «пейсатель Солженицер» его не называли.

И всё же болезненный, воспалённый вопрос в ходе многочисленных дискуссий был переведён в регистр культуры, а запретной теме был придан потенциал спокойного, даже академического рассмотрения. «Отдушиной» назвала книгу «Литературная газета»: после Солженицына о евреях и русских можно говорить, не корчась и не ломаясь. Обществу нужно освобождаться от вековых табу, которые мешают честному обсуждению жизненно важного для России вопроса. «Блюстители неприкосновенности этого вопроса, — резонно отмечал В. Третьяков, — странным образом являются смелыми дискутантами по всем остальным проблемам, в том числе и любым иным национальным. И, естественно, самыми активными поборниками свободы слова и печати». «Книга эта — сильнейшее терапевтическое средство. И любой человек, который желает строить свою жизнь не от исторического испуга, исторической наивности, который не желает за беды своей судьбы перекладывать ответственность на другого, еврея ли или русского, а желает доискаться до

правды, он найдёт в этой книге удивительную возможность решить для себя эту серьёзнейшую проблему русской истории», — утверждал А. Зубов.

«Как читают эту книгу? — спрашивала М. Чудакова. — С непрекращающимся раздражением или чувством благодарности? Я — с благодарностью. С уважением к огромному труду; к обузданию в самом тексте темперамента и пристрастий (в чувствах же своих мы не вольны), искреннему стремлению к объективности и равновесности. Если дан масштаб и камертон — дальше можно исследовать, уточнять, продолжая путь по минному полю. Мы полагаем, что по нему прошёл первый сапёр решительно и отважно». Благожелательные рецензенты отмечали сдержанность и взвешенность подхода Солженицына, неуязвимую корректность, цивилизованный тон, благородство помыслов.

«Читаю книгу Солженицына про Россию и еврейство. Это — Эверест творчества Солженицына. И понятно, что восхождение на эту сложнейшую и опасную тему позволил он себе предпринять в позднем возрасте, когда человек выходит в мудрость, в статус старца-аксакала, кто может объективнейше рассудить этот исторический спор-тяжбу. А в мире нет человека и мыслителя, кто бы обладал таким богатейшим опытом жизни и размышлений, кругозором такого диапазона, как Солженицын. Ему и карты в руки, но и — долг и призвание почувствовал: помочь всем сторонам разобраться в этой проблеме, как говорят, *sine ira et studio* (без гнева и пристрастия). Хотя нет, дышит тут страсть, любовь к кровоточащей и обесчещенной ныне России, и она питает творческим огнём немолодые уже силы... Книгу Солженицына читаешь, как смотришь античную трагедию», — говорил Г. Гачев на обсуждении в «Русском Зарубежье». И на той же дискуссии В. Толстых отметил: книга не случайно, а вполне сознательно и очень точно озаглавлена — *«Двести лет вместе»*. «Ни один антисемит и ни один юдофил её бы так не назвал».

Очень скоро альтернативная критика подтвердила, что наречие «вместе» в описании русско-еврейской истории её совершенно не устраивает. Название было сочтено лицемерным: ни в коем случае не вместе, а врозь, порознь, друг против друга, раздельно, в лучшем случае — рядом; сюжет книги — история нелюбви; её концепция — «двести лет ненависти в ответ на любовь и бескорыстие». Совокупная хула на книгу, размещённая во многих десятках статей, разборов, рецензий, памфлетов, «круглых столов», — называла двухтомный труд компиляцией с неясной и путаной концеп-

цией, пародией на научный труд, творческой неудачей. Автора упрекали в субъективности, некорректном подборе фактов, в тенденциозном отборе событий и источников, уязвимом справочном аппарате (ссылки на энциклопедии, без учёта работ последних лет, цитаты из вторых рук), вялом стиле, рыхлой композиции. Образ еврейства отталкивающий... Предвзятость подавила намерение правдивого освещения прошлого... Цитатник для антисемита... Давно ходившие слухи об антисемитизме Солженицына, которым так не хотелось верить, получили убедительное авторское подтверждение... Автор как будто не знает о существовании другого мира, где нет ни эллина, ни иудея... Ещё глубже загнал клин между русским и еврейским народами... Написал поклёп на евреев, выдавая его за историю... Идеологическое обоснование будущей борьбы с космополитизмом... Адепт советского расизма... Угадал потребности власти...

Теперь представляется почти невероятным, что в «заклёвывающей» полемике защитить Солженицына рискнула сторона, от которой ждать понимания можно было, кажется, в самую последнюю очередь. Но именно она, эта сторона, доказала, что автор услышан, а рука, протянутая для рукопожатия, не отторгнута. «Мы должны быть ему благодарны за то, что он взял на себя труд попытаться распутать тот мёртвый узел, который завязался вокруг этого вопроса в русском национальном сознании... Мы не получаем объективного представления о своём народе ни из собственных наблюдений, ни из антисемитской ругани. Внимательный взгляд писателя даёт нам ту оценку, которую мы не услышим от приятелей и не захотим услышать от недругов», — значилось в редакционном предисловии к «круглому столу», опубликованному в израильском журнале «22» (№ 129). Участники обсуждения признали факт — Солженицын хочет истины, а не сведения счётов. Писатель прав, полагая, что каждому народу предстоит поквитаться с самим собой за устоявшиеся в нём пороки и слабости. Опыт прочтения книги авторы журнала сформулировали в духе Солженицына: повиниться перед Богом и друг перед другом и выйти на иную нравственную орбиту; отпустить друг другу взаимные вины, а не увековечивать их в метафизической плоскости.

Судить о работе по её *намерениям* предложил и Марк Лурье, известный израильский русскоязычный критик (журнал «Время искать», 2003, № 8): непредвзято разобраться в причинах и обстоятельствах конфликтно сложившегося русско-еврейского сожительства, выяснить истину, восстановить историческую справедливость, учитывая, что главную ответ-

ственность за национальную катастрофу своей страны писатель возлагает как раз на свой народ. «В книге нет воспалённых амбиций, борьбы за приоритеты, скрежета зубовного и анафем. Стиль Солженицына — отнюдь не для *разборок* и *наездов.* Преобладающая здесь тональность — приглашение к соразмышлению». «Проработав “Двести лет”, ознакомившись с массой погромных отзывов, я, — утверждал другой автор журнала (2002, № 6), Александр Этерман, — ни одного передёргивания не нашёл... А. И. С. не приписывает ни русским, ни евреям ни мнимых грехов, ни фальшивых добродетелей. Он даже не слишком придирается к грехам реальным. Он всего только имеет по большинству острых вопросов своё мнение».

В Интернет попало письмо А. Этермана — «Несколько слов о “солженицынской дискуссии”, вернее, об атаке на книгу Солженицына “Двести лет вместе”». Автор предлагал посмотреть на «погромную дискуссию» из далёкого будущего. «Лет через пятьдесят никто и не вспомнит о нынешней дискуссии, да и о дискутантах тоже. Книга АИС останется одна, без нас, и, если я хоть что-нибудь понимаю в историографии, она и станет истинной историей российского еврейства. Знак равенства между ними, тот самый, который незадачливые полемисты пытаются зачеркнуть, навсегда соединит их — историю и книгу... Ибо теперь эта книга и есть история... Ничто не мешало нам самим написать такую книгу — только мы его, как водится, упустили. Пришло время бить себя в грудь. Вовремя не подумали. Вовремя не написали. Вовремя ни в первый, ни во второй том не вошли». Обстоятельную статью Этермана «Обернись в слезах» Солженицын благодарно упомянет в декабре 2002 года в интервью «Московским новостям»: «Она прямо-таки то, о чем я мечтал, то есть моё движение найти взаимопонимание — встречено и понято. Протянутая навстречу рука. Необычайно ценная статья, прямое дополнение к моей книге».

Веское слово «беспредел» (отсутствие в обществе даже воровских законов и порядков) тоже прозвучало с *той* стороны — в связи с бесчестными попытками полемистов поставить Солженицына к стенке за «Опус-68». Черновой, к тому же сильно искажённый чужими вставками фрагмент сочинения о евреях в СССР, датированный 1968 годом, был пиратски опубликован в 2000-м «доброхотом» из тех, кто «опаснее врага». «Современные и вполне прогрессивные литераторы скопом обсуждают не столько канонический текст книги о евреях в России, представленный автором на их рассмотрение, сколько выкраденный из его архива и опуб-

ликованный вопреки категорическому запрету писателя набросок (согласен — очень интересный), сделанный им тридцать с лишним лет назад. Вот, на мой вкус, истинное неприличие для интеллигентов! — писал в израильском журнале «Новый век» (2003, № 3) Михаил Хейфец, историк и журналист, отсидевший в СССР за своё предисловие к самиздатскому собранию сочинений И. Бродского и эмигрировавший после заключения. — Повторяю: сие действо есть по сути разновидность того "беспредела", что легально позволял "борцам за перестройку" исхищать доверенную им казённую собственность, распускать клевету про оппонентов, придумывать фальшивые исторические версии... Но в таких играх я заведомо не принимаю участия: это унизило бы меня как профессионала. Архив писателя, как веками было принято, подлежит изучению и анализу лишь после того, как наследники передают его бумаги в пользование исследователей или общественных организаций. Всё прочее считается либо разновидностью кражи — для похитителей, либо перепродажи краденого — для комментаторов... Кто сей простой истины не понимает, тому бесполезно что-либо объяснять».

Среди «критиков-погромщиков» внутри страны не нашлось ни одного честного ума, кто бы усвоил эту простую истину, никого, кто бы отказался от криминальной роли скупщика краденого. Позже Солженицын скажет о своих выкраденных черновиках сорокалетней давности, о том, как со всех сторон ему кричали: «Пусть ответит общественности!» «На что отвечать? На вашу непристойную готовность перекупать краденое? Какое уродливое правосознание, какое искажение норм литературного поведения. Отвечаю я — за свою книгу, а не за то, как её потрошат и выворачивают». Имея шанс (в общем, иллюзорный) в очередной раз разделаться с Солженицыным, средств никто не выбирал, краденым не брезговал и о своей профессиональной чести не заботился. Усилиями отборных ядовитых перьев (и снова, снова здесь оставили жирный след братья-писатели!) *русско-еврейский* вопрос, изложенный на тысячестраничном пространстве двухтомника, превратился в вопрос *солженицынский*. «Чёрный пиар» на автора «Архипелага»* успешно конвертировался в дивиденды — в самых низменных смыслах этого слова.

---

* «"Двести лет вместе", — пишет М. Хейфец, — не историческое сочинение. Это тот "опыт художественного исследования", который был придуман для "Архипелага ГУЛАГ". Во всех его книгах — без исключения! — Солженицына волнует одна и та же, психологическая, а вовсе не социальная проблема: каков тип человека, что был способен противостоять тоталитарному искушению — независимо от конкретных со-

Старые песни о главном — этот жанр в случае Солженицына оказался востребованным во всей полноте своего репертуара. Сюжеты, сфабрикованные в советские времена, мифы, связанные с дедами, родителями, одноклассниками, однокурсниками, однополчанами, солагерниками и бывшей женой, — всё пошло в ход, всякое лыко оказалось в строку, и все блюда «второй свежести» были поданы на стол. «Един ственный прогресс, — писала «Комсомольская правда», — заявление, что писатель симулировал в ссылке рак». «Опухоли не было! и операции не было! и тем более не было и даже не могло быть метастазов (И только надо удивляться этим ташкентским долдонам-онкологам, что они два года кряду лечили меня и закатали мне рентгена 22 тысячи R — и всё "ни от чего".)». «До сих пор, — напишет А. И., — я не разоблачён, кажется, только в одном: что и физмата — не кончал, и университетский диплом — подделка». Порядочные газеты поражались: «Чекисты, не посмевшие опуститься до такой гнусной клеветы, выглядят куда человечнее репортёров-демократов».

И писателей, добавим мы с прискорбием. Одни, уязвлённые змеёй литературного честолюбия (их справедливо назовут «завистливыми фельетонистами эпохи Солженицына»), выстрелили обличительными брошюрами и пасквилями. Другие, хотя в процесс не встревали, откровенно забавлялись зрелищем разнузданной клеветы: «крупная соль литературной злости» их раны не бередила. Тем немногим, кто пытался обуздать брань, затыкали рты: им, причисленным к грозной секте «адептов Солженицына», его «идейной обслуге» (этой чести удостоилась и я), «фанатичным клевретам», *солжефреникам*, — веры не было. Е. Ц. Чуковская, прежде других уличённая в «сектантстве», дерзнула публично напомнить слова своего деда, К. И. Чуковского: «Разве не первый признак вандализма — и даже хуже: хулиганства — неуважение к родным великим людям, хихикание над своими гениями, улюлюкание

циальных и политических его взглядов... У автора его раскаяние в былых заблуждениях как бы заложено в фундамент самого прорыва к свободе (вот почему так нелепо выглядят сегодняшние оппоненты, критикующие его по принципу: "А сам ты кто такой?"). Да ведь он в самообличении опередил всех лет на тридцать!» Автор видит заслугу Солженицына в создании современной истории еврейского народа, в отличие от той примитивной схемы, когда эта история описывается как реакция на антисемитизм и ассимиляцию. «Для Солженицына евреи — полноправный субъект истории, они — одна из составляющих мировых сил, постоянно на всё влияющих. И, как всякая составляющая, евреи тоже несут свою долю ответственности за их действия — не перед другими народами, естественно, но перед Богом и народной совестью».

во след тому, кто осчастливил Россию, прославил Россию — кто всю жизнь жил среди грандиозных образов, титанических задач — разве это не полное вандальство!»

Но — на какой-то миг возобладала свобода бессовестных... «Не нашлось в России писателя, — сокрушался А. Немзер, — который бы внятно и громко сказал: лгать — стыдно... Позоря Солженицына, вы, клеветники, позорите Россию, писательское сообщество и меня, сочинителя такого-то, лично; всё минется — одна правда останется. Не нашлось в России такого писателя».

Однако такой писатель в России всё же нашёлся. Один. В канун своего 85-летия нобелевский лауреат А. И. Солженицын сам ответил на лживые нападки, сам вступился за свою честь. 22 октября 2003 года «Литературная газета» одновременно с «Комсомольской правдой» напечатали его статью «Потёмщики света не ищут». «Вспыхнувшая вдруг необузданная клевета, запущенная во всеприемлющий Интернет, оттуда подхваченная зарубежными русскоязычными газетами, сегодня перекинувшаяся и в Россию, — а с другой стороны оставшиеся уже недолгие сроки моей жизни — заставляют меня ответить. Хотя: кто прочёл мои книги — всем их совокупным духовным уровнем, тоном и содержанием заранее защищены от прилипания таких клевет. Новые нападчики не брезгуют никакой подделкой. Самые старые, негодные, не сработавшие нигде в мире и давно откинутые фальшивки, методически разработанные и слепленные против меня в КГБ за всю 30-летнюю травлю, — приобрели новую жизнь в новых руках. С марта 2003 началась единовременная атака на меня — с раздирающими “новостными” заголовками. Из-за внезапной рьяности новых обличителей, при полной, однако, тождественности нынешней клеветы и гебистской, — приходится и мне вернуться к самым истокам той, прежней».

И Солженицын, не щадя себя и не таясь ни от кого, сам перечислил все сюжеты лжи, перебрал все линии клеветы, все взвизги травли, на всех этапах своей жизни, показав их истоки и цель. «И остаётся догадываться: почему же вдруг оживились и гебистские фальшивки 70-х годов, и клевета на лагерные годы мои с 40-х на 50-е, и годы войны, и юности, — почему на всё это дружно кинулись и за океаном и у нас — именно с начала 2003 года?..»

Долго догадываться не пришлось. В августе 2003 года бывший солагерник Солженицына по Экибастузу В. Левенштейн (США) заявил через «Новое русское слово»: «Книга А. И. Солженицына “Двести лет вместе” вызвала поток кри-

тики. Многие обиделись, прочитав правду о своей истории. Русскоязычные американские издания стали публиковать сочинения на тему истории евреев в России, опровергающие Солженицына и следующие старой советской традиции толкования исторических фактов. У авторов этих сочинений появилась возможность потягаться с нобелевским лауреатом, по Крылову: без драки попасть в большие забияки». «Забияки» и мстили Солженицыну за его новую книгу (как прежде другие «забияки» мстили ему за другие книги). Впрочем, старались совершенно зря: метили точно, но в цель не попали. «Своей книгой с оценками царей, Хрущёва, Берии, Галича, Жаботинского, цитатами от Ленина и Сталина до Григория Померанца и Лидии Корнеевны Чуковской Солженицын вторгся на абсолютно заминированное поле еврейской темы. И спокойно по нему пошёл. Может быть потому, что нет уже мины, которая способна подорвать его авторитет», — утверждал редактор «Московских новостей» В. Лошак. «Стоит. Не клонится. Вежливо, спокойно объяснил "потёмщикам", что они воры и лжецы. Не срываясь на крик, не прося ни у кого защиты», — восхищалась «Литературка». «Но даже и клеветой писатель может гордиться, — замечал В. Бондаренко. — Так же столетиями клевещут те же самые типы в таких же самых газетках на русский народ. И во́йны-то русский народ не выигрывал, так, трупами закидывал, и трудиться-то он не привык, и завистлив... Весь перечень претензий к русскому народу ныне взвалили на Солженицына. Какая высокая честь!»

Клеветническая атака была отбита. Тридцать бывших политзэков (Петербург, Омск, Череповец, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Тагил, Украина, Финляндия, США) написали товарищу по каторге открытое письмо: «О взбаламученной "народными витиями" грязи и о позавчерашних "обличениях" из пыльных закоулков чекистских архивов судить не будем — нам слишком хорошо известна их излюбленная метода. Всякая мразь как приходит, так и уходит. О них обо всех позабудут уже завтра. Более того, в своём большинстве они никому не интересны уже сегодня. Ваше же имя из истории России вычеркнуть не удастся никогда». Пятьсот бывших политзэков из Москвы, ещё тридцать из Тольятти и множество рассеянных по белу свету одиночек прислали писателю письма поддержки, называя клеветников вандалами, пакостниками, хамами и духовными пошляками.

Русскую каторгу на мякине не проведёшь...

А в Рязани, в колледже (бывшем техникуме) электронных приборов, открылся музей рассказа «Для пользы дела»,

собравший фотографии, критические статьи, отзывы читателей. Была здесь и знаменитая «Колибри», подлинная пишущая машинка автора, на которой печатался рассказ, и подарок от писателя — сборник малой прозы «На изломах» с автографом: «В наше тяжёлое время желаю вашим студентам сохранить душевный свет и бодрость». В Москве, в «Русском Зарубежье», и в Санкт-Петербурге, в Пушкинском Доме, прошли международные научные конференции, в которых участвовали отечественные и зарубежные филологи, историки, философы, общественные деятели. «Новый мир» продолжал печатать книгу воспоминаний А. И. «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», гордясь этим фактом не меньше, чем когда-то гордился Твардовский, публикуя «у себя» рассказы любимого автора. «Известия» были счастливы поместить эксклюзив — отрывки из «Дневника Р-17», тридцать лет сопровождавшего «Красное Колесо» и никогда прежде не публиковавшегося. «Судьба, — писал обозреватель газеты А. Архангельский, — позаботилась о том, чтобы в итоге образовался тип личности, свободной от контекстов и подтекстов, самодостаточной и в известном смысле слова самодержавной... Само сознание того, что человек подобного масштаба здесь, рядом, — очень многое меняет в генетическом составе нашего времени. Собственно, это и есть авторитет: не в нынешнем, уголовном смысле слова, а в естественном, изначальном и единственно правильном».

31 046 дней — именно столько, по подсчётам «Известий», прожил Солженицын на момент, когда ему исполнилось 85 лет. Уже полтора года А. И. не выходил из дома, не выезжал на люди, не выступал. Последнее публичное появление состоялось 23 января 2002-го, в Российском государственном гуманитарном университете; встреча со студентами-историками, которых интересовала Февральская революция и которые (таково было условие писателя) накануне прочитали нужные главы «Красного Колеса», была бурной, с острыми вопросами, сочными, насыщенными ответами. Ныне А. И. донимали и давняя стенокардия, и боли в позвоночнике — но он, ежедневно работая, не жалуясь, повторял лишь, что никогда не думал дожить до таких лет («Это — чудо Божье», — напишет коллектив «ЛГ» в своем поздравлении писателю). Он по-прежнему рано вставал и плотно работал до двух-трех часов. По-прежнему писал шариковой ручкой, но не переставал удивляться возможностям компьютера. А. Сокуров, снявший фильм об А. И., увидел его рабочее место как загадку: «На столах у него разложены разные источники, разные документы, бумаги, с которыми он постоянно

работает. Стол завален ручками, карандашами — их десятки. Каждая ручка для чего-то предназначена. Один карандаш используется для каких-то запятых. Другая ручка — ещё для чего-то. А затем рукопись, которая проходит многократное прочтение, поступает с этими пометками к Наталье Дмитриевне, она и разбирается с текстом, задаёт вопросы, проводит работу со словарями и только затем предлагает ему конечный вариант».

Солженицын никогда не любил отвечать на вопрос, над чем он работает. «То, над чем сейчас работаю, ещё не существует. А чего нет, того и нет. Вот напишу, напечатаю — тогда и узнается». И всё же было известно, что он пишет критические заметки, которые потом оформляются в этюды о писателях для «Литературной коллекции». Как всегда, он много читал, слушал классическую музыку по приёмнику, настроенному на волну радио «Орфей». «Ощущение, что Солженицыны живут достаточно изолированно, может возникнуть потому, что у них нет салона. Семья живёт очень строго, и поскольку он работает всё время, все дни недели практически, то выезды за пределы дома очень редки. А раз они салонных акций не устраивают, люди обижаются на них за то, что они избегают публичности, каких-то публичных акций» (Сокуров).

В мае 2003 года на 85-м году жизни скончалась Н. А. Решетовская, автор шести мемуарных книг, многочисленных статей, очерков и интервью о своей драматической семейной жизни с первым мужем. После развода с А. И. и семилетнего союза с К. И. Семёновым она, овдовев, оформила в самом конце девяностых брак со своим литературным помощником Н. В. Ледовских (он и стал её наследником), хотя никому и никогда о своих «других» замужествах не рассказывала. В сентябре 1981-го, прервав десятилетнюю паузу, А. И. написал ей из Вермонта, что испытывает тяжёлое чувство, ибо, имея материальные средства, лишён возможности, по советским условиям, ей помогать (деньги, которые он переводил на Внешторгбанк, неизменно возвращались обратно); он сообщал также, что открывает счёт на её имя для пожизненного пользования. С годами регулярная помощь наладилась, Н. А. более ни в чём не нуждалась. Солженицыны взяли на себя все затраты по лечению и уходу, когда прикованная к постели, она не могла более себя обслуживать; Н. Д. навещала её в больницах, сносилась с докторами, нанимала сиделок. В Рождество 1999-го А. И., впервые после возвращения в Россию, позвонил с поздравлениями, а месяц спустя Н. Д. привезла ей домой корзину роз и новую

книгу писателя «Протеревши глаза», с надписью: «Наташе — к твоему 80-летию. Кое-что из давнего, памятного, Саня. 26.2.99». Журналистам, приходившим к ней «за подробностями», Н. А. говорила, что бывший муж обязательно захочет к ней вернуться и что она до сих пор любит его, и неизменно показывала ключ от своей квартиры на Ленинском проспекте, хранимый под подушкой и предназначенный «для Сани». Наверное, она всё же понимала, что этого никогда не будет. Она тихо умерла во сне и, согласно завещанию, была похоронена рядом со своей матерью на Скорбященском кладбище в Рязани.

А в августе 2003-го в Троице-Лыкове собралась вся семья А. И. На большой фотографии — в его юбилейные дни она появилась во многих газетах — Солженицын, строгий и сосредоточенный, сидит, выпрямившись, меж двух ясноликих улыбчивых невесток, Нади и Кэролин, жён Ермолая и Игната. Стоят богатырской стати сыновья, все трое (редкая удача!), и возле них мать — стальная ось (а также пружина и душа), которая держит дом и работу. Здесь и ещё шестеро — тёща Катенька (Бабуля) и пятеро внуков: Татьяна, Екатерина, Дмитрий, Иван, Анна. Довелось Солженицыну испытать и это счастье — увидеть, подержать на руках, приласкать родных малышей, услышать от них дивные слова: «дед», «деда», «дедуля», «дедушка». Поздно став отцом, он всё наверстал, всё успел, представ для внуков и внучек классическим дедом с бородой, ещё даже не сплошь седой. Малыши знают, что дед пишет книги, и у них как у читателей Солженицына всё впереди.

Прожив вместе 33 года (именно столько исполнилось в 2003-м их союзу), А. И. и его жена были счастливы друг другом и сыновьями. «В семейной жизни хватало горьких моментов. До слёз. Нет, Александр Исаевич никогда сознательно меня не обижал, ни меня, ни кого-то на моих глазах, — признавалась Н. Д. — Но порой мне казалось, что он несправедлив. Ведь сам к себе он всегда был очень требователен. Работал без отдыха, без выходных. Очень скромен в своих потребностях, вот уж пример для самоограничения, сквозь всю жизнь. И хотя он никогда не требовал от близких такого же самоограничения и такой же самоотверженности, но это подразумевалось. И временами мне казалось, что он слишком суров и требователен к сыновьям. Знаете, мать всегда вьётся над своими детьми, пытается их укрыть, чтобы им было мягче, теплее, вольготнее. Теперь-то вижу, что была неправа. Мальчики выросли крепкими людьми, и у них к отцу нежная любовь. И не осталось шрамов на

тех местах, где, мне казалось, они могли быть... Детьми нас Бог благословил».

С этой оценкой был согласен и отец. «Трое наших сыновей, теперь уже все за 30, выросли целеустремлёнными, определившимися личностями — и, несмотря на детство их и юность в изгнании, — неотрывными от России». В 1973 году, когда родился Степан, А. И. благодарил жену за исполнение сказки. Теперь сказка обрела реальные контуры. Ермолай успешно трудился в международной консалтинговой фирме, работавшей в России, и жил со своей семьёй рядом с родителями, в Троице-Лыкове. Игнат, пианист и дирижёр, руководил Филадельфийским камерным оркестром и гастролировал по всему миру, был женат и имел двоих детей. Степан пока был свободен от семейных уз, жил в Нью-Йорке, увлечённо занимался энергетикой и экологией, однако стремился переехать в Россию и найти работу по профессии; так сложилось, что он больше братьев вникал в дела и труды отца.

В интервью с П. Холенштайном для швейцарского еженедельника «Вельтвохе» (декабрь 2003 года) Солженицыну был задан вопрос: боится ли он умереть? Испытывает ли страх перед смертью? «Лишь в юности я боялся умереть: так рано, как умер мой отец (в 27 лет), — и не успеть осуществить литературных замыслов. От моих средних лет я утвердился в самом спокойном отношении к смерти. У меня нет никакого страха перед ней. По христианским воззрениям я ощущаю её как естественный, но вовсе не окончательный рубеж: при физической смерти духовная личность не прерывается, она лишь переходит в другую форму существования. А достигнув уже столь преклонного возраста, я не только не боюсь смерти, но уже готовно созрел к ней, предощущаю в ней даже облегчение».

Однако и годы, протекшие после 85-летнего юбилея, оказались полными активной жизни, ярких событий, творческих побед. Судьба не скупилась дарить Солженицыну новые впечатления, открывать перспективы, которые поначалу казались далёкими, выходящими за пределы его земного бытия. Но проходил год-другой, и всё свершалось — на его глазах, при его живом участии, с его внимательной и придирчивой реакцией. В мае 2004-го исполнилось десять лет с момента возвращения на родину — и сколько людей за эти годы, вопреки клевете и наветам, смогли сказать ему, как они рады, что он здесь, в России. «Только наличие Солженицына дает нашей жизни последних десяти лет тот нравственный и культурный стержень, который, собственно, и называется Историческим Смыслом», — писал в «Труде»

Ю. Кублановский. Ему вторил Л. Бородин: «Солженицын подобен крепости, которая держится несмотря ни на что. И это многим даёт силу, энергию, вселяет надежду». «Звезду Солженицына погасить невозможно, — утверждал В. Дашкевич. — Уверен, пройдёт много лет, но семена, посаженные Солженицыным, всё же прорастут и люди осознают его место в ряду самых великих пророков Отечества».

В ноябре 2004 года в Троице-Лыкове состоялось вручение Солженицыну ордена Святого Саввы Сербского 1-й степени — высшей награды Сербской православной церкви — «за сохранение памяти о миллионах пострадавших в России и заботу о сербском народе, за неустанное свидетельство истины добра, покаяния и примирения как единого пути спасения». Сербы не забыли пламенного выступления писателя весной 1999 года, в страшные дни балканской трагедии, когда Россия пребывала в безволии и бессилии, а Указующий Гуманизм диктовал свою волю всему миру. Солженицын сказал тогда: «Мы вступили в эпоху, когда не будет закона — а просто сильная группа диктует. И довольно страшно, что Восточная Европа, которой всегда я так сочувствовал в её угнетении, в её неволе, — они одним хором во главе со своими лидерами говорят: бомбите, бомбите Югославию, бомбите! Они, только что освободившиеся... А Прибалтика... Сколько в их защиту мы выступали... А они одобряют: бомбите, бомбите. Вот это самое страшное — новая эпоха на земле...»

В 2004-м кинорежиссёр Глеб Панфилов приступил к экранизации романа «В круге первом». Солженицын сам написал сценарий, сам озвучил закадровый голос «от автора», общался со съёмочной группой на предварительных стадиях работы (Евгений Миронов, исполнитель роли Глеба Нержина, приезжал к писателю знакомиться и пытался «поймать» характерные черты своего героя), просматривал черновую версию фильма. В дни показа сериала по телевидению (зима 2006 года) по Москве были развешаны плакаты с портретами писателя, а зрители благодарили создателей фильма за близость к первоисточнику, за подлинность и достоверность. Роман и его экранизация были восприняты в аспекте вечных ценностей — как тема человеческого выбора, который совершают люди везде и всегда, и дали импульс широкому обсуждению. Эффект экранизации заключался не столько в высоких рейтингах, не столько в том, что после фильма люди бежали в книжные магазины и читали роман в метро, не столько даже в огромном количестве рецензий и разборов, сколько в общественном резонансе «Круга». Исто-

рия создания романа; атомный проект на Западе и в СССР; судьба «шарашек» и связанных с ними научных изысканий; реальные прототипы героев и их участь; образы Сталина и его приспешников; процессы десталинизации в СССР; сталинские «пятна» в современной России; демократия и её генетическая связь с тоталитарным прошлым страны; мир криминала и население сегодняшних тюрем — вот неполный перечень тем, которые обсуждались в печати и на телевидении в связи с показом фильма. История трёх дней 1949 года в марфинской шарашке вдруг поразила своей актуальностью. «Фильм настолько современный, что мне даже страшно, — признавалась Инна Чурикова, снявшаяся в картине. — Разве мы не выбираем, с кем нам быть — с жертвами или с палачами, с гонимыми или с гонителями? И разве Россия перестала считаться страной “рабов и господ”?»

Когда экранизация «В круге первом» получила приз телевизионной прессы как «телесобытие года» (ТЭФИ-2006) «За обращение к трагической теме отечественной истории и за экранное воплощение прозы Александра Солженицына», а сам Солженицын — ТЭФИ за лучший сценарий, попритихли самые злые голоса, привычно озабоченные вопросом: «Нужен ли Солженицын России?» — «Нужен!» — ответили учредители Национальной премии «Россиянин года», назвав его духовным лидером страны. «Нужен!» — сказала газета «Известия», учредитель премии «Известность», награждавшая тех, чьё мнение особенно важно читателям.

«Нужен!» — заявила и книжная пресса, в рекордном количестве пришедшая на пресс-конференцию, посвящённую выходу первых трёх книг Собрания сочинений Солженицына в 30 томах. «Начинаемое сейчас Собрание впервые полно включит всё написанное мной — во взрослой жизни, после юности. А продолжится печатание уже после моей смерти» — так начиналось предисловие «От автора». Последние прижизненные редакции, тексты, дотошно выверенные писателем и его бессменным редактором, — итоговое «эталонное издание», десятая часть большого пути, с финалом в 2010 году. Ещё на этапе переговоров с издательством «Время» Солженицын признался, что мечтает увидеть «Красное Колесо» в своей новой редакции. В ноябре 2006-го — в дни, когда исполнялось 70 лет замыслу «Красного Колеса», — он уже держал в руках увесистые свежеотпечатанные книжки в элегантном, цвета слоновой кости, переплёте: первый том — с рассказами и «Крохотками», седьмой и восьмой — с «Августом Четырнадцатого». Собрание сочинений вышло «пробным» трёхтысячным тиражом, который исчез со складов

издательства к концу первого дня, и уральская типография немедленно выпустила второй тираж, обеспеченный заказами магазинов. Книжный рынок, вопреки скептикам, проголосовал *за* Солженицына.

Ещё в 1994-м А. И. сказал жене: «При моей жизни, а надеюсь, и после моей смерти, ты никогда сама не предложишь ни одному издательству ни одну мою книгу. Если мои книги будут нужны, то нас сами найдут и предложат». Теперь десятки издательств в России и за рубежом боролись за право печатать его книги. И всё же он даже не мечтал, что в России, при жизни, начнёт издаваться столь обширное собрание сочинений: это стало радостной неожиданностью. Он вернулся в Россию с двадцатью томами вермонтского издания, а сейчас набралось ещё десяток — и это без переписки (колоссальной!), набросков, черновиков, вариантов, незаконченных текстов.

Набирали силу все солженицынские начинания, предпринятые по возвращении. В мае 2007-го в десятый раз была вручена Литературная премия его имени. Завет учредителя — видеть истинные масштабы жизни, не пропускать достойных, не награждать пустых — жюри выполняло со всей возможной тщательностью и бережностью. Торжество под девизом «Похвала филологии» (лауреатами стали два выдающихся представителя этой отрасли литературы, С. Бочаров и А. Зализняк) проходило в новом здании библиотеки-фонда «Русское Зарубежье», открытие которого состоялось в сентябре 2005-го. Детище Солженицына обрело дом, отвечающий самым взыскательным требованиям архивохранения, с новейшим оборудованием, читальными и выставочными залами. Драгоценные свидетельства прошлого безопасно укрылись в мощных хранилищах, первоначальная коллекция пополнилась бесценными раритетами — рисунками А. Бенуа, письмами генерала А. Деникина, документами Белого движения, архивом русского философа В. Ильина. Н. Струве подарил коллекции рукописей и писем Бердяева, Цветаевой, Мережковского, Б. Зайцева. Призыв Солженицына к русской эмиграции продолжал работать.

2007-й стал годом юбилеев сначала Февральской, потом Октябрьской революций. По инициативе Солженицына общественное внимание было привлечено именно к Февралю 1917-го, трагически изменившему не только судьбу России, но и ход всемирной истории. А. И. надеялся, что память о Февральской революции, расчётливо преданная забвению и стёртая в народном сознании, хотя бы в 90-ю годовщину события сможет дать толчок осознанию случившегося. В фев-

ральских и мартовских номерах «Российской газеты», полумиллионным тиражом перепечатавшей статью Солженицына «Размышления над Февральской революцией» (она была опубликована ещё в 1980—1983 годах, при завершении «Марта Семнадцатого»), помещались материалы дискуссии, в которой приняли участие политики, историки, философы, студенты, журналисты, признавшие чрезвычайную историческую уместность в современной России этого острого публицистического текста. Отмечалось также, что солженицынская формула революции — *хаос с невидимым стержнем* — глубже всего проникает в таинственность всякой смуты как вихря, обладающего внутренней формой. Оказалось, что вопрос: чем стал Февраль для России — величественной вершиной демократии или трагическим срывом, духовно-омерзительной точкой падения, безумием элиты — остаётся актуальным. Как одна из великих тайн русской и мировой истории, он и сейчас определяет мировоззренческий выбор, пути реформирования страны, отношение к сильной и слабой власти, к централизму и к игре свободных сил, превращающей государство в груду обломков. Усвоить уроки Февраля 1917-го, помнить уроки 1991—1993 годов, ассоциировавших себя с Февралём Вторым, — значит спасти Россию от Февраля Третьего, который стране уже не пережить. *Серединный* путь, о котором так вдохновенно писал Солженицын всю жизнь, большинством участников дискуссии был воспринят как единственно возможный для России XXI века. «Размышления...» Солженицына пришлись ко времени, попали в самую точку, а сам писатель был признан спорящими сторонами *консолидирующей фигурой общенационального масштаба.*

12 июня 2007 года, в празднование Дня России, в Кремле состоялось вручение А. И. Солженицыну Государственной премии РФ «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности». Писатель отнёсся к премии, присуждаемой высоким экспертным сообществом (до него такой премии был удостоен лишь Патриарх Алексий II), как к свидетельству признания страной трудов всей его жизни. «Миллионы людей связывают имя и творчество Александра Солженицына с судьбой самой России. Его научные исследования и выдающиеся литературные труды, фактически вся его жизнь отданы Отечеству», — сказал в своей речи президент, чьи усилия по восстановлению крепкого государства писатель, в свою очередь, смог высоко оценить. Награду за мужа, по болезни давно не выезжающего из дома, получала Н. Д. Солженицына. В Георгиевском зале Кремля (в этом

зале русской славы А. И. никогда не бывал) с монитора, установленного на сцене, писатель обратился к присутствующим, и центральные телеканалы транслировали это видеопослание на всю страну.

В своём обращении Солженицын выражал надежду, что собранные им исторические материалы, сюжеты, картины жизни, прожитые Россией в смутные и жестокие времена, войдут в сознание и память соотечественников и горький этот опыт отвратит российское общество от новых губительных срывов. После церемонии и приёма на Ивановской площади Кремля В. Путин навестил лауреата дома, в Троице-Лыкове. «Особенно я хочу Вас поблагодарить за Вашу деятельность во благо России, — сказал президент во время личной встречи, длившейся около часа при закрытых дверях. — Вы и сегодня продолжаете свою деятельность, Вы никогда не колеблетесь в своих взглядах, а придерживаетесь их в своей жизни». «Многие шаги, которые мы делаем сегодня, во многом созвучны с тем, о чём писал Солженицын», — подчеркнул президент, общаясь с прессой.

И снова был шквал комментариев. Одни называли это событие иронией истории или поправкой к ней (экс-чекист вручает премию экс-жертве). Другие занервничали — Кремль и Солженицын разговаривают на одном языке, и это язык авторитаризма с примесью «устаревших» моральных ценностей. Третьи утверждали, что, взяв премию из рук власти, Солженицын доказал, что он не демократ и даже не диссидент в западном понимании термина. Четвёртые страшились «похолодания» на всех фронтах, особенно в свете испытания новых ракет. Пятые — что премия, вручённая Солженицыну, идеологическая, национально ориентированная, постимперская. Шестые бесстрастно фиксировали тот факт, что спустя 37 лет после получения Нобелевской премии 88-летний писатель был, наконец, признан и на родине. Седьмые этот факт радостно приветствовали, отчётливо чувствуя разницу времён: прежняя власть нарекла Солженицына зэком на букву «Щ», а потом ещё и предателем, нынешняя — догадалась назвать его «истинным гражданином России». О том, что половину премиальных средств писатель передал на нужды Института нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко для лечения неимущих пациентов, упомянули единицы.

...После операции на сонной артерии в феврале 2007-го А. И. постепенно оправился (а перед тем была угроза обширного инсульта), но ходить мог с превеликим трудом; восприняв это обстоятельство как данность, пересел в инва-

лидное кресло. Правая рука была в рабочем состоянии, а левая уже пятый год бездействовала, со всеми вытекавшими отсюда неудобствами для обыденной жизни. Но, казалось, обыденность не слишком волновала его; как и прежде, он часами сидел за своим письменным столом у окна, где стопками, захватывая и широкий подоконник, лежали исписанные листки из разных работ, коробочки с карандашами и ручками, блокноты, всякие необходимые мелочи. Здесь, *у себя*, А. И. пребывал в счастливой рабочей стихии и был властелином своей жизни. На фотографиях, которыми иллюстрировалось его интервью в «Шпигеле» в июле 2007-го (перепечатки в «Профиле» и «Известиях» с потрясающим читательским резонансом), было видно, как изменился А. И. за последние годы. Но сказать про него: «старик» или «старец» — не повернулся бы язык. Лицо аскета, пустынножителя, молельника, сжигаемого внутренним огнём. Взгляд стоика, завораживающий страстным, тревожным вопрошанием. Суровость и непреклонность, которые вмиг могут растаять, и тогда засияет лучезарная улыбка и раздастся удивительный, чуть глуховатый смех, какого нет ни у кого в мире. *Раненый воин* — с горячей нежностью называла его новое состояние Аля, боевая подруга, любовь. Бывают люди, как намоленные храмы...

Солженицын не раз говорил, ссылаясь на русскую пословицу, что умирает не старый, а *поспелый*. То есть тот, кто уже сделал всё, что было написано ему на роду. Но чудится (и так ведь бывало уже не раз!), что судьба А. И., при всей своей беспредельной щедрости на вызовы и испытания, при всей огромности им содеянного, что-то очень большое, важное держит про запас, раскидывает карты, готовит сюрпризы и не отпускает своего избранника на покой. И ему придётся, как встарь, отгадывать, каковы новые цели и куда надлежит двигаться — быть может, опять по лезвию ножа — вплоть до последних решений судьбы. Пусть бы только она замешкалась, повременила, притормозила свой неумолимый ход...

Вместо эпилога

ЧЕЛОВЕК СЧАСТЛИВЫЙ

Самые проницательные и художественно одарённые современники Солженицына, восхищаясь им как *писателем*, не скрывали своего потрясения от знакомства с Солженицыным-*человеком*. Первой, кажется, разглядела его особую природу Анна Ахматова. «Све-то-но-сец!.. Мы и забыли, что такие люди бывают... Поразительный человек... Огромный человек...» Ещё не были написаны «Архипелаг», «Красное Колесо», не случилось второго ареста и изгнания, но Ахматова всё угадала.

О том же писал и Твардовский. Поэтическим чутьём он проник в тайну немилосердной, необъятной зависти многих к Солженицыну: ему не прощают не только таланта и успеха, ему не прощают *иной природы личности*. «Он — мера. Я знаю писателей, которые отмечают его заслуги, достоинства, но признать его не могут, боятся. В свете Солженицына они принимают свои естественные масштабы».

«Я представляю его величиной формата Достоевского!!» — восхищался Солженицыным Михаил Бахтин, знавший толк в Достоевском. «Его вера — горами двигает... Рядом с ним невозможна никакая фальшь, никакая подделка, никакое “кокетство”», — признавался отец Александр Шмеман, опалённый «сплошным огнём» Солженицына на фоне «привычной болтовни о Христе». «Он несёт в себе до предела наполненный и безостановочно кипящий, бурлящий, дымящий сосуд».

«Вот, значит, какими Ты создал нас, Господи! Почему Ты дал нам так упасть, так умалиться и почему лишь одному вернул изначальный образ?!» — воскликнул однажды Юрий Нагибин, выразив солидарное ощущение многих соотечественников, свидетелей драмы Солженицына-изгнанника. Об огромном человеке, который «перерос литературу и сам стал героической действительностью XX века», не раз говорил и

Евгений Евтушенко. Таких высказываний десятки, а по всему миру — многие сотни.

Можно задаться вопросом: как бы повела себя Ахматова — проживи она дольше — в тех ситуациях, когда от Солженицына отворачивались его бывшие сторонники, гроздьями отпадали друзья? Неужели присоединилась бы к хору ненавистников и зачислила *светоносца* в разряд «чёрных крыл»? Представить это — невозможно. Не только потому, что мудрая, несравненная Анна Андреевна знала толк в людях и словами не разбрасывалась. Она никогда бы не сомкнулась с вандалами по присущему ей чувству красоты, по безошибочному ощущению Судьбы, которая сама знает, кому посылать хулы, а кому хвалы, кого прославлять в веках, а кого предавать забвению. Ахматова обязательно защитила бы *человека Солженицына* от лжецов, как защищали его — по долгу дружбы, по обязанности правды — великие люди жестокой эпохи: Маршак, Чуковский, Твардовский, Ростропович. Судьба заботилась, чтобы и в самые глухие времена перед её избранником *не все пути добра были закрыты*, и вовремя посылала ему верных соратников, надёжных сподвижников.

Как страстно бросилась защищать *жильца* Солженицына («Я — хозяйка дома, где жил Солженицын. Это обязывает. К правде») от хулы своего друга Давида Самойлова нежная, героическая Лидия Чуковская, унаследовавшая от отца благородную и восторженную любовь к А. И.: «Я никогда не видела человека, в такой степени умеющего сочетать полную независимость от чужого с полным уважением к чужому. Он покорял окружающих, но не угнетал их... Пока он беззвучно жил за моей тонкой стеной, я чувствовала себя и свой дом и свой образ жизни под защитой сверхмощного танка. Казалось, меня не от чего и не от кого спасать, но пока горел свет у него в окне, я знала: со мной ничего не случится. И каждому человеку желаю я встретить своих предполагаемых и ожидаемых убийц с таким величием и надменностью, с какой А. И. при мне встретил своих».

Слово *супермен*, прозвучавшее в устах хулителя издёвкой, Чуковская развернула в метафору жизненного подвига. Сверхмощь, сверхсила, сверхволя, сверхчесть. Взвалил на себя работу, которую должны были выполнить два-три поколения литераторов. И работу, которую должны были сделать коллективы академических историков. И работу, которую должны были провести крупные правозащитные организации, благотворительные фонды, целые институты...

Однако всё, что он делал, мог делать только он один. В этом — феномен и счастье его судьбы и творчества.

«Меня своим появлением в мире и присутствием в моей жизни он одарил несравненно», — писала Л. К. Чуковская, «хозяйка дома, где жил Солженицын». Но то же самое писали люди, никогда не знавшие его лично. «Солженицын оказал на меня колоссальное влияние. Я очень благодарен Александру Исаевичу, считаю его единственным великим человеком в современной России, человеком, судьба и нравственный подвиг которого, может быть, так же оправдывает наше проклятое время, как подвиг царя-мученика искупил и оправдал позор "революции" и гражданской войны. Главное, что среди всеобщего оскотинения и подлости он *на самом деле* показал, что можно жить иначе. Я уже задумывался, а зачем это всё? Ничего нет: нет любви, нет совести, нет нравственного долга. А Солженицын мне, совсем молодому и неопытному человеку, дал *урок*. "Неправда, всё это *есть*". В известном смысле я считаю его своим духовным отцом» (Д. Галковский, 2003).

Под этими словами могли бы подписаться и тысячи простых читателей в России и в мире. Многие из живущих ныне людей могли бы рассказать (и рассказали!), как на них повлиял Солженицын, чтó он значил в их жизни, как изменил их судьбу. В этом смысле «Дети Солженицына» — явление гораздо более широкое, чем то движение, которое возникло в Западной Европе после опубликования «Архипелага ГУЛАГ», когда левые интеллектуалы увидели изнанку коммунистической идеи и затрещали европейские компартии. Само сознание, что человек такого масштаба присутствует в городе и мире, многое меняет в генетической формуле современности. Жизнь Солженицына доказывает, что альтернативная история не пустая фантазия, что каждый момент бытия — поворотный. Солженицын вырвался из плена времени и стал его полноправным субъектом. Его взгляд обращён только вперёд, особенно тогда, когда он пишет о прошлом.

На вопрос, что они будут рассказывать своим детям о их деде, сыновья Солженицына, Ермолай, Игнат и Степан, согласно ответили (2007): «Наверное, самое главное — это тот несравнимый пример морального и физического мужества, которым он ослепил в своё время весь мир. Второе, это его полная отдача самого себя искусству — и как она проявлялась в его личной жизни. И, в-третьих, мы попробуем им передать те ценности, которые он, в свою очередь, постарался передать нам, в том числе убеждение в том, что судь-

бу человека лепят не обстоятельства, случайности или рок, а в первую очередь сам его характер». О том же самом размышлял и А. Сокуров (1999): «Никакого небопокровительства по отношению к Александру Исаевичу нет. Он сам такой. Человек, который воспринимает тепло, над ним и солнце светит, вокруг него тепло. Он в первую очередь сам такой. А потом уже Господь, провидение». «Жизнь Солженицына и его книги материально доказывают существование Бога. Подобного и не пожелаешь никому. Слишком ответственно» (А. Фредекинд, бывший политзэк, историк религии, 2003).

Солженицын... Имя-крик, имя-скрежет, имя-протест. Ожог сознания. Скальпель офтальмолога, снимающий катаракту с глаз, раскрывающий угол зрения. Артиллерист, вызывающий огонь на себя. Один в поле воин. Русская душа, которая вышла живой и неизгаженной из мрачного, безнадёжного времени. Гениальный русский крестьянин из села Сабля, где течёт Живая Вода. Последний из могикан. Судьба Кассандры. Проклинающим весельем поразил Кощеево сердце. Единственный, кому верят. Дон Кихот. Герой ненаписанного романа Достоевского. Словом изменил мир. Некого поставить рядом. Нет уже почвы, на которой всходили бы такие люди.

И это только начало бесконечного ряда высказываний.

О характере Солженицына убедительнее всех, кажется, сказала Е. Ц. Чуковская, Люша: «Солженицын — счастливый человек! Единственный счастливый человек, которого я видела за свою жизнь. Во всех своих несчастьях он сумел укрепиться, устоять, найти себя, отыскать смысл в своей судьбе». Кроме трудолюбия, преодоления немыслимых препятствий, быстроты принимаемых решений, ответственного, сконцентрированного поведения, железного упорства, могучей воли — всего того, что составляет характер, он, несомненно, был счастлив в людях, спутниках своей судьбы.

Добровольные помощники вкладывались в его работу всей своей жизнью, своим прошлым, историями своих близких. Архивисты, библиотекари, знакомые, бравшие книги для А. И. на свой абонемент, переводчики, машинистки, хранители и перепрятыватели рукописей, фотографы, переплётчики самиздата, копировщики магнитных лент, связные, распространители, почтальоны-разносчики его писем и заявлений, курьеры, перевозчики капсул с плёнками — все они ведь где-то трудились, служили, учились. А ещё рассказчики историй, помощники по сбору материала, первослушатели, первокритики, первоjá редакторы, советчики, ос-

порщики. А ещё прилежные и вдумчивые читатели рукописей; интересные, живые собеседники; умные, искренние, обстоятельные; с талантом сочувствия и понимания. Они все были готовы не просто к помощи, всегда бескорыстной, непрерывной, опасной, но к *служению*. Работа *с* А. И. и *для* А. И. была необходима прежде всего им самим; это был кислород настоящего, прорыв из будничности к истории, в область сверхцелей и сверхзадач. С ним его помощники смогли пережить мгновения мощного духовного напряжения; окунуться в бытие столь высокого накала, какого не давала и не могла дать повседневность. *Люди Солженицына*, соприкасаясь с ним работой и судьбой, приобретали внутреннюю устойчивость и говорили о сделанном общем деле как о полосе счастья, высшей точке жизни.

«И — чего б ты добился без них?!» — благодарно вопрошал-восклицал Солженицын, скрупулёзно перечисляя всех своих «невидимок» (больше ста): и тех, кто работал с ним постоянно, и тех, кто принёс помощь одноразово. В сущности, им всем он создал памятник нерукотворный. «Она стала для меня вторым воздухом» (это о Н. И. Столяровой). «Он и Галина протянули мне самый щедрый и спасительный дар, какой я когда-нибудь получал» (это о приютивших его Ростроповиче и Вишневской). «Разделил я с вами сердце навек» (это об эстонцах, обеспечивших ему «укрывище»). «Нельзя представить их всех без слёз» (это о русских мальчиках, рисковавших головой, чтобы шагал «Архипелаг» в недра России). «А не к Невидимкам ли причесть и тех не прозвучавших и не сломленных героев, кто, будучи знаком со мною в прошлом, устоял через всё давление и не подал на меня клеветы?» (в этот перечень попали школьная соученица Лида Ежерец, приятели студенческого времени Миля Мазин и Михаил Шленёв, фронтовые командиры Травкин, Пшеченко, Пашкин, однополчане Овсянников и Мельников, бойцы батареи БЗР-2 Соломин, Кончиц, Липский).

Несомненно, этот малый список должен быть дополнен всеми теми соотечественниками, которые никогда клеветам не верили и лжи не потакали.

* * *

Я благодарна Судьбе за то, что она подарила мне личное знакомство и многолетнее уже сотрудничество с А. И. Солженицыным. Я невыразимо благодарна самому Александру Исаевичу за его доверие ко мне, за щедро предоставленные материалы из его личного архива, подлинные документы,

которые я видела своими глазами, держала в руках, копировала, использовала. Бесценно его терпение, с каким он под магнитофон многими часами в течение длительного времени отвечал на мои вопросы, и потом ещё по телефону, и в записках, и в письмах, и снова на плёнке. Уникальна его память, которая хранит точные детали событий прожитых лет. Незабываем день, когда в его кабинете, в Троице-Лыкове, мы вместе, по военным картам, проследили шаг за шагом весь его фронтовой путь. И день, когда он дал мне прочесть свои детские тетрадки с первыми повестями и тетрадки с юношескими стихами. И день, когда он пожелал мне успеха в написании этой книги.

Моя вечная благодарность — Н. Д. Солженицыной. Только её содействием и доброжелательным, дружественным участием эта работа вообще стала возможна — так необъятна была её помощь, так драгоценно понимание, так пронзительно доверие, с каким она раскрыла передо мной свои личные дневники и письма. Как не поблагодарить Игната и Степана Солженицыных, сыновей А. И. и Н. Д.! В июне 2007 года они радушно принимали меня в Пяти Ручьях — легендарной вермонтской усадьбе, возили в Кавендиш и в Клермонт, дали почувствовать атмосферу их Америки, их детства и юности. Навсегда запомню день, когда я поднималась по лестницам, ходила по комнатам, стояла в церковке-часовне и в распахнутом солнцу кабинете опустевшего теперь рабочего Дома — здесь ещё так сильно чувствуется присутствие хозяина, хотя нет уже его книг, бумаг, письменных столов. С прудового домика недавним ураганом сорвана часть крыши, но так же густо обставлен пруд высокими тополями и клёнами, и всё те же скученные деревья составляют беседку, где был врыт в землю стол на берёзовых ногах, за которым работал А. И. день за днём в тёплое время года...

Я сердечно признательна всем, с кем мне удалось побеседовать, взять интервью; кто любезно предоставил свои записки, письма, воспоминания, дневники; кто отвечал на мои вопросы; кто помог профессиональным советом. Рада назвать А. Н. Варламова, Алексиса Климова (США), В. Н. Курдюмова, В. М. Левенштейна (США), Н. Г. Левитскую, Дэниела Махони (США), В. А. Москвина, Жоржа Нива (Швейцария), Майкла Николсона (Великобритания), С. Д. Серебряного, Н. А. Струве (Франция), Е. Ц. Чуковскую, Ричарда Темпеста (США), о. Андрея и Галину Трегубовых (США), В. В. Туркину-Штейн, М. М. Уразову, Эдварда Эриксона (США), В. В. Эрлихмана. К этим именам справед-

ливо будет добавить А. И. Арсланбекова, Н. Б. Ёжкина, Т. В. Есину, С. А. Стулова, Р. И. Тевосян, а также старшего научного сотрудника Кисловодского краеведческого музея Р. К. Гочияеву, ведущего научного сотрудника Музея Северо-Западного фронта А. Ф. Иванову (Старая Русса), учредителя ростовского Музея современного искусства Е. Ю. Левину, директора того же музея В. В. Давыденко, Ю. П. Магнитскую, внучку М. П. Магнитского — ныне покойного куратора Музея 3-го Ленинградского артиллерийского училища (Кострома).

Общение с героями книги и работа над ней дали мне пережить, говоря словами Солженицына, «неспадающий подъём духа».

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

1917, 23 августа — на фронте в Белоруссии обвенчались родители А. И. Солженицына — Исаакий Семёнович Солженицын (род. 30 мая (11 июня) 1891 года в селе Сабля Александровского уезда Ставропольской губернии) и Таисия Захаровна Щербак (род. 9 (21) октября 1894 года в Пятигорске).

1918, март — возвращение И. С. Солженицына с фронта.

8 июня — случайное ранение И. С. Солженицына на охоте в окрестностях села Сабля (умер от заражения крови 15 июня в больнице города Георгиевска).

11 декабря — в день памяти преподобного мученика Стефана Нового, в городе Кисловодске, на даче И. И. Щербак по Шереметьевской улице, у Т. З. Солженицыной родился сын Александр (крещён в кисловодском храме Святого целителя Пантелеймона).

1919, начало года — в селе Сабля умер дед Семён Ефимович Солженицын (род. в 1854 году).

26 февраля — в Новочеркасске родилась Н. А. Решетовская.

До конца года — Т. З. Солженицына с сыном живут в станице Новокубанской в поместье З. Ф. Щербака.

1920, начало года — семья оставляет поместье и перебирается в Кисловодск, в дом М. З. и Ф. И. Гориных (Бородинский переулок, 3; тогда — улица Льва Толстого, 4).

1921 — Таисия Захаровна, оставив сына на попечение родных, уезжает устраиваться на курсы машинописи и стенографии; находит работу в Ростове-на-Дону.

Декабрь — первое детское воспоминание: во время службы в храме Пантелеймона-целителя чекисты ворвались в алтарь и, прервав литургию, занялись изъятием церковных ценностей «в пользу голодающих».

1924, вторая половина года — несколько месяцев живёт в Новочеркасске у тёти Ирины и дядя Романа.

1924—1925, зима — живёт с матерью в Ростове по адресу: Никольский (Халтуринский) переулок, 52.

1925, лето — живёт в Гулькевичах, на хуторе дяди, вместе с дедом и бабушкой.

Конец осени — Таисия Захаровна забирает сына в Ростов.

1927, 9 ноября — поступил во второй класс ростовской средней школы № 15.

1929, лето — начало литературного творчества.

В течение года — читает «Войну и мир» Л. Н. Толстого.

1930, 6 января — обыск в квартире матери, арест деда.

Лето — посещение села Сабля вместе с мамой.

1931, весна — вступление в пионерскую организацию.

Осень — умерла бабушка, Евдокия Григорьевна Щербак (род. ок. 1866 года).

1932 — смерть деда З. Ф. Щербака в застенках ГПУ.

1934, весна — Саня составляет в школьных тетрадках «Полное собрание сочинений Александра Солженицына» в одном экземпляре, куда входят рассказы, повести, стихи.

Декабрь — 16-летний Солженицын получает паспорт с неверно указанным отчеством: «Исаевич» вместе «Исаакиевич».

1935, осень — вместе со всем классом вступил в ВЛКСМ.

1936, начало года — семья переехала на съёмную квартиру по адресу: Малый проспект, 15а.

26 июня — окончил ростовскую среднюю школу № 15 с золотым аттестатом.

19 июля — сдал заявление о приёме в Ростовский государственный университет на физико-математический факультет.

22 июля — зачислен на физмат РГУ без вступительных экзаменов.

Лето — неудавшаяся попытка поступить в театральную студию Ю. Завадского; поступает вместе с К. Симоняном на годичные курсы английского языка.

Первые дни сентября — знакомство с сокурсником Милей (Э. А. Мазиным) и будущей женой Наташей (Н. А. Решетовской).

18 ноября — возникает замысел романа о русской революции («Р-17»), с точкой отсчёта в августе 1914 года.

1937, начало — Т. З. Солженицына получает квартиру по адресу: Ворошиловский проспект, 32, кв. 5.

Лето — велопоход по Военно-Грузинской дороге; написаны очерки «По Кавказу на “Украине”». Окончил курсы английского языка и получил диплом переводчика.

В течение года — собирает в городских библиотеках материалы по Первой мировой войне, пишет первые главы романа о революции.

1938, 15 июля — 27 августа — путешествует по Украине в составе студенческой туристской группы.

1939, 20 июля — принят без экзаменов в экстернат искусствоведческого факультета МИФЛИ.

22 июля — в Москве родилась Н. Д. Светлова.

25 июля — 27 августа — лодочное путешествие по Волге: начали в Казани, заходили в Ульяновск, Куйбышев.

1940, 1—8 января — зимняя сессия в Москве.

27 апреля — Солженицын и Решетовская зарегистрировали брак в Ростовском городском загсе.

Май — переводится на заочное отделение литературного факультета МИФЛИ.

Июнь — становится сталинским стипендиатом в РГУ.

18 июня — 20 июля — сдаёт летнюю сессию в МИФЛИ.

Конец июля — конец августа — медовый месяц в Тарусе.

1941, 1—10 января — зимняя сессия в МИФЛИ.

16 июня — государственная экзаменационная комиссия Ростовского университета присуждает Солженицыну диплом с отличием.

22 июня — приезжает на летнюю сессию в Москву; слышит по радио о начале войны.

Конец июня — август — неудачные попытки призваться на фронт через ростовский военкомат.

Середина августа — получил распределение на работу в среднюю школу города Морозовска Ростовской области на должность учителя математики (вместе с женой, учительницей химии).

16 октября — получена мобилизационная повестка в военкомат.

18 октября — Солженицын на сборном пункте; определён ездовым в 74-й Отдельный гужтранспортный батальон.

1942, 18 марта — направлен в Сталинград, в штаб округа.

8 апреля — прибыл в город Семёнов Горьковской области для прохождения службы на Артиллерийских курсах усовершенствования командного состава (АКУКС).

14 апреля — по направлению начальника курсов прибыл в Кострому, в расположение 3-го Ленинградского артиллерийского училища.

17 июля — уезжают в эвакуацию Решетовские (в Кисловодск) и Т. З. Солженицына (в Георгиевск).

До 28 июля — Ростовский университет эвакуирован в Киргизию; квартира Солженицыных на Ворошиловском проспекте разрушена бомбой.

28 июля — Ростов взят немцами. Издан сталинский приказ № 227 «Ни шагу назад!».

Август — Решетовские эвакуируются из Кисловодска в Казахстан.

8 сентября — Солженицын пишет прошение начальнику училища: «Отпустите меня на фронт».

10 октября — Таисия Захаровна выехала из Георгиевска в Ростов; в течение двух месяцев живёт на квартире Решетовских, затем переселяется в выделенную ей комнату на улице Темерницкой, 102.

1 ноября — окончание артиллерийского училища.

2 ноября — курсантам зачитан приказ о выпуске из училища и присвоении лейтенантского звания; отъезд из Костромы в Саранск, в запасной разведывательный артиллерийский полк.

4 ноября — пересадка в Москве на пути в Саранск; посещение МГУ.

6 ноября — прибыл в Саранск, где начал формироваться 794-й Отдельный армейский разведывательный артиллерийский дивизион (ОАРАД).

12 ноября — Солженицын назначен агитатором комсостава полка.

29 ноября — в годовщину первого освобождения Ростова на занятиях среднего комсостава сделал доклад «Битва за Ростов в ноябре 1941 года».

5 декабря — назначен заместителем командира звуковой батареи, минуя командование взводом.

13 декабря — в должности замкомбата принял пополнение.

21 декабря — назначен командиром звукобатареи (БЗР-2).

1943, 13 февраля — дивизион выдвинулся из резерва на Северо-Западный фронт.

14 февраля — освобождение Ростова.

4 марта — дивизион прибыл к месту расположения, в район Редьи и Ловати, в 11 километрах от переднего края обороны противника.

Конец марта — дивизион переброшен на юг, на Центральный фронт.

16 апреля — встреча с Л. Ежерец и её отцом на станции Ховрино возле воинского эшелона.

20 апреля — больная Таисия Захаровна выехала из Ростова в Георгиевск.

Конец апреля — 12 июля — дивизион как резерв Брянского фронта развернулся под Новосилем. Стояние в обороне.

Начало мая — Солженицын заболел цингой.

12—15 мая — первая фронтовая встреча с одноклассником Н. Виткевичем.

До 29 мая — получает сведения о тяжёлой болезни матери.
Май — начинает делать записи для «Военных блокнотов».
11 июня — подавлено 17 батарей противника, из них пять по координатам звукобатареи Солженицына.
12 июля — прорыв 63-й армии на Орловском направлении.
В ночь с 15 на 16 июля — звукобатарея Солженицына вошла в посёлок Желябугские Выселки.
23 июля — лавинное наступление на Орёл; за успешную и быструю подготовку личного состава, за умелое руководство по выявлению группировки артиллерии противника командир БЗР-2 Солженицын представлен к награде — ордену Отечественной войны 2-й степени (вручен 15 августа).
5 августа — части Красной армии вошли в Орёл.
Конец августа — дивизион начинает наступление на запад через брянские леса.
15 сентября — приказом командующего армии Солженицыну присвоено звание старшего лейтенанта.
Конец октября — ноябрь — стояние в обороне на реке Соже под Гомелем.
3 декабря — наступление между Жлобином и Рогачёвом.
1944, 1—3 января — в ходе восьмой фронтовой встречи Солженицына и Виткевича составлена «Резолюция № 1».
2 января — в Георгиевске умер Роман Захарович Щербак (род. в 1878 году).
18 января — в Георгиевске умерла Таисия Захаровна Солженицына.
Январь — стояние в лесу под Рогачёвом в обороне.
Февраль — тяжёлые бои за Рогачёв.
Начало марта — переправа через Днепр.
С 6 на 7 марта — 300-километровый марш и занятие плацдарма между Днепром и Березиной.
19 марта — встреча (девятая) на фронте с Виткевичем.
20 марта — Виткевича переводят в другую часть.
Конец марта — Солженицын уезжает в двухнедельный отпуск, первый за войну.
27 марта — встреча с Л. Ежерец и К. Симоняном в Барвихе, в правительственном санатории, где Симонян работал врачом.
1—2 апреля — отпуск в Ростове.
Около 4 апреля — знакомство с Л. Власовым в поезде Ростов—Харьков.
9 апреля — возвращение из отпуска в часть.
9—10 апреля — написано большое письмо Виткевичу, которое было перехвачено военной цензурой. Начало слежки.
Около 20 апреля — из письма М. З. Гориной Солженицын узнал о смерти матери.
Начало мая — манёвры под Рогачёвом.
7 мая — маршалом Рокоссовским подписан приказ о присвоении Солженицыну звания капитана.
Вторая половина мая — Солженицыну разрешено вызвать к себе в часть жену; она пробыла с ним на фронте три недели.
После 13 июня — манёвры между Рогачёвом и Бобруйском.
23 июня — наступление на Бобруйск и далее на Минск.
12 июля — награждён орденом Красной Звезды за взятие Рогачёва.
20 июля — 48-я армия перешла границу СССР и двинулась на запад.

Начало августа — Солженицын прочёл «первую правдивую книгу о войне» — поэму А. Т. Твардовского «Василий Тёркин».
Август — движение по польской территории.
22 августа — бои за Нарев.
Сентябрь—октябрь — занятие плацдарма за Макувом и его оборона.
31 декабря — встреча Нового года в клубе звукобатареи.

1945, 14 января — наступление на запад и далее на север, в Восточную Пруссию.
21 января — Солженицын в горящем Найденбурге.
27 января — операция против контратаки немцев. Солженицын выводит свою батарею из окружения.
30 января — заместитель Генерального прокурора РСФСР генерал-майор Вавилов даёт санкцию на арест Солженицына.
1 февраля — за спасение батареи и техники (операция 27 января) Солженицын представлен к ордену Красного Знамени.
2 февраля — разведка пушечной бригады вошла в Адлиг-Швенкиттен.
9 февраля — Солженицын арестован армейской контрразведкой СМЕРШ в Восточной Пруссии, под городом Вормдитом.
В ночь на 10 февраля — посажен в карцер.
10—12 февраля — этап из Остероде в Бродницы, в контрразведку фронта.
12—14 февраля — пребывание в тюрьме фронтовой контрразведки.
15 февраля — этапирован в Москву.
19 февраля — спецконвой доставил арестанта Солженицына на Лубянку, в центральную тюрьму НКГБ.
20—24 февраля — содержание в одиночном боксе, начало следствия.
24 февраля, после отбоя — переведён в общую камеру № 67.
9 мая — по салюту в сорок залпов, услышанному в камере, догадывается об окончании войны.
27 мая — конец следствия.
28 мая — Солженицына допрашивает прокурор по надзору.
В ночь на 29 мая — переведён в Бутырскую тюрьму для ожидания приговора («первая Бутырка»).
6 июня — подписано обвинительное заключение.
7 июля — в день «великой амнистии» заседает ОСО НКВД, осудившее Солженицына на восемь лет исправительно-трудовых лагерей.
27 июля — после объявления приговора переведён во внутреннюю пересылку в помещении бывшей Бутырской церкви.
Начало августа — переведён в пересыльную тюрьму на Красной Пресне.
14 августа — этап из пересыльной тюрьмы в ОЛП (отдельный лагерный пункт) под Новым Иерусалимом.
С середины августа — работает на глиняном карьере сменным мастером, откатчиком вагонеток, глинокопом.
9 сентября — переведён в Москву, в строительный лагерь по адресу: улица Большая Калужская, 30.
11—18 сентября — назначен завпроизводством, уволен через неделю.
20 сентября — определён учеником в бригаду маляров.
С 9 ноября — в течение полугода работает помощником нормировщика.

1946, ранняя весна — Солженицына под кличкой «Ветров» пытается завербовать лагерный оперуполномоченный.

Весна — начинает хлопоты о смягчении наказания.

28 апреля — товарищи по дивизиону подготовили характеристику на бывшего комбата.

Конец мая — определён учеником паркетчика в плотницкую бригаду.

18 июля — этапирован в Бутырки, помещён в 75-ю камеру, к «специалистам» («вторая Бутырка»).

27 сентября — этапирован в спецтюрьму города Рыбинска Ярославской области для работы на авиационной шарашке.

6 ноября — написано (устно, в памяти) стихотворение «Воспоминание о Бутырской тюрьме».

Осень — сочинено стихотворение «Мечта арестанта».

1947, 21 февраля — этапирован из Рыбинска в Москву («третья Бутырка»).

6 марта — этапирован в Загорск, для работы в оптической шарашке.

Весна — начало работы над словарём Даля.

Июнь — составляет ходатайство на имя Генерального прокурора СССР о пересмотре дела.

9 июля — этапирован на шарашку в Москву (Марфино).

Лето — назначен библиотекарем шарашки.

5 сентября — получает известие, что ходатайство о пересмотре дела «оставлено без удовлетворения».

Октябрь — знакомство на шарашке с Д. М. Паниным и Л. З. Копелевым.

В течение года — сочинены стихотворения «Через две решётки», «Ванька-встанька», «Романс». Начата поэма «Дороженька».

1948, 21 января — шарашка в Марфине или спецобъект № 8 системы МВД закрытым постановлением Совмина СССР реорганизована в Лабораторию № 1 при отделе оперативной техники МГБ СССР для «разработки аппаратуры засекречивания телефонных переговоров гарантированной стойкости»; ужесточение режима.

Весна — на шарашку в Марфино переведён Виткевич.

23 июня — свидание с женой в Таганской тюрьме.

19 декабря — новое свидание с женой, на котором она заявила о необходимости формального развода.

В течение года — сочинено стихотворение «Когда я горестно листаю...». Написаны первые главы повести «Люби революцию».

1949, 29 мая — свидание с женой в Лефортове.

В течение года — сочинено стихотворение «Вечерний снег».

1950, начало года — Солженицын отказывается войти в криптографическую группу.

19 марта — свидание с женой в Бутырской тюрьме («четвёртая Бутырка»).

Перед 19 мая — оставляет тетради с повестью «Люби революцию» и часть блокнотов по Далю у сотрудницы марфинского института А. В. Исаевой; остальные блокноты, а также конспекты по истории и по философии передаёт Л. З. Копелеву.

19 мая — взят на этап из марфинской шарашки в Бутырскую тюрьму, где пробыл пять недель («пятая Бутырка»).

С 25 июня — трёхмесячный этап из Бутырок в Экибастуз.

Конец июня — 29 июля — на Куйбышевской пересылке.

С 29 июля — этап из Куйбышевской пересыльной тюрьмы на восток — через Южный Урал, Челябинск, Омск, Павлодар.

20 августа — в Павлодарскую тюрьму прибыл конвой Степлага, который доставил этапников в Экибастузский каторжный лагерь.

20-е числа августа — Солженицын получает лагерный номер «Щ-232».

Сентябрь — поступает в бригаду каменщиков.

Осень — работает на стройке БУРа каменщиком; сочиняет стихотворения: «Отсюда не возвращаются», «Отречение», «С верхней полки столыпинского вагона», «Каменщик», «Хлебные чётки»; продолжает сочинять устно поэму «Дороженька».

1950—1951 — возник замысел рассказа об одном дне зэка.

1951, лето — становится бригадиром мехмастерских.

Декабрь — получает от жены «отчуждающую» открытку.

В течение года — сочинены стихотворения: «Право узника», «Что-то стали фронтовые вёсны...», «Седьмая весна»; сложена в уме пьеса «Пир Победителей».

1952, 6 января — лагерная администрация запирает бараки, начинается пересортировка; лагпункт разгораживают стеной, отделяя мятежников-украинцев от остальных заключённых.

22 января — бунт в лагере: «кровавый вторник».

24—26 января — трёхдневная забастовка-голодовка: бригады не вышли из бараков в столовую и не пошли на работу.

27 января — конец голодовки; администрация лагеря принимает жалобы от зэков.

28 января — собрание бригадиров, на котором выступает Солженицын.

29 января — обращается в санчасть в связи с резко увеличившейся запущенной опухолью в паху; его переводят в лагерную больницу, на «украинскую» зону.

12 февраля — хирург-заключённый К. Ф. Донис делает Солженицыну операцию по удалению злокачественной опухоли.

26 февраля — выписан из больницы; поступает подсобником в литейное производство.

Конец февраля — начата пьеса «Пленники».

Апрель — вызван в оперчасть лагеря по делу К. Симоняна.

Весна — Решетовская оформляет развод в одностороннем порядке и начинает семейную жизнь с В. С. Сомовым.

В течение года — сочинены стихотворения: «Россия?», «Акафист», «Прощание с каторгой»; закончена поэма «Дороженька».

1953, 9 февраля — окончание срока заключения.

С 13 февраля — этап из Экибастуза в ссылку: Павлодарская, Омская, Новосибирская пересылки.

Конец февраля — доставлен в тюрьму города Джамбула. В комендатуре областного МВД получает справку о том, что ссылается навечно в Кок-Терекский район Джамбульской области Казахской ССР под гласный надзор районного МГБ.

2 марта — ссыльного под конвоем поездом доставляют на станцию Чу, оттуда в Кок-Терек, к месту ссылки.

3 марта — ночлег в тюрьме райцентра Новотроицкое.

4 марта — разрешено идти на частную квартиру; А. И. нанимает «домик-курятник».

5 марта — на центральной площади Кок-Терека слышит из репродуктора о смерти Сталина; первый день без конвоя. Написано стихотворение «Пятое марта».
Март — пытается устроиться на работу в местную школу; пишет пьесу «Пленники».
Со 2 апреля — работает в райпотребсоюзе плановиком-экономистом.
25 апреля — приглашён в среднюю школу Кок-Терека учителем математики и физики, за три недели до выпускных экзаменов.
1 мая — знакомится с Н. И. Зубовым; первые проявления метастаз.
3 мая — первый урок в коктерекской школе.
С мая — начинает «вынимать» тексты «Дороженьки» из памяти и записывать их.
Весна — возобновляет переписку со своими родственниками.
Лето — снимает отдельный домик на ул. Пионерской.
28 ноября — получив разрешение на медицинское обследование в Джамбуле, уезжает из Кок-Терека.
Конец ноября — в областной больнице Джамбула узнаёт от врачей, что жить ему осталось недели три.
4 декабря — возвратился из Джамбула, лечится настойкой иссык-кульского корня.
Декабрь — написано стихотворение «Смерть — не как пропасть, а смерть как гребень...».
Конец декабря — закапывает на своём участке бутылку из-под шампанского с листами своих сочинений, скрученных в трубочку.
В течение года — написаны стихотворения: «Возвращение к звёздам», «Вот и воли клочок. Новоселье...», «Три невесты», «Над “Дороженькой”», «Триумвирам», «Напутствие».
31 декабря — уезжает в Ташкент на лечение.

1954, со 2 января — ночует на полу в вестибюле онкологического диспансера.
4 января — принят в стационар, начато лечение лучевой терапией на рентгеновском аппарате; проводятся химиотерапия и переливание крови.
18 февраля — выписался из онкодиспансера и вернулся в Кок-Терек.
Весна — пишет пьесу «Республика труда»; начало «Прекрасной Ссылки».
С 21 июня по 21 августа — повторный курс лечения в Ташкенте; задумана повесть «Раковый корпус».

1955 — преподаёт в коктерекской школе и пишет роман «В круге первом».
Сентябрь — пишет заявление на имя Н. С. Хрущёва о снятии ограничений на передвижения.

1956, февраль — XX съезд КПСС.
24 февраля — пишет заявление на имя Н. С. Хрущёва, а также письма заместителю председателя Совета министров СССР Микояну, министру обороны маршалу Жукову, Генеральному прокурору СССР Руденко, настаивая на полной реабилитации и возврате боевых орденов.
Апрель — отмена ссылки для осуждённых по 58-й статье.
16 апреля — получил справку из Управления МВД Джамбульской области об освобождении от дальнейшего отбытия ссылки со снятием судимости.

5 мая — получил общегражданский паспорт.
Май — запрашивает Ивановское и Владимирское облоно по поводу работы в школе.
14 июня — начаты следственные действия по заявлению о реабилитации.
20 июня — уезжает из Кок-Терека в Москву.
24 июня — на поезде из Алма-Аты приезжает в Москву; на Казанском вокзале его встречают Копелев и Панин.
26 июня, поздно вечером — встреча с Решетовской у Паниных; А. И дарит бывшей жене тетрадку с посвящёнными ей лагерными стихотворениями.
28—30 июня — едет во Владимир устраиваться на работу; посетил село Орехово и поселок Торфопродукт.
Начало июля — посещение прокуратуры, разговор со следователем Лубянки о реабилитации.
Середина июля — забирает у А. В. Исаевой рукописи, оставленные на «шарашке» и сохранённые ею.
Конец июля — десятидневная поездка в посёлок Магнитка близ Златоуста для знакомства с Н. Бобрышевой.
27 июля — из Златоуста едет в Ростов, минуя Москву, повидаться с родными.
С 5 августа — поездка в Георгиевск к М. З. Гориной и И. И. Щербак, в Пятигорск к М. В. Крамер, в Кисловодск, «по старым местам».
Середина августа — возвращается в Москву.
20 августа — уезжает в поселок Торфопродукт, к месту работы.
21 августа — поселяется у М. В. Захаровой.
С 24 августа — назначен учителем в Мезиновскую среднюю школу Курловского района Владимирской области.
29 сентября — возбуждено ходатайство перед Генеральным прокурором СССР об отмене постановления ОСО в отношении Солженицына и прекращении его дела.
21 октября — в Торфопродукт на три дня приезжает Решетовская; воссоединение бывших супругов.
4—9 ноября — Солженицын в Москве во время школьных каникул. Решетовская расстаётся с В. С. Сомовым и его сыновьями.
Осень — завершена первая редакция романа «В круге первом».
30 декабря — Солженицын приезжает в Рязань к Решетовским.
31 декабря — встреча Нового года у Решетовских.

1957, 2 февраля — Солженицын и Решетовская повторно зарегистрировали брак в Мезиновском поселковом совете.
6 февраля — определением Военной коллегии Верховного суда СССР Солженицын реабилитирован.
21 февраля — погибла М. В. Захарова, будущая героиня «Матрёнина двора».
2 марта — вручена по месту жительства справка о реабилитации.
Конец марта — приехал в Рязань на время школьных каникул.
Конец мая — увольняется из Мезиновской школы по семейным обстоятельствам.
В ночь на 13 июня — выехал в Москву; провёл неделю у Туркиных.
21 июня — теплоходное путешествие по Волге и Оке.
27 июня — прибытие в Рязань. Начало «тихого житья» в доме по адресу: 1-й Касимовский пер., 12, кв. 3.

25 августа — принят на должность учителя физики и астрономии в школу № 2 города Рязани.

Осень — работа над второй редакцией романа «В круге первом».

1958, апрель — проходит курс химиотерапии в рязанской онкологической клинике.

Весна — велосипедные поездки по Рязанской области; первые «Крохотки»; замысел «Архипелага ГУЛАГ»; подготовка к путешествию в Ленинград.

29 июня — конец июля — поездка в Ленинград для сбора материалов к будущему «Красному Колесу».

С конца июля — путешествие в пушкинские места (Псков, Михайловское, Тригорское), Тарту и Таллин.

11 августа — возвращение в Рязань.

Осень — скандал с присуждением Нобелевской премии Б. Пастернаку.

1959, с 18 мая — в течение 45 дней написал рассказ «Один день одного зэка».

26 июня — поездка в Ростов за тётями Решетовскими, перевозит их в Рязань.

С 16 июля — поездка в Крым к Зубовым; начат рассказ «Не стоит село без праведника» («Матрёнин двор»).

С 5 августа — недельное путешествие по Украине, каникулы в Москве.

Осень — окончание «Матрёны» и чистовая перепечатка «Одного дня одного зэка».

2 ноября — Копелев в Рязани читает «Один день одного зэка».

Конец года — написан сценарий «Знают истину танки».

1960, июль — туристическая поездка по Военно-Сухумской дороге с отдыхом в Сухуми.

Август — пять дней приокского путешествия на велосипеде.

16—20 августа — отдых в Солотче, поездка на родину Есенина. Пишутся новые «Крохотки».

Конец августа — на дачу к Теушам Решетовская привозит рукописи мужа.

Осень — написан рассказ «Правая кисть»; произведения Солженицына читает Н. И. Кобозев.

Поздняя осень — проходит курс химиотерапии на дому.

Конец декабря — в Рязань приезжают Теуши. Обсуждение «Одного дня» и чтение романа «В круге первом».

Конец года — пишет пьесу «Свеча на ветру».

1961, начало — переписал *облегчённо* «Один день одного зэка».

25—28 мая — отдаёт «Один день» Копелевым; рассказ читают в узком кругу друзей Копелева.

Лето — путешествие по древним городам (Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Загорск). Поездка в Ленинград, на Селигер, в Солотчу.

Сентябрь — в Рязани гостит Н. И. Зубов.

17 октября — открытие XXII съезда КПСС, речь Хрущёва.

27 октября — речь А. Т. Твардовского на XXII съезде КПСС.

8 ноября — решается передать рассказ «Один день одного зэка» в «Новый мир» Твардовскому через Копелева.

10 ноября — Р. Д. Орлова отнесла рассказ в «Новый мир» и передала его А. С. Берзер.

Около 25 ноября — рассказ попадает к Твардовскому.

11 декабря — Твардовский вызывает Солженицына в редакцию журнала телеграммой.

12 декабря — Солженицын в «Новом мире»; знакомство с Твардовским, обсуждение рассказа; Твардовский предлагает считать его повестью и изменить название — «Один день Ивана Денисовича». Солженицын подписывает договор.

Декабрь — передаёт Твардовскому лагерные стихи, «Крохотки», рассказ о Матрёне.

Канун Нового года — отвозит Теушам рукописи на хранение.

1962, 2 января — редакционное обсуждение рассказа о Матрёне.

Январь—апрель — работает над новой редакцией романа «В круге первом».

Весна — Твардовский готовит публикацию повести, добывает рецензии, составляет письма, ведёт переговоры.

Конец апреля — Солженицын делает три полные фотокопии рукописей для дальнего хранения. Знакомится с Н. И. Столяровой, секретарём И. Эренбурга.

Первые числа мая — отвозит Зубовым в Крым комплект фотокопий и набор отпечатков.

Конец июня — путешествие в Сибирь, к лагерным друзьям. Передаёт на хранение фотокопии Н. А. Семёнову и Ю. В. Карбе.

10 июля — Твардовский вызывает А. И. телеграммой в редакцию в связи со сдачей рукописи в набор.

21 июля — возвращается в Москву из сибирской поездки.

23 июля — в редакции «Нового мира» проходит обсуждение повести по замечаниям В. С. Лебедева, референта Хрущёва, с участием автора.

24—26 июля — дорабатывает повесть по замечаниям редакции.

6 августа — Твардовский пишет письмо Хрущёву в связи с повестью Солженицына.

Конец августа — путешествует с Л. Власовым по Прибалтике; возникает замысел рассказа «Случай на станции Кочетовка».

15 сентября — повесть «Один день Ивана Денисовича» одобрена Хрущёвым.

12 октября — на заседании Президиума ЦК КПСС вынесено решение о публикации повести.

20 октября — Хрущёв принял Твардовского и объявил о разрешении печатать повесть Солженицына.

28 октября — знакомится с А. А. Ахматовой на квартире М. Петровых.

Первые числа ноября — читает в Москве корректуру повести.

Первая половина ноября — написан рассказ «Случай на станции Кочетовка».

15 ноября — привозит Твардовскому домой рассказ «Случай на станции Кочетовка»; приходит сигнал «Нового мира» (№ 11) с повестью «Один день Ивана Денисовича».

17 ноября — номер «Нового мира» уходит подписчикам. В «Известиях» опубликована статья К. Симонова «О прошлом во имя будущего» с разбором «Одного дня Ивана Денисовича».

18 ноября — номер появляется в продаже. По вызову Твардовского А. И. едет к нему, чтобы выслушать замечания к рассказу «Случай на станции Кочетовка».

20 ноября — в отделе прозы «Нового мира» знакомится с В. Т. Шаламовым.

23 ноября — к Солженицыну на дом приходит В. С. Матушкин, секретарь рязанской писательской организации.

Конец ноября — худсовет театра «Современник» просит разрешения поставить пьесу «Олень и Шалашовка».

1 декабря — скандальная выставка МОСХа в Манеже.

Около 9 декабря — Матушкин и Можаев уговаривают А. И. вступить в Союз писателей.

15 декабря — приглашён на встречу руководителей государства с деятелями литературы и искусства в Доме приёмов на Ленгорах.

23 декабря — «Правда» печатает отрывок из рассказа «Случай на станции Кочетовка».

29 декабря — проводит последние уроки в рязанской школе № 2. Принят в Союз писателей РСФСР по секции прозы.

31 декабря — встречает Новый год с коллективом театра «Современник».

В течение декабря — обсуждается возможность постановки спектакля по пьесе «Олень и Шалашовка» в театре «Современник».

1963, около 7 января — Солженицын читает труппе театра пьесу «Олень и Шалашовка».

20 января — «Новый мир» (№ 1) напечатал рассказы «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кочетовка».

7—8 марта — Солженицын на встрече руководителей государства с деятелями литературы и искусства в Екатерининском зале Кремля.

С середины марта — начало травли «Нового мира»; нападки на новомирские публикации Солженицына.

Весна — написан рассказ «Для пользы дела».

Начало мая — рассказ «Для пользы дела» отдан в «Новый мир».

6 июня — знакомство с К. И. Чуковским в Переделкине.

14 июня — поездка в Ленинград для работы в Публичной библиотеке, знакомство с Е. Д. Воронянской. Встречи с Д. С. Лихачёвым, А. А. Ахматовой, З. Г. Травкиным.

6 июля — поездка в Тарту; встреча с А. Сузи, знакомство с Ю. М. Лотманом. Отдых на хуторе Милды и Бориса Можаевых в Латвии.

Июль — напечатан рассказ «Для пользы дела» («Новый мир», № 7).

Середина июля — возвращение в Рязань; велопоход с посещением Ясной Поляны.

Август — поездка в Солотчу, А. И. обдумывает повесть «Раковый корпус».

Сентябрь — пишутся первые главы «Ракового корпуса».

29 октября — обсуждает с Твардовским название повести.

Ноябрь — работает над «Раковым корпусом» в Рязани. Написана «Молитва».

В конце декабря — выдвинут на соискание Ленинской премии.

31 декабря — встреча Нового года с Виткевичем и Можаевым.

1964, с 10 января — в Москве: работает в Фундаментальной библиотеке и в Центральном военно-историческом архиве.

30 января — в «Правде» опубликована статья С. Я. Маршака «Правдивая повесть» (об «Одном дне Ивана Денисовича»).

С 6 февраля — в Ленинграде: работает в Публичной библиотеке. Петербургский роман.
19 февраля — оставлен в коротком списке кандидатов на Ленинскую премию.
25 февраля — возвращается из Ленинграда.
Зима — создаёт «облегчённую» редакцию романа «В круге первом» — «Круг»-87.
С 17 марта — поездка в Ташкент, встреча с врачами онкологической клиники.
2 апреля — возвращение в Рязань. Семейный разлад.
Апрель — Ленинскую премию по литературе присуждают О. Гончару.
2—6 мая — Твардовский в Рязани у Солженицына читает роман «В круге первом».
11 июня — обсуждение «Круга» в «Новом мире».
Лето — автомобильное путешествие в Эстонию. Работа на хуторе Выру. Перепечатка «Круга»-87; складывается конструкция большого «Архипелага».
Осень — бурное распространение «Крохоток» в самиздате.
14 октября — снятие Хрущёва с должности; Зубовы сжигают архив А. И. (по прежнему уговору — в связи с опасностью момента).
31 октября — удаётся отправить фотоплёнку с частью архива на Запад.
Новогодняя ночь — разрыв с Виткевичем.

1965, зима — работа над «Архипелагом ГУЛАГ» в деревне Давыдово, в доме Агафьи Фоломкиной (ул. Первомайская, 89).
Ранняя весна — поездка в Эстонию, на хутор Марты Порт.
Июнь — путешествие с Можаевым по Рязанской и Тамбовской областям.
Июль — приобретён садовый домик в Рождестве-на-Истье (Наро-Фоминский район Московской области).
11 сентября — обыск у Теуша и Зильберберга; захват архива.
20 сентября — присутствует на концерте Шостаковича в Большом зале консерватории.
С 28 сентября — гостит наездами у К. И. Чуковского в Переделкине.
9 октября — сотрудники ЦГАЛИ забирают из Рязани архивные материалы А. И.
20 октября — в гостях у Е. С. Булгаковой; в ЦДЛ на юбилее С. С. Смирнова.
4 ноября — в «Литературной газете» вышла статья Солженицына «Не обычай дёгтем щи белить, на то сметана» — полемика с академиком Виноградовым.
Начало ноября — закончены рассказы «Как жаль» и «Захар-Калита».
Осень — с Г. Бёллем отправлены на Запад «Прусские ночи» и сценарий «Знают истину танки». Рассказ «Захар-Калита» отдан в «Новый мир».
3 декабря — отъезд в Эстонию для работы над «Архипелагом».
5 декабря — поселился на хуторе (в «укрывище»).
29 декабря — Решетовская телеграммой вызывает А. И. домой. Получение квартиры в Рязани (ул. Яблочкова, 1, кв. 11).

1966, 1 января — снова уезжает в Эстонию работать над «Архипелагом».
4 января — окончание следствия по уголовному делу В. Л. Теуша.

Около 20 января — вышел «Новый мир» (№ 1) с рассказом «Захар-Калита».
С 10 января — с произведениями Солженицына, изъятыми во время обыска у Теуша, знакомится группа ведущих советских писателей.
1 февраля — в ЦК КПСС направлено письмо К. Симонова «О романе А. Солженицына “В круге первом”».
Март — возвращение из Эстонии. Устройство на новой квартире.
Начало апреля — на даче у К. И. Чуковского в Переделкине.
10 апреля — пишет рассказ «Пасхальный крестный ход».
С середины апреля до середины мая — пишет в Рождестве-на-Истье «Раковый корпус».
13 мая — отдаёт в «Новый мир» первую часть повести.
6—16 июня — поездка в Ленинград, оттуда в Вологду, Кириллов, Белозёрск, Вытегру, Петрозаводск, Беломорканал.
18 июня — обсуждение «Ракового корпуса» в «Новом мире».
19 июля — второе редакционное обсуждение повести.
3 августа — написано письмо Твардовскому с объявлением об отказе А. И. от обязательств перед журналом.
29 августа — 2 октября — автомобильное путешествие на юг: Рославль, Чернигов, Киев, Одесса, Крым, Аскания-Нова, Ялта, Алупка, Старый Крым, Коктебель, Феодосия. Обратная дорога: Харьков, Курск, Орёл, Спасское-Лутовиново.
24 октября — выступление в Институте атомной энергии АН.
16 ноября — обсуждение «Ракового корпуса» в ЦДЛ.
17 ноября — интервью японскому журналисту С. Комото.
30 ноября — выступление в Институте востоковедения АН.
Начало декабря — отъезд в Эстонию для завершения работы над «Архипелагом ГУЛАГ».

1967, конец февраля — проездом из Эстонии завозит в Ленинград экземпляр «Архипелага» Е. Д. Воронянской для перепечатки.
10 марта — обсуждение вопроса «О писателе Солженицыне» на заседании Секретариата ЦК КПСС.
16 марта — Твардовский, прочитав вторую часть «Ракового корпуса», отвергает повесть.
27 марта — написано письмо к IV съезду писателей СССР.
7 апреля — 7 мая — на даче в Рождестве пишется «Бодался телёнок с дубом».
16 мая — начинается массовая рассылка письма к IV съезду писателей.
22 мая, утро — открытие IV съезда писателей СССР; *день* — выступление в военном НИИ.
31 мая — письмо к IV съезду писателей опубликовано в «Монд».
Последние дни мая — гостит в Переделкине у К. И. Чуковского.
12 июня — выступление перед секретарями правления СП СССР.
5 июля — в ЦК КПСС обсуждают вопрос «О поведении и взглядах А. Солженицына».
С начала июля — двухнедельная автомобильная поездка по следам армии Самсонова и военными дорогами своего дивизиона.
12 сентября — написано письмо в секретариат правления Союза писателей СССР; разослано сорока двум секретарям.
15 сентября — предварительное собрание секретариата СП СССР («Шевардино»).

22 сентября — собрание секретариата СП СССР («Бородино»).
9 октября — 10 ноября — пишет Первое дополнение к «Телёнку».
3 ноября — концерт Ростроповича в Рязани; знакомство с А. И.
1 декабря — написано письмо в секретариат Союза писателей СССР.
Начало декабря — пытается в Солотче начать «Р-17».
18—19 декабря — «Раковый корпус» отдают в набор; А. И. работает над корректурой.
Конец декабря — печатание «Ракового корпуса» остановлено.

1968, 15 января — Твардовский пишет письмо Федину в защиту Солженицына.
Зима — в Солотче вносит правку в текст «Архипелага ГУЛАГ».
2—14 марта — поездка в Москву и в Ленинград; сбор фотоиллюстраций для «Архипелага ГУЛАГ».
Середина апреля — на Западе печатаются главы «Ракового корпуса».
Около 24 апреля — в Рождество-на-Истье к Солженицыну приехали Е. Д. Воронянская и Е. Ц. Чуковская печатать «Архипелаг ГУЛАГ».
25 апреля — относит свое письмо для «Монд», «Униты» и «Литгазеты» в редакцию «Литературной газеты».
29 апреля — привозит в Рождество Решетовскую. Общая работа по подготовке текста и плёнки «Архипелага ГУЛАГ». Каждые три дня Н. Г. Левитская приезжает за копиями.
2 июня — закончена съемка «Архипелага ГУЛАГ» на плёнку.
8 июня — плёнка с «Архипелагом ГУЛАГ» отправлена на Запад.
После 12 июня — начата окончательная редакция «Круга»-96.
Ночь на 21 августа — вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию.
28 августа — знакомство Солженицына с Н. Д. Светловой. Знакомство с А. Д. Сахаровым.
Сентябрь — «Круг»-87 выходит на Западе.
Конец ноября — сближение с Н. Д. Светловой.
Осень — большими тиражами выходят на западе «Круг»-87 и «Раковый корпус».
11 декабря — 50-летний юбилей Солженицына.
В ночь на 12 декабря — написан «Ответ поздравителям».

1969, зима — награждён Премией французских журналистов за лучшую иностранную книгу. Попытки начать «Р-17» в Давыдове.
5—7 марта — поездка в Гурзуф; новая попытка начать «Р-17».
8 марта — возвращение в Рязань через Москву.
9 марта — начало непрерывной работы над «Красным Колесом».
Апрель — избран почётным членом Американской академии искусств и литературы, а также Национального института искусства и литературы.
27 июня — 3 июля — поездка с Б. А. Можаевым в Рязанскую область.
19 июля — 1 августа — путешествие с Н. Д. Светловой на Пинегу.
19 сентября — переезд на дачу к М. Л. Ростроповичу.
28 октября — умер К. И. Чуковский.
4 ноября — на заседании рязанской писательской организации Солженицын исключён из СП РСФСР.
5 ноября — секретариат СП РСФСР утверждает исключение.
12 ноября — рассылает «Открытое письмо Секретариату СП РСФСР».
Осень — живёт у Ростроповича в Жуковке.

В течение года — написана статья «На возврате дыхания и сознания».

1970, зима — пересылает доверенность на ведение его литературных дел на Западе швейцарскому адвокату Фрицу Хеебу.

Февраль — Твардовский уходит из «Нового мира».

Июль — выдвинут на соискание Нобелевской премии французскими писателями.

Август — решающее объяснение с Н. А. Решетовской.

Начало осени — Светловы по обменному ордеру переезжают по адресу: Козицкий переулок, 2, кв. 169.

8 октября — Нобелевский комитет присуждает Солженицыну премию по литературе за 1970 год.

14 октября — пишет М. А. Суслову, предлагая пересмотреть ситуацию, созданную вокруг его произведений; Н. А. Решетовская пыталась отравиться, приняв большую дозу снотворного.

27 октября — неудавшаяся попытка оформить развод в Рязанском загсе.

31 октября — Ростропович отправляет открытое письмо в защиту Солженицына в газеты «Правда», «Известия», «Литературная газета», «Советская культура».

Конец октября — вчерне закончен «Август Четырнадцатого».

20 ноября — принят проект указа о лишении Солженицына советского гражданства и выдворении его из пределов СССР.

Ноябрь — принимает решение не ехать в Стокгольм на нобелевскую церемонию.

10 декабря — празднование нобелевского торжества на даче Ростроповича.

30 декабря — у Солженицына и Светловой рождается сын Ермолай.

1971, зима — доработка «Августа Четырнадцатого».

Февраль — в Жуковке написана глава мемуаров «Бодался телёнок с дубом» — «Душат». Рукопись «Августа Четырнадцатого» переправлена в Париж.

Март — пересъёмка на квартире Светловых «Архипелага ГУЛАГ»; плёнка доставлена в Париж. Начата работа над «Октябрём Шестнадцатого».

Июнь — в Париже выходит русское издание «Августа Четырнадцатого».

9 августа — внезапная болезнь в Новочеркасске, по дороге к местам детства и юности.

12 августа — возвращение в Москву и лечение. Инцидент с А. Горловым на даче в Рождестве.

13 августа — пишет открытое письмо Андропову в связи с инцидентом на даче.

Конец октября — выздоровление, возвращение к работе над «Октябрём Шестнадцатого».

29 ноября — суд отказывается дать Солженицыну развод; дело отложено на полгода.

18 декабря — умер А. Т. Твардовский.

21 декабря — гражданская панихида в Центральном доме литераторов и похороны Твардовского на Новодевичьем кладбище.

27 декабря — отдано в самиздат «Поминальное слово о Твардовском».

С конца года — работает над «Нобелевской лекцией».

1972, 20 февраля — встреча Г. Бёлля с Солженицыным; А. И. передаёт Бёллю своё завещание на случай смерти или ареста.

Март — написано «Письмо Патриарху». Поездка в Ленинград и Тамбовскую область.

30 марта — составлен новый проект указа о лишении Солженицына гражданства и выдворении из страны. А. И. даёт интервью газетам «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост».

9 апреля — властями сорвана акция по вручению Солженицыну знаков лауреата Нобелевской премии в Москве.

12 апреля — предлагает Нобелевскому комитету наградить премией В. Набокова.

Весна — «Нобелевская лекция» переправлена в Швецию (опубликована в официальном сборнике Нобелевского комитета «Les prix Nobel en 1971» в 1972 году).

20 июня — районный суд Рязани выносит решение о расторжении брака с Решетовской.

После 20 июня — по кассационной жалобе Решетовской решение суда отменено и направлено на новое рассмотрение.

23 сентября — у Солженицына и Светловой рождается сын Игнат.

18 октября — встреча Солженицына и Светловой с Решетовской, которая соглашается на развод через загс.

В течение года — продолжается работа над «Октябрём Шестнадцатого».

1973, 15 марта — оформление развода с Решетовской.

20 апреля — зарегистрирован брак Солженицына со Светловой.

Апрель — Солженицыну отказывают в прописке по месту жительства жены.

11 мая — венчание А. И. и Н. Д. Солженицыных в храме Ильи Обыденного в Москве.

14 мая — отъезд с дачи Ростроповича.

Лето — семья Солженицына поселяется на съёмной даче в Фирсановке, куда приходят анонимные письма с угрозами. Написана статья «Мир и насилие».

Начало августа — в Рождестве-на-Истье написано «Письмо вождям Советского Союза».

4 августа — арест в Ленинграде Пахтусовой и Воронянской.

23 августа — даёт интервью агентству «Ассошиэйтед Пресс» и газете «Монд».

24 августа — Е. Д. Воронянская покончила жизнь самоубийством.

В ночь на 30 августа — органами КГБ захвачен экземпляр «Архипелага ГУЛАГ» на даче Самутина под Ленинградом.

30 августа — похороны Е. Д. Воронянской в Ленинграде.

Конец августа — закончено воззвание «Жить не по лжи!», создававшееся в 1972—1973 годах.

2 сентября — узнаёт о смерти Воронянской и захвате «Архипелага».

5 сентября — передаёт через Стига Фредриксона сообщение о захвате «Архипелага»; посылает в ЦК КПСС «Письмо вождям Советского Союза». Закончена статья «Мир и насилие».

6 сентября — встреча Солженицына и Сахарова на квартире жены.

8 сентября — в семье Солженицыных родился сын Степан.

25 сентября — встреча с Решетовской на Казанском вокзале, куда она пришла с «посреднической» миссией.

С ноября — живёт в Переделкине, у Л. К. Чуковской.

28 декабря — в Париже вышел первый том «Архипелага ГУЛАГ» на русском языке.

Декабрь — в Переделкине написана глава «Телёнка» «Встречный бой».

В течение года — продолжает работу над «Октябрём Шестнадцатого».

1974, 4 января — начало травли Солженицына в связи с выходом «Архипелага ГУЛАГ».

14 января — выступление «Правды» в связи с выходом «Архипелага ГУЛАГ». Солженицын пишет «Заявление для печати» в связи с исключением из Союза писателей Л. К. Чуковской.

15 января — 5 февраля — трёхнедельная атака анонимных телефонных звонков на московскую квартиру жены.

Январь — публично заявляет о передаче мировых гонораров с «Архипелага ГУЛАГ» советским политзаключённым. Закончена статья «Раскаяние и самоограничение».

1—2 февраля — канцлер ФРГ Вилли Брандт заявляет о готовности дать Солженицыну политическое убежище.

После 2 февраля — тайные переговоры КГБ с немецкой стороной о высылке Солженицына в ФРГ.

8 февраля — Н. Д. Солженицына в Москве получает повестку о вызове мужа в прокуратуру. В Переделкино на дачу Л. К. Чуковской, где работает А. И., под видом «ремонтников» приходят трое сотрудников КГБ.

10 февраля — Солженицына на оцепленной даче навещают Б. А. Можаев и Ю. П. Любимов.

Перед 11 февраля — закончена статья «Образованщина».

11 февраля — едет в Москву, на квартиру жены; пишет на повестке в прокуратуру ответ.

12 февраля — арест на квартире в Козицком переулке; доставлен в тюрьму «Лефортово».

13 февраля — процедура высылки; Солженицына везут из Лефортова в Шереметьево и самолётом Москва—Франкфурт депортируют в ФРГ. В Москве воззвание «Жить не по лжи!» ушло в самиздат.

14 февраля — Главное управление по охране государственных тайн издаёт приказ об изъятии произведений Солженицына из библиотек общественного пользования. Солженицын в доме Бёлля знакомится с адвокатом Хеебом, получает краткосрочный немецкий паспорт, встречается с Д. М. Паниным.

15 февраля — переезд в Цюрих, в доме адвоката Хееба знакомится с Н. А. Струве.

С 22 февраля — короткая поездка в Норвегию.

В течение марта — обустраивается в Цюрихе, в арендованном доме по улице Штапферштрассе, 45.

29 марта — отъезд семьи Солженицына из Москвы в Цюрих.

8—13 апреля — созрело решение создать Русский Общественный Фонд помощи заключённым, а также переехать из Швейцарии за океан.

16 апреля — в Цюрих прибывает первая часть архива Солженицына.

28—31 мая — приезд в Цюрих о. А. Шмемана: «Горная встреча».

31 мая — вручение премии Союза итальянских журналистов «Золотое клише».

Июнь — Ростропович и Вишневская посетили Солженицыных в Цюрихе.
24 июня — Солженицын и его семья получают швейцарские паспорта.
27 июля — из Москвы доставлена вторая часть архива.
Лето — работает над книгой «Ленин в Цюрихе» на даче Видмеров в Штерненберге.
Октябрь — самая объёмная часть архива доставлена в Цюрих.
Между 3 и 7 октября — путешествие с женой по Швейцарии.
16 ноября — пресс-конференция в Цюрихе о сборнике «Из-под глыб».
6—13 декабря — поездка в Швецию на нобелевскую церемонию.
Декабрь — знакомится с парижскими издателями Фламаном и Дюраном.
Конец декабря — поездка в Париж.

1975, 1 января — встреча Нового года в Париже.
Март — заканчивает цюрихские ленинские главы.
Начало апреля — автомобильная поездка во Францию в связи с выходом «Телёнка» на французском языке.
11 апреля — в Париже участвует в телевизионной передаче «Апостроф».
С 15 апреля — четырёхдневная поездка по Италии.
28 апреля — вылетает в Канаду в поисках жилья. В самолёте написана статья «Третья мировая?..».
Середина мая — поездка из Оттавы на Аляску.
Конец мая — в течение недели работает в Гуверовском институте.
11—14 июня — поездка к американским старообрядцам (штат Орегон).
Вторая половина июня — поездка по Канаде.
30 июня — выступление в Вашингтоне перед представителями американских профсоюзов.
9 июля — выступление в Нью-Йорке перед представителями американских профсоюзов.
11—14 июля — работа в русском Бахметьевском архиве (Колумбийский университет).
15 июля — выступление в Конгрессе США.
16—21 июля — поездка на толстовскую ферму под Нью-Йорком к А. Л. Толстой.
1 августа — возвращение в Цюрих.
Начало августа — короткая поездка в Лихтенштейн.
Конец августа — ноябрь — работает на хуторе Хольцнахт на базельском нагорье.
31 октября — заочно приобретён участок с домом в Кавендише (штат Вермонт).
Осень — в Париже издан отдельной книгой «Ленин в Цюрихе».
Конец декабря — французский журнал «Пуэн» объявил Солженицына «человеком года».

1976, середина февраля — поездка в Англию. Ряд теле- и радиовыступлений на общественно-политические темы.
Начало марта — поездка в Париж. Ряд интервью, в том числе на литературные темы.
С 12 марта — восьмидневная поездка по Испании.
Конец марта — оформление американских документов на переезд семьи в США.

2 апреля — уезжает в Вермонт, на приобретённый им участок.
Апрель—май — работает в Гуверовском институте над материалами об истории убийства Столыпина.
10 июня — отъезд из Калифорнии в Вермонт.
3 июля — процедура официального въезда А. И. в США.
С середины июня до конца июля — работает в прудовом домике в Вермонте; пишет столыпинско-богровский цикл.
30 июля — переезд семьи из Швейцарии в Вермонт.
19 октября — указом Президиума Верховного Совета СССР Н. Д. Солженицына лишена советского гражданства.
22—28 ноября — поездка в Колумбийский университет для работы в Бахметьевском архиве.

1977, 28 февраля — выступление на ежегодном собрании граждан Кавендиша.
Весна — решение об издании Собрания сочинений.
Июль — в Вермонте начата подготовка к печати и набор первых томов Собрания сочинений.
Сентябрь — обращение к российским эмигрантам — писать мемуары для Всероссийской Мемуарной Библиотеки.

1978, май — пишет Гарвардскую речь.
8 июня — выступление в Гарвардском университете, при получении почётной докторской степени.
Осень — пишет «Очерки изгнания» («Угодило зёрнышко промеж двух жерновов»), главы 1—5.
В течение года — в Париже вышли первые три тома Собрания сочинений, в которых впервые напечатан «Круг»-96.

1979, октябрь — написана статья «Персидский трюк».
В течение года — продолжается работа над «Октябрём Шестнадцатого» и четырёхтомным «Мартом Семнадцатого»; вышел четвёртый том Собрания сочинений.

1980, 18 февраля — в журнале «Тайм» опубликована статья «Коммунизм: у всех на виду — и не понят».
Весна — вышло в свет англо-американское издание «Телёнка»; в журнале «Foreign Affairs» опубликована статья «Чем грозит Америке плохое понимание России».
Конец марта — начало июля — окончание работы над полным «Августом».
С 3 на 4 августа — умерла И. И. Щербак.
Осень — в журнале «Foreign Affairs» опубликована статья «Иметь мужество видеть».
В течение года — работа над «Октябрём» и «Мартом»; вышло в свет второе, исправленное и дополненное издание «Архипелага ГУЛАГ» (Собрание сочинений, т. 5, 6, 7).

1980—1983 — написаны обзорные главы «Размышления над Февральской революцией».

1981, январь—апрель — работа над «Мартом Семнадцатого».
Весна — Н. Д. Солженицына начинает набор «Августа Четырнадцатого».
В течение года — вышли в Собрании сочинений тома 8 (Пьесы и сценарии) и 9 (Публицистика); в составе восьмого тома впервые опубликованы пьесы «Пир Победителей», «Пленники» и сценарии «Знают истину танки» и «Тунеядец».

1982, 15 января — во французском журнале «Экспресс» опубликована статья «Главный урок».

Весна — пишутся финальные главы «Октября Шестнадцатого»; начат набор «Октября». Написана статья «Наши плюралисты».
23 апреля — в журнале «Экспресс» опубликована статья «Скоро всё увидим без телевизора».
Весна — начало лета — написаны главы 6—8 «Зёрнышка».
Август — начата подготовка к азиатскому путешествию.
15 сентября — вылетает в Японию с переводчиком Хироси Кимура.
16 сентября — 17 октября — пребывание в Японии.
17—26 октября — пребывание на Тайване.
27 октября — возвращение в Вермонт.
Осень — работа над «Мартом Семнадцатого».
К концу года — закончены «Некоторые грамматические соображения».

1983, зима—весна — работа над «Мартом Семнадцатого».
7 мая — вылет в Лондон для получения Темплтоновской премии.
10 мая — церемония вручения премии в Букингемском дворце; в доме приёмов Гилдхолл Солженицын читает Темплтоновскую лекцию.
12 мая — встреча с премьер-министром М. Тэтчер в её резиденции на Даунинг-стрит, 10.
13—16 мая — поездка в Шотландию.
16 мая — дал интервью лондонской газете «Таймс» и телеинтервью для Би-би-си.
17 мая — выступление в Итонском колледже.
18 мая — возвращение в Вермонт.
Лето — опубликован по-русски полный «Август» вермонтского набора (Собрание сочинений, т. 11 и 12).
Осень — начало работы над «Апрелем Семнадцатого».
31 октября — в вермонтском доме записано телеинтервью с Бернаром Пиво для 22-го канала французского телевидения.
13 декабря — умер о. А. Шмеман.

1984, январь — написана статья «По донскому разбору».
Апрель — написана статья «...Колеблет твой треножник».
Август — вчерне закончены четыре тома «Марта Семнадцатого».
31 августа — умерла Н. И. Столярова.

1985, февраль — начало травли Солженицына в американской печати в связи с романом «Август Четырнадцатого».
29 марта — созываются слушания Комитета по иностранным делам сената США в связи с «делом Солженицына».
24 июня — Н. Д. Солженицына получает американское гражданство.

1986, лето — переработка «Телёнка»; пишутся «Невидимки».
Осень — лечится от рака кожи.
18 ноября — юбилей «Красного Колеса»: 50 лет со дня замысла.
Декабрь — освобождение А. Д. Сахарова из ссылки и возвращение его в Москву.
Конец года — выходят на русском языке два тома «Марта Семнадцатого» (Собрание сочинений, т. 15 и 16).

1987, зима — начало работы над очерками из «Литературной коллекции».
3 марта — редактор «Нового мира» С. П. Залыгин объявляет о намерении печатать «Раковый корпус».

Весна — написаны 9-я и 10-я главы «Очерков изгнания».

Июнь—июль — написаны 11, 12 и 13-я главы «Очерков изгнания».

1988, май — через Н. А. Струве получено предложение публиковать «Раковый корпус» в «Новом мире».

5 августа — в «Книжном обозрении» напечатана статья Е. Ц. Чуковской «Вернуть Солженицыну гражданство СССР».

Август — получена телеграмма от С. П. Залыгина с предложением печатать «Раковый корпус».

Сентябрь — отослано заказное письмо в «Новый мир» с условием: начать печатание в СССР с «Архипелага ГУЛАГ». Редколлегия журнала принимает решение — публиковать «Архипелаг ГУЛАГ».

18 октября — в киевской газете «Рабочее слово» напечатано воззвание «Жить не по лжи!».

Осень — борьба «Нового мира» за печатание «Архипелага ГУЛАГ».

1989, зима — в Москве и Ленинграде начато печатание публицистических произведений Солженицына.

Начало мая — закончен «Апрель Семнадцатого».

Июль — вышел «Новый мир» с «Нобелевской лекцией».

Август — в «Новом мире» начато печатание «Архипелага ГУЛАГ».

Конец года — завершение «Дневника “Р-17”».

1990, январь — Митя Тюрин гостит в Москве.

Весна—лето — написана работа «Как нам обустроить Россию?».

Август — принят указ о возвращении советского гражданства 23 эмигрантам, среди которых Солженицыны.

18 сентября — в «Комсомольской правде» и «Литературной газете» напечатана статья «Как нам обустроить Россию?».

Октябрь — городской Совет депутатов Рязанского горсовета избрал Солженицына почётным гражданином Рязани. Впервые напечатан на родине «Раковый корпус».

Осень — в издательстве «Наука» вышел «Словарь языкового расширения».

11 декабря — отказался от Государственной премии за «Архипелаг ГУЛАГ».

1991, 17 сентября — Генеральный прокурор СССР объявил о прекращении дела по статье 64 УК РСФСР («измена родине»), возбуждённого в 1974 году, за отсутствием состава преступления. А. И. делает «Заявление для прессы» о снятии юридического препятствия к возвращению на родину.

1992, весна — в Вермонте гостит Б. А. Можаев: друзья обсуждают маршрут возвращения в Россию.

28 апреля — в вермонтском доме записано телевизионное интервью с кинорежиссёром Ст. Говорухиным для российской телекомпании «Останкино».

Лето — Н. Д. Солженицына в Москве, занята легализацией Русского Общественного Фонда и поиском участка для строительства дома.

Июнь — Ермолай и Степан Солженицыны в течение двух недель ездят по отцовским местам: Кисловодск, Пятигорск, Сабля; Ростов, Рязань.

22 июня — в Министерстве юстиции зарегистрирован Русский Общественный Фонд.

21 июля — подписано Постановление правительства Москвы о передаче квартиры в Козицком переулке в ведение Русского Общественного Фонда.

1993, 19 января — присуждение литературной награды Американского национального клуба искусств. Оглашена речь «Игра на струнах пустоты».

Сентябрь—октябрь — прощальная перед возвращением в Россию поездка по Европе.

14 сентября — произнесена речь «Мы перестали видеть цель» в Международной академии философии в Вадуце (Лихтенштейн) при вручении почётной докторской степени.

25 сентября — на собрании в честь 200-летия Вандейского восстания и открытия памятника его героям и жертвам в Люк-сюр-Булонь (Вандея) произнесено «Слово о Вандейском восстании».

11 декабря — вечер, посвящённый 75-летию А. И. Солженицына, в обществе «Мемориал» (Москва).

Декабрь — написан рассказ «Молодняк»; начаты рассказы «Настенька», «Всё равно».

1994, 28 февраля — прощальное выступление на собрании граждан Кавендиша.

18 марта — умер Дмитрий Тюрин.

Весна — сборы в дорогу; «эпоха укладок». Написана работа «“Русский вопрос” к концу XX века».

Март—апрель — написаны 14, 15, 16-я главы «Очерков изгнания».

16 апреля — в вермонтском доме записано последнее, данное на Западе перед возвращением в Россию, интервью с П. Хлебниковым для журнала «Форбс».

25 мая — Солженицын с женой и сыном Степаном вылетают из США в Россию.

27 мая — остановка в Магадане. Солженицын сделал заявление для прессы в аэропорту. Прибытие во Владивосток, выступление на центральной площади.

27 мая — 20 июля — поездка по России на поезде.

28 июня — выступление в Новосибирске, в Доме учёных Академгородка.

16 июля — посещение территории бывшего 3-го ЛАУ в Костроме.

21 июля — прибытие в Москву, речь на Ярославском вокзале.

25 июля — Солженицын с семьёй посещает квартиру в Козицком переулке.

31 августа и 1 сентября — поездка во Владимир и Торфопродукт; побывал на могиле Матрёны Захаровой.

С середины сентября — поездка по югу России: Ростов, Таганрог, Кисловодск, Георгиевск, Саблинское, Ставрополь, Воронеж, Рязань.

20 сентября — выступление в Ростовском университете.

28 октября — выступление в Государственной думе.

16 ноября — встреча с президентом России Б. Н. Ельциным.

В течение года — написаны рассказы «Эго» и «Абрикосовое варенье».

1995, январь — премьера спектакля «Пир Победителей» в Малом театре.

17 февраля — выступление на Всероссийском совещании по местному самоуправлению.

Апрель — стартовали «Встречи с Солженицыным» на Общественном российском телевидении.
11 апреля — вручена Литературная премия имени Бранкати.
4—9 мая — на праздновании 50-летия Победы в Орле. Встреча с В. Овсянниковым.
Май — опубликованы рассказы «Эго», «На краях».
Весна — семья переезжает из московской квартиры в Троице-Лыково.
26 июля — выступление на Всероссийском земском съезде учителей.
Август — закончен и опубликован рассказ «Всё равно» («Литературная газета», 16 августа).
Сентябрь — поездка в Пермскую, Самарскую и Саратовскую области.
13 сентября — выступление в Саратовском университете.
17 сентября — возвращение в Москву.
20 сентября — передачи «Встречи с Солженицыным» прекращены по распоряжению руководства ОРТ.
Октябрь — закончен и опубликован рассказ «Настенька». Опубликованы рассказы «Молодняк» и «Абрикосовое варенье».
Декабрь — открытие библиотеки-фонда «Русское Зарубежье».
1996, 21 января — доклад на IV Рождественских образовательных встречах при Московской патриархии.
7 февраля — умерла Л. К. Чуковская.
2 марта — умер Б. А. Можаев.
Весна — написан рассказ «На изломах».
Июнь — в «Новом мире» (№ 6) опубликован рассказ «На изломах». Солженицын передаёт коллекцию мемуаров русской эмиграции в библиотеку-фонд «Русское Зарубежье»; поездка в Петербург.
18 июня — встреча в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург).
19 июня — встреча в Доме учёных (Санкт-Петербург).
Первая неделя сентября — поездка по Тверской области: Конаково, Кимры, Калязин, Углич, Кашин, Тверь, Торжок.
Осень — выходит первое российское издание «Очерков литературной жизни» («Бодался телёнок с дубом»).
Ноябрь — написана статья «К нынешнему состоянию России».
1996—1999 — пишутся новые «Крохотки».
1997, весна — перенёс инфаркт.
Июнь — избран действительным членом Российской академии наук.
Август — написана статья «Лицемерие на исходе XX века».
24 сентября — выступление в Российской академии наук на «круглом столе» с речью «Исчерпание культуры?».
21 октября — Русский Общественный Фонд объявил об учреждении Литературной премии Александра Солженицына.
1997—2004 — в «Новом мире» публикуется цикл эссе «Литературная коллекция».
1998, 23 апреля — встреча в Доме архитектора.
7 мая — первое вручение Литературной премии Александра Солженицына.
Середина мая — поездка в Калужскую область: Боровск, Юхнов, Медынь, Мосальск, Мещовск, Козельск, Оптина пустынь, Калуга.

Май — в издательстве «Русский путь» вышла книга «Россия в обвале».

Декабрь — в связи с 80-летним юбилеем награждён церковным орденом Святого князя Даниила Московского и высшей государственной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

11 декабря — в Театре на Таганке в день юбилея прошёл спектакль «Шарашка»; Солженицын принимает церковный орден и отказывается принять орден государственный.

В течение года — написаны рассказ «Желябугские Выселки» и повесть «Адлиг Швенкиттен».

С 1998 по 2003 — в «Новом мире» публикуются «Очерки изгнания» («Угодило зёрнышко промеж двух жерновов»).

1999, февраль — вышла книга стихов и прозы тюремных-ссыльных-лагерных лет «Протеревши глаза».

2 июня — награждён Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова 1998 года — высшей наградой РАН. Выступил с ответной речью «Наука в пиратском государстве».

2000, 16 мая — выступление в Российской государственной библиотеке.

20 сентября — в Троице-Лыкове у Солженицына побывал президент России В. В. Путин.

13 декабря — в резиденции французского посла состоялась церемония награждения Большой премией Французской академии нравственных и политических наук; Солженицын выступил с ответной речью «Перерождение гуманизма».

2001, июнь — вышла книга «Двести лет вместе» (т. 1).

Сентябрь — журнал «Москва» публикует дискуссию по книге «Двести лет вместе».

2002, 23 января — встреча со студентами-историками Российского государственного гуманитарного университета.

Декабрь — вышла книга «Двести лет вместе» (т. 2).

24 декабря — перенёс тяжёлый гипертонический криз.

2003, зима—весна — проходит курс лечения от последствий гипертонического криза.

28 мая — умерла Н. А. Решетовская.

Август — в Рязани открыт музей рассказа «Для пользы дела».

22 октября — опубликована статья «Потёмщики света не ищут».

10—11 декабря — в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялась Международная научная конференция «Академик А. И. Солженицын. К 85-летию со дня рождения».

11 декабря — 85-летний юбилей; в «Известиях» опубликованы фрагменты «Дневника “Красного Колеса”».

17—19 декабря — в библиотеке-фонде «Русское Зарубежье» проходит международная научная конференция «Александр Солженицын. Проблемы художественного творчества».

2003—2005 — работает над новой редакцией «Красного Колеса».

2004, 16 ноября — в Троице-Лыкове состоялось вручение А. И. Солженицыну ордена Святого Саввы Сербского 1-й степени — высшей награды Сербской православной церкви.

2005, 5 июня — выступление на телеканале «Россия».

1—2 сентября — открытие нового здания библиотеки-фонда «Русское Зарубежье».

2006, январь—февраль — показ сериала Г. Панфилова по роману «В круге первом» на телеканале «Россия».

16 ноября — выходят тома 1, 7 и 8-й Собрания сочинений в 30 томах.

2007, февраль — перенёс операцию на сонной артерии.

27 февраля — в «Российской газете» перепечатана статья «Размышления о Февральской революции».

Февраль—март — общественная дискуссия по статье «Размышления о февральской революции» в российской печати.

27 апреля — умер М. Л. Ростропович.

16 мая — десятое вручение Литературной премии Александра Солженицына.

Начало июня — выходят тома 9-й и 10-й Собрания сочинений в 30 томах.

12 июня — в Кремле состоялась церемония вручения Государственной премии РФ «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности». Президент РФ В. В. Путин поздравляет А. И. в Троице-Лыкове.

14—16 июня — международная научная конференция «Aleksandr Solzhenitsyn as Writer, Myth-maker & Public Figure» (Университет штата Иллинойс, г. Урбана, США).

18—24 июля — в «Литературной газете» перепечатан Узел VIII «Красного Колеса» (октябрь — ноябрь семнадцатого). Начало общественной дискуссии.

30 июля — интервью журналу «Шпигель».

Лето—осень — работает над «Литературной коллекцией», готовит к печати очередные тома Собрания сочинений.

11 декабря — А. И. Солженицыну исполнилось 89 лет.

Конец года — выходят тома 11-й и 12-й Собрания сочинений в 30 томах.

Биография продолжается...

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1. Произведения А. И. Солженицына на русском языке

Собрание сочинений: В 20 т. Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1978—1991.

Собрание сочинений: В 9 т. М.: Терра, 1999—2005.

Собрание сочинений: В 30 т. Т. 1, 7—12. М.: Время, 2006—2007.

Протеревши глаза. М.: Наш дом-L'Age d'Homme, 1999.

Дороженька. М.: Вагриус, 2004.

Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхняя Волга, 1995—1997.

На возврате дыхания. Избранная публицистика. М.: Вагриус, 2004.

По минуте в день. М.: Аргументы и факты, 1995.

Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998.

Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. Париж: YMCA-Press, 1975.

Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. 2-е изд., испр. и доп. М.: Согласие, 1996.

Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания // Новый мир. 1998. № 9, 11; 1999. № 2; 2000. № 9, 12; 2001. № 4; 2003. № 11.

С Борисом Можаевым // Литературная газета. 1997. 26 февраля; Дон. 1997. № 5.

С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4.

Русский словарь языкового расширения / Сост. А. И. Солженицын. 3-е изд. М.: Русский путь, 2000.

Двести лет вместе. Ч. I—II. М.: Русский путь, 2001—2002.

В круге первом [Серия «Литературные памятники»] / Подгот. изд. М. Г. Петровой. М.: Наука, 2006.

Архипелаг ГУЛАГ, 1918—1956: опыт художественного исследования. В 3 кн. [Впервые: перечень «Свидетели Архипелага»; аннотированный именной указатель]. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ»

«Голый год» Бориса Пильняка // Новый мир. 1997. № 1.

«Смерть Вазир-Мухтара» Юрия Тынянова // Новый мир. 1997. № 4.

«Петербург» Андрея Белого // Новый мир. 1997. № 7.

Из Евгения Замятина // Новый мир. 1997. № 10.

Приёмы эпопей // Новый мир. 1998. № 1.

Четыре современных поэта // Новый мир. 1998. № 4.

Иван Шмелёв и его «Солнце мёртвых» // Новый мир. 1998. № 7.

Окунаясь в Чехова // Новый мир. 1998. № 10.

---

* Наиболее полно библиография произведений А. И. Солженицына на русском языке и литературы о его жизни и творчестве содержится в изданиях: *Левитская Н. Г.* Александр Солженицын. Библиографический указатель. Август 1988—1990. М.: Советский Фонд культуры, 1991. Плодом многолетнего кропотливого труда Н. Г. Левитской стал биобиблиографический указатель, подготовленный на базе её картотеки и вышедший в Российской национальной библиотеке — см.: Александр Исаевич Солженицын: Материалы к биобиблиографии / Сост.: Д. Б. Азиатцев, Н. Г. Левитская, М. А. Бенина при участии Г. А. Мамонтовой. СПб.: РНБ, 2007.

Феликс Светов — «Отверзи ми двери» // Новый мир. 1999. № 1.
Пантелеймон Романов — Рассказы советских лет // Новый мир. 1999. № 7.
Александр Малышкин // Новый мир. 1999. № 10.
Иосиф Бродский — Избранные стихи // Новый мир. 1999. № 12.
Евгений Носов // Новый мир. 2000. № 7.
Двоение Юрия Нагибина // Новый мир. 2003. № 4.
Давид Самойлов // Новый мир. 2003. № 6.
Дилогия Василия Гроссмана // Новый мир. 2003. № 8.
Леонид Леонов — «Вор» // Новый мир. 2003. № 10.
Василий Белов — «Литературная коллекция» // Новый мир. 2003. № 12.
Георгий Владимов — «Генерал и его армия» // Новый мир. 2004. № 2.
Леонид Бородин — «Царица смуты» // Новый мир. 2004. № 6.
Алексей Константинович Толстой — Драматическая трилогия и другое // Новый мир. 2004. № 9.
Награды Михаилу Булгакову при жизни и посмертно // Новый мир. 2004. № 12.

2. Материалы из личного архива А. И. Солженицына

Стихи, рассказы и повести школьных лет. Рукописные тетради.
Стихотворения. Рукописные тетради (1933—1936, 1937—1940).
Очерки из цикла «Мои путешествия». Рукописные тетради (1937).
Стихи военных лет. Рукописные тетради (1941—1943).
Рассказы и повести военных лет.
Дневник военных лет (июль — октябрь 1942).
Битва за Ростов в ноябре 1941 г. и её значение в ходе Отечественной войны. Тезисы доклада. Саранск, 1942.
Дневник «Р-17» (Дневник «Красного Колеса»).
Письма А. И. Солженицына к Н. А. Решетовской. 1938—1953, 1967—1974, 1984—1988.
Письма А. И. Солженицына к Н. И. и Е. А. Зубовым. 1954, 1956—1962, 1969—1973.
Переписка А. И. и Н. Д. Солженицыных с И. И. Щербак (1974—1979).
Переписка А. И. и Н. Д. Солженицыных с М. К. Поливановым (1978—1985).
Переписка А. И. и Н. Д. Солженицыных с Н. А. Струве (1974—1992).
Переписка А. И. и Н. Д. Солженицыных с И. С. и А. И. Гинзбургами (1974—1979).
Переписка А. И. и Н. Д. Солженицыных с Н. И. Столяровой (1974—1984).
Письма школьных друзей к А. И. Солженицыну (1938—1945).
Решетовская Н. А. Дневник. 1963—1969.
Решетовская Н. А. Записки. 1956—1962.
Решетовская Н. А. Письма к А. И. Солженицыну разных лет.
Официальные документы разных лет, освещающие жизненный путь А. И. Солженицына.

3. Письма, документы, материалы

Солженицын А. И. Письма к К. И. Чуковскому. 1963—1969 // Архив К. И. Чуковского.
Солженицын А. И. Письма к Н. Г. Левитской. 1963—1975 // Архив Н. Г. Левитской.

Солженицын А. И. Письма к Н. Д. Светловой (Солженицыной) (1968—1973) // Архив Н. Д. Солженицыной.

Солженицына Н. Д. Дневники изгнания (1975—1993) // Архив Н. Д. Солженицыной.

Письма, материалы, документы, фотографии из семейного архива // Архив Н. Д. Солженицыной.

Левитская Н. Г. Воспоминания. 1964—1994 // Архив Н. Г. Левитской.

Туркина-Штейн В. В. Воспоминания // Архив В. В. Туркиной-Штейн.

Магнитофонные записи бесед автора с А. И. Солженицыным (2001—2003, 2006—2007) // Архив автора.

Материалы бесед автора с Н. Д. Солженицыной, Е. А. Солженицыным, И. А. Солженицыным, С. А. Солженицыным, Е. Ц. Чуковской, Н. Г. Левитской, В. В. Туркиной-Штейн, В. Н. Курдюмовым (аудиозапись), М. М. Уразовой, о. А. Трегубовым (Клермонт, США, аудиозапись), Г. Трегубовой (Клермонт, США, аудиозапись), В. А. Москвиным (аудиозапись), Р. И. Тевосян // Архив автора.

РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Д. 2519 (столбцы Приказного стола).

РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Д. 1692, 1864 (столбцы Белгородского стола).

Материалы и документы Кисловодского краеведческого музея.

Материалы и документы Старорусского музея Северо-Западного фронта.

Материалы и документы Архива Ростовского государственного университета.

Материалы и документы Музея 3-го Ленинградского артиллерийского училища (Кострома).

4. Биографическая литература об А. И. Солженицыне

ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ

Багалей Д. И. Материалы для истории колонизации и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губерний в XVI—XVII ст. Т. 2. Вып. 1. Харьков, 1890.

Василенко Д. В. Экспедиция воеводы И. И. Тевяшова на реки Битюг и Осередь осенью 1698 года // Межвузовские научно-методические чтения памяти К. Ф. Калайдовича. Вып. 4. Елец: ЕГУ, 2001.

Веселовский Г. М. Исторический очерк города Воронежа 1586—1886. Воронеж, 1886.

Веселовский Г. М., Воскресенский Н. М. Города Воронежской губернии, их история и современное состояние. Воронеж, 1876.

Земля в судьбах донского казака. Собрание историко-правовых актов / Сост. Н. Коришков. Ростов н/Д.: Б/м, 1998.

Материалы по статистике движения землевладения в России. Вып. 1—11. СПб., 1896—1917.

Подъяпольская Е. И. Восстание Булавина. 1707—1709. М., 1962.

Списки населённых мест Ставропольской губернии. Ставрополь, 1874.

Список населённых мест Терской области. Владикавказ, 1885.

Твалчрелидзе А. И. Ставропольская губерния в статистическом, географическом и сельскохозяйственном отношениях. Ставрополь, 1897.

Аксютин Ю. Хрущёвская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953—1964 гг. М.: РОССПЭН, 2004.

Андреева-Карлайл О. Возвращение в тайный круг. М.: Захаров, 2004.

Банкул М. А. Записи для моих детей и внуков. Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2004.

Вишневская Г. П. Галина. История жизни. М.: Горизонт и СП «Слово», 1991.

Гаврилов И. Н. Александр Солженицын в Рязани. Литературная хроника. Рязань: Изд-во РГПУ, 1998.

Гарасёва А. М. Я жила в самой бесчеловечной стране... Воспоминания анархистки. М.: Интерграф Сервис, 1997.

Горлов А. М. Случай на даче. Париж: YMCA-Press, 1977.

Дурова А. Россия — очищение огнём. Из дневника христианки. Москва 1964—1977. М.: Рудомино, 1999.

Жить не по лжи. Сборник материалов. Август 1973 — февраль 1974. Самиздат — Москва. Париж: YMCA-Press, 1975.

Зильберберг И. Необходимый разговор с Солженицыным. Sussex, 1976.

Кабицын И. Учитель математики. Эссе. Гусь-Хрустальный, 2003.

Калачёв К. Ф. В круге третьем. М.: Б/м, 1999.

Кондратович А. Новомирский дневник. 1967—1970. М.: Советский писатель, 1991.

Копелев Л. З. Утоли моя печали. Мичиган: Ардис, 1981.

Кремлёвский самосуд. Секретные материалы Политбюро о писателе Солженицыне. М.: Родина, 1994.

Крылов В. Рязань помнит Солженицына. Рязань: Поверенный, 2004.

Лакшин В. Я. Дневник и попутное // Литературное обозрение. 1994. № 9/10, 11/12; 1995. № 3; 1996. № 2.

Лакшин В. Я. «Новый мир» во времена Хрущёва. Дневник и попутное (1953—1964). М.: Книжная палата, 1991.

Лакшин В. Я. Последний акт. Дневник. 1969—1970 // Дружба народов. 2003. № 4, 5, 6.

Лалакин Н. Д. Мещерские страницы Солженицына. Владимир: ВООФ «Солоухинское литературное общество “Слово”», изд-во «Золотые ворота», 2003.

Ледовских Н. В. Возвращение в Матрёнин двор, или Один день Александра Исаевича. Рязань: Поверенный, 2003.

Медведев Ж. А. Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича». Лондон: Macmillan, 1973.

Медведев Р. А. Солженицын и Сахаров. М.: Изд-во «Права человека», 2002.

Между двумя юбилеями. 1998—2003. Альманах. Сост. Н. А. Струве, В. А. Москвин. М.: Русский путь, 2005.

Мешков Ю. А. Александр Солженицын. Личность, творчество, время. Екатеринбург: Диамант, 1993.

Нива Ж. Солженицын / Пер. с фр. С. Маркиш (в сотрудничестве с автором). М.: Художественная литература, 1992.

Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве. 1956—1980. Ardis: Ann Arbor, 1988.

Отношения сердец. Крымские герои произведений А. И. Солженицына. 2-е изд. Симферополь: Магистр, 2004.

Панин Д. М. Записки Сологдина. Франкфурт: Посев, 1973.

Панин Д. М. Лубянка-Экибастуз (Лагерные записки). М.: Обновление, 1990.

Панин Д. М. Мысли о разном. Т. I—II. М.: Радуга, 1998.

Панин Д. М. Солженицын и действительность. Париж, 1975.

Решетовская Н. А. Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Советская Россия, 1990.

Решетовская Н. А. АПН — я — Солженицын (Моя прижизненная ре абилитация). М.: Поверенный, 2004.

Решетовская Н. А. В круге втором. Откровения первой жены Солженицына. М.: Алгоритм, 2006.

Решетовская Н. А. В споре со временем. М.: Агентство печати «Новости», 1975.

Решетовская Н. А. Отлучение. Из жизни Александра Солженицына. Воспоминания жены. М.: Мир книги, 1994.

Решетовская Н. А. Солженицын. Обгоняя время. Омск, 1991.

Розенфельд Б. М. Малознакомый Кисловодск. Кисловодск, 2005.

Самутин Л. А. Я был власовцем... СПб.: Белое и чёрное, 2002.

Семичастный В. Е. Беспокойное сердце. М.: Вагриус, 2002.

Слово пробивает себе дорогу. Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне / Сост. В. Глоцер, Е. Чуковская. М.: Русский путь, 1998.

Солженицын в Гарварде / Пер. с англ. Л.Ворониной. Нью-Йорк: Chalidze Pablications, 1981.

Столяров К. Дело капитана Солженицына. Факты и комментарии // *Столяров К.* Палачи и жертвы. М.: Олма-пресс, 1997. С. 331—360.

Супруненко П. Признание... Забвение... Судьба... Опыт читательского исследования творчества А. И. Солженицына. Пятигорск: Б-ка газеты «Кавказская здравница», 1994.

Твардовский А. Т. Рабочие тетради 60-х годов // Знамя. 2000. № 6, 7, 9, 11, 12; 2001. № 12; 2002. № 2, 4, 5, 9, 10; 2003. № 8—10; 2004. № 4, 5, 9—11; 2005. № 9.

Угримов А. А. Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту. М.: RA, 2004.

Чуковская Л. К. Открытые письма // *Чуковская Л. К.* Избранное. М.; Минск: Горизонт и Аурика, 1997.

Чуковский К. И. Дневник. 1930—1969. М.: Современный писатель, 1994.

Шмеман А., свящ. Дневник. М.: Русский путь, 2005.

Berman, Ronald, ed. Solzhenitsyn at Harvard. Washington, D.C.: Ethics & Public Policy Center, 1980.

Burg, David and *Feifer, George*. Solzhenitsyn: A Biography. London: Hodder & Stoughton / New-York: Stein & Day, 1972.

Dunlop, John B., Richard Haugh, and Michael Nicholson, eds. Solzhenitsyn in Exile. Stanford: Stanford University Press, 1985.

Scammell, Michael. Solzhenitsyn. New-York: W.W. Norton, 1984; London: Hutchinson, 1985.

Thomas D.M. Alexandr Solzhenitsyn. A Century in His Life. London, 1999.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ОПЫТ ИЗГНАНИЯ

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. ДОРОГА ДОМОЙ

Сараскина Л. И.
С 20 Александр Солженицын / Людмила Сараскина. — М.: Молодая гвардия, 2008. — 935[9] с.: ил. — (ЖЗЛ: Биография продолжается: сер. биогр.; вып. 9).
ISBN 978-5-235-03102-9

Александр Исаевич Солженицын — редкий в современной словесности пример писателя-трибуна, писателя-моралиста. Его биография вместила в себя войну и лагеря, Нобелевскую премию и преследования, завершившиеся изгнанием из СССР. 20 лет, проведённые в эмиграции, не разорвали связь Солженицына с родиной — сразу после триумфального возвращения в Москву он включился в общественную жизнь, напряжённо размышляя о том, «как нам обустроить Россию». Не смягчая выражений, не стараясь угодить власть имущим, он много раз вызывал на себя огонь критики справа и слева, но сохранил высокий моральный авторитет и звание живого классика современной русской литературы. К 90-летию А. И. Солженицына приурочен выход его первой полной биографии, созданной известной писательницей и историком литературы Л. И. Сараскиной на основе уникальных архивных документов, бесед с самим Солженицыным и членами его семьи.

УДК 82-94(092)(47)
ББК 83.3(2Рос=Рус)

Сараскина Людмила Ивановна
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Главный редактор **А. В. Петров**
Редактор **В. В. Эрлихман**
Художественный редактор **А. В. Никитин**
Технический редактор **В. В. Пилкова**
Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 30.10.2007. Подписано в печать 11.03.2008. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 50+2,52 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 74892.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://mg.gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сущевская ул., 21.

ISBN 978-5-235-03102-9

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Вульфов
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Ж. Каркопино
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНЕГО РИМА В ЭПОХУ ИМПЕРИИ

П. Фор
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ АРМИИ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО

Н. Никитина
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

О. Елисеева
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ БЛАГОРОДНОГО СОСЛОВИЯ В ЗОЛОТОЙ ВЕК ЕКАТЕРИНЫ

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

Ю. В. Зобнин

МЕРЕЖКОВСКИЙ

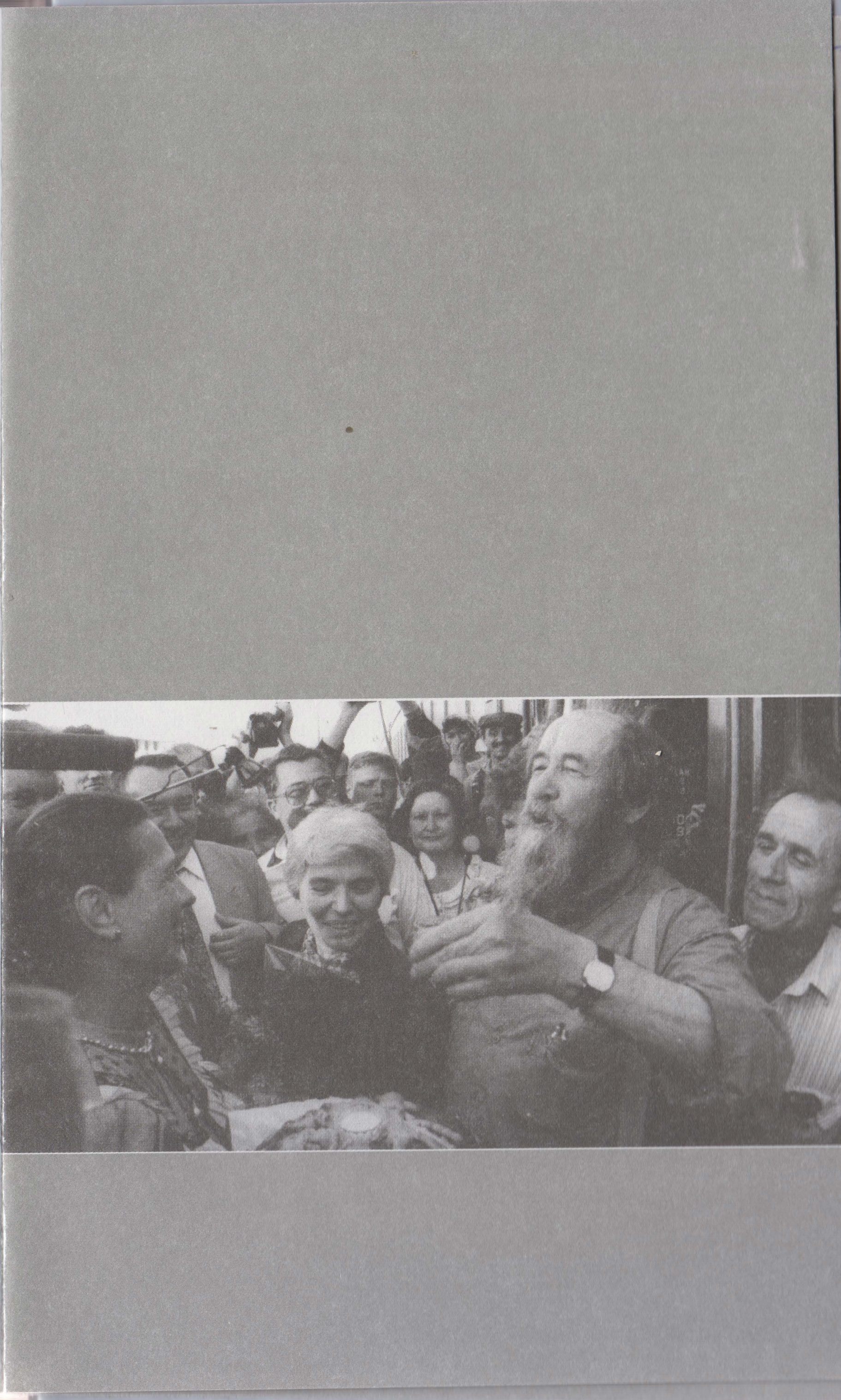
Творчество великого русского писателя и мыслителя Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865—1941) является яркой страницей в мировой культуре XX столетия. В советский период его книги были недоступны для отечественного читателя, «Возвращение» Мережковского на родину совпало с драматическими процессами новейшей российской истории, понять сущность которых помогают произведения писателя, обладавшего удивительным даром исторического провидения. Книга Ю. В. Зобнина восстанавливает историю этой необыкновенной жизни по многочисленным документальным и художественным свидетельствам, противопоставляя многочисленным мифам, возникшим вокруг фигуры писателя, историческую фактологию. В книге использованы архивные материалы, малоизвестные издания, а также периодика серебряного века и русского зарубежья.

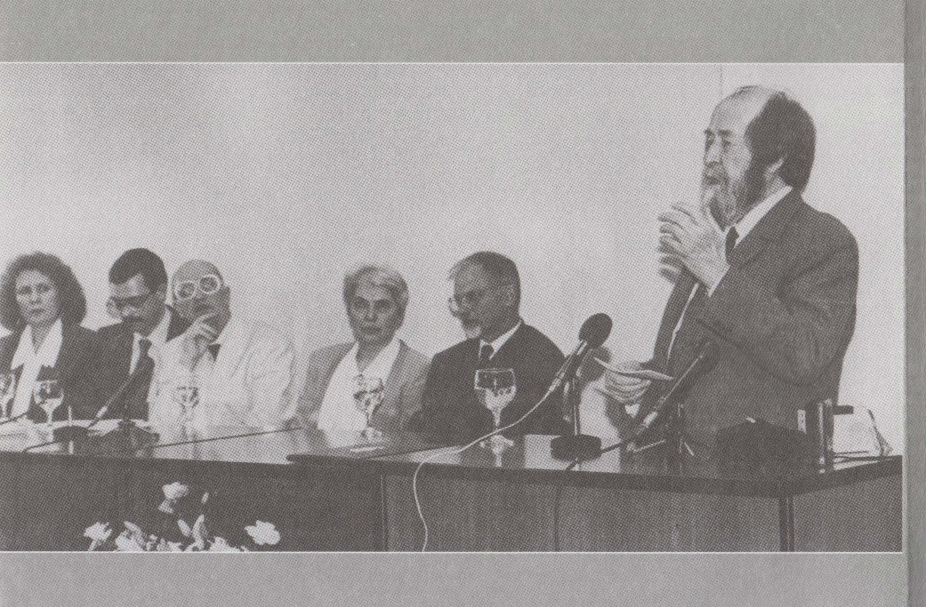


Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:
127994, Москва, Сущевская ул., 21
Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86
Телефоны для оптовых покупателей:
8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59
При издательстве работает
книжный магазин:
8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77
Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:
http://mg.gvardiya.ru dsel@gvardiya.ru



Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:
127994, Москва, Сущевская ул., 21
Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86
Телефоны для оптовых покупателей:
8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59
При издательстве работает
книжный магазин:
8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77
Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:
http://mg.gvardiya.ru dsel@gvardiya.ru







Людмила Сараскина – известная писательница, историк отечественной литературы, критик, доктор филологических наук. Сделав главной темой своих исследований литературу XIX века, в первую очередь творчество Ф. М. Достоевского, она в то же время уделяет большое внимание осмыслению современного положения России и русской культуры. Своего рода итогом этих размышлений стала масштабная биография Александра Исаевича Солженицына – двенадцатая книга Л. И. Сараскиной и шестая, написанная ею в биографическом жанре.

БИОГРАФИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Его биография богата крутыми поворотами – от узника ГУЛАГа до нобелевского лауреата, от гонимого властями диссидента до триумфально вернувшегося на родину властителя дум. Александр Солженицын – редкий в современной словесности пример писателя-трибуна, писателя-моралиста, напряжённо думающего о том, «как нам обустроить Россию». Не смягчая выражений, не стараясь угодить власть имущим, он много раз вызывал на себя огонь критики справа и слева, но сохранил высокий моральный авторитет и звание живого классика русской литературы.






ISBN 978-5-235-03102-9